АНДРЕЙ БЕЛЫЙ АЛЕКСАНДР БЛОК

ПЕРЕПИСКА

Андрей Бѣлый
Александръ Блокъ

ПЕРЕПИСКА

1903–1919

В.Д.ПОЛЕНОВ

Мечты (На горе)

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
И
АЛЕКСАНДР БЛОК

ПЕРЕПИСКА

1903–1919

*Публикация, предисловия
и комментарии -
А.В. Лавров*

МОСКВА

ПРОГРЕСС - ПЛЕЯДА
2001

РУССКИЕ ПОЭТЫ

ББК Р2
Б 26

Федеральная программа поддержки книгоиздания в России

Андрей Белый и Александр Блок

Переписка. 1903—1919. — М.: Прогресс-Плеяда, 2001. — 608 с., 64 с. илл. (Александр Блок. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том двенадцатый. Книга первая. Общая редакция — *С.С. Лесневский*)

Переписка Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев, 1880—1934) и Александра Блока (1880—1921), охватывающая 1903—1919 годы, отразила не только историю взаимоотношений корифеев русского символизма, но и основные этапы суверенных и переплетающихся путей писателей. Это подлинный роман в письмах — исповедальный, интеллектуальный и драматический.

Поэты переписывались раньше, чем увиделись. Сближали романтика Зорь, культ Вечной Женственности, унаследованный от Владимира Соловьева. Вера, поэзия, творческое самоопределение — все обсуждалось в эпистолярном диалоге. Доверительный обмен стихами, ход философических размышлений, литературные замыслы и публикации, «злоба дня», рассказ о путешествиях, — все образует непредумышленный сюжет Переписки. В эпицентре — взрыв страстей: неслыханный драматизм переполняет письма в разгар пережитой поэтами наяву Мистерии любви. Героиня - жена Александра Блока — Любовь Дмитриевна Блок (урожденная Менделеева, 1881—1939). Психологическая коллизия чуть не испепелила духовную близость. Но Александр Блок и Андрей Белый - «дети страшных лет России», «братья», и ни личные раздоры, ни войны и революции - не могли разлучить поэтов. Свидетельство — многолетняя Переписка.

Будучи биографическим, человеческим документом, Переписка представляет собой и выдающийся литературный памятник, вобравший ключевые моменты художественных и духовных исканий начала XX века. Полный свод известных сегодня писем Андрея Белого и Александра Блока, адресованных друг другу, публикуется по первоисточникам и без купюр. Комментарии оснащены новейшими разысканиями, учитывающими опыт отечественного и мирового литературоведения со времени выхода первого издания Переписки (1940), подготовленного Владимиром Николаевичем Орловым (1908—1985). В Приложение вошла Переписка Андрея Белого и матери Александра Блока — Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух (урожденная Бекетова, в первом браке Блок, 1860—1923), которая жила тревогами и веяниями Серебряного века.

На фронтисписе: В.Д. Поленов. Мечты. (На горе).
Из серии картин «Жизнь Христа». 1890-1900-е годы.

Публикация, предисловия и комментарии — *А. В. ЛАВРОВ*
Подготовка текста — *А. В. ЛАВРОВ*
(письма Андрея Белого и А. А. Кублицкой-Пиоттух)
и *Г. В. НЕФЕДЬЕВ* (письма А. Блока)
Макет оформления — *М. Ф. Лохманова*

Редактор *В. П. Балашов*
Художник *Д. С. Мухин*
Технический редактор *Е. В. Левина*

ISBN 5-93006-025-В

БИБЛИОТЕКА МОИХ ДЕТЕЙ

А.В. ЛАВРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 1940 году в Москве в серии «Летописи Государственного Литературного музея» вышла в свет книга «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка» (редакция, вступительная статья и комментарии В. Н. Орлова). На протяжении ряда десятилетий это издание оставалось незаменимым для всех, интересующихся историей взаимоотношений двух корифеев русского символизма, отношений, отразивших все основные этапы духовного и творческого пути Александра Блока и Андрея Белого. Будучи важнейшим биографическим документом для обоих корреспондентов, переписка одновременно представляет собой яркий литературный памятник, затрагивающий многие узловые моменты в истории литературно-художественных и духовных исканий начала XX века. Формально принадлежа к образцам эпистолярного жанра, многие письма Белого и Блока, по существу, оказываются опытом самовыражения на том же поэтическом языке, в той же тональности и стилистике, какие присущи стихотворениям Блока, «симфониям» и философско-лирическим статьям Андрея Белого.

В истории русской литературы и в читательском сознании имена Белого и Блока давно уже сочетались в некое двуединство, подобное двуединству Гете и Шиллера в немецкой литературе или Байрона и Шелли в литературе английской. Как в системе исходных, изначально определившихся духовно-эстетических идеалов, так и в характере творческой эволюции обоих «младших» символистов прослеживаются очевидные соответствия. Они предстанут особенно наглядно, когда будет проведен доскональный сопоставительный анализ художественных систем Белого и Блока, их образно-мотивной структуры, особенностей символического — и символистского — языка и стиля. О том, что разработки подобного рода таят в себе немало интересных наблюдений и открытий, говорят уже проведенные исследования, выявившие конкретные черты сходства в пору начала их переписки и личного знакомства[1], образный слой «Северной симфонии» Белого в поэме Блока «Ночная Фиалка», а также в его драме «Король на площади» и в некоторых стихотворениях[2], отражения

[1] См.: Пильд Л. Л. Из творческих связей Ал. Блока и А. Белого в период «Распутий» // А. Блок и его окружение. Блоковский сборник VI (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 680). Тарту, 1985. С. 43—50.

[2] См.: Ясенский С. Ю. Роль и значение реминисценций и аллюзий в поэме «Ночная Фиалка» // Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 74—75; Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. <М., 1997>. С. 132—137.

блоковской мифопоэтики в прозе Белого второй половины 1900-х гг.[3], и т. д. «Художественное и человеческое родство Блока и Белого несомненно, — заключает современный исследователь. — Очевидно и то, что, несмотря на драматичнейшие осложнения в их отношениях, оба демонстрировали и чрезвычайно тонкое взаимопонимание, вплоть до последних потаенных глубин творческих исканий, как это бывает разве что у братьев-близнецов»; «...перед нами по-своему уникальное явление в истории литературы: феномен литературного двойничества. Два по-настоящему крупных поэта в одно и то же время (даже родились в одном и том же году) проходят почти синхронно одни и те же параллельные этапы художественной эволюции, пользуясь одним и тем же (в значительной степени) кругом мотивов, устойчивых символов и сюжетов»[4]. «Параллельность» двух творческих путей и сходство двух творческих миров ныне наглядно продемонстрированы объемистой книгой, подготовленной М. Ф. Пьяных: в нее, помимо фрагментов переписки поэтов, вошли стихотворения, поэмы, статьи Блока и Белого, выстроенные в своеобразную диалогическую систему и позволяющие детально воспринять разительные соответствия и нюансы различий в подходах к темам, волнующим обоих авторов, и в их интерпретациях[5].

Вместе с тем этот диалог не был бы столь острым и напряженным, если бы Белый и Блок чувствовали и высказывались вполне в унисон. Характерно, что сам Белый в 1926 г., перечитывая свою переписку с Блоком, предшествовавшую их личному знакомству и основывавшуюся исключительно на созвучии мистических переживаний, в ретроспективных пояснениях к ней акцентирует именно моменты духовной разноголосицы, взаимонепонимания, несовпадения в интуициях. Личное знакомство способствовало, с одной стороны, сближению и взаимному постижению, с другой — наглядно показало, что в сфере индивидуальной психологии, житейских установок и привычек, поведенческой стратегии Блок и Белый были едва ли не антиподами. В мемуарном очерке «Мой лунный друг. О Блоке» З. Н. Гиппиус писала со всей ответственностью: «Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению. <...> Серьезный, особенно неподвижный, Блок — и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом, вечно меняющимся, — почти до гримас <...> Блок долго молчит, если его спросишь; потом скажет “да”. Или “нет”. Боря на все ответит непременно “да-да-да”... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный, — Боря весь мягкий, сладкий, ласковый»[6]. И далее: «Блок <...> был необыкновенно, исключительно правдив. <...> Может быть, и косноязычие его,

---

[3] См.: Пустыгина Н. Г. «Трагедия творчества» (А. Блок и роман А. Белого «Серебряный голубь») // Блоковский сборник XII. Тарту, 1993. С. 79—90; Топоров В. Н. «Куст» и «Серебряный голубь» Андрея Белого: к связи текстов и о предполагаемой «внелитературной» основе их // Там же. С. 91—109; Топоров В. Н. О «блоковском» слое в романе Андрея Белого «Серебряный голубь» // Москва и «Москва» Андрея Белого. М., 1999. С. 212—316.

[4] Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. С. 131—132, 137.

[5] См.: Александр Блок, Андрей Белый: диалог поэтов о России и революции / Составление, вступ. статья и комментарий М. Ф. Пьяных. М., 1990.

[6] Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 221—222.

тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости»; «Блок по существу был *верен.* <...> Боря Бугаев — весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, — он танцуя перелетит, кажется, всякие “тарары”. <...> Боря Бугаев — воплощенная неверность. Такова его природа»[7].

Последние формулировки Гиппиус, возможно, заставят кого-то с осторожностью и недоверием отнестись к мемуарным свидетельствам Андрея Белого — и, в частности, к его многостраничным воспоминаниям о Блоке (тем более и потому, что в различных мемуарных версиях при описании одних и тех же обстоятельств Белый по-разному расставляет акценты, в зависимости от тех принципиальных установок, которым он стремился следовать в данный момент). Книга Белого «Воспоминания о Блоке», предшествовавшие ей более краткие мемуарные очерки, а также его позднейшая мемуарная трилогия были и остаются ценнейшим источником сведений о поэте; они замечательны как живым и подробным воссозданием многих эпизодов общения с Блоком, так и глубиной и точностью постижения его внутреннего мира. И вместе с тем эти мемуарные зарисовки предельно субъективны: Белый иначе писать не умел. В. Шкловский по-своему был прав в своем парадоксальном отзыве о воспоминаниях Белого, сообщенном в 1923 г. М. Горькому: «Его воспоминания о Блоке совсем не о Блоке и не воспоминания, но хороши»[8]. Литературный портрет Блока начертан Белым с исключительной яркостью и мастерством, но при этом он в равной мере передает и черты портретиста: читателю, не желающему впасть в заблуждение, ни на минуту не приходится забывать, что он знакомится с Блоком, существующим в восприятии, а иногда только в воображении, Белого. Для того, чтобы восстановить реальную картину взаимоотношений Белого и Блока, их переписка представляет собой гораздо более адекватный и надежный документальный источник — хотя, разумеется, и она не исчерпывает всех значимых аспектов и не выводит наружу все подтексты, скрытые за строками писем.

Первая фаза взаимоотношений Белого и Блока прошла под знаком общих юношеских романтических и мистических устремлений, основанных на философии и поэзии Владимира Соловьева и давших питательную почву для их ранних произведений. Внутренняя связь начинающих поэтов была предопределена совпадением многих биографических обстоятельств. Белый и Блок — ровесники (первый родился в октябре, второй — в ноябре 1880 г.), оба вырастали в профессорских семьях и воспитывались в сходных принципах; почти одновременно оба стали студентами (один в Московском, другой в Петербургском университете) и так же одновременно, во второй половине 1890-х годов, начали пробовать свои силы в художественном творчестве; почти в одно время состоялись и их дебюты в печати. Первые опубликованные стихотворения и «симфонии» Белого и стихотворения Блока, вошедшие затем в книгу «Стихи о Прекрасной Даме», были восприняты как произведения, близкие друг другу по своему духовному пафосу и поэтическим принципам и приемам. Характерно, что уже в 1903 г. поэт и переводчик Максимилиан Шик, излагая в письме к Брюсову план задуманной книги о новейшей поэзии, указал на слияние двух линий русского символизма, московской и петербургской, в одно целое в творчестве Белого и Блока: «...оба так близко соприкасаются своею психической

---

[7] Гиппиус З. Н. Стихотворения. Живые лица. С. 222, 223.
[8] De Visu. 1993. № 1. С. 38. Публикация А. Ю. Галушкина.

жизнью, что не знаешь: где Москва, где Петербург. Это уже одно цельное, неразделимое! Это уже *национально-русская* символическая поэзия!»[9].

Как известно, личное знакомство Блока и Белого, состоявшееся в Москве в январе 1904 г., стало только закреплением уже давно существовавшей внутренней связи. Ближайший друг Белого Сергей Соловьев (племянник философа) был троюродным братом Блока. Первая связующая нить возникла благодаря контактам двоюродных сестер — Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух, матери Блока, и Ольги Михайловны Соловьевой, матери Сергея Соловьева. Ольга Михайловна, как свидетельствовал Белый в позднейшей автобиографической поэме «Первое свидание» (1921),

Всё переписывалась с «Алей»,
Которой сын писал стихи,
Которого по воле рока
Послал мне жизни бурелом;
Так имя Александра Блока
Произносилось за столом...[10]

На протяжении ряда лет для Белого и его круга основным источником знакомства с ранними стихотворениями Блока служили копии текстов, высылавшиеся матерью поэта семейству Соловьевых[11]. Белый, впервые прочитавший стихи Блока в 1901 г., восторженно отнесся к его поэтическим опытам как к конкретному воплощению соловьевских заветов, увидел в них образец подлинно «теургического» творчества — взаимопроникновение художественного начала и «жизненной мистики». Активно проповедовавший свои идеи, Белый сумел создать в Москве кружок поклонников Блока еще в ту пору, когда ни одно из стихотворений последнего не было напечатано. С января 1903 г. началась их переписка.

Еще не знакомые лично, поэты не выходили за пределы «внутренних», «эзотерических» тем; их переписка на первых порах содержит многостраничные отвлеченные, метафизические размышления, попытки выяснить друг у друга, какие именно сокровенные смыслы и связи можно обрести в тех или иных мистических символах и религиозных идеях. Рассуждения о «Лучесветной Подруге», соловьевской Вечной Женственности и «всесветной мистерии» были окрашены лирически; темы писем Блока и Белого и темы их художественных произведений имели общую почву; в эпистолярном диалоге поэтов зачастую разъяснялись и дополнительно истолковывались те же неопределенные в своих семантических контурах, но исключительно интенсивно переживавшиеся чаяния и устремления. Переписка первых лет общения Блока и Белого — своего рода авторский комментарий к их произведениям; одновременно в ней отражаются и многие литературные события, определяется позиция обоих начинающих авторов в системе русского символизма, их вклад в идеологию и эстетику «нового» искусства.

Заочная дружба, наконец, сменилась личным общением, которое приобрело тональность духовного братства и глубинного взаимопонимания. При этом житейские обстоятельства встреч в символистском сознании Белого и Блока пре-

---

[9] Письмо от 1 августа 1903 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 204.

[10] Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.—Л., 1966. С. 415 («Библиотека поэта». Большая серия).

[11] См.: Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока // *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 222—225.

ображались — наделялись особым потаенным смыслом и воспринимались с экзальтированной приподнятостью, ощущались как отблеск высших «жизнетворческих» ценностей. Связь в соловьевских заветах казалась незыблемой и жизненно необходимой. Такую окраску получило общение Блока и Белого в январе 1904 г. в Москве, летом того же года в Шахматове, в январе 1905 г. в Петербурге. Специфику отношений, установившихся тогда между ними, З. Н. Гиппиус скептически окрестила *«завиванием в пустоту»*[12]: «домашние» переживания, вслушивание в «несказанное», лирические, иногда полушутливые, импровизации, культивирование спонтанных настроений и ощущений, усиливавших чувство внутренней общности и открывавших возможность увидеть мир в новом, преображающем свете. Заметно изменились тогда содержание и стиль переписки: доминанту духовности, интеллектуального диспута, характерную для первых месяцев эпистолярного общения Белого и Блока, сменила доминанта душевности (с особенной наглядностью проявленная у Белого, в меньшей степени — у Блока, определенно тяготеющего к сдержанности и лаконизму в попытках самовыражения). Многие их письма этой поры не соответствуют обычным критериям эпистолярного жанра: конкретные факты и обстоятельства если и характеризуются в них, то почти всегда в преображенном виде, с дополнительными метафорическими или символическими смыслами, неизменно окрашиваются лирической эмоцией; жизнь «внешняя» в этих письмах вспоминается и обретает какие-то права главным образом тогда, когда возникает необходимость истолковать или проиллюстрировать события жизни внутренней. Будучи лишь косвенным и весьма ненадежным фактографическим свидетельством о «трудах и днях» Белого определенного времени, его письма к Блоку способны многое сообщить о том, что не часто оказывается непосредственно запечатленным в строках эпистолярного документа: многие из них представляют собой поток лирического сознания автора, своеобразную стенограмму его внутренней жизни и творческих пульсаций. В жанровом отношении эти письма Белого тяготеют к его же художественным текстам — к лирическим отрывкам в прозе, к образной структуре его статей середины 1900-х гг., перенасыщенной символикой, к метафорическим экзерсисам «симфонической» ритмизованной прозы.

Группа писем 1905—начала 1906 г., выдержанных в едином лирико-поэтическом ключе, является прямым продолжением общения Блока и Белого в Петербурге в январе 1905 г., когда их внутренняя связь и душевное созвучие стали наиболее безусловными. Белый вспоминает, что их отношения тогда приобрели «характер особого непроизвольного эзотеризма, не могущего быть понятым “непосвященными”. У нас был свой жаргон, свои слова, стиль говорить о виденном, о подслушанном вместе»[13]. Встречи с Блоком и его семьей воспринимались тогда Белым как благотворный отдых от изнурительных московских литературно-организационных дел и от напряженных идеологических прений у Мережковских, в петербургской квартире которых он остановился; сходную окраску приобрели и его последующие письма к Блоку. «Тишина», обретавшаяся Белым в доме Блока, совместные «молчаливые многочасовые сидения» и отвлеченные разговоры, переходившие в лирические им-

---

[12] *О Блоке*. С. 155.

[13] Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 56.

провизации, помогали ощутить «отблески зорь в душах»[14], почувствовать приближение к той «мистерии отношений», которая открывала возможность увидеть мир в новом, преображающем свете. Последующие письма Белого, посылавшиеся им из Москвы изо дня в день, позволяют судить, какое словесное воплощение находила эта «эзотерическая» дружба поэтов. В них немало поэтических образов, знакомых не только по произведениям Белого, но и получивших свой отзвук в художественной системе Блока: таковы, например, импровизации на темы «снега», «ветра», «танца» и др. В письмах «протокольно» зафиксированы во всей своей первоначальной смутности, зыбкости и неосознанности поэтические ощущения и настроения, которые иногда приобретали затем определенное художественное оформление, а в иных случаях оставались вариациями на уже «отыгранные» ранее темы — чаще всего темы «симфоний» Белого.

Уже с лета 1905 г. во взаимоотношениях Белого и Блока стали обозначаться симптомы отчуждения, которые год спустя переросли в явное размежевание. Значительная часть переписки приходится на переходный период между «идиллией» и драмой, когда оба корреспондента уже отчетливо осознавали появление новых, кризисных симптомов в собственном мировидении и ощущали, как постепенно угасают переживания мистического «братства». Белый поначалу с настороженностью, а затем и резко отрицательно отнесся к попыткам Блока переоценить свои былые идеалы, отойти от соловьевских заветов. Новые мотивы, определившиеся в творчестве Блока с середины 1900-х гг., и новые символы, контрастные предыдущим («Незнакомка» вместо «Прекрасной Дамы», «картонная невеста» вместо Невесты подлинной и «балаганчик», сменивший мистериальную «трапезу душ»), Белый воспринял как недопустимое кощунство по отношению к истинным ценностям. Былой поэт-теург предстал для него несостоявшимся пророком, и Белый потратил немало сил на полемику с «новым» Блоком, Блоком лирических драм и будущего второго тома своего собрания стихотворений. В ответ Блок упорно старался убедить Белого в правомерности и неизбежности этого этапа в своем внутреннем пути, но взаимопонимания все же достигнуть не удалось — тем более еще и потому, что фоном их напряженного диалога оказалась беспрецедентная по накалу внутрисимволистская полемика вокруг «мистического анархизма», в ходе которой Блок и Белый оказались, опять-таки, во враждующих лагерях. Если второй том стихотворной трилогии Блока принято рассматривать как антитезу по отношению к первому тому, то такой же антитезой является и вторая, конфликтная фаза взаимоотношений Белого и Блока по отношению к той, которая символизируется «музыкой зорь» и «Стихами о Прекрасной Даме».

Поначалу над осложнениями доминировала прежняя идея духовного братства: так, письмо Белого к Блоку от 13 октября 1905 г., полное резких упреков в неверности мистическому пути, было сглажено последовавшим приездом Белого в Петербург и активизацией переписки в прежнем эзотерическом стиле. Спорадически проявлявшиеся симптомы отчуждения привели наконец к краху духовного союза, непосредственной причиной чему послужила, как известно, личная драма, уже давно подспудно назревавшая[15]. Взаимные обиды, оскорбления, ссоры, мучительные объяснения, разрывы и восстановления от-

---

[14] Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 102—106.

[15] Обстоятельства этой драмы подробно освещены Вл. Орловым в статье «История одной любви» (Орлов Вл. Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971. С. 689—708) и в книге «Гамаюн. Жизнь Александра Блока» (Л., 1978. С. 256—288). Роль Белого в создавшемся конфликте освещена в этих работах, однако, весьма пристрастно и даже предвзято.

ношений — таков характер общения Блока и Белого в 1906—1908 гг., имевшего две кульминационные точки: в августе 1906 года Белый вызвал Блока на дуэль; год спустя, в августе 1907 г. последовал вызов со стороны Блока; в первый раз причины были в основном личного характера, во второй — литературного, но провести отчетливую границу между ними было бы невозможно. Ни в том, ни в другом случае драматической развязки не произошло, наоборот, последовавшие объяснения помогли Блоку и Белому отчасти понять друг друга, однако предпринятые жесты красноречиво говорят сами за себя.

Будучи уже на протяжении длительного времени тайно влюбленным в Л. Д. Блок, Андрей Белый в феврале 1906 г. объяснился с нею и, встретив, как ему казалось, ответное чувство, настаивал на соединении их судеб. Однако Любовь Дмитриевна, пережив короткий период увлечения Белым, долго не могла прийти ни к какому определенному решению, постоянно меняла тональность в общении с Белым и способствовала усугублению странной и мучительной ситуации; Блок же фактически устранился от действенного участия в создавшейся неразберихе. В результате семейная жизнь Блоков внешних изменений не претерпела, но в течение нескольких месяцев продолжались выяснения отношений, тяжкие для всех участников драмы и особенно невыносимые для Белого, переживавшего создавшуюся ситуацию с исключительной экзальтацией и дошедшего до состояния психического надрыва. Позднее, в воспоминаниях, описывая коллизии несостоявшегося «романа», Л. Д. Блок признавала: «Отношение мое к Боре было бесчеловечно <...>. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись <...> я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... <...> Теперь я вижу, что сама доводила его до эксцессов; тогда я считала себя вправе так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности»[16].

Попытки восстановить прежнее взаимопонимание предпринимались Блоком и Белым неоднократно, но они не могли благополучно завершиться, пока еще были действенны симптомы разногласий. Это оказалось возможно только тогда, когда наступил новый этап в их духовной и творческой биографии. Непосредственным основанием для нового сближения явились доклад Блока «О современном состоянии русского символизма» и его стихотворный цикл «На поле Куликовом». Оба эти произведения были встречены Белым с воодушевлением, он увидел в них вновь следование «внутреннему канону», некогда соединившему его с Блоком, переоценку периода «антитезы», глубокое осознание значения литературной школы, к которой оба они принадлежали, и темы России, взятой в близкой Белому историософской перспективе и выраженной с исключительной силой. С осени 1910 года контакты Блока и Белого восстановились и в последующее десятилетие оставались ровными и ничем существенно не омраченными. Однако прежняя напряженная духовная близость не вернулась («А. Белый — слишком во многом нас жизнь разделила», — записал Блок 29 апреля 1913 г. // VII, 246); на смену пришла прочная, но далековатая дружба, основанная на взаимном уважении, доброжелательности, сходстве исходных идеалов и важнейших литературных принципов. Особенно тесной эта связь стала после октября 1917 года, когда Блок и Белый оказались в числе немногих писателей, выразивших свою сопричастность свершившемуся перевороту. Единым был и идейный пафос их важнейших поэтических творений этого времени — «Двенадцати» и «Скифов» Блока

[16] Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 176.

и поэмы «Христос воскрес» Белого, объединенных настроениями «скифского», революционного максимализма. Как единомышленников воспринимали Блока и Белого друзья и враги этих произведений.

Виделись и общались Блок и Белый в пореволюционные годы менее интенсивно, чем в пору своей молодости; почти иссякла и их переписка. Спокойная уверенность друг в друге и чувство взаимопонимания, кажется, не требовали дополнительных подтверждений; прочной основой этого единства служила общность истоков их литературных биографий — «эпоха зорь», сформировавшая их духовный мир и определившая их творческий облик; эпоха, обоими осознававшаяся уже как история, но как действенная история, как былое, высвечивающее незримым светом и пронизывающее живительным огнем сиюминутную реальность. «Андрей Белый в Доме искусств <...> Он такой же, как всегда: гениальный, странный», — в этой лаконичной записи Блока, относящейся к вечеру Белого в петроградском «Доме искусств» (1 марта 1920 г. // ЗК, 488), подспудно ощущается долгий опыт взаимоотношений и навык восприятия того, что составляло духовное существо его старинного жизненного спутника.

* * *

Появление в печати отдельным изданием огромного корпуса эпистолярных текстов, перенасыщенных религиозно-мистической проблематикой, в 1940 году, в пору самого безраздельного и свирепого владычества тоталитарной идеологии, нельзя воспринимать иначе как факт удивительный, из ряда вон выходящий; нельзя также не оценить по достоинству отвагу В. Н. Орлова, подготовившего переписку Блока и Белого к печати, и В. Д. Бонч-Бруевича, ответственного редактора книги, выпустившего ее в свет. Книга эта, однако, могла быть тогда напечатана лишь при условии соблюдения определенных идеологических правил игры и диктуемого ими неравномерного распределения света и тени: «свет» достается Александру Блоку, приобщаемому — с переменным успехом — к сонму официально признанных советских литературных классиков; «тени» — Андрею Белому, обладателю незавидной репутации нераскаянного мистика и «религиозного мракобеса».

«Неравноправие» корреспондентов было заявлено уже на титульном листе книги, где их литературные имена были обозначены не в алфавитной последовательности (непререкаемый объективный критерий), а согласно подразумеваемой ценностной иерархии: Блок на первом месте, Белый — на втором. В большой вступительной статье Вл. Орлова «История одной “дружбы-вражды”» (идеологически, разумеется, вполне соответствовавшей требованиям своего времени) была нарисована подробная, детализированная картина взаимоотношений двух символистов, было сформулировано немало значимых и верных наблюдений и выводов, но авторские оценки опять же распределялись в соответствии с предустановленным принципом: «свет» — Блоку, «тени» — Белому[17]. То же «неравноправие» было проявлено при формировании корпуса текстов. В издание 1940 года вошли все известные к тому времени письма Блока к Белому;

[17] Примечательно, что и в последующие годы, дважды переиздавая эту статью, Вл. Орлов не внес в ее текст каких-либо существенных (в рассматриваемом плане) коррективов. См.: Орлов Вл. Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971. С. 507—635.

письма же Белого (сохранившиеся в гораздо большем объеме, чем ответные письма Блока: 199 писем Белого и 114 писем Блока, включая телеграммы и краткие записки) напечатаны в нем не полностью. Ряд писем опубликован с обширными купюрами, а 29 писем остались вообще за пределами издания. Редактор «Переписки» объяснял это тем, что опущенные письма — «в подавляющем большинстве краткие записки, не имеющие сколько-нибудь существенного литературного или биографического значения»[18], однако многие из писем Белого, оставшихся тогда неопубликованными, такой оценки явно не выдерживают.

Фронтальная сверка писем, опубликованных в издании 1940 года, с автографами показала, что при их воспроизведении было допущено немало погрешностей, иногда существенно искажающих смысл текста (особенно много таких погрешностей в опубликованных письмах Белого). Впоследствии была напечатана в исправленном виде лишь часть писем Блока к Белому, вошедшая в 8-й том Собрания сочинений Блока в 8 томах (М.—Л., 1963; подготовлен к печати М. И. Дикман).

Письма Блока и Белого в издании 1940 года сопровождены подробными и тщательно составленными комментариями В. Н. Орлова (оценивая их и отдавая должное высокому уровню их подготовки, нельзя забывать, что в ту пору исследовательская разработка истории русской литературы начала XX века оставалась еще на самой первоначальной стадии). За десятилетия, прошедшие со времени выхода книги, однако, появилось множество документальных материалов и исследовательских изысканий, которые позволяют внести в пояснения к переписке дополнительные сведения, уточнить и скорректировать сообщенное Орловым.

Все эти замечания, касающиеся состава, качества подготовки текста и содержания комментариев в издании 1940 года, служат, как представляется, дополнительным аргументом, подтверждающим насущную необходимость осуществления нового, полного и исправленного издания переписки Андрея Белого и Александра Блока.

Изданию 1940 года предшествовала публикация двух писем Блока (от 3 января и 18 июня / 1 июля 1903 г.) в «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» Андрея Белого (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 17—19, 25—28) и фрагментов переписки Белого и Блока в «символистском» томе «Литературного наследства» (Т. 27/28. М., 1937. С. 371—408: «Александр Блок и Андрей Белый в 1907 году». Публикация Вл. Орлова). После 1940 г. были выявлены и опубликованы письма Блока к Белому, поступившие из швейцарского собрания А. А. Тургеневой; из них 3 письма были напечатаны М. И. Дикман (VIII, 386—389, 389—390, 406—407; п. 275, 278, 281 в наст. изд.), 2 письма напечатала Н. Н. Примочкина (Вопросы литературы. 1978. № 10. С. 314—315; п. 283, 285). Еще одно письмо Блока (п. 70) печатается в настоящем издании впервые.

Большинство писем Белого к Блоку, не вошедших в издание 1940 года, было опубликовано в последующие годы в различных изданиях: п. 159 — Вл. Орловым в статье «История одной любви» (Орлов Вл. Пути и судьбы. Литературные очерки. М.—Л., 1963. С. 630; изд. 2-е. Л., 1971. С. 697), п. 77, 80, 97 — К. Н. Суворовой (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979. С. 37, 38, 40), п. 79, 87—89, 91, 92, 94, 152, 154, 197, 219 — А. В. Лавровым (Литературное обозрение. 1980. № 10. С. 101—107), п. 13, 161, 163 — Н. В. Котрелевым (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 202,

---

[18] Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 1.

253, 254—255), п. 49, 51 — Дж. Мальмстадом (Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 15. P. 99—102), п. 78 — А. В. Лавровым (Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 291). Кроме того, были опубликованы обширные купюры, сделанные в издании 1940 г.: из п. 23 — Дж. Мальмстадом (Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 15. P. 97—99), из п. 12 — А. В. Лавровым (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 9). П. 54, 73, 86, 90, 153, 201, 247, 277 впервые публикуются в настоящем издании.

Подробное систематизированное научное описание всего корпуса переписки Андрея Белого и Александра Блока осуществлено в издании: Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог / Под редакцией В. Н. Орлова. Составители: Н. Т. Панченко, К. Н. Суворова, М. В. Чарушникова. Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975. С. 41—58; Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979. С. 29—64.

Переписка Андрея Белого и Александра Блока печатается по автографам, хранящимся в фондах Блока (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 148—152; письма Белого) и Белого (РГБ. Ф. 25. Карт. 11. Ед. хр. 1—121; письма Блока); несколько писем, входящих в переписку, хранятся под другими шифрами в этих фондах или в других архивохранилищах (6 писем Блока к Белому — ГЛМ. Ф. 7). Точные характеристики писем по месту их архивного хранения даны в указанном каталоге переписки Блока. Тексты телеграмм не включены в общий корпус писем, приводятся в комментариях.

К переписке за 1903 г. Андрей Белый составил в 1926 г. собственные пояснения, раскрывающие или толкующие на новый лад ее содержание. Эти «Комментарии к моей переписке с Блоком» были впервые опубликованы Жоржем Нива (Cahiers du monde russe et soviétique. 1974. Vol. XV. № 1/2. P. 83—104). В настоящем издании комментарии Белого не перепечатываются как единый и связный текст, но воспроизводятся фрагментами, каждый — непосредственно после письма, к которому данный фрагмент имеет отношение.

В Приложении к основному корпусу переписки публикуется переписка Андрея Белого и матери Блока, А. А. Кублицкой-Пиоттух, служащая естественным и необходимым дополнением к переписке Белого и Блока.

Письма печатаются в соответствии с современными орфографическими и пунктуационными нормами, но с сохранением специфических особенностей, свойственных индивидуальной манере автора (включая и отдельные искаженные написания имен и фамилий) или отражающих характерные приметы эпистолярной и книжной культуры своего времени.

Подстрочные примечания, содержащие пояснения текстологического характера, а также переводы иноязычных текстов, сделаны публикатором; если подстрочное примечание входит в состав публикуемого текста, это специально оговаривается: (*Примечание Белого*), (*Примечание Блока*).

Авторские подчеркивания в тексте воспроизводятся *курсивом*, подчеркивания двумя чертами — *к у р с и в о м   в   р а з р я д к у*, подчеркивания тремя и более чертами — *ПРОПИСНЫМ КУРСИВОМ*.

В угловых скобках <> воспроизводятся недописанные части слов в публикуемых текстах, а также публикаторские дополнения и замечания. Описки и иные внешние погрешности текста, а также синтаксические и прочие несогласованности (в случаях, когда правильное написание может быть восстановлено однозначно) исправляются без оговорок.

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Издания сочинений А. Блока:

I—VIII	—	Блок Александр. Собрание сочинений. В 8 т. М.—Л., Гослитиздат, 1960—1963. Т. 1—8.
ЗК	—	Блок Александр. Записные книжки. 1901—1920. М., «Художественная литература», 1965.
ПСС I—V	—	Блок А. А. Полн. собр. соч. В 20 т. М.—СПб., «Наука», 1997—1999. Т. 1—5. Издание продолжается.

Библиотека Блока, 1—3	—	Библиотека А. А. Блока. Описание. Составили О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Под ред. К. П. Лукирской. Л., БАН, 1984—1986. Кн. 1—3.
ГЛМ	—	Отдел рукописей Гос. Литературного музея (Москва).
ГПБ	—	Отдел рукописей Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (С.-Петербург).
Золото в лазури	—	Андрей Белый. Золото в лазури. М., «Скорпион», 1904.
ИРЛИ	—	Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (С.-Петербург).
ЛН. Т. 92. Кн. 1—5	—	Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. М., 1980—1993. Кн. 1—5.
Между двух революций	—	Андрей Белый. Между двух революций. М., «Художественная литература», 1990.
Начало века	—	Андрей Белый. Начало века. М., «Художественная литература», 1990.
О Блоке	—	Андрей Белый. О Блоке. Воспоминания. Статьи. Дневники. Речи. М., «Автограф», 1997.
Письма к родным, I—II	—	Письма Александра Блока к родным. <Т. I.> Л., «Academia», 1927; Т. II. М.—Л., «Academia», 1932.
РГБ	—	Отдел рукописей Российской Гос. библиотеки (Москва).
Симфонии	—	Андрей Белый. Симфонии. Л., «Художественная литература», 1991.
РГАЛИ	—	Российский Гос. архив литературы и искусства (Москва).
ЦГИАМ	—	Центральный Гос. исторический архив г. Москвы.

Біографія.

А. Бѣлый (Б. Н. Бугаевъ) родился въ 1880 году. Окончилъ курсъ въ частной гимназіи Поливанова въ 1899 году и физико-математическій факультетъ Моск. Университета въ 1903 году. Подготовлялъ себя къ научной дѣятельности. Былъ на фил.-фак., но опять не окончилъ. Напечаталъ слѣдующія книги: „Сѣверная Симфонія" 1903 года, „Симфонія (2-ая)" 1902 года, „Возвратъ" (3-я Симфонія) 1904 года, „Кубокъ метелей" (4-ая Симфонія) 1908 года, „Золото въ лазури" (1-ый сборникъ стиховъ). Печатаются „Заклинанные [illegible]" (2-ой сборникъ стиховъ). Готовится къ печати „Серебряный голубь" (повѣсть), „Арабески" (сборникъ статей). Занятъ надъ „Драмой". Теоретически разрабатываю изслѣдованіе о символизмѣ въ связи съ гносеологической проблемой. Принадлежитъ къ символистамъ, если вообще существуетъ группировка писателей по теоретическимъ и литератур-нымъ.

А. Бѣлый

Автобиография Андрея Белого. Автограф. 1908.

1903

1. БЛОК – БЕЛОМУ

<3 января 1903. Петербург>[1]

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Только что я прочел Вашу статью «Формы искусства»[2] и почувствовал органическую потребность написать Вам. Статья гениальна, откровенна. Это — «песня системы», которой я давно жду. На Вас вся надежда. Но меня глубоко тревожит одно (единое) в Вашей статье. Об этом я хочу написать, но прежде всего должен оговориться. Я до отчаянья ничего не понимаю в музыке, от природы лишен всякого признака музыкального слуха, так что не могу говорить о музыке, как искусстве, ни с какой стороны. Таким образом, я осужден на то, чтобы вечно поющее внутри никогда не вышло наружу и не перехватило чего бы то ни было существенного из музыки искусства. Последнее может случиться только в случае перемещения воспринимающих центров, т. е. просто безумия, сумасшествия (и то — гадательно). По всему этому я буду писать Вам о том, о чем мне писать необходимо, не с т<очки> зр<ения> музыки-искусства, а с т<очки> зр<ения> интуитивной, от голоса музыки, поющего внутри, и оттуда, откуда мне слышны окружающие меня «слова о музыке», более или менее доступные. С этой оговоркой и пишу. Есть ли Ваша статья только «формы искусства»? Конечно — нет. «Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию?» Следующая фраза[3] еще настойчивее, как настойчивы Вы всегда, как настойчивы и неотвязны Ваши духовные стихи в «Симфонии»[4] и в статье об Алениной[5]. И, остановившись на этом, я почувствовал целую боль, целый внутренний рвущийся крик оттого, что Вы (дай Бог, чтобы это не было так!) заполонили всю жизнь «миром искусства». «Глубина музыки и *отсутствие в ней внешней действительности* наводят на мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну движения, тайну *бытия*». Ведь Вы *хотите* слушать музыку *будущего*! Ведь тут вопрос последней важности, который Вы *обошли* в Вашей статье. Это и нужно сказать, необходимо *во избежание соблазна* здесь именно кричать и вопить о границах, о пределах, о том, что апокалиптическая труба не «искусна» (Ваша 344 страница)[6]. Вы последнего слова не сказали, и оттого последние страницы — ужас и сомнение. Ведь это окраина, вьющаяся тропинка, на которой Вы исчезаете за поворотом, и последние слова слышны как-то уже издалека, под сурдинку, в сеточке, а Вас мы уже не видим. Ваше

лицо уже спряталось тогда именно, когда пришлось говорить о том, последнее ли музыка или не последнее? А главное, какая это музыка там, в конце? Под «формой» ли она искусства? Ведь это в руку эстетизму, метафизикам, «Новому Пути», «Миру Искусства»[7]. Вы гениально достигли полпути и вдруг свернули, улыбнулись Мережковскому с его символом-соединением (συμ–βάλλω — подумаешь, что все дело в предлоге и глаголе![8] Мертвая филология, «грех, проклятие и смерть», Индийский Дионис с его «символическим» атрибутом, скалящий зубы без смеха в глазах, без «созидающего» хохота Вл. Соловьева, с «разлагающим» хохотом Arlekino — Erl-König*)[9]. Разве у Вагнера нет ужаса «святой плоти»? Разве не одуряюще святы Зигмунд и Зиглинда и голос птички, «запевающей» Зигфриду, «манящей», инфернальной...[10] о, да! инфернальной! «Она влияет». Тут ведь каламбур, перевод на французский язык слова «инфлуэнца» — influence!** (простите за каламбур). Главное все в том, что я глубоко верю в Вас и надеюсь на Вас, потому что Вам необходимо сменить Петербург, в котором «для красы» останется один Медный всадник на болоте[11], на белокаменную Москву. В прошлом году я читал Ваше письмо к Зин<аиде> Ник<олаевне> Гиппиус с подписью «студент-естественник». Теперь оно, кажется, в Нов<ом> Пути, но я не видел журнала[12]. В этом письме все *белое*, целый свод апокалипсической белизны. В «Формах искусства» Вы *замолчали* ее. Вам неизменно приходится ссылаться на Платона, на Нитцше, на Вагнера, на «бессознательного» (конечно!) Верлэна. Но ведь «музыка сфер» — *мифологическая* глубина, ведь это пифагорейское общество, в котором все считали друг друга равными блаженным богам (ἴσον μαχαρεσσι θεοῖσιν), а *других* (!) — οὔτ ἐν λογω οὔτ ἐν ἀριθμῷ***. Ведь у них у всех последнее самоутверждение, Агамемноновские замашки пастырства народов. Ведь Пифагора, как Орфея, растерзали вакханки (символически). Ваши же цитаты *единственного не* языческого титана гласят:

«Бывшие мгновения поступью беззвучною»... и т.д. (стр. 359)[13].

Разве это о том? Ведь это вот что:

«Страсти волну с ее пеной кипучей
Тщетным желаньем, дитя, не лови.
Вверх погляди — на *недвижно* могучий
С небом сходящийся берег любви»[14].

Весь вопрос теперь в том, где у Вас *последняя* музыка, лучше сказать то, что *перестанет* быть музыкой-искусством, как только мы «вернемся к религиозному пониманию действительности». Действительно ли Вы считаете нуменальной только такую музыку (уже не «искусную»)? Не оступаетесь ли Вы на краю пропасти, где лежит граница между феноменальным и нуменальным? Прекратится ли у Вас «движение», сменится ли оно «неподвижностью солнца любви»?[15] Есть ли эта последняя музыка — яблоня, обсыпающая монашку белыми цветами забвения (2-ая Симф<ония>, 4 часть[16]) («Не верь мгновенному, люби и позабудь»[17])? Есть ли это «грустно-задумчивое»?[18] Или это ужасный, опять манящий и зовущий компромисс (хотя бы только «льдины прибрежной пятно голубое»[19])? Только ли это «пророка вéдущие сны»[20], или это последнее откровение, которым мы обязаны Вам (снявшему покровы и полюбившему вечность)?

---

* Арлекино — Лесного царя (*нем.*).
** Влияние (*фр.*).
*** Ни по слову, ни по числу (*греч.*).

Не все ли еще «мистический колодезь»? Я задаю бездны вопросов, оттого, что мне суждено испытывать Вавилонскую блудницу и только «жить в белом», но не творить белое. От моего «греха» задаю я Вам вопросы и потому, что совсем понял, что центр может оказаться в Вас, а, конечно, не в соединяющем две бездны Мережковском[21] и проч<их>. И потому хочу кричать Вам, пока не поздно. Может быть, я Вас не понял, но тут во многом Ваша недосказанность виновата. Вам *необходимо* сказать больше, вопить о границах, о том, что Изида не имеет ничего общего с Девой Радужных ворот[22], тем более, что вся глубина, вся «субстанция» Ваших песен о системе — белая, *не* «бездонная», *не* «без-óбразная». Здесь, у нас, где все «гонят лени сон угрюмой»[23], необходимо, чтобы *Вы* сочли число зверя, потому что Вы из стоящих «в челе» и на Вас «возлагаются надежды» («Симфония» 2-ая)[24]. Ваши слова гениально прозревают, потому нам нужно их *все*. Пора угадать имя «Лучезарной Подруги»[25], не уклоняйтесь и пронесите знамя, веющее и *без складок*. В складках могут «прятаться». От складок страшно. Скажите прямо, что «все мы изменимся скоро, во мгновение ока»[26]. К этому письму меня привели только намеки на «мигание» (подмигивающих) в статье, которая открывает столь громадное в другом, что об этом и говорить нужно особо (таков намек на обновление гнетущей нас Кантовской теории познания). Нам нужно более легкое бремя, данное «бедным в дар и слабым без труда»[27]. И будет легче, когда будет слышнее цветение Вашего сердца[28].

Преданный Вам Ал. Блок

Петербург. 3 января 1903.

Комментарий Андрея Белого

1) К письму Блока к Бугаеву и Бугаева к Блоку от 4-ого и 5-ого января 1903 г.*:

Письма эти, первые в переписке Блока с Бугаевым, были написаны по почину Бугаева и Блока одновременно; едва ли не встретились в Бологом; поэтому они «оба первые».

2) К письму Блока от 4-ого января 1903 г.:

Упоминаемая в письме статья была только что напечатана в декабрьском номере «Мира Искусства» за 1902 год и являлась резюмэ двух докладов, прочитанных в студенческом обществе имени Сергея Трубецкого; она, несмотря на скромность изложения основного тезиса, вызвала настоящий скандал; князь С. Н. Трубецкой отказался председательствовать на докладе; профессор Л. М. Лопатин — тоже; едва нашли приват-доцента, который согласился бы председательствовать; наконец таковой нашелся: приват-доцент Викторов. Возражали после второго доклада: Б. А. Фохт, А. К. Топорков, А. С. Кубицкий (ныне профессор), В. Ф. Эрн, Б. А. Койранский; докладчика старались разорвать на части, ибо было известно уже, что студент Бугаев и есть наделавший в Москве шум *Симфонией* (вышедшей весной 1903 года) «декадент», Андрей Белый; для Лопатина и Трубецкого то был «вящий» скандал, потому что *«А. Белый»* имел несчастие быть сыном профессора Бугаева, одного из основателей «Психологического Общества» и т.д.

---

* Ошибка в датировках; подразумеваются письма 1, 2.

3) Упоминаемое и частью напечатанное письмо Бугаева за подписью «Студент-естественник» было написано в начале 1902 года Борисом Бугаевым Мережковскому не как дружественное, а как едко-полемическое, приглашающее Мережковского высказаться яснее, что разумеет он под своим «делом» в книге «Л. Толстой и Достоевский». Оно было инспирировано разговорами у Соловьевых (смотри письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух); Бугаев был раззадорен горячим противлением О. М. Соловьевой идеям Гиппиус и Мережковскому; писалось оно от «духа» Соловьева против «духа» Мережковского; и долженствовало уличить последнего в Антихристианстве; вместо «полемики» письмо вызвало более чем одобрение со стороны Гиппиус <в письме> к О. М. Соловьевой; в этом письме приводилось более чем лестное мнение Розанова о «письме»; а Гиппиус спрашивала Соловьеву: «Неужели письмо написал Боря Бугаев, о котором рассказывают, что он нас бранит». С Борей была поверхностная встреча у Мережковских 6-ого декабря 1901 года (у Соловьевых), а с Гиппиус 7-ого декабря 1901 года. Вскоре после того, в начале же 1902 года состоялась встреча и долгие беседы *Бугаева* с *Мережковскими*, приведшие к длительной переписке с ними, во время которой О. М. Соловьева утверждала, что Мережковские оплели «антихристовыми сетями» Бугаева.

4) К тому же письму Блока:

Бугаева поразил требовательный тон Блока раскрыть «карты» своего реферата; и охватило некоторое недоумение: чего хочет Блок от 1) «Студенческого» доклада, 2) от Бугаева; Бугаев сознавал «двойственность» своей позиции; но если бы ему пришлось выбирать, что следует убрать из реферата, то он убрал бы «Апокалипсис», опустив над «Музыкой конца» методологическое забрало; то вытекало из его идеологической платформы, зовущей от «глоссы» к умению овладеть ей и рассудочно; Бугаев считал, что если и настала пора «проповеди», то ни университет, ни, тем более, «Мир Искусства» не может быть ареной той проповеди; более всего изумлял Бугаева взгляд некоторых на него, как на кандидата в юродивые (для одних), в пророки (для других), в добролюбовца (для третьих); уже Брюсов в 1901 году пытался заговорить с Бугаевым языком «первых декадентов»; и удивлялся, что Бугаев не пошел на этот «жаргон»; признавался разочарованно Дягилев, что он ожидал встретить «проповедующего» Белого, а встретил весьма «приличного» студента; Бугаев считал себя соловьевцем; и в качестве такого придавал значение и философии и ее языку; подходы к нему как к «вещателю» вызывали в нем неприятную оскомину; в письме Блока — опять-таки, как бы требование от него «глаголов»; а это уже означало для него faux pas в тактике; он затаил этот налет чуждости в тактике Блока, растерялся, не зная, как в дальнейшей переписке согласовать свой *тон* с *тоном* Блока; смерть Соловьевых, экзамены отсрочили выявление этой затаенности, но она сказалась в попытке полемизировать с Блоком в более поздних письмах.

---

[1] Значительные фрагменты из письма Андрей Белый включил в свои «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 17—19).

[2] Эта статья Белого (подписанная его настоящим именем: Б. Бугаев) была опубликована в журнале «Мир Искусства» (1902. № 12. С. 343—361; вошла в кн.: Андрей Белый. Символизм. Книга статей. М., 1910. С. 147—174, там же — С. 507—523 — позднейшие авторские комментарии к

тексту). Статья представляла собой попытку иерархического построения творческих форм на основе философско-эстетических положений А. Шопенгауэра.

[3] Подразумевается следующий фрагмент статьи Белого: «Д. С. Мережковский определяет символ как *соединение* разнородного в одно. В будущем, по мнению Соловьева, Мережковского и других, нам предстоит вернуться к религиозному пониманию действительности. Музыкальность современных драм, их *символизм*, не указывает ли на стремление драмы стать мистерией? Драма вышла из мистерии. Ей суждено вернуться к ней. Раз драма приблизится к мистерии, вернется к ней, она неминуемо сходит с подмостков сцены и распространяется на жизнь. Не имеем ли мы здесь намека на превращение жизни в мистерию? Не собираются ли в жизни разыграть некую всесветную мистерию?..» (Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 105).

[4] Подразумевается вышедшая отдельным изданием «Симфония (2-я, драматическая)» (<М.,> «Скорпион», <1902>) Андрея Белого — его литературный дебют. Под «духовными стихами» Блок, видимо, подразумевает цитируемые в «Симфонии» молитвенные формулы (см.: *Симфонии*. С. 163—164).

[5] Аленина — М. А. Оленина-д'Альгейм, камерная певица; восторженные впечатления от ее исполнительского творчества Белый изложил в статье «Певица» (Мир Искусства. 1902. № 11. С. 302—304), в которой, в частности, процитировал две строки из стихотворения Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (с. 303), тогда еще не опубликованного.

[6] Имеется в виду следующее место статьи Белого: «В музыке постигается сущность движения; во всех бесконечных мирах эта сущность одна и та же. Музыкой выражается единство, связующее эти миры, бывшие, сущие и имеющие существовать в будущем. Бесконечное совершенствование постепенно приближает нас к сознательному пониманию этой сущности. Надо надеяться, что нам возможно приблизиться в будущем к такому пониманию. В музыке мы бессознательно прислушиваемся к этой сущности... В музыке звучат нам намеки будущего совершенства. Вот почему мы говорим, что она о будущем. В Откровении Иоанна мы имеем пророческие образы, рисующие судьбы мира. "Вострубит бо, и мертвые восстанут, и мы изменимся"... Труба архангела — эта апокалиптическая музыка — не разбудит ли нас к окончательному постижению явлений мира? Музыка — о будущем...»

[7] «Мир Искусства» — художественное объединение и одноименный художественный и литературный журнал, выходивший в Петербурге в 1899—1904 г.; «Новый Путь» — петербургский литературный и религиозно-публицистический журнал (1903—1904), публиковавший, в частности, стенограммы Религиозно-философских собраний. См.: Журналы «Новый Путь» и «Вопросы Жизни». 1903—1905 гг. Указатель содержания / Составитель Е. Б. Летенкова. СПб., 1996.

[8] Одно из многочисленных значений этого греческого глагола — «соединять».

[9] Erlkönig — мифологический образ, отраженный в одноименной балладе Гете (1782), переведенной на русский язык В. А. Жуковским («Лесной царь», 1818).

[10] Подразумеваются герои музыкальной драмы «Валькирия», 2-й части тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга», и эпизод из 3-й части тетралогии, «Зигфрид» (действие 2-е).

[11] Подразумевается следующий фрагмент из романа Достоевского «Подросток» (ч. 1, гл. 8, I): «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?"» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1975. Т. 13. С. 113).

[12] Это письмо Белого, посланное З. Н. Гиппиус, Блок получил от самой Гиппиус 26 марта 1902 г. и сделал из него обширные выписки в своем дневнике (см.: Юношеский дневник Александра Блока / Публикация Вл. Орлова // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 325—327; Блок А. Дневник. Подготовка текста, вступ. статья и примечания А. Л. Гришунина. М., 1989. С. 41—45). Письмо Белого было опубликовано в извлечениях (лишь частично совпадающих с выписками Блока) за подписью «Студент-естественник» и под заглавием «По поводу книги Д. С. Мережковского "Л. Толстой и Достоевский". Отрывок из письма» в отделе «Из частной переписки» журнала «Новый Путь» (1903. № 1. С. 155—159).

[13] Заключительная строфа стихотворения Вл. Соловьева «Les revenants» («Тайною тропинкою, скорбною и милою...», 1900):

Бывшие мгновения поступью беззвучною
Подошли и сняли вдруг покрывала с глаз.
Видят что-то вечное, что-то неразлучное
И года минувшие — как единый час.

[14] Заключительная строфа стихотворения Вл. Соловьева «Иматра» («Шум и тревога в глубоком покое...», 1895).

[15] Обыгрываются заключительные строки стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887): «Все, кружась, исчезает во мгле, // Неподвижно лишь солнце любви».

[16] Подразумевается фраза из «Симфонии (2-й, драматической)»: «И опять обсыпала яблоня монашку белыми цветами забвения...» (*Симфонии.* С. 193).

[17] Неточно приводится заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «Какой тяжелый сон! В толпе немых видений...» (1886); в оригинале: «Не верь мгновенному, люби и не забудь!»

[18] Подразумевается фраза из «Симфонии (2-й, драматической)»: «*Что приближается, что идет,* милое, невозможное, грустно-задумчивое...» (*Симфонии.* С. 193).

[19] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Иматра».

[20] Цитата из стихотворения Дм. Фридберга «Тютчев и Баратынский» («Северные Цветы на 1901 год». М., 1901. С. 118).

[21] Ключевой образ религиозной метафизики Д. С. Мережковского: бездны «верхняя» и «нижняя», символизирующие противоположность духа и плоти, христианства и язычества, преодоление которой осуществится в грядущем воплощении Третьего Завета.

[22] Обыгрывается заключительная строфа стихотворения Вл. Соловьева «Нильская дельта» («Золотые, изумрудные...», 1898):

Не Изида трехвенечная
Ту весну им приведет,
А нетронутая, вечная
«Дева Радужных Ворот».

Образ египетской богини Изиды (Исиды), дочери неба и земли, символизирует здесь магическое, сокровенное знание; гностический образ Девы Радужных Ворот идентифицируется с представлением о «Душе мира» или «Вечной Женственности».

[23] Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня» («Приветствую тебя, пустынный уголок...», 1819); в оригинале: «Он гонит лени сон угрюмый».

[24] В тексте «Симфонии (2-й, драматической)» приводимые Блоком словосочетания не выявлены.

[25] Образ из стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...» (1898) в первопечатной редакции (Книжки Недели. 1898. № 12. С. 49):

Тает лед, утихают сердечные вьюги,
Расцветают цветы...
Только имя одно лучезарной подруги
Угадаешь ли ты?

[26] 1 Кор. XVI, 51—52 (неточная цитата).

[27] Источник цитаты не выявлен.

[28] Образ «цветения сердца» восходит к стихотворениям «Белые колокольчики» (1899) Вл. Соловьева: «Наше сердце цветет и вздыхает...» — и «Я тебе ничего не скажу...» (1885) А. А. Фета: «И я слышу, как сердце цветет». 23 декабря 1902 г. Блок писал М. С. Соловьеву, подразумевая статью «Формы искусства»: «...действительно страшно до содрогания "цветет сердце" Андрея Белого. Странно, что я никогда не встретился и не обмолвился ни одним словом с этим до такой степени близким и милым мне человеком» (VIII, 48—49).

Позднейшую интерпретацию первого письма Блока к нему Белый дал в двух версиях воспоминаний о Блоке: «А. А. Блок с чрезвычайной чуткостью ухватывает слабые пункты моей

юношеской статьи. Она написана академически. Музыка, влияющая на изменение человеческих отношений, — музыка ли? Он ухватывает тот факт, что самой музыкой, как формой искусства, я оперирую двояко: с одной стороны, музыка у меня только музыка, с другой стороны она "музыка" совсем в ином смысле — она символ души мировой стихии, или той, кого Соловьев называл "Темного хаоса светлая дочь". И вместо того, чтобы смело, с открытым забралом, выбросить свой новый лозунг жизненного преобразования, вместо того, чтобы заговорить о Софии Премудрости, по-новому соединяющейся с человеком (Антропо-Софии), я таинственную Лермонтовскую "полумаску" превращаю в "маску", и этою "маскою" для непосвященных является для меня музыка. Эта подставка тривиального, ничего не говорящего знака эпохи вместо имени и лика самой эпохи, которая несет нам благовестие Девы-Зари-Купины, эта подмена с моей стороны есть слишком осторожное отступление от смелого революционного боя с рутинным сознанием современности, к которому все истинно новое призвано. Влияет инфлуенца — этим он хотел сказать, что нам, призванным концентрировать до nec plus ultra мистику соловьевства, не следует распыляться в эстетических личинах. Все письмо написано скорее афористическим стихом, дышит игрою и юмором. Оно одновременно и восхитило и озадачило меня: живого Блока я не представлял себе таким. Я его представлял более тихим, экстатически созерцающим. Ум, юмор, соединенный со скепсисом, показал мне в высоко ценимом поэте, в "мистике" и просто умного человека. Интеллектуалиста я менее всего ожидал встретить в Блоке» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 20); «А. А. Блок в обстоятельном первом письме разбирает позицию моего реферата; он чутко впивается в слабый мой пункт: я существенно статьей не сказался; в ней жест — в сторону академизма, рутины; статья — полумаска; в ней я обрекаю себя на досадную двойственность: слово "музыка" берется в двух смыслах; "музыка" в обыкновенном значении не может быть "музыкой сфер", символом неизреченного в звуке, символом символов, к которому стремится культура. Символом Той, Которая одна во всех музах. Эта муза есть "музыка": она же — София, вещающая в поэзии Соловьева; о Ней я центрально сказал уже стилем симфонии; но в статье, оробев, отступил от себя, назвав Ее музыкой (в двоящемся смысле): тут двусмысленность, подобная "инфлуэнце"; и "инфлуэнца" — "влияет"; "влияние" моей музыки есть влияние "двусмыслицы", почему отступаю я от реального смысла в двоящийся смысл, в риторический, уподобляя свои знаки слов аллегориям Мережковского, для Блока кощунственным, мертвым, подобным застывшей гримасе холодного арлекина (Erl-König'а), оплотневающего до каменной рожи, до истукана, рот рвущего в хохоте перед разливом фаллических культов; мне, призванному обнажить меч за правду Единого Имени, следует выставить на знамени Имя Рек, не опуская над именем полумаски; "музыка" моя — "холодная полумаска". Зачем обрывается на полдороге мой голос. <...> письмо — изумительное сочетание: из глубоких мыслей, юмора, мистики и полемического огня <...>» (*О Блоке*. С. 44).

---

2. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. 1903 года. 4-го января[1].

Многоуважаемый Александр Александрович!

Пользуясь данным разрешением, я пишу Вам несколько слов. Пусть они служат основанием нашего знакомства[2].

Лично мы не знаем друг друга. Я затрудняюсь — о чем мне писать? Важно не то, с «погоды» или «непогоды» я начну — важно то, что у меня возникает естественная потребность ближе познакомиться с Вами. Разбросанные *здесь* и *там*, мы уже можем не удовольствоваться *для самих себя и только* нашим субъективизмом. Это уже не бред единичных чудаков, разделенных ото всех глухой стеною, так что солидарность с окружающими достигается единственно при условии *внешности... слишком внешности*. В бездне индивидуального оказалось

нечто и объективное, и *«интимно»*-личное. Личное не оказалось индивидуальным. В то время когда каждый думал, что он один пробирается в темноте, без надежды, с чувством гибели, оказалось — и другие совершали тот же путь. И вот — разными путями прошли какую-то промежуточную зону, лежащую между *«внешним»* и *«внутренним»* знанием, соприкоснулись с Одной Истиной, хотя часто и с разных сторон. Значит, существовало то, что заставляло *начать бред среди бела дня*. Значит, возможно общение друг с другом из *«бессмертных далей»*.

Легче дышать.

Веселей путь. Не чувствуешь себя таким одиноким. Проверяешь себя. Проверяешь других. Просишь помощи. Советуешься. Помогаешь.

Не знаю, это ли внушило мне мысль так прямо обратиться к Вам — но мне приятно ближе узнать Вас.

Вот и Ваши стихи.

Они мне *знакомы*[3]. Как-то лично заинтересован ими, пристально читаю — не потому ли что есть в них что-то общее — общее, неразрешенное? Точно мы стоим перед решением вечной задачи, неизменной... и чуть, чуть страшной.

Или это не так?

Я не коснусь подробного изложения всего того, что, как мне чудится, звучит в них. Это, быть может, задело бы Вас, а меня ввело бы в круг вопросов, которых я не желал бы, да и не мог касаться в первом же письме.

Я скажу только то, что Ваши стихи мне чрезвычайно нравятся и с чисто-эстетической стороны. В них положительно видишь преемственность. Вы точно рукоположены Лермонтовым, Фетом, Соловьевым, продолжаете их путь, освещаете, вскрываете их мысли. Необычайная современность, скажу даже преждевременность, тем не менее уживается с *кровной преемственностью*. Этой преемственности, не говоря уж о бесконечной плеяде *«стихистов»*, не хватает у таких безусловно интересных поэтов, как Бальмонт, Ф. Соллогуб и мн<огие> др<угие>. Скажу прямо — Ваша поэзия заслоняет от меня почти всю современно-русскую поэзию. Быть может, это и не так, но *не я* компетентен в критике.

Надеюсь, Вы простите этот нестерпимо-глупый тон моего письма и оправдаете меня: мне ведь хотелось написать Вам, не касаясь *того* или *другого*, а просто так... Мне было бы чрезвычайно приятно, если Вы пожелаете откликнуться на мое *«приглашение к переписке»*.

Остаюсь искренне уважающий Вас и расположенный

Борис Бугаев

Комментарий Андрея Белого

5) К письму Бугаева от 4-ого января 1903 г.:

Сказанное о «тоне» письма Блока к Бугаеву подтверждается тоном письма Бугаева к Блоку, более «глухому», «застегнутому», «официальному».

---

[1] Написано до получения п. 1. Датировка подчеркнута Блоком красным карандашом; помета Блока красным карандашом: «1-ое письмо».

[2] «Разрешение» написать Блоку было получено от его матери, А. А. Кублицкой-Пиоттух, через О. М. Соловьеву, в неизвестном нам письме к ней от 1 или 2 января 1903 г. 22 декабря 1902 г. О. М. Соловьева извещала А. А. Кублицкую-Пиоттух: «... Боря очень хочет написать Саше, но не решается и просил, чтобы я спросила, не сочтете ли вы это странным или неловким. Я его уверяла, что не сочтете, но он все-таки просит меня написать»; в письме к ней же от 31 декабря 1902 г. вновь задавала тот же вопрос: «Что же ты не пишешь, можно ли ему написать Саше? Какой, по-моему, глупый вопрос. Конечно, пусть пишет, по-моему» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 193, 194). Ср. «Воспоминания о Блоке» Белого: «Помнится: в первых же числах января 1903 года я написал А. А. витиеватейшее письмо, напоминающее статью философского содержания, начав с извинения, что адресуюсь к нему; письмо написано было, как говорят, “в застегнутом виде” <...>. К своему изумлению на другой уже день получаю я синий, для Блока такой характерный конверт, с адресом, написанным четкою рукою Блока, и со штемпелем: “Петербург”. Оказалось впоследствии: А. А. Блок так же, как я, возымел вдруг желание вступить в переписку; письмо, как мое, начиналось с расшаркиванья: не будучи лично знаком он имеет желание ко мне обратиться, без уговора друг с другом обоих нас потянуло друг к другу: мы письмами перекликнулись» (*О Блоке.* С. 43—44).

[3] С рукописями стихотворений Блока, присланными семейству Соловьевых, Белый впервые познакомился в конце августа 1901 г. (см. письмо О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 3 сентября 1901 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 174—176). Множество ранних стихотворений Блока зафиксировано в списках, сделанных Белым (см.: Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока // *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 224—225, 241—246).

---

3. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 января 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый Александр Александрович!

Только что отправил Вам письмо, как получил Ваше. Отвечаю.

Мне приятно, что Вы прямо указали на слабое (незащищенное) место моей статьи. Я прекрасно сознаю, но не окончательно повинен.

Моя статья написана для студ<енческого> общества, где и прочитана с соответствующими нагромождениями[2]. Но скажите, — мог ли я *прямо* высказаться в студенческом обществе, где довольствуются бескровным, кантовским идеализмом, еще фальсифицируя его? И эту фальсификацию выдают за неокантианство!? Моя цель была издали сказать (и между прочим) *имеющим уши*. Отсюда необычайная популярная общедоступность во внутреннем. С другой стороны: моя статья осколок моих взглядов, конспект (не больше) первой ступени с намеками (не больше) на характер дальнейшего. Если освободиться от этих намеков, останутся именно *«Формы искусства»*. *«Мигание»* же получается от уклонения из области феноменального под оболочкой реторич<еских> отступлений. Ошибка моя — я поднял уголышек завесы и, подняв, не открыл до конца. *«Содержание искусства»* — вторая ступень: раскрытие идейности (Платон, Шопенгауэр, Соловьев (идеалисты); Лотце, Лейбниц (монадологи)). Идеи видовые (объективные и субъективные). Конкретное проявление идейности в формах и направлениях. Музыкальные (родовые) идеи как внутренний аккомпанемент к действительности из *«глубин духа»*, как влечение к дальнему, как приближение к последнему обобщению: последнее обобщение — Мировая Идея,

Душа Мира, воплощающая Божеств<енный> Логос, *«Лучезарная подруга»*. *«Искусство с т<очки> з<рения> религии»* — теософски-религиозное обоснование и раскрытие вышесказанного. Центр Вашего письма — указание на недостаточно резкую границу у меня между искусством и более чем искусством, т. е. теургией; но мой угол зрения в статье — формы. *«Искусство с т<очки> з<рения> истории и современности»*. Взгляд на эволюцию искусства, рассматриваемого 1) формально (дух музыки), 2) идейно (искание Лучесветной Подруги), 3) мистически (последняя музыка Конца).

В статье перспектива не соблюдена. Смутно намекаю «о *главном*» в чуждой сфере формальности. Свожу пространство к плоскости. Сливаю музыкальность в собственном смысле с мистически переносным. Если захотите придраться, получается прямо абсурд: вневременное и внепростр<анственное>, раскрывая тайну движения, оказывается и в пространстве, и во времени, т. е. в движении. Определение самого себя самим собою! Но вещь может определяться собою, если плоскостную проекцию мы переведем на пространственный язык. Тут теософское воззрение об отношении личного к индивидуальному. Тут вечный вопрос о механизме и организме, о рабстве и свободе, о возвратном и безвозвратном, о круге и прямой (и совмещении их в спирали), о времени и безвременьи, о символизме и воплощении, об искусстве и теургии. Тут о двуединстве в природе человека, о *двух* и их *единении*, но в надмирном, потусветном и потуцветном, а не здешне-делательном. Тут об утонченной веселости безмирно-пьянящего, белого аскетизма свободы и о гнетуще-бессильном в своей огненности языческом оргиазме. Тут о самоутверждении в Нем и не в Нем — т. е. в «*другом*». Тут — скажу избито — о Христе и Антихристе.

Тут мы врезываемся в следующую зону о музыке. Тут приходится говорить несколько центральнее.

Музыка, как внутренне-звучащее, так и внешнее ее выражение в обычно понимаемом смысле, ближе всего к прозрению запредельного. Здесь явственный отблеск запредельного. Запредельно добро. Но и зло тоже запредельно. Итак, двойственность запредельного, двойственность музыкальных отражений. Музыка — последняя оболочка — Преддверие Храма. Вокруг Святыни и вне ее — всегда роится мерзкая туча. Недаром на Соборе Пар<ижской> Богоматери изображения демонов.

В музыке, вокруг музыки *«старый бой разгорается вновь»*[3] и с мучительной силой. Если бы воплотить всю силу музыки в образы, этот бой подавил бы нас своей величиной и мистическим значением. Отсутствие в музыке внешней действительности ослабляет эту силу боя (иначе душа бы не выдержала).

На каждую музыку (в существе своем двойственную) в человеке отзывается преобладающее в нем начало. Помимо разнообразия *«музык»*, одна и та же музыка одних просветляет, других омрачает (увертюра к «Тангейзеру»[4] меня страшит, а других умиляет). Каждый понимает бессознательно, что музыкой решится судьба его. С одной стороны, музыка еще искусство, поскольку она вне добра и зла как женское начало само по себе — *«начало двусмыслия»*. *«Душа Мира есть существо двойственное»* (Вл. Сол<овьев>)[5]. Воплощая Христа, Она — София, Лучистая Дева; не воплощая Христа — Лунная Дева, Астарта, Огнезарная Блудница, Вавилон. Встреча с Господом необходима путем искания Лучезарной Подруги, которая в момент встречи явит Господа. В этом смысле Она — *«Дева Радужных Ворот»*. Встреча со Зверем — в астартизме. *«Конец»* — в символическом и воплощенно-историческом смысле понимается или ужасом, или любо-

любовью. Апокалипсическая труба — и радость, и ужас. В Апокалипсисе — и жгучесть огня, и белизна холодного снега — убеленность.

Эти противоположные отблески звучат и борются в музыке. *«Она —искусство движения»*. Недаром в *«симфониях»* всегда две борющиеся темы; в музыкальной теме — она сама, отклонение от нее в многочисленных вариациях, и возврат *сквозь огонь диссонанса.*

Ритм — как повторность временного пульса — связан с идеей Вечного Возвращения, музыкальной по своему существу (недаром Ницше, величайший стилист (т. е. музыкант в душе), автор понятия *«дух музыки»*, наконец сам прекрасный музыкант и даже композитор, — первый выкрикнул это носящееся в воздухе *«Возвращение»*). «Кольцо колец — кольцо возврата»[6] — мистический атеизм. Но в самой идее о вечн<ом> возвращении есть нечто иррационально недосказанное (это хорошо у Шестова и Мережковского). Мистический атеизм — это первая зона, а за ней нечто мягкое, чуть ли не *белое* в *Возврате*... Ведь Ницше тоже сначала *белое дитя,* задохнувшееся в когтях — Козлище отпущения. Он смешал феноменальное с нуменальным. Захотел видеть свечение Вечности там, где существует лишь двусмысленная относительность. Случайно освятил эту двусмысленность. Преждевременно провозгласивший, заголосивший, Ницше не совладал с собственным голосом, не узнал в этом ржании кентавра свою дивно-звучную музыку. Утих. Ушел. Быть может, *«вернулся»*.

Борьба Астарты с Лучезарной Подругой (как Вы это прекрасно понимаете), Антихриста и Христа — вот одна линия раскола в музыке. Борьба эстетического и мистического в ней же — вот раскол в плоскости как бы перпендикулярной. И всё борьба — вихрь боя, ритм. Недаром величайшие музыканты, Бетховен и Вагнер, ритмичны, возвратны до невозможности.

Наша музыка только знак. Углубляясь, нам звучат удаленные призывы — чуть-чуть трубы, чуть-чуть петушье пенье. *«Тогда прокричал петух»*[7]. Вы пишете, что я попутно *«улыбнулся»* Мережковскому, но он — о символах: музыка — символ того, что за музыкой, символ воплощаемого. Я понимаю близко к Мережковскому, но в противоположных смыслах прилагаю.

В музыке все то же, да не то.

О Вагнере Вы правы. Но и Вагнер нет-нет и вспомнит о чем-то, подавляя вздох (я вспоминаю характерные даже не лейт-мотивы, а промежуточные вставки в несколько аккордов, проходящие сквозь *все творчество* Вагнера). Точно Ницшевский вздох — тоже характерный для Ницше: «Счастье — старая капля золотого счастья, золотого вина». (Я на память)[8]. Или: «Ты моя родина, возвращение... Теперь грози мне, как грозят матери вернувшемуся ребенку, шепча: “А кто это тогда вихрем умчался от меня?”» (на память)[9].

Что музыка символизирует вообще, то *воплощается* в жизнь с момента тяготения нашей культуры к духу музыки. Музыкой как бы приглашаются, призываются силы Небесные или Темные *«окончательно воплотиться»*[10]. Поэтому она — магия, и всякая магия — музыкальна. «От тяжелого бремени лет я спасался одной ворожбой. И опять ворожу над тобой, но неясен и смутен ответ» (Ваше)[11]. Разве это не музыкой? Музыка — созерцание метафизической воли по Шопенгауэру. Вот что до некоторой степени бросает свет! Еще один просвет!

Музыка связана с будущим, с тем, что еще нисходит в нашу область из высших стадий астрального. Музыка звездиста. *«И дал ему звезду утреннюю»* (Ап<окалипсис>).....[12]

Тут открывается мне еще третья зона о музыке, сюда начинают вкалываться мои слова, но я обрываюсь, потому что... где у меня слова? Тут я говорю сис-

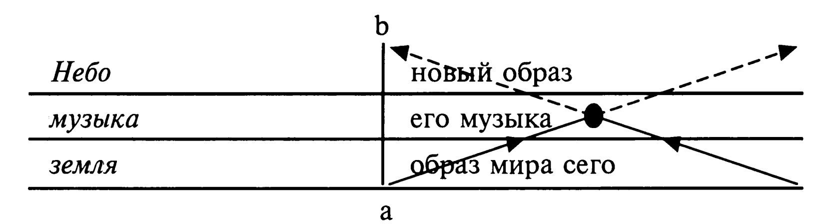
темой знаков. Если позволите, я скажу Вам, но на ином языке и не теперь. И так письмо мое непредвиденно разрослось.

Есть ли музыка *«грустно-задумчивое»*? (Спасибо за то, что Вы поняли, где центр моей *«Симфонии»*!). Обычная музыка — нет, нет и нет! Но она — путь между прочим и к *«грустно-задумчивому»*. Обычная музыка — бой, продолжающийся в *ней*, до возвышения, утончения ее до *«Креста»*. А следует помнить, что символ четвертого посвящения египетских мистерий (так кажется) — *«крест»*. Здесь силы тьмы уже не властны. Крест прогоняет тьму. *«Да»* и *«нет»*, доселе сплетенные[13], расходятся в разные стороны. Дальше ослабление тьмы продолжается, пока на «7-ой» ступени не сверкнет ослепительно белый луч Мистического Солнца. Если Вы вспомните, что я говорил о двух перекрестных, перпендикулярных компромиссах в музыке, +, то увидите кое-что сходственное, а для меня это *кое-что* по моей системе знаков углубляется ***в невыразимое, ослепительно видимое. Крест,*** находясь в ***четвертом, посреди*** мистической семерки, разделяет *«трясину ужаса»* от солнца, стоит на границе Ветхого и Нового Завета. Здесь и величайшая радость (совершающееся искупление) и горе (распятие) и смущение (ужас, сгустивший<ся> над Голгофой, старый бой, разгоревшийся с новою силой перед схождением света во Ад).

От оргийного язычества до музыки, — вот одна ступень (от грехопадения до начала мирового искупления). В музыке узел, вершина, двузначность, переход, бой и движение, символизируемое беспредметным звучанием. От музыки до Богоявления. Исторически-воплощенно оно совершилось раз, в Палестине. Символически совершается в сердце каждого, бывает в каждой культуре, непрестанно живет в веках и народах — это желанное чувство, чувство... Христово. Но я молчу.

Музыка на распутье. В ней намеки и на то, что за ней. Музыка безо́бразна, как переход к новым образам. Символ ее — сведение всякого образа к точке, к безо́бразности, к дыре, к мистическому колодцу, чтобы сквозь *«колодезь»* восстановить *«старый образ мира»*, который проходит в музыке, в *«новый»*. Если поэзия символизируется прямой, музыка — точкой, а в точке — внемерность, безмерность (игра слов психологически верная, ибо в музыке *то же, да не то же*). Горчичное зерно сперва погибнет, а потом восстановится в ростке. «Новое небо, новая земля»[14] — *новый образ мира сего* (понимаемый отнюдь не хилиастически — *хилиазм осужден на Вс<еленском> Соборе*)[15].

Наглядно:



«ab» — это расстояние мгновенно будет пройдено в *«тот день»*. Но оно может и символически разыгрываться, подготовляться, в прохождении. *Вся жизнь мира* мгновенно пронесется перед духовным оком. В *«мгновенном»* и теперь мы иногда провидим не только музыку, но и *новизну оттуда. «Преображение возносимого сквозь музыку»* — его печать — *белизна, запечатленность* при созерцании его. Недаром в *«Откровении» «новый»* и *«белый»* почти синонимы!

Боже мой, что Вы говорите! Центр может оказаться во мне? Убедительно прошу Вас оставить эту мысль: не во мне, а в нас вообще, недалеко, быть может, от нас. Мы должны прислушиваться друг к другу, к тишине, возмущаемой ныне, молиться — и верить, верить без конца. *Не начинать. Терпеливо ждать. «Оно»* — легко и ясно, мило и ласково. Коль скоро двойственность, неотчетливость в *ви́дении,* значит не то, не так. В промежуточной зоне в *первом, втором, третьем* проносятся ужасы Беса; замутится ясность, подернется — будто крыло летучей мыши — здесь осторожность! В *глубине* (4-ое, 5-ое, 6-ое, 7-ое) — такая радость, такое счастье!!

Христос Воскрес! Природа медленно очищается в радостном томлении! Искупление недаром! Оно — наш восторг и — с нами, с нами! Розовая улыбка Вечной Подруги, Ее Пасха, привет в волнах лучисто-голубого эфира Вечности — знаю я!

«Клятве ты изменил, но изменой своей
Мог ли сердце мое изменить!»[16]

Не будем же унывать! С нами Новый Завет!

Остаюсь весь Ваш

Борис Бугаев

Москва, 6-го января*. 1903 года.
Мой адрес: Москва. Арбат, д. Богдановой, кв. № 11.

Комментарий Андрея Белого

6) К письму Бугаева от 6-го января:

Думается, что в датах вкралась ошибка; первое письмо Блока, вероятно, писано мне не *пятого,* а *четвертого* января; 6-ое января, т. е. дата 2-го письма — не точна; 6-ого января, может быть, уже заболел М. С. Соловьев, и я не мог бы прочесть ему своего ответа Блоку; а я — читал; и он еще не был болен; в датах первых писем есть ошибка; я бы все их передвинул на один день.

К письму Бугаева от 6-ого января:

Рассуждения, невнятные, о родовых и видовых идеях и о Душе Мира совершенно непонятны без учения об идеях в проблеме интуитивного мышления, как оно ставится философией Вл. Соловьева, согласно которому отношение между объектом и содержанием идей — не обратное (как в логике рассудка у Канта и Аристотеля), но прямое: родовые идеи в Интуиции *содержательней* видовых; в *«эстетике»* Бугаева того времени — основная мысль: музыка — сфера наиболее *родовых* идей, т. е. максимально содержательных в проблеме интуиции; отсюда связь музыки (прямая) с самой «Душой Мира»; Бугаев глотает в письме к Блоку все это разжевывание основ *соловьевства,* в нем сидящее, предполагая, что Блок «Соловьевец» par excellence. Отсюда: формальный разгляд живой силы искусства — градация форм, равнение по музыке; разгляд содержания музыки, как *идеи* — теософический гнозис идей «Душа Мира». Поэтому блоковское «еще искусство» и «уже не искусство», — не в *что*, а в *как* подхода; Блок смущает Бугаева своим «уже» и «еще», для Бугаева и «еще» и «уже» не в объекте, а в субъекте; но он не умеет Блоку еще внятно растолковать разности в методе подхода к трактовке общих тем; и от этого суетливо «вихляет» в письме.

---

* В автографе описка: «декабря»; сверху исправлено (рукой Блока): «*января*».

7) К тому же письму:

«если захотите придраться, получается абсурд: вневременное и внепространственное... оказывается в пространстве и во времени». Это пункт, бывший предметом нападок на Бугаева со стороны неокантианцев на докладе; Бугаев едва оборонился, отстаивая «отдушину» мистики; теперь — приходится обороняться от Блока, защищая форму; и Бугаев внутренне сердится. Все, что далее в письме, — попытка отстоять основную идею: градации, многообразия в единстве, форму в движении, многострунности, темы в вариации против «однострунности», «монизма» только мистиков или только рационалистов, и уже ощущение, что в теософской идее *кармы* и перевоплощения он найдет нечто, адекватное своему стремлению, не понятому в нем ни Блоком, ни кантианцами, ни декадентами. Далее: *«Музыка — последняя оболочка — преддверие Храма»*, т. е. *«тема в вариациях»* — оболочка ритма *перевоплощения;* эту свою фразу услышал Бугаев через 12 лет, в Дорнахе, из уст Штейнера (его лекция о музыке). И еще ниже: *«Ритм — как повторность временного пульса... В музыке все то же да не то...»* Бугаев лишь в «Истории самосознающей души» вскрыл свои мысли о музыке, его преследовавшие всю жизнь; но в 1903 году он мучительно чувствовал, что здесь, именно А. А. Блок его не понимает; и — путаясь, конфузился, сердился одновременно, строча свой ответ. Далее: «музыка звездиста»: «И дал ему звезду утреннюю». Здесь — та же идея; музыка как предпуть, уже в предпути — путь; и *форма* и *не форма* — одновременно; и не какая-нибудь «музыка конца», а *та* вот: например: «Тема в вариациях Шуберта».

Блок этого, по мнению Бугаева, не хотел понять; тут пока *замалчивается* кардинальная разность в установке лозунгов символизма, это лишь позднее открылось. Для Бугаева *«символизм»* других искусств лишь о «музыке»; в недрах же музыки (какой ни есть) уже начало совлечения оболочек; ибо *то*, о чем музыка, уже *иога* пути; для Блока все формы (музыка) — *старое*; запевание *символизма*, в чем бы оно ни выразилось, по другую сторону, в *новом*. Отсюда у Блока того времени лейтмотив, *раздражающий* внутренне Бугаева: «Пора начинать, уже пора!» Бугаев только и делал, что рисовал «срывы», вытекающие из *«уже»* (и «Московская Симфония» и «Не тот» и т. д.). И это не означало для Бугаева срыва его, бугаевского, credo. В блоковском максималистическом нетерпении «уже пора» — он в 1903 году видел опасность, усилие, ну́денье, немного «жар и бред»; и отсюда если и проповедовал что, то — *тишину* и *терпеливость*. Отсюда — не слова для Бугаева того времени: «Мы должны прислушиваться друг к другу, к тишине, возмущаемой ныне... Не начинать. Терпеливо ждать. Оно легко и ясно, мило и ласково». Бугаев до переписки с Блоком был напуган блоковскими строками: «Мне страшно с тобой встречаться» (смотри боязнь *«страшных»* стихов Блока у О. М. Соловьевой: Бугаев вполне разделял эти разговоры у Соловьевых об опасностях, угрожающих Блоку). Конец письма с его «Христос Воскресе» — сознательный вызов Блока: сказать «да» теме «Христос», ибо было подозрение, что у Блока «Она» — «без Христа».

---

[1] Ответ на п. 1. Помета Блока красным карандашом: «1903, 6 января».

[2] Реферат был прочитан в Студенческом историко-филологическом обществе при Московском университете в ноябре 1902 г. Ср. свидетельства в ретроспективных записях Белого «Себе на память»: «17) Ноябрь. «О формах искусства», реферат в студенческом общ<естве> имени Трубецкого (участвуют в прениях прив<ат->доцент Викторов, Фохт, Койранский, Топорков). <...>

18) Ноябрь. «О формах искусства» (продолженье реф<ерата> <...> участвуют в прениях Кубицкий, Эрн, Фохт, Койранский)» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 96).

[3] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «На палубе “Торнео”» («Посмотри: побледнел серп луны...», 1893).

[4] Опера Р. Вагнера (1845).

[5] Это положение сформулировано Вл. Соловьевым в «Чтениях о Богочеловечестве» (чтение девятое). См.: Соловьев В. С. Соч. В 2 т. М., «Правда», 1989. Т. 2. С. 131.

[6] Образ из философской поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (ч. 3, фрагмент «Семь печатей», рефрен); ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «О, как не стремиться мне страстно к Вечности и к брачному кольцу колец — к кольцу возвращения!» (Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 166—169).

[7] Видимо, подразумевается пение петуха в момент отречения Петра (Мф. XXVI, 74; Мк. XIV, 68; Лк. XXII, 60; Ин. XVIII, 27). Ср. строку из стихотворения Д. С. Мережковского «Дети ночи» (1894): «Петуха ночное пенье, // Холод утра — это мы».

[8] Из фрагмента «В полдень» («Так говорил Заратустра», ч. 4); ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «...старый полдень спит <...> не пьет ли он сейчас каплю счастья — старую, потемневшую каплю золотого счастья, золотого вина?» (Ницше Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 199).

[9] Начальные строки фрагмента «Возвращение» («Так говорил Заратустра», ч. 3); ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «В о з в р а щ е н и е. <...> Ты, *отчизна* моя, одиночество! <...> Теперь пригрози мне только пальцем, как грозит мать, теперь улыбнись мне, как улыбается мать, теперь скажи только: “А кто однажды, как вихрь, улетел от меня? <...>”» (Там же. С. 131).

[10] Обыгрываются слова черта в «Братьях Карамазовых» (ч. 4, кн. 11, гл. IX): «Моя мечта это — воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозвратно, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху <...>» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 15. С. 73—74).

[11] Строфа из стихотворения Блока «Одинокий, к тебе прихожу...» (1901). Сохранился список этого стихотворения, сделанный Белым, с оценкой: «(страшно и гениально)» (Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока // *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 244). 1-я и 3-я строфы стихотворения приведены Белым в статье «Символизм как миропонимание» (Мир Искусства. 1904. № 5. С. 190).

[12] Откр. II, 28: «И дам ему звезду утреннюю».

[13] Обыгрываются строки стихотворения З. Н. Гиппиус «Элетричество» (1901), впервые опубликованного в «Мире Искусства» (1901. № 5. С. 201):

Две нити вместе свиты,
Концы обнажены.
То «да» и «нет» — не слиты,
Не слиты — сплетены.

[14] Откр. XXI, 1: «И увидел я новое небо и новую землю».

[15] Хилиазм — учение о наступлении на земле чувственного тысячелетнего царства Христова; особенно широко было распространено во II в. в малоазийских церквах. Диспут с хилиастами происходил на соборе 255 г.

[16] Заключительные строки стихотворения Вл. Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875—1876).

---

4. БЛОК – БЕЛОМУ

9 января 1903. Петербург[1]

Многоуважаемый Борис Николаевич.

Первое письмо мое к Вам было ужасно крикливо. Простите меня за это. Крики объясняются тем, что я только что перед этим прочел Вашу статью и

был внезапно потрясен. Вашим письмом (сегодня получил его) Вы ввели меня в берега и, кажется, мне яснее все. Главное, я твердо уверился в том, что статья Ваша есть «конспект первой ступени», чисто «формальная» эволюция искусства (с намеками, конечно, но нераскрытыми), еще без «идейности», вне «содержания», тем более только намек на «искусст<во> с т<очки> зр<ения> религии», на угол зрения мистико-религиозный. Впрочем, я видел это из самой статьи, теперь же только *поверил*. Лучше сказать, некоторое недоразумение произошло оттого, что от Вас я не ждал в этом случае частностей, которые, однако, оказались неизбежными и для Вас по самой громадности темы и невмещаемости ее в рамки «статьи» (особ<енно>, журнальной). Испуг прошел.

Ваше письмо говорит о второй «зоне», об «искании Лучесветной Подруги». Кажется, тогда как в первой зоне Вам приходится еще считаться с эволюцией искусств и говорить о многом (5 форм)[2], во второй Вы сразу покидаете первые 4 ступени, от относительного восходите к абсолютному и имеете дело с единством. Содержание едино в противоположность множественности форм. Но это все еще — содержание, идейное. Третья и последняя зона, перед которой Вы пока смолкли (в письме), сколько я понимаю, вводит в последнюю мистическую область, я сказал бы, — в область *субстанции*, в противоположность содержанию и форме вместе, их синтез, коренным образом претворяющий то и другую. Нечто «новое», «белое», — в противоположность тем двум — одно, слитное, а не раздробленное. Это — сфера Познанной Девы. То, что двоится (может быть, десятерится!) в форме и двоится в содержании — оказалось единым. Таким образом, у Вас, очевидно, трихотомия (опять-таки), в которой последний член составляет внемирную сущность. Ваш «синтез» занимает место «вверху», представляет чистый нумен. Все это, сильно опошляя упрощениями, я пишу только для того, чтобы Вы могли судить, понял ли я только схему Вашей системы, вообще трудной для понимания, требующей читателя проникновенного, который «имеет уши»[3], которому чудилось. Перцов и Мережковские говорят, что часто не понимают Вас.

Для того, чтобы поговорить о музыке, мне придется сделать известный компромисс, на который, впрочем, Вы, мож<ет> б<ыть>, согласитесь. Мне придется спуститься ниже от «искусства движения» к «мосту между временем и пространством», т. е. от музыки к поэзии. При этом попытаюсь говорить о певучем и самом певучем в поэзии для возможно большего приближения ее к музыке. Словом, по возможности закрывать глаза на пространственные элементы для того, чтобы сосредоточиться на временных. Этот компромисс кажется мне возможным потому, что: 1) И в поэзии, как в музыке, в менее совершенном виде лежит эволюция, система, хотя бы новая трихотомия [например: I. Форма (положим — эпос). II. Содержание, идейность, искание Лучезарной Девы (положим, лирика). III. Синтез, мистическая зона (положим — драма-мистерия). Подобная схема, разумеется, только пример]. 2) Потому что поэзия, стоя рядом с музыкой, окрыляется ей и сама чует устремленное тяготение к последней, как будто две точки силятся сбежаться, избирая кратчайшее расстояние (символ поэзии — прямая), в одну (символ музыки). В этом представлении — поэзия представляет из себя то, «что нужно преодолеть»[4], для того чтобы взойти к музыке. Она — уменьшенное движение, отраженное. Она — в пути, и, преклоняя ухо к содрогающейся земле, можно слышать, как «цветет сердце»[5]. Она — *шатается* в противоположность трем первым «формам» искусства, которых не оторвать. Но четвертое уже мост к пятому, близко ему, греется около него и,

— кто знает? — не перейдет ли в него, как вышло из него, не возвратится ли, тогда как те три не сделают скачка и отпадут. Может быть, обновленный ученик, очарованный близостью песен, которых он лишь слабое подобие, хоть и не станет «выше учителя»[6], но научится многому и безболезно вернется к нему? От этой мысли то страшно и весело, то гнетуще и тоскливо.

Вся эта аргументация (и подобная), разумеется, зиждется на компромиссе и сама в себе имеет что-то глухое, даже тугое, натянутое, но мне приходится ввести ее просто уже по личному бессилию что-либо выводить из чистой музыки. Веду я к тому, чтобы поставить вопрос, может ли поэзия в своем maximum'е приблизиться к Запредельному настолько, чтобы расслышать и познать? Утвердительный ответ возможен хотя бы только на том основании, что наши времена поэзии ощутили, как никогда, до пророчественного прозрения, двойственную природу вселенной, и именно ощутили музыкально, путем все бóльшего отрицания пространственных образов и все бóльшего прислушиванья к «ритму» (кстати, ритм в Вашем озарении близок к Гераклитовскому «огню-Логосу»?). В сущности, т<ак> н<азываемые> «декаденты» прекратились теперь лишь относительно. Это скорее не смерть, а перерождение из бессознательного в сознательное. Даже еще Коневской не сознавал, не мог еще углубиться в сумрак своего духа и найти в нем неподдельное. Он бросал богатства в кучу, бесформенную, но блестящую, а «личность» жаждала «целомудрия»[7]. Но и он уже пел. А Брюсов, например, поет уже так, чтó, кажется иногда, что «решается судьба» (Ваше выражение о музыке). Тут, мне кажется, играет роль не сознание даже, как таковое, а скорее «пора», «возраст», органическая связь с субстанцией собственного творчества, когда эта субстанция не сознается, а просто присутствует. Она здесь, ее слышно. Это — высший расцвет поэзии: поэт нашел себя и, вместе, попал в свою эпоху. Таким образом моменты его личной жизни протекают наравне с моментами его века, которые, в свою очередь, единовременны с моментами творчества. Здесь такая легкость и плавность, будто в идеальной системе зубчатых колес. В этих благоприятнейших условиях для проявлений (творческих) поэзия освобождается, находит русло, притом не старое, а доселе неизведанное. В таком случае можно ждать от нее все большего расцвета, эволюции, а следовательно — сближения с музыкой. Тут может зародиться последняя песня поэта, после которой он должен или смолкнуть, или перейти в последнюю область точки, как символа музыки. Но в этой последней песне «линия» внезапно исчезает и... сменяется точкой. Две точки, устремленные друг к другу, сбегутся внезапно в одну. Это — аксиома, с т<очки> зр<ения> Вашей (и всякой классифицирующей) системы. Но сама система не нарушится. Окажется налицо только чудодейственный факт свершившихся pia desideria* всех поэтов. Тогда фактически исчезнет «четвертое искусство», но не ранее, чем в нем проявится «дух музыки». И это именно еще в нем, а не за ним. — Я чувствую, что пишу под другим углом зрения, чем Ваш, притом, может быть, абсурдно и слишком теоретично, но позволяю себе это ввиду догматичности Ваших построений, без сомнения неизбежной (хотя бы и до времени), но потому именно и не исключающей постороннего им.

Перечитав письмо, почувствовал его бессилие и вялость. Извините. Теперь другого не написать, потому что чувствую просто сильнейшую физическую усталость все эти дни. Кроме этого, некоторым оправданием мне может послу-

---

* лучших пожеланий (*лат.*).

жить действительная трудность Вашего письма, многогранность воззрений. Здесь есть нечто порой переполняющее чашу жизненной странности, которая неизменно веет кругом, шепчет день и ночь, дышит в лицо неустанно и сладко, будто сон и явь — одно прекрасное, один голос от Ее Лучезарности:

И к неверному другу — нежданный пришлец
Благодатной стучится рукой[8].

Все это близится к сказке — и «всесветной мистерии», о которой мне сегодня так сухо и бессвязно довелось говорить Вам. Еще раз — простите.

Преданный Вам Ал. Блок

Петерб<ург>. Петерб<ургская> сторона, Гренадерские казармы, кв. 13.

Комментарий Андрея Белого

8) К письму Блока к Бугаеву от 9-ого января:

В начале письма видно, что, отвечая мне на тему «Идея», «Содержание», Блок разумеет «абстрактный идеализм», с его дуализмом на «здесь» и «там»; я же ближе осознал необходимость конкретного идеализма; и скорее *«имманентист»*, не до конца себя осознавший (осознаванье — в ряде будущих годин: в линии: Соловьев — Риккерт, Штейнер; этим подусловливается разночтение терминов наших (у меня и у Блока), заволакивающее, точно дымкой, наши идеологии друг от друга; для меня Блок, Перцов, Мережковский, как мыслители — *«туманисты»*; Блок пишет: *«Перцов и Мережковский говорят, что часто не понимают Вас»*. Мог бы прибавить: «Не понимаю и я» (разумею в разрезе структуры моих *«абстракций»*). Далее в письме-ответе Блок, в неблагоприятные условия поставленный (нашими разными тактиками) относительно моей «системы» мысли, все же с удивительной чуткостью ставит знак равенства между моим ритмом, огнем Гераклита и Логосом. Ну да: знак ритма — знак Логоса: Печать Христа (кстати, для Блока *«чуждого»*). Но он ошибается: «Играет роль не сознание даже, а скорее *“Пора!”*» Но его *«пора», «началось»* для меня уже в сознании: и *«пора»*, и *«началось»* — началось в *«сознании»*; для него — *«только в сознании»*; для меня, того времени, это *«только в сознании»* уже почти *«все»*. Поэтому я взываю: к сознанию, к трезвости, к критицизму; ибо *критицизм* для меня не старый критицизм, а уже пророжденный *Логосом*, соединенным пусть в одной точке с *«Логикой»* (даже Канта); но соединенным действенно; Блоку это чуждо: чуждо *«логосическое»*, а потому и чуждо *конкретно логическое;* потому: *«Пишу под другим углом зрения, чем Ваш, ввиду догматичности Ваших построений»*. В то время я был враг и *догматизма,* и *скептицизма,* ибо я стоял на точке зрения *критицизма*, волил критического перерождения критицизма в мне чаемый символизм (т. е. волил «духовного знания»); Блоку, мистическому догматику от *«пора, началось»* и логическому «скептику», именно мой *критицизм* должен был выглядеть *догматизмом* (в подходе к нему «мыслью») и скептицизмом (в подходе к нему «чувством»).

Так оно и было все время; и оттого — частые «changez vos dames» в позициях письменного обмена; то я *догматик*, а он *скептик*; то я *скептик*, а он *догматик.*

На его *«пора»* я отвечаю: «Терпение!» Как потом, на мое неоднократное *«пора»*, он отвечал *«Балаганчиком»*. Но уже в первых письмах — постоянное столкновение разных ритмов; и качка, и пена, и — *«туман»* над волнением.

[1] Ответ на п. 3.

[2] В статье «Формы искусства» Белый выделяет 5 форм в градации нарастания спиритуального начала и убывания начала материального, вещественного: зодчество, скульптура, живопись, поэзия, музыка.

[3] Мф. XI, 15; Мк. IV, 9: «Кто имеет уши слышать, да слышит!»

[4] Формулировка, восходящая к Ницше («Так говорил Заратустра», ч. 1, «Предисловие Заратустры», 3). Ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «Человек есть нечто, что до́лжно превзойти» (Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 8).

[5] См. примеч. 28 к п. 1.

[6] Мф. X, 24: «Ученик не выше учителя»; ср.: Лк. VI, 40.

[7] Подразумеваются строки из стихотворения И. Коневского «Откуда силы воли странные...»: «Ах, личность жаждет целомудрия // Средь пышных рощ, холмов, лугов» (Северные Цветы на 1902 год. М., 1902. С. 137).

[8] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «У царицы моей есть высокий дворец...» (1875—1876).

5. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<15 января 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый Александр Александрович,

Не отвечал на Ваше письмо. Был немного расстроен. Сперва болезнь отца. Потом тяжкий недуг М. С. Соловьева. Я уверен, что Вы не удивитесь тому, что пишу, не засмеетесь. Положение Михаила Сергеевича очень тяжело и серьезно[2]. Нужно помолиться. Я верю молитве.

Помолитесь.

Вот все, что я Вам пишу на этот раз. О Вашем письме особо.

Остаюсь готовый к услугам искренне преданный

Борис Бугаев

1903 года. Января 15-го.

Комментарий Андрея Белого

9) К моему письму от 15-ого января:

«Болезнь отца. Потом тяжкий недуг М. С. Соловьева». У моего отца случился 2-ой припадок ангины; на другой день смертельно заболел М. С. Соловьев.

[1] Помета Блока красным карандашом: «1903, 15 янв.».

[2] О предсмертной болезни М. С. Соловьева см.: *Начало века*. С. 221—223.

6. БЛОК – БЕЛОМУ

17 января 1903. Петербург

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Сегодня получил Ваше письмо. Тогда же узнал все[1]. Обнимаю Вас. Целую. Верно, так надо. Если не трудно, напишите только несколько слов — каков Сережа? Милый, возлюбленный — я с Вами. Люблю Вас[2].

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок

Комментарий Андрея Белого

10) К письму Блока от 17-ого января 1903:
Разумеются кончины М. С. Соловьева и вслед за ним О. М. Соловьевой.

---

[1] М. С. Соловьев скончался в ночь на 16 января; тогда же О. М. Соловьева, не перенеся случившегося, покончила с собой (см.: *Начало века.* С. 223—226, 615—616). Похороны супругов состоялись 18 января в Новодевичьем монастыре. См. заметку В. Брюсова «Похороны М. С. и О. М. Соловьевых» (Русский Листок. 1903. № 19, 19 января), а также некрологическую заметку о Соловьевых в «Новом Пути» (1903. № 2. С. 202—203). Белый посвятил «незабвенной памяти М. С. и О. М. Соловьевых» стихотворение «Могилу их украсили венками...» (*Золото в лазури.* С. 216), Блок — стихотворение «Отшедшим» («Здесь тихо и светло. Смотри, я подойду...», 22 января 1903 г.). См.: ПСС IV, 568—569.

[2] Ср. характеристику этого письма в «Воспоминаниях о Блоке» Белого: «В эти дни получил от Блока лишь несколько строк, преисполненных ласки ко мне и соболезнующей грусти; несколько слов после нашей полемики, — первая сердечная встреча с А. А., как с родным человеком» (*О Блоке.* С. 45).

---

7. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. 19-го января 1903 года[1].

Дорогой мне Александр Александрович,

Все к лучшему. Все озарено и пронизано светом, и вознесено. На улицах вихрь радостей — метель снегов. Снега. С восторгом замели границу жизни и смерти. Времена исполняются и приблизились сроки. Мы *все* вместе и навсегда.

Все к лучшему. Я за Сережу не беспокоюсь. Я *знаю* Сережу. Он готовился. Говорил мне — чувствует, как поднялась, налетела волна сладких снов — мессианских ожиданий. Приближение[2].

Все к лучшему.

А кругом все взывает и кружит — вихрь радостей и метель снегов. Все озарено и пронизано светом, и вознесено. *Все мы* вместе.

Все к лучшему.

Радостно целую Вас.

Борис Бугаев

---

1 Ответ на п. 6. Помета Блока красным карандашом: «1903, 19 января».

2 О том, как перенес С. М. Соловьев кончину родителей, Белый рассказал в мемуарах (*Начало века.* С. 224—226).

---

8. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. 27 января 1903 года[1].

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

Только теперь пришел окончательно в себя. Спешу ответить на Ваше второе письмо. Оговариваюсь — впопыхах оно попало в мои бумаги. Я тщетно искал его. Поэтому отвечаю на память.

Если не ошибаюсь, Вы говорите о двойственности природы, двойственности отражения ее у меня. Я сказал бы — не следует упускать неоднозначность противополагаемых элементов, когда приходится разбираться в этой двойственности. Речь не может идти о синтезе разнородных начал природы, а только о преодолении одного начала другим. В искусстве, стремясь к такому преодолению, мы тем самым повышаем темп напряженности между этими двумя началами, резче их контрастируем (контраст необходим там, где нужно выдвинуть одно в ущерб другому); отсюда *«старый бой разгорается»*[2] с особой силой; отсюда иллюзия равноценности борющихся начал, из которых оба потусторонни (обстоятельство, не предвиденное никакой философией), отчего эта иллюзия получает свою якобы законную санкцию на существование. Но это — фантасмагория. Природа, отражая оба начала, — все еще в самом интимном своем Божья, т. е. святая, а извне очернена, затенена (нам, живущим поверхностью, она должна являться особенно черной, как скоро впервые повязка спадает с глаз). До Христа не было средств глубоко окунуться в интимное мира, чтобы увидеть во всем Это извне Затененное, Божье. Христос помог нам, дал средства к преодолению. Началось медленное искупление. Мировое очищение, продолжаясь, отражается в искусстве именно не путем соединения добра и зла, а путем прохождения от внешности к центру *сквозь строй зла.*

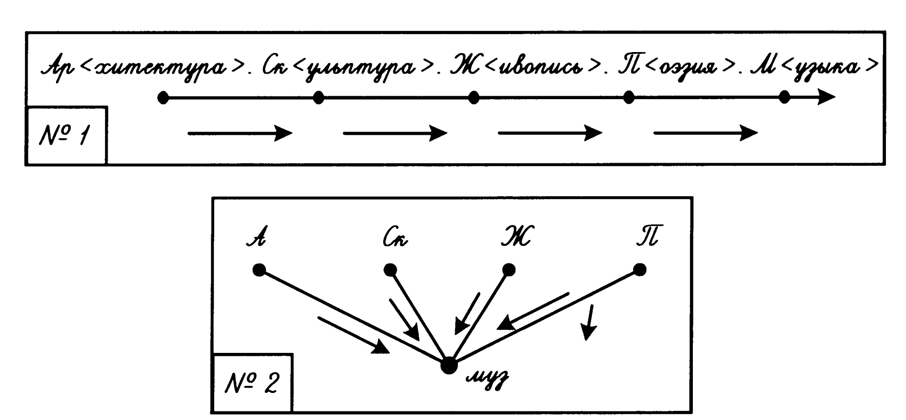
Но синтез существует в искусстве; это особого рода синтез. Тут мы касаемся зерна моего эзотеризма.

Если позволите мне, я в следующем письме коснусь подробнее этого соединения. Здесь же я пишу и коротко и внешне: устал и занят.

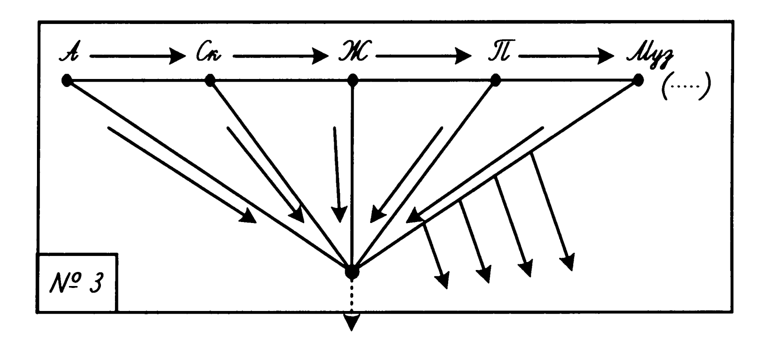
Двойственные элементы могут казаться до четвертого посвящения, до границы между ветхим и новым Заветом равноценными. Стоя по сю сторону *ви́дений* четвертой стадии, можно еще говорить о святом соединении в смысле Мережковского, а выше — невозможно и гибельно.

Вполне согласен с Вашей схемой о возможном взаимоотношении музыки к поэзии. Ничего против не имею. Моя схема не противоречит. Если она и кажется немного неподвижной, то это благодаря фиксации в моем сознании картины соотношений между формами искусств в определенный исторический момент. Моя схема извне очерчивает искусства, не касаясь внутренней связи, их все пронизывающей. Две точки, устремляясь друг <к> другу по прямой линии,

могли бы дать новую линию пути. Должен заметить, что эволюция искусств, по моему глубокому убеждению, протекает сообразно не только с чертежом № 1, но и сообразно с чертежом № 2.



Совмещая ту и другую схему, получаем следующее соотношение:



т. е. рождается новый путь, новое направление эволюции, не входящее в мою схему, чтобы не слишком усложнять ее.

Что касается Сережи, то он окончательно успокоился и теперь уехал в Киев[3]. За него я спокоен. Многое ожидаю от него.

Дорогой Александр Александрович, у меня есть к Вам покорнейшая просьба. Не будете ли Вы от времени до времени присылать мне Ваши стихи, которые я так люблю и ценю и которых теперь, со смертью Михаила Сергеевича, я лишился?[4] Надеюсь, память о нем и об Ольге Михайловне тесней нас свяжет.

Остаюсь глубокопреданный и готовый к услугам

Борис Бугаев

P. S. Простите за варварский почерк: устал.

Комментарий Андрея Белого

11) К письму от 27-ого января:

«Вполне согласен с Вашей схемой... взаимоотношения музыки и поэзии. Ничего против не имею. Моя схема не противоречит. Если она и кажется немного непод-

вижной...» и т. д. — Через 25 лет перечитываю свои слова и вижу, что — «сфальшивил». *«Вполне согласен»* совсем не *«вполне»*; *«ничего против не имею»* — выражение полной запахнутости; понял, что не договоримся, что у меня нет ни времени, ни языка, чтобы начать «ab ovo», что совсем мы *о другом* (в разрезе абстрактного подхода), что лучше не воротить «тьмы *qui pro quo»;* а *«если она* (схема) и *кажется немного неподвижной»* — просто светское *«извините, я помешал»* перепуганного и вдруг оробевшего студента, готового в данную минуту *«сдать все позиции»*, чтобы не продолжать тьмы возможных «абстрактных» недоразумений, долженствующих вырасти из продолжения переписки в «философской» тональности; лучше начать *«другую тональность»*, чем не понимать друг друга в проблемах «форма», «содержание», «сущность», «идеи» и т.д.

---

[1] Ответ на п. 4. В письме к Э. К. Метнеру от 14 февраля 1903 г., извиняясь за «долгое молчание», Белый пояснял: «Еще с незапамятных времен залежались у меня письма З. Н. Гиппиус и Блока, пока что нужно было сперва им ответить» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 196). Об Э. К. Метнере см.: Юнгрен М. Русский Мефистофель. Жизнь и творчество Эмилия Метнера. СПб, 2001.

[2] См. примеч. 3 к п. 3.

[3] О своем прибытии в Киев С. М. Соловьев сообщил Г. А. Рачинскому (ставшему его опекуном после смерти родителей) 28 января 1903 г. (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2903); после нескольких дней пребывания в Киеве он переехал в Харьков, к родственникам.

[4] Автографы стихотворений, присланных Блоком Белому и отложившихся отдельно от основного корпуса его писем к Белому, описаны Н. В. Котрелевым в сообщении «Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 236).

---

9. БЛОК – БЕЛОМУ

<3 февраля 1903. Петербург>[1]

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич!

Ваши письма и слова ясны для меня, вероятно, более, чем для многих других. Это происходит, преимущественно, оттого, что наши углы зрения очень часто совершенно одинаковы; потому я часто *подозреваю* заранее то, о чем Вы говорите в системе, но именно *подозреваю.* Все это *уясняет* мне очень многое, будучи пока, как сами Вы пишете в последнем письме, э*к*сотеричным (предлагая подробнее коснуться «зерна эзотеризма» Вашего — синтеза в искусстве. Последнее было бы для меня еще более важно, и я очень прошу Вас, не затрудняясь скоростью ответов, писать мне об этом). Говорю именно, что *подозреваю*, потому что сам не умею и не могу уяснить *так*, а для уяснений себе, когда очень нужно, пользуюсь другими путями, большей частью жду дыхания жизни — *«контрастов»* извне. И это не только потому, что у меня гораздо меньше специфически Ваших способов уяснения, т. е., например, *образования* и обусловливающей его «страсти ума», но и потому, что вижу ясно и несомненно *сам для себя* (исключительно) необходимость уяснять именно так, а не иначе. Все эти «биографические» подробности пишу Вам для того, чтобы показать Вам *важ-*

ность для меня Ваших слов: они составляют необходимое дополнение, «в предвестие, иль в помощь, иль в награду»[2]. Также для того, чтобы Вы не стали в тупик перед следующей моей просьбой: объяснить мне «четвертое посвящение» и символ его (крест) в египетских мистериях. Мне еще жутко от этого, потому что число четыре, которому находится чуть не ежедневное подтверждение, смотря по состоянию духа, то мучит, то радостно тревожит меня уже давно. Это же число проходит и в древней Индии. Веды (*древнейший* памятник) состоят из 4-х книг. У Будды четыре истины — и четвертая — о Пути (?) — последняя близость к Нирване. Знаете ли, что из всякого числа выйдет четыре? У кончающего работу (непременно *только* при этом условии человек настроен — работа взята в самом широком объеме) открываются глаза — глаза на числа мира. Он умеет считать — это момент *прозрения*. Тут уже нет речи об ужасе или радости, о стихах *оттуда* или о прозе *отсюда*, как в моменты низших прозрений. Тут все достается легко. Начинается счет («здесь мудрость»!). Открываются широкие глаза, не различающие цветов, светов, дня и ночи. Все, «кружась», исчезло[3]. Вырастает число человека. Мое число — 4. Допускаю и другие числа для других — все равно. Это число (хотя бы 4) *не субъективно*, однако; субъективность — только одна сторона его. Другая —*объективная* — и она выражается в том, что число остается самим собой, прекращаясь (извините, извините!). Это — образ не зрительный, не слуховой и т. д. Он — без формы и без содержания. Он только *субстанциален, довлеет* сам себе, заключает в себе все остальные числа. И при этом он необходимо — с *придатком*. В этом-то придатке — малом, или громадном — группируется остальное. Не счесть ли этим путем и число зверя?[4] Может быть вместо придатка и убыль, но какая? *Какой-то* придаток. *Какая-то* убыль. Что там?

Все это объяснит Вам один из моментов моих видений. В каком-то пятне (опять не зрительное, и т. д.) мелькает и дрожит, то расширяя, то стискивая самою себя, сущность и цель.

«Я Ей сказал: Твое Лицо явилось,
Но всю Тебя хотел бы увидать:
Чем для ребенка Ты не поскупилась,
В том — юноше нельзя же отказать!»[5]

Рассматриваю и созерцаю Незнакомку. Вот здесь — Ее спокойное, а здесь — вихревое. Это — Ее время — история (так сменялась Она в истории — отдыхала в греческих мраморах и разметала торговые города на Средиземном море во время крестовых походов). Это ее — пространство — догма (так сменяется Она пространственно — здесь вот взмахнула крыльями и приняла контур горы, а здесь — легла и распласталась в пустыню, манящей позой указав сама свою подчиненность — женское, а не Женственное). Но все это — только одно, и знаю, что это победится Иным. Здесь — мучительные придатки и убыли Вечно-Женственной, когда же и где же Она Сама? Потеряется ли *Ее четыре,* когда отпадут придатки и убыли? Из Ваших *четырех* кругов понимания (ненапечатанная в «Нов<ом> Пути» часть Вашего письма[6]) четвертый перестает быть четвертым, когда отпадают от него первые три несовершенства («синтетическое» понимание явления откалывается от «механического», «аллегорического» и «символического» и становится *совершенно* одиноким, совершенным). Не даны ли нам числа как намек на исход, как символы того, что за ними? Они — не средство ли? «Счесть» число — не значит ли преодолеть его? Измерить *тело* —

не значит ли воспарить над ним? Счесть *свое* число значит познать себя, а, познав, перестать предаваться вечному здесь самоутверждению. И наконец, счесть себя (свое 4, Иоанново 666 — не впадаю ли в последнюю ересь и здесь и вообще?) не значит ли преодолеть смерть, не ощутить границы, замести ее снегами, утонуть в вихрях вселенского восторга, перестать нуждаться, отрешиться от отчаяний? И обратно:

«Громадный город-дом, размеченный *по числам,*
Обязан жизнию (машина из машин!)
Колесам, блокам, коромыслам,
Предчувствую тебя, земли желанный сын!»

(Брюсов, поэма— «С<еверные> Ц<веты>» 1901)[7]

Ангелы — *бесчисленны*, а бесам имя — *легион.* Жена пространства и жена времени — обе расчислились, распластались по истории, по земле. Они — манят. Другая — не манит. «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром» (Иоанн. Откровение. XXII, 17).

Много промчалось веков,
Сменяя знамена и власти,
Много сковали оков
Вседневные мелкие страсти.
Вынырнул снова поток...
Струею серебряной мчало
Только лавровый венок,
Да мчало *Ее* покрывало.

(Фет)[8]

С большим удовольствием посылаю Вам свои стихи[9]. О Ваших давно хочу просить Вас. Знаю только одно: «Пусть на рассвете туманно»[10]. Нравится оно мне всем и особенно, как все, что Вы пишете. Пришлите, пожалуйста. Моя мама просила передать Вам, что перечитывает 2-ую «Симфонию» очень часто, а иногда только ее и может читать из всей литературы. Радуюсь за Сережу, не знаете ли, где он будет и что намерен делать, когда вернется из Киева? Память о Михаиле Сергеевиче и Ольге Михайловне, без сомнения, для нас связующа, и нам близка и понятна.

«В царство времени все я не верю,
Силу сердца в себе берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать "навсегда" — не могу»[11].

И вместе:

«Того мгновенья жаль, что сгибло навсегда»[12].

Глубоко преданный Вам

Ал. Блок

3 февраля 1903. СПб.

Комментарий Андрея Белого

12) К письму Блока от 3 февраля:

Перечитывая это письмо, поражаюсь глубоко затронутой темой о числе *«4»*; для меня лишь теперь выросла проблема «4»-го, как проблема «Софии»; и контрапункт проблемы «3» (троичность) в *«4»*, как переход к «семерке» моей философии культуры (7 — «3» в «4»); «4» есть проблема целого композиции, без которой «тема в вариации» («7») не может получить конкретизации. Идея целого в «4» — Блоком уже взята вне-субъектно и вне-объектно; *«Это образ не зрительный, не слуховой..., он — без формы и без содержания...»* и т.д. — все последующее (о *«придатках»* и *«убылях»*) для меня теперь изумительно; это идея *композиции,* связанная с Софией; и *это* уже ведомо А. А. Изумительно все письмо. Но — мне стыдно признаться: в 1903 году — я оказался *глухим* на него; *ни одною идейно живою нотою на него не откликнулся!*

---

[1] Ответ на п. 8.

[2] Строка из вступления к поэме Вл. Соловьева «Три свидания» (1898).

[3] Обыгрывается строка из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887): «Всё, кружась, исчезает во мгле».

[4] Откр. XIII, 18: «...число зверя <...> число его шестьсот шестьдесят шесть».

[5] Неточно цитируется 1-я строфа главки 3 поэмы Вл. Соловьева «Три свидания».

[6] Подразумевается следующий фрагмент из «открытого письма» Белого по поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (см. примеч. 12 к п. 1), переписанный Блоком в дневник:

«Каждое явление имеет четыре круга понимания, входящих друг в друга, четыре стадии.

1) Явление, как таковое, т. е. научное его толкование, где прослеживается механическая причинность, породившая во времени данное явление. Отсюда — важность исторического понимания.

2) Явление, как аллегория чего-то, лежащего вне исторического процесса, метафизическое понимание явления, т. е. посредственное *знание* исторического, как проявления сверх-исторического.

3) Явление, как символ вневременного, как соединение временного и вневременного, соединение еще происходящее, но не происшедшее до конца. Здесь мы имеем непосредственное *«знание»* явлений, переходим от исторического к сверх-историческому, освобождаясь окончательно от внешних историч<еских> оболочек.

4) Явление, как уже совершившийся синтез, соединение *«до конца»*. Здесь мы низводим сверх-историческую сущность после освобождения ее от внешних механических аллегорич<еских> оболочек в историю, возвращаемся обратно к пониманию причинности, но уже не механической, но внутренней. Здесь мы свободно читаем в истории ее душу, здесь мы понимаем в каждой вещи ее сущность («вещь саму по себе»).

С т<очки> зр<ения> понимания в явлениях *воплощения* Вечного стадии научного, метафизического и символического понимания являются чем-то предшествующим, посредственным. Религиозная т<очка> зр<ения> начинается с символизма и кончается воплощением этого символизма в историю. Вот почему историческое христианство важнее символического, которое явл<яется> посредств<енным> звеном между наукой, философией и историч<еским> христианством. Это — мост, средство, но не цель, не пристань» (Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 326).

[7] Цитата из поэмы В. Брюсова «Замкнутые», впервые опубликованной в альманахе «Северные Цветы на 1901 год» (М., 1901) под обозначением «Отрывки из поэмы» (С. 136). Ср. те же строки в окончательном варианте: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 265.

[8] Заключительные строфы стихотворения «В пене несется поток...» (1866?)

[9] Из ответного письма Белого (п. 11) выясняется, что в числе автографов, присланных ему Блоком, были стихотворения «Запевающий сон, зацветающий цвет...», «Целый год не дрожало окно...», «Здесь ночь мертва. Слова мои дики...»

[10] Стихотворение «Знаю» (*Золото в лазури*. С. 226). Стихотворение (в первоначальной редакции) было известно Блоку из письма О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 3 сентября 1901 г., где оно было приведено с пояснением: «Боря <...> написал, по поводу Сашиных стихов, стихи, которые посвятил Сергею. — Вот они» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 175).

[11] Неточно приведена строфа из стихотворения Вл. Соловьева «У себя» («Дождались меня белые ночи...», 1899).

[12] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Опять надвинулись томительные тени...» (1895; публиковалось также под заглавием «Миг»).

---

10. БЛОК – БЕЛОМУ

<19 февраля 1903. Петербург>

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Сейчас получил письмо от Перцова, в котором он просит одно из Ваших «наиболее понятных» писем ко мне, для того, чтобы «скрасить» частную переписку мартовской книжки «Нового Пути»[1]. Дело в том, что я говорил ему, что есть Ваше письмо ко мне «понятное»[2]. Конечно, спрашиваю Вашего позволения; я думаю, дело может идти только о втором письме — самом большом — об искусстве с т<очки> зр<ения> содержания — и, конечно, с большими пропусками. Но, думаю, что это письмо Перцов все-таки не найдет понятным. Во всяком случае, если найдете возможным, сообщите мне. Никому из редакции Ваших писем я не показываю[3].

Вернулся ли Сережа Соловьев в Москву?

Мое последнее письмо к Вам представляется мне теперь каким-то беспечально выскакивающим из одного мистического колодца и попадающим в другой. Весьма возможно, что я врал в нем еще более, чем «один другому» (Симфония)[4].

Во всяком случае, образ числа, вокруг которого мелькает неисчисленное пятно, таящее в себе *нечто*, совсем декадентен. Это, однако, не нарушает его реальности, хотя ему бы и следовало принять другую форму, чтобы содержанием своим взглянуть на свет *Божий*.

Тут скорее дело даже не в образе, а именно в *беспечальности* его. Как первое, так и последнее мое письмо к Вам — неумеренный крик, вызванный «до ланит восходящей кровью»[5]. Хотелось бы это перебороть, чтобы Вы нашли во мне хотя бы

«Только ласковой думы волненье,
Разве сердца напрасную дрожь»[6],

выражаясь цитатой; точнее — то, что за криком, то, что покоится, мир за войной — «отмель времен». Хотелось бы писать Вам без недуга, при свете милых возвращений. И последнее просто необходимо, если нужно «ждать».

Еще раз, очень прошу Вас прислать мне Ваших стихов. Они меня, конечно, не просто интересуют. Я чувствую в них скорее важное и необходимое — чего нельзя обойти, собираясь в дорогу, собирая цветы для Возлюбленной Царицы, Подруги, неожиданно перенесшей себя на звездные пути.

Любящий Вас и преданный Вам

Ал. Блок

19 февраля 1903. СПб.

---

[1] Подразумевается отдел «Из частной переписки» в журнале «Новый Путь». 18 февраля 1903 г. П. П. Перцов писал Блоку: «Вы говорили как-то, что у Вас есть какое-то письмо Бугаева, к<ото>рое еще можно понять. Если это точно так — то пришлите его, пожалуйста, может быть, оно пригодится для мартовской “частной переписки”, которую хотелось бы “скрасить”» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 460).

[2] Вероятно, имеется в виду п. 3.

[3] Письмо Белого к Блоку в «Новом Пути» не было опубликовано.

[4] Подразумевается эпизод из «Симфонии (2-й, драматической)»: «Оба сидели в теософской глубине. Один врал другому» (*Симфонии.* С. 176).

[5] «До ланит восходящую кровь» — строка из стихотворения А. А. Фета «Весенние мысли» («Снова птицы летят издалека...», 1848).

[6] Неточная цитата из стихотворения Фета «День проснется, и речи людские...» (1884).

---

11. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 или 25 февраля 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и милый Александр Александрович,

Простите меня за мое долгое молчание. Но теперь до лета у меня такая бездна дел, что решительно нет времени даже и письма толком написать. К тому же у меня накопились письма, на которые нужно было непременно отвечать. Прежде всего о Ваших стихах: как и всегда, я в восторге (и это не комплимент — совсем нет). *«Запевающий сон, зацветающий цвет»*[2] — сколько тут милой ясности и свежести! Врубелевская глубина и *не* врубелевская нежность — слиянно, нераздельно. Скажу откровенно: последние Ваши стихи по моему убеждению наиболее глубокие и поэтически-прозревающие. *«Страх»*[3] — небывалое, а это *«все забылось — забылось давно»*[4] — как оно знакомо *там*, где мы все *знаем* друг друга. Большое спасибо за них. Что касается до числа *«4»* — откровенно говоря, — оно мне порой не нравится, представляя 1/2 восьми — числа нуменального до такой степени, что *«7»* (это священное число) является лишь отражением, тенью, проекцией *«8»* на земном. Если «7» (7 цветов спектра) — бело, то 8 — внецветно, т. е. выше *белого.* Это число Отца, про которого Господь Иисус Христос говорит: *«Видящий Меня видит Пославшего Меня»* (Иоанн, гл. XII, ст. 45). И вот 1/2 восьми = 4 (половинчатость вообще нехорошая вещь). Замкнутое пространство с четырех сторон *ограничено.* Еще есть выражение *«в четырех стенах»*... Но

не в выражении дело... Да и моя нелюбовь к «4»-м субъективна, так что на нее не следует обращать никакого внимания. Что же касается до моей вещи, как таковой, как аллегории, как символа, и как воплощения, то следует помнить, что *Символ* есть начало воплощения и как таковое не имеет особенного *бытия* (собственного). Остаются: действительность позитивная, аллегорическая и воплощенная (3, а не 4). Символ я выделяю, чтобы оттенить важность его для нашей эпохи, в которой мы усматриваем начало *воплощения*.

Дорогой Александр Александрович, мне бы совсем не хотелось, чтобы Вы дали Перцову мое письмо для печатания его в *«Новом Пути»*. Этого обычая я совсем не понимаю. То обстоятельство, что они поместили мое письмо[5], случилось благодаря моему неведению. Мне бы совсем не хотелось, чтобы мои слова с глазу на глаз были преданы гласности в *«Новом Пути»*. Да и потом: еще раньше получения Вашего письма я написал в отдел *«Частная переписка»* заметку приблизительно на однородные темы[6]. Так что я бы просил Вас не давать Перцову моего письма.

Что касается до четвертой стадии духовного развития (если угодно, *«посвящения»*), то тут я весьма субъективен: буду говорить прямо, надеясь на гений Вашей понятливости.

Белый цвет — символ богочеловечества. Белый сверкнувший луч мистического солнца, условие необходимое для восприятия божественного *«ви́дения»*. Отсутствие *«белого»* — противоположное (черное). Цвет ужаса — черный. Ужас, воплощенный в бытие (в белое) = серое. *Серая пыль* — ужас; и тут чрезвычайно глубок Мережковский[7]. Со времен грехопадения между белым лучом и нами — серая пыль, а белое сиянье, *засеренное* пылью, дает подобие красного цвета. *Огненно-красное* — это обман, это — отношение серого к сверкающей белизне и обратно. Вот что открывает ряд *ви́дений*. И это — так. Красное не безусловно, а феноменально, относительно.

1-ая стадия, когда сияние, мерцающее в нас, загашено и везде мрак; мрак этот черен, ибо слой серой пыли так толст, что сияние белизны, мерцающее на горизонте, не пробивается. *2-ая стадия*. Первые лучи начинают пробивать черноту — все окрашивается желтошафранным цветом. Это еще даже не *красное* (т. е. белое сквозь серое), а прямо-таки коричневое (т. е. красное сквозь серое = белое сквозь вдвойне бо́льший слой серого). Это настроение Ваших слов:

«Мое болото их затянет...
Мои глаза — глаза совы»[8], и т. д.

Это низшие зоны *астральной* области (выражаясь теософским языком). Один из теософов (Ледбитер) говорил про низшие зоны *астрального: «Это еще как бы густой туман — или желтое болото»*[9]. А другой (кажется, Мид) говорил, что Россия очень подвинута в эзотеризме, только... ей грозят *астральные* опасности и ей в астральном следует помочь... Не правда ли, Александр Александрович, отсюда надо вырваться. Это еще скорее по сю сторону грозового облака, отделяющего вершины от низин. И это — настроение, характерное для России, понимая под этим равнодействующую всех неурядиц (политических, душевных, мистических). *3-ья стадия*. Слой серой пыли уменьшился — все окрашено огненно-красным. Ужас огня — бунт Ивана Карамазова. Всем доступное и понятное в ницшеанстве. Это здесь впервые грехи горят на собственной душе и душа или боится сгореть — ужасается жгучестью огневицы (41^0 жара), или же бунтует, обращаясь ко Злу. Здесь невольно возникает обманная мысль о равноправности добра и зла, о равенстве черта и Бога, о двух творцах мира. Отсюда

психологически ясно выливаются секты, аналогичные альбигойцам, манихеям, богомилам[10]. Богомилы говорили, что Сатаниил брат Христа (старший из сыновей Божиих). Как это понятно: ведь *красное* понимается двояко (или *белым*, пронизывающим *серое*, или *серым,* превращающим *белое* в *красное*). В первом случае центр в *белом:* и *красное* (1-ое пришествие Христово совершилось *кровию* и багряницею, т. е. *красным*) является *святым цветом страдания;* во втором случае центр в *сером*, т. е. в ужасе, и *красное* греховно; «если грехи ваши как *багряное*» и т. д. (слова пророка Малахии, кажется)[11]. Тут мысль о *Сатанииле* (старшем брате Господа). *4-ая стадия.* Слой *серой* пыли еще тоньше, но белое сияние продолжает казаться огненным. Все же центр в *белом*, и отсюда: на 4-ой стадии *красное* свято; это Голгофа, где пролилась *кровь* воздвигнутого на *Кресте* Господа. Здесь уже невозможно лихорадочное напряжение и *огненный ужас* 3-ьей стадии. Здесь видно, что Сатаниил не может быть старшим братом Христа. Здесь рубеж, за который не могут уже с такой яростью наплывать *серые тучи*, потому что крест охраняет границу между *старым* (ступень богопознания ужасом и страхом) и *новым* (богопознание радостью). Дальше уже *серое* настолько пропадает, что *белое* сиянье кажется только розовым. Начинаются все оттенки от темнорозового до бледнорозового: это *«убеление* риз *кровию* Агнца»[12], после того, как грехи *багряные* третьей стадии сожжены и душа еще уцелела. Вот существенные черты того, что мне известно о 4-ой стадии.

Здесь должен еще извиниться за корявость выражений и неразборчивость почерка: но сегодня я, как почти и всегда, адски устал и перо падает из рук. Как Вы говорите хорошо об Ее *«спокойном»* и *«вихревом»*. В Ней ведь узел между *«сущностью»* и *«видимостью»,* между *«волей»* и идеей. Она (Душа Мира) воплощает *сюда* к нам *оттуда* Христа и обратно: *здешнее* превращает в *тамошнее.* Христос грядет через Нее к нам, сюда, а мы восходим к Ней, чтобы приблизиться к Господу. *«Она»* же сама ни всецело *«оттуда»*, ни тем более *«отсюда»*. «Душа Мира — существо двойственное; поскольку она воплощает Бож<ественный> Логос, она прославленное тело Христово, мистическая Церковь — София». (Своими словами передаю выд<ержки> из *«Чтения о Богочеловечестве»* В. Соловьева)[13].

Сережа вернулся из Киева через Харьков, где гостил у своей двоюродной сестры. Теперь он оправился, хотя из Киева писал о своем ужасном самочувствии. Он будет жить отдельно, что и наиболее подходит к нему, с прислугой и одной очень хорошей знакомой, которая всячески будет стараться, чтобы ему было хорошо[14].

Пока до свиданья. Господь да хранит Вас, дорогой Александр Александрович. Остаюсь любящий Вас от всего сердца

Борис Бугаев

P. S. Посылаю Вам стихи, хотя и оговариваюсь, что писать их не умею. Одним словом, в стихах не я сам, а кто-то посторонний мне.

ПРИЗЫВ

<1>

Призывно-грустный шум ветров
Звучит, как Голос откровений.
От покосившихся крестов
На белый снег ложатся тени.

И облако знакомых грез
Летит беззвучно с вестью милой.
Блестя сквозь ряд седых берез,
Лампада светит над могилой
Пунцово-красным огоньком.
Под ослепительной луною
Часовня белая, как днем,
Горит серебряной главою.
Там... далеко... среди равнин
Старинный дуб в тяжелой муке
Стоит затерян и один,
Как часовой, подъявший руки.
Там... далеко... в полях шумит
И гонит снег ночная вьюга.
И мнится — в тишине звучит
Давно забытый голос друга.
И снова веришь прежним снам.
Но ветер северный несется...
Среди могил то тут, то там
Как будто шепот раздается.
Старинный дуб порой вздохнет
С каким-то тягостным надрывом,
И затрепещет, и заснет
Среди полей глухим порывом...[15]

2

Как невозвратная мечта,
Сверкает золото листа.

Душа полна знакомых дум.
Меж облетающих аллей
Призывногрустный, тихий шум
О близости священных дней.

Восток печальный мглой объят.
Над лесом, полные мечты,
Благословенные персты
Знакомым заревом горят.

Туманный, краснозолотой
На нас сверкнул вечерний луч
Безмирноогненной струей
Из-за осенних, низких туч.

Душе опять чего-то жаль.
Сырым туманом сходит ночь.
Багряный клен, кивая вдаль,
С тоской отсюда рвется прочь.

И снова шум среди аллей
О близости священных дней.[16]

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Мы задыхалися от пошлости привычной.
Ты на простор нас звал.
Казалось им, твой голос необычный
Комично прозучал.

И вот, когда надорванный угас ты
Над подвигом своим,
Разнообразные, бессмысленные касты
Причли тебя к своим.

В борьбе с рутиною свои потратил силы,
Но не разрушил гнет...
Пусть вьюга снежная венок с твоей могилы
С протяжным стоном рвет.

Окончилась метель. Не слышен голос злобы.
Тиха ночная мгла.
Над гробом вьюга белые сугробы
С восторгом намела.

Тебя не поняли. Вон там сквозь сумрак шаткий
Пунцовый свет дрожит.
Спокойно почивай: огонь твоей лампадки
Мне сумрак озарит[17].

СТАРИННЫЙ ДРУГ

Янтарный луч озолотил пещеры.
Я узнаю тебя, мой друг старинный!
Пусть между нами ряд столетий длинный —
В моей душе так много детской веры.

Из тьмы идешь, смеясь: «Опять свобода,
Опять весна и та же радость снится...»
Суровый гном, весь в огненном, у входа
В бессильной злобе на тебя косится...

Вот мы стоим, друг другу улыбаясь...
Мы смущены все тем же тихим зовом.
С тревожным визгом ласточки, купаясь,
В эфире тонут бледнобирюзовом.

О этот крик из бездн, всегда родимый!..
О друг, молчи, не говори со мною!..
Я вспомнил вновь завет ненарушимый,
Волной омыт воздушно-голубою...

Вскочил, стуча ногой о крышку гроба,
Кровавый карлик с мертвенным лицом.
«Все улетит... Все пронесется сном...
Вернетесь вы в свои могилы оба...»

И я проснулся. Старые мечтанья!..
Бесцелен сон о пробужденьи новом...
Бесцельно жду какого-то свиданья...
Касатки тонут в небе бирюзовом[18].

УЖ ЭТОТ СОН МНЕ СНИЛСЯ

На бледнобелый мрамор мы склонились
И отдыхали после долгой бури.
Обрывки туч косматых проносились.
Сияли пьяные куски лазури.
В заливе волны жемчугом разбились.

Ты грезила. Прохладой отдувало
Сквозное золото волос душистых.
В волнах далеких солнце утопало.
В слезах вечерних, бледнозолотистых
Твое лицо искрилось и сияло.

Мы плакали от радости с тобою,
К несбыточному счастию проснувшись.
Среди лазури огненной бедою
Опять к нам шел скелет, блестя косою,
В малиновую тогу запахнувшись.

Опять пришел он. Над тобой склонился.
Опять схватил тебя рукой костлявой.
Тут ряд годов передо мной открылся.
Я закричал: «*Уж этот сон мне снился*».
Скелет веселый мне кивнул лукаво.

И ты *опять* пошла за ним в молчаньи.
За холм скрываясь, на меня взглянула,
Сказав: «Прощай, до *нового* свиданья»...
И лишь коса в звенящем трепетаньи
Из-за холма, как молния, блеснула.

У ног моих вал жемчугом разбился.
Сияло море пьяное лазури.
Туманный клок в лазури проносился.
На бледнобелый мрамор я склонился
И горевал, прося грозы и бури.

Да, этот сон когда-то мне уж снился...[19]

ПРОЛЕТЕЛА ВЕСНА

Пролетела весна.
Лес багрянцем шумит.
Огневая луна
Из тумана глядит.

Или вспомнила вновь
Ты весенние дни.
Молодую любовь,
Заревые огни?..

Пролетела весна.
И былое — обман.
Побледнела луна.
Серебрится туман.

Отвернулась... Глядишь
С бесконечной тоской,
Как над быстрой рекой
Покачнулся камыш...[20]

ЛАСКА

Я знаю — ты загнан людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность.

С тобой, над тобою она.
Ласкает, целует беззвучно.
Омыта лазурью весна.
Над ухом звенит однозвучно.

С тобой над тобою она.
Ласкает, целует беззвучно.

Хоть те же всё люди кругом.
Хоть так же и ты меж людьми сер.
— О, смейся и плачь: в голубом
Рассыпаны тучки, как бисер.

Закат догорел полосой.
Огонь там для сердца не нужен.
Там матовой, узкой каймой
Протянута нитка жемчужин.

Там матовой, узкой каймой
Протянута нитка жемчужин[21].

ВОСПОМИНАНИЕ

Заброшенный дом.
Кустарник колючий, но редкий.
Грущу о былом.
«Ах, где вы — любезные предки?»

Из каменных трещин торчат
Проросшие мхи, как полипы.
Дуплистые липы
Над домом шумят.

И лист за листом,
Тоскуя о неге вчерашней,
Кружится под тусклым окном
Разрушенной башни.

Былое, как дым.
И жалко.
Охрипшая галка
Глумится над горем моим.

Посмотришь в окно —
Часы из фарфора с китайцем;
В углу полотно
С углём нарисованным зайцем.

Старинная мебель в пыли,
Да люстры в чехлах, да гардины...
— И прочь отойдешь... А вдали
Равнины, равнины.

Среди многоверстных равнин
Скирды золотистого хлеба.
И небо.
Один.

Внимаешь с тоской,
Обвеянный жизнию давней,
Как шепчется ветер с листвой,
Как хлопает сорванной ставней[22].

ВСТРЕЧА

(посв<ящается> Сомову)

Вельможа встречает гостью.
Он рад соседке.
Вертя драгоценною тростью,
Стоит у беседки.

На белом атласе — сафиры.
На дочках — кисейные шарфы.

Подули зефиры —
Воздушный аккорд
Эоловой арфы.

Любезен, но горд.
Готовит изящный сонет
Старик.
Глядит вглубь аллеи, приставив лорнет,
Надев треуголку на белый парик.

Вот негры вдали показались — все в красном — лакеи...
Вот блеск этих золотом шитых кафтанов.
Идут вдоль аллеи
По старому парку...

Под шепот алмазных фонтанов
Проходят сквозь арку...

Вельможа идет для встречи.
Он снял треуголку.
Готовит любезные речи.

Шуршит от шелку[23].

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

(посв<ящается> Сомову)

Сияет роса на листочках.
И солнце над прудом горит.
Красавица с мушкой на щёчках,
Как пышная роза, сидит.

Любезная сердцу картина!
Вся в белых, сквозных кружевах
Мечтает под звук клавесина.
Горит в золотистых лучах

Под вешнею лаской фортуны
И хмелью обвитый карниз,
И стены. Прекрасный и юный
Пред нею склонился маркиз

В привычно заученной роли,
В волнисто-седом парике,
В лазурноатласном камзоле,
С малиновой розой в руке.

«Я вас обожаю, кузина!
Извольте цветок сей принять»...
Смеются под звук клавесина.
И хочет подругу обнять.

Целует напудренный локон
И плечи скрывающий шелк.
Глядит из отворенных окон
Подкравшийся муж, точно волк.

Уже вдоль газонов росистых
Туман бледнобелый ползет.
В волнах фиолетово-мглистых
Луна золотая плывет[24].

Б. Бугаев

Как видите, всё *«посторонние»* стихотворения — лежащие или *по сторонам,* или *вне* Главного. Но я отдыхаю в них от *«все той же думы».*

Комментарий Андрея Белого*

15) К следующему письму без даты (моему, отвечающему на предыдущее ко мне письмо Блока): в том письме мне ясно, что мы разошлись с Блоком в наших интимных способах сигнализировать; я не понял *глубины* его пифагорейства, его тенденции символизировать числами; не понял его изумительной *«четверки»*, введенной ныне в круг моих мыслей о *«Софии»* и *«культуре»*; он не понял моего подхода к *«цветам»*; и всего *«эзотеризма»*, мной туда вложенного.

В этом моем письме все то, что я говорил о *«четверке»* Блока в связи с тем, что она есть 1/2 моей *«восьмерки»* (и, как 1/2 — половинчата), есть схоластический вздор слепоты моей. Далее, — я сызнова (спихнув грубо с дороги огромную мысль Блока) излагаю то, что уже изложено в статье *«Священные цвета»*, скомкиваю свою мысль, обрываю начатое и извиняюсь усталостью: *«сегодня, как почти и всегда, адски устал»*. Усталость тут — усталость писать Блоку на темы, в которых мы оба с ним, запутываясь, запутываем друг друга; но и была постоянная усталость от *«светской»* жизни, которую я начал именно в то время вести (то собрание у Бальмонта, то у Брюсова, то у *«Грифов»*, то у меня), придвинутость государственного экзамена; и — другая причина: не до *«цветной»* символики. Но в конце письма вставлена уже тенденция: *«Она»* (поэзии Блока) — *только через Христа;* главное — *«Христос»*, а не *«Она»: «Христос грядет через Нее...», «мы восходим к Ней, ЧТОБЫ приблизиться к Господу»*. Вне Христа — *«Душа мира»* — *«существо двойственное»*.

---

[1] Ответ на п. 9 и 10. Помета Блока красным карандашом: «1903 — весна».

[2] Стихотворение Блока (сентябрь — декабрь 1902 г.), присланное Белому в рукописи.

[3] Заглавие, предпосланное в автографах стихотворению «Здесь ночь мертва. Слова мои дики...» (9 января 1903 г.; см.: ПСС I, 325, 579—580), полученному Белым в рукописи.

---

* В рукописи Белого комментарий к этому письму помещен после комментария к письму 12.

[4] Строка из стихотворения «Целый год не дрожало окно...» (6 января 1903 г.), также присланного Белому в рукописи и впоследствии ему посвященного (см.: ПСС I, 325, 578—579).

[5] Имеется в виду письмо «студента-естественника» по поводу книги Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский» (см. примеч. 12 к п. 1).

[6] Имеется в виду статья «О религиозных переживаниях», отклоненная редакцией «Нового Пути» (см. ниже, п. 12). Последующие рассуждения Белого о цветовой семантике и символике в значительной степени соотносятся с ее содержанием.

[7] Подразумеваются мысли о семантике серого цвета, развиваемые Мережковским в книге «Судьба Гоголя. Творчество, жизнь и религия», печатавшейся в «Новом Пути» (1903. №№ 1—3; позднейшие заглавия книги — «Гоголь и чорт», «Гоголь. Творчество, жизнь и религия»).

[8] Строки из стихотворения Блока «Сбежал с горы и замер в чаще...» (21 июля 1902 г.). С неизвестного нам автографа этого стихотворения Белый сделал две копии, одну из которых 4 января 1903 г. послал Э. К. Метнеру (см. комментарии З. Г. Минц: ПСС I, 540).

[9] В записях «Касания к теософии» Белый сообщает, что в 1901 г., благодаря знакомству с А. С. Гончаровой, познакомился с рядом теософских изданий, в том числе с книгами Ч. Ледбитера «Невидимые помощники» («Les aides invisibles». Paris, 1902), «Астральный план» («Le plan astral». Paris, 1899), «Le son dans la Nature» (книга Ледбитера «L'occultisme dans la Nature» вышла по-французски, однако, позже, в 1911—1913 гг.). См.: Минувшее. Исторический альманах. Вып. 9. Paris, 1990. С. 449, 455—456 (публикация и комментарий Дж. Мальмстада).

[10] Еретические движения Средневековья. Религиозно-философское учение манихейства, возникшее в III в. на Ближнем Востоке и распространявшееся вплоть до XI в., представляло собой сплав халдейско-вавилонских и персидских учений с христианством и гностицизмом; рассматривало мир как извечное противостояние двух начал — света и тьмы (материи), добра и зла. Сблизившись с христианством, манихейство оказало влияние на формирование дуалистических ересей — альбигойцев, действовавших в XII—XIII вв. во Франции, Италии и Германии; богомилов, существовавших в Болгарии с X в. Согласно учению богомилов, верховный Бог сотворил невидимый, ангельский духовный мир во главе с первородным старшим сыном Сатанаилом; сын возмутился против отца, был низвержен с неба на землю и сотворил видимый мир и тело человека.

[11] Ис. I, 18.

[12] Откр. VII, 14: «... убелили одежды свои кровию Агнца».

[13] Эти положения развиваются в «Чтениях о Богочеловечестве» (чтение девятое; 1880): «... все единое человечество, или душа мира, есть существо двойственное <...> Поскольку она воспринимает в себя Божественного Логоса и определяется им, душа мира есть человечество — божественное человечество Христа — тело Христово, или София» (Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. М., «Правда», 1989. Т. 2. С. 131).

[14] Ср. мемуарные свидетельства Белого о С. М. Соловьеве: «... ему отыскали квартирочку: на Поварской; туда перевезли; появилась — друг дома, Любимова, взявшаяся за хозяйство» (*Начало века.* С. 226).

[15] Опубликовано: *Золото в лазури.* С. 223 — с посвящением «Памяти М. С. Соловьева», без ст. 21—24. Впервые: Северные Цветы. М., 1903. С. 35 — в составе цикла «Призывы», без заглавия и посвящения.

[16] *Золото в лазури.* С. 221 — под заглавием «Ожидание», с посвящением С. Соловьеву; вариант в ст. 10.

[17] *Золото в лазури.* С. 219 — с посвящением М. С. Соловьеву; варианты в 1-й строфе.

[18] *Золото в лазури.* С. 139—140 — в составе цикла «Старинный друг», посвященного Э. К. Метнеру; отдельные варианты. Впервые: Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903. С. 46—47 — под заглавием «Старинный друг».

[19] *Золото в лазури.* С. 152 — с посвящением А. П. Печковскому. Впервые: Альманах книгоиздательства «Гриф». М., 1903. С. 47—48 — без посвящения, в составе цикла «Возврат». В автографе Блок отметил ст. 11 звездочкой.

[20] *Золото в лазури.* С. 171 — под заглавием «Осень», вариант в ст. 10.

21 *Золото в лазури.* С. 5 — в составе цикла «Бальмонту»; варианты. В автографе Блок отметил стихотворение звездочкой.

22 *Золото в лазури.* С. 80—81 — под заглавием «Заброшенный дом», с дополнительной строфой; вариант в ст. 23.

23 *Золото в лазури.* С. 68—69 — под заглавием «Менуэт», без посвящения, вариант в ст. 17.

24 *Золото в лазури.* С. 66—67 — с посвящением «Дорогой матери», без 6-й строфы; вариант в ст. 20. В автографе предпоследняя строфа перечеркнута Блоком.

---

12. БЛОК – БЕЛОМУ

<20 марта 1903. Петербург>[1]

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Прежде всего, должен извиниться перед Вами: сделал вещь неосторожную и, мож<ет> б<ыть>, для Вас неприятную. Перцов просил у меня почитать Ваши стихи. Тогда я переписал ему «Встречу» (Сомов). Ему почти понравилось, и он просил еще. Тогда я переслал ему прямо два листа Ваших стихов[2]. Он, конечно, возвратил их мне, но показал и Мережковским. Всем *не* понравилось. Когда я получил их обратно, тут же (в редакции «Н<ового> П<ути>») оказался Сомов, которому пришлось прочесть «Встречу» и «Объяснение в любви». Первая ему немного понравилась, второе — совсем нет. Во всяком случае, виноват я. Все время оговаривался Вашими же словами, — что стихи посторонни и служат отдыхом «от все той же думы», хотя сам бы не сказал ни того, ни другого целиком. Но приходится, потому что уж очень различны мерки, прилагаемые к стихам разными людьми. Мне более чем знакомы и дороги «восторги вьюги», «пьяные куски лазури», «бирюзовая вечность», «нитка жемчуга». Ушли ли отсюда они? Перешли дальше, или просто забыли? Вторая ли у них молодость — и более зоркая? Или уж старость? Перцов тут особ-статья, мне кажется, что он не оскорбляет, даже когда ему не нравится. Но Сомов, кажется, умен и сух — последнее настолько сильно, что производит удушливое впечатление. Ужасно боюсь, что это происшествие будет Вам очень неприятно, и крайне извиняюсь за свою бестактность. Впредь обещаю этого не делать и надеюсь, что Вы мне еще когда-нибудь пришлете стихов. *Мне* они нравятся в общем и во многих частностях. Безусловно ценны и, как мне кажется, принадлежат безраздельно Вам мелодии «Воспоминания» и «Встречи», а с другой стороны — «Ласки». При этом два первых даже, пожалуй, менее мелодичны. Зато «Ласка» несомненно слитна и цельна. Ее первая строфа, как помавающий флаг, а переход из 3-ей строки в 4-ую (С тобой бирюзовая вечность) по неуловимой прелести (до дрожи в голосе) так знаком и так несет к «цветущим берегам», откуда «чуется ветр»[3]. Эти постоянные, непостижимые 3-4 строки в строфе, мне кажется, всегда что-то объясняют, завершая строфу. Убедительнее этого колыхания миротворства (а у *Баратынского*, напр<имер>, обратно: не миротворство, а обезнадеживанье: «И платим мы за радость крат-кую Ей без-ве-сель-ем-дол-гих-дней»[4]) для меня ничего нет. Тоже у *Брюсова*: (И) песен отголоски (из) дальних деревень[5]; у

Соловьева: Несут к тебе — желаний пламень бурный И тайный вздох немеющей любви[6]. Наше сердце цветет и вздыхает... Приходи — и узнаешь о чем[7]. — Эти три стихотв<орения>, а также «Уж этот сон мне снился» и «Вл. Соловьев» (последние два больше по содержанию, а не по «субстанции») мне очень нравятся. В стих<отворении> «Пролетела весна» конец очень хорош. «Призыв», «Стар<инный> друг», «Как невозвр<атная> мечта» и «Объясн<ение> в любви», по-моему, хуже. Некоторые детали, как, напр<имер>: «*комично* прозвучал»[8], «меж людьми *сер*»[9], «муж, точно *волк*»[10], я думаю, и Вам не нравятся (но никак не «Шуршит от шелку»[11], о котором я все думал и, наконец, почувствовал, что это прекрасно и *вполне* по-Сомовски, если не дальше и не глубже еще).

Еще вот одно дело: Перцов нашел статью «О религиозных переживаниях» непонятной и не хочет ее печатать. Отдал мне, чтобы я переслал Вам. Если Вам нужно, я немедленно пришлю, но пока оставляю у себя. Приятно бы ее иметь, как необходимое дополнение к Вашему письму о «цветах»[12].

Несколько слов об этой статье. Она *мне* кажется очень важной, но именно в смысле некоторого завершения первого (или, во всяк<ом> случае, данного) круга Вашего пути. На это навели меня следующие оговорки: 1) что мы знаем, что такое *схоластика* и что *не схоластика* и имеем право ими пользоваться, как *с р е д с т в о м,* именно потому, что делаем это и *сознательно и откровенно* (ясно, *как день*, нашей душе)[13]. 2) Схема внутреннего пути фиксируется в *цветах* (т. е. «популярнее», образней, лирически?), потому что в их последовательном изменении *т е н ь* последоват<ельной> смены дух<овных> вйдений. — Если цвета — только *тени* истин, то они даже *не* составляют *символов* (как *начала воплощений*), а только *аллегории* (?). Если же так, то цветовая схема обращается в схоластическую, хотя бы и сознательно схоластическую (с объект<ивной> т<очки> зр<ения>). И вопрос, надо ли ей пользоваться, хотя бы и *как средством* только, вырастает с новым могуществом. Стоит ли за схемой истинное «бытие», реальность — неизвестно (с объект<ивной> опять т<очки> зр<ения>). В письме же ко мне Вы прямо говорите, что тут *«весьма субъективны»*. Помимо последнего, на субъективность прямо указывает 8-ая стадия (внецветное), как нечто произвольное. Тут, собственно говоря, выступает все тот же вопрос, возможно ли каким бы то ни было способом (схемой или даже молитвой) формулировать ясное, как день, нашей душе? Если все это так, то несомненно статья о стадиях вйдений замыкает данный круг прозрений. Окружность разбежалась, расширилась — и все еще не вместила того, что очевидно просится в еще более широкий круг — и т. д., и т. д. — до желанного и чаемого, свободно ласкового и самого нежного; — до... Вечно Женственного Синтеза (впрочем, мне и «синтез» не совсем по душе).

Прекрасна молчаливая зоркость. Мне чудятся надежды в некоторой уступке нашей всеобщей напряженности. Бросая «эстетизм», необходимо сохранять *красоту*. Еще рано отбрасывать то, что единственно может приготовить сердце. Всему свой черед — и, думаю, что надо воплощать Красоту, пока не воплотится Бог. Радужные Врата необходимо Прекрасны. Пускай те, кто «погряз» в «эстетизме», учатся дрожащей молитве. Но те, кто разгорается, «лишь заметят яркий багрянец»[14], могут отойти на отдых, в узорную тень, и «заглядеться». Все равно, в следующий миг они опять повлекутся в мучительной и сладкой тревоге.

Посылаю Вам еще свои стихи из последних.

Искренно любящий Вас Ал. Блок

20 марта 1903. СПб.

«МЕТЕМПСИХОЗ»

Никто не умирал. Никто не кончил жить.
Но в звонкой тишине вставали и сходились.
Они приблизились — черты определились,
Внезапно отошли — и их не различить.

Они невдалеке, и ты в общеньи с ними.
Они звенят в ушах, мерещатся глазам
И, может быть, под масками чужими,
Как ты, обращены к последним временам.

Внимательно следи: толпа многообразна.
Быть может, средь нее мелькнет усопший друг.
Узнаешь ли его под маской безобразной?

Там — в гулкой тишине — вертится тот же круг.
Безмолвная толпа — гробница возвращений,
Хранилище вечерних озарений[15].

* * *

Всё тихо у Ней на лице.
И звездная полночь тиха.
С немым торжеством на лице
Открываю грани стиха.

Шепчу и звеню, как струна.
То — ночные цветы — не слова.
Их росу убелила луна
У подножья Ее Торжества[16].

Комментарий Андрея Белого

13) К письму Блока от 20-ого марта:

«Перцов нашел статью "О религиозных переживаниях" непонятной и не хочет ее печатать» — речь идет о статье, напечатанной после под заглавием «Священные цвета»; она лишь в 1904 году была напечатана в «Мире Искусства»*.

14) К тому же письму:

Рассуждения Блока о моей статье по сигнализации *цветами* этапам пути вводят *in medias res* той же неразберихи между нами, о которой я выше сказал; для Блока это *«цветная»* схоластика; и он спрашивает: *«Что такое схоластика и что не схоластика?»* И далее: *«Если цвета — только тени истин, то они даже не составляют символов (как начала воплощений), а только — аллегории...» «Если же так, то цветовая схема обращается в схоластическую...»* Тут-то и

* Сведения неточны; ср. примеч. 12 к наст. письму.

ставит Блок свой вопрос *«Что такое схоластика?»* В ту пору выслушивать это все было мне мучительно, ибо это все, к сумме поднятых вопросов, приподняло еще бóльшую сумму вопросов, долженствующих быть поднятыми; и — окончательно неподнимаемыми; ибо поднятие их — не письмо, а том моей «Системы философии»; вскоре, через 3 года, эта система для меня и встала; и я все лета 1904 и 1905 годов с лихорадочной поспешностью исписал сотни листов набросков к ней, из которых вынутый клочок, спешно переработанный уже позднее, в 1909—1910 годах, — «Эмблематика смысла»; еще в 1910 году этот ворох бумаг был при мне; куда он девался впоследствии — не помню (вероятно, впопыхах сожжен вместе с черновиками статей и книг, а — жаль: там было много интересных абзацев); Блок в 1903 году удручал не раз меня, с огромною интеллектуальною зоркостью врываясь в лабораторию моей мысли, где все еще только кипело, вынашивалось, изучалось, — с некоторою наивностью как бы трогая *то*, или *это*: «А то что? А что это?» Ответ внятный — лекции, курсы лекций (не менее), которых я был лишен возможности прочесть; вне этих выпрямляющих мои мысли курсов — все *«криво»* выглядело; и в рассуждении о *цвете*, как *тени,* как *схеме,* у Блока мне виделась моя мысль в кривом зеркале; и главное: я сознавал, что иначе и быть не могло. Мои *цветовые* символы в одном отношении для меня не были *тенями*, или *схемами* (в блоковском смысле) — в таком точно смысле, в каком *цвет* есть *что-то* ограниченное (*что-то* — «свет»), а *тень* — ничто, тьма, отсутствие света: отрицательное понятие; оттого я и брал *цвет* символом, что цвет, даже физический цвет, есть соединение *«источника света»* (духовного по Гете) с материей; *цвета* для меня были в то время, так сказать, символами обычных, образных символов: так сказать, — музыкальные тональности разных способов символизировать («символизаций», как гамм); нечто до *nec plus ultra* музыкальное жило для меня в *цвете;* музыкальное для меня в то время значило *«родовое», «всеобщее»,* но не абстрактно-всеобщее, не *universalia* схоластиков, как думал Блок, а *целое,* понятое как *индивидуум,* т. е. содержащее форму и содержание; моя ошибка, что понятием «родового» я злоупотреблял, протаскивая из философии Соловьева утверждение, что в позитивно-интуитивном мышлении конкретного идеализма понятие *«родовая идея»* означает объективное и одновременно индивидуально-конкретное мышление (оно же — прозрение); в сущности, — за всем этим стоял вопрос Гете, мне незнакомый в то время: «как возможна *точная фантазия*», и — ответ Штейнера: «возможна, как имагинативное мышление, к которому следует проработать себя методами *духовной науки*». Для Блока — мышление всегда означало: *«рассудочное»*; под ним — Хаос подсознания; над ним — озарение сверхсознания; для меня и тогда уже вместо *«банального»* сверхсознания стояло: «нет в сверхсознании сверхсознания, а — расширенное сознание». Т. е. то, что я нынче называю: Сознание Манаса, и путь к нему был уже виден: он — в соединении хаоса полу- и подсознательных образов с критической ясностью сознания; это *новое* соединение двух стилей прошлого (эпохи мифа, эпохи мысли) в один и было *символизмом*, как путем жизни и мирозрения в одновременности; оттого я с косолапой поспешностью провозглашал: символизм не *«минус Кант»*, а — *«плюс Кант»*; иначе — *«надголовое»*, т. е. в конце концов тоже *«безголовое»* сверхсознание: de facto — глухое, физиологическое *«нутро»*. Так символизация этапов пути *цветными* тональностями была для меня чем-то диаметрально противоположным *«аллегоризму»* и *«схематизму»*. Когда я говорил *«красное», «белое»*,

то я говорил не о *краске*, а о мире; спектр *семи цветов* для меня был спектр, быть может, семи *иерархий, жизней, культур, сознаний,* духовных разумеется; органы восприятия этих цветов-звуков еще надлежало развить; мои *цветные схемы* мне были сигнализациями о *потенциях* во мне к выращиванию новых органов, воспринимающих жизнь *иных измерений;* позднее я встретил ответ у Штейнера в его «Пути самосознания»: ответ, что когда *«ученик»* начинает подглядывать средствами эфирного тела (уже вне-физически) веяния иных миров, то в нем развивается потребность сигнализировать *цветами*, как буквами; не *цветами* грубочувственной краски, а, так сказать, моральными прозорами своими сквозь цвета; *нечто*, узнаваемое реально и не поддающееся слову, оттеняемо *цветом*; этот цвет — уже *Аура;* и Гете об этом говорит в абзаце *«Моральное восприятие ... красок»*. И вся *световая теория* Гете сквозит этим *духовно-научным* алканием *«ведения»* тайн духовного мира. Сейчас, через 25 лет после того как во мне впервые сложилась потребность наиболее эзотерические переживания (и наиболее реальные) отражать в *цветах*, — сейчас вижу я всю *правду* этого устремления; она мне раскрыта духовно-научно; тогда я не был вооружен позднейшими знаниями; и не умел с достаточной толковостью отразить рассуждение Блока о том, *«Аллегория»* или не *«Аллегория»* цвет; я бы должен был ответить: «или будем говорить с вами откровенно логическим теоретико-познавательным языком: языком Канта; или — не будем врываться просто мыслями в мир *тайны,* чтобы пальцами мысли ощупывать: *"что это?"* Будем не ставить вопроса о *цветах*, но либо понимать: и говорить *знаками,* либо — молчать».

Но я так не ответил; и из этого проистекали лишь путаницы; нарушались грани; смешивались этапы — А. А. Блоком, по-моему, более, чем мною, более философски *трезвым;* это и заставило потом Блока — отразить неразбериху в *«мистиках» «Балаганчика»*, а меня — негодовать на него за такой «поступок». Блок пишет: *«Вы прямо говорите, что тут субъективны»*. Опять моя *«светскость»*, заставлявшая меня — извиняться, отступать, уступать; я бы должен ответить: «субъективность — в средствах ощупи и оформления, не в самом факте ощупывать *реальности...*» Но я стеснялся. Далее у Блока: *«На субъективность прямо указывает 8-ая стадия (внецветное) как нечто произвольное...»* Ни капли; я бы мог подставить под 8-ую стадию *«Парабраман»* древней Веданты; и кроме того: вопрос уже «спецский»; в 15 году Штейнер в специальнейших духовно-научных лекциях для личных *«учеников»* затрагивал то, что он называл «восьмой сферой»; и в этой «восьмой сфере» его я узнал многое из того, что еще юношей косноязычно силился очертить *«восьмой стадией»*...

«Выступает... все тот же вопрос, возможно ли... схемой... формулировать ясное, как день, нашей душе?» Так Блок заключает свое письмо; и этим заключением как бы закупоривает меня в мир его неправильных восприятий моего тогдашнего *«эзотеризма»*. Не говоря уже, что мои цвета не *«схемы»* в обычном взятии, а — сокровенное самих *«символов»*, я и так называемые *«схемы»* в то время уже видел — не как *«схемы»* собственно, а как весьма и весьма захудевшие и ненормально выродившиеся *реальности;* см. в *«Эмблематике смысла»* о схеме у Канта; эти места из пропавших черновиков, где детально разбирается вопрос о том, что и *аллегории*, в одном разрезе взятые, суть перерожденья *символов* и что с них, так сказать, снимаема *плева рассудочности* (эта мысль позднее крепнет и в *«Кризисах»*, и в *«Смысле Познания»*).

---

[1] Ответ на п. 11.

[2] В ответ Перцов писал Блоку (28 февраля 1903 г.): «Стихи Бугаева очень “милы” и свежи. Субтильность вполне сомовская — казалось, не встретишь у Бугаева. — Спасибо за копии» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 460).

[3] Подразумевается строка «Учуять ветр с цветущих берегов» из стихотворения Фета «Одним толчком согнать ладью живую...» (1887).

[4] Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «Любовь» («Мы пьем в любви отраву сладкую...», 1824).

[5] Неточная цитата из стихотворения «Дозор» («Я слежу дозором...», 1899), входящего в книгу Брюсова «Tertia vigilia» (М., 1900). См.: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 205.

[6] Строки из стихотворения «Зачем слова? В безбрежности лазурной...» (1892).

[7] Заключительные строки стихотворения «Белые колокольчики» («Сколько их расцветало недавно...», 1899).

[8] В опубликованном тексте стихотворения «Владимир Соловьев» — исправленный вариант строки: «Безумно прозвучал».

[9] В опубликованном тексте стихотворения «Ласка» — переработанный вариант строфы, включавшей это словосочетание:

Хоть те же всё люди кругом,
ты — вечный, свободный, могучий.
О, смейся и плачь: в голубом,
как бисер, рассыпаны тучи.

[10] В опубликованном тексте стихотворения «Объяснение в любви» изъята строфа, включавшая это словосочетание.

[11] Заключительная строка стихотворения «Встреча».

[12] Характеризуя в письме к Э. К. Метнеру от 25 июля 1903 г. историю своих взаимоотношений с редакцией «Нового Пути», Белый отмечает: «Наконец обиделся *я* за непомещение одной заметки, которую они (в Редакции) не поняли» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 200). Статья Белого «О религиозных переживаниях» при жизни автора напечатана не была; беловой автограф ее сохранился в архиве Блока (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 3. Ед. хр. 70), ныне статья опубликована по этому источнику (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 4—9 (Андрей Белый. Жизнь. Миропонимание. Поэтика)). Сходные построения о цветовой символике содержит первопечатная редакция статьи Белого «Символизм, как миропонимание» (Мир Искусства. 1904. № 5. С. 173—196); позднее, при формировании книги статей «Арабески» (М., 1911) Белый выделил «цветовые» фрагменты этой статьи в самостоятельную статью под заглавием «Священные цвета».

[13] Подразумевается следующий фрагмент статьи Белого: «Мы, стоящие по ту сторону пессимизма, мы, пытающиеся одолеть Ницше, — мы знаем, что такое *схоластика* и что такое *несхоластика,* что относится к области догматизма или критицизма. Для удобства изложения, однако, мы с полным правом пользуемся всякой схоластикой и несхоластикой как внешним средством передачи этого *ясного как день* нашей души» (Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 6).

[14] Подразумевается строка «Но лишь яркий багрянец замечу» из стихотворения Фета «Чем тоске, и не знаю, помочь!..» (1862).

[15] Первоначальная редакция (12 марта 1903 г.) стихотворения, впервые опубликованного без заглавия и в переработанном виде (дата переработки — 5 ноября 1904 г.) в альманахе «Проталина» (Кн. 1. СПб., 1907. С. 39).

[16] Написано 19 марта 1903 года, впервые опубликовано (с вариантами в 1-й строфе) в «петербургском альманахе» «Белые Ночи» (СПб., 1907. С. 22).

---

13. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<25 марта 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

Несколько слов о моем письме в *«Новый Путь»* [2] и о *«цветах»* в частности. Вполне допускаю субъективизм его и невозможность напечатания в *«Новом Пути»*. Что же касается Ваших слов о *т е н и* последовательности духовных видений, то заменяю слово *«т е н ь»* словом *«прообраз»*, но от цветов никогда не откажусь, ибо в цвете для меня заключено все то, что создает эзотеризм и цену религиозных образов. Тут для меня нечто до такой степени важное, необъятное, что может идти лишь речь о моем неумении говорить, а не о *том,* о *чем* я хочу намекнуть цветом. Но *невозможно* все говорить *и только.* Поэтому пора начать молчание. Затихнуть и уйти. Нельзя и *делать дело,* потому что для меня ясно, что прежде нежели говорить о *начале,* нужно углубленностью сравняться с высокими образцами православного и вселенского христианства, уйти в пустыню, или пройти сквозь ряд духовных *ворот и арок,* воздвигнутых Ницше, чего *никто, решительно никто* исполнить не хочет. Обыкновенно происходит следующее: человек почитает Ницше, потом Ницше ему надоедает, и он с пафосом объявляет: «Нас Ницше уже не интересует! Мы преодолели Ницше!»

Так ли это? Знают ли те люди истинного Ницше? Для меня ясно, что нет. Они побывали лишь в передней у Ницше и потом с видом знатоков поясняют о тайнах ницшеанства... А у св. Отцов Пустынников они и никогда не бывали... Между тем в монашестве, как и в ницшеанстве, прямолинейная глубина, отсутствие смешанности, серединности — смехотворного ужаса.

Я в последнее время многое узнал, во многом разочаровался — заработал себе право *молчания.* Я умолкаю. Выбрасываю всякий эзотеризм из своих слов. Перестаю говорить о том, во что я верю и во что нет. Становлюсь строго-формальным, логическим. Мне надоел пестрый базар, который устраивают теперь из эзотерических открытий. Я не люблю маскарад. С меня довольно паясничества. Страшна мне порнография, вносимая в христианство. Тошнит от нее.

Пора открыть глаза на то, куда мы идем. Прежде нежели плевать на красоту, следует дать взамен ее эквивалентное. Оно и дается в Православной Церкви. Вот — единственно правильный путь, углубленность которого часто не ведают его стражи; но у них все же достаточно чутья, чтобы вопиять на те провалы, куда тащат нас иной раз христиане-теурги, хотя во многом другом они и достаточно углубленны. Теурги мнят о себе слишком много. Они — лишь ветвь вселенского христианства, ветвь, могущая расти правильно лишь тогда, когда параллельно будет развиваться теософское и церковное понимание христианства.

Но я молчу.

Остаюсь готовый к услугам и любящий

Борис Бугаев.

P. S. Письма моего в *«Новый Путь»* мне совсем не нужно.

Москва. 25 марта.

P. P. S. *«Метемпсихоз»* мне чрезвычайно нравится, как по форме, так и по содержанию.

P. P. P. S. Так как я раз навсегда отказываюсь говорить в неопределенно-как-угодно-понимаемом тоне с мистическим налетом, то имеет ли *«raison d'être»* наша дальнейшая переписка? Предлагаю ее прикончить.

---

[1] Ответ на п. 12. Письмо не было отправлено Блоку; автограф хранится в архиве Андрея Белого (РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 1).

[2] Подразумевается статья «О религиозных переживаниях».

---

14. БЛОК – БЕЛОМУ

<4 или 5 апреля 1903. Петербург>

Милый и дорогой Борис Николаевич!

Христос воскрес![1] Поздравляю Вас и целую. Пишу только несколько слов, потому что ужасно занят[2]. Посылаю стихотворение.

Ваш Ал. Блок

1903. Петербург

У забытых могил пробивалась трава...
Мы забыли вчера... И забыли слова...
И настала кругом тишина...

Этой смертью отшедших, сгоревших до тла,
Разве Ты не жива? Разве Ты не светла?
Разве сердце Твое — не весна?..

Только здесь и дышать, у подножья могил,
Где когда-то я нежные песни сложил
О свиданьи, — быть может, с Тобой...

Где впервые в мои восковые черты
Отдаленною жизнью повеяла Ты,
Пробиваясь могильной травой...[3]

---

[1] Пасха в 1903 г. — 6 апреля.

[2] Блок готовился тогда к университетским экзаменам, начавшимся 15 апреля (см.: *Письма к родным, I.* С. 83; Иезуитова Л. А., Скворцова Н. В. Александр Блок в Петербургском университете // Очерки по истории Ленинградского университета. IV. Л., 1982. С. 70—71).

[3] Написано 1 апреля 1903 г., впервые опубликовано в журнале «Новый Путь» (1904. № 6. С. 30); в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905) и в последующих изданиях печаталось с посвящением С. Соловьеву.

15. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 или 7 апреля 1903. Москва>[1]

Дорогой и Милый Александр Александрович!

Воистину воскрес... Спаси Вас Бог! Целую Вас и радуюсь без конца. Какое счастье! Будем же мы заговорщиками счастья: они подслушали, как оно кралось ночною порой... И еще ночь, но в душе у нас неугасимая зоря.

И весело заговорщикам счастья — да?

Умрем за счастье.

Христос с Вами.

Борис Бугаев

P. S. Глубоко признателен Вам за прекрасные стихи. Они мне по сердцу.

Буду писать Вам долго и с удовольствием, но не сейчас, а после экзаменов (у меня государственные).

P. P. S. Мне совсем не нужно моей рукописи в «Новый Путь»[2].

---

[1] Ответ на п. 14; датируется по связи с ним. Помета Блока красным карандашом: «1903 — весна».

[2] См. п. 12, примеч. 12.

---

16. БЛОК – БЕЛОМУ

<28 апреля 1903. Петербург>

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Не удивитесь, что пишу Вам так. Думаю, что не странно то, что мы с Вами никогда не видели друг друга в лицо. Но ведь видели иначе. Я женюсь этой осенью, в половине августа, в именьи Шахматово Клинского уезда. Мою Невесту зовут Любовь Дмитриевна Менделеева. Что скажете Вы на то, что я буду от всего сердца просить Вас быть шафером на свадьбе, и, думаю, что у Невесты? Она также просит Вас. Если будете в Москве, или поблизости, приезжайте с Сережей Соловьевым, который будет шафером у меня[1]. Не только мне, но и всем моим родным будет приятно и радостно видеть Вас. Пишу Вам кратко по причине экзаменов, которые Вы также держите. Если очень заняты, не отвечайте сейчас же, а подождите конца экзаменов. Я уеду из Петербурга в двадцатых числах мая за границу, откуда вернусь в половине июля прямо в Шахматово. Сережа уже знает все, Вам я не писал потому, что срок свадьбы только недавно окончательно назначен[2]. Жду Вашего ответа, очень важного для меня. Не зная Ваших обстоятельств, не вполне надеюсь на Ваше согласие; может быть, Вы, кончив курс, совсем уезжаете из Москвы?

Неизменно Ваш Ал. Блок

28 апреля 1903. СПб.

[1] 20 марта 1903 г. Блок писал С. М. Соловьеву: «Тебе, одному из немногих и под непременной тайной, я решаюсь сообщить самую важную вещь в моей жизни... Я женюсь. Имя моей невесты — Любовь Дмитриевна Менделеева. Срок еще не определен — и не менее *года*. Пожалуйста, не сообщай этого никому, даже Борису Николаевичу, не говоря уже о родственниках» (VIII, 55—56). Соловьев отвечал 25 марта, в день Благовещения: «Поздравляю тебя ото всей души, но предупреждаю, что я с тобой незнаком, если не позовешь меня шафером, где бы ни произошла твоя свадьба. Я человек легкий на подъем и всегда прискачу, когда будет надо» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 332).

[2] По получении Белым этого письма известие о предстоящей женитьбе Блока распространилось среди близких Белому людей; ср. сообщение в письме А. С. Петровского к Э. К. Метнеру от 18 мая 1903 г.: «Блок женится на “прекрасной даме”» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 199).

17. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<1903>. Москва 9-го мая[1].

Милый и дорогой Александр Александрович,

Простите — я не сразу Вам ответил. Ваше письмо пришло в те дни, когда у меня был *«maximum»* напряжения. Следовало быстро сдать 5 экзаменов[2].

Прежде всего огромное спасибо за честь, оказываемую мне приглашением быть у Вас или у Вашей невесты.

С удовольствием согласился бы, но я должен сопровождать папу на Кавказ и не знаю, вернусь ли к сроку.

Во всяком случае мне хотелось бы быть у Вас шафером и поэтому я не отказываюсь от Вашего предложения. Я предупреждаю только, что вдруг мог бы и *не быть им* по обстоятельствам посторонним. Но ведь шафером можно быть сверх комплекта (число шаферов неограниченно); поэтому официально не рассчитывайте на меня, но частным образом я постараюсь быть у Вас или у Вашей невесты шафером.

Дорогой Александр Александрович, все никак не соберусь Вам писать: скучные, мелкие дела, да и наконец для меня *пришла пора молчания*. Слишком все странно *«там»*, я совсем потерял язык; трудно в письме передать то, что и самому-то себе не до конца выяснено. Вот мне хотелось бы ужасно лично видеть Вас. Надеюсь, мы встретимся осенью. После экзаменов подробно буду писать Вам, а теперь лаконичен.

Прощайте. Христос с Вами.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. Мне бы хотелось иметь Вашу фотографическую карточку. Не пришлете ли мне ее? Буду чрезвычайно благодарен. Чтобы вернее получить Вашу, посылаю Вам свою[3].

P. P. S. Быть может, Вы мне будете писать? Во всяком случае, если за границей остановитесь где-нибудь продолжительнее, сообщите мне адрес, чтобы я мог писать Вам. Мой летний адрес, где откуда* письма всегда дойдут до меня: Тульская Губерния, город Ефремов, сельцо Серебряный-Колодезь.

* Так в автографе.

P. P. P. S. Жду присылки Вашей карточки.

Комментарий Андрея Белого

16) К моему письму от 9-ого мая 1903 года:

Его лапидарность объяснима экзаменами; но и сознанием трудности договориться сознательно. Отсюда: *«Пришла пора молчания. Слишком все странно “там”, я совсем потерял язык»*.

---

[1] Ответ на п. 16. Помета Блока красным карандашом: «1903 — май».

[2] После сдачи государственных экзаменов Белый получил свидетельство об окончании естественного отделения физико-математического факультета Московского университета (22 мая 1903 г.), диплома 1-й степени он был удостоен 28 мая 1903 г. (*РГАЛИ*. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 305. Л. 9, 10). См.: *Начало века*. С. 267—273.

[3] На присланном Блоку своем фотопортрете Белый сделал следующую надпись (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 32):

«Заря всю ночь... Неведомое озарилось... Ждите с лицом озаренным. Ждите...

Если и не будет солнца, если и зоря станет потухать, — *жемчужно матовую улыбку прощания Вы увидите с горизонта*.

Борис Бугаев

1903 года мая 9 Москва».

---

18. БЛОК – БЕЛОМУ

<29 мая / 11 июня 1903. Bad Nauheim>[1]

Милый и дорогой Борис Николаевич.

Совсем виноват перед Вами. Во-первых, не отвечаю, во-вторых, не посылаю карточки. Карточки пока не имею, как только снимусь, пришлю или передам Вам. За Вашу благодарю от всей души, и за надпись, и за письмо. Не писал Вам оттого, что только 20-ого мая кончил экзамены, а после захлопотался. Теперь сижу, minimum на 6 недель (от сегодняшнего числа), в курорте «Bad Nauheim» (близь Frankfurt'а а/М), где мама будет лечиться, а кстати и я — отдыхать[2].

Спасибо Вам большое за Ваше согласие быть шафером на моей свадьбе. Если Кавказ Вас не задержит, приезжайте, буду ужасно рад и тронут. Кроме всего остального, лично видеться с Вами очень хочу. Свадьба почти наверное около 15 августа (17?)[3].

Здесь я только еще первый день, но места знакомы, потому что 6 лет назад уже был здесь же[4]. У окна — поле и гул железного пути[5]. Пишите, прошу Вас. Вот точный адрес:

Германия. Бад-Наугейм. Deutschland. Bad Nauheim. Frankfurter Strasse. Villa Gertrud. Zimmer 6. Herrn A-r Block.

Ваш любящий

Ал. Блок

29 мая / 11 июня 1903.

[1] Ответ на п. 17.

[2] Блок пробыл в Бад-Наугейме с 29 мая по 1 июля (ст. ст.) 1903 г. Этот период жизни Блока нашел наиболее полное отражение в его письмах к Л. Д. Менделеевой (Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 135—188).

[3] Свадьба Блока с Л. Д. Менделеевой состоялась 17 августа 1903 года; венчались в церкви села Тараканово (близ Шахматова).

[4] Первое пребывание Блока в Бад-Наугейме (вместе с матерью и теткой, М. А. Бекетовой) приходится на май—июль 1897 года.

[5] «И гул железного пути» — строка из стихотворения Вл. Соловьева «Там, где семьей столпились ивы...» (1892).

19. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. 10 июня. 1903 года.

Многоуважаемый и милый Александр Александрович,

Только сейчас собрался Вам писать. До 23-го меня терзали экзамены. 29-го скончался мой отец[1]. Помимо волнения, которым охватило меня это событие, тысяча мелочных дел обрушилась на меня. Наконец, усталость.

Только теперь оправился. Могу писать. И прежде всего пишу Вам об одном пункте, который важен для меня. Вот мы пишем друг другу о *Ней*, о Лучезарной Подруге, и между нами такой тон, как будто мы уже знаем *то*, что касается ее, знаем, кто *Она*, откуда говорим о *Ней*, а между тем этого не было: мы никогда не глядели прямо друг другу в глаза тут.

Метод символов хорош: он лучше всего. То, что логически неопределимо, определится психологически. На этом основании больше всего люблю я речь образную. Это — наиболее короткий путь в глубину. Но часто бывает важно, чтобы и поверхность дала зеркальное изображение глубины: важно, чтобы логически мы шли тем же путем, каким шли интуитивно. Вот почему обращаюсь к Вам с вопросом прямым и без всякой задней мысли: определите, что вы мыслите *о Ней*. Мне это очень, очень важно — важнее, чем Вы думаете. Я знаю, такое приглашение, приглашение с вершин в низину, заставит Вас, быть может, содрогнуться брезгливо, но войдите в мое положение: сознавая бесполезность синтеза и всяких мостов — я желаю строить мост для очистки совести. Веря больше всего *знанию*, я хочу и *со-знания*, т. е. *знания* чего-либо в *связи* с чем-либо. Я желаю проверить свое сознание Вашим — хочу коллективного *со-знания* о *Ней* даже в том случае, если оба мы и *знаем* Ее. Вот почему я спрашиваю.

Чувствуете ли Вы ее как настроение, неопределенно туманными грезами? Является ли она для Вас Душой Мира, или определенной личностью? (Я знаю одну 48-летнюю даму, считающую себя за воплощение Ее[2].) Чувствуете ли Вы приближение ее ко всем, или к отдельным лицам? Ждете ли Вы явления ее всему миру, группе лиц, отдельному лицу? Как Вы связываете *настроение о ней* с религиозно-догматическим учением православной церкви? Как Вы толкуете мифы о Ней у язычников? Какое отношение она занимает по-Вашему к Божией Матери, ко Христу, к вопросу о Конце Мира? Совершается ли явление ее символически или воплощенно в душе народа, общества или отдельной лич-

ности? Идет ли навстречу к ней то, что подсматриваете Вы в жизни на лицах людей *о Ней* или тут только живые образы? Образы эти образы ли только (и ясное) или прообразы? Может ли прообраз стать тем, что он прообразует, или нет? Как переплетается вокруг Нее образ Астарты? Может ли быть разница между духовной Астартой и Артемидой?

Еще, и еще ставил бы я вопросы, но и ответы на вышеозначенные меня удовлетворят. Повторяю: мне важно слышать от Вас логическое высвечивание всего *о Ней*, потому что тут множество пересекающихся путей. И пути эти ведут к разному. Если же Вы мне поставите логические рамки, то они, как костыли, поддержат меня в понимании Ваших слов. А к Вашим словам хочу я чутко прислушиваться. Важно, так важно коллективное мышление при установлении форм. При таком мышлении, согласном, легче дышится, *тверже ступаешь там, где все так ново для нашей культуры.*

На каждой плоскости явления отпечатываются различно. Это не мешает суживаться духовно-опытным. Духовно-опытные выбирают *главный образ*: но для выбора они непременно должны иметь целую коллекцию образов — все проявления различных плоскостей. Только те имеют право на *однострунность,* которые знают, что такое многострунность. Многострунность — необходимая внешность, одежда; без такой одежды невозможно существовать тому, кто имеет опыт Жизни: остается или уйти, или замолкнуть, или *н а ч а т ь*...

Если мы не так поступаем — быть многострунными наша прямая обязанность.

Чтобы уметь правильно перекликаться *не пророкам*, нужно уметь правильно переговариваться. Вот это-то все и обязывает меня спросить Вас: *Чтó Вы знаете о Ней и Кто Она по-Вашему?*

Как раз сейчас у нас в Москве Семенов из Петербурга[3]. Мы с ним довольно много беседуем о *«Новом Пути»*, о *«Петербурге», «Москве»,* о *«Вас»*. Он мне нравится. Только чрезмерно осторожен, подозрителен, неуверен и отсюда... часто протестует.

Писала ли Вам Анна Николаевна Шмидт из Н. Новгорода, которая в восторге от Ваших стихов? Буду ждать Вашего письма. Простите, что мало пишу. Но сейчас еще много дел. Из деревни буду опять писать вскоре. И больше. А теперь прощайте. Христос с Вами.

Остаюсь готовый к услугам и любящий

Борис Бугаев

P. S. Мой адрес деревенский. Тульская губерния. Город Ефремов. Сельцо Серебряный Колодезь. Мне.

P. P. S. Так как мой папа умер, то и на Кавказ я не поеду (я должен был сопровождать его). Но теперь новое затруднение: мне нужно бы было остаться в деревне с делами. Но все-таки постараюсь приехать: мне нужно с Вами повидаться.

Комментарий Андрея Белого

17) К следующему за письмом Блока (от 29 мая) письму моему:

Из вышевысказанного ясно, что в моей душе отложилось нечто, равносильное протесту против «тумана» нашей предыдущей переписки; я не понял «числа» Блока; Блок — моих «цветов», отношений у меня между «формой» и «содержанием». Вместо того, чтобы сквозь «туман» подножий в письмах приблизиться нам к нас связывающей теме о «Ней», мы разбрелись; и стало мне вовсе

неясно, что есть «Она» в гнозисе Блока; что есть «Она» в моем гнозисе, мне было ясно; но в этом гнозисе было ясно, что суть отношений к «Ней» не только в «пора» («что» пора?), а в *«гнозисе»* заданий культуры, понятой, как риза Софии; без этого *«гнозиса»* — неизвестно, что «пора»: молиться ли, стекла ли бить, религиозно-общественно действовать, или влюбиться в барышню, чтобы читать ей:

«Нет, — не тебя так пылко я люблю!»

И оттого: *«Вот мы пишем друг другу о Ней... И между нами... тон, как будто мы уже знаем то, что касается ее..., откуда говорим о ней, а между тем этого не было...»*

«Метод символов хорош... Но часто бывает важно, чтобы логически... мы шли тем же путем, каким шли интуитивно». — Фраза полной застегнутости, как бы возврат к первому моему официальному письму, с приглашением к знакомству; казалось бы — немотивированно: наговорили с три короба, и потом сызнова: *«Имею честь представиться».* Так оно, в сущности, и было. Наговорили многое; и — туман из *qui pro quo;* и оттого мое сознательное отступление к четкости и — град вопросов, чуть ли не анкета, взывающая к заполнению; «вопросник» умышленный; почти — «в сердцах». Так всегда бывало со мной в юности; я внешне делал ряд *авансов, силился согласовать свою мысль,* от робости умыкал, проглатывал *«пункты неясности»*, в отчаянии чуть ли не соглашался на «все»; и, вдруг, почувствовав, что все заглотанные противоречия меня распирают, что эдак и до «компромисса» дойдешь, я — взрывался, брал назад все «неряшливые» согласия, выказывая упрямство, бунтовал; или, пересилив «эмоцию» в себе, хитро залегал в идеологической засаде, т. е. делал вид, что я не понимаю языка «символов»; и — потрудитесь ответить внятно, философски.

Нечто от «подобного» было во мне в инсценировке мною вопросов; оговариваюсь: я нежно любил Блока, боготворил его, как поэта, и очень хотел, чтобы можно было сказать «да» его гнозису.

Письмо кончается призывом к «многострунности», т. е. к разглядению темы во всей многогранности культуры; «методологический полифонизм» — вот, так сказать, мой идеологический «монос» того времени; и он заострялся против всякого «монизма»; Блока я заподозрил в «монизме»; и хотел пробить на нем этот казавшийся мне досадным «каркас»: *«Многострунность — необходимая... одежда; без такой одежды... остается или уйти, или замолкнуть, или начать...»* *«Уйти»* — в пути древней аскезы, подвижничества: уйти в *«назад»*; так хотел Петровский; и я его понимал; *«замолкнуть»* — уйти в иогу подготовления к выступлению в мир: уйти в школу пути; так поступил «замолчавший» Добролюбов в свое время; *«начать»* — выступить *теургом* для свершения дел *«Новой Эры»*; Мережковские для меня *«преждевременно начали». «Если не так поступаем — быть многострунными наша обязанность».* Я еще не мог *«начать»* (расхождение с Мережковским), не мог уже *«уйти»* (расхождение в этом с Петровским), не мог *«замолчать»* (иначе бы был «добролюбовцем»). Стало быть: оставалась тяжелая стезя культуры, переплавления, переоценки, новой «критики», т. е. вопросы, тяжелая учеба, работа: и философская учеба, и работа молитвенная, и выработка миросозерцания, и тактика ликвидации всего *«старого»*; мне было еще 22 года; многого я не одолел чисто школьно, сознавал это, посильно старался разгрызть твердыни *«Критик»* Канта, а от меня, как от *«бойца»*, уже ожидали платформ, лозунгов, и не *«публицистических»,* а почти *«како жить».* Отсюда мое неугомонное метание: от Канта, комментариев, к *«глаголам»*, от писания *«стихов»* к чтению *Вундта* и *Оствальда. «Многострунность»*, т. е. пересечение круга тем в теме *культура*, не позволяли мне ни в статье, ни в письме

углубиться ни в один элемент из круга; я сознательно вкрапливал образ в логическую мысль, которая могла бы выглядеть и *понятнее,* и *критичнее* (данные были), но я ее брал в *круге*, т. е. в образе; обратно: чистоту *«лирики»* в себе сознательно нарушая порою, вваливая в переживание тяжелую артиллерию мысли; я знал, что я делаю, и делал это из обязанности к выдвиганию *«Круга тем»* сразу, т. е. к выдвиганию чего-либо в культуру, а не к *вдвиганию* в *угол* (науки только, эстетики только, философии только); Сизифов труд для 22-летнего юноши, — труд, за который влетало от всех; от философов: «Нечисто мыслите!» Мог бы *«чище»*, да не хотел из *«долга»* во имя *«тяжелой»* многострунности. Влетало от поэтов: «Нечисто пишете стихи». От православных: «Засоряете свою молитву». И т. д. Еще бы *«чисто»*, когда — *«всё сразу»*; но *«всё сразу»* — лозунг моей *«многострунности», «долг»*, если — *«еще»* не выступил и не *«уже ушел»*.

Блок тоже в моем разгляде — ни *«еще»*, ни *«уже»*; да и не мог ни *«еще»,* ни *«уже»*. Стало быть, ему оставалась *«многострунность»*, им высказанная в письмах ко мне; и мне казалось, я звал его к долгу его: *«домногоструниться»*. И ждал подтверждения этого в его лозунгах о *«Ней»*.

Словом — производил экзамен!

Бездна самоуверенности оправдывается разве *«беспризорною»* молодостью; со смерти Соловьевых я остался *вполне беспризорен*.

---

[1] О кончине Н. В. Бугаева см.: *Начало века*. С. 273—277. 31 мая Н. В. Бугаев был похоронен в Новодевичьем монастыре.

[2] Имеется в виду А. Н. Шмидт, считавшая себя духовной ученицей Вл. Соловьева и живым воплощением его софиологических представлений. Религиозно-мистические сочинения Шмидт опубликованы посмертно отдельным изданием, подготовленным С. Н. Булгаковым (Из рукописей Анны Николаевны Шмидт. <М.>, 1916; см.: Голлербах Е. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000. С. 209—213). Белый общался с Шмидт осенью 1901 г. у Соловьевых (см.: *Начало века*. С. 135, 141—145).

[3] Этим встречам с Л. Д. Семеновым Белый посвятил отдельную главку в воспоминаниях (*Начало века*. С. 277—281). Подробнее о биографии и личности Л. Д. Семенова см.: Л. Д. Семенов-Тян-Шанский и его «Записки» / Публикация З. Г. Минц и Э. А. Шубина. Вступ. статья З. Г. Минц // Труды по русской и славянской филологии, XXVIII. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 414). Тарту, 1977. С. 102—146; «Свечой перед Господом». Леонид Дмитриевич Семенов-Тян-Шанский. «Грешный грешным» / Публикация и примечания В. С. Баевского // Русская филология. Ученые записки Смоленского гуманитарного ун-та. Т. 1. Смоленск, 1994. С. 188—256.

---

20. БЛОК – БЕЛОМУ

<18 июня / 1 июля 1903. Bad Nauheim>[1]

Многоуважаемый и милый Борис Николаевич.

Ваше письмо удивило меня неожиданностью. Я не «содрогнулся брезгливо», потому что часто думал о таком «логическом высвечиваньи», но, чем дальше, тем больше чувствовал «невозможность синтеза и всяких мостов», а пото-

му хотел молчать. Сначала Ваши вопросы показались мне чисто диалектическими и догматическими, но потом я подумал, что они представляют скорее «психологический вопросник», потому что вызваны всем предыдущим и не априорны. Потому мне и хотелось бы ответить Вам на них, как на психологические, «подумав», а не «придумав». Молчать необходимо, когда «придумыванья» больше не нужны и когда они в лучшем случае представляют игру, хотя бы и безгрешную. Прежде я *думал* о Ней чаще, чем теперь. Теперь все меньше и все безрезультатнее. Два преобладающие настроения (может быть и у Вас, как у меня?) — мистическое и скептическое (равнодушное) — первое «просит» не отравлять его мыслью (просит, как только может просить «бирюзовая вечность»[2] своего раба, скорее — приказывает), — а второе или обязывает мысль к молчанию, или направляет ее к тому, чтобы она «знала свое место». Потому *мыслить* в этом направлении (о Ней) мне представляется наименее доступным способом проникновения.

Скептицизм (принадлежность рассудка) лежит камнем на дороге и объехать его нельзя. Потому *непророкам* приходится разбавить вино мистицизма его (скептиц<изма>) водой. Если бы этого не было, то вероятно доступнее было бы и мышление о Ней, оно имело бы притягательную силу, собирало бы под свои знамена больше, чем теперь. Теперь же «мистический разум» только зарождается, по-видимому. А потому наличность известного «опыта» отрешает от многих прежних попыток и замыкает, суживает круг. Без суживанья невозможно «прожить», нужно по крайней мере углубляться, если нельзя идти вширь. Непременный удел зовущих на брань *народы* или *общества* — стоянье «идолом над кручей, раздирая одежды свои»[3]. Потому что «рано». Это раннее утро, пусть и розовое, не позволяет голосу достигать туда, куда он стремится. Значит — Она — еще только *потенциально* воплощена в *народе* и *обществе*. Удел зовущего на брань *отдельное лицо* «стократ завидней»[4], потому что никогда не получится в ответ меньше, чем эхо (а там и эхо отсутствует по причине равнинности и отдаленности гор). Часто же получается в ответе и больше, чем эхо. Потому, мне кажется, Она скорее может *уже* воплощаться в *отдельном лице*. Потому-то и доверие (в этом) к отдельн<ому> лицу больше, чем к народу и обществу. Для взываний к лицам можно удержаться в «своей среде», для взываний к народам приходится уродиться гигантом или довести себя до парения и метафизического безразличия на случай окружающей глухоты «спящих». Так<им> обр<азом>, я думаю, что приближается Она ко всем лишь в потенции, а к отд<ельной> личности уже в действительности. Вопрос, в какой мере? (настроением, — дуновением, или «под оболочкой зримой»[5]). Я чувствую Ее, как настроение, чаще всего. Думаю, что можно Ее увидать, но *не* воплощенную в лице, и само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет. Только минутно (в порыве) можно увидать как бы Тень Ее в другом лице (и неодушевленном). Это не исключает грезы о Ней, как о Душе Мира, потому что мир для мистика (или находящегося в мистическом состоянии) *ближе*, чем народ, целое понятнее части, макрокосм (мир), как и микрокосм (личность), ближе, чем все посредствующие между ними звенья (общество — народ — земной шар!). Таким образом — общество (народ) в отнош<ении> к Ней не является мистически-заинтересованным (для моего сознания) и извергается. Здесь именно очередной вопрос об Ее отношеньи к Христу, ибо Христос не разделен с обществом (народом). Приидите ко мне *все* труждающиеся[6] — есть знак *доброты* Христа (*не* один этический момент). Христос всегда *Добрый*, у Нее же это *не* существенно,

ибо «Свет Немеркнущий Новой богини»[7] есть не добрый и не злой, а более. Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее, и в «славословии, благодарении и прошении»[8] всегда прибегну к Ней. Из догматов нашей церкви Она, думается, коснулась самых непомерных: Троичности Лиц и Непорочного Зачатия. Первый, заключающий в себе «мысль» о Св. Духе, наводит на замирание души о том, Она ли — Св. Дух, Утешитель? Второй ясно отмечает Ее след, но не обязывает к вере в тождество Ее и Божьей Матери, т. е. в полное воплощение Ее в Божьей Матери. Тем менее обязывают к такой вере примеры других писаний, кроме Священного (Офелия, *Гретхен*[9], наша современность). (Все это, конечно, говорю от себя.) Величайшим *понятием,* которое мы можем вместить, является Конец Мира, а потому это понятие несомненно связывается с Ней. В Св. Писании намеки о Ней также несомненно связаны с Концом. Эти два понятия (Она и Конец) в совокупности бросают более ясный свет на всю картину настоящего и прошедшего. Под их «влиянием» (Ваши слова «Она влияет»), рассматривая, например, лица людей, можно уследить на них мерцанья (помогут ли они «мгле»?). Тут уже начинается не равнодушие, а соблазны: 1) «образы» ли, только, или идущие навстречу «прообразы»? 2) «Может ли прообраз стать тем, что он прообразует»? 3) Чей образ отразился на данном лице — Ее или Астарты? 1) Образ не довлеет Концу. Концу довлеет только прообраз. Мысль о Ней *всегда* носит в себе зерно мысли о Конце. Значит, если лицо носит *Ее* печать, оно прообразует нечто. Вопрос переходит непосредственно к 3-ему — чей образ отражен? 2) Этот вопрос черпает утвердительный ответ только в *крайнем* мистицизме. Во всех «меньших» случаях прообраз никак не более «обещания», и напряженность в нем (стремленье стать собственной целью) отсутствует. 3) Вопрос, по-моему, *самый существенный,* ответ на который может быть не утвердит<ельным> или отрицат<ельным>, а утешительным или неутешительным. Соблазны: Астарта незабвеннее Ее в жизни; Астарта, действительно, «переплетается» вокруг Нее. Не утешительно ли здесь констатир<овать> такой факт: Астарта выражена всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия (в широк<ом> смысле, если его выразить прямой): в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике (физиологич<еские> центры — головной и спинной мозг). Первое — ясно. Второе подтвержд<ается> примером послесократовских и софистических школ.

Она изгоняет ту и другую чувственность. Астарта «подвижна», так что одно претворяет (из вышеуказ<анного>) в другое в один миг.

Она — Неподвижна. Это — один из главных Ее признаков (если хотите, — символом уже́, — может служить разноцветность Астарты и синтезирующая одноцветность *Ее*). Главным «утешением», однако, является, я думаю, *не* диалектическое развитие различия Ее и Астарты, а интуитивное знание о том, сколь различны их дуновения. Это — при мистическом состоянии. Но вопрос столь краеуголен, что необходимо ввести скептицизм. Сначала, переходя к «мистическому скептицизму», можно уловить слияние Ее и Астарты в одно. При полном скептицизме (без мистиц<изма>) остается «незабвенной» одна Астарта, потерявшая свое древнее имя, и вместе — религиозные краски. На такой, вполне невыгодной, позиции стоит логический угол зрения на Нее. Впрочем, едва ли Вы назовете его истинно логическим, а между тем я затрудняюсь совсем залезть в холодную воду и хочу разбавить логику *хоть своей* психологией. На Ваши вопросы я не ответил вполне прямо и не знаю, возможно ли это? Все-таки, попробую прийти к некоторым заключениям.

Вы верите «больше всего *знанию*», *непосредственному*, как я понял (если не так, то я вполне неудовлетворит<ельно> ответил Вам на вопросы). Если это так, то, пожалуй, на почве этого непосредств<енного> знания нельзя быть *более* логичным (предмет не соответствует чисто-логическому способу его рассмотрения), даже во имя «многострунности».

Итак, *мыслить* о Ней приходится все реже и реже. Но «усвоенные» мысли о Ней таковы: Она *единственна* в своих явлениях, ничего общего ни с чем не имеет, ощущение Ее *странно* и в высшие моменты *вполне отлично* от Астарты. Здесь выступает Ее *Неподвижность*[10]. Однако же, хотя и по известному мистическому шаблону, следует не придавать Ей никаких определений по существу, только увивая мысль о Ней розами хвалы.

Милый Борис Николаевич! Вы знаете все это. Мне кажется, что я ничего нового Вам не уясню. Я ведь только наметил пункты ответов на самые существенные Ваши вопросы. Главное, на чем здесь *должна,* мне кажется, остановиться мысль, — это *предварительный скептицизм*, даже *самый грубый*, «оправдывающий» забвения о Ней, врожденный нам. Он лежит в основе мистицизма, построенного не на песке, и составляет тот «страх», который «изгоняет совершенная любовь»[11]. То, что лежит за гранью скептицизма, *точнее* познается молчаньем *логики.* «Очистку совести» я понимаю, но не хочу с ней согласиться, именно в силу одного из главнейших моих пунктов: *Добр Христос, но не Она,* потому что Она — Окончательна. Совесть же в отношении к Ней явилась бы мерилом Добра. *Она*, если Добра, то лишь в эстетических воплощениях (у поэтов), напр<имер>, у Фета (Пой, *добрая*) или у Бодлэра (A la très-*bonne*)[12]. Сознание же о Ней едва ли *углубилось* со времен Гете, оно, пожалуй, только *расширилось*: вместо «помещения» Ее Престолов «по ту сторону», теперь «помещают» и по сю сторону. Иначе говоря, «благосклонно» расширяют Ее «территорию» и «сферу власти». Грех этой благосклонности лежит, разумеется, на поэтах, которые молчанию не научатся. Но не нужно ли и *им* замолчать? И это для меня под сомнением. Правда, что поэты дорого платятся за свои хвалы. Пример яркий и недавний:

«Ландыши в долине,
Белый снег на синей,
Синей ризе, пена рек,
Книг невинные страницы —
Только лик моей сестрицы —
Вечный, вечный снег».

(Дм. Фридберг)[13]

Я ничего не слышал об Анне Николаевне Шмидт, и не получал от нее письма. Отсюда я скоро уеду (около 30 июня), так что лучше пишите мне так: Никол<аевской> жел<езной> дор<оги> станция Подсолнечная, сельцо Шахматово, А. А. Блоку. Помните, что если вы приедете, я буду очень рад, но если задержат дела, — не рассержусь. Я не имею никакого понятия о Сереже, если напишете, где он, буду Вам очень благодарен. Пишите, пожалуйста, хотя отвечаю Вам часто не по существу Ваших вопросов. Но все так ново и странно, несмотря на частые скептические выходки ума.

Преданный Вам и любящий Вас

Ал. Блок

Bad Nauheim. 18 июня / 1 июля 1903.

P. S. Пришло письмо от С. Г. Карелиной, из которого я узнал, что Сережа у нее в Трубицыне[14].

18) К письму Блока к Бугаеву от 18 июня 1903 года:

В этом письме выявилось еще более, чем наш подход к теме *«София»* совершенно различен; в этом письме А. А. Блок впервые начинает осознавать это различие: *«Ваше письмо удивило меня неожиданностью»*. В моей психологии оно не *«неожиданно»*; скорей, — несколько запоздало; вместо того, чтобы двинуть на Блока свой *«психологический вопросник»* в январе, я его двигаю лишь в июне, 6 месяцев промалчивая его; и во-вторых — вопросник мой не *«психологичен»* для меня, а *«гностичен»*, т. е. не субъективен, а инспирируем требованиями *опытного пути:* я взываю бессознательно к критическому, к *«духовно-научному»* пути (так сказал бы я теперь), а не к *«психологии»*, в которой увязает всякая мысль, пытающаяся коснуться переживания; уже тот факт, что А. А. Бл<ок> считает мое письмо *«психологическим вопросником»*, для меня ясно, что оно кажется ему игрой рассудочной мысли (между тем оно — попытка к конкретной мысли, направленной на *опыт* и соединенной с *опытом*): отсюда и все рассуждения о *«скептицизме»*: в скобки *«скепсиса»* заключает Блок для меня всякую мысль; и *живую мысль*: эта мысль уже для меня есть; и царство ее не *«там»*, а *«здесь»* уже; это *«здесь»* уже даже — выпрямленная в должном свете проблема критицизма (в высшей степени *несхоластика* для меня и *схоластика* для Блока).

Понять меня в разрезе психологически праздно вопрошающего и отмахнуться от проблемы вопрошания ссылкой на *«скепсис»*, — значит не понять меня вовсе; так отображаются мне мысли начала письма А. А.: «Сначала Ваши вопросы показались... мне диалектическими и догматическими». Не *сначала* — а показались таки; *«сначала»* — форма вежливости: когда пришла пора договариваться *конкретнее* (эпоха 1905—1906 годов), то выявилось: восприятие Блоком моих мыслей и мыслей С. М. Соловьева было восприятием мыслей *«милых друзей»*, но... *«отчаянных догматиков». Потом я подумал, что они* (мысли)... скорее *«психологический вопросник»*. В 1905—6 годах этот *«вопросник»*, между нами троими вставший, чуть ли не погубил мои отношения с А. А. Тогда я уже не видел так четко всех идеологических различий между А. А. и собою: был — *как в тумане*; в 1903 году *еще видел.*

Второе выявленное письмом А. А. основное различие между нами: мы, как символисты, в эзотерике своих мировоззрительных переживаний *Пифагорейцы*, хотя и полусознательные: это *полусознание* у Блока в его тяге к *Числу;* у меня оно — в тенденцировании иные свои идеи, так сказать, *«теософизировать»*; взгляд на причинность, как на Карму, был мною усвоен; к идее (пифагорейской) перевоплощения я не относился враждебно, хотя еще не строил на ней своего Главного. В символизме, в пифагорействе встречались мы (кстати: я был еще пифагореизирован математическими идеями отца, принимавшего гостеприимно идеи *Кармы* и перевоплощения в свою *«Монадологию»*); но в оформлении пифагорейства расходились; я чалил на Гераклита; был *физик* и *динамик* в своей метафизике; динамизм, становление, движение в моей идеологии не расключалось с ритмом, как *единством;* и стало быть с Логосом; А. А., так сказать, чалил на *элеатов*; его *единое* было неподвижно и постоянно; главные признаки подлинно-духовного в отличии от ложно-духовного для Блока — неподвижность, постоянство, покой; для меня тут именно начинался во внешне-идеологическом разрезе — *догматизм* и формализм; *элеатские* ризы мировоззрительной символики Блока отталкивали меня *догматизмом. Единое* я стремился брать в

целом его *модификаций* (вариаций темы); поэтому внимание мое более сосредоточивалось на ритме изменений *«Милого Лица»*; само *Лицо* оставалось целомудренно скрытым; я его не видел; я — *Ее* менее видел, чем слышал; и слышал ее музыкально; у меня даже была скала лейтмотивов, взятых мною у великих композиторов и рассматриваемых по степени *приближений* и *удалений* к целому Лика; еще шаг, — и я сам стал пытаться символизировать звуками жизнь во мне изменений мне не данного Лика; отсюда мои *музицирования* того времени; и из музицирования вставшие темы *Московской* и *Северной* Симфоний. Оттого и *«Симфонии»*.

Блок как бы созерцал в неподвижном сиянии ее Лик в лучшие и просветленнейшие моменты; он менее слышал, чем *видел*; для меня это его *видение* в иные минуты было созерцанием фресок, написанных кистью, пусть не бывшего Рафаэля, — но возможного *Рафаэля;* и как бы ни был велик этот Рафаэль, в средствах изображения были загаданы и *краски,* и *плоскость* (*стена* ли, *полотно* ли). Стало быть: как бы мистично и *прозрительно* ни выглядел Лик ее, данный *прообразом* в образе, он был все же, пока он на полотне, *образ и только образ,* т. е. *форма,* а не *то*, что над формой и содержанием; а всякая *«форма»* — *«догмат»*: не целое всех изменений, а *целое*, данное в *«раке»* и в *«ризе»* одного из изменений; и стало быть: как бы мы ни превозносили *«покой»* над *«движением»*, этот *«покой»* рисовался мне гипертрофированным *«пунктом»* линии движения; и тут я упирался в проблему *«формы в движении»*, как долженствующей венчать собой и философию *покоя, формы,* и *«дурное»* движение (в Блоковском смысле); разрешение *того* и *другого* для меня было в *sui generis* трактовке *ритма*; и стало быть — *«музыки»*. Наше первое *«преткновение»* с А. А. в проблеме трактовки музыки было не *случайно;* в нем — уже узел всех прочих недоразумений.

На моем теперешнем языке — скажу: образ *покоя* для меня еще *образ*, а не *прообраз: имагинация,* а не *инспирация; безобразность,* организованн<ая> в ритм музыкой сфер (или *цветов,* символизирующих сферы), — безобразность, дух музыки, как символ Духа. Собственно, все это было мне *внешним знаком* более высокого знания (на моем теперешнем языке, инспиративного); но этот знак в замкнутой для меня сфере *ви́дений,* как *виде́ний* (предполагающих и поло́тна формы), Блоком опрокидывался, как мир *«дурного движения»*; короче говоря: моя *«музыка»* для Блока того времени непроизвольно казалась *«астартической»* музыкой; и отсюда в первом письме Блока шутка по поводу влияния музыки, что и *influenza* (болезнь) — *влияет.* Для меня же полнота покоя, данного в Лике Виде́ния (хотя б неземного) — имагинативный образ; и свойство такого образа, что он *меняется* (и следовательно — *изменяется*). Отсюда и восприятие строк *«Но страшно мне, изменишь образ Ты»,* как лейтмотив *рока* Блока: кто строит на неподвижности образа, тому рок — *«измена»*. Я хотел защититься от подобных измен; и моя защита в плоскости мысли — *новая мысль, логосическая,* так сказать, пресуществляющая и прадухотворяющая все *вариации* первоположенной темы; отсюда — приятие Истории, как смены эпох, вариаций темы; отсюда — приятие культуры, т. е. необходимость вобрания ее в ритм; и этот ритм — Логос Гераклита; сквозь него — *Логос.* Так *«музыка»* в моей символизации была одной ветвью древа познаний добра и зла, прямо связанная с Христом; другая ветвь — конкретная мысль; отсюда и воление и знание, что *духовное знание* не вопреки *знанию* всякому, не только *под-* или *над-*, но и *«в»* знании; проблема *«под»* — проблема вобрания подсознания в сознание и проблема высветления духом Христа Истории (в Истории проблема *«под»* стоит как *«за»*, как прошлое).

И отсюда — гнозис, направленный на прошлое; проблема *«над»* — проблема будущего, как расширения сознания, как просвещения сознания *«Светом Христовым»*; и эта проблема уже тогда стояла мне, как проблема имманентная; будущее дано мне *«в»* настоящем круге сознания, где «оно» — младенец в *«яслях»*. В точке *«я»* — перекрещенность двух линий, взаимно перпендикулярных; одна — линия исторического пути: от *«за»* к *«перед»*; другая — линия вознесения в высшие сферы (путь мистический) от *«под»* (сознания) к *«над»* (сознанию). Вне пересекающих эти линии *«Я»* — крест разрушается, а этот крест — крест Голгофы; и первый шаг к кресту Голгофы — *«Я мыслю»* (не «Я», но Христос во мне); и отсюда крест уразумения, как в этом космическом *«Я мыслю»* (Аз есмь до создания мира) организовано *«Я мыслю»* у Декарта и Канта; для меня возможность *«Христовой мысли»* даже как *«только мысли»* была заложена уже в гнозисе апостола Павла: *«Облечемся в ум новый»*. Приглашение Павла не совлечься, а *«облечься»* в ум новый есть уже выдвинутая проблема *«новой культуры»*; не сократовский *«рассудок»* (наследство софистов), а новый дух (и доселе не понятый) Павловых Посланий, чуждых существу тогдашнего Блока, если и открывающего Евангелие, то только чтобы восприять *«мистически»* гиган<т>ские шаги мысли Иоанна, которые вне Павлова гнозиса, — запечатаны не понимаемы, или понимаемы *«жалко»*; и в таком понимании взятые, они — заимствования схем и только схем герметической схоластики, довольно банальной и распространенной всюду в I-ом веке (смотри об этом книгу Луи Менара: «Гермес Трисмегист»).

Словом, для меня и в те годы блоковский *«мистический разум»* был не *«мистический»*, т. е. какой-то разум, а разум собственно *конкретный*, извне захватанный рассудочностью; и реставрируемый даже в истории работой сознания; в задании лично добиваться этого не какого-то разума, а *разума собственно,* уже ведомого Павлом и подлинными отцами христианства первых веков, — уже *путь жизни;* и начало его здесь, сию минуту — даже в моей абстрактной голове, которую надо критически вычистить, чтобы заменить ее *вооруженной* головой, т. е. *облеченной* в ум Христов (перья рыцарского шлема) с первого века нашей эры. Для Блока *«Мистический разум только зарождается по-видимому»*. Не *«мистический разум»,* а — Логос Христа; и — *«зарожден»* в первом веке; если мы XIX столетий *«обспали»* младенца в себе, то это наша вина. Этот *«разум»* вдохнут духом звучаний Св. Духа («Дух дышит, где хочет»); и стало быть дышит: в *«музыке»* и в *«мысли»*; отсюда вычерченность для меня в 1903 году *«мысли»* и *«музыки»*; и отсюда, — не дышит этот Дух в *«мысли»* и в *«музыке»* для Блока; отсюда мысль его <о> *«мысли»*, как о *«рассудочной схеме»*; и отсюда мысль его о «музыке»: она — *«двигается»*; следовательно, она — астартична; а проще было думать мыслями Владимира Соловьева — мобилизировавшего тут мысли гностика Валентина; в *«движениях»* как таковых (в музыке, в ритме вращения планетных шаров, в диалектике), — томится пленная, когда-то павшая, но освобождаемая Утешителем Душа Мира, Вторая София, — София Ахамот.

«Но двоится твой взор, улыбается.
И темнеет грозой незабытой».

Задание христианского гностика, облеченного в шлем ума Христова (*«рыцарь»* Блока), освободить Ее силой в нем живущей Христовой *«Мысли»*; и не соблазниться о Ней, дабы чрез свой соблазн о Ней не ввести Ее, некогда соблазнен-

ную, вторично в соблазн о себе; иначе весь *«гнозис»,* всё *«делание»*, все *«уже»* и *«пора»* лишь приключение странное, романтическое, романическое, романное, анекдотическое; дальнейшая диалектика способна нас довести до психологии, диктовавшей *«Гаврилиаду»*. Словом: в моей установке: «Если *Она* вне Христа», и если я в Ней и «к» Ней не со Христовым Импульсом, то — случится *«Гаврилиада»*, как только она изменит Облик; а она неизменно, как София вне Христа, ввергается в хаос, т. е. падает, изменяет облик, порождая своим *страхом* демонов (смотр<и> концепции гностиков), т. е. будущих персонажей поэзии Блока. Таково мне полусознательно еще мыслилось в то время; и потому-то я так боялся темы «страха» у Блока.

Мне *страшно* с Тобой встречаться.

Если *«страшно» — падение* предстоит; может, — есть уже; может — даже и было.

Суммирую свои противопоставления позиции Блока в то время:

1. Она — только дана «во Христе»; *«София» — «Христософия»*; как таковая она — *«риза Христова»*, целое Христовой культуры, или церковь; но она же и *«культура истории»*; в таковом своем аспекте, мое *«уже»* включает и поворот в *«назад»*; в *«катастрофичности»* не только падение зданий *«современных гробов»*, но и *«восстание»* мертвых; т. е. пресуществление прошлого.

2. Она — не Видение, не Лик, но градация *ликов* (культурных эпох, систем мыслей), *«ряд изменений милого лица»* в круге этих изменений вокруг Солнца, извечно-сущего Логоса; но существо Логоса таково, что внутри его — плерома, целое, в котором снято противоречие между покоем и движением; *«прямой»* изменений (пунктов) и *«круга»* догмата; предел понимания целого, что оно спираль, т. е. *«прямая+круг»*, т. е. *«движение+покой»,* текущее+вечносущее, *«повтор в вариациях»,* и *«вариация повтора»*, т. е. *перевоплощение:* пифагорейства (и в его математич<еском> взятии, как *«Числа»*, и в его квази-*«мистич<еском>»* восприятии, как эсотерич<еской> школы с *«перевоплощением* в центре»).

3. «Импульс» существеннее *Лика; «Импульс»* — безо́бразное, пронизывающее, с чем соединен до дна; я не имею Лика *«Я»*, но в *«Я»* имею знания бо́льшей достоверности, чем *«личные»*; *«личные»* знания (от *«Лика»*) требуют доказуемости (измерения, взвешивания, описания); знания о *«Я»* — аксиоматичные; и первая аксиома этих знаний: *«Я есмь Я»*; вторая: Два *«Я»* суждения *«Я есмь Я»* прочитываемы: «Христос есть *“Я”* во мне». (Тут вся громада Павлова гнозиса). То, что я ныне внешне называю *«Импульсом»*, в 1903 году я называл *«Духом музыки»*; и Он же был мне *«Дух мысли»*. В этом *«Духе»* (внешний знак его, что он дух кипения, движения) взято должно быть и вйдение, и Образ; тогда он — *«прообраз»*; всякий образ может стать *«прообразом»*; *«прообразует»* его *«умное делание»* во мне; для этого-то и нужен путь; *«пора»*, *«уже»* зависит не от вне меня лавины событий, в которые я вовлекаюсь, а от меня в *«умном делании»*; в правилах вооружения (см. о вооружении *мечом, шлемом, бронею, щитом* и т. д. у апостола Павла).

Так бы я сформулировал из 25 года намечавшиеся во мне в 1903 тенденции к гнозису Софии; в этом гнозисе она стояла *«Христософией»* Якоба Беме и Влад<имира> Соловьева (прибавлю: «И — *Штейнера*»); встреча человека с ней — в антропософизме, особом завете с *культурой истории; «антропософии»* в 1903 году у меня не было; но она тенденцировалась всею целеустремленностью к

внятному миросозерцанию; и это миросозерцание я называл то неопределенно *«Символизмом»* (в 1903 году), то негативно его определял, как *«Эмблематика Смысла»* (с 1906 *до* 1912), пока оно для меня не определилось позитивнее и центральнее, как моя нынешняя философия культуры, где *Антропос* (субъект лирики молодого Блока) и София («Она» этой лирики) воссоединяются в Новом Завете, в *Третьем*, их вяжущем; и это Третье — *Христос*, из II пришествия действующий: в Нем София — Христософия; в Нем *«Я»* — высшее *«Я»* (*«Манас»*, или *«мистический разум»* Блока, которого, *по-видимому*, он недооценил, как *разум* par excellence: ум Христов).

Из этой установки ясно до *«nec plus ultra»* и *qui pro quo* между Бугаевым и Блоком, заострившееся в *«вопроснике»* Бугаева и в ответе на него Блока. И становятся понятным<и> вопросы Бугаева: *«Образы* (о Ней)... *только ли образы* (иконы), *или прообразы? Может ли прообраз стать тем, что он прообразует?»* Читая эти свои фразы теперь, невольно смеюсь: «Боже мой, — сколько хитрости, тактики, мировоззрительного *«пыла»* гнездится в них?» Вопрос об образах (иконах) и прообразах есть вопрос об *Иконах* и *Духе*, могущем обойтись без икон; я не был *«иконоборцем»* никогда; но я часто в гипертрофии *эйдоса* видел вторжение *эйдолизма*, идолопоклончества; и хотя *«икона»* Блока была *«новой»* иконой, она для меня *уже была* под опасностью *«фетишизма»*; и эта опасность — 1) формализм (ибо — *«элеатская»* неподвижность), 2) *имажинизм* без *инспиратизма* (символ последнего не *«Лик»*, а *«Импульс», «дух музыки», «ритм», «разум»*). Второй вопрос — о *«воплощении»*: как может образ стать тем, что он прообразует? Проблема *«воплощения»* для меня — в проблеме *Логоса*; и стало быть: в вопросе для Блока зарыта постоянно мной в ту пору зарываемая *«собака»*, т. е. не *«собака»*, а — *«вопрос единый»*: как у Вас дело обстоит со Христом? *«София»* во всех моих подозрениях тогдашнего времени не воплощаема в *Лицо*, как Логос в Иисуса; предел узнаний о Софии — предел символизма. Символ становится воплощением не в Ней, а в Логосе (смотр<и> внятные слова об этом у меня в предисловии к *«Символизму»*).

Ответ Блока: Она, воплощенная в мир реально, как душа мира, в народы *«воплощена»* потенциально. (По Соловьеву она уже загадана в *Человечестве* всем, ибо Она — *Идея Человечества*). Но — *«ОНА скорее может уже воплощаться в отдельном лице»*. Для меня такого рода *«воплощение»* еще не воплощение, а сквожение, прообразование, символизм; опасная тенденция видеть Ее воплощенной в *«одном лице»* — постоянный предмет разговоров о Блоке с Соловьевыми, с Петровским; и постоянный уклон для нас того времени в ересь *«Шмидтизма»* (А. Н. Шмидт в то время вообразила себя одним из перевоплощений Мировой Души); в дальнейших словах Блока опасность грубого и буквального *«воплощения»* рассеивается словами *«приближение», «дуновение», «настроение»*, явление Ее *«ПОД оболочкой зримой»*. Стало быть, для меня: *символизм*, а не воплощение, ибо воплощение не в *«над»*, или в *«под»*, а *«в»* оболочке. А если *дуновение*, приближение, значит — *движение* навстречу, т. е. *движение*, заподозренное в Ней Блоком (или мой *«Дух музыки»* того времени). *«Я чувствую Ее, как настроение, чаще всего»*. Опять — дух музыки. *«Думаю, что можно ее увидеть, но не воплощенную в лицо»*. Но это для меня — не *увидеть*, а *услышать*: не *имагинация*, а *инспирация: «Само лицо не может знать, присутствует Она в нем или нет»*. Для меня <в> 1903 году это был вопрос еще, как такое присутствие возможно; и боязнь *«спиритизма»*; и думы о Блоке, не увидел ли Ее под оболочкой своей невесты; и отсюда проблема: что есть Л. Д. в судьбах мистики

Блока. *«Общество (народ)... для моего сознания... извергается»*. Так было в 1903 году, когда Блок совершенно расключил тему *Софии* в ее *аспекте* (вернее, ограничении), как народной Души, — в *ущерб* народу и во славу Софии; через несколько лет, именно поэтому, он опять расключает тему народа в Софии, извергая последнюю из проблемы своей *«Интеллигенция и народ»*. Как не увидел он, что в ставимых им вопросах в разрезе русской жизни та же тема *Интеллекта* (т. е. Логоса) и *«стихии»* (астрального тела); проблема *Манаса*: соединить *Интеллект* (Интеллигента) с астральным *телом* своим (народом); в искании конкретном этих путей самое *«хождение в народ»* есть тема гностическая; разрешение проблемы конкр<етного> Разума (Манаса) по Штейнеру — тема культуры России; в ней тема расключенности *Интеллигенции* и *народа* своеобразна, полна и надежд, и опасностей, ибо от нового воссоединения *Интеллигенции* и *Народа* зависит самое будущее культуры *Манаса*; здесь все символично: Христос, София, загаданная *христософичность*, как культура Духа, роль России в этом задании; и эмблема нынешней *расключенности*: проблема *«Интеллигенция и Народ»*, т. е. тема, выдвигаемая Блоком с 1908 года. Как в 1903 году неправомерно *«изверг»* народ из сферы своей *«мистики»*, так в 1908 неправомерно *«изверг»* проблему Христа и Софии из своего *«народничества»*. Одно вытекает из другого.

Расключение, по-моему, от неумения увидать Ее связь с народом, с человечеством, с Культурой Истории, с темой воплощения; и стало быть, с темой *Христа*. Отсюда ясно: *«Я скажу, что я люблю Христа меньше, чем Ее»*. Христос по Блоку *«не разделен с обществом»* (то же письмо); но в *«обществе»*-то впервые не только *«мистически»*, а и *«гностически»* выявляется Ее связь с Ним; здесь Она — *Целое, Коллектив, Со-* (со-знание, со-чувствие, со-действие), как Церковь, как Слова, и как Риза; вот где *Икона* вечно созидаемая и нерукотворная! А он не увидел Ее — здесь именно; и оттого-то не увидел Ее со Христом, в Христе.

Ей отдал *окончательность* (*«Она»* — не окончательна, а предконечна в Апокалипсисе, как *«Жена, облеч<енная> в Солнце»*; окончателен в Апок<алипсисе> — Христос); не увидал в Христе *«огня»* Гераклитова ритма, ставшего и *«Молнией»* Меча и *«Огнем»* Конца и *«светом Истины»*. Для него Христос только *Добрый* (читай — *«моралист»*, нечто вроде буддийского аскета: таков лик Христа у Блока: *«Кроткий, немного грустный»*).

Дальше в письме тонкий подгляд в тайну о Ней, верней *подслух* дуновения: Она — как Дух, как Св<ятой> Дух. Я был склонен задумываться о Ней так в 1903 году; теперь — мне яснее тут образующаяся путаница восприятий, вскрыть которую нет времени (ибо вскрытие — трактат); тема *«Она, КАК Св<ятой> Дух»* есть аберрация темы *«Она и Св<ятой> Дух»*; скажу лишь в неразвернутом намеке: тема *«Она и Отец»* есть тема 1+4=5; «5» число человеческое; тема *«Она и Сын»* есть тема 2+4=6, или тема *«мистерии любви»* (тема Церкви); а тема *«Она и Дух»* есть 3+4=7; это — тема ритма 7 *этапов* истории всей культуры; это тема взятия всей культуры в Ней, или тема антропософности понятия *«культура»*; отсюда имманентность Ее культуре в новом разрезе сознания; и отсюда же — расширение в культуре прежде утаенного Ее образа (ссылка на поэтов). Это расширение — движение Ее навстречу к нам; но последнее — отражение Ее движений в нас; *Она в нас движется,* как *Премудрость* и как *Правда*, и иногда как *Совесть;* и тогда Она — Дева Обида: плещет *«на туманных скалах»*. Всюду в нас Она — культура сознания; и вне нашего *сознания* в нашем *здесь* нигде Ее нет; в *«там»* духовного мира Она — во Христе; и вне Его — Ее нигде нет. Так

что Она — в движениях *sui generis*; и *Она* всегда между *человеком* с одной стороны и Христом с другой; так и брал Ее Соловьев; и оттого называл *«Девой Радужных Ворот»*. Она — *подвижна* и *срединна* (в хорошем, а не дурном смысле слова), как всякое *со*-, а не как *«интер-»*: как со-циал, как со-национал, как со-личие, как со-знание и т. д.

По Блоку Она — *Неподвижна* и *Окончательна.*

И тут — гипертрофия для меня Ее (недопустимая!); в разрезе *«мистики»* это ведет к срыву; в разрезе мысли — к догмату элейской формы; в разрезе *«гнозиса»* — к аберрации (т. е. к тому, что в первых веках называлось «ересью»).

Письмо от 18 июня меня взволновало: 1) огромностью темы, 2) впервые для меня открывшейся миросозерцательной четкостью (пусть ложной), 3) изумительной талантливостью проведения темы по моим *«вопросам»*, 4) и наконец ясно вскрывшимся мне узнанием о Блоке: у него нет *знания* о Христе!

Последнее было для меня горько.

---

[1] Ответ на п. 19. Весь текст письма Блока Белый включил в «Воспоминания об Александре Александровиче Блоке» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 25—28). Развернутую интерпретацию этого «замечательного письма» Белый дал в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке.* С. 46—48).

[2] Образ из стихотворения Белого «Ласка» (см. с. 48 наст. изд.).

[3] Обыгрываются строки из стихотворения Белого «Возмездие»: «...но стою я, как идол над кручей, // раздирая одежды свои» (*Золото в лазури.* С. 229). Впервые опубликовано в составе цикла Белого «Призывы» в альманахе «Северные Цветы» (М., 1903. С. 36—38) под заглавием «Четыре отрывка».

[4] Формулировка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Иным достался от природы...» (1862), обращенного к А. А. Фету: «Стократ завидней твой удел».

[5] Формулировка из того же стихотворения Тютчева: «Не раз под оболочкой зримой // Ты самоё ее узрел...»

[6] Мф. XI, 28: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

[7] Образ из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche» («Черти морские меня полюбили...», 1898): «В свете немеркнущем новой богини // Небо слилося с пучиною вод».

[8] Молитвенная формула.

[9] Героини трагедий Шекспира («Гамлет») и Гете («Фауст»).

[10] Ср. заглавие 1-го раздела первой книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905): «Неподвижность».

[11] 1 Ин. IV, 18: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх; потому что в страхе есть мучение». Впоследствии Блок использовал эту фразу как эпиграф к драматической поэме «Песня Судьбы» (1908).

[12] Фразы из стихотворения «Музе» («Надолго ли опять мой угол посетила...», 1857) Фета и из стихотворения «Гимн» («Hymne») Шарля Бодлера, входящего в его книгу «Обломки» («Les épaves», 1866): начало заключительной строфы («A la très-bonne, à la très-belle»), в переводе Эллиса: «Тебе, прекрасная».

[13] Цитата приводится по автографу стихотворения, сохранившемуся в архиве Блока; ст. 2 в оригинале: «Белый пух на синей...»

[14] Это письмо С. Г. Карелиной в архиве Блока не сохранилось.

---

21. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Июля 14-го <1903. Серебряный Колодезь>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

Только 1-го июля получил Ваше письмо, помеченное 18-тым. У нас долго не ездили в город. Вероятно, оно пролежало на почте. Если я не сразу Вам ответил, так это потому, что отвратительно себя чувствую. Какой-то нервный упадок сил. Впрочем, теперь мне немного лучше.

Многое накопилось у меня сказать Вам, но бумага часто не выдерживает того, что доступно голосу, интонации, жестам, особенно когда созерцание указывает на все более утонченные оттенки *всё того же*, а слова остаются всё так застывшими. Вот почему мой девиз — молчание, особенно в печати, выражающийся, если угодно, истерическим «бунтованьем». Я первый знаю, что это и смешно и внешне, но коснувшись того, чему нет названья, — умолкаю. И вот роль *юродивого*, анархиста, декадента, шута мне послана свыше. С покорностью принимаю ее. Что же касается до *главного пункта нашей переписки*, то прежде всего я — вопрошающий, вопиющий, обнажающий пристрастие мысли к *заветному* души, протестующий, для собственного «закала» подчас срывающий *ви́дения*. Вот почему *даже Вам* я задал столько внешних вопросов. Прочтите же без содрогания и нижеследующие мои слова: они — только покров, наброшенный на меня, покров, с которым *еще не* пришло время мне расстаться.

Позвольте возразить Вам прежде всего относительно Вашего понимания скепсиса.

Противоположения между критицизмом и символизмом (внешним термином мистицизма) — *не существует для нашей мысли*. Второй (т. е. символизм) есть только углубленный критицизм, причем процесс углубления совершался не только в тайниках мысли, но и на протяжении всей истории философии — от Канта и до наших дней, открыто, среди бела дня. И если спали те, которые не подозревали, куда ведет переживаемый кризис, так в этом не повинна ни мысль, ни критицизм как миропонимание (я не упоминаю о скептицизме, как о чем-либо самостоятельном, ибо это — только *серединность*, не имеющая никакой подкладки, это только *«здравый смысл»*, который учит, например, что солнце ходит вокруг земли, земля неподвижна и т. д.). Кантовская теория познания есть необходимый переход от плоского миропонимания к глубинному — вернее, начало перехода, ибо конец его необходимо в символизме и т. д.; это своего рода доказательство от противного или, по гениальному определению Шопенгауэра, — огромный скачок от посылок к основанию (подразумеваемому у Канта и выясненного лишь после Соловьева, Ницше, т. е. в наши дни). С замечательным остроумием Шопенгауэр подробно останавливается на необходимости рассмотрения Канто-Платоновской системы, а не кантовской или платоновской в отдельности, находя, что Кант и Платон — две половинки, которые всегда подразумевали себя (Платон — Канта, Кант — Платона). Если и возможно сомневаться относительно Платона (подразумевал ли он Канта), то многое говорит в пользу существования у Канта чего-то *своего, интимного* с платоновским оттенком. Наша философская система, если официальное существование ее необходимо, не должна обходить ни Канта, ни Платона, а преодолевать и того, и другого. Мы должны уметь спускаться к Канту, если претендуем

на духовное руководство — мы, мистики... В настоящую минуту вот конспект огромного перелома, внешний рычаг, перевертывающий многое:

Кант. Существует мир нуменов, недоступный нам (многие, желая внести поправку, говорят *«недоступный мышлению»*, но они вносят *серединную* поправку). *Шопенгауэр.* Кант нестрого определяет сущность понятия, не останавливается на связи между понятием и тем, что рождает его. Отсюда *даже он* путает формы закона основания. Следствием является непризнание Кантом интуитивно-психологического (гениального) мышления, на стороне которого все преимущества.

Ницше. Признавая метод психологический, Шопенгауэр не делает всех важных выводов, вытекающих из признания его, что стоит в связи с пониманием воли метафизической — этого абстрагированного понятия — как некоторой сущности. Есть лишь *«моя воля»*. Отсюда *«эго*—теизм».

Гартман. Бессознательное заключает в себе и волю, и представление. Подстилая явления, будучи их фоном — *бессознательное* и есть то, что Шопенгауэр неверно считал метафизической волей. В нем (в бессознательном) тонет все *личное* (и воля между прочим). Отсюда «*пан*—теизм». Метод откровений (см. о мистиках у Гартмана)[2].

Мой метод — есть откровенный и истинный: *эго-пан-теизм* современной *теософии*, признающей в личном начале человека вечной сущности, а следовательно и Кантовская теория познания меняется (теория познания Соловьева), соединение личного с вечным в *символе* (символизм) и наконец высочайшая формулировка *новой и вечно-старой тайны о двуединстве...*

Вот наше *знание* твердое, уходящее корнями во все системы мысли, но само *оно* не мысль, а именно *«знание»*, уверенность, к которой необходимо пришло, приходит и будет еще долго приходить разделенное человечество. Назад пути нет: критицизм, лежащий глубоко в основе этой уверенности, запер обратный выход. Не могут быть теперь разговоры о схоластике и несхоластике, рассудочности и нерассудочности, ибо что такое рассудочность? Воистину она лишь межа между досознательным и сверхсознательным и межа *хорошая, верная, нестираемая.* Не может быть речи о сознании, как о чем-то противоречащем мистике. Может ли противополагаться безотносительное отношению? Речь может идти лишь о ступенях без- и сверх-сознательного, оттененных сознанием, и в этом великая польза его.

«Два преобладающих настроения — мистическое и скептическое»... «Скептицизм лежит камнем на дороге и объехать его нельзя» (Ваше письмо). А я прибавлю: «Да и пусть себе лежит камнем... Объезжать его совсем не надо»...

Если скепсис и может преградить путь, то это только житейски здравомыслящий скепсис, приводящий к очевидностям вроде: земля неподвижна, а солнце вертится вокруг земли и т. д. Сжечь его — значит углубить его до критицизма и еще далее углубить: привести к символизму. Да для этого великого дела следует объездить все дороги, ища *камней преткновения*, привить себе все сомнения и недоумения, чтобы все преодолеть! Так как человечество растянулось длинной вереницей и в то время как немногие идут от сознания к *знанию*, большинство еще только поднимается от бессмыслия к мысли и сознанию. Следовательно, чем больше скепсиса вокруг нас, тем *все-таки* лучше, ибо человечеству нужно

пройти *«сквозь строй»* и чем скорее, тем лучше... Слыша о распространении атеизма, о гонении на христиан, я часто радуюсь, ибо все больше и больше подготовляются *они* к пониманию вершинных глаголов.

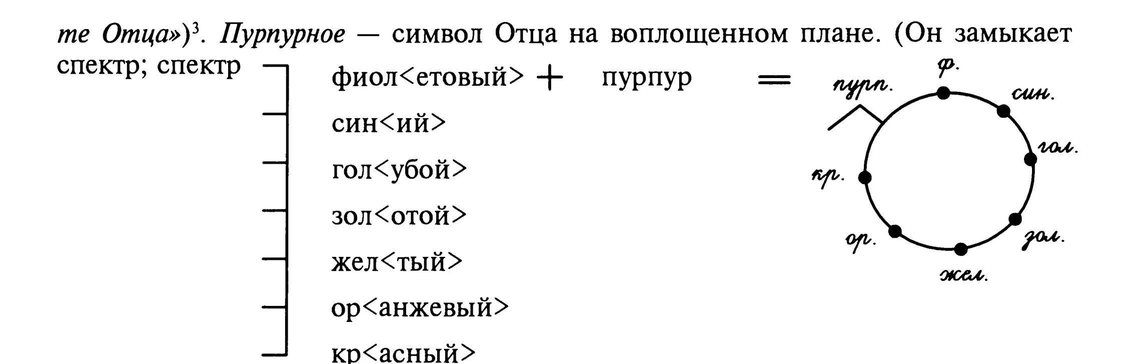
«Скептицизм» — само это слово исчезнет!.. Возьмите древнеиндусские прозрения вроде Веданты и Иоги, или позднейшие вроде Бхагават-Гиты — там *«уже»* нет наших *«камней преткновения»*. С этой точки зрения богословская диалектика для *сознающих* и *знающих* может осветиться иным светом: все это может оказаться тончайшими *ви́дениями*, противополагаемыми тончайшим же *ви́дениям*; диалектика в ви́дениях возникает из желания разогнать существующие в *«методах искренности»* оптические бездны, обманы, аберрации и т. д. (лично, например, я считаю столь излюбленное *ви́дение* бездны под ногами *оптическим феноменом*, где уклон *по ту сторону* принимается за бездну в силу изменения направления уровня в противоположную сторону; точно так же *«безбрежность»* пробуждающегося хаоса — оптический феномен). Вот почему лично я не смотрю на свои вопросы, как на диалектику, схоластику; это даже не *«психологический вопросник»*, а вопросы о *«ви́дениях»*, выраженные намеренно сухо и внешне, но зато сознательно внятней.

Далее...

Сознавая преимущественную важность религиозной жизни народа, необходимо дать себе отчет в *ви́дениях* с точки зрения передаваемого нам всеобще признаваемого Откровения. Важно проверить *свои* ви́дения системой *ви́дений* других (ибо и *другие видели*, да еще и как!). Отсюда: насущная важность *уяснения* себе; богословско-догматические споры существуют и у *ви́дящих*; с этим считаться все-таки необходимо. Нужно и *зна́ть,* и *сознавать* свои моления, восторги, тайно-сладкие чаянья, раз желаешь приобщить к ним и других, а такое желание необходимо в религиозно-организованном обществе. Вот Вы, например, больше любите Ее, чем Христа, а я когда-то тоже любил Ее больше, но я тогда не знал Христа, не знал *чувства Христова, Его дуновения*. Теперь Она для меня — вечно-дорогие врата к Тому, что за Ней. Если Она — небо, Христос — второе... *И я больше люблю Христа*. Вот уж несовпадение в ви́дениях наших: не есть ли оно импульс к изысканию причин такого несовпадения. Вот откуда и начинается частная замена *«вершинно»* не всем доступных *«глаголов»* богословствованием. Мы все знаем, что такое схоластика. Мы не должны бояться схоластики, если мы сознаем, *где теперь мысль*... Схоластика — наше орудие, при помощи которого часто располагаем целую систему последовательно развертывающихся символов. Право быть господами, а не слугами схоластики, воистину, мы завоевали. Если схоластика низинна, неогненна, то она все-таки отражает *верные контуры ви́денных образов*... Мое видение, несмотря на всю его огненность, раз я его выражаю горным наречием, не будучи пророком, может Вам показаться лишь образным выражением. И обратно...

В Христовом Лике для меня три цвета: бархатнобелый (Св. Дух, человекобожеское) фон, переливающий в голубое и наконец совершенно голубые, ослепительные пролеты (Сын Божий, богочеловечество). И все это резко очерчено узкими полосками *пурпура* (Отец). Христос — узел между символом и воплощением. Вот скажу своим жаргоном, по всей вероятности непонятным, но мне дорогим, ибо он выражает метод, которым я *для себя лично* сделал не одно теософское открытие, — вот скажу: *голубое* — это *белое*, сквозящее *внецветным*, символом Отца на символическом плане (*«Принимая Меня, принимае-*

те Отца»)[3]. *Пурпурное* — символ Отца на воплощенном плане. (Он замыкает спектр; спектр



До грехопадения так и было со спектром; он был замкнутой линией. Грехопадение — ошибка благодаря смешению *огненно-красного* с *огненно-пурпурным*, и отсюда срыв). Пурпур — тот огонь Отца, которым Христос сожжет землю и который для праведных будет восторгом, а для грешных *озеро огненное*, в которое будут повержены вместе со смертью (*«И смерть, и ад повержены в озеро огненное»...*)[4]. *Белый цвет* — предвкушение Христова II Пришествия через св. Дух — предвкушение св. Духом. Но *белое* есть лишь нечто от Христа — одна только группа Его свойств. (Определение Христа, как *Доброго*, не подходит к Его Лику).

Она — Лучезарная Подруга — манит нас к себе *розовым**. *Розовое* или: 1) белое + красное, 2) белое + пурпурное. *Красное* — багряница страданий, сжигание греха, искупление, 1-ое пришествие; *белое* (св. Дух Утешитель, Предтеча II пришествия) } розовое — узел между Христом II пришествия и I-го пришествия. Она не узел ли между Христом и нами — окно мира, дверь, *«Дева Радужных Ворот»* и т. д. Вот одно Ее существенное определение.

Пурпур — от Отца. Белое — человекобожеское, а еще не богочеловеческое, утешенное св. Духом. Розовое — св. Дух, Которого Он посылает, и Который исходит от Отца (пурпур). Она — *«не св. Дух ли Утешитель?»*

Вот другое Ее существенное определение — *это бездонно в Вашем письме...* Более чем кто-либо я понимаю и чувствую весь raison d'être Вашего вопроса. Она — двоится для нас (то розовая, то белая), то *«вижу в свете зори я улыбку твою»*[5], то «белые (?) странные те же они» — «белые ангелы, вставшие кругом»!..[6] И тогда она о *человекобожеском...* Человекобог — не Ее ли младенец, а может быть, не младенец Ее, а Она Сама с какой-то новой потусторонней плоскости. Есть нечто, что является то как Вечно-Женственное, то как убеленно-детское. (Будьте как дети, Ницше, детскость — конец развития, цель, окончание истории). Отсюда еще шаг, и связь между белым младенцем, воплощением св. Духа Утешителя на Земле, и Ею, как Матерью... Еще шаг и..... в ней какое-то отношение двух разных начал, узел, перегиб, а вернее — исчезает *Она*, а является Нечто, что может быть и Вечно-Женственным, и убеленно-мягким, детским, человекобожеским... И это Нечто — не есть ли св. Дух Утешитель?.. Вечная Женственность — только определение отсюда *Чего-то* в терминах феноменальных, ибо прилагательные *женственный, мужественный* говорят о поле, а пол, *вопреки Розанову*, феноменален и только. Углубляясь до нуменального, пол через

---

* По крайней мере ее общедоступное, первое определение таково, т. е. розовым. (*Примечание Белого.*)

аскетизм себя отрицает в феноменальном, как и скепсис, — оба суть змеи, кусающие свой хвост, и следовательно, конечно: «Перенесение плотских животно-человеческих отношений в область сверхчеловеческую есть величайшая мерзость» (Вл. Соловьев)[7]. Только потому я и позволил себе делать такие странные (bizar<r>es) сопоставления...

Не знаю, понятно ли Вам это?.. Я так неумело выражаюсь, да и спешу окончить письмо (тороплюсь — уезжают в город).

Дорогой Александр Александрович, к моему прискорбию некоторые обстоятельства не позволяют мне покинуть мою маму, которая после кончины отца очень скучает, и я не могу быть у Вас на свадьбе[8]. От души поздравляю Вас и желаю Вам счастия — Христос да будет с Вами.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. Будьте любезны, пришлите мне Ваших стихов, я так *привык* к ним, так люблю и ценю их...

Чтобы получить их *наверное*, посылаю Вам в свою очередь свои, но предупреждаю — они не интересны (внешни).

P. P. S. Напоминаю Вам о карточке, которую Вы мне обещали.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ

1

Пронизала вершины дерев
Желтобархатным светом зоря.
И звучит этот вечный напев:
«Объявись — зацелую тебя»...

Старина в пламенеющий час,
Обуявшая нас мировым, —
Старина, окружившая нас,
Водопадом летит голубым.

И веков струевой водопад,
Вечно грустной спадая волной,
Не замоет к былому возврат,
Навсегда засквозив стариной.

Песнь все ту же поет старина.
Душит тем же восторгом нас мир.
Точно выплеснут кубок вина,
Напоившего вечным эфир.

Обращенный лицом к старине,
Я склонился с мольбою за всех.
Страстно тянутся ветви ко мне
Золотых, лучезарных дерев.

И сквозь вихрь непрерывных веков
Что-то снова коснулось меня, —
Чей-то грустно-задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя...»

2

Проповедуя скорый конец,
Я предстал, словно новый Христос,
Возложивши терновый венец,
Разукрашенный пламенем роз.

В небе гас бархатистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня троттуар,
Удивленно внимали речам.

Хохотали они надо мной,
Над безумно-смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой
Застывала, дрожа над челом.

Гром пролеток, и крики, и стук,
Ход бесшумный резиновых шин —
Липкой грязью окаченный вдруг
Побледневший утих арлекин.

3

Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь.
В голубом
Все застыло, искрясь.

И звучит из дали:
«Я так близко от вас,
Мои бедные дети земли,
В золотой, янтареющий час...»

И под тусклым окном
За решеткой тюрьмы
Ей машу колпаком:
«Скоро, скоро увидимся мы»...

С лучезарных крестов
Нити золота тешат меня...
Тот же грустно-задумчивый зов:
«Объявись — зацелую тебя!»...

Полный радостных мук
Утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
Сумасшедший колпак.[9]

НАЧИНАНИЕ

Из царских дверей выхожу.
Молитва в лазурных очах.
По красным ступеням схожу
Со светочем в голых руках.

Я знаю безумий напор.
Больной, истеричный мой вид, —
Тоскующий взор,
Смертельная бледность ланит.

Тоске вашей нужно огня:
Дарую огонь свой — тоскуйте...
Целуйте меня,
Целуйте...

Безумные грезы свои
Лелеете с дикой любовью,
Взглянув на одежды мои,
Залитые кровью.

Поете: «Гряди же, гряди»...
Я грустно вздыхаю.
Бескровные руки мои
На всех возлагаю.

Ну, мальчики, с Богом,
Несите зажженные свечи!..
Пусть рогом
Народ созывают для встречи...

Ну что ж — на закате холодного дня
Целуйте мои онемевшие руки,
Ведите меня
На крестные муки!..[10]

СМЕРТЬ

1

Гряда облаков
Отходит, как волны событий —
Как яснонемых жемчугов
Далекие нити,

На небо вернусь
Средь ясного часа.
Опять завернусь
В кусок голубого атласа.

Закатом блесну,
Горя в светомирных порфирах.
Опять утону
В эфирах.

Вас будут терзать
Вселенские бури,
Но буду я спать
В лазури.

Я брызну средь ясного дня
На вас золотыми снопами.
Узнаете снова меня,
Я буду над вами.

Когда, заблистав, как снега,
Вновь тучки на вас понесутся, —
Когда жемчуга
Прольются.

2

Для пророка, отца своего,
Мы построили храмы.
Не забудем его
Никогда мы.

Его нет. Он исчез.
Дни бесцветные, полные скуки...
Протянулись с небес
Вдруг снегóвые руки;

Опустились воздушным кольцом
Средь тоскующих братий
И забылися сном
Среди облачно-бледных объятий.

Улыбнулись меж солнечных роз
В жемчугах ясных струй.
Ветерок нам принес
Поцелуй[11].

19) К письму Б. Бугаева от 14-го июля 1903 года:

Всем высказанным в предыдущем комментарии, как содержащимся уже в моем сознании в 1903 году, и обусловлен мой ответ Блоку от 14-го июля.

Сознание трудности четко сформулировать разность подхода к *«темище»*, к градации *тем*, из нее вынимаемых, и вызывает фразы: *«Бумага... не выдерживает», «Слова остаются застывшими», «мой девиз — молчание»*. Вместо расплетения путаницы, инакочтения символов, конкретно переживаемых нами обоими, я действую противопоставлением своего (оно — легче *расплетения*): я пытаюсь лишь возразить на *«скепсис»*; и возражение против скепсиса — тема о соединении *символизма* и *критицизма*; она — введение *музыки, ритма, Логоса* и *темы в вариациях* (читай, всяческого *«трансформизма»*) в сохлый слой мысли, в рассудок; вопрос не в ампутации периферического, засохшего слоя мозга, говоря образно, а в нормальном орошении его кровью Сердца, в изменении ритма пульсации крови, в принятии *Импульса* Логосической мысли в мысль Логики *рассудка*; ориентация на Канта — попытка тогдашней эпохи, попытка не с достаточными средствами, ибо для этого надо было *«платонизировать»* Канта и пригласить для этой операции Шопенгауэра; в конечном счете — от Канта ничего не оставалось; с 1905 года я эту попытку бросаю; и *«подъезжаю»* к здоровому ядру *кантианства*, проверчивая его шилом неокантианства; но сперва я проверчиваю *«неокантианца»* Риккерта шилом уже собственной теории знания (об этих попытках впоследствии отзывался сам Риккерт, что они — попытки его *«плотинизировать»*; ему была подробно изложена критика его *«Предмета Познания»* в *«Эмблематике Смысла»*). Словом, у меня в связи с мыслью (с 1903 года до 1910) *забот полон рот:* занятия многотрудные, усилия невероятные, но взятые как крест в ясно осознанной миссии и *«соединить критицизм с символизмом»*, и когда *база* для этого соединения готова, то готова формула перехода от *«Эмблематики смысла»* к проблеме мировоззрения у Штейнера; и отсюда к *теории знания* духовной науки. Но дорога уже видна: соединение эго-теизма Ницше с пан-теизмом Гартмана — в *теософии*; соединение духа музыки с мыслью — меняет самый взгляд на теорию знания. *«Вот наше знание твердое, уходящее корнями во все системы мысли, но оно само не мысль»*, а именно *«знание»*. Корни этого знания — в конкретном разуме, который не *«по-видимому»* (как у Блока) есть в зародыше, а просто *есть*, мне дан в моем *ведении* Христова Импульса. Мне не страшен *«скепсис»* мысли (у Блока), который для него *«камень преткновения»*. Я отвечаю: *«Пусть себе лежит... Объезжать его не надо»*. Что же надо? Сказать ему, как параличному: «Тебе говорю, — встань!» И тут же ссылки на прошлое мысли, на Веданту, на Бхагават-Гиту; взята тема истории мысли, как подлежащей терапевтическому действу силой Христова Ума; и выдвинута проблема исторического Откровения и исторического гнозиса Откровения. О *«Ней»* почти нет ни слова! Все слова вокруг Христа и о Христе, ибо Христос — самое условие Ее возможности.

Все это, разумеется, в *«пику»* позиции Блока; и, разумеется, *«пика»* — дружеская любовная! *«Она для меня — ... врата к тому, что за Ней»*. За Ней — Христос; и ссылка: когда-то не знал Христа; теперь — Знаю. Теперь делаю биографическое разъяснение: весной 1901 года еще не *знал*; или — знал сквозь Нее; но с зимы 1901 года и особенно с 902 года — *узнал*, как факт опыта; с той поры сама Она — в теме Христа. *«Я больше люблю Христа. Вот... несовпадение*

в вйдениях». И приглашение: искать причины несовпадения; зов к христианскому гнозису; и оправдание в нем даже *«схоластики»*, как *очертаний*, хотя теневых, но совпадающих в контурах с *вещами* духовной действительности. (Опять — *«дружеская»* пика.) И — опять *«пика»*: указание на эфемерность образов и образных выражений вне подлинного опыта Христо<ва> Гнозиса; и — попытка (опять обреченная на неудачу, ибо *«цветной символ»* — аллегория для Блока) в символах *цвета* сказать нечто о Лике Христа, — не иконном, а, так сказать, встающем, как радуга, над *источником*, пронизывающем все существо, как... Христов Импульс. Внутри этого *«Лика»*, как сотканного из *цветов*, одна малая часть цветового восприятия — восприятия Ее в *белом* (сквозь Христа и Духа) и в *розовом*, как исторического становления, как культуры исторической (и в этом смысле, как культуры самой *«исторической церкви»*).

Заключение: *«Не знаю, понятно ли Вам это?»* Знаю, что непонятно, ибо разошлись в оформлениях; теперь уже не искание встречи, а искание *гнозисом* обратить внимание А. А. на *«мое»*, как отличное от *его мира*.

---

[1] Ответ на п. 20. Помета Блока красным карандашом: «1903 — июль».

[2] Белый отсылает к «Философии бессознательного» («Philosophie des Unbewussten», 1869) Эдуарда Гартмана; вышла в русском переводе в 1902 году.

[3] Мф. X, 40: «...кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня».

[4] Откр. XX, 14.

[5] Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Нет вопросов давно, и не нужно речей...» (1892); в оригинале: «В алом блеске зари я тебя узнаю, // Вижу в свете небес я улыбку твою».

[6] Обыгрываются строки стихотворения Вл. Соловьева «Вновь белые колокольчики» («В грозные, знойные...», 1900); в оригинале: «Белые, стройные // Те же они», «Ангелы белые // Встали кругом».

[7] Цитата из авторского предисловия к третьему изданию стихотворений (Стихотворения Вл. Соловьева. Изд. 3-е, доп. СПб., 1900. С. XIII).

[8] Ср. позднейшие мемуарные разъяснения Белого: «Внезапно отец умирает (от жабы грудной); переутомление, горечь внезапной утраты меня убивают; решают, что нужен мне отдых; и уезжая в деревню, отказываюсь от участия в свадьбе» (*О Блоке*. С. 51); «... после смерти отца я, устав, отказался от шаферства» (*Начало века*. С. 287). Возможно, более внятно Белый разъяснял причины своего отказа быть шафером на свадьбе Блока в неизвестном нам письме к С. М. Соловьеву, на которое последний отвечал 1 августа 1903 г.: «Совершенно понимаю, что ты не хочешь никуда ехать. Я тоже хочу безвыездно прожить в Трубицыне до конца августа и на свадьбу Блока не ехать» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 203). По всей вероятности, стремление Белого и Соловьева уклониться от шаферства скрывало также идейную подоплеку, подразумевавшую и несогласованность между предстоящим жизненным выбором поэта и основными темами блоковской мистической поэзии. Когда Соловьев (в письме к Блоку от 3 августа 1903 г., см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 1*. С. 334) сообщил о своем намерении не приезжать на свадьбу (позднее он изменил свое решение), Блок ответил ему (9 августа): «Скажу тебе откровенно: когда отказался быть Андрей Белый, я не почувствовал такого огорчения, как теперь. Потому что *его лицо* еще в тени для меня <...>» (Там же. С. 335—336).

[9] Опубликовано: *Золото в лазури*. С. 17—20 — с посвящением Д. Мережковскому и с дополнительной строфой.

[10] *Золото в лазури*. С. 238—239 — под заглавием «Мания», без 3-й строфы.

[11] *Золото в лазури*. С. 54—56.

22. БЛОК – БЕЛОМУ

<1 августа 1903. Шахматово>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Ваше последнее письмо прекрасно. Этим мне хотелось бы выразить Вам все многостороннее впечатление от него для того, чтобы приступить прямо к ответу.

Позвольте отвечать Вам не по порядку, а по мере встречи с излюбленным. И простите «интимности», если таковые встретятся.

Конечно, Вы «слишком рано встали над кручей»[2]. Весь стиль звездной плеяды Ваших писем и творений свидетельствует о «бодром» настроении умытого серебряной росой, стоящего в сырости окна, звенящего в стекла, надеющегося на пробуждение... Они спят, Вы знаете сами, спят даже «открыв рот», посвистывая носом. И я говорю об этом именно потому, что Вы знаете это, может быть, *лучше меня*. «Озлобленный вздох» в миллион раз лучше благодушного позевывания. Ей Богу, если они проснутся, у них только расстроятся желудки.

Это — рассуждение чисто «светское». Мне хотелось только начать с него, в виде «вступления». Но мне не выдержать его, и я перейду к «духовному».

Скорее всего, я не так выразился, когда писал Вам о скепсисе. Я хочу понимать его шире, *не* как филос<офскую> систему, *не* как житейскость.

Я думаю о скепсисе, который достоин содроганий. Его *не надо* «объезжать», но его и преодолевать рано. Что, если *на нем* строить?

Вечное призывание сто́ит *ме́ньшего*, чем один огненный взгляд, одна улыбка, один жест, застигающий врасплох, кинутый людям, поднявший волосы на их голове. В одном из прежних писем Вы предположили возможность «ухода, забвения и начинания».

Уйти и забыть *нам* нет сил. В этом — живая основа того скепсиса, о котором я говорю. Хорошо бы, ах, как хорошо, скажу я, остановиться, оглядеться, возрадоваться на все феноменальное, замереть от счастья перед «кажущимся», «являющимся» (φαινόμενον). Розанову хочется, может быть, устроиться так, но вся пружина его громадного (по-моему) творчества держится на трагедии (т. е., как всегда — борьбе, страдании и беспокойстве). Те, котор<ые> приблизились однажды (хоть однажды!), — не забудут, — и уже этот *крест* тяжел. Нельзя забыть, и дверь прочна, только златотканный покров, образ на груди, восковая свеча в восковых руках — укажут на вечно-звездный путь.

Я к ночи сердцем легковерней,
И буду верить *как-нибудь*,
Что жизнь, гася мой свет вечерний,
Укажет мне на звездный путь.

Полонский[3]

Я допускаю возможность *нежелания* проникнуть. Возможность *желания обойти, уйти, забыть,* сотворить крестное знаменье, прошептать слова заклятий, слова о пощаде. Невозможно! *«О н и»* застигают в пути, застигают в восторге. «Она» — Одна приносит *царственность,* «они» — клеймо. Тут — мое «ви́денье», оно другое, чем у Вас. Цветов нет. Поднимается изнутри, застилает окружающее. Я не хотел «скепсиса», теперь — хочу, потому что *знаю неизбеж-*

ность другого. Помню — не забываю, уходя, не ухожу. Хочу молчать «по-человечески» примитивно, чаще и чаще предпочитаю это «истерическому бунтованью». Благодаря тому, что Вы в Вашем письме поставили окончательные грани (в вопросах о Христе и феноменальности пола), — пишу Вам, по крайней мере, искренно, не то, что «признаюсь», а говорю опять-таки под строжайшим вопросительным знаком: зачем бы мне был подобный вышеописанному скепсис?

Вот зачем:

1) Еще (или уже, или никогда) *не чувствую* Христа. *Чувствую Е е,* Христа иногда только *понимаю.*

2) *Страдаю* (?) крайним *и н д и в и д у а л и з м о м* (вытекает из первого?): люблю «махать колпаком» и *не хочу* «крестных мук»[4]. Не чувствую участия *народа* и общества в Ее Благодати. *В жизни* иногда отделываюсь *презрением.* Пишу стихи *по преимуществу.*

3) Вытекает из второго: страдаю *ленью* (как в узком, так и в широком смысле: обладая малым запасом положительных знаний), *не чувствую* глубокой потребности в них и нахлобучиваю метафизические фуражки то с тоской, то охотно.

4) *Б о ю с ь е щ е* (м<ожет> б<ыть>, *перестану* бояться) утратить Соловьевские костыли, подпиравшие меня *сильно* (при жизни Мих<аила> Серг<еевича>). Не переставая «тянуться в голубоватую мглу», рискую встретиться черт знает с кем. Угрожающие симптомы: никогда не предполагаю феноменальности пола, *хотя это непременный* (с точки зр<ения> единства) вывод из Соловьевских слов, цитированных Вами: (о перенесении животн<ых> отнош<ений>... велич<айшая> мерзость). Но...

...Не знаю внезапной причины, —
...Приходят веселые дни

(А. М. Добролюбов!!!)[5]

Вот, это главное.

Однако, я знаю, что *Она отлична от Трехвенечной*[6]. Знаю *внутренно.* Каково же отношение *аскетизма* к обеим — не знаю... Все время ношу в себе неизгладимое подозрение: не исключает *ли чистое* (?) служение, пребывание в «свете немеркнущем Новой Богини»[7] — необходимость и самую *возможность поэтического* творчества? Если бы не стояли на пути постоянно пленительной загадкой стихи Соловьева и, в последнее время, Ваши — я сказал бы утвердительно: *исключает.* Скажу даже так: именно *Ваши* стихи: они удивительны мне особенно по одной причине: при крайнем богатстве формы, еще более крайнем — содержании и, наконец, главное, *субстанции* (неизреченности) — *п о л н о е* отсутствие «натуралистических» образов (при реальности их). Вы купаете вещи в эфире, насыщаете их «горным воздухом». Даже «кентавры» таковы, даже Сомов![8] Я бы сказал, что Ваши стихи безгневны — и сам Соловьев гневнее Вас в стихах. У него «созревший расцвет», «сладкая тоска»[9]. Несравненно «бесстрастнее»

«Ей машу колпаком:
Скоро, скоро увидимся мы»[10],

чем:

«К нам скорей через запад дождливый —
Для тебя мы безоблачный юг»[11].

И вместе — равно пленительно.

Напрасно сказали Вы, что эти стихи Ваши (последние) неинтересны. Помоему, так: первые (в письме) мне понравились далеко не все, дальше (в «Сев<ерных> Цв<етах>»)[12] — гораздо больше и полнее, эти же всего интереснее (хотя формы в Сев<ерных> Цв<етах> есть лучше). Соловьев и особенно Вы — не задыхаетесь от песен, как Лермонтов, как даже Тютчев, как маленький, но важный Апол<лон> Григорьев, Фет, Полонский, — как все, кто поет ныне (Бальмонт, Брюсов, Сологуб). И это — непонятно мне. Соловьев, например, не усумнился в «бесплотскости» «Царь-Девицы» Полонского[13], а я думаю наверное, что «яркий, влажный глаз», роняющий «ключи и капли слез»[14], есть несомненный символ Другой... Ваши образы не имеют ни одной точки соприкосновения с этим. Загадка для меня.

Возвращаюсь к покинутому. Уйти и забыть нельзя — «начинать?» Или это *т о ж е*, что «будем делать» из «Судьбы Гоголя», из II тома «Толстого и Достоевского»?[15] Не хочу, не верю, если это то же. Ах, я перечитал «Войну и мир», прочел юношеские творения Достоевского. Этим отрезал себя от II тома, слава Богу, не хочу, не боюсь больше. Больше того: *л у ч ш е* скажу крупную пошлость: «его» жена умнее «его» (Мережковские)[16]. Извините...

Конечно, мне не хочется этого тона капризной дамы. Но я не трепещу перед «тайновиденьем плоти» и «тайновиденьем духа»[17] — *этого нет*. Ужаснее открыть окно в лунную ночь. Великолепнее услышать без слуха песню, голос.

Ваше «начинать», думаю, не то. Ваше «начинать» ужаснее, чем в стихотворении «Начинание»[18]. Оно неизъяснимо?

Ваш «эсотеризм» я нежно люблю. Не надо дальше. Это просто вытекает из самого важного для меня расхождения с Вами: Вы любите Христа больше Ее. Я не могу. *Знаю, что Вы впереди — без сомнений.* Но — не могу. Отсюда происходит: у Вас устранена часть мучительного, древнего, терзающего меня часто, мысленного соблазна: «вечной мужественности». Оттого Она мне меньше знакома. Оттого я кутаюсь часто в старый халат (символически). Мне бы место у настоящих декадентов — без дна и покрышки. Но часто не хочется — и отступаю еще назад.

«Там стерегут мое паденье
Веселых Ангелов четы».[19]

Милый Борис Николаевич, спасибо Вам за Ваши пожелания. Пожалуй, Вы не захотите писать, уж очень я высказался во многом «плоско». Я непременно пришлю Вам карточку, когда снимусь (думаю, скоро). Будьте здоровее, мне очень хотелось бы с Вами познакомиться. А вот — стихи, но я-то уж предупреждаю справедливо, что они неинтересные и внешние, хуже прежних[20].

Любящий Вас Ал. Блок

P. S. 18-ого я уже буду в Петербурге — на прежнем месте.

1 августа 1903.
Н<иколаевская> ж<елезная> д<орога>, ст. Подсолнечная, с. Шахматово.

Комментарий Андрея Белого

20) К письму Блока от 1-го авг<уста> 1903 года:

«Ваше последнее письмо прекрасно» — первая фраза письма; это — не ответ, а *отход* от ответа, как отход и апелляция к спящим: *«Они спят»*. Ответ на мой тезис

«принять скепсис» (для просвещения его Христовым Умом) понят А. А. неправильно, как искус *«страхом»*. *«Преодолевать его* (скепсис) *рано»*. Для меня — *«пора»*, ибо созрели условия для того в нас; тут мое *«уже»*; на это *«уже»* Блок отвечает: «Еще рано!» Вечное *«changez»* меж нами наших *«еще»* и *«уже»*, — источник стольких будущих даже житейских недоразумений.

В сущности мне не отвечает Блок. Но спрашивает: *«Начинать?»* Или это то же, что *«будем делать»* из *«Судьбы Гоголя»*, из II тома *«Толстого и Достоевского»*. *«Не хочу, не верю*, если это то же». (Боязнь *«литературщины»* и рационализации всяких начинаний.)

Письмо оканчивается: *«Ваш эсотеризм»* я нежно люблю. Это — не ответ мне: не *«гнозис»* гнозиса моего, не отрицание, но и не согласие. Молчание!

«Приглашение» в первых письмах; и *«отступание»* от моего гнозиса теперь. Hésitation!

---

[1] Ответ на п. 21.

[2] Обыгрываются строки из стихотворения Белого «Возмездие»: «Слишком рано я встал над низиной»; «но стою я, как идол, над кручей» (*Золото в лазури*. С. 229); стихотворение было известно Блоку по публикации (в составе цикла «Призывы») в «Северных Цветах» (М., 1903).

[3] Неточно приведена строфа из стихотворения «Вечерний звон» («На все призывы без отзыва...», 1890). См.: Полонский Я. П. Соч. В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 257.

[4] Обыгрываются строки из стихотворений Белого «Вечный зов» («Ей машу колпаком») и «Начинание» («Ведите меня // На крестные муки!..»), посланных Блоку при письме 21 (с. 83, 84 наст. изд.).

[5] Строки из стихотворения «Подражание древним» («Каждый звук церковного звона...»): «И не знаю внезапной причины, // Но приходят веселые дни» (Добролюбов А. Собрание стихов. М., 1900. С. 30).

[6] Подразумевается образ «Изиды трехвенечной» из стихотворения Вл. Соловьева «Нильская дельта» (1898).

[7] Строка из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche» (1898).

[8] Подразумеваются стихотворение «Кентавр» («Был страшен и холоден сумрак ночной...»), опубликованное в составе цикла Белого «Призывы» в альманахе «Северные Цветы» (М., 1903. С. 31), и посланные Блоку в рукописи стихотворения «Встреча» и «Объяснение в любви», посвященные К. А. Сомову (с. 49—51 наст. изд.). Ср. заметки Блока в записной книжке (июль—август 1903 г.): «Мистический скепсис (задумчивость). Отсутствие натурализма в стихах Бугаева» (ЗК, 52).

[9] Имеются в виду строки «Души созревшего расцвета // Не сдержит снег седых кудрей» — из стихотворения «Воскресшему» («Лучей блестящих полк за полком...», 1895), «И сладкая тоска» — из стихотворения «Лишь только тень живых, мелькнувши, исчезает...» (1895).

[10] Цитата из стихотворения Белого «Вечный зов», посланного Блоку в рукописи (с. 83 наст. изд.).

[11] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Белые колокольчики» («Сколько их расцветало недавно...», 1899).

[12] Имеется в виду цикл стихотворений Белого «Призывы», опубликованный в кн.: Северные Цветы. Альманах III книгоиздательства «Скорпион». М., 1903. С. 26—38.

[13] Подразумевается интерпретация стихотворения Полонского «Царь-Девица» в статье Вл. Соловьева «Поэзия Я. П. Полонского» (1896) (Соловьев Вл. С. Собр. соч. СПб., «Общественная польза», б. г. Т. VI. С. 620—622).

[14] Цитаты из стихотворения Полонского «Царь-Девица» («В дни ребячества я помню...») (Полонский Я. П. Полн. собр. стихотворений. В 5 т. СПб., 1896. Т. 2. С. 201—203).

[15] Подразумеваются финальные патетические формулировки в книгах Мережковского «Судьба Гоголя» («Гоголь. Творчество, жизнь и религия»): «Мы хотим, чтобы жизнь была во Христе и Христос в жизни. Как это сделать?» — и «Л. Толстой и Достоевский»: «...ранним утром, когда вершины дубов еще во мраке — мы уже светимся; мы видим то, чего никто не видит; мы первые видим Солнце великого дня <...>».

[16] Подразумевается З. Н. Гиппиус, жена Д. С. Мережковского. О взаимоотношениях Блока с ними см.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 535). Тарту, 1981. С. 116—222; Королева Н. В. Неизвестные письма А. А. Блока к Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1994. М., 1996. С. 27—43.

[17] «Тайновидцем плоти», согласно концепции Мережковского, развитой им в «Л. Толстом и Достоевском», является Толстой, «тайновидцем духа» — Достоевский.

[18] Рукопись этого стихотворения была послана Блоку при п. 21 (см. с. 84 наст. изд.).

[19] Автоцитата из стихотворения «Стремленья сердца непомерны...» (15 сентября 1902 г.)

[20] Автографы стихотворений при письме отсутствуют. Из ответного письма Белого выясняется, что в присланной подборке были «По городу бегал черный человек...» и «День был нежно-серый, серый, как тоска...»

---

23. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Серебряный Колодезь. 19-го августа. 1903 года[1].

Милый Александр Александрович!

Великодушно простите — я не понял Вас: ввиду того, что я понимаю то отношение к действительности, которое у Вас является скептицизмом *«в общем смысле»*, как критицизм (не в философском разумном, а в разумно-мудром смысле), я и позволил себе так много возражать. Меня смутили *слова*. Так: критицизм Канта я отличаю от критицизма Ницше *лишь* дальнейшим видоизменением того же Кантовского критицизма. Скептицизм в Вашем смысле обнимает и теоретика Канта, и символиста Ницше. В принципе такого скептицизма уж не существует. Его превзошли. На деле еще предстоит преодолеть, чтобы строить на нем (Ваше: *«Но его и преодолевать рано. Что, если на нем строить?»* Вот именно для того, чтобы стать на нем, как на фундаменте, его и нужно стараться преодолеть. А то как же строить на непреодоленном?). Да и наконец следует преодолеть, чтоб замолчать, отделаться. Смотрите, как *пыжатся* рассуждать философы теоретики (Кант, Фихте, Лотце, Шопенгауэр) о внутренней сущности, и однако при всем богатстве форм ни одного субстанциального определения. Никакого *знания*. Разве Шопенгауэр. Нет, и это сомнительно. Ницше только усмехнется их стараниям да и вправе не понимать, опровергать их, глумиться: «Что это еще за птица — внутренняя сущность? Что это за журавль в небе?..» И однако *синицу*-то в руки он несомненно дает *и при этом не заявляет никогда ничего формально* (как человек, уличенный в благодеянии,

краснеет и сердито бормочет: «Что за глупости! Никакого благодеяния я не сделал. Мне же выгодно»...). А между тем Кант в своем фигурном синтезе (Кр<итика> Чист<ого> Раз<ума>, стр. 111—113) и трансцендентальных схемах (Кр<итика> Чист<ого> Раз<ума>, стр. 137, 138)[2] *тщетно тщится*[3] и потом разражается непримиренностью, официально сохраняя за собой роль блюстителя порядка у запертой комнаты Вечности, охраняя Вечность от всяких *«мальчишек мысли»* (вроде Ницше). Узнаю тебя, папаша Кант, — старая обезьяна!.. Узнаю вас, неокантианцы — *«философутики»*, преждевременно впавшие в детство кретины!

Они спят, живые мертвецы. Нет, они делают хуже, чем Вы говорите: они не только расстраивают себе желудки, но они имеют наглость, просыпаясь, подмигивать Вам: «Мы *тоже* понимаем... И мы декаденты... *И мы разлагаемся* (??!!??)...» Что может быть ужаснее проснувшегося трупа?.. Не знаю, как у Вас в Петербурге... У нас несносен этот многочисленный тип подмигивающих *«не о том»*... Неврастенические барышни, *«несносные декадентские дамы»*, и всесторонние вьюноши, помешанные на эрудиции... Бывали случаи пробуждения старцев — это ужасно... Утешаюсь, что это только в Москве, а уж давно решено, что Москва — декадентский городок... Я, как и Вы, враг всяких поспешностей, основанных на легкомысленной позе и глупом желании не дать себя догнать. В теоретическом отношении я консервативен: рано отказываться от философии, как то пытаются Брюсов, Бальмонт и др.... Надо суметь преодолеть. Надо, уходя, оставлять вехи. Слишком легко летать без границ с легким багажом: как бы не перелететь, так что и примитивной рассудительности лишиться, и глубины перспективы (эзотеризма) не дать, что и случилось с *«Новым Путем»* — этой бессодержательной опереткой в журналистике.

Я ценю Розанова, но и он не вытанцовывается ни во что (боюсь, как бы не оказался *и он* пустоцветом). В самом деле: хотя бы в вопросе о браке: дает ряд глубинных созерцаний (с которыми я не согласен очень часто), бросает их мимоходом, высвечивает то здесь, то там жизнь; две альтернативы: или совокупить прозрения в одно целое, приделать к этому зерну ходы от обыденности, т. е. дать понять и *«малым сим»*, или же молитвенно преобразить себя, на себе показать. А то ведь нельзя же в сотый раз и все в тех же выражениях все то же писать... Брюсов верно пишет мне: «Он (Розанов) прилагает свои откровения, виденные им при “сапфирных” молниях, к вопросу о петербургских мостовых. Не разобрав в чем дело, он при всяком стечении народа начинает кричать: “Что? Пол? Мистическая тайна брака? Центр тяжести в сокровенном месте! Приложение силы в точке деторождения”». И т. д.[4]

Губит, губит Розанова многописание и благодушество. А это редкий, блестящий, несравненный талант... А потом зачем он религией прикрывается и почтенных протоиереев морочит?

«Люблю “махать колпаком” и не хочу “крестных мук”...» А ведь после мук-то приятней махать колпаком. Тогда-то и махать... А то ведь можно намахать из голубоватой мглы черт знает чего и кого (Ваше: *«рискую встретиться черт знает с кем»*). Всякой дряни *«ноне»* бродит *«чертова тьма»*, малюет на полотне *«райские прелести»*, и многие из Ваших петербуржцев никак не способны отличить *светящееся изнутри* от *намалеванного* (говорят, кто-то желал полететь в бездну *«вверх пятами»*[5], а наткнулся на протянутый картон, где оные страсти были старательно разрисованы... Очинно удивлялся...). Нет, слишком еще рискованно *похерить* Соловьева, а его ой-ой как желают *похерить*... Да костист больно — не проглотишь, жиловат — не прирежешь...

Ваши стихотворения мне очень нравятся, хотя и менее, чем те, которые Вы мне прислали в предыдущую присылку (еще зимой). А странны они... «Черные человечки» — ой знаю, знаю...[6] У Вас в Петербурге, говорят, *этого* еще больше. Странное дело: стихотворение *«День был нежно-серый, серый, как тоска...»*, изумительное по глубинной реальности, незабвенности, мне напомнило Врубеля — этого никем не оцененного титана русской живописи... ... А это *«Может быть, скатилась красная звезда»*[7] — изумительно.

И скатилась, скатилась, испугала нас: «И увидел звезду, падшую с неба на землю, *и дан был ей ключ от кладезя бездны»* (Откр. IX, 1).

Никого нет, кроме Вас, кто бы так изумительно реально указал на вкравшийся ужас. Знаете, я боюсь: куда приведут такие стихи? Что вскроют, что повлекут за собой?...

. . . .

И Осень сказала: «Да уж сумею, сумею я летние изумруды переплавить в золото и багрец»... С той поры началось увядание. На изумрудном фоне показались пятна золота — пурпурного золота, чтоб засохнуть, свалиться, пролететь. Милый Александр Александрович, накопившиеся времена пролетали тут. Приближался полновременный день — день осенний.

Вот сижу на террасе и пишу Вам. Шумят деревья. Большие желтые листья, срываясь, проносятся. Летят, улетают, как времена. Вечно-грядущая, нежная, милая, ясная близость пересыпает жемчугами — и брызжут, и бьют в оконные стекла капли эти — слезы осени...

Чье-то похолодевшее лицо *так просто* улыбнулось, закрыло тонкими пальцами глаза. И шепчет, и шепчет: «В безвременье... на далекую родину... сквозь мир... улетим — сквозь мир улетим!...» Хочется крикнуть: «Милая, Неизвестная, Дорогая... Что уж тут — летим!..» В воздухе пляшут атласы Ее воздушно-прозрачных риз. Несется. Несутся ветром атласы Ее воздушно-прозрачных риз. *«Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя, почему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она — одна, но может все, и пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из роду в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков. Она прекраснее Солнца и превосходнее сонма звезд, в сравнении со светом она выше... Она быстро простирается от одного конца до другого... Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе и стал любителем красоты ее. Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыко всех возлюбил ее: она таинница ума Божия и избирательница дел Его... Чрез нее я буду иметь славу в народе и честь пред старейшими, будучи юношей... Чрез нее я достигну бессмертия и оставлю вечную память будущим после меня... Она во время погибели нечестивых спасла праведного, который избежал огня, нисшедшего на пять городов... Она воздала святым награду за труды их, вела их путем дивным; и днем была им покровом, а ночью — звездным светом»* (Премудрость Соломона)[8].

О, на родину — на далекую родину — все мы несемся... Стоит только раздвинуть атлас Ее фаты — несемся, несемся, мы несемся!... Стоило раз сказать Осени: *«Озолочу»*, и началось увядание. На изумрудном фоне показались пятна золота — пурпурного золота, чтоб засохнуть, свалиться, пролететь... Накопившиеся времена протекали тут. Приближался полновременный день — день Осенний.

Осень. И опять Осень. И опять дорога Вечность грустных, знакомых слов: *«И плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие,*

как не приобретающие... Я вам сказываю, братья: ибо время близко... Ибо проходит образ мира сего» (Павел 1 к Кор<инфянам>). *«Хочу, чтобы вы были без забот»*[9]. И мы опять беззаботны, чтоб не быть детьми века сего. Так, как тучи, приходим и уходим. Кто нас задержит, если с нами наша молитва. Если так, с нами восторг. Если так, преобразимся — и пойдем, и пойдем по воздушно-голубой дороге. Молитва разорвет времена и пространства. *Вот что предшествует делу... Вот что объявит Имя Неизвестной... Выдержать мировую гармонию, убелиться мягкостью второго неба, не пасть* — ведь вот оно что!... Вот оно, наше дело!.. Вот какое!...

Мои нервы были разбиты. Кончина отца ошеломила, потрясла, убила меня. Стал сир, и опять молился Ей.

Исцелила — и опять *все* такое нежное. И *не «один огненный взгляд», не «один жест», застигающий врасплох.* Да: *«вечное призывание стоит меньшего».* Да. Да.

Вы правы, но... не до конца...

. . . .

Конечно, центр *дела* не в петербургских *мистиках-символистах*, подчас остроумно-талантливо передергивающих тексты и на этих передержках строящих замки. Конечно, не здесь центр *дела.*

А в народно-воплощенном *деле* суть. И оно незаметно началось. Суть не в стремлении воспользоваться *нищетою духа* современных официальных представителей Церкви, — *суть в незамутненном главном русле Церкви* — в событиях грядущих, носящихся над Саровом и Дивеевом, где почиет Он — Серафим, склонявшийся всю жизнь у Иконы Матери Божией Умиления — *«Всех Радостей Радости»*, «как он ее всегда называл, пред которой на коленочках во время молитвы и отошел, словно будто и не умер» (Летопись Серафимо-Дивеевского монаст<ыря>, стр. 207)[10]. Стоит только узнать, какими великанами духа был окружен этот великан — маленький тихий старичок, убогий Серафим, чтобы центр исканий перенести от религиозно-философской болтовни в центр *воплощения — к судьбам Ее Последней Обители* (к Дивееву). Тут встают образы людей — то *как огненный столб* горящих, то как вознесенное веселье, мчащихся в жизнь бесконечную. Тут дела. А не там дела, где искры несомненных прозрений перемешаны *с позой, сомнительностью, двусмысленностью,* так что слова о *белых делах* раздаются подчас из шафранных болот и трясин ужаса.

Серафим, Серафим!..

Только там мир, где тигры и леопарды ластятся, усмиренные у ног, только там счастье, Серафим, где пунцовый огонек твоей лампадки, засвечен пред драгоценной могилой...

Серафим, Серафим!..

Только там истина, где серебряная радость уносит! Только там, Серафим, любовь, где твой голос призывно поднимается из бездны безвременья:

«Гряди ко мне, радость моя!..»

Да. Это так.

Милый, дорогой Александр Александрович, не бросайте ни Церкви, ни Соловьевских *«костылей»*. Подай Боже всем такие *«костыли»*.

Христос с Вами!

Любящий Вас Борис Бугаев

P. S. Прилагаю несколько стихотворений. В обмен жду Ваших. Пожалуйста.

УСМИРЕННЫЙ

Молчит усмиренный, стоящий над кручей отвесной,
Любовно охваченный старым, пьянящим эфиром,
В венке серебристом и в мантии бледнонебесной,
Простерши свои онемевшие руки над миром.

Когда-то у ног его вечные бури хлестали,
Но тихое время смирило вселенские бури.
Промчались столетья... Яснеют безбурные дали.
Крылатое время блаженно утонет в лазури.

Задумчивый мир напоило немеркнущим светом
Великое солнце в печали янтарно-закатной.
Мечтой лебединой, прощальным, вечерним приветом.
Сидит, умирая с улыбкой своей невозвратной.

Вселенная гаснет... Лицо приложил восковое
К холодным ногам, обнимая руками колени,
Во взоре потухшем волненье безумно-немое...
Какая-то грусть мировых, окрыленных молений[11].

ЗОЛОТОЕ РУНО

Э. К. Метнеру

Золотея, эфир просветится
И в восторге... сгорит;
А над морем садится
Ускользающий, солнечный щит.

И на море от солнца
Золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
Среди всплесков тоски.

Встали груди утесов
Средь трепещущей солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
Полон крик альбатросов:

«Дети Солнца! Вновь холод бесстрастья.
Закатилось Оно —
Золотое, старинное счастье —
Золотое Руно».

Нет сиянья червонца...
Меркнут светочи дня...
Но везде вместо Солнца
Ослепительный пурпур огня...[12]

ВЕЛИКАН

Потянуло грозой.
Горизонт затянулся.
И над знойной страной
Его плащ протянулся.

Полетели, клубясь,
Грозно-вздутые скалы.
Замелькал, нам искрясь,
Из-за тучи платок его алый.

Вот плеснул из ведра,
Грозно ухнув на нас для потехи:
«Затопить вас пора.
А ужо всем влетит на орехи!..»

Вот нога его грузным столбом
Где-то близко от нас опустилась,
И потом
Вновь лазурь просветилась.

«До свиданья», кричал,
«Мы увидимся летними днями!..»
В глубину побежал,
Нам махнув своей шляпой с полями[13].

БИТВА ГИГАНТОВ

В лазури проходит толпа исполинов на битву.
Ужасен их облик всклокоченный, каменнобелый.
Сурово поют исполины седые молитву.
По воздуху носятся красно-пурпурные стрелы.

Порою товарищ, всплеснув мировыми руками,
Бессильно шатается, дружеских ищет объятий.
Порою, закрывши лицо боевыми плащами,
Над телом склоняются медленно гибнущих братий.

Дрожала в испуге земля от тяжелых ударов.
Метались в лазури снега их воинственных бóрод.
И нет их... Зажженный огнем мирозлатных пожаров,
Плывет дымовой, многобашенный, тающий город...[14]

СТАРУШКА

Задумчивый вид:
Сквозь ветви сирени
Сухая известка блестит
Запущенных барских строений.

Все те же стоят у ворот
Чугунные тумбы.
И нынешний год
Все так же разбитые клумбы.

В покоях стоит тишина.
На кресле потертом из ситца
Старушка глядит из окна.
Ей молодость снится.

Все помнит себя молодой —
Как цветиком ясным, лилейным
Гуляла весной
Вся в белом, в кисейном.

Он шел позади,
Шепча комплименты.
Пылали в груди
Ее сантименты.

Садилась, стыдясь,
Она вон за те клавикорды.
Ей в очи, смеясь,
Смотрел он, счастливый и гордый.

Зарей потянуло в окно.
Вздохнула старушка:
«Все это уж было давно»...
Кукушка,

Хрипя,
Кричала...
А время, грустя,
Над домом бежало, бежало...

На старом балкончике хмель
Качался, как сонный,
Да бархатный шмель
Жужжал у колонны...[15]

P. P. S. Здесь я пробуду до 14-го сентября, а с 18-го адресуйте, если будете писать, на московский адрес. Думаю проехать в Саров[16]. Зимой постараюсь быть в С.-Петербурге. У меня план — прочесть там две лекции. Если напишу, приеду прочесть.

Комментарий Андрея Белого

21) К письму от 19-го авг<уста> 1903 г.:

В ответ на *«ни да, ни нет»* я меняю *стиль, тактику, ритм*; пишу из совершенно других источников; сперва снимаю свою точку с *«i»* скепсиса Блока:

«Великодушно простите — я не понял Вас!» (Зачем это *«замазывание»* противоречий, — вечное мое несчастие прежних лет; и источник ряда недоразумений, будущих, с Блоком!); далее — шутки над Кантом, имеющие значение: «Не думайте, что я весь с Кантом»: мне надо изъять из него *«гормон»* критицизма, и мне не надо обезьяньего тела его системы: *«Узнаю Тебя, папаша Кант!»* По-моему, — фальшь в тоне; исчерпав тему о Ней и поняв, что в нашем восприятии — разность, будто ищу новых тем *«переклика»*; и далее — брюзжание на *«подмигивающих»: «У нас несносен... тип подмигивающих не о том»*. Опять — щекотливая тема, ибо и мы, кое в чем с А. А., *«подмигнули»* друг другу *«не о том»*; и оказались — в неловком положении; опять — искание темы; и — «педагогическая» фраза для Блока: «В теоретическом отношении я консервативен: рано отказываться от философии». Предполагается преждевременное *«пора»* у Блока (опять — *«changez vos dames!»)*. Далее — брюзжание и перебирание тем: Брюсов, Мережковский, Розанов. Искание темы, шутки... Разговор о стихах; и вдруг — лирика, лирика, лирика: осень, деревья, выписка из *«Премудрости»* Соломона; и — главное: *«гнозис»*, философия — побоку; и попытка сердцем если не сказать, так пропеть с риском внешне сфальшивить; но — сердечный *«сказ»* искренен; и в нем уже из всего сердца вырывается: *«Молитва... Вот что предшествует делу»*.

В 1902—1903 годах я часто молился; в 1902 году даже был опыт молитвы, и нечто от *«умного делания»* по плану, рекомендуемому Св. Серафимом Саровским; и в итоге этого *«деланья»* неожиданное узнание о Христе; *«до»* — не знал Христа; в этом *опыте* — узнал.

Указание на *«молитву»* — деликатный ответ на вопрос Блока: «В каком смысле начинать?»

Ответ, сказанный от сердца: «Молитесь ли? Если нет, — попробуйте: сами узнаете внутри молитвы и *"что"*, и *"как"*, и в *"каком смысле"*».

Отсюда же косноязычное и очень стыдливое (в намерении), но косолапо проявленное желание нечто сказать о *Серафиме*, игравшем во внутр<енней> жизни Бориса Бугаева слишком большую роль, о которой — ни с кем ни слова (кроме Петровского!). Этим и объясняется неожиданный для Бугаева — бурный конец письма; в нем — ничего от ума; всё — только от сердца.

Далее — свадьба Блока; ему не до меня, конечно; и тем менее до *«молитвы»* и до «Серафима». Наступает молчание.

И потом сразу письмо, написанное им, как помнится, уже в октябре (по прошествию 2-х месяцев); оно касается вздутого, ничтожного инцидента между *«Скорпионом»* и *«Грифом»*, которому слишком бурно (по молодости) мы оба отдались.

---

[1] Ответ на п. 22. Помета Блока красным карандашом: «1903. 19 авг.».

[2] Указаны страницы первого русского издания «Критики чистого разума» И. Канта в переводе М. И. Владиславлева (СПб., 1867).

[3] Формулировка из «Новогреческой песни» («Спит залив. Эллада дремлет...») Козьмы Пруткова: «Пока тщетно тщится мать // Сок гранаты выжимать...» (Козьма Прутков. Полн. собр. соч. («Библиотека поэта». Большая серия). М.—Л., 1966. С. 83).

[4] Неточная цитата из недатированного письма, полученного Белым после 1 августа 1903 года (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 362).

[5] Формулировка из «Братьев Карамазовых» (ч. 1, кн. 3, гл. III «Исповедь горячего сердца. В стихах»): «...если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами»; назва-

ние главы V той же книги: «Исповедь горячего сердца. “Вверх пятами”» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 99, 106).

[6] Имеется в виду стихотворение Блока «По городу бегал черный человек...» (апрель 1903 г.). Приведя фрагменты из этого стихотворения в письме к А. С. Петровскому от 18 августа 1903 г., Белый добавляет: «Лучший провидец ужасов людей века сего — Блок — начинает писать нижеследующую нелепицу про города <...> Сами видите; что уж хорошего!...» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 205).

[7] Заключительная строка стихотворения «День был нежно-серый, серый, как тоска...» (июнь 1903 г.). Две заключительных строки этого стихотворения Белый процитировал также в указанном письме к Петровскому, продолжив: «И скатилась... Пронеслась, как метеор, по мутному небу, рассыпая искры. Это был, конечно, Ницше —: “Пятый Ангел вострубил, и я увидел *звезду, падшую с неба на землю,* и *дан был ей ключ от кладезя бездны*” (Откр. IX. 1)» (Там же).

[8] Прем. VII, 25—27, 29; VIII, 1—4, 10, 13; X, 6, 17 (с неточностями).

[9] 1 Кор. VII, 30, 29, 31, 32 (с неточностями).

[10] Имеется в виду издание: Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря Нижегородской губ. Ардатовского уезда. Составил священник Л. М. Чичагов. М., 1896. Белый назвал «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», включавшую жизнеописание Серафима Саровского, своей «настольною книгою» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 25 об.). Подробнее о восприятии Белым Серафима Саровского см.: Malmstad John E. Andrey Bely and Serafim of Sarov // Scottish Slavonic Review. 1990. Vol. 14. P. 21—59; Vol. 15. P. 59—102. 19 июля 1903 г. в Сарове при стечении огромного количества паломников были открыты мощи св. Серафима; среди паломников был А. С. Петровский, рассказавший Белому (в письме от 7 августа 1903 г.) о происходившем (РГБ. Ф. 25. Карт. 21. Ед. хр. 16). Белый написал Петровскому в этой связи (18 августа 1903 г.): «Мне ясно, что Саровские торжества выяснили одно: конец *все-таки* близок относительно — ближе, чем думают» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 204).

[11] Опубликовано: *Золото в лазури.* С. 45.

[12] *Золото в лазури.* С. 7—8 — 1-я часть стихотворения под тем же общим заглавием.

[13] *Золото в лазури.* С. 111.

[14] *Золото в лазури.* С. 117 — под заглавием «Битва»; варианты. Впервые: Альманах «Гриф». М., 1904. С. 2 — под заглавием «Битва исполинов».

[15] *Золото в лазури.* С. 86—88 — под заглавием «Воспоминание», с посвящением Л. Д. Блок; варианты. В письме к С. М. Соловьеву от 8 октября 1903 г. Блок упоминает «великолепную “Старушку”» Белого (VIII, 63).

[16] Это намерение Белый осуществил лишь в конце августа 1904 года.

---

24. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 сентября 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Сергей Алексеевич Соколов просил меня Вас уведомить, что ему было бы приятно получить от Вас стихи для декабрьского альманаха *«Гриф»*. Книгоиздательство *«Гриф»* просит меня Вас уведомить, что за вещи, помещенные в альманахе, оно не платит гонорара. Высылайте или так: Знаменка, д. Фетисова, 20, в Книгоизд<ательство> Гриф Сергею Алексеев<ичу> Соколову, или на мой адрес.

Срок высылки 15-го ноября[2].

Весь Ваш Борис Бугаев

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Штемпель получения: 24. IX. 1903. Открытка с репродукцией рисунка А. Бёклина «Кентавр в кузнице». Помета Блока красным карандашом: «1903 — 24 сент.». В издании «Александр Блок и Андрей Белый. Переписка» (М., 1940) воспроизведено факсимиле (вклейка между с. 80 и 81).

[2] 1 октября 1903 г. Блок писал С. А. Соколову: «Пользуясь Вашим предложением, которое передал мне Борис Николаевич Бугаев, посылаю Вам для выбора 15 стихотворений в декабрьский альманах "Гриф". Если найдете возможным, сохраните и при выборе тот самый порядок, который я обозначил нумерацией» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 528). В ответном письме от 3 ноября Соколов сообщил о принятии стихотворений и предполагаемой выплате гонорара за них, а также о переносе срока выхода альманаха с декабря на январь (Там же. С. 529). В альманахе «Гриф» (М., 1904) был опубликован полностью присланный Блоком цикл (без заглавия) из 15-ти стихотворений, а также дополнительное, 16-е, стихотворение «Темная, бледно-зеленая...»

---

25. БЛОК – БЕЛОМУ

<13 октября 1903. Петербург>[1]

Милый и дорогой Борис Николаевич.

«Осень озолотила» и прошла.

В эту минуту, как я пишу Вам запоздалые ответы, может быть, один из «нас» (не нас с Вами, а нас нескольких, «преданных Испанской Звезде»[2]) идет по австрийской дороге в священнической рясе. Я не имею никаких данных утверждать этого, а если бы имел, то не был бы вправе сообщать об этом даже Вам. Но теперь, теряясь в области предположений, хочу *известить* о них *Вас непременно.* Вы могли слышать об этом странном человеке от Сергея Соловьева[3]. Лично у нас с ним как-то (даже *когда-то*, хотя я и знаю когда) нечто переплелось — большое и синеватое, потерявшееся потом в «лазурно-безмирном своде»[4].

Были кроткие взгляды, сторожевые окрики, кто-то подавал нам невидимые руки, когда мы шли над пропастью. Мне бы хотелось, чтобы и *к Вам* стекались похвалы этому человеку, хотя бы безыменные. Вы постоянно говорите (в статьях), что «многие не поймут, *откуда Вы* говорите». Признаюсь, что и я не понимаю, потому что не знаю, откуда Вы вообще появились, и к Вам, по преимуществу, приложил бы Ваши слова:

«В венце из звезд, над царством скуки,
Над временем вознесены —
Застывший маг, сложивший руки,
Пророк безвременной весны»[5].

Я бы устыдился, сообщая Вам *все* мои мысли о Вас. Многого и сам угадать не могу, и из своих мыслей. Одно время я думал написать о Вас статью, но теперь мне кажется, что рано, потому что все слова о Вас сплетутся с Вашими. В общих чертах, отдаленно-холодным взглядом окидывая, гипнотизируя дрожь Ваших слов, заставляя их хоть на мгновенье застыть, можно еще сказать (с грехом

пополам), что Вы *еще* больше «лирик», чем «мыслитель». Но такое определение страдает ненужностью. Еще одно время я думал о Ваших «повторениях». Но думаю теперь, что нет повторений там, где совершается Ваше «литературное» шествие. С одной стороны, у Вас в руках очень тяжелая палка, которой Вы колотите нещадно многие из прежних «литературных образов», в том числе многие из современных. С другой — прозрачная кротость и песни задумчивой девушки. Едва ли кто-либо из наших современников внутренне *синтетичнее* Вас — столь небывалое сливаете, и о столь невозможном поете. Ваши лекции, о которых Вы мне писали, и прежде еще говорил Сережа[6], были для меня сначала странны и дики. Мерещилось в них «обдуманное самоубийство» — обречение себя на невероятную усталость, на полную, может быть, усмиренность. Теперь, мне кажется, что и в лекциях Вы правы: они нужны. Тот «скептицизм», о котором я писал (мистический), лучше сказать ту *задумчивость* (так точнее) я простирал на что-то внешнее. Между тем, строго говоря, можно быть «задумчивым» и под градом камней, разумеется, *неудачно* брошенных (что и предполагается). «Застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны»...

Можно бояться сознательно *только одного*: своего ужаса. Нечто случилось. Может быть, новый звездный мост перекинулся, может быть, друга подняли замертво чужие люди. Тогда и ночью, как *«среди белого дня»*, в складках завесы образуется неожиданный разрез. Он может испугать — Вы знаете.

Только этот испуг страшен. Он ведет к неизгладимому. Войдите к такому испугавшемуся. Он сидит за ширмой, весь почерневший, у него скрещены ручки и ножки. Они так высохли, и из лица, некогда прекрасного, стало «личико», сморщенное, маленькое. И голова ушла в плечи[7]. Ему останется одно *в жизни*: весенним утром, в оттепель зимы, — бегать по улице с лесенкой, тушить фонарики, плакать на дворе: Ах, какой серый город![8] А из города ему не выехать, в деревню не попасть — даже *на билет III-го класса* не хватит «средств». Он одиночествовал, он предавался лазурному плесканью, голубки ворковали жалобно, а ему, *старому от рожденья лгуну*, не пришло в голову зажечь лампадку. Красная лампадка, услышать тенор священника из струящихся седин бороды, чтобы «в сердце, сжавшемся до боли — внезапно прослезился свет...»[9] *Не успел*. И не всякий *успеет* зажечь свою лампадку. Потому что лампадка у каждого своя — и, увы! мы в *этом* еще глубоко, нескончаемо индивидуальны, да еще, чтобы «продолжить удовольствие», носим маски и масочки. К чему? Я говорю, например, про Семенова. Зачем он *никогда* не решится «плакать при чужих». А, может быть, и решится? «Нос, как свечка» многое обещает. У многих из нас есть и были «носы, как свечки» — «восковые черты»[10]. Надо оживить, растопить. *Если сам не растопишь*, растопят другие. Это и будет страх, будет ужас. На такого человека испуганно взглянут сверху нежные личики, милые лилии Ангелов. Пусть *поскорее* зажигает свою лампадку.

Та́к я женился.

Милый Борис Николаевич. Ваша «Старушка» так изумительна[11], что я даже откладываю писание Вам о Ваших стихах, кот<орые> Вы мне прислали. То же — про «Великана». Покорнейше прошу прислать еще. Благодарю Вас за краткое открытое письмо с кентавром[12], я уже послал стихи Соколову. Благодарю Вас вообще. Посылаю вам два стихотв<орения>, потому что больше не написал еще. В обостренные мгновения, когда приходится «измерять глубину» своей и других жизней, Ваши слова помнятся. «Еще напевами объята, душа светла

и жизнь легка»[13]. «Образ Возлюбленной, Образ Возлюбленной — Вечности»[14]. Не рассердитесь, что пишу Вам всегда меньше, чем Вы мне. Это — оттого, что я не понимаю своих слов, когда их много, лучше, когда мало. А Ваших слов люблю много. Напишите, когда лекции, вообще напишите, если некогда, не торопитесь. Целую Вас и крепко обнимаю, люблю.

Ал. Блок

P. S. Пишу Вам на Сережин адрес, дорогой Борис Николаевич. Может быть, у Вас другая квартира.

13/X 1903. СПб.

Мой месяц в царственном зените,
Ночной свободой захлебнусь
И там — в серебряные нити
В избытке счастья завернусь.

Навстречу страстному безволью
И *только будущей* Заре —
Киваю синему раздолью,
Ныряю в темном серебре...

На площадях столицы душной
Слепые люди говорят:
— Что над землею? — Шар воздушный.
— Что под луной? — Аэростат.

А я — серебряной пустыней
Несусь в пылающем бреду.
И в складки ризы темно-синей
Укрыл Любимую Звезду.[15]

ВЕРБНАЯ СУББОТА

Вечерние люди уходят в дома,
Над городом синяя ночь зажжена,
Боярышни тихо идут в терема.
По улице веет, гуляет весна...

На улице праздник, на улице свет,
И вербы, и свечки встречают зарю.
Дремотная сонь, неуловленный бред —
Заморские гости приснились царю...

Приснились боярам... — Проснитесь, мы здесь...
Боярышня сонно склонилась в окно...
Там кто-то тихонько ей шепчет: — Я здесь...
Но там — только утро... только утро одно...

Весеннее утро... Там утро... Там сон...
Влюбленные гости заморских племен —
И, может быть, поздних, веселых времен...

Влюбленная тучка... Жемчужный узор...
Там было свиданье... Там был разговор...

И к утру лишь бледной рукой отперлась,
Чуть розовым светом заря занялась[16].

Комментарий Андрея Белого

22) Следующее, мое письмо — разбор инцидента *«Грифа»**; и за ним следующее (вероятно уже написанное к ноябрю 1903 г.) от А. А. В нем *«запоздалые ответы»*, намек на преданного «Испанской Звезде» графа Развадовского, ушедшего в католичество, кажется некогда влюбленного в Л. Д. М. и пораженного, как и С. М. Соловьев, с которым он на свадьбе сблизился, *«мистической обстановкой»* свадьбы, меня *«интриговавшей»*. В письме характерное *«признаюсь, что и я не понимаю..., откуда Вы»*. Я знал, что это так; и мне это было грустно; с той поры ищу не идеологических подходов к А. А., а чисто дружески-сердечных. *«Вы еще больше "ЛИРИК", чем мыслитель»*. Опять — констатация; а я и в *мыслях*, и в *«лирике»* искал не *мысли* и *лирики,* а понимания и подхода нас друг другу: от человека к человеку; а вместо этого, от неумелости, то взвивал — *мысль,* то — *лирику;* подавал повод к приятию себя, как *абстракции: «где-то», «кто-то», «откуда-то»*. Так завелся между нами с таким трудом в годах искореняемый *«мистический»* туман; *de facto* — смешение методов подхода к общим темам; и желание прорваться сквозь *«месиво»* тем друг к другу, что без личного знакомства — невозможно; а писать *«лично»* друг другу еще не научились.

Нота, испугавшая меня в ком<м>ентируемом письме за Блока: нота *«страха»*. *«Можно бояться сознательно только ОДНОГО: своего ужаса»*. И т. д.

---

[1] Ответ на п. 23. 8 октября 1903 г., упоминая в письме к С. М. Соловьеву о Белом, Блок замечал: «... на днях <...> собираюсь исправлять свою репутацию перед ним и отвечать на длинное письмо <...>» (VIII, 63).

[2] Обыгрывается заключительная строка из стихотворения К. Д. Бальмонта «Испанский цветок» («Я вижу Толедо...», 1901), входящего в его книгу «Будем как солнце» (М., 1903. С. 50—51): «Я предан испанской звезде!»

[3] Имеется в виду граф Александр Иванович Розвадовский (1885—1946), тогда — студент физико-математического факультета Петербургского университета, товарищ И. Д. Менделеева, брата Любови Дмитриевны; на свадьбе Блока был шафером невесты (о нем см.: Суворова К. Н. Архивист ищет дату (К изучению архива А. А. Блока) // Встречи с прошлым. Вып. 2. М., 1976. С. 122—123; Galis Adam. Osiemnaście dni Aleksandra Błoka w Warszawie. Warszawa, 1976. S. 78—94. С. М. Соловьев вспоминает о своем общении с Розвадовским 16 и 17 августа 1903 г. в Боблове и Шахматове: «Рядом со мною сел шафер невесты, молодой польский граф Розвадовский, которого Блок называл "Петербургским мистиком". Мы сразу с ним сошлись. Оба мы были настроены крайне ортодоксально и враждебно к новому религиозному движению, которое возглавлялось тогда Розановым и Мережковским <...> За свадебным столом <...> я опять

* Имеется в виду п. 30.

был рядом с графом Розвадовским. Никогда его не забуду. Маленький, беленький, худой и неврастеничный, но упорный и сильный в своей слабости. <...> Он говорил мне, что климат Петербурга ему вреден и что он едет в южные страны. Речь зашла о Польше, о католичестве и Пресвятой Деве. Граф готовился к пострижению в монахи» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 18, 20). 1 сентября 1903 г. С. Соловьев писал Блоку о Розвадовском: «Знакомство мое с Александром Ивановичем было с начала до конца одною из ***предопределенных*** встреч и было насквозь мистично, так что “петербургский мистик” вполне оправдал свое наименование» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 339). Апелляция Блока к «испанской звезде» в связи с Розвадовским объясняется словами Белого о том, что последний развил «свой, особый мистический культ, углубляя который, он видел “Звезду”; за “Звездою” он шел в монастырь» (*О Блоке.* С. 52). 30 августа 1903 г. Блок писал матери: «Розвадовский обладает крупной “Неподвижностью” и в сильной степени неприкосновенен. Надо от него ждать доброго. Он в высшей степени ободрительно тяжеловесен. Он ***внесет*** в кровь ***нашей*** священническо-немецкой мистики ***большую*** долю польско-политико-религиозной породистости и долю религиозного либерализма. Для ***синтеза*** (!!!) — важно» (*Письма к родным, I.* С. 92—93). В 1904 г. Розвадовский стал членом ордена иезуитов, с 1912 г. он — католический священник, позже был профессором философии в Новом Сонче, Турине, Риме. Белый свидетельствует о том, что о Розвадовском Блок вспоминал незадолго до смерти, весной 1921 г.: «... А. А. <...> сказал, что в Галиции (кажется) упоминается имя епископа; и что это есть граф Развадовский: “Ты знаешь, ведь это наверно ***тот*** Развадовский”, сказал, улыбаясь мне, Блок; и в улыбке мелькнуло: воспоминание о далеких годах, когда юные шаферы Л. Д. Блок ждали новой зари; один видел “мистерию” в свадьбе; другой непосредственно после обряда пошел за “Звездой”, увенчавшей епископской шапкой его» (*О Блоке.* С. 53).

[4] Образ, восходящий к начальным строкам стихотворения Белого: «Все тот же раскинулся свод // над нами лазурно-безмирный», — впервые опубликованного в составе цикла «Три стихотворения» в альманахе «Северные Цветы» (М., 1903. С. 26—28).

[5] Заключительные строки стихотворения Белого «Маг» («Я в свисте временных потоков...», 1903), посвященного В. Я. Брюсову (*Золото в лазури.* С. 123); впервые опубликовано в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”» (М., 1903. С. 44) под заглавием «В. Я. Брюсову».

[6] Ср. запись Блока (от 15 августа 1903 г.: «Сейчас ворвался в комнату Сергей Соловьев. Об Андрее Белом — газеты московские, его лекции (программа)» (ЗК, 54). Замысел Белого выступить с лекциями в Петербурге тогда осуществлен не был.

[7] Тема «испугавшегося» развита Блоком (с использованием того же образного ряда) в стихотворении «Сижу за ширмой. У меня...» (18 октября 1903 г.), сопровожденном пояснением: «Иммануил Кант»; в автографе и в двух первых публикациях стихотворение озаглавлено: «Испуганный» (ПСС I, 352, 603). Образ «сидящего за ширмой» восходит к «Симфонии (2-й, драматической)» Белого; один из ее персонажей, молодой философ, изучающий «Критику чистого разума», думает, «нельзя ли заставить себя ширмами, спрятавшись и от времени, и от пространства, уйти от них в бездонную даль» (*Симфонии.* С. 100).

[8] Блок обыгрывает образный строй своего стихотворения «По городу бегал черный человек...», посланного Белому с письмом 22.

[9] Блок цитирует свой стихотворный набросок, датируемый 17 июня 1903 г. (Блок А. Собр. соч. Т. 4. Изд-во Писателей в Ленинграде, 1932. С. 257).

[10] «Восковые черты» — образ из стихотворения Блока «У забытых могил пробивалась трава...» (1 апреля 1903 г.). Источник выражения «нос, как свечка» и смысловая игра с ним неясны.

[11] См. примеч. 15 к п. 23.

[12] Имеется в виду п. 24.

[13] Цитата из стихотворения Фета «Ревель» («Театр во мгле затих. Агата...», 1855).

[14] Цитата из стихотворения Белого «Образ вечности» (*Золото в лазури.* С. 38). Впервые опубликовано в «Альманахе книгоиздательства “Гриф”» (М., 1903. С. 50—51).

[15] Датируется 1 октября 1903 г.; впервые опубликовано в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905. С. 91).

[16] Датируется 1 сентября 1903 г.; впервые опубликовано в журнале «Вопросы Жизни» (1905. № 6. С. 156).

26. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 или 25 октября 1903. Москва>[1]

Дорогой, горячолюбимый Александр Александрович,

спасибо за письмо. Пишу Вам не в ответ на него, а просто вне всего: мне хочется Вас уведомить, что я не стану Вам отвечать, пока не окончится во мне период внутренней опустошенности, когда хочется убежать в пустыню... там раздается убийственный голос: *«пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»* (Ницше)[2]... И вот бежишь туда, где поет *«умирающий лебедь Аполлона»*, вон там среди песчаного сумрака трепещут, колыхаясь, две алмазных волны — два белых крыла умирающего лебедя — лебедя Аполлона... Его сражают неугомонные повторения: *«пустыня растет: горе тому, в ком таятся пустыни»* — и прощальная песнь, лебединая!..

Возвращаясь из пустыни, я встречаю одни только маски. Я когда-то все думал, что знаю людей. Но когда обнаружилось, что то, что преображало черты, искажало, двигало чертами мне незнакомых знакомцев, — я сам, колеблемый и отраженный на поверхности хаоса.

Теперь я узнал, что у меня нет зрения. Я — слепой, разве слепые не должны остерегаться? Все подозрительно им. Вот и я чувствую себя таким брошенным среди толпы слепцом. Сколько отсюда недоразумений! Выпукло-стеклянный, незрячий взор, устремленный во тьму, может смотреть в упор на кого-нибудь. И не зная, что я — слеп, они (зрячие) обратятся ко мне с вопросом, почему я смотрю все на них в то время, когда я (они не узнают того) смотрю в вечную тьму. (Их поразит мой стеклянно-задумчивый взор... Они найдут еще нескромным, что я все смотрю на них)...

Поймите положение слепца, который сознал, что *не видит*. Он еще все в задумчивости. Он осваивается со своим положением. Потом он сам обратится к друзьям, когда переживет первые минуты одиночества. А теперь не требуйте, чтобы слепой Вам подробно писал! Эти слова — только уведомление, только просьба о молчании.

Горячолюбящий Вас

Борис Бугаев

P. S. А Вы, Вы напишете мне, быть может?.. Вы не оставите меня?

А. БЛОКУ

Суждено мне молчать.
Для чего говорить?..
Не забуду страдать,
Не устану любить.

Нас зовут
Без конца...
Нам пора...
Багряницу несут.
И четыре колючих венца.

Весь в огне
И любви
Мой предсмертный, блуждающий взор.
О, приблизься ко мне —
Распростертый, в крови
Я лежу у подножия гор.

Зашатался над пропастью я
И в долину упал, где поет ручеек.
Тяжкий камень, свистя,
Неожиданно сбил меня с ног —
Тяжкий камень, свистя,
Размозжил мне висок. —

— Среди ландышей я,
Зазиявший, кровавый цветок.

Суждено мне молчать...
Для чего говорить?
Не забуду страдать,
Не устану любить[3].

А. Белый

---

[1] Ответ на п. 25. Пометы Блока — графитным карандашом: «Получил 26 окт. 1903»; красным карандашом: «1903 осень».

[2] «Так говорил Заратустра», ч. 4, фрагмент «Среди дочерей пустыни», 2. Ср. в переводе Ю. М. Антоновского: «Пустыня ширится сама собою: горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит» (Ницше Ф. Соч. В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 221).

[3] Опубликовано: *Золото в лазури*. С. 245 — в составе цикла «Блоку», с другим заключительным четверостишием.

---

27. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

1903 года. <Начало ноября. Москва>

Милый Александр Александрович,

вот я опять хочу Вам сказать так много — и все обрывается, и опять на ум приходят все такие ненужные, все такие посторонние слова. Я потерял способ выражения своих мыслей, что знал — всё забыл и живу только неуловимо-пленяющим, вечно-милым и всегда грустным. Но то — несказанно, а в сказáнном и скáзанном возвращаюсь к поверхности, застегиваюсь на все пуговицы... А еще умею быть самим собой, но люди говорят тогда, что я безумен...

Но вот ловлю себя на том, что я все о себе...

Дорогой Александр Александрович, напишите мне о себе. Кто Вы? Что Вы? Как Вы поживаете? Я же буквально ничего не могу писать *еще пока,* а может быть *и навсегда...* Область слова для меня есть предмет ненужный. Говоришь ежедневно столько слов, что *слова давно примелькались...* Начинаю относиться с судорогой презрения ко всему словесному и прежде всего к своим словам...

Тут —

И ночи и дни примелькались,
Как дальние тени волхву...
В безжизненном мире живу,
Живыми лишь думы остались.
И нет никого на земле
С ласкающим, горестным взглядом,
Кто б в этой томительной мгле
Томился и мучился рядом...
Часы неизменно бегут,
Бегут и минуты считают...
О, стук перекрестных минут!..
Так медленно гроб забивают...

(Брюсов. «*Me eum esse*»)[1]

Вот настроение, которое охватывает меня, когда я обращаюсь к проявлениям, вот кожа моего пьяного веселья — похмелье после такого же былого опьянения. Я счастлив в то время, когда говорю о примелькавшихся днях и ночах. И потому я не могу в словах отразить степень моего счастия — слишком оно глубоко пустило корни. Я устал выражать его в прямой форме «+» на «+» дает «+». У меня неодолимая склонность говорить о нем в формуле иной: «—» на «—» дает «+». И поскольку «±» неописуем словами, постольку всплывают на поверхность условия его «—» на «—»... Стало быть —

«И ночи, и дни примелькались,
Как дальние тени...» и т. д.

Время чертит ломаную линию. Здесь и там прямолинейность обрывается. Время обращается на себя. Сейчас была осень. Сейчас зима, камни замерзли, свинец распластался над городом, пылевые кручи разносили по городу инфлуэнцу, тиф, воспаления, синий карлик (только в эти дни и дерзающий показываться на улицах нашей столицы) *опять* разгуливал в калошах и с зонтиком, под руку с супругой. А вот сегодня все услышали весеннее приближение, на могилах раздавался радостный шелест берез, — *«не верю, не верю обетам коварным»...*[2]

Или время ищет единой формулы для всех времен года... *Неужели и мне не найти лик своим ликам?* Когда я молчу — я спокоен и счастлив, когда я начинаю *проявляться*, из меня поет целый хор несогласованных (несогласных голосов): музыкальная фраза, пропетая в одном тоне, продолжается непосредственно из оперы другой...

Вот почему я боюсь проявлений... Ах, нужны ли они?.. Разве нельзя все забыть ради своего счастия.

«В бездне бесцельности
Цельность забвения»...

Бальмонт[3]

«Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел...»[4]

Вот именно нужно что-то постороннее, чтобы в проявлениях душа услышала запах клевера и холодный ветерок нашел мое бедное, затерянное сердце — детское. Но прежде всего:

«И ночи, и дни примелькались...»

Потом:

В бездне бесцельности
Цельность забвения.

И, наконец:

«Но ветер, зовущий с севера,
Мое детское сердце нашел».

И больше ничего... Да, молчат всякие слова! Здесь тайна!..

«...Ты следила вдали
Облаков розоватых волокна...»[5]

Или: *«Вскоре не увидите меня... И потом вновь увидите меня... В тот день Вы не спросите Меня ни о чем...»* (Иоанн)[6].

Вот и все... И нет больше слов... Будут дни (если будут) — не я, а *«что-то» возвращенное* обратится к Вам с огненным вопросом. И не Вы, не Вы, а *«д р у г о е»* ответит мне...

А пока я слежу «облаков розоватых волокна», не веря, не веря *«обетам коварным»*.

Будьте счастливы. Я ужасно несчастен — конечно, большое мне послано счастье.

Христос с Вами, мой дорогой Александр Александрович.

Остаюсь Ваш

Борис Бугаев

P. S. Спасибо за стихи. Наслаждался и теми, которые Вы мне прислали. Здесь в Москве есть люди, которые ставят Вас во главе русской поэзии. Как-то раз Бальмонт несказанно радовался, что появились Вы, когда я читал Ваши стихотворения. Особенно ему понравилось то, где *«о клевере»*[7]... Мое глубочайшее убеждение, что Вы и Брюсов нужнейшие поэты для России. В Брюсове сила законченности, в Вас еще бóльшая сила непосредственности и со временем Вы будете (очень скоро) первым русским поэтом.

Читали ли вы *«Urbi et Orbi»*: после этого сборника о Брюсове не может быть споров: к именам Пушкина, Лермонтова, Майкова, Полонского, Тютчева, Фета, Ал. Толстого, Некрасова, Вл. Соловьева с полным правом присоединяю и *Брюсова*[8].

P. P. S. Что Вы думаете о Верхарене?
Посылаю Вам стихи.

КОШМАР СРЕДИ БЕЛА ДНЯ

Солнце жжет. Вдоль троттуара
Под эскортом пепиньерок —
Вот идет за парой пара
Бледных, хмурых пансионерок.

Цепью вытянулись длинной,
Идут медленно и чинно
В скромных черненьких ботинках,
В снежнобелых пелеринках.

Лица скромные, простые,
Заплетенные косицы, —
Точно все не молодые, —
Точно старые девицы.

Глазки вылупили глупо,
Спины вытянули прямо...
Взглядом мертвым, как у трупа,
Смотрит классная их дама.

«Mademoiselle Nadine, tenez-vous
Droit!»...* И хмурит брови строже...
Внемлет скучному напеву
Обернувшийся прохожий.

Покачает головою,
Удивленно улыбаясь...
Пансион ползет, змеею
Среди улиц извиваясь...

1903 года июль[9]

P. P. P. S. Вероятно, у Вас будет на днях Соколов. Вы, вероятно, знаете о постановлении *«Скорпионов»* против *«Книг<оиздательства> Гриф»*. Сначала я после разговора с Мережковскими присоединился к тому, чтобы участники *«Скорпиона»* не раздроблялись, имея в виду более сериозную постановку дела в *«Скорпионе»*, когда же *«Скорпионы»* сделали из свободного почина нечто обязательное, я, подумав, вопреки *«Скорпиону»*, решил *все-таки* участвовать *в Грифе*, ибо неуместн<ым> решением участн<иков> Скорпиона нарушается свобода отношений[10].

---

[1] Весь текст (с неточностями) стихотворения Брюсова из его книги «Me eum esse» (М., 1897). См.: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 121. Цитируется Белым также в «Рассказе № 2» (май 1902; см.: *Симфонии*. С. 487—489).

[2] Неточная цитата из романса «Сомнение» («Уймитесь, волнения страсти...», 1838) М. И. Глинки на текст «Английского романса» Н. В. Кукольника. См.: Песни русских поэтов. В 2 т. («Библиотека поэта». Большая серия). Л., 1988. Т. 1. С. 522, 638.

---

* Мадемуазель Надин, держитесь прямо! (*фр.*).

[3] Заключительные строки стихотворения «В чаще леса» («Дальнее, синее...»), входящего в книгу К. Д. Бальмонта «Тишина. Лирические поэмы» (М., 1898. С. 72).

[4] Цитата из стихотворения Блока «Погружался я в море клевера...» (18 февраля 1903 г.). Белый ознакомился с ним, видимо, по автографу, посланному Блоком при письме к С. М. Соловьеву от 8 октября 1903 г. (ПСС I, 583).

[5] Цитата из стихотворения Блока «Слышу колокол. В поле весна...» (апрель 1902 г.); автограф его был послан Блоком при том же письме к С. М. Соловьеву (опубликован факсимиле: *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 245).

[6] Ин. XVI, 16, 23 (неточная цитата).

[7] Подразумевается стихотворение «Погружался я в море клевера...»

[8] Ср. отзыв Белого о Брюсове (в связи с выходом в свет «Urbi et Orbi») в письме к Э. К. Метнеру (ноябрь 1903 г.): *«Брюсов по этому сборнику оказывается единственным современным поэтом, держащим в руках судьбы будущей русской поэзии. <...> Такой концентрации, мощи, порой Микель-Анжеловских взмахов, вдумчивости русская поэзия не видала со времен Фета, Тютчева, Майкова <...> мое глубочайшее убеждение, что отныне к именам Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Дельвига, Тютчева, Майкова, Полонского, Ал. Толстого д о л ж н о п р и с о е д и н я т ь и м я Брюсова!..»* (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 27).

[9] Опубликовано: *Золото в лазури.* С. 101—102 — с вариантом в 3-й строфе.

[10] О возникшем тогда конфликте между двумя московскими символистскими издательствами, «Скорпионом» и «Грифом», Белый пишет в «Воспоминаниях о Блоке»: «Совсем неожиданно “Скорпион” предъявил ультиматум: сотрудникам “Скорпиона”; должны они были уйти из издательства “Гриф”; мы с Бальмонтом отвергли такой ультиматум; поэтому Брюсов косился на нас; говорили, что Гиппиус интриговала; А. А. меня спрашивал письмами, как быть ему; но узнав, что я с «Грифом», он тотчас же присоединился к ослушникам <...>» (*О Блоке.* С. 55). Конкретные обстоятельства конфликта отражены в переписке Белого и Брюсова; см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 371—374.

---

28. БЛОК – БЕЛОМУ

<8 или 9 ноября 1903. Петербург>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Благодарю Вас за «Симфонию»[2]. Прочитал и, больной от радости и печали, намарал *т<ак> назыв<аемую>* рецензию, которую, по справедливости, не хочет печатать «Новый Путь». Увы! Она еще более «непромокаема», чем первая[3]. Посылаю[4].

Дорогой Борис Николаевич! Что значит история с «Грифом»? Живу далеко от Москвы, ничего не знаю. Вдруг приезжают Мережковские, говорят, что Вы и все остальные (кроме Бальмонта) ушли из «Грифа»[5]. Между тем, Вы передали мне предложение Соколова. Я послал Соколову стихи, он ответил, обещая «напечатать и выслать гонорар», но предупреждая, что Скорпион «вероятно разошлет всем своим сотрудникам “ультиматумы” относит<ельно> того, что «все участвующие в Грифе не будут приняты в Скорпион». Далее говорится, что все это — «дело моей совести», что ясно, кто прав, потому что, чем больше способов распространения одного и того же, тем лучше, и т. д. Что есть несогласные со Скорпионом, напр<имер> Бальмонт. Наконец, «есть и другие». Таково письмо

Соколова[6]. Это — ужасик. Сразу я подумал, что тут замешаны какие-то деньги. Новый Путь отрицает это и страшно ругает Грифов. Уйти из Грифа я готов, хотя это сделать трудновато, боюсь, что стихи в наборе. «Сев<ерным> Цветам» я больше сочувствую, чем Грифу. Наконец, м<ожет> б<ыть>, правда, что Гриф мешает, я не могу судить, ибо одинок, ибо оторван от Москвы, сижу и пишу стихи, распеваю вне партий, страстно хочу так и продолжать. Каково же Ваше мнение? Напишите, прошу Вас. Я не верю одной Зин<аиде> Никол<аевне>, потому что имею несчастие знать ее прошлые поступки, напр<имер> с Ольгой Михайловной[7]. Все это дико и странно тем более, что вокруг ревмя ревут позитивисты. Право, они часто готовы вцепиться мне в волосы, — да и всем нам. Я подозреваю, что Грифы «подмигивают не о том». Так ли? Жду письма от Вас и Сережи об этом. Прилагаю записку Ефима Александров<ича> Егорова, который просит карточек с Огыгами[8]. Ограничусь замечанием, что он хохочет животом, остальное предоставляю Вам.

Любящий Вас нежно Ал. Блок

Андрей Белый. Северная Симфония (1-я, героическая). Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1904.

Патология. Бред. Сумасшествие. Чепуха. Пасквиль. Декадентство. Все это уже есть у французов. Так завтра напишут в газетах. Напишут в журналах.

Зевнул. Болтаю ногами, сидя на балконе в гостях. Захотел вернуться домой. Захотел есть. Захотел спать.

Распрощался. Иду по дорожке, машу палочкой. Встречаю знакомых. «Читали? — Читал — Поняли? — Нет, не понял»... Иду франтом. Насвистываю, как все.

«...И вот *наконец*, я услышал словно лошадиный ход... Кто-то мчался на меня с далекого холма, попирая копытами бедную землю... держал над головой растопыренные руки...Улыбался молниеносной улыбкой... *Чуть-чуть страшной*»[9].

И тогда мне стало бесконечно тяжело, бесконечно больно, потому что я узнал старого друга, и понурил голову, чтобы никогда больше не встречать знакомых.

Все уставились на меня. Мутные зрачки. Еще никто не раскаялся. Они смотрят на меня жадно и безобразно. А я читаю северную сагу, печальный сердцем, бунтую и плачу. И плачу. «Испугался... Убежал с королевой из этих стран»[10].

Кто-то нежный взглянул на меня. Кому-то ласковому захотелось меня утешить. «Кто-то милый мне шепчет: Я знаю. Поцелуем смыкает глаза»[11]. Поднимаю взоры, мучительно-медленно поднимаю взоры. Ах, как мало, как мало я знаю! Как мало успел сказать!

«Глубоким лирным голосом кентавр кричал мне, что с холма увидел розовое небо»...[12] Господи! Неужели я ничего не успею? Господи! Сжалься над ребенком! Я — черный человечек, я — ласковое созданье Твое! Рассветает. Гашу огонь.

«И пока бледнела ночь, бледнели и гасли светильники, а короли расплывались туманом. Это были почившие короли, угасавшие с ночью. Дольше всех не расплывался один, чья мантия была всех кровавей, чья борода всех длинней...»[13]

Было утро. Было лучшее время. Была пора любви. Тогда неуловимые сны приснились. Тогда зашумели волны. Кто-то розовый взбежал на скалу, весело пожал мне руки, шептал. И кинулся в залив, разбился белеющей пеной, рассме-

ялся с зеленого дна. И я остался один на скале — шаловливый — веселый — свободный.

«И когда рассеялись последние остатки дыма и темноты, на горизонте встал знакомый и чуть-чуть грустный облик в мантии из снежного тумана и в венке из белых роз... Поднимал голову. Улыбался знакомой улыбкой... *Чуть-чуть грустной*»[14].

Ах, как мало мы знали! Как мало успел я сказать! Как много свершилось. Милый. Я люблю тебя.

Александр Блок

Стихов бы мне Ваших!

* * *

Крыльцо Ее, словно паперть.
Вхожу, — и стихает гроза.
На столе — узорная скатерть.
Притаились в углу образа.

На лице Ее — тихий румянец.
В очах Ее — утренний свет.
В душе — кружащийся танец,
Каких у нас в мире нет.

Я давно не встречаю румянца,
И заря моя мутно тиха.
А в каждом движении танца
Я вижу пламя греха.

Но таких, как Она, я не знаю
И не стану больше искать.
Я с Ней мою жизнь встречаю,
С Ней буду мою жизнь провожать...[15]

* * *

Сижу за ширмой. У меня
Такие крохотные ножки...
Такие ручки у меня!
Такое темное окошко. —

Тепло и тёмно. Я гашу
Свечу, которую приносят,
Но благодарность приношу...
Меня давно развлечься просят, —

Но эти ручки... Я влюблен
В мою морщинистую кожу.
Могу увидеть сладкий сон, —
Но я себя не потревожу. —

Не потревожу забытья, —
Вот этих бликов на окошке...
И ручки скрещиваю я,
И также скрещиваю ножки.

Сижу за ширмой. Здесь тепло.
Здесь кто-то есть. Не надо свечки.
Глаза бездонны, как стекло.
На ручке сморщенной колечки[16].

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ АНДРЕЮ БЕЛОМУ

I

Я бежал и спотыкался.
Обливался кровью, бился
Об утесы, поднимался,
На бегу опять молился.

И внезапно повеяло холодом.
Впереди покраснела заря.
Кто-то звонким, взывающим молотом
Воздвигал столпы алтаря.
На черте горизонта пугающей,
Где скончалась внезапно земля,
Мне почудился ты, умирающий —
Истекающий кровью, как я.

Неужели и Ты отступаешь?
Неужели я стал одинок?
Или Ты, испытуя, мигаешь,
Будто в поле кровавый платок?

И я увидел его, несчастный...
Увидел красный платок полей...
Заря ли кинула клич свой красный?
Во мне ли грянула мысль о Ней?
О, я увидел! Ты — тот — несмелый,
Ему подобный, Ты — дух толпы...
Я думал в страхе — то брат мой Белый,
Но там воздвиглись Ее столпы —

Столпы, убегающие
Ее Алтаря,
Во мне воздвигающие
Все, что убила заря... —

То — заря бесконечного холода,
Что послала мне сладкий намек...
Что рассыпала красное золото,

Разостлала кровавый платок...
Ты, что думала, веяла, реяла,
Отражала в себе мою кровь,
Что меня с колыбели лелеяла,
Без конца нашептала любовь...

Из огня душа моя скована
И вселенской мечте предана,
Непомерной мечтой взволнована —
Угадать Ее Имена.

Ах, какие в поле яркие цветочки!
Черный человек их рвет и поет;
Это я — иду, спотыкаясь о кочки:
В сердце человеческом дождик идет[17].

II

Образ Возлюбленной —
Образ Возлюбленной —
Вечности[18]

Так. Я знал. И Ты задул
Яркий факел, изнывая
От тоски.
В бездне — мрак, а в небе — гул.
Милый друг! Я снова знаю
В синем небе огоньки.

Неразлучно — будем оба
Клятву Вечности нести.
Поздно встретимся у гроба
На серебряном пути.

Там — сжимающему руки
Руку нежную сожму.
Молчаливому от скуки
Шею крепко обниму.

Так. Я слышал Весть о Новом!
Маска траурной души!
В оный день — знакомым словом
Снова сердце оглуши.

И тогда — в гремящей сфере
Небывалого огня —
Дева-Мать откроет двери
Ослепительного Дня[19].

Александр Блок

Окт<ябрь> — Ноябрь 1903. Петербург.

---

[1] Датируется по упоминанию о посещении Мережковских (8 ноября) и дате написания приложенного стихотворения «Крыльцо Ее, словно паперть...».

[2] Книга Андрея Белого «Северная симфония (1-я, героическая)» (М., «Скорпион», 1904); вышла в свет в середине октября 1903 г. Подаренный Белым экземпляр в библиотеке Блока не сохранился; о судьбе его можно судить по записи Блока: «Пропало у М. И. Т.» (М. И. Терещенко). См.: ***Библиотека Блока**, 3*. С. 210.

[3] Имеется в виду рецензия Блока на «Симфонию (2-ю, драматическую)» Белого, опубликованная в «Новом Пути» (1903. № 4). См.: V, 525.

[4] Рецензия Блока на «Северную симфонию» впервые была опубликована в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 60.

[5] Блок был у Мережковских и в редакции «Нового Пути» 8 ноября (ЗК, 55). 10 ноября он писал С. М. Соловьеву: «Был я у Мережковских. Он был мил и мягок. Она необычно суха. Я только и делаю, что падаю в ее глазах. Прежде всего женился, а теперь еще участвую в Грифе» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 348).

[6] С. Соколов писал Блоку 3 ноября 1903 г.: «Идя навстречу одной возможности, я считаю долгом сообщить Вам следующее: “Скорпион”, недовольный развивающейся деятельностью “Грифа”, намерен потребовать от всех своих сотрудников, чтобы они воздержались от участия в “Грифе” на том основании, что “Гриф”, будучи в общем аналогичен “Скорпиону” по направлению, является, по его мнению, “лишним” <...> более, чем вероятно, что в скором времени Вы получите ультиматум в том смысле, что все, печатающие свои вещи в “Грифе”, не будут приняты в “Северные Цветы”. Как отнестись к этому, — дело Вашей совести, но я хочу думать, что Вы отнесетесь так, как только и может отнестись человек, которому дорога его внутренняя свобода. <...> Считаю нужным заметить, что точку зрения “Скорпиона” разделяют далеко не все его сотрудники. С ней, например, вполне не согласен К. Д. Бальмонт, стоящий очень близко к “Грифу” и являющийся его внутренним руководителем. Есть и другие» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 529).

[7] О неровных взаимоотношениях З. Н. Гиппиус и О. М. Соловьевой см. в примечаниях Н. В. Котрелева в кн.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 174; см. также письмо О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 11 апреля 1902 г. (Там же. С. 181—182).

[8] Имеются в виду шуточные визитные карточки, изготовленные типографским способом, которые Белый рассылал своим знакомым. Среди писем Белого к Блоку сохранились две такие карточки:

Виндалай Левулович
Белорог
Единорог
Беллиндриковы поля, 24-й излом, № 31

Огыга Пеллевич
Кохтик-Ррогиков
Единоглаз
Вечные боязни. Серничихинский тупик, д. Омова

Три таких же визитных карточки Белый послал 18 октября 1903 г. Брюсову (РГБ. Ф. 386. Карт. 79. Ед. хр. 5). С. Соловьев сообщал Блоку в недатированном письме (после 20 октября 1903 г.): «Недавно Бугаев наделал переполох своими Огыгами, Единорогами и т. д. К нему чуть ни призвали психиатра, и много было тяжелого и для него самого, и для нас» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 347). В письме к Э. К. Метнеру от 22 октября 1903 г. Белый писал в той же связи: «Должен просить прощения у Вас за неостроумную шутку, в которой не последнее место занимал и Ал<ексей> Сергеевич <Петровский>, так как собственно он заказал карточки. Карточки эти были разосланы моим добрым знакомым (между прочим, я послал в “Н<овый> П<уть>” и “М<ир> И<скусства>” и т. д.), вследствие чего один почтенный господин объявил меня сошедшим с ума, так что мне стоило больших хлопот доказать, что я 1) здрав, 2) что не желал обидеть почтенного и уважаемого мною лица... Принимайте карточки, как озорство <...>, не имеющее ничего серьезного по существу, как “странные” сочетания букв» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 26).

[9] Андрей Белый. Северная симфония. С. 12—13; *Симфонии*. С. 37—38 (неточные цитаты).

[10] Андрей Белый. Северная симфония. С. 19; *Симфонии*. С. 39.

[11] Цитата из стихотворения Белого «Возмездие» (*Золото в лазури*. С. 230).

[12] Андрей Белый. Северная симфония. С. 13; *Симфонии*. С. 38.

[13] Андрей Белый. Северная симфония. С. 97—98; *Симфонии*. С. 78.

[14] Андрей Белый. Северная симфония. С. 102; *Симфонии*. С. 79.

[15] Датируется 7 ноября 1903 г., впервые опубликовано (в переработанной редакции) в «Вопросах Жизни» (1905. № 6. С. 155).

[16] Датируется 18 октября 1903 г., впервые опубликовано (под заглавием «Испуганный») в журнале «В мире Искусств» (1909. № 1. С. 13). Об этом стихотворении Белый написал Э. К. Метнеру в середине декабря 1903 г.: «А. Блок, которому я послал карточку Огыги, прислал мне в ответ стихотворение, полное ужаса. Он за Огыгу принимает... Иммануила Канта — он, а не я, Эмилий Карлович!..» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 208).

[17] Датируется 18 октября 1903 г., впервые опубликовано (в сокращенной редакции) в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905. С. 110—111) как второе в цикле из трех стихотворений под общим заглавием «Андрею Белому».

[18] Эпиграф из стихотворения Белого «Образ вечности» (*Золото в лазури*. С. 38).

[19] Датируется 1 ноября 1903 г., впервые опубликовано (без эпиграфа, с вариантами в 1-й и 5-й строфах) в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (С. 112—113) как третье в цикле из трех стихотворений под общим заглавием «Андрею Белому».

---

29. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<До 10 ноября 1903. Москва>[1]

Многоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за присланные стихотворения и за посвящение. На днях буду писать Вам обстоятельно и долго. Если я молчу сейчас, то только от сложности *всего* при неумении передать эту сложность. Духом с Вами так часто. Ужасно хочется Вас видеть. Буду в С.-Петербурге вероятно в декабре[2]. Эту записку вероятно Вы получите от С. А. Соколова, который очень хочет с Вами познакомиться[3]. Целую Вас. До свиданья.

Любящий Вас брат

Б. Бугаев

---

[1] Ответ на п. 28. Датируется на основании сведений о посещении Блока С. А. Соколовым. Помета Блока красным карандашом: «1903. окт.».

[2] Это намерение не было осуществлено.

[3] 10 ноября 1903 г. Блок записал: «Был Соколов» (ЗК, 55). В тот же день Блок писал С. Соловьеву: «Написал было тебе письмо в отчаяньи — по поводу Грифов и Скорпионов. Часть его

уже лежала в столе, когда пришел сам Соколов. Передал письмо от Бугаева и известие, что он, смущенный было Мережковскими, теперь остается в Грифе. Впрочем, письмо от Бугаева кратко. Он говорит о сложности всего этого и что напишет подробнее. Во всяком случае, я обещал Соколову стихи и участие в Грифе, несмотря на Скорпионов. Завтра поеду с ним к нескольким студентам-декадентам. Соколов был ужасно любезен, показался мне простым, но очень по-редакторски ловким» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 348). 23 ноября 1903 г. Соколов писал Блоку из Москвы: «Наша встреча, хотя и недолгая, оставила во мне глубокий след, и я чувствую, что она незабываема. <...> Надеюсь, Вы не переменили Ваших планов о приезде в Москву. Этого очень жаждет также Борис Николаевич, который очень расспрашивал меня — какой Вы. Но рассказать это так трудно, и едва ли мне удалось хоть сколько-нибудь осветить Ваш облик ему, как и его — Вам» (Там же. С. 530).

---

30. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Первая половина ноября 1903. Москва>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович.

Спешу ответить относительно *«Скорпиона»* и *«Грифа»*. Вот как было дело.

В прошлом году три лица, понимающие и любящие новое искусство, захотели учредить книгоиздательство, чтобы дать молодым силам возможность высказываться. Так возник *«Гриф»*, и все радовались его появлению, полагая, что вот будет *новый* орган для *новой* фракции *все того же нового искусства.* Не к чему прибавлять, что первый альманах вышел неудачен[2], что *«Грифы»* — люди (это между нами), не имеющие *столь определенного внутреннего пути,* как, например, Брюсов, Балтрушайтис и т. д.

Но случилось следующее: молодые *«Грифы»* перессорились и остался единственный представитель *«Книгоизд<ательства>»* Сергей Алекс<еевич> Соколов, очень симпатичный, добрый, честный... (чуть-чуть внешний)... человек, против которого ничего не имею сказать кроме всего лучшего. Когда оказалось, что 1) собственно нет молодых сил, отличных от *«Скорпиона»*, а что предстоит тем же *«Скорпионам»* делиться на *«Гриф»* и *«Скорпион»* и 2) что сам *«Гриф»* (Соколов) может иногда смешать новое, *действительное* искусство со *«style modern<e>»* порядком-таки опошленным — у многих явилась мысль: для чего же существует *«Гриф»*. Это смутное сознание просто не тревожило меня до тех пор, пока приехавшие в Москву Мережковские не развили целую теорию относительно того, что *«Гриф»* — пародия Скорпиона, что нельзя смешиваться оригиналу с пародиями и т. д. (Смотр<и>: *«Лев Толстой и Достоевск<ий>»*). Этот гипноз на меня подействовал, и я решил, скрипя сердцем, разорвать с *«Книгоиздательством»*, любя и привыкнув к С. А. Соколову. Тут же я написал письмо, а потом узнал о состоявшемся решении *«Скорпионов»* не принимать участников *«Грифа»* в *«Сев<ерные> Цветы»*. Размыслив, я пришел к убеждению, что это — несправедливое решение, особенно когда узнал, что *человек* (а не книгоизд<атель>) мной обижен.

Теперь я принял намерение непременно участвовать в *«Грифе»*, *ибо* 1) *прежде всего люди, а потом измышления и партии,* 2) не желаю стеснять своей свободы постановлениями, не касающимися существа моих убеждений, 3) весь *«Гриф»*

еще в будущем, кроме неудачного *«Альманаха»* и прекрасной книги «Только — любовь» Бальмонта[3]. Следовательно: *судить о том, вреден или полезен «Гриф», я не имею основания* и потому вопреки всему останусь в *«Грифе»*, что бы участники *«Сев<ерных> Цветов»* ни говорили. Ко всему присоединяется еще и то, что *«Гриф»* материально слабее, беспомощнее *«Скорпиона»* и потому убивать его жестоко, да и не мое дело, ибо я ни *«Гриф»*, ни *«Скорпион»*, а человек[4].

Стало быть Вы немного правы: Грифы не то что *«не о том подмигивают»*, а еще только учатся подмигивать без разбора чему.

А всему виною Мережковские.

Несмотря на все, я ужасно люблю их. Дм<итрий> Сергеевич мне дорог бесконечно за то, что у него есть *«Христово»* и *«Оно»* зла не мыслит и все покрывает. Когда они были в Москве, мы все вместе ездили к еп<ископу> Антонию (который мне очень близок), и Антоний понял Мережковских в глубочайшей их сущности. Отнесся легко и просто, ясно, но с чуть заметным оттенком добродушного юмора.

Дорогой Алекс<андр> Александрович! Очень рад был получить Ваше письмо и рецензию на *«Симфонию»*, от которой я отошел на такое расстояние, что почти не узнаю ничего...[5] Просто безразлична мне она — и не знаю, хорошо она написана, или дурно. Что знал, все забыл. Что же касается карточек, то проезжие гости г<оспо>да единороги свидетельствуют свое почтение Ефиму Александровичу Егорову. Вообще им приходится удивляться на отсутствие сочувствия со стороны людей. Принадлежа к интеллигентному сословию инородного для нас племени, они захвачены всё теми интересами (как-то: кантианством, ницшеанством, — есть между ними и поклонники франц<узского> мыслителя Кузена[6]), как и мы; вот почему они спешат засвидетельствовать почтение всем тем, кто вопреки роговатым свойствам этого племени не чуждается общения с ними.

Прощайте, милый Александр Александрович, не взыщите на меня за молчание мое! Стихов при всем желании не могу прислать кроме одного стихотвор<ения>, уже посланного Вам, которое я запомнил наизусть. Дело в том, что стихи в рукописи, рукопись в типографии[7], а черновиков у меня нет. Стихов не пишу. Зачем? Прощайте. Целую Вас.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 28. Помета Блока красным карандашом: «1903 — осень в СПб.».

[2] Имеется в виду «Альманах книгоиздательства “Гриф”» (М., 1903). О возникновении «Грифа» см. в «Воспоминаниях» Н. И. Петровской (Жизнь и смерть Нины Петровской / Публикация Э. Гарэтто // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. Paris, 1989. С. 21—33).

[3] Книга стихов К. Д. Бальмонта «Только любовь. Семицветник» (М., «Гриф», 1903) вышла в свет в начале ноября 1903 года.

[4] Описываемые коллизии вылились в конфликтное публичное разбирательство между Белым и Брюсовым, отразившееся, в частности, в дневнике М. И. Пантюхова (ноябрь 1903 г.): «В “Скорпионе” были Брюсов, Белый, Балтрушайтис, Поляков и я. <...> Белый подошел к Брюсову и сказал: “В<алерий> Я<ковлевич>, верните мне, пожалуйста, мой рассказ, который я отдал в “Скорпион”. Я его обещал Соколову”. Брюсов взволновался <...> “Но вы мне тоже дали сло-

во! Вы нарушаете ваше слово!" и т. д. Брюсов говорил ему довольно резко. Он говорил, что Белый портит дело, что "Гриф" бесполезен и проч. Но Белый был непоколебим: "Я дал слово Соколову". Брюсов был очень возмущен <...> "Если вы не участвуете в "С<еверных> Ц<ветах>", то не можете участвовать и в "Весах", — сказал он. — "Что же делать!"» — ответил Белый и ушел» (Михаил Иванович Пантюхов. Автор повести «Тишина и старик». 1880—1910. Киев, 1911. С. 17). Однако вскоре после этого инцидента Белый и Брюсов, по словам последнего, «умилительно примирились» (Брюсов В. Дневники. <М.>, 1927. С. 134). Ср.: *Начало века.* С. 312.

5 Авторская работа над «Северной симфонией» была завершена в конце 1900 года.

6 Видимо, подразумевается деятельность Виктора Кузена как популяризатора классической немецкой философии.

7 Подразумевается рукопись подготовленной к печати книги «Золото в лазури». Обстоятельства работы над ней отражены в переписке Белого с Брюсовым (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 360—368).

---

31. БЛОК – БЕЛОМУ

<20 ноября 1903. Петербург>[1]

Милый Борис Николаевич.

Спасибо Вам за все сведения о Ваших отношениях к Скорпиону и Грифу. Мне было очень важно знать это, потому что верю в Вас глубоко. То, что Вы пишете *не* об этом, мне в высшей степени понятно. «Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со всех сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими или не понимающими людьми. Потому, кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании, похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить. Чувствую себя виноватым и все-таки молчу по странному чувству давнишней известности моих возможных слов для тех людей, с кот<орыми> в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходит действительно похоронно как будто, — хотя у меня внутри редкая ясность, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самых близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я внутренно кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены. Вы, как мне показалось, не привыкли к тому, что лишь второстепенно, и поставили Ваше состояние молчанья для себя на первый план. А я уже мирюсь с этим, потому что не вижу *крайней* необходимости тратить пять лошадиных сил на второстепенное... Вот и я *«все о себе»*. Только, мне кажется, это ничего. Вам может быть интересно обо мне так же, как мне всегда захватывающе интересно все о Вас. Да и как же нам раскрыться, если не писать о себе. Ваша оговорка, мне кажется, напрасна, потому что мы понимаем уже навязчивость и ненавязчивость, так же как схоластику и не схоластику, как когда-то сказали Вы, и потому можем пользоваться свободно тем и другим для единой цели.

Ах, нам многое известно, дорогой Борис Николаевич! Вы спрашиваете, *кто я, что я*? Разве Вы не знаете? То же и то же опять, милое, единое, вечное в прошедшем, настоящем и будущем. Дойти до напряженного проникновения — «и

след мечты опять стряхнуть с чела»[2]. И что такое, эти наросты окружающих толков, aprior'ных определений шаблона жизни — для всех одинаковой — так ли? Чем лучше то, что выходит *только* из кабинета, чем то, что выходит *только* из будуара. То и другое — метафизическая сплетня. Я говорю о самом близком окружающем меня. Один из петерб<ургских> поэтов пишет мне: «про Вас ходит легенда, что вы, женившись, перестали писать стихи»[3]. M-me Мережковская, кажется, решила это заранее[4]. Что же это значит? M-me Мережковская создала трудную теорию о браке, рассказала мне ее в весеннюю ночь, а я в эту минуту больше любил весеннюю ночь, не расслышал теории, понял только, что она трудная. И вот женился, вот снова пишу стихи, и милое прежде осталось милым; и то, что мне во сто раз лучше *жить* теперь, чем прежде, не помешало *писать* о том же, о чем прежде, и даже об Иммануиле Канте, как оказалось впоследствии из анализа стих<отворения> «Сижу за ширмой». А тут «сложилась легенда»... Это порой кажется просто глупым, отдаленным от смысла. Извините за откровенность, она *не* цинична (как Вы, я думаю, знаете), мне хочется только сказать Вам то, чего во всяк<ом> случае не скажу Мережковским, если даже их еще увижу. Не отнеситесь только к этому с «судорогой презрения», хотя это тоже «словесное», не особенно нужное, разумеется. Таковой же мне кажется размолвка Скорпиона с Грифом. Я совершенно понимаю, если хотите, Брюсова, восстающего на Грифов. Хотя — зачем? Мне кажется, что это не навсегда, даже может быть ненадолго. Тому доказательство — Urbi et Orbi. Это — Бог знает что — только в обратном смысле. Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, озарений почти гениальных. Я готов говорить еще больше, чем Вы, об этой книге. Долго просижу еще над ней, могу похвастаться и поплясать по комнате, что не всю еще прочел, не разгладил всех страниц, не пронзил сердца всеми запятыми. При чтении могут прийти на ум мысли круглого идиота о том, как много на свете делается, сколько на небе звезд, какая бывает хорошая погода — и прочие[5]. Возвращаю с охотой и страстью, не отнимаю у Вас, Ваши слова — автору:

В венце из звезд...[6]

Бальмонт тоже натворил чудес, выпустив последние две книги[7]. А Вы!!! Молчание. Милый Борис Николаевич, мне Вы написали столько незаслуженного, что я краснел, читая.

Вы говорите, что, может быть, навсегда замолчите. Это невозможно. Вам не о чем молчать, потому что Ваши богатства неисчерпаемы и повторения Вас не будет... Однако, однако, мы обмениваемся разговорчиками! Я боюсь, как бы с моей стороны это не кончилось полнейшим отсутствием словесных знаков. Вы будете печатать, а я в ответ, вместо никуда не годных «рецензий» — мычать.

Вы знаете, наверно, что разрывание от *понимания* окружающего иногда еще болезненнее скуки. Потому, вероятно, как и я, не всегда позволяете себе понимать. Впрочем, часто этого предотвратить невозможно, а потому начинается усиленное заглядывание в зеркала и на перепутья, где веет снеговой ветер, — не появится ли там к своему весеннему юбилею какой-нибудь морщинистый Кантик, или напротив — Кантище на соломенной табуретке[8]. Или, может быть, в пальто, на извозчике, с поднятым воротником. Разумеется, мы его узнаем и придется приглашать, чего доброго... доброго-доброго... старичка.

Бывает и так. Но поймите же, наконец, *Вы,* московский и *не* петербургский мистик, что мне жить во *сто* раз лучше, чем прежде, а стихи писать буду, буду, буду, хотя в эту минуту мне кажется, что мои стихи — препоганые.

Как бы это Вам приехать в Петербург? Мы с женой, кажется, поедем в Москву в нач<але> января. Страшновато мне встретиться с Вами. Как-то это выйдет «официально»... Немножко пахнет могилкой, в которой похоронили этой весной маленькую девочку в голубом платьице[9]. Этот факт мне известен из достоверных источников, едва ли не иноземных, полученных от «влюбленных гостей поздних веселых времен»[10]. Оказывается, они дальние родственники Виндалая Левуловича...[11] А может быть — привез на извозчике маленький Кантик? Тррах! Грохнулся с извозчика, ушибся; его поднимали дворники под ручки, ввели в горницу, поставили на колени, накрыли полотенцем. Думали, что молится, оказалось — пропал без вести, пришел к невесте и провалился на месте. Только его и видели.

Все это все-таки ужасно не нравится. Чего доброго, — старичка где-нибудь и повстречаешь. Юбилей — не мудрено!

До свиданья, милый Борис Николаевич, — по-настоящему прошу Вас, когда можете, пишите, не забывайте. Спасибо за все. Я люблю Вас, как свою тишину и сон наяву — «среди белого дня».

Преданный Ал. Блок

20/XI 1903.

Петербург — город, по улицам которого на днях, по случаю наводнения, проплыли на ялике двое в колпаках, ухмыляясь, с ящиком, на котор<ом> написано было: «Осторожно!!!». На перекрестке из ящика просунул голову Иммануил! Он сказал: здравствуйте! Нынче хорошая погода и приятно покататься на лодке. Постарайтесь к вечеру доставить меня в Кенигсберг[12].

* * *

«Опрокинут, канул в бездну»
Зинаидин грозный щит[13].
Ах! сражаться бесполезно
С той, которая ворчит.

Завтра буду с Соколовым
На извозчике — вдвоем!
Мы Семенова с Смирновым
И с Кондратьевым найдем!

Жду московского ответа
И еще — Вас самого,
Чтоб Вы видели поэта
Прежде гнусного портрета,
Коий будет снят с него[14].

Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 30. Ср. запись Блока от 21 ноября 1903 г.: «Послал письмо *Бугаеву*» (ЗК, 55).

[2] Заключительная строка стихотворения Каролины Павловой «Зовет нас жизнь: идем, мужаясь, все мы...» (1846), впервые опубликованного под заглавием «Думы» в альманахе «Северные Цветы

на 1901 г.» (М., 1901. С. 71—74). См.: Павлова К. Полн. собр. стихотворений. («Библиотека поэта». Большая серия). М.—Л., 1964. С. 131.

[3] Имеется в виду А. А. Кондратьев; 17 ноября 1903 г. он писал Блоку: «Вы несказанно обрадовали бы всех нас, явясь со стихами и наглядно доказав, что Вы пишете не хуже прежнего. Ибо, должен Вам сообщить, что относительно Вас существует легенда, будто после свадьбы Вы уже не пишете» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 556).

[4] Об отношении З. Н. Гиппиус к женитьбе Блока см.: Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 535). Тарту, 1981. С. 145—147. 25 июня/8 июля 1903 года Блок писал отцу: «<З. Гиппиус> со всеми своими присными не сочувствует моей свадьбе и находит в ней "дисгармонию" со стихами. Для меня это несколько странно, потому что трудно уловить совершенно рассудочные теории, которые Мережковские неукоснительно проводят в жизнь, даже до отрицания реальности двух непреложных фактов: свадьбы и стихов (точно который-нибудь из них не реален!). Главное порицание высказывается мне за то, что я, будто бы, "не чувствую конца", что ясно вытекает (по их мнению) из моих жизненных обстоятельств» (*Письма к родным, I.* С. 86—87).

[5] Свое восторженное отношение к книге Брюсова «Urbi et Orbi» Блок отразил в двух рецензиях, одна из которых была опубликована в «Новом Пути» (1904, № 7; V, 540—545), а другая, написанная ранее, была представлена в журнал «Весы», но отклонена Брюсовым, одним из руководителей журнала, во избежание упреков за печатание восхвалений по своему адресу (см.: V, 532—534). Предельно высоко Блок оценил «Urbi et Orbi» также в письме к Брюсову от 26 ноября 1903 г. (VIII, 72). Подробнее см. вступительную статью З. Г. Минц к переписке Блока с Брюсовым (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 469—474).

[6] Цитата из стихотворения Белого «Маг», посвященного Брюсову (*Золото в лазури.* С. 123).

[7] Имеются в виду книги К. Д. Бальмонта «Будем как солнце. Книга символов» (М., «Скорпион», 1903) и «Только любовь. Семицветник» (М., «Гриф», 1903). Блок опубликовал общую рецензию на обе книги (Новый Путь. 1904. № 1; V, 528—530).

[8] «Весенний юбилей» — 100-летие со дня смерти Канта (12 февраля 1904 г.). Образ «морщинистого Кантика» соотносится со стихотворением Блока «Сижу за ширмой. У меня...» (18 октября 1903 г.).

[9] Блок обыгрывает строки из своего стихотворения «У берега зеленого на малой могиле...» (24 апреля 1903 г.): «Белые священники с улыбкой хоронили // Маленькую девочку в платье голубом».

[10] Образ из стихотворения Блока (посланного Белому при п. 25; см. с. 104 наст. изд.) «Вербная Суббота»: «Влюбленные гости заморских племен — // И, может быть, поздних, веселых времен...»

[11] См. примеч. 8 к п. 28.

[12] Кёнигсберг — город, в котором жил и умер Иммануил Кант. Касаясь этого письма в «Воспоминаниях о Блоке», Белый говорил о переплетении у Блока темы «страха» с темой Канта: «...он все возвращается к Канту, как к испугавшемуся во веки веков; темы страха и темы Канта не раз повторяются; не оттого ли, что столетняя годовщина со смерти философа приближалась в то время, иль оттого, что вопрос о границах познанья впервые решительно выступает перед А. А.; переплетение темы Канта и темы о "страхе" — весьма показательно; мысль о границе, черте — есть продукт потрясенья, страха; граница сознанья — тень, мной отброшенная; А. А. посвящает свои стихи Канту; рисуется Кант весь в тенях, скрещивающих и ручки и ножки; химера преследует Блока; творит он мифологему о Канте: по петербургским каналам какие-то люди везут в лодке ящик, а в ящике — Кант; он — увозится к юбилею в родной Кенигсберг подозрительными колпачниками; этот "шарж" увозимого Канта и шаловливо, и жутко выглядывает в одном из объемистых писем в нешаловливых, скорее очень грустных страницах» (*О Блоке.* С. 56—57).

[13] Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Три подвига» («Когда резцу послушный камень...», 1882); в оригинале: «И щит зеркальный вознесен, // И опрокинут — в бездну канул // Себя увидевший дракон». Подразумевается занятая З. Н. Гиппиус непримиримая позиция по отношению к издательству «Гриф».

[14] Датируется 10 ноября 1903 г. — на основании письма к С. М. Соловьеву, написанного в этот день (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 348—349), в котором Блок сообщает о предстоящей завтра поездке вместе с С. А. Соколовым к «студентам-декадентам» (т. е. к Л. Д. Семенову, А. А. Смирнову и А. А. Кондратьеву). Белый в «Воспоминаниях о Блоке» характеризует стихотворение как «разоблачение гиппиусовой интриги» (*О Блоке.* С. 55).

---

32. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец ноября 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович!

Уведомляю Вас о своем окончательном решении относительно *«Скорпионов»* и *«Грифов»*. В альманахе я участвовать не буду[2], но в *«Грифе»* вообще — да. У них будет печататься моя третья *Симфония*[3]. Это потому, что *Скорпионы* обижаются, если я не буду участвовать в *«Сев<ерных> Цв<етах>»*.

Сегодня долго говорили мы с Поляковым, и он убеждал меня в том, что *Скорпион* не питает к *Грифу* никакой вражды, но только не понимает raison d'être *Грифа*, ибо Скорпион способен печатать все, что сейчас разделяется между Грифом и Скорпионом — и *«Только Любовь»*, уже вышедшую книгу, и мою *Симфонию*. Но я не хочу обижать Соколова и оставляю ему *Симфонию*. Вообще все это — буря в стакане воды, не понимаю Зин<аиды> Николаевны, как это ей не скучно во все совать нос.

Остаюсь любящий Вас

Борис Бугаев

P. S. За стихи спасибо и спасибо. *За портрет, который надеюсь получить от Вас, — то же.*

P. P. S. У нас в Москве будут *Весы*. Присылайте туда что-нибудь (журн<ал> крит<ики> и библиогр<афии>)[4].

---

[1] Датировка — по связи с соседними письмами. Помета Блока красным карандашом: «1903 — окт.».

[2] Подразумевается «Альманах “Гриф”» (М., 1904).

[3] «Возврат. III симфония» Белого (М., «Гриф», 1905) вышла в свет в середине ноября 1904 г.

[4] Цензурное разрешение на издание «Весов» было получено 4 ноября 1903 г. (см.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания) // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 261). Брюсов оповестил Блока о начале издания «Весов» письмом от 21 ноября 1903 г., приглашая к сотрудничеству: «От Вас (кроме общих статей) ждем особенно рецензий на новые русские книги и корреспонденций о петербургской литературной и художественной жизни» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 485). Ср. запись Блока: «“Весы”! (письмо от Брюсова 22 ноября)» (ЗК, 56).

33. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец ноября 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович,

Вот и опять пишу Вам, и опять о внешнем. Уведомляю Вас, что я решил не считаться <с> *Скорпионами* совсем (как бы ни любил их как людей) и печататься в *Альманахе* Гриф[2]. Дело в том, что приехавший из Петербурга Соколов передал мне поступок Зин<аиды> Ник<олаевны>, и я в совершенном негодовании. Только что и еще раз поверил я в искренность их пути, и опять какие-то ненужно-внешние козни, граничащие со сплетней... На днях напишу им, что не желаю иметь с ними никакого дела. Как я рад, что Вы будете в Москве, приезжайте, приезжайте... Буду ждать.

Весь Ваш
Борис Бугаев

---

[1] Датировка — по связи с соседними письмами. Помета Блока красным карандашом: «1903 — окт.».

[2] В «Альманахе “Гриф”» (М., 1904) были напечатаны рассказ Белого «Световая сказка» и 4 его стихотворения. Ср. сообщение в письме С. А. Соколова к Блоку от 23 ноября 1903 г.: «Наши отношения с Скорпионом по-прежн<ему> неопределенны. Его ультиматум, как видится, ни на кого не производит должного впечатления. По крайней мере с ним решительно отказались считаться, кроме Вас — Бальмонт, Белый, Миропольский и Ремизов» *(ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 530).

---

34. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец ноября 1903. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович,

Зеркало свое я превратил в ниспадающий водопад по способу странных дел мастера Добролюбова[2]. Зеркало мое стало водопадом, и поток разбился снежной пеной. Казалось, вечно слетало море душистых белых фиалок и гиацинтов. Когда я собрал корзину чудесных цветов — корзину чудно-белой пены, я выбросил пенную массу на зоре из окна — белый, воскликнувший лебедь понесся в море бирюзы.

Разве Вы не видали, как белое облачко перерезало закат на зоре. Это мчался мой белый, тоскливоликующий лебедь с приветом к Вам от меня. Вот почему я не пишу теперь писем.

Ах, что значат все слова и речи,
Этих чувств отлив или прибой
Перед тайною нездешней нашей встречи,
Перед вечною, недвижною судьбой...[3]

* * *

Да, конечно, я московский, а не петербургский мистик. Московские мистики не обладают нахмуренной эрудицией петербургских мистиков и всегда чуть-чуть ленивы и легкомысленны. Они не берутся решать всемирно-исторических вопросов и грешны празднословием и неумеренной шуткой. Петербургские мистики — теоретики в мистицизме, насколько я это сумел понять, а московские — больше практики, реалисты, наблюдатели. Если в Петербурге заняты пересмотром всех существующих и несуществующих постановлений вселенских синодов, в Москве или близ Москвы уже завелись юрисконсульты безмирных дел. Будучи московским мистиком и патриотом, я склонен полагать, что Москва наиболее центральное место и что, пожалуй, вне Москвы невозможно практическое решение многих вопросов.

* * *

Я ужасно люблю Мережковских за одно *реальное знание* (я сторонник реализма в мистицизме), а во всем прочем меня искренне удивляет их схоластичность, отсутствие часто у них понимания юмора, являющееся некоторым следствием *духа тяжести*, и пожалуй приговором, и вместе с тем что-то до оскорбительности распахнутое. Они взялись *опрощать* мистицизм, и *странных дел знания* никогда не будут им доступны. В этом совмещении духа тяжести, слепоты, тенденциозной и недалекой нетерпимости (пожалуй, некультурности), провинциализма с действительным знанием, трогательной искренностью и готовностью пожертвовать собой есть что-то детское, неразумное, облегчающее. Это ужасно, что они думают: продолжать на свой страх *«Новый Путь»*... Многое им простится за это самопожертвование.

* * *

Что это Вы говорите — будто страшно нам встретиться из-за официальности![4] Вот уж нет! Я совсем не официальный человек. Приезжайте скорее! Гораздо легче говорить, чем писать. Хорошо бы, чтобы Вы приехали не на несколько дней, а по крайней мере недели на две. Москва только тогда начинает нравиться, когда рассеется первый дурман новизны, который неизбежно окутывает всякого нового человека, заставляя фиксировать свое внимание не на основных чертах, а на блещущей мишуре — пене. Когда неопытный человек в поэзии берет Пушкина после Надсона, он поражается обыденностью и бледностью там, где все горит откровением. Так и у нас в Москве: даже зоркий человек многого не увидит в Москве, потому что многое запрятано в глубину, а сверху брызжет поток обще-официального декадентизма, — своего рода форма, в которой соединены люди диаметрально-противоположные (быть может, в будущем враждебные друг другу).

* * *

Ну вот опять меня оторвали от письма. Моя жизнь теперь в днях, а дни — в клочках. Пестрый, примелькавшийся маскарад. Описываю сегодняшний день: утром был по делам в Университете и... в Грифе. Потом говорил с Волошиным[5]. Сейчас у меня был один теософ по делам. Сейчас выпали свободными 1 $^{1}/_{2}$ <часа>.

Вот и пишу Вам. В 3 часа придет проездом появившийся Философов и мы с ним отправимся в *«Гриф»*, а потом в *«Скорпион»*. После же мне нужно отдать вечер знакомым. И так каждый день вот уже 2 месяца. В свободные промежутки нужно писать для *«Весов»*, корреспонденция и проч.... Нет возможности сохранить себя. Думаю скоро затвориться от людей. Вот почему я пишу Вам сейчас так внешне, отрывисто и неопределенно.

Лучше я подойду к своему зеркалу, подставляя к нему корзину из-под цветов. Несколько зеркальных струй, кипя, наполнят корзину, вспенясь. Это будет корзина белоснежных цветов. Я отворю окно. Я выброшу бесконечность цветов и аромата на воздушный атлас, протянутый в воздухе, и вот помчится к Вам мое белое, светлое облачко привета.

Может быть, белый лебедь забьет к Вам в окна. Может быть, Вы догадаетесь впустить к себе тоскливовосторженную птицу — птицу Снежной Радости... чуть-чуть грустную, застывающую в грусти...

Прощайте. Христос да будет с Вами.

Любящий Вас Борис Бугаев

P. S. Спасибо, спасибо за стихи[6]. Буду ждать письма — и стихов, стихов. Как-нибудь напишу Вам специально о стихах. Так люблю их!..

Комментарий Андрея Белого

23) Следующее письмо (к Блоку от Бугаева):

Начало — несколько истерическая лирика, на почве надорванности и недоумения в личной жизни, о которых долго распространяться; в сущности, — распыление *«молитвы»*; и отсюда — судорожное хватание за sui generis *«оккультизм из искусства»* (самочинный), который и называю «странных дел мастерство» (моя уязвимая пята того времени, подобная *«страху»* Блока). Но из-под этого искреннее: *«Я совсем не официальный человек. Гораздо легче говорить, чем писать»*. И — зов Блока в Москву. В сущности: писать нам стало друг другу на темы о *«Ней»* и гнозисе почти невозможно; это было мне, вероятно, яснее, чем Блоку; и оттого-то — судорожное метание моих писем; то — истерика, то — болтовня, на фоне опустошенности (*«Я не стану Вам отвечать, пока не окончится во мне период опустошенности»*. Из следующего моего по порядку письма)*. *«Поймите положение слепца, который сознал, что не видит»* (оттуда же). Долго вскрывать источник слепоты; *«катаракт»* образов *«Пепла»* уже был приставлен к моим духовным зрачкам; я уходил в долгое *«подполье»* от тем *«света»*; и этим менялись и темы наших писем; из *«идеологических»* они становятся *«дружески лирическими»*, *«шутливо дружескими»*, *«деловыми»* до... последующих годин, когда в них врастает личная, отнюдь не идеологическая и не мистическая тема. Но то — впереди.

Я бы мог проком<м>ентировать имеющиеся у меня *«наши письма»* (одну порцию их) и в других отношениях; на это у меня нет времени. Поэтому комментарий мой ограничивается ретушью лишь одной темы, темы встречи нас в одном нас связавшем идеологическом мотиве. Конечно, комментарии мои субъективны; и меня могли бы поправить; всё же они проливают свет, который правильнее освещает, так сказать, фон первой волны писем, меж нами вставшей; вне этого освещения, волна — темная волна экивоков, умолчаний и афоризмов. Мое намерение открыть источник туманности; он не в туманности

* См. п. 26.

переживаний Блоком своей Музы и не в туманности во мне роящихся мысленных образов, а в разности подхода к общей теме, о которой мы не внятно сказали друг другу, что она есть. Желание оказаться в одном перевешивало фактическую возможность быть вместе: я — естественник; Блок — юрист, потом филолог; я влекусь к философии; Блок — к мистике; я — атакуем и атакую; я — в диалектике; Блок — в сосредоточенном молчании; я — поэт, влекомый к *музыке*; Блок — к образу, форме и краске. Все это образует непереступаемую границу в выборе слов, аргументов, <*1 нрзб*>. Сквозь все различие мы прорываем фронты нашего *«самодовления»* и встречаемся в январе 1904 года уже друзьями.

Факт нашей дружбы перевесил и все *«разности»* подходов к общим темам, и все личные тяжбы; и в декларации нам одинаково дорогого символизма с 1910—1911 года до кончины Блока мы *уже вместе*. Поэтому и в комментариях я сознательно *подчеркиваю* наши несогласия, полагая, что они лучше вычертят рельеф наших согласий, вне несогласий не ясных.

О *согласиях* поэтому я менее говорю; и поэтому — несогласия я подчеркиваю.

*Борис Бугаев. Кучино. 5 дек<абря> <19>26 года**

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1903 — осень».

[2] Подразумеваются фрагменты II и III прозаического цикла А. М. Добролюбова (опубликованного за подписью: А. М. Д.) «Образы»: «В углу же течет или стоит бесшумный, глубокий водопад, отражающий все, отражающий очи твои, в очах тоже тебя!»; «Он разрезал зеркало пучком расходящихся струй, и голова на мгновенье исчезла туда, где блестели отражения листьев, небес и благородных человеческих тел», и т. д. (Северные Цветы на 1902 год. М., 1902. С. 90, 91).

[3] Неточно цитируется 1-я строфа стихотворения Вл. Соловьева «О, что значат все слова и речи...» (1892).

[4] См. п. 31.

[5] М. А. Волошин прибыл в Москву в начале ноября, выехал из Москвы в Париж 27 ноября 1903 г. О его взаимоотношениях с Белым см.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Максимилиан Волошин и Андрей Белый // Волошинские чтения. Сб. научных трудов. М., 1981. С. 80—91.

[6] Согласно заметкам Блока в его записной книжке, он выслал Белому в конце ноября три стихотворения: «Ты у камина, склонив седины...», «Облака небывалой услады...», «Спустись в подземные ущелья...» (под заглавием «Будущему»). Эти автографы сохранились, описаны в сообщении Н. В. Котрелева «Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 236).

---

35. БЛОК – БЕЛОМУ

<12 декабря 1903. Петербург>[1]

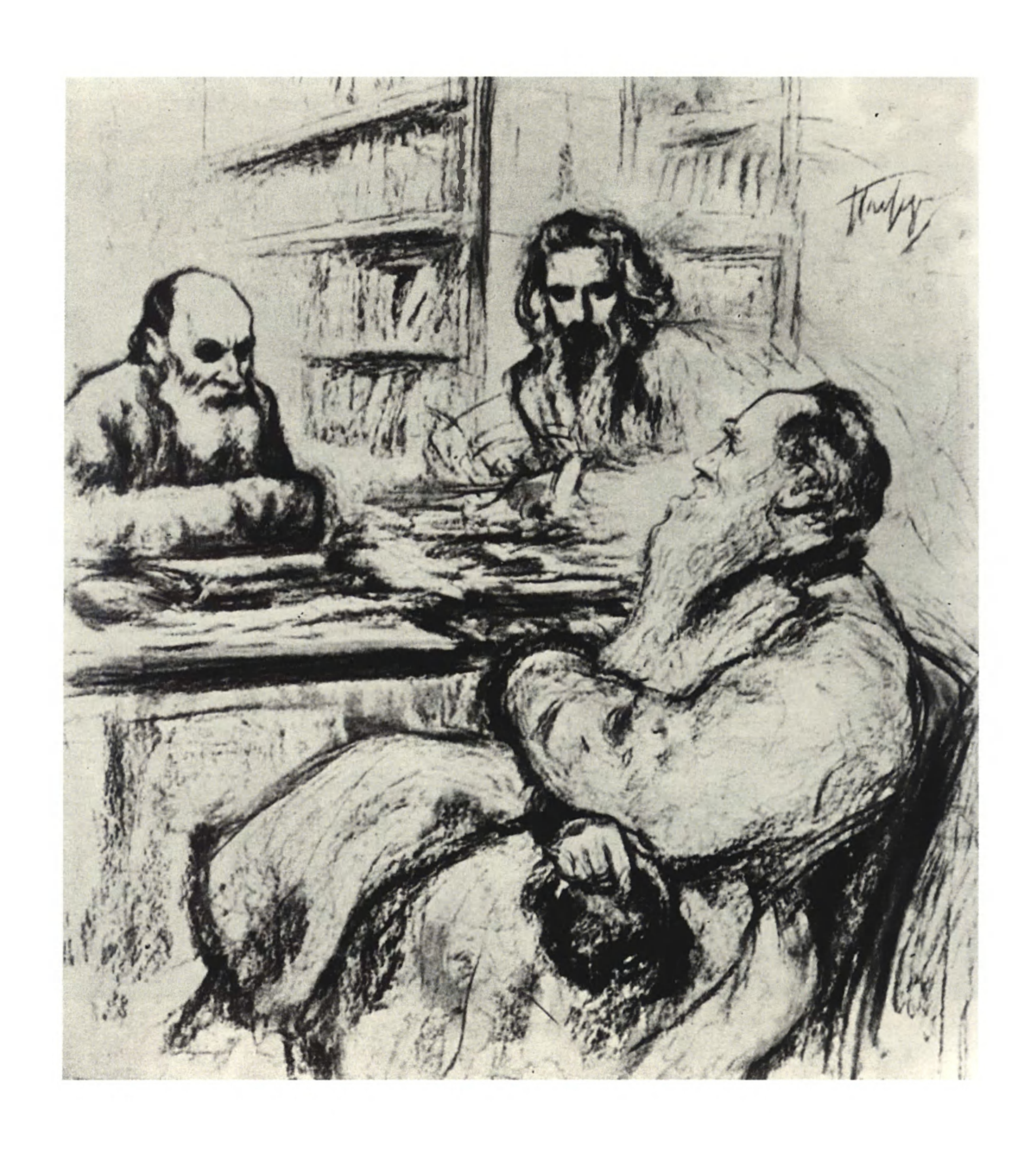
Милый Борис Николаевич.

Все это время я был занят рецензиями и т. п., потому не отвечал.

Теперь, после крайнего напряжения нравственных сил, что-то упало во мне, но шевелится, шевелится в мозгу, и ранним утром приходят в голову пронзитель-

* К последующим письмам Белый комментариев не написал.

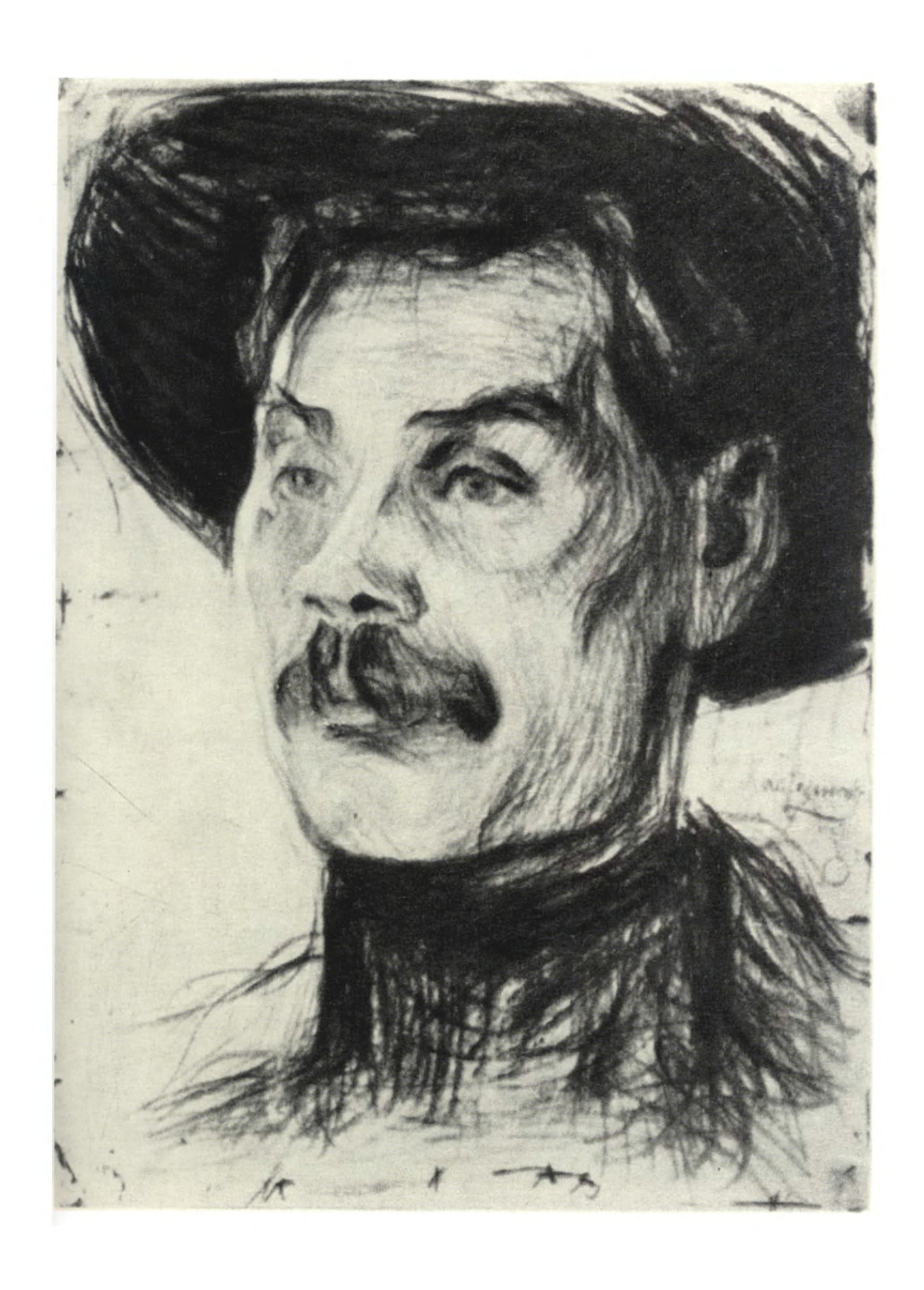
М.В. Нестеров. Путник. 1921



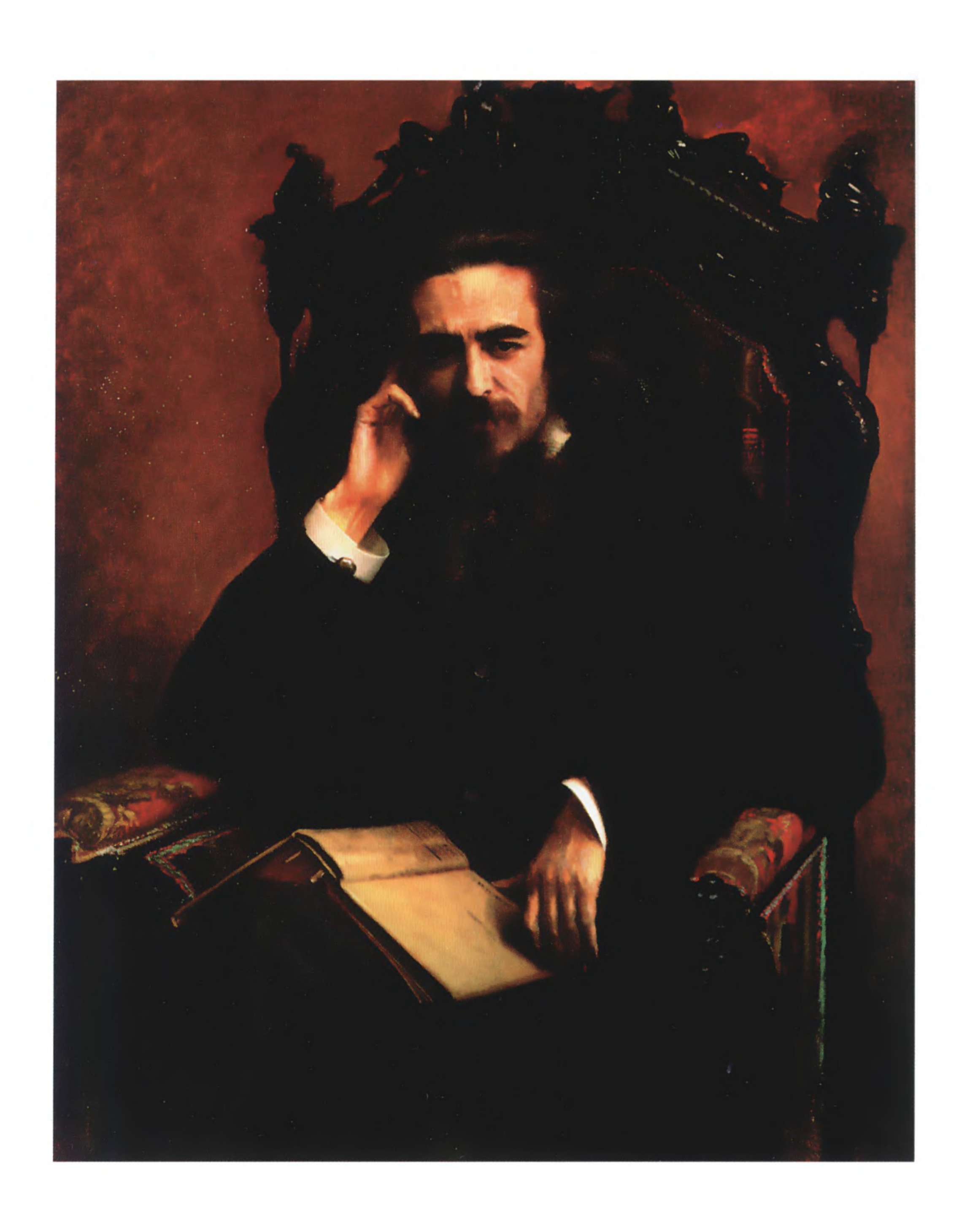
Н.Ф. Федоров, Вл. Соловьев и Л.Н. Толстой
Рисунок Л.О. Пастернака. 1903

А.П. Чехов
Портрет работы В.А. Серова. 1902

И.А. Бунин. 1910
Литературный музей Пушкинского Дома



Максим Горький
Портрет работы Л.О. Пастернака. 1906

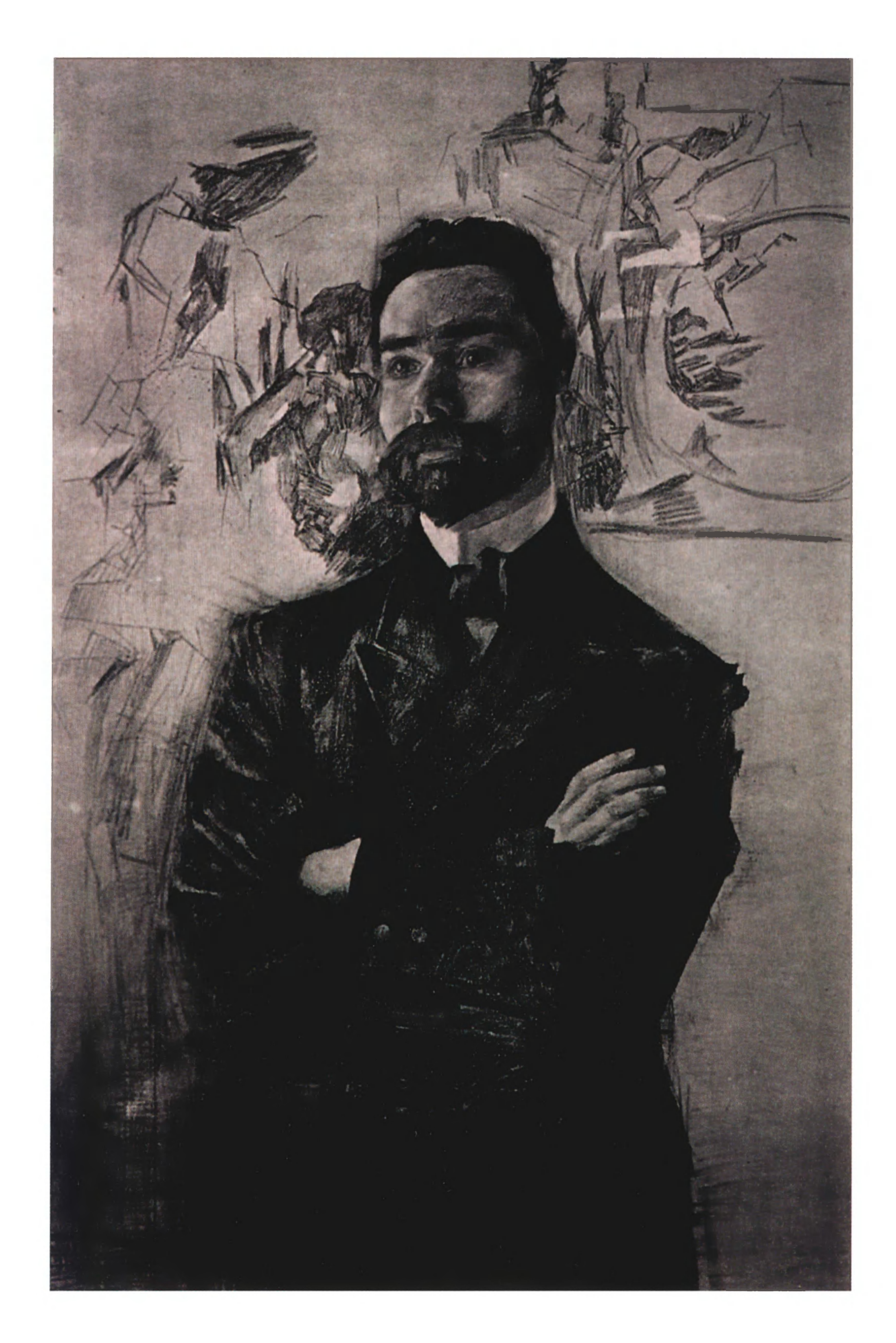


Владимир Соловьев
Портрет работы И.Н. Крамского. 1885

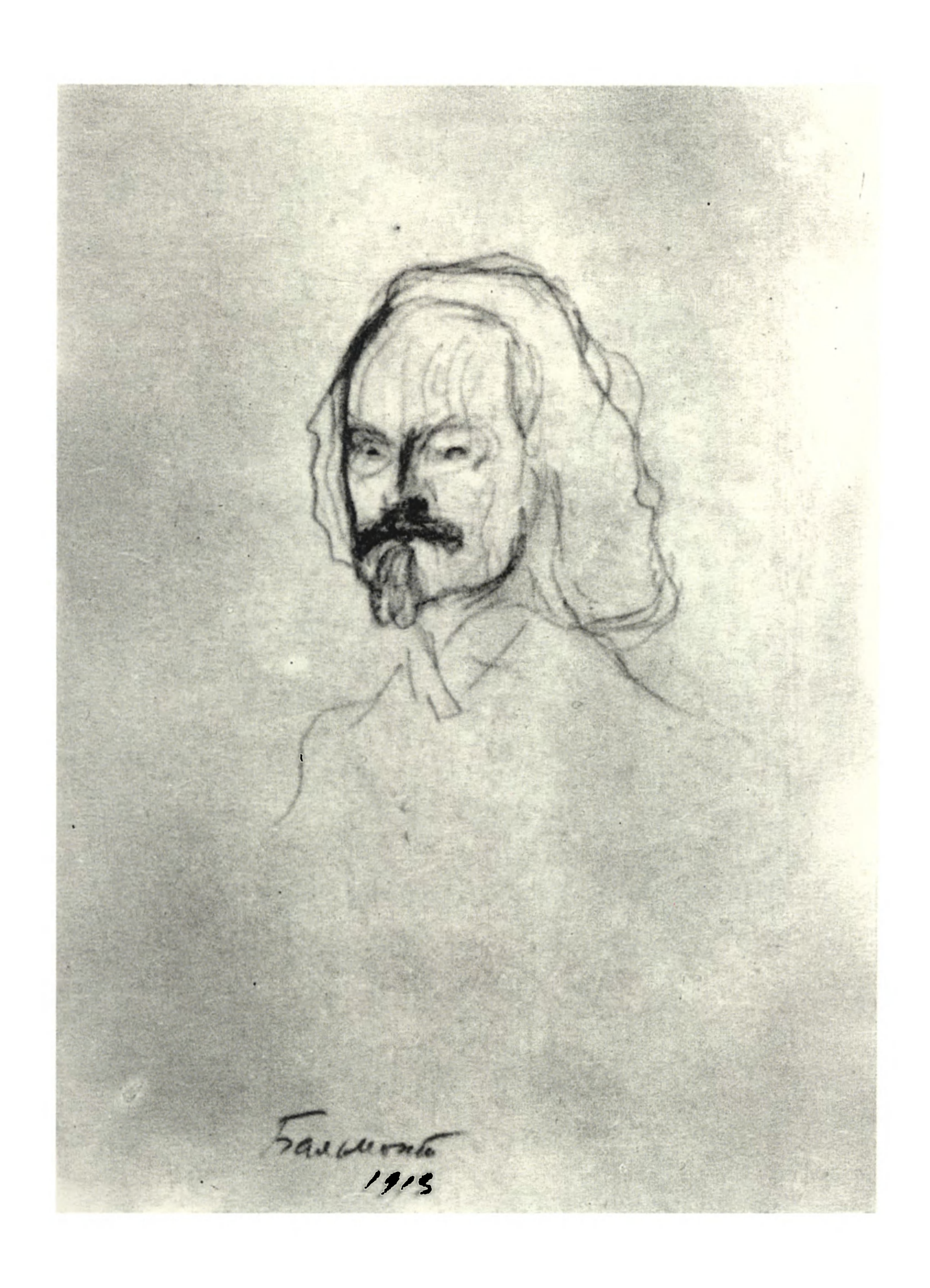
Вячеслав Иванов
Альбомная зарисовка Л.О. Пастернака. 1915

Д.С. Мережковский. 1900-е годы
Литературный музей Пушкинского Дома

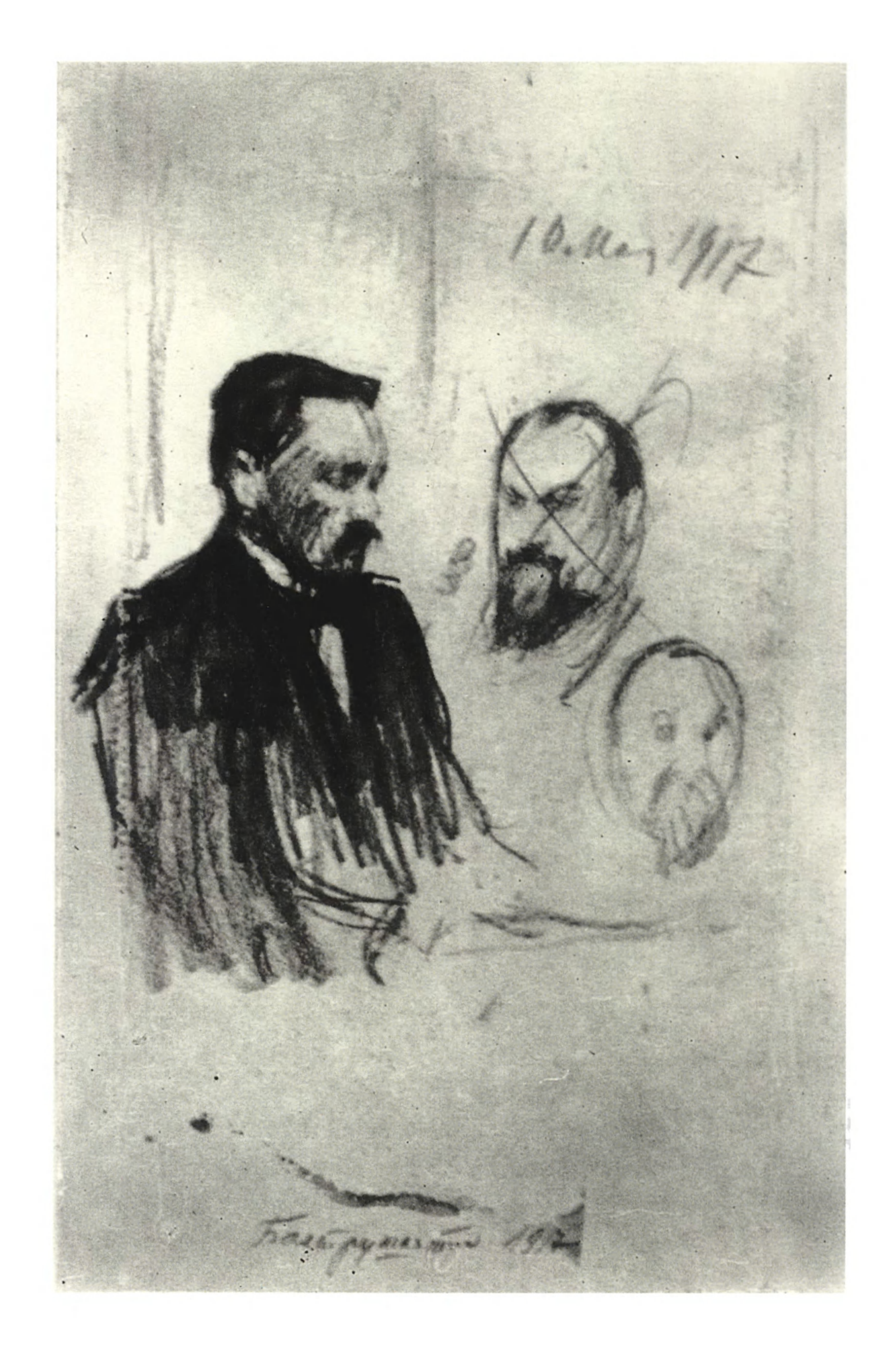
Зинаида Гиппиус. 1913
Литературный музей Пушкинского Дома



Валерий Брюсов
Портрет работы М.А. Врубеля. 1906



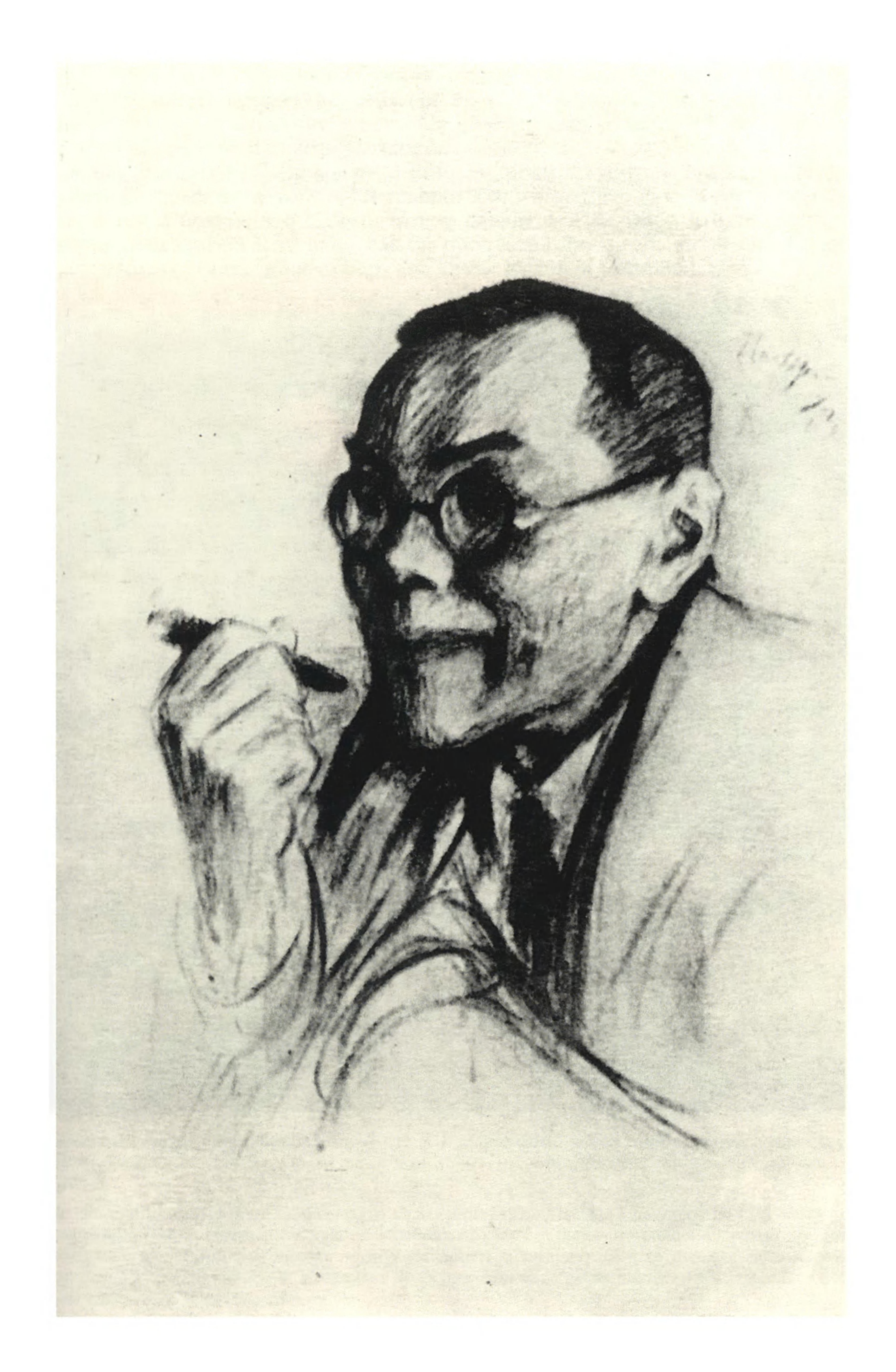
Константин Бальмонт
Альбомная зарисовка Л.О. Пастернака. 1913



Юргис Балтрушайтис
Альбомная зарисовка Л.О. Пастернака.1917

Вяч. Иванов, Эллис, Н.А. Бердяев, Андрей Белый
Рисунок Л.О. Пастернака. 1910

В.В. Розанов с дочерью Татьяной. 1910-е годы



А.М. Ремизов
Портрет работы Л.О. Пастернака. 1923

М.В. Нестеров. Философы. 1917
(Портреты отца Павла Флоренского и С.Н. Булгакова)

ные мысли. После больших приемов стихов Брюсова, Бальмонта, Сологуба, Гиппиус странно чувствуешь себя все еще самим собой. Так быстро спадает первоначальное очарование и остается объективная радость и благодарность. Но пока надо пройти сквозь усталость.

А как Вы думаете? Не мы ли с Вами — люди в будущем враждебные друг другу, о которых Вы говорите? Я говорю это, потому что слишком люблю Вас. Между тем я боюсь, что с Вами что-то случится и со мной что-то случится. Иногда, пресыщаясь и уставая, как бы пропустив мимо себя любимую фалангу со слезами на глазах, я чувствую, что слезы высохли, осталось глухое утомление и удушье. Тогда нет в мире ни одной черты, которую мне не хотелось бы перевернуть вверх дном. Все валится в одну груду, в которой ищешь того, чего никогда еще не находил. Когда мы оба затворимся от людей (я, как и Вы, хочу этого), с нами и случится. А пока один день я раздуваю ноздри, а другой — брожу как сонная муха. Должно же что-то треснуть и разбиться, чтобы под этим «что-то» оказалось единое.

Со всем, что Вы пишете о Мережковских, я согласен. Но стихи, стихи З<инаиды> Н<иколаевны>! И уморительны и гениальны! Если кто устал, то это она и Сологуб. За эту усталость ей все простится. Не знаю, как Вы относитесь к ее стихам, я постоянно вижу, что действительно будет чудо, если их поймет хоть один. Я не понимаю, но чувствую, что надо остановиться; а ранним утром пронзительно визжат в мозгу и ее стихи. Иногда приходит в голову, что петербургская теоретичность и схематичность может обратиться в практику. Эта практика будет иная, чем в Москве. Под Вами — голубая вода, легкий хрустящий песок на твердом дне. Здесь под нами ничего, ничего, ничего, голова кружится, когда оступишься, рабские мысли приходят: только бы не увидать, — лучше совсем опять надолго съежиться.

О Вашем голубом дне я говорю только в противоположность нашему. Вы — над провалами и кручами, но что-то есть у Вас, за что ухватиться. У нас — ничего. Никто и руки не протянет. Полное одиночество, беспомощность, скудость сердца. Я слышал, что Вас зовут в Петербург. Не ездите, милый, не переселяйтесь. Едва ли Вы хотите этого, впрочем. Мне очень хотелось бы хоть ненадолго убраться отсюда подобру-поздорову, к Вам в Москву. А здесь не поладить ни с Медным Всадником, ни с Таврической Венерой[2].

Вот я опять написал Вам скудное письмо. Поверьте мне, что я Вас люблю теперь уже совершенно просто, даже помимо всех драгоценностей, которые Вы расточаете в стихах и прозе. Пошлю Вам хоть стихи[3]. А в Москву, вероятно, мы с женой приедем. Вы приедете к нам в Петербург?

Ваш преданный друг Александр Блок

СПб. 12/XII 1903.

---

[1] Ответ на п. 34.

[2] Античная статуя, подаренная Петру I папой Климентом XI и экспонирующаяся в Эрмитаже. Возможно, здесь скрыт также иронический намек на петербургский памятник Екатерине II (1873).

[3] В записной книжке Блок отметил, что 12 декабря 1903 г. им были посланы Белому 4 стихотворения: «Темная, бледно-зеленая...», «Фабрика», «Что с тобой — не знаю и не скрою...», «Мне гадалка с морщинистым ликом...» (под заглавием «Символ»). Эти автографы сохранились, описаны в сообщении Н. В. Котрелева «Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 236).

36. БЛОК – БЕЛОМУ

<Конец декабря 1903. Петербург>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич. Поздравляю Вас с Праздником и надеюсь познакомиться с Вами лично в январе.

---

[1] Записка на обороте визитной карточки. Поздравление с Рождеством.

Церковь Михаила Архангела в селе Тараканове, где венчались Александр Блок и Любовь Менделеева. Рис. А.П. Журова. 1924

1904

37. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<13 января 1904. Москва>[1]

Многоуважаемый, дорогой Александр Александрович,

поджидал Вас, чтоб отправиться в *«Весы»*[2]. Но не дождался. Я в *«Весах»* (мне хотелось бы застать В<алерия> Я<ковлевича>, который может рано уйти: вот почему решил отправиться без Вас).

К вам я уже, перед тем как идти в *«Гриф»*, не зайду, ибо мы отправляемся туда с мамой.

Остаюсь весь Ваш

Борис Бугаев

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1904 — январь». Датируется на основании сообщения Блока в письме к матери от 14—15 января 1904 г., представляющего собой своего рода дневник его пребывания в Москве: «*13-е, вторник.* <...> Мчусь на извозчике к Бугаеву, чтобы ехать в «Скорпион». Не застаю, приезжаю один» (VIII, 83). Помимо этого письма, пребывание Блока в Москве (с 10 по 24 января 1904 г.) подробно освещено в воспоминаниях Белого (*О Блоке.* С. 58—79; *Начало века.* С. 317—336).

[2] Редакция журнала «Весы» располагалась в гостинице «Метрополь» на Театральной площади. См. описание ее в очерке Б. А. Садовского «“Весы” (Воспоминания сотрудника)» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.—СПб., 1993. С. 18, 20. Публикация Р. Л. Щербакова).

---

38. БЛОК – БЕЛОМУ

<19 января 1904. Москва>[1]

Милый Борис Николаевич. Можно Тебе прийти к нам *завтра* вечером? Будет Сережа. Мы уедем вероятно в четверг[2]. Поэтому в среду будем делать прощаль-

ные визиты. Хорошо бы нам еще раз увидеться вместе еще один вечер. Я пойду только ненадолго в «Скорпион» и вернусь часам к 8-ми...

Твой Ал. Блок

Понедельник

---

[1] Датируется на основании пометы Блока: «Понедельник» (19 января). См. описание событий этого дня в письме Блока к матери от 19 января (VIII, 87).

[2] 22 января. Отъезд был отложен на два дня — до 24 января (суббота).

---

39. БЛОК – БЕЛОМУ

<Около 28 марта 1904. Петербург>

Милый, дорогой Борис Николаевич. Христос воскрес![1] Целую тебя крепко. Поклонись от нас с женой твоей маме.

Твой Александр Блок

Пасха 1904 года.

---

[1] Пасха в 1904 году — 28 марта.

---

40. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Около 28 марта 1904. Москва>[1]

Христос Воскрес!

Дорогой, Милый Александр Александрович, если бы Ты знал, с какой любовью и горечью я обращаюсь к Тебе с этим приветствием! Молюсь о том, чтобы Ты спокойно и счастливо *«существовал»* среди весенних *«струек», «брызг», «опрокинутых кадок»*[2]. Чувствую я, что Ты находишься на каком-то *«междудорожье»*, и молю Господа о ниспослании Тебе сил. Помолись и Ты обо мне: мне трудно, очень трудно. Злые тучи льдяных вихрей неожиданно встали вокруг — и помчался на вихревых кругах, не знаю куда. *«Лик безумия»* сходит в мир, и все мы стоим перед страшной опасностью. Опасность, грозящую мне, я усмотрел и в веянии, исходящем от Твоего стихотворения: *«плывут собачьи уши, борода и красный фрак»...*[3] Вот *«оно», вот именно...*

Я ужасно одинок. Я ушел *туда*, откуда мой голос, и прежде глухой, совершенно не слышен. Вот почему я молчу и не пишу Тебе. Писать о *«внешнем»* можно в *«Весах»* и т. д. А писать о том, что я переживаю, слишком трудно — не сумею. Дорогой, напиши два слова. Буду рад.

Христос с Тобой. Мой привет, уважение и искреннюю преданность передай Любовь Дмитриевне, а также и поздравление с праздником.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. На днях вышлю тебе *«Золото в Лазури»*[4].

ОДИНОКИЙ

Учителю и врагу

1

Бегут года, летят планеты,
Вонзаясь в холод ледяной.
Завороженный маг, во сне ты
Повис над страшной пустотой.

Не раз — не раз, сражаясь с Богом,
Десницей ввысь грозил — о пусть —
В изгибе уст безумном, строгом
Я узнаю немую грусть.

За эту грусть о тайне звездной
Люблю тебя, мне дорог ты.
Несись, несись над страшной бездной,
Над вечной пастью пустоты.

О маг, отдайся своеволью!..
И вот летит за мигом миг —
Скажи, над чем ты с острой болью
Склонил свой бледный, гордый лик?

К тебе слетел твой верный филин,
Глаза вперяя в пустоту.
Безводны дали. Воздух пылен.
Не пригвождай себя к кресту.

2

Грустен взор. Сюртук застегнут.
Сух. Сериозен. Строен. Прям.
Иль над грудой книг изогнут,
Весь отдавшийся трудам.

Ты со всеми одинаков.
Да, ты замкнут, как пророк.
Пламень уст — багряных маков —
Оттеняет бледность щек.

Быстрый. Острый. Как иголка.
Зуб скрывая жемчуга,
Жалишь мстительно и колко
Косолапого врага.

Иль бежишь. Легка походка.
Вертишь трость. Готов напасть.
Пляшет черная бородка.
В острых взорах дышит страсть.

3

Ты одинок. Один средь нас —
Средь тех, кто ищет, тех, кто молод,
Сквозь дым, сквозь мглу в горящий час
Познал вершин священных холод.

Да. Ты один. Один — ничей —
Среди кривляний, смехов, свиста.
Здесь на горах поет ручей,
Струной натянут серебристой.

Здесь вечный холод, звездный день.
Застыл орел во взмахе смелом.
Твоя распластанная тень
На леднике зеркальнобелом.

Ты создал мир, горящий в снах,
Туманы дум, картины оргий.
Ты развернешься лишь в веках
И пред тобой падут в восторге[5].

УСПОКОЕНИЕ

Ушел я раннею весной.
В руке моей пылали свечи.
Линючей, красной пеленой
Повил опущенные плечи
Священный, царский плащ — кумач.
В очах ни слез, в груди ни вздоха...
К челу больному я — палач —
Прижал венок чертополоха.
Мой ум был ясен, как стекло,
Но я для сутолоки замер.
И время медленно текло
Средь одиночных, буйных камер.
Сложивши руки без борьбы,

Покорно ждал судьбы развязки.
Там... за стеной... безумств рабы
Свершали мертвенные пляски...

И вновь повеяло весной.
И я бежал из душных камер.
Украдкой шел по мостовой
И средь полей блаженно замер.
Горела нежно бледность дня,
Пушистой вербой кто-то двигал,
Но вихрь танцующий меня
Обсыпал тучей льдяных игол.

Пришли, и видят, как брожу
Средь мётел я чертополохов.

Вот за стеной опять сижу.
В очах нет слез, в груди нет вздохов.
Мне жить в застенке суждено.
О, да!.. застенок мой прекрасен.
Я понял все. Мне все равно.
Я не боюсь. Мой разум ясен...[6]

БЕЗУМЕЦ

А. С. Челищеву

1

«Вы шумите. Табачная гарь
Дымносиние стелет волокна.
Золотой мой фонарь
Зажигает лучом ваши окна.

Это я в заревое стекло
К вам стучусь в час вечерний.
Снеговое чело
Разрывают, вонзясь, иглы терний.

Вот скитался я долгие дни
И тонул в предвечерних туманах.
Изболевшие ноги мои
В тяжких ранах.

Отворяют. Сквозь дымный угар
Задают мне вопросы.
Предлагают, открыв портсигар,
Папиросы.

Ах, когда я сижу за столом
И, томясь, замираю
В неземном,
Предлагают мне чаю.

О, я полон огня,
Предо мною виденья сияют...
Неужели меня
Никогда не узнают?»

2

Помним все. Он молчал.
Просиявший, прекрасный.
За столом хохотал
Кто-то толстый и красный.

Мы не знали тогда ничего.
От пирушки в восторге мы были.
А его,
Как всегда, мы забыли.

Он, потупясь, сидел
С робким взором ребенка.
Кто-то пел
Звонко.

Вдруг
Он сказал, преисполненный муки,
Побеждая испуг,
Взявши лампу в дрожащие руки:

«Се дарует нам свет
Жизнедатель...
Я не болен, нет, нет:
Я — *“мечтатель!..”*»

Так сказав, наклонил
Он свой лик многодумный.
Я в тоске возопил:
«Он — безумный».

3

Здесь безумец живет...
Среди белых сиреней
На террасу ведет
Ряд ступеней.

За ограду на весь
Прогуляться безумец не волен...
Да, ты здесь!..
Да, ты болен!..

Втихомолку, смешной,
Кто-то вышел в больничном халате,
Сам не свой,
Говорить на закате.

Грусть везде...
Усмиренный, хороший,
Пробираясь к воде,
Бьет в ладоши.

Что ты ждешь у реки,
Еле слышно колебля
Тростники,
Горьких песен зеленого стебля?..

Что, в зеркальность глядясь,
Бьешь в усталую грудь ты тюльпаном?
Всплеск, круги... И, смеясь,
Утопает, закрытый туманом.

Лишь тюльпан меж осоки лежит
Весь измятый, весь алый...
Из больницы служитель бежит
И кричит, торопясь... запоздалый[7].

Февраль 1904 года

---

[1] Пометы Блока красным карандашом: «1904 — весна»; «1904 — февр.».

[2] Образы из стихотворения Блока «Обман» («В пустом переулке весенние воды...», 5 марта 1904 г.); автограф его Блок выслал С. М. Соловьеву при письме от 8 марта 1904 г. (см. комментарий О. А. Кузнецовой: ПСС II, 731), с просьбой: «Покажи, пожалуйста, Борису Николаевичу те стихи, которых он не знает» (VIII, 98). Апеллируя к образам этого стихотворения, Белый писал Э. К. Метнеру в первой половине мая 1904 г.: «Потом я уже узнал, что 1) Блок тоже *погибал* внутренне за эти дни (началом ужаса у него были стихотворения о *карлике с девушкой* и тому подобные)» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 213).

[3] Строка из стихотворения «Обман».

[4] Книга Белого «Золото в лазури» вышла в свет перед пасхой 1904 г. Подаренный Белым экземпляр в библиотеке Блока не сохранился, судьба его проясняется из пометы Блока: «Пропало у М. И. Т.» (М. И. Терещенко) (*Библиотека Блока, 3.* С. 210).

[5] Стихотворение обращено к В. Брюсову. В иной последовательности частей опубликовано в «Весах» (1906. № 8. С. 4—6). Отдельные строфы в кардинально переработанной редакции вошли в стихотворения «Поэт», «Созидатель», «Маг» из раздела «В. Брюсову» книги стихотворений Андрея Белого «Урна» (М., 1909. С. 15—19).

[6] Отдельные фрагменты этого стихотворения распределены по двум позднейшим стихотворениям — «Успокоение» и «В темнице», — помещенным в книге Андрея Белого «Пепел» (СПб., 1909. С. 168—170, 173—174).

[7] Опубликовано: *Золото в лазури.* С. 231—235; варианты отдельных строк.

---

41. БЛОК – БЕЛОМУ

<7 апреля 1904. Петербург>[1]

Милый дорогой друг Борис Николаевич.

Твое письмо меня поразило сразу же. Ты знаешь обо мне то, чего я сам не сознавал, и вдруг сознал... и утешился. «Лик безумия сошедший в мир» — и притом *нынешнего* нашего безумия — грозил и прежде. Но, знаешь ли? Он разрешит грозу и освежит. Я *спал* и видел холодные сны (в букв<альном> см<ысле>). Не далее как сегодня во сне мне явился наконец Брюсов в ужасающей простоте его внутренних «потемок» и в физической красоте — нежный, как мальчик с черной бородкой. Тут был и твой «Одинокий» и вчерашний рассказ, слышанный мной у Мережковских (..!..) о пьяном Брюсове в «Грифе». Среди бела дня снился мне кошмар об «опрокинутых кадках» и девушке с карликом[2]. Но вдруг я слушаю, смотрю: кругом гам, шум, трескотня, лучшие гаснут или тлеют, по многим квартирам прошла тень дряхлости, погас огонек, бежавший по шнурку, готовый, казалось, зажечь тысячи свечей. И темно. Прежних лиц я уже не вижу, страх перед *ними* отошел в милую память о собственной юности. *Больше некого бояться.* И люди уже не страшны. *Зато* («в предвестие, иль в помощь, иль в награду»[3]) возвращается древняя и бурно-юная боязнь *стихий* — изнутри и извне. Пойдем опять из города на войну исчезнувшей и возвращающейся юности:

«Меня зовет к безвестным высям
В горах поющая весна,
А эта груда женских писем
И не жива и холодна!»[4]

Мы поняли слишком много — и потому *перестали понимать.* Я не добросил молота — но небесный свод *сам* раскололся[5]. И я вижу, как с одного конца ныряет и расползается муравейник *положим* расплющенных сжатым воздухом в каютах, сваренных заживо в нижних этажах, закрученных неостановленной машиной (меня «Петропавловск» совсем поразил[6]), — а с другой — нашей воли, свободы, просторов. И так везде — расколотость, фальшивая для себя самого двуличность, за которую я бы отомстил, если б был титаном, а теперь только *заглажу* ее. — Как видишь, я пишу несвязно. Я окончательно потерял последнюю веру в возможность точности в окончательном. Не знаю ничего, *н о* часто ясно вижу розовую пену и голубой ласковый гребень волны, которая меня несет. Потому — пронесет, а что дальше — опять не знаю. Но хорошо бывает на волне, в певучей пене.

Мне кажется, я могу сказать *Т е б е* окончательно о Тебе самом. Ты не умрешь. Представь себе, я, должно быть, знал это всегда. Есть на Тебе такая

печать чудесного, что лик безумия с Тобой не сольется. Иногда я вдруг сознаю в *Твоем* существовании большую поддержку. Письмами, подобными Твоему последнему, Ты схватываешь меня за локоть и кричишь: «Не попади под извозчика!» А извозчик — В. В. Розанов — едет, едет — день и ночь — с трясущейся рыженькой бороденкой, с *ямой* на лбу (как у Розанова). Выйдя вчера ночью от Мережковских, я подумал: «Мы с Бор<исом> Никол<аевичем>...» Но все-таки, я не знаю, что с Тобой теперь. И едва ли пойму. Впрочем, скорее всего, что временами знаю. Не могу написать Тебе о «Золоте в лазури», как писал о «Симфониях». Слишком важная вообще и для меня лично книга. Спасибо Тебе![7]

Не посылаю Тебе стихов, потому что их нет больше (пока). Получил письмо от А. Н. Шмидт. Она просит определенно отвечать... Сумею ли — не знаю. Но об этом (о Софии) я, пожалуй, все-таки всего определеннее могу сказать[8].

В Мережковских больше нет огня.

В Петербурге есть великолепный человек: Евгений Иванов[9]. Он юродивый, нищий духом, потому будет блаженным.

Обращаюсь к Тебе с очень нахальной просьбой: один очень милый математик (и ученый) — студ<ент>-технолог Гущин просил меня написать Тебе, не можешь ли Ты прислать ему (через меня) следующие книги Твоего отца:

1) Учение о числовых производных. 2) Из 5-ти брошюр о «приближенном исчислении» следующие *три*:

а) Способ последовательных приближений. Прил<ожение> к разложению функций в непрерывные ряды. б) Спос<об> послед<овательного> прибл<ижения>. Приложение к выводу теорем Тейлора и Лагранжа в преобразованной форме. в) Спос<об> послед<овательного> прибл<ижения>. Приложение к интегрированию дифференциальных уравнений.

Если можешь, пришли (не к спеху), а если почему-нибудь нет — ради Бога напиши, что не можешь.

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Не имею сил так утешить Тебя, как Ты меня утешил. Приветствуй от нас Твою маму и пожелай ей всего самого лучшего от нас. Люба Тебя приветствует от всей души.

Любящий Тебя нежно Александр Блок

7/IV 1904. СПб.

---

[1] Ответ на п. 40.

[2] Блок подразумевает свое стихотворение «Обман».

[3] Строка из вступления к поэме Вл. Соловьева «Три свидания» (1898).

[4] Строфа из стихотворения В. Брюсова «У себя» («Так все понятно и знакомо...», 1901), входящего в его книгу «Urbi et Orbi». См.: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 271.

[5] Обыгрывается образный ряд стихотворения Белого «Осень» (*Золото в лазури*. С. 249—250):

В небесное стекло
с размаху свой пустил железный молот...
И молот грянул тяжело.
Казалось мне — небесный свод расколот.

[6] Речь идет о гибели броненосца «Петропавловск», 31 марта 1904 года подорвавшегося на японской мине под Порт-Артуром. Погибли 650 человек, в т.ч. адмирал С.О. Макаров и художник В.В. Верещагин.

[7] Согласно заметке Блока в записной книжке, экземпляр «Золота в лазури» он получил 4 апреля.

[8] Имеется в виду пространное письмо А. Н. Шмидт от 12 марта 1904 г. (ошибочно датированное 1903 г., см.: Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979. С. 489), начинавшееся обращением: «Пишу Вам, хотя не знаю полного вашего имени. Но мы друг о друге слышали от Сергея Соловьева. Он мне даже читал отрывок вашего письма к нему, который мне памятен. Читала я и некоторые ваши стихотворения в "Нов<ом> пути" <...> Давно собиралась я Вам написать <...>. Теперь, узнав от Сережи, что Вы "в своих стихах, обращенных к таинственному женскому лицу, глубоко проникли в таинство Премудрости", я решила не откладывать далее своего намерения» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 466). Далее Шмидт спрашивала, каких воззрений на Софию придерживается Блок, и делилась собственными интуициями в этой связи (см. цитаты из письма Шмидт: *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 375). Из письма Блока к матери от 4 мая 1904 г. (*Письма к родным, I.* С. 120) известно, что он не ответил на это письмо Шмидт.

[9] Подробно о взаимоотношениях Блока с Е. П. Ивановым см.: Максимов Д. Александр Блок и Евгений Иванов // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 344—361. См. также публикации переписки Блока и Иванова: Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову / Редакция и предисловие Ц. Вольпе. Подготовка текста и комментарии А. Космана. М.—Л., 1936; Ильюнина Л. А. Неопубликованные письма из архива Е. П. Иванова // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1990. М., 1992. С. 99—123.

---

42. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва 1904 апреля 8 [1].

Милый, милый Александр Александрович,

Спасибо за письмо. Мне стало тепло от него и уютно — стало уютно в бесприютности. Я вспомнил огневые закаты, зеленые травы и много синеньких колокольчиков. Аромат полей и несказанное блаженство приближений ушло от меня теперь, весной, а еще осенью, в ноябре, приходила весна и пела. Но почему-то я знаю, что когда, разбитый и усталый, убегающий от безумия, я приду в зеленую чащу и в изнеможении замру весь в цветах, Ты меня поймешь и не станешь расспрашивать *ни о чем*. Я Тебя нежно люблю за это, как будто уже все это произошло. Я не могу сейчас говорить умных вещей о Боге, о людях — я устал и хочу думать в цветах о *«ни о чем»*...

Я хочу *забыть*, я хочу быть не человеком, а *«существом»*, вот что спасет людей и вольет свежую волну в их души.

Цветов, цветов — ландышей! Мы будем бродить в лесах. Струевое серебро заблещет звоном между осоками. Мы укроем безумие в холодном серебре. Мы опояшемся серебряной лентой и, молясь, прострем ее, как орарь. Мы поймаем луну — маленький, горький кружок, — в зеркальный орарь и спрячем серебряную ленту вместе с луной между травами. Тонконогий журавль выйдет из лесного сумрака и постучит добродушно нам в спину своим тонким, алмазным клювом. Мы начнем журавлиные игры и потом холодный туман запахнет нас... до утра. Утром нам покажут душившее нас безумие. Громовым комом оно, раздутое, повиснет в утреннем небе. Синебледные зарницы пригрозят нам стрелами, но журавль скажет, указывая клювом на тучу: «Тщетно тщилась»[2].

И мы узнаем праматерь чернодымной, молниеблещущей угрозы. Это будет струевое серебро. Согретое жаром, это оно ринулось ввысь и, затерявшись в

голубых пустынях, нахмурилось. Тщетно грозило оно... и вот настал день: оно прольется перлами над серебряным озером, чтобы вернуться в первобытную, хаотическую прохладу...

Друг, ничего не надо. Будем отдыхать, бездумные, бездымные. Пока не нужно знать, существуем мы или нет, пусть этим занимаются неуклюжие проходимцы счастья. Само счастье ни в чем не нуждается. Оно слишком аристократично. Оно от безмыслия. Оно, только оно, как и цветы, успокоит, забаюкает...

Прости меня, Александр Александрович, за эти ненужные слова, но я сел писать Тебе по какому-то мгновенному влечению, не зная что сказать (я разучился говорить), зная только, что если я сейчас не напишу, то не напишу долго.

Я очень ярко ощущаю, что мы соединены чем-то очень сильно. Должно быть, будущим. У меня большая потребность Тебя видеть. Семенов мне передавал, что Ты будешь недалеко от Москвы[3]. Неужели не заедешь? Может быть, Ты приедешь к нам летом в Тульскую губернию. Я был бы ужасно счастлив Тебя видеть. Мне вообще кажется, что мы должны видеться в близком будущем. Здесь, в Москве, я начинаю себя чувствовать ужасно одиноким. Не будь Сережи, я бы мог сказать, что совершенно одинок, хотя *«друзей»* сколько угодно.

В настоящее время у нас начинает процветать *«аргонавтизм»*[4] и, несмотря на его проективность, я уже с грустью убеждаюсь, что догматизму в нем еще больше, чем у *«Скорпионов»* и *«Грифов»*.

В настоящее время — шепну Тебе — *«аргонавтизм»* у меня невольно отождествляется с *«сахариновым производством»*... так что бесчинность *«скорпионов»* после столького количества *сахара* начинает прямо-таки привлекать.

Ты недаром видел во сне Брюсова. Брюсов значительней кого бы то ни было. В то время как другие выставляют напоказ свою глубину, он все усилия употребляет на то, чтобы спрятаться.

Был у меня Семенов. Какой он бедный! Ходит вокруг да около, ни во что не попадая прямо. Зато он, кажется, очень хороший, честный человек. Показывал стихотворения Фридберга. Очень понравились.

Вышел перевод Бодлера Эллиса. *Перевод убийственно плох. Он меня очень просит написать рецензию*[5]. Увы, увы!..

Дорогой Александр Александрович! Может быть, Ты мне напишешь. Твое письмо меня согрело. Если будут стихи, не забудь меня.

У меня теперь стихов нет. Поэтому я ничего не посылаю. Мой привет, искреннее расположение и уважение Любовь Дмитриевне. Мама просит меня передать свой привет и уважение Любовь Дмитриевне и Тебе.

Христос с Тобой. Остаюсь горячо Тебя любящий

Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 41. Помета Блока красным карандашом: «1904 — 8 апр.».

[2] См. примеч. 3 к п. 23.

[3] Подразумевается традиционное летнее проживание в Шахматове.

[4] Так Белый и Эллис определяли мистико-«жизнетворческое» умонастроение, объединявшее их и близких к ним молодых людей — «аргонавтов» (название этого неформального кружка проецировалось на программное стихотворение Белого «Золотое руно»). Подробнее см. главку «Аргонавтизм» в мемуарах Белого (*Начало века*. С. 123—132), а также: Лавров А. В. Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 103—148.

[5] Имеется в виду издание: Эллис. Иммортели. Вып. I. Ш. Бодлэр. М., 1904. Рецензию на эту книгу Белый, по всей вероятности, не написал. Резко отрицательный отзыв на «Иммортели» поместил Брюсов в «Весах» («Новый перевод Бодлера» // 1904. № 4. С. 42—48. Подпись: Аврелий).

---

43. БЛОК – БЕЛОМУ

Петербург. 9 апреля, 1904.[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич!

Твои письма и книга[2] помогают мне ужасно. Я совсем устал и на всех окружающих лицах заметил усталость и забвение. Но все так прекрасно кругом, и я, как Ты, думаю о ландышах. Мы с Любой уедем нарочно рано в деревню, именно для ландышей и даже для самых ранних почек, чтобы совсем отдохнуть и покончить с городом всякие счеты. Я думаю, теперь даже лучше мне будет не заезжать в Москву — весной, а прямо с поезда в деревню. А в Ваш Серебряный Колодезь[3] мне хочется и спасибо Тебе за Твой призыв, кажется, что соберусь, хотя наверное не могу обещать. Ты же *пожалуйста непременно* приезжай к нам в Шахматово летом, там хорошо, уютно и глухо. Кроме того, мы все Тебя очень любим, а я, в частности, «только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я Тебя» — и не спрошу, «где был и откуда идешь»[4]. Мне было за это время действительно ужасно скверно (см. прилагаемые стихи). Я до такой степени «пожелал ругаться среди лапчатых листьев»[5], что оставил в душе своей какой-то горький осадок от метания стрел в позитивистов; «голосил низким басом»[6], за что и был окачен, но не светопенным потоком[7], а... совершенным равнодушием. Не раз палил из 12-дюймовой пушки по трясогузкам. «Запалился», как старая кляча, так что должен собственно ехать теперь по железной дороге в обществе «8-ми лошадей» (что, впрочем, гораздо приятнее «40-ка человек»[8]).

Обнимаю Тебя крепко, милый друг. Благодарим Тебя с Любой за посвященные нам с Любой стихи[9]. Пожалуйста, передай наши приветствия Твоей маме. — Знаешь, я до сих пор не знаю, что делать с «Грифом». Как Ты думаешь, издавать мне стихи, или подождать? Мне и хочется и нет, и как-то не имею собственного мнения на этот счет[10].

Преданный и любящий Тебя

Ал. Блок

I

Я восходил на все вершины,
Смотрел в иные небеса,
Мой факел был и глаз совиный,
И утра Божия роса.

За мной! За мной! Ты молишь взглядом,
Ты веришь брошенным словам,
Как будто дважды чашу с ядом
Я поднесу к своим губам!

О, нет! Я сжег свои приметы,
Испепелил свои следы!
Все, что забыто, недопето, —
Не возвратится до Звезды! —

До Той Звезды, Которой близость
Познав, — сторицей отплачу
За все величие и низость,
Которых тяжкий груз влачу![11]

II

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Павиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу.

Я ловлю твои сны налету
Бледно-белым прозрачным цветком.
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи!
Я огонь для тебя сберегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.

В церкви встанешь ты, бледен лицом,
И к Царице Небесной придешь, —
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почуять знакомую дрожь...

Над тобой — как свеча — я тиха,
Пред тобой — как цветок — я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Все Невеста — и вечно Жена[12].

III

МОЛИТВЫ[13]

1

Наш Арго! Наш Арго!

Андрей Белый[14]

Сторожим у входа в терем,
Верные рабы.
Страстно верим. Выси мерим.
Вечно ждем трубы.

Вечно — завтра. У решотки
Каждый день и час
Славословит голос четкий
Одного из нас.

Воздух полон воздыханий,
Грозовых надежд.
Весь горит от несмыканий
Воспаленных вежд.

Разгорится — разорвется
Черных туч гряда.
Кто нам сверху улыбнется?
Ты? Весна? Звезда?

Просветленной вереницей
Глянем в небеса.
Встретят весны, встретят птицы,
Встретят голоса.

Ангел розовый укажет,
Скажет: Вот Она:
Бисер нижет. В нити вяжет. —
Вечная Весна.

Не поймем — услышим звуки
Отходящих бурь.
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь[15].

2

УТРЕННЯЯ

До утра мы в комнатах спорим.
На рассвете — один из нас
Выступает к розовым зорям,
Золотой приветствовать час.

Высоко он стоит над нами —
Тонкий профиль на бледной заре.
За плечами его — за плечами —
Все поля и леса в серебре.

Так стоит в кругу серебристом —
Величав, милосерд и строг.
На челе его бледно-чистом —
Мы читаем, что близок срок[16].

3

ВЕЧЕРНЯЯ

Жизнь была решенная задача.
Смерть пришла, как радость встречи с Ним.[17]

Солнце сходит на Запад. Молчанье.
Задремала моя суета.
Окружающих мерно дыханье.
Впереди — огневая черта.

Я зову тебя, Смертный Товарищ!
Выходи! Расступайся земля!
На золе прогремевших пожарищ
Я стою, мою жизнь утоля.

Утомилась она, задремала...
Спит, решенной задаче верна.
И вчера мне из тучи кивала
Светозарная — Сказка — Жена.

Приходи, мою сонь исповедай,
Причасти и уста оботри.
Утоли меня тихой победой
Распылавшейся алой Зари.[18]

4

НОЧНАЯ

Они Ее видят! Они Ее слышат!

Брюсов[19].

Тебе, Чей Сумрак был так ярок,
        Чей Голос Тихостью зовет! —
Приподними небесных арок
        Все опускающийся свод.

Мой час молитвенный недолог.
        Заутра обуяет сон.
Еще звенит в душе осколок
        Былых и будущих Времен.

И в этот час, который краток,
        Душой измученной зову:
Явись! Явись! Продли остаток
        Минут, мелькнувших наяву!

Тебя, Чья Тень давно трепещет
В закатно-розовой пыли,
Пред Кем томится и скрежещет
Великий маг моей земли, —

Тебя — племен последних Знамя!
Ты, Воскрешающая Тень!
Зову Тебя! Склонись над нами!
Нас ризой Тихости одень![20]

5

НОЧНАЯ

«... Не можешь быть стражем кедров Ливанских...»

Новиков, «Утренний свет»[21]

Спи. Да будет Твой сон спокоен.
Я молюсь. Я дыханью внемлю.
Я грущу, как заоблачный воин,
Уронивший панцирь на землю.

Бесконечно легко мое бремя.
Тяжелы только эти миги.
Все снесет золотое время:
Мои цепи, думы и книги.

Вся тоска моя — ужас вещий.
Бьюсь в пыли над серебряным кладом.
И со мной бунтуют все вещи,
Как вакханты, полные ядом.

Кто бунтует — в том сердце щедро.
Но безмерно прав молчаливый.
Я томлюсь у Ливанского кедра.
Ты — в тени — под мирной оливой.

Я безумец. Мне в сердце вонзили
Красноватый уголь пророка!
Ветви мира Тебя осенили...
Непробудная!.. Спи до срока[22].

---

[1] Ответ на п. 43.

[2] «Золото в лазури».

[3] Имение Бугаевых в Ефремовском уезде Тульской губернии.

[4] Обыгрывается строфа из стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887):

Где была и откуда идешь,
Бедный друг, не спрошу я, любя;
Только имя мое назовешь —
Молча к сердцу прижму я тебя.

[5] Фраза из «лирического отрывка в прозе» Белого «Ссора» (*Золото в лазури*. С. 188).

[6] Строка из стихотворения Белого «На горах» («Горы в брачных венцах...») (*Золото в лазури*. С. 120).

[7] Подразумеваются заключительные строки стихотворения «На горах» (С. 121):

Я в бокалы вина нацедил
и, подкравшися боком,
горбуна окатил
светопенным потоком.

[8] Подразумевается норма провоза «живого груза» в товарных вагонах: «8 лошадей или 40 человек».

[9] В «Золоте в лазури» Блоку посвящено 5 стихотворений: «Опала», «Полунощницы» и цикл из трех стихотворений «Блоку»; Л. Д. Блок посвящено стихотворение «Воспоминание».

[10] Видимо, предварительная договоренность относительно издания в «Грифе» книги стихотворений Блока была достигнута в ноябре 1903 г., во время пребывания С. А. Соколова в Петербурге. 30 декабря 1903 г. Блок сообщал отцу: «<“Гриф”> обещает издать мою первую книжку. Мне хочется издать ее осенью, не знаю наверное, сможет ли сделать это “Гриф”. Однако, объявление уже сделано» (*Письма к родным, I*. С. 98). В числе книг, готовящихся «Грифом» к печати, сборник «Александр Блок. Стихи» впервые был назван в разделе объявлений, помещенном в книге Оскара Уайльда «Саломея» (М., «Гриф», 1904; цензурное разрешение — 3 октября 1903 г.). Последующие колебания Блока были отчасти обусловлены тем, что «Гриф», по первым результатам его издательской практики, приобрел в сознании поэта нелестную репутацию; своими соображениями в этой связи Блок делился с С. М. Соловьевым (письмо от 8 марта 1904 г.): «... мне ужасно не хочется печатать сборник в Грифе. <...> Грифы <...> — очень хорошие люди и искренно не понимают и не видят, что им гораздо лучше не издавать ничего; <...> Гриф — *положительная* подделка и большой грех против искусства по отношению к людям (публике): публика не различает дурного от хорошего и будет ругать без разбора “Гриф” и “не Гриф”» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1*. С. 371). Обстоятельства издания в «Грифе» первой книги Блока «Стихи о Прекрасной Даме» нашли отражение в письмах С. А. Соколова к Блоку (21 июля 1904 г. — 9 марта 1905 г.), опубликованных К. Н. Суворовой (Там же. С. 535—540); см. также: Орлов Вл. Литературное наследство Александра Блока // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 514—516; Минц З. Г. О первом томе лирики Блока // ПСС I, 395—401.

[11] Датируется 15 марта 1904 г., впервые опубликовано в альманахе «Корона» (Кн. 1. М., <1908>. С. 76).

[12] Датируется 26 марта 1904 г., впервые опубликовано в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905. С. 61—62).

[13] Цикл «Молитвы» (авторская датировка: «март—апрель 1904») написан по возвращении Блока из Москвы и навеян переживаниями «мистического братства», испытанными при общении с Белым, С. Соловьевым и их друзьями-«аргонавтами».

[14] Эпиграф — из стихотворения Белого «Золотое руно» (*Золото в лазури*. С. 9).

[15] Впервые опубликовано (без 4-й и 5-й строф) в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме», в цикле «Молитвы» (С. 56—57). Приведя в «Воспоминаниях о Блоке» весь текст стихотворения (в печатной редакции), Белый пояснял: «“Аргонавты” восторженно относились к поэзии Блока, считая поэта своим, “аргонавтом”. Впоследствии он посетил “воскресенья” мои (в свою бытность в Москве); и, вернувшися в Петербург, он прислал мне стихи, посвященные “Арго”, с эпиграфом из стихов “Аргонавты” (моих) и написанных, как гимн, аргонавтам <...> Стихотворенье пронизано аргонавтическим воздухом; переживанья искателей Золотого Руна отражает оно; строчки же «молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь» передают ту идею конкретного братства, которую мы пыталися осуществить» (*О Блоке*. С. 54—55).

[16] Впервые опубликовано в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме», в цикле «Молитвы» (С. 58).

[17] Эпиграф — из стихотворения К. Д. Бальмонта «Верьте мне, обманутые люди...» (1900; см.: Бальмонт К. Будем как солнце. Книга символов. М., 1903. С. 233).

[18] Впервые опубликовано (без эпиграфа и 3-й строфы) в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме», в цикле «Молитвы» (С. 59).

[19] Эпиграф — первая строка стихотворения В. Брюсова «Младшим», входящего в его книгу «Urbi et Orbi» (М., 1903. С. 167) и обращенного к «младшим» символистам — мистикам-теургам, т. е. в первую очередь к Белому и Блоку; стихотворению «Младшим» предпослан эпиграф из Блока: «Там жду я Прекрасной Дамы» — строка из стихотворения «Вхожу я в темные храмы...», впервые опубликованного в составе цикла «Стихи о Прекрасной Даме» в «Северных Цветах» (М., 1903. С. 92).

[20] Впервые опубликовано в «петербургском альманахе» «Белые Ночи» (<СПб.>, 1907. С. 15) под заглавием «Ночная молитва»; варианты.

[21] Эпиграф — из масонского журнала «Утренний Свет», издававшегося Н. И. Новиковым в 1777—1780 гг.; к этому источнику Блок обращался в ходе работы над курсовым сочинением «Болотов и Новиков». См.: Владимирова И. <Душечкина И. В.>, Григорьев М. <Альтшуллер М. Г.>, Кумпан К. А. А. Блок и русская культура XVIII века // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 535). Тарту, 1981. С. 27—115.

[22] Впервые опубликовано (без эпиграфа и 3-й строфы) в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» в цикле «Молитвы» (С. 60).

---

44. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. Апреля 15-го. <1904>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

Спасибо за письмо и за стихотворения, которые мне *страшно* понравились, сами по себе, и как нечто удивительное по нежности и мягкости. В них чувствуется *омытость лазурью*. Хожу и все повторяю:

«Павиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу»...[2]

Опять *Ее* дыханье, *Ее* ласка, *Ее* улыбка. Ее ланиты — розы Вечности, Ее губы — коралл, узкий и тонкий, как багряное облачко, растянутое у горизонта, а между кораллом зубы ее — жемчужные — ...ожерелье жемчугов протянулось на западе. А на востоке

«В золотистых перьях тучек
Танец нежных вечерниц»...[3]

Это двустишие не дает мне покоя. Читал Семенову Твои стихи. Он в совершенном восторге. Он мне больше и больше нравится как за то, что откровенен, так и за то, что очень любит Тебя и Любовь Дмитриевну. Говорили о Мережковских, и он соглашается, что Дм<итрий> Сер<геевич> *сказался весь* и что дальше от него ждать нечего.

Вот хорошо было бы, если б Ты приехал к нам в деревню. Я не знаю — *это было бы нечто прямо неизгладимое.* Я с охотой заехал бы к Тебе, но только вот что: мне удобнее это было бы сделать в начале июня, 1-го, 2-го, ибо в конце мая я буду в Москве для подачи прошения[4]. Постараюсь отыскать книги, нужные для математика (твоего знакомого)[5], но не уверен, что найду их среди *хаоса* других книг (надо искать в кладовой среди кое-как сваленных и покрытых пылью книг). Но не в пыли дело. Она развеется. Догорит «злое пламя земного огня»[6] и опять, и опять *«вся в лазури»* явится София... Вот Она:

«Бисер нижет. В нити вяжет
Вечная Весна.
Не поймем — услышим звуки
Отходящих бурь,
Молча свяжем вместе руки,
Отлетим в лазурь.[7]

Целую Тебя. Христос с Тобой.
Крепко обнимаю Тебя.

Любящий Тебя Борис Бугаев

P. S. Мой привет Любовь Дмитриевне, мое расположение и уважение.

P. P. S. Признаюсь Тебе, что я написал стихотворение, в котором встречаются Твои рифмы: *товарищ* и *пожарищ*[8]. Так непроизвольно вышло. Прости. Разрешишь ли воспользоваться ими, или нет?

Посылаю стихи:

Крыши. Камни. Пыль. Звучит
Голос бархатного альта.
К небу едкий жар валит
Неостывшего асфальта.

Стен горячих вечный груз.
Вечный смрад летит в окошко.
Оборванец снял картуз.
Глаз подбит, а нос картошкой.

«Сударь, голоден, нет сил,
Не оставьте богомольца.
На руках и я носил
Золотые кольца...»

«На чаек швырял не раз
Оборванцам рупь я...»
Озаряет желтый газ
Мертвенные струпья.

«Коль алтын купец дает,
Провожу в ночлежке ночь я...»
Ветерок, дохнув, рванет
На плечах иссохших клочья.

На танцующую дрянь
Посмотрел купец сурово.
«Говорят тебе, отстань,
Позову городового!..»

Стены. Жар. В зубах песок.
Люди. Тумбы. Гром пролеток.
Шелест юпок. Алость щек
Размалеванных красоток.

«Милостивый государь,
Очень вами благодарен...
Был и я когда-то встарь
Барин!...»[9]

P. S. Ты спрашиваешь моего мнения о Твоем сборнике. 1) Или Ты *еще* не хочешь печатать, 2) или Ты не хочешь печатать в *Грифе*. В первом случае, мне кажется, может идти лишь речь о том, хочешь ли Ты *сразу же* занять в поэзии место наравне с Лермонтовым, Фетом, Тютчевым, чтобы в будущем стремиться стать *над ними*; Твой будущий сборник будет сразу *почти* на одном уровне с Брюсовым, если мы будем смотреть с чисто *формальной* точки зрения, и *превзойдет* его *существенностью* и *интенсивностью настроений*. Во втором случае, мне думается, можно и очень печататься в *«Грифе»*. Одно дело неудачный альманах[10], другое дело — *книгоиздательство*. Альманах преподносил «Ярковых[11], Койранских, Табенцких» и т. д., а книгоиздательство выпустило еще только *«Бальмонта* и *Уальда»*[12].

---

[1] Ответ на п. 43. Помета Блока красным карандашом: «1904 — 15 апр.».

[2] Цитата из стихотворения «Мой любимый, мой князь, мой жених...», присланного при п. 43 (с. 143 наст. изд.).

[3] Заключительные строки стихотворения Блока «Светлый сон, ты не обманешь...» (25 февраля 1904 г.); автограф его, очевидно, был послан Блоком С. М. Соловьеву при письме от 8 марта 1904 г. (ПСС I, 616).

[4] Подразумевается прошение о повторном зачислении студентом в Московский университет — на историко-филологический факультет.

[5] См. п. 41.

[6] Заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась...» (1875).

[7] Заключительные строки стихотворения Блока «Сторожим у входа в терем...», присланного при п. 43 (с. 144 наст. изд.).

[8] Эта рифма, заимствованная из стихотворения Блока «Вечерняя», присланного при п. 43 (с. 145 наст. изд.), использована Белым в стихотворении «Побег» (с. 156 наст. изд.).

[9] Опубликовано под заглавием «Попрошайка» в «Альманахе к-ва “Гриф”» (М., 1905. С. 12—13).

[10] Ср. суждения Блока о печатной продукции издательства «Гриф» в письме к С. М. Соловьеву от 8 марта 1904 г.: «Гриф выпустил два альманаха, Бальмонта и Уайльда. Все издано более или менее скверно» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 371).

[11] Н. Ярков — псевдоним Н. Е. Пояркова, под которым были напечатаны четыре стихотворения и прозаический этюд «Пустыня» (Альманах «Гриф». М., 1904. С. 88—96). Ср. отзыв Блока в цитированном письме к С. М. Соловьеву: «(По)Ярков — пуговица от Бальмонтовых панталон!» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 371).

[12] Помимо двух альманахов, изданных в 1903 и 1904 г., «Гриф» к тому времени выпустил в свет книгу стихов К. Д. Бальмонта «Только любовь» (1903) и драму О. Уайльда «Саломея» (1904; перевод Л. и С. Андрусон, под редакцией К. Д. Бальмонта).

---

45. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Апрель—май 1904. Серебряный Колодезь>[1]

Дорогой Милый Александр Александрович,

пишу Тебе как *«существо» «существу»*. Я все забыл. Я не знаю, где я. Сладко мне мчаться на сонных волнах. Сладко забыться на крыльях Вечности. Она домчит нас на родину. Какой простор *там*, какая свобода, какое тихое, блаженное веселье! Вижу отсюда улыбки, приветы, смехи — вижу тех, с кем связан навеки судьбой. Вот качаются ароматно-сиреневые аметисты, повитые свежим, холодеющим, как ветр, пурпуром. Вот знакомое, розовое облачко тает на горизонте. Милый, разве Ты не знаешь это облачко? Вижу трепет крыл серафических, вижу Ее, пронизанную *лазурью золотистой*[2]. Там встречаю я Твою улыбку, Твое доброе, ласковое пожелание. *«В добрый путь»*, говорю я себе, и мчусь, и мчусь. Ты не можешь себе представить, до чего мне радостно чувствовать Тебя *там. Там* так мало знакомых. Почти никого из *«здешних»* я не встречаю. Чем больше я думаю и переживаю, тем яснее мне, что знакомство с Тобой и с Любовью Дмитриевной для меня *неспроста*, точно так же, как неспроста для меня Брюсов, который изнутри (я это чувствую, а также имею некоторые *внешние* и *веские* сведения) ведет против меня атаку[3]. Но в то время, как Брюсов, встречаемый *там* — всегда оборотень — злая собака, лающая из белоснежных, росистых левкоев, или нетопырь, прилипающий к груди, чтобы пить кровь, — в это время Ты и Любовь Дмитриевна — ласковые, мягкие, утешающие. Ты думаешь, я не чувствую того мягкого, тихого успокоения, которое облаком находит на меня от времени до времени, и в котором я узнаю *знакомые мне приветы. Я это знаю, знаю* (я теперь многому научился). Слов мне не нужно. Спасибо Тебе, дорогой друг, за ласковое отношение ко мне. Знай, что оно мне несказанно дорого, как дорог был Ты мне, еще когда я не переписывался с Тобой. Бесконечно дорога мне и Любовь Дмитриевна. Я пишу все это неожиданно для себя, может быть, оттого, что, вырвавшись из города, я ушел в милое блаженство, откуда мне виднее *внутренние*, обитающие в тишине людские мысли.

Как было бы хорошо, если бы Ты ко мне заехал? Что касается до меня, то я постараюсь летом быть у Тебя вместе с Сережей, если Ты позволишь. Ты не то что Антоний, который в меня бросил камнем суровости в тот миг, когда я, и без того разбитый и уничтоженный, ждал от него слов утешения. Кроме всего: он выказал *такое* незнание меня и в то же время так грубо определил насильно, чем мне нужно быть, что я из гордости решил не подходить к нему ближе, но застегнуться на все пуговицы. Больше мне нет смысла бывать у него[4].

Из того обстоятельства, что волны ужаса с глухой яростью разбивались недавно о скалы, которые воздвигнуты изнутри для защиты, я заключаю, что в будущем мы все *будем нужны*. Такой бури, такой ярости вражеской, которая разразилась недавно над многими, я не запомню. Из этого заключаю, что враг обеспокоился. А поэтому будем твердо встречать *страхи*, наметаемые врагом.

Утешением мне остается только то, что мы — *любимые дети любящего Отца, Который сумеет защитить нас, так что нам нечего опасаться безмерно.* О, я чувствую, что *Он* — любит меня, и мне бывает так мило и так тепло в бесприютной суровости тишины. *Он* — показывает мне солнечную страну, и сад, и много цветов. А когда мне покажется, что *Он* оставил меня, я начинаю плакать и капризничать, пока Кто-то, Любящий, не склонится надо мной. И вся надежда моя не на меня самого, не на поступки мои, а на Его любовь ко мне, на мою любовь к Нему. Я говорю себе в дни испытаний: «Куда я пойду, если Он меня прогонит от себя». И когда я так говорю, я уже чувствую, что Он — со мною. Больше я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Счастливый и успокоенный я плыву, плыву — уплываю на родину. Милый, *там* увидимся! Прощай, прощай, прощай!

Остаюсь готовый к услугам уважающий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любовь Дмитриевне. Не пришлешь ли мне стихов? Я теперь в деревне. Напиши что-нибудь. Мой адрес: Тульская губерния, г. Ефремов. Сельцо Серебряный Колодезь. Напиши точно свой адрес.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1904 — весна».

[2] Образ восходит к поэме Вл. Соловьева «Три свидания» (гл. 1): «Пронизана лазурью золотистой».

[3] О психологическом противостоянии с Брюсовым, очевидные симптомы которого Белый стал ощущать весной 1904 г., см. во вступительной статье С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова к переписке Брюсова и Белого (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 332—339), а также: Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 545—561.

[4] В 1903—1904 гг. Белый неоднократно посещал в Донском монастыре епископа Антония, которого позднее, в «Воспоминаниях о Блоке», назвал «личностью замечательной и одаренной прозрением» (*О Блоке.* С. 56); 14 января 1904 г. ездил к Антонию вместе с Блоком (см.: письмо Блока к матери от 14—15 января 1904 г. // VIII, 84; *О Блоке.* С. 77; Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 64). В дневнике епископа Антония имеется запись о Белом, относящаяся к этому времени: «Это юноша изящный, нежный, ему нужно чистое дело, а не туман. <...> Я не пророк, но я вижу, что если он вовремя не остановится, то погибнет совсем. <...> Растреплется совсем, а жаль, он очень талантливый» (Иеромонах Андроник. Епископ Антоний (Флоренсов) — духовник священника П. Флоренского // Журнал Московской патриархии. 1981. № 10. С. 67—68). См. также (в рубрике «Из наследия П. А. Флоренского»): Иванова Е. В., Ильюнина Л. А. К истории отношений с Андреем Белым // Контекст — 1991. Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 7.

---

46. БЛОК – БЕЛОМУ

<16 мая 1904. Шахматово>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Твои письма, за которые крепко Тебя обнимаю, я получил недавно — мне переслали первое из П<етер>б<ур>га. Спасибо за совет, книги[2], а главное за любовь. В стихах — лучшие строки —

На руках и я носил
Золотые кольца[3].

А вообще — сочинение если не Вал<ерия> Яковлевича, то по крайней мере — Валерия Николаевича Бугаева. То же все время происходит со мной, но в еще большем размере, так что от моего имени остается разве окончание: *ок* (В. Я. Бр...—ок!). Я в отчаяньи, и усиленно надеюсь на исход из асфальтовых существительных[4]. Как только подашь прошение — приезжай в Шахматово, милый. Я надеюсь, что Тебе теперь лучше, мне гораздо лучше, чем было в городе, где все стало томительно непонятным. Дело в том, что в начале июня приедут позитивисты-родственники[5], но не в самых первых числах, так что хорошо бы нам некоторое время пробыть без них. Тут дело идет, конечно, не о нас, которым все время будет свободно, но, например, о маме, которая очень захочет видеть и слышать Тебя и вдруг окажется связанной, так что ей не удастся поговорить.

Напиши, пожалуйста, можешь ли Ты приехать и когда именно. Если Тебе ничего — приезжай на ямщике от станции, так как это может совпасть с приездом родственников, а назад мы Тебя отвезем на наших лошадях. Кроме того, если захочешь, приезжай любого числа *мая*, м<ожет> б<ыть> — перед подачей прошения. Впрочем, как Тебе удобнее. А мне хочется к Тебе приехать, и думаю, что исполню это. Кроме того, вдруг Ты приедешь еще раз летом! Это будет недурно! Я думал пригласить из П<етер>б<ур>га Евг<ения> Иванова, человека очень замечательного, который очень хочет с Тобой познакомиться. Мне кажется, что он понравится Тебе, он очень добр и искренен, кроме ума и пр. К нам приезжала А. Н. Шмидт. Впечатление оставила смутное, во всяком случае, хорошее — крайней искренности и *ясности ума*, лишенного всякой «инфернальности» — дурной и хорошей. Говорила много тонких вещей, которые мне *только понятны*[6]. Знаешь ли — у меня не (анти?) христианское сознание... Много мучительного... Ночь еще не «на исходе»...[7] Но, — чувствую опять временами:

Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут Тебя опять за дымкою туманной, —
Я плачу сладостно, как первый Иудей
На рубеже земли обетованной;
Не жаль мне детских игр...[8]

Написал первую часть пробрюсованной поэмы «Три свидания». Лучше прочту при свидании с Тобой — длинно и... в отношении стихов ужасно недоволен собой[9]. Ты меня очень поддержал своим сочувствием последним стихам — о павилике и «Молитвах»[10].

Целую Тебя крепко и жду, милый. Приезжай. Все Тебя очень ждем.

Твой Ал. Блок

Шахматово — 17 верст от ст<анции> Подсолнечной Н<иколаевской> Ж<елезной> Д<ороги>.

16 мая 1904.

---

[1] Ответ на пп. 44, 45. Блок обосновался в Шахматове с 22 апреля 1904 года.

[2] Видимо, подразумеваются брошюры Н. В. Бугаева, присланные Белым в ответ на запрос Блока в п. 41.

[3] Строки из стихотворения «Крыши. Камни. Пыль. Звучит...», присланного Блоку при п. 44 (см. с. 149 наст. изд.).

[4] Характеристика стихов Брюсова.

[5] Подразумевается семья тетки Блока С. А. Кублицкой-Пиоттух.

[6] А. Н. Шмидт приезжала в Шахматово 12—13 мая 1904 г. (ЗК, 64). Л. Д. Блок, присутствовавшая при беседе Блока и Шмидт, свидетельствует (согласно изложению в примечаниях М. А. Бекетовой): «... Блок больше отмалчивался. Это было единственное свидание их. Очевидно, поведение Блока сразу показало А. Н. Шмидт, что из ее попытки завязать с ним сношения ничего не выйдет. Блок не признал ее "душою мира" и не заинтересовался ни ее личностью, ни ее теориями» (*Письма к родным, I.* С. 326).

[7] Подразумевается строка из стихотворения Белого «Знаю» («Пусть на рассвете туманно...», 1901): «Знаешь ли — ночь на исходе?» (*Золото в лазури.* С. 226).

[8] Начальные строки стихотворения Фета (1844), которое Блок приводит полностью в предисловии к позднейшей книге своей юношеской лирики «За гранью прошлых дней» (Пб., 1920), сообщая: «Заглавие книжки заимствовано из стихов Фета, которые некогда были для меня путеводной звездой» (ПСС IV, 13).

[9] Подразумевается стихотворение, получившее впоследствии заглавие «Неоконченная поэма»; прислано Белому при п. 48 (с. 158—160 наст. изд.).

[10] Подразумеваются стихотворение «Мой любимый, мой князь, мой жених...» и цикл «Молитвы», присланные Белому при п. 43 (с. 143—146 наст. изд.).

---

47. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Сер<ебряный> Кол<одезь>. Май. <Вторая половина.> 1904.[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

К сожалению, я никак не могу приехать к Тебе в конце мая и начале июня. Время же у меня свободное будет в конце июня, в начале июля. Тогда непременно приеду. Ты же приезжай, пожалуйста. Мы ужасно будем рады. Может быть, Ты приедешь в июне? До моего приезда в Шахматово? Это было бы совсем хорошо.

Прости, что ограничусь этими несколькими словами. Ничего писать не могу — полная апатия. Вместо письма присылаю Тебе несколько стихотворений, под Твоим и под Брюсовским влиянием написанных. Прощай, Господь с Тобою.

Любящий Тебя Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любовь Дмитриевне.

ВОСПОМИНАНИЕ

Много, брат, перенесли
На веку с тобою бурь мы!
Помнишь — в город нас свезли.
Под конвоем гнали в тюрьмы.

Била ливнем нас гроза,
И одежда перемокла.
Шел Ты, вдаль вперив глаза,
Неподвижные, как стекла.

Заковали ноги нам
В цепи.
Вспоминали по утрам
Степи.

За решеткой в голубом
Быстро ласточки скользили:
Коротал я время сном
В желтых клубах душной пыли.

Ты не раз меня будил:
Приносил нам сторож водки...
Тихий вечер золотил
Окон ржавые решетки.

Как с убийцей, с босяком,
С вором
Запевали вечерком
Хором!

Здесь на воле меж степей
Вспомним душные палаты,
Неумолчный лязг цепей,
Арестантские халаты[2].

ПОКОЙ БЕЗБРЕЖНЫЙ

Покинув город, мглой объятый,
Пугаюсь шума я и грохота.
Еще вдали звучат раскаты
Как бы насмешливого хохота.

Там я года твердил о вечном.
В меня бросали все каменьями.
И в опьянении беспечном
Моими тешились мученьями.

Я покидаю вас, изгнанник,
Моей свободы вы не свяжете!..
Бегу — согбенный, бледный странник —
Меж золотистых, хлебных пажитей.

Бегу во ржи межой по кочкам
Необозримыми равнинами.

Перед лазурным василечком
Ударюсь в землю я сединами.

Коснись меня, ты — цветик нежный!..
Кропи, кропи росой хрустальною!..
Я ухожу в покой безбрежный
Моей душой многострадальною.

Заката теплятся стыдливо
Жемчужнорозовые полосы,
И ветерок уж рвет лениво
Мои серебряные волосы[3].

ПОБЕГ

Как дитя, мы свободу лелеяли,
Проживая средь душной неволи.
Минул срок. Мы былое развеяли.
Убежали в пустынное поле.

Там, как в тюрьмах, росло наше детище.
Здесь приветствовал стебель нас ломкий.
Ветерок нежно рвал наше вретище —
Мы взвалили на плечи котомки.

И пошли. Силой крестного знаменья
Ты бодрил меня, бледный *товарищ**.
Над простором приветствовал пламень я
Догоравших, вечерних *пожарищ.**

И утешенный облачком *розовым,***
Мой юродивый, бедный ребенок,
Ты смотрел, как <над> лесом *березовым***
Серп луны был и снежен, и тонок[6].

БЕЗЗАБОТНЫЙ

Полно сердцу томиться заботою.
Среди жаром расплавленных *камней.****
От ночи до ночи я работаю,
И работа, как песня, легка *мне.****

Ветерок молодыми побегами
Прошумит мне о сказочной были.

---

* Бессовестный плагиат у Тебя[4]. (*Примечание Белого.*)
** Плагиат у Семенова[5]. (*Примечание Белого.*)
*** Бессовестный плагиат у Брюсова[7]. (*Примечание Белого.*)

День погас. Отдыхаю. Телегами
Поднимают столбы серой пыли.

Встало облако длинными башнями...
С голубых, беднотающих вышек
Над далекими, черными пашнями
Дышит свет златоогненных вспышек.

Блеск и трепет. Зигзаги воздушные
Чьих-то светом пронизанных сабель.
Ровно стелятся травы послушные
Между влажными зубьями грабель[8].

Писал Александр Яковлевич Сбелоброк.[9]

---

[1] Ответ на п. 46. Помета Блока красным карандашом: «1904 — май».

[2] Опубликовано: Андрей Белый. Пепел. СПб., 1909. С. 41—42 — под заглавием «Арестанты», с посвящением В. П. Поливанову, вариантом в 7-й строфе и дополнительной 8-й строфой. Впервые: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 14—15 — в составе цикла «Тоска о воле».

[3] Андрей Белый. Пепел. С. 223—224 — под заглавием «Изгнанник» и с посвящением М. И. Сизову; варианты. Впервые: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 17—18 — в составе цикла «Тоска о воле».

[4] Рифмовка «товарищ: пожарищ» заимствована из стихотворения Блока «Солнце сходит на запад. Молчанье...» (см. с. 145 наст. изд.).

[5] Имеется в виду рифма «розовые: березовые» в стихотворении Семенова «В Троицын день они гуляли...» (1903) (Семенов Л. Собрание стихотворений. СПб., 1905. С. 40).

[6] Андрей Белый. Пепел. С. 200—201 — в составе стихотворения «Странники» («Как дитя, мы свободу лелеяли...» — строфы 1—3, 6), впервые опубликованного в «Альманахе к-ва “Гриф”» (М., 1905. С. 16) в составе цикла «Тоска о воле».

[7] Рифмовка заимствована из стихотворения «Искушение» («Я иду. Спотыкаясь и падая ниц...», 1902) (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903. С. 45).

[8] Строфы 2 и 3 (в исправленном виде) вошли в состав стихотворения «Странники» (строфы 4, 5) (Андрей Белый. Пепел. С. 200—201).

[9] Контаминация имени Блока с отчеством Брюсова. Фамилия — из четырех составных частей: Семенов, Белый, Брюсов, Блок.

---

48. БЛОК – БЕЛОМУ

<5 июня 1904. Шахматово>[1]

Дорогой, милый Борис Николаевич.

Спасибо Тебе за нежные слова. Я ценю, понимаю и принимаю их. В прошедшие годы изредка мелькал в горах Кто-то, Кому я был *склонен минутами* сказать: здравствуй. Чаще всего — это был *всадник в голубом.* Иногда хотелось *принять* его за Христа, но он был так *близок* мне, что я ни разу *не решился* сделать этого: оттого, что Христос, я знаю это, никогда не был у меня, не ласкал

и не пугал, никогда не дарил мне ни одной игрушки, а я всегда капризничал и требовал игрушек.

Теперь всадник ездил мимо. Но я наверное знаю, что это — не Христос, а милый, близкий, домашний для души, иногда страшный. А Христа не было никогда и теперь нет, он ходит где-то очень далеко[2]. Пускай даже в *этих* странах. Но меня это не касается, потому что я живу и жил главным образом в *тех* странах, а из *этих* «убежал с королевой»[3]. Страна, в которой я теперь живу, — «голубая тюрьма»[4] и «зеленая планета» (то и другое явственно в хорошую погоду), где я могу рыть землю и делать забор. От этого у меня исчез даже «почерк» и руки дрожат от топора и лопаты. Я надеюсь на еще большее забвение и тишину.

Что восстанут за вопросы,
Опьянят что за слова,
В час, когда под наши косы
Ляжет влажная трава?[5]

Мне очень хочется развивать мускульную силу, как каждый год, восстановляя утраченное зимой. От этого в буквальном смысле часы становятся ***неведомыми*** и день за днем тонет — голубой, зеленый, белый, золотой. Знаешь ли, в хорошее, глубокое лето мне удавалось иногда найти в себе хорошую простоту и научиться не щадить красок спокойных и равномерных. Здесь никто не щадит красок. Деревья и кусты, небо, земля, глина, серые стены изб и оранжевые клювы гусей.

Позволь мне счесть установленным, что Ты приедешь в конце июня или начале июля. Тогда я позову милого и нежного Евг<ения> Иванова, который очень хотел тебя видеть[6]. Напиши мне, пожалуйста, о расстоянии от станции до «Серебр<яного> Колодца» и от Москвы до Ефремова (Курской дороги?). Можно к тебе приехать невзначай? Только я не могу еще решить — когда и приблизительно. Но легче решить, не назначая точно дня, — только напиши, милый, не стеснит ли это в чем-нибудь Вас с мамой?[7]

Видевшая Тебя и не видевшие приветствуют Тебя и ждут. Целую тебя крепко.

Твой любящий Ал. Блок

NB. Вот масса стихов, в которых я затрудняюсь определить, — что у кого похищено. Но часть — собственная.

P. S. Адрес ты пишешь совершенно точно:
Никол<аевская> ж. д. Ст<анция> Подсолнечная, им<ение> Шахматово.

5 июня 1904, с<ельцо> Шахматово.

Для всякого другого было бы *очень хорошо*, но Блок один может в этом сюжете идти *дальше и дальше**.

BAD NAUHEIM 1897
(первая часть из поэмы «Три свидания»)

Несколько принужденно.

Я видел огненные знаки
Чудес, рожденных на заре.
Я вышел — пламенные маки
Сложить на горном алтаре.

* На полях петитом — пометы Белого.

Прекрасно. Чуть-чуть неясно.	Со мною утро в дымных ризах Кадило в голубую твердь. И на уступах, на карнизах Бездымно испарялась смерть.
Для наполнения стиха. Чутко.	Дремали розовые башни, Курились росы в вышине. Какой-то призрак — сон вчерашний — Кривлялся в голубом окне.
Непринужденно мистически: хотя и не вполне воплощена мысль в стих.	Еще мерцал вечерний хаос — Восторг, достигший торжества, Но все, что в пурпур одевалось, — Шептало белые слова.
В общем оборот под влиянием Брюсова. Прекрасно.	И жизнь казалась смутной тайной. — Чтó в утре раннем, полном сна, Я вскрыл, мудрец необычайный, — Чья усмехнулась глубина?
Чутко и ново.	Там — на горах — белели виллы, Алели розы в цепком сне. И тайна смутно нисходила Чертой, в горах неясной мне.
«Кроток» исключительно для *«пролеток»*. Под влиянием Брюсова.	О, как в горах был воздух кроток! Из парка бешено взывал И спорил с грохотом пролеток *Веками стиснутый** хорал.
Дивно и по-блоковски.	Там — к исцеляющим истокам Увечных кресла повлеклись, Там — в парке, на лугу широком, Захлопал мяч и lawn-tennis.
Прелестно и воплощенно. *«Пламенное тело»* у Брюсова[6]. *«Утра бирюза»* у меня[9].	Там — нить железная гудела, И поезда — вверху, внизу — Со свистом пламенное тело Вонзали в утра бирюзу. —
Прелестно.	И в двери, в окна пыльных зданий Врывался крик продавщика Гвоздик и лилий, роз и тканей, И cartes postales, и «kodak»'а.
	Я понял: — шествие открыто, — Узор явлений стал знаком. Но было смутно, было слито, Терялось в небе голубом.

* Подчеркнуто Белым.

Она сходила в час веселый
На городскую суету.
И тихо возгорались долы,
Приемля Горную Мечту.

И я не знал, что вечер близок,
Что день мелькнул мне одному,
Что там, где дух безмерно низок, —
Готовятся изведать тьму,

Гениальное выражение. В общем типично и знаменательно для Блока (поворот к социализму, уже не раз мелькавший).

Что в диком треске, в зыбком гуле
День уползал, как сонный змей, —
Что счастью в очи не взглянули
*Миллионы сумрачных людей.**

Смутно.

И город шопотом далеким
На возрастающей заре
Манил свиданьем одиноким,
Воздвигшим Утро на горе.

Прекрасно.

Я шел свободно утомленный. —
Бродил в вечерней синеве
Минувший день завороженный,
И росы прятались в траве.

Обще — прекрасно, как *прозрение,* и безусловно хорошо, как стих.

И вот — сверкнут на утро снова,
И встанет Горная — средь роз —
У склона дымно-голубого,
В сияньи золотых волос.

Александр Блок

Шахматово, 8—12 мая 1904.[10]

* * *

Безусловно хорошо и самостоятельно по разработке. Выбор темы несколько мой.

Фиолетовый запад гнетет,
Как пожатье десницы свинцовой.
Мы летим неизменно вперед —
Исполнители воли суровой.

Нас немного. Все — в дымных плащах.
Брызжут искры и блещут кольчуги.
Поднимаем на севере прах.
Оставляем лазурность на юге.

Очень метко.

Ставим троны иным временам.
Кто воссядет на темные троны?
Каждый душу разбил пополам,
И поставил двойные законы.

---

* Подчеркнуто Белым.

Чисто по-блоковски.

Никому не известен конец.
И смятенье сменяет веселье:
Нам открылось в гаданьи: *мертвец*
Впереди рассекает ущелье[11].

* * *

В общем дивное стихотворение.

Удивительно.
Чистый Блок.

Ты оденешь меня в серебро.
И, когда я умру,
Выйдет месяц — *небесный Пьерро.*
*Встанет красный паяц на юру.**

Мертвый месяц беспомощно нем.
Никому ничего не открыл.
Только спросит подругу — зачем
Я когда-то ее полюбил?

Можно бы и иначе.

Смутно.

В этот *яростный сон*** наяву
Опрокинусь я мертвым лицом.
И паяц испугает сову,
Загремев под горой бубенцом.

Знаю — сморщенный лик его стар —
И бесстыден в земной наготе.
Но зловещий восходит угар —
К небесам — к высоте — к чистоте[12].

* * *

Пьяный вздох одичалой весны
Дышит с моря, где серый маяк
Указал морякам быстрины,
Растрепал у поднебесья флаг.

Там зажегся последний фонарь,
Озаряя таинственный мол.
Там корабль возвышался, как царь,
И вчера в океан отошел.

Чуть серели его паруса,
Унося торжество в океан.
Я покорно смотрел в небеса,
Где Она расточала туман.

Я увидел Глядящую в твердь
С неземным очертанием рук.
Издали мне привиделась смерть,
Приносящая тягостный звук.

---

* Подчеркнуто Белым.
** Подчеркнуто Белым.

Там живет среди серых камней,
В отголосках причудливых пен —
Переплеск отдаленных морей —
Голоса корабельных сирен[13].

ВРУБЕЛЮ

День мой тускл, мой вечер скуден,
В очи смотрит даль.
Сон царевен непробуден,
Греет сны печаль.

Смотрит в очи в час полдневный,
Смотрит синева.
В непробудном сне царевны —
Сном душа жива.

Шепчет высь тоске уроки, —
Даль превозмогла.
Кротко смотрит синеокий
Из глубин стекла.

В глубине лазурной дали
Можешь вспыхнуть Ты.
Все мы сумрачно сжимали
Скорбные персты.

Но сомкнувшиеся дуги
Размыкались вновь.
Снова в голосе Подруги
Плакала любовь.

На распутьях с теремами
Сочетал закат.
Нежно белыми словами
Кликал брата брат.

Брата брат из дальних келий
Извещал: «Хвала!»
Где-то голуби звенели,
Расплескав крыла.

С золотистых ульев пчелы
Приносили мед.
Подходил к окну веселый
Праздничный народ.

В пестрых бусах, в алых лентах
Девушки цвели...
Кто там скачет в позументах
В голубой пыли?

Белый конь, как цвет вишневый, —
Блещут стремена...
На кафтан его парчевый
Пролилась весна...

Пролилась — и сгинет в тучах,
Вспыхнет за холмом. —
На зеленых встанет кручах
В блеске заревом. —

Где-то перьями промашет,
Крикнет: Берегись!
На коне селом пропляшет,
К ночи — канет ввысь. —

Только в лентах, в косах русых
Вспыхнет жар весны. —
Всколыхнет на пестрых бусах
Заревые сны. —

Ночью девушкам приснится,
Пролетит из туч —
Конь — мгновенная зарница,
Всадник — беглый луч...

В белом битвенном наряде,
В золотой парче. —
Светлых кудрей бьются пряди, —
Искры на мече. —

И, как луч, пройдет в прохладу
Узкого окна.
И Царевна, гостю рада,
Встанет с ложа сна. —

Иль он глянет, пьян от власти,
В полноводный пруд, —
И его, дрожа от страсти,
Руки заплетут. —

И потом обманут — вскинут
Руки к серебру, —
Рыбьим плесом отодвинут
В струйную игру...

И душа, летя на север
Золотой пчелой,
В алый сон, в медовый клевер
Ляжет на покой. —

И опять — в венках и росах
Запоет мечта. —
Засверкает на откосах
Золото щита. —

И подымет щит девица,
И опять вдали —
Всадник встанет, конь вздыбится
В голубой пыли. —

Будут весны — в вечной смене
И падений гнет...
Вихрь, исполненный видений,
Голубиный лёт...

Мы опять прикличем братий
Счастьем без конца,
И опять к крестам распятий
Пригвоздим сердца! —

Что мгновенные бессилья!
Время — легкий дым!..
Мы опять расплещем крылья,
Снова отлетим!

И опять — в безумной смене,
Рассекая твердь,
Встретим новый вихрь видений —
Встретим жизнь и смерть![14] —

* * *

В час, когда пьянеют нарциссы
И театр в закатном огне,
В полутень последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...

Арлекин, забывший о роли?..
Ты, моя тихоокая лань?...
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений легкую дань?

Я — паяц — у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк...
Это — бездна смотрит сквозь лампы —
Ненасытно-жадный паук. —

И, пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутясь и звеня. —

Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня. —

Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов. —
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов...[15]

---

[1] Ответ на п. 47.

[2] Ср. сходные признания Блока в письме к Е. П. Иванову от 15 июня 1904 года (VIII, 105).

[3] Подразумевается фраза «Убежал с королевой из этих стран» (Андрей Белый. Северная симфония (1-я, героическая). М., 1904. С. 19; *Симфонии.* С. 39).

[4] Образ из стихотворения Фета «Памяти Н. Я. Данилевского» («Если жить суждено и на свет не родиться нельзя...», 1886): «Ты успел оглядеть, полюбить голубую тюрьму»; использован в программной статье Брюсова «Ключи тайн» (Весы. 1904. № 1; см.: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1975. Т. 6. С. 93).

[5] Цитата из стихотворения В. Брюсова «Работа» («Здравствуй, тяжкая работа...», 1901) (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903. С. 10).

[6] 15 июня 1904 г. Блок писал Е. П. Иванову: «... прошу от меня, жены и мамы приехать в Шахматово. Хотите так: А. Белого и С. Соловьева можно не встретить, Белый приедет в конце июня или начале июля. Мы спишемся, когда я буду наверно знать, что в Шахматове никого не будет из них <...> знаю, впрочем, что оба они (Белый и Сережа Соловьев) — “страшные и знающие” — не будут презирать. Но, если хотите, повторяю, можно не встретиться с ними» (VIII, 106).

[7] Поездка Блока в Серебряный Колодезь не состоялась.

[8] Образ из стихотворения «Знойный день» («Белый день, прозрачно-белый...», 1902) (Брюсов В. Urbi et Orbi. С. 137).

[9] Дословно это выражение в стихотворениях Белого не выявлено, однако слова «бирюза», «бирюзовый» в его ранних текстах встречаются довольно часто (см.: *Золото в лазури.* С. 5, 112, 140, 163).

[10] Впервые опубликовано в художественно-литературном сборнике «Хризопрас» (М., 1906—1907. С. 9—11) под заглавием «Из поэмы “Три свидания”», с эпиграфом из поэмы Вл. Соловьева «Три свидания» («Подруга Вечная, Тебя не назову я»); варианты. Позднее получило заглавие «Неоконченная поэма».

[11] Датируется 14 мая 1904 г., впервые опубликовано в кн.: Блок А. Нечаянная Радость. Второй сборник стихов. М., «Скорпион», 1907. С. 58.

[12] Датируется 14 мая 1904 г., впервые опубликовано в «Вопросах Жизни» (1905. № 6. С. 160) в составе цикла «Нечаянная Радость».

[13] Датируется 26 мая 1904 г., впервые опубликовано: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 23 — под заглавием «Взморье», в составе цикла «Город».

[14] Датируется апрелем—маем 1904 г. Первоначальная редакция стихотворения «Дали слепы, дни безгневны...», впервые опубликованного в кн.: Блок А. Стихи о Прекрасной Даме. М., 1905. С. 131—135. См.: ПСС I, 369—377, 623.

[15] Датируется 26 мая 1904 г., впервые опубликовано в кн.: Блок А. Стихи о Прекрасной Даме. С. 130.

---

49. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

$^1/_2$ часа 1-го 20 июня <1904>. Сер<ебряный> Кол<одезь>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

Спасибо за Твое милое письмо. Знаю, знаю я о том, Кто в голубом. Знаю я, Кто милый и чуть-чуть страшный. И знаешь ли — все-таки этот образ-веяние говорит о Христе. Здесь подход с одной стороны. Милое, голубое — бархатное (не то лапка кошки, не то тигра) и в то же время опьяненное. Вот дионисичность лазури — Чьих-то очей. Все это было бы страшно, все это говорило бы о небывалых провалах, если б не строгий изгиб пурпурных уст, строгий и грустный, грустный. Белая, чище снега (но матовей и бархатней) одежда — и опять-таки все было слишком мягко, если б не пурпурная кровь, которая сочится с бледного чела. А кругом — старинная, неизменно вечная стихия, не то небо, не то весенний пейзаж талого Снега... Вот образ — подлинный — Христа. Тут каждый цвет — грандиознейший синтез, каждая черточка, увеличенная до колоссальных размеров, уже есть Его веяние. Так: Его лазурь: она слагается из сквозящей стариной (бездной) белизны. Белизна же чудесным образом распадается 1) на все цвета спектра, 2) на *зеленое* и *краснопурпурное* (зеленый и пурпурный цвет — цвета дионисизма чисто языческого), 3) на *золото* (желтизна) и *лазурь* (как цвет спектра) — просветленный, высвеченный дионисизм, где зелень смарагдов (первично земляное; растительное, физиологическое) переходит в голубизну незабудок (еще бы забыть Его, любовно и ласково смотрящего, — тут немецкие сказки: Он, как завершитель германизма — Сверхчеловек), а краснопурпурное (страсть к миру) — в золото (опьянение тем, что над миром). 4) Золото в свою очередь может распадаться на а) Золотое, дионисически-христианское (перегиб — Вагнер, нежные, как раскаяние и тоска звучащие жалобы Ницше), b) Церковное (риза, парча), с) Желтозолотое (хлеба, рожь, нива), d) Янтарное (среднее между золотом и бледнорозовым), е) Жемчужное (среднее между белым и золотым). Что же касается пурпура, то пурпур 1) или как Его кровь (всегда способная стать вином — не отсюда ли *пурпур*, как символ дионисизма?), 2) Или как Отчее: «Я в Отце и Отец во Мне»[2] (сюда о пурпуре, как о недостающем, восьмом цвете спектра, сюда же инстинктивные поиски *пурпура* у Иудеев, которые производит Розанов. (См. его статью «о юдаизме»[3].)

Вот первичный анализ цветов Христовых. Уже отсюда видно, что *Христово Чувство*, будучи самым реальным, в то же время наиболее сложное из всех существующих чувств. *Сложность* эта при ее *абсолютной* оправданности (стало быть, и чистоте) есть в то же время преодоление всех бездн — и квинтэссенция жизненного.

Вот где уклон признать Христово Чувство = Дионисову. Христос, будучи преодолением всего, мог и может воплощаться в дионисическом, сквозить в нем, но кощунство говорить, что дионисизм безусловно равен христианству. Тот, кто пришел ко Христу чрез Диониса, должен отрицать, упразднять Диониса, но он может заблуждаться, когда, полагая, что его путь единственный, станет утверждать, будто ко Христу нужно подойти преодолением изнутри дионисианства. И обратно, церковник только свой путь и признает. Забывают, что *Христово* надо всем*.

---

* В автографе, вероятно, описка: «всех».

Вот почему, когда Ты пишешь, что Христос от Тебя далеко, и милый и близкий... чуть-чуть страшный не Он — не верю, не верю... Скорее — это одна сторона Христова дуновения.

Прежде и я полагал, как Ты. Теперь *знаю Его*, когда Он бывает 1) в пурпурноголубом и белом. 2) Не боюсь Его, Милого, Близкого, Голубого. 3) Люблю белизну. 4) Радуюсь строгости, когда пурпурная *Теплота* (после причастия) в груди. Шелковый шелест алого антиминса[4] и горячий пурпур *«теплоты»*...

Милый, Христос с Тобою!...

P. S. Наверное буду у Тебя 1, 2, 3 июля. Только что получил Твое письмо.

P. P. S. Ну, конечно, страшно рад и нисколько никого Ты не стеснишь. Адрес: 1) По Московско-Курской до Тулы с 3-часовым. 2) В Туле пересадка на Сызрано-Вяземскую до Ефремова. От Ефремова 35 верст на лошадях. (Лучше напиши заранее, дней за 7, чтобы вышли Тебя встретить).

P. P. P. S. Мой привет и уважение всем.

---

[1] Ответ на п. 48. Помета Блока красным карандашом: «1904 — лето».

[2] Ин. XIV, 10.

[3] Книга В. В. Розанова «Юдаизм» была опубликована в «Новом Пути» в 1903 г. (№№ 7—12). Белый, возможно, подразумевает следующий фрагмент из гл. VI: «... *вода, роженица, омовение,* с благоговением покрываемое, при перенесении, царственным пурпуром, — вот три *стихии* сосуда, внутри скинии находящегося; и это суть те самые *стихии*, которые мы, после тысяч лет преобразований, жизни, бытия, все еще открываем *в микве* <...>» (Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в русской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX вв. СПб., 1993. С. 138).

[4] Антиминс — обязательная и неотъемлемая часть престола, без которой нельзя служить литургию; четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с изображением положения во гроб Иисуса Христа, орудий его казни и четырех евангелистов по углам с их символами.

---

50. БЛОК – БЕЛОМУ

<4 июля 1904. Шахматово>

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Что же Ты не едешь? Мы прождали Тебя 1-го, 2-го, и 3-го[1], все надеялись и много раз слышали звонки. Я продолжаю Тебя ждать ежедневно и прислушиваться. Приезжай, милый.

Письмо Твое[2] получил и не ответил, потому что думал, что Ты приедешь, и оно с Тобой разойдется. Еще, если хочешь, потому что думы мои так часто и так болезненно черны. Кто-то покинул, не обернувшись. Усталость.

Письмо Твое совпало с известием о циклоне, разрушившем Трубицыно, где жил и Сережа. Все спаслись — живые[3]. Ты, впрочем, знаешь это, я думаю. О Сереже — давно ничего не знаю.

Все мы приветствуем Тебя, милый друг. Прости, не могу писать много от глупого расстройства вследствие неурядицы с работником.

Целую Тебя крепко, обнимаю и продолжаю ждать в любой из следующих дней[4].

Твой Ал. Блок

4 июля 1904. Шахматово.
(Подсолнечная станция Н<иколаевской> ж<елезной> д<ороги>).

---

[1] В эти дни Белый предполагал посетить Блока в Шахматове (см. п. 49).

[2] Имеется в виду п. 49.

[3] Сильный смерч прошел над Москвой и окрестностями 16 июля 1904 г. 28 июня Блок сообщал Е. П. Иванову: «Смерч московский разорил именье сестры моей бабушки, где жил С. Соловьев. Вековой сад вырван с корнями, крыши носились по воздуху. Все люди и скоты спаслись» (VIII, 108).

[4] Белый выехал в Шахматово (вместе со своим другом А. С. Петровским), видимо, 10 июля 1904 г.; в этот день он сообщал матери: «Сейчас приехал Алексей Сергеевич, хочет со мной ехать к Блоку. Еду на два дня»; несколькими днями ранее он писал ей же: «К Блокам думаю поехать не раньше 5/10 июля, если Сережа получит мое письмо или если Петровский согласится меня сопровождать» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 214—215). С. Соловьев приехал в Шахматово позже Белого и Петровского; уехали все трое из Шахматова 15 июля. Пребывание в Шахматове Белый в подробностях описал в воспоминаниях (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 75—93; *О Блоке.* С. 83—102; *Начало века.* С. 364—381).

---

51. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва 17-го июля <1904>[1].

Милый, дорогой,

Не забывай — молись. Еще, и еще, и еще будет неизъяснимое. Будет. Не уставай — милый. Ведь больше ничего не останется у нас. Ведь бо́льшего не дождемся, уходя. Не уходи от *«него»*. Милый, мы все устали. Возврата не может быть. Лучше замереть в счастливом ожидании, лучше рыдать в грустной оставленности. Самая оставленность в печаль легкую, в радость неизъяснимую претворяется. *Пресуществляй ужас.* Грустный лебедь осенних струй, жди Света голубиного! Всю жизнь, *«больше жизни»*. Не для того *узнают*, чтоб забыть. Не для того дается, чтоб *«не было»*. Созиждь Вечность в сердце своем, и Она тебя созиждет. Не для того вино восторга, чтоб не было брачной вечери. Пусть перельется вино на закат — вино, вино восторга. Мы посмотрим на золотое счастье, и взлетит радость, связавшая нас узлом, как горячий солнечный диск с горизонта.

И мы скажем: «Встало!» «Ты, Солнце, клубок парчевых ниток. Встало — стали разметывать, и парчевая желтизна сквозной паутиной опутала утренний березняк».

Мы — утренние березки, затянутые светом. А если так, лучше рыдать в грустной оставленности, чем вернуться. Лучше спеть лебединую песню — последнюю — лебединую песню весенних дуновений. Милый, мы все устали. Милый, милый! Нет ничего в грусти. Только качается грустная поросль лесная — благословение опочило на Ней и пучок золотых, солнечных перстов.

Вечный покой!... И звучит, и звучит: «И уж нет ничего, некуда возвращаться, а сладкий звон предрассветных ветерков, тихий зов, —

— А Ты, Солнце, тяжелый шар, ком золота, под лазурным колоколом, опрокинутым над миром? Золотой, тяжелый язык мирового колокола.

Золотым языком брякни в лазурь.

И заревет мировой колокол, призывая ко вселенской обедне: "Радуйся, Невеста Неневестная!..."»

И звучит, и звучит:

«Ты, солнце, винотворец: уксус страданий претворяешь в золото и вино.

Радуйтесь, радуйтесь, солнечные пьяницы!

Выше, выше орари ваши возметайте, диаконы светослужения!

Господу помолимся!»

И орари лучей возметаются.

Твой.

Приезжай[2].

<П р и п и с к а к Л. Д. Б л о к>

Любовь Дмитриевна, Бога ради помяните меня в своих молитвах. Будет мне трудно, если никто, сильный, не помолится за меня. Бога ради!...

Многое в будущем моем зависит от молитвенной помощи.

В молитву верю, молитвой надеюсь...

И надежда моя на молитву — тоже молитва.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — Июль» (ошибочная хронологическая атрибуция).

[2] Подразумевается предполагавшаяся поездка Блока в Серебряный Колодезь.

---

52. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 июля 1904. Москва>[1]

«Иже херувимы тайно образующе...»[2]

Вчера для меня совершился перелом в жизни[3]. Молю Господа об укреплении духа, чтобы достойно пройти мне назначенный путь. Никогда не забуду дней, проведенных в Шахматове, где зазвучал мне благовест Вечного Покоя... Сегодня день Серафима, голубой и прозрачный...[4] *Ласточки кричат.* Уезжаю[5].

Б. Бугаев. Москва 19.

Низкий поклон и привет всем. Еще раз спасибо за гостеприимство.

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Почтовый штемпель получения: 20 VII 1904. Помета Блока красным карандашом: «1904 — 19 июля».

[2] Начало Херувимской песни — православной богослужебной молитвы.

[3] Подразумевается решительное объяснение с Н. И. Петровской, положившее конец любовной связи Белого с нею. Внутренний импульс для этого поступка Белый получил во время пребывания в Шахматове: «... я уезжал, загоревший, окрепший, принявший решенье покончить с одним обстоятельством в жизни моей, угнетавшим; А. А. это знал, хоть молчали мы оба; лишь раз деликатным намеком он дал мне понять, что пора с *«обстоятельством кончить»*; Л. Д. утверждала решенье; я — принял решенье» (*О Блоке*. С. 101); «...мы все переживали какое-то озарение в Шахматове; для меня оно было тем значительнее, что теперь я уже не мог длить своих прежних отношений с *Н. И.*; я как бы дал обет прервать с ней *всё*; и Л. Д. намеком мне дала понять, что она этот обет принимает» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 47 об.). Об окончательном разрыве с Петровской, относящемся к августу 1904 г., Белый вспоминает: «... я заявляю Н. И. Петровской, что я — *неумолим*; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л. Д. Блок; ее проницательность удручает меня: я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство» (Там же. Л. 48). О начальной стадии взаимоотношений Белого и Петровской см. в публикации его писем к ней (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 13. М.—СПб., 1993. С. 198—214).

[4] Имеется в виду годовщина со дня обретения мощей св. Серафима Саровского — 19 июля 1903 года.

[5] Подразумевается отъезд в Серебряный Колодезь.

---

53. БЛОК – БЕЛОМУ

<25 июля 1904. Шахматово>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич.

Спасибо Тебе за все, что пишешь. Дай Бог, чтобы исполнилось. Я ничего не могу сказать о настоящем. Ничего не было чернее его. Ничего не вижу, перед глазами протянута цепь, вся в узлах. Мне необходимо, чтобы это была снасть корабля, отходящего завтра. Когда он уплывет — яснее откроется далекое море.

Когда-то (здесь все мои надежды) я шел по городу, и такой же цепью был застлан горизонт. Но корабль отплыл в *тот самый* час, когда открылся глаз неба, и в нем явственно пошли звезды. И тогда я также *не ждал*.

Корабль стал строен, как вечернее облако (тогда). И тогда же повсюду появилась *«Она»* — отходящая, как корабль и как вечернее облако. И появлялась еще. Невероятность откровений искупляла меня. Теперь — я сослан в каменоломню[2]. Искра из камня — да будет! Есть еще связь с прошлым. Я хочу вспомнить забытое. Спасибо за Твои дуновения, за напутственный шелест. И, конечно, — «лучше рыдать в грустной оставленности»...

Знаешь, я, может быть, не приеду к Тебе в «Серебряный Колодезь», а приду в Москве. Во-первых, что-то тяжкое, хмурое, смрадное идет от меня, и я боюсь развозить эту атмосферу, пусть сама претворяется. Ты мог заметить это в Шахматове, я все время чувствовал из-за этого угрызения совести. Потом, в начале августа, приезжает Сережа; кроме того, я получил письмо от С. А. Соколова, и вижу, что *должен* заняться изданием сборника в «Грифе». Не имею ни сил, ни веских причин отказаться[3].

Не рассердись и пойми, что самая действительная причина — первая. Победить ее не могу, хотя и из-за этого в свою очередь угрызаюсь совестью. Но тут есть какая-то натруженность — внешняя ли, временная ли, — Бог знает.

Поздравляю тебя с днем Серафима. Крепко целую Тебя, что бы ни произошло. Все Тебя приветствуют. Люба гостит у своих[4], но завтра вернется.

Твой любящий Ал. Блок

25 июля 1904 г.
Шахматово.

---

[1] Ответ на п. 51 и 52. Об этом письме Белый упомянул в «Воспоминаниях о Блоке», касаясь событий своей жизни после возвращения из Шахматова: «... А. А. писал редко; и я писал редко ему; мне запомнилось прочно одно лишь письмо; в нем звучала глубокая грусть» (*О Блоке.* С. 102).

[2] Обыгрывается строка из баллады Брюсова «Раб» («Я — раб, и был рабом покорным...», 1900): «Вот сослан я в каменоломню». (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903. С. 62.)

[3] 21 июля 1904 г. С. А. Соколов писал Блоку: «Готовите ли Вы к печати сборник? Имейте в виду, что он намечен первым осенним изданием “Грифа”. 15 августа я перееду в Москву, здесь же я хотел бы иметь его в руках, а к 1/2 сентября он уже вышел бы» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 536). В течение месяца (конец июля — конец августа 1904 г.) Блок занимался составлением книги «Стихи о Прекрасной Даме» (см.: Минц З. Г. О первом томе лирики Блока // ПСС I, 395—401); Сапогов В.А. Первая книга А. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» // Блок А. Собр. соч. В 12 т. М., 1995. Т. 1. С. 420—435; Кузнецова Ольга. Первый лирический сборник Александра Блока (1904). К истории издания. М., 1999).

[4] Подразумевается: в Боблове, имении Менделеевых.

---

54. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не ранее 25 июля, не позднее 20 августа 1904. Серебряный Колодезь>[1]

Мы — первые, неумелые, мы — и должны попадаться впросак каждый миг. Мы не всегда умеем *«ходить перед дуновением Вечности»* так, как Давид *«ходил перед Богом»*. И Вечность покидает нас. Да.

И нужно учиться рыдать в грустной оставленности — обиженным ребенком, покинутым Матерью. Нужно восторженно погибать. Что ж делать — мы первые, неумелые, как воины, присланные сражаться за Счастье из далеких стран в плохо известной местности. О, сколько раз я, казалось, проваливался в ужас, но всегда *«дуновение выносило»*. Я не знаю, будут ли вечные муки, но чувство «спасенности» и почти безгрешности все растет и растет. И верно — мы отдохнем после жизни; а пока не нужно жалеть сил — нужно сжигать свою жизнь, быть и ледяным и жарким — сжигать жизнь во имя Будущего. Нужно копить в сердце это детское сознание: «Я — добрый, хороший, ни к чему не приученный, что с меня взять?» И с этим идти в ужасы влюбленным рыцарем Вечности, а если ужасы суждены на пути, встретим их, как Последнее Счастье, всегда ожидая гибели и оставленности, ни на что не надеясь. Ведь пройти до дна бездну скорби, значит уже не страдать, а тихо радоваться... хотя бы и ужасу: ведь ужас не может беспредельно увеличиваться: напряжение нерва в определенном направлении имеет *предел*, за которым наступает или *физическая перемена*, или смерть, или разряжение, или, наконец, анэстезия.

Милый, милый, что за слова Ты говоришь? — «Что-то *тяжкое, хмурое, смрадное* идет *от меня*»? Это от Тебя-то? Неправда, неправда. Да, Ты очень страдаешь, я увидел это тотчас же по приезде к Тебе, увидел в глазах, но *«никаким ужасом не веет от Тебя»* — я же в этом отношении довольно чуток.

Милый, не говори так, лучше опусти руки и обиженным дитей усни в Оставленности. Оставленность тоже Мать, любящая своего ребенка. Такая же нежная и любящая, как и Вечность.

Да уж не Вечность ли это? Да, тогда, когда мы говорим: «Уже впереди нет ничего — ничего», кто-то ласково принимает нас в свои объятия. Это Она, шутливо увернувшись из поля зрения, невзначай настигает расплакавшегося ребенка сзади — и целует, целует.

И, еще огорченный Ее исчезновением, отдыхает у Нее на руках, думая, что это руки Пустоты. О, не давай обману себя обманывать — призрак, дай ему волю, всегда кажется реальней реального.

Милый, Милый, Господь с Тобою!

Мы, такие усталые, Бог знает куда забравшиеся. Одежда наша истерзана. Руки, грудь и голова, изорванная терньями, проливают кровь — как *«вино новое»*[2]. На каменистых утесах, среди пустырей, сидим друг перед другом с улыбкой жалкой робости, но уже радостной улыбкой: изорванное тело не болит, как бы в анэстезии. И если послышатся муки, скорей, скорей надо их увеличить, чтобы боль, переплеснувшая через край безмерно, перестала выражаться. Милый, мы — тоже мученики, сжигаемые на кострах, пробегаем огневой пояс — борясь с драконом, там, за *«кольцом огня»* — спящая Брунгильда[3] — «Невеста Иерусалим» — город Новый.

«Не долго, не долго», — шепчем друг другу и такие радостные, такие легкие, сияющие от мучения, как первые христиане.

О, да разве нам не дадут светлых ветров? Верю, верю — верю в то, что мы ненормально страдающие, а потому и вдохновенные, побеждающие. Господи, и для чего, и для кого, как не для Вечности — не для себя же? Мы, конечно, потерявшие себя, лики — иконы, живые — иконы во плоти. Мы сами альфа и омега, свое начало и конец — мы — символ, что то же самое, что икона. Мы боги. Милый, если Ты страдаешь, тоскуешь безумно, молю Тебе удесятеренных страданий — мученичества.

И Господь подаст Тебе, верь! Милый, милый, я пишу так безумно, бессвязно, глупо. Прости этот исступленный тон, но я Тебя люблю глубоко и страдаю с Тобой. Закружиться в водовор<от>е страданий, среди колючек и розовых терний, захлебнуться в собственной крови, как в *«вине новом»*, — Боже, какое безумное, бессмертное счастье. Все светлеет, становится стеклянным — *«стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие стоят на стеклянном море, держа гусли Божии»*[4].

Верю, что в этих надорванных, исступленных словах уже сочится река бессмертного здоровья.

Как? мы, пострадавшие до конца, еще не чудотворим исцеляющие раны? Так ли? Не хочу этому верить.

Я знаю, что могу творить чудеса. И ты тоже.

Милый, стань чудом!

Весь твой и мировой.

---

[1] Ответ на п. 53. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна» (ошибочная хронологическая атрибуция).

[2] Мф. XXVI, 29: «...буду пить с вами новое *вино* в Царстве Отца Моего». Ср.: Мк. XIV, 25.

[3] Имеется в виду эпизод из 3-й части тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» — «Зигфрид» (действие 3-е): Зигфрид, преодолевающий огненную стихию, восходит на утес, на вершине которого спит заколдованным сном валькирия Брунгильда, и пробуждает ее поцелуем.

[4] Откр. XV, 2 (в сокращении).

---

55. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<20 августа 1904. Серебряный Колодезь>[1]

Милый Александр Александрович,

неужели мы с Тобой не увидимся вот теперь? Я с мамой еду в Саров. Вернусь *наверное* числа 30-го августа[2]. А может быть и в первых числах сентября (будет зависеть от мамы). Мне это ужасно обидно. Напиши мне. Приезжай непременно зимою в Москву. Ужасно жаль, что Ты не приехал в августе. Христос с Тобой.

Целую Тебя крепко.

Весь Твой Борис Бугаев.

P. S. Мой привет и уважение Александре Андреевне, Любовь Дмитриевне и вообще всем Вашим.

---

[1] Открытка. Датируется по почтовому штемпелю отправления из Ефремова, Тульской губ. Помета Блока красным карандашом: «1904, 20 июля».

[2] В ходе этой поездки Белый посетил Саровский монастырь, Дивеевскую обитель, Арзамас и Нижний Новгород (заезжал на один день к Э. К. Метнеру). Пребывание в Сарове Белый описал в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке*. С. 104).

---

56. БЛОК – БЕЛОМУ

<23 августа 1904. Шахматово>[1]

Милый, дорогой Борис Николаевич!

Спасибо за васильки и письма. Если бы Ты не уехал в Саров, нам бы все-таки не удалось увидеться. Завтра мы едем в Петербург и уже не вернемся в Шахматово. Будет трудная зима — трудная многим.

Но вчера, в золотой осенний вечер, пролетело тринадцать журавлей. Стало тихо и очень хорошо — «сладкая весть о кончине безбурной», «вздох ветерка улетевший»[2]. Осень уж золотит листья и сердце.

Все так тихо и прекрасно, дай Бог отдохнуть. Мне не хочется плакать и сожалеть, редко хочется хлопать крыльями.

«В царство времени все я не верю.
Силу сердца в себе берегу»...[3]

До свиданья, милый друг, не знаю — зимой ли? Может быть, ведь и Ты приедешь в Петербург?

Твой Ал. Блок

Шахматово.
23 августа 1904 г.

---

[1] Ответ на п. 54, 55.

[2] Цитаты из стихотворения С. М. Соловьева «Свете тихий!» (Соловьев С. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907. С. 30).

[3] Неточная цитата из стихотворения Вл. Соловьева «У себя» («Дождались меня белые ночи...», 1899).

---

57. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец августа—сентябрь 1904. Москва>[1]

Милый, дорогой Александр Александрович,

Пишу Тебе *тоже* в золотой день осени, когда руки, грустно опущенные, не складываются в жесты решимости, но тем сильней, тем настойчивей встает вечно та же песнь успокоенной лазури. Я усомнился во всем. Я все забыл. Но спокойно гляжу на будущее. Жизнь так прекрасна, так животворна, воздушна. Мне хочется петь, веселиться, проливать радостные слезы, потому что я победил жизнь в страдании. Страданием звонит мне радость. Страданием улыбается этот белый, ослепительный день, и эти ослепительные зубы промелькнувшего лица, которое я видел сейчас на улице, так весело скалятся! О, я благодарю за день своего рождения. Моя жизнь такая прекрасная: прав учитель из *«Трех Сестер»*, когда он кричит: «Я доволен...»[2] О, да!

«700» японцев взлетело от Порт-Артурских фугасов[3]. Ура! Да здравствует русское оружие! Родился *«Алексей»* — младенец — звезда наша![4] Наконец, звон дивеевских колоколов — сладкий, призывный. Кругом такая радость, золото и вино, а мы — неужели мы не созданы восхищаться. Неужели мы не оценим жизни (хотя бы тех оранжевых клювов гусей, о которых Ты мне писал летом).

Я доволен.

О как бы я хотел вырвать кусок холодного закатного золота — застывшего, как леденец, чтоб растопить его своим восторгом. Пусть струится оно — расплавленное, — пусть оно греет плечи нежной задумчивостью — золотая благодать осеннего вечера.

Прости меня за эти безумные слова, но, обращаясь к Тебе, мне хочется передать что-то, что волнует меня — и ничего не нахожу, кроме этих косноязычных фраз. И все-таки *через все* пишу их.

Мне все труднее быть внешним. Хочется поделиться несказанной грустью, несказанным счастьем — и нет слов. О если б слова мои ожили, загорелись,

прозвенели, чтобы вырвалось из души наружу все то, что просится — ласково-ласково просится, с нежностью тихой кружится...

Христос с Тобой.

Любящий Тебя.

P. S. Пиши. Пришли стихов, пожалуйста.

P. P. S. Мой привет и уважение Александре Андреевне и Любовь Дмитриевне.

---

[1] Ответ на п. 56. Под текстом письма — печать кружка «Аргонавты». Помета Блока красным карандашом: «1904 — осень».

[2] Реплика Кулыгина в 4-м действии драмы «Три сестры» (1901): «Я доволен. С усами я или без усов, а я одинаково доволен...» (Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Соч. В 18 т. М., 1978. Т. 13. С. 174).

[3] Имеется в виду сообщение о ходе боев под Порт-Артуром в середине августа 1904 г.: «С 14-го по 16-е августа русские похоронили под страшным огнем 700 разлагавшихся японских трупов на северо-восточном фронте во избежание заразы» (Русские Ведомости. 1904. № 240, 29 августа. С. 2).

[4] Сын Императора Николая II Алексей, Наследник Престола, родился 30 июля 1904 года. Белый и «аргонавты» видели в этом событии некое мистическое знамение; ср. в «Воспоминаниях о Блоке»: «Начиналась иная эпоха: рожденье наследника и заключение мира воспринимали иначе, чем прежде» (*О Блоке*. С. 102).

---

58. БЛОК – БЕЛОМУ

<29 сентября 1904. Петербург>[1]

Милый друг.

Я потому не писал Тебе давно, что мало имел слов в запасе. И теперь их немного (хотя на деле все еще слишком много) — но я помню Тебя и люблю. Осень проходила хорошо, я мог радоваться. У меня поглощала время и «жар души»[2] физическая усталость каждого дня, очень занятого учебным делом. И теперь то же дело — и пусть оно будет так зимой — до лета, пусть многое тонет в том, в чем есть своя тишина. Изредка я начинаю понимать Твое возвращение в университет[3]. Ты написал мне о конкретно-жизненном, у меня было его много теперь, и я хочу сохранять это дольше и больше. За сеткой тихой суеты проходят, как в калейдоскопе, многие люди — и там же меняется нрав души — то буйно-золотой, свободный, захлебывающийся жизнью, то бездумно-тихий. Иногда поднимается глухое беспокойство, — что это: слишком мало или слишком много изживается в каждом моменте. Но и это тонет. Мне все хочется теперь меньше «декадентства» в смысле трафаретности и безвдохновенности. Я пробовал искать в душах людей, живущих на другом берегу, — и много находил.

Иногда останавливается передо мной прошлое: «Я изменил, но ты не изменила»[4]. Но я живу в маленькой избушке, на рыбачьем берегу, и сети мои наполняются уж другими рыбами.

Приезжай в наш город зимой. Это — город хороший, дремучий. Крепко целую Тебя, до свиданья. Вот и стихи. Пришли своих.

Твой Алекс. Блок

P. S. Пожалуйста, когда будешь писать, припиши адрес Сережи, у нас никто не знает.

29. IX. 1904. СПб.

ГИМН

(Особенно в начале подражание Тебе)

В пыльный город небесный кузнец прикатил
Огневой переменчивый диск.
И по улицам — словно бесчисленных пил
Смех и скрежет и визг.

Там — расплавленной медью плеснул
В синеву этих окон, умчавшихся ввысь...
Луч ответный из дымного неба метнул —
И кричит: — Берегись!

Вот в окно, где спокойно текла
Пыльно-серая мгла, —
Луч вонзился в прожженное сердце стекла,
Как игла.

Все испуганно пьяной толпой
Покидают могилы домов...
Вот — всем телом прижат под фабричной трубой
Незнакомый с весельем разгульных часов...

Он вонзился ногтями в кирпич
В умоляющей позе греха...
Но небесный кузнец раздувает меха
И свистит раскаленный пылающий бич...

Вот — на груде горячих камней
Распростерта не смевшая пасть...
Грудь раскрыта — и бродит межь темных бровей
Набежавшая страсть...

Вот — зовущая взглядом самца,
Вся — в изломе закинутых рук...
В тесно сжатых губах, в очертаньи лица
Просыпается звук...

Вот — монах, опустивший глаза,
Торопливо идущий вперед...

Но и тех, кто безумно обеты дает,
Кто бесстрастные гимны поет, —
Настигает гроза!

Всем — раскрывшим пред солнцем тоскливую грудь —
На распутьях, в подвалах, на башнях — хвала!
Солнцу — дерзкому солнцу — пробившему путь
Наши гимны, и песни, и сны без числа!
Золотая игла!
Исполинским лучом побежденная мгла!
Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала![5]

ПРИШЛЕЦЫ

Поднимались из тьмы погребов.
Уходили их головы в плечи.
Тихо выросли шумы шагов.
Голоса незнакомых наречий.

Скоро прибыли толпы других.
Волочили кирки и лопаты.
Расползлись по камням мостовых,
Из земли воздвигали палаты.

Встала улица, серым полна,
Заткалась паутинною пряжей.
Шелестя, прибывала волна,
Затрудняя проток экипажей.

Потянулись по лестницам ввысь,
Разнесли известковые своды.
Муравьиной тропой полились,
Заплели и задвинули входы...

Мы не стали искать и гадать:
Пусть заменят нас новые люди!
В тех же муках рождала их мать,
Так же нежно кормила у груди...

Скоро день глубоко отступил,
В небе дальнем расставивший зори.
И незримый поток шелестил,
Проливаясь в наш город, как в море.

В пелене отходящего дня
Нам была эта участь понятна...
Нам последний закат из огня
Сочетал и соткал свои пятна...

Не стерег исступленный дракон.
Не пылала под нами геенна...
Поглотили нас волны времен.
И была наша участь — мгновенна.[6]

(ПОДРАЖАНИЕ ВАЛЕРИЮ БРЮСОВУ)

В высь изверженные дымы
Застилали свет зари.
Был театр окутан мглою.
Ждали новой пантомимы, —
Над вечернею толпою
Зажигались фонари.

Лица плыли — и сменились —
Утонули в темной массе
Прибывающей толпы.
Сквозь туман лучи дробились,
И мерцали в дальней кассе
Золоченые гербы.

Гулкий город, полный дрожи,
Вырастал у входа в зал.
Звуки бешено ломились...
Но, взлетая к двери ложи,
Рокот робко замирал,
Где поклонники толпились...

В темном зале свет заемный
Мог мерцать и отдохнуть...
В ложе — вещая сибилла,
Облачась в убор нескромный,
Черным веером закрыла
Бледно-матовую грудь.

Лишь в глазах таился вызов,
Но в глаза вливался мрак...
В этом воздухе горячем
С позолоченных карнизов —
Отраженный и бродячий —
Свет мерцал в глазах зевак.

Ты в паденьи сохранила
Целомудренную власть!
Ты — на очереди смертной
Вдохновенная сибилла!
Все должны с тобою пасть!
Взору смерти — взор ответный!

Я покину сон угрюмый,
Буду первый пред толпой!
Буду пьян вечерней думой!
Встану в очередь с тобой![7]

---

[1] Ответ на п. 57.

[2] Образ из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...», 1840); о словоупотреблении «жар души» пишет тетка Блока М. А. Бекетова: «Этими словами принято было у нас с матерью Блока, что было известно и ему, обозначать иносказательно романические чувства» (примечания в кн.: *Письма к родным, I.* С. 334). Строки из стихотворения «Благодарность» (включая и строку «За жар души, растраченный в пустыне») Блок позднее использовал как эпиграф к циклу своих стихотворений «Заклятие огнем и мраком» (1908).

[3] Имеется в виду поступление Белого осенью 1904 г. на историко-филологический факультет Московского университета.

[4] Строка из стихотворения Брюсова «Mon rêve familier» («Вновь одинок, как десять лет назад...», 1903) (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903. С. 106).

[5] Датируется 27 августа 1904 г., впервые опубликовано (без 2-й и 7-й строф) в «Альманахе к-ва “Гриф”» (М., 1905. С. 26—27), в составе цикла «Город».

[6] Датируется 10 сентября 1904 г., впервые опубликовано (под тем же заглавием, без 4-й строфы; варианты) в кн.: Блок А. Нечаянная Радость. Второй сборник стихов. М., 1907. С. 119—120; в окончательном тексте — без заглавия.

[7] Датируется 25 сентября 1904 г., впервые опубликовано (под заглавием «Вечер», без пояснения «(Подражание Валерию Брюсову)»; варианты) в «Альманахе к-ва “Гриф”» (М., 1905. С. 25—26), в составе цикла «Город»; в окончательном тексте — без заглавия.

---

59. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Октябрь 1904. Москва>[1]

Дорогой Александр Александрович,

Спасибо за письмо. Очень понимаю Твое настроение и во многом разделяю. Сержусь на декадентов. Задыхаюсь, когда бываю в их обществе. Ненужно расставляющий во все стороны иглы, талантливый Брюсов, натянутый Бальмонт, пухлый Соколов, глистовидный Ланг и омерзительные Койранские — и в результате все не то, не то, все как-то ненужно. Вообще я заметил, что гораздо лучше себя чувствую с не-декадентами. Знаешь, я думаю от времени до времени совершенно порвать всякие сношения как с Грифом, так и со Скорпионом. Думаю всецело погрузиться в университетские занятия, а по окончании курса или уехать в Дивеево[2], построить себе избу, перевезти книги — и тихо жить; или же думаю... учительствовать; порой мне хочется стать светлой личностью и пострадать за убеждения, да, кажется, поздно спохватился: со Святополком-Мирским недалеко уедешь на этом поприще[3]. То ли покойник Плеве![4]

Быть может, приеду в С.-Петербург. *Приезжай и Ты в Москву.*

Остаюсь готовый к услугам

любящий Тебя Борис Бугаев

P. S. Посылаю стихи.
P. P. S. Кажется, случится так, что я приеду в Петербург в начале ноября.

БЕГСТВО

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу — обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо[5].

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПОЛОТНЕ

Вот ночь своей грудью прильнула
К семье облетевших кустов.
Во мраке ночном потонула
Уж сеть телеграфных столбов.

Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.
Привязанность, молодость, дружба
Промчались — развеялись сном.

Застыла холодная лужа
В размытых краях колеи.
Целует октябрьская стужа
Обмерзшие пальцы мои.

Ужели я в жалобах слезных
Ненужный свой век проволчу?
Улегся на рельсах железных.
Затих. Притаился. Молчу.

Блеснул огонек еле зримый.
Протяжно гудит паровоз.
Взлетают косматые дымы
Над купами чахлых берез.

Зажмурил глаза. Но слезою —
Слезой увлажился мой взор.
И вижу — зеленой иглою
Пространство сечет семафор[6].

МЕЛАНХОЛИЯ

Глухая ночь. Но в ресторан
Идут разряженные феи.
Блистает зал. Поет орган.
Стоят надменные лакеи.

Средь ярких комнат я, как тень,
Брожу в волокнах дымной сети.
Уж скоро, скоро белый день
Ударит светом в окна эти.

Пересечет перстами гарь.
На зеркалах блеснет алмазом.
Еще темно. В окне фонарь
Глядит из мрака желтым глазом[7].

НА ВОЛЬНОМ ПРОСТОРЕ

Здравствуй, желанная воля — свободная,
Воля победная, даль — осиянная,
Холодная,
Бледная...
Ветер проносится, желтые травы колебля,
Цветики поздние, белые.
Пал на холодную землю.
Странны размахи упругого стебля,
Вольные, смелые.
Шелесту внемлю...
Тише,
Довольно —
Цветики
Поздние, бледные, белые —
Цветики,
Тише —
Я плачу, мне больно...[8]

---

1 Ответ на п. 58. Помета Блока красным карандашом: «1904 — осень».

2 Подразумевается Серафимо-Дивеевский монастырь.

3 Князь П. Д. Святополк-Мирский после убийства В. К. Плеве был назначен министром внутренних дел (находился на этом посту с 26 августа 1904 г. по 18 января 1905 г.), придерживался умеренно-либеральных взглядов.

4 Шеф жандармов и министр внутренних дел (с 1902 г.) В. К. Плеве был убит эсером Е. С. Созоновым 15 июля 1904 г. — в день возвращения Белого в Москву из Шахматова. Белый вспоминает в этой связи: «Первое, что нас встретило в городе, — весть об убийстве фон Плеве (в день заключения торгового договора с Германией); и задумались мы, ощутив, что убийство — рубеж» (*О Блоке*. С. 102).

5 Опубликовано: Андрей Белый. Пепел. СПб., 1909. С. 17 — под заглавием «Шоссе», с посвящением Д. В. Философову. Впервые: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 13—14 — в составе цикла «Тоска о воле».

6 Опубликовано под заглавием «На рельсах», в другой последовательности строф и с вариантами, с посвящением А. А. Кублицкой-Пиоттух: Андрей Белый. Пепел. С. 19—20. Впервые: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 18—19 — в составе цикла «Тоска о воле».

7 Первоначальная редакция (первые три строфы) стихотворения, впервые опубликованного в «Альманахе к-ва “Гриф”» (М., 1905. С. 10—11) в составе цикла «Тоска о воле». В переработанной редакции вошло в книгу Белого «Пепел» (С. 127—128) — с посвящением М. Я. Шику.

8 Опубликовано с другим делением на строки: Альманах к-ва «Гриф». М., 1905. С. 17 — в составе цикла «Тоска о воле»; Андрей Белый. Пепел. С. 18 — с посвящением Муни.

---

60. БЛОК – БЕЛОМУ

<21 октября 1904. Петербург>[1]

Милый Борис Николаевич.

Твои стихи по-новому прекрасны, особенно первые три (Бегство, На полотне, Меланхолия). В них и не то, что было летом, и не то, что в «Золоте в лазури». На меня повеяло осенней прелестью, вроде того, как, когда Ты посылал «Из царских дверей выхожу»[2].

Хожу по улице и напеваю: «И на море от солнца золотые дрожат языки»[3]. Почему-то, когда Рожественский стрелял в Северном море[4], напевалось «в изгибе уст безумно-строгом я узнаю немую грусть»[5]. Все это сливается, переплетается, но каждый раз совершенно определенно — одно. Твои стихи именно поются этой осенью.

Но уж снег намелся; а я все еще почти не пишу стихов... Посмотрим, как Ты пойдешь с книгой, в шапочке по Петербургу. Ждем Тебя к нам, ты придешь? Милости просим!

Я боюсь новой философии «Нового Пути», хотя интересуюсь. Говорят, что Булгаков своеобычный мистик. Идеалисты в восторге от Мережковского[6].

Ни Твоей, ни Флоренского статьи я не могу осилить, Тебя, вероятно, просто не пойму[7]. Должно быть, мне даже не нужно уходить туда, или, м<ожет> б<ыть>, время прошло. Я все время занят кандидатским сочинением[8], потом буду утопать в славянских языках. Конца до лета не предвидится, и поездка

наша в Москву верно не устроится. Пока я даже боюсь ехать в Москву в этом году, вдруг будет хуже прошлого года. Конечно, это — так, некоторый консерватизм.

До свиданья, милый, — в ноябре?

Любящий Тебя Ал. Блок

21.X.1904. СПб.

---

[1] Ответ на п. 59.

[2] Первая строка стихтворения «Начинание». См. п. 21 (с. 84 наст. изд.).

[3] Цитата из стихотворения Белого «Золотое руно» («Золотея, эфир просветится...», 1903) (*Золото в лазури*. С. 7).

[4] Имеется в виду инцидент 8 октября 1904 г.: Вторая тихоокеанская эскадра, посланная под командой адмирала З. П. Рожественского на Дальний Восток, потопила в Северном море два судна английской рыболовной флотилии, приняв их за японские военные корабли.

[5] Цитата из стихотворения Белого «Маг» («Я в свисте временных потоков...», 1903) (*Золото в лазури*. С. 123).

[6] Подразумевается реорганизация журнала «Новый Путь» в сентябре 1904 г.: прежние руководители журнала (Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, Д. В. Философов) заключили союз — во многом вынужденный и обусловленный внешними причинами — с так наз. «идеалистами», участниками сборника «Проблемы идеализма» (М., 1903), во главе с Н. А. Бердяевым и С. Н. Булгаковым; в результате этих изменений руководящие позиции Мережковских в журнале были поколеблены, а позднее и вообще утрачены. При обновленном составе сотрудников вышли в свет последние три номера «Нового Пути» за 1904 г., продолжением их стал журнал «Вопросы Жизни», издававшийся в 1905 г. Подробнее см.: Максимов Д. «Новый Путь» // Евгеньев-Максимов В. и Максимов Д. Из прошлого русской журналистики. Л., 1930. С. 129—254; Корецкая И. В. «Новый Путь». «Вопросы Жизни» // Литературный процесс и русская журналистика конца XIX — начала XX века. 1890—1904. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1982. С. 228—233. Андрей Белый, во многом солидаризировавшийся тогда с Мережковскими, опубликовал в связи с изменением программы «Нового Пути» критическую заметку «“Идеалисты” и “Новый Путь”» (Весы. 1904. № 11. С. 66—67).

[7] Подразумеваются статьи, опубликованные в 9-м номере «Нового Пути» за 1904 г., — «О целесообразности» Белого (С. 139—153) и «О символах бесконечности» П. Флоренского (С. 173—235).

[8] Ср. сообщение в письме Блока к отцу от 29 октября 1904 г.: «... большое кандидатское сочинение (“Болотов и Новиков”) закончено» (VIII, 111). По черновой рукописи работа «Болотов и Новиков» впервые напечатана в кн.: Блок А. Собр. соч. Т. 11. История литературы. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934. С. 7—80 (под текстом — помета: «Кончено 14 окт. 1904 года»).

---

61. БЛОК – БЕЛОМУ

10 ноября <1904. Петербург>

Милый Борис Николаевич.

Получил ли Ты мои стихи?[1] Когда Ты приедешь?
Здесь Тебя ждут многие. Я очень жду. Приезжай.

Любящий Тебя Алекс. Блок

[1] Имеется в виду книга Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., «Гриф», 1905), вышедшая в свет 27 октября 1904 г. (см. письмо С. А. Соколова к Блоку, датируемое этим днем // *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 538). Экземпляр ее с дарственной надписью Белому не выявлен (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

62. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<14 ноября 1904. Москва>[1]

Милый Александр Александрович,

Получил книгу. Спасибо, большое спасибо! Получил громадное удовольствие. Читал и тонул — и ничего больше не хотелось. Хотелось *«одного — все того же»*. Буду писать, если позволишь, статью *«Прекрасная Дама в русской поэзии»*[2]. В С.-П<етербург> не приеду: 1) сейчас я в опустошенном настроении: мне надо отдохнуть, а в Петербурге не отдохнешь, 2) Да и в денежном отношении мне теперь неудобно приехать.

Неужели мы не увидимся?

Прощай. Не забывай меня. Буду писать, когда соберусь с силами. На днях вышлю Тебе свою книжку[3].

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

[1] Ответ на п. 61. Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1904 — ноябрь».

[2] Этот замысел в модифицированном виде нашел воплощение в статье Белого «Апокалипсис в русской поэзии», опубликованной в «Весах» (1905. № 4. С. 11—28) и позднее вошедшей в книгу статей Белого «Луг зеленый» (М., 1910. С. 222—247).

[3] Имеется в виду книга Белого «Возврат. III симфония» (М., «Гриф», 1905), вышедшая в свет в середине ноября 1904 г. Экземпляр ее, подаренный Белым Блоку, не выявлен; о судьбе его можно судить по блоковской помете: «Пропало у М. И. Т.» (М. И. Терещенко) (*Библиотека Блока, 3.* С. 210).

63. БЛОК – БЕЛОМУ

<Вторая половина ноября 1904. Петербург>[1]

Милый, я прочитал это[2]. Читал долго, может быть тысячу лет. Так не было давно. Вот и все.

Что значит — забыть Тебя? Этого никогда не будет. Где-то у меня там, в многочисленных книжных шкапах, где много пыли, затерялась Библия. А то бы я Тебе выписал: «Горе, кто оставил первую любовь свою»...[3] Это — относительно меня и Тебя — только этого не может быть. Я *существовал*, читая Твою Книгу.

Не правда ли — ничего не произошло? 1904 год = 1902... Сегодня падает снег, так же мягко. Я такой же молодой сегодня и розовый мальчик, как... даже в 1888 году. У меня только в бороде ужасно смешная серебряная ниточка. А картинки в сказках Андерсена для детей означают то же самое. Скоро будет елка, и Ты подарил мне заранее книжку с картинкой — орел и змея[4]. Мы с Любой ее читаем, а на елке повесим золотые орехи и золотой дождь, который режет пальцы. Так и *всегда* будет.

Твой нежно и без конца Тебя любящий

Ал. Блок

---

[1] Ответ. на п. 62.

[2] Подразумевается «Возврат».

[3] Откр. II, 4: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою».

[4] Подразумевается рисунок В. В. Владимирова на обложке «Возврата», изображающий орла и гигантскую змею в морских волнах.

---

64. БЛОК – БЕЛОМУ

16 дек<абря> <1904. Петербург>

Милый, напиши — что? Говорю, конечно, издали. Но, в последнее время, много думал о Тебе, чувствовал Тебя, и, иногда, как никогда прежде, знал, что Ты — «один знаешь обо мне то, что я один знаю о Тебе». Сейчас пришла телеграмма[1]. Ты — бесконечно дорог. Люблю Тебя и крепко обнимаю. Господь с Тобой. Беспокоимся. Помолюсь — и Люба тоже. Храни Тебя Бог. Трудное время. Крепко целую Тебя, объясни...

Твой Ал. Блок

---

[1] Эта телеграмма Белого, вероятно, не сохранилась. Содержание ее было продиктовано обстоятельствами духовно-психологического конфликта Белого с Брюсовым, достигшего своей кульминации в ноябре—декабре 1904 г. (подробнее см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 336—338; Гречишкин С. С., Лавров А. В. Биографические источники романа Брюсова «Огненный Ангел» // Ново-Басманная, 19. М., 1990. С. 547—561).

---

65. БЛОК – БЕЛОМУ

<16 декабря 1904. Петербург>[1]

Если нельзя объяснить, конечно, не надо. Крепко обнимаю Тебя.

Твой Ал. Блок

Тогда же (16 дек<абря>).

---

[1] Письмо — добавление к последней фразе п. 64. Приписка на письме Л. Д. Блок к Белому от 16 декабря 1904 г., в котором выражались пожелания «силы и счастья». В этот же день Блок и Л. Д. Блок отправили Белому следующую телеграмму: «Любим, молимся. Любовь, Александр Блок» (РГБ. Ф. 25. Карт. 35. Ед. хр. 20). По всей вероятности, 19 декабря 1904 года они послали Белому еще одну телеграмму: «Беспокоимся, ответь. Блоки» (Там же).

---

66. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 или 19 декабря 1904. Москва>[1]

Милый, я не знаю, как мне Тебя благодарить! Как благодарить мне Любовь Дмитриевну! Передай Ей мою глубокую благодарность: *я никогда этого не забуду.*

Милый, я ужасно Тебя люблю — и помню, помню. Так нуждался в помощи. Но уже 16-го декабря в $8^1/_2$ часов вечера (т. е. когда была подана Твоя и Любовь Дмитриевны телеграмма) рухнули стены лабиринта, и я очутился опять на ***вольном просторе***[2], мне было тихо и мягко. Я почувствовал голубиный лет усмиренной печали — спасибо, спасибо: *я никогда этого не забуду.* Сейчас вот сижу и пишу. И думаю о Тебе и Любовь Дмитриевне. И ясно. Передо мной весна. И белые стены Вечного Монастыря, и золотые луковки обители, и часы, и деревья — их неподвижные стволы, и ветви их, зеленые, нежные, раздуваемые и уносимые ветром, — и вода тишины, и серебряный серп, точно карандаш, начертивший струистые отблески, — и Время.

Время!

Пора. Что-то пришло ко мне опять — Милое, Ласковое. Милый, я слышу Вас — спасибо, спасибо: *я никогда этого не забуду.*

А недавно был ужас.

Не знаю, сумею ли рассказать *«это»* — ужасное *«это»*, собирающееся меня пронзить бычьими рогами в лабиринте. То яростно смеется и блещет огоньками глаз бычья морда в ночной пасти лабиринта, то — о ужас — нежно мычит и лижет руки кровавым языком, уговаривая добровольно сдаться, бросить меч, с которым я сознательно вступил в лабиринт, и поселиться здесь навеки.

Не знаю, сумею ли рассказать это.

Каждого человека с рождения до смерти сопровождает его музыкальная тема. В мою тему входит один мотив ужаса, который я должен преодолеть, иначе он погубит меня. Детство мое выросло из ужаса. Когда я еще не сознавал себя, я уже сознавал, помнил свои сны. Это всё были *Химеры.* Помню два сна. Они определили мелодию ужаса, всю жизнь преследовавшего меня. Один: будто мы сидим в садике. Вдали ворота, увенчанные не то крестом, не то иконой (потом оказалось, что это был церковный садик, принадлежавший Св. Троицкой церкви, что на Арбате). Мы сидим на лавочке. Как будто весна. Меня держат на руках. Уютно. Вдруг в ворота ползет на четвереньках бледный, бесконечно длинный человек, припадая на землю. Вползает в ворота, огражденные иконой, наподобие змеи или ящерицы. У него рыжие бакенбарды, гнилые зубы

(он смеется, кивая мне) и фуражка, какие носят служащие из Казенной Палаты. Я замер... И дальше ничего не помню.

Другой сон: помнится мне, я видал его не раз. Комната. Горит свеча. В глубине мрак. Там всё комнаты: кажется, что нет им конца. Дверь, точно пасть, точно вход в лабиринт. За столом старушка бабушка (теперь покойная). У нее была лысина и она носила головной убор. Но вот она сидит без убора — лысая, и набивает папиросы, сотню за сотней, обвязанной в бумажный кружочек. Я беру бумажный кружок и хочу им щелкнуть, но лысая бабушка угрожающе предостерегает, чтоб лучше я уж не щелкал, а то беда. И я понимаю, что это так. И ночная пасть лабиринта угрожает. Но что-то приказывает мне щелкнуть — и... в глубине черных комнат на стук, раздавшийся оттого, что я щелкнул бумажкой, раздается ответственный стук. Еще. И еще. И уже это шаги. Идут. Тут открывается мне, что если я не добегу до кровати, не закрою голову одеялом, произойдет несказанный ужас, ибо шаги раздадутся уже рядом и из лабиринта, из черной пасти выйдет *«это»*. И вот я сознаю, что уже это все бывало, и что надо бежать. Помнится — десятки раз я уже спасался. Но я медлю. А шаги ближе — ужас подходит. Мгновение — и из лабиринта вырисовывается коренастый, низкорослый мужичок с красным мясистым лицом, в золотых очках, воспаленно-изумленным *не злым* лицом с золотой бородкой и толстым животом. Руки сложены на животе, пять красных пальцев торчат из рукава сюртука с правой стороны, пять красных пальцев с левой. Красные пальцы сплетаются, и *«это»* — добродушно посмеивается. Только в этом смехе больший ужас, нежели в злобе (впоследствии я узнал, что это был доктор Родионов, в детстве лечивший меня от скарлатины)[3].

Сначала было *«это»*. А потом уже начинаю сознавать себя маленьким мальчиком, влюбленным в уютную беспредметность и ласковую грусть. Гувернантка немка читает о королях, легендах, феях, читает из Гёте, из Уланда, а я у нее на коленях засыпаю[4].

Вот моя музыкальная тема.

Когда я подростал (мне уже было 6 лет), вырос день, и днем ужасы отхлынули и обуревали ночью. Каждую ночь говорили (я не помнил хорошенько), что я кричал, будто пришел *«Афросим»*. Я только помнил иногда, что все вокруг меня обрывалось, или что я зашел в подземелья (в лабиринт) и уже не вернуться мне обратно, и тогда приходило *«это»*. И я начинал кричать *«Афросим»,* и меня успокаивали. И ходили какие-то силуэты, и когда я приходил в себя, это были: мама, гувернантка. Впрочем, раз мне казалось, что я видел Афросима, и он почему-то напомнил мне доктора Родионова. А днем было солнце, и я бегал по аллеям в платье с длинными волосами, и меня дразнили, что я *«девчонка», «мамин сынок»*, товарищи стреляли из револьверов, пугали пистонами, а солнце меня любило; но иногда среди солнца березы начинали свистеть *«сссшишиссс»* и начиналось *«это»*. Мне хотелось тогда с кем-нибудь заговорить, чтобы *«это»* не росло. И *«оно»* проходило.

Доктора запретили, чтобы мне читали сказки, но это все было *«не о том»*.

Милый, я нарочно пишу все это, чтобы Ты хоть сколько-нибудь понял, что со мной было теперь, а то *«это»* пожалуй будет лишь относительно понятно.

Тогда же я глухо понимал, что меня любят и берегут *«там»*, но что есть другое *«там»*, и из этого другого (лабиринта) от времени до времени выползает ужас и грозит меня растерзать.

Потом настали дни, когда все это ушло. Ужас, бунтующий в ночи, ушел. Тогда появился преподаватель латинского языка Казимир Клементьевич Павликовский. Он семь лет мучил каким-то несказанным ужасом, вызывая меня

на истерические припадки исступленности, которые он смирял единицей[5]. Право, это не смешно, а ужасно, потому что я узнал мое *«это»*, наплывавшее в шелесте берез *«сссшиссс»*, приходившее ко мне коренастым Афросимом Родионовым (кстати: тут я узнал, что Афросим по-гречески значит: *«Безумец»*). *«Оно»* ушло изнутри, и вот появилось извне.

Я поступил в университет. Усердно занялся естествознанием. Стал писать стихи и читать рефераты об *«одноклеточных организмах»*. Изнутри все улеглось. Извне я *избавился* (кончил гимназию).

И вот весной возвратилось. Опять я ждал страшного незнакомца. Внутри произошло то, что описано событиями в 1-й симфонии. Тут же я узнал Вл<адимира> Серг<еевича> Соловьева, и потом увидел на одном из концертов среди звуков бетховенской симфонии *два глаза* — и больше ничего. Начались огненные откровения. На зверя, посылавшего мне из лабиринта Павликовских, Родионовых и др., опоясанных *«этим»*, — на зверя восстала «Жена, облеченная в Солнце». Всадники зверя боролись с всадниками Жены (2-я симфония).

Я понял, что ужасы Хаоса в конце концов (Павлик<овский>, Афросим) (в окончательности) воплотятся в Лик Безумия, в *Зверя*, а моя ласковая усмиренность детских дней — в Ее веяние, *голубиный лет усмиренной печали*, Св. Дух, сходящий на нас. После борьбы придет полнота времен и приблизится Господь. В Мережковских послышалась мне нота полноты, но еще я не мог разобраться какой — здешней, или Той, Окончательной. От них шло это веяние, или они зажгли во мне Христово, но вдруг я попал в лазурь: на горизонте было вино. Я думал, борьба кончена. Ласка и усмиренность *«Отныне и до века»* со мной. Я почувствовал, что я *«спасенный ребенок»*. Я не знал, что это еще только отдых, что еще времена окончательной борьбы впереди. Я еще не понимал, что тема, звучащая в «Возврате» (3-ья часть) и в *«Золоте <в> лазури»* — «Все тот же раскинулся свод»[6] и т. д., что эта тема — трагическая, нечто вроде *«Пира во время чумы»*. Я думал, это — счастье. Но все это было лишь замаскированное:

«Затуманены сном
Наплывающей ночи
На челе снеговом
Голубые безумные очи»...[7]

А моя тишина была та тишина, в которой *«Офелия гибла и пела, и пела, сплетая венки.......»*[8]. *«Солнечность» «Золота в лазури»* — вот какая солнечность: *«Есть в осени первоначальной»*[9] и т. д.

Опять началось. И на этот раз самый страшный бой: *«зверь»* набелился, нарумянился и незаметно присоединил свой голос к пиршеству лазури (цыганство, цыганский хаос) («Не тот»[10] и т. д.). Пахнуло *«жертвенным врубелизмом»*, а потом вдруг появились отовсюду радостные единороги, затанцевавшие вальс, они кричали: «Здравствуй» и радовались, что я проглядел их под маской безбурности. Но это был первый порыв бури; еще настоящая гроза только приближалась.

Я стоял в голубых пространствах. Вдруг туча белых миндальных и бледнорозовых яблочных лепестков закружилась вокруг меня. Мне было хорошо в этом неожиданно пришедшем круговороте, застилавшем лазурь. И я шел в круговороте. И лепестки сплетались в один шатер — белорозовый, озаренный голубым лучом месяца. И я думал, что это — храм. И в храме стоял Он с улыбкой кроткой безбурности: только не было того веяния, которое с Ним приходило. Но

вдруг Он рассеялся, и посреди храма взвилась пепельная ракета. Взвилась и рассыпалась пеплом. И пепел начал кружиться вокруг. И тогда открылся лабиринт. Идя в белом и розовом водовороте миндального цвета, я незаметно спустился в лабиринт, повитый ласковым облаком; но когда я уже был внутри лабиринта, пелена развеялась — и помчался бычий лик Минотавра. Тут я понял, что роковая тема ужаса, всю жизнь змеившаяся вокруг меня, но не смевшая вступить в бой, теперь ринулась на меня. Мне предстоит или умереть, или убить Минотавра, защищая себя. Ужас еще не вселился в мир. Зверь еще не имеет определенного Лика, но уже на многие Лики падает тень. Теперь тень пала для меня на Лик Валерия Брюсова, и мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук.

Еще в прошлом году он начинал *«творить марево»* вокруг меня, прикидываясь обозленным вепрем. Мне удалось его разбить внутри, но он нырнул слоем глубже и явился передо мной под личиной дружбы, но когда я пошел навстречу его видимой искренности, она приняла вид какой-то исступленности, так что я недоумевал, *что «это все»* означает. Порой прорывались нотки стародавней ярости и он стал творить ряд ужасов. Из-за его спины выступил Ужас. И вот Брюсов снял маску. Он объявил, что уже год *«творит марево»*, и когда его просили удержаться от «марева», он прямо заявил, что *«теперь это не в его власти»*. Гипнотизер он сильный: стал ломиться извне и изнутри. Я понял, что воздвиг его мой враг, и что *«это»* — посланный подвиг. Помолился: разбил его внутри при помощи *«посланной свыше помощи»*, а он в ответ стал обливать меня потоками грязи извне, все под видом *«нашей дружбы»*. Все это сопровождалось рядом гипнотических и телепатических феноменов. Были и медиумические явления: у нас в квартире мгновенно тухла лампа, когда ее никто не тушил, полная керосину, раздавались стуки[11]. Маме в уши что-то шептало (она не могла разобрать *что*) и кто-то говорил *«Валерий Брюсов»* (мама тогда ничего не знала о нашей борьбе). Наконец я призвал силы, опоясался *«молньей»* и ударил в Брюсова; это происходило *«там внутри»*[12], но он ответил извне стихотворением, посвященным мне, «Бальдеру—Локки», где прямо говорит о «молнье» и много дру<гого> фен<оменального>[13]. Наконец приехали Флоренский и Петровский из Академии[14] и отнесли в *«Скорпион»* стрелой сложенную записку Брюсову в знак объявления войны[15]. Тут пришли *«белые купола и старцы»* и укрыли меня, дали отдых на два, три дня. Потом Вал<ерий> Брюсов опять начал свои странно-страшные нападения. Он стал постукивать, как Хунхуз: не будучи в состоянии напасть открыто, он стал тревожить ложными вылазками, не давая отдыху. И поскольку он *«во внешнем»* прямо заявлял, что во что бы то ни стало убьет меня (нравственно, духовно, и даже физически), вынуждая взяться за меч, постольку я решил *«все это покончить»*, вызвав его на дуэль. Едва я это подумал, как мне стороной передали, что он видел сон, что я его убил на дуэли после ссоры в кабачке в Кёльне в XVI веке (он теперь пишет роман из Кёльнской жизни[16]), причем в числе присутствующих при этой ссоре был и Бальмонт.

Это мне открыло глаза. Дело в том, что я только что перед этим решил твердо, что после лекции Бальмонта[17], когда мы будем проводить с ним прощальный вечер (он уезжает в Мексику)[18] в одном из «кабачков» (в Большом Московском), я вызову Брюсова на дуэль, потому что был твердо уверен, что он подаст к тому повод: только что разбитый внутри *«наголову»*, он должен перенести весь тон кампании «во вне», и я знал, что под маской дружбы на меня польются потоки грязи. Я решил не спустить ему ничего и дать пощечину. Все это я решил

— и вот Брюсов рассказывает мне свой сон и всячески старается мне дать понять, шутя, что драться на дуэли он готов. Тут я понял, что в его *«марево»* входит и дуэль, и что мой вызов, *«извне эффектный»*, изнутри — *«срыв»*, ненужное бегство после генеральной победы над врагом. Тут я и послал телеграмму Любовь Дмитриевне, глубоко веря в силу Ее молитвы и в силу Твоей любви ко мне, и зная, что Ты помолишься за меня.

Спасибо, спасибо: все прояснилось, и я увидел, что *«дуэль — марево»*, и что пусть лучше я буду испытывать *«крестные муки»*, — ведь мучение, клевета, поругание суждено мне. И я пошел на страдание. И получил его. И счастлив.

Спасибо, спасибо, милый, за письмо: оно пришло в день лекции Бальмонта, и утешило меня.

Строчки, написанные Любовью Дмитриевной[19], вызвали во мне молитвенное благоговение, и я понял: *«я сильнее, чем сам предполагал»*. Сегодня вечером у меня будет Бальмонт, Брюсов, Соколов и пр<очие> *«упадочники»*. Мучение возобновится.

Пусть.

Я счастлив и радостен.

Милый, если бы Ты знал, как мне дорого получить каждое Твое письмо: напиши мне. Если я не писал, то это оттого, что совсем разучился писать письма. Нежно и глубоко любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Мое глубокое почтение, благодарность, мою искреннюю любовь передай Любовь Дмитриевне и Александре Андреевне.

P. P. S. Пусть то, что я писал, останется в небольшом круге лиц *«между нами»*.

P. P. P. S. Во внешнем решил не печататься больше в декадентских журналах *«Нов<ый> Путь»*, *«Весы»*, *«Гриф»*, *«Мир Искусства»*, т. е. совсем не печататься. Пусть допечатают *«Весы»* и *«Гриф»* что имеется у них. Сил моих нет прикидываться «декадентом»[20].

---

1 Ответ на п. 64 и 65. Пометы Блока красным карандашом: «1904 — 20 дек.»; «Получено 20 дек. 1904».

2 Белый обыгрывает заглавие своего стихотворения, посланного Блоку при п. 59 (с. 181 наст. изд.).

3 Позднее Белый передал свои детские впечатления от московского врача Родионова в образе доктора Дорионова в романе «Котик Летаев» (1915—1916); в этом романе и в его продолжении («Крещеный китаец», 1921) нашли отражение и другие описываемые им здесь сны и «химеры».

4 Ср. позднейшие записи Белого о первых литературных впечатлениях: «...стихи Уланда, Гейне и Гете, хотя я их <...> не понимал, однако они производили животворное действие; странно, что первые сильно на меня повлиявшие стихи были немецкие; Уланда, Гете и Гейне читала мне вслух гувернантка, немка» (Андрей Белый. К биографии // РГБ. Ф. 198. Карт. 6. Ед. хр. 5. Л. 1 об.). См. также: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 186.

5 См. мемуарные свидетельства о К. К. Павликовском: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. С. 292—298, 302—304. Свои гимназические переживания, связанные с образом этого преподавателя («Казимир Кузмич Пепп») Белый пространно изложил также в «Записках чудака» (Т. 2. М.—Берлин, 1922. С. 165—185).

[6] Первая строка стихотворения 1902 года (*Золото в лазури.* С. 22).

[7] Цитата из 6-й части стихотворения «Не тот» (1903) (*Золото в лазури.* С. 34).

[8] Начальные строки стихотворения Фета (1846).

[9] Первая строка стихотворения Тютчева (1857).

[10] Стихотворение Белого в 6 частях (*Золото в лазури.* С. 27—34).

[11] Ср. позднейшие признания Белого в «Воспоминаниях о Блоке»: «Борьба с Брюсовым мне далась не легко: предо мною порой раскрывался *"маг"* Брюсов, не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам, как рысь по лесам, за отысканьем приемов весьма подозрительного психологического эксперимента <...>. К причинам, способствовавшим моей нервной усталости, отнесу и начавшиеся вкруг меня медиумические явления (стуки и шепоты), для прекращенья которых я обращался к Флоренскому и епископу Антонию за советом» (*О Блоке.* С. 131). Ср. краткое письмо Белого и С. М. Соловьева к П. А. Флоренскому от 23 ноября 1904 г.: «Брюсов снял маску. Принимайте меры» (Контекст — 1991. Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 36. См. также: Иванова Е. В., Ильюнина Л. А. К истории отношений с Андреем Белым // Там же. С. 10—12).

[12] «Там, внутри» («Interieur», 1894) — заглавие одноактной пьесы М. Метерлинка.

[13] Стихотворение Брюсова «Бальдеру Локи» впервые было опубликовано с посвящением Андрею Белому (Северные Цветы Ассирийские. Альманах IV книгоиздательства «Скорпион». М., 1905. С. 35—36), вошло в книгу Брюсова «Στέφανος. Венок» (М., 1906). Белый сообщает о Брюсове, имея в виду это стихотворение: «... он мне стихи посвятил, угрожая в них: "Вскрикнешь ты от жгучей боли, вдруг повергнутый во мглу". А бумажку со стихами сложил он стрелой, посылая их мне» (*Начало века.* С. 386). Образ «молньи» в стихотворении «Бальдеру Локи» отсутствует, он использован Белым в ответном стихотворении «Старинному врагу» («Я был в ущелье. Демон горный...», 9 декабря 1904 г.): «Копье мне — молнья, Солнце — щит»; это стихотворение было опубликовано в «Вопросах Жизни» (1905. № 3. С. 100) с посвящением: «В. Б.». Подробнее см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 336—338. Сохранилось несколько рисунков Белого, сделанных под впечатлением от послания Брюсова «Бальдеру Локи» (см.: Там же. С. 337, 385; Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. Между с. 144—145, 176—177).

[14] Подразумевается московская Духовная Академия. П. А. Флоренский учился там с осени 1904 до весны 1908 года, А. С. Петровский — с 1903 года, курса обучения не закончил.

[15] Текст этой «записки» неизвестен; обстоятельства передачи ее адресату отражены в письме П. А. Флоренского к Белому от 1 декабря 1904 г. (Сергиев Посад): «В<алерия> Б<рюсова> в "Весах" не было, хотя мы ждали его довольно долго и хотя он *должен* был прийти, по словам Полякова. На нас это произвело впечатление такое, что В. Б. уклоняется от встречи. Записку и ваше письмо я оставил для него на столе редакции. Мне кажется, что он снова принялся за Вас и что у Вас не совсем спокойно. Не обращайте, дорогой Борис Николаевич, внимания и идите своим путем мимо всех личин. Мы не дадим Вас. Хотя В. Б. и пристает, но я сознаю, что он надломился и теперь больше форсит, чем имеет подлинной силы» (Контекст — 1991. Литературно-теоретические исследования. С. 36). 5-м декабря 1904 г. датировано письмо Флоренского к Брюсову (вероятно, неотправленное), в котором содержится призыв скинуть «власть гипноза» и «склониться перед Бальдером» (Там же. С. 52—54). Несколько дней спустя (14 декабря) Белый отправил Брюсову рукопись стихотворения «Старинному врагу»; автограф его (озаглавленный: «Старинному врагу в знак любви и уважения»), сохранившийся в архиве Брюсова, опубликован: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 337—338. Ср. мемуарные свидетельства Белого о создании этого стихотворения: «Пока писал — чувствовал: через меня пробегает нездешняя сила; и — знал: на клочке посылаю заслуженный неотвратимый удар (прямо в грудь), отучающий Брюсова от черной магии — раз навсегда; грохотала во мне сила света» (Андрей Белый. Начало века. «Берлинская» редакция // ГПБ. Ф. 60. Ед. хр. 11. Л. 74).

[16] Подразумевается роман Брюсова «Огненный Ангел», замысел которого относится еще к 1897 году. См.: Гречишкин С. С., Лавров А. В. О работе Брюсова над романом «Огненный Ангел» // Брюсовские чтения 1971 года. Ереван, 1973. С. 121—139. Ср. позднейшие свидетельства Белого о реакции Брюсова на получение стихотворения «Старинному врагу»: «Получив это стихотворение, он видит во сне, что между нами дуэль на рапирах и что я проткнул его шпагой;

просыпается — с болью в груди (это я узнал от Н. И. Петровской)» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 51).

[17] Имеется в виду публичная лекция Бальмонта «Поэзия стихий» (о мексиканской поэзии), прочитанная 18 декабря 1904 г. в аудитории московского Исторического музея; опубликована в январском номере «Весов» за 1905 год.

[18] Бальмонт отправился из Москвы в Мексику 27 декабря 1904 года.

[19] См. примеч. 1 к п. 65.

[20] Ту же готовность отказаться «вообще от писательской деятельности» Белый выразил в письме к С. А. Полякову от 21 декабря 1904 г.: «...я совершенно разуверился в убежденности большинства так называемых декадентов, т. е. я уверен в их полной беспринципности <...> В частности мне чрезвычайно трудно поддерживать живую связь со "Скорпионом" благодаря тому, что пришлось бы иметь дело с Валерием Брюсовым, который держал себя по отношению ко мне более чем возмутительно, пользуясь моим мягким и робким нравом. <...> С подавленным вздохом приходится мне отвернуться от тех, в кого я верил, кем восхищался. Теперь глаза мои прояснились — и какое разочарование в людях!!!» (Stanford Slavic Studies. 1987. Vol. 1. P. 75. Публикация Дж. Мальмстада). Однако вслед за этим письмом Белый отправил Полякову другое, в котором отказывался от своих слов и выражал прежнюю готовность «писать в "Весах" и не разрывать связей с людьми», ему дорогими (Ibid. P. 78).

---

67. БЛОК – БЕЛОМУ

<23 декабря 1904. Петербург>[1]

Спасибо Тебе, милый друг, что написал обо всем. Скажу Тебе на это, прежде всего, что верно Ты знаешь, *как* поймет все это тот, который сидит во мне помимо всех остальных, сидящих там же; многие из них — пренеприятные господа, которых Твое извещение заставило поугомониться, — и вот протянулся ряд хороших дней, более тихих, более глубоких, самообсуждающих. Когда начинаются эти дни, — возвращаются обыкновенно настроения, очень давно покинувшие, совсем забытые, которые, казалось, были похоронены. М<ожет> б<ыть>, я даже присутствовал на похоронах и ставил свечки, но удивительно, что встретился опять с покойником, нисколько не удивился и принял его в круг самых живых и самых близких. Этот год с осени был особенный в этом смысле. *Особенно* резко и старательно было забыто осенью, во время обычного после лета укрепления «нервов» и «просияния» по этому поводу, — всё из прошлого. Летняя земля помогла, пожалуй, выковать очень хороший замок, который наглухо закрыл двери, и когда створки окончательно сдвинулись, пробудилось стремление писать зачетное сочинение и рефераты[2]. Все это было выполнено успешней, чем когда-нибудь, стало приятно и лестно чувствовать свою «работоспособность» и возможность историко-литературных обобщений. Все это длилось до очень недавнего времени, до Рождественских вакаций. Вероятно, это было полезно и укрепительно, потому что позади этого, когда створки приоткрываются (только теперь), оказывается *воспоминание* о днях, когда «постигал я первую любовь»...[3] Дело в том, что кто-то *очень Добрый* (слава Богу! слава Богу!) заставлял *придумывать* то, что было *пережито* раньше. Конечно, это шло туго. Говорю о «Прекрасной Даме» (о, обоюдоострое название! надоело...). Придумыванье шло довольно давно. Может быть, теперь, когда *от многого* приходит пора отказаться (говорю о *молодости*; знаешь?), все меньше и

меньше станут затемнять *Истинность* мгновенные, ребячливые построения. Ведь они были нужны, пока существовали какие-то странные, *казавшиеся* нужными связи с не совсем реальным. Очень вероятно, что поезд мой сделает еще только последние повороты — и придет потом на станцию, где останется надолго. Пусть станция даже *средняя,* но с нее можно будет оглядеться на путь пройденный и предстоящий. В нынешние дни, при постепенном замедлении хода поезда, все еще просвистывают в ушах многие тревожные обрывки, но странно: прежде мне хотелось писать Тебе и говорить вообще об этих вечно свистящих обрывках, а теперь хочется «остаться в границах» положительного письма. Такое же впечатление производят на меня и Твои последние письма. Ты пишешь все реальнее и все углубленнее; я принимаю это совсем просто и реально. С прежними письмами могли происходить случайности, — в дороге слова еще шевелились и могли искривиться. Теперь они всё закрепленнее изнутри. Все это происходит как-то помимо сознания. Правда — приближается странное время, я бы сказал, что «носом и глазами впивается» непривычная стихия средней полосы жизни, как когда-то — первая юность. Несмотря на всю эту положительность, — я *знаю*, кто Брюсов, и что — именно тот, о каком Ты пишешь. Прочтя Твое письмо, я подумал, что он сейчас заглянет и к нам, но почти не боялся. Ничего не случилось. Читал вслух Любе, она сказала, что ей это «близко». Иногда я боюсь за себя. Кое-какая «пронзительность» есть на моей душе. Странно, что я *почти* не встречал в жизни «этого» лицом к лицу. Предположить могу только одно из двух: или — окончательную бездарность в «переживаниях», — но это не так, потому что переживания «Прекр<асной> Д<амы>» были слишком несомненны; или — бессознательное уменье гонять чертей соответствующими средствами — их же оружием. Последнего-то я и боюсь иногда. Слишком мало пугаюсь. Но, может быть, ведь — я исчерпался. «Песне конец». Впрочем, «странно веселые думы мои»[4] — налицо. Если бы Ты знал, как я *всегда н е в е р у ю!* Но *иногда*, как, закинув руки в «голубое», могу простоять я над бездной — и почти полет! До сих пор есть эта возможность. Пусть *не верую* даже, потому что иногда еще даже возможность покаяния как будто брезжит. Впрочем, я не могу исповедаться у священника. Я думаю: «верно нужна конституция» — искренно и часто с серьезной злостью на правительство. Тут-то подбегает «ребенок-я» и, протягивая на меня палец, кричит, заливаясь смехом: «Он хочет конституции!» Этого ребенка я беру на руки и целую — и «я и Он одно»... *опять* одно. — Туго, гладкими стихами, часто *старательно* пишу поэму[5]. Дошел наконец до части, где должна явиться Она. Знаю, как надо..., но тут идет одна золотая нитка, которую перервать нет ни нужды, ни сил, продолжить, — может быть, — тоже. Дело в том, что на корабле должна прибыть Она. На корабле — *бочка*, самая простая, так — среди других тюков и боченков. В бочке — *ребенок*. Все это только канва, но на канве появился самый реальный, страшно глупый, *Добрый*, мохнатый щенок с лиловым животом, по которому ходят блохи. Если я останусь правдивым — то заменю ребенка в бочке именно таким щенком...[6] Впрочем, пишу Тебе все это скорее затем, чтобы бросить поэму и разбить ее на отдельные стихотворения[7]. Я не посылаю Тебе стихов — стоящих нет пока. О твоих очень соскучился, — если есть — пришли, пора опять испить из этого Твоего кубка.

Ведь я нарочно, почти, не *отвечаю* на Твое письмо. Слов не найду, все равно, но *знаю, знаю*... Относ<ительно> слов все более становлюсь нищим, но иногда головокружительно какое-то богатство. Видишь, и я не умею, по-прежнему, писать письма. Но пусть хранит Тебя Господь. Знаю о Твоем *с т р а д а н и и*,

страдающий и сильный — *«сильнее, чем сам предполагал»*. Крепко обнимаю Тебя, и целую, и нежно люблю. Люба и мама благодарят Тебя и приветствуют. У нас елка стоит и пахнет смолой — чисто и *бело*. Поздравляю Тебя с праздником![8] Поздравь, пожалуйста, Твою маму. До свиданья, милый.

Твой Ал. Блок

23 декабря 1904. СПб.

---

[1] Ответ на п. 66.

[2] Имеются в виду курсовое сочинение «Болотов и Новиков» и, вероятно, представленный 25 февраля 1904 г. профессору А. И. Соболевскому, по определению Блока, «скучный, фонетико-морфологический» реферат «об апокрифе о путешествиях Иоанна Богослова» (*Письма к родным, I.* С. 133; ЗК, 60). В «Автобиографическом очерке» (1 марта 1906 г.) Блок указывает, что представил Соболевскому «два реферата по исследованию языка в апокрифе “Смерть Авраама” и в “Хождении Иоанна Богослова”» (VII, 431).

[3] Цитата из стихотворения Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней...» (1844).

[4] Цитата из стихотворения Мережковского «Веселые думы» («Без веры давно, без надежд, без любви...»), впервые опубликованного в альманахе «Северные Цветы на 1902 год» (М., 1902. С. 105). Позднее в статье «Мережковский» (январь 1909) Блок привел весь текст стихотворения, охарактеризовав его: «Когда-то в букет скорпионовских “Северных цветов” уронил Мережковский четыре стиха, лучшие из всех своих стихов <...> Здесь как бы навеки дал Мережковский расписку в том, что он художник» (V, 366).

[5] Неоконченная поэма «Прибытие Прекрасной Дамы», над которой Блок работал в декабре 1904 г.; позднее Блок объединил отдельные стихотворения, относившиеся к этому замыслу, в единый цикл под заглавием «Ее прибытие (Неоконченная поэма)» (Блок А. Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость (1904—1906). 2-е изд., доп. М., «Мусагет», 1912. С. 101—108). См.: ПСС II, 281, 614—615.

[6] Никаких следов работы Блока над изложенной сюжетной коллизией поэмы в его рукописях не зафиксировано.

[7] Все семь стихотворений, составивших позднее текст «Ее прибытия», были предварительно опубликованы в периодике как самостоятельные тексты. См.: ПСС II, 618—624.

[8] Рождество.

---

68. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 декабря 1904. Москва>[1]

Милый, поздравляю, целую, помню. Передай всем твоим мое поздравление, желаю счастья, помню, верю. Весь Твой

Борис Бугаев

---

[1] Открытка с изображением парусной лодки. Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1904 — 24 дек.».

69. БЛОК – БЕЛОМУ

<Конец декабря 1904. Петербург>[1]

Спасибо за жемчужные вести. Поздравляем Тебя все мы с Праздником и Новым Годом. Будь счастлив.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 68.

Л.Д. Менделеева. Рис. А.И. Менделеевой. Около 1895

1905

70. БЛОК – БЕЛОМУ

<Январь 1905. Петербург>

Милый Борис Николаевич.

Я переврал адрес Семенова. Настоящий адрес: Невский *104*, кв. 244[1].

Твой Ал. Блок

---

[1] С Л. Д. Семеновым Белый познакомился в Москве 31 мая 1903 г., в день похорон отца, сблизился с ним в последующие дни (см.: *Начало века.* С. 277—281, 626—627). Приехав в Петербург в «исторический день» 9 января 1905 г., Белый, по его признанию, нашел тогда взаимопонимание прежде всего с Семеновым: «Подлинно переживал я события дней лишь в беседах с Семеновым, Леонидом, готовым: к немедленному восстанию; он коридором, минуя гостиную Гиппиус, прибегал в мою комнату; и вывлекал меня в Летний сад, где мы и беседовали; вероятно, его тянуло ко мне: он во мне находил себе эмоциональный отклик» (Там же. С. 457).

---

71. БЛОК – БЕЛОМУ

4 февр<аля> <1905. Петербург>

Милый мой!

Как было хорошо с Тобой в Петербурге![1] Сейчас мы узнали об убийстве Сергия Александровича[2]. В этом — что-то очень знаменательное и что-то решающее. Это случилось, когда мы прощались с Тобой на платформе[3]. У нас обоих ужасно тяжелое чувство, и что будет — не знаем.

Сейчас, узнав об убийстве, целый вечер шатался по улице. Представление Гибели богов было отменено[4]. Чувствовал на улице одиночество и потерянность. Толкнулся к Иванову[5] и Городецкому, и, не застав их, почувствовал, что *один*

(многолетняя служба...[6] *серьезно*). Нет почти людей, с которыми легко. Подумал о Мережковских — и не захотелось идти к ним... Ты незаменимый и любимый. Обнимаю Тебя крепко, Боря. Мы близки.

Твой Саша

---

[1] Свое пребывание в Петербурге (9 января — 4 февраля 1905 г.), в ходе которого он постоянно общался с Блоком и его семьей, Белый подробно описал в мемуарных книгах (см.: Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 96—109; *О Блоке*. С. 131—169; *Начало века*. С. 456—502).

[2] Великий Князь Сергей Александрович был убит разрывной бомбой 4 февраля 1905 года в 3 часа дня на Сенатской площади Московского Кремля; террористический акт совершил эсер И. П. Каляев.

[3] Ср. свидетельства Белого в «Воспоминаниях о Блоке»: «Никогда не забуду последний мой день в Петербурге <...> А. А. и Л. Д. провожали меня на вокзал; когда тронулся поезд, увидел в окне их, веселые, ласково мне закивавшие лица. Меж тем: в этот час был убит генерал-губернатор Москвы В. К. Сергей Александрович. Первое известие, узнанное мною в Москве — на вокзале, — газетное описание взрыва в Кремле» (*О Блоке*. С. 168).

[4] Музыкальная драма Р. Вагнера «Гибель богов» (4-я часть тетралогии «Кольцо нибелунга») ставилась в Имп. Мариинском театре; спектакль был объявлен на вечер 4 февраля, однако по случаю гибели Великого Князя «во всех Императорских театрах были отменены спектакли» (Новое Время. 1905. № 10388, 5 февраля. С. 13).

[5] Имеется в виду Е. П. Иванов.

[6] Обыгрывается строка «Один. Многолетняя служба» из стихотворения Белого «На железнодорожном полотне», рукопись которого Блок получил от автора в октябре 1904 г. (п. 59; с. 180 наст. изд.).

---

72. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 февраля 1905. Москва>[1]

Вчера Она бросилась с разбега в голубое море весенних эфиров — волосы ее, вздутые ветром, рассыпались вверх. Тысячи златозарных нитей протянулись вдоль горизонта. Каждая нить горячее огня — волос певучий и сверкающий — расплавил замерзающие льдинки. И все сверкало звездным золотом. Потом все успокоилось. Звезды погасли. Настала тишина, не возмущаемая ничем. Серебряная звезда взошла. И сияла.

Вечером был у Кобылинского. Капитан Култышко[2], выгнанный из Порт-Артура за разоблачения Алексеева, кричал о революции, хромой и длинноволосый, ковыляя. Артист Петрушко декламиров<ал> ужасы. Мы сидели молча с рыжим апокалипсическим всадником (Сизовым). Мы молчали. Рыжий всадник кротко возразил Култышко на тему об *«общине»*[3].

После мы шли с рыжим всадником. Была тишина. Весна. Ласка искристых фонарей... Он говорил: *«Смотрите, повторяется. Она опять близко»*...

Сегодня день сияет — голубой, золотой, не простой.

Пряди ее волос, как золотистая паутина — всюду, всюду.

Вечером опять Она бросится с разбега в голубое море весенних эфиров — волосы ее, вздутые ветром, вверх ринутся.

Звонят о убийстве Великого Князя. Звон Весны покрывает печаль. Милый, люблю Тебя.

Твой Боря

---

[1] Написано на следующий день по возвращении Белого в Москву (5 февраля). Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Согласно разысканиям В. Н. Орлова (см.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 123, 354), здесь подразумевается армейский офицер из Порт-Артура и драматург Андрей Львович Полевой, автор пьес «Былины. Киевский цикл. Символическая трагедия Руси» (М., 1906), «Переворот. Современная трагедия революции» (М., 1907), «Будда. Индийский пророк», «Два начала», «Народ и Общество» и ряда других, как опубликованных, так и оставшихся в рукописи (многие из этих рукописей хранятся в Театральной библиотеке в С.-Петербурге).

[3] О собраниях у Эллиса (Л. Л. Кобылинского), проходивших по возвращении Белого в Москву, последний вспоминает: «Я застаю в кружке моих близких товарищей сильный сдвиг влево; Эллис, ушедший от своих прежних, как он любил выражаться, нелегальных связей, возобновил эти связи <...>» (*Начало века.* С. 503).

---

73. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 февраля 1905. Москва>[1]

Милый, Милый!

Счастье приближается. Видел Сережу. Он тоже не хочет ничего, кроме счастья[2]. Христос — радость — счастье. И цветы. И Она. Целую.

Твой Боря.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка с репродукцией картины В. Хира «Зимний закат». Помета Блока красным карандашом: «1905 — 6 февр.».

[2] Имеется в виду С. М. Соловьев. Ср. его признание в недатированном письме к Блоку, относящемся к февралю 1905 г.: «Я живу с тобой и Борей все время, мы с ним окончательно говорим теперь одно» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 389).

---

74. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не ранее 6, не позднее 8 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

бесконечно обрадован Твоим письмом. Все то же испытываю и я. Одиночество было бы полное, если б не было Сережи. Был у него. *Он то же.* Я не знаю, что: но *он — то же.* Когда я ему сказал о лете, об одеждах, он закричал, что полгода только и думает об этом, что дальше жить нельзя, что нужно расстаться с грузом и тяжестью, что наступает пора блаженных островов. Рассказывал и то, как

он бросил Астрову в ответ на общественное значение Христа, что дело Христово бесконечно больше в танцах Дёнкан[2]. Он таки вручил ей свое стихотворение, написанное по-гречески с переводом по-английски, упав на колени перед ней, за что и удостоился цветов от нее[3].

Помню, очень скучаю о Тебе, о Любови Дмитриевне, об Александре Андреевне и Франце Феликсовиче. Утешаюсь цветами. Думаю о цветах.

Только цветы!!

Все остальное в Москве мучительно, грузно и нудно. Был у Котляревского, говорил о революции; виделся с Эрном, Свентицким, едем в Троицу, где сходками студентов руководит... Петровский, который стал писать... прокламации!!!!!!

Но все это о другом!

Милый, Милый — мир нас должен возненавидеть, потому что мы не должны быть от мира, но от «золота, роз, лазури, снега и пурпура». — Лазурнозолотые, снегопурпурные розы Вечности!

Христос с Тобой.

Милый, будь счастлив, не забывай — помни, помни!

Любящий Тебя бесконечно

Боря

P. S. Как странно! В тот приезд из Шахматова узнал о смерти Плеве. Теперь — опять смерть[4]. Но ни о чем не беспокоюсь. Жду лета.

---

[1] Ответ на п. 71. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Первый концерт Айседоры Дункан в Москве состоялся в Большом зале Консерватории 24 января 1905 г. (исполнялись танцы на музыку Шопена), второй концерт — там же 27 января («Dances idylles»); Дункан выступала тогда в Москве еще дважды в театре Солодовникова — 31 января и 3 февраля. 25 января 1905 г. С. Соловьев писал Блоку: «Вчера видел Айседору Дункан и... Евангелие лучше, чем ее пляска, но вот и все. Я не влюбился. Однако кричал до хрипоты и, наконец, через всю толпу швырнул ей мою фуражку. Она ее взяла и надела на голову. Теперь я не позволяю этой фуражке ночевать в передней и кладу ее в спальне на стол. Куплю новую, а эту буду носить только по богородичным праздникам. Написал рецензию о Дункан и отдал Валерию» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 387). В заметке «Айсадора Дёнкан в Москве», переданной В. Брюсову и опубликованной в «Весах» (1905. № 2. С. 33—34. Подпись: С. С.) Соловьев утверждал: «Айсадора Дёнкан дала нам предчувствие того состояния плоти, которое я называю “духовною телесностью”. В ее танце форма окончательно одолевает косность материи, и каждое движение ее тела есть воплощение духовного акта. Она, просветленная и радостная, каждым жестом стряхивала с себя путь хаоса, и ее тело казалось необыкновенным, безгрешным и чистым». Заметка перепечатана в кн.: Айседора: Гастроли в России / Составление, подготовка текста и комментарий Т. С. Касаткиной. М., 1992. С. 84—87.

[3] Ср. стихотворение «Мунэ Сюлли и Айседора Дёнкан» (Соловьев С. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907. С. 108—110).

[4] Убийство Великого Князя Сергея Александровича.

---

75. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<8 февраля 1905. Москва>[1]

Милый, я еще не надоел Тебе письмами? Можно писать хотя бы два слова каждый день?

Весь Твой Боря

[1] Дата почтового штемпеля. Автограф среди писем Белого к Блоку, хранящихся в РГАЛИ, отсутствует. Текст печатается по изданию: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 124.

76. БЛОК – БЕЛОМУ

<10 февраля 1905. Петербург>[1]

Милый дорогой Боря, пожалуйста не извиняйся. Все, что Ты пишешь, — всегда очень хорошо и своевременно. Крепко обнимаю Тебя. Твои письма не дают погрязнуть в думах о сходке — и пр.[2] Люблю Тебя нежно.

Твой Саша

[1] Ответ на п. 75. Датируется по связи с ним.

[2] Об отношении Блока к студенческим политическим сходкам свидетельствует, в частности, его письмо к С. Соловьеву (середина февраля 1905 г.): «И я политики *не* понимаю, на сходке подписался в числе "воздержавшихся", но... покорных большинству» (*ЛН. Т.92. Кн.1.* С.391).

77. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<11 февраля 1905. Москва>[1]

Милый,

я хочу Тебе сказать, что нынешней весной упразднится золото последних лет и будут нежноэмалевые розы. Будь счастлив. Спасибо за письмо. Все так ясно, так огнисто, так зеркально.

Нежно любящий Тебя Боря.

[1] Датируется по почтовому штемпелю.. Открытка с репродукцией рисунка Р. Кирхнера (фигура женщины). Помета Блока красным карандашом: «1905 — 11 февр.».

78. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<12 февраля 1905. Москва>[1]

Милый, Милый,

спасибо за письмо. Счастье. Солнце. Опять. Весна. Будет. Радость. Жемчуг. Бирюза. Рубин. Топаз. Хризопрас. Вот.

Нежно и горячо Тебя любящий

Боря.

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка с репродукцией рисунка Р. Кирхнера (фигура женщины). Помета Блока красным карандашом: «1905 — 12 февр.».

79. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<14 февраля 1905. Москва>[1]

Милый, как эта зоря Ты мне близок — заревой и старинный. Все придет, все уйдет, но это, что я вижу в Тебе, останется. В этом радость, и легкость, и ясность, и счастье. И Вечность.

Твой Боря.

P. S. Смотри на зорю: мы на зоре и Краб тоже.

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 14 февр.». Текст записан на обороте открытки, изображающей закат на реке, с шутливой дорисовкой Белого: фигурки, означающие Блока, Белого и Крабба — таксу матери и отчима Блока (подразумевались совместные прогулки в Шахматове в июле 1904 г.).

80. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<16 или 17 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Христос с Тобой. Что-то мне радостно. Радостно ли Тебе? Я думаю, что теперь время летит к счастью. Господь да хранит Тебя.

Любящий Тебя.

[1] Открытка с репродукцией фрагмента росписи Владимирского собора в Киеве, исполненной В. М. Васнецовым. Помета Блока синим карандашом: «18 февр. 05». Поверх репродукции — письмо Белого к Л. Д. Блок:

Милая Любовь Дмитриевна,

Сейчас глядел не нагляделся на Ваш портрет. И не знаю — великое утешение мне в этом. Спасибо за портрет. Остаюсь глубокопреданный и искренне любящий Вас

Борис Бугаев

81. БЛОК – БЕЛОМУ

19 февр<аля> 1905. Петербург

Милый Боря. Хорошо получать Твои письма. У нас было разное — и хорошее, и дурное. Все время какое-то выжидание по поводу внешних событий. Хожу в квартиры профессоров для чтения Саввиной Книги, Летописи и пр.[1] Профессора (из небастующих) — в розовом настроении, надеются на земский собор... Студентам же кажется, что профессора, будучи начитаны в церковнослав<янской> палеографии, могут лучше всех объяснить положение дел. У Мережковских был журфикс с высовыванием Бердяевского языка[2] и др<угими> ужасами. Мы сидели с Татой и Ивановым и смотрели альбом Kindisch, результатом чего было мое послание к чертям из Татиного альбома[3]. Спрашивали, — правда ли, что ты вернулся с вокзала к нам? Я твердо сказал: *нет*, так как помню, что с вокзала приехал Снег, а не Ты[4]. Завтра может произойти на улице то же, что было в день Твоего приезда в П<етер>б<ург> — 9 января[5]. Спасибо Тебе за письма, милый. Я Тебя очень люблю.

Твой Саша

Люба и мама кланяются и благодарят за письма. Вчера наконец была великолепная Гибель богов. Ершов был незаменим!.. Мешали: знакомые, слухи о Варфоломеевской ночи — и две кухарки, сидевшие за нашей спиной.

---

[1] Речь идет о занятиях палеографией и старославянским языком у профессора А. И. Соболевского. См.: Кумпан К. А. Александр Блок — выпускник Университета // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 167. Видимо, имеется в виду издание: Памятники старославянского языка. Т. I. Вып. 2. Саввина книга, недельное евангелие, переписанное попом Саввой в XI в. Издана со снимками В. Н. Щепкиным. М., 1903.

[2] Н. А. Бердяев страдал нервным тиком, сопровождавшимся конвульсиями языка.

[3] Упоминаются Татьяна Николаевна Гиппиус и Е. П. Иванов. Ср. сообщение в письме З. Н. Гиппиус к Белому от 20 февраля 1905 г.: «У нас был вечер, были все “тапиры”, был, между прочим, и Блок, но Тата увела его в свою “пещеру”, и там они все рассматривали ее альбомы, а на другой день Блок принес Тате стихи, написанные на эти альбомы» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 221). Имеется в виду стихотворение Блока «Твари весенние» («Золотисты лица купальниц...», 19 февраля 1905 г.) с подзаголовком «(Из альбома “Kindisch” Т. Н. Гиппиус)» (ПСС II, 13—14). Ныне местонахождение альбомов с рисунками Т. Н. Гиппиус («Kindisch» (*нем.*) — детское) неизвестно; ср. свидетельства Белого в «Воспоминаниях о Блоке» об их содержании: «... я подружился особенно с *“Татой”* <...> у нее был альбом и в него зарисовывала она все фантазии, образы, сны, сопровождая эскизы порой комментарием; этот дневник, мысли-образы, я полюбил» (*О Блоке.* С. 140); он же сообщает: «...те альбомы А. А. с удовольствием долго рассматривал, очень любя их; и после уже появились в стихах его все персонажи набросков Т. Н.» (Там же. С. 252). Подробнее см. комментарий Н. Ю. Грякаловой: ПСС II, 565; см. также: А. А. Блок. Письма к Т. Н. Гиппиус / Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 209—217.

[4] Снег — один из образов «эзотерического» языка общения и переписки Блока и Белого; ср. его употребление в письмах 49, 85, 94, 100, 107, 120, 127. Ср. сообщение об обстоятельствах отъезда Белого из Петербурга в Москву 4 февраля 1905 г. в его мемуарной книге «Начало века» («берлинская» редакция): «Повез на вокзал свои вещи, решив напоследок поехать проститься в Казармы (на пять лишь минут); вместо ж этого — засиделся: — Оставайся, — сказал А<лександр> А<лександрович>. <...> Я остался. А Мережковские думали — что уехал. <...> (З<ина-

ида> Н<иколаевна> очень скоро узнала об этом поступке моем: и поступок воспринят был, явное дело, коварным обманом; ведь вот: распростился, уехал, и к — Блокам: влетело за это — в письме)» (Вопросы литературы. 1964. № 6. С. 245. Публикация С. Григорьянца).

[5] Подразумеваются ожидаемые последствия опубликованного 18 февраля Высочайшего манифеста, призывавшего «напомнить правительственным учреждениям и властям всех ведомств и степеней долг службы и веления присяги», а «благомыслящих людей» — «соединиться в дружном содействии Нам словом и делом в святом и великом подвиге одоления врага внешнего, в искоренении в земле Нашей крамолы и в разумном противодействии смуте внутренней».

---

82. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<20? февраля 1905. Москва>[1]

Саша, милый, спасибо за письмо. Грустно. Слышу музыку Шумана. Тихо ей улыбаюсь. Знаю, что есть *«Вы»* — Ты, Любовь Дм<итриевна>, Алекс<андра> Андреевна; а то — мрачно. Кругом меня реют черные птицы и даже грозятся «внешностями», но я позабыл бояться угроз *«извне»*. Если что удручает, так это то, что есть люди, которых люблю я очень и которым грустно-грустно, и, знаю, не может быть весело. Я знаю, что мог бы их успокоить, но не *хочу*, ибо это может повлечь за собой всякие сложности для них. А еще более извне — ужас с армией[2], «Курское побоище»[3], и т. д.

И на душе вуаль.

Милый, люблю Тебя. Не забывай.

Твой Боря

---

[1] Ответ на п. 81. Датируется по связи с ним. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Завершающие события русско-японской войны — сражения под Мукденом.

[3] Подразумеваются столкновения учащихся с полицией в Курске 12 февраля 1905 года. Ср. сообщение «От курского губернатора»: «Ввиду прекращения занятий в некоторых учебных заведениях г. Курска и возникших уличных беспорядков курский губернатор признает необходимым предупредить население, что никакие сборища и демонстративные шествия не будут допускаться и к устранению всяких массовых беспорядков будут приняты решительные меры, предписанные законом» (Русские Ведомости. 1905. № 43, 14 февраля. С. 2).

---

83. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

21 февраля <19>05. <Москва>[1]

Милый Саша,

Ты ужасно мне близок. И я сижу. И говорю с Тобой.

Здравствуй. Кто знает, что я сейчас в Петербурге? Ну и пусть.

А я все-таки в Петербурге и разговариваю с Тобой в то время, когда многие думают, что я только и занят Москвой. Они ничего не понимают во всем этом.

С чем их и поздравляю — московских. Они думают, что я занят общественностью, и не пишу стихов. Да, я не пишу стихов, потому что я в стихах — в стихиях. Они думают, что я гражданин, а я мирогражданин. Но мое мирогражданство рассматривается как российское гражданство. Мы граждане — Ты, Я, и Тучи, и Зоря. И всё. Только не Сережа Слепой: он понимает, видит[2].

Милый, милый!

Я радуюсь и веселюсь, и... грустно.

Твой Боря

P. S. Мое глубокое уважение передай Францу Феликсовичу.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — 21 февр.».

[2] Возможно, этот смысловой акцент объясняется содержанием бесед Белого и Блока в январе 1905 г. в Петербурге, затрагивавших характер и психологический облик Сергея Соловьева. На начавшееся в ту пору отчуждение семейства Блоков от С. Соловьева Белый намекает, вспоминая о январских посещениях их квартиры: «...отсутствие С. М. Соловьева, доселе участвовавшего в наших сидениях, не нарушало гармонию целого; наоборот: без С. М. стало тише, спокойнее, непритязательней вместе» (*О Блоке.* С. 166).

---

84. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша!

Безумно хорошо. Думаю о Тебе. И вот что: Ты ужасно не декадент, преодолевший частью существа декад<ентство>, а другой частью никогда не расстававшийся с Пушкиным, Лерм<онтовым> и др.... Пишу о Тебе для март<овской> книж<ки>[2]. Христос с Тобой.

Твой Боря

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Подразумевается статья, опубликованная под заглавием «Апокалипсис в русской поэзии» не в мартовском, а в апрельском номере «Весов» за 1905 г. (см. п. 62, примеч. 2). В ней Блок был охарактеризован как один из замечательнейших русских поэтов, наряду с Пушкиным, Лермонтовым, Некрасовым, Тютчевым, Фетом, Вл. Соловьевым и Брюсовым. В русской поэзии Белый выделил два русла, берущие начало, соответственно, от Пушкина и Лермонтова; лермонтовское русло, отразившее мистические помыслы, присущие русской душе, находит в современной поэзии, согласно Белому, наиболее совершенное воплощение в творчестве Блока.

См. также подборку материалов «Современники о первой книге Александра Блока» в издании : Блок А. Собр. соч. В 12 т. М., 1995. Т. 1. С. 331—378.

85. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 февраля 1905. Москва>[1]

Я постоянно возвращаюсь к Вам по этому мосту, ведомый Орлом[2]. Постоянно радуюсь, что увидимся. Мне так хочется перебросить мой смех — горсточку цветочков, потому что весна приближается несмотря ни на что. Когда я растаю, я встану голубенькими подснежниками из травки. *Снег.*

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка с репродукцией рисунка М. В. Добужинского «Троицкий мост»; на репродукции — шутливые дорисовки чернилами и приписки Белого. Слева — чёрт, говорящий: «Неужели он идет к Блокам? Надо его не пустить»; посередине — Белый, спрашивающий «орла» (человекообразное существо с орлиными крыльями): «Где живут Блоки?»; справа — «орел», отвечающий: «Пойдем, я покажу, где живут Блоки». Пометы Блока красным карандашом: «1905 февр.»; «24/II».

[2] Фантастический образ из 3-й «симфонии» Белого «Возврат» (М., 1905): орел препровождает Хандрикова, героя «симфонии», «в санаторию доктора Орлова».

---

86. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 февраля 1905. Москва>[1]

Милый Саша!

Господин чёрт снова бежал. Но поражаюсь упорству его атак. Нет, видно, нельзя жить без мистерии или по крайней мере без *«Орловок»*[2]. Все остальное да не смущает. Милый, Христос с Тобой.

Твой Боря

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка; текст записан по изображению Ф. И. Шаляпина в роли Мефистофеля (опера Ш. Гуно «Фауст»). Пометы Блока красным карандашом: «1905 — февр.»; «24/II».

[2] Орловка — станция, близ которой располагается санатория доктора Орлова (в 3-й «симфонии» Белого «Возврат»); в символическом плане — убежище от ужасов повседневной действительности.

---

87. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Зарницы пляшут в моем сердце. Их подножье — черная глыба горя, как туча, плывущая в лазури моей души. Все было туманно. Но туманы сгустились. Чер-

ная туча перерезала лазурь. Но только тогда возник танец зарниц. Только тогда встала эта танцовщица в сафирно-розовом, — та, чей серпантин озарил мне сумрак низин. Наша жизнь средь низин. Ничто их не озаряло, если бы не беглые зарницы, возметнувшиеся мгновеньями, чтоб озарить все. Но если мгновенья достаточно для того, чтоб озарить все, то все мгновенно, а Вечность, — молниевидная танцовщица, успевающая в легком танце побывать на всех тучевых кручах и ущельях. Вижу Ее с бубном грома в вихре танца, покрывающую легкой розовой шалью и блеснувшее море, и пустынные улицы и дома. Люди боятся грозы и зарниц, боюсь и я, но никто не сумеет заслонить образ Вечной Зарницы, трагически возникающей, чтоб погибнуть в омраченной лазури моей души. Черная туча — темный верблюд, влачащий груз моего познания; никогда не покинет он горизонта лазури. Никогда. Откуда же эта вспышка, миллионы роз и гиацинтов, букеты огненных светочей, разрывающие мрак, окрыляющие? Не р<?> <оз?>овая* Плясунья, окрыляющая познания, не премудрость ли Божия? Темный образ, тихо ползущий, чтоб никуда не уползти, когда над ним затрепещут эти розовые крылья, не похож ли он на апокалипсическое существо — льва, орла, тельца или *человека*, влекомого к Господу, началу и концу всего. Нежно Тебя целую.

Твой Б. Бугаев

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна». Датировка и последовательность писем 87—92 условны и предположительны; письма расположены в том порядке, который установлен в архивной последовательности листов и который, вероятно, соответствует их упорядоченности в подборке, составленной самим Блоком.

---

88. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Милый!

Я видел сон:
лунное зеркало плескало у скал. Обломок месяца, отразясь, начертал тонкозвонные струны. Три серебряных струны задрожали на влаге под чьим-то невидимым прикосновением. И музыкальный звон — крик серебра — истаял цветочным туманом, встававшим над озером. Я видел на скалах и тех, чьи латы блистали, и мерзкого дракона, точно изваянного из морщинистого малахита, задремавшего у норы. Я видел скалу, вознесенную надо всем, и повитую тайной и облаками. Я был там же, все там же, — над миром, старинный, старинный... Было время, и я знал, что оно еще будет. Еще немного продлится. И мне казалось, что серебряные струны месяца, заплясавшие на воде, — струи хрусталя, а озеро — сонный полог, которым я занавесился. Но я понял, что серебряные струи стекают с льдяного лица — и я таял.

---

* Текст испорчен дыроколом.

Проснулся. Ледяная маска струилась — будет Весна. Будет мокрая, душистая земля, и зеленая травка, и пасхальный благовест о том, что еще не все погибло.

Прилетят ласточки и зачертят острые косяки в голубом, завизжат о зоре.

И сердце мое превращалось в летучую ласточку, взвизгнувшую зорей. И я не спал — улыбался, молился.

Милый, мы еще увидимся.

P. S. На днях напишу Александре Андреевне.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

---

89. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Каждому человеку полагается что-нибудь делать. Я — ничего не хочу делать. Я — сам. Я — человек, и как таковой я — самоценен. А они все пристают ко мне — «Отчего вы не пишете?» и т. д. Я сейчас без дела. Хожу медленно по улицам. Молчу и молчу. И буду впредь бездельником. Я не хочу дела. Бездумно спокоен, уверен в себе. Гуляю и сплю — вот и все. Но музыка, мне звучащая, со мной. Милый, как бы я хотел Тебя видеть? Неужели Тебе совсем нельзя приехать в Москву? Нежно обнимаю Тебя, Христос с Тобой.

Твой Боря

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

---

90. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Милый,

снова, снова пришла ко мне моя одинокая успокоенность.

Разорвал всякие литературные путы. Теперь счастлив. Хожу к простым, *честным* людям. Встречаю здесь ласку и искренность, которой не было у «литераторов». Да, теперь я *опять* только обыватель, и потихоньку тону в тишине. *Тихо поживаю.*

Ужас до времени затаился. Знаю, будет. Еще и еще. Но мне легче будет теперь уходить в ласковость. Легче бороться изнутри. Виднее. А то всякая внешность

парализует силы. Спасибо за нравственную помощь, которую Ты мне оказал, — и Любови Дмитриевне спасибо, спасибо!

Были дни, когда, помимо ужасов, происходящих внутри, меня еще оскорбили, оскорбили смертельно; оскорбляли систематически, утонченно, с холодным рассчетом целый вечер, а я должен был улыбаться и не замечать обиды. Но свободу своей души, но любовь к Богу и к Ней, неизгладима в моей душе*. На другой день опять продолжались оскорбления; и я опять улыбался.

Кажется, страдание дало мне силу тишины, и потом мне казалось, что летят с севера белые голуби...

Милый, пиши! Да, мы знаем друг о друге больше, чем другие. Я это знаю. Знаю.

Пришли стихов, если можно. Твои стихи меня утешают.

Остаюсь неизменно нежно любящий Тебя

Борис Бугаев.

P. S. Мое глубокое уважение, любовь и преданность передай Любовь Дмитриевне и Александре Андреевне.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

---

91. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Саша, милый —

трудно. Два дня провел спокойно. Третий день был матовый и ласковый, закругленный, как жемчужина, но жемчужину вдруг изорвали со всех концов ворвавшиеся люди — верблюды с часами, расписаниями, тяготами, дружбой, обязательствами. Наконец из Петербурга приехал зуборог Волжский с охапкой религиозной общественности[2], и прошел караван, меся песок, — Флоренский, Свентицкий, Эрн, Сыроечковский и др.[3]

Я было изготовил ананас; чтоб пустить в небо[4], но Свентицкий ласково прибрал ананас, сказав, что мы в свое время его скушаем, как десерт, а пока нужно устраивать зверинцы и экспонировать приехавшего зуборога. С утра сегодня пишу записки — приглашаю на зрелище[5]. Душою рвусь к Вам. Милый, не забывай.

Твой бесконечно любящий

Боря

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Критик и публицист Волжский (А. С. Глинка) в середине 1900-х гг. испытал воздействие религиозно-философских идей Мережковского, занимался рассмотрением религиозно-фило-

---

* Так в автографе.

софской проблематики в русской литературе; см. его работы «Гаршин как религиозный тип» (М., 1906), «Ф. М. Достоевский. Жизнь и проповедь» (М., 1906). Белый познакомился с Волжским в Петербурге у Мережковских в январе 1905 г. В статье «Об уединении в поэзии и философии современного модернизма» Волжский охарактеризовал деятельность Белого как пример отхода от «декадентского» эстетизма (см.: Волжский. Из мира литературных исканий. Сб. статей. СПб., 1906. С. 292—294).

3 Все перечисленные лица имели более или менее близкое отношение к «Христианскому братству борьбы» (руководители — В. П. Свенцицкий и В. Ф. Эрн), стремившемуся к совмещению христианских и революционных идей, к реформе и демократизации Православной церкви. В январе 1905 г. в Петербурге Свенцицкий вместе с Белым посетил Блока, где развивал идеи «Христианского братства борьбы», тогда же Свенцицкий и Эрн встречались с Мережковскими и Волжским, который, по свидетельству Белого, «восторженно» аттестовал их «религиозными радикалами» (*О Блоке*. С. 168). О своем знакомстве и общении с «тройкой студентов» — Флоренским, Свенцицким и Эрном — Белый рассказал в отдельной главе воспоминаний (*Начало века*. С. 298—304). Ироническая тональность, в которой характеризует Белый Блоку учредителей «Христианского братства борьбы», отражает его идейные разногласия с ними в это время; о существовании таких конфликтных обстоятельств можно судить и по письму П. А. Флоренского к Белому от 15 июля 1905 г.: «Хотя Вы, кажется, и сердитесь на меня за наши разногласия этою зимою и хотя в *результатах* наших, действительно, разногласия, но я все-таки считаю Вас так близким к себе и по цели, и даже по путям, что пишу» (Контекст — 1991. Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 37). Подробнее о «Христианском братстве борьбы» см.: Иванова Е. В. Флоренский и «Христианское братство борьбы» // Вопросы философии. 1993. № 6; Колеров М. А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская печать от «Проблем идеализма» до «Вех». 1902—1909. СПб., 1996. С. 225—277.

4 Шутливый намек на строки своего стихотворения «На горах» (1903): «В небеса запустил // ананасом» (*Золото в лазури*. С. 120).

5 Видимо, выступление Волжского предполагалось на одной из «сред» у П. И. Астрова. В «Воспоминаниях о Блоке» Белый в связи с этим сообщает: «Мы каждую среду встречались у Астрова <...> образовалось в те дни *христианское братство борьбы*, под руководством Свенцицкого; приезжавшие в то время в Москву А. С. Волжский с Булгаковым совершенно подпали под обаянье Свенцицкого; помню: зашедший ко мне А. С. Волжский, шагая растерянно и сутуло по комнате, встряхивал пышной копною волос и посматривал на меня детски-добрыми, голубыми глазами: — “Что ж, — может быть, и *они* низведут огонь с неба?” “Они” — В. Ф. Эрн и Свенцицкий» (*О Блоке*. С. 171).

---

92. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Февраль 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Сегодня серый, но бархатный день грусти. Снежинки кружатся, точно и не было вчера золотых ручейков истаявшего снега. Но обнаженно-сухие троттуары напоминают о все продолжающейся весне. Сегодня день грусти. Но маме принесли в розовой корзине тысячи беленьких звоночков-колокольчиков — ландышей. Ландыши весело позванивают серым, застуженным днем. Их звоночки!

Сегодня день серый. Но пришел Александр Добролюбов[2]. Сидел в кресле. И поникал. И молчал. И грусть не пропала, но тихо, тихо в радость претворилась. Мы молчали. Мы были чужды друг другу. Мы через стены бросали друг в друга цветами. И это было хорошо — ничего, ничего, ничего не случилось.

Сегодня день серый, грустный и матовый — пушистый. Точно на мир бросили ангорский платок. Скоро зацветет пушистая верба. Скоро опять в лазури расплеснется серпантин из золотых кружев солнца.

Скоро будет *«все новое»*, а пока у меня сидел Добролюбов и грустно улыбался молчанию. Я его полюбил. Мы простились друзьями, хотя и разделенными стеной.

Вот это я узнал о сегодняшнем. Больше я ничего не знаю, но мне грустно.

Твой Боря

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] А. М. Добролюбов, в прошлом поэт-«декадент», переживший в 1898 г. духовный переворот: решивший порвать с культурной городской средой, «опростившийся» и ставший странником, религиозным проповедником, — в 1900-е гг. неоднократно появлялся в Петербурге и Москве, где встречался с писателями символистского направления. См. о нем: Азадовский К. М. Путь Александра Добролюбова // Творчество А. А. Блока и русская культура XX века. Блоковский сборник III. Тарту. 1979. С. 121—146; Иванова Е. В. Александр Добролюбов — загадка своего времени // Новое литературное обозрение. 1997. № 27. С. 191—236. В воспоминаниях Белый описал свои встречи с Добролюбовым — в доме у Брюсова и ту, о которой он сообщает Блоку (*Начало века.* С. 398—402). К началу 1905 г. относится также письмо Добролюбова к Белому, полностью приведенное в указанной статье К. М. Азадовского (С. 138—140).

---

93. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец февраля—начало марта 1905. Москва>[1]

Милый, Милый!

Это — безумие. Я отправляю письмо за письмом. Но что же мне делать, если я освежаюсь письмами. Я спасаю себя, оттого и пишу. Хочу *себя, себя, себя* спасать, потому что во мне — *Тайна.* Я не *о себе только.* Я должен благоговейно держать в руках чашу горящей, но не явленной глубины. Буду сторониться всех, кто толкается: в руках моих чаша и плат:

«Причасти и уста оботри».

А. Блок[2].

Мой восторг заликовал огнем, но я не хочу явного ликования.

Сережа просит передать, что на днях напишет[3]: он бесконечно мне близок. Все ближе и ближе. Как Ты — мне. Ты — близкий. Ты — радостен. Ты *умеешь* говорить о цветах. Я хочу только одних разговоров о цветах.

Брюсов написал гениальные стихи. Все идет дальше и дальше.

Марево разорвалось. Ничего не осталось. Теперь я узнал некоторые чисто биографические подробности, почему Брюсов по отношению ко мне был так жесток. Прощаю ему охотно: я бессознательно делал ему много зла. Он мне мстил. Теперь я все понял; как хорошо, что все относительно него яснеет[4].

Милый, милый, целую Тебя.

Твой Боря

---

[1] Датируется условно по связи с предшествующими письмами. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Строка из стихотворения «3. Вечерняя» («Солнце сходит на запад. Молчанье...»), входящего в цикл «Молитвы» (март—апрель 1904). См. с. 145 наст. изд.

[3] См. недатированное письмо С. М. Соловьева к Блоку, относящееся к началу марта 1905 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 396).

[4] Под «биографическими подробностями» здесь подразумеваются любовные отношения между Брюсовым и Н. И. Петровской, завязавшиеся к этому времени.

---

94. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<3 или 4 марта 1905. Москва>[1]

Милый Саша!

На днях буду писать Тебе подробно. Христос с Тобой. Как все хорошо. Не обращай внимания на ужасы[2]. Это извне. Внутри все идет к счастью. Я уже растаял и теперь я — слезы, стекающие с вечного лица. Я выявлюсь. Милый, не забывай, не забывай меня. *Снег.*

---

[1] Открытка с почтовым штемпелем получения: 5 марта 1905. Помета Блока красным карандашом: «1905 5 марта».

[2] Возможно, здесь — отклик на слова Блока об «ужасах» в п. 81. Слово «ужасы» понимается обоими корреспондентами условно-расширительно: им может быть обозначено любое «темное», мистически невнятное или двусмысленное явление феноменального мира.

---

95. БЛОК – БЕЛОМУ

7 марта <1905. Петербург>

Милый, милый Боря. Люблю тебя и не забываю, спасибо за твои письма. У нас все разное, каждый день все спутано, спутано. Тетя Маня заболела очень серьезно и, мож<ет> б<ыть>, — надолго. К ней приехать нельзя[1]. Вообще, лучше не приезжай теперь; как-то растерянно и грустно. Я набрал много работы в «Вопросы Жизни» и «Слово» и хочу получать за это деньги[2], потому все пишу и хожу по редакциям. Что будет с экзаменами — до сих пор не знает никто. Иногда чувствую, что все на Дальнем Востоке — кошмар и ужас вслед за ужасом. Чувствую себя «литературным поденщиком» и на косом клочке бумаги пишу тебе ночью и в сером тумане. Мы тебя все вспоминаем, говорим. Напишу тебе

еще, когда пройдет серость. Я видел человека в грязном воротнике, который «увлекался спиритизмом» с Брюсовым. И все — теперь — так. Тебя очень любящий, всегда не забывающий

Саша

---

[1] У тетки Блока М. А. Бекетовой Белый предполагал остановиться при намечавшемся тогда приезде в Петербург.

[2] «Вопросы Жизни» — петербургский литературный, философский и общественно-политический журнал, издававшийся в 1905 г., после закрытия «Нового Пути»; в числе его ближайших сотрудников — писатели-символисты и философы-идеалисты. «Слово» — ежедневная петербургская газета (1904—1909).

---

96. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Первая половина марта 1905. Москва>[1]

Милый,

почему такая утомленность в Твоем письме?

Разве серая птица с атласными крыльями занавесила все кругом?

Может быть, можно снять вуаль грусти и утомления?

Я знаю — впереди «полна бесстрастья, холода и света бледнеющая высь»...[2]

Политические ужасы и война — не обманут меня теперь эти навождения.

Куропаткин *«знает»*, в чем дело, и я рад, что он остался соглядатаем японцев[3].

«Японцев» нет, не в них дело, а в *«господине чёрте»*.

Ну а с ним берусь бороться.

Милый, не унывай. Христос с Тобой. Ведь есть же на свете Айседора Дёнкан.

Горячо Тебя любящий

Боря

P. S. Мой поклон и глубокое уважение Любови Дмитриевне. На днях напишу Александре Андреевне.

Ужасно скорблю о здоровье Марьи Андреевны. Желаю ей скорейшего выздоровления.

Мой привет и уважение Францу Феликсовичу.

---

[1] Ответ на п. 95. Датируется по связи с ним. Помета Блока синим карандашом: «6 марта 05» (датировка, видимо, неточна).

[2] Цитата из стихотворения З. Н. Гиппиус «Вечерняя заря» («Я вижу край небес в дали безбрежной...», 1897) (Гиппиус З. Н. Собрание стихов 1889—1903 г. М., 1904. С. 45).

[3] Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин, главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке с 13 октября 1904 по 3 марта 1905 года, был смещен с этого поста после Мукденского сражения и назначен командующим 1-й армией.

---

97. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<17 марта 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Забастовал. Все стоит. Ничего не делаю. Только гуляю. Хорошо.

Нежно Тебя любящий.

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 17 марта».

---

98. БЛОК – БЕЛОМУ

<Около 20 марта 1905. Петербург>[1]

Милый, милый Боря!

Теперь стало лучше. Я набрал себе разной работы в «Вопросах Жизни» и даже, может быть, буду писать фельетон в «Слово»![2] В этом есть своя томительность, потому что пишу я очень бездарно. К тому же «господин чёрт», в котором *единственно* все дело, конечно, и тут творит разные шутки. Политика стала поперек горла и, конечно, есть только *одна* область, в которой можно не устать (было бы), и туда мы все возвратимся. Изредка и отчасти возвращаюсь туда. «И снится, снится — мы молоды оба»[3]. — Видел массу людей за эти дни, и все — литературных, из которых особенно мне понравился Ремизов[4], не считая прежних знакомых. Из этих последних — с Зинаидой Николаевной *опять* что-то творится, неприятное, тяжелое, так что уже вполне начинаешь верить, что это не она, и что настоящее — впереди. Она громко кричит и попросту скандалит на приличных раутах, и именно не тем способом, каким это было бы недурно. Все-таки, она еще желает достичь *цели,* — по отношению к «земным гостиным». Я заметил, что твое пребывание в Петербурге ужасно украшало Зин<аиду> Ник<олаевну> — и утишало. Карташов поет песенку и заливается землистым хохотом — рядом с нею. Подражая тебе, я заметил, что у него (а, м<ожет> б<ыть>, у кого-ниб<удь> другого!?) есть ковер в виде табель-календаря. По красной шерсти писаны белые цифры, и обладатель, блуждая по кабинету, «неустанно попирает года, недели и месяцы». — Тетя Маня — в больнице, ей было ужасно. Теперь, м<ожет> б<ыть>, будет лучше. Люблю тебя нежно.

Твой Саша.

---

[1] Датируется по связи с письмом Блока к отцу от 28 марта 1905 г. (VIII, 121—123) и с письмом Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 23 или 24 марта 1905 г. (с. 537—538 наст. изд.).

[2] Ср. сообщения в упомянутом письме Блока к отцу: «“Вопросы Жизни” <...> дали много работы <...>. Теперь я имею возможность работать у них много — писать рецензии, иногда статьи (о поэтах) и помещать стихи. Кроме того, могу написать фельетон в газету “Слово” о французских символистах» (VIII, 121—122). Задуманный фельетон написан не был.

[3] Строка из стихотворения А. А. Фета «В тиши и мраке таинственной ночи...» (1864?).

[4] О начале общения Блока с А. М. Ремизовым и пробуждении интереса к его творчеству см. во вступительной статье З. Г. Минц к публикации переписки писателей, подготовленной А. П. Юловой (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 63—64).

---

99. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец марта—начало апреля 1905. Москва>[1]

Милый Саша, спасибо за письмо. Оно меня успокоило. Я беспокоился за Тебя. Ну вот.

Ужасно хохотал, читая Твои слова о Карташеве. Ты проник в его сущность, если вообще у него она есть. Если он «попирает дни, недели, месяцы», — то я подозреваю, что *«его сущность»* — чужая. Впрочем, мне любезно теперь это настроение. Я тоже в известном смысле «попираю дни, недели, месяцы»... Оторвался от окружающего. Теперь в окнах текут времена, а я часто сижу у окна и любуюсь течением времени. Иногда мне удается подметить восторг времен и, если никого нет в квартире, я начинаю бесцельно кружиться, пародируя бег планет. Ужасно были бы удивлены *«добрые знакомые»*, если бы застали меня за этим занятием. (Вечером из окон видна полоска зори). Я живу одной зоревой мечтою. Все прочее отошло. Мне кажется, что ничего не существует иного. Упиваюсь Шеллингом (в изложении К. Фишера)[2]. Ничего не пописываю, не почитываю: вечером из окна видна полоска зори...

Нет, впрочем: статью *«О прекрасной даме»* кончил. Она теперь называется *«Апокалипсис русской поэзии»*. Появится в апрельской книжке *«Весов»*[3]. Я живу в четырех стенах, и мне кажется, что *«все иное»* отходит. Сижу бесцельно у окна. И потом бесцельно кружусь по пустым комнатам, устраивая круги. За спиной у двери стоит знакомец и читает дощечку с надписью: «Б. Н. Бугаева можно видеть ежедневно от 2 до 3 кроме праздничных дней» — читает, уходит, думая: «А. Белый пишет».....

Вечером в окнах блестит Зоря.

Целую Тебя нежно.

Твой Боря.

P. S. Пришли, ради Бога, стихов. В залог посылаю свои.

РАНЕНЫЙ

1

Я стал похож на паука.
Ползу — влекутся ноги-плети.
Там, под кустом, издалека
За мной следят в испуге дети.

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острый,
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый.

Так волен уток диких лёт
Над что-то шепчущей березой.
На костылях ползу — мой рот
Кривит бессильная угроза:

Пусть в вольных далях ветерок
Взметает прах на перекрестках —
— Бесцельно плещет мотылек
На кружевных, сребристых блестках.

Я стал похож на паука.
Ползу — костыль мне вздернул плечи.
Ко мне летят издалека
Детей испуганные речи.

2

Моей невестой ты цвела.
И был жених, красив и молод.
Теперь — в очах потухших мгла,
В улыбке уст безумных холод.

Дитя, я рад: полей и рощ
Родные виды вновь воскресли.
В весенний вечер, слаб и тощ,
Сижу — дремлю в спокойном кресле.

Пусть на войне и кровь, и крик,
И желтый дым удушлив, едок —
Мне сладко нежить бледный лик
В лучах, блеснувших напоследок.

Ловлю Твой взор — дитя, дитя:
Вот кисти рук — изящных лилий,
Вот шелк кудрей, цветя, блестя,
Снопы лучей озолотили.

Вложила Ты, глядя сквозь боль,
Как облака плывут — скитальцы, —
Цветок весны, желтофиоль,
В мои трясущиеся пальцы,

И вдруг сказала: «*Страшно мне*:
Там, где ветвей скрестились дуги,
Паук-крестовик в вышине
Повис на серебристом круге».

Как ночь, глаза. Как воск, чело.
На сердце яд отравы острый:
Так глухо стукает в дупло
Над головою дятел пестрый[4].

ПИР

На буйном пире я шутил
И легкомысленно, и метко.
Потом свой бледный лик склонил
Над сумасшедшею рулеткой,
Меж тонких пальцев нежно взяв
Благоуханную сигару.
Мой друг запел, к груди прижав
Вдруг зарыдавшую гитару.
Вокруг широкого стола,
Где мы сидели в тесной куче,
Венгерка юная плыла,
Отдавшись огненной качуче.
Из-под склоненных темных вежд
Очей метался пламень жгучий —
Плыла — и легкий шелк одежд
За ней летел багряной тучей.

К столу припав, заплакал я,
Провидя перст судьбы железной:
«Ликуйте, пьяные друзья,
Над распахнувшеюся бездной!
Заутра солнца луч блеснет.
Пройдет на фабрику рабочий.

Но вихрь безумий нас сметет:
Бесследно канем в ужас ночи.
Пусть голос вьюги, нам родной,
Для мертвых плясок руки свяжет —
Заутра саван ледяной,
Виясь, над нами мягко ляжет».

И — проигравшийся игрок —
Я быстро встал. Надменно строгий,
Плясал безумный кэк-уок,
Под потолок бросая ноги.
Ударил в стену каблуком,
Преображенный пляской свыше —
И колким прыснули дождем
Куски зеркальной, бледной ниши. —

Суровым отблеском покрыв,
Печалью мертвенной и блеклой

На лицах гаснущих застыв,
Влилось сквозь матовые стекла
Рассвета мертвое пятно.
И я молчал бессильный, робкий...

И гуще пенилось вино.
И в потолок летели пробки.[5]

---

[1] Ответ на п. 98. Датируется по связи с ним. Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Имеется в виду т. 7-й («Философия Шеллинга») «Истории новой философии» («Geschichte der neueren Philosophie», Bd. 1—6. München, 1852—1877) Куно Фишера, изданной в русском переводе (Т. 1—8. СПб., 1901—1909); том, посвященный анализу философии Шеллинга, вышел в свет в 1905 году.

[3] См.: Весы. 1905. № 4. С. 11—28.

[4] Первая часть стихотворения (под заглавием «Калека») опубликована в «Вопросах Жизни» (1905. № 7. С. 47), вторая часть (в переработанной редакции, как 1-я часть стихотворения «Калека») — в журнале «Золотое Руно» (1906. № 3. С. 43—44); в книге Андрея Белого «Пепел» (СПб., 1909) обе части стихотворения помещены в кардинально переработанных редакциях как самостоятельные тексты — «Калека» («Там мне кричат издалека...», 1908) и «Паук» («Нет, буду жить — и буду пить...», 1908) (С. 97—99, 103—106).

[5] Первоначальная редакция стихотворения, опубликованная (без ст. «И — проигравшийся игрок ∾ Куски зеркальной, бледной ниши») в «Вопросах Жизни» (1905. № 7. С. 48—49); под тем же заглавием в кардинально переработанной редакции вошло в «Пепел» (С. 132—134).

---

100. БЛОК – БЕЛОМУ

<Начало апреля 1905. Петербург>[1]

Милый, милый Боря.

Спасибо Тебе за письмо, стихи и статью[2]. Очень тебя люблю и благодарю. Правда ли, что «концерт» Мережковских и др., от которого я отказался, — в пользу твоего (Астровского?) кружка? Люба очень не хотела, чтобы я участвовал, меня приглашали читать стихи! Дама шуршала передо мной пятнадцать минут какие-то слова шелковыми юбками. Я испугался. Произошел скандал, я написал З<инаиде> Н<иколаевне> осудительное письмо об этой даме[3]. Она родственница Ф<илософо>ва, но я не боюсь. На все это даже совершенно наплевать[4]. Пишу много рецензий и изумительно бездарную статью о Вяч. Иванове — в «Вопр<осы> Жизни»[5]. Стихов не пишу, потому тебе не посылаю. Знаешь что? *Чулков* очень милый, у него совсем не прыгают волосы так, как ты заметил. Его жаль. Его жена тоже очень милая, и Любе нравится. Они бедные. Рядом с ними обзавелись домком еще Ремизовы — хорошие Ремизовы. Мы с Любой были у всех них в редакции[6], под условием не встретиться там с литераторами. Долго сидели и пили красное вино. Было хорошо. Какую ты хоро-

шую вывесил бумажку на двери! Идет «снег» ежедневно, но иногда начинает идти Снег. Это приближает меня к тебе особенно. Крепко целую тебя.

Твой Саша

Есть и хорошее и дурное. Т<етя> Маня поправляется. А в сущности — хорошо.

---

1 Ответ на п. 99. Датируется по связи с ним.

2 Подразумевается статья Белого «Апокалипсис в русской поэзии».

3 Текст этого письма Блока к З. Н. Гиппиус не выявлен.

4 В чем конкретно заключались обстоятельства, послужившие причиной конфликта, неясно. В ответном письме от 29 марта 1905 г. Гиппиус заявляла Блоку: «Мы оба, я и Дм<итрий> Серг<еевич>, считаем ваш отказ просто некрасивым ломаньем. Боясь потерять ваше декадентское достоинство — вы весьма вредите человеческому, ибо у всякого из нас, я думаю, должно быть некоторое чувство солидарности, той общности, взаимопонятия и взаимопомогания, которые делают нас людьми. Уходите в “пустоту”. Но не там придет к вам “Ясная”, будьте уверены» (Минц З. Г. А. Блок в полемике с Мережковскими // Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 535). Тарту, 1981. С. 150).

5 Статья Блока «Творчество Вячеслава Иванова» была опубликована в 1905 году в № 4/5 «Вопросов Жизни».

6 Подразумевается редакция «Вопросов Жизни» (Саперный пер., 10, кв. 6).

---

101. БЛОК – БЕЛОМУ

<Около 16 апреля> 1905. <Петербург>[1]

Милый Боря. Христос Воскрес. Как ты? Мы, м<ожет> б<ыть>, скоро уедем в Шахматово. Трудно... За тебя немножко боюсь. Напишу и пришлю стихи, кот<орые> надеюсь кончить — «без лика»[2]. Пиши. Давно забываю поклониться тебе от Евг<ения> Иванова. Все любим и помним. Обнимаю тебя.

Твой Саша

---

1 Датируется по упоминанию о пасхе (в 1905 г. — 16 апреля).

2 Вероятно, имеются в виду стихотворения, посланные Белому при письме от 19 мая 1905 года (п. 104). «Без лика» — подразумевается: без образа Прекрасной Дамы.

---

102. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 апреля 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

спасибо, спасибо. Христос Воскресе! Люблю нежно. Много сутолоки — но не унываю. Христос да будет!

Боря

[1] Ответ на п. 101. Датируется по почтовому штемпелю. Открытка с репродукцией картины В. М. Васнецова «Иван Царевич на сером волке». Помета Блока красным карандашом: «1905 — 20 апр.».

103. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Апрель—май 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

бесконечно извиняюсь. Молчал. Не мог писать. Нашла безгласность. И великое утомление. Пришлось организовать неожиданно лекцию Мережковского[2]. Тут в Москве месяц перед Пасхой каждый день где-нибудь происходило по несколько собраний в 200—400 человек. Было переслушано все, что можно слушать. Наконец к Пасхе все затихло. Никто уж не хотел идти на лекцию. И вдруг еще лекция, да еще о *«церковной реформе»*. Пришлось спешно мобилизировать 300—400 человек. Хлопоты все упали главным образом на меня. Неделю я только и мог, что бегать из места в место. Ни строчки не мог писать.

А потом утомился смертельно.

Милый, так часто думаю о Тебе, о Любови Дмитриевне, об Александре Андреевне. Спасибо, спасибо Любови Дмитриевне за письмо. Был ужасно тронут, его получив, и обрадован. Александре Андреевне и Любови Дмитриевне на днях напишу.

Будь здоров. Христос с Тобою.

Нежно любящий Тебя

Боря

P. S. Пишу в Шахматово.

[1] Помета Блока красным карандашом: «1905 — весна».

[2] Ср. позднейшую запись Белого о мае 1905 г.: «... приезд Мережковских <...> мы с Е. А. Бальмонт устраиваем лекцию Мережковского в доме Морозовой» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 52). Статья Мережковского «Теперь или никогда. О церковном соборе» была опубликована в «Вопросах Жизни» (1905. № 4/5. С. 295—319).

104. БЛОК – БЕЛОМУ

<19 мая 1905. Шахматово>[1]

Милый Боря, спасибо, получил Твое письмо в Шахматове. Приехали опять рано, в апреле[2], и уже опять копаюсь в земле. Впрочем, больше еще бродим кругом. Грозовая весна, были дни сплошь грозовые с ливнями, а вообще сухо

и сильный ветер. На горизонте такая мгла, что говорят, будто Москва горит. И в то же время на закатах такой ветер, что ясно, откуда он — от солнца, окруженного парами[3]. Вообще, ясно многое, в чем сомневаются соседние естественники[4]. Но иногда грустно, и до того все забылось, что может вспомниться при неожиданных обстоятельствах, врасплох. Весной писал стихи, часть которых пишу Тебе. А я не простился с Мережковскими, и, вообще, кончилось с ними как-то глупо и досадно, из-за З<инаиды> Н<иколаевны>. Что Ты думаешь о «жертве» у Минских? (не скандал ли это?). Я думаю, что это было нехорошо, а *Евг.* Иванов писал, что почувствовалась близость у всех, вышедших на набережную из квартиры Минского в белую ночь[5]. Но Люба сказала, что близость чувствуется также после любительского спектакля. — Напиши, когда ты можешь к нам приехать? Напиши вообще. Крепко Тебя целую.

Твой Саша

19 мая 1905 г. Шахматово.

МОЛИТВА

Ты в поля отошла без возврата —
Да святится Имя Твое.
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели, —
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излученный путь.

О, исторгни ржавую душу,
Со святыми меня упокой,
Ты — держащая море и сушу
Неподвижно тонкой рукой.

1905. 16.IV. Страстная Суббота[6]

* * *

На весеннем пути в теремок
Перелетный вспорхнул ветерок,
Прозвенел золотой голосок.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмела лица.

И ушла в синеватую даль,
Где дымилась весенняя таль,
Где кружилась над лесом печаль.

Там — в березовом дальнем кругу —
Старикашка сгибал из березы дугу
И приметил ее на лугу.

Закричал и запрыгал на пне:
— Ты, красавица, верно ко мне?
— Стосковалась в своей тишине!

За корявые пальцы взялась,
С бородою зеленой сплелась,
И с туманом лесным поднялась.

Так — тоскуют они об одном.
Так — летают они вечерком.
Так — венчалась весна с колдуном[7].

* * *

Л. Д. Б.

На весенней проталинке
За вечерней молитвою — маленький
Попик болотный виднеется.

Ветхая ряска над кочкой
          Чернеется
Чуть заметною точкой.

И в безбурности зорь красноватых
Не видать чертенят бесноватых,
          Но вечерняя прелесть
Увила вкруг него свои тонкие руки.
          Предзакатные звуки.
          Легкий шелест.

Тихонько он молится,
Улыбается, клонится,
Приподняв свою шляпу.

И лягушке хромой, ковыляющей
          Травой исцеляющей
Перевяжет болящую лапу.

Перекрестит и пустит гулять:
— Вот, ступай в родимую гать.
          — Душа моя рада
          — Всякому гаду
          — И всякому зверю
          — И о всякой вере.

И тихонько молится,
Приподняв свою шляпу, —
За стебель, что клонится,
За больную звериную лапу
        И за римского папу. —

Иди по пучине тряской:
Спасет тебя черная ряска.

1905.IV.17. Пасха[8].

---

[1] Ответ на п. 103.

[2] О приезде в Шахматово Блок сообщил матери письмом, отправленным 27 апреля (*Письма к родным, I.* С. 136).

[3] Ср. сходные наблюдения в письме Блока к Е. П. Иванову от 23 мая 1905 г. (VIII, 125—126).

[4] Подразумевается семейство Менделеевых, проводившее лето в имении Боблово, поблизости от Шахматова.

[5] Имеется в виду импровизированное ритуальное «действо», состоявшееся в Петербурге 2 мая 1905 г. на квартире Н. М. Минского; согласно подробному описанию происходившего, которое дал Е. П. Иванов в письме к Блоку от 9—10 мая 1905 г., собравшиеся (по предложению Вяч. Иванова и Минского) производили «ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния», а также символические жертвоприношения. Письмо опубликовано Л. А. Ильюниной; см.: Русское революционное движение и проблемы развития литературы. Межвузовский сборник. Л., 1989. С. 178—180; Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1990. М., 1992. С. 105—107. В ответном письме Е. Иванову от 23 мая Блок заявлял: «С жертвой у Минского не мирюсь, не хочу <...>» (VIII, 125). Свое скептическое отношение к этому «действу» Белый выразил позднее — в мемуарно-философском очерке «Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития» (1928): «... что где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино, под флагом <...> мистерии — это только смешило; серьезнее было то, что многие, попадая в эту блудливую атмосферу, жизненно разлагались» (Андрей Белый. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 444).

[6] Впервые опубликовано (без заглавия) в кн.: Блок А. Нечаянная Радость. Второй сборник стихов. М., 1907. С. 24. Позже печаталось как «Вступление» ко 2-й книге «Стихотворений» Блока в трех книгах.

[7] Датируется 24 апреля 1905 г.; впервые опубликовано в «Весах» (1906. № 5. С. 3—4) в составе цикла «Тишина цветет».

[8] Впервые опубликовано в «Весах» (1906. № 5. С. 5—6) в составе цикла «Тишина цветет». В окончательном тексте получило заглавие «Болотный попик».

---

105. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<22 мая 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Спасибо за письмо и за милые стихотворения. *Они мне очень нравятся.* Первое из них, пожалуй, наиболее совершенно, второе — мне по настроению наиболее близко, третье — наиболее неожиданное. Я в Дедове[2]. Сейчас на 1 день в Москве. Нашел Твое письмо. Обрадовался. Очень тронут Твоим приглашени-

ем. Постараюсь заехать в Шахматово. Вероятно, придется заехать с Сережей. Но теперь я буду очень много писать. Начал работать над большой романтической поэмой. Пишу ее белыми стихами. Только жаль. Написал 1-ю песнь и $^{1}/_{2}$ второй, страниц 60. И рукопись потерял. Придется начать писать сызнова[3]. Может статься, впрочем, что мне и не придется быть в Шахматове, что было бы мне очень *«огорчительно»*. Во всяком случае — спасибо за любезное приглашение[4]. Пиши мне в Дедово. Там мы вероятно числа до 10-го июня.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Твой Боря

P. S. Мой привет и глубокое уважение Любови Дмитриевне, Александре Андреевне, а также всем, кто в настоящую минуту в Шахматове — Марье Андреевне, Софье Андреевне.

1905. 22 мая.

---

[1] Ответ на п. 104. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 22 мая».

[2] Дедово — имение А. Г. Коваленской, бабушки С. М. Соловьева (в 8 верстах от ст. Крюково Николаевской железной дороги, под Москвой). В 1905 г. Белый жил в Дедове в мае—июне, а также в последней декаде августа.

[3] Рукопись поэмы «Дитя-Солнце», из которой, согласно указаниям Белого в «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» (ГПБ. Ф. 60. Ед. хр. 31), было написано две песни (из трех задуманных), «обнимавшие более 2000 стихов (ямбы, белый стих, написанный неравностопными строками)», была вторично потеряна в 1907 г.; относящихся к ней черновых текстов, видимо, не сохранилось. Некоторое представление о содержании этого произведения можно составить по позднейшим сообщениям самого Белого, а также по отзывам современников, знакомившихся с поэмой в авторском чтении. См.: *Между двух революций.* С. 21—24, 450—452.

[4] Поездка Белого и С. Соловьева в Шахматово состоялась между 10 и 17 июня 1905 г. Во время их пребывания в Шахматове произошла первая серьезная размолвка между Белым и Соловьевым, с одной стороны, и Блоком и А. А. Кублицкой-Пиоттух — с другой (см.: *О Блоке.* С. 173—186; *Между двух революций.* С. 24—34).

---

106. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 или 19 июня 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

изловивший меня С. А. Соколов просил Тебе передать, что он вступает в редактирование журналом *«Искусство»*[2] и просит Твоего благосклонного сотрудничества. При этом он *«бахваляется»* изгнать гофманов и пр<очую> К^0 из журнала и вообще сокрушить *«Болвана Тьмутараканского»* в виде дешевого декадентства[3]. Показывал мне список сотрудников. Вообще же, по-моему, ввиду прекращения «Мира Искусства»[4] и на том основании, что *«Искусство»* теперь единственный худ<ожественный> журнал (кроме Весов) в России, *стоит* от времени до времени поддерживать его. Пока там были мальчики вроде Гофма-

на, я всячески уклонялся от сотрудничества. Ввиду того, что теперь там *мальчик побольше*, я согласился участвовать[5]. Будет там, конечно, и Бальмонт, обещал Андреев, Мережковский, Минский и т. д. Соколов сам Тебе напишет, а пока просил меня Тебе передать все. С<ергей> А<лексеевич> грозится со временем переименовать журнал в *«Золотое Руно»*[6]. Боюсь все же, что Руно останется... Бараньим. Но барашки барашкам — рознь. Мериносы — очень почтенная порода, и я согласился даже на то, что буду систематически проводить там свой взгляд на символизм.

Прости за феноменальность тона. Спешу в Дедово. Там буду до начала июля. Потом в Москву и в деревню[7]. Пиши.

Остаюсь глубоколюбящий Тебя

Боря

---

[1] Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «1905 — 20 июня».

[2] О литературно-художественном журнале «Искусство», издававшемся в Москве в 1905 г. (№№ 1—8), см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 227; Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 137—138. С. А. Соколов возглавил литературный отдел «Искусства» летом 1905 г.

[3] В. В. Гофман был одним из ближайших сотрудников «Искусства», наряду с другими начинающими литераторами символистского круга. «Тмутараканьскый блъванъ» — образ из «Слова о полку Игореве», не имеющий однозначного толкования (см. статью О. В. Творогова в изд.: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб., 1995. Т. 1. С. 131—133).

[4] Журнал «Мир Искусства» был закончен изданием в 1904 г.

[5] Ни одного произведения Белого в «Искусстве» не было напечатано.

[6] Журнал под таким заглавием (восходящим, определенно, к одноименному стихотворению Белого 1903 г.) был начат изданием в Москве с января 1906 г.; С. А. Соколов на первых порах был в нем заведующим литературно-критическим отделом.

[7] Подразумевается Серебряный Колодезь.

---

107. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<22—24 июня 1905. Дедово>[1]

Дорогой Саша,

Тихо летаю в беспредметной ясности, подобной снегу. Снег — тихий, ласковый, близок моему сердцу. Я могу и умею кружиться, где хочу, ибо «дух дышит, где хочет, и голос его слышен, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Иоанн)[2]. Кротко, безболезненно покрываю пространства, завиваюсь вьюгой по зимам, завиваюсь вьюжным ласточкиным визгом в голубых пространствах. Кроткая беспредметность — моя стихия: таков снег. Но когда туча снежинок попадает в душную тишину, неизвестно откуда возникающую, глухого пожара угрозы — не тает туча снежинок, не дождем изливается она на травы, — тяжким градом.

Я могу быть всегда побивающим градом, и всегда не хочу, всегда хочу безвольно, бесцельно, просто носиться в пространствах, носиться о несказанном, завиваясь вьюжным визгом в ласточках, рвать вместе с ними пространства во имя *«нового пространства»*[3] — *«нового неба и новой земли»*[4].

О, если б мне быть всегда снегом!

Верю, что промчатся дни политических движений в России и факты, подобные одесским событиям[5], скоро исчезнут, когда соберутся народные представители.

Пока еще верю в будущую Россию — снежную, метельную, зимне-бодрую, веселую, здоровую...

Да будет!

Люблю Тебя, Саша; хочу послать Тебе снежного забвения, которое тихо разливается вокруг меня. Аминь.

Твой Боря

Пиши мне до 1 июля в Москву, а после: Тульская губерния, г. Ефремов. Сельцо Сер<ебряный> Кол<одезь>, мне.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «1905 — 25 июня».

[2] Ин. III, 8 (неточная цитата).

[3] Цитата из 2-й «симфонии»: «Это будут *новые* времена и *новые* пространства» (Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., <1902>. С. 141; *Симфонии*. С. 156).

[4] Откр. XXI, 1.

[5] Имеются в виду всеобщая стачка в Одессе и революционное восстание матросов на эскадренном броненосце «Князь Потемкин Таврический», стоявшем на одесском рейде (14—25 июня 1905 г.).

---

108. БЛОК — БЕЛОМУ

19 июля 1905. Шахматово

Милый Боря.

Люблю Тебя очень нежно и часто вспоминаю Тебя и Твои слова и задумываюсь над ними. А почему не пишу Тебе — не знаю. Спасибо Тебе за снежное забвение и за извещение об «Искусстве»[1]. В прошлом и, может быть, в будущем — многое, так что иногда улыбаюсь странности или тоскливости жизни. Видел во сне, что мы с Тобой — в росистом и тенистом лесу — зашли вдвоем далеко и отстали от остальных прогуливающихся. Тут я принялся показывать Тебе, как я умею летать всяческими манерами, и сидя и стоя на воздухе; ощущение было приятное и легкое, а Ты удивлялся и завидовал. Так продолжалось долго и не хотелось прерывать. Осталось воспоминание сладкое.

Ваш приезд с Сережей — последний — был, пожалуй, для меня важнее всех остальных — очень окрылил меня. Я чувствую в нем много Нечаянной Радости. Но теперь я беспокоюсь внутренно о Сереже, мне все кажется, что здесь

что-то не так и как бы не заменили одну пьесу — другой «по болезни артиста и лошади»[2]. Действие же пьесы уж пожалуй происходит именно в цирке, по силе критического момента и по трагизму его. — Я читаю Достоевского[3], и потому стараюсь составить корявые фразы. — Как будет с Сережей? Обнимаю Тебя и не знаю, плохо или хорошо Тебе.

Твой Саша

Вальс в Твоей поэме[4] — для меня откровение.
Вот стихотворенье:

Посвящается Григорию Е.*

Побывала старушка у Троицы,
И все дальше идет на Восток.
Вот сидит возле белой околицы,
Обвевает ее вечерок.

Собрались чертенята и карлики,
Только диву даются в кустах
На костыль, на мешок, на сухарики,
На усталые ноги в лаптях.

— Эта странница, верно, не рада нам —
— Приложилась к мощам — и свята;
— Надышалась божественным ладаном,
— Чтоб увидеть Святые Места.

— Чтоб идти ей тропинками злачными,
— На зеленую травку присесть.
— Чтоб высоко над елями мрачными
— Пронеслась золотистая весть...

И мохнатые, малые каются,
Умиленно глядят на костыль,
Униженно в траве кувыркаются,
Поднимают копытцами пыль.

— Ты прости нас, старушка ты Божия,
— Не бери нас в Святые Места!
— Мы и здесь лобызаем подножия
— Своего, полевого Христа.

— Занимаются села пожарами,
— Грозовая над нами весна.
— Но за майскими тонкими чарами
— Затлевает и нам Купина...[5]

---

* Ежу, который живет у нас и назван Григорием. (*Примечание Блока.*)

[1] См. п. 106, примеч. 2. О готовности сотрудничать в «Искусстве» Блок оповестил С. А. Соколова в неизвестном нам письме; Соколов, предлагая Блоку в ответном письме (отправленном из Франции 31 июля 1905 г.) написать рецензию на книгу Н. Минского «Религия будущего», сообщал: «Очень надеюсь поставить “Искусство” в литературном смысле на должную высоту. Обещали мне *деятельное* участие: Мережковские, Бальмонт, Белый и Минский» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 541).

[2] См. примеч. 4 к п. 105. Размышления Блока обусловлены главным образом инцидентом, происшедшим с С. Соловьевым во время пребывания в Шахматове. Последний внезапно исчез из усадьбы, были организованы его поиски; на следующий день выяснилось, что он наугад ушел из Шахматова и провел ночь в Боблове, имении Менделеевых. Сам Соловьев, по свидетельству Белого, объяснял свои действия как «некий жест символический»: «С. М. вдруг почувствовал: если сейчас не пойдет напрямик он чрез лес, чрез болота (все прямо, все прямо) — к заре, за звездою, то что-то, огромное, в будущем рухнет; и он — зашагал, не вернулся за шапкой: все — шел, шел и шел, пока ночь не застигла в лесу». Кублицкую-Пиоттух этот поступок возмутил; Белый приводит ее слова о Соловьеве: «Какой эгоист: нас заставил промучиться!» — и вспоминает: «Я был искренне возмущен: Александра Андреевна, А. А., — как не поняли героической лирики С. М. Соловьева? Как могли опрокинуть ее, исказить? Мне казалось, что лучший мой друг оклеветан <...>» (*О Блоке.* С. 182, 183). После этого Белый преждевременно уехал из Шахматова, Соловьев уехал оттуда два дня спустя. Инцидент явился первым зримым симптомом надлома во взаимоотношениях Белого (а также и С. М. Соловьева) с Блоком и его близкими. Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 27 июня 1905 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 609—610). 23 июня 1905 г. С. Соловьев писал из Дедова Г. А. Рачинскому: «...вчера вернулся из Шахматова, имения Блоков. Там много радостного, но очень много нестерпимо трудного, так что и я и Боря порядком извелись» (Там же. С. 226).

[3] Ср. признание Блока в письме к Е. П. Иванову от 5 августа 1905 г.: «...становлюсь легкомысленным мальчишкой, страшно интересующимся Достоевским, причем душа не лежит плотно и страстно на его страницах, как бывало всегда, — а скорее как бы *танцует* на них» (VIII, 133).

[4] Имеется в виду поэма «Дитя-Солнце» (см. примеч. 3 к п. 105). Белый читал ее Блоку в Шахматове (см.: *Между двух революций.* С. 29).

[5] Датируется июлем 1905 г., впервые опубликовано в Литературном приложении к газете «Слово» (1906. № 9. 2 апреля. С. 1); впоследствии получило заглавие «Старушка и чертенята».

109. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец июля 1905. Серебряный Колодезь>[1]

Милый Саша,

Так *хорошо*, что Ты мне написал. Мне было радостно получить от Тебя письмо, потому что Ты — один из немногих, которых я люблю *истинной любовью.* Радуюсь Твоему письму: *так хорошо...* Из Твоего письма пахнул аромат зеленого леса, окропленного слезами, а я живу в степях, сухих и жарких, и вот уже скоро две недели, как не было росы: спасибо Тебе, милый. Я брожу по полям, сухим и жарким, и обдумываю *введение* к кирпичу, которое должен закончить к осени. Но оно растягивается в самостоятельную книгу... чуть ли не в *кирпич*, а самый кирпич удаляется от своего воплощения[2]. Милый, я ушел из жизни и верю чуду, верю важности переживаемых моментов, которые — всегда трагизм; но этот *трагизм* наполняет мою душу готовностью *умереть, чтоб вознестись...* Я забыл мир эмпирической действительности, ибо пришел к тому, что *бытие*

есть категориальная форма для одного из видов суждений относительных. Я умер для *действительности,* которую постигаю в *понятиях*: но зато отношение суждения гносеологического к трансцендентному понятию о ценности — отношение, имеющее форму метафизического суждения о реальности трансцендентного постулата, — являясь суждением, предопределяющим гносеологическое суждение, открывает для меня возвращение в мир бытия, понятый как *трагический долг*; тут оживаешь Ты, пробираясь в душу *«тайною тропинкою, скорбною и милою»*[3], — живешь, дышишь ароматом лесов несказанных, летаешь и сидя, и стоя, — и всячески... Еще вчера я постулировал в своем введении трансцендентной *Идеей*, а уж сегодня читал Твои нежные строки. Милый, спасибо Тебе. Вижу, вижу Тебя — Вечная, Бессмертно Живущая Идея, которую примат практ<ического> разума реализует в категорическом императиве. Милый, пиши мне.

Бесконечно любящий Тебя всегда Твой

Боря

P. S. Знаешь ли, что в статье моей «Химеры» Ты — Меркурий, спасаешь меня от В. Иванова[4].

---

[1] Ответ на п. 108; датируется по связи с ним. Помета Блока красным карандашом: «1905 — осень (в Шахм.)».

[2] Подразумевается замысел теоретико-философского труда о символизме, который Белый во всей полноте предполагавшегося содержания и объема не воплотил. В «Списке пропавших или уничтоженных автором рукописей» (1927?) он сообщает: «Материалы черновые ряда глав сочинения *«Система символизма»* (недописанного); переработанный отрывок из этих материалов являет собой *«Эмблематику Смысла»*; другой отрывок являет собой статью *«Смысл Искусства»*; обе статьи — куски написанного; эти материалы писались в 1904—1905 годах; автор все искал случая переработать материалы в философскую систему; вместо системы в 1909 году спешно пришлось выкроить из материалов две статьи для книги "*Символизм*". Эти материалы затерялись в заторе старых рукописей; в 1918—1919 годах автор сжег рукописи; и вместе с ними нечаянно сжег "*Материалы*"» (ГПБ. Ф. 60. Ед. хр. 31).

[3] Первая строка стихотворения Вл. Соловьева «Les revenants» (1900).

[4] В статье «Химеры» (Весы. 1905. № 6. С. 1—18) Белый вывел себя в образе «безумного юноши», Вяч. Иванова — в образе «феоретика дионисиазма»; в тексте фигурирует также «безбородый прохожий с лицом Меркурия, с палкою из двух сплетенных змей в руках», который будит и ободряет героя (С. 11).

---

110. БЛОК – БЕЛОМУ

8 авг<уста> 1905. Шахматово[1]

Милый Боря.

Сейчас смотрели на лунный туман. Ночь. Удивлялись. Твое письмо мне близко, близко. Спасибо. Мне хотелось именно быть Меркурием, когда я узнал, что я Меркурий в Химерах; более близкой мне статьи твоей я давно не читал. Я сам извещаю себя эти дни, и сам не знаю того, но извещаюсь о чем-то как бы в последний и в первый раз, как всегда бывает в острое время жизни.

Извещает меня о чем-то легкая юность с перевитым жезлом, но иногда эта юность бывает косматая, разбойничья, и все-таки — легкая. Все это лето я отвечаю Тебе на Твою любовь. Как-то учащенно все думаю о Тебе, узнаю Тебя, может быть; почти не проходит дня без мыслей о Твоей единственности для меня и мира. Я *совсем* разлюбил стихи Валерия Брюсова, почти без исключений. Над ним жестоко посмеялся кто-то. Впрочем, я хотел сказать Тебе вовсе не об этом, так как это изумительно потеряло смысл. Я ужасно молодею и, чувствуя это, очень радуюсь этому. Узнаю Тебя, говорю о Тебе, и душа прильнула к Тебе. У меня нет религии, но мне завещано: да не смущается сердце ваше. Белые к сердцу цветы я вновь прижимаю невольно[2].

Глубоко Твой Саша

---

[1] Ответ на п. 109.

[2] Эта фраза воспроизводит заключительные строки стихотворения Белого «Знаю» («Пусть на рассвете туманно...», 1901) (*Золото в лазури*. С. 227) — первого произведения поэта, с которым познакомился Блок (см. письмо О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 3 сентября 1901 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 175). Образ «белых цветов» ассоциировался у Белого, по его сообщению в «Воспоминаниях о Блоке», со стихотворением Вл. Соловьева «Вновь белые колокольчики»: «... здесь я разумел таинственные колокольчики Соловьева, теперь расцветшие в Дедове: белые тайны путей» (*О Блоке*. С. 37).

---

111. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<14 августа 1905. Серебряный Колодезь>[1]

Дорогой Саша —

Милый, спасибо за письмо. Очень порадовало. Из далей улыбнулось.
Когда получил, то сорвал белых цветов, сделал букет и поставил у себя.
Теперь подарили много жемчугу. И плывут, и тают —
— жемчужины...
Жемчуговый день, росяной, холодный, ясный.
Ясно улыбаюсь Тебе. Верю, что все мы «будем»...

Ясно Твой

Боря

05 года. 14-го августа.

P. S. С 20—22 я у Сережи[2]. Около 1-го в Москве или в первых числах — в Москве.

---

[1] Ответ на п. 110. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 14 авг.».

[2] С. Соловьев жил в это время в Дедове.

112. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не позднее 8 сентября 1905. Москва>[1]

Милый Саша,

Пишу Тебе из Москвы. Здесь все бурлит. Настроение боевое. Но я живу на острове. Не допускаю никого на него. Живу среди знакомых веяний — один с собой. Тихо, ясно.

Осень не будет трудная. Это я знаю. *Что-то улыбнулось.* Пусть.

Есть к Тебе поручение. Прости, что не писал, все собирался. Hans v. Guenther просит Тебя сообщить ему Твои биографические сведения[2]. Ты, кажется, имеешь с ним сношения. Он мне писал, что перевел некоторые из Твоих стихов. Живет он попеременно то в Мюнхене, то в Митаве. Теперь, кажется, в Митаве. Адрес его следующий. Курляндская губерния. Митава. Константиновская улица. № 8. То же поручение у меня к Бальмонту, Иванову, Сологубу, Минскому, Мережковскому, Рафаловичу, Смирнову. При случае, если увидишь кого-нибудь из оных господ, передай и им про Гюнтера и его просьбу.

Милый, не забывай меня. Напиши два слова о себе, когда будет время. Не забывай *Весы*, присылай, пожалуйста, что-нибудь: *«Весы»* теперь нуждаются в помощи: В<алерий> Я<ковлевич> не хочет принимать деятельного участия[3], а ведь он один *все* выносил. Надо дружно сообща поддержать, а то паразитирующее на современном искусстве *«Искусство»* нежелательным образом приблизится к *Весам*; надо проводить грань между *Весами* и *Искусством.* Я отказался от участия в *Искусстве,* имея в виду централизоваться в *Весах*[4].

Нежно любящий Тебя

Боря

---

[1] Датируется по связи с п. 113. Помета Блока красным карандашом: «1905 — осень — в СПб.».

[2] Письмо Гюнтера к Белому (Митава, 21 июля 1905 г.), включающее эту просьбу, опубликовано (в переводе с немецкого) в статье К. М. Азадовского «“...У нас с Вами есть что-то родственное” (Белый и Йоганнес фон Гюнтер)» (Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 474—475). С просьбой прислать автобиографию, а также авторизовать выполненные им переводы стихотворений Блока на немецкий язык Иоганнес фон Гюнтер обратился также непосредственно в письме к нему из Митавы от 5 сентября 1905 года (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 237). О начальной стадии эпистолярного общения Гюнтера с русскими символистами см. в статье К. М. Азадовского, предпосланной выполненным им переводам фрагментов из воспоминаний Гюнтера (*ЛН. Т. 92. Кн. 5.* С. 330—332).

[3] О неосуществленной попытке Брюсова летом 1905 г. отказаться от руководства «Весами» см.: Азадовский К. М., Максимов Д. Е. Брюсов и «Весы» (К истории издания) // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 279—280.

[4] Перемена в отношении Белого к журналу «Искусство» произошла после выхода в свет № 5/6/7 этого журнала, в котором была помещена (под псевдонимом «Нарцисс») рецензия на альманах «Северные Цветы Ассирийские», содержавшая резко отрицательную оценку помещенной в нем трагедии Вяч. Иванова «Тантал»; Белый, возмущенный рецензией, отправил С. А. Соколову письмо, в котором отказывался от сотрудничества в журнале (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. С. 389).

113. БЛОК – БЕЛОМУ

9 сентября <1905.> Петербург[1]

Милый Боря.

Я — женщина словачка[2]. Это меня часто удручает. Мой государственный экзамен, может быть, протянется весь октябрь. А, мож<ет> быть, будет только к Рождеству[3]. Почти нигде не бываю, занимаюсь науками. Твое поручение буду исполнять понемножку. Я совсем никогда не слышал о Гюнтере, и очень изумляюсь своей биографии. Относительно «Весов» — пока совсем не могу писать, из-за экзамена. Чулков просил Тебе передать свою сконфуженность по поводу того, что «В<опросы> Ж<изни>» не могут напечатать Твою статью. Все они находят, что она «не для их публики», — слишком догматичная и сжатая[4]. Булгаков царит на новой квартире «В<опросов> Ж<изни>»[5] и оберегает свой журнал от символистов. Можно попросить Тебя когда-нибудь напомнить Скорпионам, что у них лежат присланные им обложки и картинки для «Весов» Городецкого (того, чьи стихи я Тебе летом читал), а Городецкий недоволен тем, что их ему не возвращают, хотя он приложил марки на пересылку[6]. Пожалуйста, как-нибудь осведомись о судьбе этих картинок. Вот все о делах. Помню Тебя всегда и люблю всегда — глубоко и нежно.

Твой Саша.

---

[1] Ответ на п. 112.

[2] По свидетельству М. А. Бекетовой, в слове «словачка» «есть намек на некоего московского профессора, которого изображал в лицах Серг. М. Соловьев» (***Письма к родным,*** *I.* С. 330); ср. подпись в письме С. Соловьева к Блоку от 3 августа 1905 г.: «Твоя Словачка (смягчение: словак, женщина: словачка <...>)» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 400). Блок обозначал этим словом, по сообщению М. А. Бекетовой, «все экзамены по славяноведению» (***Письма к родным,*** *I.* С. 330, 144).

[3] 13 сентября 1905 г. Блок сообщил в письме к А. А. Громову: «Сегодня (13) днем я получил <...> извещение о том, что “по постановлению Совета наши экзамены будут перенесены на декабрь”» (Громов А. А. В студенческие годы // Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 406). Подробнее о попытке Блока сдать государственные экзамены осенью 1905 г. см.: Кумпан К. А. Александр Блок — выпускник Университета // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 163—165.

[4] Какую именно статью Белый предложил в «Вопросы Жизни», неясно.

[5] Редакция «Вопросов Жизни» летом 1905 г. переехала по адресу: Седьмая Рождественская ул., д. 7, кв. 7.

[6] Художественные работы С. М. Городецкого в «Весах» не были помещены. Блок был знаком с Городецким, тогда также студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, с 1903 г. (см. вступительную статью В. П. Енишерлова к переписке Блока с А. А. и С. М. Городецкими // *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 5—6).

---

114. БЛОК – БЕЛОМУ

22 сентября 1905. Петербург

Милый Боря!

Вот стихи Hans’a von Guenther’a, которые он просил меня передать Тебе и обоих нас просил сообщить свое мнение. Я уж написал, что мне многое нра-

вится[1]. Они написаны ужасно неясно, трудно разбирать. Гюнтер переводит мои стихи[2]. Просьбу о биографии я уже передавал Бальмонту, но он гордо ответил, что она — в словаре Венгерова[3].

В Петербурге очень много бодрости. Меня очень интересуют события. Университет преобразился — все оживлено. Слежу за газетами. Мои экзамены будут в ноябре и декабре. Как Ты, — напиши мне несколько слов. Я Тебя люблю сильно и нежно по-прежнему. Крепко целую Тебя.

Твой Саша

---

[1] Письма Блока к Гюнтеру нам не известны.

[2] К письму Блоку от 5 сентября 1905 г. Гюнтер приложил выполненные им переводы на немецкий язык шести стихотворений Блока (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 237. Л. 5—10); это — самые ранние переводы стихотворений поэта на иностранный язык. См. анализ переводов Гюнтера из Блока в кн.: Эткинд Е. Поэзия и перевод. М.—Л., 1963. С. 384—387. М. А. Бекетова вспоминает: «Саша получил через издательство "Гриф" письмо от немецкого поэта Гюнтера, который пришел в восторг от "Прекрасной Дамы", — просил позволения переводить стихи Блока. Саша был страшно польщен гюнтеровскими комплиментами и в то время, как я писала письмо его матери, смешил меня разными шалостями: принимал горделивые позы, отставляя руку и закидывая голову назад, говорил разную чепуху, разговаривая все время по-немецки, что давалось ему далеко не легко, говорил, что он "Berühmter Herr Block" (знаменитый господин Блок)» (Бекетова М. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925. С. 79).

[3] См.: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых. СПб., 1897—1904. Т. VI. С. 375—377.

---

115. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<После 22 сентября 1905. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Спасибо за присыл стихов. Гюнтер — идиот, в этом я убедился из нескольких писем, которыми мы обменялись[2]. Не имею время разбирать его стихи. Если будешь ему писать, напиши что знаешь от моего имени ему. Надоело с ним иметь дело. Он переводит меня и из этого делает что-то неимоверное. Чуть ли не переход на *«Ты»*...

У нас в Москве спокойно и хорошо: легкие маневры перед войной раздули, судя по петербургским газетам, в нечто грандиозное.

Спасибо Александре Андреевне за письмо[3]. Передай, что я на днях ей напишу. Знаешь ли, я посвятил ей статью *«Сфинкс»*, которая появится в следующем № *«Весов»*. Статья написана, быть может, для нее[4].

Дорогой Саша, желаю Тебе успеха в экзаменах. Не пришлешь ли Ты мне своих стихов. Буду рад.

Если увидишь В. Иванова, передай ему, что я никогда не хочу с ним полемизировать, ибо в теоретическом отношении более чем с кем-либо из «декадентов» чувствую связь[5]. Пусть он не сердится на меня — положит гнев на милость. Если можно, сообщи его адрес: буду ему писать.

Люблю Тебя очень. Имею много сказать. При случае выберу время и пришлю Тебе целую рукопись вместо письма; сейчас же все время занят. Иду на *«Пиковую Даму»*. *«С<ен>-жерменствую»*[6] — только и остается это проделывать в Москве. Душно мне у *«декадентов»* — душно, душно!

Нежно люблю. Всегда помню.

Весь Твой

Боря

---

[1] Ответ на п. 114. Помета Блока красным карандашом: «1905 — осень в СПб.».

[2] Подробнее см.: Азадовский К. М. «...У нас с Вами есть что-то родственное» (Белый и Йоганнес фон Гюнтер) // Андрей Белый. Проблемы творчества: Статьи. Воспоминания. Публикации. М., 1988. С. 470—481.

[3] Письмо от 23 августа 1905 г. (см. с. 547 наст. изд.).

[4] Статья Белого «Сфинкс» (Весы. 1905. № 9/10. С. 23—49) была опубликована с посвящением: «Посвящаю статью А. А. Кублицкой-Пиоттух, которой обязан возникновением этой статьи».

[5] В связи с опубликованием статьи Белого «Химеры» (см. примеч. 4 к п. 109) между Вяч. Ивановым и ним возникла печатная полемика на страницах «Весов»: Иванов поместил заметку «О “Химерах” Андрея Белого» (1905. № 7. С. 51—52), Белый — ответное «Разъяснение В. Иванову» (1905. № 8. С. 45).

[6] Подразумевается образ графа Сен-Жермена в балладе Томского из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» (1890; действие 1-е, картина 1-я). «Пиковая дама» ставилась тогда в Большом театре. В статье Белого «Химеры» также идет речь о «Пиковой даме» (С. 45—47).

---

116. БЛОК – БЕЛОМУ

2 октября <1905. Петербург>[1]

Милый Боря.

Мне вдруг захотелось послать Тебе много всяких моих стихов, и плохих и получше. Напиши мне когда-нибудь, как они Тебе *вообще* кажутся, и покажи Сереже. Кроме того, можно посвятить Тебе стихотворение, приложенное здесь же?[2] Я изумился, читая «Зеленый Луг»[3]. Дело в том, что все это время я писал статью, в которой последняя глава называется «Зеленые луга»[4]. И вдруг! Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего[5]. Почти никто не знает об этом ничего, кое-кому известно навыворот. Но я более или менее часто вижу людей. Осень легкая. Часто хорошо и радостно. Спасибо Тебе за письмо. Совсем не знаю, что написать от Тебя Гюнтеру? Очень возможно, что он — идиот. Он пишет мне всё открытки[6], где говорится: сегодня я перевел 26-е стих<отворение>... Сегодня 40-е. Нельзя ли назвать все «Die Frau in Sonne bekleidet»*? Эти извещения и вопросы сыплются мелким дождичком из Митавы — с Балтийского побережья — культурно и неукоснительно.

Право, я Тебя люблю. Иногда совсем нежно и сиротливо. Тебя никто не знает, но, как ты думаешь, знаю ли я Тебя? По кр<айней> мере, я этого всегда

---

* «Жена, облеченная в солнце» (*нем.*).

хочу. Ты знаешь, что со мной летом произошло что-то страшно важное. Я изменился, но *радуюсь* этому. Говорить об этом могу пока только с *непосвященными*. Но посвященным можешь быть разве Ты, никто кроме Тебя не услышит и знать не захочет. Но рядом с этим я совсем перестал бояться людей внутренно и доброжелателен ко многим больше, чем прежде. Куда-то совсем ушли Мережковские, и я перестал знать их, а они совершенно отвергли меня. Можно сказать, наплевали. Не знаю, надо так или не надо. Надрыва же никакого нет у меня и вообще нет надрыва. Я больше не люблю города или деревни, а захлопнул заслонку своей души. Надеюсь, что она в закрытом наглухо помещении хорошо приготовится к будущему. Часто из нее исходят все только одни гармоничные ощущения. Я никогда ничего не забуду в прошлом. Кто-то мне говорит, что я очень легко могу стать Купиной. Нет причины не верить. Преследуемый Аполлоном, я превращусь в осенний куст золотой, одетый сеткой дождя на лесной поляне. Ветер повеет и колючие мои руки запляшут свободно.

Не могу сказать, как радостно и постоянно Тебя люблю. Если иногда в этом сиротливость, то я — «сам Господь своих вериг». Пришли рукопись[7]. Мы тоже пойдем в «Пиков<ую> даму». Спасибо за московск<ие> известия. Вяч. Иванову передам; я еще не был у него. Вот его адрес: СПб. Таврическая 25, кв. 24.

Вечером. Сейчас вернулся от Сологуба, где видел Вяч. Иванова и передал ему, что Ты просил. Он просит передать Тебе, что не сердился теоретически, но был оскорблен лично тем, что Ты писал Чулкову[8]. Но вообще говорил мягко и доброжелательно. Может быть, не могу передать Тебе точно, что он говорил, — ужасно устал. А мне трудно еще с Вяч. Ивановым[9]. До свиданья, милый. Неужели, правда, Сережа в Риме? Как Ты думаешь — если я кончу статью (довольно длинную) и пришлю ее в «Весы» — напечатают ли ее и заплатят ли что-нибудь?[10] В «Иск<усство>» я написал все-таки две статьи, потому что обещал Соколову[11].

Где Сережа? в Москве или в Дедове?

* * *

Пристань безмолвна. Земля близка.
Земли не видно. Ночь глубока.
Стою на серых мокрых досках.
Буря хохочет в седых кудрях.
И слышу, слышу — будто кричу:
— Поставьте в море на камне свечу!
— Когда пристанет челнок жены,
— Мы будем вместе, мы будем спасены.
И страшно и тяжко в мокрый песок
Бьют волны, шлют волны седой намек.
Она далеко. Ответа нет.
Проклятое море! Неси ответ!
Далеко... там камень! Там ставьте свечу!
И сам не знаю, — я ли кричу[12].

* * *

Я — меч заостренный с обеих сторон —
Я правлю, архангел, Ее Судьбой.

В щите моем камень зеленый зажжен.
Зажжен не мной, — господней Рукой.

Ему непомерность мою вручу,
Когда отъиду на вечный сон.
Ей в мире оставлю мою свечу,
Оставлю мой камень, мой здешний звон.

Поставлю на страже звенящий стих,
Зеленый камень Ей в сердце зажгу.
И камень будет Ей друг и жених —
И Ей не солжет, как я не лгу[13].

* * *

Ранним утром, когда люди старались не шевелиться,
Предчувствуя однообразие серого дня зимы,
В комнате проснулись мужчина и блудница.
Проснулись в пьяном запахе, среди мглы и тьмы.

Утро копошилось. Безнадежно догорели свечи.
Оплывший огарок мелькал в оплывших глазах.
Сквозь холодное кривое стекло дрожали белые женские плечи,
Мужчина перед обломком зеркала расчесывал пробор в волосах.

Она была в рубашке. Утро не обмануло —
И была она сегодня, как смерть, бледна.
Еще вечером под фонарем ее лицо блеснуло,
И в этой комнате была она влюблена и пьяна.

А сегодня так безобразно повисли складки рубашки.
И на линиях тела был утренний серый налет.
Углами торчала мебель. Валялись окурки и бумажки
И ужасен был в комнате красный комод.

И внезапно — быстрее вьюги — ярче пожара —
Сверкнуло сознанье, разбивая утренний лед.
Женщина выпрямилась, освобождаясь от угара.
И в окне под обнаженной рукой зазвездился пролет.

Влетели звуки. Верба, раздувшая почки,
Раскачнулась под ветром, осыпая последние снега.
В церкви ударил колокол. Распахнулись форточки.
И вверху и внизу зашевелилась стена.

Под окнами во дворе выбегали за ворота.
Улицу скрывал дощатый забор.
Мальчишки, женщины, дворники — заметили что-то:
Махали руками, чертя незнакомый узор.

Бился колокол. Гудели крики, лай и ржанье.
И на грязном снегу, среди улицы, где люди собрались,
Женщина-блудница — от ложа пьяного желанья —
На коленях — в рубашке — поднимала руки ввысь.

Там — над домами — в тумане снежной бури,
На месте полуденных туч и полунощных звезд,
Розовым зигзагом — в новоявленной лазури
Тонкая рука распластала тонкий крест.

Февраль 1904[14]

* * *

Все бежит, — мы пребываем,
Вервий ночи вьем концы,
Заплетаем, расплетаем
Белых ландышей венцы.

Все кружится, — круторогий
Месяц щурится вверху,
Мы, расчислив все дороги,
Утром верим петуху.

Вот — из кельи Вечной Пряхи
Нити кажут солнцу путь.
Утром сходятся монахи,
Прикрывая рясой грудь.

— Всю ли ночь молились в нишах?
Всю ли ночь текли труды?
— Нет, отец, на светлых крышах
Ждали Утренней Звезды.

Мы молчали, колдовали,
Ландыш пел, Она цвела.
Мы над прялкой тосковали
В ночь, когда Звезда пряла.

1904[15]

* * *

В кабаках, в переулках, в извивах,
В электрическом сне наяву
Я искал бесконечно красивых
И бессмертно влюбленных в молву.

Были улицы пьяны от криков,
Были солнца в сверканьи витрин!
Красота этих женственных ликов!
Эти гордые взоры мужчин!

Это были цари — не скитальцы!
Я спросил старика у стены:
— Ты украсил их тонкие пальцы
Жемчугами несметной цены?

— Ты им дал разноцветные шубки?
— Ты зажег их снопами лучей?
— Ты раскрасил пунцовые губки,
— Синеватые дуги бровей?

Но старик ничего не ответил,
Отходя за толпою мечтать...
Я остался, таинственно светел,
Эту музыку блеска впивать.

А они проходили всё мимо,
Смутно каждая в сердце тая,
Чтоб навеки, ни с кем несравнимой,
Отлететь в голубые края...

И мелькала за парою пара...
Ждал я Светлого Ангела к нам,
Чтобы здесь — в ликованьи троттуара —
Он одну приобщил небесам...

А вверху — на уступе опасном —
Тихо съежившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.

1904[16]

* * *

Иду — и все мимолетно.
Вечереет — и газ зажгли.
Музыка ведет бесповоротно,
Куда глядят глаза мои.

Они глядят в подворотни,
Где шарманщик вздыхал над тенью своей...
Не встречу ли о́боротня?
Не увижу ли красной подруги моей?

Смотрю и смотрю внимательно...
Может быть слишком упорно еще...
И — внезапно — тенью — гадательной —
Вольная дева — в огненном плаще...

В огненном! Выйди за поворот.
На глазах твоих лежит повязка еще...
И она тебя кольцом неразлучным сожмет
В змеином логовище...[17]

* * *

Она поет в печной трубе.
Ее веселый голос тонок.
Мгла опочила на тебе.
За дверью плачет твой ребенок.

Весна, весна! Как воздух пуст!
Как вечер непомерно скуден!
Вон — тощей вербы голый куст —
Унылый призрак долгих буден!

Вот вечер кутает окно
Сплошными серыми тенями.
Мое лицо освещено
Твоими страшными глазами.

Но не боюсь смотреть в упор, —
В душе — бездумность и беспечность.
Там — вихрем разметен костер,
Но искры улетели в вечность.

Глаза горят, как две свечи.
О чем она тоскует звонко?
Поймем. Не то пронзят ребенка
Безумных глаз твоих мечи.

9 апреля 1905[18]

А. М. РЕМИЗОВУ

В весеннюю полночь колдунья увела девушку за город и там сдала с рук на руки Чёрту. Но Ангел Утренней Грозы восхитил ее к себе.

Латинская рукопись XVI века.

Господь, Ты слышишь? Господь, простишь ли?
Весна плыла высоко в синеве.
На глухую улицу в полночь вышли
Веселые девушки. Было — две.

Но Третий — за ними... за ними следом
Мелькал неслышный в луче фонаря.
Он был неведом... Одной был неведом:
Ей казалось... Казалось, близка заря.

Но синей и синее эта полночь мерцала,
Тая, млея, сгорая полношумной весной.
И одна сказала... Ты слышишь?.. сказала:
О, как страшно, подруга... быть с тобой.

И была эта девушка в белом... в белом,
А другая — в черном... Твоя ли дочь?
И одна задрожала слабеньким телом,
А другая смеялась... убежала в ночь.

Ты слышишь, Господи? Сжалься! О, сжалься!
Другая, смеясь, убежала прочь...
И на улице мертвой, пустынной остались —
Остались: Третий, она и ночь.

Но казалось — близко... Казалось, близко
Трепетно бродит, чуть белеет заря.
Но синий полог упал так низко
И задернул последний свет фонаря.

Был синий полог. Был сумрак долог.
И ночь прошла мимо них, пьяна.
И когда в траве заблестел осколок,
Она осталась совсем одна.

И первых лучей протянулись нити,
И слабые руки схватили нить.
Но уж город, гудя чредою событий,
Где-то там, далеко, — начал жить.

Был любовный напиток — в красной пачке кредиток.
И заря испугалась. Но рукою Судьбы
Кто-то городу дал непомерный избыток,
И отравленной пыли полетели столбы.

Прибежали, стояли и шептались докучно.
Дымно-сизый старик оперся на костыль.
И кругом стало душно. А в полях — однозвучно
Хохотал Невидимка, — и разбрасывал пыль.

В этом огненном смерче — обняла она крепче
Пыльно-грязной земли раскаленную печь.
Боже Правый, соделай, чтоб твердь стала легче!
Отврати Твой разящий — и карающий меч!

И откликнулось Небо: среди пыли и давки
Появился Архангел с убеленной рукой.
Все казалось: — он вышел из маленькой лавки,
Показалось, что был он — перепачкан мукой.

Но уж твердь разрывало. И земля отдыхала.
Под дождем умолкала песня дальних колес.
И толпа грохотала. И гроза хохотала.
Ангел белую девушку в Дом Свой унес.

15.IV.1905[19]

НЕВИДИМКА

Веселье в ночном кабаке,
Над городом — синяя дымка.
Под красной зарей — вдалеке
Гуляет в полях Невидимка.

Танцует над топью болот,
Кольцом окружающих до́мы,
Протяжно зовет и поет
На голос, на голос знакомый.

Запачкав мечтой небеса,
Ласкает вечернюю прелесть,
И слышит в тени голоса, —
И шепот, и вздохи, и шелест.

Вам сладко вздыхать о любви,
Слепые, продажные твари?
Кто небо запачкал в крови,
Кто вывесил красный фонарик?

Кто воет, как брошенный пес,
Мяучет, как сладкая кошка?
Пучки вечереющих роз
Швыряет блудницам в окошко?

Она и в пожарном дыму,
И в храме, просящем о мире,
И в каждом публичном дому,
И в каждой несветлой квартире.

Бессилен домашний уют,
Очаг отпылавший дымится.
По улицам — тени плывут,
Меж них — Невидимка вертится.

И вот уж стучится в притон
Ватага веселых и пьяных,
И каждый во мглу увлечен
Толпой проституток румяных.

Вечерняя надпись пьяна
Над дверью, отворенной в лавку,
На Звере багряном Жена
С расплеснутой чашей вина
Вмешалась в безумную давку.

В тени гробовой фонари;
Смолкает докучливый грохот.
На красной полоске зари
Беззвучный качается хохот.

1905. 16.IV. Страстная Суббота[20]

* * *

Вот на тучах пожелтелых
Отблеск матовой свечи.
Пробежали в космах белых
Черной ночи трубачи.

Пронеслась, бесшумно рея,
Птицы траурной фата.
В глуби меркнущей аллеи
Зароилась чернота.

Разметались в тучах пятна,
Заломились руки Дня.
Бездыханный, необъятный —
Истлевает без огня.

Кто там встанет с мертвым глазом
И с серебряным мечом?
Невидимкам черномазым
Кто там будет трубачом?

Лето 1905[21]

* * *

Королевна жила на высокой горе,
И над башней дымились прозрачные сны облаков.
Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал о любви на заре,
И тревожил законы суровых отцов.

Над зелеными рвами текла, розовея, весна.
Непомерность ждала в синевах отдаленной черты.
И Влюбленность звала — не дала отойти от окна,
Не смотреть в роковые черты, оторваться от светлой мечты.

— Подними эту розу — шепнула — и ветер донес
Тишину улетающих лат — бездыханный ответ.
— В синем утреннем небе — шепнул — ты найдешь —
купину расцветающих роз —
И шепнул — и взлетел — и сверкнул — и она полетела вослед.

И за облаком плыло и пело мерцание тьмы,
И Влюбленность в погоне забыла, забыла свой щит.
И она, окрылясь, полетела из отчей тюрьмы:
На воздушном пути королевна полет свой стремит.

Уж в стремнинах туман — и рога созывают стада,
И заветная мгла протянула плащи и скосила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.

Не смолкает вдали властелинов борьба,
Распри дедов над ширью земель.
Но различна Судьба: здесь мечтанье раба,
Там — воздушной Влюбленности хмель.

И в воздушный покров улетела на зов
Навсегда... О, Влюбленность! Ты строже Судьбы!
Повелительней древних законов отцов,
Слаще звука военной трубы![22]

* * *

Она веселой невестой была.
Но Смерть пришла. Она умерла.

И тихая мать погребла ее тут.
Но церковь упала в зацветший пруд.

Над зыбью самых глубоких мест
Плывет один неподвижный крест.

Миновали десятки и сотни лет,
И в старом доме юности нет.

И там, где юность устала ждать,
В зеркалах осталась старая мать.

Старуха вдевает нити в иглу,
Тени нитей дрожат на светлом полу.

Тихо, как будет. Светло, как было.
И счет годин старуха забыла.

Как мир стара, как лунь седа.
Никогда не умрет, никогда, никогда...

А вдоль комодов, вдоль древних кресел
Мушиный танец все так же весел.

И красные нити дрожат на полу,
И мышь щекочет обои в углу.

В зеркальной глуби — еще покой
С такой же старухой, как лунь седой.

И те же нити, и те же мыши,
И тот же образ смотрит из ниши.

В окладе темном — темней пруда,
Со взором скромным — всегда, всегда...

Давно потухший взгляд безучастный.
Клубок из нитей — веселый, красный.

И глубже, и глубже покоев ряд.
И в окна смотрит все тот же сад.

Зеленый, как мир, высокий, как ночь,
Нежный, как отошедшая дочь.

— Вернись, вернись, нить не будет тлеть.
— Дай мне спокойно умереть[23].

* * *

Потеха! Рокочет труба.
Кривляются белые рожи.
И видит на флаге прохожий
Огромную надпись: «Судьба».

Палатка. Разбросаны карты...
Гадалка, смуглее июльского дня,
Бормочет, монетой звеня,
«Слова слаще звуков Моцарта».

Кругом возрастающий крик,
Свистки и нечистые речи,
И ярмарки гулу — далече
В полях отвечает зеленый двойник.

В палатке все шепчет и шепчет,
И скоро сливаются звуки,
И быстрые, смуглые руки
Впиваются крепче и крепче...

Гаданье! Мгновенье! Мечта!..
И, быстро поднявшись, презрительным жестом
Встряхнула одеждой над про́клятым местом,
Гадает... и шепчут уста...

И вновь завывает труба,
И в памяти пыльной взвиваются речи,
И шепот... и плечи...
И быстрая надпись: «Судьба»!

Лето 1905[24]

* * *

ИЗ СКАЗОК

1. У МОРЯ

Стоит полукруг зари.
Скоро солнце совсем уйдет.

— Смотри, папа, смотри!
Какой к нам корабль плывет!

— Ах, дочка, лучше бы нам
Уйти от берега прочь...

Смотри: он везет по волнам
Нам светлым темную ночь.

— Нет, папа, взгляни разок,
Какой на нем пестрый флаг!

Ах, как его голос высок!
Ах, как освещен маяк!

— Дочка, то сирена поет.
Берегись, пойдем-ка домой...

Смотри: уж туман ползет,
Корабль стал совсем голубой...

Но дочка плачет навзрыд,
Глубь морская ее манит.

И хочет пуститься вплавь,
Чтобы сон обратился в явь.

3. ПОЭТ

Сидят у окошка с папой,
Над берегом вьются галки.
— Дождик, дождик! скорей закапай!
У меня есть зонтик на палке!

— Там весна. А ты — зимняя пленница,
Бедная девочка в розовом капоре...
Видишь, море за окнами пенится?
Полетим с тобой, дочка, за море?

— А за морем есть мама?
                                        — Нет.
А где мама?
                    — Умерла.
                                    — Что это значит?
Это значит: вот идет глупый поэт:
Он вечно о чем-то плачет.

— О чем?
                — О розовом капоре.
— Так у него нет мамы?

— Есть. Только ему нипочем:
Ему хочется за море,
Где живет Прекрасная Дама.

— А эта Дама — добрая?
— Да.
— Так зачем же Она не приходит?
— Она не придет никогда:
Она не ездит на пароходе.

Подошла ночка.
Кончился разговор папы с дочкой[25].

* * *

Тихо. И будет все тише.
Флаг бесполезный опущен.
Только флюгарка на крыше
Сладко поет о грядущем. —

Ветром в полнебе раскинут,
Дымом и солнцем взволнован,
Бедный петух очарован,
В синюю глубь опрокинут.

В круге окна слухового
Лик мой, как нимбом, украшен.
Контур лица воскового —
Правилен, прост и нестрашен.

Смолы пахучие жарки,
Дали извечно туманны...
Сладки мне песни флюгарки.
Пой, петушок оловянный!

Лето 1905[26]

* * *

Старость мертвая бродит вокруг,
В зеленях утонула дорожка.
Я пилю наверху полукруг —
Я пилю слуховое окошко.

Чую дали, — и капли смолы
Проступают в сосновые жилки.
Прорываются визги пилы,
И летят золотые опилки.

Вот последний свистящий раскол, —
И дощечка летит в неизвестность...
В остром запахе тающих смол
Подо мной распахнулась окрестность...

Все закатное небо — в дремé,
Удлиняются дольние тени,
И на розовой гаснет корме
Уплывающий кормщик весенний...

Вот мы с ним уплываем во тьму,
И корабль исчезает летучий...
Вот и кормщик — звездою падучей...
До свиданья!.. летит за корму...

Лето 1905[27]

* * *

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко у царских врат,
Причастный Тайнам, плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Август 1905[28]

* * *

В лапах косматых и страшных
Колдун укачал весну.
Вспомнили дети о снах вчерашних,
Отошли тихонько ко сну.

Мама крестила рукой усталой,
Никому не взглянула в глаза,
На закате полоской алой
Покатилась к земле слеза.

— Мама, красивая мама, не плачь ты!
Золотую птицу мы увидим во сне:
Всю вчерашнюю ночь она пела с мачты,
А корабль уплывал к весне.

Он плыл и качался, плыл и качался,
А бедный матросик смотрел на юг:
Он друга оставил, и в слезах надрывался, —
Верно есть у тебя печальный друг?

— Милая девочка, спи, не тревожься.
Ты сегодня другое увидишь во сне:
Ты к вчерашнему сну никогда не вернешься:
Одно и то же снится лишь мне...

Лето 1905[29]

* * *

Посвящается Б. Н. Бугаеву

Волновать меня снова и снова —
В этом тайная воля Твоя.
Радость ждет сокровенного слова.
Но уж ткань золотая готова,
Чтоб душа засмеялась моя.

Улыбается осень сквозь слезы,
В небеса отлетает мольба,
И за кружевом тонкой березы
Золотая запела труба.

Так волнуют прозрачные звуки,
Будто милый Твой голос звенит,
Но молчишь Ты, поднявшая руки,
Устремившая руки в зенит.

И округлые руки трепещут,
С белых плеч ниспадают струи,
За Тобой в хороводах расплещут
Осенни́цы одежды свои.

Осененная реющей влагой,
Распустила Ты пряди волос.
Хороводов Твоих по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не петь, не плясать,
И не могут луга и овраги
Под стопою Твоей не сгорать.

С нами, к нам — легкокрылая младость,
Нам воздушная участь дана...
И откуда приходит к нам радость,
И откуда плывет Тишина?

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора,
Сон, заветных исполненный знаков,
Что сегодня пройдет, как вчера,

Что полеты времен и желаний —
Только всплески девических рук —
На земле — на зеленой поляне
Неразлучный и радостный круг.

И безбурное солнце не будет
Нарушать и гневить Тишину,
И лесная трава не забудет,
Никогда не забудет весну,

И снежинки по склонам оврага
Заметут, заравняют края,
Там, где им заповедала влага,
Там, где пляска, где воля Твоя.

1 окт<ября> 1905. СПб[30].

---

1 Ответ на п. 115. Осуществленный Блоком композиционный порядок приложенных к письму стихотворных автографов, сохранившихся в разрозненном виде, восстановить невозможно, поэтому тексты стихотворений воспроизводятся в хронологической последовательности их написания; не приводятся стихотворения «Молитва» и «На весенней проталинке...», присланные Блоком ранее (с. 220, 221—222 наст. изд.).

2 Подразумевается стихотворение «Волновать меня снова и снова...»

3 Имеется в виду статья Белого «Луг зеленый» (Весы. 1905. № 8. С. 5—16); вошла в книгу статей Белого «Луг зеленый» (М., 1910. С. 1—18).

4 Статья «Безвременье», законченная лишь в октябре 1906 г.; 2-я глава ее называется «С площади на “луг зеленый”», заглавие пояснено авторским примечанием: «Статья Андрея Белого в “Весах”, 1905 г.» (V, 71). Ср. заметку Блока (июнь 1905 г.): «З е л е н ы е л у г а. Боря. Городецкий. Проступающие краски. Лилейное утро. Танец юности. Дункан. Ай! Боря уже написал в “Весах”! (№ 8)» (ЗК, 70; последняя фраза приписана позднее).

5 Пани Катерина — героиня повести Гоголя «Страшная месть». В статье «Луг зеленый» Белый писал: «Еще недавно Россия спала. Путь жизни, как и путь смерти, — были одинаково далеки от нее. Россия уподобилась символическому образу спящей пани Катерины, душу которой украл страшный колдун, чтобы пытать и мучить ее в чуждом замке <...> В колоссальных образах Катерины и старого колдуна Гоголь бессмертно выразил томление спящей родины, — Красавицы, стоящей на распутье между механической мертвенностью запада и первобытной

грубостью» (Весы. 1905. № 8. С. 7—8). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый свидетельствует, что этот фрагмент статьи был написан под воздействием общения с Блоком летом 1904 г. в Шахматове: «...вскоре отзвуки шахматовских сидений сложились полустатьей-полулирикой в “Луге зеленом” в абзаце, где говорится о зорях и душах, о Катерине <...>» (*О Блоке*. С. 90).

6 Эти открытки от Гюнтера в архиве Блока не сохранились.

7 Подразумевается выраженное Белым в п. 115 намерение прислать «целую рукопись вместо письма».

8 Возможно, имеется в виду письмо Белого к Г. И. Чулкову с полемической оценкой его статьи «Поэзия Владимира Соловьева» (см. письмо Чулкова к Белому от 8 июля 1905 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 226). В архиве Белого сохранился черновик развернутого письма к Чулкову (без окончания) по поводу этой статьи с подробной системой аргументации (РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 22).

9 О взаимоотношениях Блока с Вяч. Ивановым см.: Белькинд Е. Л. Блок и Вячеслав Иванов // Блоковский сборник. II. Тарту, 1972. С. 365—368; Минц З. Г. А. Блок и В. Иванов // Единство и изменчивость историко-литературного процесса. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 604). Тарту, 1982. С. 97—110; Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым / Публикация Н. В. Котрелева // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1982. Т. 60. № 2. С. 163—168.

10 Подразумевается, видимо, либо «Безвременье», либо статья «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (ноябрь 1906 г.); первая статья опубликована в «Золотом Руне» (1906. № 11/12), вторая — там же (1907. № 2).

11 В журнал «Искусство» Блок представил статью «Краски и слова» и рецензию на книгу Н. Минского «Религия будущего». В «Искусстве» была опубликована только рецензия (1905. № 8. С. 74—76). После закрытия «Искусства» редакционный портфель журнала перешел в редакцию «Золотого Руна»; в 1-м номере этого журнала, начатого изданием с января 1906 г., и появилась статья «Краски и слова».

12 Датируется июлем 1903 г. (датировка чернового автографа — 22 июля // ПСС I, 597); впервые опубликовано в журнале «Образование» (1908. № 1. Отд. I. С. 79).

13 Датируется июлем 1903 г. (датировка чернового автографа — 25 июля // ПСС I, 598); впервые опубликовано в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905. С. 50). Вкладывал ли Блок особый смысл в отсылку Белому автографа уже опубликованного стихотворения или это произошло по случайности — неясно.

14 Первоначальная редакция стихотворения; в переработанном виде под заглавием «Последний день» впервые опубликовано в журнале «Перевал» (1907. № 7. С. 17—18).

15 Датируется сентябрем 1904 г.; впервые опубликовано в журнале «В мире Искусств» (1907. № 13/14. С. 5).

16 Датируется декабрем 1904 г.; впервые опубликовано в «Весах» (1906. № 5. С. 11—12) в составе цикла «Тишина цветет».

17 Датируется 9 марта 1905 г.; впервые опубликовано в книге Блока «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» (М., 1907. С. 55).

18 Впервые опубликовано под заглавием «Песенка» там же (С. 15—16).

19 Впервые опубликовано под заглавием «Легенда» в кн. 2-й Литературно-художественных альманахов изд-ва «Шиповник» (СПб., 1907. С. 116—117) в составе цикла «Н. Н. Волоховой».

20 Первоначальная редакция стихотворения; в сокращенном виде впервые опубликовано в «петербургском альманахе» «Белые Ночи» (СПб., 1907. С. 31—32) в составе цикла «Томления весны».

21 Датируется 28 мая 1905 г.; впервые опубликовано в книге Блока «Нечаянная Радость» (С. 61).

22 В настоящее время местонахождение посланного Белому автографа этого стихотворения неизвестно (см.: ПСС II, 629); текст приводится по кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 148. Датируется 3 июня 1905 г.; впервые опубликовано под заглавием «Влюбленность» в «Золотом Руне» (1906. № 1. С. 47—48); варианты.

23 Датируется 3 июня 1905 г.; впервые опубликовано в «Золотом Руне» (1906. № 4. С. 36), варианты.

[24] Датируется июлем 1905 г.; впервые опубликовано в книге Блока «Нечаянная Радость» (С. 65—66). Стихотворение навеяно впечатлениями от размолвки с Белым и Соловьевым в июне 1905 года в Шахматове (см. комментарий М. Ю. Май // ПСС II, 633).

[25] В настоящее время местонахождение автографа этого цикла из двух стихотворений неизвестно (см.: ПСС II, 635, 636); текст приводится по кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. С. 150—151. Датируется июлем 1905 г.; обе части рукописного цикла «Сказки» впервые опубликованы как самостоятельные стихотворения в книге Блока «Нечаянная Радость» в составе раздела «Детское» (С. 29—32). 2-я часть рукописного цикла — стихотворение «Балаганчик» (ПСС II, 633).

[26] Датируется июлем 1905 г.; впервые опубликовано под заглавием «Моей матери» в книге Блока «Нечаянная Радость» (С. 103).

[27] Датируется июлем 1905 г.; впервые опубликовано (без заключительной строфы) в Литературном приложении к газете «Слово» (1906. № 7, 20 марта. С. 3).

[28] Впервые опубликовано в Литературно-научном приложении к газете «Наша Жизнь» (1906. № 5/6, 18 февраля. С. 33).

[29] Датируется августом 1905 г.; впервые опубликовано под заглавием «Сон» в «Золотом Руне» (1906. № 4. С. 35).

[30] Впервые опубликовано под заглавием «Пляски осенние» в «Золотом Руне» (1906. № 6. С. 21—22), с посвящением «Б. Н. Бугаеву»; в книгах Блока «Нечаянная Радость» и «Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость» (М., 1912) печаталось с посвящением «Андрею Белому» (см.: ПСС II, 246, 581).

---

117. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<11 или 12 октября 1905. Москва>[1]

Дорогой друг,

Как мне благодарить Тебя за присылку стихов: давно у меня не было таких приятных, радостных минут, как в тот день, когда Ты мне прислал стихи. Чтó мне сказать о стихах? Что они мне нравятся? Это было бы общим местом: ну конечно нравятся. Все та же неуловимая прелесть, все тоньше и тоньше знакомая прелесть Твоей музы вплетается в новые темы, за которые Ты взялся: олицетворение стихийных сил русской природы ждет своего выразителя: этим выразителем, думается мне, являешься Ты. Как совместится Твой призыв к *«Прекрасной Даме»* с этими новыми для Тебя темами, как совместится *«долг»* рыцаря с *«просто»* бытием хотя бы сил даймонических, как совместится долг творчества жизни (теургизм) с параличом долга жизнью (шаманизмом) — я не знаю: между тем это важно — важнее всего. Но прежде чем говорить с этой точки зрения о присланных стихах, я коснусь Твоего письма ко мне, и свяжу его с тем, что мне хочется формулировать.

Ты пишешь мне: «Надеюсь, что она (душа)... приготовится к будущему». Дорогой друг, о каком будущем идет речь: есть ли радующее Тебя будущее — общественное обновление России, рассвет российской словесности, реформа церкви или форм земского самоуправления, или *что*? Будущее бывает разное: каждое направление имеет будущее. Любя очерченность и точность *хотя бы и* символических переживаний, а также заинтересованный (столь важным для меня) Твоим путем, я решительно спрашиваю: какое содержание Ты мыслишь, когда ссылаешься на *«будущее»*. Ссылкой на будущее можно себя и навеки связать и развязать, уклониться, вынырнуть в другом можно ссылкой на то же *будущее*. Действительно ли Твое будущее (есть ли оно — конституция, всеоб-

щая и тайная подача голосов, синтез науки, философии и религии) или оно — литературная фигура речи — скобки пустоты (или пустота в скобках, под которыми можно предполагать все, что угодно, *необязательное, нереальное, пустое*). Ты — *«захлопнул заслонку своей души»* — для чего? для того, чтобы готовить избирательные списки, или для чего-нибудь иного? Насколько я Тебя понимаю, Ты много надеешься на преображение личности, но есть ли преображение без ясно сознанных *средств* (реализации пути) поставленных целей? Ты так и полагаешь, говоря, что надеешься стать «Купиной». Но купина — символ Богоматери. Итак, Ты надеешься стать символом Богоматери — Ты, студент Императорского С.-Петербургского Университета, сотрудник «Вопросов Жизни»? Тут или я идиот, или — Ты играешь мистикой, а играть с собой она не позволяет никому. Мистика всегда реальна, если она *есть*, если вместо нее не даются удобные для жизни, не оформленной долгом, — *скобки*. Для меня путь мистического будущего определенно *реален*. Неопределенность пути есть лишь выбор *мотивов* долга, борьба средств, из которых *каждое* — реальность. Ты пишешь, что готовишься к будущему — стать *Купиной*. Я года *умираю,* истекаю кровью, подвергаюсь оскорблениям, непониманию, грубым подменам, *ища средств пути*. Ты спокойно *знаешь*, что нужно для того, чтобы стать *«Купиной»*. Ради Бога, научи, выскажись. Пока же Ты не раскроешь скобок, мне все будет казаться, что Ты или бесцельно кощунствуешь, называя себя Купиной (а такие кощунства *не прощаются — знай*), или говоришь *«только так»*. Но тогда это будет, так сказать, кейфование за чашкой чая... А я ведь всегда с прочтения первого Твоего стихотворения полагал, что Ты работаешь во имя долга перед *«Прекрасной Дамой»*.

Может быть, Ты рассердишься на меня, но я не писал бы Тебе всего этого, если бы не глубоко любил Тебя; не ждал от Тебя... Летом, когда мы с Сережей были в Шахматове, мы оба страдали от внезапных осложнений в одном для меня и Сережи реальном мистическом пути, о котором я много и долго говорил Тебе в свое время и против которого Ты *не возражал* (почему?). Многое определилось и реально приблизилось с тех пор (и если хочешь, одно время полагал, что это приблизившееся связало нас, ибо Ты всегда во всем прежде молчаливо соглашался). Когда же нужно было совершить отплытие в страну долга и истины, а не *бытия просто за чаем и мистическими разговорами, все* запуталось: тут без сомнения Твоя неподвижность оказала влияние. Все осложнилось. Мы с Сережей почти обливались кровью... Кто-то грубо клеветал в это время, а Ты — Ты потом мне писал, что ждешь несказанного (?!). Ты эстетически наслаждался чужими страданиями. *Ведь тут абрикосовым компотом пахнет* (помни Достоевского)[2]. Ты во время наших реальных мучений сам *не* вступил на путь реальной мистики (от слов и беспочвенных переживаний не приближался к делу) — Ты должен тогда был бы вступить в борьбу с моим мнением о пути, со всеми моими разговорами, Ты должен был бы все это проклясть, или *делом принять* — ни того, ни другого Ты не сделал: созерцал наши мучения, и они возбудили Твою «эстетическую» природу. Ты ничего не сделал для *пути* и в то же время рассматривал нас с Сережей как актеров, писал про Сережу, что он, кажется, не туда попал и т. д.[3]

Знай, я не мальчик: и мистические мои *«выходки»* — не выходки экстатического гимназиста. Меня не соблазнишь мистическими скобками, ибо я — искушенный теорией познания. И то, что для меня *мистика и путь*, оно вполне ясно, просто и неопровержимо.

Ты летом отказался от будущего, которое мне ясно до очевидности, — почему же Ты определенно не вступаешь на путь бытия, путь прошлого (ибо

настоящего нет: оно — или долг перед будущим, либо инстинкт прошлого, т. е. *зверство*): *это путь — растительной жизни*, имеющий свое основание. Там зверь. В долге — *«Жена»*. Третьего нет: или зверь, или жена. Смешение — производит Сфинкса, психологическую мистику (я проклинаю «психологию» мистицизма). Зверь завивается в Символ.

Если Ты о будущем, или спорь против моего будущего, переубеди меня, а не то я склоню Тебя к моим представлениям о будущем, или же — обернись на *Содом и Гоморру*, т.е. на прошлое.

Но Ты пишешь о *будущем*, называешь себя Купиной, говоришь, что Аполлон будет преследовать Тебя (?!!), — это насмешка надо мной, скобки, или *реальный путь?*

Откройся, наставь, научи: я не ребенок, чтобы мне всяким словам удивляться и верить.

Вот теперь я скажу о Твоих стихах. Над ними стоит туман несказанного, но они полны «скобок» и двусмысленных умалчиваний, выдаваемых порой за тайны.

Дорогой Саша, прости мне мои слова, обращенные к Тебе от любви моей. Но я говорю Тебе, как облеченный ответственностью за чистоту одной Тайны, которую Ты предаешь или собираешься предать. Я Тебя предостерегаю — куда Ты идешь? Опомнись! Или брось, забудь — *Тайну*. Нельзя быть одновременно и с Богом и с Чёртом. Да помогут Тебе силы. Прости за прямоту. Но сейчас ничто не мешает мне *сказать*, ибо я —

властный[4].

---

[1] Ответ на п. 116. Помета Блока синим карандашом: «13 окт. 05».

[2] Имеются в виду слова Лизы Хохлаковой об истязаемом и распинаемом мальчике («Братья Карамазовы», ч. 4, кн. 11, гл. III): «Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 15. С. 24).

[3] См. п. 108 (с. 225—226 наст. изд.).

[4] Ср. позднейшие воспоминания Белого о Блоке в связи с этим письмом: «По приезде в Москву я получил пук его темноватых, последних стихов: невпрочет. Я послал свое мнение о них; в ответ на него — Л. Д. уведомила, что она оскорбилась <...>» (*Между двух революций*. С. 34). В упомянутом письме от 27 октября 1905 г. Л. Д. Блок заявляла Белому: «Борис Николаевич, я не хочу получать Ваших писем, до тех пор, пока Вы не искупите своей лжи Вашего письма к Саше. Вы забыли, что я — с ним; погибнет он — погибну и я; а если спасусь, то — им, и только им. Поймите, что тон превосходства, с которым Вы к нему обращаетесь, для меня невыносим. Пока Вы его не искупите, я не верну Вам моего расположения» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 231). Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой (18 октября 1905 г.) о реакции Блока и его близких на письмо Белого: «...печальная деточка еще не оправился от Бориного письма <...> Боря только что сильно проштрафился, написав Сашуре ругательное послание с высоты своей пророческой власти. Все, т. е. Аля и Люба, возмущены. Одна детка написал смиренное письмо и только огорчился. <...> Каков мальчишка? Люба назвала его свиньей, но избранить письменно не решилась <...>. Что же сделал Боря и в особенности Сережа? Они обливались кровью? Какая чепуха! Уж Сашура-то скорее же обливался, но он не толкует о своих страданиях и ощущеньицах, как делают блоковцы. И Сережа и Боря в этом отношении страшно нецеломудренны» (Там же. С. 610—611). См. также: Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925. С. 81.

118. БЛОК – БЕЛОМУ

<13 октября 1905. Петербург>[1]

Милый Боря.

Сегодня я получил Твое письмо — такое, какого я ждал. Это последнее (т. е., что ждал) делает мне честь. Я даже хотел в прошлом письме спросить Тебя, отчего Ты мне этого до сих пор не сказал. Отчего Ты спрашиваешь о том, буду ли сердиться, и объясняешь, что Ты ответственен? Я тоже не ребенок, чтобы не отказаться от той словесной мерзости, которой я угостил Тебя в прошлом письме. Целый день сегодня мне было очень больно, но совсем не обидно. Все, что Ты говоришь, я знаю за собой (оттого и больно), — *кроме одного:* я не «наслаждался эстетически Твоими и Сережиными страданиями», и это место Твоего письма совсем не ранило меня. Это я твердо говорю. Теперь отвечу на остальные вопросы и слова Твои, которые я на этот раз понял лучше, чем обыкновенно: «Приготовление души к будущему», «заслонка души» и даже Купина (под которой я разумел, как вспоминаю, вовсе не символ Богоматери, а обыкновеннейший терновый куст, который растет себе среди поля и горит) — *все это* — речи идиотски бессвязные, понахватанные чёрт их знает откуда. Оправдываюсь я в этом (хотя и не нужно, потому что все равно глупо) только тем, что с первых же моих писем к Тебе помню за собой такие витиеватые нагромождения. Эти нагромождения приходили совсем не для литературных завитков и не «просто так», а очень мучительно, — и были мне всегда противны (помню, что очень давно я совершенно в этом роде писал о числе 4)[2], и, несмотря на это, я их продолжал аккуратно писать до последнего письма. Я вообще никогда (заметь, *никогда,* даже когда писал *все* стихи о Прекрасной Даме) не умел выражать точно своих переживаний, да у меня никогда и не бывало переживаний, за этим словом для меня ничего не стоит. А просто, беспутную и прекрасную вел жизнь, которую теперь вести перестал (и не хочу, и не нужно совсем), а, перестав, и понимать многого не могу. Отчего Ты думаешь, что я мистик? Я не мистик, а всегда был хулиганом, я думаю. Для меня и место-то, мож<ет> быть, совсем не с Тобой, Провидцем и знающим пути, а с Максимкой Горьким, который ничего не знает, или с декадентами, кот<орые> тоже ничего не знают.

Я пишу так, Ты знаешь, отчего. Но разница между декад<ентами> и мной есть. Например, мне декаденты противны все больше и больше. Затем, — они не знают, а я «спокойно знаю» (и это бывает, правда), и притом «что», а не «как». Объяснить этого никогда не смогу и даже на словах склонен отречься от этого, когда заставят объяснять. Если Ты будешь искать кощунств в моих словах, то найдешь их слишком много, и, мож<ет> быть, достаточно тяжелых, чтобы хватить ими меня по голове и убить. Мои мозги элементарны до того, что не выдерживают и более слабых давлений, чем Твои. Раз поймут много, а раз — ничего. Нет конца моей недисциплинированности в том, что причастно глубине, — а также «неподвижности», как Ты ее называешь. Но отсутствие дисциплины хуже, чем неподвижность.

Все это действительно так и надлежит студенту Имп<ераторского> СПб. университета и сотруднику «Вопр<осов> Жизни». Но я не играю мистикой, а играю словами, очень нудно и скверно. Относит<ельно> мистики я знаю, что она *реальна* и страшна, и что накажет меня. Но как наказать меня больше, чем я наказан, и что отнять у меня, когда я нищ? Я не понимаю, почему Ты считаешь меня богатым или «кейфующим за чашкой чая»? Я знаю, что Тебе отвратительна моя косность, —

во мне ее много. Когда Ты командовал «про-сияй!», и в подобных случаях я спрашивал, не нужно ли командовать это мне? А ты сказал раз, что мне не нужно экзамена. Но я совсем не поверил этому: мне экзамен нужен строгий, но я ни за что не пойду на него, потому что я лентяй. Как Ты думал, что я «работаю во имя долга перед Прекрасной Дамой»? Я, который никогда не умел и не умею организовать в себе что-нибудь, который имел в самый разгар стихов о Прекрасной Даме отчаянную склонность к «психологической мистике» (только что теперь не люблю ее)?!

Милый Боря. Если хочешь меня вычеркнуть — вычеркни. В этом пункте я маревом оправданий не занавешусь. Мож<ет> быть, меня давно надо вычеркнуть. Часто развертывается во мне огромный нуль. Но что мне делать, если бывает весело? Я далек от всяких ломаний и, представь себе, я до сих пор думаю, что я чист, если и не целомудрен и кощунствен. Я чувствую Твою любовь и Твой гнев, и они справедливы.

Ты спрашиваешь, отчего я не возражал? Я теперь не помню, на что я должен был возражать и что проклясть, вероятно, я не понимал и не умел возразить. Но пусть я должен был возражать и проклинать — я этого не делал до сих пор никогда, а буду ли делать, не знаю. Говорить мне, что я Тебя «соблазняю пустотой в скобках», напоминать, что Ты искушен теорией познания, и утверждать, что я «смеюсь» над Тобой, — значит меня не знать. Что у Тебя за метод? Ты ополчаешься на меня письменно, я так защищаться не стану. Не хочу, и не знаю слов, все забыл. Я думал, что Ты и представляешь меня бессловесным и не осуждаешь за это, но Тебе теперь хочется моих словесных признаний. Говорю *теперь,* потому что я *всегда* был бессловесным, и Ты не жаловался на это. Если пришло время меня за это уничтожить — уничтожь. Если думаешь, что меня можно научить, — научи, ведь я верю Тебе неизменно.

Чему мне-то учить *Тебя*? Я думаю, что могу быть достойным Тебя противником, когда бываю настоящим — собой. Все это пишет Тебе городская подделка под меня, именно — не «преображенная». А хоть Ты и говоришь о необходимости реальных «путей» для Преображения, я думаю, что или, правда, иногда беспутно преображаюсь, или у меня и пути есть, только указать их не могу ни одного.

Больнее всего, конечно, когда Ты упрекаешь в насмешке. Никто во мне не смеется тогда, когда Ты чувствуешь насмешку (или, просто, говоришь о ней?), но скорее — переворачивает острые камни.

Если любишь, поверь этому, а наказание я принимаю. Пожалуйста, не выуживай Аполлонов и не задавай о них вопросов, Ты можешь знать, где тут «скобки» (т. е. пустота, она же — боль), а где «реальный путь» (т. е. радость, которую я испытываю и не умею выразить).

О стихах я во всем согласен. Знаю это, редко признаюсь себе. Но неужели не самое большое кощунство — «двусмысленные умалчиванья, выдаваемые порой за тайны»? А на них Ты не нападаешь.

В заключение, я Тебе скажу, что Твое письмо мне близко и драгоценно. Если еще напишешь (ради Бога, все *прямо*), будет также драгоценно. В меня теперь Твои слова могут запасть еще больше, чем прежде, потому что теперь я таких слов никому, *кроме Тебя*, не позволю. Я очень многих ненавижу, а многих терплю, пока они говорят только приятное.

Если я предатель — прокляни меня и обо мне забудь. И скорей, чтобы я не мешал Твоему пути. Если видишь возможность, научи. Я знаю, что Ты — властный.

Твой Саша

Все, что я писал, во многом — не то. Мне важнее сказать Тебе, наконец: о Тебе, Боря, как о Времени, никто не плачет, кроме меня. Если бы Ты был распят, я бы стоял у креста и смотрел бы на красную луну в черных небесах над Твоей головой. И это несмотря на то, что «первый подвиг» совершал я в непреодолимой тоске, как будто предчувствуя, что за первым будет (*должен* быть) второй и третий — преодоление дракона и смерти[3]. Второго подвига я, мож<ет> быть, никогда не свершу. Но буду стоять у Твоего креста, хоть душа тогда будет совсем испепеленной.

Независимо от этого, ответь: распинаю ли я Тебя? Существую ли я? Ведь

Предо мною куст терновый
Огнем горел и *не сгорал*.[4]

Я помню об этом не из стихоплетства. Так сделай так, чтобы я чувствовал еще большую боль, или — совсем никакой боли.

* * *

Вот он Христос — в цепях и розах —
За решеткой моей тюрьмы.
Вот Агнец Кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.

В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо,
Но Лик и синее небо — одно.

Единый Светлый — немного грустный, —
За ним восходит хлебный злак,
На пригорке лежит огород капустный,
И березки и елки бегут в овраг.

И все так близко и так далеко,
Что, стоя рядом, достичь нельзя,
И не постигнешь синего ока,
Пока не станешь сам, как стезя.

Пока такой же нищий не будешь,
Не ляжешь, истоптан, в глухой овраг,
Обо всем не забудешь, и всего не разлюбишь,
И не поблекнешь, как мертвый злак[5].

---

[1] Ответ на п. 117.

[2] См. п. 9.

[3] Обыгрывается образная структура стихотворения Вл. Соловьева «Три подвига» («Когда резцу послушный камень...», 1882).

[4] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Неопалимая Купина» («Я раб греха. Во гневе яром...», 1891).

[5] Датируется 10 октября 1905 г.; впервые опубликовано в «Весах» (1906. № 5. С. 13—14) в составе цикла «Тишина цветет».

---

119. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<30 октября 1905. Москва>[1]

Милый, милый,

Что мне сказать на Твое письмо? Читал. И читал, и опять перечитывал. Значит, было у нас недоразумение в понимании друг друга. Ты не виноват, но пойми, что не виноват и я тоже. Ты писал о Прекрасной Даме. Я ощущал всегда Ее веяние. Я хотел и *пути*, соответствующего веянию. Я не знал определенно, есть ли люди, идущие путем, предносящимся взору моему. Я слишком уверовал в выражения Твоих строчек и полагал, что Ты можешь и пути знать. Потом, при личном знакомстве с Тобой, я *понял до дна*, почему мог бы Ты (если не знаешь) вести по путям Тебе известным, и я хотел *проверить*, то ли предносится в будущем взору моему, что Ты можешь знать. Вот основание к тону всех моих отношений к Тебе и Твоей поэзии. Ведь стихи Твои сыграли Бог весть сколько в моей жизни. Вот почему тон вопросительный моего письма, и если была в этом тоне стремительность (увы — часто нетактичная и *всегда* мне свойственная) — прости мне. Дело в том, что всегда (или по крайней мере в лучшие моменты жизни) не только испытывать веяние Тайны хотел я, но и всю жизнь свою *реально* положить на престол Тайны; и когда что-то мешало мне до конца раскрыть душу Тайне, я терзал *нарочно* свою душу.

Вот и все. Больше ничего не умею ответить Тебе. Еще я скажу только одно: одно время я во имя *Путей*, мне предносящихся, хотел выйти к людям и в мир моих *видений* заключить мир предметов и отношений (даже внешних, светских, позитивных и т. д.). *Идя навстречу*, я неизменно терял ядро своей души и обессиливал в праздных судорогах психологии; но на все это я смотрел как на средство во имя Цели.

Кажется, теперь я ухожу в себя для себя.

И если я в моих (по всей вероятности, ложных) попытках реально найти одно мерило для Истины, Добра и Красоты случайно задевал других людей словом, делом и чувством, я приношу мое извинение.

Люблю Тебя неизменно, сильной, испытанной любовью.

Если бы ушел *и от Тебя* в одиночество, и там бы всегда *любил Тебя.*

Вот все, милый, что я хотел Тебе сказать.

Прости. Прощай. Не забывай меня.

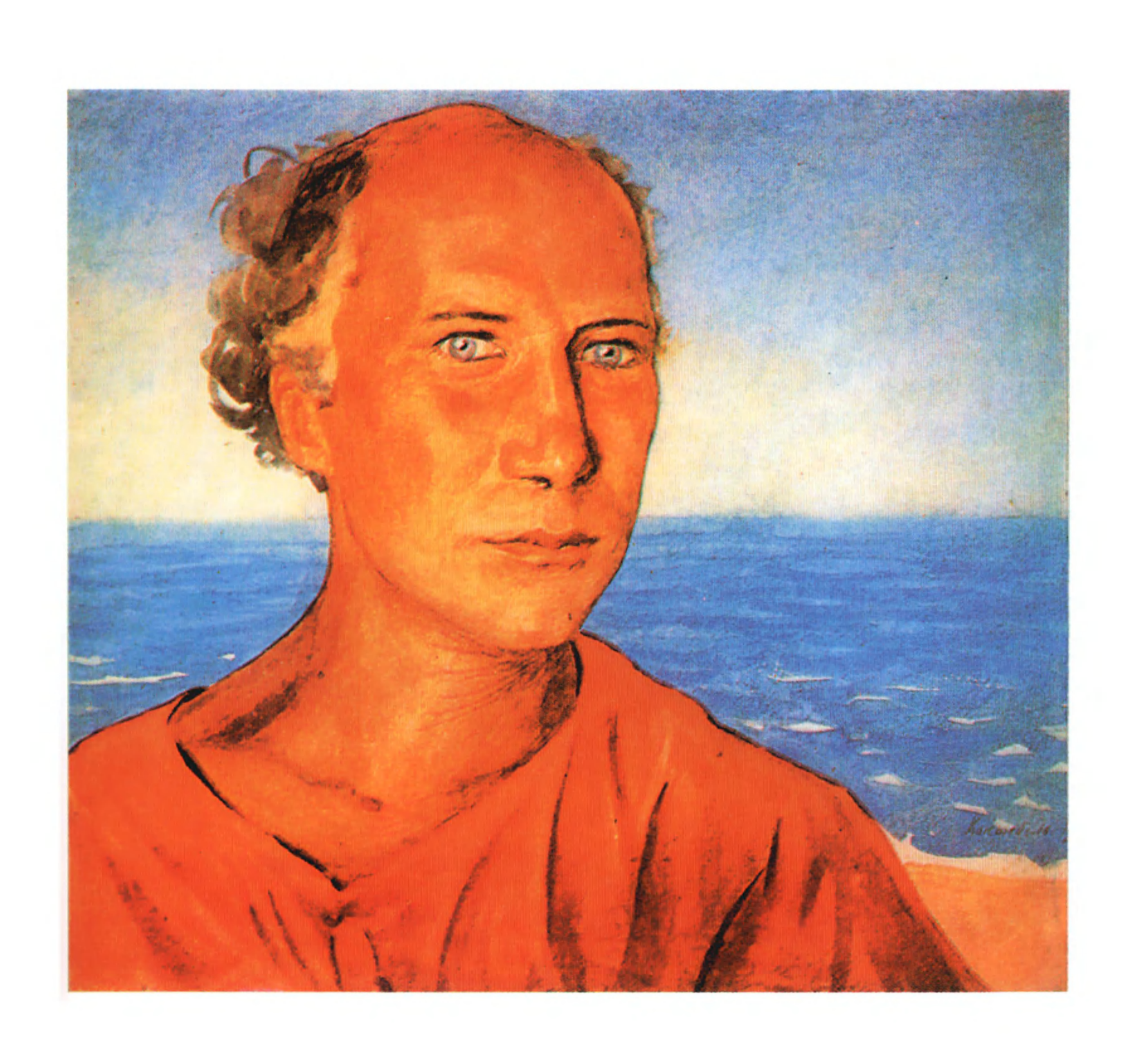
Твой Боря

1905* года. 30 октября.

P. S. Податель сего письма Лев Львович Кобылинский. Я люблю его за Вечность, которая в сердце его. Мне хотелось бы, чтобы письмо мое к Тебе передал

---

* В автографе описка: 1906.

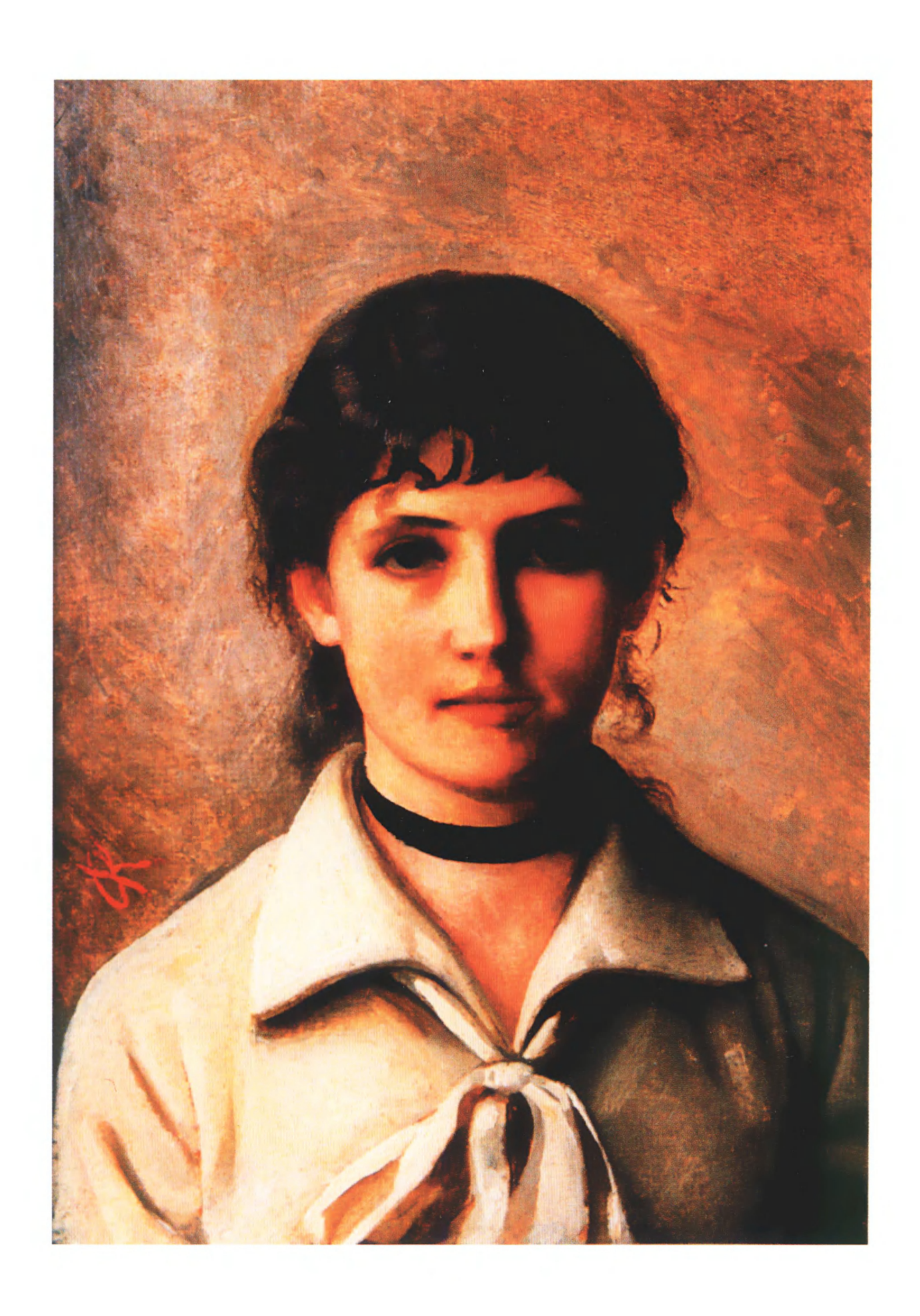


Андрей Белый
Портрет работы А.П. Остроумовой-Лебедевой. 1924

А.Д. Бугаева,
мать писателя. Около 1890

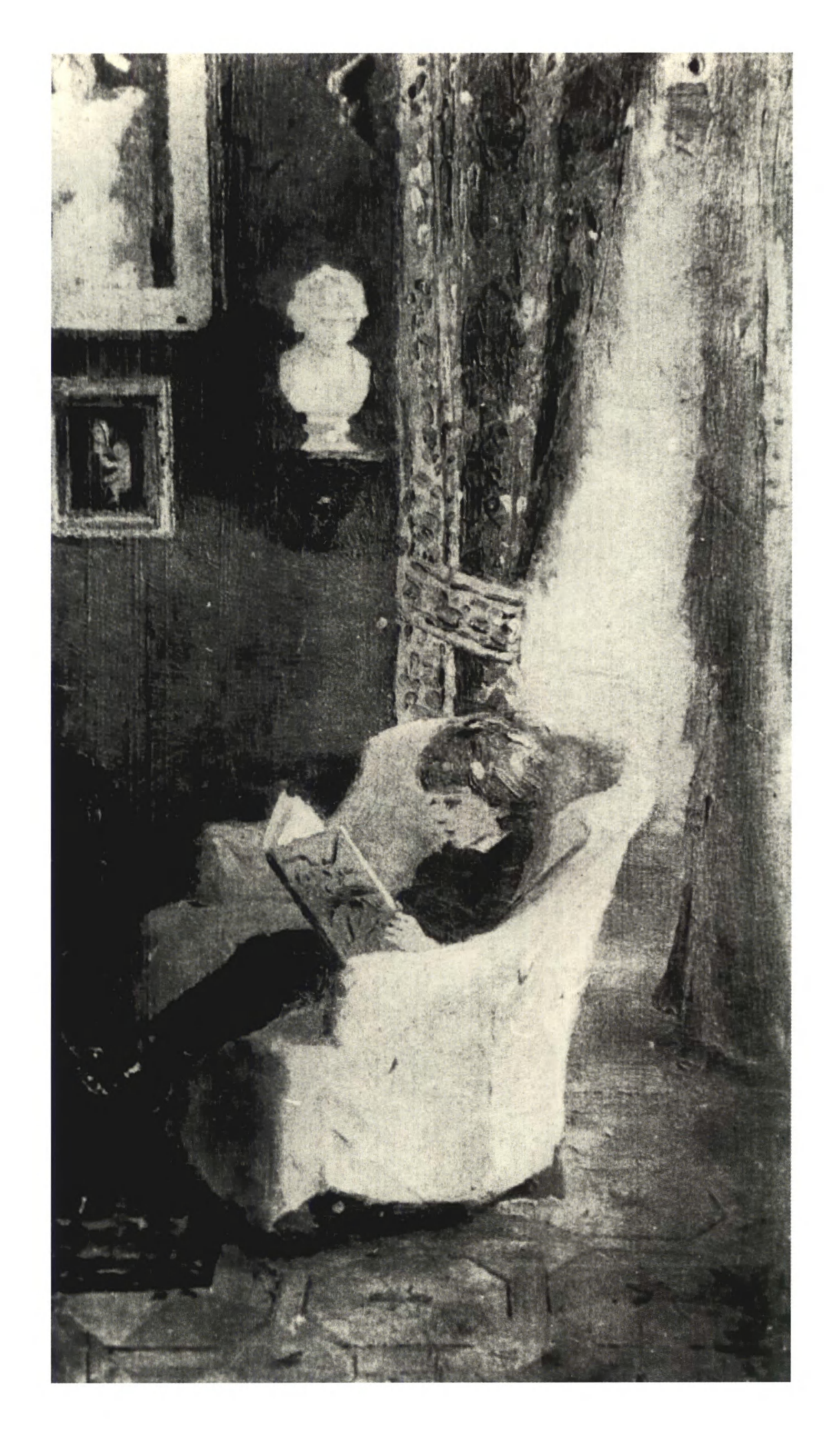
Н.В. Бугаев,
отец писателя. Около 1890

М.С. Соловьев. 1903

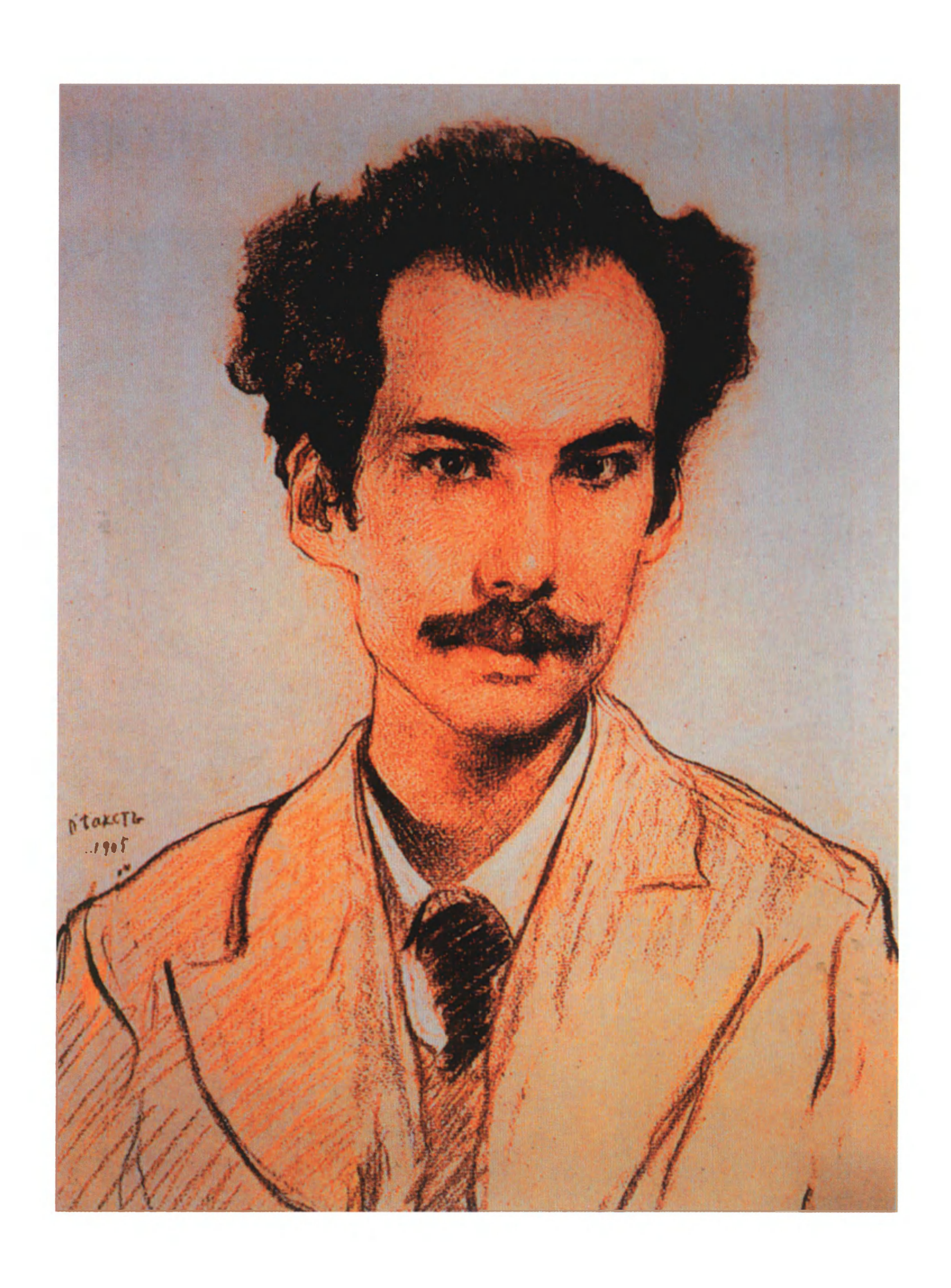


О.М. Соловьева (Коваленская)
Автопортрет. 1880-е годы
Гос. музей-заповедник Александра Блока (Шахматово)

М.А. Оленина-д'Альгейм. 1900-е годы



Сергей Соловьев
Акварель О.М. Соловьевой. 1890-е годы



Андрей Белый
Портрет работы Л.С. Бакста. 1905

М.К. Морозова
Портрет работы неизвестного художника. 1890-е годы
Музей-квартира Андрея Белого в Москве

Ася Тургенева и Андрей Белый. 1912
Музей-квартира Андрея Белого

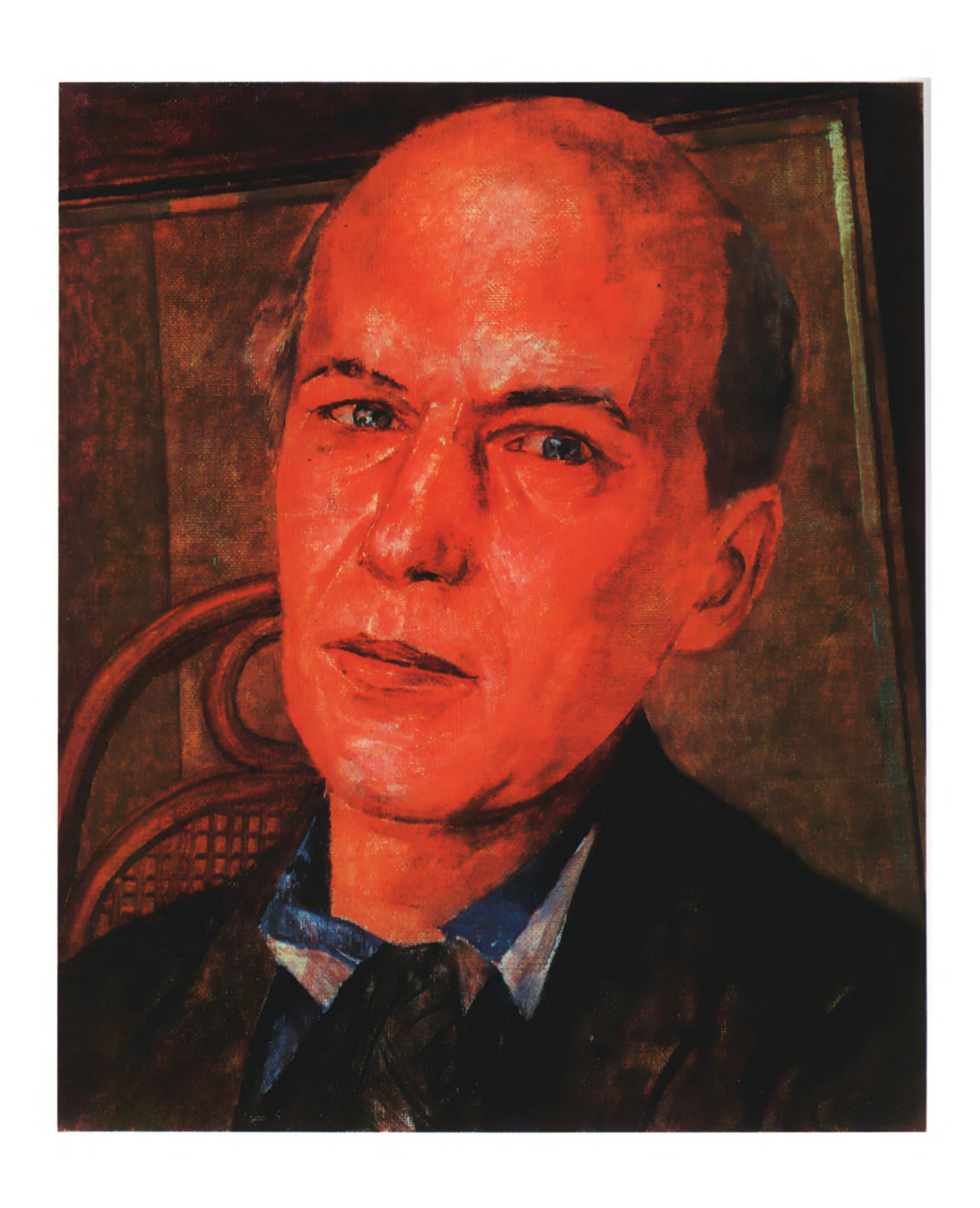
Сестры Тургеневы — Наталья, Татьяна и Анна (Ася). 1905
Музей-квартира Андрея Белого

Братья Э.К. и Н.К. Метнеры. 1896

Р. Штайнер. 1910-е годы

К.Н. Бугаева. 1900-е годы
Публикуется впервые. Музей-квартира Андрея Белого

Андрей Белый. Из серий «Духи форм» и «Духи движения»
Рисунки к медитации. Середина 1910-х годов
Музей-квартира Андрея Белого



Андрей Белый
Портрет работы К.С. Петрова-Водкина. 1932

именно он. Пользуясь случаем, что он едет в Петербург, я просил его передать письмо[2].

---

[1] Ответ на п. 118. Помета Блока синим карандашом: «3 ноября 05».

[2] Личная встреча Л. Л. Кобылинского (Эллиса) с Блоком тогда не состоялась (см. п. 120).

---

120. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<1 декабря 1905. Петербург>[1]

Милый Саша,

не знаю, получил ли Ты мое письмо[2], написанное к Тебе в ответ на Твое длинное. Я послал его в Петербург с товарищем, а он передал его с посыльным.

Хочу *просто* обнять и расцеловать Тебя. Люблю Тебя, милый.

НО

пока не увижу Тебя вне Твоего дома, не могу быть у Тебя, не могу Тебя видеть. Вообще, я могу или ясно улыбаться, быть снегом, или быть угрюмым.

Не хочу Тебя видеть, когда душа угрюма. Хочу Тебя видеть, когда душа ясна, потому что ясно люблю Тебя, милый.

Непременно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов (на Невском. Буду в главном зале).

Будь, милый.

Если бы Любовь Дмитриевна ничего не имела против меня, мне было бы радостно и ее видеть[3].

Мой глубокий привет Александре Андреевне.

Остаюсь любящий Тебя

Боря

P. S. Если же у Тебя в душе есть хотя бы малейшее недоверие к ясности моей души и это препятствует непосредственному чувству Твоему мне просто улыбнуться без слов и рассуждений, *не приходи*.

Я пишу это совсем сериозно. Хочу Тебя видеть в ясности или никак: Ты ведь так дорог мне.

P. S. Пока я невидим в Петербурге. Завтра намерен объявиться. До свидания или несвидания с Тобой и Любовью Дмитриевной не хочу никого видеть и слышать[4].

---

[1] Датируется на основании пометы Блока графитным карандашом: «1 декабря 1905». Белый прибыл в Петербург утром этого дня.

[2] Имеется в виду п. 119.

[3] Встречу в этот день с Блоком и Л. Д. Блок в ресторане К. П. Палкина (Невский пр., д. 47) Белый описал в мемуарах (*О Блоке.* С. 187—188; *Между двух революций.* С. 54).

[4] Ср. позднейшую характеристику этого письма в «Воспоминаниях о Блоке»: «...написал я письмо Блоку; писал: расхожденье меж нами, — невнятица; ее следует прояснить не письмом, а свиданием; если расходимся, пусть же решение разойтись будет нами естественно решено; если то, что случилось, — случайность, тогда ликвидируем ссору» (*О Блоке.* С. 187).

---

121. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Первая половина декабря 1905. Петербург>[1]

Саша,

брат мой пред лицом Вечности. У меня не было *друга-брата*. Будь им.

Одиноко в одних снах мы увидели *зори.* И зори снов в закат вечный соткались.

Когда я получил письмо Твое[2], стихи Твои, Тебя не зная, я сказал себе: *«Да, я знаю, я знаю».* Я знал Тебя всегда.

Когда мы встретились, я встретил Тебя иным, не снов моих, полюбил Тебя, но еще не так, как надо. Больше любил стихи, меньше Тебя. По-разному любил: Тебя по-одному, стихи по-другому.

Всегда хотел в жизни Тебя в стихах Твоих любить.

Понял все. Т е п е р ь понял.

Узнал в Тебе завещанного брата мне.

Будь, будь всегда образом, заплетенным зорей, милый брат мой, из тумана ближе лицо свое покажи мне.

Вижу, лик Твой близко склонился ко мне, а плечи уж тонут в гаснущем блеске вечера. *Мой вечерний брат*: воистину Ты брат — всегда им будешь для меня, пока *мы все не канем* — не пройдем.

Милый, милый, так страшно, так горестно в одиночестве: братское чувство ко мне не затеняй, верь:

я еще раз — р а з н а в с е г д а, В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ уверовал в Тебя во всю жизнь Твою, в правду Твою, в мужество Твое.

Вижу свет непомерный: плывет облако, белое облако — когда ни ночь, ни день, а все так угасающе прекрасно: лиловые, розовые пятна вечера сетью зыбкой покрыли облако.

Вижу образ Вечности, застывший на облаке. И Ты образом, заплетенным зорей, милый брат, — Ты склоненный у ног Вечности.

И плывет облако.

И я, доселе застывший в эфирах голубых, с поднятыми к небу очами, я увидел проплывающее облако, узнал Вечность, узнал и Тебя, озаренного Вечностью, взор свой отвел от бездонной синевы, тихо тронулся за облаком, когда облако было уже вдали. С тех пор, если Ты обведешь взором горизонт, Ты увидишь, как я летаю вдоль горизонта, сияя восторгом пред облаком, пред Вечностью, пред склоненным — и восторг мой родит быстрых, белых коней. Я собираю одиноких летунов, и на белых конях мы проносимся вдоль горизонта, по горизонту чертим круги вокруг тихо плывущего облака. И не надо мне больше ничего, кроме облака. Я страж дозорный, стою на горизонте, трубу золотую приложив к устам, извещаю мир:

«Летит облако верное и истинное во веки веков». Размахиваю мечом, вижу врагов, посылаю на них свои ясные отряды. Когда же я, утомлен битвой, прилетаю и сажусь на край плывущего облака, братски целую Тебя, молюсь, склоняюсь у ног Вечности...

Чтоб потом вновь сорваться на горизонт и с краю горизонта трубить и блистать зорницами.

Я белый всадник, посланный Кем-то, чтоб исполнить веление, но по дороге встретивший *облако*, и последовавший за ним. Для облака я, быть может, изменил Пославшему меня, но *второй* раз не буду изменником.

Буду летать вокруг.

Так будет всегда, до скончания века — в жизни, и после жизни, и еще потом, и потом...

Милый, брат ли Ты мой, брат ли, посланный мне (у меня не было брата), — *будь, будь, будь!*

Да или *нет*?

---

[1] Помета Блока графитным карандашом: «СПб., дек. 1905».

[2] Подразумевается, видимо, п. 1.

---

122. БЛОК – БЕЛОМУ

<Первая половина декабря 1905. Петербург>[1]

Милый Боря.

Почти ничего не могу сказать Тебе на Твое письмо. Все *так*, как Ты пишешь; я был, есть и буду Твоим братом. Первое, что я узнал о Тебе:

Спит кипарис онемевший.
Знаешь ли, ночь на исходе[2].

Это было осенью, когда уезжали из Шахматова мы с мамой, — и стало необыкновенно легко и радостно[3].

Пусть ничто нас не обманет, потому что мы такие, как есть. Пусть нам обоим будет просто и хорошо вечно любить друг друга. Крепко Тебя обнимаю.

Саша

---

[1] Ответ на п. 121; датируется по связи с ним.

[2] Цитата из стихотворения Белого «Знаю» («Пусть на рассвете туманно...», 1901; см.: *Золото в лазури*. С. 226); текст его был приведен в письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 3 сентября 1901 г., в котором сообщалось о «необыкновенном, трудно-описуемом, удивительном, громадном впечатлении», которое произвели на Б. Бугаева стихи Бло-

ка; приведенное стихотворение, согласно сообщению О. М. Соловьевой, «Боря сейчас же написал, по поводу Сашиных стихов» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 174—175). См. также: Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925. С. 76—78.

[3] Ср. сообщение в письме Блока к А. В. Гиппиусу от 7 сентября 1901 г. (датировка — по почтовому штемпелю, ошибочно датировано Блоком: 8 сентября): «Приехал только сегодня из Шахматова, чувствую себя прекрасно <...>» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 428; Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975. С. 144).

---

123. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не ранее 20 декабря 1905. Москва (?)>[1]

Саша,

Ты близкий мне навсегда.

Спокойный....

Звенящая грусть опоясала Тебя.

Я ее слышу.

Мне хочется часто умалиться в своем, чтоб мои страны не мешали мне все *о Тебе* безраздельно принять в свою душу.

Прости меня, если до последнего времени я Тебя не умел понимать.

Боже, как я раскаиваюсь.

Я все больше, все больше, все глубже Тебя люблю.

Мне странно писать это, разве прежде я не любил Тебя?

Любил всегда, но не чувствовал такой близости, как теперь. Усталый, разбитый, полуживой, я теперь хочу сидеть рядом с Тобою —

без слов, без мыслей, без движений.

Я теперь беззащитный, безвольный, ослепший от мучительных переживаний осени.

Бога ради, не переставай меня любить.

Я теперь в положении нищего, отдавшего свои богатства, — обнищавшего в тоске так легко незаметно отвергнуть. Тоска меня сокрушила — тоска желтой осени, деревья облетали, листья кружились, облаков «меркли края»[2].

Милый, брат мой, не покидай, не покидай, когда я, нищий, — отдыхаю.

Боря

---

[1] Письмо отправлено, вероятно из Москвы, куда Белый возвратился сразу после подавления декабрьского вооруженного восстания, т. е. после 20 декабря. См.: *О Блоке.* С. 201; *Между двух революций.* С. 66—67.

[2] Образ восходит к строке из элегии В. А. Жуковского «Вечер» («Ручей, виющийся по светлому песку...», 1806): «Уж вечер... облаков померкнули края».

---

124. БЛОК – БЕЛОМУ

26 дек<абря> <1905. Петербург>

Милый Боря.

Родной мой и близкий брат, мы с Тобой чудесно близки, и некуда друг от друга удаляться, и одинаково на нас падает белый мягкий снег, и бледное лиловое небо над нами. Это бывает на лесной поляне у железной дороги, а на краю лилового неба зеленая искра семафора между двух еловых стен[1]. Там я провожу многие дни и наблюдаю смену времен года. Там ничто не изменится, и я не изменюсь тоже, все буду бродить там и наблюдать. Я Тебя полюбил навсегда спокойной и уверенной любовью, самой нежной, неотступной; и полюбил все, что Ты любишь, и никогда Тебя не покину и не забуду.

Твой Саша

---

[1] Этот образный ряд нашел отражение в стихотворении Блока «Милый брат! Завечерело...». (13 января 1906 г.). См. п. 136.

---

125. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<26 или 27 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый,

нет, как я счастлив, как счастлив, что наконец понял в Тебе *Тебя*.

Неизгладимо, вечно я — Твой. Если Ты меня не отвергнешь от Души своей, я Тебя никогда не покину в мыслях, чувствах, переживаниях: всегда буду с *Тобой*, мой *истинный брат*.

Саша, милый, нет, не забуду Твой смех, он все мне открыл о Тебе, и *это все* — сонная легкость, сонная тишь. В сонной тиши, на морском берегу я Тебя полюбил, полюбил Тебя на краю земном. И теперь уж больше не забуду.

Пиши мне. Буду ждать Твоего письма.

Я теперь уйду в работу и сонное счастье.

Только это и остается мне.

Милый брат, Ты все во мне понял, я это чувствую, а меня почти никто не понимает, кроме Любови Дмитриевны, Сережи и Мережковских. Как же мне не любить Тебя, не радоваться на Тебя, не улыбаться.

Христос с Тобой.

Боря

P. S. В Москве все унывают, но я залит счастьем. В нашем доме есть раненые и убитые[2]. Сережа в Дедове. Письмо передам[3].

[1] Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «28 дек. 1905».

[2] Жертвы декабрьского вооруженного восстания. См.: *Между двух революций.* С. 67—68.

[3] Если подразумевается письмо Блока к С. М. Соловьеву, то оно либо не сохранилось, либо не выявлено.

126. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<27 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый!

Напиши мне что-нибудь.

Помню, верю, надеюсь, люблю. Ты весь — несказанный, несказанно овеянный. Не забывай меня.

Мы близки друг другу. Всегда так было. Но *всегда* я немного тут грезил. А теперь воочию все мне открылось.

Твой Боря

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 28 дек.».

127. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<27 декабря 1905. Москва>[1]

Саша,

я сидел с Владимировым. Пил кофе. Вдруг звякнул звездистый цветочек. Звякнул в стеклянном воздухе. Стекла осыпались. Влага лучезарная хлынула. Волны пошли. Я пустил по волнам к Тебе цветик. Милый, целую Тебя.

Снег.

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1905 — 29 дек.».

128. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<28 или 29 декабря 1905. Москва>[1]

Саша, милый,

Как хорошо было получить от Тебя письмо. Радуюсь. Тихо провожу время. Еще никого не видал в Москве. Сережи нет: не показывается в Москве. Все время сидел с иллюминированными зубами: все зубы болели. Знаешь — электрические лампочки: бессветны. Поверни кран: и засияют. Так у меня засияли болью все зубы. Сидел несколько дней с сиявшим ртом. Ужас.

Милый, хорошо было получить Твое письмо: такое тихое, такое ясное. Ясности, ясности не нужно забывать никогда. Как забудешь, все затуманится. Милый, Ты такой ясный.

Много стал понимать я в Твоей шапке: хорошая шапка. Вижу в ней обет метелей. Серебряные метели будут. Люблю музыку метелей. Ты — метельный. Я не знал, что Ты можешь быть метельным. Еще более полюбил Тебя за это.

Мне, как детям, хочется захлопать в ладоши, засмеяться, обнять и поцеловать Тебя.

Потом долго бегать по улицам, подпевать метелям.

Не забывай меня, милый.

Любящий Тебя

брат Боря

---

[1] Ответ на п. 124. Помета Блока красным карандашом: «30 дек. 1905».

---

129. БЛОК – БЕЛОМУ

30 дек<абря> 1905. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Всегда помню Тебя, радуюсь, и учусь у Тебя. Все, что важно для меня в Петербурге, теперь полно Тобой, смягчено и улегчено. Вчера я встретил Философова, и, несмотря на то, что это было в редакции газеты «Наша Жизнь»[2], он говорил со мной несколько слов так хорошо и нежно, в первый раз, и я увидел, что всякого, кто только захочет открыться, Ты научишь этому. Через Тебя я теперь опять особенно люблю всех Мережковских, которых осенью начинал забывать, и знаю теперь, как это было нехорошо. На моей маме после Твоего отъезда я замечаю все время Твое влияние, она способна радоваться на Тебя, как ни на кого и ни на что в свете. Нечего и говорить обо мне, которому Ты близок и нужен бесконечно и в самом глубоком. Ты знаешь, что я только почти никогда не умею этого выражать, а прежде не всегда был в этом уверен. Теперь я знаю ясно и уже спокойно и просто, как совершившееся твердо, — что Ты первый и единственный, показав-

ший мне, что такое *братское*: что это *не* есть совместное, но истерическое захлебыванье «глубинами», которые быстро мелеют, и не литературное подмигиванье, — а тишина и безмолвная помощь. Мне больно, что я не умею помочь Тебе, а если иногда и помогаю, то бесконечно меньше, чем Ты мне. Но, может быть, поняв эту помогающую тишину, я и научусь помогать. В этом смысле Ты первый, вытащивший меня из самодовления, в котором я вечно пребывал, не нуждаясь в братстве, пока не узнал, что это такое.

Крепко целую Тебя и обнимаю, бесконечно дорогого и любимого. Спасибо. С Новым Годом.

Саша

Милый Боря, пожалуйста, поздравь от меня Твою маму и Сережу. Пожелай им всего самого лучшего.

---

[1] Помета Блока черными чернилами: «№ 2» (отмечен порядковый номер писем, отправленных Белому после его возвращения в Москву в конце декабря 1905 г.).

[2] Петербургская газета либерального направления, издававшаяся в 1904—1906 гг.

---

130. БЛОК – БЕЛОМУ

30 декабря <1905. Петербург>[1]

Милый Боря.

Люба получила 8 писем от Тебя, мама — 1, а я 3[2]; думаю, что почта исправна. Спасибо Тебе, милый, за письмо. Крепко обнимаю, целую Тебя, брат. Я знаю метель. Тогда бывает весело.

Твой Саша

---

[1] Ответ на п. 128. Помета Блока черными чернилами: «№ 3».

[2] Имеются в виду п. 123, 125, 128 (видимо, Блок не учитывает открытки — п. 126, 127) и письмо к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 26 декабря 1905 г. Письма Белого к Л. Д. Блок не сохранились.

---

131. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

31-го ночь. <31 декабря 1905. Москва>[1]

Милый, милый,

Как мне Тебя благодарить за письмо. Оно меня так поразило. «*Да, да — это о том*», хочу я сказать и радостно улыбаюсь. Сегодня весь день был в истеричес-

ком, нервном настроении; хотелось плакать от злости, от тех уколов, которые мне нанесли здесь в Москве. Кроме того: я отправил в *«Весы»* и «Золотое Руно» извещение о том, что за деньги продается душа Андрея Белого, и в ответ тотчас же получил от С. А. Соколова спрос на душу с гарантией приблизительного ежемесячного гонорара за *50—75* рублей. От *«Весов»* еще не успел получить ответ, и потому я продался *«Золотому Руну»*[2]. Буду главным образом работать на *«Руно»* и второстепенно на *«Весы»*.

Милый, милый — и вот получаю Твое письмо и радостно предаюсь мыслям о Тебе. Милый, вчера я сортировал Твои письма и все их перечел, и почувствовал к Тебе такую нежность, такую близость; захлебывался от избытка слов к Тебе, и потому-то не сумел ничего написать. Милый, Ясный — целую Тебя, с «Новым Годом». Счастья ясного, тишины неизреченной, снов несказанных!

Ты обещал мне написать про Твою жизнь. Милый, напиши когда-нибудь. Хочу знать о Тебе — ведь недаром Ты мне брат. Я это сериозно на всю жизнь принимаю...

Любящий Тебя восторженно и тихо

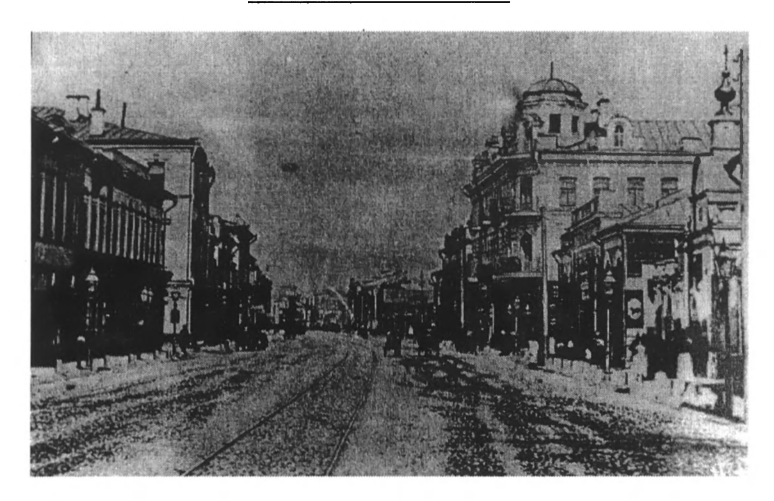
Боря

P. S. Мой привет и любовь, и уважение Александре Андреевне. Ей буду писать скоро.

---

[1] Ответ на п. 129. Помета Блока графитным карандашом: «2 янв. 1906».

[2] Брюсов характеризует этот поступок, совершенный по возвращении из Петербурга в конце декабря 1905 г., в дневниковой записи: «<Белый> написал два тождественных письма — нам, в «Весы», и в «Золотое Руно». Просил обеспечить себе 60 р. в месяц (в «З. Р.» 80). Писал: «Я продавщик — вы покупатели. Я продаю кровь своего сердца». «Во сколько оценят “Весы” (“З. Р.”) крик души Андрея Белого”. Гриф ответил первым. Согласился. Белый *взял* отданные нам стихи, под предлогом поправки их, и передал в “З. Р.”» (РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 16 (1). Л. 38. «Гриф» — С. А. Соколов. Упомянутый цикл стихов Белого «Горемыки» был опубликован в № 1 «Золотого Руна» за 1906 г.).



Москва, Арбат. Начало XX века. Дом (с башенкой) справа, где родился Борис Бугаев (Андрей Белый). *Музей-квартира Андрея Белого в Москве*

1906

132. БЛОК – БЕЛОМУ

3 янв<аря> 1906. <Петербург>*[1]

Милый брат Боря,

я все ближе и ближе к Тебе, все больше понимаю все, что Тебя касается, и все нежней и заветней Тебя люблю. Мне сейчас тоскливо. Только что вернулся с большого собрания, где *Факелы* и *Жупелы* обсуждали свои театры[2]. Там я молчал, как всегда молчу, но выяснилось, что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, «развивая стихотворение *Балаганчик*»[3]. Все это строительство таких высоко культурных людей, как Вяч. Иванов, и высоко предприимчивых, как Георгий Чулков и Мейерхольд, начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить что-то из меня операционным ножичком. Все это Ты знаешь гораздо лучше меня, потому я пишу Тебе, чтобы облегчить душу. Самое ужасное для меня (отчего и тоскую), что не умею быть самостоятельным. Уже я дал всем знакомым бесконечное число очков вперед, и они *вправе* думать, что я всей душой предан мистическому анархизму[4]; я не умею опровергнуть этого и не умею возразить, особенно при публике. Напиши, *надо ли* мне высказаться по отношению к лицам, принимающим меня за бунтаря и мистика? Ты-то знаешь, что это не так. — Вчера я был на минуту у Мережковских. Тата была проста, она скоро придет, а Зин<аида> Ник<олаевна> опять ломалась и литературничала. — Дм<итрия> С<ергеевича> не видел. Шапка его нашлась[5]. — Вчера я написал С. А. Полякову предложение издать мой сборник в «Скорпионе» и сотрудничать в «Весах» (стихами). Не надеюсь на его согласие[6]. Перевожу Байрона — единственная отрада[7]. — Сегодня, из всего многолюдного собрания, мне понравился только Максим Горький[8], простой, кроткий, честный и грустный; я думаю, если бы около него не было такой гадости, как Андреева, он был бы еще лучше. Где-то в нем брезжит и «Максимка», а грусть его происходит во многом оттого, по-моему, что он весь захватан какими-то руками — полицейскими, что ли?

* В автографе описка: «1905».

Я получил вчера Твое письмо, спасибо Тебе, родной мой Боря. Потом я буду писать Тебе о себе много, я хочу, чтоб Ты знал обо мне много. Теперь еще не могу, потому что сам не знаю всего, и буду стараться скорей узнавать — Ты мне бесконечно помог в этом, ужасно важном и для меня самого, деле. Пиши мне, милый, я уже не могу нормально существовать без Твоей поддержки от времени до времени. За эти дни, из приносимого почтальонами и мной из чужих квартир, — настоящими были только Твои письма. Милый мой, брат, обнимаю Тебя. Мне теперь гораздо лучше, стало тихо и опять бережно вокруг.

Твой брат Саша

---

[1] Ответ на п. 131. Помета Блока черными чернилами: «№ 4».

[2] Подразумеваются предполагаемые участники задуманного Г. И. Чулковым, но не осуществленного журнала «Факелы» (свидетельство на его выпуск в свет датировано 21-м декабря 1905 года; см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 372, 387) и журнала художественной сатиры «Жупел», выходившего под редакцией З. И. Гржебина в декабре 1905 — январе 1906 г. (№№ 1—3); все три номера были конфискованы, а издание запрещено (см.: Русская сатирическая периодика 1905—1907 гг. Сводный каталог. Составитель З. А. Покровская. М., 1980. С. 48). С «Факелами» были связаны и проекты нового модернистского театра, которые вынашивал Чулков с опорой на театральные искания В. Э. Мейерхольда, пытавшегося незадолго до того организовать в Москве «Театр-студию» — «*новый* театр мистической драмы» (Чулков Г. Театр-Студия // Вопросы Жизни. 1905. № 9. С. 248). Проект театра «Факелы» остался неосуществленным; идея театра сатиры, замышлявшегося при журнале «Жупел», умерла в зародыше, после запрещения «Жупела» и возбуждения судебного дела против Гржебина, который провел в тюрьме 9 месяцев (см.: Гржебина Е. З. И. Гржебин — издатель (По документам и воспоминаниям его дочери) / Комментарии Г. Ковалевой // Опыты. 1994. № 1. С. 178—181, 184—206). Упоминаемое Блоком собрание писателей и художников состоялось 3 января на «башне» Вяч. Иванова; см. о нем: Карасик З. М. М. Горький и сатирические журналы «Жупел» и «Адская почта» // М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. Материалы, воспоминания, исследования. М., 1957. С. 381—384; Корецкая И. В. Горький и Вячеслав Иванов // Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1989. С. 170—171.

[3] Стихотворение «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик...») датируется июлем 1905 г., ко времени написания письма не было опубликовано (впервые: Блок А. Нечаянная Радость. Второй сборник стихов. М., 1907. С. 27—28) и, возможно, не было известно Белому. Идея создания драматического произведения на основе этого стихотворения принадлежала Чулкову, который свидетельствует: «В конце 1905 года я предложил Александру Александровичу разработать в драматическую сцену тему этого стихотворения. Я просил у него эту вещь для альманаха “Факелы”, который я в то время подготовлял к печати. Блок согласился» (Чулков Г. Из истории «Балаганчика» // Культура театра. 1921. № 7/8. С. 21).

[4] Первый опыт обоснования идеи «мистического анархизма» был предпринят Г. Чулковым в статье «О мистическом анархизме», опубликованной в «Вопросах Жизни» (1905. № 7).

[5] Шапка Д. С. Мережковского затерялась во время обыска, учиненного полицией в одно из собраний на «башне» Вяч. Иванова, в ночь с 28 на 29 декабря 1905 г. См. хроникальную заметку под рубрикой «Вести отовсюду» в журнале «Золотое Руно» (1906. № 1. С. 14), а также: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 236; Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 76—79, 294—295 (комментарий Р. Тименчика); Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год. Л., 1979. С. 129 (воспоминания Конст. Эрберга). «Новогоднее письмо к Витте» Мережковского под названием «Куда девалась моя шапка?», содержавшее первый печатный отклик на это событие, было опубликовано в газете «Народное Хозяйство» (1906. № 15, 1 января).

[6] Письма Блока к С. А. Полякову и Полякова к Блоку не выявлены. Реакция руководителей издательства «Скорпион» на предложение Блока была положительной (см. п. 142).

[7] Блок переводил стихотворения Байрона по заказу С. А. Венгерова, редактора Полного собрания сочинений английского поэта; переводы Блока были опубликованы в т. III этого

издания (СПб., изд. Брокгауз-Ефрон, 1906). Подробнее см.: Из неопубликованных писем А. Блока к С. А. Венгерову (О переводах Блока из Байрона и «Очерке литературы о Грибоедове») / Публикация Н. Т. Панченко // Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 333—340.

[8] М. Горький, участвовавший в собрании на «башне» Вяч. Иванова, был главным инициатором сатирического театра при «Жупеле» (см.: Карасик З. М. М. Горький и сатирические журналы «Жупел» и «Адская Почта». С. 384); он же в письме к Е. П. Пешковой и М. А. Пешкову от 6/19 января 1906 г. сообщал, что принимает в «Жупеле» «весьма близкое участие» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма. В 24 т. М., 1999. Т. 5. С. 127).

---

133. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

6-го января <1906. Москва>[1]

Дорогой, милый брат,

пишу Тебе, единственному. Хочу сказать что-то нежное, нежное, а вместо этого что-то сжимает горло: милый, как я понимаю грусть Твою и оставленность Твою, когда *они* хотят операционным ножечком выскоблить из души *«им»* нужное. Саша, скажу Тебе тайну: я ее давно, давно понял: все они — пауки, высасывают соки из души, я их всех боюсь, не верю им: верю простым милым людям, или людям, преданным науке и литературе, которым нет времени быть высоко предприимчивыми. Высоко культурные, предприимчивые люди — *пауки или паразиты.*

Но, зная *их ужас, зная, на что идешь,* я бы позволил им собой распоряжаться. *Зная, что они такое, становится легче:* они не проведут, по крайней мере.

Их надо преодолеть изнутри, а не убегать от них извне. Вот все, что я могу сказать Тебе о культурной предприимчивости.

Милый, мне жаль Тебя, потому что мне жаль себя — жаль нас, обреченных на паучьи наклонности окружающей литературной среды.

Я продался: к 10-ому должен хоть треснуть, а представить фантастический рассказ, к 20-му цикл Сомовских стихов[2] и длинную статью[3] и т. д., и т. д. Чуть ли не плачу от жалости к себе и к Тебе. Милый, люблю Тебя, — хочется тихо, тихо закрыть руками твои глаза, чтобы Ты заснул, уплыл в страну — отдохнул. Мы все отдохнем: *«Мы услышим ангелов, мы увидим небо в алмазах»*... (Чехов)[4].

Христос с Тобой, мой брат. Будь весел[5].

Боря

---

[1] Ответ на п. 132. Авторская нумерация письма: «№ 4». Помета Блока красным карандашом: «7 янв. 1906».

[2] Оба обязательства, видимо, не были выполнены. Под «сомовскими стихами» Белый, определенно, подразумевает какие-то — вероятно, ненаписанные — новые произведения, развивающие тематику и стилистику стихотворений, которыми открывается раздел «Прежде и теперь» в его книге «Золото в лазури».

[3] Возможно, подразумевается статья «Мировая ектения (По поводу “Трилогии” Мережковского)», опубликованная в «Золотом Руне» (1906. № 3. С. 72—83).

[4] Слова из заключительного монолога Сони в пьесе «Дядя Ваня» (1896). См.: Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем. В 30 т. Соч. В 18 т. М., 1978. Т. 13. С. 116.

[5] Эта фраза дословно приведена Блоком в стихотворении «Милый брат! Завечерело...» (п. 136).

---

134. БЛОК – БЕЛОМУ

8 янв<аря> <1906. Петербург>[1]

Милый брат Боря.

Твое письмо (4-ое) получил вчера, оно меня успокоило и утешило. Когда Ты со мной, мне мягко и нежно и хорошо жить. Сейчас немного беспокоюсь: завтра 9 января[2], до сих пор все было спокойно, как в те дни, когда Ты был у нас. Была мокрая метель. Я шел по набережной и по мосту в тихую ночь и сгребал толстый снег с перил полверсты, потом отряхал со стриженных кустов.

Твое письмо пришло как раз тогда, когда я вернулся из долгих и томительных скитаний, и понимал о них все, как Ты пишешь. — Сегодня днем была Тата. Было хорошо и совсем просто. Она будет ходить рисовать меня[3], а потом, может быть, Любу.

Ты, Боря, не думай, что «продался». Продавшие себя не такие, как Ты. Ты — самый дорогой и самый нужный. Люблю Тебя и обнимаю крепко. Я буду стараться делать так, как Ты пишешь: преодолевать изнутри, а не убегать извне. Так совесть будет чище и будет особенно хорошо и легко одному думать и смотреть на снег.

Твой брат Саша

---

[1] Ответ на п. 133. Помета Блока черными чернилами: «№ 5».

[2] Годовщина «кровавого воскресенья» — 9 января 1905 г.

[3] Портрет Блока работы Т. Н. Гиппиус — первый живописный портрет Блока — был выполнен в 1906 г. См. его характеристику в кн.: Долинский М. З. Искуство и Александр Блок. М., 1985. С. 250—252.

---

135. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10 января 1906. Москва>[1]

Саша, милый мой брат,

грустно мне стало сейчас и горько. Обнаружилось сейчас, что близкие люди не любят меня. Хочется сказать, что я Тебя люблю, люблю. Больше нет слов. Такая

полоса нашла. Завтра или послезавтра напишу. Милый брат, прости, что я пишу в таком «стихе».

Боря

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю.

---

136. БЛОК – БЕЛОМУ

<14 или 15 января 1906. Петербург>[1]

БОРЕ

Милый брат! Завечерело.
Чуть слышны колокола.
Над равниной побелело —
Сонноокая прошла.

Проплыла она и стала,
Незаметная, близка.
И опять нам, как бывало,
Ноша тяжкая легка.

Меж двумя стенами бора
Редкий падает снежок.
Перед нами — семафора
Зеленеет огонек.

Небо — в зареве лиловом,
Свет лиловый — на снегах.
Словно мы — в пространстве новом,
Словно — в новых временах.[2]

Одиноко вскрикнет птица,
Отряхнув крылами ель,
И засыплет нам ресницы
Белоснежная метель.

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна.
Скоро Финнского залива
Нам откроется страна.

Ты поймешь, как в этом море
Облегчается душа,

И какие гаснут зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжем
Перед печкой на ковре.
И тихонько перескажем
Все, что видели, сестре.

Кончим. Тихо встанет с кресел,
Молчалива и строга.
Молвит каждому: — Будь весел.
— За окном лежат снега.

13 января 1906[3]

Саша

---

[1] Датируется по связи с ответным письмом Белого (п. 137).

[2] Обыгрывается фраза из 2-й «симфонии»: «Это будут *новые* времена и *новые* пространства» (Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., <1902>. С. 141; *Симфонии*. С. 156), — повторенная Белым в статье «Луг зеленый»: «Будут новые времена и новые пространства» (Весы. 1905. № 8. С. 15).

[3] Впервые опубликовано в сборнике стихов и прозы «Корабли» (М., <1907>. С. 103—104) под заглавием «Брату»; в третьем сборнике стихов Блока «Земля в снегу» (М., 1908. С. 19—20) — под заглавием «О несказанном»; в книге Блока «Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость» (2-е изд., доп. М., 1912. С. 129—131) — под заглавием «Брату». Позднее печаталось без заглавия. Стихотворение навеяно переживаниями петербургских зимних встреч с Белым (январь — начало февраля 1905 г., декабрь 1905 г.); «сестра» — Л. Д. Блок (см. комментарий А. В. Лаврова // ПСС II, 662—665). О связях между стихотворением и темами переписки Блока и Белого см.: Магомедова Д. М. Переписка как целостный текст и источник сюжета (На материале переписки Блока и Андрея Белого, 1903—1908 гг.) // Динамическая поэтика. От замысла к воплощению. М., 1990. С. 254—257; Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. <М., 1997>. С. 111—130.

---

137. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

17-го <января 1906. Москва>[1]

Милый брат,

дорогое, нежное, прекрасное дыхание Твоего стихотворения, посвященного мне, радостно осветило мне 2 дня. Вместо утомления (у меня было много дел) чувствовалась легкая радость. За что мне такое счастье, что у меня есть *такой* брат и *такая* сестра? Милый Саша, чувствую себя незаслуженно счастливым. На дворе снежная буря. В зорях — весна. В замыслах — полет. И это от Твоего стихотворения[2]. Милый брат, ясный Ты.

Знаешь ли, я, должно быть, поеду за границу на 2 года, и отъезд преисполнил сердце мое легкострунной грустью оттого, что буду вдали от тех, кого я люблю.

Но хочу работать: в России работать нельзя, в Москве по крайней мере невозможно: в Москве я разучился ходить один по улице: точно в клубе встречаешь потоки знакомых. Не преувеличивая, иногда хочется крикнуть с отчаяния, что у меня пол-Москвы добрых знакомых, зазывающих к себе в гости; вчера на улице по крайней мере раз двенадцать приходилось умоляюще складывать руки и кричать. «На днях приду, приду!»... В такой атмосфере остается одно: погибнуть. Я удивляюсь, что у нас в России не уважают чужое раздумье и труд. Работать означает одно: *ходить в должность:* это уважается, прочее же все игнорируется.

Милый брат, и вот среди ненужных гор радостное дыхание Твоего письма. И потянуло на Финский Залив, и потянуло к Тебе, в безмолвие, в неизреченность.

Прости убогость письма: мне приходится ежедневно вытряхивать из себя такой запас нервной энергии, что в голове остается пустота, и самые нежные чувства складываются в самые банальные формы речи. Одно скажу: *все сильней Тебя люблю.*

Боря

---

[1] Ответ на п. 136. Авторская нумерация письма: «№ 6».

[2] См. позднейшие характеристики стихотворения «Милый брат! Завечерело...» в мемуарах Белого (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 52; *О Блоке.* С. 67, 213).

---

138. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Между 17 и 23 января 1906. Москва>[1]

Милый брат.

Ласковая волна прилетела. Плеснуло в лицо Финским Заливом — морем.

Ты был в лодке. Ты указывал веслом на зорю: зоря была золотая. От весла капали смоляные, искрящиеся капли. Сильными движениями рук Ты оттолкнулся веслами, когда я прыгнул в лодку с края земли. У меня закружилась голова. Я лежал на дне лодки. Было приятно и радостно видеть оттуда Твой четкий профиль, обложенный золотом: это было золото зори. Ты указывал путь. Было уютно в лодке с Тобою, милый, милый брат. Это все я как бы увидел, и захотелось Тебя обнять — обнять и поцеловать. Море было беспредельное и такое знакомое, сонное.

Потом мы увидели Ходящую по водам. Сейчас я не знаю, видел или не видел я такой сон; но я знаю, что у меня есть любимый брат. Какой я счастливый!

Боря

---

[1] Датируется по связи с предыдущим и последующим письмами. Авторская нумерация письма: «№ 7».

---

139. БЛОК – БЕЛОМУ

24 января 1906. <Петербург>[1]

Милый брат Боря.

Крепко целую Тебя за два последние письма. Пишу Тебе мало. Происходили бесчисленные события — собрания у Вяч. Иванова и Сологуба, приезд Брюсова (он приходил к нам, и несколько раз мы виделись; я изумился его кротости на этот раз!)[2]. Я написал балаган для Факелов, кажется его будут играть на маслянице[3]. Начинаю опять уставать, а одно время — отдохнул. Буду в «Весах» (стихи)[4]. Таким образом, все это время я был на сквозняке.

Думаю, что хорошо Тебе ехать к Риккерту[5]. Это — спасение от русских столиц. Тебе надо отдохнуть.

Крепко целую и обнимаю Тебя. Приезжай.

Твой брат Саша

---

[1] Ответ на п. 137, 138.

[2] Блок встречался с Брюсовым, в частности, 18 января на «среде» у Вяч. Иванова (см.: ЗК, 74; письмо Л. Д. Зиновьевой-Аннибал к М. М. Замятниной от 19 января 1906 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 235—236).

[3] Подразумевается пьеса «Балаганчик». 20 января 1906 г. Чулков писал Блоку: «Если Вы успеете доставить рукопись арлекинады дней через пять-шесть, Вс. Эм. Мейерхольд сумеет поставить эти сцены одновременно с музыкальным вечером числа 8—10 февраля» (*ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 397). На следующий день, 21 января, Блок отвечал Чулкову: «Надеюсь, что успею написать балаган, может быть даже раньше, чем Вы пишете. Вчера много придумалось и написалось»; 23 января сообщал ему же: «“Балаганчик” кончен, только не совсем отделан. Сейчас еще займусь им» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 131, 132). Пьеса «Балаганчик. Лирические сцены» была опубликована в альманахе «Факелы» (Кн. 1. СПб., 1906. С. 199—211), скомплектованном и выпущенном в свет в апреле 1906 г.

[4] В письме из Петербурга к С. А. Полякову от 19 января 1906 г. Брюсов сообщил, что «обещал (для стихов)» Блоку «один №» «Весов» (Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 2. М., 1994. С. 108). В результате этой договоренности в 5-м номере «Весов» за 1906 г. был опубликован цикл стихотворений Блока «Тишина цветет».

[5] Подразумевается: в Германию, во Фрейбург, где жил Г. Риккерт, один из виднейших философов-неокантианцев.

---

140. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<26 или 27 января 1906. Москва>[1]

Саша, милый,

Спасибо за письмо. Не писал Тебе эти дни. Был болен. Теперь, кажется, поправляюсь. Саша, мне очень хотелось бы быть на первом представлении *«Балаган-*

чика», очень хотелось бы. Напиши точно числа, когда он пойдет. Тогда я соразмерю свое время, а то у меня в Москве есть и дела, и просто так (хотелось бы посмотреть на приезжих танцовщиц[2]).

Дорогой брат, с какой несказанной радостью я увижу Тебя. Я Тебя так полюбил, так люблю.

Ведь к Тебе, Любови Дмитриевне и Александре Андреевне и Сереже у меня совсем *особое* чувство и притом *такое*, какого никогда решительно ни *к кому* не было, да потом еще, пожалуй, к Э. К. Метнеру в самой слабой степени. Родная близость, благодарность и любовь, которую испытываю к Мережковск<им> *все еще,* далеко не то. *Тут что-то совсем особенное.*

До скорого свидания, милый.

Письмо Твое со стихами[3] наполнило мне душу сладкой песнью. *Стихи Твои удивительны.*

Любящий Тебя очень, очень

Боря

---

[1] Ответ на п. 139. Помета Блока красным карандашом: «1906. 28 янв.».

[2] Подразумеваются гастроли итальянской танцовщицы Артемис Колонны, ожидавшиеся в Москве в первой половине февраля 1906 года.

[3] Вероятно, имеется в виду п. 136.

---

141. БЛОК – БЕЛОМУ

28 янв<аря> <1906. Петербург>[1]

Милый Боря.

Спасибо Тебе за то, как Ты нас всех любишь. Твоя любовь очень нужна нам. Ты ведь знаешь, что и Ты — единственный и особенный для всех нас. Мама так радуется, получая Твои письма.

Ты спрашиваешь о представлении «Балаганчика». Его теперь не будет. Чулков по обыкновению все это рассказывал преждевременно, а теперь оказывается, что и «Факелы» осуществятся не раньше осени (почти наверно)[2]. Но все-таки я опять чувствую симпатию к Чулкову — он милый и смешной, хотя и бывает неприятен. Последние дни, впрочем, приближается одиночество. Как-то мысленно блуждая по душам, вижу всюду сопротивление и озлобленность, или нарочитость. Теперь опять страдаю от этого мало, потому что храню в себе легкость. Но, когда покидает легкость, становится труднее. Между прочим, меня спасает постоянная работа, или, по крайней мере, возможность работы. От этого в самом лучшем смысле забываю себя. Все не могу собраться к Мережковским по-настоящему, отчасти занят, а отчасти — опять разно думаю о них. Я люблю их, но мне часто начинает казаться, что они — ужасные келейники, и потому в них мало легкости и потому же они преследуют келейность, которая чудится им в других. Это чувство пошло

у меня в ход с тех пор, как я узнал ближе Тату и Нату. Тата приходит и рисует[3]. Я думаю, при этом со стороны есть что-то смешное и недоговоренное — в общении всех нас с Татой и Таты с нами. Но до сих пор не знаю, что из этого выйдет. А я все на *бо́льшее* готов, чем до́льше живу. Будет всем нам в будущем хорошо. Приезжай к нам, как пишешь. Люблю Тебя.

Твой брат Саша

---

[1] Ответ на п. 140.

[2] Чулков вспоминает в этой связи: «Наши с Мейерхольдом попытки найти средство для устройства театра “Факелы” оказались тщетными» (Чулков Г. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., 1930. С. 216). Осенью 1906 года Мейерхольд стал ведущим режиссером театра В. Ф. Коммиссаржевской (где и поставил «Балаганчик»), и замысел самостоятельного театра «Факелы» тем самым исчерпал себя.

[3] См. примеч. 3 к п. 134.

---

142. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Начало февраля 1906. Москва>[1]

Саша, милый,

Сегодня Ты так близко от меня. Сегодня нота Твоя звучит, звучит. Сегодня я счастлив и радостен. Милый, хочу видеть Тебя. Скоро увидимся.

Был у меня Брюсов. Многое обсуждали мы: между прочим после длинных обсуждений *«Весы»* решились бойкотировать *«мистический анархизм»* (это между нами)[2]. В<алерий> Я<ковлевич> просил меня передать Тебе, что *«Скорпион»* с радостью издаст Твой сборник в первой же очереди. Просит к Пасхе приготовить книгу, а после Пасхи начнется печатание и пр., чтобы к осени вышла книга[3]. Об условиях печатания Брюсов просил меня передать Тебе лично. В Петербурге передам. Пока прощай. Любящий Тебя нежно

Боря

P. S. В<алерий> Я<ковлевич> передал мне, что Ты и Любовь Дмитриевна утешили его очень в Петербурге (Вы — самое отрадное, что он встретил в Петербурге).

---

[1] Датируется по связи с предыдущими письмами.

[2] С развернутой критикой «мистического анархизма» Брюсов впервые выступил в статье «Вехи. IV. “Факелы”» (Весы. 1906. № 5. С. 54—58. Подпись: Аврелий). См. также его неоконченное письмо к Вяч. Иванову от 19 мая 1906 г. (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 490—491).

[3] Рукопись второй книги стихов в предварительном составе и композиции Блок подготовил в течение февраля—марта 1906 г.; 24 марта он писал Брюсову: «На этих днях я посылаю мой сборник стихов в редакцию “Скорпиона”. <...> Посылаю Вам сборник пока еще без загла-

вия, с временной нумерацией лишь по страницам, так как я собирался, если это не затруднительно, добавлять стихотворения, если напишутся весной и летом» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 492). Книга Блока «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» (М., «Скорпион», 1907) вышла в свет в последних числах декабря 1906 г. Подробнее о ее формировании и печатании см.: ПСС II, 520—523. См. также: Сапогов В. А. Вторая книга А. А. Блока «Нечаянная Радость» // Блок А. Собр. соч. В 12 т. М., 1997. Т. 2. Книга-альбом. Нечаянная Радость. Земля в снегу. С. 250—261.

---

143. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 или 10 февраля 1906. Москва>[1]

Милый брат Саша,

на днях поеду в Петербург. Хочу проститься с Мережковскими[2] *и главное* повидать Тебя, Любовь Дмитриевну и Александру Андреевну. Прочел и оценил Твою статью[3], хотя для вкусности хотелось бы мне и написать возражение. Ты в этой статье занял очень для Тебя *вкусное* положение. Мне для вкусности одно время захотелось поспорить. Твое стихотворение *«Влюбленность»* — замечательно. Я только теперь оценил его по достоинству[4].

Милый брат, хочется нежно поцеловать Тебя, потому что сердце у меня цветет и радуется на Тебя, на Любовь Дмитриевну. Есть у меня сестра и брат. Какое счастье!

Милый, никогда не забывай меня: мы очень тесно связаны. Мне это так ясно, так ясно *теперь, сейчас,* когда небо такое голубое и нежное. Сегодня буду смотреть танцовщицу[5]. Милый, милый, весна *опять, опять* приближается весна. Что мне делать с моим восторгнутым сердцем?

Твой Боря

P. S. Дорогой Саша, если в *Пет<ербурге>* будет Колонн, то возьми для меня билет, если концерт объявлен после 15-го.

---

[1] Датируется по упоминанию о выступлении «знаменитой итальянской танцовщицы, в стиле мисс Дункан, синьоры Artemis Colonna» (Новости Дня. 1906. № 8115, 2 февраля. С. 1); она выступала в Москве в Большом зале Консерватории дважды — 6 февраля (Шопеновский вечер) и 10 февраля.

[2] Д. С. Мережковский и З. Н. Гиппиус выехали из Петербурга за границу на длительный срок 25 февраля 1906 г.

[3] Подразумевается статья Блока «Краски и слова», опубликованная в «Золотом Руне» (1906, № 1; V, 19—24).

[4] Стихотворение «Влюбленность» было опубликовано в «Золотом Руне» (1906. № 1. С. 47—48); автограф его был прислан Белому вместе с письмом от 2 октября 1905 г. (см. с. 241—242 наст. изд.).

[5] Имеется в виду Артемис Колонна. Ср. хроникальную заметку С. Соловьева «Артемис Колонна в Москве» (Весы. 1906, № 2. С. 65—66).

144. БЛОК – БЕЛОМУ

<Первая половина февраля 1906. Петербург>[1]

Боря, милый брат.

Приезжай; я нежно люблю Тебя и рад Тебя видеть. На днях я узнал наверно, что весна началась. Необычайное веселье сопровождало это узнавание. Но вообще — грустно. Получив «Золотое Руно», я стал Каннитферштаном[2]. Я ничего не прочел там, кроме стихов. Твоей мистерии[3] не прочел. Не смущайся моей статьей[4], я от нее не отказываюсь, но не узнаю ее на этой бумаге, и нахожусь с ней в светских и холодных отношениях. Артемис Колонна уезжает от нас после четверга[5], мы ее так и не видали, и с Тобой видеть ее не удастся. Ты расскажи. Лучше не буду Тебе писать сейчас много, скоро приедешь и мы поговорим. Крепко целую Тебя и жду[6].

Твой брат Саша

---

[1] Ответ на п. 143. Датируется по связи с ним.

[2] Образ из поэмы В. А. Жуковского «Две были и еще одна» (1831); на вопрос немца, приехавшего в Голландию: чей это дом? корабль? гроб? — следовал неизменный ответ: «*Каннитферштан*» (т. е.: «Не могу вас понять»); незадачливый немец воспринял эти ответы как имя владельца домов и кораблей. Этот образ Блок использовал в статье «О реалистах» (май—июнь 1907 г.; V, 101).

[3] Речь идет о драматическом отрывке Белого «Пасть ночи (отрывок из задуманной мистерии)» (Золотое Руно. 1906. № 1. С. 62—71).

[4] Подразумевается статья «Краски и слова».

[5] Четверг — 16 февраля.

[6] Е. П. Иванов упоминает о приезде Белого в Петербург в дневниковой записи от 14 февраля 1906 г. (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 399). Это пребывание в Петербурге описано им в мемуарах (*О Блоке*. С. 204—228; *Между двух революций*. С. 69—74).

---

145. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 февраля 1906. Петербург>[1]

Саша, брат милый.

Опять я в страхе. Но страх пройдет. Опять у Мережковских пугался, когда был Бердяев. Но это ничего, ничего. Я во сне. Нервы у меня пошатнулись: мне трудно.

Прости мой опустошенный вид, пустые слова мои. Они не от меня. а от нервности.

Люблю Тебя, милый, сильней и сильней: Ты ясный, ясный, всё просветляющийся.

Боря

[1] Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «СПб. 18 февр. 1906».

146. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<15 марта 1906. Москва>[1]

Милый Саша,

пишу Тебе несколько строк. Люблю Тебя. Господь да хранит Тебя, милый. Вчера весь вечер читал стихи о «Прекрасной Даме». Было тихо; грустно и ясно — незабвенно. Саша, если будет время, напиши мне хотя бы 2, 3 строчки. Как экзамены?

Любящий Тебя нежно

Борис Бугаев

[1] Датируется на основании пометы Блока графитным карандашом: «15 марта 1906». Белый выехал из Петербурга в Москву 5 или 6 марта 1906 года; 26 февраля состоялось его объяснение в любви с Л. Д. Блок.

147. БЛОК – БЕЛОМУ

<18 марта 1906. Петербург>[1]

Милый Боря.

Я знаю, что люблю Тебя, как брата.

Экзамены будут еще и в апреле, ни о чем не в состоянии думать, кроме них. Ужасно устаю. Получил 5 отметок (только две — весьма), остается еще четыре, очень трудных[2].

Обнимаю Тебя крепко. Люблю Тебя.

Твой брат Саша

18 марта 1906.

[1] Ответ на п. 146.

[2] «Весьма» — т. е.: весьма удовлетворительно. Блок сдавал государственные экзамены в Петербургском университете с 4 марта по 5 мая 1906 г. (см.: VIII, 153, 154). Упоминаемые первые пять экзаменов — вероятно, по санскриту, древним и славянским языкам. См.: Кумпан К. А. Александр Блок — выпускник Университета // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 166—168.

148. БЛОК – БЕЛОМУ

4 апреля <1906. Петербург>

Боря милый.

Сегодня пришла Твоя телеграмма[1], я не отвечал, потому что Люба вчера написала, верно Ты получил. Я ужасно плохо себя чувствую от экзамена. У Любы несколько уж дней сильный жар, она лежит, по-видимому инфлуэнца[2]. Гюнтер просил передать Тебе, что он послезавтра или еще днем позже будет в Москве. Он — очень хороший[3]. Люблю Тебя.

Твой Саша

---

[1] Текст этой телеграммы неизвестен. Вероятно, Белый информировал о своем скором приезде в Петербург.

[2] Л. Д. Блок болела бронхитом с 31 марта (см. дневниковую запись Е. П. Иванова // Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 402).

[3] Свои первые встречи с Блоком в Петербурге Гюнтер подробно описал в воспоминаниях (см.: Guenther Johannes von. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. München, 1969. S. 110—118; *ЛН. Т. 92. Кн. 5.* С. 340—344. Перевод и публикация К. М. Азадовского). Ср. сообщение в письме Л. Д. Блок к Белому от 29 марта 1906 г.: «В Петербурге теперь Ганс Гюнтер, оказался не таким, как думали, и очень хороший, 19 лет ему, умный. <...> Саша его очень полюбил» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 242).

---

149. БЛОК – БЕЛОМУ

<6 апреля 1906. Петербург>

Милый Боря.

Не приезжай пока ни в каком случае. Я тебе напишу, когда. Люба лежит, ей надо совсем не говорить и быть как можно спокойнее. Она просто простудилась и бронхит. У меня самый трудный экзамен[1].

Твой Саша

6 апреля.

---

[1] Вероятно, речь идет о предстоявшем в середине апреля устном экзамене по истории русской литературы, который Блок сдавал профессору И. А. Шляпкину (см. письмо Блока к отцу от 25 апреля 1906 г. // *Письма к родным, I.* С. 153—154). В письме к Белому от 10 апреля Л. Д. Блок упоминает про «Сашин последний трудный экзамен», 15 апреля сообщает ему же: «Сашины главные экзаменационные ужасы прошли благополучно» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 244, 245); ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 15 апреля 1906 года: «Спрашиваю, что экзамен, мне отвечает Люба: весьма!» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 615). См. также: Кумпан К. А.

Александр Блок — выпускник Университета // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 2. С. 169—170.

---

150. БЛОК – БЕЛОМУ

<9 апреля 1906. Петербург>

Боря.

Пишу Тебе сейчас искренно, как думаю и себе верю. Я очень люблю мою маму и теперь окончательно чувствую, что Ты оскорбляешь ее незаслуженно. От того, что Ты адресовал письма к Любе — маме, — мне очень грустно. По моему определенному мнению это очень нехорошо. Ты принимаешь маму не за то, что она есть. Ты можешь мне не верить, но больше не пиши так маме и не подозревай ее в том, в чем она не виновата. То, что Ты написал, доказывает не только нелюбовь, но и недоброту к маме[1].

Саша

9 апреля 1906.

---

[1] Обстоятельства этого инцидента Белый излагает в мемуарах: «Надвигается время обратного выезда в Питер; письмо от А. А.: не приезжай, потому что Л. Д. ослабела, а я — весь в экзаменах, и подобное — получаю от Александры Андреевны; воспринимаю я письма не просто; в них вижу предлог улизнуть; это все обусловливает мой отъезд из Москвы; уведомляю Л. Д., Александру Андреевну неделикатнейше; Александра Андреевна обижена <...>» (*О Блоке*. С. 228). 11 апреля 1906 г. Е. П. Иванов зафиксировал в дневнике: «Письмо Белый пишет Любови Дмитриевне и адресует Александре Андреевне. <...> Я, читая, ничего не разобрал. Вижу сплошное отчаянье бесноватого» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 403). 9 апреля 1906 г. Л. Д. Блок писала Белому в связи с тем же эпизодом: «Боря, Боря, что ты наделал своими нахальными письмами, адресованными А<лександре> Андр<еевне> для меня! Ведь это же дерзко и она совершенно обижена, а также и Фр<анц> Фел<иксович> и Саша. Боря, у нас сегодня Бог знает что было, так мы поссорились с ней. Не надо больше ставить меня в трудное положение, Боря, веди себя прилично. Мучительно и относительно Саши — он верит, что Ал<ександра> Андр<еевна> хорошая, а я не хочу же против этого идти. Твой приезд осложнился невероятно — благодаря твоим выходкам, Боря» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18). См. также письмо Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 10 или 11 апреля 1906 г. и ее ответное письмо от 13 апреля 1906 г. (с. 562—563 наст. изд.). Письма Белого, послужившие причиной конфликта, по всей вероятности, не сохранились.

---

151. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10 или 11 апреля 1906. Москва>[1]

Саша,

родной, милый, люблю Тебя вечно, нежно, с болью. Да, я не хорошо поступил. Да, я виноват перед Александрой Андревной, но я не могу извиняться или раскаивать-

ся, потому что ничего не понимаю, потому что боль и душевное расстройство застилает мне глаза. Я болен, болен! Я теперь чуть ли не на крик кричу. Что делал, не понимал. Послал открытки в трансе. Я люблю и уважаю Александру Андреевну. Я не хотел, видит Бог, оскорблять ее. Но что же вышло? Вышло, что я оскорбил. Если да, разве я могу тут извиняться, разве я понимаю, как это вышло. Скажи это Александре Андреевне. Я болен, нервно расстроен, убит. Нервы у меня ослабели, все во мне крик и надрыв. Все — безумие во мне.

Но Тебя, милый, бесценный брат мой, — Тебя нежно люблю. Никогда не перестану любить. Скажи, любишь ли Ты еще меня, и что мне делать: как мне сказать Александре Андреевне? Я ничего, ничего не знаю: я только безмерно устал и безмерно потерял равновесие.

Люблю, люблю Тебя.

Твой Боря

---

[1] Ответ на п. 150. Датируется по связи с ним.

---

152. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10 или 11 апреля 1906. Москва>[1]

Саша, милый, милый, мой не<и>зреченно любимый брат,

прости, что я этим письмом нарушаю, быть может, тишину, необходимую для Тебя теперь. Но причина моего письма внутренно слишком важна, чтобы само письмо я мог отложить. Прочти, прими, и если нет времени и настроения, ради Бога, не отвечай. Ответишь потом когда-нибудь. Не ответа хочу я: я хочу только высказаться перед Тобой, потому что я хочу, чтобы все мои поступки и намерения были четко означены.

Ты знаешь мое отношение к Любе; что оно все пронизано несказанным. Что Люба для меня самая близкая изо всех людей сестра и друг. Что она понимает меня, что в ней я узнаю самого себя, преображенный и цельный. Я сам себя узнаю в Любе. Она мне нужна духом для того, чтобы я мог выбраться из тех пропастей, в которых — гибель. Я всегда борюсь с химерами, но химеры обступили меня. И спасение мое воплотилось в Любу. Она держит в своей воле мою душу. Самую душу, ее смерть или спасение я отдал Любе, и теперь, когда еще не знаю, что она сделает с моей душой, я — бездушен, мучаюсь и тревожусь. Люба нужна мне для путей несказанных, для полетов *там*, где *«все новое»*. В *«новом»* и в *«Тайне»* я ее полюбил. И я *в с е г д а* верю в возможность несказанных отношений к Любе. Я всегда готов быть ей *только* братом в пути по небу.

Но я еще и влюблен в Любу. Безумно и совершенно. Но этим чувством я *умею управлять.*

И вот теперь, когда мне ясно, что все дальнейшее для меня в *«Главном»* (в том, что привело к Мер<ежковским>[2]) — *быть* или *не быть*, — соединено с отношением моим к Любе, я не могу не вносить в эти отношения сериозности необычайной.

Ведь решается для меня вопрос, *стоит* или не *стоит* жить. Ведь душа-то моя в руках у Любы. Ведь она мне душу не вернула. Ведь стремясь к дружбе и общению с ней, я стремлюсь к самой высокой чистоте и ясности — к свету и правде. Ведь близость и общение с Любой для меня прежде всего единственно возможный путь просветить и возвысить другое мое чувство к Любе (влюбленность). Раз нет этого общения и просветляющего зова к высям, *я срываюсь.* Вот почему *теперь* этой весной мне так важно и необходимо видаться с Любой, чтобы привести к должным нормам свое отношение к Любе. Пока точной выясненности нет, каждый миг для меня — острый нож в душу, каждый день без нее ужас. Я не могу строить своих чисто внешних планов, без того, чтобы не поговорить с Любой долго, внимательно. Пойми, Саша, что вот уже месяц[3], как все часы мои — ножи, воткнутые в сердце, что эта боль не стихнет, пока я обстоятельно не поговорю с Любой как на духу, пока я не прочту у нее *о своей душе,* которой у меня теперь нет. Ведь за своей душой я должен вернуться в Петербург и видеться с Любой. Более без души я жить не могу. Саша, если Ты веришь в меня, если Ты знаешь, что я могу быть благороден, Тебе мне нечего объяснять, чтобы Ты не думал обо мне внешне, дурно и пошло. Ты — не такой. Ты должен взглянуть на мои отношения к Любови Дмитриевне только с двух противоположных точек зрения. Или поверить в несказанность моего отношения к Любе; но тогда, тогда я должен, прежде чем ехать за границу, или определяться в ненужном и внешнем, теперь же видеться с Любой. Ты должен снять с меня все тени, которые на меня могут быть наброшены просто необычностью со стороны внешнего моих отношений к Любе. Тогда, например, я не понимаю, почему должен я отложить поездку в Петербург[4]. Если Тебе нельзя быть со мной, ведь я приеду к Любе, чтобы многое многое из заветного и глубокого выяснить себе — чтобы понять тайны Вечности и Гроба[5], которые вокруг меня разверзлись. Сейчас я уже обессилен очами сфинксов, со всех сторон на меня глянувших. Люба для меня — *«Феникс»*, могущий сфинксов прогнать[6]. Я уже на границе сумасшествия, ведь когда я уезжал из Петербурга, то только на две недели — так мне и Люба говорила. *Иначе я бы не уехал, не решив все для себя.* И вот теперь оказывается я должен испытывать пытки непомерные. Но я согласен и не приезжать, если Любе нужна тишина, если она не хочет моего приезда, лишь бы я только знал, что в этой отсрочке (неопределенной) не играют роли никакие *внешние причины.*

Если же все мои отношения к Любе мерить внешним масштабом (Ты это имеешь право), тогда придется отрицать всю несказанность моей близости к Любе; придется сказать: «Это только влюбленность». Но тогда мне становится невозможным опираться на несказанный критерий: тогда я скажу Тебе: «я не могу не видать Любу. Но признаю Твое право, взглянув на все "*слишком просто*", налагать veto на мои отношения к Любе». Только, Саша, тогда начинается драма, которая должна кончиться смертью одного из нас. Стоя на первой, *несказанной*, точке зрения, *я готов каждую минуту сойти на внешнюю точку зрения.* Милый брат, знай это: если несказанное во мне будет оскорблено, если *несказанное мое* кажется Тебе оскорбительным, мой любимый, единственный брат, *я на все готов!* Смерти я не боюсь, а ищу.

Теперь подхожу к моим открыткам, написанным Александре Андреевне[7].

Ты знаешь, что в таком напряжении я только и живу часом отъезда в Петербург. И вот мне пишешь, чтобы я не приезжал. Неужели Ты не знаешь, что в моей душе, которая с минуты на минуту готова разорваться, такое письмо *без точных указаний* причин моего неприезда, без точных указаний, когда мне приехать, — что такое письмо искра к пороховому погребу. Я вдруг оказался окутан черными

клубами дыма, застившего мне глаза. И в этом дыму неудивительно, что мне показалось, будто единственная возможность объяснения всего — внешние причины: желание меня отдалить от Любы тогда, когда это без *моей смерти* уже не может быть, ибо за своей душой я приду к Любе отсюда или *оттуда* — все равно. Ты — думал я — не можешь не знать этого. Стало быть, только Александра Андреевна *может так подумать.* Я сказал себе: «напрасно», всякая внешняя мера только средство ускорить катастрофу, если нужна катастрофа. А я ведь верю, что катастрофы быть не может, верю в несказанный путь с сестрой своей. Но если этого не хотят принять, я иду на катастрофу.

И вот непроизвольно я написал открытки, словно в трансе, но теперь, уясняя себе свой поступок сознанием, я вижу, что открытки мои должны были означать *сигнал* к тому, что и на катастрофу я готов.

Но здесь не было с моей стороны злобного, нехорошего намерения.

Саша, горько мне и больно писать. Я хотел бы, чтобы все это само собою подразумевалось, и только потому, что усумнился, подразумевается ли все, мною написанное, Тобой и Ал<ександрой> Андреевной, заставило *меня заговорить* теперь с болью, с ужасом, любимый, милый, соединенный в Главном со мною, брат мой.

Саша, знай, что у меня к Тебе лично ничего кроме любви и ясности нет и не будет, что бы ни было.

Саша, я должен до июня видеть Любу, потому что видеть ее теперь мне *исключительно важно:* наше теперешнее свидание все будущее оформит и определит. Живой или мертвый увижу Ее.

Буду ждать от Любы срока для приезда пока терпеливо[8].

Можешь показать мое письмо Александре Андреевне (мне бы даже хотелось бы, чтобы она прочла его, потому что писать Тебе *обо всем этом* я могу, а ей не могу. А она должна знать мои намерения).

Милый, милый брат, повторяю еще раз, что люблю, люблю Тебя.

Твой брат Боря

---

[1] Датируется по связи с п. 150 и 151, а также по связи с телеграммами Л. Д. Блок Белому от 10 и 11 апреля 1906 г. (в последней говорится: «Приезжайте Воскресенье. Люба» // РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18. Л. 103; воскресенье — 16 апреля. См.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 245). В дневниковой записи М. А. Бекетовой от 15 апреля 1906 г. упомянуто «длинное письмо Сашуре» от Белого и пересказаны его отдельные положения (Там же. С. 616).

[2] Отношения Белого с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус достигли наибольшей близости в 1905—1907 гг.

[3] Месяц, истекший со дня возвращения Белого из Петербурга в Москву (10 марта).

[4] См. п. 149. В тот же день, 6 апреля, Л. Д. Блок писала Белому: «Милый, бесценный Боря, письмо Саша написал, ничего не сказав мне, я узнала потом. Хотела требовать, чтобы ты приехал, но Саша не *позволяет.* <...> Этой просьбой к тебе — не приезжать (придумана она Ал<ександрой> Андр<еевной>, она давно меня ею пугает, но я-то умела бороться, а Саша послушал), меня так и бросили к тебе» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 244. Текст исправлен по автографу).

[5] Образ из заключительных строк чернового окончания («Я вижу в праздности, в неистовых пирах...») стихотворения Пушкина «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день...», 1828) в текстологической редакции П. О. Морозова: «И оба говорят мне мертвым языком // О тайнах вечности и гроба!..» (Пушкин А. С. Сочинения и письма. Под ред.

П. О. Морозова. СПб., 1903. Т. 2. С. 74. В академическом издании Пушкина — иное воспроизведение текста; см.: Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 3. Ч. 2. <Л.,> 1949. С. 655).

[6] Символическое истолкование противопоставленных друг другу образов Сфинкса и Феникса Белый дал в статьях «Сфинкс» (Весы. 1905. № 9/10. С. 23—49) и «Феникс» (Весы. 1906. № 7. С. 17—29; вошла в кн.: Андрей Белый. Арабески. Книга статей. М., 1911. С. 147—157).

[7] См. п. 150, примеч. 1.

[8] Белый приехал в Петербург 15 апреля и в тот же день посетил Блоков. Сохранилась записка Л. Д. Блок к Белому, в которой назначалась эта встреча: «Милый Боря, приходи к нам сегодня же в 2 часа. Не бойся, ты не помешаешь. <...> Хочу тебя видеть и говорить. *Твоя Люба*»; приписка Блока: «Милый Боря, приходи. *Твой Саша*» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 245); ср. дневниковую запись Е. П. Иванова от 16 апреля 1906 г.: «Встретил В. А. Пяста; первое известие: "Белый приехал", и что Блок вчера в дождь с ним в Лесной ездил» (Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 404). 17 апреля М. А. Бекетова записала в дневнике: «Вчера Аля заходила ко мне, гуляли вместе. Рассказала мне про Борю: явился вчера — жалкий и общипанный, было с Сашурой очень натянуто, а Люба спокойна» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 616). Белый пробыл в Петербурге в этот приезд до начала мая (см.: *О Блоке.* С. 228—230; *Между двух революций.* С. 74—77). О результатах своего петербургского пребывания Белый вспоминает: «Морально я одерживаю победу над Л. Д.; она дает мне обещание, что осенью мы с ней едем в Италию и что с этого времени как бы начинается наш путь с ней» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 52 об.—53).

---

153. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Вторая половина апреля 1906. Петербург>[1]

Дорогой брат,

есть потребность писать: не знаю зачем, посылаю по почте. Не знаю для чего и о чем, но пишу. Хочу писать, хочу обращаться к Тебе, но не со словами, и вот слова мои — не слова.

Пишу просто так. Дорогой, милый брат, очень люблю Тебя — очень.

Христос, в которого я хочу верить, да будет с Тобой.

Милый, вот и все.

Твой Боря

---

[1] Датировка предположительна.

---

154. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

5-го мая <1906. Дедово>[1]

Дорогой Саша, милый,

люблю Тебя. Поздравляю Тебя с окончанием экзаменов[2]. Желаю всего, всего радостного.

Я в Дедове. Здесь тихо. Встает передо мной Солнце безвременья.

И жизнь, и смерть в один свет неугасимый сливается.

Тихо, покорно молюсь свету. Светоносный восторг со мною. Он несет меня на волнах ветра. Будет ветер. Ветер всегда. Все летит, исчезая, овеянное ветром. Ветер гонит миры. Мы забываем о ветре. Но прислушайся: каким потоком обуреваемо все? Все несется — несется.

Все в буре. Буря счастья и буря смерти — один ветер. Ветер веет. Ветер говорит слова неизреченные. Говорим и мы, исполненные ветра.

Неизвестно откуда приходит ветер и куда уходит. Неизвестно, откуда приходим и куда идем.

Идем в ветре, с ветром.

Ветер впереди. И в прошлом тоже.

Ветер.

Люблю Тебя нежно. Да будет ветер с Тобою всегда ныне и присно и во веки веков.

Боря

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1906».

[2] Последний экзамен (по славянской филологии) Блок сдал 5 мая 1906 г.; см. его письмо к отцу, написанное в этот день (VIII, 153).

---

155. БЛОК — БЕЛОМУ

<22 мая 1906. Шахматово>

Милый Боря.

Очень нехорошо, если моя рецензия о «Своб<одной> Совести» была хоть отчасти причиной Твоего ухода оттуда[1]. Конечно, они совершенно правы, не взяв моих стихов. Рецензия могла бы быть написана (если уж нужно мне было ее писать) хоть более литературно, а я написал желчно и хулигански. Действительную вину чувствую перед Григорием Алексеевичем и Кобылинским[2], чувствую, что своими темными наклонностями обидел хороших и достойных всякого уважения людей. В случае, если когда-нибудь зайдет об этом речь с кем-нибудь из них, прошу Тебя передать им, что я чувствую себя действительно виноватым и впредь буду, если случится, выражать свои мнения более порядочным тоном[3].

Живу очень тихо. Дождик идет. Отдыхаю от экзамена. Обрабатываю сад и читаю, но не пишу.

Твой Саша

22 мая 1906. Шахматово.

---

[1] Резко критическая рецензия Блока на книгу «Свободная Совесть. Литературно-философский сборник» (Кн. 1. М., 1906) была опубликована в «Весах» (1906. № 2; см.: V, 606—611).

Участниками сборника были главным образом посетители собраний на квартире П. И. Астрова (астровские «среды»), в число которых входили Белый и близкие ему представители сообщества «аргонавтов»: «...результатом сближения астровского кружка с аргонавтами неожиданно возник сборник *“Свободная Совесть”*» (*О Блоке.* С. 130; подробнее см.: *Начало века.* С. 392—398). Об отказе Белого от дальнейшего участия в «Свободной Совести» Блок узнал, возможно, из несохранившегося письма Белого к Л. Д. Блок.

[2] Г. А. Рачинский и Эллис (Л. Л. Кобылинский) участвовали в «Свободной Совести»; о последнем Блок высказался в рецензии весьма нелицеприятно: «...статья г. Эллиса о Данте была бы интересна, если бы прежде всего не прерывалась тщетными упражнениями в переводах из Данте и если бы сам г. Эллис не так часто впадал в истерику. Страдание от “врагов Истины, Добра и Красоты” и оттого, что Бодлэр “заявляет, что зло прекраснее добра”, — есть “нутряное” страдание. От него помогает бром. Поклоннику Мистической Розы должно излечиться от нервов; поклонение есть *стояние на страже*, а не “богема” души» (V, 609—610).

[3] Позже Блок написал рецензию на книгу 2-ю «Свободной Совести» (М., 1906), более сдержанную по тону и оценкам, которая была опубликована в «Золотом Руне» (1906, № 7/9; см.: V, 629—633).

---

156. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

26 мая *<19>06 года. <Дедово>*[1]

Милый Саша,

очень рад получить от Тебя письмо. Мне ужасно совестно, что Ты придаешь такое значение Твоей рецензии. «*Св<ободная> Сов<есть>*» — учреждение нестерпимое. И я *все равно* ушел бы оттуда[2]. Ненапечатание Твоих стихов — капля в море всяких других несообразностей Астрова. Между прочим на днях в Дедове был Кобылинский. Он нисколько на Тебя не обижен; наоборот: он питает к Тебе самые искренние симпатии. И это не слова только. Как раз с его приездом выяснились некоторые самовольные поступки Астрова (его постоянная ложь и даже превышение полномочий). Поэтому мы все втроем (я, Сережа и Лева) написали укоризненное письмо Астрову. Сережа и Кобылинский тоже выходят из *«Св<ободной> Сов<ести>»*[3], потому что Астров без нашего ведома издал одну отвратительную книжечку, пользуясь маркой *«Св<ободной> Сов<ести>»*. Между прочим я написал рецензию об этой книге, перед которой Твоя — образец корректности[4].

Пиши мне иногда. Я всегда так рад получать от Тебя вести. Живу очень тревожно. Нервы шалят. Стараюсь уйти всецело в созерцание красот природы и местоположения.

Остаюсь любящий Тебя

Твой Боря

---

[1] Ответ на п. 155.

[2] Практических последствий это решение Белого не возымело: он участвовал во 2-й книге «Свободной Совести», вышедшей в свет в сентябре 1906 г., и на ней издание «литературно-

* В автографе описка: «апреля», — исправленная Блоком.

философских сборников» прекратилось. В обеих книгах «Свободной Совести» напечатаны пять статей Белого, рассказ «Мы ждем его возвращения» и несколько его стихотворений. Видимо, именно затрагиваемый в письме к Блоку конфликт нашел отражение в мемуарах Белого: «...Астров весьма опечалился, когда я, Володя Поливанов, Петровский и Эллис бросили обвинения "старикам" нашего сборника "Свободная совесть", что готовимый для второго сборника материал — слащеватая заваль <...>» (*Между двух революций.* С. 35). Позднейшая характеристика «Свободной Совести» в мемуарах Белого: «тупейший, ничтожнейший сборник» (*Начало века.* С. 509).

[3] Это письмо Белого, С. М. Соловьева и Эллиса к П. И. Астрову, вероятно, не сохранилось. Как и Белый, Соловьев и Эллис поместили свои произведения во 2-й книге «Свободной Совести». Причиной конфликта послужили, определенно, не только литературные разногласия, но и различия в политических симпатиях между авторами «Свободной Совести»; Белый свидетельствует: «...позиция Астровых нам казалася правой; я, Эллис, Петровский, — склонялися к меньшевикам; Соловьев — был эсером <...>» (*О Блоке.* С. 186).

[4] Речь идет о книге П. В. Знаменского «Православие и современная жизнь» (М., «Свободная Совесть», 1906); в резко отрицательной рецензии Белый утверждал, что «единственный интерес» книги, представляющей собой «скучное и бездарное изложение полемики между устарело-либеральной и черносотенной кликой православного духовенства, написанное невозможным стилем», «заключается в неприличных семинарских выходках против революционного движения»; не менее резко отозвался Белый и о начинаниях «Свободной Совести» в целом: «Грустное впечатление производят издания "*Свободной Совести*". <...> Кружок лиц, провозгласивший идею синтеза, выпускает сборник, в котором наряду с серьезными произведениями вроде "*Девы Назарета*" С. Соловьева или "*Венец Данте*" Эллиса обильной струей на нас изливается лицемерная патока»; «Выдвигая на своем знамени проблему синтеза искусства, религии, общественности и философии и в то же время выражая этот синтез при помощи семинарских творений Знаменского, редакция доказывает нам полную слепоту и некультурность» (Золотое Руно. 1906. № 6. С. 100—101).

---

157. БЛОК – БЕЛОМУ

<8 августа 1906. Москва>[1]

Приехали говорить, сейчас возьмем комнату поблизости и пришлем за Тобой.

---

[1] Написано на визитной карточке графитным карандашом. Обстоятельства написания проясняются из дневниковой записи М. А. Бекетовой (Шахматово, 7 августа 1906 г.): «Завтра Сашура едет с Любой в Москву по делам своей книги, но, главное, объясняться с Борей. Дела дошли до того, что этот несчастный, потеряв всякую меру и смысл, пишет Любе вороха писем и грозит каким-то мщением, если она не позволит ему жить в Петербурге и видеться. С каждой почтой получается десяток страниц его чепухи, которую Люба принимала всерьез; сегодня же пришли обрывки бумаги в отдельных конвертах с угрозами. Решили ехать для решительного объяснения. <...> Они оба уверяют, что все кончится вздором, смеются и шутят. Люба в восторге от интересного приключения, ни малейшей жалости к Боре нет. Интересно то, что Сашура относится к нему с презрением, Аля с антипатией, Люба с насмешкой и ни у кого не осталось прежнего. Все не верят в его великую силу» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 617—618).

---

158. БЛОК – БЕЛОМУ

<8 августа 1906. Москва>

Боря, приходи сейчас же в ресторан Прагу. Мы ждем.

Саша[1]

---

[1] Записка графитным карандашом. О свидании Блока и Л. Д. Блок с Белым в ресторане «Прага» (на Арбатской площади) сообщает в дневнике М. А. Бекетова (8 августа 1906 г., Шахматово): «Саша с Любой вернулись из Москвы. Все благополучно. Виделись с Борей. Поговорили 5 минут. Поссорились, разошлись, но он не намерен прекращать сношений и не верит в то, что Люба к нему изменилась. <...> Боря был, как всегда, безвкусен до крайности (общее мнение)» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 618). Эта краткая встреча описана Белым в мемуарах (*О Блоке*. С. 237; *Между двух революций*. С. 83—84).

---

159. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<9 августа 1906. Дедово>[1]

Саша, милый,

Я готов на позор и унижение: я смирился духом: бичуйте меня; гоните меня, бейте меня, бегите от меня, а я *буду везде и всегда с Вами и буду в с е, в с е, в с е п е р е н о с и т ь*. Планы один ужасней другого прошли передо мной, и я увидел *с е г о д н я,* что *н е* могу рассудком, холодно преступить: я всех Вас люблю. Мне остается позор: унижение мое безгранично, терпение мое *НЕ* имеет пределов. Я все вынесу: я буду только с Вами, с Вами. Я орудие Ваших пыток: *пытайте,* и *НЕ** бойтесь меня: я — собака Ваша *всегда, всю жизнь*.

До 22-го в Дедове. Потом в Москве, с сентября *там, ГДЕ ВЫ*, и на все унижения готовый. Отказываюсь от всех взглядов, мыслей, чувств, кроме одного: беспредельной Любви к Любе.

Твой несчастный и любящий Тебя

Боря

P. S. Скажи Любе, что мы *м о ж е м, МОЖЕМ**, МОЖЕМ**** быть сестрой и братом.

Скоро увидимся.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. В Дедово Белый приехал сразу же после встречи с Блоками в ресторане «Прага» (см. п. 158). См.: *О Блоке*. С. 237; *Между двух революций*. С. 84.

---

* Подчеркнуто пятью чертами.
** Подчеркнуто четырьмя чертами.
*** Подчеркнуто восемью чертами.

160. БЛОК – БЕЛОМУ

9 августа 1906. Шахматово

Боря!

Сборник «Нечаянная Радость» я хотел посвятить Тебе, как прошедшее. Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя. Только потому не посвящаю Тебе этой книги[1].

Ал. Блок

---

[1] Книга Блока «Нечаянная Радость. Второй сборник стихов» (М., «Скорпион», 1907) вышла в свет без посвящения Андрею Белому, 8 августа 1906 г. М. А. Бекетова записала в дневнике: «Саша взял из “Скорпиона” свое посвящение Боре в новом сборнике стихов» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 618).

---

161. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<11 августа 1906. Дедово>[1]

Милый Саша,

Клянусь, что клятва моя не внушена этим голубым, светлым днем наступающей осени, а что я воспользовался им для того, чтобы в форму ее не вкралось ничто истеричное; а только одна святая правда. Клянусь, что Люба — это я, но только *лучший*. Клянусь, что Она — святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы; клянусь, что моя истерика и мой мрак — это не видать Ее, клянусь, что сила моей святой любви *«о свете, всегда о свете»*, потому что, клянусь, я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один, один, один путь: это Люба. Клянусь, что тучи, висевшие надо мной от решения Любы, чтобы я остался вдали, истаяли безвозвратно и что покорность моя без границ и терпение мое *нечеловеческое*, кроме одного: отдаления от Любы. *Клянусь Тебе, Любе и Александре Андреевне, что я буду всю жизнь там, где Люба,* и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы ни я, ни Андрей Белый, а — никто, и что душа моя вся ушла в то, чтобы близость наша оставалась. Ведь нельзя же человеку дышать без воздуха, а Люба — необходимый воздух моей души. Клянусь, что вся истерика моя от безвоздушности. Клянусь, что если я останусь в Москве, я погиб для этого и будущего мира: *и это* не просто переезд, а паломничество. Я могу видать хоть изредка Любу, но я *должен, должен, должен* ее видать.

К встрече с Любой в Петербурге (или где бы то ни было) готовлюсь, как к таинству.

Любящий Тебя Твой Боря

P. S. Письмо писал в трех экземплярах (Тебе, Любе, Ал<ександре> Андреевне)[2]. До 22-го я в Дедове, а потом в Москве.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю (отправлено из Крюкова); на конверте помета Белого: «Спешное и нужное». На обороте конверта помета Блока графитным карандашом: «Август 1906».

[2] Письмо Белого аналогичного содержания к Л. Д. Блок не сохранилось; письмо к А. А. Кублицкой-Пиоттух и ее ответное письмо Белому см. на с. 566—567 наст. изд. Л. Д. Блок отвечала Белому 12 августа: «Милый Боря, Вы, должно быть, и не знаете, какой большой шаг Вы сделали для возобновления дружбы со всеми нами Вашими тремя письмами к нам. И не в словах дело (такие слова зачем?), а в том направлении, которое приняли теперь Вы. После поездки в Москву я думала, что все кончено навсегда, и была очень близка к ненависти к Вам и презрению, так Вы унизили себя требованьем своих прав и совершенным игнорированием других. Теперь я возвращаю с радостью Вам все мое уважение и вижу, что могу говорить с Вами опять и надеяться, что Вы меня выслушаете. Я предлагаю Вам, Боря, вернуть себе нашу общую и мою дружбу. Я говорила Вам, что нам и мне, после всего, что было, теперь, сейчас *невозможно* быть с Вами дружными, даже видеться трудно, даже присутствие Ваше в Петербурге беспокойно и внушало бы вражду. Если же Вы переждете должное время — *я уверена,* мы все встретимся с Вами друзьями. Я это вижу по той горячей нежности, с которой Саша встретил Ваше письмо» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 253).

---

162. БЛОК – БЕЛОМУ

<12 августа 1906. Шахматово>[1]

Боря, милый!

Прочтя Твое письмо, я почувствовал опять, что люблю Тебя. Летом большей частью я совсем не думал о Тебе, или думал со скукой и ненавистью. Все время все, что касалось Твоих отношений с Любой, было для меня непонятно и часто неважно. По поводу этого я не могу сказать ни слова, и часто этого для меня как будто и нет. По всей вероятности, — чем беспокойнее Ты, — тем спокойнее теперь я. Так протекает все это для меня, и я нарочно пишу Тебе об этом, чтобы Ты знал, где я нахожусь относительно этого, и что *я верю себе* в этом. Внешним образом, я ругал Тебя литератором, так же как Ты меня, и так же думал о дуэли, как Ты[2]. Теперь я больше не думаю ни о том, ни о другом. Я думаю совершенно определенно так же как Люба и мама, каждый со своим оттенком, что Тебе лучше теперь не приезжать в П<етер>б<ур>г, — и лучше *решительно для всех нас.*

В ответ на Твое письмо мне хочется крепко обнять Тебя и сообщить Тебе столько моего здоровья, сколько нужно, чтобы у Тебя отнялось то, что лежит в одних нервах — только больное и ненужное. Я думаю, Ты согласен, что частью Тебя отравляет истерия.

Ты знаешь, Боря милый, что я не могу «пытать», «мучить» и «бичевать»[3], и что я не могу также бояться Тебя. Это все, что я могу сказать — и повторить еще раз, что я Тебя люблю.

Относительно «Нечаянной Радости»: *не* посвящаю ее Тебе[4]; во-первых, потому, что не вижу теперь — «откуда» Тебе ее посвящу; во-вторых, наши отношения

стали глубже и они не безмятежны так, как требуется при посвящении. Наконец, я не знаю и не понимаю теперь, «где Ты», и посвящение было бы внешним.

Милый Боря, Ты знаешь теперь, что я люблю и уважаю Тебя. Пишу Тебе все без малейших натяжек и без лжи. Крепко целую Тебя.

Твой Саша

12 августа 1906.

---

[1] Ответ на п. 159.

[2] 10 августа 1906 года Белый вызвал Блока на дуэль. Письмо с вызовом (несохранившееся) отвез к Блоку в Шахматово Эллис. В ходе встречи и разговоров Блоков с Эллисом вопрос о дуэли удалось снять. 24 августа М. А. Бекетова записала в дневнике: «...Боря вызвал Сашу на дуэль. Посылал секунданта в Шахматово. О, глупый! Конечно, дуэли не было. Секунданта Кобылинского сначала Люба отчитала, потом с ним оба страшно подружились и Боря уже прислал покаянное письмо. <...> Борю Саша мягко и великодушно защищает, а Аля бранит дрянью, тряпкой, лгуном и пр.» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 618). См. также описание инцидента в воспоминаниях Л. Д. Блок (в кн.: Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 176—178) и Белого (*О Блоке.* С. 239—240; *Между двух революций.* С. 85—86).

[3] Подразумеваются формулировки Белого из п. 159.

[4] См. п. 160.

---

163. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

13-го августа. <19>06 года. Москва[1].

Милый Саша!

Право, я удивляюсь, что Ты меня не понимаешь. Ведь понять меня вовсе не трудно: для этого нужно только *быть человеком* и действительно знать, а не на словах только и не в литературе, *что такое Любовь.* Если я Тебе не понятен, объясни мне фактически, *что* Тебе во мне не понятно, и я с восторгом готов написать Тебе хоть диссертацию, объясняющую по пунктам то, что было бы во мне понятно всякому *живому* человеку, раз в жизни испытавшему *настоящую* любовь.

Ты прекрасно знаешь, что я не могу не видать Любы, и что меня хотят этого лишить. Я считаю последнее бессмыслицею, варварской, *ненужной* жестокостью, потому что весною (в апреле) я уже решился на самоубийство, и меня Вы все (Ты, Люба, Ал<ександра> Андр<еевна>) предательски спасли моим переездом в Петербург[2] — но только для того, чтобы через 2—3 недели *опять* предъявить мне смертный приговор и заставить протомиться 3 месяца. Этой неизвестности не выдержит никакая душа, и я удивляюсь, что есть люди, при всей своей утонченности не могущие понять того, что понятно всякому *человеку,* имеющему хоть каплю сочувствия к ближнему. Если Ты мне возразишь, что именно *Ты* по самому ходу вещей нормально должен быть лишен этого сочувствия ко мне, то все Твое 7-месячное поведение до сих пор противоречило бы такому возражению мне; я с своей стороны говорю и *подчеркиваю,* что не видать Любы не могу,

и что я свят и праведен в своем заявлении и что, пока я жив, я буду стремиться к тому, чтобы видать Любу.

Твой Борис Бугаев.

Р. S. Действительно, лучше, что Ты отменил посвящение мне Твоей книги.

Выбрав путь унижения, я готов целовать у Тебя руки, потому что Люба Тебя любит. Но готов и *жизнью своей поддержать свое святое право видать Любу.*

---

[1] Ответ на п. 162.

[2] Видимо, в ходе пребывания Белого в Петербурге во второй половине апреля 1906 года между ним и семейством Блоков велись разговоры относительно предстоящего переезда его в столицу на постоянное жительство.

---

164. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 августа 1906. Москва>[1]

«Багряницу несут
И четыре колючих венца».
(А. Белый—Блоку)[2]

Дорогой Саша!

Я могу теперь писать только изваянные слова. Поэтому воздержусь от ответа, пока Ты не скажешь мне, писал ли Ты *до*, или *после* получения моей клятвы[3]. *Это* мне важно знать, чтобы мочь ответить от *чистого сердца.*

С нетерпением жду только одного слова — *до* или *после.*

Получив ответ, сейчас же отвечаю *на все.*

Любящий Тебя

Боря

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю; получено в Петербурге 19 августа 1906 г. По сообщению В. Н. Орлова, «это письмо не было вскрыто Блоком. Белый адресовал его в Петербург, тогда как Блок в это время был еще в Шахматове» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 178). Почти дословно того же содержания — письмо Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 16 августа 1906 г. (с. 567—568 наст. изд.).

[2] Цитата из стихотворения «Суждено мне молчать..» (1903) — третьего в цикле «Блоку» (*Золото в лазури.* С. 245). Автограф его был послан Белым Блоку 24 октября 1903 г. (см. с. 106—107 наст. изд.).

[3] Имеется в виду п. 161.

---

165. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

20 августа <1906. Москва>[1]

Саша,

до 25-го жду Твоего ответа на просьбу разъяснить Твои письма от 9-го и 12-го августа[2]. Если до 25-го не получу ответа, сочту долгом ответить Тебе без Твоих разъяснений по моему крайнему разумению.

Твой Борис Бугаев

---

[1] Открытка; место отправления указано по почтовому штемпелю.

[2] Повторение просьбы, сформулированной в п. 164. Узнав из письма Л. Д. Блок от 18 августа, что Блок до 23 августа пробудет в Шахматове (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 254), Белый понял, что предыдущее его письмо, направленное в Петербург, до адресата не могло дойти.

---

166. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<21 (?) августа 1906. Москва>[1]

Дорогой Саша,

буду в Петербурге утром 23-го. Безумно хочу *сериозно* с Тобой говорить. Жду Тебя вечером у Палкина[2] чай пить (часов в 8). Не могу быть у Тебя до разговора с Тобой. Я чувствую себя настоящим с Тобой *не у Тебя*, а где угодно: в ресторане, в Москве, в Киеве. У тебя я — не я. Ты не откажешь мне в свидании. Я могу свести его до *minimum*'а: но, милый, будь в 8 часов у Палкина. *ЖДУ** . Если не можешь, извести до 8 часов. Адрес. С.-Петербург. Угол Невского и Караванной. Мебл<ированные> Комнаты Париж.

Любящий Тебя глубоко

Боря

P. S. Любови Дмитриевне мой привет и уважение.
Si tu ne me trouve pas, alors je suis arreté.

*B. Bougaieff*** [3]

---

[1] Датируется предположительно, по связи с указываемой датой приезда Белого в Петербург (23 августа). В комментарии Н. В. Котрелева (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 255) утверждается, что это письмо Белого «можно отнести только к 19 августа», — на том основании, что, узнав из письма Л. Д. Блок от 18 августа точный срок ее возвращения в Петербург («Мы пробудем в

---

* Подчеркнуто четырьмя чертами.
** Если ты меня не застанешь, значит я арестован. *Б. Бугаев* (*фр.*).

Шахматове до 23-го августа, затем в Петербурге» // Там же. С. 254), Белый, якобы, немедленно написал Блоку настоящее письмо с сообщением точной даты своего приезда. Однако в п. 165, отправленном из Москвы 20 августа, Белый информирует Блока о том, что ждет его ответа до 25 августа (надо полагать, по своему московскому адресу). Наиболее вероятно, что 19 августа, на следующий день по получении известия от Л. Д. Блок, Белый в ответном (несохранившемся) письме сообщил ей о своем решении приехать в скором времени в Петербург — не указывая точной даты. 20 августа Л. Д. Блок писала Белому из Шахматова: «Вы нас совершенно не услыхали, Боря, и приезжаете в Петербург. <...> Вы тоже исполните свое обещание — не употреблять насилия: будете приходить к нам, как писали, часа на два раз в неделю, не будете присылать посыльных, цветов, хулиганов, швейцаров и т. п., а также и потоков писем. Когда приедете, сообщите нам по почте Ваш адрес, и я напишу Вам день, когда Вы можете застать нас дома. — Ал<ександра> Андр<еевна> и Саша просят меня написать Вам, что хотя их письма и написаны *до* получения клятвы Вашей, но они от своих слов не отказываются. Когда они писали свои письма — желали Вам только добра» (Там же. С. 255). Наиболее вероятно, что решение приехать в Петербург именно 23 августа Белый принял немедленно по получении цитированного письма Л. Д. Блок — о чем и оповестил Блока.

[2] Ресторан, в котором Белый встречался с Блоком 1 декабря 1905 года (см. п. 120, с. 257 наст. изд.).

[3] Эта фраза вызвана опасениями Белого (видимо, малообоснованными) относительно возможных преследований за его радикальную общественную позицию, выражавшуюся летом 1906 г. и в конкретных действиях — в частности, в попытках пропагандистской работы среди крестьян (см.: *О Блоке*. С. 235); 21 июля 1906 г. Белый писал матери в этой связи: «...я не знаю, одобряла ли бы Ты мои поступки в деревне по отношению к крестьянам: я, например, собирал их, объяснял им *всё* о Думе. <...> Не будучи уверен, как Ты относишься к правительственной гнусности, я должен был покинуть деревню, ибо мой долг приказывает мне крестьянам на все открывать глаза» (Воронин С. Д. Из писем Андрея Белого к матери // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986. Л., 1987. С. 66).

---

167. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 августа 1906. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Я в Петербурге[2]. Хочу *не* мешать Тебе. Когда могу видеть. Могу ли сегодня?[3]

Остаюсь любящий Тебя всегда

Боря

---

[1] Написано на бланке меблированного дома «Бель вю».

[2] Это пребывание в Петербурге (с 23 августа по первую декаду сентября 1906 г.) Белый подробно описал в мемуарах (*О Блоке*. С. 240—242; *Между двух революций*. С. 86—93).

[3] Ср. воспоминания Белого: «Приезжаю побитой собакой, не смея без зова явиться; сажусь на углу Караванной, поджав псиный хвост: им бить в пол и вымаливать милостей; так просидел в тусклом номере день: нет ответа; другой — нет ответа; на третий — отписка: от Щ.: принять — некогда; ждать извещения» (*Между двух революций*. С. 87; литерой «Щ.» Белый обозначает здесь Л. Д. Блок). Возможно, уклонение Блоков от встреч с Белым тогда объяснялось отчасти внешними причинами: в конце августа — начале сентября 1906 г. они переезжали на новую квартиру, отдельно от матери и отчима, по адресу: Лахтинская ул., д. 3, кв. 44. Именно на это обстоятельство указывает Л. Д. Блок в письме к Белому от 26 августа:

«Боря, простите, что не отвечала до сих пор. Вся поглощена нашим уходом на самостоятельную квартиру. <...> Она уже нанята и мы переедем числа 1-го—2-го сентября. <...> Когда приедете, напишите свой адрес к нам на старую квартиру <...>» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 256). Последняя процитированная фраза вызывает недоумение, уже высказанное комментатором этого текста Н. В. Котрелевым: она «не может быть опиской, так как отправление этого письма подразумевает знание адреса» (Там же; конверт от письма Л. Д. Блок не сохранился); начало же фразы («Когда приедете») позволяет предположить, что письмо было отправлено Белому не по адресу петербургского меблированного дома, где он остановился, — и что Л. Д. Блок не была знакома с содержанием последних писем Белого, полученных Блоком (п. 166, 167).

---

168. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19>06 года. 23 августа. <Петербург>

Саша, бесконечно милый, бесконечно ценный мне друг,

прости, прости, прости! Я глубоко виноват. Я позволил мареву, выросшему из долгих часов уединенной тревоги, овладеть собою. Я позволил себе заслонить Твой образ. Верь, что *только* бессмыслица и непонимание Твоих хороших слов, которые казались мне совсем нехорошими, заставило меня с отчаяния отвлечься от Тебя и стать на формальную, пустую, истерическую точку зрения. Это ужасно: так мало людей, нет людей, не на ком остановиться; я чувствовал, что теряю *единственное*, последнее, незабываемое. Кроме того: мне показалось, что Ты не понимаешь моих поступков с обидной мне точки зрения: я разучился в продолжение последних месяцев ужаса и кошмара ясно видеть и ясно слышать. И вот с отчаяния я решил, что только, когда я пойду под выстрелы, я сумею доказать, что я не то, что Ты обо мне можешь думать. Меня преследовал кошмар, что я могу иметь превратный вид, что у меня не лицо человека, а мертвая рожа.

И вот все вместе создало путаницу: мне казалось, что только *трагедия* очистит мрак, сгустившийся над моей головой.

Но я ошибся: прости, бесценный друг, прости, прости! Я постараюсь своим будущим поведением относительно Тебя загладить ужас своих кошмарных подозрений и заслужить Твою ясность. Сейчас же я даже не умею выразить чувств нежности и расположения к Тебе, которые меня охватили. Напиши мне сейчас же, сможешь ли Ты меня простить.

Остаюсь любящий Тебя

Боря

Целую Тебя![1]

---

[1] Возможно, косвенным объяснением отсутствия ответа Блока на это письмо служит фраза из письма Л. Д. Блок к Белому от 26 августа 1906 г.: «Саша очень издерган эти дни всякими практическими хлопотами — писать не может, как надо; но Вы знаете, как он относится к Вам; это так» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 256).

---

169. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<28 августа 1906. Петербург>[1]

Милый, глубокоуважаемый и близкий душе моей Саша,

я не знаю, получил ли Ты мое заказное письмо[2]. *Но* еще раз прошу у Тебя прощения. *Дуэль*, которую я хотел предложить Тебе[3], вытекала не из личного чувства неприязни, а из полного недоумения, непонимания ни себя, ни Тебя, ни всего окружающего. Я запутался: *марево* привалилось к очам — все закрыло: и в этом облаке мрака я ощущал невидимого, старинного, всю жизнь стерегущего меня врага. Я знал, что марево рассеется только от *личных отношений*, а не литературных, письменных, а Вы все противились моему переезду. Тут я увидел что-то провиденциально злое, и мне хотелось погибнуть лучше (я *конечно* не стал бы в Тебя стрелять), чем оставаться навсегда при ужасе. Вот как появилась моя клятва[4], в которой я видел единственное средство *мирным путем* спасти что-то огромное, дорогое и незабвенное в себе. Прости, прости, прости меня: я никогда не питал *зла* лично к Тебе, а только к силам, которые иногда, мне казалось, становились у Тебя за плечами и действовали непроизвольно против святыни моей души. Все это марево: всеми силами души постараюсь развеять его. А это невозможно на расстоянии.

Не сердись на мой приезд. Почти на коленях я прошу снисхождения. Я так устал, так безумно устал. Прости — усталость моя во мне говорила, когда я так грубо отнесся к Твоему *такому хорошему, такому ласковому* письму[5]. Милый брат, можешь ли Ты меня простить?

Любящий Тебя

Твой Боря

P. S. Мой адрес. Меблированный дом «Париж». № 20. Караванная улица. Угол Невского проспекта № 28—66 (вход с Караванной)[6].

---

[1] Датируется на основании пометы Блока синим карандашом: «28 авг. 1906».

[2] Имеется в виду п. 168.

[3] См. примеч. 2 к п. 162.

[4] Имеется в виду п. 161.

[5] Имеется в виду п. 162.

[6] Ближайшая после этого встреча Белого с Блоками состоялась 30 августа 1906 г.; сохранилось письмо Л. Д. Блок к Белому от 29 августа с приглашением прийти завтра, «только на часок среди дня, часа в 4», с припиской Блока: «Милый Боря, я на тебя совсем не сержусь, приходи завтра. *Твой Саша*» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 256). Еще одна встреча, на которой произошло решительное объяснение между ними и Белый дал «обещание не видеться: год» и «отдохнуть за границей» (*О Блоке.* С. 242), состоялась 7 сентября на новой квартире Блоков на Лахтинской ул. (см.: *Между двух революций.* С. 476).

---

170. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 ноября / 6 декабря 1906. Париж>[1]

Милый Саша! Верь или не верь, а я Тебя люблю. Или если не любовь, то нечто большее между нами. Во всяком случае отношения наши не могут оборваться так

тупо без *одного разговора с глазу на глаз*, важного, как жизнь. Этот разговор только имеет косвенное отношение ко всему, что случилось между нами. Центр его в другом. Ты не можешь уклониться от него, как и я не могу не говорить с Тобой в последнем обнажении правды. Этого обнажения в *последней правде не было между нами*. Оттого, быть может, в моем отношении к Тебе было так много лжи. Но одного не было: не было злонамеренности. То, что мне писала Л<юба> о *«Кусте»*, — ложь[2]. Я это отрицаю и потому не считаю себя причастным неправде здесь. Неправда моя к Тебе совсем в другом, как и Твоя неправда ко мне от нашей немоты друг перед другом в последнем обнажении. Этой немоты *не должно быть между людьми*. Когда я приеду, мы будем говорить. Я не знаю, буду ли я говорить с другом, или врагом, но с Тобой будет говорить только друг. Прощай. Если не хочешь, не пиши. Прими это уведомление, как начало моего сериозного поворота к Тебе в дружбе вне всего побочного между нами. Ты не можешь обрывать со мной все, потому что в противном так обрывать мог бы провалившийся и погибший без возврата. Я не верю и не хочу верить ничьей гибели. Хочу света. Верю, хоть тяжело.

Б. Б.

P. S. Посылаю Тебе свою карточку в знак примирения[3]. Надеюсь на ответную в знак начала Твоего ко мне прим<ирения>.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Открытка с наклеенным силуэтом Андрея Белого (факсимиле — в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940, вклейка между с. 208 и 209). Получено в Петербурге 26 ноября 1906 г. (дата почтового штемпеля). В Париже Белый обосновался с 1 декабря (н. ст.) 1906 г., до этого он около двух месяцев провел в Мюнхене (с 21 сентября / 4 октября).

[2] «Куст» — рассказ Белого, опубликованный в «Золотом Руне» (1906. № 7/9. С. 129—135). Л. Д. Блок восприняла его образный строй как оскорбительное по отношению к ней иносказательное изложение пережитых личных перипетий. 21 октября 1906 г. М. А. Бекетова записала в дневнике о Белом: «Напечатал в “Руне” фантастическое нечто (“Куст”), изображающее прекрасную огородникову дочку с “ведьмовскими глазами”, зеленым золотом волос и пр., которую насильственно держит дьявольский царь, прячущий ее от Иванушки-дурачка, а она-то его, Иванова, душа и т. д. <...> Этот бессильный пасквиль взбесил и разволновал Алю — Люба ни гу-гу ей, а сама, оказывается, написала Боре, что не желает больше иметь с ним дела. Он ответил, перевернувшись на каблучке, что не имел в виду ни ее, ни Сашу, т. к. Куст его царственный, а Сашу он очень уважает и ценит — и т. д.» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 619). В письме к Белому от 2/15 октября 1906 г. Л. Д. Блок заявляла, что публикация «Куста» — «поступок глубоко непорядочный»: «...нельзя так фотографически описывать какую бы то ни было женщину в рассказе такого содержания; это общее и первое замечание; второе — лично мое: Ваше издевательство над Сашей. Написать в припадке отчаяния Вы могли все; но отдать печатать — поступок вполне сознательный, и Вы за него вполне ответственны. Вы знали, *что* делаете, и решились на это» (Там же. С. 258). 9/22 октября она вновь писала Белому с еще большей резкостью, выражая свое негодование в связи с публикацией его стихотворного цикла «Одинокие» (Весы. 1906. № 8): «Скажу Вам прямо — не вижу больше ничего общего у меня с Вами. Ни Вы меня, ни я Вас не понимаем больше. <...> Вы считаете возможным печатать стихи столь интимные, что когда-то и мне Вы показали их с трудом <...> возобновление наших отношений дружественное еще не совсем невозможно, но в столь далеком будущем, что его не видно мне теперь» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18. Л. 133—134 об.). Сам Белый и впоследствии, в мемуарах отвергал упреки в умышленном скрытом автобиографизме «Куста» (см.: *Между двух революций*. С. 126).

[3] Эта фотография Белого, сделанная в Мюнхене, воспроизведена в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. Вклейка между с. 176 и 177. Дарственная надпись на ней: «Милому брату

в знак дружбы и нерушимой связи. 3 дек<абря 19>06 года. *Борис Бугаев*»; на обороте: «Жду очень "*Нечаянной Радости*". Хочу писать о Тебе».

---

171. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 ноября / 7 декабря 1906. Париж>[1]

А. А. БЛОКУ

Я помню — мне в дали холодной
Твой ясный светил ореол,
Когда ты дорогой свободной —
Дорогой негаснущей шел.

Былого восторга не стало.
Все скрылось: прошло — отошло.
Восторгом в ночи пропылало
Мое огневое чело.

И мы потухали, как свечи,
Как в ночь опускался закат.
Забыл ли ты прежние речи,
Мой странный, таинственный брат?

Ты видишь — в пространствах бескрайных
Сокрыта заветная цель.
Но в пытках, но в ужасах тайных
Ты брата забудешь: — ужель?

Тебе ль ничего я не значу?
И мне ль ты противник и враг?
Ты видишь — зову я и плачу.
Ты видишь — я беден и наг.

Но, милый, не верю в потерю:
Не гаснет бескрайная высь.
Молчанью не верю, не верю.
Не верю — и жду: отзовись[2].

Боря

Париж 7-го декабря.
Мой адрес. France. Paris. Passy (XVI). Rue du Ranelagh № 99.

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1906».

[2] Стихотворение впервые опубликовано в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 181—182.

---

172. БЛОК – БЕЛОМУ

6 декабря 1906. Петербург.
Пет<ербургская> ст<орона>. Лахтинская 3, кв. 44[1].

Боря.

Я получил и письмо, и фотографию, и стихи, но не отвечал тебе отчасти потому, что уезжал в Москву на конкурс Зол<отого> Руна[2]. Главное, впрочем, не мог тогда ответить, потому что недостаточно просто относился. Теперь — проще, и могу писать, но постараюсь писать меньше, чтобы не было неправды. И, конечно, прежде всего, только за себя одного. При теперешних условиях, когда все и всюду запутано, самое большое мое желание быть самим собой. Так вот: ты знаешь, что я не враг тебе сейчас и что о «Кусте» я совсем не думал и не думаю и не могу обижаться. Ты пишешь, по-моему, очень верно, что ложь в наших отношениях была и что она происходила от немоты. Тем более, необходимо теперь, когда мы оба узнали, что ложь была, всячески уходить от нее. И это, очевидно для меня, — *единственный долг* для нас в наших отношениях с тобой. Ты же пишешь принципиально, что «немоты не должно быть между людьми». Я могу исходить только из себя, а не из принципа, как бы он ни был высок. Потому говорю тебе: сейчас я думаю, что я ниже этого принципа, и, если и могу нарушить свою немоту по отнош<ению> к тебе, то только до изв<естной> степени, но не до конца. Если я позволю себе это относительное нарушение немоты, — опять будет ложь. Почему не могу до конца, ты знаешь: преимущественно от моего свойства (которое я в себе люблю): мне бесконечно легче уйти от любого человека, чем прийти к нему. Уйти я могу в одно мгновение, подходить мне надо очень долго и мучительно; теперь во мне нет мучительного по отнош<ению> к тебе, и потому еще нет путей. Навязывать себе какие бы то ни было пути я ни за что не стану, тем более в таких случаях, как наш; *важность* его я знаю очень хорошо и не могу не знать: не было бы всего, что было, если бы было не важно.

Теперь: если я еще не могу идти навстречу тебе и говорю тебе об этом, — то также не чувствую, что ты идешь мне навстречу. То, что ты пишешь, — и карточка и стихи и письмо, — я думаю, не полная правда потому, что ты говоришь, например, в письме о примирении, а в стихах: «Не гаснет бескрайная высь». Для меня вопрос дальше примирения, потому что мы еще *до знакомства* были за чертой вражды и мира. А «бескрайная высь» все-таки — стихи. И из всего остального — из слов и лица на фотогр<афической> карточке — я не вижу в тебе того, кого могу сейчас принять в свою душу. Для себя я и в этом еще вижу неправду, или, говоря твоим словом, еще не знаю твоего имени.

Но ведь, раз это важно, узнаю. Все, что необходимо, случится. Ты видишь, как я теперь пишу тебе, стараясь быть как можно элементарнее, суше и проще. Как же нам теперь говорить? Говорить всегда возможно, но нужно ли всегда? Я не понимаю твоего слова «обрывать», это совсем не то слово. «Обрывают» только те,

кто заинтересован или увлечен друг другом. А я глубоко верю, что мы были дальше этого.

Если хочешь, можно и говорить, но думаю, что полной правды не выйдет и что немота еще есть. Я же не боюсь такой неправды и очень склонен ее забывать скоро. Думаю только, что именно теперь нам особенно должно было бы избегать лжи. Если хочешь, будем писать друг другу, но только тогда, когда есть полная внутренняя возможность, как сейчас у меня. Знай только, что не «сержусь», не «обижаюсь», не могу говорить о «примирении». Совершенно могу так же, как ты, прислать карточку (только у меня нет теперь) и написать стихи тебе. Но для меня это еще не настоящее. И вот сейчас я тебя люблю так же, как любил, но и это еще не то.

Конечно, пришлю тебе «Неч<аянную> Радость», когда она выйдет. Пожалуйста, пиши мне «ты» с маленькой буквы, я думаю, так лучше.

Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 170 и 171.

[2] Блок был членом жюри литературно-художественного конкурса на тему «Дьявол», объявленного редакцией «Золотого Руна»; жюри заседало 2, 3 и 4 декабря 1906 г. (см.: Отчет жюри по конкурсу «Золотого Руна» на тему «Дьявол» // Золотое Руно. 1907. № 1. С. 74). Ироническую характеристику работы жюри (по литературному отделу в него, кроме Блока, входили В. Я. Брюсов, А. А. Курсинский и Вяч. Иванов, под председательством издателя «Золотого Руна» Н. П. Рябушинского) дал Брюсов в письме к З. Н. Гиппиус от 27 декабря 1906 г. (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 687—688). См. также: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 262—263.

---

173. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<15/28 декабря 1906. Париж>[1]

Дорогой Саша!

Письмо Твое получил. Сначала было смутно. Оценил тон Твоего письма — хороший, верный. Это порадовало. Показало мне, что мы можем писать друг другу. Не понравилось только то, что Ты, кажется мне, не вполне почувствовал, с *чем* я Тебе пишу. Обратил внимание больше на форму моих случайно набросанных слов, нежели на *мотивы* моего обращения к Тебе. Ведь и открытка, и стихи, и карточка только предлог обратиться к Тебе. Согласись, я не знал, как Ты смотришь *во внешнем* на наши отношения: о сущности их я не сомневался. Я знал, что есть, *должна быть вечная точка этих отношений*. Следовательно, ни Ты, ни я не можем *никак не относиться*: а молчать, не переписываться, значит утверждать ничто, значит позволить торжествовать бессмыслице. А чем больше дать воли *ничему*, тем тяжелее, запутанней будет в будущем. А что это *будущее будет*, ручательством тому хотя бы Твои же слова: *«до знакомства были за чертой вражды и мира»*. Но об этом потом.

Итак, чувство радости несколько парализовалось во мне тем, что мне показалось, будто Ты слишком психологически отнесся к карточке, стихам и пр.... А все это было очень просто: что имел под руками, то и послал.

Но потом понял, что Ты не мог бы отнестись к моему письму совсем просто. Может быть, *потом* отнесешься иначе.

Во всяком случае спасибо за ответ, честность и правду которого я вполне оценил.

Я не изменял в корне своего отношения к Тебе после того, как мы виделись в Петербурге; а тогда мне почудилось, что я уже знаю, где твердый фундамент наших отношений, *глубина которых* до сих пор не находила как будто этого фундамента (я пишу о Тебе и себе — только. Об отношения<х> *одного* к *одному* Тебе, личности к личности).

Я не писал Тебе до тех пор, пока не узнал в себе, что будущая основа этих отношений, несказанных *не со вчерашнего дня,* во мне окрепла. Но совершенно независимо от этой внутренней работы в отношении выяснения нашей связи — в событиях, касающихся не чисто меня и Тебя, как *свободных личностей,* произошла безобразная путаница и бессмыслица; выяснять ее я не мог: 1) не было никаких средств, 2) да и было ниже моего достоинства. (Человек, облитый ведром грязных помой, не пойдет ведь рассматривать, из какого ведра его окатили, а поспешит переменить одежду.)

Между тем все это могло повлиять во внешней механике отношений на Тебя и отраженно от Тебя на меня. Вот почему я и писал так *внешне*, и когда говорил об *«обрывании отношений»*, говорил только о механике, а не сущности.

Что побуждает меня обратиться к Тебе? То, что я, подойдя вплотную к смерти, проживя всю ночь в небытии (как труп)[2], понял одно: *свет* во мне не погас, а потому никакая романтика смерти (романтика надрыва) не оправдает безобразия того предательства над *Духом*, которое я хотел совершить своим самоубийством. *Никогда не вернусь на этот путь.*

Мне остался путь цели и смысла. И никакие низменные оскорбления не загасят во мне *Меня*; наоборот: возвысят, осмыслят. Но я знаю, что где Свет дается людям в их одиноком самоуглублении, там же предъявляются строгие требования быть с людьми. *Один человек не спасется.* Никогда не знал я так реально, так жизненно, как знаю теперь. И потому-то жизненным подвигом считаю я выяснять связь свою с людьми и работать над ней *во Имя.*

Не много людей я знаю *в пути*, т. е. в несказанном (5, 6 — не больше). И потому-то всю силу осмысливания Света я полагаю в работе над этими мне посланными связями, чтобы был путь, были люди, идущие и яснеющие от взаимности. Больше нет цели: все иное — надрыв или упорство косности. И если было между нами несказа́нное, то оно — только *неска́занное.* И если мы связаны неска́занным (ни враждой, ни миром), то *оно должно сказаться.* Ни я, ни Ты не властны ни упредить сказ, ни упорствовать в *«ничте»*, а выяснять, идти. И потому-то я уже из своих глубин (хотя бы только из своих) утверждая нужность и ценность Слова Жизни, должен стремиться к ясности, а не немоте: ибо в ясности только спасусь: *с людьми спасусь,* с людьми готов и страдать и радоваться: это самое последнее о мне самом. Это — о каждом. Между нами была немота. Она создала *ложь* (я пишу только об одном Тебе и об одном себе, т. е. о нас с Тобой). В этой лжи готов согласиться, что я виноват больше: но и Ты, и Ты виноват очень. (Пойми, что я стою *вне* обвинений, а в точке правды). Мне кажется — я начинаю понимать механику наших *«лжей»*. Знаю, как моя ложь вырастала (беру *т о л ь к о* свое отношение к Тебе). Хочу со временем Тебе признаться явно в ней. Но этим признанием (необходимым) я получаю право и Тебе предложить вопросы, долженствующие выяснить мне то, чего я в Тебе не понимаю (на что прежде с истерикой злился, называл в себе Тебя неискренним лицемером и т. д.), а теперь только объективно установляю.

Знаю, что письмами мы ничего не выясним: *выяснит жизнь и слова жизни* — слова наших личных, непосредственных бесед. Но правдивые письма — верю — подготовят спокойную почву, приготовят нас к тому, что мы хотя бы отчасти поймем, *кто* в *чем* находится; но главное: письма помогут разрушить *паралич* наших внешних отношений (отношения и внешние тоже могут влиять отраженно на *путь*, т. е. на несказанное). А вот когда нет между нами той минимальной сигнализации, которая все же возможна в письмах, и воцаряется *безликое, темное Ничто,* то в темноте этой могут возникать кошмары и сны, может расти *новая ложь* (в темноте можно себе что угодно представить, и это ложное представление, к несчастью, не может не превратиться в навязчивую идею, с которой трудно бороться даже реальностью).

Возобновление нашей переписки считаю я *правдой*, могущей парализовать *многое*: ведь все равно мы не разойдемся: *сошлись не случайно* — значит, с этим грех бороться.

Почему Тебе пишу? Знаю свет (как он звучит во мне — свет один ведь). В нескáзанном сказе моей встречи с Тобой лично еще до знакомства провидел (да и потом не раз видел) свет: поэтому провожу линию от себя к свету и от света к Тебе: хочу Тебя осветленным. Так же провожу линию света ко всем, мне посланным (6-ти) — от личности к личности по-разному (мои устанавливающиеся отношения к Мережковскому например индивидуально несказанны, но не так, как к З<инаиде> Н<иколаевне>); но потом уже осмысливаю в общем свете.

Моя неправда к Тебе выражалась, между прочим, и в том, что я допустил неслучайность появления Тебя лично связать с некоторыми другими невыявленными отношениями и *сквозь все* смотрел на Тебя: тут ложь и неправда — это я знаю. Тут уклон самого незабвенного в сферу *«всех и каждого»*. Я же хочу безликое *«все и каждый»* повернуть в *«каждый»* (посланный мне на пути то на крест, то на радость) *и все*. Если *каждый,* то и *все*, а не если *все*, то и *каждый.* Люди, мне посланные на пути, — Ты, Мережковский, Сережа, З<инаида> Н<иколаевна>, Философов[3]. Мне думается, что к этим *посланным* (посланникам от Бога) принадлежит и Твоя жена. Буду учиться все осмысливать, к каждому искать пути во Имя То, которое послало: буду угадывать каждого *в свете.* Знаю, что мой путь есть путь, назначенный каждому, кто хочет несомненного *света до Конца.* А не может не хотеть, кто свет в людях поставил над тьмою, или над электрическим, газовым освещением тьмы механикой отношений. Но путь мой — от каждого, как данного, ко всем, как спасенным. То, что я иногда опрокидывал и хотел идти то от всех к каждому (мертвая схема), то только от одного (через одного) сразу ко всем, — то была ложь. Эта ложь запутала мои к Тебе чувства (когда я смотрел на Тебя через *всё*, а не прямо проводил линию света от себя к Тебе). Но прости. В письме все это уж зазвучало *метафизикой.* Иначе быть и не может. Не смысл этой метафизики мне важен сейчас в отношении к Тебе, а только то, чтобы Ты понял меня в общем. Это общее — желание водворить между нами обоюдно честное отношение и совместно стремиться к правде нас с Тобой вне другого; я не коснусь субстанции этой правды, не коснусь пока (быть может, долго) деталей былой лжи. Не в этом полагаю я нужность *мне* моих писем к Тебе. Я хотел бы себе подготовить нормальную почву к тому, чтобы ощутить силу к разговору с Тобой, который будет со временем (не знаю, когда).

Нечего прибавлять, что я Тебя люблю *и не могу не любить* (это звучало бы фальшью). А хочу сказать только, что даже в самые ужасные минуты я вспоминал все хорошее, что было. Но несколько месяцев я шел явным путем гибели (с лета)

и дошел до предела. Прошел демонизм, но не погиб. Овладел, и уж теперь только одно *живо*: спастись, быть нужным Богу и людям. Вот все. Истерика бывает, но теперь это скорей — мертвая зыбь после бури (море после шторма не может сразу стать зеркалом): но бури нет.

Пиши же. Пиши, *когда* хочешь и *как* хочешь. Не смущайся словами: захочется ругать, ругай. *Но пусть умаляется ложь* наших личных с Тобой отношений.

Адрес. Paris. Passy (XVI). Rue du Ranelagh. 99. Жду книги[4].

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

Париж 28 декабря.

P. S. Желаю радостной встречи Нового Года.

Могу писать Тебе и личные письма (о нас с Тобой), и бытовые (о Париже).

P. S. Хотел отправить, но потом распечатал, чтобы вписать несколько слов уже субъективных — то, что переживал сейчас. Не ставь рядом *«postscriptum»* с объективным моим письмом. Просто лирическое излияние.

Аладьин должен был читать лекцию[5]. Не попал. С бойкого многолюдного Монпарнасса возвращался в тихий Пасси. Думал. Пришла знакомая боль (боль со мной всегда и только иногда доходит до почти физического ощущения — стиснешь зубы, выбежишь из комнаты, где люди, и ждешь, пока пройдет пароксизм, — я к боли отношусь спокойно, *даже с улыбкой* в тот самый момент, когда стискиваешь зубы, чтоб не закричать). Как все страшно и важно! Вижу, вижу — новые чаши ярости Божией прольются на человечество, запутавшееся в одном кошмаре. Никто сам не хочет *делать, решать, дерзать, искать* слов о пути. Со всеми *делается*. А надо, чтобы *делали*. Старая истина — слышал много раз, и только недавно во всей глубине восчувствовал. Оттого-то революция еще пока лишена смысла, оттого-то и мерзости буржуазной лжи (во всех сферах жизни) оказываются устойчивее бунта: мерзости *делают*, а люди от этого не *становятся*, с ними только *делается*. Сколько знаю в Москве сериозных и честных людей, с которыми только все *делается*, они страдают. Наконец, мист<ические> анархисты *«делается»* возвели в норму (так и надо). Ужас, ужас, ужас! Мерзость! Между нами многое *делалось*. Я по крайней мере хотел *делать*, но только наполовину, уступал тому, чтобы *делалось* — и гнусность! Так да не будет, не надо!

О, сколько у меня сил утверждать *определенность* слов и жизни по свободному почину во Имя: нечеловеческая мука, чуть не убив, открыла медленно и верно только одно: нет *«никчемных»* переживаний, не может быть невысказанных слов. Что невысказано, скажется. И мне страшно за того, кто не будет бороться за то, чтоб сказалось: потому что тогда вступает в свои права *делается*, из которого не может быть выхода без поисков *Имени и слов*. Охватила безумная жалость к тем, кто во власти кошмара, кто рабство называет свободой. А кругом только того и ждут, чтобы совершился подлог.

Так думал. Болел за людей, за себя, за важность бремени, просил дерзновений.

Пришел к Мережковскому. Один (З<инаиды> Н<иколаевны> и Философова не было) — читает, кроткий, ясный. Развели на керосинке чай и пили. Болтали, но за всем вставала глубина, а угли в камине вели свою тихую речь — еле слышное стрекотанье.

Мне захотелось вдруг внутренне поцеловать его ноги, поклонившись до земли. Слабый, малый, *а один сколько сделал*!

Боль угомонилась, притупилась. Несу крест свой твердо и бодро, хоть все ноет.

---

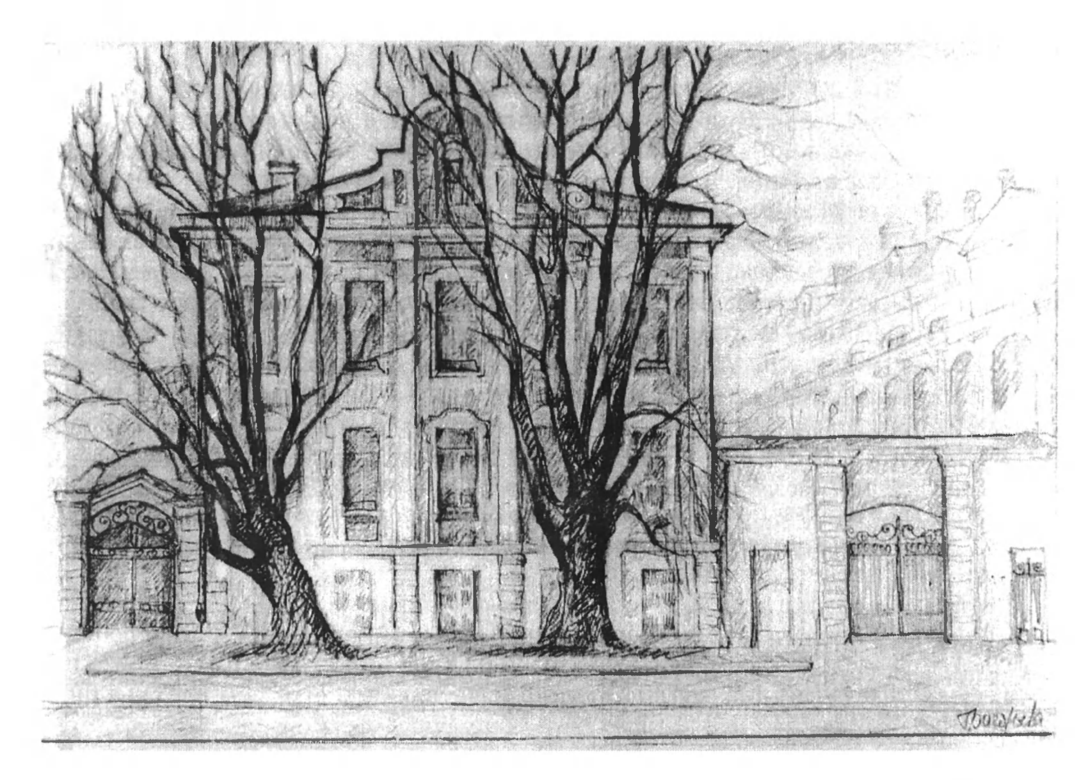
[1] Ответ на п. 172. Помета Блока синим карандашом: «1906, дек.». Вероятно, именно об этом письме вспоминает Белый в мемуарах: «Блок мне предстал; я, охваченный добрым порывом, ему написал, полагая: он сердцем на сердце — откликнется. Он же — молчал» (*Между двух революций.* С. 165).

[2] Белый намекает на свои переживания после объяснения с Блоками, в ночь с 7 на 8 сентября 1906 года, когда он готов был решиться на самоубийство. См.: *О Блоке.* С. 242; *Между двух революций.* С. 90—92. Такой возможный исход драматической коллизии в отношениях между Белым и Блоками, по всей видимости, затрагивался в ходе их петербургских встреч; ср. начальную фразу письма Л. Д. Блок к Белому от 2 октября 1906 года: «Вы должны помнить, что я Вас посылала на смерть; мне легче это делать, чем давать свое согласие, явно или тайно, на поступки непорядочные» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 258).

[3] С Д. В. Философовым Белый особенно тесно сблизился в Париже в декабре 1906 года.

[4] Имеется в виду книга Блока «Нечаянная Радость».

[5] О парижских встречах Белого с А. Ф. Аладьиным, делегатом от крестьянской курии в I Государственную думу, см.: *Между двух революций.* С. 144, 147, 149.



Санкт-Петербург. «Ректорский дом» (при Петербургском университете), где родился Александр Блок.

1907

174. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<5 марта 1907. Москва>

Многоуважаемый и дорогой Саша!

Обременяю Тебя просьбой.

Вера Николаевна Фидровская (France, Paris (XIV). Rue Couche 9. A madame Fidrovsky), пишущая в Сорбонну диссертацию о русском символизме, убедительно просила меня передать желание иметь Твои книги и стихи[1].

Пользуюсь случаем поблагодарить Тебя за любезную присылку книги[2].

Борис Бугаев

Москва 5-го марта 07 года.

Если бы Ты передал Соллогубу и Иванову письма? Я не знаю адресов обоих.

---

[1] Попытки выявить какие-либо дополнительные сведения об этом лице, предпринятые в Париже В. Е. Аллоем, успехом не увенчались. В. Н. Фидровская посещала Белого в январе 1907 г. в парижской больнице, где он находился после перенесенной операции: «...ходила и русская дама, писавшая книгу, — ученая: доктор Сорбонны; я ей диктовал текст главы: "Символизм"» (*Между двух революций.* С. 168).

[2] Имеется в виду книга Блока «Нечаянная Радость». Экземпляр ее, присланный Блоком Белому, не выявлен (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

---

175. БЛОК – БЕЛОМУ

<24 марта 1907. Петербург>

Милый Боря.

Приношу Тебе мою глубокую благодарность и любовное уважение за рецензию о «Неч<аянной> Радости», которую Ты поместил в «Перевале»[1]. Она имела

для меня очень большое значение простым и наглядным выяснением тех опаснейших для меня пунктов, которые я сознаю не менее. Но, принимая во внимание твои заключительные слова о «тревоге» и «горячей любви к обнаженной душе поэта»[2], я только прошу Тебя, бичуя мое кощунство, не принимать «Балаганчика» и подобного ему — за «горькие издевательства над своим прошлым»[3]. Издевательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и *должен* идти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности, — это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой под *детское* или просто *идиотское*» — слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Пишу это Тебе *не* казенно, и надеюсь, что Ты услышишь меня, как услышал в отзыве о «Неч<аянной> Радости».

Александр Блок

24. III. 07. СПб.

P. S. Не зная Твоего адреса[4], посылаю письмо через «Скорпион».

---

1 См.: Перевал. 1907. № 4 (февраль). С. 59—61. Рецензия на «Нечаянную Радость» вошла в книгу статей Белого «Арабески» (М., 1911. С. 458—463). Позже Белый перепечатал ее в «Воспоминаниях о Блоке» (см.: *О Блоке.* С. 209—212) с корректирующей содержание написанного характеристикой: «Что я пережил очень бурно и лично по отношению к А. А., выступает позднее в рецензии на второй том стихов. Считаю: оценка моя замечательной книги — несправедлива; перепечатываю ее, как необходимый, увы, документ отношений моих к его миру поэзии» (*О Блоке.* С. 209).

2 Имеется в виду следующий, заключительный фрагмент рецензии: «Сквозь бесовскую прелесть, сквозь ласки, расточаемые *чертенятами*, подчас сквозь подделку под *детское* или просто *идиотское*, обнажается вдруг надрыв души глубокой и чистой, как бы спрашивающей судьбу с удивленной покорностью: “Зачем, за что?” И увидав этот образ, мы уже не только преклоняемся перед крупным талантом, не только восхищаемся совершенством и новизною стихотворной техники, — мы начинаем горячо любить обнаженную душу поэта. Мы с тревогой ожидаем от нее не только совершенной словесности, но и совершенных путей жизни».

3 Подразумевается следующий фрагмент рецензии: «Каково идейное содержание высокочтимого поэта? Но тут приходится остановиться, потому что второй сборник стихов А. Блока выдвигает совершенно новые для поэта мотивы. *«Стихи о Прекрасной Даме»* (1-й сборн. стихов) окрашены совершенно определенным и весьма значительным содержанием. В неуловимых и нежных строчках поэт воспевает приближение *«вечно-женственного начала»* жизни <...> Вдруг он все оборвал... В драме *«Балаганчик»* горькие издевательства над своим прошлым. Последнее время злоупотребляли плохо понятой гностикой — это правда. Но правда и то, что издевательством не опровергнешь ни Платона, ни Плотина, ни Гёте, ни Данте. Ожидания могут быть неуместны. Но проблема остается проблемой. Она не терпит издевательств. <...> Нам становится страшно за автора. Да ведь это не *«Нечаянная Радость»*, а *«Отчаянное горе»*! В прекрасных стихах расточает автор ласки чертенятам и дракончикам. Опасные ласки! Ведь любой дракончик может вытянуться в настоящего дракона <...>».

4 В августе—сентябре 1906 г. Белый и его мать, А. Д. Бугаева, переехали из дома Рахманова на углу Арбата и Денежного переулка (где Белый родился и прожил до этого времени) по новому адресу, в дом Новикова — Арбат, Никольский пер., д. 21, кв. 7.

176. БЛОК – БЕЛОМУ

6 августа 1907. <Шахматово>[1]

Многоуважаемый и дорогой Борис Николаевич.

За последние месяцы я очень много думал о Тебе, очень внимательно читал все, что Ты пишешь, и слышал о Тебе от самых разнообразных людей самые разнообразные вещи. По-видимому, и Ты был в том же положении относительно меня; ввиду наших прежних отношений и того, что мы оба служим одному делу русской литературы, я считаю то положение, которое установилось теперь, совершенно ненормальным. Не только чувствую душевную потребность, но и считаю своим долгом написать Тебе это письмо[2].

Начну с того, что было последней побудительной причиной. Тастевен сейчас написал мне те условия, на которых Ты согласен возвратиться в «Зол<отое> Руно»[3]. Первое: чтобы «Руно перестало опираться на группу, идейное значение которой равно нулю». Я не понимаю, какую группу Ты разумеешь; «Руно» определяет ее чисто *внешним* образом: «петербургские литераторы» — и разумеет под этим *в данный момент* Вяч. Иванова, Городецкого и меня. Если Ты считаешь, что эти трое *и внутренним образом* составляют группу, и ищешь в ней значения, как «в группе», то Ты жестоко ошибаешься; впрочем, я буду говорить *только о себе и только за себя*, ибо в последнее время все менее и менее чувствую свое согласие с кем бы то ни было и предпочитаю следовать завету — *оставаться самим собой*. Между тем, собрав отзывы обо мне из Твоих статей и заметок в «Весах», «Перевале» и киевском журнальчике[4], я увидал, что Ты: 1) противоречишь себе на каждом шагу, а именно: называя меня одним из «корифеев русской литературы» (название, конечно, злое и ироническое)[5] и намекая на мою «скромность и честность» (?)[6], находишь в моих стихах «идиотское»[7] (вяжется ли это с «корифейством»?), говоришь, что я «неустанно кощунствую»[8] и что я хвалю Чулкова за то, что он меня похвалил (где же тогда честность? Где Ты прочитал, что я его хвалю, или как мог счесть за похвалу цитированье одного удачного стихотворения? Уж не думал ли Ты, что я *его* называю «светловзором»?[9]).

2) Исходя из понятия ненавистного Тебе «мистического реализма», Ты наклеиваешь на меня этот ярлык, *с которым я ничего общего не имел и не имею,* и с этой точки зрения критикуешь меня, уверяя, что я «описываю крендель булочной так, что волосы становятся дыбом» (?) и что я хуже Чехова (утверждение справедливое, но странное)[10].

Имею ответить на все это следующее:

1) Критику на свои произведения и критику самую строгую хочу слушать и хочу ею руководствоваться.

2) с «мистич<еским> реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом»[11] *никогда не имел, не имею и не буду иметь ничего общего.* Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражающими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт, если бы все Вы[12] его не раздували так отчаянно.

3) Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе особенно Зин<аида> Гиппиус в статье о «Перевале», по пов<оду> меня и Чулкова), — *не признаю*. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя[13].

4) Не считаю допустимым намеков на личные отношения в литерат<урной> полемике.

5) К *Георгию Чулкову* имею отношение как к человеку[14], и возмущаюсь выливанием помоев на голову его как человека. Считаю это *непорядочным*. Вяч. Иванова ценю, как писателя образованного и глубокого, и как прекрасного поэта, мировоззрение же его («мифотворчество») воспринимаю как лирику. Сергея Городецкого ценю, как прекрасного поэта. Твои произведения высоко ценю и со многими из Твоих принципов соглашаюсь.

6) Построением философских и литературных теорий сам не занимаюсь и упираюсь и буду упираться твердо, когда меня тянут в какую бы то ни было школу.

7) Думаю, что все *до сих пор* написанные мной произведения, которые я считаю удачными (а таковых немного) — *символические и романтические* произведения.

8) Считаю, что стою на твердом пути и что все написанное мной служит органическим продолжением первого — «Стихов о Прекрасной Даме». Ввиду этого, не понимаю Твоего отношения к моей литературной деятельности, поскольку ты считаешь мои новые произведения не связанными с прежними.

9) Упрек в *кощунстве* принимаю только *ограничительно*, считая, что все мы повинны в нем, и я не больше остальных. Никакого «оргиазма» не понимаю и желаю трезвого и простого отношения к действительности.

Что касается второго условия, которое Ты поставил З<олотому> Руну, я не понимаю, почему Ты требуешь себе и В. Я. Брюсову права *veto*, которого нет у «петерб<ургских> литераторов». Я считаю, что было бы справедливым иметь равные права обоим лагерям, если это действительно *реальные*, а не бутафорские лагери, в чем я сомневаюсь.

Считаю долгом сообщить Тебе, что я принял приглашение «Зол<отого> Руна» вести критич<еский> отдел независимо ни от кого, и ничьих влияний и давлений испытывать *не согласен*[15]. Считаю, что, по отношению к людям, я *minimum* имею *право* требовать от них честного и прямого к себе отношения — и *обязанность* — учиться у них тому, чего во мне недостает. *Maximum'ов*, т. е. любви, комплиментов и проч. (что часто связано с незаметным насаживанием на плечи) я не только не требую, но часто избегаю, ибо считаю себя *достаточно сильным, чтобы быть одним*.

Прошу Тебя ответить мне на это письмо. На Твои вопросы я готов отвечать. Что касается журнальной полемики, то я считаю своим *неприятным* долгом (потому что полемика, по-моему, слишком мелочна и ставит в тупик читающую публику) кратко высказаться в postscriptum'е одной из моих критич<еских> статей в «З<олотом> Руне»[16].

В заключение прошу Тебя, хотя бы кратко, *указать мне основной пункт Твоего со мной расхождения*. Этого пункта я не улавливаю, ибо, повторяю еще раз, к новейшим куцым теориям отношусь так же, как Ты[17].

Жму твою руку.

Александр Блок

Адрес мой *до 15 августа:* Н<иколаевская> ж. д., ст<анция> Подсолнечная, с<ельцо> Шахматово.

---

[1] Черновик этого письма сохранился в собрании В. Н. Орлова (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 2—12).

2 В черновике далее зачеркнуто: «...в котором касаюсь своего отношения и к основным и к злободневным вопросам».

3 Подразумеваемое здесь письмо Г. Э. Тастевена в архиве Блока не сохранилось. Сотрудничать в «Золотом Руне» Белый отказался в знак протеста против редакционно-издательских манер и амбиций владельца журнала Н. П. Рябушинского. В письме к З. Н. Гиппиус от 7—11 августа 1907 г. Белый сообщал: «С *"Руном"* у меня война. Еще в апреле я вышел из состава сотрудников. Потом Рябушинский просил меня вернуться. Я ответил ему письмом, что пока он Редактор, путного из *"Руна"* ничего не выйдет» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 5. Paris, 1988. С. 211. Публикация В. Аллоя). Подробнее о коллизиях, обусловивших затрагиваемую конфликтную ситуацию, см. в статье А. В. Лаврова «Золотое руно» (Русская литература и журналистика XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 153—162).

4 Имеется в виду издававшийся в Киеве в 1907—1909 гг. двухнедельный иллюстрированный литературно-художественный журнал «В мире Искусств», придерживавшийся модернистской ориентации.

5 Белый определяет Блока «корифеем российской словесности» в иронической рецензии на драму Г. Чулкова «Тайга» (СПб., «Оры», 1907). См.: Весы. 1907. № 6. С. 70.

6 Имеется в виду пассаж из статьи-памфлета Белого «На перевале. VII. Штемпелеванная калоша»: «Восхищаются тому, что символ последнего дерзновения — золотой "*булочный*" крендель, как о том возвестили. Но автор золотого кренделя скромен и честен» (Весы. 1907. № 5. С. 52. Обыгрывается строка из стихотворения Блока «Незнакомка» (1906): «Чуть золотится крендель булочной»).

7 См. это определение в рецензии Белого на «Нечаянную Радость» (примеч. 2 к п. 175); в других новейших произведениях Блока Белый видит «подделку под гримасу идиотизма» (Весы. 1907. № 7. С. 73. Рецензия на кн.: Белые Ночи. Петербургский альманах. СПб. 1907), «бессмысленные, идиотские бесчеловечные гримасы» (Перевал. 1907. № 5 (март). С. 51. Рецензия на кн.: Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник». Кн. 1. СПб., 1907). В таких аттестациях блоковского творчества Белого всецело поддерживал С. М. Соловьев, написавший ему (31 января 1907 г.) по прочтении его рецензии на «Нечаянную Радость»: «Относительно книги Блока вполне с тобой согласен. Идиотство и гениальность. Преобладает первое. Замечательно, что Блок первый в истории литературы совместил идиотство с дарованием» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 314).

8 О том, что Блок «неустанно кощунствует», Белый пишет в рецензии на альманах «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907). См.: Весы. 1907. № 6. С. 67.

9 В указанной рецензии на «Цветник Ор» Белый, давая крайне негативную характеристику стихов Г. Чулкова, продолжает: «Но г. Блок, в статье неосторожно задевший покойного Канта, восхвалил таинственного "светловзора" (решившего то, что не решил Кант) и потом неожиданно провозгласил поэтом г. Чулкова, что после восхвалений Чулковым Блока как-то... неожиданно» (Весы. 1907. № 6. С. 68—69). Здесь подразумевается статья Блока «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» (Золотое Руно. 1907. № 2), в заключительной части которой возникает образ «светловзора» и далее говорится о «настоящих людях, с человеческим удивлением в глазах», которые «придут и заговорят на новом языке»; в подтверждение высказанных надежд приводится (по рукописи, в полном объеме) стихотворение Чулкова «Гагара» («Стоит шест с гагарой...») с сопроводительной характеристикой: «Хочется сказать об этих северных светловзорах <...> простыми словами певца тайги — Георгия Чулкова» (V, 94). Хотя Блок и отрицает связь образа «светловзора» с Чулковым (композиционно в статье обозначенную вполне отчетливо), нельзя не отметить, что, кроме Чулкова, другого человека в кругу его знакомых, который «провел несколько лет в Сибири, среди тайги, в центре шаманства», как сообщается о «светловзоре» (V, 93), насколько известно, не было; безусловно, для создания этого условно-поэтического образа Блок воспользовался деталями биографии Чулкова и его рассказами о тайге и шаманстве.

10 Речь идет о следующем фрагменте из статьи Белого «Антон Павлович Чехов»: «...среди символистов последнего времени процветают тенденции, извне сочетающие реализм с символизмом. После Чехова такое сочетание — абсурд. *Мистические реалисты* открывают в баран-

ке и кренделе что-то особенное; они описывают крендель так, что волосы становятся дыбом» (В мире Искусств. 1907. № 11/12. С. 11. См. выше, примеч. 6).

[11] Эта идейная установка была провозглашена в брошюре Модеста Гофмана «Соборный индивидуализм» (СПб., 1907), пытавшегося на свой лад развить философско-эстетические положения Вяч. Иванова.

[12] Подразумеваются основные критики-полемисты «Весов» (помимо Белого, в первую очередь Брюсов, З. Н. Гиппиус и Эллис), активно выступавшие против «мистического анархизма» Г. Чулкова и близких ему идейно-эстетических веяний.

[13] Речь идет о статье З. Н. Гиппиус «Трихина», опубликованной под псевдонимом «Товарищ Герман» (Весы. 1907. № 5. С. 68—72). Негативно оценивая в ней деятельность журнала «Перевал», Гиппиус попутно высмеивает Чулкова и, в частности, его отзыв о «Балаганчике» Блока, помещенный в «Перевале»: «...над Блоком он так надрывается, что за Блока страшно. Блока Чулков прямо износил, истер. По поводу одного "Балаганчика", этой милой, не новой и никакого ни для кого не имеющей значения вещицы, — Чулков до сих пор высыпает, раз за разом, свой горох. В "Перевале" сызнова только что высыпал. Блок — "избранник", около Блока полезно сыпать, думает Чулков» — и т. д. (с. 71).

[14] В черновике письма: «К Георгию Чулкову имею отношение, как к человеку, [как поэта ценю Чулкова очень] мало».

[15] В № 4 «Золотого Руна» за 1907 г. было помещено редакционное объявление о том, что, вместо упраздняемого библиографического отдела, в журнале будут печататься «критические обозрения, дающие систематическую оценку литературных явлений. На ведение этих обозрений редакция заручилась согласием своего сотрудника А. Блока <...>»; там же было опубликовано заявление Блока, в котором определялись задачи и перспективы его работы в журнале. См.: V, 675, 788—789.

[16] Это намерение Блок осуществил не на страницах «Золотого Руна», а в статье «О современной критике», опубликованной в газете «Час» (1907. № 61, 4 декабря), в которой в развернутом виде сформулировал ряд тезисов этого письма. См.: V, 203—208. Белый откликнулся на нее ответным полемическим фельетоном «О критических перлах», опубликованным 5 декабря 1907 г. в газете «Раннее Утро».

[17] О причинах, побудивших к написанию этого послания, Блок рассказал в письме к Е. П. Иванову от 9 августа 1907 г.: «Дело касается развития наших отношений с Андреем Белым. Ты знаешь, как он отзывался в последнее время обо мне в "Весах". Недавно приезжавший ко мне секретарь "Золотого Руна" сообщил о его состоянии, крайне изнервленном, и отказался повторить те выражения, которые он употреблял в разговоре с ним обо всех "петербургских литераторах", и обо мне, вероятно, в том числе. Судя по всему этому и помня наши прежние отношения с ним, я решил, что он совершенно забыл меня или же никогда не знал; кроме того, сплетни оказали большое действие. В этом духе я написал ему очень определенное письмо, прося его *точно указать пункты нашего с ним разногласия* <...>» (VIII, 192). Ср. запись Блока от 1 августа 1907 г.: «Не считая ни для себя, ни для кого позором — учиться у Андрея Белого, я возражаю ему сейчас не по существу, а только на его способ критиковать, который погружает его самого, чисто внешним образом, в безвыходные противоречия» (ЗК, 96).

---

177. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<5 или 6 августа 1907. Москва>[1]

Милостивый Государь
Александр Александрович.

Спешу Вас известить об одной приятной для нас обоих вести. Отношения наши обрываются навсегда. Мне было трудно поставить крест на Вашем внутреннем

облике, ибо я имею обыкновение сериозно относиться к внутренней связи с той или иной личностью, раз эта личность называет себя моим другом. Потому-то я и очень мучался, хотел Вас привлекать к ответу за многие Ваши поступки (что было неприятно и для меня, и для Вас). Я издали продолжал за Вами следить. Наконец, когда Ваше «*Прошение*», pardon, статья о реалистах появилась в «Руне», где Вы беззастенчиво писали о том, чего не думали, мне все стало ясно[2]. Объяснение с Вами оказалось излишним. Теперь мне легко и спокойно. Спешу Вас уведомить, что если бы нам суждено когда-нибудь встретиться (чего не дай Бог) и Вы первый подадите мне руку, *я с Вами поздороваюсь*. Если же Вы постараетесь сделать вид, что мы незнакомы, или уклониться от встречи со мной, это будет мне тем приятнее[3].

Примите и прочее.

Борис Бугаев

---

[1] Основания для датировки: написано до получения п. 176 (корреспонденция из Москвы в Шахматово и обратно обычно доставлялась на второй, реже — на третий день); датировка ответного письма (п. 178).

[2] Статья «О реалистах» — первый из задуманных Блоком критических обзоров текущей литературы — была опубликована в № 5 «Золотого Руна» за 1907 г. (С. 63—72).

[3] Сообщив Е. П. Иванову (письмо от 9 августа 1907 г.) общее содержание своего письма к Белому от 6 августа, Блок продолжал: «С тою же почтой я получил от него письмо, разошедшееся с моим <...> Письмо написано в форме необыкновенно решительной и грубой. Вывод из него самый точный: он называет меня подлецом» (VIII, 193).

---

178. БЛОК – БЕЛОМУ

<8 августа 1907. Шахматово>[1]

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваше поведение относительно меня, Ваши сплетнические намеки в печати на мою личную жизнь, Ваше последнее письмо, в котором Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время «следили за мной издали», — и, наконец, Ваши хвастливые печатные и письменные заявления о том, что Вы только один на всем свете «страдаете» и никто, кроме Вас, не умеет страдать, — все это в достаточной степени надоело мне.

Оскорбляться на все это мне не приходило в голову, ибо я не считаю возможным оскорбляться[2] ни на шпиона, выслеживающего меня, ни на лакея, подозревающего меня в нечестности. Не желая, Милостивый Государь, обвинять Вас в лакействе и шпионстве[3], я склонен приписывать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию[4] меня Вами (о чем я писал Вам подробно в письме[5], отправленном *до* получения Вашего), или особого рода душевной болезни.

Каковы бы ни были причины, вызвавшие Ваши нападки на меня, я предоставляю Вам *десятидневный срок*[6] *со дня, которым помечено это письмо*, для того

чтобы Вы — или отказались от Ваших слов, в которые Вы не верите, — или прислали мне Вашего секунданта. Если *до 18 августа* Вы не исполните ни того, ни другого, я принужден буду сам принять соответствующие меры[7].

Александр Блок

8.VIII.07. Н<иколаевская> ж<елезная> д<орога>. Подсолнечная. С<ельцо> Шахматово.

---

1 Ответ на п. 177. Черновик этого письма сохранился в собрании В. Н. Орлова (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 13—15); первоначальная датировка текста — 7 августа (цифра «7» исправлена на «8»); помета: «Бугаеву 8 августа (послано 10 авг<уста>, срок — 18 авг<уста>)».

2 В черновике первоначально было: «...ибо я не имею привычки оскорбляться».

3 В черновике далее зачеркнуто: «я готов примириться с Вами на условии, чтобы Вы отказались от всех Ваших [слов] обвинений».

4 В черновике первоначально было: «забвению».

5 В черновике первоначально было: «в примирительном письме».

6 В черновике первоначально было: «*недельный срок*».

7 Ср. позднейшую характеристику инцидента в «Воспоминаниях о Блоке» Белого: «...в разгаре полемики я написал А. А. <...> немотивированное, до оскорбительности резкое письмо, обвиняющее его и в штрейкбрехерстве, и в потворстве капиталисту, и в заискивании перед писателями, сгруппированными вокруг Леонида Андреева, за которыми шла в это время вся масса читателей. А. А. возмутился до глубины души тем письмом; он прочел в нем мое обвинение его в подхалимстве; и тут же: я получил его дикий по гневу ответ, обвиняющий меня в клеветничестве; и оканчивающийся — вызовом на дуэль» (*О Блоке*. С. 282). Передав Е. П. Иванову (в письме от 9 августа 1907 г.) содержание своего ответного письма Белому, Блок дополнительно сообщал о принятом им решении: «Ровно год тому назад, как ты помнишь, он вызывал меня на дуэль. <...> Теперь думаю, что *иначе* поступить совершенно не могу; для меня ясно, что *если он не сумасшедший*, то дуэль неизбежна; для меня совершенно ясно, что действовать нужно решительно: если он сумасшедший, то его бесконечно жалко, и я готов более чем примириться с ним; если же нет, — то необходимо прекратить его поведение, а для этого единственный теперь выход — дуэль» (VIII, 193), — и просил Иванова быть его секундантом. В тот же день, присоединяясь к просьбе Блока приехать и выступить посредником в разрешении конфликта с Белым, Е. П. Иванову написала А. А. Кублицкая-Пиоттух: «...Андрей Белый, прочтя в редакции “Золотого Руна” Сашину статью о реалистах, написал Саше до того оскорбительное письмо, что прямо мы были ошеломлены. Лучше меня никто не знает Сашиных недостатков. Но обвинять его во лжи, подлости и двоедушии нельзя» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 292). См. также дневниковую запись М. А. Бекетовой от 7 августа 1907 года (там же. С. 624).

---

179. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

10-го августа <19>07 года. Москва[1]

Милостивый Государь
Александр Александрович!

Имею честь ответить Вам на Ваше пространное изложение спорных пунктов наших *литературных*[2] недоразумений.

Рекомендуя «Руну» не опираться на идейную группу, значение которой есть нуль, я прежде всего разумел неопределенно-расплывчатую группу лиц, прямо или косвенно проповедующих то *«многоликое»* миросозерцание, которое, если глядеть с одного боку, аттестуется «*соборным индивидуализмом*», с другого боку — *«эротизмом»*, или «мистическим анархизмом». Все же вместе так вообще в неопределенном и туманном смысле «мистическим реализмом» — он же «мифотворчество». (См. заявление Чулкова в *«Товарище»*, где поставлен знак равенства между мифотворчеством и мист<ическим> реализмом[3], но ведь и ложь *тоже* мифотворчество). Анализируя весьма поверхностно термин «соборный индивидуализм» (понять точный смысл претенциозной статьи Гофмана[4] нет никакой возможности, ибо это — суп из всех возможных на свете соборностей), мы ничего не усматриваем в нем: все религии мира, если они — продукт мифотворчества, имеют отправной точкой *«соборные индивидуализмы»*. Анализировать термин «эротизм» еще бесплоднее. Какой эротизм? В какой трактовке? Все вышеизложенные *«измы»* суть — кое-как сшитые кафтаны из старого хлама (иногда очень ценного): тут и лоскут парчи гностиков, и кусок из хитона, и ситец и бархат и т. д. + *безграмотность философская* авторов (Иванова, Чулкова, Гофмана и пр.). Вопрос о *методе* отсутствует: а методов десятки. И потому все эти новые теории имеют «многосмысленный смысл». Многосмысленность хороша, когда одним методом (принятым за основной) освещают все иные методологические решения по данному вопросу, но при первом требовании: «Объяснитесь реальнее», охотно идут на самый строгий анализ. Мистического анархизма нет: существует *«настроение»*, так определяемое. Ну, а ведь только полная безграмотность в области специальной философии (которая, т. е. философия, при *желании* преодолевается, но *не обходится* просто: так было бы легко все на свете разрешить) — я говорю, только полная безграмотность способна из настроения создать теорию: может быть *теория* настроений, но не может быть из *настроения* — теория. Все эти анархизмы, эротизмы и пр. я понимаю, как веяние (хорошее, дурное, необходимое, случайное — это другой вопрос), но из веяния ничего не получается, ничто не преодолевается и т. д.: следовательно, и крикливые заявления о преодолении символизма — *«вздор»*, ибо символизм помимо *«теории из настроения»* способен дать *теорию* самих переживаний. Мы приглашаем заняться разработкой теории символизма: без этого *предается* наследство недавнего прошлого. Здесь же, т. е. на почве символизма, решаются проблемы индивидуализма и соборности не на почве легковесного строительства из настроения. Мы говорим: кто же в принципе против соборного творчества, но как это творчество реализовать в пределах существующей исторической фазы человечества? Нам как бы отвечают: «Вы еще не восчувствовали, а мы восчувствовали нечто». Предоставляю область реализации «восчувствованного» *области искусства и определенного культа*. В последнем случае об опытах реализации скромнее молчать, ибо тут начинается область *эзотеризма*, область действительной мистерии, а не криков о ней. Да и, наконец, сильно подозреваю, что и *то немногое действительно восчувствованное* принадлежит по праву тем, кто в настоящую минуту с полным правом нападают на весь этот вздорный гам (1) на том основании, что нападающие опытнее в сфере восчувствований и сериознее относятся к *действительным* ценностям, 2) на том основании, что считают такие слова, какие раздаются кругом, профанацией у них же экспроприированного материала).

Но я уклонился в сторону. Возвращаюсь к основному предмету.

Итак, существует неопределенная группа лиц, которая преодолела все сложности философской мысли, антиномии в области морали и *весь еще не разрабо-*

танный материал, который принесло нам современное и прошлое искусство. Кто же эти герои? Я не разумею определенно никого, но я не имею право считать таковым одного Чулкова, ибо он говорит «мы, мы». И ссылается то на Вас, Александр Александрович[5], то на Иванова, Иванов на Городецкого, Городецкий еще на кого-нибудь. Итак, образуется теплая дружеская компания (в нашем представлении: здесь из Москвы не видно же действительных отношений к тем или иным идеям, а слышен то дружный гам: *«Мы, мы, мы, которые умнее, новее, смелее и т. д.»*, то гробовое молчание, когда, столкнувшись с тем или иным лицом, пробуешь себе объяснить, как оно в *действительности* относится к этой литературной провокации).

Далее: направление, которое считает себя на почве чистого символизма и признает всю трудность работы для укрепления своих позиций, представляется отжившим часто лицами, которые обязаны развитием своих идей этому же направлению. Мы говорим тогда: «Хорошо: вы нас преодолели; но ведь ваши исходные пункты в нас; и в этих исходных пунктах вы признаете нас стоящими на верном пути»; а мы говорим вам: «Наши позиции еще не защищены от целого ряда вопросов, которые вы игнорируете только потому, что не знаете их. Хорошо: мы перестаем вас считать своими и ставим вас лицом к лицу с действительными врагами: психофизиологией, теорией познания, этикой и т. д. Пишу лишь о *теоретическом* обосновании того или иного течения, ибо смешно спорить о художественных вещах. *Ведь весь спор не в том, кто пишет лучше стихи, а в том, что есть искусство, религия, мистика, философия и т. д.* Впрочем, иногда кажется, что новейшим соборникам до этого нет никакого дела, т. е. нет дела до культуры: ну тогда какое же право они имеют что-либо провозглашать: странно ведь, если кафедру астрономии займет *«костромской мужичок»*. Общее впечатление от новых теоретиков в их споре с культурой за варварство сводится к следующему диалогу между астрономом и пьяницей: *Астроном:* «Земля вертится, это доказал Коперник». *Пьяница*: «Коперник целый век учился, чтоб доказать земли вращенье. Дурак, зачем он не напился: тогда бы не было сомненья»[6]. Статьи в *«Факелах»* с пресловутым *«Как же иначе»*[7], или книга Чулкова о мистическом анархизме[8], поскольку тут есть вылазки против символизма, производит именно такое впечатление. И потому-то сериозной полемики со всем этим вздором быть не может. Поскольку же недисциплинированные умы *«так вообще»* интересующейся всем новым публики становятся от всей этой путаницы еще недисциплинированнее, постольку тактически приходится бичевать всю эту дикую неразбериху.

Ввиду внесения варварской струи в наиболее сложные и еще далеко не ясные вопросы современности *«Весы»* (после раздумья, *игнорировать* им все это или *нет*) решили посвятить несколько №№ решительному избиению соборного гама, чтобы потом поставить крест на всем этом *«шуме»* Петербурга, который не хочет спорить с более культурными соперниками и отвечает контр-полемикой — «шумной рекламой» *своих* (Чулков, Волошин, Иванов): это — приемы, столь дурно пахнущие, что они заслуживают самого жестокого бичевания.

И в то же время многие из петербуржцев открещиваются в частных письмах от того, чему они соучастны в печати, не протестуя против причисления себя к лику апологетов вздорных теорий. Хотя бы Вы, Александр Александрович. Вы в письме ко мне открещиваетесь от всякой школы, а разве Вы не зарегистрированы в мистико-анархисты, когда *«Mercure de France»* объявляет об этом на всю Европу[9]. Когда меня не в печати, а в частном только письме причли к мистич<ескому> анархизму, я постарался всячески *печатно* подчеркнуть о своей полной несолидар-

ности. Впрочем, тогда еще анархизм не распустился во всей своей *«махровой пустоте»*. Мы ждали, что Иванов и Вы, как сериозные люди и художники, не вынесете этого крика и печатно заявите о своей несолидарности с лицами, руками и ногами утаскивающими вас в свой *базар слов*. Вы этого не сделали. Мы изумлены. Поймите, что и не в терминах тут дело: может быть, завтра появится глубокое исследование об *«анархизме мистиков»*; тогда мы первые подчеркнем это. Пока же перед нами хвастливо машут неоплаченными идейными векселями на громадную сумму. Вот отчего *«Весы»* раздувают всю эту чепуху; не *чепуху* раздувают, а подчеркивают *спекуляцию идеями*, что всегда было нам чуждо. Как могли вторгнуться спекуляторы к *нам*, всегда идейно гордым. Вот в чем я Вас упрекаю (в потакательстве); я не думаю Вас *тащить* в школу (я знаю, что Вы идете своим путем). Столь же твердо я знаю, что и *я* иду *своим путем,* настолько своим, что не боюсь себя признавать *символистом*, ибо вопрос о школе есть вопрос об трактовании *метода* мысли, творчества, а не о *субстанции пути*, который у художника не может не быть своим. По-моему, Вы обязаны заявить *печатно* о Вашей неприкосновенности к той тенденции, которую Вам навязывают. Иначе получается впечатление, что Вы идете на идейных помочах Георгия Чулкова. И это вовсе не мое мнение, а мнение большинства москвичей из *«Перевала»*[10] и *«Весов»*. *«Весы»* с особенным интересом следят за Вашим идейным самоопределением, ибо *«Весам»* более чем кому-либо дорог Ваш всяческий облик (художественный и идейный). До публичного заявления о Вашей самостоятельности заявления в письмах не имеют цены. С одной стороны частное письмо, где Вы называете *«куцыми теоретиками»* Ваших друзей, с другой стороны *«Mercure de France»*, провозглашающий о Вашей солидарности с этими «куцыми теоретиками». И *«Весы»* считают Вас мистическим анархистом.

11 августа (письмо Ваше негодующее получил: ответ отправлен[11]; возвращаюсь к чисто литературной стороне).

Итак, я остановился на некоторой двуличности многих из тех, о которых заявляет Чулков «Мы, мы, мы», по отношению и к Чулкову, и к противникам Чулкова. Почему мистических анархистов нет, а мистический анархизм есть. Или потому, что нет *теории,* а просто людей подмывает к хаотизму. Почему эти фокусы с превращениями: целил в анархиста, а он оказался просто умным, симпатичным Иваном Ивановичем? Почему 10 Иванов Ивановичей, *милых* каждый в отдельности, в целом образуют нечто инстинктивно отталкивающее? Если Брюсова, например, отталкивает общая некультурность, профанация и т. д., то меня, помимо всего, отталкивает нечто инстинктивно враждебное (мистически враждебное) во всем этом *«несуществующем»* течении. Я вижу здесь еще робкую зарю грандиознейшего мистического хулиганства и вторгательство безусловно враждебных сил: и эта моя ненависть к *еще* не рожденной (но в потенции глубокой) теории коренится в очень глубоких моих убеждениях, что эта теория пойдет наперерез моим святым заветам о *мистике, как пути* свободном и ценном в противовес грядущей мистике спиритической (мистике одержимости), соблазнительной и неминуемо ведущей к провалу души (изнутри) и к порнографии (извне). Если же глубоких еще не осознанных черт нерожденной доктрины не существует в общем духе Петербурга, если отречение от *«своих»* только показатель внутреннего холода, то я не могу не подозревать бессознательного или даже сознательного (у Чулкова) шарлатанства; и когда я анализирую, в чем же основа этого шарлатанства у крикунов (вроде Чулкова, Гофмана и пр.), я начинаю думать, что это — карьеризм. Тогда зачем же Вы

все потакаете? Отчего не открещиваетесь? Или я старомоден во всей своей серьозности и Вы просто смеетесь над людьми, всерьез принимающими провозглашение *несуществующей* доктрины, однако же *осуществленной* в целой книге (Факелы)[12]. Объясните мне все это, Александр Александрович: я тут ровно ничего не понимаю.

Вам Эллис пишет: «Чулков хулиган»[13]. Это резко, но я понимаю Эллиса. Человек глубоко образованный в вопросах общественности (специалист финансового права, знаток Маркса, Родбертуса, Лассаля), сам сломавший свою жизнь над *одной* общественностью и вторично переживающий трагедию индивидуализма, имеет право детские «свистульки»[14] вроде соборного индивидуализма и прочего называть свистунством и хулиганством. Вы в ответ полу-соглашаетесь с ним. Это приводит его в вящщее негодование. Он спрашивает себя, почему же Вы ногами и руками не открещиваетесь. Он пишет Вам (правда) резкое письмо, но идущее от действительного *знания* и переживания: Вы в ответ становитесь на формальную точку зрения[15]. Вы или глухи, не понимаете подлинности его негодования (Вы ведь не изучали *года* то, над чем он сломал голову). Или Вы думаете, что и тут *«клеветничество»*. Другой случай со мной: по совершенно иным мотивам, мне так важно было *себя* и *Вас* проверить: я полтора года кричу Вам то письмами, то просто внутренним обращением к Вам: «Пойми же, пойми: ведь не личные отношения только в основе моего недоверия, непонимания Тебя!». Если цель всего — балаган*«чик»*, то ведь кажущиеся совпадения в самом *Главном* — обман; а я хотя и разбился от ряда ошибок, но я не предал *последнего*: я *знаю, я верю*. И Вы — молчите. Наконец, я теряю голову, пишу Вашей жене обвинения против Вас в Вашем поведении относительно 1) меня и Вас (в нашем личном), 2) в отношении нас троих. Вы — ни звука. Я из целой совокупности *непонятого* наконец пишу резко, быть может вовсе несправедливо, но от искреннего непонимания. Вы вместо ответа или *играете* молчанием, или вдруг вызываете меня на дуэль, находите во мне клеветничество! Или это *система, метод,* или мы с *разных планет*: но мне думается, что я более способен понять мимику португальца, объясняющегося по-русски, чем Вас, которого так долго считал «близким».

Я пишу о Вас лишь как о примере какого-то расхождения Петербурга и Москвы в самом интимном и сокровенном; неудивительно, что и во внешнем это сказывается во всей полемике нас, москвичей, против Петербурга. *«Мистических анархистов нет»* — да: но тенденция мистическая очень враждебная, неуловимая, как неуловим *«чёрт с хвостом, как у датской собаки»*[16], есть. Вы пишете: зачем раздувать *несуществующее*; я, Брюсов, Эллис, Соловьев и многие другие в Москве полагают обратное: потому-то и следует раздувать, что *«новейшая тенденция»* неуловима. О холере поздно горевать, когда она уже пришла: раз есть основание полагать возможность ее появления, следует произвести строжайшую дезинфекцию. И если наша дезинфекция есть *«клевета»*, намеки на *«личное»* — Христос с Вами: Вы глубоко ошибаетесь. А если Вы настаиваете, мы говорим: «Значит, во что-то попали». И недаром столь разные люди сходятся на *нелюбви* ко всей этой закваске Петербурга. Неспроста это.

Сейчас весь вечер говорил с А. Мейером[17]. Вот первый человек, который, отстаивая тенденцию, еще скрытую в Петербурге, говорил дельные вещи, хотя и безусловно мне враждебные. Вот если бы Вы все писали, как он говорит (у него есть и философская эрудиция, и способность теоретизировать). Вы же все в статьях ужасные путаники: читаешь и не знаешь, *где, что* и *о чем*. То глубина переживания, а рядом философская наивность, а то (рядом же) апелляция к туману,

«большим кораблям»[18], *«как же иначе»* — не то невольное шарлатанство, не то невыясненность — но все под фирмой и маркой всеобъемлющих синтезов, которыми нас не удивите: мы в свое время сами этим занимались и прекрасно понимаем, где проваливаются синтетические дерзания: нужно много лет *еще молчания* внутри, или *эзотеризма* в дерзаниях, а на поверхности работа, работа, работа. Говорил с Мейером долго. Он меня понял; понял мое негодование на профанацию Чулкова, детскость Иванова; но не понял, конечно, на чем основано наше негодование. Хотя бывшим у меня он *не* понравился.

Итак, Вы *не* анархист: Чулков оказывается, по Мейеру, тоже *не* анархист. М. Волошин, когда ему в глаза резко бросают осуждение, когда *«громят»* его друзей, только пыхтит и обливается потом. *«Я тут де в стороне»*. Дают ему рукопись моей *«Штемпел<еванной> Калоши»*[19]. Отвечает: «Хорошо написано» (?!!??!). И только? Почему же *он тоже предает своих друзей*?? С. Городецкого спрашивают о его нищенском лепете в «Факелах»[20]. Он отвечает — *«это шутка»*. Как шутка? Извините, в ответ на это может только последовать «конфузливое молчание»; и это молчание не в пользу Городецкого.

Итак, *тени* руками Городецкого, Чулкова, Мейера (Мейер тоже открещивается) заявляют о философском течении, преодолевающем то, что нам с Вами (Вы ведь по Вашему письму тоже символист) не преодолеть. А при личном объяснении с этими *«отсталыми»* символистами ретируются, потому что нечего сказать: раздаются печатные крики: «Мы, мы, новое учение» и скромно заявляется, что таковое наверное... *когда-нибудь будет*. Это ли не «хлестаковство»[21]? Вопрос о рекламе выдвигается невольно у меня, Брюсова и мн<огих> других на авансцену петербургского движения. Многие, как Вы, молчат; молчаливо сочувствуют крику, в частных письмах сообщают, так сказать, врагам по литературному лагерю (*«И мы с Вами»*) и удивляются, что мы их считаем *«мист<ическими> анархистами»* в неопределенном и подозрительном смысле этого слова. Если Ваши друзья плодят *«куцые теории»* и выдвигают Вас на своем знамени, почему же Вы не протестуете? Ведь если это квиэтизм, то он именно не есть показатель *своего пути*, а наоборот — какой-то непонятной «покорности». Разве мне не было тяжело резко выступить против уважаемого мной В. Иванова, разве приятно рвать целый ряд отношений, выслушивать комплименты: *«Клеветник»*. Удобнее было бы молчать и кивать на провокацию. Я считаю своей обязанностью выступить против Петербурга. Когда будет *сериозная теория,* или соглашусь, или буду сериозно полемизировать, а пока же вижу *«вредное беспочвенное многообразное шатание»*, совращающее и публику, и обесценивающее все *ценности*, все проблемы.

Вы фальшивы (может быть вполне бессознательно), или когда заявляете мне, что Вы символист, или когда молчите в ответ на провозглашение Вас одним из знамен подозрительной и несуществующей теории.

Вот мой пространный ответ на то, что я разумею под группой, идейное значение которой равно нулю.

Я не знаю, принадлежите ли Вы к этой группе, как не принадлежит к ней каждый из порознь взятых — Иванов, Мейер, Вы, Городецкий, Чулков и присные. Но каждый из Вас *что-то* такое считает в нас отжившим, что-то новое каждый из Вас намеком провозглашает. Мы спрашиваем: «Что, объяснитесь подробнее». И все Вы ускальзываете. И мистического анархизма нет. И Вас как бы нет. А факт *«большого крика»* налицо.

Посему не могу, не могу ответить точно на Вашу просьбу: «Прошу Тебя, хотя бы кратко, указать мне на основной пункт Твоего со мной расхождения». Я, во-

первых, не знаю *точной формулы* Вашего миросозерцания, Вашего литературного, общественного, религиозного, этического, философского *credo*. Свое *credo* формально при Вашем желании могу охарактеризовать. Думаю, что сейчас Вам это не интересно. Я знаю, и глубоко люблю Вашу поэзию. Последние периоды Вашей поэзии объективно (как искусство) ценю; многое по *«настроению»* мистически кажется мне абсолютно враждебным. В *«драмах»* Ваших[22] вижу постоянное *богохульство*; оно с моей точки зрения может иметь и нравственно высокий и очень низкий смысл. Не знаю, из *каких* оно фондов, ибо, повторяю, *«внутренне»* потерял Вас из виду. В статьях Вы пишете образно; из-под образов трудно уловить *формальный* смысл, а *форма* — единственный компас при внутреннем непонимании. Ничего не знаю, схожусь или расхожусь. Для этого нужен ряд вопросов, которые не умещаются в пределах и без того растянутого письма.

Вы, вероятно, многое из моих нападок вообще на Петербург слишком принимаете на свой счет; иногда непроизвольно получаются *«намеки»*, не адресованные ни к кому лично, но предполагающие каких-то лиц с крайне враждебной мне мистической и этической физиономией. Когда пишу о «кренделе»[23], *«чике»*[24], адресую не к Вам, а вообще ко всему кругу литературы, в котором Вы вращаетесь. Но и не могу не нападать. Я в данном случае выразитель лишь вообще настроения многих лиц в Москве, не кричащих о *соборности, дерзаниях, «333»* объятиях[25], но вовсе не считающих себя отсталыми, декадентами, индивидуалистами; *«индивидуализм»* среди нас (многих) есть лишь маска стыдливости и боязнь профанировать то, что еще очень смутно и ценно в душе.

Перехожу на последний пункт: по вопросу о *«veto»*. Вас, вероятно, превратно известили. Когда я требовал *«veto»*, то знал, что мое требование не будет принято. Хотелось оборвать переговоры с *«Руном»*. Я ушел из *«Руна»* после дикого произвола Рябушинского над помощником[26]: этически счел себя вправе проучить *«кулака»*, полагающего, что деньги позволяют ему оскорблять сослуживцев по журналу. Я сначала рекомендовал *«Руну»* иметь ответственного редактора, указывал на Вас, Иванова, даже Чулкова. И когда *«Руно»* отказалось, то я потребовал *«контроля»* над Рябушинским. К этому сводилось мое *«veto»* с Брюсовым. Если бы Вы, Иванов и пр. были в Москве, я указал бы на Вас. Но, согласитесь, сноситься из-за каждого *пустяка* с Петербургом немыслимо. Повторяю, мое *«veto»* было лишь средством скорее оборвать переговоры с «Руном».

Все, что касается у Вас в письме о *«veto»*, есть или превратно понятое (Вы, вероятно, не так были осведомлены); или Вы не *захотели* понять.

Мое заявление о том, что Вы — один из корифеев — искренно. «Гримасы идиотизма» — считаю, что они есть у Вас в поэзии, и мне видится тут *стилизация*, вместо непосредственно детского. Но разве это «инсинуация»? Разве Бэрдсли не *«гримасник»*? А неужели я не ценю Бэрдсли?

Вот исчерпывающий ответ Вам, Милостивый Государь; теперь судите, должны ли мы объясниться лично, или разойтись безвозвратно. Я думаю, будущее это покажет.

Примите мои пожелания

Борис Бугаев

P. S. Прилагаю мой ответ Рябушинскому[27].

---

[1] Ответ на п. 176. Начато до получения п. 178, закончено по его получении — 11 августа — и после отправки п. 180.

[2] Слово «литературных» дополнительно подчеркнуто Блоком красным карандашом.

[3] Подразумевается статья Г. Чулкова «Молодая поэзия», опубликованная в петербургской газете «Товарищ» (1907. № 337, 5 августа), в которой заявлялось, что на смену «уединенному символизму» и «декадентскому эстетизму» пришло «новое *литературное* течение» — «мистический реализм»: «Символизм, окрашенный в цвет философского идеализма, стал эволюционировать в сторону нового реализма, известного теперь под именем «мистического реализма» <...> Новые поэтические переживания породили и новую теорию поэзии. Вяч. Иванов провозглашает принципом новой поэзии принцип мифотворчества: тема поэтического творчества для поэта священна, и вокруг той реальности, которую он воспевает, создается некоторый культ».

[4] Подразумевается брошюра Модеста Гофмана «Соборный индивидуализм» (СПб., изд. «Кружка молодых», 1907).

[5] В упомянутой статье «Молодая поэзия», в частности, Чулков констатирует отражение новейших эстетических тенденций в творчестве Блока: «...для воплощения новых переживаний явилась и новая форма стиха, сочетавшая в себе и силу, и гибкость, и новую магию звукосочетаний. Таковы стихи, например, Александра Блока».

[6] Строки застольной песни (XIX в.), популярной в студенческой среде. См.: «В нашу гавань заходили корабли». Песни. М., 1995. С. 367.

[7] Имеется в виду статья С. Городецкого «На светлом пути. Поэзия Федора Сологуба, с точки зрения мистического анархизма» (Факелы. Кн. 2. СПб., 1907), содержащая такие умозаключения: «Всякий поэт должен быть мистиком-анархистом, потому что как же иначе?» (С. 193). Такой опыт «аргументации» вызвал естественный комический эффект в литературной среде. Ср. письмо С. В. Киссина (Муни) к В. Ф. Ходасевичу от 31 июля 1909 г.: «...“как же иначе”. Городецкому принадлежит только импрессионистическая эта формула. А применяется давно, многими» (Киссин С. (Муни). Легкое бремя: Стихи и проза. Переписка с В. Ф. Ходасевичем / Издание подготовила Инна Андреева. М., 1999. С. 208). О том, что Городецкий «прославился» этим «мистико-анархическим аргументом», Блок упомянул в позднейшей статье «Без божества, без вдохновенья» (1921; VI, 179).

[8] Книга Г. Чулкова «О мистическом анархизме» (СПб., «Факелы», 1906) со вступительной статьей Вяч. Иванова «О неприятии мира» вышла в свет в конце июня 1906 г. Белый в рецензии на нее сформулировал основные упреки: «случайность и неотчетливость определений», смешение и недостаточная дифференциация понятий анархизма и индивидуализма, поверхностная связь с общественностью, невнятность политических проекций (Золотое Руно. 1906. № 7/9. С. 174—175).

[9] Речь идет о статье (под рубрикой «Lettres russes») «Le Mysticisme anarchique» (Mercure de France. 1907. T. LXVIII. № 242, 16 juillet. P. 361—364) Е. П. Семенова, русского корреспондента парижского журнала, основанной, как указано в тексте, на беседе с Чулковым. Современные русские поэты были разделены в ней по трем группам: «декаденты», «неохристианские романтики» и «мистические анархисты»; к представителям последних причислены Вяч. Иванов, Блок, Городецкий и Чулков.

[10] «Перевал. Журнал свободной мысли», выходивший в Москве с ноября 1906 г. по ноябрь 1907 г. (№№ 1—12) под редакцией С. А. Соколова (Кречетова), в полемическом противостоянии «московских» и «петербургских» символистов по поводу «мистического анархизма» не занимал определенно выраженной позиции. См.: Соболев А. Л. «Перевал. Журнал свободной мысли». 1906—1907. Аннотированный указатель содержания. М., 1997.

[11] Имеются в виду п. 178 и п. 180.

[12] Имеется в виду кн. 2 «Факелов», включающая только философско-эстетические статьи, в большинстве своем с «мистико-анархическим» идейным уклоном.

[13] В недатированном письме к Блоку, относящемся к середине марта 1907 г., Эллис заявлял, что Чулков «может быть поставлен в число первых литературных хулиганов, далеко впереди Скитальца, Горького и др.» (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 288. Цензурная купюра в цитате восстановлена по рукописи).

[14] «Детская свистулька» — название 9-го критико-полемического фельетона Белого из цикла «На перевале» (Весы. 1907. № 8. С. 54—58), датируемого приблизительно теми же днями.

[15] См. письмо Блока к Эллису от 1 апреля 1907 г. (VIII, 185) и недатированное письмо Эллиса к Блоку (начало апреля 1907 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 290—291) с объявлением о разрыве отношений.

[16] Имеются в виду слова Ивана Карамазова («Братья Карамазовы», ч. 4, кн. 11, гл. X): «Он просто черт, дрянной, мелкий черт. <...> Раздень его и наверно отыщешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый...» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 15. С. 86).

[17] Об этом приезде А. А. Мейера (участвовавшего во 2-й книге «Факелов») Белый пишет в мемуарах: «...когда в “Перевал” петербуржцы прислали А. Мейера, чтобы склонять “Перевал” к их воинственной литературной политике, то Соколов выдал мне их намеренья; с Мейером я объяснился; ему стало ясно: друзьям его не было места в отделе статей и рецензий <...>» (*Между двух революций.* С. 221).

[18] Подразумевается заключительная фраза из авторского «Вместо предисловия» (август 1906 г.) к книге «Нечаянная Радость»: «Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли» (ПСС II, 215).

[19] Статья Белого «На перевале. VII. Штемпелеванная калоша», опубликованная в № 5 «Весов» за 1907 г. (С. 49—52. Подпись: Борис Бугаев). Волошин общался с Белым во время своего пребывания в Москве в мае 1907 г. В полемике вокруг «мистического анархизма» Волошин участия не принимал и о своей солидарности с одной из двух противоборствовавших группировок не заявлял.

[20] Подразумевается статья «На светлом пути» (см. выше, примеч. 7).

[21] О Чулкове как о новоявленном Хлестакове написала З. Н. Гиппиус (Антон Крайний) в фельетоне «Иван Александрович — неудачник» (Весы. 1906. № 8).

[22] Подразумеваются три драмы Блока — «Балаганчик» (Факелы. Кн. 1. СПб., 1906), «Король на площади» (Золотое Руно. 1907. № 4), «Незнакомка» (Весы. 1907. №№ 5—7).

[23] См. примеч. 6 к п. 176.

[24] Подразумевается высказывание по поводу пьесы «Балаганчик» в статье Белого «На перевале. VIII. Синематограф»: «Все, что угодно, только не балаган *“чик”*. Уж, пожалуйста, без *“чик”*: все эти *“чики”* — ехидная и, признаться сказать, гадкая штука <...>» (Весы. 1907. № 7. С. 51. Подпись: Борис Бугаев).

[25] Имеется в виду стихотворение Вяч. Иванова «Veneris figurae» (позднейшее заглавие — «Узлы змеи») с его первой строкой: «Триста тридцать три соблазна, триста тридцать три обряда» (Весы. 1907. № 1. С. 16).

[26] Подразумевается А. А. Курсинский, заведовавший в «Золотом Руне» литературно-критическим отделом с осени 1906 г. до марта 1907 г. В «письме в редакцию» Курсинский заявлял, что 16 марта он «вынужден был выйти как из числа сотрудников, так и из состава редакции “Золотого Руна”» (Утро. 1907. № 75, 18 марта. С. 6).

[27] Этот документ при письме не сохранился. Приложен был, вероятно, текст второго «письма в редакцию» Белого (Столичное Утро. 1907. № 62, 11 августа), написанного в ответ на «письмо в редакцию» Н. П. Рябушинского (Там же. № 60, 9 августа), содержавшее реакцию владельца «Золотого Руна» на первое «письмо в редакцию» Белого (Там же. № 58, 5 августа) с обвинениями руководства журнала в «явном нарушении правил литературной этики». См.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 160—162.

---

180. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<11 августа 1907. Москва>[1]

Милостивый Государь
Александр Александрович!

Меня до крайности удивило Ваше решительное письмо, основанное на извращенном, вероятно, понимании подлинного смысла письма, Вам отправленного[2]. В

этом письме я Вас уведомлял о том, что отныне Вы чужды мне, как совершенно посторонний человек. Вас это, вероятно, и удивило. А между тем, что же тут удивительного. Просто я понял, что мы говорим на разных языках; то, что Вы называете, например, *«корзинкой»*, я называю *«сахарницей»* и т. д.

То, что Вы пишете («я склонен приписать Ваше поведение — или какому-то грандиозному недоразумению и полному незнанию меня»), очевидно, совершенно справедливо. Но вот уже 1 $^1/_2$ года, как Вы все сделали для того, чтобы недоразумение мое о характере Вашей личности не рассеялось, а, наоборот, укрепилось. 1) После наших прошлогодних (в августе) недоразумений, я открыто сказал себе: «Должно быть, я неправ: надо выяснить». Я повернулся к Вам с полной готовностью принять Ваши объяснения о характере наших отношений. Вы промолчали довольно *оскорбительно* для меня в ответ на мое желание выяснить Вашу личность (а я так нуждался в том, ибо действительно питал к Вам в глубине души такую симпатию, какую редко к кому питал). Я уехал за границу, только потому, что питал к Вам симпатию (к Вам и к Вашей супруге); я думал, что расстояние внешнее рассеет путаницу наших отношений (в которой я был, быть может, столь же неправ, как и Вы; но я хотел *правды*, хотел честно произнесенных слов, а не *неопределенно-бездонных* молчаний). Я ошибся. Когда, по прошествию 4-х месяцев, я отправил Вам письмо, стихи и карточку[3] (поступок, который Вы извратили), я сделал это под влиянием хорошего, честного чувства. Я Вас продолжал ужасно любить и верить в Вас. Но недоумения мои о нравственном характере Вашей личности требовали, чтобы я Вас уведомил, что я нуждаюсь в личной беседе с глазу на глаз (где без посторонних свидетелей я мог бы как на духу Вам открыть мои мысли о Вас и без всякой предвзятости, наоборот, с верой, выслушать Ваш ответ). Я хотел нашей перепиской подготовить почву, чтобы гнетущее *меня молчание* (Вам, как мне казалось, выгодное) рассеялось и чтобы мы наконец при личной встрече увидели подлинные лица. Вы ответили опять письмом, общий тон которого мне показался обидным[4]. Мне оставалось сказать себе: «Он паразитирует на моем вынужденном в отношении к нему молчании» (это паразитизм нравственного порядка). Тут я и перестал Вам писать; и объяснения с Вами получили для меня характер «привлечения к ответу». Вы скажете: «Это — насилие». Но насилие это вытекало из желания моего перед лицом моей правды оправдать Вас. Тут я и начал вчитываться в Ваши строчки, перечитывать Ваши письма, стихи; жадно ловить каждую Вашу печатную строчку. Наконец, я часто и много слышал о Вас от посторонних. Вот этот-то интерес к Вашей личности и побудил меня сказать Вам, что я давно за Вами слежу. Вы поняли в буквальном и точном смысле (*«шпионство»*). Вольно ж Вам *так* понимать. Вот когда я увидел, что пропасть между нами выросла до последних пределов, я и написал Вам, что *все между нами кончено*; т. е. человек, которого я любил где-то в глубине глубин, стал для меня *один из многих*. Раз это так, все недоумения мои, мучающие меня, когда они направлены к близкому, теряют свой смысл, когда усилием воли я близкого превращаю в *далекого*. Падает пресловутое *«шпионство»* и *«лакейство»* (хорошие словечки, не правда ли?). И уж тем менее охоты мне принимать Ваш вызов на дуэль (дерутся там, где *глубина* сошлась с *глубиной* и нельзя распутать узла: так было в прошлом году, когда я Вас вызывал: теперь: *не так*. Теперь Вы для меня — посторонний, один из многих, а *со всеми не передерешься*)[5].

Теперь перехожу к моей фразе о Вашей статье, как о *«прошении»*, фразе, очевидно и вызвавшей у Вас столь решительный ответ. Согласен, она вырвалась в

минуту раздражения, когда после прочтения Вашей статьи, где Вы восхваляете глубоко бездарные «огарки» Скитальца[6], мне передали люди, возмущенные Вашей статьей, что будто Вы черновик читали Л. Андрееву[7]. Быть может, все это и не так (фактически), но что-то во мне вспыхнуло негодованием, и я тут же написал Вам в тоне, действительно оскорбительном. Охотно беру назад слова о *«прошении»*, потому что не призван судить Ваши литературные вкусы. В заключение, Милостивый Государь, могу сказать только одно: мы друг другу чужды. И если когда-нибудь мы встретимся (не формально), то только тогда, когда Вы искренно захотите объясниться со мной не в превратно понимаемых письмах, не при помощи полемики (о ней я Вам пишу в неотправленном еще письме в ответ на Ваше письмо о литературных делах), а в личной беседе с глазу на глаз, где я мог бы Вам высказать все накипевшие за 1 $^1/_2$ года мои недоумения и выслушать какие угодно обвинения меня с Вашей стороны. Как скоро Вы согласитесь искренно на такую беседу, я охотно сделаю все возможное, чтобы не умом только, но и сердцем понять, *что же это наконец происходит между нами.*

Примите и прочее

Борис Бугаев

Москва 11 августа.

P. S. Сегодня же постараюсь отправить ответное письмо о литературных «делах»[8].

---

[1] Ответ на п. 178.

[2] Имеется в виду п. 177.

[3] Имеются в виду п. 170 и 171.

[4] Имеется в виду п. 172.

[5] В «Воспоминаниях о Блоке» Белый так объясняет свой отказ от дуэли: «Я задумался над письмом своим; да, я нашел его резким, несправедливым; друзья тут вмешались, заставили меня написать объяснительное письмо Блоку; поводов к дуэли, действительных, не было; в третьих же: я дал слово, что никогда между нами не будет *"дуэли"*; и слова нарушить не мог» (*О Блоке*. С. 282).

[6] Имеется в виду следующий фрагмент статьи «О реалистах»: «Очень характерный безбытный писатель — Скиталец. В недавно вышедшем втором томе его «Рассказов и песен» (издание "Знания") есть талантливая повесть совсем горьковского типа. Она называется "Огарки". Это термин, обозначающий горьковских "бывших людей"». Давая далее общую характеристику содержания повести, Блок заключает: «...есть много таких людей, которые прочтут "Огарков" — и душа их тронется, как ледоходная река, какою-то нежной, звенящей, как льдины, музыкой» (V, 110, 111).

[7] Ко времени написания этого письма Блок еще не был лично знаком с Л. Андреевым. До Белого, вероятно, в искаженной форме дошли известия о готовившейся Андреевым летом 1907 г. реорганизации сборников «Знания» и привлечения к сотрудничеству некоторых модернистов, в том числе и Блока; этот проект вызвал неприятие со стороны М. Горького и не был реализован. См.: Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 304—307; Литературное наследство. Т. 72. Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка. М., 1965. С. 284, 287—288.

[8] Имеется в виду п. 179.

---

181. БЛОК – БЕЛОМУ

<15—17 августа 1907. Шахматово>[1]

Милостивый Государь Борис Николаевич.

Ваши два письма получил. Вопрос о дуэли, конечно, отпадает. Так же, как Вы берете назад слова о прошении, так и я беру назад «словечки о шпионстве и лакействе», вызванные озлоблением[2].

Ваши письма заставляют меня опять писать Вам. Вы ставите вопрос о наших личных и литерат<урных> отношениях так, что я чувствую потребность ответить со всей искренностью, какую могу выразить на словах. У меня нет здесь Ваших писем, но я помню главное и постараюсь объяснить, как все началось для меня, что я испытывал, получая их и встречаясь с Вами, и т. д.

Наше письменное знакомство завязалось, когда Вы сообщили через Ольгу Михайловну Соловьеву, что хотите писать мне[3]. Я сейчас же написал Вам, и первые наши письма сошлись. С первых же писем, как я сейчас думаю, стараясь определить суть дела, сказалось различие наших *темпераментов* и странное несоответствие между нами — роковое, сказал бы я. Вот как это выражалось у меня: я заранее глубоко любил и уважал Вас и Ваши стихи, Ваши мысли были необыкновенно важны для меня и, сверх всего (это самое главное), я чувствовал между нами *таинственную близость*, имени которой никогда не знал и не искал. В то время я жил очень неуравновешенно, так что в моей жизни преобладало одно из двух: или — страшное напряжение мистич<еских> переживаний (*всегда высоких*), или страшная мозговая лень, усталость, забвение обо всем. Кстати, — я думаю, что в моей жизни все так и шло, и долго еще будет идти тем же путем. *Теперь* вся разница только в том, что надо мною — «холодный белый день», а тогда я был «в тумане утреннем»[4]. Благодаря *холоду белого дня*, я нахожу в себе трезвость и бóльшую работоспособность, чем прежде, *но и только*. *По-прежнему*, как в пору нашего письменного знакомства, когда Вы любили меня и верили мне, во мне — *все те же* огненные переживания (правда, «поднимающиеся с ледяных полей души», как написал недавно — по пов<оду> «Снежной Маски» — В. Я. Брюсов[5]; за эти слова я глубоко благодарен ему, так как, почти не зная меня лично, он так тонко определил то, чего я сам бы не сумел), сменяющиеся мозговой ленью + трезвость белого дня (желанье слушать, учиться, определиться). Итак, я стою на том, что *по существу* — не изменился. Теперь — далее. В ту пору моей жизни, когда мы встретились с Вами, я узнал и драм<атическую> симфонию (не помню, до или после знакомства)[6], и вся наша переписка, сплетаясь с моей жизнью, образовала для меня симфонию необычайной и роковой сложности. *Я не разбирался в этой сложности.* Знаю одно: *мне было трудно понимать Вас и трудно писать Вам.* Я объяснял это — *ленью*. Ровно через год мы встретились. *Мне было трудно говорить с Вами*, и я опять объяснял это своей ленью. Но это было *не* единственной причиной... Причина, *вероятно главная,* сказалась при след<ующих> обстоятельствах: Вы помните, что в то же лето Вы приехали в Шахматово с Петровским. Помню резко и ясно, как мы гуляли в первую ночь нашего знакомства при луне[7], и Вы много говорили, а я, по обыкновению, молчал. Когда мы простились и разошлись по своим комнатам, я почувствовал к Вам *мистический страх.* Насколько помню, об этом реальнейшем для меня факте нашего знакомства я никогда Вам не говорил. В этом — м<ожет> б<ыть> — моя большая мистическая вина. В ту ночь я почувствовал

и пережил напряженно то, что мы — *«разного духа»*, что мы — духовные враги. Но я — *очень скептик,* тогда был мучительно скептик, — и следующее утро разогнало мой страх. Мне было по-прежнему только трудно с Вами. Думаю, что Вы тогда почувствовали, что происходило во мне, как вообще *непостижимо* (для меня и до сих пор) тонко чувствовали многое, как чувствовали и затрудненность нашего с Вами личного и письменного общения. Потом — пошли опять наши письма и наши встречи, которые в последние годы участились, благодаря тому, что известно Вам. Я решительно думаю: я не старался узнать Вас, как не стараюсь никогда узнавать никого, это — не мой прием. Я — принимаю или не принимаю, верю или не верю, но *не узнаю*, не умею. Вы, наоборот, хотите узнавать всегда, Вы, по темпераменту, пытливый, торопливый, быстро зажигающийся человек. Мы с Вами и письменно и устно объяснялись в любви друг другу, но делали это по-разному — и даже в этом не понимали друг друга. Вы, по-моему, подходили ко мне не так, как я себя сознавал, и до сих пор подходите не так. Вы хотели и хотите знать мою «моральную, философскую, религиозную физиономию». Я *не умею*, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторые из этих событий и переживаний не знает *никто на свете*, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. Это никогда не препятствовало и до с<их> п<ор> не преп<ятствует> моим отношениям к Вам. Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротики, я не хочу *душной атмосферы*, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в Бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в Бога — иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, *уверяю Вас,* эти сообщения *ничего* не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я — *очень* верю в себя, что ощущаю в себе какую-то *здоровую цельность* и способность и уменье быть *человеком* — вольным, независимым и честным. Но ведь и это не даст Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это *не* признания, *не* выкрики, *не* фразы, *не* «гам». *Все это я пережил и ношу в себе* — свои психологич<еские> свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологич<еских> свойств: *я предпочитаю людей идеям.* Мож<ет> быть, это значит: я предпочитаю *бессознательных людей, но пусть и так. Вы должны, если захотите, понять,* в какой мере это так, потому что знаете мое отношение к «родственности» и т. п. — Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь — милый, но 10 этих милых — *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, *«попускаю»*. Вина моя перед литературой — велика, если у меня вообще могут быть крупные вины или заслуги перед *русской литературой*: я допускаю, чтобы Чулков таскал по всем квартирам свою дурацкую схему поэтов[8], уверяя всех, оспаривающих ее, что она «верна только в данное мгновение и что отнюдь не следует ее принимать "вообще"» (или что-то в этом роде), и чтобы он же всучил ее какому-то идиотическому Семенову из Merc<ure> de France (в чем я не был уверен до Вашего письма, п<отому> ч<то> не читаю M<ercure> de Fr<ance>). (*Кстати:* я напишу на этот раз письмо в ред<акцию> «Весов», где публично, как Вы советуете, отрекусь от мист<ического> анарх<изма>[9]. Но мне нужно для этого знать точно, как именно выражается Семенов, чтобы, опровергая,

не проврАться. Потому — откладываю это до П<етер>бурга). Но, послушайте: неужели Вы думаете, что я «предаю друзей врагам», когда пишу Вам или Эллису насмешливо о Чулкове, а потом — «противоречу себе»[10]. Когда мне говорят: не правда ли — Чулков *подозрителен* в таком и таком-то отнош<ениях>? — я уклоняюсь, виляю (да, да), боюсь признаться другому в том, что подозреваю сам. Ведь, когда один человек думает о другом, — он свободен, когда же об этом другом уже «перемигнутся двое» — дело кончено, затравлен человек, и от травли еще увеличатся его пороки и еще уменьшатся добродетели. Когда же мне говорят: если Вы честный человек, Вы обязаны признать, что Чулков — негодяй, — я отвечаю злостно (о, это не формализм и не чиновничанье!).

Как все это сонно, томительно и страшно, Борис Николаевич. Я вязать и разрешать не берусь. Вчера, под впечатлением Ваших писем, я поехал в Москву, написал Вам из ресторана «Прага» письмо о том, что хотел бы говорить с Вами искренно и серьезно[11]. Это письмо прервал на половине, показалось, что письменно не изложить всего. Теперь продолжаю — и вот почему: когда лакей воротился с ответом, что Вас нет дома (это было в 10-м часу вечера), мне показалось, что так и надо, что нам все равно не сговориться устно. Но писать решаюсь продолжать, сейчас воротился из Москвы и вот пишу. Говорил всю дорогу с молодым ямщиком. У меня теперь очень крупные сложности в личной жизни. Когда же говорит ямщик, оказывается, что он — представитель 40-а простых миллионов, а я — представитель сотни «кающихся дворян» со сложностями. Ямщик ничего поделать не может с тем, что он «темен», а я с тем, что я — еще темнее, даже с «мистич<еским> анархизмом» ничего не могу поделать, не говоря о важном. Но я здоров и прост, становлюсь *все проще*, как только могу. В чем же дело? Вы скажете, что это — лень, ребячливые проклятые вопросы, что надо действовать, а не каяться, что я не знаю, наконец, теории познания. Так, все верно. Но и Л. Андреев (какой еще сплетник сообщил Вам, что я читал «черновик» Андрееву? Ни черновика, ни Андреева не было. Ох, уж эти Тата[12], Зина, Чулков, Вяч. Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц. Этой зимой вышло однажды из этих рассказов, что я уже умер), но и Л. Андреев, которого Вы уважаете, мучится проклятыми, аляповатыми, некультурными вопросами, мучается Россией, зная ее немногим больше меня, пожалуй. Ведь вот откуда мое хватанье за Скитальца; я за Волгу ухватился, за понятность слога, за отзывчивость души, за ее здоровую и тупую боль. Ведь я не стою на том, что *это* — искусство.

Чувствую, что всем, что пишу, еще более делаюсь чуждым Вам. Но я *всегда* был таким, почему же Вы прежде любили меня? «Или Вы были слепы?», — спрошу в свою очередь.

Драма моего миросозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я — *лирик*. Быть лириком — жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь — и ничего не останется. Веселье и жуть — сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала*, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет *только моя душа, — я не написал бы ни* одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение.

Теперь о другом.

Где «богохульство» в моих драмах (кроме Балаганчика)? Почему кощунственны строки: «в подушках, в креслах, на диване...»[13]. Это просто — скверные строки, как *почти* все мои стихи — в «Цветнике Ор». Сверх того, именно эти строки еще банальны и «дурного тона». Другое дело — стихи о «Весне» — они кощунственны[14]. Но объясните, что кощунственнее всего и что такое — кощунство? Когда я изде-

ваюсь над своим святым — *болею*. Но *«Балаганчику»* Вы придаете смысл чудовищный — зачем и за что? Если повернуть вопрос так, как Вы, — он омерзителен, вреден, пожалуй «мистико-анархичен». Поверните *проще* — выйдет ничтожная декадентская пьеска не без изящества и с какими-то типиками — неудавшимися картонными фигурками живых людей. —

Мои «хроники» в Руне[15] суть *рассуждения* на изв<естные> темы. Никаких *синтетических* задач не имел, ничего *окончательного* не высказывал; раздумывал и развивал клубок своих мыслей, м<ожет> б<ыть>, никому не нужных. Если бы мне предложили «создать журнал», быть редактором, или что-либо в этом роде, принял бы это за насмешку или наивность. У меня нет *на то* ни образования, ни умелости, ни тактики, ни твердой почвы. В Вашем *войске* (войске людей с отточенными мировоззрениями) *действовать* я не могу, потому что не умею принять приглашения укреплять теорию символизма. Сердце же мое, *по-прежнему*, лежит ближе к Вам, чем к факельщикам[16]. Вот почему мне бывает больно, когда Вы, или лица из Вашего кружка, относятся ко мне, как к совершенно чужому. Среди факельщиков (неуловимых, как я с Вами совершенно согласен) стоит особняком для меня Вяч. Иванов, человек глубоких ума и души — не пустышка[17]. Мы оба — лирики, оба любим колебания друг друга, так как за этими колебаниями стоят и сторожат наши лирические души. Сторожат они совершенно разное, потому, когда дело переходит на почву более твердую, мы расходимся с Вяч. Ивановым. К пунктам расхождения очень важным принадлежит, например, Л. Андреев, или мистич<еский> анархизм.

Если я кощунствую, то кощунства мои *с избытком* покрываются *стоянием на страже*. Так было, так есть и так будет. Душа моя — часовой несменяемый, она сторожит свое и не покинет поста. По ночам же — сомнения и страхи находят и на часового. Если мы *действительно* расходимся с Вами «в глубине глубин», то, значит, основательны мои мистические страхи при встрече с Вами, которые я описал, и основательны Ваши мистические подозрения «Снежной Маски»[18] (впрочем, коечто *и я подозреваю* в «Снежной Маске», но *и здесь* кощунство тонет в ином — высоком).

«Мы друг другу чужды», говорите Вы. Поставьте вопрос иначе: решаетесь ли Вы *верить лирику,* каков я, т. е., в худшем случае, — слепому, с миросозерцанием неустановившимся, тому, который чаще говорит *нет*, чем *да*. Примите во внимание, что речь идет *обо мне, никогда не изменявшемся по существу*. В таком случае, если и Вы — неизменны, — нет причин *не верить* теперь, *или* не было причин *верить* тогда. Если же Вы изменились, то есть, быть может, причины не верить теперь. Я же полагаю, что тот сильнейший перелом, который Вы переживаете теперь, *не изменяет Вас по существу*; Вы — все тот же, каким я Вас знал и теперь, когда я знаю о Вас по журналам и от третьих лиц. Переживаю перелом и я, но меня, уж я наверное знаю, он не меняет по существу. Если же все это так, то признайтесь: *надоело* Вам считаться с такою зыблемой, лирической душой, как моя. И я допускаю, что Вы правы — перед Вашим делом, что *во мне есть то*, из-за чего людей «покидают друзья», становящиеся на путь более твердый в *идейном* смысле.

Я допускаю, что нам надо разойтись, т. е., *не сходиться так,* как сходились мы до сих пор. Но думаю, что и в расхождении надо сохранить друг о друге то знание, которое дали нам опыт и жизнь. Я *храню* его сквозь все сплетни, сомнения, недоумения, озлобления, забвения. Считаюсь с Вами всегда. Вы, *я допускаю*, в положении более трудном: труднее хранить верное воспоминание о душе более зыб-

лемой и неверной, чем Ваша. Н о тут я и спрашиваю Вас, «как на духу», по Вашему выражению: уверены ли Вы, что Вы — *вернее* меня? Я утверждаю, что через всю мою неверность, предательства, падения, сомнения, ошибки — я *верен*. Предоставляю Вам сказать, что все, что пишу, — слова, слова, слова[19]. Но, *право*, я бы не писал, если бы это были слова, писать мне трудно, и для слов я не писал бы. В основании моей души лежит *не Балаганчик, клянусь*. Если бы в ее основе лежал Балаганчик, я не написал бы ни строчки этого письма, как не написал бы большинства своих стихов; написал бы разве стихи «о сажании символа на пароход»[20], которые, опять-таки, — поверните проще, проще, проще. Да не стоит и повертывать, об этом стихотворении я готов просто сказать — чёрт с ним.

Вы готовы сказать: «он пишет все о себе, когда дело идет о важном, об изгнании из литературы мистич<еского> анархизма, которому он потакает, да и еще кое о чем — более важном». Хорошо, я буду *отвечать* Вам на Ваше письмо со всею четкостью, на которую я способен в прозе. А пока скажу Вам. Я думаю, что все, что изложил письменно, не удалось бы мне сказать устно. Хотя письмо вышло очень хаотическое, но говорил бы я еше хаотичнее. Потому, м<ожет> б<ыть>, лучше, что мы не говорили с Вами в «Праге». *Теперь*, после этого письма, нам скорее можно говорить; если хотите, я готов снова приехать в Москву; м<ожет> б<ыть>, это нужно, т. е. нужно, чтобы Вы видели меня, а не читали только мои слова.

Снова перечитываю Ваши письма и отвечаю, как могу.

Да, мистич<еский> анархизм, соборн<ый> индивидуализм, эротизм, мистич<еский> реализм — я анализировать также не считаю возможным в том виде, в каком они существуют или не существуют в книгах Чулкова и Гофмана. Да, я разделяю Ваши опасения относит<ельно> «зари мистич<еского> хулиганства». Да, я признаю себя виновным в «потакательстве», которое выражалось в том, что я допускаю *такие* заявления, как в «Mercure de France». Не оправдываюсь. Потому, сочту своим долгом сказать *нет* этим теориям в письме в ред<акцию> «Весов». Считаю, что должен это сделать скорее, потому обращаюсь с просьбой к Вам; не имею в Москве другого источника. «Merc<ure> de France» я не имею возможности видеть, Вы же бываете в «Весах». Если бы Вы выписали мне точно ту *фразу*, в которой я причисляюсь к мист<ическим> анархистам, я был бы Вам очень обязан. Подписана ли статья Семеновым или кем-ниб<удь> другим? Это — первое. Впрочем, прибавлю все-таки: неужели я *литературно* подавал повод причислять меня к мист<ическому> анархизму? Думаю, что мои стихи свидетельствуют о противном. Таким образом, и «Весы» и Вы имеете лишь *формальные* поводы причислять меня к эт<ому> направл<ению> (на основ<ании> статей Чулкова и пр.), но где же право внутреннее? Вы могли бы знать меня настолько, чтобы не считать причастным сюда? Это говорит еще раз за то, что Вы не знаете или забыли меня.

Мое письмо в редакцию будет иметь для меня значение развязыванья рук и окончательного разрыва с теми тенденциями, которые желают поставить на *первый план* мою *зыблемость* (мистич<еский> анархизм и, значит, — адогматизм, иррационализм и т. д.), между тем, как я *сам* ставлю на первый план — мою незыблемую душу, «верную, сквозь всю свою неверность».

Далее: при всей неточности своего мировоззрения, я сознаю, что теория из настроения создана быть не может и не должна. Потому я издавна отношусь к вышеук<азанным> теориям, как к *лирике* — и *никогда не возвожу их в теории, принципы, пути*[21]. Но зачем Вы говорите о *карьеризме* и т. п. Всем нам приходит

это в голову. Но, ради Бога, не будем судить душу человеческую собором, пусть судит ее каждый из нас в отдельности. Совместное подчеркивание пороков или наклонностей к порокам — раздувает их, треплет и губит *человека, а не писателя.* Можно ли, например, писать, как З. Н. Гиппиус: «Чулков пристал к Блоку»[22]. Ведь это — неуважение к самой себе.

Если я не ответил на все частные пункты Ваших писем, то Вы можете вывести, как я отношусь к ним, — из всего остального. Но письмо разрослось. Если бы Вы ответили мне, я был бы очень рад. Говорить с Вами готов. Никаких бездонных умолчаний у меня нет. Я хочу проще, проще, проще. М<ожет> б<ыть>, если бы мы говорили с Вами, нам удалось бы выяснить подробности наших отношений, провинности друг перед другом в областях более интимных. Писать об этом — невозможно. Ну, так я готов говорить, хотя не знаю, скажу ли Вам что-либо новое. Пока же, примите мое уверение в уважении к Вам.

Александр Блок

15—17 августа. С<ельцо> Шахматово.

Забыл сообщить: пишу Тастевену[23], что, по моему личному мнению, Ваше письмо в ред<акцию> Зол<отого> Руна с возражением Вольфингу — следует поместить. Если же в этом письме содержатся «резкие выходки», как утверждает Рябушинский, то пусть редакция оговорит их в примечании[24].

---

1 Ответ на п. 179 и 180.

2 Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 14 августа 1907 г.: «Дуэли не будет, Ан. Белый “охотно берет свои слова назад” и не желает дуэли. Прислал ворохи “декадентских ведомостей”, как я называю его послания. Аля чуть не убилась с горя. Тяжелая была неделя» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 624). 15 августа 1907 г. А. А. Кублицкая-Пиоттух сообщала Е. П. Иванову: «Все уладилось. Андрей Белый взял назад свои обвинения. <...> Он прислал Саше 12 страниц писчей бумаги с объяснениями. Саша прочел их нам с Любой вслух <...>» (Там же. С. 293). Ему же написал и Блок 17 августа: «Все обошлось, Андрей Белый отказался от своих слов. Мы с ним в обширнейшей переписке. Теперь я не думаю, что он — сумасшедший, письма пишет умные» (Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.—Л., 1936. С. 61).

3 См. письмо О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 22 декабря 1902 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 193), а также с. 23 наст. изд.

4 Формулировки из стихотворения Вл. Соловьева «В тумане утреннем неверными шагами...» (1884).

5 В обзорной статье «Новые сборники стихов» Брюсов писал о книге Блока «Снежная Маска» (СПб., «Оры», 1907): «...нам кажется, что именно снежность, вечная холодность, составляет самое существо А. Блока, и что огненные вихри его переживаний подымаются только с ледяных полей его души» (Весы. 1907. № 5. С. 67).

6 «Симфония (2-я, драматическая)» Белого вышла в свет в апреле 1902 г.; рецензия Блока на нее была опубликована в № 4 «Нового Пути» за 1903 год.

7 Эту прогулку (видимо, вечером 10 июля 1904 г.) Белый описал в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке.* С. 90—91).

8 Подразумевается классификация современных русских поэтов, обнародованная Е. Семеновым в «Mercure de France».

9 Об этом намерении Блок оповестил также Г. И. Чулкова в письме от 17 августа 1907 г.: «“Весы” меня считают “мистическим анархистом” из-за “Mercure de France”. Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом Андрей Белый, с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму, по существу, я совсем не имею

никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою *зыблемость, неверность* <...> не считаю себя мистическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатно, в письме в редакцию, например, "Весов"» (VIII, 204). Ср. запись Блока от 20 августа 1907 г.: «Напишу письмо в редакцию "Весов" по поводу идиотского сообщения "Mercure de France"» (ЗК, 98).

10 Блок написал «насмешливо» о Чулкове, видимо, в несохранившемся письме к Эллису (первая половина марта 1907 г.), о содержании которого можно отчасти составить представление по ответному письму Эллиса (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 288—289). Ср. фразу из письма Эллиса к Блоку, относящегося к началу апреля 1907 г.: «...как объяснить мне Ваш отзыв о Чулкове в предыдущем письме, к<ото>рый абсолютно противоречит последнему письму» (Там же. С. 291); в «последнем» письме, от 1 апреля 1907 г., Блок заявлял Эллису: «Относительно Чулкова не хочу соглашаться с Вами. В нем есть правда, давно уже важная для меня <...>» (VIII, 185).

11 Это письмо к Белому не сохранилось. Ср. сообщение А. А. Кублицкой-Пиоттух в письме к Е. П. Иванову от 15 августа 1907 г.: «Саша <...> сегодня поехал объясняться с Бугаевым в Москву» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 293).

12 Т. Н. Гиппиус, в 1907 г. регулярно общавшаяся с Блоками, подробно описывала эти встречи в письмах к Белому (см.: Там же. С. 273—276, 278—279, 281—284).

13 Подразумевается строфа из стихотворения «Ушла. Но гиацинты ждали...» (31 марта 1907 г.), впервые опубликованного в альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907. С. 97) под заглавием «Послание»:

В подушках, в кресле, на диване
Живут стыдливые слова.
Мечта твоих благоуханий
На смятой ткани все жива.

В рецензии на «Цветник Ор» Белый писал о Блоке: «И у лирика есть круг обязанностей: держать высоко знамя искусства. Но он кощунствует и на лирику, <...> надоедая дешевым и приевшимся модернизмом, доходя до таких стихов» — далее процитированы первые две из приведенных строк (Весы. 1907. № 6. С. 68). В последующих своих книгах Блок печатал это стихотворение без приведенной строфы (см.: ПСС II, 464, 826—827).

14 Имеется в виду цикл из трех стихотворений «Ненужная весна», также впервые опубликованный в «Цветнике Ор» (С. 99—101). В рецензии на этот альманах Белый, процитировав строки из «Ненужной весны»: «Она сера и неумыта, // Она развратна до конца», — заключал: «Ах, Весна ли развратна? Весна безразлична сама по себе; всякий вносит в Нее свое содержание. На кого же сердиться поэту, если и Весна для него развратна? И хочется вздохнуть: "Надоели ералашные глубины: будьте хоть лириком, г. Блок, если вы не мистик; а то вы по старой привычке все еще провещиваетесь там, где вопрос только в отделке стиха"» (Весы. 1907. № 6. С. 68). Блок не включал «Ненужную весну» ни в одну из своих стихотворных книг. См.: ПСС IV, 594.

15 Статьи «О реалистах» и «О лирике» (июнь-июль 1907 г.), опубликованная в № 6 «Золотого Руна» за 1907 г., к тому времени еще в свет не вышедшем.

16 Подразумеваются участники сборников «Факелы» (кн. 1—3. СПб., 1906—1908), идейно и эстетически близкие их учредителю Г. Чулкову. Такая формулировка была возвещена со страниц «Весов» — в статье Вяч. Иванова «О "факельщиках" и других именах собирательных» (1906. № 6), представлявшей собой полемический отклик на статью Брюсова (Аврелия) «Вехи. IV. "Факелы"» (Весы. 1906. № 5).

17 Ср. запись Блока от 20 августа 1907 г.: «Мистический анархизм неуловим, как справедливо писал мне Бугаев. Совершенно в стороне для меня в этом отношении стоит Вячеслав Иванов, который глубоко образован и писатель замечательный <...>» (ЗК, 97).

18 Попутный иронический отзыв о «Снежной Маске» Белый дал в статье «На перевале. VIII. Синематограф», по ходу рассуждений о современных писателях: «Многие из них совершают триумфальное шествие по жизни — может быть в колеснице, везомые на костер? О, нет: просто в удобных тележках» (Весы. 1907. № 7. С. 52. Обыгрывается образный строй стихотворения «На снежном костре»).

19 «Слова, слова, слова» — реплика Гамлета (Шекспир, «Гамлет», акт II, сцена 2).

[20] Подразумевается стихотворение «Поэт» («Сидят у окошка с папой...», июль 1905), впервые опубликованное в книге «Нечаянная Радость», со строками о Прекрасной Даме: «Она не придет никогда: // Она не ездит на пароходе». Белый в рецензии на «Нечаянную Радость» писал: «И вот <...> мы узнаем, что *"Прекрасная Дама"* не путешествует на пароходах <...> Нам становится страшно за автора» (Перевал. 1907. № 4 (февраль). С. 59—60).

[21] Сходное высказывание — в письме Блока к Чулкову от 17 августа 1907 г.: «...я не относился к мистическому анархизму никогда как к теории, а воспринимал его лирически» (VIII, 204).

[22] Блок суммарно характеризует высказывания о Чулкове в статье Гиппиус «Трихина» (см. примеч. 13 к п. 176). По прочтении 5-го номера «Весов», включавшего эту статью, Чулков откликнулся в письме к Блоку от 13 июня 1907 г.: «Напишите мне, пожалуйста, два слова о "Весах". Как Вы это чувствуете? Мне очень стыдно за Зинаиду Николаевну и Белого. И что же это такое, наконец?» (*ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 400).

[23] Письма Блока к Г. Э. Тастевену, вероятно, не сохранились.

[24] Речь идет о «Письме в редакцию» Белого по поводу статьи Вольфинга (псевдоним Э. К. Метнера) «Борис Бугаев против музыки», напечатанной в «Золотом Руне» (1907. № 5). Готовность Н. П. Рябушинского поместить в «Золотом Руне» «письмо» Белого лишь при условии возвращения последнего в состав постоянных сотрудников журнала вызвало очередной инцидент между Белым и редакцией «Золотого Руна» (см. примеч. 27 к п. 179), повлекший за собой уход из этого журнала ряда ведущих сотрудников «Весов». «Письмо в редакцию» Белого было опубликовано в «Перевале» (1907. № 10. С. 58—60) с авторским примечанием: «Это письмо было отвергнуто редакцией "Золотого Руна" на том основании, что я не захотел вернуться в состав сотрудников. Между прочим мне было указано на то, что в моем письме есть "выходки" против некоторых писателей. Предоставляю на суд публики, представляет ли мое письмо "выходку", или нет».

---

182. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 августа 1907. Москва>[1]

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Ваше письмо произвело на меня глубокое и сильное впечатление. Многое понял о Вас я *достоверно*. Весь трагизм постепенно выраставшего непонимания Вас с моей стороны, быть может оттого, что это письмо написано не полтора года тому назад. Я вовсе не хочу *слов*, формул, как цели, но хочется *формулой* успокоить ум, чтобы тем вернее верить *людям*, а не *идеям*; когда же начинаешь терять людей, остаются только формулы идеи, и тут-то становишься на строго-моральную точку зрения. Когда изменяют ценности, как слепой, руководствуешься только долгом. Вероятно, Вы не подозревали о том, как перемучился я сомнениями о Вас за истекшие полтора года, подкрепляемые Вашим (в моем представлении намеренным) молчанием, т. е. (опять-таки, по-моему, намеренным) нежеланием сказать вслух о том, что каждый из нас (про себя) мог думать друг о друге. Наконец, полемика между Москвой и Петербургом окончательно затушевала Вас.

Ваше письмо для меня — факт громадной важности, ибо я действительно считал *всегда* наши отношения *роковыми* (независимо от разности или сходства, *НЕЗАВИСИМО* от созданного положения вещей между нами).

Я знал, что из *«Праги»* за мной посылали *Вы* (конечно, чутьем), и тем больнее мне было, когда я вернулся (уходил к незначительным знакомым отдохнуть от суеты дня); я ждал утром, что вот меня позовут. Но, может быть, это и к лучшему;

ведь только о такой письменной подготовке наших отношений, какая создалась Вашим письмом, я и мечтал, когда имел честь писать вам из Парижа[2]. Тем больнее мне было, что Вы тогда (как мне казалось) не хотели понять этого моего желания *быть проще, проще, проще.*

Мне думается, было бы *важно, нужно нам увидаться.* Если бы Вы сочли возможным приехать в Москву, я считал бы очень важным для себя, для нас поговорить с Вами сериозно и искренне как о том, что не вполне укладывается в письмах, так и о прочем (литературном). В случае, если Вам *трудно* приехать, известите. Тогда я отвечу Вам подробно на Ваше письмо, сообщу фразу из «*M<ercure> de Fr<ance>*», и т. д.

Жду очень или Вас, или письма с указанием на Ваш адрес. Верьте, я принял Ваше письмо с той же глубиной искренности, с какой оно написано Вами. Спасибо!

Крепко жму Вашу руку.

Глубокоуважающий Вас Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 181. Помета Блока: «Получ. 20 авг. 1907». Датируется на основании этой пометы, а также авторской датировки п. 183.

[2] Имеется в виду, вероятно, п. 170.

---

183. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 августа 1907. Москва>

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович,

Я отправил Вам сегодня письмо[1], но спохватился: отправил его *не заказным.* Ввиду частой потери писем считаю нужным повторить Вам резюмэ отправленного письма *еще раз.*

Ваше письмо для меня — событие большой важности. Я радуюсь, во-первых, тому, что Ваш образ выясняется в моей душе, приближаясь к тому месту, которое он *должен занимать независимо* от того, сходимся мы или нет, враждебны мы по духу или сходственны. Все эти различия темпераментов, вкусов, индивидуальности, конечно имеют значение в определении *рельефа* отношений, но они не касаются вопроса о нравственном пьедестале личности. Считая, что этот пьедестал независимо от всех моих недостатков, падений, кощунств у меня остался незыблемым, я долгое время не мог сообразоваться, как же мне на Вас смотреть (сверху вниз, снизу вверх, на одном уровне). А я всегда бы хотел Вас видеть независимо от всех возможных сближений и удалений психологических для себя на пьедестале. Ваше письмо открыло мне глаза на многое. Лирический пафос души, предполагающий слова о несказáнном, я способен и ценить, и понимать; я никогда не требую объяснений; но раз многое во взаимной лирике столкновений переходит в диссонанс, то нужно для исчезновения химер взаимного недоверия перейти к твердыням трезвого уяснения. И вот тут-то невольно хочешь, чтобы туман не-

сказа́нности на время рассеялся и обозначилось то, что под ним: вершина или болото. Ваше письмо меня во многом успокаивает *раз навсегда*.

Во-вторых, я рад, что Вы стали на ту точку зрения по отношению ко мне, на какую я пытался стать по отношению к Вам еще в бытность мою в Париже; но, вероятно, письмо мое не выражало сущности моих намерений, и Вы отнеслись к нему лишь как к лирическому моменту, а не как к трезво обдуманному решению. Это и породило дальнейшую неясность наших отношений. *Сегодня я в первый раз за полтора года чувствовал себя нравственно успокоенным*: это показывает Вам без слов, насколько тяжело мне было мое вынужденное отношение к Вам и насколько я люблю Ваш образ в своей душе (каким бы он ни был, родственным или враждебным) видеть на подобающем пьедестале.

Александр Александрович, Вы напрасно полагаете, что я *забыл Вас*: вопреки кажущейся экспансивности и легкости *я никогда ничего не забываю*. Но я был вынужден не смотреть в те области наших отношений, где все у меня звучало «симфонией». Это было, вероятно, тяжелее всего мне самому. Но я решил не щадить *во имя* (правильно или неправильно) *понятого долга* ни себя, ни кумиров, ни тем более друзей. С своей точки зрения я нес тяжелый и добровольный крест; насколько объективно правильна была моя точка зрения, это другой вопрос.

Ваше письмо успокоило меня: Ваша ясная и безусловная искренность пробила глубокую брешь в моем непроизвольно выросшем за полтора года недоверии к Вам, как объективно высокой и благородной личности. Есть сфера глубоких и интимных отношений наших, где я хотел бы выяснить *«наши провинности»* друг относительно друга (если желаете, только формально, если желаете, и интимнее); и потому-то мне было бы дорого видеть Вас в Москве; это было бы *очень важным* для меня (быть может, это было бы нужно и Вам — не знаю...) *Я жду с нетерпением* Вас в Москве (чем скорее, тем лучше) или же уведомления о Вашем точном адресе; в последнем случае я отвечу Вам возможно искреннее и подробнее в ответ на Ваше письмо, не обязывая Вас, конечно, отвечать (не напрашиваясь на переписку — сохрани Боже!). Я сообщил бы Вам тотчас подлинную выдержку из «*M<ercure> de Fr<ance>*» (буду в *«Весах»* только послезавтра, а потому и не привожу ее в отсылаемом письме). Я *ОЧЕНЬ* хотел бы видеть Вас, но... при условии, что Вы сочтете и для себя нужным наше свидание.

Вообще я хотел бы абсолютной свободы, простоты, честности и возможной открытости в наших отношениях, и потому Бога ради не делайте никаких *вынужденных* поступков ради меня.

Смотрите на меня, как на человека, который при всей своей слабости, неуверенности, тактике поведения в *последнем счете с Судьбою* не стремится ни к чему иному кроме Правды. Если он выбирает не те пути, если запутывается в сложности *«многоликости»* и *«двусмысленности»* явлений жизни, если в борьбе с кажущейся ему *«многоликостью»* надевает подчас разные маски, он искренно стремится к единому лику цели, он считает свои маски только забралами опущенных на лицо шлемов, когда враждебные силы заносят меч над тем, что ему дорого.

В течение последнего года смерть не раз глядела в мои глаза, и я полюбил ее тихое дуновение, ее «синие пустыни». Каким бы я ни казался Вам издали, мне терять нечего, ибо все временные ценности заколебались предо мной, а сердце не устало биться навстречу ценностям вечным. И *«летейский шопот»* слушаю я сквозь всю суету внешних отношений, литературной тактики и пр. со сладкой грустью.

Я не боюсь смерти, но и не ищу ее. Я знаю, она меня найдет; но я не устал верить, что через смерть я приду к *воскресению*.

Простите меня за это невольное признание. Оно вызвано тем лирическим подъемом, который пробудило во мне Ваше письмо.

Остаюсь глубокоуважающий и признательный Вам за Ваше дорого мне прозвучавшее письмо.

Борис Бугаев

1907 года. Москва. 19 августа.

---

[1] Имеется в виду п. 182.

---

184. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<21 августа 1907. Москва>

Глубокоуважаемый и дорогой Александр Александрович!

Пишу Вам чисто литературное письмо. Прилагаю точную выдержку из статьи Семенова в *«Mercure»*[1]. «J'ai eu l'occasion», пишет Семенов, «de mentionner parmi les nouveaux courants de la littérature russe, l'anarchisme mystique, et de citer un de ses protagonistes, Georges Tchoulkoff, directeur des Flambeaux. Comme nous allons le voir tout de suite, l'anarchisme mystique n'est pas une école mais un *courant de la nouvelle poésie russe*, comme l'appellent *beaucoup* (курсив мой) de jeunes qui se parent d'un titre générique ou plutôt générale de symbolistes et qu'on peut diviser en trois branches: *décadents*, romantiques néochrétiens et anarchistes mystiques, lesquels se subdivisent, encore. Les décadents sont: 1) Les Parnassiens: Valery Brussov, Serge Soloviev, Max. Volochine etc. 2) Les décadents purs: K. Balmont, Féodor (почему не Théodor?) Sologoub, M. Kouzmine etc. Les romantiques néochrétiens ont les meilleurs noms: D. Merejkovsky, Z. Hippius, D. Philosophoff (это поэт-то?), Berdiaieff (???), André Biely etc.... Enfin les anarchistes mystiques sont représentés par le groupe de: Viatcheslav (почему не Vinceslav?) Ivanoff, Alexandre Blok, Serge Gorodezky, Georguy Tchoulkoff»* . Далее Семенов приводит чулковский вздор, имеющий вид манифеста, и заключает чуть ли не так: «Ainsi parla Tchulkoff»** (Так говорил Заратустра!). Глубокоуважаемый

---

* «Говоря о новых течениях в русской литературе, мне уже случалось упоминать о мистическом анархизме и цитировать одного из стоящих во главе его лиц, Георгия Чулкова, руководителя «Факелов». Как мы сейчас убедимся, мистический анархизм является не школой, а *течением новой русской поэзии*, как называют его *многие* <...> из молодежи, которые украшают себя родовым, вернее общим, званием символистов и которых можно разделить на три направления: декаденты, неохристианские романтики и мистические анархисты, имеющие дальнейшие подразделения. К декадентам принадлежат: 1) Парнасцы: Валерий Брюсов, Сергей Соловьев, Макс. Волошин и т. д. 2) К чистым декадентам: К. Бальмонт, Федор <...> Сологуб, М. Кузмин и т. д. К неохристианским романтикам принадлежат лучшие имена: Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов <...>, Бердяев (???), Андрей Белый и т. д.... Мистические анархисты, наконец, представлены группой: Вячеслав <...> Иванов, Александр Блок, Сергей Городецкий, Георгий Чулков» (*фр.*).

** Так говорил Чулков (*фр.*).

За последнюю фразу не ручаюсь, ибо сегодня ее глазами не видал, но помнится, будто прежде читал; наконец, ее процитировал П. Пильский в газете «Свободные Мысли»[2] (*Примечание Белого*).

Александр Александрович, я глубоко приветствую Ваше намерение «заявить о Вашей самостоятельности относительно м<истического> анархизма, реализма, соб<орного> индивидуализма». Сознайтесь, ведь там пахнет провокацией (я не о людях, а о коллективном уклоне в хулиганство). *«Весы»* с большим удовлетворением примут это заявление, как доказательство Вашей *«самости»*.

До Вашего извещения об адресе или, быть может... личного свидания?

Примите уверение в совершенном почтении и преданности

Борис Бугаев

Москва 1907 года 21 августа.

---

[1] См. примеч. 9 к п. 179. Выдержки из статьи Е. Семенова привел в письме к Блоку от 20 августа 1907 г. также Чулков (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 401).

[2] Имеется в виду фельетон П. Пильского «Палка хромого» (Свободные Мысли. 1907, № 13, 13 августа), включающий ироническое изложение статьи Е. Семенова с авторским резюме: «“Ainsi parla M. Tchoulkoff”, — благоговейно заканчивает свою статью наивный и недалекий автор “Русских писем”, будто скрепляя печатью серую казенную бумагу своих детски-наивных, доверчиво-пустеньких строк. “Так говорил Заратустра” и говорил глупости».

---

185. БЛОК – БЕЛОМУ

22 августа <1907. Шахматово>[1]

Глубокоуважаемый и дорогой Борис Николаевич.

За письмо — спасибо Вам. На этих днях хочу приехать в Москву, поговорить с Вами. О том, как Вы мучались за последние полтора года, — я знаю. Но всем трудно, всем тяжело. Спасибо за то, что Вы *захотели* принять мое письмо[2] так же искренно и просто, как оно написано.

Искренно Вас уважающий

Ал. Блок

P. S. Приеду, м<ожет> б<ыть>, 24-ого вечером, зайду к Вам, если у Вас вечер занят, оставьте записку, я подожду до утра[3].

---

[1] Ответ на п. 183.

[2] Имеется в виду п. 181.

[3] 24 августа Блок приехал в Москву. Двенадцатичасовое общение с ним (с 7 вечера до 7 часов утра) Белый подробно описал в мемуарах (*О Блоке.* С. 282—287; *Между двух революций.* С. 291—294).

---

186. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<26 августа 1907. Москва>

Милый Саша,

Я считаю долгом — радостным и вместе спокойным — сказать Тебе, что я считаю наш с Тобой разговор[1] настолько твердым и решительным, что мое отношение к Тебе, вероятно, *определилось* на все те годы, которые суждено мне прожить на земле. *Во мне* Ты уж больше не пошатнешься: образ Твой мне близок и ясен таким, каким Ты предстал мне в Москве. Многое из того, что приближало меня к Тебе в прошлом, оказалось моей фикцией, но зато *другое*, что я в Тебе ценил и что было у меня к Тебе во время нашей переписки (до знакомства), *определилось* и *обозначилось:* и *еще кое-что*, чего я не видел, или чего в Тебе не было еще выявлено, тут я понял: *понял и полюбил*. Я пишу нарочно о себе, потому что 1) мое отношение к Тебе теперь (ясное и в высшей степени дружественное) не зависит от того, как Ты ко мне относишься: все равно: близок я Тебе или далек, Ты мне близок: и я сам для себя молчаливо *изваиваю на камнях* скрижали завета моего отношения к Тебе: *вера, уверенность* и *любовь-солидарность*. 2) Я верю, что и Тебе будет теперь легче ко мне относиться в те минуты, когда захочешь ко мне повернуться лицом. У нас друг к другу теперь дружба *освобождающая*, а не порабощающая, как прежде.

Спасибо Тебе, спасибо! Спасибо за то, что Ты — такой, а не другой.

Я считаю долгом Тебя предупредить, что в ближайшем № *«Весов»* Ты найдешь заметку о соборном гаме[2], которую я писал в эпоху моего письма к Тебе (за которое Ты меня вызвал на дуэль). Она направлена против петерб<ургской> атмосферы: она гораздо сдержаннее (*«Синематографа»*[3]), но и там есть небольшие черты, которые как будто *между прочим* обращены против Тебя: *но тогда я ничего не знал*, я видел вместо Тебя — *ужас*. На другой день после нашего свидания я хотел ее изменить, но *«Весы»* сказали, что номер на днях выходит, что *поздно что-либо менять,* решительно отвергли мои просьбы, ссылаясь на технику печатания. Если бы заметка моя была в стиле *«Синематографа»*, я во что бы то ни стало остановил бы №, но поелику она сдержаннее, я подчиняюсь. *Выругай меня печатно за нее. Вообще не стесняйся и ругай меня в печати*: это не может изменить моего гранитно-дружественного и близкого отношения к Тебе отныне. В заметке моей есть *следы морального пафоса против провокации*: отныне в статьях против Петербурга я Тебя отделяю от всех прочих, для меня подозрительных, ибо *теперь я знаю, кто Ты*. Я хотел бы, чтобы *следы прошлого* не посягали против того, что соединило нас солидарностью в Москве: это — убегающая тень: вот она истает. Мне радостно, что я Тебя нашел: я уверен, что я Тебя не потеряю.

Остаюсь радостно любящий Тебя

Боря

Москва. 26-ое августа.

P. S. Фельетоны о театре Коммиссаржевской и о *«Жизни Человека»*[4] пришлю. Мой привет и уважение Александре Андреевне.

---

[1] См. примеч. 3 к п. 185.

[2] Имеется в виду фельетон «На перевале. IX. Детская свистулька» (Весы. 1907. № 8. С. 54—58. Подпись: Борис Бугаев); в нем, по позднейшему пояснению Белого, «певчая птица, недовольная нашей московской платформой, — опять-таки есть А. А.» (*О Блоке*. С. 277).

[3] Имеется в виду предыдущий фельетон Белого из цикла «На перевале» — «VIII. Синематограф» (Весы. 1907. № 7. С. 50—53).

[4] Речь идет о газетных, тогда еще не напечатанных статьях Белого — «Символический театр. К гастролям Коммиссаржевской» (Утро России. 1907. № 1, 16 сентября), «Символический театр. По поводу гастролей Коммиссаржевской» (Там же. № 11, 28 сентября), «Смерть или возрождение. “Жизнь Человека” Л. Андреева» (Литературно-художественная неделя. 1907, № 1, 17 сентября). Статьи вошли в книгу Белого «Арабески» (М., 1911). Видимо, темы этих статей затрагивались в ходе московской беседы Белого и Блока 24—25 августа.

---

187. БЛОК – БЕЛОМУ

<26 августа 1907. Шахматово>

Глубокоуважаемый и дорогой Боря.

Всегда буду помнить ночь и утро, которые мы провели с Тобой в Москве[1]. Чувствую ясно, какой тишиной и печалью великой важности они были овеяны. Не думай, что я забуду. Мы разно живем, совсем разно, но у нас взаимно нет и не должно быть ничего нарушающего и оскорбляющего нашу роковую близость. Помни меня и Ты, как я буду помнить Тебя. Уезжаю отсюда с чувством простым и ясным к Тебе.

Прошу Тебя — отдай сам в «Весы» прилагаемое «Письмо в редакцию» (*и проставь № «Mercure de France»*)[2]. Письмо Твое получил[3], и цитата из Семенова побуждает меня решительно к определ<енному> действию. Хочу только, чтобы это было именно в такой форме — и не упоминаю имени гонимого бедняги Чулкова[4]. Ввиду того, что письмо опровергает *Семеновскую* статью, нахожу невозможным тут же упоминать «соб<орный> индивид<уализм>» и «мист<ический> реализм». Мне, конечно, приятнее всего, чтобы дело это шло через *Твои* руки, потому прошу Тебя. — Адрес мой сообщу Тебе, когда найду квартиру (уезжаю отсюда 28-го)[5]. Когда вздумается — напиши мне.

Глубоко преданный Тебе

Александр Блок

26 авг. 1907

---

[1] См. примеч. 3 к п. 185.

[2] «Письмо в редакцию» Блока, датированное 26-м августа 1907 г., было опубликовано в «Весах» (1907. № 8. С. 81); в нем заявлялось: «В № “Mercure de France” от 16 июля этого года г. Семенов приводит какую-то тенденциозную схему, в которой современные русские поэты-символисты рассажены в клетки “декадентства”, “нео-христианской мистики” и “мистического анархизма”. Не говоря о том, что автор схемы выказал ярую ненависть к поэтам, разделив близких и соединив далеких, о том, что вся схема, по моему мнению, совершенно произвольна, и о том, что к поэтам причислены Философов и Бердяев, — я считаю своим долгом заявить: высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с кото-

рыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с “мистическим анархизмом”, о чем свидетельствуют мои стихи и проза» (V, 675—676).

3 Имеется в виду п. 184.

4 20 августа 1907 г. Чулков писал Блоку: «Ничего не имею — конечно — против желания Вашего отказаться печатно от мистического анархизма, но очень прошу Вас об одном: позвольте мне предварительно ознакомиться с этим Вашим “письмом в редакцию”. Ведь, *я* нигде и никогда — насколько помнится — в печати Вас не называл “мистикоанархистом” и за мнения других не отвечаю. Вас “мистикоанархистом” называли мои критики, а не я. Я дружески прошу Вас не придавать Вашему письму такой формы, которая дала бы повод думать, что именно я Вас записывал в адепты моей теории: это было бы неправдою. <...> Я, конечно, предпочел бы, чтобы Ваше “письмо” появилось в “Золотом Руне”, а не в “Весах”. Ведь в “Весах” оно появится рядом с новым манифестом, и для читателей будет ясно, что Вы солидарны с теми, которые бросают в меня камни» (*ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 400—401). 26 августа Блок, сообщив Чулкову текст своего «Письма в редакцию», пояснил: «...я сделаю это в “*Весах*”, потому что глубоко уважаю “Весы” (хотя во многом не согласен с ними) <...> Имени Вашего в “письме” этом не упоминаю, как видите. Подчеркнуть мою несолидарность с мистическим анархизмом в такой решительной форме считаю своим ***мистическим долгом теперь***» (VIII, 206, 207).

5 С квартиры на Лахтинской улице Блок съехал перед переездом на лето в Шахматово.

---

188. БЛОК – БЕЛОМУ

1 сентября 1907. Петербург[1]

Милый Боря.

Уезжая из Шахматова, я на станции получил Твое письмо. Это было последнее летнее впечатление — светлое, радостное, надежное, ободряющее. Будь уверен, что Ты — из близких мне на свете людей — один из первых: очень близкий, таинственно и радостно близкий. Все эти дни я думаю о Тебе много и светло, с настоящей любовью и верой. Наша встреча в Москве имела для меня значение, какого я не ожидал: после нее — каждый день прибавляет мне знания о Тебе и веры в Тебя. Это — какое-то новое знание, не прежнее, и, действительно, *освобождающее*, говоря Твоим радостным словом. Оно открывает мне Тебя впервые, как *человека* прежде всего — человека, измученного глубоко и реально и всегда носящего в себе правду и верность. Образ Твой ношу ***в себе и люблю его высокой любовью.***

Судя по некоторым встречам, пока, мне кажется, что нынешний петерб<ургский> «сезон» будет совсем не похож на предыдущий. Не могу еще судить достоверно, но, мне кажется, что хулиганский уклон уже сознан. «Письмо в ред<акцию>» *Весов*, которое послал Тебе[2], считаю важным для себя и все укрепляюсь в сознании необходимости его для меня. Чулков, говорят, совсем удручен всей травлей, но я буду его утешать по-человечески, а не по-мистико-анархически, как склонен был утешать прежде. Еще не видал его. Что касается Твоей заметки в след<ующем> № Весов, то заранее ничего не имею против нее — по отн<ошению> к себе, тем более, что Ты объяснил мне ее происхождение.

Эту неделю я живу временно: Демидов переулок, д. 16, кв. 35. Сентября с седьмого окончательно переселяюсь: *Галерная 41, кв. 4;* это будет *постоянный адрес.*

Пиши мне, когда захочешь, также буду и я. Кроме того, я надеюсь и хочу видеть Тебя в Петерб<урге>, хотя бы на лекции[3].

Целую Тебя крепко и радостно, милый друг.

Твой Саша

---

[1] Ответ на п. 186.

[2] См. п. 187, примеч. 2.

[3] Видимо, при встрече в Москве 24—25 августа Белый говорил Блоку о своем возможном скором приезде в Петербург для чтения лекции; тогда это намерение не осуществилось. 28 сентября 1907 г. Блок писал матери: «Боря приедет ко мне скоро. Он мне все ближе и ужасно несчастен» (VIII, 210).

---

189. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не позднее 21—22 сентября 1907. Москва>[1]

Дорогой Саша.

Михаил Иванович Сизов мой близкий и любимый друг.
Я так хотел бы, чтобы он лично передал Тебе мой привет[2].

Остаюсь любящий Тебя

Твой Боря

---

[1] Датируется по связи с п. 190.

[2] С осени 1907 г. М. И. Сизов, студент естественного отделения физико-математического факультета Московского университета, перешел в Петербургский университет; в соответствующем прошении (от 13 июля 1907 г.) он ссылался на то, что в Петербургском университете, в отличие от Московского, «имеется кафедра физиологии животных», которую он избрал своей специальностью (ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 317. Дело 1024. Л. 6).

---

190. БЛОК – БЕЛОМУ

<23 сентября 1907. Петербург>

Милый Боря.

Отзовись. Мне кажется, что впечатления от «Балаганчика» на сцене[1] вновь подтвердили Твои опасения относительно меня. «Утра России» я не мог достать, потому что оно не продается здесь, и не читал Твоего фельетона, о котором только слышал от чужих[2]. Пришли.

Дело не в «Балаганчике», которого я не люблю, не в том, что физиономия Петербурга этого сезона — совершенно иная, чему способствует уже и будет способствовать Л. Андреев (я с ним познакомился; он уж очень простоват и не смотрит прямо)[3]. Дело в том, что растет какое-то тяжкое беспокойство. Я боюсь за будущее всех нас. При всей сложности и запутанности здешних отношений и «вопросов» — во мне преобладает бодрая печаль.

Мне очень надо услышать слово от Тебя. Если бы я был уверен, что мне суждено на свете поставлять только «Балаганчики», я постарался бы просто уйти из литературы (может быть, и из жизни). Но я уверен, что я способен выйти из этого, правда, глубоко сидящего во мне направления. Могу и один, хотя бы меня травили со всех сторон. Но мне нужно знать теперешнее Твое отношение ко мне. Наше московское свидание оставило на мне глубокий след. Мне нужно или Твоей дружеской поддержки, или полного отрицания меня. Только — не подозревай, потому что я всеми силами хочу признаться в своей вине перед всеми, насколько и как только сознáю ее. Я допускаю, что я имел дурное влияние на Чулкова (в чем он упрекает меня), что я-то и есть настоящий мистический анархист (что утверждают Чулков и Философов[4]), что я был настоящим элементом разложения. Но все это — не подлинный я. И мое «письмо о мист<ическом> анарх<изме>» (в «Весах») исходило от меня подлинного, но, мож<ет> быть, благодаря своей печатной и широковещательной форме, приняло *форму* «сверхчеловеческой мании величия» и т. п. Но я не страдаю манией величия, я не провозглашаю никаких черных дыр, я не приглашаю в хаос, я ненавижу кощунство в жизни и литературное кровосмесительство, я презираю утонченную ироническую эротику. Поскольку все это во мне самом — я ненавижу себя и преследую *жизненно и печатно* сам себя (напр<имер>, в статье «О лирике»[5]), отряхаю клоки ночи с себя, по существу светлого.

Ответь.

Любящий тебя глубоко

Саша

23. IX. 07. СПб.
Галерная 41, кв. 4.

М. И. Сизов передал мне Твое письмо[6]. Мы говорили с ним, но еще не довольно, и он не совсем ясен мне. Он привез с собой много Москвы[7].

---

[1] Белый был на представлении «Балаганчика» (постановка В. Э. Мейерхольда) во время московских гастролей театра В. Ф. Коммиссаржевской, проходивших с 30 августа до 12 сентября 1907 г. В мемуарах Белый сообщает: «Помнится, что в сентябре на гастролях театра Коммиссаржевской смотрел "Балаганчик"; и удивлялся великолепнейшему оформленью спектакля; и все ж писал я в газетах, что сомневаюсь в возможности существования театра символов; Блок соглашался со мною и в этом <...>» (*Между двух революций*. С. 294).

[2] Подразумевается первая статья Белого под заглавием «Символический театр», опубликованная в «Утре России» 16 сентября. См. примеч. 4 к п. 186.

[3] Личное знакомство Блока и Л. Андреева состоялось, видимо, 15 сентября 1907 г. (см.: Беззубов В. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984. С. 228—229). В «Воспоминаниях о Блоке», описывая осень 1907 г., Белый сообщает: «...встречаясь со мною в Москве, Л. Андреев сочувственно отзывался о Блоке, с которым он только что познакомился; с любопытством расспрашивал он о моем отношении к Блоку, осведомленный о сложностях между нами» (*О Блоке*. С. 287).

[4] Д. В. Философов в статье «Дела домашние» (Товарищ. 1907. № 379, 23 сентября) утверждал, что попытка Блока отмежеваться печатно в «Весах» от «мистического анархизма» (см. при-

меч. 2 к п. 187) лишена оснований: «А. Блок удостоверяет, ссылаясь на свои стихи и прозу, что он не мистический анархист. Но мне эти стихи и прозу изучать пришлось, и я по совести утверждаю, что г. Блок именно мистический анархист, потому что его “стихи и проза” покрыты с одной стороны налетом мистицизма, в начале литературной карьеры г. Блока очень глубокого и нежного, а затем ставшего уличным и плоским, и кроме того, эти стихи и проза преисполнились самого озорского разнузданного “анархизма” или, вернее, хулиганства. <...> Нам интересно знать не *нет* Блока, а его *да*. Или, выражаясь языком “мифотворца” Иванова, не его “непримиримое Нет”, а — “слепительное Да”. — Но в том-то и штука, что это “слепительное Да” отсутствует и ссылка на “стихи и прозу” не более как жест страдающего манией величия сверхчеловека». О взаимоотношениях Блока с Философовым см.: «...Доброе прежде всего». Письма А. А. Блока к Д. В. Философову / Вступ. статья, публикация и комментарии С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова // Наше наследие. 1990. № 6. С. 50—55.

5 Эта статья была опубликована в № 6 «Золотого Руна» за 1907 г. (С. 41—53). См.: V, 130—159.

6 Имеется в виду п. 189.

7 28 сентября 1907 г. Блок сообщал матери: «...приходит иногда Борин друг — Сизов, который переселился сюда (здесь его невеста), — очень серьезный и значительный человек» (VIII, 211). Свои впечатления от общения с Блоком и Л. Д. Блок Сизов изложил в пространном письме к Белому от 25 сентября 1907 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 308—309).

---

191. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

<26 или 27 сентября 1907. Москва>[1]

Дорогой, Милый Саша,

одно скажу: грустно. И, конечно, я *опять* верю в Тебя вопреки всему, всем видимым недоумениям, сомнениям. Неужели Ты думаешь, что наше свидание в Москве прошло бесследно. Если я в Главном поверил Тебе, то все, что я мог бы иметь против Тебя, стало поверхностью. Но чтобы сжечь эту поверхность, необходимо время, необходима работа духа, чтобы уничтожить те недоумения, которые росли и крепли долгими месяцами молчания, непонимания. И в минуту уныния, нервной слабости нет-нет и впадаешь в сомнения, потому что, раз усумнившись в том, в чем я полагал достоверность, я стал мнителен и недоверчив до чрезвычайности. А внешних поводов много: хотя бы Твоя статья в «*Зол<отом> Руне*», с которой я ***несогласен абсолютно***[2]. Не будь у меня веры, что <Ты> ***еще*** существуешь, как я ***еще*** существую (а сколькие ***уже не*** существуют), я усмотрел бы Бог знает что в Твоей статье. Она поразила, как громом: Сережу[3], Леву, окружающих, искренно удивила Брюсова. Все заговорили о мотивах Твоей тактики, и мне было больно, больно слышать. ***Но я*** остался ***еще*** верен Тебе (а ведь я никому уж не верю, Брюсову — еще тоже верю и уже <не> верю). Но хочу укрепить, утвердить вечную точку: ведь кругом все клубится, все чревато и ***«голос все тот же звучит в тишине без укора»***[4]: «Не опускай меча; еще рано. Еще плотнее закуйся в броню: плотнее надень шлем. Еще неизвестно, что будет». И я ни за кого, ни против кого, я только за Правду, за голос Искренности, как я понимаю его по своему крайнему разумению. А разумения и сил у меня мало. И вот слабыми силами своими еще стараюсь что-то спасти от поругания в литературе, чтобы и слова шли от прямоты: и пусть лучше суровее будут слова, пусть скуднее они выражают, я за скудость, за хмурость, лишь бы «душа» слов была убежденная.

А иногда мне начинает казаться, что наше дело, дело достойного носительства знамени, безвозвратно погибло; и тогда хочешь просто уйти, выйти из жизни: верить людям и их путям и уже огульно коситься на литературный ритуал.

Но одно скажу: я хочу еще раз узнать Тебя, проверить себя Тобой, пути проверить души своей, потому что все более и более смещаюсь в своем отношении к будущему *«наших горений»* в темных душах современников — смещаюсь в сторону плача. Плач и рыдание да воцарятся: еще не все погибло. Омоем слезами наши засоренные души: но пусть этого никто не видит, не слышит.

Я не знаю, зачем я пишу так, а не иначе. Просто горько; у меня инцидент за инцидентом. Я все хожу к людям и предупреждаю, и сомневаюсь о них: и все чаще говорю просто, что я думаю. А они устраивают «инцидент». Сегодня разорвал все с Зайцевым, Стражевым и прочими из «Недели»[5]. Пришлось им сказать, что они задают хулиганский тон. Меня потребовали к ответу. Я пришел и повторил всем, что имел против них, чуть ли не со слезами. А они не услышали, *о чем я*: притворились юридическими крючками. Стали на точку зрения *«инцидента»*. Я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением; они исповеди не захотели принять и потребовали извинения. Я повторил, что тон их органа — хулиганский, махнул рукой и пошел прочь: Зайцева одного *прошибло*: побежал за мной, я взял его за руку: он расплакался[6]. Стражев чернел, как сажа, от злости: стояли, застыв в злобе. Было что-то из «ужасных» сцен Достоевского: думал, что Зайцев вдруг освободится и *«скажет»*. Через два часа получаю от него письмо. Вижу, и он не *имел силы взглянуть, вспомнить, исповедаться*: значит — сел в литературное кресло: значит — спокойно просидит жизнь в «генеральских чинах».

Теперь меня, верно, вызовут на третейский суд, или опять поднимется инцидент («Золотое Руно» № 2[7]), но я больше не объяснюсь: а меня ждет кара.

Почему это пишу? потому что вижу потрясенное Зайцевское лицо (о, как хотелось мне его братски поцеловать, гладить по голове; бедный, бедный — плачь, и не забудь Вечное, *вспомни, ах,* вспомни): но я только взял его руку и сказал: «Знаю, кто вы?». А он опустил голову и плакал.

А вот потом пришел в себя и вспомнил о *«литературных приличиях»*: *литератор* победил *человека*: так будут в нем вспыхивать искры, и будет он рваться к чему-то, кого-то звать и про то писать рассказы —

и всякий раз будет усаживаться в кресло: в кресле жизнь свою проведет. *«А могло бы быть, да не вышло»*.

Я не знаю, куда я иду: иду, быть может, туда, где «вечный покой» — это в жизни, а в литературе все больше и больше сбиваюсь в плач, гнев, воздыхание: но есть тишина за моим криком. Я познал в шуме «Голос Безмолвия»[8].

Итак, что же?

Подумаем, помолчим вместе, решим: так, ведь, нельзя — я знаю: я знаю — Ты брат, милый, любимый мне брат: так было, так будет — и броня из гримас между нами истает.

Скоро я приеду к Тебе: встретимся в ресторане или у меня. Ведь я же должен знать, помнить.

И Сережа мне брат, милый, любимый. У меня завет: не оставлять его одного: сейчас отошел, но зорко за ним слежу. Я *должен* знать, из каких глубин Ты о

Сереже: откуда *«это»* у Тебя о нем: с поверхности или *«оттуда»*. Слова Твои знаки ли, или *«просто так только»* разбор — что-то не верю[9].

А если не *«просто так только»*, делу надо помочь.

Да не знаю я, понятен ли? Очень уж трудно писать: еще труднее говорить (сегодня попробовал — и вышла сцена из «Достоевского»).

Ах — широкие поля, широкие раздолья! Ах, леса и хижина.

Там покой, а все иное — суета сует и всяческая суета.

Обнимаю Тебя, милый брат, и целую крепко.

Твой Боря

P. S. Вот несколько моих фельетонов (из последних)[10].

Продолжение фельетона о Коммиссаржевской вышло слишком длинно для газеты: его только со временем напечатают[11].

Фельетон Философова[12] — гадость: я ему напишу: он уже вычеркнут из «Весов»[13].

P. P. S. Не рассказывай никому о Зайцеве: он теперь будет стыдиться, что плакал.

---

[1] Ответ на п. 190. Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «Получ. 28.IX.07».

[2] Имеется в виду статья «О лирике».

[3] С. Соловьев, вероятно, отрицательно воспринял статью «О лирике» не только за ее общее содержание, но и за данную в ней пространную и весьма нелицеприятную оценку его первой книги стихов «Цветы и ладан». См.: V, 151—156.

[4] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Сон наяву» («Лазурное око...», 1895).

[5] Имеется в виду газета «Литературно-художественная неделя», начатая изданием в Москве 17 сентября 1907 г. (вышло 4 номера); учредителями ее были В. И. Стражев, П. П. Муратов, Б. А. Грифцов, Б. К. Зайцев. В 1-м номере газеты содержалась критика идейно-тактической линии «Весов» за «уродливый характер» полемики по поводу «мистического анархизма» и за «тон нападок» на Чулкова, «совершенно исключительный по грубости»; в редакционном предисловии были сформулированы упреки по адресу Брюсова — за «литературное генеральство» и «олимпийское величие». Белый, участвовавший в газете (в том же номере была опубликована его статья «Смерть или возрождение» — о «Жизни Человека» Л. Андреева), внял доводам коллег по «Весам», и прежде всего Эллиса (см. письмо Эллиса к Брюсову, после 17 сентября 1907 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 305—306), и заявил о своем выходе из числа сотрудников. Сохранились связанные с этим инцидентом ультимативные письма редакторов «Литературно-художественной недели» Белому (от 24 сентября 1907 г.) и ответное письмо Белого В. И. Стражеву, а также мемуарные свидетельства о происшедшем. См.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 126—127; *Между двух революций*. С. 225—226, 512—514; *О Блоке*. С. 288; Зайцев Б. К. Соч. В 3 т. М., 1993. Т. 3. С. 356—359. См. также подробное изложение инцидента с публикацией относящихся к нему документов: Малмстад Дж. Кое-что об Андрее Белом. I. Буря символистов в стакане воды // Новое литературное обозрение. 2000. № 41. С. 204—210.

[6] В мемуарной книге «Далекое» Зайцев вспоминает о заключительной части этого инцидента: «...Белый вылетел в переднюю, я за ним. <...> Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что “лично” по-прежнему друг друга “любим”, в литературной же плоскости “разошлись” и не можем, конечно, встречаться, но “в глубине души ничто не изменилось”. У обоих на глазах при этом слезы. Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались “друго-врагами” и долго не встречались, как будто даже раззнакомились» (Зайцев Б. К. Соч. В. 3 т. Т. 3. С. 358).

[7] Имеется в виду конфликт между Белым и Н. П. Рябушинским (август 1907 г.), в результате которого о выходе из числа сотрудников «Золотого Руна» объявили Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов (21 августа), Ю. Балтрушайтис, М. Кузмин, М. Ликиардопуло (22 августа). См.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. С. 160—163.

[8] «Голос Безмолвия» (Отрывок I из «Книги золотых правил») — одно из теософских сочинений Е. П. Блаватской (1893); Белый впервые прочитал его в 1901 г. (Андрей Белый. Касания к теософии // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 9. Paris, 1990. С. 449. Публикация Дж. Мальмстада). См.: Голос Безмолвия. Семь Врат. Два Пути. Из сокровенных индусских писаний. Обнародовано Е. П. Блаватской. Перевод с английского Е. Писаревой (Е. П.). Калуга, 1912.

[9] Подразумевается критический анализ «Цветов и ладана» в статье «О лирике».

[10] По сообщению В. Н. Орлова, среди бумаг Блока сохранились газетные вырезки, присланные Белым, следующих его статей: «Пшибышевский» (Час. 1907. № 18, 2 сентября), «Смерть или возрождение. “Жизнь Человека” Л. Андреева» (Литературно-художественная неделя. 1907. № 1, 17 сентября), «Иван Александрович Хлестаков» (Столичное Утро. 1907. № 117, 18 октября) — и ряд более поздних газетных публикаций Белого (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 219). Как явствует из п. 192, Белый вместе с письмом выслал Блоку также первую статью «Символический театр. К гастролям Коммиссаржевской» (Утро России. 1907. № 1, 16 сентября).

[11] Вторая статья Белого «Символический театр. По поводу гастролей Коммиссаржевской» была напечатана в «Утре России» 28 сентября 1907 г. (№ 11).

[12] Подразумевается статья Философова «Дела домашние» (см. примеч. 4 к п. 190), в которой подвергались резкой критике содержание и приемы внутрисимволистской междоусобной полемики.

[13] Начиная с № 9 «Весов» за 1907 г., имя Философова исчезло из списка сотрудников журнала. 29 сентября / 12 октября 1907 г. Брюсов писал Философову: «Я прочел Вашу статью в “Товарище” и, признаюсь, был поражен. <...> В P. S. Вы пишете, что после этой статьи редакции “декадентских” журналов, может быть, предложат Вам отказаться от сотрудничества у них. Я полагаю, что самым фактом напечатания этой статьи Вы сами отказались от сотрудничества по крайней мере в “Весах”. В “Весах” место лишь тем, кто их любит и уважает. Вы не уважаете “Весы” и их сотрудников, если готовы “совать нас в один общий мешок мистического анархизма”. Итак позвольте в следующем списке сотрудников “Весов” Вашего имени уже не упоминать» (Лавров А. В. Письма Андрея Белого и Валерия Брюсова в собрании Амхерстского центра русской культуры // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1996. М., 1998. С. 52—53).

---

192. БЛОК – БЕЛОМУ

1 октября 1907. <Петербург>[1]

Милый и дорогой Боря.

Спасибо Тебе за письма и фельетоны. «Символич<еский> театр» (твоя статья) для меня имеет значение объемистой книги, собираюсь писать о ней[2].

Внимательно и тихо слежу за всеми Твоими словами. Никогда не упускаю Тебя из виду. Слышу, как Ты мучаешься в Москве. И чувствую Твою мнительность (и по отношению ко мне также), потому что для меня она имеет значение бесконечно больше, чем литературное. Жду Тебя здесь с нетерпением, как только приедешь, дай мне знать. Пока же говорю Тебе, что я не забываю Вечности даже среди «тем-

ных душ современников». Многое трудно мне, может быть я до сих пор кое в чем срываюсь. Но все глубоко серьезно в жизни моей и в жизни близких мне, и все так трудно, что нет больше места, куда бы ворвались плясать и паясничать скоморошьи хари. Очень странно, иногда дико, но всегда значительно слагаются события моей жизни. И на то, что могут думать и говорить обо мне знающие меня поверхностно, я совсем махнул рукой — до полного игнорирования их, несоблюдения «приличий» и т. д.

«Горение» мое, должно быть, иное, чем Твое, но оно — горение. До тления, на границе которого я прошел в прошлом году (это Ты почувствовал болью сердца), я не допущу себя. Оно далеко от меня теперь — и соответственно отошли от меня люди, которых я могу подозревать в поддержании тления[3].

Я редко тоскую и унываю, чаще — бодр. Предо мною плывет новое, здоровое, надеюсь, сильное. *Как человек* с желанием здоровья и простоты, я и пишу, или стараюсь писать. Например, «О лирике»: я верю в справедливость исходной точки: я знаю, что в лирике есть опасность *тления,* и гоню ее. Я бью *сам себя*, таков по преимуществу смысл моих статей, независимо от литерат<урных> оценок, с которыми можно не соглашаться сколько угодно (да я и сам признаю неправильность кое в чем). Бичуя себя за лирические яды, которые и мне грозят разложением, я стараюсь предупреждать и других. Но, ценя высоко лирический *лад* души, который должен побеждать лирическую распущенность, я не люблю, когда стараются уладить все средствами, посторонними лирике, хотя бы — «градом, обещанным религиями»[4]. Отсюда — моя статья о Сереже[5], в которой Ты, как знающий и меня и Сережу, можешь прочесть между строк бесконечные ненаписанные примечания — о моем отношении к Сереже, о моей осторожности, хотя бы относительной. Наконец, там прямо высказано мое бережное и тихое знание о «рыцаре монахе, что закован в железо»[6], о том, на что я в жизни моей только раз, в тоске и отчаянье, поднимал бессильную руку: в «Балаганчике». Но рука упала, и я не осквернил ни святого, ни себя.

Ты можешь счесть то, о чем я говорю, смешением понятий. Можешь сказать, что «не весна виновата», что «лирика» сама по сѐбе так же безразлична, как весна[7]. Но я говорю о лирике, как о стихии собственной души, пусть «субъективно». Будут несколько людей, которые почувствуют истинное в этом и, мож<ет> быть, воздержатся от того, от чего не воздержались бы иные, хотя бы по тому одному, что против лирики говорит лирик. Я не определяю подробностей пути, мне это не дано. Но я указываю только устремление, которое и Ты признаешь: из болота — в жизнь, из лирики — к трагедии. Иначе — ржавчина болот и лирики переест стройные колонны и мрамор жизни и трагедии, зальет ржавой волной их огни[8].

Напиши мне пока несколько слов, а потом приезжай, я буду глубоко рад увидеть Тебя.

Любящий Тебя Саша

---

[1] Ответ на п. 191.

[2] См. примеч. 10 к п. 191. 28 сентября 1907 г. Блок писал матери: «Лучшее, что появилось за это время, — фельетон Бори “Символический театр” <...>» (VIII, 210). Намерения специально написать о нем Блок не осуществил, но попутно коснулся статей Белого о театре в

статье «Пеллеас и Мелизанда» (октябрь 1907 г.), оставшейся в рукописи и впервые опубликованной в 1923 г.: «...сошлюсь на явление очень важное с моей точки зрения, именно на два фельетона Андрея Белого <...>. Фельетоны эти, носящие заглавие "Символический театр" (по поводу гастролей В. Ф. Коммиссаржевской в Москве), настолько богаты мыслями, обобщениями, формулами, требованиями, которые автор предъявляет к новому театру, что стоят, по моему мнению, иной объемистой книги»; далее Блок заявляет о своем праве «говорить о воззрениях Андрея Белого впоследствии» (V, 198).

[3] Подразумевается, прежде всего, Чулков; ср. признание Блока в письме к матери от 28 сентября 1907 г.: «С Чулковым вижусь изредка, всегда неприятно и для него и для себя» (VIII, 210). Достаточно близкие и доверительные взаимоотношения Блока с Чулковым, однако, в последующие месяцы не претерпели сколько-нибудь существенных изменений. См.: *ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 376—383.

[4] Имеется в виду следующий фрагмент авторского предисловия к книге С. Соловьева «Цветы и ладан. Первая книга стихов» (М., 1907. С. 8—9): «Я часто слыхал и, вероятно, еще не раз услышу обвинение в *несовременности* моей поэзии, в ее отчужденности от злободневных интересов. Такое обвинение весьма для меня лестно. Да, моя поэзия чужда духу нашего времени, взятому в целом. Ибо дух нашего времени я понимаю так. С падением религиозных норм человечество начало руководствоваться в своем поведении природными началами <...> В самой природе заключены противоположные потенции; в ней переплетены мировые Да и Нет; жизнь и смерть; любовь и похоть. Освободившееся от религии человечество пошло по пути вторых потенций природы; из них возникло здание современной цивилизации, образом которого является *город.* Город — это реальное Нет, безобразное дитя природы, созданное духом похоти и смерти. Этот *город* человечество выбрало взамен *града*, обещанного религиями. Искусство также исходит из природы; но оно отправляется от первых ее потенций, творит вечное Да, исходя из духа любви. Этот мир, созданный из положительных потенций природы, и есть Новый Иерусалим, мистический град, в противоположность современному *городу*». По поводу этого рассуждения Блок писал в статье «О лирике»: «...мысль автора пренебрегает не только городом, но относится с полным презрением ко всему миру явлений природы, что явствует хотя бы из того, что количество банальных или нелепых суждений о природе безмерно превышает количество оригинальных и здравых наблюдений над ней» (V, 152).

[5] Т. е. 6-й раздел статьи «О лирике». Книга «Цветы и ладан» сохранилась в библиотеке Блока, имеет его многочисленные пометы (см.: *Библиотека Блока, 2.* С. 272—275).

[6] Образ из стихотворения С. Соловьева «Свете тихий!» (Соловьев С. Цветы и ладан. С. 39).

[7] Блок намекает на критическую оценку Белым его стихотворного цикла «Ненужная весна» (см. примеч. 14 к п. 181).

[8] Ср. развитие того же образного строя во вступительных строках статьи Блока «О драме» (август—сентябрь 1907 г.; V, 164).

---

193. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<16 или 17 октября 1907. Москва>[1]

Саша,

родной, милый: спасибо Тебе за то, что Ты такой. Я так рад: я очнулся от долгого, долгого сна. Увидал любимых после долгой разлуки. Пусть они и не такие, как я. Но они — есть. А я думал, их *уже* нет, и вместо них — химеры, чудища.

И вот неправда.

Приеду в конце октября совсем в Петербург[2]. А пока дела. 1) *«Vox Coelestis»* не будет: Эллис возвращает стихи[3]. 2) Альманах Высоцкого не состоится также (увы 200 рублей!)[4]. Сейчас уже в сети дел. «Голос Москвы» платит по 25 к. за строчку. Гарантирует *минимум* 200 рублей в месяц. К первому ноябрю соглашение вступает в силу[5]. Пока пишу для *«Утра России»*[6]. Читаю лекцию в Рел<игиозно>-фил<ософском> кружке 26 октября (за плату)[7].

Милый, с восторгом думаю, что уеду отдыхать и работать из Москвы. Буду писать свою *«Иглу»*[8] и другое. Радостно, что будем видаться.

А здесь, как приехал, все навалились, затрещал телефон, посыпались письма.

Радостное у меня воспоминание о Петербурге — о Тебе, о Любе.

Прощай. Любящий Тебя нежно

Боря

P. S. А здесь трудно. Лева рвет, мечет, кувыркается. Бедный он: так люблю его.

Прости меня за внешние слова о Тате. Она — милая.

До свидания в конце октября.

Если вздумаешь мне чиркнуть слово, сообщи и адрес Ал<ександры> Андреевны. А то я его потерял.

---

[1] Датируется по связи с п. 194. Написанию письма предшествовали следующие события. Около 1 октября Белый отправил Блоку телеграмму с просьбой принять участие в «Вечере нового искусства», устраивавшемся в Киеве редакцией журнала «В Мире Искусств»; Блок телеграммой ответил согласием (тексты обеих телеграмм не сохранились) и выехал в Киев 2 октября, где встретился с Белым и выступил вместе с ним 4 октября в Киевском городском театре. После этого Блок возвратился в Петербург (8 октября) вместе с Белым, который прожил в столице до середины октября (в письме к матери от 9 октября 1907 г. Белый извещал, что пробудет в Петербурге «до 15-го» // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 312). Все эти обстоятельства подробно описаны в мемуарах Белого (см.: *О Блоке.* С. 289—300; *Между двух революций.* С. 294—298). См. также письма Блока к матери от 9 и 13 октября 1907 г. (VIII, 213—215; *Письма к родным, I.* С. 173—177).

[2] Такое решение было определено в ходе общения с Блоком в первой половине октября 1907 года; в мемуарах Белый свидетельствует: «А. А. звал меня жить в Петербург. — "Приезжай, Боря, к нам..." — "Тебе вредно застрять в вашей душной Москве". <...> И я обещал, что приеду: переселюсь в Петербург» (*О Блоке.* С. 300). Ср. письмо Л. Д. Блок к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 14 октября 1907 г.: «Боря, в сущности, хороший и можно его обласкать, когда он будет жить в П<етер>б<ур>ге, он ведь переезжает, но пока по-прежнему влюблен, и это сильно его портит» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 312).

[3] О предполагаемом издании сборника «Vox Coelestis» («Глас Небесный») под своей «личной и единственной редакцией» Эллис сообщил Блоку в январе 1907 г.; Блок представил стихи, после чего получил от Эллиса обещание поместить их «все в том порядке», в каком их расположил автор, и сообщение о том, что «Vox Coelestis» будет пущен в печать «не раньше августа». См.: *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 275, 281, 284.

[4] Никакими сведениями об этом издательском проекте В. А. Высоцкого, переводчика польских авторов на русский язык, мы не располагаем.

[5] «Голос Москвы» — ежедневная газета, выходившая в 1906—1915 гг., орган Союза 17 октября. Инициатором соглашения с «Голосом Москвы» был Брюсов: предполагалось начать из-

дание «Литературных приложений» четыре раза в месяц под общим редакторством Брюсова, Блока, Белого и Ф. Сологуба. В письме к Г. И. Чулкову от 5 октября 1907 г. В. Ф. Ахрамович (работавший тогда в редакции «Голоса Москвы») сообщил, что на это предложение «Александр Блок — ответил "радостным" согласием и обещал подробно договориться по возвращении из Киева» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 311). Договорные условия Брюсов изложил в письме к Блоку от 16 октября 1907 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 503) и в аналогичном, почти дословно совпадающем, письме к Ф. Сологубу (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1973 год. Л., 1976. С. 112—113. Публикация В. Н. Орлова и И. Г. Ямпольского). Предварительно перспективы сотрудничества с «Голосом Москвы» Белый обсудил с Блоком во время своего пребывания в Петербурге в первой половине октября; оттуда он писал Брюсову: «Вступление наше возможно исключительно в том случае, если "Голос Москвы" открыто (печатно) объявит себя газетою беспартийною» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Броюсов. М., 1976. С. 411); последнее обстоятельство обозначено как 1-й пункт проекта соглашения: «"Голос Москвы" становится газетой внепартийной». Договоренности об издании «Литературных приложений» к «Голосу Москвы», однако, достигнуть не удалось; 28 октября 1907 г. Брюсов сообщил Блоку: «Октябристы после победы оказались гораздо менее сговорчивыми, нежели были до выборов. С другой стороны Бор<ис> Ник<олаевич>, вспомнив вдруг, что он — левый, отказался от участия в "Голосе". В результате вся комбинация с этой газетой расстроилась» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 505).

6 «Утро России» — ежедневная газета либерального направления, издававшаяся в Москве осенью 1907 г. и в 1909—1918 гг. капиталистом П. П. Рябушинским. Белый подразумевает, видимо, свою работу над статьей «Мережковский. Силуэт», опубликованной в «Утре России» 18 октября 1907 г.

7 Белый выступил в Московском Религиозно-философском обществе с докладом «Символизм и религиозная проблема» 25 октября. См. объявление об этом: Утро России. 1907. № 32, 23 октября.

8 Осенью 1907 г. появилось оповещение о том, что в ближайшее время в издательстве «Гриф» выйдет в свет роман Андрея Белого «Адмиралтейская игла» (Перевал. 1907. № 10. С. 51), а несколько месяцев спустя газета «Вечер» сообщила, что Белый этот роман «закончил» (1908. № 31, 3 июля). Никаких следов работы Белого над этим романом, однако, не выявлено; скорее всего, «Адмиралтейская игла» — один из неосуществленных замыслов писателя. Объединив различные свидетельства, исследователи его творческого наследия пришли к выводу о том, что «в 1907—1908 гг. А. Белый работал над каким-то художественным произведением, текст которого нигде не обнаружен» (Бугаева К., Петровский А., <Пинес Д.>. Литературное наследство Андрея Белого // Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 599). 6 апреля 1927 г., отвечая на вопросы Д. М. Пинеса, Белый сообщал: «Роман из эпохи Николая I-го я собирался написать под заглавием *"Адмиралтейская игла"*. Соколов ("Гриф"), которому обещал роман, буде он напишется, взял да и тиснул *"утку"* в газете» (РГАЛИ. Ф. 391. Оп. 1. Ед. хр. 109).

---

194. БЛОК – БЕЛОМУ

17 октября <1907. Петербург>[1]

Милый Боря.

Спасибо Тебе за письмо и за сведения. Знаю, что мы близки с Тобой, а то, что мы во многом не похожи друг на друга, я думаю, только хорошо. Пожалуй, что очень тонкие и слишком поразительные сходства и ведут к химеризму. Надо, чтобы в каждом оставалось нечто для другого неизвестное, по-хорошему неизвестное — не возбуждающее сомнений и вопросов. Надеюсь, что мы с Тобой достигнем этого. Жду Тебя, милый, и люблю. На всякий случай — вот адрес мамы: Ревель,

Малая Батарейная 10. Но она на днях приедет на неск<олько> дней *в* Петербург, потому не пиши ей сейчас[2].

Любящий Тебя Саша

Вот, наконец, моя карточка[3]. Мне хочется послать ее Тебе до Твоего приезда в Петербург.

---

[1] Ответ на п. 193.

[2] Писем Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух, относящихся к этому периоду, не выявлено. См. письмо Кублицкой-Пиоттух к Белому от 19 сентября 1907 г. (с. 571 наст. изд.). Она приезжала из Ревеля (где служил Ф. Ф. Кублицкий-Пиоттух) и гостила у Блоков с 19 по 24 октября 1907 г. (см. дневниковые записи М. А. Бекетовой от 21 и 24 октября // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 625).

[3] Эта фотография Блока (1907) с надписью «Милому, нежно любимому брату Боре. СПб., Окт. 1907» воспроизведена в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. Между с. 224 и 225.

---

195. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не ранее 19 октября 1907. Москва>[1]

Милый, целую Тебя.
Спасибо за портрет, спасибо!
Увидимся скоро.

Любящий Тебя Боря

---

[1] Ответ на п. 194. Датируется по связи с ним.

---

196. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Начало ноября 1907. Петербург>[1]

Дорогой Александр Александрович,

Не устроишь ли Ты какое-нибудь стихотворение Матвея Исаковича Гольдфарба (Amans) в «Образование», или в «Современный мир», или в «Трудовой Путь»[2].

Хотелось бы повидаться. Постараюсь выбрать время и заехать. С Тобой нужно еще поговорить о тактических делах *очень*.

Остаюсь искренне любящий

Борис Бугаев

---

[1] Белый приехал в Петербург 1 ноября. Подробнее см.: *О Блоке.* С. 302; *Между двух революций.* С. 299.

[2] Произведений, подписанных указанным псевдонимом, ни в упомянутых петербургских журналах, ни в каких-либо иных изданиях не выявлено.

[3] Под текстом письма — приписка Белого (явно — для М. И. Гольдфарба, подателя письма): «Адрес: Галерная дом 41. Кв. 4. *А. А. Блок*».

---

197. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Между 5 и 8 ноября 1907. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

мне нужно было сказать Л. Д. несколько слов. Я не мог. Ввиду того, что я скоро намерен уехать из Петербурга, прошу, чтобы ты сообщил, не может ли Л. Д. уделить мне несколько слов и когда? Адрес. Васильевский остров. Университетская набережная. Дом 25, кв. 10.

Борис Бугаев.

Прощай. Больше я к Вам не приду. Жду ответа до 10-го ноября[2].

---

[1] Датируется на основании письма Блока к матери от 5 ноября 1907 г.: «Приехал на днях Боря, был у нас два раза. Будет у нас не очень часто» (*Письма к родным, I.* С. 179).

[2] 12 ноября 1907 г. Белый сообщал матери: «Раза 3 был у Блоков. <...> Чувствую себя в общем недурно. Странно мне в Петербурге, странно» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 314). Он уехал из Петербурга в Москву 18 ноября, после «контр» с Л. Д. Блок: «...с Л. Д. я имел очень крупное объяснение, после которого решил ликвидировать все с Петербургом» (*О Блоке.* С. 302); «...я, как Фома, таки палец вложил в рану наших мучительных отношений <...>» (*Между двух революций.* С. 299).

---

198. БЛОК – БЕЛОМУ

<Между 12 и 15 ноября 1907. Петербург>[1]

Боря милый,

ради Бога, согласись читать 17-ого в пользу с<оциал>-д<емократов>. Я уезжаю в Ревель и не могу[2].

Твой А. Б.

[1] Датируется на основании письма Блока к матери от 12 ноября 1907 г. — с сообщением об отъезде в Ревель 15 ноября (*Письма к родным, I.* С. 180).

[2] Блок с женой возвратились из Ревеля 18 ноября (Там же. С. 180—181). В автобиографических документальных сводах Белого («Ракурс к дневнику», «Себе на память») сообщения о выступлении в пользу социал-демократов в ноябре 1907 г. не зафиксировано. На 17 ноября было запланировано выступление Блока в зале Петровского училища (Петроградская наб., 2—4) на вечере «Новое искусство» в пользу харьковского землячества (см.: Русь. 1907. № 307, 16 ноября. С. 5; Галанина Ю. Е. Блок и «вечера искусства» // Труды Гос. Музея истории Санкт-Петербурга. Вып. IV. Музей-квартира А. Блока: Материалы научных конференций. СПб., 1999. С. 191). Возможно, обозначение «харьковское землячество» призвано было скрыть истинных адресатов благотворительной акции.

---

199. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец ноября 1907. Москва>[1]

Милый Саша,

пользуясь случаем (мой очень хороший знакомый едет в Петербург и остановится у меня в комнате[2]: она — до 6-го декабря за мной), я сообщаю Тебе некоторые данные: сегодня получил я от господина, имевшего намерение организовать мою лекцию, известие о технических неудобствах фиксировать ее на 4-ое[3]. Вместе с тем он очень просит меня ее прочесть для тех же целей в январе 1908 года. Ввиду того, что у меня было письмо к Тебе (не успел опустить), где я умоляю устроителей ввиду моей усталости освободить меня от чтения, то письмо отвечает моим желаниям всецело. Со скрежетом думал я о необходимости тащиться в Петербург на 1 день для лекции.

Если же господин (карточку его потерял), уверяющий меня в нужности моей лекции, как теоретически, так и практически (для хороших целей), настаивает на прочтении, то я готов ее прочесть в январе (так от 10-го до 20-го) 1908 года. Мы с мамой собираемся в Петербург в январе так, для рассеяния. Вероятнее всего, что в первых числах это будет трудновато. Итак, от 10-го до 20-го можно лекцию и фиксировать. Мне неловко отвечать господину устроителю, ибо отчества и фамилии его не знаю (карточку потерял). Но зная, что Любовь Дмитриевна или г-жа Веригина имеют отношение к устроителям, я покорно прошу Тебя устроить так, чтобы устроители были извещены о моем решении. Вместе с тем, если будешь мне писать, сообщи любезно имя, отчество и фамилию лица, взявшего на себя труд организации лекции.

Пишу мало и внешне, ибо тороплюсь. Не забывай меня.

Твой Боря

Любови Дмитриевне мой привет. Было бы приятно иметь адрес Александры Андреевны, хочу ей писать, но адреса нет.

С Вячеславом мы встретились исключительно хорошо, верно[4].

Это было мне утешением и подспорьем. Когда встретишь его, скажи ему, что люблю его.

---

[1] Датируется по связи с п. 200.

[2] Имеется в виду комната, которую занимал Белый в первой половине ноября 1907 г. (см. п. 197).

[3] Подразумевается: 4 декабря.

[4] На протяжении 1907 г. взаимоотношения Белого и Вяч. Иванова были фактически прерваны, в силу идейно-тактического противостояния двух символистских фракций — «московской» («весовской») и «петербургской», лидером которой считался Иванов.

---

200. БЛОК – БЕЛОМУ

<29 ноября 1907. Петербург>[1]

Милый Боря, это писала Тебе Иванова, которая уехала за границу, потому, если что нужно будет, пиши мне. Веригиной я передам, что Ты можешь прочесть лекцию 10—20 января[2]. Вот Тебе адрес мамы: Ревель, Малая Батарейная, 10. Целую Тебя крепко.

Твой Саша

29 ноября.

---

[1] Ответ на п. 199.

[2] Актрисы театра В. Ф. Коммиссаржевской В. В. Иванова и В. П. Веригина были организаторами намеченной лекции Белого в Петербурге.

---

201. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Декабрь 1907. Москва>[1]

Дорогой Саша.

соблаговоли передать устроительницам лекции о моем принципиальном согласии прочесть оную от 10-го до 20-го января. Пусть пришлют в свое время *точное* уведомление о дне лекции.

Любящий Тебя

Борис Бугаев.

P. S. Не знаю, передали ли Тебе письмо *все о том же*[2].

Милый, сейчас узнал, что моя лекция может появиться в печати уже 15-го января[3]. Итак, лучше, чтобы дни лекции упали между 5-ым и 15-ым январем. До 15-го ручаюсь, что лекция не будет напечатана. После 15-го она может и появиться[4]. Скоро напишу Тебе. Пиши и Ты. Глубоко Тебя люблю, неизменно.

[1] Ответ на п. 200. Датируется по связи с ним.

[2] Вероятно, имеется в виду п. 199 (ответом на которое, однако, является п. 200).

[3] Статья на тему объявленной лекции Белого («Искусство будущего») в указанные сроки не была опубликована; впервые опубликована под заглавием «Будущее искусство» в книге статей Андрея Белого «Символизм» (М., 1910. С. 449—453).

[4] Блок и В. П. Веригина ответили телеграммой: «Зал снят пятнадцатого января» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 224).

202. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 декабря 1907. Москва>[1]

Дорогой Саша,

в Москве в *Благородном Собрании* (лучшая зала в Москве на 3000 чел.) предполагается благотворительный вечер, который состоится, только если Ты, Соллогуб или В. Иванов (все или, по крайней мере, двое из Вас) согласятся приехать. Предполагаемые участники литер<атурного> отделения: Зайцев, Брюсов, Л. Андреев (который *наверное* согласится: при мне он давал согласие на вечер в Бл<агородном> Собр<ании>, я и не обратил внимание устроителей на это), Ты, Соллогуб, Иванов, я. В музыкальном отделении выступят лучшие пьянисты Москвы. Вечер предполагается в 20-х числах января (к концу месяца). *Проезд и содержание обеспечены*[2].

Отвечай немедленно.

Остаюсь искренне любящий Тебя

Б. Бугаев

Поздравляю с праздником[3].

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Получено в Петербурге 24 декабря 1907 г.

[2] Планировавшийся вечер в указанные сроки не состоялся.

[3] Рождество.

203. БЛОК – БЕЛОМУ

<28 декабря 1907. Петербург>[1]

Поздравляю Тебя с Новым Годом, милый Боря. Не приеду в Москву, очень не хочется. Я и вообще перестал совсем читать на вечерах[2], и почти не вижу людей.

У меня очень одиноко на душе, много планов, много тоски, много надежды и много горького осадка от прошлого. По всему этому хочется быть одному, там, где холодно и высоко.

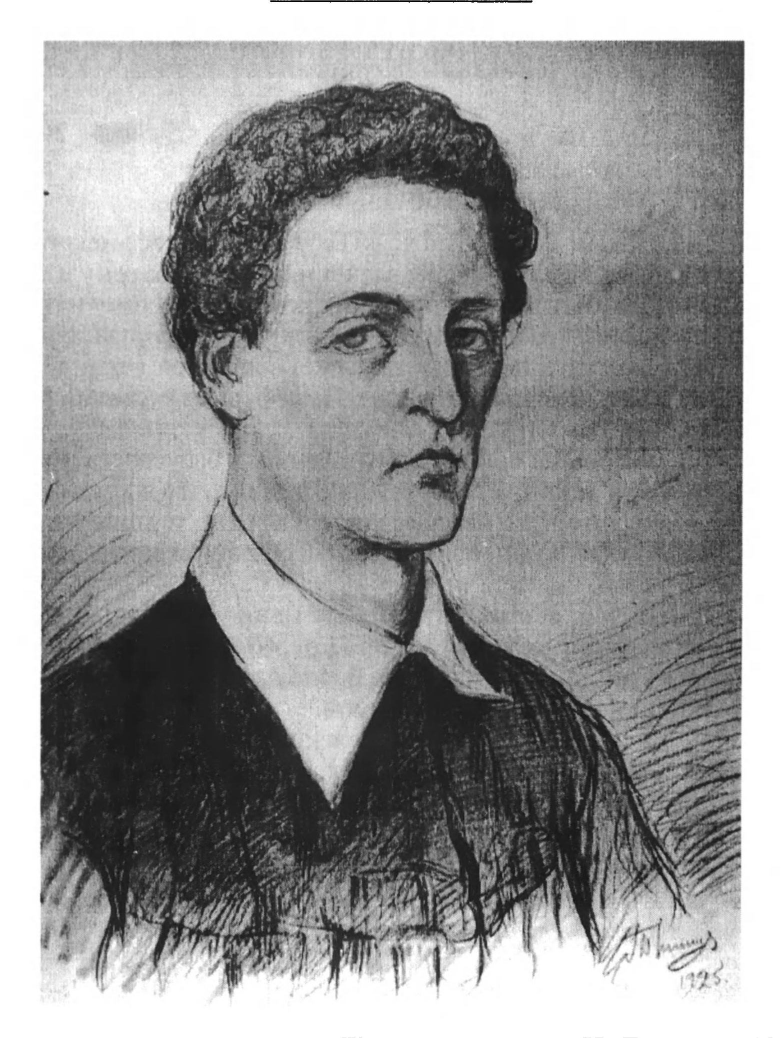
Твой Ал. Блок

28. XII. 07.

---

[1] Ответ на п. 202.

[2] О своем категорическом намерении отказаться от публичных выступлений на вечерах, концертах и т. д. Блок сообщил матери в письме от 9 декабря 1907 г. (VIII, 221); заявил он об этом и в специальном «письме в редакцию», опубликованном в газете «Свободные Мысли» 21 января 1908 года: «...я не принимаю более участия в литературных вечерах <...>» (V, 676).



А л е к с а н д р Б л о к. Портрет работы Т.Н. Гиппиус. 1925

1908

204. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<5 января 1908. Москва>

Дорогой Саша,

поздравляю Тебя с Новым Годом. Все хочу Тебе писать, и все некогда: дела, а то праздники, т. е. праздничный угар, развлечения и т. д. Поэтому и сейчас пишу только о внешнем. Дело вот в чем: я получил около месяца тому назад телеграмму, уведомляющую меня, что помещение для лекции (предполагавшейся) снято на 15-ое[1]. Мне нужно знать точно и *теперь* же, состоится лекция, или нет. По правде сказать, не очень хочется мне ехать в Петербург, ибо связан. Но во всяком случае, если механизм заведен, приеду.

Будь так любезен, сообщи организаторам, чтобы я был своевременно уведомлен о дне лекции. Если лекция состоится, сообщи им, что я *привык* читать стоя, а не сидя (в каждой аудитории имеется если не кафедра, то приспособление, напоминающее аналой, для чтения стоя). Я был бы обязан устроителям, если бы они учли это обстоятельство.

В случае, если лекция состоится, я прошу меня уведомить о *дне, часе* и *АДРЕСЕ* помещения, ибо могу приехать в Петербург только 15-го утром. Если лекция состоится в этот день, я, вероятно, поспею только на лекцию и оттого-то час и адрес помещения мне необходимо знать.

Хотелось бы (между нами говоря), чтобы лекция не состоялась. Что сказать pro domo sua? Кажется, нечего. Да вот: ужасно весело было устраивать ёлку, опутывать ее путаницей. Что Вячеслав, что петербуржцы? Ни о ком ничего не знаю. Да: Иаслендер[2] говорит, что Кузмин дружит с Анной Рудольфовной Минсловой — этой «дойной коровой» с мокрым носом[3]. C'est épatant! *

Милый Саша, нежно целую Тебя.

Твой Борис Бугаев

Москва 5-го января 08 года.

---

* Это поразительно! (*фр.*).

[1] См. примеч. 4 к п. 201.

[2] Искаженное воспроизведение фамилии С. А. Ауслендера.

[3] Об А. Р. Минцловой и ее контактах с русскими символистами во второй половине 1900-х гг. идет речь в подробном документальном исследовании Н. А. Богомолова «Anna-Rudolf» (в его кн.: Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., 1999. С. 23—110). М. А. Кузмин в конце 1907 — начале 1908 г. был подвержен определенному духовному воздействию Минцловой, что сказалось в его стихах той поры (см.: Там же. С. 54, 58; Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: статьи и материалы. М., 1995. С. 127—129).

205. БЛОК – БЕЛОМУ

<7 января 1908. Петербург>[1]

Дорогой Боря, билеты уже продаются, вероятно, Ты получил уже извещение: лекция в зале Тенишевского Училища (Моховая 33) 15-ого января в $8^1/_2$ час. вечера[2].

Твой А. Б.

7 янв.

[1] Ответ на п. 204.

[2] Лекция Белого «Искусство будущего» состоялось в назначенный день. См. газетный отчет о ней: Русь. 1908. № 16, 17 января.

206. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<25 января 1908. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Что же Ты не прислал мне фельетоны?[2] Мне они нужны. Верни в Москву по адресу: Москва, Арбат, д. Новикова, кв. 7. Буду их ждать.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любови Дмитриевне.

P. P. S. Фельетоны жду.

[1] Датируется по связи с п. 207. Написано в Петербурге, куда Белый приезжал 22—25 января для чтения лекции.

[2] Какие именно свои статьи Белый передал тогда для прочтения Блоку, неизвестно.

207. БЛОК – БЕЛОМУ

26 января 1908. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Посылаю Тебе заказной бандеролью все фельетоны, кроме прилагаемого, который боюсь[2]. Это мне нравится больше всего. Хотел принести Тебе на лекцию[3], да очень хорошо писалась пьеса, потому не пришел[4]. Очень хорошо, что мы увидались с Тобой у Палкина. Сохраняю от этого разговора очень хорошее воспоминание[5]. Целую Тебя крепко и люблю.

Александр Блок

---

[1] Ответ на п. 206.

[2] См. примеч. 2 к п. 206.

[3] Белый выступал в Петербурге в зале Тенишевского училища 25 января 1908 г. с лекцией «Фридрих Ницше и предвестия современности». В связи со своими двумя лекциями в Тенишевском зале Белый вспоминает: «...в Москве слушала меня главным образом молодежь (не писатели); в Петербурге публика была иная: мир литераторов и "общества"; были все, кого я знал, начиная с Дягилева; и даже явился бывший главнокомандующий Линевич» (***Между двух революций***. С. 240).

[4] Блок работал в это время над драматической поэмой «Песня Судьбы». 25 января 1908 г. он писал матери: «Сейчас Боря читал вторую лекцию, я не пошел, потому что драма хорошо писалась» (***Письма к родным, I.*** С. 191).

[5] В том же письме к матери Блок сообщал о Белом: «У нас он не был, но третьего дня мы с ним несколько часов хорошо поговорили у Палкина. Установили дружеские личные отношения и вражеские — литературные» (Там же. «Палкин» — петербургский ресторан, в котором Блок и Белый встречались и ранее; см. п. 120).

---

208. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец января 1908. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша,

спасибо за милое письмо. Оно мне дорого. Ужасно Тебя люблю. Рад, что повидались. Читал ли Ты, как Тебя ругал Розанов в *«Русском Слове»*. Обиделся за религиозно-философские собрания[2].

Со мной произошел скандал. Опоздал (намеренно) на лекцию в Москве[3]. Теперь на меня сердятся.

Буду замкнуто работать. Если напишешь два, три слова, буду рад. От времени до времени буду тебе кратко писать. Писать много не могу.

А очень дух Москвы разнится от петербургского духа... не в пользу Петербурга. Ужасно полюбил Кузмина в этот приезд[4].

Милый, прощай.

Любящий Тебя Борис Бугаев

P. S. Мой привет и уважение Любови Дмитриевне.

---

[1] Ответ на п. 207. Датируется по связи с ним. Помета Блока графитным карандашом: «Получ. в янв. 1908».

[2] Имеется в виду статья В. В. Розанова «Автор "Балаганчика" о петербургских Религиозно-философских собраниях» (Русское Слово. 1908. № 21, 25 января. Подпись: В. Варварин; см.: Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995. С. 262—272), представлявшая собой резкий полемический отклик на негативную оценку деятельности Религиозно-философских собраний (возобновленных с 3 октября 1907 г.) в статье Блока «Литературные итоги 1907 года» (Золотое Руно. 1907. № 11/12; см.: V, 210—212). Свою характеристику выступления Розанова Блок дал в письме к Е. П. Иванову от 31 января 1908 г. (VIII, 228). Тема взаимоотношений Блока и Розанова затронута в публикации С. А. Беляева и Л. С. Флейшмана «Из блоковской переписки» (Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 398—406); см. также: Ёлшина Т. А. «Друг другу мы тайно враждебны...»: тайный смысл разногласий А. Блока и В. Розанова // Потаенная литература. Исследования и материалы. Приложение к вып. 2. Иваново, 2000. С. 170—175.

[3] 28 января 1908 г. Белый повторил лекцию «Фридрих Ницше и предвестия современности», читанную в Тенишевском зале, в Москве в аудитории Польской библиотеки (Мясницкая, Милютинский пер.).

[4] Во время пребывания в Петербурге 22—25 января 1908 г. Белый познакомился с еще не опубликованным стихотворным циклом Кузмина «Мудрая встреча» и высоко оценил его. 30 января 1908 г. он писал Кузмину из Москвы: «Почему-то хочется мне отсюда еще раз Вас поблагодарить за *"Мудрую встречу"* и за музыку. Музыку помню. Вы были так любезны, что обещали мне прислать слова и мелодию. <...> Только настойчивое желание иметь у себя слова и мелодию заставляет меня обратиться к Вам» (ГПБ. Ф. 124. Ед. хр. 387). Кузмин выслал Белому нотные записи с текстами стихотворений при письме от 2 февраля 1908 г. (РГБ. Ф. 25. Карт. 18. Ед. хр. 8).

---

209. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<5 марта 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

большое спасибо за книгу[2]. Прочел с нежностью. Что-то близкое, дорогое в «Незнакомке» и «Короле на Площади». Спасибо, милый, спасибо!

Удивительный аккорд в книге: точно взвеяна она из лепестков (цветочных, снежных)[3].

Целую Тебя.

Твой Б. Бугаев

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Получено в Петербурге 6 марта 1908 г.

[2] Подразумевается книга Блока «Лирические драмы» (СПб., «Шиповник», 1908), в которую вошли «Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка»; она вышла в свет в конце февраля 1908 г. Экземпляр, подаренный Белому, и надпись Блока на нем не выявлены (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

[3] Печатный отзыв Белого на эту книгу — статья «Обломки миров. (О "Лирических драмах" А. Блока)» (Весы. 1908. № 5. С. 65—68) — содержал, однако, крайне скептическую ее оцен-

ку; впоследствии Белый даже полагал, что именно появление этого отзыва обусловило в конце концов разрыв его отношений с Блоком: «...до появления рецензии мы не думали, что — в разрыве мы; после рецензии — ссора оформилась» (*О Блоке*. С. 330). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый перепечатал «Обломки миров» (Там же. С. 328—330) — «как образчик медиумического истеризма»; о ситуации, обусловившей написание этого отзыва, он вспоминает: «...жизнь второй половины сознания диктовала порою совсем неожиданные жесты души; и таковыми были — припадки *боли* и *полемической злости*; в то именно время вышла книжечка драм А. А. — с обложкою Сомова; книжечка, из которой опять на меня из А. А. поглядели и *скепсис*, и *смерть*, — преисполнила меня стремительной полемической злостью; и тут неожиданно я написал обиднейшую рецензию на драмы (сколько раз потом я готов был рвать волосы за то, что она-*таки* была напечатана)» (Там же. С. 327—328).

---

210. БЛОК – БЕЛОМУ

6 марта 1908. <Петербург>[1]

Милый Боря, спасибо Тебе за письмо. Я сейчас живу один совсем (Л<юба> — в поездке)[2], тихо, много работаю, 18-ого буду читать «О театре»[3], много переводов[4]. Отдыхаю от страшно болезненной зимы. А Ты что? Продолжаешь ли писать в газетах? Или — пишешь роман[5]? Моя драма[6] опять застряла. Людей вижу немного. Целую Тебя.

Любящий Тебя Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 209.

[2] Л. Д. Блок гастролировала с драматической труппой В. Э. Мейерхольда по провинции; выехала из Петербурга 15 февраля. См.: Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 216—217.

[3] Публичная лекция, прочитанная Блоком в петербургском Театральном клубе 18 марта 1908 года, была основана на тексте его статьи «О театре» (февраль—март 1908 г.), опубликованной в «Золотом Руне» (1908. №№ 3/4, 5; см.: V, 241—276).

[4] Блок работал в это время над переводом трагедии Ф. Грильпарцера «Праматерь» («Die Ahnfrau», 1817), вышедшем в свет отдельным изданием (СПб., «Пантеон», 1908) в ноябре 1908 г. (см.: Азадовский К. М. Блок и Грильпарцер // Россия и Запад. Из истории литературных отношений. Л., 1973. С. 304—319), и стихотворений М. Метерлинка (незаконченные переводы этих стихотворений не сохранились — погибли в 1918 году при разгроме шахматовской усадьбы).

[5] См. примеч. 8 к п. 193.

[6] «Песня Судьбы».

---

211. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Март 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

не откажи в одной нашей общей просьбе, моей и некоторых лиц, прочти, если есть только какая-нибудь возможность, лекцию в Москве с благотворительной целью.

Расстояние от Москвы до Петербурга ничтожно: переезд займет у Тебя немного времени, а Москве будет приятно Тебя послушать.

Надеюсь, Ты не откажешь, если будет хоть какая-нибудь возможность.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

---

[1] Датируется по связи с п. 213.

---

212. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<20 марта 1908. Москва>

Милый Саша,

все собирался Тебе писать, но вот уже четыре недели, как засел дома, нигде не бываю, никого не вижу: стал тяжел на подъем. И никому не писал. Много читаю, занимаюсь. Кроме того: пишу повесть[1]. В общем чувствую себя недурно, когда один. В газетах не пишу. Надоели все газетчики, и вообще литературная атмосфера, из которой я не без усилия вырвался. Моя полемика в итоге отшатнула от меня решительно всех литераторов, так что я теперь совсем чужой всем. И я доволен. Чувствую, впадаю не то в дряхлость, не то в детство; а весну люблю.

Милый Саша, напиши мне несколько слов о себе. Как Ты? Скоро ли выйдет Твой сборник стихов?[2]

Целую Тебя.

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

20 марта 08 года.

P. S. На старости лет занялся музыкой. Много играю Моцарта.

---

[1] Вероятно, речь идет о рассказе Белого «Адам. Записки, найденные в сумасшедшем доме», вскоре опубликованном в «Весах» (1908. № 4. С. 15—30).

[2] Имеется в виду книга Блока «Земля в снегу. Третий сборник стихов» (М., изд. журнала «Золотое Руно», 1908), вышедшая в свет в июле 1908 г.

---

213. БЛОК – БЕЛОМУ

25 марта <1908. Петербург>[1]

Спасибо Тебе за письмо, милый Боря. Живу совсем тихо, один. Хорошо. Усиленно работаю — перевожу старую романтическую трагедию Грилльпарцера — со страхами и привидениями, с героиней совсем с кипсэка[2]. Мою драму, наконец,

кончил почти совсем, очень переболел ею, и, пожалуй, вышло что-то лучшее, чем предыдущие[3]. Очень хотелось бы, чтобы Ты ее узнал.

Читал лекцию о театре — успешно[4]. Во многих мыслях мы с Тобой сходимся.

Напиши, ради Бога, прилично ли дать стихи в «Белый Камень»? Тут приезжал какой-то его хулиганский издатель, в чем-то полу-извинялся, обещал, что там сотрудничает Бунин. Будет ли сотрудничать кто-либо из Вас?[5]

Трижды звали меня в Москву — читать (спасибо в том числе за Твое письмо, переданное мне дамой)[6], но не могу и как-то не хочется; опять растеряешься. А теперь я ужасно отдыхаю за работой, собираю себя и коплю силы, забываю тяжелую зиму и просто радуюсь весне. Убеждаюсь, что не «примелькались еще ночи и дни», хотя и «нет никого на земле...» и т. д.[7]

Очень, очень понимаю Твое письмо. Но мы долго еще будем живы и сильны. Еще все не исполнилось.

Досадное чувство возбуждают во мне парижские книжники[8]. Бывает, что собака, совсем чужая и так, черт ее знает, почему и за что, — облает. И собака-то ничего не сторожит, и хвост-то у нее куцый, а все-таки — досадно. Так вот теперь для меня — Мережковское[9]. — Напиши мне еще, милый. У Вас теперь Вяч<еслав> Ив<анов>, я как-то опять его почувствовал и полюбил[10].

Любящий Тебя Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 212.

[2] См. п. 210, примеч. 4. Кипсэк — подарочное художественное издание, чаще всего — альбом гравюр, преимущественно женских головок.

[3] В рукописи «Песни Судьбы» завершение работы над первой редакцией пьесы датировано 29 апреля 1908 г. (IV, 578).

[4] См. п. 210, примеч. 3. Ср. аналогичное сообщение в письме Блока к Л. Д. Блок от 21 марта 1908 г.: «Моя лекция имела, в сущности, большой успех» (VIII, 232).

[5] Инициатором этого издательского предприятия был критик и журналист Анатолий Андреевич Бурнакин (?—1932), пользовавшийся в литературной среде весьма одиозной репутацией. В 1907 г. он издал в Москве сборник (с обозначением: т. 1) «Белый камень. Альманахи индивидуального искусства и индивидуальной мысли»; в 1908 г. собирал 2-й том «Белого камня». Пытаясь привлечь через Чулкова к участию в издании авторов-модернистов, он сообщал ему 25 марта 1908 г., что «А. А. Блок и И. А. Бунин согласились», а 22 марта писал Блоку из Москвы: «Нетерпеливо жду от Вас обещанного цикла стихотворений». Как видно из второго письма Бурнакина к Блоку (от 6 апреля 1908 г.), последний ему не ответил и стихотворений не представил (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 320—321).

[6] Имеется в виду п. 211.

[7] Обыгрываются строки стихотворения Брюсова, входящего в его книгу «Me eum esse» (М., 1897): «И ночи, и дни примелькались»; «И нет никого на земле // С ласкающим, горестным взглядом» (Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 121).

[8] Подразумеваются Д. Мережковский, З. Гиппиус и Д. Философов, жившие в это время в Париже.

[9] Эти аттестации, возможно, вызваны впечатлениями от статьи Мережковского «Асфодели и ромашка» (Речь. 1908. № 71, 23 марта), в которой национальная тема в творчестве Блока интерпретируется следующим образом: «...Александр Блок, рыцарь "Прекрасной Дамы", как будто выскочивший прямо из готического окна с разноцветными стеклами, устремляется в "некультурную Русь" <...> к "исчадию Волги", хотя насчет Блока уж слишком ясно, что он, по выражению одного современного писателя о неудавшемся любовном покушении, "не хочет

и не может"» (Мережковский Д. В тихом омуте. СПб., 1908. С. 98). Ср. запись Блока от 24 марта 1908 г., наверняка сделанную по прочтении этой статьи: «Мережковский — поганая лягушка — критик. Собака чужая совсем, а вдруг возьмет и облает: всегда досадно. И собаке-то ни к чему, черт ее знает. Плюнуть хочется. Книжный критик» (ЗК, 104).

[10] Ср. признания Блока в письме к матери от 1 апреля 1908 г.: «А вот, кого опять я понял, это — Вяч. Иванова. Перед его отъездом в Москву <...> мы говорили долго и очень откровенно. Он совсем уж перестает быть человеком, и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой» (*Письма к родным, I.* С. 202).

---

214. БЛОК – БЕЛОМУ

5 апреля 1908. <Петербург>

Спасибо Тебе, милый Боря, сейчас получил я Кубок Метелей[1]. Ты, пожалуй, не можешь сейчас представить, с каким чувством я приступлю к нему. Теперь моя жизнь как-то совсем по-необычайному поворачивается. Извне — необычайная тишина, в глубине — просветленная, чистая совесть. Живу, по-прежнему, совсем тихо, один, много работаю, и глубоко просто. Музыку неслыханную слушаю.

Ты спрашивал у меня адрес мамы, — вот он: Ревель, Малая Батарейная, 10. Я знаю, как она оценила бы, если бы Ты прислал ей симфонию. Сделай это, если у Тебя еще есть.

Крепко целую Тебя и люблю.

Твой Ал. Блок

---

[1] Книга Андрея Белого «Кубок метелей. Четвертая симфония» (М., «Скорпион», 1908) вышла в свет в начале апреля 1908 г. Экземпляр ее, присланный Блоку, в его библиотеке не сохранился; о судьбе его можно судить по помете Блока: «Пропало у М. И. Т.» (М. И. Терещенко). См.: *Библиотека Блока, 3.* С. 210. 17 апреля 1908 г. Блок сообщил матери, что Белый прислал ему «Кубок метелей» «с нежной надписью» (*Письма к родным, I.* С. 205).

---

215. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 апреля 1908. Москва>[1]

Милый Саша,

спасибо за хорошее Твое письмо. Ласково оно меня утешило. Милый Саша, я так Тебя начинаю опять любить. Верю я, что какой-то тяжелый период приходит к концу. И зори опять нас посетят. Я долго не писал Тебе: хотелось разобраться в себе самом и никому, никому не говорить о себе; а в письме всегда приходится говорить о себе.

Радуюсь Тебе, что Ты в тишине и сосредоточенности. Когда видел Тебя в последний раз[2], мне казалось, что вокруг Тебя тучи; впрочем, мы виделись так коротко. Да и я в Петербурге всегда не я: Петербург для меня теперь синоним истерики; не люблю его.

Ты спрашивал меня о Вяч. Иванове. Да, он был; два раза читал свой доклад: в «кружке» и в «Рел<игиозно>-филос<офском> обществе»[3]. 1) Доклад неумный. 2) Коварный и двусмысленный. В первый раз, когда слышал его в Кружке, он прозвучал как что-то нехорошее против Москвы (и при этом это «косоглазие» на Москву тайное, не открытое). Я нарочно возражал ему сухо и официально, так сказать, поднимая брошенную перчатку. Он ответил, что плоскость его реферата (об идеализме и реализме в символизме) вне плоскости обычного смысла, установленного за идеализмом и реализмом. Тогда в философском обществе за этот ответ не по существу (*так иные игроки рукавом передвигают шашку*) я высказался несколько горячо против его теорий. Но он опять перчатку не поднял. Через два дня был у меня, был ласков донельзя: меня законфузил. Что-то было во всем этом «*непрямое*» (1) передержки в прениях, 2) исподтишка мина против Москвы, 3) елейная ласковость обращения). Буду теперь ему писать обо всем этом письмо: *начистоту*[4].

Дорогой Саша, напиши мне, если Тебе не трудно, что Ты скажешь о «Симфонии»[5]. Она самая искренняя моя из всех 4-х; наиболее трудная для понимания; и увы — с механической маской на лице. Никто ее, кажется, не принимает. Не верят, что от очень большой искренности она писана. Как странно: она — паспорт к моей душе[6].

Получил почему-то книжку А. М. Ремизова[7] с надписью «заходите», будто он думает, что я буду в Петербурге.

Дорогой Саша, напиши мне, долго ли еще Ты будешь в Петербурге и где намерен проводить лето. Целую Тебя.

Искренне любящий

Борис Бугаев

08 года 6-го апреля.

---

[1] Ответ на п. 214.

[2] Подразумевается встреча в петербургском ресторане Палкина 22 января 1908 г. (см. п. 207, примеч. 5).

[3] Лекцию «Две стихии в современном символизме» Вяч. Иванов читал в Московском Литературно-художественном кружке 25 марта 1908 г., лекцию «Символизм и религиозное творчество» — 30 марта на XVIII публичном заседании Религиозно-философского общества. Основанная на тексте докладов статья Вяч. Иванова «Две стихии в современном символизме» была опубликована в «Золотом Руне» (1908, №№ 3/4, 5), вошла в книгу Иванова «По звездам» (СПб., 1909. С. 247—290). См. описание лекции и последовавших дебатов в письме В. К. Шварсалон к М. М. Замятниной от 29 марта 1908 г. (в кн.: Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы. М., 1999. С. 496—497).

[4] Полемическим ответом Иванову стала статья Белого «На перевале. XII. “Realiora”» (Весы. 1908. № 5. С. 58—62. Подпись: Борис Бугаев); Иванов ответил на нее статьей «Б. Н. Бугаев и “Realiora”» (Весы. 1908. № 7. С. 73—77). Полемика в той же связи продолжалась в других статьях — «Символизм и современное русское искусство» Белого (Весы. 1908. № 10. С. 38—48) и «Эстетика и исповедание» Иванова (Весы. 1908. № 11. С. 45—50).

[5] 17 апреля 1908 г. Блок писал матери: «Боря ведь выпустил Симфонию <...>. Я читал. Читая, получил его беспокойное письмо, что я скажу о Симфонии. Но я ничего не могу сказать

ему: мало того, что она мне не нравится (она никому не нравится), но еще я имею многое против ее духа. И не отвечу ему ничего» (*Письма к родным, I.* С. 205).

[6] Ср. суждения Белого в предисловии к его книге «Пепел» (СПб., 1909. С. 9) о том, что для понимания «Кубка метелей» «надо быть немного “*эзотериком*”» и что в этом произведении отобразились «наиболее сокровенные символы души».

[7] Речь идет о романе Ремизова «Часы» (СПб., «Eos», 1908). Белый опубликовал рецензию на него (Весы. 1908. № 6. С. 67—68. Подпись: Яновский).

---

216. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<После 6 апреля 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

я забыл, кажется, Тебе сказать, что, конечно, пошлю «Симфонию» Александре Андреевне[2], но что сейчас у меня не было под рукой экземпляров: все роздал. Скоро будут экземпляры: тогда пошлю.

Поздравляю Тебя с праздником. Видел ли Ты книгу Сережи и что Ты о ней думаешь? Там есть полемика против Брюсова и против Тебя[3].

Где думаешь провести лето?

А я чувствую теперь себя неважно. Надеюсь поправиться летом. Разделю, вероятно, лето между Тульской губернией, Москвой и Крюковым. Впрочем, ничего не знаю.

Будь здоров. Желаю Тебе мира, бодрости и тишины.

Любящий Тебя Борис Бугаев

---

[1] Датируется по связи с п. 215.

[2] Блок просил об этом в п. 214.

[3] Имеется в виду книга С. Соловьева «Crurifragium» (М., 1908); заключительный ее отдел — «Полемика» — состоит из двух статей: «Ответ Валерию Брюсову» (по поводу рецензии Брюсова на книгу Соловьева «Цветы и ладан» в № 5 «Весов» за 1907 г.) и «Г. Блок о земледелах, долгобородых арийцах, паре пива, обо мне и о многом другом» (С. 153—163); последняя статья представляет собой памфлетный отклик на разбор «Цветов и ладана», предпринятый Блоком в статье «О лирике». См.: *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 316.

---

217. БЛОК – БЕЛОМУ

24 апреля 1908. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Я долго не отвечал на Твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочел «Кубок Метелей» и нашел эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу[2]. С моей точки зрения, там очень

много кощунственного, но, так как Ты находил со своей стороны кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что симфония эта — самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в Тебе не понимаю, никогда не пойму, и никто не поймет. Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю (но и никто не понимает). К этому присоединяется ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гиппиус, «обозной сволочи»[3]. Я не могу не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чем-то бо́льшем, чем мы, потому что за это всегда говорили и говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть единственная «неколебимая истина»[4] мистического порядка, и с точки зрения этой истины я принужден признать твою симфонию враждебной мне по существу.

Что касается Сережиной «полемики» (?), то я должен сказать, что он понял меня и то, что я писал, столь же тонко, сколько может понять любой высокомерный директор департамента. Мог бы сказать много, но не хочется[5].

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 215 и 216.

[2] Ср. признания Блока в письме к матери от 21 апреля 1908 г.: «Боря пишет мне встревоженные письма (обещает, между прочим, прислать тебе Симфонию), а я ему не в силах ответить. Ибо неуловимо хамские выходки есть в этой Симфонии против меня, а в только что вышедшей книге Сережи — целая очень уловимо хамская статья обо мне. Московское высокомерие мне претит, они досадны и безвкусны, как индейские петухи. Хожу и плююсь, как будто в рот попал клоп. Чорт с ними» (VIII, 237).

[3] Имеются в виду опубликованные в «Весах» статья Белого «Далай-лама из Сапожка (О творчестве Ф. Сологуба)» (1908. № 3. С. 63—76; под заглавием «Ф. Сологуб» вошла в кн.: Андрей Белый. Луг зеленый. М., 1910. С. 152—177), рецензия на книгу Антона Крайнего (З. Гиппиус) «Литературный дневник (1899—1907)» (СПб., 1908) (1908. № 3. С. 86—89; вошла в кн.: Андрей Белый. Арабески. М., 1911. С. 441—445), фельетон «На перевале. X. Вольноотпущенники» (1908. № 2. С. 69—72; Андрей Белый. Арабески. С. 331—335). Выражение «обозная сволочь», употребленное Белым в «Вольноотпущенниках» применительно к литераторам-эпигонам, вызвало широкий скандальный резонанс; при переиздании статьи в «Арабесках» Белый заменил его на «обозники».

[4] Обыгрывается 1-я строка стихотворения Брюсова «Неколебимой истине...» (Брюсов В. Urbi et Orbi. М., 1903. С. 148).

[5] Книгу С. Соловьева «Crurifragium» Блок с едкой иронией охарактеризовал в заключительном разделе статьи «Письма о поэзии» (август 1908 г.), опубликованной в «Золотом Руне» (1908. № 10). См.: V, 298—300.

---

218. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<3 мая 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Очень благодарен за Твое правдивое мнение обо мне. Оно показывает, насколько мы чужды друг другу. Ты утверждаешь, что все же мистические факты нас свя-

зывают; я *утверждаю, что их нет и не было вовсе* (то, что Ты называешь *«мистикой»*, очевидно не то, что разумею я). Ввиду *«сложности»* наших отношений я *ликвидирую* эту сложность, прерывая с Тобой сношения (кроме случайных встреч, шапошного знакомства и пр.).

Не отвечай.

Всего хорошего[2].

Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 217. Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Получено в Петербурге 4 мая 1908 г.

[2] Об отношении к Белому после получения этого письма можно судить по словам Блока в письме к жене от 24 июня 1908 г.: «Ко многим людям у меня в душе накопилось много одинокого холода и ненависти (Мережковские, разные москвичи с г. А. Белым во главе <...>)» (Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 238). Ср. запись Блока от 26 июня 1908 г.: «Хвала создателю! С лучшими друзьями и "покровителями" (А. Белый во главе) я внутренно разделался навек. Наконец-то! (разумею полупомешанных — А. Белый, и болтунов — Мережковские)» (ЗК, 108—109).

---

219. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<8 сентября 1908. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Сегодня весь день читал Тебя. Во многом Тебя не понимаю. Но захотелось выразить Тебе восхищение за некоторые стихи, которые навсегда останутся в русской поэзии перлами; сегодня перечел Тебя от доски до доски. Так отчетливо вспомнил Тебя: и *многое* вспомнилось, невозвратное.

Грустно на этом свете: люди сходятся и расходятся *вопреки* чему-то *основному*. Это *основное* у меня к Тебе — любовь и надежда на Тебя, за Тебя: где-то все это покоится в глубине; а *извне* — какая-то пляска марионеток (литер<атурные> отношения и прочее). *Неужели* же эта далекость от Тебя во внешнем и есть *Истина*.

Извини меня: я Тебе послал раздраженное письмо весною[2]: очень обидело меня, что Ты, не зная моих мотивов, по-моему честных, порицаешь мою полемику. Это была вспышка. Прошу у Тебя, милый, прощения.

Во внешнем мы люди диаметрально противоположные; внутри же — там, там, — любовь у меня к Тебе; я очень мучался, что у нас *такие* сложились отношения, точно мы — враги. Прости меня, в чем я виноват перед Тобой.

Это тем охотнее я пишу, чем больше понимаю, что пути наши в *интимном* безвозвратно разошлись; и я пишу Тебе как бы из далекого, иного мира.

Еще несколько недель тому назад собрался Тебе писать, да глупое самолюбие не позволило. Сегодня же: грустно на душе — нет мира от сознания, что я в отношении к Тебе позволил себе резкость; а я в душе Тебя люблю.

Ну, вот.

Можешь мне не писать: мне все равно; если напишешь, буду рад.

Я же *должен* Тебе написать это письмо; оттого и пишу: больше не от чего. Это вовсе не желание завязать с Тобой переписку, а влечение сердца. Если напишешь, буду рад; не напишешь, не надо.

Ну Господь с Тобой, милый.

Прочти и не сердись. Я хочу только правды.

Любящий Тебя

Борис Бугаев

08. Сентября 8.

---

[1] Письмо не было отправлено адресату. Автограф его хранится в архиве Андрея Белого (РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 1. Л. 3—4).

[2] Имеется в виду п. 218.

„Пепелъ — книга самосожженія и смерти": но сама смерть есть только завѣса, закрывающая горизонты дальняго, чтобы найти ихъ въ ближнемъ. (Предисловіе къ „Урнѣ")

Ты — Рей съ озолощенной урной
Надъ пологомъ ненастныхъ тучъ
Не пепелъ изольешь, а лучъ
Изъ бездны времени лазурной.

Свѣтъ, проходя сквозь пепелъ и пыль, образуетъ зарю: нѣтъ зари безъ пепла; въ комъ есть пепелъ разувѣреній, тому открыта ласка зари.

..... И Фениксъ возстаетъ изъ пепла.

Земля, удобренная пепломъ, приноситъ больше цвѣтовъ.

Дорогому, неизмѣнному и старинному другу, Эмилію Карловичу Метнеру отъ Андрея Бѣлаго

Дарственная надпись Андрея Белого Э.К. Метнеру на книге «Пепел». 1909

1910

220. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец августа — начало сентября 1910. Москва>[1]

Глубокоуважаемый и снова близкий Саша,

прежде всего позволь мне Тебе принести покаяние во всем том, что было между нами. Я уже очень давно (более году) не питаю к Тебе и тени прошлого (смутного). Но как-то странно было об этом говорить Тебе. Да, и незачем. Теперь, только что прочитав Твою статью в *«Аполлоне»*[2], я почувствовал *долг* написать Тебе, чтобы выразить Тебе мое глубокое уважение за слова огромного мужества и благородной правды, которой... ведь почти никто не услышит, кроме нескольких лиц, как услышало эту *правду* несколько лиц в Москве. Сейчас я глубоко взволнован и растроган. Ты нашел слова, которые я уже вот год ищу, все не могу найти: а Ты — сказал не только за себя, но и за всех нас.

Еще раз, спасибо Тебе, милый брат: называю Тебя братом, потому что слышу Тебя таким, а вовсе не потому что хочу Тебя видеть, или Тебя слышать. Можешь мне писать и не писать; может во внешнем быть и не быть между нами разрыв — все равно: не для возобновления наших сношений я пишу, а *во имя долга.* Во имя правды прошу у Тебя прощения в том, в чем бес нас всех попутал.

Аминь......

А теперь внешнее; совершенно независимо от моих слов к Тебе (личного характера) — вот дело от К<нигоиздательст>ва *«Мусагет»*. К<нигоиздательст>во *«Мусагет»* издает альманах стихов[3]. Желательны из Петербурга Ты, Иванов, Кузмин, Бородаевский и несколько других. Более всего, конечно, украсили бы альманах — Ты и Вячеслав. Понятно, что *«И<здательст>во»* обращается к Тебе. Наш секретарь Александр Мелетьевич Кожебаткин будет у Тебя с этим письмом и переговорит о Твоем согласии или несогласии.

Остаюсь искренне преданный и любящий

Б. Бугаев

---

[1] Написано на бланке издательства «Мусагет». Датируется по связи с п. 221. 6 сентября 1910 г. Блок сообщил Е. П. Иванову: «Получил здесь очень важное для меня письмо (от А. Белого), которое хочу тебе показать» (Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. М.—Л., 1936. С. 84). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый пишет в той же связи (ошибочно полагая, что он отправил Блоку это письмо под впечатлением от его стихотворного цикла «На поле Куликовом»): «...не помнится, что я писал; только помнится, что просил ликвидировать расхождение, которое исчерпано жизнью; сияющий, ароматный ответ получил от А. А. я» (*О Блоке*. С. 358).

[2] Статья «О современном состоянии русского символизма», опубликованная в № 8 журнала «Аполлон» за 1910 г. (Отд. I. С. 21—30; см.: V, 425—436). Статья была воспринята Белым и его соратниками по издательству «Мусагет» как опыт исповедания теургического, религиозного символизма.

[3] Символистское издательство «Мусагет» было организовано в Москве в 1909 г.; руководителем его был Э. К. Метнер, Белый — одним из основных и влиятельнейших сотрудников. См.: Толстых Г. А. Издательство «Мусагет» // Книга. Исследования и материалы. Сб. LVI. М., 1988. С. 112—133; Безродный М. В. Издательство «Мусагет»: групповой портрет на фоне модернизма // Русская литература. 1998. № 2. С. 119—131. Под альманахом подразумевается сборник «Антология» (М., «Мусагет», 1911), вышедший в свет в начале июня 1911 года.

---

221. БЛОК – БЕЛОМУ

6 сентября 1910. С<ельцо> Шахматово[1]

Милый и дорогой Боря.

Твое письмо, пришедшее с прошлой почтой, глубоко дорого и важно для меня. Хочу и могу верить, что оно восстанавливает нашу связь, которая всегда была более чем личной (в сущности, ведь сверхличное главным образом и мешало личному). Нам не стоит заботиться о встречах и не нужно. Я, как и ты, скажу тебе, что у меня нет определенного желания встретиться. Этой зимой мне было даже как-то неловко при встрече (впрочем, и Тебе)[2]. Но внутренно я давно с Тобой, временами страшно близко, временами — с толпою дум о Тебе и чувств к Тебе.

Недавно где-то близко от нас с Тобой прошла Минцлова и покачался Вячеслав. Мне от этого было хорошо, тут было со стороны их обоих — много нежности и... такта[3].

Также мне хорошо то, что Ты просишь прощения у меня, — но я не принимаю этого. Или — принимаю лишь с тем, что и... Ты меня простишь за то, чего мы никогда не скажем (и не должны сказать) словами, но что я знаю, может быть, лучше Тебя. Есть какая-то великая отрада в том, что *есть*, за *что* прощать друг друга; потому что, действит<ельно>, то, что было, — *было*, это *не* пустое место, это «бес всех нас попутал».

Еще — мне очень дорого Твое отношение к моей статье. Оно меня поддержит более, чем чье-либо мнение; когда я писал эту статью (и не одну эту), я внутренно, почти бессознательно, справлялся у Тебя, отсутствующего: «так ли? не так ли?» Да, по-братски.

Ну, так правда торжествует. И я скажу: Аминь.

Конечно, я с огромным удовольствием пришлю стихов для альманаха «Мусагет». Могу прислать на днях, но хотел бы узнать сначала, сколько можно? Можно

ли цикл (небольшой), или лучше — отдельное стихотворение? Сообщи мне об этом, пожалуйста, или Ты, или попроси А. М. Кожебаткина написать. Жаль, что он не застал меня, но я давно уже в деревне и не знаю, когда вернусь в Петербург. Может быть, долго не вернусь, там нет теперь и квартиры[4].

Люблю Тебя до дна души и уже совсем без слов.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 220.

[2] Имеется в виду случайная встреча в Петербурге на вечере памяти В. Ф. Коммиссаржевской в зале Петербургской городской думы 7 марта 1910 г. Белый вспоминает: «...в пустой лекторской остались неожиданно три человека, которые наименее всего в то время хотели встретиться, — А. А., Г. И. Чулков и я. Помнится, мы сухо протянули с А. А. друг другу руки и тотчас же заходили взад и вперед, не произнося ни одного слова и стараясь друг на друга не глядеть. А. А. ходил от стены к стене, я тоже, но в направлении перпендикуляра, а Г. И. измеривал пространство комнаты по диагонали. Это неловкое молчаливое хождение друг перед другом длилось несколько минут, но я чувствовал уже в глубине души, что путаница между мной и А. А. ликвидирована, что то безусловное, верное и духовное, чему основа заложена нашим двенадцатичасовым разговором в Москве, развивается в нас вопреки всем формам духовного понимания и непонимания, вопреки всякой полемике, нас отделяющей» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 118. Упоминаемый «двенадцатичасовой разговор» — 24—25 августа 1907 г.).

[3] Ср. мемуарные свидетельства Белого, относящиеся к этой поре: «...новое сближенье с Ивановым — дело рук Минцловой <...> Иванов, в свою очередь, делает все усилия, чтобы сгладить шероховатости моих отношений с Блоком, мечтая о конъюнктуре: он, я и Блок <...>» (*Между двух революций*. С. 350—351). О взаимоотношениях Минцловой, Иванова и Белого в это время, сложившихся в «мистический треугольник», см.: Carlson Maria. Ivanov — Belyj — Minclova: the Mystical Triangle // Cultura e memoria. Atti del terzo Simposio Internazionale dedicato a Vjačeslav Ivanov. I. A cura di Fausto Malcovati. Firenze, 1988. P. 63—79; Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. М., 1999. С. 68—109.

[4] С ноября 1910 г. Блок с женой поселились по адресу: Петербургская сторона, Малая Монетная ул., д. 9, кв. 27.

---

222. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Не ранее 7 сентября 1910. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша,

Спасибо: глубоко тронут — *все так.*

Как-нибудь напишу: сейчас просто тихо радуюсь.

Но спешу о делах:

для альманаха надеемся на цикл. Итак, ждем стихов: конечно, как угодно и в какой угодно форме. Если бы у Тебя нашлась драма для нас, то, конечно, мы были бы в восхищении.

Итак, ждем.

Искренне любящий и преданный

Б. Бугаев

P. S. Тебе напишу, как только освобожусь от хлопот.

[1] Ответ на п. 221; датируется по связи с ним. Написано на бланке издательства «Мусагет». Помета Блока красным карандашом: «Лето 1910».

223. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Сентябрь 1910. Москва>[1]

Дорогой и глубоколюбимый Саша,

откладываю ответ на Твое письмо[2]: Ты сам понимаешь, что такие письма, как Твое, слишком важны, чтобы отвечать сразу; если не отвечаю долго, знай, — это от вескости; духом с Тобой, как духом я с Вячеславом.

Это письмо деловое: 1) Ждем стихов, или драмы, или поэмы для альманаха, 2) К<нигоиздательст>во *«Мусагет»* устраивает серию лекций; будут читать из философов *«Логоса»*[3] Гессен, Степпун, — далее я, Соловьев; желательны — Ты, Брюсов, Иванов. К<нигоиздательст>во *«Мусагет»* просит меня предложить Тебе прочесть у нас лекцию; тема, время, условия — все это в свой черед; это мы спишемся. А теперь желательно принципиальное согласие или нет. Гессен и Степпун читать будут, вероятно, о философии культуры; Ты, если бы согласился, — что бы читал? Тогда я мог бы выбрать темой своей лекции смежную с Тобой, чтобы было *«выступление программное»*; на днях отправил в *«Аполлон»* ответ Брюсову на его статью; становлюсь на точку зрения Твою и Иванова *против* Брюсова[4]. Было бы возможно перенести и расширить обмен мнений публичным выступлением — хочешь?

Остаюсь крепко любящий Тебя

Б. Бугаев

[1] Датируется по связи с п. 222. Написано на бланке издательства «Мусагет». Помета Блока красным карандашом: «Лето 1910».

[2] Имеется в виду п. 221.

[3] «Логос» — русское издание международного ежегодника по философии культуры, выпускавшееся «Мусагетом». См.: Безродный М. В. Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица. Биографический альманах. Вып. 1. М.—СПб., 1992. С. 372—407.

[4] Статья Брюсова — «О “речи рабской”, в защиту поэзии» (Аполлон. 1910. № 9. Отд. I. С. 31—34), представлявшая собой апологию самоценного искусства в противовес религиозно-философским и теургическим ценностям, возвещенным в статьях Вяч. Иванова («Заветы символизма») и Блока («О современном состоянии русского символизма»). Статья Белого «Венок или венец» была опубликована в «Аполлоне» (1910. № 11. Отд. II. С. 1—4).

224. БЛОК – БЕЛОМУ

<29 сентября 1910. Шахматово>[1]

Дорогой и милый Боря.

Долго не отвечаю Тебе потому, что все собирался послать стихи; но все еще не могу составить цикла. Во всяком случае, пошлю скоро, и именно стихи, потому что ничего другого нет.

Все Твои письма получил. Каждое мне радостно, хотя бы деловое, — просто самый факт нашей новой встречи. Получил также все книги[2], за которые благодарю Тебя горячо. Все они у меня есть (кроме стихов Сидорова[3]), но за «Символизм» я принялся вторично и как-то по-другому (надпись на книге часто мешает, но Твоя — приближает и делает яснее[4]). Хотя многие страницы «Символизма» продолжают оставаться недоступными для меня, мне эта книга очень нужна и — представь себе — близка, притом совсем не только там, где она касается меня лично. Один из самых чудесных фактов моей жизни — связь с Тобой.

Примирение со мной Эллиса[5] я оценил по-новому еще после того, как ответил ему[6], припомнив разное (дрянное и важное). Мы с ним на редкость чужие во всем внешнем (хотя ведь и с Тобой кое в чем внешнем мы чужие), но во мне есть по отношению к нему еще нечто, кроме искренней веры в его ноуменальное благородство.

Я очень рад, что Ты отвечаешь Брюсову в «Аполлоне», но сам не хотел; по-моему, в статье Брюсова много просто наивного; было слишком известно, что он скажет; но тяжеловесные колкости показывают, что он очень рассердился, а это ценно[7]. — Не знаешь ли Ты, где сейчас Вячеслав Ив<анов>?

Ты пишешь о лекции. Позволь мне сейчас не решать этого вопроса окончательно, теперь я слишком склонен сказать «нет». Несколько позже я тоже скорее откажусь, конечно не принципиально, — потом напишу Тебе подробнее, почему. Главным образом потому, что боюсь повторять то самое, что читал весной в академии (статья в «Аполлоне»)[8], а повторять это *теперь* для меня неизбежно, какова бы ни была тема. Взвешу еще это серьезно, во всяком случае, очень благодарен к<нигоиздательст>ву Мусагет за приглашение.

Напишу Тебе еще некоторые соображения о «практике» символизма, а теперь кончаю письмо.

Любящий Тебя Ал. Блок

29 сентября 1910. С<ельцо> Шахматово.

---

[1] Ответ на п. 222 и 223.

[2] Книги, выпущенные издательствами «Мусагет» и «Альциона» (руководимом А. М. Кожебаткиным).

[3] Имеется в виду посмертный сборник «Стихотворения» Юрия Сидорова со вступительными статьями Андрея Белого, Б. Садовского и С. Соловьева (М., «Альциона», 1910).

[4] В библиотеке Блока сохранилась книга статей Андрея Белого «Символизм» (М., «Мусагет», 1910) с надписью на форзаце: «Александру Александровичу Блоку от А. Белого» (*Библиотека Блока, 1.* С. 32).

[5] Основанием для примирения со стороны Эллиса послужила публикация статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (см. примеч. 2 к п. 220); после этого он отправил Блоку книгу Шарля Бодлера в своем переводе (Бодлэр Ш. Стихотворения в прозе. Перевод Эллиса. М., «Мусагет»,1910) с надписью, включавшей цитату из блоковской статьи: «Глубокоуважаемому Александру Александровичу Блоку эта моя запоздалая книга с чувством примирения и симпатии. *Эллис.* “Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, к<ото>рый, придя на склоне лет в чужое скалистое Орвьето, смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу!” А. Блок». О примирении свидетельствует и надпись Эллиса на его книге «Русские символисты» (М., «Мусагет»,1910): «Глубокоуважаемому и дорогому во имя неизбежного и несомненного будущего Александру Александровичу Блоку от Эллиса» (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 278—279, 281).

[6] Это письмо Блока Эллису, по всей вероятности, не сохранилось.

[7] Оценка, данная здесь Блоком статье Брюсова, вероятно, отразилась в письме Белого к Э. К. Метнеру от 1—2 октября 1910 г.: «Брюсов наивно и грубо отругнулся в “Аполлоне”. Я написал отповедь Брюсову под заглавием “Венок или венец”» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 373). Ср. аргументацию Блока в письме к Брюсову от 3 сентября 1910 г.: «На Вашу статью в “Аполлоне” я могу ответить Вам по всем пунктам, но ведь не стоит затягивать печатные споры. Такие статьи, по-моему, всегда роковым образом догматичны, а вписанные между их строками личные правды убедительны для постороннего читателя только один раз, когда он делает выбор между тем или иным мироотношением. И уже этот выбор — навеки» (VIII, 313—314).

[8] Имеется в виду статья «О современном состоянии русского символизма», прочитанная в форме доклада 8 апреля 1910 г. в «Обществе ревнителей художественного слова» (другие названия — «Поэтическая Академия», «Академия поэтов») при «Аполлоне».

---

225. БЛОК – БЕЛОМУ

22. X. 1910. С<ельцо> Шахматово

Милый Боря.

Продолжаешь ли Ты относиться к моей статье о символизме[1] с прежним доверием? Спрашиваю Тебя об этом сейчас по нескольким причинам. Во-первых, если бы *теперь* могла возникнуть между нами хоть тень недоразумения, это было бы просто *нелепым* фактом, не могло бы иметь ни малейшего внутреннего значения; во-вторых: я уверен, что Ты понял статью, как никто, взвесил все выводы из нее, как только возможно; и, однако, достаточно ли ясно она написана, и, следоват<ельно>, *достаточно* ли ясна она для Тебя? Т. е., учел ли Ты то обстоятельство, что я остаюсь самим собой, тем, что был всегда, т. е. статья *не есть покаяние*, отречение от своей *породы*; я бы мог назвать ее «исповедью», если бы то мое лицо, от которого она исходит, *могло* исповедаться. Но *там* я не исповедуюсь, потому что это *больше* «кающегося дворянства», «интеллигенции и народа», и т. д. Это — я сам, неизменный, и *никогда не противоречивший себе.* Исповедь есть размягчение душевное, желание «исправиться»; но *там* я говорю холодно, жестоко (и к самому себе), прямолинейно, без тени психологии: «вот что произошло со мной в частности и, по моему наблюдению, также и с теми, о ком я могу сказать “мы, символисты”. Происшедшее — совершившийся факт, хорошо или плохо —

другой вопрос (т. е., лучше сказать — *более чем плохо*, вне категорий “плохого” и “хорошего”). Но это “более чем” (или эту *гибель*) я *лично люблю*».

Так вот, учел ли ты то, что я *люблю гибель*, любил ее искони и остался при этой любви. Настаиваю на том, что я никогда себе *не противоречил в главном*. Мне остается только подчеркнуть в данный момент и для Тебя то свойство моей породы, что я, *любя и понимая*, мож<ет> быть, более всего на свете людей, собирающих свой собственный «пепел» в «урну», чтобы не заслонить света своему живому «я»[2] (Ты, Ницше[3]), — сам остаюсь в тени, в пепле, любящим гибель. Ведь вся история моего внутреннего развития «напророчена» в «Стихах о Прекрасной Даме». Я *тороплюсь только еще раз* подчеркнуть для Тебя их *вторую* часть, также — последующие книги, «Балаганчик», «Незнакомку» и т. д. Указать, что они *мои*; я могу отрекаться от них, как угодно, но не могу не признать их своими.

Ближайшим поводом к упорному задаванию Тебе этих вопросов о себе служит следующее: недавно в жидовской газетке я прочел выдержки из фельетона Мережковского о статьях Вяч. Иванова и моей[4]. К сожалению, могу только догадываться о том, что пишет Мережковский, но, кажется, я прав: Мережковский *ничего не захотел понять* (или действительно не понял? оттого я спрашиваю, ясно ли написана статья). Сверх того, Мережковский решил, что статьи суть проявление «мании величия» на почве больной русской общественности. Если это так, то мне больно, что Мережковский отнесся так именно к той статье, которая наиболее исходит от *меня — человека*; пока я «получеловечно» писал о промежуточном — об «интеллигенции», например, или о Л. Андрееве и Городецком, — Мережковский принимал; когда заговорил *человек*, он закричал о мании величия. Но это — уклонение в сторону; дело в том, что я заподозрил на основании фельетона Мережковского ясность своей статьи.

Другой повод — Твое предложение от «Мусагета» прочесть лекцию на тему, *смежную с Тобой*, чтобы было «программное выступление». Я упорно «искушаю» Тебя в видах дела. Зная пафос «дела», отношение к нему Твое, я спрашиваю Тебя начистоту: может ли у Тебя *до сих пор* возникнуть опасение, что я могу *повредить делу*? Право, я спрашиваю Тебя без тени психологии и ложного стыда. Спрашиваю потому, что верю в Твой путь; спрашиваю *во имя дела*. Без Твоего ответа, *самого прямого*, у меня связаны руки и в решении о лекции.

Еще иначе формулирую свои вопросы: я всегда был *последователен* в основном (многие, заводя обо мне речь *серьезно*, т. е., не касаясь «собутыльничества» и т. п., считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным); я последователен и в своей любви к «*гибели*» (незнание о будущем, окруженность неизвестным, вера в судьбу и т. д. — свойства моей природы, более чем психологические). Теперь: Ты знаешь меня давно, между нами прошло многое, что *больше* нас обоих, что *должно* было часто заслонять нас друг от друга. Теперь, когда мы можем стоять лицом к лицу, веришь ли Ты мне, *всему* моему «*я*», или только тому, от которого исходит статья о символизме, понятая Тобой лишь *частично* — (так как, мож<ет> быть, она написана неясно, и в ней не видно всего, хотя она и исходит от *всего* меня — человека)?

На этом заканчиваю это тяжеловесное письмо. Извини меня за тяжеловесность, происходящую от того, что я совсем разучиваюсь говорить и особенно затрудняюсь говорить о том, что может оказаться излишним (как все мои вопросы этого письма). Я верю, что Ты меня *любишь* и *знаешь*, но хочу еще знать, можешь ли Ты мне во всем *верить*? Отчасти расчищаю эту дорогу так *особенно* старательно, потому что озлоблен и утомлен (как, вероятно, и Ты и все «мы») бесконечной

сетью кляуз, обманов, передергиваний и сплетен, которые вьются вокруг нас всех все последние годы (исходя и от семитов, и от арийцев, и от друзей, и от врагов, и даже — от самих себя). Особенно существенно и *сейчас*, когда Мережковские кивают на mania grandiosa*, жидовская пресса[5] радуется, что «декаденты избавили себя от общественности», и т. д., и т. д., — чтобы *наш* путь друг к другу был, по крайней мере, расчищен до конца.

Прилагаемый цикл стихов, который я хотел бы увидать в «Мусагете», посылаю Тебе после долгих колебаний. Напиши мне свое откровенное мнение. Если Тебе очень не нравится, я мог бы заменить отдельными стихами (не циклом)[6].

Прошу Тебя, ответь мне поскорее. Во-первых, Твой ответ для меня существенно важен, во-вторых, я скоро уеду (куда, еще не знаю пока, — почти наверно в Петербург).

Любящий тебя глубоко

Александр Блок

---

[1] Подразумевается статья «О современном состоянии русского символизма». См. п. 220, примеч. 2.

[2] Обыгрываются слова Белого из заметки «Вместо предисловия» к его книге «Урна. Стихотворения» (М., 1909. С. 11): «“Пепел” — книга самосожжения и смерти. <...> В “Урне” я собираю свой собственный пепел, чтобы он не заслонял света моему живому “я”. Мертвое “я” заключаю в “Урну”, и другое, живое “я” пробуждается во мне к истинному».

[3] В тот же день Блок сообщал матери: «...читал Ницше, который мне очень близок» (VIII, 319).

[4] Имеется в виду статья Мережковского «Балаган и трагедия» (Русское Слово. 1910. № 211, 14 сентября), полемически направленная против «аполлоновских» выступлений Иванова («Заветы символизма») и Блока («О современном состоянии русского символизма»). Мережковский, в частности, обвинил Блока в предательстве идеалов общественного радикализма, исповедуемых русской интеллигенцией, в «измене тому святому, абсолютному, что было в русской революции»: «По мнению декадентов, русская революция — балаган, на котором Прекрасная Дама — свобода — оказалась “картонной невестой” и “мертвой куклой” и человеческая кровъ — клюквенным соком <...> Кто не плюет на потухающий жертвенник? Чье ослиное копыто не лягает мертвого льва? И не видят они, что если в душе у них “сорвалось”, кончилось “балаганом”, то в России продолжается трагедия, и что надо быть черной сотнею, чтобы считать человеческую кровь за клюквенный сок». Блок попросил А. Д. Скалдина прислать ему номер газеты со статьей Мережковского в письме от 17 октября 1910 г. (VIII, 316).

[5] Такое и подобные ему определения в эпистолярном диалоге Блока и Белого заключают в себе не столько уничижительную аттестацию по национальному признаку (чаще всего и не предполагают таковую), сколько вбирают в себя совокупность многих негативных, в их восприятии, черт современной цивилизации: «буржуазное» начало, дух торгашества, рекламы, отсутствие высоких идеалов, ограниченную либеральную идеологию, обывательскую пошлость и усредненность и т. д.

---

* Манию величия (*лат.*).

[6] В альманахе «Антология» (М., «Мусагет», 1911) был помещен присланный с этим письмом цикл «Ночные часы» (С. 9—15), включающий стихотворения «Вступление» («Когда, вступая в мир огромный...»), «Искуситель» («Ты в комнате один сидишь...»), «Посещение», «Исход» («Идут часы и дни, и годы...»).

---

226. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец октября 1910. Москва>[1]

Милый Саша,

не случайно я молчу в ответ на Твое последнее письмо: то, что имею Тебе сказать, не весомо, не укладывается оно в слова письма. Кроме того: мы живем здесь в Москве в такой напряженной атмосфере; мне лично приходится много работать и одному, и по делам Редакции[2], и с кружком студентов[3]; кроме того: у меня на ответственности одно *очень важное дело*[4]. Если прибавить еще к тому то обстоятельство, что в моей личной жизни очень много важного и трудного, хотя и радостного[5], то Ты поймешь, что моя немота от перегруженности важным; работаю я, как последний чернорабочий; а знаешь, как-то неловко говорить (да еще в письме — все письма суть печальная необходимость), не отмыв лица и рук от рабочей пыли. Кроме того, эмпирически я смертельно устал, зол и сух, и не хотелось бы, чтобы тень чисто физической усталости, внешней сухости и злости пала на мое письмо к Тебе. *Итак, вот почему я молчу.*

Дорогой, старинный друг, бывший не раз и моим врагом (верю — это уже сожжено раз навсегда), да, я Тебе верю; принимаю всяким. Все личное между нами, психологически затруднявшее меня, сгорело бесследно: могу относиться к Тебе спокойно. И в этом спокойствии нахожу в себе мою любовь к Тебе: кто бы Ты ни был, принимаю; если Ты хочешь *гибели себе*, или вообще *гибель* преобладает в Твоей душе, я могу нежно жалеть, что душа Твоя еще в *«Пепле»*; но умалит ли *погибельность* Твоих переживаний любовь мою к Тебе? Если Ты вообще хочешь гибели всем, если Ты активно от *погибельного* и деятельность Твоя сеет смерть, то я объективно бы это почувствовал, и не написал бы Тебе письма. Более того: Ты не писал бы того, что Ты пишешь, ибо Твою статью в *«Аполлоне»* я понимаю и принимаю *до конца, до дна*. Ты пишешь мне, что *«Балаганчик»* и *«Незнакомка» — Твои*: не сомневаюсь. Но в эпоху появления этих драм мне казалось, прости меня, если я ошибался, что *ужасное подразумеваемое содержание* Ты преподнес нам всем с каким-то тайным злорадством: «На-те», «*съешьте*». Этот аккомпанемент, быть может, послышался мне потому, что между нами стояла стена взаимных подозрений; все, что Ты писал, воспринимал я сквозь туман болезненных отношений между нами. И потому не стою на своем; не в факте существования «*Балаганчика»* и *«Незнакомки»* суть дела, а в отношении автора к ноте гибели в себе; одно дело, если он говорит своей нотой «*не чувствую, что свет победит тьму*»; другое дело, если он говорит *«разрушу в вас свет*». Итак: знаю, что *«Балаганчик»* — Твой до конца (ведь и у меня есть свой *«Балаганчик»* — «Панихида»[6]); и все-таки *приемлю Тебя.*

Статья Мережковского есть *позор* и *гадость*; слышать о ней не хочу; после этой статьи, как и многого другого, я просто без всякого объяснения отвернулся от Мережковских; фактически я отвернулся от них два года; есть в памяти любовь

к людям; полемизировать и бороться с ними не хочу, как не хочу вообще ни с кем никакой полемики; просто фактически молчаливо я ушел от них. Статья же о Тебе и Иванове есть форменная провокация; смысл: символисты *«начали гладью — кончили гадью»* (слова Мережковского)[7]. Блок изобразил революцию в виде *«Балаганчика»* (это — донос читателям *«Русс<кого> Слова»*). После статьи я написал было Мережковскому: *«Разрываю с вами все»*. Но не послал: они поняли бы, что это — истерика; а у меня никакой истерики нет; все, что делаю, делаю четко и холодно. И я холодно закупорился от них еще более. Между нашими отношениями — горы льдов. Вот все, что чувствую к Д. С. И странно: Булгаков, Бердяев, Гершенсон[8] ближе мне Мережковских.

Мне было бы обидно за Тебя, если бы Ты не дал понять так или иначе Мережковским, что данная статья о символистах не есть просто *«полемика»*, а либеральный дешевый донос жидам на своих друзей[9].

Вот что я почувствовал в статье Мережковского; после нее еще более уверовал *в нужность Твоих слов.*

Я молчал эти недели потому еще, что было очень много черной работы. Наш официальный Редактор Метнер, как португальский король[10], сбежал за границу с мая; и с начала августа до последних дней мне пришлось фактически входить во все детали издательства. В месяц мы напечатали большой том *«Логоса»* (№ 2-ой), Гераклита; выпустили *«Камену»* Садовского, готовим Гильдебрандта *«Проблему формы»*, допечатываем *«Арабески»* (вышел большой том), *«Музыку и модернизм»*[11]; все лежало на мне. Кроме того: сейчас при *«Мусагете»* маленькие курсы. I. Семинарий по эстетике Канта (с рефератами и обсуждениями)[12]. II. Работы по ритму (отнимающие много времени). Человек 15 здесь работают жарко; у нас создалась своя как бы лаборатория ритма[13]. III. Курс по Фету (Садовского). IV. Курс по истории французского символизма (Эллиса)[14]. Три вечера уходят на курсы. Прочие вечера на подготовления. Сейчас нужна огромная созидательная, подземная работа. Весь *«Мусагет»* есть попытка сохранить символизм, но пересадить его на кремнистую почву подтянутости и энергии из болот *«психологических туманов»*. Настроение у нас вот какое: вчера над морем плавали символические корабли; но была *«Цусима»*. Думают, что нас нет и флот уничтожен. *«Мусагет»* есть попытка заменить систему кораблей системой *«подводных забронированных лодок»*. Пока на поверхности уныние, у нас в катакомбах кипит деятельная работа по сооружению подводного флота. И мы — уверенны и тверды. И без Рождественского[15] (Брюсова) мы только выигрываем.

Пишу это все, чтобы Ты понял, до чего я занят; до чего трудно писать, а особенно Тебе после нашего двухлетнего молчания. Не хочу психологических излияний и уверений, но внутренне твердо и уверенно жму Твою руку.

О лекции... прежде вот о чем: через $1^1/_2$ месяца (это между нами) я поеду отдохнуть за границу; после годовой упорной работы над *«Мусагетом»*, *«Символизмом»*, *«Голубем»*[16] и *д р у г и м* я чувствую крайнее физическое утомление; за границей пробуду не меньше году (надо спокойно дописывать трилогию *«Восток или запад»*[17]); итак, вопрос о лекции Твоей усложняется; на днях с Метнером (только что вернувшимся) мы обсуждаем или отвергаем план публичных лекций; в случае Твоего желания, мы, конечно, устраиваем Твою лекцию в Москве[18]. Но чтобы была согласованность, ритм выступления, *которое принципиально считаю важным*, нужно бы повидаться. Конечно, я не хочу с Тобой говорить о личном (сохрани меня Бог!). Просто надо увидеть друг друга; да о многом не скажешь в письме; *«Мусагет»* страстно хочет мира и единства между *«символистами»*; в прошлом году

Вячеслав Иванов жил в *«Мусагете»*[19]. Пока он был у нас, он многое создал. *«Мусагет»* считается с Вячеславом, как безусловно со своим. И Ты мог бы *внести* в деятельность *«Мусагета»* свою ноту, ибо *«Мусагет»* не есть предприятие чье-либо; кто к нам придет с добрым словом, кто научит нас своему, тому мы предоставим возможность и осуществлять свое.

Полемика *«Весов»*, деление на Москву и Петербург, в связи с ростом жидовства и рекламности принесло только вред, расстроила личные отношения. Мы все как бы не знаем друг друга — еще косимся. Познакомься с нами, как познакомился с нами Вячеслав. Поживи у нас хоть с недельку. Это не я, Андрей Белый, зову Ал. Блока; это *«мы»* все (я один из...) зовем к себе почитаемого *брата*. Не прошлое притягивает нас друг к другу, а возможное лучшее будущее. Вот мое предложение: вопрос о лекции вытечет само собою. (Конечно, формально мы беремся тотчас устроить лекцию, но будет ли она так ритмична, как выступление Вяч. Иванова в прошлом году[20], когда взаимное понимание создало из его выступления *«событие»*...). Внешне приезд Твой был бы тем удобнее, что в *«Мусагете»* мы отвели бы Тебе комнату, в которой жил Вячеслав. Внешне *«Мусагет»*, конечно, был бы счастлив принять Ал. Блока, видеть его своим гостем.

Но если Ты считаешь, что нам встречаться неловко (чего я не думаю), то, конечно, я Тебя не зову. Понимаю и принимаю. Продолжаю любить издалека.

В последнем случае, благодаря моему предполагаемому отъезду на год, мы невольно остаемся с взаимной любовью и общей целью, но с трудом реализуемой вовне.

Итак, жду ответа. Кроме того: у нас в *«Мусагете»* дружба с Религиозн<о>-Филос<офским> Обществом и с издательством *«Путь»*, задача которого — Россия[21]. Как это ни странно, но *«Мусагет», «Веховцы»*[22] и еще кое-кто — пока вехи какого-то издали намечаемого единства. Фанатик Эллис, я, весовская *«собака»* Садовской[23], Гершенсон, Булгаков, Бердяев как-то ближе друг к другу, чем к Брюсову, Серг<ею> Соловьеву[24]. Мы все-таки в Москве — семья. И я предлагаю Тебе читать лекцию и в *«Мусагете»* и в *«Религ<иозно>-Филос<офском>»* Обществе, где тема, Тобой уже высказанная в *«Аполлоне»*, встретит сочувствие со стороны очень и очень многих. С Тобой будет Гершенсон, Рачинский, Эрн, Булгаков, Бердяев, я (мы все почти члены совета); и только будет тупо (но без злобы) не понимать необидный Евгений Трубецкой.

Между прочим: в понедельник 1-го ноября в закрытом заседании я читаю в *«О<бщест>ве»* доклад *«Трагедия творчества у Достоевского»*[25] (тема все та же); вот предлог идейно понять друг друга, познакомиться с нами. Если бы Ты захотел приехать, приезжай к 1-ому.

Но, повторяю: все это лишь предложение, не меняющее сущность наших отношений, очень твердых, очень не-психологичных.

Остаюсь любящий Тебя неизменно

Б. Бугаев

P. S. За стихи спасибо. Конечно, все подойдут; стихи — *превосходны; они будут украшением Альманаха* (это вполне искренно). *Напиши об условиях Твоих*: ставишь ли Ты условия нам, или *«Мусагет»* должен Тебе предложить свои условия?[26]

---

[1] Ответ на п. 225; датируется по связи с ним. Помета Блока красным карандашом: «Осень 1910».

[2] Подразумевается редакция издательства «Мусагет». Среди писем Белого к Блоку хранится коллективная телеграмма, отправленная из Москвы в Шахматово 19 октября 1910 г.: «Муса-

гет, Альциона, Логос приветствуют, любят, ждут Блока» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 151. Л. 18; Литературное наследство. Т. 27/28. М., 1937. С. 521).

[3] Имеется в виду кружок «Молодой Мусагет», собиравшийся в студии скульптора К. Ф. Крахта (см.: *Между двух революций.* С. 333, 343).

[4] Возможно, Белый подразумевает свое руководство работой Ритмического кружка, организованного при «Мусагете» в апреле 1910 г. с целью фронтального изучения русского стиха. См.: *Между двух революций.* С. 350—353; Гречишкин С. С., Лавров А. В. О стиховедческом наследии Андрея Белого // Структура и семиотика художественного текста. Труды по знаковым системам, XII (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 515). Тарту, 1981. С. 101—106.

[5] Белый имеет в виду свое сближение с А. А. Тургеневой — будущей женой.

[6] Лирическая поэма Белого «Панихида» была опубликована в «Весах» (1907. № 6. С. 5—14); впоследствии Белый не перепечатывал ее, при подготовке книги «Пепел» (СПб., 1909) включил в нее отдельные главки «Панихиды» в виде шести самостоятельных стихотворений (см.: А. Белый. Стихотворения. Т. III. Примечания к стихотворениям / Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von John E. Malmstad. München, 1982. С. 164—170).

[7] Имеется в виду следующее рассуждение Мережковского в статье «Балаган и трагедия»: «Начали гладью, кончили гадью. Как же это случилось с ними? Тщеславие быть не как все, ***страх общих мест*** погубил декадентов в общественности так же, как в искусстве. Не они “обманули глупцов”, а сами, как глупцы, обмануты. Для них революция — тошнота после пира, цианистый калий после кометы, — “общее место”. И не видят они, что именно сейчас в России нет более общего места, пошлейшей пошлости, чем религиозный отказ от общественности и религиозное самоуглубление, измена, предательство, проклятие всего, что было, благословение всего, что есть» (Русское Слово. 1910. № 211, 14 сентября).

[8] Ср. свидетельство о Белом дочери М. О. Гершензона: «У него были свои отношения к словам и звукам. Так, нашу фамилию он всегда писал через букву “С” — Гершенсон, ощущая ее именно такой» (Гершензон-Чегодаева Н. М. Первые шаги жизненного пути. М., 2000. С. 30).

[9] Возможно, эти суждения и оценки Белого способствовали решению Блока вступить с Мережковским в полемику. В ноябре 1910 г. он работал над незаконченной статьей (без заглавия), представлявшей собой ответ на «Балаган и трагедию» (см.: V, 442—445).

[10] Имеется в виду король Мануэль, свергнутый с престола 5 октября 1910 г. (в ходе Португальской революции, начавшейся с восстания в Лиссабоне) и бежавший за границу.

[11] Упомянуты следующие издания «Мусагета»: «Логос». 1910. Кн. 2; Гераклит Ефесский. Фрагменты. Перевод Вл. Нилендера. М., 1910 (вышло в начале октября 1910 г.); Садовской Б. Русская Камена. Статьи. М., 1910 (вышло в первой половине ноября 1910 г.); Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и Собрание статей. Перевод Н. Розенфельда и В. А. Фаворского. М., 1914 (вышло в январе 1915 г.); Андрей Белый. Арабески. Книга статей. М., 1911 (вышло в начале марта 1911 г.); Вольфинг <Метнер Э. К.>. Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические. М., 1912 (вышло во второй половине июня 1912 г.).

[12] Руководителем этого семинара был Ф. А. Степпун.

[13] См. выше, примеч. 4.

[14] В архиве Эллиса сохранились записи по истории французской символистской школы (РГАЛИ. Ф. 575. Оп. 1. Ед. хр. 12).

[15] Адмирал З. П. Рожественский во время русско-японской войны командовал 2-й эскадрой Тихоокеанского флота, разгромленной в морском сражении 14—15 мая 1905 г. у островов Цусимы в Корейском проливе.

[16] При подготовке книги «Символизм» (М., «Мусагет»,1910) Белый написал для нее (во второй половине 1909 г.) несколько новых статей, а также пространные комментарии ко всей книге. Роман Белого «Серебряный голубь», печатавшийся в 1909 г. в «Весах» (№№ 3, 4, 6, 7, 10/11, 12), в мае 1910 г. был выпущен отдельным изданием (М., «Скорпион», 1910).

[17] О замысле прозаической трилогии «Восток или Запад» Белый оповестил в предисловии к отдельному изданию «Серебряного голубя»; этот роман был назван первой частью трилогии, второй частью должен был стать роман «Путники». См.: *Между двух революций.* С. 434; Долгополов Л. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988. С. 200—202.

[18] Блок с лекцией в Москве тогда не выступил; общий план публичных лекций при «Мусагете» тогда также реализован не был.

[19] Речь идет о пребывании Вяч. Иванова в Москве в марте 1910 г., куда он приехал из Петербурга вместе с Белым; последний вспоминает: «Остановился В. И. в помещении редакции *"Мусагета"*; принимал и знакомился ближе с кружком *"Мусагета"* <...>; потянулись паломники к мусагетскому гостю» (*О Блоке*. С. 356). См. также описание редакционной квартиры «Мусагета» на Пречистенском бульваре (*Между двух революций*. С. 339—340).

[20] Имеется в виду доклад Иванова, прочитанный 17 марта 1910 г. в московском «Обществе свободной эстетики»; 26 марта он повторил его в петербургском «Обществе ревнителей художественного слова» (см. конспект, сделанный Блоком: ЗК, 167—170; а также: Кузнецова О. А. Дискуссия о состоянии русского символизма в «Обществе ревнителей художественного слова» (обсуждение доклада Вяч. Иванова) // Русская литература. 1990. № 1. С. 200—207) и в переработанном виде под заглавием «Заветы символизма» опубликовал в «Аполлоне» (1910. № 8).

[21] Деятельность этого издательства, объединявшего русских религиозных философов и публицистов, подробно освещена в монографии: Голлербах Евг. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000; отдельно рассмотрены в ней взаимоотношения Белого с «Путем» (С. 127—134).

[22] Участники «сборника статей о русской интеллигенции» «Вехи» (М., 1909) — М. О. Гершензон, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк и др. Белый откликнулся на появление сборника статьей «Правда о русской интеллигенции» (Весы. 1909. № 5. С. 65—68; см.: «Вехи»: pro et contra. Антология. СПб., 1998. С. 255—258).

[23] Выражение «весовская собака» Белый приписывает И. А. Бунину; согласно Белому, Бунин высказывался так по адресу Эллиса (*Начало века*. С. 64).

[24] Согласно свидетельствам Белого, в 1910 г. между ним и С. Соловьевым наметилось взаимное отчуждение: «...наши идейные пути с Соловьевым вполне разошлись; и с той поры не было уже между нами былой жизненной связи; в заседаниях он не участвовал, нас избегая» (*Между двух революций*. С. 334. Подразумеваются редакционные заседания «Мусагета»). Ср. записи Белого об июле—августе 1909 г.: «Углубляется расхождение путей с С. М. Соловьевым»; «...разрыв с С. М. Соловьевым (почти на год)» (Андрей Белый. Ракурс к дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 49).

[25] Имеется в виду московское Религиозно-философское общество. Содержание доклада нашло отражение в брошюре Андрея Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М., «Мусагет», 1911), написанной в ноябре 1910 г.

[26] Подразумевается сумма гонорара.

---

227. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<25 ноября 1910. Москва>[1]

Дорогой, милый Саша!

Верю, что наша встреча[2] — залог будущих наших ясных и неомраченных отношений; верю, что Твое присутствие в *«Мусагете»* есть залог будущего согласия среди символистов; верю, что Твое участие в *«Мусагете»* выразится не только в виде книг, печатаемых нами; хотелось бы думать, что и советом Ты нас не оставишь. Тем более хотелось бы Твоего видимого и невидимого участия, что сейчас я уезжаю, Вячеслав не пишет и из писателей, кроме Эллиса и Метнера, никто не остается в *«Мусагете»*. Есть еще *«Путь»*, но *«Путь»* не *«Мусагет»*.

Пишу кратко и лаконически; через 3—4 дня еду в Сицилию[3]; прощай; буду из-за границы Тебе писать. Сейчас же в бегах.

Остаюсь любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Привет общим знакомым. Особенный Вячеславу.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока красным карандашом: «Москва. 25 XI 1910».

[2] 1 ноября 1910 г. Блок приехал из Шахматова в Москву и присутствовал на лекции Белого «Трагедия творчества у Достоевского» (см. п. 226, примеч. 25). В Москве Блок пробыл до 4 ноября, постоянно дружески общаясь с Белым, который подробно описал их встречи в мемуарах (*О Блоке*. С. 364—372).

[3] Белый и А. Тургенева отбыли из Москвы в заграничное путешествие 26 ноября / 9 декабря 1910 г. Белый подробно описал его в «Путевых заметках»; см.: Андрей Белый. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, «Геликон», 1922; Андрей Белый. Офейра. Путевые заметки. Ч. 1. М., Книгоиздательство писателей в Москве, 1921. 2-й том «Путевых заметок» при жизни автора отдельным изданием в свет не вышел, опубликован С. Ворониным с предисловием Н. Котрелева в кн.: Российский архив. Вып. I. М., 1991. С. 327—454. См. также: «Путешествие на Восток». Письма Андрея Белого / Публикация, вступ. статья и комментарий Н. В. Котрелева // Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 143—177.

---

228. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6/19 декабря 1910. Палермо>[1]

Милый Саша!

Привет из Палермо! *«Kennst Du das Land, wo die Citronen blühten?»*[2] Бирюзовое море, пальмы, сикоморы, громадные розы в цвету, кактусы, оливки, рододендроны, пальмы! До 16 градусов и больше тепла. Глупо радостно. Кругом города апельсинные рощи, множество золотых апельсинов; выше — амфитеатр гор с камнями и кипарисами; впереди — невыразимая голубизна: море. Живу в отеле, где хозяин помнит еще Вагнера; в этом отеле Вагнер кончал Парсифаля[3].

Целую. Боря

---

[1] Открытка с видом Палермо. Датируется по почтовому штемпелю: Palermo. 19.12.10. Помета Блока красным карандашом: «X 1910» (ошибочная датировка). 13 декабря 1910 г. Блок сообщал матери: «Я получил от Бори открытку из Палермо» (*Письма к родным, II*. С. 105). В Палермо (Сицилия) Белый и А. Тургенева прибыли 17 декабря (н. ст.).

[2] Неточно приводится первая строка стихотворения Гете («Ты знаешь край, где цветут лимоны?»), открывающего 3-ю книгу его романа «Годы учения Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehrjahre», 1796).

[3] «Парсифаль» — последняя музыкальная драма Р. Вагнера (текст — 1877, музыка — 1882). В Палермо Вагнер жил в 1880 г. Ср.: Андрей Белый. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, 1922. С. 58, 69—71; *Между двух революций*. С. 367—368.

---

229. БЛОК – БЕЛОМУ

19 декабря <1910. Петербург>[1]

Милый Боря.

Я не знаю, куда писать Тебе; думал, что Ты уедешь скоро из Палермо. Получил и Твое московское письмо и итальянскую открытку.

В Петербурге трудно и туманно. Живу тихо и жду лучшего.

Приезжал Э. К. Метнер[2]. Соловьевский вечер здесь не удался, лучше было бы совсем не устраивать[3]. В Москве, надеюсь, будет лучше и строже[4].

Пиши мне иногда. Часто думаю о Тебе. Я перечитывал «Кубок мятелей» — совсем по-новому; но когда-нибудь буду перечитывать его еще иначе и еще лучше.

Я написал Д. С. Мережковскому несколько резких писем. Он отвечал так, что лучше бы и совсем не отвечать[5]. Больше не буду делать попыток к сближению; для меня неприемлем Мережковский; как его сверстники — Розанов и Минский. Бог с ними.

Завидую Тебе, что Ты в Италии; впрочем, вероятно, и сам там буду[6].

Хочу списаться об издании с Э. К. Метнером. Мне окончательно ясно, что не надо издавать «Собрания сочинений», а только — «Собрание стихотворений» (3 тома); «Стихи о Прекрасной Даме» разрослись[7]. Да, прибавляются и «Эллины», о которых Ты говорил на вокзале[8].

Люблю Тебя, пиши.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 227 и 228.

[2] Э. К. Метнер посещал Блока 7 и 9 декабря (см.: *Письма к родным, II.* С. 104, 105); 19 декабря он сообщал Белому: «...главное был дважды у Блока; мы очень, очень сблизились; он прекрасен, другого слова нет <...>» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 376). Об их взаимоотношениях см.: Фрумкина Н. А., Флейшман Л. С. А. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» (Письма к Э. К. Метнеру) // Блоковский сборник, II. Тарту, 1972. С. 385—397; Неизданная переписка А. Блока и Э. К. Метнера / Публикация, предисловие и комментарии А. В. Лаврова // Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 195—223.

[3] Подразумевается вечер Литературного фонда в зале Тенишевского училища 14 декабря 1910 г., посвященный десятилетию со дня смерти Вл. Соловьева; на нем Блок впервые прочел свою речь «Рыцарь-монах» (см.: V, 446—454). Более развернутый, но столь же скептический отзыв о вечере Блок сообщил в письме к матери от 16 декабря 1910 г. (*Письма к родным, II.* С. 106); Л. Д. Блок добавляла в своем письме к ней (от 19 декабря): «О Соловьевском неудачном вечере Вы уже знаете — хорошая Сашина речь рассеялась в пустых ушах зала» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 375).

[4] Имеется в виду заседание московского Религиозно-философского общества в память Вл. Соловьева, посвященное десятилетней годовщине со дня смерти философа, назначенное на 10 февраля 1911 г.; приглашение на него Блок получил от В. Ф. Эрна (см. письмо Эрна к Вяч. Иванову от 18 декабря 1910 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 374—375). Лично в московском заседании Блок не смог участвовать, но его выступление было оглашено (11 февраля 1911 г. М. И. Сизов сообщал Белому: «Блок заболел и не приехал, его реферат “Рыцарь-Монах” читал я» (Там же. С. 379). Речь Блока была напечатана в книге «Сборник первый. О Владимире Соловьеве» (М., «Путь». 1911).

[5] В этих письмах Блока, нам не известных, содержались его возражения по поводу статьи Мережковского «Балаган и трагедия» (см. п. 225, примеч. 4, п. 226, примеч. 9). 22 ноября

1910 г. Блок писал матери: «...я решил отвечать Мережковскому на его гадости. Лучше хоть поздно. Написал письмо и буду опровергать печатно. <...> Восьмидесятники, не родившиеся символистами, но получившие по наследству символизм с Запада (Мережковский, Минский), растратили его, а теперь пинают ногами то, чему обязаны своим бытием» (VIII, 321). Ответное письмо Мережковского от 24 ноября 1910 г. опубликовано З. Г. Минц в ее работе «А. Блок в полемике с Мережковскими» (Наследие А. Блока и актуальные проблемы поэтики. Блоковский сборник IV. Тарту, 1981. С. 184—186); в нем Мережковский не соглашался с Блоком, что «оклеветал» его в своей статье, писал, что «оскорбил нечаянно, сам того не желая», и что не понимает своей «общественной вины», и выражал готовность содействовать публикации блоковского ответа (*«как бы резко и даже грубо Вы мне ни ответили»*). От публикации ответной статьи Блок отказался; более того: 10 января 1911 г. он отправил Мережковскому и З. Гиппиус письма, в которых просил прощения за присланные ранее «грубые письма». «Ваш фельетон и многое в Вас мне, по-прежнему, враждебно, — признавался он Мережковскому, — но Вы играете слишком большую роль в моей жизни, чтобы я мог легко отвергать или принимать Ваше»; в письме к Гиппиус Блок пояснял: «Моя резкость и грубость происходила отчасти оттого, что я чувствовал и чувствую себя совсем больным» (Королева Н. В. Неизвестные письма А. А. Блока к Д. С. Мережковскому и З. Н. Гиппиус в американском архиве // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1994. М., 1996. С. 38).

6 Предполагавшаяся Блоком поездка в Италию тогда не состоялась.

7 В ходе петербургских встреч с Э. К. Метнером, а также ранее, во время пребывания Блока в Москве в начале ноября 1910 г., велись переговоры о предстоящем издании его сочинений в «Мусагете». 19 декабря 1910 г. Блок писал Метнеру: «Для меня окончательно выяснилось, как бы я хотел издать свои книги. Оставим преждевременное “собрание сочинений”, пусть это будет лучше “собрание стихотворений в 3-х книгах”. У меня выработан совершенно определенный план, который предлагаю на Ваше рассмотрение» (Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 389; см. также: Правдина И. С. Формирование лирической трилогии // *ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 621—626; Кузнецова О. А. История формирования лирической трилогии Блока // ПСС I, 385—389). «Собрание стихотворений» Блока (кн. 1 — «Стихи о Прекрасной Даме», кн. 2 — «Нечаянная Радость», кн. 3 — «Снежная Ночь») было выпущено в свет «Мусагетом» в 1911—1912 гг.; при этом книга 1-я («Стихи о Прекрасной Даме») включала втрое больше стихотворений, чем «Стихи о Прекрасной Даме», изданные ранее «Грифом» (М., 1905).

8 Подразумевается, видимо, разговор, состоявшийся 4 ноября 1910 г., когда Белый провожал Блока, отбывавшего в Петербург, на Николаевский вокзал. «Эллины» фигурируют в ранних (1900) стихотворениях Блока «Поклонник Эллинов — я лиру забывал...» и «В полночь глухую рожденная...» («Эллины, боги бессонные, // Встаньте в морозной пыли», «Эллины, эллины сонные, // Солнце разлейте вдали!»). Первое из этих стихотворений в «Стихи о Прекрасной Даме» (1905) не было включено, второе — помещено без двух заключительных строф, где упоминаются «эллины». Белый, безусловно, имел в виду второе стихотворение; оно входило в авторскую подборку стихов, переданную Блоком семье Соловьевых; с этого автографа Белый в свое время снял две копии (см.: ПСС I, 226, 451; Котрелев Н. В. Неизвестные автографы ранних стихотворений Блока // *ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 238, 244—245). Оба стихотворения были включены в «мусагетское» издание (Блок А. Собрание стихотворений. Кн. 1. Стихи о Прекрасной Даме (1898—1904). М., 1911. С. 39—40, 44—45).

---

230. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 декабря 1910 / 5 января 1911. Тунис>[1]

Дорогой Саша!

Привет из Туниса, и с Новым годом! Тунис великолепен: арабы превосходны; вчера накупили благовоний: мускуса и какой-то розовой, восточной эссенции. Каждый араб — художественное произведение. Европейский город, как везде;

арабский кольцом его окружает; он прямо сказочен[2]. Адрес: Tunis, poste restante. От Аси Тургеневой привет.

Любящий Тебя.

Боря

---

[1] Открытка с видом Туниса. Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «1910». Отправлено на следующий день по прибытии в Тунис.

[2] Впечатления от Туниса Белый подробно изложил в «Путевых заметках» (т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, 1922. С. 173—236).

---

231. БЛОК – БЕЛОМУ

<Конец декабря 1910. Петербург>[1]

Милый Боря, с Новым Годом. Привет Твоей Спутнице[2]. Люблю Тебя.

Ал. Блок

---

[1] Открытка с рисунком на евангельский сюжет («Поклонение волхвов»).

[2] Имеется в виду А. А. Тургенева.

Андрей Белый. Офорт А.А. Тургеневой. 1910
Музей-квартира Андрея Белого в Москве

1911

232. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Радес. <2 января />15 января (нов. ст.) 1911 года[1]

Милый Шура,

пишу Тебе тотчас по получению Твоего письма. Его получил я лишь в Тунисе (ездил в Тунис). Мой точный адрес: *Afrique. Tunisie.* Maxulla-Radès (près de Tunis). A Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне.

Живу в арабской деревушке, ослепительно белой, ослепительно чистой с плоскокрышими, высокими, похожими на башню трехэтажными домиками, с рядом снежно-белых, каменных куполов, прекрасным минаретом, рядом гробниц (Марабу), осененных пальмами, оливками и фиговыми деревьями. Мы живем с Асей в настоящем, арабском доме, одни, занимаем 3 этажа с крохотными, затейливыми, очаровательными комнатушками, то сплошь состоящих* из чудесных окон, то без окон вовсе; у нас — изразцовые полы, простенки, крутая лесенка и громадный, прямо на полу лежащий восточный диван; в комнатах курим арабские благовония. Кругом арабы: хозяйка наша — единственная француженка во всем селе (Радесе); в $^1/_2$ версте, за горой село *Maxulla*, где устроены виллы французов; в Радесе же ничего европейского нет. Арабы — великолепны: это какой-то сплошной sui generis прерафалеитизм[2] — их жизнь. Все в жизни их размеренно, обдуманно, начиная с прекрасного одеяния, туфель, кошельков, чашек, и кончая домами с плоскими крышами: у нас с Асей великолепная плоская крыша, и мы по вечерам подолгу сидим там на ковре, поджав ноги калачиком; а недалеко (20 минут ходьбы) сверкает бирюзовое, Средиземное море. Я превратился в глупого, довольного эпикурейца: собираю ракушки, читаю арабские сказки и говорю глупости Асе: даже странно: в своем квиэтизме дошел до того, что стал плоско каламбурить[3].

Но я доволен, счастлив, чувствую, как с каждым днем приливают силы: наконец-то, после 6 безумных лет, состоящих из сплошных страданий, я успокоился. Я беспокоюсь только, что счастье, мне посланное, вдруг... оборвется.

---

* Так в тексте.

Александр Блок
Портрет работы К.А. Сомова. 1907

А.Н. Бекетов,
дед поэта. 1870-е годы
Литературный музей Пу́шкинского Дома

А.Л. Блок и А.А. Бекетова
(в первом браке — Блок, во втором — Кублицкая-Пиоттух), родители поэта. 1879
Литературный музей Пушкинского Дома

Александр Блок и М.В. Коваленская. 1898
Музей-заповедник Александра Блока (Шахматово)

Л.Д. Блок
Портрет работы Т.Н. Гиппиус. Около 1910
Публикуется впервые. Музей-квартира Александра Блока в Петербурге

Александр Блок. 1907
Литературный музей Пушкинского Дома

Н.Н. Волохова. 1907
Литературный музей Пушкинского Дома

Александр Блок. 1907
Литературный музей Пушкинского Дома

Е.П. Иванов. 1900-е годы

Александр Блок в Киеве. 1907

Александр Блок, Андрей Белый
в группе участников литературного вечера в Киеве 4 октября 1907

Александр Блок. 1913
Литературный музей Пушкинского Дома

Л.А. Дельмас (слева) с сестрой. 1900-е годы

Комб. I отд.
Конец сентябр. 1916
(Пржедпелский, я
и Игнатов)

Александр Блок на фронте
(с подписью поэта) 1916
Литературный музей Пушкинского Дома

Александр Блок. 1918
Литературный музей Пушкинского Дома

Александр Блок
Портрет работы Ольги Форш. 1933

Милый Шура, беги Ты от суеты, людей, Петербурга, литераторов: все это — мерзость, жидовство, гниль и безрезультатная истерика. Жизнь может быть прекрасной, а ее портят... *люди.*

Ну что ж — пусть будет *«Собрание стихов»*... Мне бы хотелось, чтобы скорей у нас появилась Твоя книга[4].

Пишу быстро и скомканно, ибо уже 12 часов. Я встаю в 8, а ложусь уже в 11, и неодолимо хочется спать.

Пиши, милый, хоть несколько слов. А за письмо — спасибо.

Я проживу в *Radès'е* по крайней мере 2 месяца[5]. Письма идут дней 10—12; итак только через месяц могу ждать ответа. Ну, всего светлого, милый. Люблю Тебя.

Твой Борис Бугаев[6]

---

[1] Ответ на п. 229. На конверте помета Блока красным карандашом: «1911».

[2] Т. е.: прерафаэлитизм (творчеством английских художников-прерафаэлитов Белый был глубоко увлечен в юношеские годы, в значительной степени под направляющим воздействием О. М. Соловьевой; см.: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 354—355).

[3] Подробное описание пребывания в Радесе см. в «Путевых заметках» Белого (т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, 1922. С. 237—297).

[4] Одновременно с работой Блока над формированием «Собрания стихотворений» в трех книгах в «Мусагете» готовилась к печати его книга «Ночные часы. Четвертый сборник стихов» (М., 1911), вышедшая в свет в конце октября 1911 г.

[5] Белый и А. Тургенева прожили там с 15 января до 7 марта (н. ст.) 1911 г.

[6] По получении этого письма Блок сообщал матери (13 января 1911 г.): «От Бори я получил хорошее письмо из Африки. Он живет в деревне около Туниса, страшно доволен жизнью и "счастьем после 6-ти лет страданий". Я очень рад за него» (*Письма к родным, II.* С. 111).

---

233. БЛОК – БЕЛОМУ

17/30 января 1911. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Пришло Твое прекрасное письмо, я очень радуюсь за Тебя. Давно знаю то, что Ты пишешь. Давно уже живу в Петербурге, как в деревне, мало с кем вижусь. Все, что растет во мне сызнова, должно закрепиться где-нибудь далеко, вне Петербурга, или даже совсем вне города. Вероятно, и я со временем «уеду за границу». — В феврале еду в Москву — читать на Соловьевском вечере[2]. Послал уже в Мусагет первый том[3].

Сообщаю Тебе большую просьбу, заранее. Здесь затевается журнал. Ближайшие сотрудники: Вячеслав Иванов, Аничков, Пяст, Верховский, Ремизов, Княж-

нин и я. «Редакционная комиссия» — Пяст, Аничков и я. Затеяно все Пястом. Все это — проба, и, притом, с внешней т<очки> зр<ения> — очень непрактичная, потому что денег почти нет. Я *лично* считаю, что этот журнал будет только бескорыстным застрельщиком — наметит главные точки и расчистит место для будущего. Все мы принципиально изгоняем литературщину, «декадентство», жидовство, хулиганство и т. д., и т. д. Нумера (маленькие — листа 3 — 12 раз в год) будут состоять из 1) рассказа, 2) нескольких стихотворений, 3) трех-четырех статей. Перечисленные сотрудники — только «ближайшие». Рядом с ними, конечно, желательны еще некоторые — прежде всех — Ты. Совещаясь с Пястом, мы решили не звать в число этих «ближайших» Тебя, потому что: 1) Ты — в Африке и 2) о Тебе предполагается писать, если же Твое имя будет в числе наших, то выйдет, что мы сами себя хвалим. Если же Ты дашь нам — или рассказ, или статью, или стихотворения, или даже просто несколько страниц тунисских впечатлений, — мы будем Тебе особенно благодарны. До лета должно выйти 6 №№ (каждые 20 дней с 15 февраля). Поддержи нас[4]. Целую Тебя крепко. Будь светел.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 232.

[2] Это намерение не осуществилось. См. примеч. 4 к п. 229.

[3] 9 января 1911 г. Блок сообщил матери: «Сегодня я кончил первый том и посылаю в Москву» (*Письма к родным, II.* С. 110); в тот же день он известил об этом секретаря «Мусагета» А. М. Кожебаткина (см.: Куприяновский П. Семнадцать неизданных писем Александра Блока // Советская Украина. 1961. № 8. С. 176).

[4] Подробнее об этом неосуществленном замысле нового символистского журнала см. во вступительной статье З. Г. Минц к переписке Блока с Вл. Пястом (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 183—184), а также: *Письма к родным, II.* С. 109—113; Пяст Вл. Воспоминания о Блоке. Пб., 1923. С. 16, 43, 87—88.

---

234. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 января / 1 февраля 1911. Радес>[1]

Милый Саша!

Спасибо за память. На днях пишу. Очень и очень люблю Тебя. У меня с собой *«Земля в Снегу»*[2], и мы с Асей ее читаем.

Любящий Тебя Б. Бугаев

Адрес: Afrique, Tunisie. Maxulla-Radès (près de Tunis). Chez Madame Rebeyrol, buraliste de Radès. Мне.

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «II 1911».

[2] Третий сборник стихов Блока (М., 1908).

---

235. БЛОК – БЕЛОМУ

23 ян<варя> / 5 фев<раля> 1911. <Петербург>

Милый Боря.

Много трудного. — Журнал, конечно, расстраивается, так что все мои просьбы к Тебе — напрасны[1]. — Живи, живи так хорошо, как пишешь, радуюсь за Тебя; и сам, может быть, когда-нибудь, заживу. Господь с Тобой.

Твой Саша

---

[1] См. п. 233, примеч. 4. В тот же день Блок сообщил Вл. Пясту свои сомнения относительно перспектив журнального замысла: «Все эти дни я искал “в себе” журнала — и не нашел ни следа. Прочной связи нет. Из всех сотрудников (исключая Вячеслава Ивановича, который окончательно против <...>) связаны *только* мы с Вами — но *не* журнально <...> Пишу А. Белому отказ» (VIII, 327—328).

---

236. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<13/26 февраля 1911. Кайруан>[1]

Милый Саша, пишу Тебе наскоро. Сейчас в Кэруане, священном городе Тунисии[2]. Когда вернусь в Радес, отвечу. Будь тверд. С журналом ужасно жаль, но... может ли сейчас быть журнал? По-моему, еще... *не может:* действительный. Мы все еще устали: соберемся же с силами для... *русского дела.* Верю — когда будут силы, будет журнал. Как сейчас здесь странно: только что проблистало небо русским закатом. Сейчас мы недалеко от начала пустыни. Непременно увижу пустыню; если не ливийскую, то начало Сахары.

Любящий Тебя нежно Б. Бугаев

Пишу на адрес Вячеслава: Твой адрес остался в Радесе.

---

[1] Ответ на п. 235. Открытка с видом Кайруана. Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «II 1911».

[2] Поездку в Кайруан (город к югу от Туниса) Белый и А. Тургенева совершили 26—27 февраля (н. ст.). Белый описал ее в очерках «Дервиш (Из путевых заметок)» (Велес. Первый альманах русских и инославянских писателей. Пг., 1912—1913. С. 85—103) и «Кайруан» (Воля России (Прага). 1923. № 1. С. 1—19).

---

237. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<22 февраля / 7 марта 1911. Тунис>[1]

Милый Шура!

Получил ли открытку из Кэруана[2]: все не могу собраться написать; эту неделю — сплошь дела. Спасибо, что не забываешь. Как здоровье? Знаю, что не был в Москве[3]. Наш адрес: Afrique. Egypte. Kaire. Poste restante. Милый, милый, — обнимаю.

Любящий Тебя очень

Б. Бугаев

---

[1] Открытка с видом Туниса. Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «III 1911». Отправлено накануне отплытия из Туниса в Египет.

[2] Имеется в виду п. 236.

[3] Имеется в виду отсутствие Блока на московском заседании памяти Вл. Соловьева 10 февраля 1911 г. (см. примеч. 4 к п. 229); об этом и о болезни Блока Белый узнал из письма М. И. Сизова от 11 февраля 1911 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 379).

---

238. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Море. <26 февраля />11 марта. <1>911 года.[1]

Милый Саша!

Только теперь Тебе пишу. И Ты, вероятно, еще долго не получишь моего письма. Последнее Твое письмо было грустное. Ничего — все хорошо. Чувствую, что не будет черных времен, как прежде. Долго, долго еще нам ждать успокоения; и успокоение не будет даваться нам. *Но — ничего.* Все — хорошо.

Сейчас как-то особенно мирно настроен; долго сейчас с Асей мы стояли на корме парохода, глядя на бурю летящих, свистящих и клокочущих вод: что за цвета! Чернолиловый, многовесный, мгновенно меняющий очертанье камень — вот море; оно вовсе не пучина, а упругая, желатинновязкая среда, по которой можно бегать свободно, если намазать салом сапоги да срезать с них каблуки. И по этому чернолиловому и кубовому с празеленью камню — пена чуть-чуть розоватая, белая и лазурная; лазурная пена — пена подводная. Сейчас летели брызги в этом лазурнобелом и чернолиловом гременье; коричневатый, тусклый, матовогрустный закат. Третий день уже, как мы не видим земли; до Порт-Саида еще два дня плавания; теперь справа от нас проходит Крит, слева же Триполи[2]; уже мы почти на уровне западной границы Египта. Становится теплей... Плывем на «*Arcadia*», идущем в Китай и Японию с грузом рельс для желторожих чертей; команда вся почти состоит из китайцев; 45 китайцев и 15 европейцев. Из пассажиров — мы одни; пароход немецкий из Гамбурга; добродушный бородач-капитан в кают-компании

по вечерам говорит об угле, культуре и Канте и угощает пирогом с яблоками и домашним печеньем; на палубе гуляет баран и весь день свистит канарейка. Качка, но мы уже привыкли (в море — четвертый день; день еще плыли от Туниса до Мальты, но *поганец италианец*, собственно говоря, нас выгнал: сицилийцы и южные итальянцы — носачи и поганцы...). Мирно, тихо, уютно, даже... комфортабельно; плыть бы да плыть без земли, без устали; завидую команде, плывущей к Филиппинам, Иокагаме, Шанхаю мимо Индии. Капитан добродушно зовет с собою... Ася первые переезды наши лежала (от Неаполя до Палермо, от Палермо до Туниса, и от Туниса до Мальты); теперь же привыкла; еще день, два, и покажется, что на пароходе родился; но через два дня уж и Порт-Саид. (Едем не на Александрию). Из Египта едем в Иерусалим, Смирну, Афины, Константинополь, Россия. В Египте побудем с месяц. Пиши: так хочется иметь вести из России, особенно от Тебя...

Отрывали... Сейчас ужинали; моряки угощали меня русской водкой; ужасно уютно мирно болтать среди свиста и хохота волн; сейчас сказали, что ввиду качки не двое, а еще трое суток до Порт-Саида: ветер сильный и встречный, и пароход идет вдвое медленнее... Впрочем, что я пишу! О водке, о пароходе... Но, друг, сейчас в голове пусто, спокойно; и мыслей никаких, кроме горячего желания Тебя обнять и сказать, что люблю, радуюсь нашему примирению, верю, что оно — прочное.

Любящий Тебя нежно

Борис Бугаев

P. S. Если Александра Андреевна и Твоя жена ничего особенного против меня не имеют, то передай и им привет.

---

1 Написано на бланке со штампом «Hamburg — Amerika Linie». Отправлено из Порт-Саида 14 марта (н. ст.) 1911 г. (почтовый штемпель на конверте). На конверте помета Блока красным карандашом: «Март 1911». Написано на 4-й день плавания по Средиземному морю.

2 В действительности — наоборот: по пути следования корабля остров Крит — слева, город Триполи на африканскому берегу — справа.

---

239. БЛОК – БЕЛОМУ

3/16 марта 1911. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Ну, вот — *китайская война*[2].

Поздравляю Тебя со всеми новыми испытаниями и переменами, которые предстоят нам скоро. Все-таки, возвращайся в Россию. Может быть, *такой* — ее уже недолго видеть и знать[3].

А наши письма — все еще натянутые. Пусть так, это еще необходимо должно быть; все, что было, нелегко.

Живу сосредоточенно. Пишу поэму[4]. Открытки из Кэруана не получал[5]. «Мусагет» что-то не дает о себе никаких вестей.

У меня много планов. Не знаю еще, как и где проведу лето.
Целую Тебя крепко. Господь с Тобой.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 237.

[2] Блок воспринял в таком ключе усилившуюся напряженность в российско-китайских отношениях и, видимо, газетные сообщения (2 и 3 марта) о возможности оккупации русскими войсками Кульджи; политические реалии текущего дня он переживал под знаком соловьевской историософской идеи «панмонголизма», «желтой опасности» и т. п.

[3] Ср. сходные суждения Блока в письме к матери от 8 марта 1911 г.: «Правительства всех стран зарвались окончательно. М<ожет> б<ыть>, еще и нам суждено увидеть три великих войны, своих Наполеонов и новую картину мира. Китай нас не минует — не сегодня — завтра» (*Письма к родным, II.* С. 132).

[4] Имеется в виду работа над поэмой «Возмездие».

[5] Имеется в виду п. 236. Посланное на адрес Вяч. Иванова, оно было отправлено последним Блоку с запозданием — 4 марта 1911 г. (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 2. Ед. хр. 33. Л. 18—19).

---

240. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<2/15 марта 1911. Каир>[1]

Милый Саша!

Вчера была для меня незабываемая минута. Я глядел с полчаса, не отрываясь, в глаза сфинксу; из песков над песками глядит сфинкс огромными живыми глазами; и каждую минуту меняется выраженье его чудовищного лица: сначала он был грозный, потом насмешливый, испуганный, грустный, нежный, как ангел, прекрасный[2]. Луна ослепительно горела, освещая пустыню. Черные привиденья феллахов одиноко застывали здесь и там. И надо всем два безумных конуса — пирамиды.

Нежно любящий.

Б. Бугаев

---

[1] Открытка с видом Каира. Датируется по полустертому почтовому штемпелю и по связи с цитируемым ниже письмом к А. С. Петровскому. Помета Блока красным карандашом: «II 1911». Белый и А. Тургенева прибыли в Каир 14 марта, в тот же день они осмотрели поле пирамид в Гизе и Великого сфинкса.

[2] Тогда же, 15 марта (н. ст.), Белый отправил открытку А. С. Петровскому следующего содержания: «Алеша! Нет слов, нет мысли, нет чувств, нет желанья сказать, что такое пирамиды и Сфинкс. Б. Бугаев» (ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 33. Оф 4889). Ср. его письмо к матери: «Пишу тебе, потрясенный Сфинксом. Такого живого, исполненного значением взгляда я еще не видал нигде, никогда. <...> На голубом небе, прямо из звезд в пустыню летит взор чудовищного

Сфинкса; и он — не то ангел, не то зверь, не то прекрасная женщина» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 359). См. также очерк Белого «Египет» (Современник. 1912. № 6. С. 186—193).

241. БЛОК – БЕЛОМУ

12/25 марта <1911. Петербург>[1]

Милый Боря, сегодня узнал из Твоего письма о сфинксе. Да, есть *и* это. Я бы, может быть, испугался сейчас. Сейчас — грустная минута: после напряжения многих дней — чувство одиночества. Один — и за плечами огромная жизнь — и позади, и впереди, и в настоящем. Уже «меня» (того ненужного, докучного, вечно самому себе нравящегося или ненравящегося «меня») — мало осталось, почти нет; часто — вовсе нет; чаще и чаще. Но за плечами — все «мое» и все «не мое», равно великое: «священная любовь», и 9-е января, и Цусима[2] — и над всем единый большой, строгий, *милый*, *святой* крест. Настоящее — страшно важно, будущее — так огромно, что замирает сердце, — и *один*: бодрый, здоровый, *не* «конченный», отдохнувший. Так долго длилось «вочеловеченье».

Может быть, мы не вместе сейчас, но из будущего гляжу на Тебя взглядом нежного друга; в настоящем — целуюсь при встрече с Тобой, но в глазах у нас — *дело*: более, чем когда-нибудь, мы на «флагманском корабле»; не знаю, какую работу исполняю я, — но исполняю, как-то каждый день готовлюсь к сражению.

Крепко целую Тебя и жму Твою руку, милый друг.

Твой Ал. Блок

P. S. Получаю корректуры из «Мусагета»[3].

---

[1] Ответ на п. 240.

[2] В эти дни Блок читал книги о русско-японской войне 1904—1905 г.; 12 марта он писал матери: «Сегодня поглощен японской войной <...>» (*Письма к родным, II.* С. 135).

[3] Корректурные листы 1-й книги «Собрания стихотворений» Блок получал из Москвы с 4 по 16 марта (см.: Там же. С. 132, 136).

242. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<15/28 марта 1911. Каир>[1]

Дорогой Саша,

Крайне взволновало меня Твое письмо. Да, слышу, знаю — о Востоке. Знаю и то, откуда идет чума. Знаю и то, что как-то во все это мы замешаны судьбами. Скажу дальше больше: знаю, кто сорвал наши зори 1900—1901 года: «*Ждали Утешителя, а надвигался Мститель*» (Симфония)[2], «*Мы дрались с желтым монго-*

лом, а теперь мы будем умирать» (Симфония)[3], «*И близко появленье, но страшно мне: изменишь облик Ты*» («Пр<екрасная> Дама»)[4]. Знаю бесконечно более, чем могу передать словами. Нас, слишком рано заговоривших, провокационно стукнули лбами. Нас заманили ложными зорями. И скажу прямо: Твой грех был в недостаточно резкой черте между Прекрасной Дамой и Незнакомкой. Мой грех — сначала в истерическом, слишком явном выкрикивании, отчего приключился... сначала «*Lapan*»[5], а потом — не стану говорить: слишком все это тяжело[6]. И в результате в полях русских *заводил нас леший*: И вот у Тебя: «Зеленеют колпачки задом наперед»[7]. У меня: «Исчезни в пространство, исчезни — Россия, Россия моя»[8]... В это время мы ненавидели, любя, друг друга: Ты винил меня, я — Тебя. Мы одинаково виноваты, или... одинаково *невиноваты*, ибо леший, водивший нас, оказался... японским шпионом. Штука попросту разрешилась. И то, что мутило наши души, теперь оно начинает грохотать на востоке: скорей бы... «*Куликово поле*», милый — то «*Куликово поле*», которое показало мне, что и Ты... *Ты знаешь*[9]. Стало быть, дороги наши, не нами избранные, до смерти одного из нас будут всегда неожиданно... (сейчас погасло электричество: не верю — дрянной бесенок, японский «*шпиончик*» пугает хлопушками)... *сходиться*.

И какая тут прямая, явная, ясная линия — в этих ломаных, которые мы с таким упорством рисовали все эти годы друг для друга и... для себя.

Не скрываю... Гибель подстерегает, каждого из нас ежеминутно, всякими неожиданностями, но подстерегает нас гибель, *как русских*, ибо русские... среди интеллигенции... *все наперечет*, все друг друга знают, и все... кому не след знать... о нас знают. Но наплевать. Даже и смерть... на *поле Куликовом*... ясная смерть.

Принимаю Твои слова об испытании, быть может, уже близком. Жму руку.

Мы скоро вернемся. Каир ужасен: грязь, скоты феллахи, еще более скоты... англичане, наибольшие же скоты... египетские студенты (так кажется). Они в прошлом году освистали Рузвельта. И, кажется, «*свобода*» и «*цивилизация*» у них в ходу.

Цивилизация для них — фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Тютчев[10]

Нет и следа милой Тунисии, где мы с Асей так отдохнули в белоснежном Радесе. Нет и следа милых арабов.

Пока сидим, ждем денег, чтобы удрать. Едем в Иерусалим. Еду туда как-то особенно. Может быть, ужас. Может быть — ... Через две недели наверное в Греции, где пробудем недели две[11]. Адрес: Grèce, Athènes. Poste restante.

Лето с Асей проводим в Луцке. В августе я в Москве.

До будущего года, наверное, не увидимся, милый друг.

На «*Мусагет*» не сердись, если не отвечает. У Кожебаткина манера не отвечать. Если хочешь навести справку, пиши А. С. Петровскому (адрес Мусагета) или Э. К. Метнеру (эти ответят).

Проводим время так. Утром пишу, или идем куда-нибудь. После завтрака разглядываю марки (у меня есть коллекция марок). Потом часто сидим на веранде над Нилом. Вечером с Асей играем в дурачки.

Серьезных книг не читал уже более полугода, от литературы отстал. Думаю только летом вернуться к «Г[олубю]»[12].

Крепко жму руку и нежно люблю.

Твой Б.

P. S. От Бориной «спутницы» — привет*.

Как хотел бы, чтобы вернулось то время, когда, как прежде, мы тихо беседовали — втроем: я, Ты и... Сережа. Факт, что Вы с ним хотя бы официально примирились[13], для меня... *громаден*: это указывает на то, что какой-то большой шести-семилетний цикл завершился. *Замкнулся круг подозрений.* Князья должны вновь сойтись и выкурить... трубку мира. Поиграли в «*разбойники*» — шесть лет разбойничали — довольно (помнишь, в Шахматове я сказал: «Поиграем в разбойники». Ты сказал — «Поиграем». Через *три дня я уехал.* Через пять дней уехал Сережа)[14]. Но цикл замкнулся. *Конец* стоит при *начале.* А *начало* — наши давние встречи втроем.

---

[1] Ответ на п. 239. Помета Блока красным карандашом: «Март 1911».

[2] См.: Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., <1902>. С. 195; *Симфонии.* С. 181.

[3] См.: Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). С. 217; *Симфонии.* С. 191.

[4] Цитата из стихотворения «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...» (1901), входящего в книгу Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905. С. 9).

[5] Лапан — гротескно-пародийный образ; вымышленный исследователь «секты блоковцев» из XXII в.; С. Соловьев, придумавший и изображавший его в Шахматове летом 1904 г., пародировал таким образом, по словам Белого, «собственную приподнятость чувств» и мистические устремления «соловьевцев». С этим именем были связаны и другие разнообразные игровые, юмористические моменты в общении С. Соловьева, Белого, Блока и членов его семьи. См.: *О Блоке.* С. 72—73, 101; *Начало века.* С. 377—380; Бекетова М. А. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922. С. 89—90.

[6] Подразумеваются конфликтные отношения с Блоком и Л. Д. Блок в 1906 г.

[7] Цитата из стихотворения Блока «Болотные чертенятки» (1905).

[8] Заключительные строки стихотворения «Отчаянье» («Довольно: не жди, не надейся...», 1908) (Андрей Белый. Пепел. СПб., 1909. С. 14).

[9] Белый подразумевает стихотворный цикл Блока «На поле Куликовом»; впервые опубликован (под заглавием «На Куликовом поле»): «Литературно-художественные альманахи издательства “Шиповник”» (Кн. 10. СПб., 1909. С. 273—278). Белый ознакомился с ним впервые летом 1910 г. и пережил глубокое потрясение: «...“Куликово поле” было для меня лейт-мотивом последнего и окончательного “да” между нами. “Куликово поле” мне раз навсегда показало неслучайность наших с А. А. путей, перекрещивающихся фатально и независимо от нас <...> В десятом году я уже задумывался над темою “Петербурга”. И пусть “Петербург” носит совершенно иной внешний вид, чем “Куликово поле”, однако глубиной — мотив “Петербурга” <...> укладывается в строки А. А. “Доспех тяжел, как перед боем, теперь Твой час настал — молись”» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 119); «...попалося “*Куликово Поле*” мне, строчка за строчкою совпадая с интимнейшими переживаньями этих лет жизни; вся тема его: нависание мглы и угроза *востока* (татарства), и чувство необходимости вооружаться для боя с оккультным врагом были мной пережиты <...>» (*О Блоке.* С. 357—358).

[10] Цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Напрасный труд — нет, их не вразумишь...» (1867).

[11] Это намерение не было осуществлено.

---

* Эта строка написана рукой А. А. Тургеневой.

[12] Было написано: «Голубю»; зачеркнутые буквы тщательно вымараны. Подразумевается работа над второй частью задуманной трилогии «Восток или Запад», первая часть которой — роман «Серебряный голубь».

[13] 20 ноября 1910 г. С. Соловьев отправил Блоку письмо за подписью «*Твой брат Сергей Соловьев*»: «Я уверен, что время нашей встречи близко, но оно еще не совсем назрело. Мне надо говорить с тобой и с Любой много и *до конца*. Думаю в конце зимы побывать в Петербурге, и тогда побываю у тебя основательно»; Блок ответил 23 ноября: «Твое письмо очень радостно мне. Да, надо и будем говорить. <...> Сообщи, когда ты приедешь в Петербург» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 401, 402). В «Воспоминаниях об Александре Блоке» С. Соловьев писал: «Осенью 1910 г. я написал Блоку приветливое письмо с предложением ликвидировать наш раздор. Он радостно отозвался» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 34).

[14] Этот эпизод, относящийся к середине июня 1905 г., Белый описал в мемуарах (*О Блоке*. С. 177—178; *Между двух революций*. С. 28).

---

243. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Каир. Понедельник. <21 марта /> 3 апреля <19>11 года.[1]

Сегодня получил Твое письмо в день трудный: гора неприятностей из Москвы[2], всякая путаница, сложность. И как же меня порадовало Твое письмо. Многое или даже почти все — мне родное; и чувство будущего, и «*флагманский корабль*»: «*флагманский корабль*» — и: «*эскадра плывет*» пока что по тихим водам, но... по направлению к неприятелю. Знаю, знаю — родной, близкий, милый: как все это и — «*мое*» тоже. Только мне хотелось бы задержать эскадру где-нибудь на острове в *Океане* (на пути к Желтому морю) — продлить плавание на несколько лет. Одной готовности быть на своем месте, даже героически умереть — *мало*: мудрости, змеиной мудрости, выдержки пока что у нас мало, обходных движений еще мы не всегда умеем распознавать. Слабы мы, мало нас — ссорятся еще уделы, не вся *рать* стоит под знаменем, хочется подождать на дороге отставших, наших, но не ведающих, что они с нами; оттого — в глазах *дело*, забота.

Трудно!...

За одно благодарю небо — не одинок: мне тепло, *я не один*...

Странно, почти жутко от невероятности. Ты — в Питере; я — в Каире; но пространства *для корабля нет*.

Мне знакомо и то, что мое — *не мое*; теперь, когда Господь послал мне личное счастье и успокоение, я благодарю Небо за былые года испытаний, во время которых судьба одно время жестоко столкнула наши пути. Годы боли, разуверенья и непрестанного ощущения личного умирания создали во мне единственное стремленье найти себя вне своей боли; «*боль*» была — «*я*» и «*мне*»; убегая от боли, я пришел к *не я, не мне*; мое стало — близкие; я полюбил дело, труд, утомление и биение жизни в *товарищах* по пути; и странно — тогда-то пришла тишина, смиренье и — *мое, мне; мое мне вернулось*, когда я с готовностью отказался от *личного счастия*. И тут — великая правда.

А теперь *личное* не мешает радоваться и огорчаться *не своим*. И много радостей, и много слез.

Да будет!

Сейчас пишу Тебе с перевязанной головой; весь день ругался, злился и писал злые письма, так что отчаянная от того развилась мигрень; и вот все же — важно, радостно, тихо.

И поддержка мне Твой «*флагманский корабль*».

Пусть мы разные, но то «*психология*», но Русь, будущее, ответственность — не «психология» вовсе, и как же не радоваться; *мы — русские*, а Русь — на гребне волны мировых событий. Русь чутко слушает и *ее* чутко слушают. *Я, Ты,* мы не покинуты в сокровенном; за нами следят *благие силы*, не покинут нас, поскольку мы — *русские*.

Тише, скрытнее, медленнее, важнее — вот мое желание. А там, в великом деле собирания Руси, многие встретятся: инок, солдат, чиновник, революционер, скажут, сняв шапки: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»[3]... И от поля Куликова по всем полям русским прокатится: «За Русь, за Сичь, за козачество, за всех христиан, какие ни есть на свете»...

Аминь.

В субботу едем в Иерусалим[4]. Выяснилось, не хватает сотни рублей; может быть, сядем на мель, ибо до Греции неоткуда ждать денег (на почве денег и злился сегодня), но... побывав в Египте, как же не *изойти из него в Землю Обетованную*, спасаясь от казней египетских, в числе которых, во-первых, *чума* (нам предстоит в Яффе карантин), во-вторых, *бакшиш* (на чай) и в-третьих, что всего ужаснее, блохи.

Ну, милый, целую, спасибо: не знаю отчего, но тихо радуюсь Твоему письму. Христос с Тобой.

Б.

P. S. От Аси привет. А Египет хорош: только *злой* и посылающий *казни*.

---

[1] Ответ на п. 241. На конверте почтовые штемпели: Cairo. 5 IV 11; Петербург. 11. 4. 11. Помета Блока красным карандашом: «Апрель 1911».

[2] В это время заметно осложнились отношения Белого с «Мусагетом» и лично с Э. К. Метнером — в частности, на финансовой почве (Белый долго не мог получить от «Мусагета» гонорарных перечислений, необходимых ему для продолжения путешествия).

[3] Контаминация неточных цитат и пересказ текста из повести Гоголя «Тарас Бульба» (гл. VIII; см.: Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. II. <Л.>, 1937. С. 130—131).

[4] Суббота — 26 марта / 8 апреля 1911 г.

---

244. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 марта / 5 апреля 1911. Каир>[1]

Милый Саша!

Все эти дни почему-то с Тобой...

Сейчас с Асей тихо качались на Ниле в примитивной египетской *фелюге* (лодке) с парусом. Беззорные египетские сумерки мягко горели на Ниле рыжими светами:

мертвое, зеленоватое небо, тусклая мгла востока, в которой тонули пальмы и молодой месяц сверху. Хорош Египет!..

Мы молча сидели, и мне хотелось бы, чтобы чудом Ты перенесся в фелюгу к нам. Сумерки Египта золотокарие, беззорные; в беззорном свеченье мглы черные тени феллахинь с огромными кувшинами. И потом падает ночь.

А как хороша пустыня! Недавно мы с Асей проехали то по пескам, то пальмовым лесом на осликах верст 25[2]. Осматривали древний Мемфис, дальние Пирамиды, подземелье Сераписа; вернулись — огненные от загара. Здесь есть на что посмотреть. Ливийская пустыня вплотную лежит у города. Египет — странная страна; ряд оазисов, да узкая лента тропической растительности по обеим сторонам Нила (верст 6), а то — пески, белесовато мертвенные, с рябью...

Не знаю, отчего все это пишу. Хочу просто общенья с Тобой.

Любящий Тебя крепко

Борис Бугаев

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Получено в Петербурге 1 апреля 1911 г. Пометы Блока — химическим карандашом: «Март 1911»; красным карандашом (на конверте): «Март 1911».

[2] Эта поездка состоялась во второй половине марта (н. ст.). См.: *Между двух революций*. С. 396.

---

245. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец марта / Начало апреля 1911. Иерусалим>[1]

Милый Саша!

Измученные семью казнями египетскими: 1) блохами, 2) «*бакшишом*», 3) грязью, 4) «*хамсином*» (ветром пустыни), 5) зубной болью, 6) англичанами и 7) невозможностью выехать за неимением денег, — бежали в *обетованную страну*. Но как же мы удивились, что Иерусалим несказáнен, древен, вечногрядущ, сказочен, что Храм Гроба Господня *не то*, что можно думать издалека; это — *воплотившийся вечный сон*. А у Гроба Господня соединенная Церковь (католик и православный). Нас тронул мусульманин в чалме, пришедший поклониться гробу. Не снимая чалмы, он широко перекрестился. Палестина рдеет цветами. Иерусалим бледножелтый, переходящий в блеклое золото. Сидели долго у Соломонова храма.

Христос Воскресе!

Ура России! Да погибнет европейская *погань*[2].

---

[1] Открытка с изображением вифлеемских ясель младенца Христа. Почтовый штемпель неразборчив. Помета Блока красным карандашом: «III 1911».

[2] Пасха в 1911 г. — 10/23 апреля. О всплеске антиевропейских настроений Белого в это время свидетельствуют и другие его признания — например, в письме к М. К. Морозовой («Иерусалим. Христово Воскресенье»): «Культуру Европы придумали русские; на западе есть циви-

лизации; западной *культуры* в нашем смысле слова *нет*. <...> Вот уже месяц, как все бунтует во мне при слове «*Европа*». Гордость наша в том, что мы *не Европа*, или что только мы — *подлинная Европа*» (РГБ. Ф. 171. Карт. 24. Ед. хр. 1б). См. также письмо Белого к А. М. Кожебаткину из Иерусалима от 30 марта / 12 апреля 1911 г. (Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 170—171).

---

246. БЛОК – БЕЛОМУ

11/24 апреля 1911. Петербург[1]

Христос Воскрес, милый друг Боря. От Тебя четыре письма, а я все не пишу Тебе; сначала было слишком напряженно хорошо и по-весеннему; на Страстной, напротив, оборвалось что-то, и до сих пор не могу поправиться и стать собой. Все — «семейное»; боюсь *этого* больше всего; здесь всего страшнее, потому что *здешние* призраки умеют нанести удар, откуда не ждал; бывает, что ждешь отовсюду, — только не оттуда, откуда приходит внезапное и непоправимое. Становлюсь все злее, потому что ни в чем, кроме злобы, иногда нельзя найти защиты.

Через 1—2 недели поеду в деревню[2], а оттуда, если Бог поможет, за границу.

Привет Асе Тургеневой. Я не знаю ее отчества, потому очень извиняюсь перед ней, что так называю. Но, право, приветствую от души и Вас обоих вместе и Вас порознь. Если Вам хорошо, тихо приветствую Вас.

Конечно — да будет флагманский корабль. Ничто этому не помешает, кроме смерти. Другого смысла жизни и нет.

Любящий Тебя А. Блок

---

[1] Ответ на п. 242—245.

[2] Блок приехал в Шахматово 18 мая. См.: *Письма к родным, II*. С. 140; Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 257.

---

247. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<13/26 апреля 1911. Пароход Яффа — Одесса>[1]

Милый Саша,

сейчас есть потребность Тебе писать. Как-то особенно близко Тебя чувствую. Да, есть связь между людьми. Для меня несколько человек обведены магическим кругом; в ссоре я с ними, или нет — они в общем круге. В числе этих немногих — Вячеслав и Ты. Оттого-то душно и грозно мне, когда мы в ссоре; в дружбе ли, в ссоре ли — все одно: мы в одном круге; а если круг обведен, лучше быть в дружбе; тяжело плыть с врагом в одной каюте, на одном корабле; а мы вместе плывем...

Пишу о каюте, корабле, может быть, потому, что плыву на корабле. Сейчас большая, большая волна, подскочив на полторы сажени, неожиданно плеснула за борт, измочила меня с ног до головы; ничего, обсох. Сейчас плывем уже третий день из Яффы; Иерусалим остался в памяти, как Золотой Сон; теперь плыть нам еще 9 дней... до Одессы; сегодня утром стояли у Триполи; вчера останавливались у Кайфы и Бейрута; завтра оставляем Сирию и плывем вдоль Малой Азии...

В Иерусалиме очень хорошо у Гроба Господня[2]: никакой профанации; веселая суматоха и толкотня; мы попали в самое выгодное время; видели обряд омовения ног и обряд *благодати* огня; омовение ног — сплошной театр, один архиерей играет роль Петра, а другой, рыжий, Иуды; Патриарх — Христос. Обряд *благодати* огня неописуем; громадный храм во мраке; тысячи богомольцев в храме, на карнизах, хорах, переходах; у каждого — пучок из 33 свечей, образующих толстый факел; во мраке христиане арабы поют священные песни и бьют в тарелки; в момент появления *благодатного огня* из отверстия храма Гроба Господня водворяется громогласный рев; через несколько секунд турецкие солдаты тащут испуганного патриарха через толпу, готовую его растерзать; в руках патриарха два белых факела, от которых через море голов распространяется море огня: все факелы вспыхивают сразу. Пасхальную ночь встретили у Гроба Господня. Возвращались домой с процессией мужичков, поющих «*Христос Воскресе*»[3]...

На днях в Иерусалиме была паника: англичане, кажется, обокрали подземелья великолепной Омаровой мечети (Соломонова Храма); турки, арабы, сирийцы собрались толпой и кричали, что осквернителей следует убить; вмешались турецкие солдаты: произошла свалка; в результате мужички с криком «*арапы напали*» бежали от Гроба Господня, вызывая панику. Губернатор для избежания возможной резни запретил вход в Омарову мечеть. Мы с Асей все же не без риску проникли туда под охраной «*кавасов*»[4] и двух турецких солдат: мальчишки свистали; у входа в мечеть нас окружила толпа женщин, иные воздевали руки, посылая нам *проклятия*; было немного жутко; нас закоулками провели из мечети, чтобы нас не увидела толпа. Мечеть — лучшее, что я доселе видел: извне и изнутри она — тончайшая мозаика, в середине — скала, на которой Авраам приносил в жертву Исаака... Все пространство Сиона, где стоит мечеть, евреи избегают, чтобы не ступить на место, где было «*Святое — святых*». У мусульман Омарова мечеть место второе после Мекки; сюда в день Страшного Суда перенесется по воздуху Кааба[5]. Под Храмом подземелья, откуда брался камень для Соломонова Храма (кусочки этого камня везу с собой); от Соломонова Храма (мечети Омара) тайный ход ведет к Гробу Господню: *вещий символ.*

Бросаю писать: качает — скачет перо, скачут мысли, но... хорошо! Устали от путешествия так, что не высадимся в Константинополе; только бегло осмотрим[6]. Христос с Тобой. Обнимаю и нежно люблю.

Борис Бугаев

---

[1] Письмо не было отправлено адресату; автограф сохранился в архиве Андрея Белого (РГБ. Ф. 25. Карт. 30. Ед. хр. 1). Из Яффы Белый и А. Тургенева отбыли на пароходе Русского пароходного общества 11/24 апреля 1911 г., прибыли в Одессу 22 апреля / 5 мая.

[2] Подробное описание храма Гроба Господня Белый дал в письме к А. С. Петровскому от 1/14 апреля 1911 г. (Восток — Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 172—174).

[4] См. также описание иерусалимских пасхальных торжеств в письме Белого к матери от 22 апреля (ст. ст.) 1911 г. (Там же. С. 177).

[4] Кавасы — в Турции — почетная стража, облеченная низшей полицейской властью.

[5] Кааба — древнее святилище мусульман в Мекке; одна из святынь ислама.

[6] В Константинополе Белый и А. Тургенева были 1—3 мая (н. ст.). См.: *Между двух революций*. С. 405—406.

---

248. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Луцк. 29 апреля <1911>[1]

Милый Саша,

где Ты! Что? С Каира нет о Тебе вестей. Ответь — куда писать летом. Мы в Афины не заезжали: понежились в стране обетованной недельки две, встретили Пасху (Христос Воскресе!) и после 11 дней прокачались от Яффы до Одессы. Первое впечатление от *русского* (не России): пароходная грязь, заставила меня выругать вслух пароход; но, к моему удивлению (так странно после иностранного быта), прислуга, команда, служащие, чуть ли не сам капитан были в восторге от моей брани и стали все еще пуще ругать высшее пароходное начальство; пароходная горничная Нина заявила во всеуслышание, что у нее нервный смех, а пароходный доктор мрачно заявлял, что он никогда не лечится, ибо не дорожит жизнью (надо сказать, что с первым нашим случайным знакомцем-русским в Иерусалиме мы в пять минут пришли к убеждению, что пора всем сойти с ума... к сожалению, он скоро уехал приводить в исполнение свое намерение на Принцевы Острова); один из первых русских на берегу с негодованием нам заметил, что разгромлен московский университет, гордость России[2]; предварительно этот *протестант* перерыл наши сундуки, ища контрабанду (он был таможенным чиновником), но, не найдя оной, хотя мой сундук только и был, что сплошная контрабанда, состоящая из привозных мелочей, заговорил о политике.

Эти *очаровательные* впечатления хочется отметить прежде всего... А потом пошла уже менее очаровательная, но не менее удивительная музыка: мы видели марширующие по случаю царского дня гимназии с барабанным боем и развернутыми знаменами, ведомые *марширующим* (!) преподавательским персоналом в белых перчатках и при орденах; и тут пахнуло таким «*мелким бесом*»[3], что ой-ой-ой... Лица преподавателей выражали чрезвычайное удовольствие по этому поводу с томным налетом грусти о том, что им не привелось еще маршировать на карачках; но после того, что видел, я думаю, что в следующий проезд через Одессу я буду осчастливлен этой последней идиллией[4]...

Таковы были первые аккорды России...

Прости за пустяки, но пишу это письмо только для того, чтобы Ты знал летний мой адрес. Вот он: Луцк (Волынской губернии). Боголюбы. Владимиру Константиновичу Кампиони. Мне. Буду в Москве около 8-го до 15-го. Затем снова в Луцке[5].

Странная вещь: как все навыворот. Вдоль берега Сирии на горах лежал еще снег. У Константинополя потеплело, но каштаны еще не цвели; в Одессе стало теплей и каштаны оказались уже в цвету; в Киеве оказалось еще теплее; в Луцке стоит жара, стало быть, в Петербурге вы рискуете сгореть; на полюсе же, конечно, земля плавится. Обнимаю. Нежно целую.

Бугаев

---

[1] Помета Блока красным карандашом: «1911». С 25 апреля Белый и А. Тургенева, проехав из Одессы через Киев, поселились в Боголюбах (Волынская губерния, близ Луцка), в имении В. К. Кампиони и С. Н. Кампиони (матери А. Тургеневой).

[2] Имеются в виду происходившая в начале 1911 г. в Московском университете длительная студенческая забастовка и сопровождавшие ее репрессивные меры (исключение нескольких тысяч студентов), побудившие к добровольной отставке из Университета, в знак протеста против политики министра просвещения Л. А. Кассо, ряда профессоров. Ср. сообщение в «Утре России» (1911. № 33, 11 февраля): «В университете жизнь совершенно заглохла. Человек тридцать—сорок студентов уныло бродят по пустынным коридорам нового здания».

[3] Подразумеваются роман Ф. Сологуба «Мелкий бес» (1905) и его главный герой, провинциальный учитель Передонов.

[4] Белый и А. Тургенева выехали из Одессы в Киев вечером 22 апреля (см.: Ильёв С. Андрей Белый в Одессе // Вечерняя Одесса. 1987. № 96, 25 апреля).

[5] Белый приехал в Москву (без А. Тургеневой) 8 мая 1911 г., отбыл обратно в Боголюбы 18 мая.

---

249. БЛОК – БЕЛОМУ

8 мая 1911. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Ты уже в России, а я писал Тебе после Пасхи в Афины; впрочем, письмо было печальное и угнетенное, лучше, что Ты его не получил[2]. У меня планы: около половины мая еду в Шахматово, а в июле поеду по Европе — много куда, если удастся. Сейчас чу́вствую себя плохо, у меня цынга, возобновившаяся с позапрошлого года.

Видел ли Ты мою книгу? Пошлю Тебе ее в Луцк, я еще не получил ее (все экземпляры)[3]. По-моему, издано превосходно — скромно, книжно, без всякого надоевшего декадентства. И Кожебаткин очарователен — в нем какая-то мягкая человеческая нежность.

До ужаса знакомо то, что Ты пишешь о первом впечатлении о России; у меня было подобное: моросящий дождь — и стражник трусит по намокшей пашне с винтовкой за плечами; и чувство, что все города России (и столица в том числе) — одна и та же станция «Режица» (жандарм, красная фуражка и баба, старающаяся перекричать ветер)[4]. — В этих глубоких и тревожных снах мы живем, и должны постоянно вскакивать среди ночи и отгонять сны. И я люблю вскакивать среди ночи — все больше.

Все дело в том, есть ли сейчас в России *хоть один человек*, который здраво, честно, наяву и *по-Божьи* (т. е., имея в себе, в самых глубинах скрытое, но верное «Да»), сумел бы сказать «нет» всему настоящему[5]; впрочем, я начал и сейчас же бросаю развивать ту длинную нить, которую я лелеял всю эту зиму и которой я не оставляю. Пишу и хочу писать об этом, но в письмах — не стоит и не выйдет. — Мы виделись с Сережей[6]. Он прекрасен. Крепко целую Тебя.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 248. Отправлено в Москву по адресу издательства «Мусагет».

[2] Это письмо, однако, дошло до адресата (п. 246).

[3] Подразумевается книга 1-я («Стихи о Прекрасной Даме (1898—1904)») «Собрания стихотворений» (М., «Мусагет», 1911); первые экземпляры ее были получены Блоком 2 мая 1911 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 144).

[4] Эти впечатления Блок отразил в записях от 21 июня 1909 г. (ЗК, 151—152), в письме к матери от 22 июня 1909 г. (*Письма к родным, I.* С. 272—273) и в очерке «Wirballen» (осень 1909 г.), входящем в цикл «Молнии искусства» (впервые опубликованный посмертно): «Утром проснулся и смотрю из окна вагона. Дождик идет, на пашнях слякоть, чахлые кусты, и по полю трусит на кляче, с ружьем за плечами, одинокий стражник. Я ослепительно почувствовал, где я: это она — несчастная моя Россия, заплеванная чиновниками, грязная, забитая, слюнявая, всемирное посмешище. Здравствуй, матушка!» (V, 404).

[5] Ср. строку «Но сущему сказавши: “Нет!”» (ПСС III, 285) из стихотворения Блока «Да. Так диктует вдохновенье...» (черновой текст — осень 1911 г.), первоначально входившего в поэму «Возмездие».

[6] Эта встреча состоялась в Петербурге в апреле 1911 г. С. Соловьев вспоминает о Блоке: «Очень он был нежен. Вся семья — Любовь Дмитриевна, мать Блока Александра Андреевна и вотчим его, полковник Франц Феликсович Кублицкий — встретили меня как воскресшего из мертвых» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 34).

---

250. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Конец мая 1911. Боголюбы>[1]

Милый Саша!

Отвечаю Тебе на два письма: на письмо, полученное из Афин, и на то, которое получил по мусагетскому адресу.

Но прежде всего — предложение, просьба, если хочешь. Ты не можешь себе представить, как нужен Ты мне по мусагетским делам. Печально то, что *Мусагет* есть кружок чутких, умных, интеллигентных людей; все это, может быть, *более, чем писатели*; но вот беда: *все это не писатели вовсе*. Положение дел таково: Сережа уважает *Мусагет*, но порхает в стороне; Э. К. Метнер живет в деревне, Эллис в своей *штейнерьяде*[2] вовсе забыл *Мусагет*. А *теперь*, когда изменилась моя жизнь[3], не могу и не хочу с утра до вечера просиживать в Редакции; словом — *Мусагет* дело хорошее, а инициативы всё как-то мало; мне Метнер сообщал конфиденциально о желании Твоем и Вячеслава издавать «*Дневник поэтов*» втроем (Ты, Вя-

числав, я — участники)[4]. Меня очень порадовала Твоя инициатива (как и Вячеслава) в *Мусагете*. Пойми, что для меня было бы счастьем превратить *Мусагет* в наш общий орган (основания для общей платформы, после факта нашей дружбы и взаимного доверия *через все*, более чем есть). У меня в Каире независимо от сообщения Метнера созрел аналогичный план. И вот прежде всего важно теперь за лето реализовать намерение; для этого нам следовало бы повидаться... Это во-первых.

Во-вторых, Ася очень хотела бы Тебя видеть и поближе узнать; мы с Асей очень Тебя любим и часто теперь Тебя читаем в деревне по вечерам. Вспоминаешься Ты, и я чувствую по временам волну нежной (и на этот раз окончательной) к Тебе близости... *Тебя нехватает...*

В-третьих: Ты в конце июля едешь за границу; следовательно, Ты проедешь недалеко от нас и в том случае, если едешь на Грáницу (совсем близко), и в том случае, если едешь на Александрово (от Бреста до нас каких-нибудь 4—5 часов езды). И вот у нас с Асей созрел план, которому в Боголюбах все рады; звать Тебя к нам; у нас просто и хорошо; что Тебе стоит приехать на несколько дней в Боголюбы. Мы так давно не видались, так много могло бы возникнуть от этого в *Мусагете*; кроме всего, Ты бы просто, если б хотел, мог у нас помолчать. Я не зову Тебя нарочно; но если бы Ты захотел приехать, независимо от проезда за границу, мы бы очень радовались тому[5].

Итак?

Мы с Асей будем около Москвы (должно быть, у Морозовой) уже 9-го августа[6]: итак, до 6 августа, начиная хоть с завтрашнего дня, мы бы были рады Тебе. Вот что хотел сказать предварительно, а теперь — к письмам...

Огромное спасибо за книгу и за надпись[7]: мы радуемся с Метнером, что у нас вышел *Блок*; вчера читал вслух «*Стихи о Прекрасной Даме*»; опять, и опять, и опять радовался, что *такие стихи* есть в русской литературе: и *вот что главное: ничто не угасло* из того, *о чем* стихи; все только перенесено в другую плоскость; все ревниво оберегается молчанием, но оно *есть* в сердцах...

Милый друг, нам ли удивляться срывам; Ты пишешь, что на Страстной все сорвалось у Тебя... Вся Россия идет от *срыва* к *срыву*, все только срывается; но то, что срывается, и то, *где* срывается, есть все та же действительность («*современность*»), которой Ты хочешь сказать свое «*нет*». Пусть срывается; пусть даже во все стороны рассыпаются осколки человеческих душ; мы, усталые, кошмарные, слабые, оказавшиеся в безумии своем крепче здоровых и крепких, и все же уцелевшие, полюбившие Россию, — мы *тоже* люди духовные. Душа наша погибала не раз, и бездушные марионетки, мы, корячились на «*площадях, в переулках, в извивах*»[8]; потом мы бегали в кинематограф, подозрительно озираясь на всех, себе подобных. И все-таки за бездушным обликом нашим стоял *Дух*; душу свою мы в срывах не сберегли, но как знать, — *Дух* угасили ли? И если всё еще мы есмы — живем, утверждаем, болеем за родину нашу и любим — то Дух не угас в нас. Как знать, не калится ли пламенней он в пепле душевном. И не пора ли относиться к каждому новому срыву как к новой единице, прибавляемой к общей сумме... Много было у меня срывов, и я устал от них; я устал даже им верить, и тогда вдруг в глубине души мо<е>й ощутил я *Духа* (смотри пред<исловие> к *Урне*[9]); и робкая улыбка зари, и новое верное счастье улыбнулось мне жизнью;

и я понял, что душа моя умирала иллюзорной смертью (См. *Пепел, Панихиду*[10]). И опять и опять старое...

«Все, кружась, исчезает во мгле...
Неподвижно лишь Солнце любви...»[11]

Пусть же носятся мглистые вихри; оставь их, сожмись, уйди в себя; пусть меркнет свет вокруг, Ты закрой лишь глаза. И *Свет Духа*, свой собственный свет, прикосновеньем к все новым ранам, опять и опять, и опять будет Тебя исцелять... Пусть даже Ты переживаешь *срыв*, Ты скажи себе только: «*В который раз*»...

Я не имею под руками сейчас *Арабесок*. Конечно, осенью пришлю их Тебе[12]. Ты не сердись, что в *старом архиве «Дневник публициста»* перепечатана *старая истерика*[13]; при личном свиданьи объясню Тебе, как все это произошло. Мне только больно, что о Тебе там лишь в тенях...[14] *О другом* в Твоей поэзии собираюсь написать иначе...

Итак, жду ответа... Надеюсь, что, быть может, еще и летом свидимся. Крепко жму руку, старинный, старинный друг.

Христос с Тобой.

Борис Бугаев

P. S. Как здоровье? С чего это у Тебя цынга?.. Разве Ты плавал к сев<ерному> полюсу?

P. P. S. Тебя приглашает София Николаевна Кампиони (Асина мать).

Адрес. Луцк (Волынской губ.). Лесничему Владимиру Константиновичу Кампиони для меня.

<Приписка А. А. Тургеневой:>

Приехав в Луцк, надо нанять извозчика в Боголюбы к *лесничему* (там знают).

Приехав в Луцк, надо дать телеграмму. Выедут встречать. *А.*

Боюсь, что Боря недостаточно предупредил вас о всевозможных неудобствах, которые вас тут встретят, как то — плохая комната, беспорядок, собаки и т. д. Если вы всего этого не боитесь, будем рады. *Ася Тургенева.*

<Текст Белого:>

У нас хорошо: живем на опушке леса; лес большой, коряжистый; есть в окрестностях *вепри, серны* и барсуки; на полях — аисты; из окон — большое поле с закатом. Приезжай.

Б.

---

[1] Ответ на п. 246 и 249. Датируется по связи с п. 251. Помета Блока химическим карандашом: «Июнь 1911».

[2] Эллис стал приверженцем теософии Р. Штейнера в 1910 г., осенью 1911 г. отбыл из Москвы за границу с целью пройти путь «ученичества» у Штейнера. Подробнее см.: Виллих Хайде. Эллис и Штейнер // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 182—191; Виллих Хайде. Л. Л. Кобылинский-Эллис и антропософское учение Рудольфа Штейнера (К постановке пробле-

мы) // Серебряный век русской литературы. Проблемы. Документы. М., 1996. С. 134—146; Rizzi Daniela. Эллис и Штейнер // Europa Orientalis. 1995. Vol. 14: 2. P. 281—294; Нефедьев Г. В. Русский символизм: от спиритизма к антропософии. Два документа к биографии Эллиса // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 119—140.

3 Белый подразумевает свой союз с А. Тургеневой.

4 Замысел такого издания (альтернативного замыслу более широкого по кругу участников журнального предприятия, вынашивавшемуся Вл. Пястом) предложил Вяч. Иванов в письме к Блоку от 20 января 1911 г.: «...давайте издавать Дневник трех поэтов, в котором мы на первом месте заявим, что пишем вместе, под одним заголовком, потому что просто так хотим, но не стремимся ни к единогласию, ни даже к гармонии трех безусловно не зависящих один от другого отделов, — не боимся даже и тройных повторений одной мысли, если таковые случатся, одним словом — *не читаем друг друга*, и все это потому, что знаем, что жили и живем *об одном*. Трое, конечно, — Вы, Андрей Белый и я. Можем как-нибудь сложиться что ли... или же, быть может, издание возьмет на себя «Мусагет». Ведь «Мусагет» и я давно, как Вы знаете, подумывали о периодическом издании совсем иного, чем обычно бывает, порядка» (Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1982. Т. 41. № 2. С. 173—174. Публикация Н. В. Котрелева). 21 января 1911 г. Блок, излагая в письме к матери замысел «дневника трех писателей», отмечал: «Этот последний план всех заманчивей, конечно» (*Письма к родным, II*. С. 113). В изначально задуманном виде этот замысел не осуществился, однако с 1912 г. в «Мусагете» стал выходить журнал «Труды и Дни», в котором предполагалось ближайшее участие Белого, Блока и Иванова.

5 В письме к Э. К. Метнеру от 24 мая 1911 г., приглашая его приехать в Боголюбы, Белый делился и своими планами относительно Блока: «Хотите встретиться с Блоком? Мы замышляем похитить Блока из Шахматова. Вот было бы хорошо пожить вместе в Боголюбах; кстати, многое о *Мусагете*. Можно бы поговорить, хотя бы о дневнике поэтов <...>» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 383).

6 Белый и А. Тургенева прожили в Михайловском, имении М. К. Морозовой в Калужской губернии, две недели в конце августа —начале сентября 1911 года.

7 Экземпляр книги Блока «Собрание стихотворений. Кн. 1. Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1911), подаренный Белому, хранится в Гос. Литературном музее; надпись: «Андрею Белому в залог нерасторжимой связи *Александр Блок*. Май 1911. СПБ» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 35).

8 Обыгрывается 1-я строка стихотворения Блока «В кабаках, в переулках, в извивах...» (декабрь 1904 г.).

9 Ср.: «...живое “я” пробуждается во мне к истинному. Еще “Золото в лазури” далеко от меня... в будущем. Закатная лазурь запятнана прахом и дымом <...>. К утру, быть может, лазурь очистится...» (Андрей Белый. Урна. Стихотворения. М., 1909. С. 11—12).

10 См. примеч. 6 к п. 226.

11 Заключительные строки стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

12 «Арабески. Книга статей» (М., «Мусагет», 1911) Андрея Белого вышла в свет в начале марта 1911 г. Экземпляр книги (высланный Блоку А. М. Кожебаткиным; см. письмо Блока к нему от 16 марта 1911 г. // Советская Украина. 1961. № 8. С. 176) с немногочисленными пометами Блока сохранился в его библиотеке (*Библиотека Блока, I*. С. 31).

13 Речь идет о разделе «Литературный дневник» в «Арабесках»; в нем объединены статьи и фельетоны 1906—1909 гг., в том числе и те, которые были продиктованы пафосом внутрисимволистской полемики и направлены против «петербургских» модернистов. В предисловии к «Арабескам» (Тунис, январь 1911 г.) Белый писал о своем несогласии с «полемическим пылом» некоторых прежних выступлений и просил литераторов, подвергшихся его критике, «не обижаться на то, что иные статьи» помещены «в той резкой форме, в какой они некогда были написаны» (Андрей Белый. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. М., 1994. Т. II. С. 7—8).

14 В «Арабесках» были перепечатаны рецензии Белого на «Нечаянную Радость» и «Лирические драмы» Блока (см. п. 175, примеч. 2, 3, примеч. 3 к п. 209).

251. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<1 июня 1911. Боголюбы>[1]

Милый Саша,

Я Тебе написал большое письмо[2], и отправил заказным; но в Луцке сказали, что заказная корреспонденция отправляется с Подсолнечной[3] на *почтовую станцию.* Пока пишу об этом. Содержание письма повторю, на днях... Будь здоров и счастлив.

Любящий Тебя Б. Бугаев

---

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Почтовый штемпель получения: Подсолнечная. 4.6.11. Помета Блока красным карандашом: «VI. 1911».

[2] Имеется в виду п. 250.

[3] Станция на Николаевской железной дороге, ближайшая от Шахматова (17 верст).

---

252. БЛОК – БЕЛОМУ

6 июня 1911. Шахматово[1]

Милый Боря.

Я получил Твое большое письмо, только не успеваю Тебе ответить. Во-первых — большое спасибо за приглашение обоим Вам; но не могу приехать: во-первых — еду очень скоро за границу, во-вторых — не через Гра́ницу, а через Стокгольм[2]. И сейчас — я совсем не здесь, а уже *там*, и там надеюсь утвердиться в том, что зреет во мне. Очень, очень многое изменилось во мне (во внутренней жизни, во внешней перемен нет, и я не хочу их). Между тем, я чувствую, что мы с Тобой друг друга очень давно не видали как следует; что наши так странно сходные во многом и радикально несходные в ме́ньшем, но тоже существенном, жизни — должны встретиться *как-то* по-особому, совсем не так, как встречались даже в прошлом году в Москве (не говоря уже о прежнем). Вы вдвоем теперь; и это опять знаменует, что мы должны встретиться *совсем, совсем* по-новому. Передай, пожалуйста, Асе Тургеневой, что я радуюсь тому, что она мне пишет, и что Ты пишешь о Вашем отношении ко мне; ведь всем нам необходимо знать друг друга не только вместе, но и каждому каждого. И тут я боюсь всегда, что другие (родные) могут помешать; Ты прекрасно знаешь, как это бывает при самых лучших отношениях. Вот почему еще я боюсь к Вам теперь приехать; а совсем не от «плохой комнаты, собаки» и проч.

Милый друг, между нами стояли и наши матери, и бесконечные друзья и враги, не говоря о самом важном; и все это еще тогда, когда мы оба по-разному, но и чудесно сходно, были так далеки от «воплощения» или «вочеловечения»; когда мы оба вступали в ночную глушь, неизбежную для увидевших когда-то слишком яркий

свет. Можно сказать, что человеческого почти и не было между нами; было или нечеловечески несказанное, или не по-людски ужасное, страшное, иногда — уродливое. Теперь все меняется для нас обоих (опять-таки), мы выходим из ночи, проблуждав по лесам и дебрям долгие годы; по разным дебрям — и по-разному выходим; долгие годы не слышали голоса друг друга, а если и доносился иногда голос, то лесные дебри преломляли его, делали иным. Все это я чувствую за плечами, точно прожито сто лет; но для меня это были годы, умерщвляющие душу, но освежающие дух, и я их всегда благословлю. Верно — и ты. *Сходились* не почеловечески, *сходно* переживали этот долгий и страшный поединок души и духа, *сходно* окончившийся (частичным) поражением души; должны выйти из ночи — *чудесно разные,* как подобает *человеку.* Сходствует несказанное или страшное, безликое, но человеческие лица различны. Сходны бывают «счастливцы» («счастливчики»), осужденные *не* воплотиться, носясь по океану удач и легких побед. Воплощенный — всегда «несчастливец», лик человека — строгий и сумрачный (Вольфинг) — «нуждой и горем вдаль гонимый»[3].

Думаю, что Ты согласен со всем этим; пишу Тебе, потому что думаю об этом давно.

Не думай, что я могу сердиться на полемику, перепечат<анную> в «Арабесках» (я их получил от Кожебаткина). Во-первых — я почти под всем, что обо мне тогдашнем (полемического), подписываюсь; единственно, что мне необходимо ответить Тебе, как самому проникновенному *критику* моих писаний, — это то, что таков мой *путь,* что теперь, когда он пройден, я твердо уверен, что это должное и что все стихи вместе — «*трилогия вочеловечения*»[4] (от мгновения слишком яркого света — через необходимый болотистый лес * — к отчаянью, проклятиям, «возмездию» и... — к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру[5], получившего право изучать формы, сдержанно испытывать годный и негодный матерьял, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души). Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда, неопытным юношей, задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя. Потому отныне *я*** *не лирик.* Кстати: получил «Антологию» «Мусагета»: *зачем она*? Время альманахов прошло; я думаю, что это — лишняя книга[6]. *Талантливое* движение, называемое «новым искусством», кончилось; т. е. маленькие речки, пополнив древнее и вечное русло, чем могли, влились в него. Теперь уже есть только хорошее и плохое, искусство и не искусство. Потому, я думаю, и «смотров» довольно (Ты говорил, что антология Мусагета есть смотр). И зачем вдруг — Потемкин, или Л. Столица? Это уж какая-то нестроевая рота. — Отчего Рубанович второго сорта, когда у нас есть Рубанович лучшего сорта (по имени Мандельштам)[7]? Таких замечаний я бы сделал много, но, по-моему, главное — вся книга лишняя и совсем не Мусагетская.

Ты пишешь о журнале (*не поэтов* отнюдь, а писателей!). Это — инициатива Вячеслава — конечно; мы столько говорили об этом в последние месяцы (притом, о журналах не одного, а трех уже типов), что в письме не изложить и, конечно, надо говорить об этом лично. В частности, я не уверен в необходимости журнала, состоящего из нас троих. Все еще так висит в воздухе, так во многом нужно сговориться.

---

* «Нечаянная Радость» — книга, которую я, за немногими исключениями, терпеть не могу. (*Примечание Блока.*)

** Подчеркнуто дважды.

Еще хочу сказать Тебе в ответ на Твои слова о «Мусагете», что у меня с ним связано всегда некоторое беспокойство, которое я не умею преодолеть: *я боюсь Эллиса*, что-то в нем чужое — ужасное, когда не милое, и *только милое*, когда я его увижу и он повернет ко мне одно из своих многих лиц. Глубоко уважаю, ценю и чувствую тайную нежность к Э. К. Метнеру (*Вольфинг*) — и дичусь его. Сережа — он, конечно, «не у дел». К Сереже особенное отношение, но совсем не связанное с «Мусагетом»: милый Сережа, блестящий человек, будущий ученый филолог, брат по духу и по крови, великолепный патриарх, продолжатель рода (а я истребитель), и т. д.

Ну, кончаю письмо — все еще недоговоренное, по обыкновению.

Спасибо Асе Тургеневой и Тебе за приглашение и Софии Николаевне Кампиони за гостеприимство. Крепко Тебя целую и люблю.

Твой Ал. Блок

Отсюда уеду, вероятно, в 20-х числах июня. Мож<ет> быть, побываю в Москве. Может быть, успеешь написать еще сюда, или в Петербург (М<алая> Монетная 9, кв. 27) — до 1 июля?

---

1 Ответ на п. 250.

2 Блок выехал за границу 5 июля 1911 г. через Вержболово — Эйдкунен. Замысел путешествия через Стокгольм не осуществился. 3/16 июня 1911 г. Блок сообщал жене: «Боря написал длинное письмо из Луцка о Мусагетских делах — с настоятельным приглашением приехать к ним (и от Аси). Они живут у Асиной матери. Мне это трудно теперь, я не поеду» (Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 261).

3 Источник цитаты установить не удалось.

4 Ср. развитие той же мысли в авторском предисловии к «Собранию стихотворений» (9 января 1911 г.): «...каждая книга есть часть *трилогии*; всю трилогию я могу назвать “романом в стихах”: она посвящена одному кругу чувств и мыслей, которому я был предан в течение первых двенадцати лет сознательной жизни» (ПСС I, 179).

5 Эта тема развивается в Прологе к поэме «Возмездие», написанном в начале марта 1911 г. (ПСС V, 387).

6 Ср. запись Блока от 4 июня 1911 г. об альманахе «Антология» (М., «Мусагет», 1911): «Альманах “Мусагета” — *никуда не нужная* книга. “Стихи в большом количестве — вещь невыносимая”, — очень справедливо. Надоели все стихи — и свои» (ЗК, 182).

7 Ко времени написания письма в «Аполлоне» были опубликованы две подборки стихотворений О. Э. Мандельштама — всего 10 поэтических текстов (1910. № 9. Отд. III. С. 5—7; 1911. № 5. С. 32—34).

---

253. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Середина июня 1911. Боголюбы>[1]

Дорогой Саша,

получил на днях Твое письмо, долго вчитывался; несколько мест поразили меня близостью к тому, что переживал я. Сначала отмечу места близости. «*От слиш-*

ком яркого света через необходимо болотистый лес... к рождению человека общественного»...

Два года тому назад (в 1909-ом году), после ужасов *05, 06, 07 и 08 года*, после непрерывного умирания 6, 7 и 8-го годов, только в 1909-ом году я почувствовал, что *максимум смертности* уже за плечами и что то, что, как надежда, брезжит (надежда не на *слишком яркий свет*, а на окончание чудовищно ужасного), уже тем самым смягчала жгучесть переживаемого *все еще* ужаса. И вот тогда-то я сразу понял неизбежность того, что было. Что же было? Несколько одиноких путников въехали на холм; и на холме встретились: позади их местность равнинная, прихлопнутая войлоком туч (чеховщины), грозносинеющих у холма (Ибсен, декадентство, кошмаризм). В эту зону декадентства вступил я в 1897 году, и свет блеснул с холма в 1900 году. *Северная Симфония* отметила холм: «Мчался вперед безумный кентавр (на холм), крича, что вдали он увидел розовое небо, что оттуда виден рассвет»[2]. На холме встретил меня Вл. Соловьев, а потом раздались тревожные, жгуче близкие *Твои песни*, сливаясь с 2-ой симфонией. Кучкой людей, вместе глядящих на зорю, были мы: «*Возвращается... Опять возвращается: невозможное, грустное, милое, старое и новое во все времена*» (2-ая Симф<ония>[3]). «*Предчувствую Тебя*» (Ст<ихи> о Пр<екрасной> Даме)[4].

Мы не увидели, что по ту сторону был лес; тропинки с холма расходились, затериваясь в глуши; идя навстречу *заре*, мы удивились, что завеса заколдованного леса, вырастая, заслонила зорю. Мы обернулись друг к другу: между нами стояли стволы; между стволами мелькали *оборотни*. Мы думали, что мы уже провозвестники Света, и что за плечами одержанная победа; а *Свет* был лишь приглашением к будущему испытанию; мы себя вообразили *уже рыцарями*, а *рыцарство* должно увенчать в будущем наш тернистый путь.

Так я себе сказал. И это было началом *отрезвления*. С этого периода я понял, что *Пепел* мой уже за плечами, что он то, что для Тебя «Нечаянная Радость», а «*Четвертая Симфония*» во мне адекватна Твоим драмам. Тогда же в предисловии к «*Урне*» я это высказал, но высказал опять-таки в наивно глупой форме[5].

За *Пеплом* меня встретило *общественное:* проблема Востока и Запада, Серебряный Голубь, или, вернее, *Оловянный Голубь* химер, наваждения над Россией: я нашел бодрость в том, что судьба моя, нечеловечески гадкое 1906—1908 года, есть отражение наваждения над всей Россией: «*злое око, Россию ненавидящее*»[6] (посылающее и монголов, и евреев). То, в чем я сорвался, я назвал *впадением в монгольство. Вдохновение* от зари подменил я шаманством. Любовь к дали и подвигу подменил «*заколдованной, темной любовью*» — наваждением.

«Только скоро ль погаснут огни
Заколдованной, темной любви?»[7]

Но когда я понял, что заколдованный круг образовался от *медиумизма всех нас,* и что *главный виноватый — «злое око, Россию ненавидящее»*, чары смертного сна стали тихо спадать.

Я услышал вновь и «*Голос Безмолвия*»[8], и твердую руку, пожавшую *мою* со словом: «*Мужайтесь*», и заря личного счастья вернулась (встреча с Асей) тогда, когда всем существом своим подлинно от *себя* я готов был отречься.

Последние два года, 1910—1911. Я уже еду с предчувствием, что лес редеет (пролеты между дерев, после гущины издали брезжит заря), а *главное — шум моря спереди* (верный знак окончания леса).

Это море я слышал и два года тому назад: я себе сказал: «Будет берег моря, будет отдых на берегу», чтобы потом началось плавание.

Корабль, команда, ответственность, разность функций на корабле (тот — рулевой, этот — кочегар) — разность индивидуальности плывущих, — все это будущее преднеслось мне с чувством уже зачисленности в число мне неизвестных матросов будущего (и сейчас не знаю, кто они): еще вокруг остатки леса, еще моря не видно (только шум приближается), а уже знаю, что команда корабля (мне за лесом невидные путники) *есть*.

Не хочу упреждать событий, но жду, верю в *миссию,* в *твердую*, нужную работу.

В Твоей прошлогодней статье[9] расслышал в Тебе себя — написал. Вот основания нашей все еще *будущей встрече*: при всей разности нас, при разных функциях, которые мы будем нести на будущем корабле, мы встретимся, если верно то, чем обмениваемся мы в письмах; основания моей веры — вот они: оба мы видели свет с холма, оба ехали тем же лесом; море, к которому сбегает лес, — одно; берега его пустынны; здесь нет городов. *Нет и кораблей*: корабль, высланный к пустынному берегу, куда немногие попадают (большинство даже еще не в лесу, а на холме перед лесом, либо в зоне моих 1896—1900 годов, в зоне декадентства). Многие бывшие спутники заплутались в лесу, иные погибли; немногие оставшиеся выйдут к берегу: следовательно, они останутся либо между морем и лесом, либо — поплывут на корабле, где неожиданно встретятся: желание нести ответственность, чувство общественного долга, родина — вот условие стремления к кораблю.

Еще до письма к Тебе, в эпоху 1910 года, мы с Вячеславом[10] говорили о далеком будущем, когда мы вновь неожиданно встретимся.

И встретимся...

Ты понимаешь теперь, почему слова Твои о *свете* и *болоте*, о человеке, задумывающемся над контурами добра и зла, мне близки.

Мусагет еще не дело; *журнал* не дело; все это *символы* ознакомления друг с другом для... быть может, уже не далекого. Когда люди впервые знакомятся, они говорят пустяки; но за пустяками встает нечто; я хочу вновь знакомства, и один из *символов* ознакомления — *встреча* в литературе. Но за всем тем еще какая-то проблема.

Читаю «*Войну и Мир*», и мне ясно: 1912, 1913, 1914-ые годы еще впереди. Мы живем в эпоху Аустерлица[11]; и поступь грядущих вторжений видимых (монголы, евреи), невидимых осознаем одинаково («Куликово Поле»[12]).

Мы оба любим Россию...

Герои «*Войны и Мира*» сначала танцевали в зале у Ростовых, потом вызывали друг друга на дуэли, но... *все сошлись* на полях сражений. *Все были под одним Бородином.*

Так и мы.

Может быть, действительная наша встреча еще далека, но даже сознание возможности этой грядущей встречи есть уже начало всяких малых встреч, отрешенных от психологии.

Еще раз повторю: я встречаюсь с людьми теперь только воодушевленный одним сознанием: нужно, чтобы уделы русские положили оружие: скрип повозок татарских уже слышен, а удельные князья *еще* ссорятся.

Да не будет Калки![13]

Я знаю, что тут, в этом сознании, Ты — брат мне (по какому-то), как брат мне и Вячеслав; то же, что связывает нас всех, не может разбиться; если бы могло разбиться, то *уже* разбилось бы; факт, что мы говорим о том, о чем говорим, после *всего бывшего*, показывает, что *после всего бывшего* основания возможной связи — не литература, не психология, еще менее симпатия или антипатия к друг другу...

Пока и *этого сознания достаточно.*

Жалею, что нам не суждено встретиться теперь. Ты не совсем прав, когда пишешь, хорошо ли бы было, если бы мы встретились бы в *Боголюбах*; все условия здесь подходящи; нет психологии, люди здесь живут каждый в своем углу, не мешая друг другу. *Стадности, разговоров, умностей* нет никаких.

Ты был бы предоставлен самому себе...

Мне хотелось бы, чтобы Ты узнал Асю, мою жену, ближе, и Наташу, ее сестру...

Ну, желаю Тебе всего лучшего. Пиши мне с линии Твоего пути. Как знать, может быть, мне придется Тебе писать много и долго. Я не знаю чисел и сроков, но теперь времена важные, и поэтому, например, мне страшно потерять Твой след этой осенью. Может быть, встретимся осенью. Я до 9-го августа здесь[14]; потом адрес — «*Мусагет*».

Остаюсь искренне любящий и близко чувствующий Тебя

Борис Бугаев

---

1 Ответ на п. 252. Датируется по связи с ним. Помета Блока химическим карандашом: «Июнь 1911».

2 Неточная цитата. См.: Андрей Белый. Северная симфония (1-я, героическая). М., 1904. С. 13; *Симфонии*. С. 38.

3 Неточные цитаты. См.: Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., <1902>. С. 141, 221; *Симфонии*. С. 133, 175.

4 Начало 1-й строки стихотворения Блока 1901 г.

5 См. примеч. 2 к п. 225, примеч. 9 к п. 250.

6 Источник выражения не установлен.

7 Заключительные строки стихотворения Блока «Одинокий, к тебе прихожу...» (1901).

8 См. примеч. 8 к п. 191.

9 Имеется в виду статья «О современном состоянии русского символизма» (см. п. 220, примеч. 2),

10 В 1910 г. Белый жил в Петербурге на квартире Вяч. Иванова с конца января по первую декаду марта.

11 Белый имеет в виду сокрушительное поражение, нанесенное российской и австрийской армиям армией Наполеона в сражении под Аустерлицем в 1805 г. (подробно описанном в 1-м томе «Войны и мира» Л. Толстого).

[12] Подразумевается цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Об оккультных «угрозах», которые в ту пору связывались в сознании Белого с семитским началом, см.: Безродный М. О «юдобоязни» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1997. № 28. С. 100—125.

[13] Калка — река, на которой 31 мая 1223 г. произошло сражение русских и половецких войск с монгольским войском; русские и половецкие войска потерпели поражение.

[14] Белый и А. Тургенева возвратились в Москву 8 августа.

---

254. БЛОК – БЕЛОМУ

26 июня 1911. Шахматово[1]

Милый Боря, благодарю Тебя за письмо, ясно и отчетливо слышу Твой голос: да, мы еще под Аустерлицом и знаем пока много «несчастных Маков»[2]. Да — да не будет Калки.

Сегодня уехал отсюда Сережа, которого я очень рад был видеть и который привез с собой все прекрасное, что в нем есть[3].

На днях уезжаю в Петербург[4] и за границу. Крепко целую Тебя.

Твой Ал. Блок

---

[1] Ответ на п. 253.

[2] Имеются в виду слова австрийского генерала Карла Мака, потерпевшего поражение под Аустерлицем, в романе Толстого («Война и мир», т. I, ч. II, гл. 3): «Vous voyez le malheureux Mack» («Вы видите несчастного Мака»).

[3] С. Соловьев приехал в Шахматово 25 июня; 24 июня он писал Белому из Дедова: «Завтра я еду в Шахматово. Не знаю, застану ли Блока. Он мне очень нравится. Примирение с ним для меня воистину “Нечаянная радость”. Только теперь я понял, как гибелен был раздор с Шахматовым, как безбожен» (РГБ. Ф. 25. Карт. 26. Ед. хр. 10). 30 июня Блок сообщал жене: «В Шахм<атове> провел день Сережа — было очень хорошо» (Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 268). Соловьев описал этот визит в «Воспоминаниях об Александре Блоке» (Письма Александра Блока. Л., 1925. С. 35—37).

[4] Блок приехал в Петербург из Шахматова 30 июня (см.: *Письма к родным, II.* С. 142).

---

255. БЛОК – БЕЛОМУ

<22 июля / 4 августа 1911. Аберврак>[1]

Милый Боря, скучаю и купаюсь в море в этой деревушке, на севере Бретани. Целую Тебя, привет Анне Алексеевне. На днях еду в Quimper и Париж[2].

Твой А. Б.

---

[1] Открытка с видом Аберврака. Датируется по почтовому штемпелю. В Аберврахе Блок с женой поселился 22 июля (н. ст.) 1911 г. (см.: VIII, 353).

[2] В Кемпер Блоки приехали 15 августа (н. ст.), в Париж — 27 августа (см.: *Письма к родным, II.* С. 162, 171).

---

256. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<28 или 29 сентября 1911. Москва>[1]

Милый Саша,

пишу Тебе после долгого и вынужденного молчания. Уже с месяц, как у меня к Тебе для меня — *важное дело*, но все не знал Твоего точного адреса[2] и откладывал письмо.

Живу я по следующему адресу. Павелецкая ж. д. Станция Расторгуево. Видное. Дача А. Н. Депре. Мне[3]. Бываю я раз в неделю в Москве, приурочивая все дела к этому дню. Другой мой адрес — Мусагет.

Я более не могу жить в городе. Городская беспочвенность, суета и праздные разговоры, разводящие микробы истерики, несовместимы с отдыхом и напряженной умственной работой. Умирать не собираюсь, оттого и поселились мы с Асей в деревне. Сейчас золотые листья и ранний снег. Тишина. С ужасом совершаю мои паломничества в Москву, где меня ждет бездна дел самого разнообразного содержания. Мой ответ Тебе замедлился именно благодаря моему отсутствию из Москвы.

Ввиду экономии времени пишу Тебе только *деловое* письмо о предполагаемых нами *хрониках*; все же личное, интимное, даже все мотивирующее мою просьбу к Тебе, я откладываю до письма из деревни. Здесь, в городе, все слова сухи, все часы разобраны.

Мысль о *хрониках* у меня возникла в Африке. В Каире узнал о Вашем плане «*Дневник Поэтов*»[4]. Ввиду молчания Вячеслава, Твоего отсутствия из России, а также ввиду необходимости сейчас же приступить к организации, я взял на себя инициативу того, что сейчас сложилось в «*Труды и дни*» (подраз<умеваю> наши). Начну с формы:

Труды и дни Мусагета (выходят 6—7 раз в году с подпиской), № — 4 печатных листа (40 000 букв).

I отдел

Логос, Орфей, Мусагет[5] в сжатых, лаконических, застегнутых статьях (в этом смысле аполлиничных) платформируют свое отношение к арийской *культуре, символизму* и друг к другу. 1) К *культуре* (что есть *культура* для совр<еменной> философии, искусства, мистики), 2) Что есть *символизм*. В чем *вяжущее* единство

нашей будто бы разноголосой, а на самом деле *кровно* спаянной триады — *Логос* (философия), *Мусагет* (символизм), *Орфей* (мистика). Форма статей — сухие, неразведенные водой духи; размер от 7 до 10, 12 страниц формата «*Весов*»; заглавия — какое угодно, содержание: Культура и символизм, К<ульту>ра и философия, К<ультура> и искусство, К<ультура> и мистика, К<ультура> и проблема Востока и Запада, К<ультура> и Греция, К<ультура> и Россия, К<ультура> и Индия, К<ультура> и Италия, все переложения и сочетания из К<ультуры>, символизма, мистики, религии, эстетики, философии. *Не необходимо*, чтобы тема была *общая*. Например, если взять Пушкина, Врубеля, Ницше, Вагнера, Соловьева и кого бы то ни было и орьентировать в культуре, философии, эстетике и т. д., то можно. Твои статьи были бы *очень, очень, очень и очень желанны*. Более того, я смотрю на Тебя и на Вячеслава как на *отсутствующих в Москве* руководителей «*Трудов и дней Мусагета*». Не рассчитывая на ближайшее Ваше участие, мы бы и не предприняли хроник.

2-ой отдел

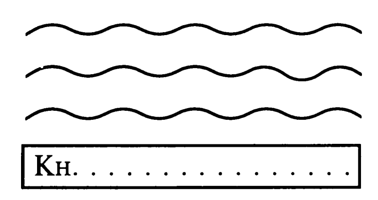
Второй отдел прямо погибнет без Тебя и Вячеслава, ибо в нем вся соль и сила. Если первый отдел *жест в сторону всех*, парламентская декларация со стиснутыми зубами о том, что осозналось в итоге переживания и страдания *лет*, то второй отдел воистину суть самые эти переживания. Если в первом отделе Логос, Мусагет, Орфей в *тоге* Аполлона, то второй отдел есть Дионис этого Аполлона, прекрасный хаос, питающий логизирующую форму первого. Это воистину как бы «*Дневник поэтов*» и ближайших друзей поэтов; под поэтами этого отдела мы прежде всего разумеем: «*Тебя, Вячеслава, меня*»; но если Брюсов дает нам свою лирику «*Miscellanea*», то мы *не отказываемся*[6].

В этом отделе вижу лирические статьи à la твоей о «*Символизме*»[7], напечатанной в Аполлоне, верней не статьи, а признания. Вижу наброски мыслей, страницы, вырванные из дневника Твоего, Вячеславова, вижу афоризмы. Предела интимности не вижу для некоторых мест этого отдела. Допускаю даже в принципе напечатание отрывков из писем, которыми мы обменивались и обмениваемся о предметах важных (кстати, за неимением пока Тебя в первом №, не разрешишь ли *напечатать какой-либо фрагмент из Твоих писем мне*, разумеется, касающийся не наших отношений, а предмета искусства, литературы, мистики? Жду ответа: фрагмент будет Тебе, конечно, предварительно послан для одобрения). Будет в этом отделе подотдел: «*О чем говорят*» (под иным названием)[8]. Тут будут представлены в диалогической форме схемы споров и бесед на темы нам дорогие (в принципе было бы желательно схемы бесед у Тебя в доме, на башне[9], в Мусагете, Пути).

Без Тебя тут мы погибнем, ибо самая форма этого отдела есть форма для того, чтобы *Ты, Вячеслав, Я* ее создали, как наиболее в ней заинтересованные.

3 отдел

Если первый отдел Аполлон, второй — Дионис, то третий — хитрый Гермес, просовывающий свой палец в книжное дело. Ты читаешь книги: три, четыре книги совершенно *особенно* поразили Тебя: *то, чем поразили,* Ты делаешь стержнем обзора, а книги лишь рекомендация Твоя. Трафарет мы взяли у издательства Дидерихс; идет статья:



вдруг разорванная обведенным рамкой аннонсом о вышедшей книге[10].

Призываю Тебя, ради Бога, смотреть на «*Труды и дни*», как на свое дело. Трафарет мы были вынуждены выработать для сравнительно *внешних* нашему делу. Главная задача — дать пластическую гибкость для высказывания Тебя, Вячеслава, Меня. Мотивацию всего этого предприятия изложу на днях. Теперь же прошу Тебя, милый, писать нам — хоть по пяти страниц (право, не трудно, если не думать о *форме*, содержании). Каждое одно лишнее написанное искреннее письмо без обращения «*Дорогой... и остаюсь и т. д.*» — вот уже статья, фрагмент, афоризм нам. «*Труды и Дни*» не журнал, а *хроника pro domo sua*. Первый номер выходит в ноябре[11]. Желательно иметь к тому времени материал на 3—4 №.

Пока (условно) содержание первого «№»:*

1 отдел

Три предварительных статьи обещаний:

О Мусагете Метнера,
О Логосе Степпуна,
Об Орфее В. Иванова[12].

Желательна сюда еще одна небольшая статья *платформирующая*, но не от трех лиц Троицы (М<усагет>, Л<огос>, О<рфей>). Вот бы Ты написал!

2 отдел

Философия тосканского пейзажа (лирика) Степпуна,
Нечто о мистике моя,
Miscellanea Брюсова.
Диалоги: 1) О двойной истине,
2) о метафизике[13].
(нехватает Тебя! Ждем.)

3 отдел

Обзор К<нигоиздательст>ва «*Мусагет*» (мотивы издания нами изданных и предполагаемых книг)[14].

Я отношусь пока горячо к предприятию под условием деятельного отношения Твоего и Вячеславова. Деятельность Вашего отношения мы предполагаем потому, что хотим у себя для Вас создать место: то, что Ты не понес бы в *прессу*, Ты понес бы к нам.

Милый, милый, на днях пишу лично Тебе. А пока — только рассказываю детальный план издания. Жду всяких рукописей[15].

Остаюсь искренне любящий

Б. Бугаев

P. S. Я ручаюсь, что каждая строка *Твоя* и *Вячеслава* будет напечатана.

---

* Весь материал имеется в портфеле редакции. (*Примечание Белого*).

[1] Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «30 сент. 1911».

[2] По возвращении из-за границы в Петербург (7 сентября ст. ст.) Блок жил в Петербурге по прежнему адресу: Малая Монетная ул., д. 9, кв. 27.

[3] Белый и А. Тургенева поселились по указанному адресу в конце сентября и прожили там до середины ноября 1911 г. См.: *Между двух революций*. С. 433, 436.

[4] См. п. 250, примеч. 4.

[5] Подразумеваются три издательские линии с соответствующими издательскими марками, по которым распределялась книжная продукция «Мусагета»: «Логос» — издание «международного ежегодника по философии культуры», посвященное специальным теоретико-философским вопросам; «Орфей» — издание произведений мистического, оккультного характера; собственно «Мусагет» — синтезирующая символистская, культурологическая, религиозно-философская линия.

[6] Ср. сообщение в письме Белого к Э. К. Метнеру от 12 сентября 1911 г.: «В. Я. Брюсов очень горячо присоединился к проекту; в "*Дневник*" предоставляет какой угодно материал из приготовленной к печати книги (которую издаст еще только через год); книга будет называться "*Miscellanea*"; содержание ее — фрагменты. Просит черпать оттуда хоть для каждого выпуска страничек на 5—10» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 48. «Дневник» — одно из обозначений будущих «Трудов и Дней»). «Miscellanea» Брюсова в «Трудах и днях» не появились; позже цикл его заметок под таким обозначением был напечатан в альманахе «Эпоха» (Кн. 1. М., <1918>. С. 211—232; Кн. 2. М., <1919>. С. 111—117).

[7] Подразумевается статья «О современном состоянии русского символизма».

[8] Именно такое заглавие получила одна из рубрик в «Трудах и Днях».

[9] Т. е. в петербургской квартире Вяч. Иванова на верхнем этаже дома на углу Таврической и Тверской улиц («башня»).

[10] Такая форма подачи материала в «Трудах и Днях» не была использована.

[11] Первая книжка «Трудов и Дней» вышла в свет лишь в середине марта 1912 г. Краткую характеристику этого издания см. в статье А. В. Лаврова «Труды и дни» (в кн.: Русская литература и журналистика начала XX века. 1905—1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 191—211).

[12] Раздел «Орфей» в № 1 «Трудов и Дней» был написан Вяч. Ивановым и Белым.

[13] Ни одно из произведений, намеченных к опубликованию в составе этого отдела, в № 1 «Трудов и Дней» не появилось. В № 2 «Трудов и Дней» (1912) были напечатаны статьи «К феноменологии ландшафта» Ф. Степпуна, «Нечто о мистике» Белого и «О двойной истине» Белого (под псевдонимом Cunctator), в № 3 (1912) — статья «Метафизика» Белого (под псевдонимом Cunctator).

[14] Вместо этого отдела появились лишь аннотации об изданных и готовящихся книгах в каталоге «Мусагета», приложенном к № 1 «Трудов и Дней». Имеется еще один, более подробный, черновой проект содержания первых номеров «Трудов и Дней», составленный Белым (РГБ. Ф. 190. Карт. 55. Ед. хр. 13. 6 лл.). В архиве издательства «Мусагет» также сохранился подготовленный Белым проект редакционной статьи для № 1 «Трудов и Дней» — «Задачи книгоиздательства "Мусагет"» (Там же. Ед. хр. 14. 8 лл.).

[15] 2 октября 1911 г. Блок сообщал матери: «Получил длинное письмо от Бори. В Москве устраивается наш маленький журнал («Труды и дни Мусагета»). Буду там писать» (*Письма к родным, II*. С. 185).

257. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 или 19 октября 1911. Видное>[1]

Дорогой и горячо любимый Саша!

Я написал Тебе чисто деловое письмо[2]. Собирался тотчас же Тебе написать письмо личное, но пролетело около двух недель... Дело в том, что я по уши ушел в «*Голубя*», т. е. во вторую часть его, которая называться будет «*Лакированная карета*»[3]...

Милый, я от Тебя получил письмо, но, сидя уже две недели в деревне, я не мог его получить и написал на повестке, чтоб переслали в Москву на «*Мусагет*». (Заказные письма не пиши мне в деревню)...

Твоего письма я еще не читал[4].

Мы с Асей мило устроились под Москвой в лесу, среди ветра и дождей в маленьком домике. Нам уютно вместе и хорошо: много работаем, много читаем, много по-хорошему, отдыхая, молчим; раз в неделю приходится иметь дело с городом; угорелые, через день, мы бросаемся в бегство, прихватив с собой пук газет, которые в городе даже нет времени почитать: всякий раз сваливаются сюрпризы: война[5], гадость, волнение, купринский инцидент[6], смерть Петра Николаевича Трубецкого[7] и т. д. и т. д.

У меня в деревне на столе лежит громадная книга «*Свобода и Евреи*», принадлежащая... Шмакову (??)[8]. Ты не думай, что я стал черносотенец.

Но сквозь весь шум городской и деревенскую задумчивость все слышней и слышней движение грядущее рас[9]. Будет, будет день, и народы, бросив занятия, бросятся друг друга уничтожать. Все личное, все житейски пустое, как-то умолкает в моей душе перед этой картиной; и я, прислушиваясь к *шуму времени*, глух решительно ко всему.

Теперь два слова о «*Днях и трудах Мусагета*». Это прежде всего место, где хотелось бы соединиться в тихих речах друг с другом: друг с другом и друг о друге думать, разделенные пространствами. Наша духовная связь должна же питаться общением; письма и личное общение все еще не то: *личное общение*: слишком много в нас еще всяческой психологии; она неминуемо во имя *душевного* рассечет, разделит наш *дух*: вот такое-то общение *духом* я мечтал в виде маленького журнальчика. Вот единственная краткая моя *мотивация* важности Твоего близкого участия в журнале. Здесь в Москве есть несколько человек, соединенных стальной спаянностью (вне психологии). Мы — хотели бы, чтобы было такое же братство между нами и Петербургом.

Ну, милый, пока прощай. По прочтению письма подробно отвечу.

Любящий Тебя.

Б. Б.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «20 окт. 1911». 21 октября Блок записал в дневнике: «Письмо от Бори» (VII, 76).

[2] Имеется в виду п. 256.

[3] Одно из первоначальных заглавий будущего романа «Петербург», к работе над которым Белый приступил в октябре 1911 г. См.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 554.

[4] Это письмо Блока, вероятно, не сохранилось.

[5] Имеется в виду гражданская война в Китае, начавшаяся 10 октября (н. ст.) 1911 г. с восстания в Учане. Газетные сообщения о происходивших там событиях выходили под рубрикой «Революция в Китае».

[6] Подразумевается фельетон художника Ф. Р. Райляна «Новелла» (часть первая, гл. I), в котором описывалась пьяная оргия, устроенная А. И. Куприным и его «литературными агентами» А. П. Каменским, П. Д. Манычем и А. И. Котылевым (Против течения. 1911. № 26 (2), 24 сентября. С. 2; см. также перепечатку текста: «Афинская ночь» // Утро России. 1911. № 222, 28 сентября. С. 2). После этого Куприн вызвал автора фельетона на дуэль, от которой последний отказался (см.: «Вызов А. И. Куприным на дуэль художника Райляна» // Утро России. 1911. № 224, 30 сентября. С. 3; Лопатин Н. А. И. Куприн — Ф. А. Райлян // Там же. № 225, 1 октября. С. 2—3; К дуэли А. Куприна и Ф. Райляна // Там же. С. 4). Инцидент широко обсуждался в печати; свой итог всей этой истории подвел Ф. Райлян в статье «Броненосец Куприн» (Против течения. 1911. № 28 (4), 8 октября. С. 1). См. также стихотворные тексты, отображающие «поклонение <...> Куприна Вакху и Киприде», в публикациях С. Н. Тяпкова «“...Сколько же истины в Куприне?” (Потаенные странички жизни и творчества писателя)» (Вопросы онтологической поэтики. Потаенная литература: Исследования и материалы. Иваново, 1998. С. 236—240; Потаенная литература: Исследования и материалы. Вып. 2. Иваново, 2000. С. 276—281).

[7] Князь П. Н. Трубецкой, бывший московский губернский предводитель дворянства, был застрелен в Новочеркасске 4 октября 1911 г. своим племянником В. Г. Кристи. См.: «К убийству кн. П. Н. Трубецкого» // Утро России. 1911. № 229, 6 октября. С. 2.

[8] Имеется в виду книга публициста-антисемита А. С. Шмакова «Свобода и евреи» (<М.>, 1906).

[9] Ср. дневниковую запись Блока от 26 октября 1911 г.: «...слова Бори о “грядущей борьбе рас” в письме на днях» (VII, 78).

---

258. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Видное 30 октября 1911 г.

Милый Саша!

Твоего письма не получил (о *журнале*)[1]; вообще, не пиши мне *заказные* письма на Расторгуево. Лучше на «*Мусагет*». Отвечаю так поздно на Твое письмо[2], потому что две недели не был в Москве, и Твое письмо пролежало более недели в «*Мусагете*».

Милый, Твои письма меня все радуют; в Твоем письме мне ничего не почудилось; наоборот: как всегда, я за ним отдыхал; я вообще очень прост и несложен, и потому все, относящееся к *психологии,* мне чуждо. А вот, может быть, Тебе в моем письме почудилось нечто? Может быть, тон его не такой? Тон моих писем сейчас вообще *скуден*: это происходит от тяжелой работы над «Голубем»[3]. Когда пишу много, письма всегда у меня оскудевают. Не взыщи, если тон их Тебе не много говорит.

Страшно понимаю Твое недовольство лит<ературной> средой. Я уже два года изъял себя окончательно из всякой литературной среды. У меня начинается нечто вроде нервной болезни при виде нескольких литераторов, собранных вместе; имя этой болезни — непроизвольная неискренность: мгновенно все в душе нудно натягивается, и я слышу в своем собственном голосе нудные нотки, отчего вдруг внутренно начинаешь махать руками и сразу соглашаешься на все, слышанное кругом. «*Да, да, да — да, да, да*» отвечаешь на всякую гиль.

Просто, мгновенно разлагаюсь среди литераторов. И вот, самосохранения ради, я уже давно не только не хочу нигде бывать, *но и вынужден не бывать.* А сейчас я и фактически вне города.

Теперь о *журнале.* Журнал — не *журнал*; *журнала* не хотим, а «*Труды и дни Мусагета*» будут выходить.

Только...

У меня падают руки. От Вячеслава *ни звука*, от Тебя *ни строки.*

Пойми, если я писал Тебе и Вячеславу подробнейшее изложение деталей «*Трудов и дней*» при моей перегруженности (8-часовом рабочем дне), если на изложение частностей о журнале в двух письмах потерял два дня (ведь мне к 15 декабрю, чтобы не умереть с голода, надо представить 15 печатных листов[4]), то это — не фантастический проект, и мои слова надо понимать не в плоскости «*так сказать*», а <в> буквальном точнейшем смысле. Я рассчитывал журнал на нас *троих,* а не на *одного* (рабочей клячей быть не хочу, я и так сейчас — кляча); остальные *только так.* Теперь. Вячеслав мне ни звука не ответил (на око<ло> 20 страниц письма). Заключаю, отсюда, что ему интереснее болтать с первым встречным, и все мистические и иные разговоры *глубокие* и *чреватые* (какие мы вели некогда, между прочим и о необх<одимости> такого маленького органа) я должен относить в плоскость «*болтовни*». Вообще этого словесного *ликования* (мы де будем действовать) и *праздной болтовни* (нужен журнальчик) не выношу за последнее время.

Ввиду неполучения от Тебя письма о *журнале*, и молчания Вячеслава, а также ввиду незнания Твоего отношения, у меня отвалились руки. Материал для первого № есть, но ввиду отсутствия Вас (Вячеслав прислал 2 месяца тому назад, до моего письма, 5 писаных страничек для проспекта)[5] номер вышел наполовину наполненным мной, наполовину собранный случайно. До января я не могу работать, наполняя собой номера.

Стало быть: мое отношение к журналу зависит от Тебя и Вячеслава. Если оба Вы не будете в нем существенно, «*je m'en fiche*»...*

Милый друг, не сердись на мой раздраженный тон. К чёрту *журнал*: будет он или не будет, не это *последнее.* Во всяком случае он будет, но, может быть, ввиду Вашего отсутствия и *вследствие этого* моей апатии, он будет вовсе *не тем*, каким я его хотел видеть...

Теперь о Кожебаткине. Он, чёрт знает что: *никому, никогда* не отвечает. Во время моей поездки за границу он, только *он*, с запаздыванием в высылке денег, с неответами и т. д. довел меня до того, что я ругался из Африки, *как сапожник.* Странное дело (кстати сказать): писал в «*Пут<евых> Заметках*» о том, что Африка проснется и арабы скоро заявят о себе...[6] Ну, вот: начинает осуществляться ранее, чем я даже думал[7].

Адресуйся о делах Метнеру: он только что приехал, а с Кожебаткиным... оставь надежду навсегда (он 5 месяцев не двинул палец о палец).

---

* «Мне наплевать» (*фр.*).

Милый, милый, как хотел бы Тебя видеть.
Жду письма.

Остаюсь искренне любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S.

Милый, это ужасно жаль, что Ты — в Петербурге, а я — в Москве. Пространство в деловом смысле ужасная штука: оно — химерит, дождит химерами; даже не психологическими, а хотя бы почтово-телеграфными...

Нам с Асей тихо и уютно; только, пожалуй, и отдыхаю с Асей. Все же прочее кругом — неприятно чуждо. И к тому же... чёрт знает что: эксплуатация труда. Денег почти нет: не на что жить. У меня же между тем до 10 печатных листов; два большие этюда о «*Египте*» и «*Радесе*», написанные весьма тщательно (два месяца работал над ними)[8]; и — никому не нужны, как и я вообще, вместе с своей литературной деятельностью никому не нужен. *Струве и Брюсов* утеснили и подвели с «*Голубем*»[9]. У меня 3000 долг. У меня залеж хороших рукописей, а мне отвечают: «*Не напишете ли статейку*», «*не напишете ли рецензийку*», т. е. нагло утесняют со всех сторон. От заработка во всех журналах я отрезан теплой компанией литер<атурных> жуликов (Абрамовичами, Чулковыми и К^{0}). Я — объект эксплуатации: одни (вроде Вячеслава) эксплуатируют превозвышеннейшими разговорами, *другие (Брюсов)* — работой. Ну да к черту все это! Да хранит Тебя Бог!

P. P. P. S. Милый, Милый друг!

Прости меня: это письмо писал старый, полулысый ворчун, с трубкой в зубах, греющийся у камина. Не обращай на ворчуна внимания, ибо в момент ворчанья старый ворчун иронизирует над самим собой. Старый ворчун удивительно преувеличивает все житейские трудности *до обеда*: после обеда старый ворчун успокаивается на том, что все «*суета — сует*». Ася наказывает ворчуна, даже следит за его письмами, как бы он не написал чего лишнего в припадке *мизантропии*.

Милый друг, хотел бы сейчас Тебя видеть!

День мы проводим монотонно; утром встаем: у меня бывает 5 минут ворчанья до выхода к кофе, ворчанья на то, что хочешь — не хочешь — пиши. До обеда пишешь (чтоб писать, отпаиваю себя сливками, точно на убой). После обеда добреешь: мы с Асей играем неизменно партию в *хальму* (яп<онская> игра). Потом пишу, занимаюсь коллекцией марок (у меня коллекция в 1785 марок). Потом с Асенькой читаем вместе (ужасно уютно глядеть в книгу вдвоем); потом тихие речи, и.... (уже к $11^1/_2$) спать. Так идет день за днем (газет не получаем). По приезде в Москву узнаем, что такая-то страна восстала, и еще такая-то...

Кругом — ветер шумит голой березовой чащей, да слышны издали свистки паровоза.

---

[1] См. п. 257, примеч. 4.

[2] Это письмо Блока не выявлено.

[3] См. п. 257, примеч. 3.

[4] Белый сообщает условия устной договоренности с редакцией журнала «Русская Мысль», в который он должен был представить рукопись своего романа. Ср. его письмо к А. А. Рачин-

ской от 1 декабря 1911 г.: «...мне заказан роман в "Русскую мысль", от возможности написания которого зависит просто наше существование с женой 1912-го года <...> если к первому января я не представлю в "*Русскую мысль*" определенное (очень большое) количество печатных страниц, мой роман откладывается до 1913 года, то есть я лишаюсь средств к существованию на 1912 год» (РГАЛИ. Ф. 427. Оп. 1. Ед. хр. 2384).

5 Возможно, этот текст нашел отражение в заметке «Орфей», помещенной в № 1 «Трудов и Дней».

6 См.: Андрей Белый. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, 1922. С. 293.

7 Подразумеваются события войны между Италией и Турцией — аннексия Триполи и Киренаики Италией и нападения арабов в Триполи на итальянские войска. В октябре 1911 г. газеты ежедневно информировали о борьбе с арабским восстанием и боях под Триполи.

8 Очерк «Египет» был опубликован позднее в журнале «Современник» (1912. № 5. С. 190—214; № 6. С. 176—208; № 7. С. 270—288).

9 Подразумевается будущий «Петербург» — вторая часть трилогии, начатой «Серебряным голубем». Белый надеялся на более выгодные для себя условия работы над романом, чем те, которые предложили ему П. Б. Струве (редактор «Русской Мысли») и В. Я. Брюсов (заведующий литературно-критическим отделом журнала). Ср. сообщение в письме Белого к Э. К. Метнеру от 29 сентября 1911 г.: «Имел полуторачасовой разговор со Струве о "*Голубе*": хотел получить аванс: Струве — ни за что. Он обещает: приносите рукопись и тотчас же получите деньги сполна. Последний срок подачи *15 декабря*» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 49).

---

259. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<2 или 3 ноября 1911. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Твоего письма о Журнале *не* получал[2]. Журнал *будет*. Твое коренное участие *необходимо*. Я *счастлив* получать от Тебя письма (что Ты выдумал о тоне писем)[3].

Пишу лаконично: ибо в Москве на 2 дня и притом: 1) Сережа (Ты — знаешь? Дважды покушался на самоубийство: нервно-психич<еское> расстройство[4]). 2) Сестра жены родила девочку[5]. 3) Ася нездорова. 4) Готовлюсь к лекции[6].

Сумма всего этого лишает меня полной возможности писать. Пиши мне в Москву. В Расторгуеве *все* письма пропадают: писать бессмысленно туда.

Когда освобожусь, напишу подробнее. Впрочем, до января я пленник. Надо мне 15 печ<атных> листов *Голубя* написать[7].

Если буду писать и подробные письма, сойду с ума.

Любящий Тебя Борис Бугаев

---

1 Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «4 XI 1911».

2 См. п. 257, примеч. 4.

3 В этих словах — отклик на содержание письма Блока к Белому от 30 октября, нам не известного. 30 октября Блок записал в дневнике: «Пишу большое письмо Боре <...> Пишу Боре и думаю: мы ругали "психологию" оттого, что переживали "бесхарактерную" эпоху, как сказал

вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна *вся* душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только сгарать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское» (VII, 79).

4 31 октября 1911 г., в состоянии нервно-психического расстройства, С. Соловьев покушался на самоубийство, после чего был направлен в психиатрическую лечебницу, где находился несколько месяцев. Блок вклеил в дневник вырезку из газеты «Утро России» (1911. № 252, 2 ноября) — сообщение в разделе «Происшествия»:

«*В поисках смерти.* В понедельник, 31 октября, покушался на жизнь оставленный при филологическом факультете московского университета Сергей Максимович <sic!> Соловьев, 27 лет.

Молодой филолог живет в доме Кожиной, в 6-м Ростовском переулке, у своей тетки.

В понедельник утром он бросился из окна своей комнаты, расположенной во втором этаже, разбил головою обе рамы и застрял между ними. На звон битых стекол сбежались квартиранты, которые и вынули его из случайной западни. Соловьев получил ушибы всего тела и порезал руку и ногу. В университетской клинике ему сделали перевязку. В настоящее время он находится дома; здоровье его никаких опасений не возбуждает. Сообщить мотивы, толкнувшие его искать смерти, Соловьев категорически отказался. Ничего не могла сообщить об этом и его тетка, на которую происшествие подействовало очень сильно» (Блок А. Дневник / Подготовка текста, вступ. статья и примечания А. Л. Гришунина. М., 1989. С. 73). Подробные сведения о случившемся Блок получил из письма С. Г. Карелиной от 27 ноября 1911 г.: «...У Сережи было много хлопот по изданию вновь книги дяди его Влад<имира> Серг<еевича> и деда по истории и немало собственной работы, т<ак> к<ак> он оставлен при университете, и ему задали работу по подготовлению к профессуре впоследствии <...> он — устал <...> переутомился до болезни. С 5 ноября он находится в отличной лечебнице — Сокольников в Москве, где была твоя мама Аля, под непосредственным надзором доктора Лахтина. Все это после консилиума 5 хороших врачей — и их приговора» (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 267). С. Г. Карелина умалчивает о самой существенной причине поступка С. Соловьева — его неразделенной любви к С. В. Гиацинтовой. В мемуарах Белый отмечает событие, «просто потрясшее» его, — «случай с С. М. Соловьевым, который в припадке острой меланхолии покушался выброситься из окна (несчастная любовь)» (*Между двух революций*. С. 436). О своих взаимоотношениях с Соловьевым Гиацинтова вкратце рассказала в мемуарах. См.: Гиацинтова С. С памятью наедине. М., 1985. С. 452—463.

5 Дочь Н. А. Тургеневой и А. М. Поццо — Мария Александровна Поццо (1911—1990). В воспоминаниях Белый указывает на «событие, ближе задевшее и даже взволновавшее нас, — рождение у Наташи девочки» (*Между двух революций*. С. 436).

6 Лекцию «Страна бреда и ужаса. Египет» Белый прочитал 5 ноября 1911 г. в аудитории Исторического музея (см.: Русские Ведомости. 1911. № 255, 5 ноября).

7 См. п. 258, примеч. 4, 9.

---

260. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<4 ноября 1911. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Пишу Тебе опять летучую заметку, ибо: 1) Сережа, 2) Нат<алия> Ал<ексеевна> (родила дочку)[2], 3) Нин<а> Ив<ановна> умирает[3].

Видишь? Это не литературные дрязги.

Читаю лекцию завтра, ибо если не прочту, мы с Асей умрем с голоду. И вообще: литературщина (кстати сказать: я принужден искать работы для пропитания, а не для литературы — и кстати сказать еще: я вышиблен за порог литературы Вашими петерб<ургскими> прохвостами à la Чулков[4] и, кстати сказать, опять-таки: Ты пишешь в бесконечно бóльшем количестве журналов, и, судя поверхностно, я мог бы заключить, что не я, живущий в деревне, а Ты, пребывающий в Петербурге и появляющийся в органах печати, *по уши* в литературных дрязгах).

Все это к одному: мы действительно *«психологически»* ничего не знаем друг о друге.

А что касается Матиса — какая ерунда!![5] 2 года не был ни в одном литер<атурном> собрании (*«Путь»* и кружок Морозовой не принимаю в соображение). В первый раз затащили, и из-за невладения русскими художниками фр<анцузским> языком меня упросили художники задать Матису два-три вопроса. А ты уже *заключаешь*, что де я путаюсь с Матисом[6].

Все это возмутительное порождение нашей разъединенности.

Но к чёрту все это. Если скоро выпутаюсь с тяготами (матер<иальной> необеспеченности), буду писать долго. А пока крепко целую. И *спасибо за письмо*: оно меня по-хорошему задело.

Любящий Тебя крепко

Борис Бугаев

---

1 Ответ на не известное нам письмо Блока. Датируется на основании упоминания о лекции, прочитанной 5 ноября (см. примеч. 6 к п. 259). Помета Блока химическим карандашом: «6 XI 1911». В дневнике Блок записал 6 ноября: «От Бори — нервные письма <...>» (VII, 82).

2 См. примеч. 4, 5 к п. 259.

3 Н. И. Петровская находилась в это время в состоянии тяжелой депрессии, усугублявшейся зависимостью от наркотиков. Несколько дней спустя, 9 ноября, Петровская, по настоянию С. А. Соколова и Брюсова, отбыла за границу для лечения. См. описание ее проводов на Александровском вокзале в мемуарах В. Ф. Ходасевича (Ходасевич В. Собр. соч. В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 16, 28).

4 Ср. дневниковую запись Блока от 6 ноября 1911 г.: «Боря негодует на эксплуатацию его труда, на наших “жуликов” (Чулков), которые его выперли из всех журналов...» (VII, 82).

5 29 октября 1911 г. Блок записал в дневнике: «В Москве Матисс, “сопровождаемый символистами”, самодовольно и развязно одобряет русскую иконопись, — “французик из Бордо”» (VII, 78).

6 Анри Матисс находился в Москве с 23 октября до начала ноября 1911 г., жил в особняке С. И. Щукина в Знаменском переулке (см.: Гриц Т., Харджиев Н. Матисс в Москве // Матисс. Сборник статей о творчестве. М., 1958. С. 96—119; Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года // Труды Государственного Эрмитажа. XIV. Л., 1973. С. 167—184). 27 октября 1911 г. Матисс был на заседании Общества свободной эстетики, посвященном докладу Ф. А. Степпуна «О философии пейзажа». В отчете о заседании сообщается: «Собрание посетил Анри Матис, которого В. Я. Брюсов приветствовал от лица Общества. Несколько вопросов, предложенных А. Матису А. Белым, вызвали собеседование о современных задачах живописи. В беседе приняли участие: Н. В. Баснин, А. Белый, А. Б. Вайнштейн и А. Матис»

(РГБ. Ф. 386. Карт. 114. Ед. хр. 36). Содержание беседы раскрывалось в хроникальной заметке «Матисс в Москве. В кружке вольных эстетов», помещенной в «Утре России» 28 октября: «А. Белый предложил Матиссу высказаться по вопросу о соотношении рисунка и цвета в живописи, что поставило Матисса в некоторое затруднение ввиду слишком широких размеров предложенного вопроса. <...> Матисс высказался горячо за неизбежность "рисунка" в живописи. Передавать, вернее, записывать исключительно цвет можно в этюдах. Но без рисунка художественное произведение неполно, несовершенно» (Русаков Ю. А. Матисс в России осенью 1911 года. С. 178). См. также: *Между двух революций*. С. 198.

---

261. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<9 или 10 ноября 1911. Видное>[1]

Дорогой Саша,

Наконец-то я выбрался из города, с неделю метался, как полоумный. Ввиду Твоего *подозревающего* письма[2] и обидных предположений о том, что я метался с Матисом и пересчитывал в Кружке французские булки, вот Тебе *compte-rendu** моего недельного пребывания в Москве, первого после 8 сентября (а до этого времени бывал не более как на день, полтора, два). Едва в понедельник на той неделе[3] я собирался начать работать и с величайшим ужасом помышлял о городе, как меня сорвали с места известием о Сереже[4]: ну, конечно, поехал в Москву и, конечно, прямо попал в гущу тревог: имел беседы с друзьями, теткой Сережи и психиатром. На другое утро опять выяснялось положение Сережи (теперь он в психиатрической лечебнице; месяцев 7 леченья и, авось, Бог даст, поправится); сидел у него; имел опять разговор с психиатром, и — в деревню, к Асе, на несколько часов отдохнуть и прийти в себя (Сережа ведь мне ближе, чем брат: и меня совершенно расшиб инцидент с ним). *Среда*[5]. К середине дня попал в Москву; опять *совещания*; далее вечером: сложный и многочасовой разговор с Метнером о положении в *Мусагете* (который только что вернулся из заграницы). *Четверг*. Утром: совещание о том, быть или не быть «*Логосу*» у нас, с логосами и Метнером (вопрос о контракте), подача прошения о разрешении журнала, хлопоты с «*Р<усской> М<ыслью>*» об извлечении из нее одной мне нужной рукописи[6] (что делать, и это — «литература», ибо есть хочется); совещание с Григ<орием> Алексеев<ичем>, наконец концерт д'Альгейм[7], на который нельзя было не пойти (долго объяснять, почему). *Пятница*. Зубной врач, на которого не мог попасть; возня с извлечением из «*Пути*» нужнейших мне 100 рублей; ловля по соверш<енно> необходимому делу неуловимого Рачинского, разговор с приехавшим на один день Гессеном по поводу опять-таки «*Логоса*», далее реферат Гессена о «*Ласке*» (если это по-Твоему литература, то, извини: для меня «*Логос*», его судьба, есть *реальное дело*, тоже вопрос о том, *быть или не быть* свободному от жидовства арийству, но Тебе философия чужда, и для Тебя эта моя реальная боль, одновременные союз и борьба с «*Логосом*» непонятны). *Суббота*. Выработка контракта: совещание «*Логосов*» (Метнер, Яковенко, Степпун, Гессен, Метнер, я), дела о кавказском имении[8], посещение находящейся на волоске от смерти Нины Ивановны[9], наконец лекция моя[10] (вечером), ибо без нее не мог бы прожить ноябрь месяц.

---

* Отчет (*фр.*).

Я пишу Тебе нарочно, о том, что я делаю, ибо Ты упрекаешь меня... чёрт знает в чем!! Да пойми: что вся неделя (единственная неделя в Москве) была сплошь соткана из необходимейших поступков. До этого — я бывал по дню (редко по два дня) в Москве, и единственное место моего *бывания* — Мусагетские вечерние собрания (*тоже необходимые*). До этого времени я в августе 10 дней приискивал зимнее помещение, до этого времени 3 месяца сидел в деревне; ранее — весной: десять дней жил в Москве, и в эти десять дней разрешал скопившиеся дела за мое 6-месячное отсутствие. Еще ранее — сидел в Африке.

Да пойми Ты, что, например, я два-три года не видал, какие такие литераторы, два года не был в театре, только на днях впервые после $1^1/_2$ года слушал сериозное пение (без музыки же я жить не могу). Есть мне время заниматься всякой белибердою. Стыдись: Твой неосновательный упрек есть именно тот безжалостный по отношению к ближнему «*психологизм*» (не основанный на чуткости душевной), подлинное имя коему — химера, химера, химера.

Должен Тебе сказать, что легко Тебе, у которого на душе нет ответственности за целое учреждение (у меня «*Мусагет*» висит на душе, и я болею каждою деталью его существования), который за одни стихи, печатаемые во всех журналах Российской Империи, получает в четыре раза больше, чем я (года четыре тому назад Ты мне говорил, что зарабатываешь до 500 рубл<ей> в месяц; в то время я зарабатывал дай Бог полтораста); мне же приходится думать о том, откуда достать каких-нибудь 30—40 рублей, и волноваться *всеми* мелочами жизни, от которых Ты, должно быть, избавлен.

Теперь: Ты пишешь: «*есть ли у Вас железная спаянность*». Я говорю — да: и при этом я не разумею «*Мусагет*». В «*Мусагете*» есть разноголосица: но *в людях, в душах,* несогласных друг с другом в *Редакции*, разноголосицы *нет* и *быть не может*. Я не знаю Ваших петербургских литературных «*конфигураций*», разлагающихся через два-три месяца, и я не знаю Твоих личных друзей.

Мусагет — это кружок прежде всего глубоко мне близких людей, из которых каждого глубоко уважаю, но из которых лишь $^1/_4$ «*литераторы*», следовательно, литературщины нет и быть не может. Приедешь к Вам в Петербург: «*А*» с «*Б*», «*С*» с «*Д*»; приедешь через месяц: «*А*» уже с «*С*»; «*Д*» с «*Б*». Вспомни, сколько раз Ты, я, Вячеслав были в разных лагерях; это оттого, что *человеческое* между нами неизменно пылилось «*химеризмом*» и «*психологизмом*», т. е. между господствовал господин «*Изм*»; он вставал и побеждал душевное друг к другу влечение.

С Метнером, А. С. Петровским, Киселевым, Сизовым, Рачинским, Сережей *психологических кошмаров* у нас *НЕ* бывало, злобы друг на друга не было (бывали благородные расхождения), вонь литературщины не омрачала душевного влечения. С Рачинским, Петровским, Метнером я был и тогда, когда в 1904 году был с Тобой, и тогда, когда в 1908 году был против Тебя и Вячеслава, и в 1910 году, когда вновь мы встретились. «*Мусагет*» есть, «*Мусагета*» не было, «*Мусагета*» не будет: будет «*X*» «*Y*» «*Z*» — начало или учреждение, символизирующее *связь душ*, связь кружка; *братство наше* останется <в> 1924 году таким же, каким было оно и *в 1902 году.* То, что началось вокруг *круглого стола* соловьевской квартиры[11], продолжается и за *круглым столом «Мусагета»*, как продолжается оно и в Бобровке Рачинского, как продолжалось оно с Минцловой: все это — *одно*: и этой верности *друг другу*, этой братской помощи (духовной, душевной, физической, даже материальной) Вам, петербуржцам, подозревающим, ругающимся, мирящимся, и вновь ругающимся, *следовало бы поучиться.*

Когда в 1910 году Вячеслав через меня и Минцлову подходил к *нам*, мы его пустили в «*Мусагет*» с восторгом, предложили ему пасти «*Орфей*»[12]; но в *наше как*

бы братство мы его не пустили, а он пробирался. Узнай сперва линию нашего пути, и Ты поймешь, что помимо моих двух обликов «*мигающего*» (созданного отчасти из Твоей химеры), сидящего в деревне (и Тебе близкого) есть еще «*Я*», *железно спаянный с московским коллективом* (не с Брюсовым же, конечно! не с Кожебаткиным же!).

Жалею, что у Вас, в Петербурге, *железного кольца дружбы* нет! Может быть, ошибаюсь: прости; но я не видел.

Милый, Милый, не сердись на это письмо: оно просто ответ на несправедливость.

Теперь: Ты пишешь, что между нами должно быть знание друг друга: большее знание, чем теперь, не думаю, чтобы было. Мы всегда видимся из пыли, сквозь фату сегодняшней моей и Твоей усталости, или наспех, или из истерики, как в былые годы.

Милый, видишь — и у меня сквернословие: но, к чёрту его! И — как хочется в ответ на Твои обвинения прижать к сердцу Тебя! Молча усадить у нас пить чай; как хочется вообще, в тишине пожить вместе, даже не обращая внимания на Тебя; просто гулять на закате в ноябрёвских полях, а вечером у самовара тихо, безнадрывно беседовать о том, что есть «*Мусагет*», что такое «*железная спаянность*», почему в письмах не хочу *психологизма*; в тихом, совместном житье хочу не *психологизма*, а душевной, нежной близости, участия.

Но... это не возможно!..

Если бы Ты приехал к нам в деревню пожить *в лесах и полях*, где так уютно, но где так тесно и неудобно, если бы Ты хотел в тишине отдохнуть от литературщины, дрязг, «*сквернословие*» Твое разрешилось бы тихо по отношению ко мне.

Но ведь Ты не приедешь.

Но если бы Ты сказал: «*приеду*», я удивился бы и обрадовался.

Но, пойми, я-то... не зову; не относи приглашения к навязчивости.

То же и по отношению к журналу: я внешне журнал объяснил; Ты не понял, как Тебе непонятен и «*Мусагет*». Разъяснять в письмах вообще — бесцельное занятие: не разъяснишь, все равно.

Пожили бы *вместе*, о сколь многое разъяснилось бы...

Ну прощай: «*сквернословь*», ругай меня, «*Мусагет*», Эллиса сколько угодно (как все это понятно мне), и не думай, что во мне хоть на иоту изменится к Тебе что-либо; хотя — «*отругиваться буду*», ибо я — присяжный ругатель.

Обнимаю и нежно люблю.

Б. Бугаев

P. S. От Аси привет.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «11 XI 1911» — и его дневниковой записи от 11 ноября: «Длинное письмо от Бори» (VII, 86).

[2] Имеется в виду неизвестное нам письмо (см. примеч. 1 к п. 260).

[3] 31 октября.

[4] См. п. 259, примеч. 4.

[5] 2 ноября.

[6] Видимо, речь идет о рукописи очерка Белого «Египет», переданной им ранее, в сентябре или октябре 1911 г., в редакцию «Русской Мысли» (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 425). См. примеч. 8 к п. 258.

[7] Концерт М. А. Олениной-д'Альгейм состоялся 3 ноября 1911 г. в Русском охотничьем клубе на Воздвиженке в доме гр. Шереметева (1-й семейный вечер).

[8] В наследство от отца Белому достался участок земли вблизи Адлера, который он в первой половине 1910-х гг. неоднократно, в надежде избавиться от долгов и материальной нужды, пытался продать (см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 37, 39). В завещании, оформленном в Дорнахе 14 августа (н. ст.) 1916 г., Белый указывал: «...завещаю я Анне Алексеевне Тургеневой а) принадлежащий мне участок земли, находящейся в Сочинском уезде Черноморского округа, управление каковым участком по нотариальной доверенности передано мною в настоящее время Владимиру Константиновичу Кампиони <...>» (Andrej Belyj. Symbolismus. Anthroposophie. Ein Weg. Texte — Bilder — Daten. Herausgegeben, eingeleitet, mit Anmerkungen und einer Bibliografie versehen von Taja Gut. Dornach/Schweiz, 1997. S. 78. Текст — факсимиле).

[9] См. п. 260, примеч. 3.

[10] См. п. 259, примеч. 6.

[11] Подразумевается квартира М. С. и О. М. Соловьевых, которую Белый начал посещать в конце 1895 г.; близость с семейством Соловьевых во многом способствовала его духовному и творческому самоопределению. См.: *О Блоке.* С. 27—29; Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 339—368.

[12] Издательская программа «Орфея» при «Мусагете» осуществлялась под наблюдением Вяч. Иванова, он же написал статью «Орфей», в которой обозначались идейные контуры этой книжной серии (Труды и Дни. 1912. № 1. С. 60—63). См. также письмо Вяч. Иванова к Э. К. Метнеру и Андрею Белому от 3 февраля 1912 г. (Вопросы литературы. 1994. Вып. II. С. 326—331 / Публикация В. Сапова).

---

262. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<15 или 16 ноября 1911. Видное>[1]

Дорогой Саша!

Пишу Тебе не в порядке наших личных отношений, а в порядке просьбы подать совет.

Дело вот в чем: у Вас в Петербурге все журналы, все организации литературные, словом, вся *техника* литературы. В Москве же ничего нет. У меня в Москве единственный журнал «*Р<усская> М<ысль>*». Но Брюсов меня обмерил и обвесил. С лета до зарезу мне были нужны деньги; личных денег у меня нет ни гроша, литературного же заработка нет, ибо в журналы вообще меня не приглашают (нет такой «*моды*» меня приглашать). Я просил Брюсова дать мне работы, и он через «*Мусагет*» просил меня написать об Африке. Все лето я писал о *Радесе* и *Египте* (около 10-ти печатных листов), рассчитывая жить зимой на литературный труд и поэтому *откладывая «Голубя»*[2]. Лето потерял, десять печатных листов написал (и написал — хорошо), и вот мне говорят, что «*Р<усская> М<ысль>*» перегружена географией[3]; стало быть, мой труд не нужен. Кроме того Брюсовым и Струве поставлены условия, чтобы к 1-ому январю я написал «*Голубя*» и представил 15 печатных листов (по 100 р. за лист). Я просил *аванса*, мне отказали. Теперь я в невозможнейших условиях: чтобы к 15 январю представить рукопись, *я не могу* ни одной рецензии написать для заработка, а денег у меня — ни гроша; и я все эти

4 месяца кое-как перебивался. «*Р<усская> М<ысль>*» своим обманом меня (праздной работой над Радесом и Египтом, а потом и *Голубем*) посадила в лужу. Имение мое[4] продастся дай Бог через $1^1/_2$ года, а пока я — сейчас в ужаснейшем материальном положении. Я *должен* или бросить литературу и околачиваться в передних попечителя округа, или потребовать у общества, чтобы А. Белый, могущий писать хорошие вещи, был обществом обеспечен. И я требую от всех людей, кому я, как писатель, нужен, чтобы *писателю* не дали умирать с голоду: мне нужны до февраля месяца (когда я справлюсь с *Голубем*) 400—500 рублей; у меня есть около 10 печатных листов описаний Египта и Тунисии. Кто может 1) или дать мне взаймы (в счет гонорара за Голубя) 500 рублей, которые обязуюсь отдать по представлении рукописи в «*Р<усскую> М<ысль>*», 2) или дать 500 рублей за материал (хороший), праздно лежащий у меня? Нет ли в Петербурге такого человека, или журнала, который не даст подохнуть А. Белому и не заставит его клянчить у *меценатов* о возможности существовать? «*Мусагет*» сам нуждается. «*Мусагету*» должен я *3000* (путешествие), которые уплачу по продаже имения и который соглашается *ждать*, но который *не может* без явного ущерба изданий *помочь мне* сейчас.

Пишу Тебе, не как другу, а как петербуржцу: к кому мне обратиться? Ни журналов, ни людей я не знаю: вы все вращаетесь в литературной среде, а я с Асей — мерзну в деревне и ни с кем не общаюсь. Ты рекомендуешь мне презреть суету сует и писать *Голубя*[5]. Милый друг, рекомендуя мне покой, рекомендуй мне и возможность работать без спешки и без заботы о том, как просуществовать декабрь и январь месяц.

Не знаю, на что Ты живешь, и знаю, что А. Белому литературой жить невозможно, а денег своих — ни гроша. У меня на сердце жена, Ася. Для себя не стал бы я просить. Но мысль подвергать Асю голоду, ревматизмам и пр<очим> принадлежностям литерат<урной> деятельности меня ужасает.

Ты — судья моего поведения: так будь же *не обвинителем только*, а постарайся меня как-нибудь устроить: или дай совет, как быть. Мне 500 рублей нужны сейчас *до зарезу*. Нельзя ли честно получить за праздно скопившийся у меня лит<ературный> труд, а не то через две недели я зареву *благим матом* у всех порогов богатой буржуазной сволочи: «Подайте, Христа ради, А. Белому». Зареву с гордостью, ибо я — Бож<и>ей милостью художник, который по крайней мере обществом *должен* быть обеспечен *хлебом* и *одёжей*. Или искусство, литература, мысль, образы *никому не нужны*. Ну, тогда я буду себе искать место хоть лакеем в ресторане: так и буду знать, что А. Белый никому не нужен, ибо его оставляют на произвол судьбы голодать.

Итак, жду от Тебя или совета, или какой-нибудь помощи, т. е. не попросишь ли Ты у кого-нибудь из писателей пристроить мои рукописи, или у какой-нибудь редакции дать мне в 500 рублей аванс. Главное мне нужны деньги.

Ответь тотчас же. Ибо время для меня *не* терпит; если ничего нельзя для меня устроить, то я должен это заранее знать, чтобы вовремя обивать пороги Щукиных[6] и К^0, прося денег. Конечно, я не обижусь, если Ты тотчас же ответишь, что ничего сделать нельзя. Я обращаюсь к Тебе, ибо никого в Петербурге не знаю, не знаю даже, кто за меня, кто против меня: знаю только, что Твои былые друзья (Чулков и К^0) создали для меня полную невозможность писать где-либо (ибо они — везде: следовательно, я — нигде).

Остаюсь любящий Тебя

Б. Бугаев

[1] Датируется на основании дневниковой записи Блока от 17 ноября 1911 г.: «Отчаянное письмо от Бори — о деньгах» (VII, 92). Помета Блока химическим карандашом: «XI 1911».

[2] Подразумевается вторая часть трилогии, начатой «Серебряным голубем».

[3] Рукопись очерка «Радес» Белый отправил Брюсову с письмом от 26 июля 1911 г., в надежде на опубликование его в «Русской Мысли» (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 424). См. также примеч. 6 к п. 261.

[4] См. примеч. 8 к п. 261.

[5] Видимо, такой совет Блок давал Белому в одном из неизвестных нам писем.

[6] Подразумевается С. И. Щукин, московский предприниматель-миллионер, «меценат» и коллекционер новейшей французской живописи.

263. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 ноября 1911. Москва>[1]

Милый Саша,

Твое сегодняшнее письмо меня совсем оглушило своей неожиданностью[2]. И мне теперь совестно *одного*: как бы Ты не подумал, что мои жалобы на матерьяльные трудности не были предлогом просить у Тебя денег... (Тьфу: пишу вовсе не то и не так!..). Письмо Твое меня глубоко порадовало и испугало: порадовало тем хорошим чувством, которым оно продиктовано. Испугало: явился соблазн воспользоваться Твоим благородным почином меня поддержать материально. Милый друг, знаешь, я, пожалуй, воспользуюсь Твоим предложением, но только при одном условии: чтобы Ты четко мне ответил и пристально поглядел мне в глаза. Вопервых: действительно ли Ты можешь мне месяца на три одолжить 500 рублей? Если это Твои гонорарные деньги, я брать отказываюсь: я слишком знаю, как трудно добывается гонорар, и как быстро необходимые потребности поглощают его. Если же у Тебя *случайно* оказалось несколько сот рублей и они Тебе в продолжение 3-х месяцев *не нужны* будут (я Тебе их верну в середине февраля, если не в конце января), я с огромной благодарностью (Ты не можешь себе представить, как Ты меня выручаешь) принимаю Твое предложение, принимаю так же доверчиво, как Ты мне *по-хорошему предложил*, ибо все равно иначе пришлось бы унизиться перед Щукиным, который бы мне, может быть, и дал бы, но прочел предварительную нотацию, что он принципиально благотворительством не занимается и предоставляет мне решить, согласен ли я по своей воле нарушить его принцип; и мне *пришлось бы* нарушить его принцип; и после того он рассказывал бы по Москве, как он облагодетельствовал Андрея Белого. Видишь — я все же мог бы занять у него, но... если *действительно* Ты можешь мне одолжить (т. е. если Тебе ни капли это не стеснительно), я, *конечно*, предпочитаю занять у Тебя, причем, вероятно через недели полторы, возвращаю Тебе небольшую сумму (около пятидесяти рублей); в декабре возвращаю около ста рублей, а в конце января, начале февраля остальные.

Теперь я должен Тебе объяснить, почему я заимствую у Тебя. Дело в том, что меня *обмерил* и *обвесил* Брюсов, частью в буквальном, частью в переносном смысле. Я дал обещание весной представить к концу 1911 года мой роман[3]. Времени было достаточно, и я бы представил, но... Пока я писал бы до января, мне не на что было бы жить, ибо с весны у меня ничего почти нет; пока я был один и жил у мамы, меня ни капли не беспокоило безденежье; но теперь, когда на моей ответственности Ася, такая маленькая и такая хрупкая, которую надо оберегать от житейской грубости, как зеницу ока, все эти вопросы заработка меня волновали ужасно. И вот я писал Брюсову дать мне возможность каким-нибудь способом заработать. Он мне отвечает: «Пишите связные очерки о Египте и Радесе». И вот, чтобы очистить себе свободное время для Голубя[4], я все лето потратил на небольшие фрагменты о Тунисии и приготовил статью «Египет» (страниц 110) и «Радес» (стр<аниц> 60). Брюсов палец о палец не двинул, чтобы Струве принял мои писания, хотя Брюсов лично и расхваливал их[5]. Таким образом, время прошло, осталось два с половиной месяца; мне надо накатать 15 печ<атных> листов, и вся летняя упорная работа пошла прахом. Теперь Брюсов требует представление рукописи, закидывает мелочной работой; я отвечаю: «Я работаю как вол и, чтобы выполнить Ваши условия, мне нужно сидеть с утра до ночи над романом». Я прошу аванс: «Р<усская> М<ысль>», подведя меня с *очерками*, не дает ни гроша аванса. Кроме того: Брюсов за роман сперва обещает 150 рублей (печ<атный> лист). Потом 125. И наконец объявляет, что Струве дает 100. Я иду на все уступки[6]. Теперь, когда надо *писать, писать* и *писать*, у меня остается сейчас около 35 рублей и нигде ни гроша денег не предвидится до 15 декабря. «*Речь*» соглашается (через Гессена сына)[7] напечатать несколько отрывков, я прошу Брюсова мне разрешить это (как разрешила «*Р<усская> М<ысль>*» Мережковскому): Брюсов запрещает мне печатать. Я говорю: «Вы меня посадили на мель с очерками, не дали аванса, на $^1/_3$ сбавили гонорар: поймите — мне жить не на что!». Брюсов продолжает со мной говорить не по-человечески, а по-скотски, и я заявляю в присутствии нескольких лиц именно в этих терминах: «Меня обмеривают и обвешивают». Мне сейчас тем более трудно, что с наступлением холодов обнаружилось, что мы с Асей буквально погибаем от холода (около 8^0 в комнатах), и вот мы бежим в Москву почти без денег и без пристанища (теперь кое-как с пристанищем устроились). Пойми, пока все это происходит, почти не могу работать от волнения за Асю. Этим волнением и усталостью обусловливается тон моих последних писем Тебе, ибо я уже недели три при встрече с людьми стискиваю зубы. Теперь Матисс[8]. Ты попал в больное место. Ведь если я изредка бывал в *Эстетике*[9], если белиберду говорил с Матиссом, так ведь это из внешней любезности к Брюсову, в расчете, что он хоть на иоту окажет мне содействие в моих делах с «*Р<усской> М<ыслью>*». Наконец, вчера меня взорвало, и я бежал с «*Эстетики*», наговорив грубостей Брюсову.

Я так устал выпутываться из месяца в месяц. Но не беспокойся: я Тебе выплачу через 3 месяца. Если у меня будет 500 рублей, я смогу спокойно дописать роман, за который «*Р<усская> М<ысль>*» обязалась мне выплатить единовременно по получению рукописи (около полторы тысячи). Видишь: деньги у меня будут, а пока нет: не могу спокойно писать, а если не допишу к середине января, пролетают и полторы тысячи. Писать-то я напишу, но только тогда, когда будет сознание, что на время писания будут деньги.

Вот основание моего положения (через год, полтора я продам кавказский участок земли[10], а пока — уж как трудно: тем более, что негде печататься; может и есть где, но не зная людей, не знаешь — друзья или враги, не шлешь рукописи).

Милый, итак, если действительно Тебе можно мне одолжить, огромное, бесконечное спасибо, ибо Ты выручаешь меня из действительно безвыходного положения.

Никогда не забуду, как Ты по-хорошему, просто предложил мне занять. Ведь я никогда в жизни еще частным образом ни у кого не занимал, и если с благодарностью принимаю Твое предложение, то это потому, что, во-первых, предлагаешь Ты и так *по-хорошему*.

Спасибо, милый! Спасибо!

Если Тебе можно выслать, то вышли (но прежде взвесь, действительно ли *можешь,* ибо иначе я глаз на Тебя со стыда не подниму) по следующему адресу.

Москва. Плющиха. Шестой Ростовский переулок. Дом Орлова. Кв. 2. Квартира Александра Михайловича Поццо (Поццо — муж сестры жены). Для Бориса Николаевича Бугаева.

Еще раз — милый, хороший!

Остаюсь глубоко Тебе преданный и благодарный

Борис Бугаев

---

[1] Датируется на основании дневниковой записи Блока от 20 ноября 1911 г.: «Письмо от Бори (хорошее)» (VII, 94). Помета Блока химическим карандашом: «XI 1911».

[2] В этом, неизвестном нам, письме Блок, по воспоминаниям Белого, «в деликатнейшей форме» просил «принять от него в долг пятьсот рублей, бросить мелкую работу и сосредоточиться на “Петербурге”»: «Это был решительный импульс к работе для меня, и я считаю, что А. А. косвенно вызвал к жизни мой “Петербург”» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 120; см. также: *О Блоке*. С. 379; *Между двух революций*. С. 439).

[3] Эта договоренность была достигнута в Москве в середине мая 1911 года, причем, помимо Брюсова, достижению соглашения с Белым содействовал С. Н. Булгаков: «...происходит мое сближение с Булгаковым, подбивающим меня писать роман для “*Русской мысли*”; он ведет переговоры со Струве обо мне» (Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 60; см. также: *О Блоке*. С. 374).

[4] См. примеч. 9 к п. 258.

[5] См. примеч. 6 к п. 261, примеч. 3 к п. 262.

[6] Судя по переписке Брюсова и П. Б. Струве, в «Русской Мысли» обычно за 1 печатный лист художественной прозы известным писателям платили от 150 до 250 руб.; из письма Брюсова к Струве от 12 сентября 1910 г. (см.: Литературный архив. Т. 5. М.—Л., 1960. С. 278) можно заключить, что Мережковскому за роман «Александр I», принятый журналом, предполагалось платить по 400 руб. с листа. См. воспоминания Белого о беседе с Брюсовым по гонорарному вопросу (*О Блоке*. С. 379).

[7] Философ С. И. Гессен — сын И. В. Гессена, одного из лидеров конституционно-демократической партии и редактора-издателя ежедневной петербургской газеты «Речь».

[8] См. примеч. 6 к п. 260.

[9] Подразумевается «Общество свободной эстетики», действовавшее в Москве в 1907—1917 гг. и регулярно устраивавшее доклады, литературные и музыкальные вечера, художественные выставки.

[10] См. примеч. 8 к п. 261.

---

264. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<26 ноября 1911. Москва>[1]

Милый, милый,

Спасибо[2].

Никогда не забуду Твою, воистину, большую услугу. Крепко жму руку и целую Тебя. Деньги я третьего дня получил. Послезавтра отсылаю Тебе 35 рублей; и в скором времени отсылаю еще. Мне несравненно проще и легче выплачивать Тебе маленькими частями при первой возможности, нежели отдать сразу потом.

Письмо Твое несколько успокоило меня (относительно наследства)[3], но все-таки... Еще раз, крепкое спасибо. Письмо Твое ужасно взволновало меня, радостно взволновало: все, что Ты пишешь мне, полунамеками *более чем знакомо: желтая прелесть* — поддайся, и — автомобиль, татары, японские гости[4], далее — Финляндия, или «*нечто*», имеющееся в Финляндии, далее — Гельсингфорс, Азеф, революция — та же всё гамма. Если и живы чем, так:

Змей не виден подводный,
Да и скал не видать[5].

Случай с Сережей[6] ужасно меня застиг, в две недели измучился я Сережей: ведь одна *из преследующих его ныне* идей — лицо восточного человека.

Будем крепки: мы — крепки, потому что мы (это правда) *многое* знаем, чего не знают другие. В *единении знающих — сила*. Единение есть: я несколько фраз Твоего письма прочел в тесном кругу (трех, четырех), собирающихся *только* для передачи «*Летописей Мира*»[7].

Ибо *Мировая История* ныне больше чуется не там, где кричат, а там, где тихонько шепчут у себя в катакомбах.

Я 30-го на 10 дней уезжаю. Адрес: Тверская губерния. Виндавская дорога. Станция Оленино. Имение Бобровка. А. А.* Рачинской. Мне.

Из Бобровки пишу подробно: сейчас то в бегу, то в угаре работы. Из Бобровки будет *все* видней и слышней.

Так пишу.

Кстати: передай, если увидишь Сюннерберга, что статей его *просим и просим*[8].

Сегодня, 26-го, наш с Асенькой юбилей[9]: мы его тихо празднуем. Вспоминали Тебя. В моей личной жизни возвращается что-то от далеких прекрасных годов. Но

* В автографе второй инициал: Н.

угар периода 1903—1908 еще не успокоился. Ася просит Тебе передать свой сердечный привет.

Любящий нежно Борис Бугаев

---

[1] Датируется по упоминанию дня написания в тексте письма. Помета Блока химическим карандашом: «27 XI 1911».

[2] Благодарность за полученную денежную сумму (см. п. 263, примеч. 2).

[3] Видимо, в неизвестном нам письме Блок сообщал Белому, что располагает необходимой для него денежной суммой благодаря получению наследства после кончины отца.

[4] Тот же образный строй нашел отражение в «Петербурге» — в частности, в эпизоде с «именитыми японскими гостями» в автомобиле. См.: Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 100 (Серия «Литературные памятники»).

[5] Цитата из стихотворения Вл. Соловьева «Лишь забудешься днем иль проснешься в полночи...» (1898).

[6] См. п. 259, примеч. 4.

[7] «Из летописей мира» — цикл статей Р. Штейнера, публиковавшихся в 1904—1908 гг. в журнале «Lucifer — Gnosis» («Aus der Akasha-Chronik», 1904—1908). См.: Штейнер Р. Из летописи мира. М., «Духовное знание», 1914; Штайнер Р. Из летописи мира. Калуга, «Духовное познание», 1992.

[8] Предполагается: для публикации в журнале «Труды и Дни».

[9] 26 ноября исполнился год со дня отбытия Белого и А. Тургеневой в совместное заграничное путешествие.

---

265. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<29 ноября 1911. Москва>[1]

Дорогой Саша!

Посылаю Тебе 35 рублей. Итого буду должен тебе 465 рублей[2].

Остаюсь преданный Борис Бугаев

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Записка на отрезном купоне почтового денежного перевода. Помета Блока красным и химическим карандашами: «29 XI 1911».

[2] Ср. дневниковую запись Блока от 1 декабря 1911 г.: «Боря прислал 35 руб. По-видимому, он относится к деньгам с такой же щепетильностью и беспокойством, как в нашей семье» (VII, 98).

---

266. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Начало декабря 1911. Бобровка>[1]

Милый друг!

Пишу Тебе из деревни (адрес до 20 декабря — Московско-Виндавская ж. д., Станция Оленино. Село Бобровка. Имение А. А. Рачинской), где тишина — снег, сосны, и где не раз уже в жизни со мной происходили какие-то благодатные переломы после нервно напряженных дней, и где успокаивается всякая злость, и всякий надрыв разрешается в легкую, музыкальную ноту. Разрешилась и теперь сумятица Москвы (Сережина болезнь, денежные затруднения, незнание, куда деваться от деревенских холодов, неприятности с Брюсовым) — все это разрешилось в ту же легкую музыкальную ноту; и — спокоен, и — веришь в свой долг.

Сюда впервые попал я совершенно растерзанный, с разбитой душой после осени 1908 года и непосредственно разбитый моим скандалом в Кружке[2]; и вдруг — песни из другой оперы: что ни книга, то книга нужная (из старой, огромной библиотеки); здесь опять, по-новому, я стал мистиком, не прежним (не мистическим анархистом — все мы были им!), а новым: в руки попались — хорошие старые книги в кожаных переплетах; здесь впервые столкнулся с астрологией, учился составлять гороскопы[3], встал весь «*Серебр<яный> Голубь*» и прошли в душе *благие голоса*; и дано было предвестие Аси. Здесь же главным образом я работал для себя над ритмом[4]. Здесь окончил «*Голубя*» (через год)[5], здесь учился тем крохам ***практики***, которые мне посчастливилось когда-то выслушать. Здесь впоследствии решительно для меня встала судьба — Ася; здесь была Минцлова; и вот опять здесь — уже с Асей.

Милое место, тихое.

И из этого тихого места хочется Тебе, друг, протянуть руку и сказать: пройдет много лет, много дел совершится, много будет горя, печали, треволнений и радостей, — через много же лет мы протянем друг другу руки: это — будет; тут — теперь не изменится...

Ты удивляешься: я Тебе ничего не пишу о Сереже... Но Сережа — самое мое больное место сейчас. Так это все тяжело, грозно и трудно, что пока он еще не ***окончательно*** здоров, лучше будет действенно думать о нем, и лучше не говорить: ведь сейчас он борется между ***быть и не быть.***

Милый друг, буду Тебе отсюда от времени до времени посылать короткие вести. Не оставляй меня без вестей о Себе.

Ася Тебе кланяется.

Любящий нежно Бор. Бугаев

P. S. Пусть Сюннерберг в журнал присылает статьи. Получил ли Ты 35 рублей[6]? Скоро, по возвращению в Москву, пришлю еще небольшую порцию.

---

[1] Помета Блока химическим карандашом: «Дек. 1911».

[2] Имеется в виду инцидент на заседании Московского Литературно-художественного кружка 27 января 1909 г., посвященном выступлению Вяч. Иванова, которому оппонировал Белый;

на обвинения, прозвучавшие в его адрес, Белый отреагировал оскорбительными словами, обращенными к Ф. Ф. Тищенко («Вы — подлец!»... «Я оскорблю вас действием!»). См.: *О Блоке.* С. 344; *Между двух революций.* С. 233—234. После этого Белый прожил около трех недель в Бобровке (конец февраля — первая половина марта).

3 В мемуарах Белый осмысляет пребывание в Бобровке в 1909 г. как «водораздел двух периодов жизни» (*О Блоке.* С. 345); знаком этого «водораздела» явилось написанное им в Бобровке стихотворение «Наин» («“Наин” — святой иероглиф...»), в котором отразился его опыт в составлении собственного гороскопа (см.: Андрей Белый. Урна. Стихотворения. М., 1909. С. 119).

4 В Бобровке Белый занимался изучением ритмических форм русского четырехстопного ямба; результаты этих исследований нашли отражение в стиховедческих статьях, впервые опубликованных в его книге «Символизм» (М., 1910).

5 Вновь Белый жил в Бобровке с конца ноября до последней декады декабря 1909 года и во второй декаде января 1910 года.

6 См. п. 265.

В я ч е с л а в И в а н о в. Шуточный рисунок Сергея Городецкого. 1900-е годы
Литературный музей Пушкинского Дома

1912

267. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<17 или 18 января 1912. Москва>[1]

Дорогой, близкий друг!

Прости мне мое долгое молчание: оно — вынужденное; я работал, как диавол; в $2^1/_2$ месяца, даже менее (много дней у меня пропало даром: Сережина болезнь, Мусагет) написал около 15 печатных листов[2]; если принять во внимание, что я работаю медленно над прозой, то эта работа невероятна. Можешь себе представить, в каком я сейчас виде! Оттого и не писал.

Теперь же, два-три дня отдыхаю: но отдых не в отдых. «*Р<усская> М<ысль>*» ввиду того, что я не представил конца романа, отказалась мне дать хотя бы что-нибудь. У меня даже нет сил возмущаться: это поступок, которому нет названия; теперь, из Москвы, воюю со Струве, требую, чтобы он заплатил мне хотя бы долг, в который меня ввела «*Р<усская> М<ысль>*» (разумею Твои 500 рублей); я, конечно, не говорю, у кого я брал, но утверждаю, что они меня поставленным условием лишили на 3 месяца возможности где бы то ни было искать заработка и, следовательно, юридически будучи правы, нравственно обязаны мне заплатить, я не представил конца романа не потому, что я ленился, а потому, что роман разросся; я обещал 12 печатных листов (и весь роман); дал же около 15-ти листов (но окончание не готово); прошу отсрочки на 3 месяца и обязуюсь в 3 месяца закончить; их же прошу оплатить мне представленную часть рукописи.

Ответ «*Русской Мысли*»: никакого аванса до окончания романа. Ну не жиды ли? И на этот раз это не Брюсов, а Струве. Ведь писателю после этого остается кричать *караул*! Подумай: три месяца я живу надеждой на роман; существую в долг и думаю, что только бы натянуть на 10 печ<атных> листов; пишу не 10, а 15. Радостно несу рукопись; и ответ: Вы не выполнили условия и, как бы, договор разрывается.

Что я могу предпринять?

Кричать об этом, протестовать — но ведь я всем известный скандалист.

Вот он — путь не продавшегося жидам писателя!

Пишу это, милый, чтобы, во-первых, пожаловаться (вчера Брюсов мне преподнес этот сюрприз — и даже кровь бросилась в голову: весь день пролежал в мигрени, так было обидно); во-вторых, пишу для того, чтобы объяснить Тебе, почему я не выплачиваю Тебе часть долга; по моим расчетам я бы мог Тебе выплатить значительную часть долга на *сумму* помимо гонорара «*Р<усской> М<ысли>*», а теперь на эту сумму приходится жить[3].

Извини меня, милый друг: придется еще повременить; если война моя со Струве (ему пишет и Булгаков) окончится в мою пользу, я Тебе смог бы на этих же днях вернуть часть долга. А теперь, пока, не могу.

Но довольно о гадостях.

Мы с женой рассчитывали в этих числах быть в Петербурге, чтобы лично мне поговорить с Тобой и Ивановым по делам «*Трудов и Дней*», выходящих уже в начале февраля (№ 1-ый набирается уже). В письме все равно не договориться, а разговор с Тобой и Ивановым у меня сериозный, деловой, от которого зависит все мое отношение к журналу, ибо без поддержки с Вашей стороны журнал неизбежно свалится в сторону «*Логоса*», и конечно для меня станет не своим, родным.

Да вот Струве подвел — и теперь не знаю, попадем ли в Петербург[4]. Хотелось бы кроме всего еще организовать петербургский состав сотрудников.

Кстати о Сюннерберге: безумно длинна его статья; я бы за нее не прочь (не ах какая, но почтенная, вдумчивая), но подумай: ведь у нас же тип карликового, *лапидарного* журнала, *лапидарного* и в интимном, и в официальном отделе. В статье же Сюннерберга чуть не 40 страниц[5].

Посуди сам, что с ней делать? Я еще о нем подумаю.

Все-таки, может быть, как-нибудь попаду.

В надежде с Тобой лично видеться и говорить и под прессом работы я и не писал.

Милый друг, спасибо за книгу о Твоем отце[6]: я ее читаю; книги же для рецензии передал в «*Логос*», и они обещали непременно в ближайшем № дать отчет[7].

Что сказать?

Трепетно слушаю 12-й год, а пока — ничего. На поверхности много всяких гадостей, а внутри как-то стало яснее и чище.

Ах Саша, Саша — как многое у меня скопилось теперь к Тебе не делового: откладываю до свидания. Думаю все же увидеться.

Остаюсь близко любящим Тебя

Борис Бугаев

P. S. От Аси привет. Читаю Тебя. Ничего ведь выглядит *2 часть* Собрания Стихов[8]. А издание наше «*Ночных Часов*» менее (даже вовсе не нравится)[9].

О «*Ночных Часах*» хочу долго и много с Тобой говорить; в письме не напишешь.

---

[1] Датируется на основании дневниковой записи Блока от 20 января 1912 г.: «Письмо <...> вчера от Бори» (VII, 126). Помета Блока химическим карандашом: «I 1912».

[2] Речь идет о начальных главах романа, позднее получившего заглавие «Петербург». 10 января 1912 г. Белый писал Брюсову: «...моя порция романа “Злые тени” готова; задержка лишь за ремингтоном, который может опоздать и быть готовым 14-го, 15-го. Итак 15-го или 16-го числа я очень хотел бы видеться с Вами, чтобы лично Вам передать роман. Оконченная порция представляет собой около 13 печатных листов ($12^1/_2$ приблизительно); состоит из четырех очень больших глав (три последние представлю до апреля—мая, чтобы к моменту предполагаемого печатания у Вас весь роман был на руках») (Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 425).

[3] Описываемые Белым обстоятельства скрывали под собой решительное нежелание П. Б. Струве, ознакомившегося с представленной в «Русскую Мысль» рукописью начальных глав романа, печатать его в журнале. Брюсов пытался уговорить Струве (в одном из писем к нему) санкционировать публикацию романа: «Достоинства у романа есть бесспорные. Все же ***новый роман*** *Белого* есть некоторое событие в литературе, интересное само по себе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны», и т. д. (опубликовано в статье И. Г. Ямпольского «Валерий Брюсов о “Петербурге” Андрея Белого» // Ямпольский И. Поэты и прозаики. Л., 1986. С. 349; см. также: Черников И. Н. В. Я. Брюсов и творческая история романа А. Белого «Петербург» // Брюсовские чтения 1983 года. Ереван, 1985. С. 206—213). 2 февраля 1912 г. Струве информировал Брюсова: «...относительно романа Белого я пришел к совершенно категорическому *отрицательному* решению. Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. Я уже уведомил Белого о своем решении <...>. Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от печатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной» (ИРЛИ. Ф. 444. Ед. хр. 65). См. также: *Между двух революций.* С. 437—440. Причины, которые могли побудить Струве к принятию такого решения, анализируются в статье М. А. Колерова «Почему П. Б. Струве отказался печатать “Петербург” А. Белого» (De Visu. 1994. № 5/6. С. 86—88).

[4] Белый и А. Тургенева приехали в Петербург 21 января 1912 г., остановились у Вяч. Иванова.

[5] Статья Конст. Эрберга (К. А. Сюннерберга) «Искусство — вожатый» была опубликована в «Трудах и Днях» (1912. № 3. С. 10—17) — явно в сокращенном объеме по сравнению с тем, о котором говорит Белый.

[6] Имеется в виду книга Е. Спекторского «Александр Львович Блок, государствовед и философ» (Варшава, 1911). 7 декабря 1911 г. Блок (согласно его дневниковой записи) получил «от Спекторского — 25 экземпляров его брошюры об отце» (VII, 101); в письме к Е. В. Спекторскому от 12 декабря 1911 г. Блок сообщил, что роздал часть экземпляров книги и несколько экземпляров разослал на отзывы (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 307).

[7] В журнале «Логос» рецензия на книгу Спекторского не появилась.

[8] Имеется в виду книга Блока «Собрание стихотворений. Кн. 2. Нечаянная Радость (1904—1906)» (М., «Мусагет», 1912), вышедшая в свет в середине декабря 1911 года.

[9] Книга Блока «Ночные часы. Четвертый сборник стихов» (М., «Мусагет», 1911) вышла в свет в конце октября 1911 года.

---

268. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<21 января 1912. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

Сегодня приехали с женой. Есть у меня, помимо желания Тебя видеть, и еще многое.

Ужасно хотели бы Тебя видеть, но не знаю, где встретиться.

Будем сегодня часа в 3 у Вячеслава. Посылаю письмо с посыльным. Не хочешь ли встретиться 1) сегодня у Вячеслава часов от 3, 4 и далее. 2) Или вместе позавтракать в «*Вене*»[2] завтра, в воскресенье 22-го часа в 2.

Если Ты дома, то напиши письмо и пошли моего рассыльного к Вячеславу от 3 часов.

Не даю нашего адреса, ибо и сам его точно не знаю: нас сегодня возили по Петербургу 2 часа, и нигде ни одного свободного номера; наконец, завезли куда-то на угол Садовой и Вознесенского: только и помню. При первом удобном случае переедем[3].

Остаюсь искренне преданный и любящий

Б. Бугаев

Р. S. От жены привет.

---

[1] Пометы Блока красным карандашом: «СПб. I 1912»; «21 января 1912». 21 января 1912 г. Блок записал в дневнике: «Неожиданно утром — письмо от Бори, приехавшего с женой. Пишу ему, что я болен, никуда не выхожу, может быть, через несколько дней...» (VII, 126). Ответное письмо Блока нам не известно.

[2] Ресторан на углу Малой Морской ул. (ул. Гоголя) и Гороховой ул., популярный в литературной и артистической среде.

[3] О первом дне пребывания в Петербурге зимой 1912 г. Белый вспоминает: «В январе в тридцатиградусный колкий мороз мы приехали в Петербург; отправились тотчас на “*башню*” Иванова и оттуда поехали за вещами: в гостиницу, потому что Иванов с пленительным гостеприимством, которому противостоять невозможно, перетащил-таки нас; мы на “*башне*” и зажили» (*О Блоке*. С. 380). Белый и А. Тургенева прожили в квартире Иванова до конца февраля 1912 г.

---

269. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<25 января 1912. Петербург>[1]

Дорогой Саша,

как Твое здоровье? Неужели мы не увидимся? Мне надо с Тобой видеться хотя бы *деловым образом*; пойми, без Твоего внутреннего касания журнала меняется самая структура его. Смущать Твоей тишины не хочу; полагаю, что *деловой* разговор

никак Тебя не заденет. Итак: в случае Твоего невыхода из дому мог бы к *Тебе* приехать на час-два. Уезжаю 30-го. Остается несколько дней. И как увидеться?[2]

Остаюсь нежно любящий Б. Бугаев

Адрес: Таврическая 25. Кв. В. И. Иванова.

---

[1] Открытка. Датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «I 1912».

[2] Ср. мемуарные свидетельства Белого: «...первые же вопросы мои, обращенные к В. Иванову, обращалися к Блоку: что он, и — можно ли его видеть? Иванов сказал, что Блок пробегает обычную полосу мрачности (полосы эти порой на него нападали); он де затворился от всех, никого не пускает к себе; его видеть — нельзя» (*О Блоке.* С. 381).

---

270. БЛОК – БЕЛОМУ

<25 января 1912. Петербург>[1]

М<илый> Б<оря>. Я лежу в пост<ели> совс<ем> больн<ой> и не могу вид<еть> Тебя. Мое письмо разошл<ось> с Т<воим>, это мне более чем дос<адно>[2]. Если бы я и был здор<ов>, я сейчас не владею собой, мог бы видеть Т<ебя> только совсем отдельно и особенно без *Вячеслава Ив<анова>*, кот<орого> я люблю, но от котор<ого> далек.

Вы сейч<ас> обсужд<аете> журнал. Я менее, чем когда-либо, подготовл<ен> к ж<урнал>у. Быть сотрудн<иком>, присл<ать> статью я могу. Но я *один*, измучен, и особенно боюсь *трио* (с В<ячеславом> И<вановым>). Впрочем, я многого боюсь, я — *один*.

В письме в Москву я Т<ебе> писал, почему мне страшно увид<еться> *даже с Тобой одним*, если бы я б<ыл> здор<ов>. Кр<оме> того, пис<ал>, что нахожусь под знак<ом> Стриндберга[3].

В осеннем письме, кот<орого> Ты не получ<ил>, я писал, что мне доступнее всего *второй* отдел[4]. Он наиболее *вне* литер<атуры>. Я продолжаю писать очень мало, однако; но и сквозь тяжелое равнодушие, кот<орое> мной овладело эти дни, постараюсь написать. Потом будет виднее.

Главное, что я могу сказ<ать> Т<ебе> сейчас — неравнод<ушно>, — это о том, что *Пяст*, по-моему, нужнейшее лицо в этом журн<але>[5]. Пишу Т<ебе> сухо *поневоле*, п<отому> ч<то> Ты будешь чит<ать> письмо *вне* моего круга — в доме В<ячеслава> И<ванова>. Прошу Тебя, оставь *для меня* Твой след в П<етер>б<ур>г<е>; это еще прич<ина>, по кот<орой> я хот<ел> бы, чтобы Т<ы> увиделся с П<ястом>[6]. Через него Ты коснешься моего круга, что важно нам об<оим>. Атм<осфера> В<ячеслава> И<ванова> сейчас для меня немыслима.

Адрес П<яста>.

Люб<ящий> Т<ебя> А. Б<лок>

---

[1] Ответ на п. 269. Текст публикуется по черновому автографу в дневнике Блока (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 314. Л. 11 об.—12; см.: Дневник Ал. Блока, 1911—1913. Под ред. П. Н.

Медведева. Л., 1928. С. 79—80; Блок А. Дневник. Подготовка текста, вступ. статья и примечания А. Л. Гришунина. М., 1989. С. 110—111). Беловой автограф письма, отправленный адресату, вероятно, не сохранился. 25 января Блок отметил в дневнике: «Мой сегодняшний ответ Боре:» (VII, 126); далее — публикуемый текст.

2 Вероятно, неизвестное нам письмо, отправленное в Москву в ответ на п. 267.

3 Ср. дневниковые записи Блока: «Вчера на ночь читал "Ад" Стриндберга. <...> Днем лежу, дочитываю "Ад" <...>» (17 января 1912 г.); «Утром в "Русском слове" — о юбилее Стриндберга» (18 января 1912 г.); 19 января Блок записал в дневник фрагмент своего письма к Н. Н. Скворцовой, содержащий признание: «Для того чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен <...>, прочтите трилогию Стриндберга ("Исповедь глупца", "Сын служанки" и "*Ад*")» (VII, 124, 125). Подробнее о восприятии Блоком Стриндберга см.: Шарыпкин Д. М. Скандинавская литература в России. Л., 1980. С. 267—270; Шарыпкин Д. Блок и Стриндберг // Вестник Ленинградского университета. 1963. № 2. Серия истории, языка и литературы. Вып. 1. С. 82—91; Нильссон Н. О. Стриндберг, Горький и Блок // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. М., 1962. Т. 1. С. 413—414; *ЛН. Т. 92. Кн. 5.* С. 402—424 (статья Вяч. Вс. Иванова «Блок и Стриндберг»; Письмо Фредерики А. Стриндберг Блоку / Публикация К. Н. Суворовой; Из воспоминаний дочери А. Стриндберга Карин Смирновой / Предисловие, публикация и примечания А. Е. Парниса и М. Юнгренна).

4 См. п. 256; п. 257, примеч. 4.

5 О сближении Блока с Вл. Пястом в 1911—1912 гг. (в частности, на почве общего интереса к творчеству Стриндберга) см. во вступительной статье З. Г. Минц к их переписке (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 182—190).

6 О встрече с Белым Пяст сообщил Блоку в письме от 15 февраля 1912 г.: «Очень кланяется, целует он Вас» (Там же. С. 212). Ср. «Воспоминания о Блоке» Белого: «Увидевши Пяста, вполне получил подтверждение, что А. А. — очень мрачен, недомогает, и — затворился от всех (впрочем, с ним, с В. А. Пястом, встречался он изредка) <...>» (*О Блоке.* С. 382).

---

271. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<6 февраля 1912. Петербург>[1]

Милый, милый Саша,

нарочно не писал Тебе эти дни.

Ты пишешь, что — один, один.

Милый друг, мы *все* — одни. Самое чувство одиночества, *такого* одиночества, какое Ты испытываешь, есть уже светлая весть.

Мир не приемлет Тебя: мать земля расступается, и Тебе кажется, что Ты проваливаешься. О, поскорей бы мы все вывалились из культуры, из всего, из чего только можно вывалиться.

Только тогда образуется *катакомба*, о которой все что-то грезится.

Верю в Тебя, и все-таки, хоть и один Ты, протягиваю руки. Пусть Тебе кажется, что Ты один, *а я* скажу — я с Тобой. Хочешь или не хочешь. Я где-то рядом, хотя Ты меня можешь не видеть и не слышать.

О Стриндберге. Ты, конечно, разумеешь *Inferno*. Когда я читал *Inferno*, то я был глубоко потрясен *своим, родным* страданием. И была мне радость в том, что вот не один... И Стриндберг — *то же*[2].

Разве от этого не легче.

И будет все хуже и хуже. И Европа провалится: будет потоп. И чего же хорошего ждать. Ройте скорей катакомбы — стройте Ноев ковчег.

Аминь.

Целую братски, бесконечно нежно любящий

Боря

Ася приветствует. Уезжаю в среду вечером[3].

---

[1] Ответ на п. 270. Помета Блока химическим карандашом: «в СПб. 6 февр. 1912 — ответ. в этот же день». Ответное письмо Блока нам неизвестно.

[2] Речь идет о романе Стриндберга «Ад» («Inferno», 1897; Блок знакомился с ним по изданию: Стриндберг А. Полн. собр. соч. Т. 2. Ад. М., «Современные проблемы», 1909; см.: *Библиотека Блока, 2.* С. 292); см. примеч. 3 к п. 270. В оккультных переживаниях и восприятиях автобиографического героя «Inferno» мир предстает как враждебная среда, как скопище тайных и невидимых сил зла, мучащих его и преследующих. В речи памяти Блока, произнесенной на 83-м открытом заседании Вольной Философской Ассоциации 28 августа 1921 г., Белый отмечал: «Александр Александрович субъективно чувствует ноты, о которых нам так несравненно рассказал Стриндберг в "Инферно", "Шхерах" и других произведениях» (*О Блоке.* С. 493). 30 января 1912 г. Белый писал Э. К. Метнеру: «...Блока еще не видел, с ним творится нечто странное: он болен — но вообще его *нельзя* видеть. Все изумляются, сам же Блок мне пишет, что он понял Стриндберга и под его знаком (разумею inferno). Значит, *его преследуют*; это страшно, опасно для Блока, боюсь за него <...>» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 391).

[3] Среда — 8 февраля. Белый и А. Тургенева уехали из Петербурга 28 или 29 февраля.

---

272. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<24 февраля 1912. Петербург>[1]

Милый! До какой степени я счастлив, что видел Тебя[2]! До какой степени я счастлив, что Ты был со мной так прост и прям. Знаешь ли — что Ты для меня? Если Ты погибнешь, я отказываюсь от спасения. Ты — богоданный нам, вещий поэт всей России — первый среди поэтов! Только Тебе я мог сказать то, *что сказал.* И Ты сохранишь слова мои в Тайне, даже от *ближних* Твоих. Милый, спасибо за все. Милый — глубокое удовлетворение для меня от нашей встречи. Знай, что наш журнал хотел бы *ждать* от Тебя директив. Но если Ты, первый поэт земли русской, не хочешь быть фактическим редактором[3], мы приемлем Тебя отрешенным. Ибо я, Метнер, Петровский, Киселев считаем тебя *первым* поэтом земли русской. Милый: знай, что Тебя у нас *реально* любят. Милый! Спасибо! Христос с Тобой. Пиши нам, если пишется. Привет дружеский Любови Дмитриевне. Моя жена ее любит.

Боря

[1] Открытка; датируется по почтовому штемпелю. Помета Блока красным карандашом: «II 1912».

[2] Написано непосредственно после встречи с Блоком в ресторане Лейнера. 24 февраля Блок сообщал матери: «... сегодня мы целый день провели с Борей»; на следующий день — ей же: «Сегодня я получил от Бори еще письмо. Мы говорили вчера 6 часов» (*Письма к родным, II.* С. 190, 193). 26 февраля Блок записал в дневнике: «24-го весь день провел с *Борей* (у Лейнера). Облик Бори, впечатление от него и от его слов. Очень важное сообщение» (VII, 129). В «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» Белый свидетельствует: «Помню <...> одну незабвенную встречу с А. А. в феврале двенадцатого года <...> когда мы с женой жили в Петербурге у В. И. Иванова, на "башне". А. А. не виделся в ту пору ни с кем решительно, и особенно трудна была ему атмосфера "башни". С В. И. он почему-то не хотел встречаться. И я не хотел смущать его покоя, но он сам уведомил меня запиской, которую мне передали тайно от В. И., что он желает меня видеть, но просит сохранить наше свидание в тайне, дабы не обидеть друзей, с которыми он не видится. Он мне назначил свидание, не помню где, кажется в каком-то третьеразрядном, глухом, никем не посещаемом ресторанчике. И тут мы встретились и провели несколько часов вместе. Этот наш разговор, редкий, но меткий, как все наши встречи этого периода, мне показал, какого друга я имею в лице А. А. Помню, я ему рассказал все обстоятельства моей так странно складывающейся жизни и все события, бывшие со мной за период от девятого до двенадцатого года, события, определившие мою встречу с Штейнером в мае двенадцатого года. Он слушал меня молча, сосредоточенно, хотя оформление моего пути было чуждо ему. Однако, ядро моих недоумений и запросов было ему и приятно, и близко. До позднего вечера просидели мы с ним и, как заговорщики, разошлись в разные стороны желто-туманной, слякотной февральской улицы. Мы ясно пожали тогда друг другу руки, как "дети России", именно, "как дети страшных лет". Мой скорый после того приход к антропософии, ему чуждой, он понял для меня и за меня, но нисколько не удивился ему, — он был подготовлен к нему теми нашими разговорами» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 120—121). Подробное описание встречи Белый дал в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке.* С. 382—391).

[3] Вероятно, в ходе беседы с Белым Блок сообщил о своем решении не заниматься редакторской работой в «Трудах и Днях».

273. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<8 или 9 марта 1912. Москва>[1]

Милый, дорогой, бесконечно близкий!

Только сейчас после возвращения из Петербурга немного пришел в себя. Москва навалилась множеством неприятностей, и я десять дней только и делал, что распутывал узлы. Бесконечно Ты прав, избегая людей. Редко люди умеют друг другу дарить свою душу: обычно же они требуют себе душу близких. Так и в Москве: в Петербурге мы с Асей вращались среди людей, как иноземцы; и несмотря на всю суету умели сохранять себя; а за десять дней жизни в Москве я совершенно измучился, ибо слишком много людей здесь связаны какою-то роковою цепью; и поскольку сейчас приходится больше отзываться на *темное*, поскольку всюду видишь ряд нападений, постольку общая наша *московская* друг с другом связь в какой-то никому лично не принадлежащей истерике, где источника истерики нет, а всё только проявления: уберечься от этого невозможно.

Милый, вспоминаю нашу встречу светло, светло — радостно, радостно: пусть будет и впредь — так.

Едва я приехал, как мне подвалили груду корректур, ряд деловых совещаний, ревизия «*Мусагета*», сложности в отношении между Кожеб<аткиным> и «*Логосом*», обиду *Логосов* за наш *coup d'état** с журналом[2] (первый № выходит через два дня; второй — через две недели); сложности между 1) «*Мусагетом*» и «*Путем*», 2) Рачинским и Метнером, 3) Метнером и «*Домом Песни*»[3] и т. д. и т. д. + еще ряд печальных известий. Во все это пришлось тотчас войти — нет: бежать, бежать, бежать!

Между прочим: передай Александре Андреевне, что пишу ей, что 1) спасибо за хороших несколько слов[4], 2) что хотел ей тотчас ответить, но не мог до Москвы, 3) что в Москве закружился, 4) что в довершение всего потерял ее адрес. Милый, напиши мне адрес Александры Андреевны.

Чтоб покончить с внешне-деловым, скажу о журнале, что мы от Тебя ждем для второго номера. Номер первый выходит в таком составе на днях:

I отдел. Слово от редакции. *В. Иванов*: Мысли о символизме. *А. Белый*: О символизме. *Пяст*: О внутреннем каноне. *Вольфинг*: Лист. *Кузмин*: Cor ardens[5].

II отдел. Метнер: «*Мусагет*». В. Иванов: «*Орфей*». А. Белый: «*Орфей*». Ф. Степпун: «*Логос*». Ophis. Об идее. Cunctator. О журавлях и синице.

Содержание второго №:

I. *Алекс<андр> Блок*. Бальмонт и польская душа[6]. *А. Белый*. О символизме. *Вольфинг*. Об элементах в музыке. *Недоброво*. О метре и ритме. Бугаев. «Ночные часы» А. Блока[7]. В. Иванов. Критика.

II. *М. Сизов*. Культура. *Ф. Степпун*. Философия тосканского пейзажа. *А. Белый*. Нечто о мистике. *Б. Яковенко*. Прагматизм. *Cunctator*. Диалог. (И если хватит места) Б. Садовской. О городе и деревне (диалог)[8].

Предполагаемое содержание третьего, осеннего, номера (выйдет к 1-му сентябрю, 4-ый — в октябре, 5 — в ноябре, 6-ой — в декабре):

1) *Нужен непременно А. Блок,* А. Белый и В. Иванов — дадут среди лета. Вольфинг — даст. Сюннерберг. *Искусство вожатый* (есть)[9]. В. Иванов. Критика.

2) В. Иванов «*Дикие колосья*» (дописываются)[10]. Ophis. Платонизм эпохи возрождения (есть). Яковенко (пишет). Хорошо бы Блока. Cunctator. Диалог (есть). Н. П. Киселев. О книге (пишется). Неллендер. Обзор орфической литературы (есть). Вот предполагаемое содержание 3-го номера[11].

Теперь: милый, видишь, до чего сию минуту нам важно иметь Твою статью не потому, что без нее не будет у нас материала, а потому, что ближайший участник, если он не будет во 2-ом номере, то нам будет горько. Итак: условия таковы, что статью ждем со дня на день: милый, не оставь нас. Если же у Тебя нет ни вышепомеченной статьи («*Бальмонт и польская душа*»), ни другой какой-нибудь, что ж делать: с горечью мы Тебя напечатаем в 3 номере (осенью). *Это не у меня горечь*, а у всех нас, *мусагетцев*.

Но, милый, к третьему № уже Ты дай непременно. Теперь: личная просьба — поговори с Пястом, уговори его за лето приготовить нам статью — какую, это ему будет виднее: через Тебя Пяст *входит к нам*: он — наш; и потому-то, если он напишет, то мы его печатаем осенью. Передай и мою горячую просьбу ему, чтобы он *написал*[12].

Теперь: спрашиваю Твоего совета. Раз Яковенко нам становится ближе (внутренно, вопреки гносеологизму и «*Логосу*», он — наш), то нельзя ли просить С. Н. Булгакова дать маленькую статейку во 2-ой отдел (о культуре), как и Н. А. Бердяева[13].

---

* Государственный переворот (*фр.*).

В обмене мнений по вопросу о культуре точка зрения «*Пути*» должна быть представлена, раз представляются точки зрения: 1) «*Мусагета*», 2) в частности — наша, русская, 3) логосовская. Но не хочу приглашать без Твоего мнения по этому поводу. Конечно Булгако-Бердяев = *Булдяев* будет в минимальном виде, как и Гессякенко (Гессен + Яковенко). Они — рама в картине журнала, которого ядро — Ты, я, Иванов, т. е. первый отдел.

Пояснения. *Cunctator* — я; *Ophis*— молодой, прекрасный философ, оставл<енный> при Университете и вплотную подошедший к оккультизму: знаток Плотина, Филона и гностиков. Фамилия его — Топорков. Не суди его по плохим рассказикам и по «*Золотому Руну*». У нас он представлен философски нам близко и сериозно.

Убеждаюсь все больше: *журнал имеет смысл*, ибо задача его: взаимное ознакомление и сближение *немногих* Москвы и Петербурга. Этими немногими в Петербурге считаю: Тебя, Вячеслава, Пяста, Скалдина, может быть, Недоброво, может быть, Сюннерберга, Аничкова. В Москве: Метнер, Яковенко, Топорков, я, Киселев, Петровский, Рачинский — может быть, Булгаков. И еще, кажется, намечается один человек: Дурылин. Вот, кажется, все.

Считаю нужным Тебе все это вкратце сказать, чтобы Ты был *au courant**. Очень важны Твои характеристики мной отмеченных петербуржцев. Если я кого-нибудь пропустил, то дополни мой список. Вообще, что Ты думаешь?

Да, Саша, милый: может быть, Ты бы захотел для 3 номера дать свои мысли о Стриндберге. Стриндберг нам близок *очень* и *очень*. Если можешь, скажи о нем: ведь первый отдел допускает *все*. И не прозвучат, верь, всуе Твои слова[14].

Милый, как в глубине души поет весна; и какая-то чуется мне свобода; и хочется: Тебя по-детски поцеловать, обнять и сказать: «Будет, будет: неспроста мы маялись, неспроста будем мы маяться и впредь». Пишу Тебе через великую усталость, от множества треволнений и огорчений: *ведь небо над нами*; и слова небес — те же. И зори — каждый вечер бывает заря. О, милый!

Саша... Как писать Тебе... Мне трудно: ужасно трудно...

Но прежде вот что, чтобы Ты понял, в чем суть.

«Русская Мысль» надула[15]. Разговоры с Аничковым о новом журнале[16] обусловили то, что я дал слово Вячеславу не решать с романом до 1) разговора с Метнером *en trois***, 2) я отклонил реальные разговоры a) с Евг<ением> Ляцким[17], b) «*Шиповником*», c) «*Группой писателей*»[18]. Метнер сказал, что для нового журнала достанет деньги к концу 1912 года. Иванов просил Метнера обеспечить меня, чтобы я мог роман мой дописывать с совершенным спокойствием и дать его в наш будущий общий журнал (не «*Труды и дни*»). Редакция бы тогда заплатила бы «*Мусагету*». Метнер обещал. Я разорвал все разговоры согласно товарищескому слову,

* В курсе (*фр.*).
** Втроем (*фр.*)

данному Иванову (как будущий член редакции члену редакции). Приезжаю в Москву — сюрприз: Метнер говорит, что 1) денег не будет (журнал пролетает), 2) *Мусагет* получил до сентября вдвое меньше, чем ждал, и не может дать аванса под роман, который в 1913 году печатается. Между тем: 1) работать в Москве нельзя, 2) Ася уже дала слово учителю[19], который ее ждет (она страшно горюет). Ко мне на помощь приходит «*Путь*», заказывая монографию (большую)[20] и дает в рассрочку аванс; но только с середины апреля; на этот аванс можно жить, но нельзя уехать. И мы обречены: безумствовать в Москве, ибо ехать на Волынь[21] неудобно сейчас, а в Бобровку сейчас нам нельзя (все это сложности, о которых долго писать).

Милый: я 5 дней был в отчаянии: жить вдвоем в комнатке, пространство которой 4 шага[22], где 2 постели, два стола, гравировальные принадлежности, вещи, одежа, книги, груды своих и чужих рукописей, в вечном притоке людей (ходят ко мне — мои, к Асе — Асины, к Поццо — его, Наташе — ее и т. д.) — с утра до вечера рой людей + московская неразбериха, сложности, *Мусагет* — ну как тут работать; между тем переговоры о романе я могу вести (надо заново начать его устраивать) лишь по окончанию; на окончание надо 3 месяца. Бельгия для меня стала символом моей трудовой кельи, для Аси — символом окончанья ее образования у Данса (ей осталось два месяца); и вот все — рухнуло: мы уехать не можем: арестованы.

Голубчик, я поручаю здесь заложить имение[23]: которое закладываю за 7 тысяч (Недоброво навел соответств<ующие> справки, указал учреждения, и к осени я получаю залог в 7 тысяч: это — точно). Тогда — расплачиваюсь с *Мусагетом* (3 тысячи), с Тобой и спокойно продаю имение, не торопясь пристраиваю роман и т. д.

Милый, а пока: до осени, к стыду своему, обращаюсь к Тебе с просьбой (да останется она до осени между нами): хочу занять у Тебя в *последний раз* 350 рублей. Вот для чего: чтобы уехать и приехать; на житье минимум будет, а на проезд нет. А ужасно: из-за 350 рублей протомиться $2^1/_2$ месяца бесцельно, глупо, без работы, лишить Асю возможности окончить худ<ожественное> образование и все прочее.

Милый, ответь: если не можешь выслать, ответь просто: не могу; если можешь, глубокое спасибо — и мы освобождены от сутолоки до осени (из Бельгии вернемся на Волынь). Я Тебе оттого пишу так просто, что знаю, что имение заложено — *будет*. Но на всю канитель уйдет месяца 3—4. Я здесь поручаю дело адвокату. Сведения о залоге — верные. И потому знаю, что занимаю до осени; и как только получаю залог, выплачиваю сразу Тебе все деньги. Милый, ответь же: если можешь, мы сразу же берем заграничные паспорта.

Ну, Христос с Тобой, жду ответа, милый. Не стесняйся отказом: *пойму все*. Целую.

Твой Боря

---

[1] Датируется на основании пометы Блока химическим карандашом: «Получ. 10 марта 1912».

[2] Подразумевается, видимо, фактическое отстранение «логосцев» от активного участия в «Трудах и Днях», осуществленное по инициативе Белого (который писал Э. К. Метнеру из Петербурга в середине февраля 1912 г. в связи с задержкой выхода 1-го номера): «...предстоит

выбор: между Ивановым и Гессеном — Яковенко. И альтернатива: если программный № будет такой, Иванов и Блок писать не станут, и мы обречены все время пробавляться логосовцами; если передвинуть центр первого №, Иванов душой и *пером* — наш навсегда, а Гессен и Яковенко *все-таки будут*, но не в столь густом виде» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 394). См.: Безродный М. В. Из истории русского неокантианства (журнал «Логос» и его редакторы) // Лица. Биографический альманах. Вып. 1. М.—СПб., 1992. С. 388—389.

3 «Дом Песни» — организованный в Москве в 1908 г. П. д'Альгеймом и М. А. Олениной-д'Альгейм центр концертно-лекционной пропаганды новых идей в музыке (о деятельности этого объединения дает представление газета «Дом Песни», выходившая в Москве в 1910—1911 гг. два раза в месяц). Подробнее см.: *Начало века.* С. 425—443.

4 Письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух Белому, относящееся к этому времени, нам не известно. Ср. сообщение в письме Блока к матери от 25 февраля 1912 г.: «Боря говорил, между прочим, что он в религ<иозно>-филос<офском> собр<ании> сам хотел к тебе подойти, но не знал, как ты отнесешься, и был очень рад, когда ты пришла к нему на лекции» (*Письма к родным, II.* С. 193. Вероятно, имеется в виду лекция Белого «Современный человек», прочитанная в Петербурге 23 февраля в большой аудитории Соляного городка).

5 Заглавие статьи Вл. Пяста в № 1 «Трудов и Дней» — «Нечто о каноне»; рецензия М. Кузмина «"Cor ardens" Вячеслава Иванова» была опубликована там же в сокращенном виде, см. новейшую ее публикацию по рукописи с комментарием: Богомолов Н. А. Русская литература первой трети XX века. Портреты. Проблемы. Разыскания. Томск, 1999. С. 502—513.

6 Вместо этой статьи в «Трудах и Днях» (1912. № 2) была помещена статья Блока «От Ибсена к Стриндбергу». С речью на тему «Бальмонт и польская душа» Блок предполагал выступить в петербургском Неофилологическом обществе на заседании 11 марта 1912 г., посвященном 25-летию литературной деятельности Бальмонта; в протоколе заседания указано, что речь Блока «не могла быть произнесена по нездоровью» (Записки Неофилологического общества. Вып. VII. СПб., 1914. С. 56; ср. дневниковую запись Блока от 5 марта: VII, 131), — однако она и написана не была.

7 Статью о четвертом сборнике стихов Блока «Ночные часы» Белый не написал.

8 Из перечисленных авторов в № 2 «Трудов и Дней» участвовали: А. Блок (см. выше, примеч. 6), Андрей Белый («О символизме», «Нечто о мистике»; под псевдонимом Cunctator — «О двойной истине»), Вольфинг (Э. К. Метнер) («Инвективы на музыкальную современность», «Маленький юбилей одной "странной" книги»), Н. В. Недоброво («Ритм, метр и их взаимоотношение», «Общество ревнителей художественного слова»), Ф. А. Степпун («К феноменологии ландшафта»), Б. В. Яковенко («О сущности прагматизма»), Б. Садовской («Жизнь и поэзия»).

9 См. примеч. 5 к п. 267.

10 Статья Вяч. Иванова под таким заглавием в «Трудах и Днях» не появилась. 30 января 1912 г. Белый писал Э. К. Метнеру об Иванове: «...для нас он начал статью "*Степные колосья*", отрывки из которой читал: эти отрывки — *лучшее из всего, что я знаю*: лучше его предыдущих статей» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 390). Статья «Дикие колосья» не была завершена автором; опубликован ее план (см.: Обатнин Г. В. Из материалов Вячеслава Иванова в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 43—44).

11 Из перечисленных авторов в № 3 «Трудов и Дней» участвовали лишь Андрей Белый (Cunctator) («Метафизика»), Вольфинг (Э. К. Метнер) («Инвективы на музыкальную современность»), Конст. Эрберг (Сюннерберг) с указанной статьей, А. К. Топорков (Ophis) («Логика и риторика» — под псевдонимом Югурта).

12 Запрашиваемой статьи Пяст в «Труды и Дни» не представил.

13 С. Н. Булгаков в «Трудах и Днях» не участвовал, Н. А. Бердяев опубликовал в 8-й (последней) тетради «Трудов и Дней» (1916) статью «Гносеологические размышления об оккультизме».

14 В конце мая 1912 г. в перечне своих замыслов («Что должно быть сделано») Блок указал: «Стриндберг — для "Трудов и дней" (к августу)» (VII, 147), — однако намерение написать эту статью не было реализовано.

[15] См. примеч. 3 к п. 267.

[16] Во время пребывания Белого в Петербурге в конце января—феврале 1912 г. возник проект издания нового журнала, в котором был бы опубликован его роман. В воспоминаниях Белый сообщает: «... ставший бардом “Петербурга” Е. В. Аничков и Вячеслав Иванов настаивают: роман — богатейшее приобретение для нужного петербуржцам журнала; Аничков берется достать несколько тысяч; и вызывает спешно Метнера в Петербург; если он пожертвует несколько тысяч рублей со своей стороны, то средства для журнала налицо; спешно приехавший Метнер, конечно же, не обещает ничего точного; этим журнал повисает в воздухе» (*Между двух революций*. С. 440).

[17] Е. А. Ляцкий в это время редактировал журнал «Современник». На предложение Ляцкого представить в журнал рукопись романа Белый в начале марта 1912 г. ответил неопределенно и уклончиво. См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 222.

[18] О предложении напечатать роман, исходившем «со стороны Издательства группы писателей», Белый сообщал Е. А. Ляцкому в феврале 1912 г. (Там же. С. 221). Вероятно, имелось в виду «Издательское товарищество писателей», учрежденное в Петербурге в ноябре 1911 г.; в первый состав его правления входили Е. Н. Чириков (председатель), С. Н. Сергеев-Ценский и В. В. Муйжель, заведовал издательством Н. С. Клестов. См.: Голубева О. Д. Издательское товарищество писателей (1911—1913) // Книга. Исследования и материалы. Сб. VIII. М., 1963. С. 414—416.

[19] Данс, преподаватель гравировального искусства в Брюсселе.

[20] Предполагалось, что Белый напишет для издательства «Путь» монографию о Фете. К работе над этой книгой Белый, по всей видимости, даже не приступил. См.: Голлербах Евг. К незримому граду. Религиозно-философская группа «Путь» (1910—1919) в поисках новой русской идентичности. СПб., 2000. С. 129—130.

[21] Т. е. в Боголюбы под Луцком.

[22] По возвращении в Москву Белый и А. Тургенева обосновались в квартире А. М. Поццо и Н. А. Тургеневой (см. п. 263).

[23] См. примеч. 8 к п. 261.

---

274. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

4</17> апреля. <1912. Брюссель>[1]

Дорогой Саша,

Наконец-то пишу Тебе. Все эти дни стремился Тебе писать. Все эти дни, т. е. около месяца — сложность за сложностью. Еще раз спасибо за помощь, которую Ты мне оказал[2]: благодаря нее мне удалось избежать много неприятных, унижающих душу минут.

По приезде в Брюссель не писал, потому что никак не нашли себе помещения. Наконец, нашли и свалились с Асей в 40-градусном жару: у нас сделались сильнейшие бронхиты. И вот еще 8 беспомощных дней: только теперь выкарабкиваемся из болезни.

Милый, Христос Воскресе![3] Прошлую Пасху встретили мы в Иерусалиме при звоне колоколов у Храма Гроба Господня. Нынешнюю Пасху встретили в жару и недугах.

Был ли Ты в Брюсселе? Если был, то наверное знаешь старый, старый собор: S-te Gudule. Вот на этой-то площади мы живем. Наш адрес: Belgique. Bruxelles. Place S-te Gudule. 25.

Брюссель мне нравится: здесь есть старая, старая площадь Grande Place, состоящая сплошь из домов XVI столетия с ратушей и другими официальными домами. На этой площади базар цветов. Теперь всюду множество белой сирени. Поражает меня и Асин учитель: Dance. Это — великолепный, ископаемый старик, пользующийся уважением и известностью в Бельгии. Ему уже 86 лет: у него длинная белая борода и белые всклокоченные волосы; гравирует он великолепно. До 30 лет он был простым рабочим и только с 30 отдался гравюре; и вот 56 лет с той поры с неуклонным упорством трудится.

Мне здесь тихо: кажется, буду работать: набегает роман; надо его в 3 месяца кончить. На днях поедем в Брюгге, от которого недалеко.

В Берлине, в Кельне[4] и здесь любуюсь старыми немцами и фламандцами. Как-то судьба посадила меня на них (итальянцев мало я видел сравнительно): вероятно, оттого-то я и люблю так старых немцев. В берлинском музее напал на Штригеля: Штригель, Вольгемут и Грюневальд — три гиганта: я удивляюсь, что о них мало говорят, мало их знают. О Грюневальде писал только Гюисманс. Видел множество Ван д'Ейков и Лука Кранахов. Лука Кранах не утомляет никогда. Насколько его Адам и Ева благороднее Ван-д'эйковских.

Знаешь ли Ты фламандцев Боша и Бутса? Странно напоминают они химеристов модерн.

Милый, у меня к Тебе просьба: вчера получил номер первый нашего журнала[5]. Теперь мне важна всяческая критика его. Напиши мне откровенное впечатление Твое от целого и от частей: в чем полагаешь Ты центр его? Куда этот центр следует передвинуть? Буду Тебе ужасно благодарен. Вчера получил весть от Ахрамовича, что Ты статью для № 2 прислал: как Тебя благодарить, милый! Это «*От Ибсена к Стриндбергу*»? Спасибо[6].

Буду на днях писать Тебе подробно и много, а пока прощай: пиши о себе. Пришла наша хозяйка, пришла непонимающая ни по-каковски прислуга, и я не могу писать.

Остаюсь любящий Тебя крепко

Борис Бугаев

От Аси привет.

---

[1] Почтовые штемпели на конверте: Bruxelles. 17 IV 1912; Петербург. 7. 4. 12. Пометы Блока — химическим карандашом: «1912»; на конверте красным карандашом: «IV 1912». Белый и А. Тургенева выехали из Москвы за границу 16/29 марта 1912 г., прибыли в Брюссель 20 марта / 2 апреля.

[2] Благодарность за предоставление в долг денежной суммы, запрошенной в п. 273.

[3] Пасха в 1912 г. — 25 марта.

[4] По пути в Брюссель Белый и А. Тургенева останавливались в Берлине (31 марта н. ст.) и Кёльне (1 апреля).

[5] 1-й номер «Трудов и Дней» вышел в свет в Москве уже после отъезда Белого за границу.

[6] См. примеч. 6 к п. 273.

---

275. БЛОК – БЕЛОМУ

16 апреля 1912. <Петербург>[1]

Боря, милый!

Я исписал много бумаги, чтобы изложить Тебе свои впечатления о «Трудах и днях». Впечатления эти множатся, а цельности нет. Вот все общее, что могу сказать.

Первый № сразу заведен так, чтобы говорить об искусстве и школе искусства, а не о человеке и художнике. Этим обязаны мы Вячеславу Иванову. Мне ли не знать его глубин правд личных? Но мне больно, когда он между строк все время *полемизирует* (вспоминаю Твои слова о полемике) с... Гумилевым[2]; когда он восклицает о χάϑαρσις'е* тем же тоном в 1912 году, как в 1905 году[3]; и особенно когда он тащит за собой Кузмина, который на *наших* пирах не бывал... Какие-то «кони, стонущие с нежным ржанием», — ведь это мерзость[4].

Впечатление от статьи В. Иванова, несмотря на все ее глубины, — душное и тяжелое. Твоя статья[5], в большой части посвященная ограничению значения «символической школы», которую Вячеслав проповедует упорно и, я сказал бы, без музыкального слуха (помнишь, Ты говорил об отсутствии музык<ального> слуха у Мережковского? — Рядом с *этой* статьей В. И. — и фельетон Мережковского — симфония), — Твоя статья производит впечатление форточки, открытой в накуренной комнате; но форточки узкой, потому что и Ты говоришь здесь, закрыв лицо. Ведь для «*вочеловечивания*» сходимся мы в «Трудах и днях»; а все, что есть пока в первом отделе, могло бы быть и в «Аполлоне». Первый № — номер Вячеслава Иванова; над печальными людьми, над печальной Россией в лохмотьях он с приятностью громыхнул жестяным листом, — только так я слышу это режущее мне ухо восклицание о χάϑαρσις'е. И потому бросаюсь я от этого жестяного грохота к умной и страстной статье Метнера[6], пускай — на тему, далекую мне: за ней я вижу это печальное *человеческое* лицо *гонимого судьбой*. Оттого-то я сам хочу говорить о Стриндберге[7] (кстати, Пяст пишет об Э. По, главн<ым> образом, кажется, опираясь на «Εὒρηχα» и биографию)[8].

Всю кашу заварил Вячеслав Иванов; можно повернуть оптимистически и сказать: Вяч. Ив<анов>, грозно нападая на кого-то, потрясает манифестом о символической школе, — и горе тому, кто не с ней; Ты всячески стараешься свести эту «школу» к minimum'у; она, в конце концов, только «внутренний канон»; наконец, Пяст объясняет, что «внутренний канон» есть... 2 × 2 = 4.[9] Завершив, наконец, как бы по необходимости, этот круг, созданный не потребностями «Мусагета», но Ивановским желанием властвовать над какой-то страной во что бы то ни стало, даже при отсутствии подданных, — «Труды и дни» переходят к делу в статье Метнера; здесь появляются имена, за именами — встают лица, а лица освещаются вспышками человеческого духа, при свете которых открываются глуби времен; это и есть, я сказал бы, немеркнущий свет «общих начал», в котором мы все — *разные*, — одно, которые связуют нас так, как не свяжет никакая «литературная школа» в мире.

Раз «Труды и дни» — «внутренний двор казармы», из ворот которой должны выйти готовые к бою солдаты, — это стезя мужественная; а у Вячеслава, надо,

* Катарсис (очищение) (*греч.*).

кажется, понять это ясно, душа женственная; и деспотизм его — женский. Кстати, я еще так и не видал его с Твоего отъезда; знаешь ли, когда прошли все эти годы «снежных масок», я опять стал дичиться Вячеслава[10]; ведь в *лучшем* и заветном моем я никогда не был близок ему; есть любовь, есть дружба, но то, что между нами с В. И., надо назвать «романом», а «романическое» не во все периоды жизни одинаково привлекательно...[11]

Вот, мне удалось сказать тебе о «Трудах и днях» довольно определенно. Если Ты сам не согласен с этим, то понимаешь, что для меня это так?

Я Тебе так долго не отвечаю, потому что работаю (кроме того, что много «трудился» над своими впечатлениями о Трудах и днях). От этого — лучше чувствую себя: здоровая атмосфера «Запада»; свидания с милыми людьми, полу-деловые, полу-сердечные. Всё так, как будто маленькая капелла дана мне для росписи[12], и потому пахнет XIV столетием, весна, миндаль цветет где-то на горах. Не пишу, в чем дело, чтобы не выронить его из души[13].

В Брюсселе я не был, Св. Гудулу видел только из окна вагона. Теперь Вы были, вероятно, уже в Брюгге, которое мне не понравилось (хотя Меммлинг!)[14]. Вот в Антверпене удивительно: берег Шельды, пески и крепость на том берегу, средневековая типография и Массис в музее[15]. Побывайте там!

О «Трудах и днях» (№ 2) — ни слуху ни духу.

Ты знаешь наши дела? Расстрелы на Ленских приисках[16], всюду стачки и демонстрации, разговоры о войне. Последние дни — опять волна тревоги.

Не досадуй на меня за мое «анти-Вяч. Ивановство», для меня его атмосфера тяжела *ненужно*, легче даже все то тяжелое и нудное, что сейчас происходит вокруг Мережковских.

До свиданья, милый друг, поклонись от меня Анне Алексеевне.

Любящий Тебя А. Б.

---

[1] Ответ на п. 274. В дневнике Блока (ИРЛИ. Ф. 654. Оп. 1. Ед. хр. 315. Л. 30 об.—32) — черновой набросок письма (см.: Дневник Ал. Блока. 1911—1913. Под ред. П. Н. Медведева. Л., 1928. С. 94—97; Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 291—292; Блок А. Дневник. Подготовка текста, вступ. статья и примечания А. Л. Гришунина. М., 1989. С. 121—123). 17 апреля Блок записал в дневнике: «Наконец отвечаю Боре о “Трудах и днях”» (VII, 140).

[2] В дневнике Блока к этим словам сделана сноска: «Не из письма: утверждение Гумилева, что “слово должно значить только то, что оно значит”, как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом» (Блок А. Дневник. С. 121). Под полемикой с Гумилевым Блок понимает, видимо, следующий фрагмент статьи Вяч. Иванова «Мысли о символизме»: «Символизм умер? — спрашивают современники. Конечно, умер! — отвечают они же. Им лучше знать, умер ли для них символизм. Мы же, умершие, свидетельствуем, шепча на ухо пирующим на нашей тризне, — что смерти нет» (Труды и Дни. 1912. № 1. С. 8).

[3] Имеются в виду заключительные слова той же статьи Иванова: «Истинный символизм <...> ставит себе цель: освобождение души (χαθαρσις, как событие внутреннего опыта)» (Там же. С. 10).

[4] Имеются в виду заключительные строки статьи М. Кузмина «“Cor ardens” Вячеслава Иванова»: «Поэзия Вяч. Иванова —звук труб и флейт, шум крыльев, бег белых коней, которые стонут с нежным ржанием только в час жертвенной тишины...» (Там же. С. 51).

[5] Подразумевается статья Белого «О символизме» (Там же. с. 10—24).

[6] Имеется в виду статья Вольфинга (Э. К. Метнера) «Лист» (Там же. С. 36—48). Видимо, 24 апреля 1912 г. Блок писал матери: «В Трудах и Днях просмотри хоть самую “понятную” статью — Пяста и Метнера» (*Письма к родным, II.* С. 196).

[7] См. примеч. 14 к п. 273.

[8] Замысел статьи Вл. Пяста об Э. По для «Трудов и Дней», видимо, не был осуществлен. Преклонение Пяста перед творчеством «бессмертного Эдгара» («Поэма в нонах», гл. 1) нашло отражение в его рецензии на издания Э. По в русском переводе (Аполлон. 1912. № 6. С. 49—50) и в лекциях об Э. По, которые он читал в Доме Ученых в 1920-е гг. (см.: Тименчик Р. Рыцарь-несчастье // Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 18). «Εὔρηχα» (1848) — поэма в прозе Э. По («Опыт о Вещественной и Духовной Вселенной»).

[9] Речь идет о статье Вл. Пяста «Нечто о каноне» (Труды и Дни. 1912. № 1. С. .25—35). 9/22 апреля 1912 г. Белый писал о ней Э. К. Метнеру: «Слабость статьи Пяста для меня не тайна. Я должен был, принимая ее, считаться с непременным желанием Иванова и Блока видеть ее в печати. <...> Считаю эту статью слабой лишь в стилистическом отношении» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 397).

[10] Подразумеваются 1906—1907 гг., время наиболее интенсивного духовного воздействия Иванова на Блока и создания последним лирического цикла «Снежная Маска», опубликованного в издательстве «Оры» (руководимом Ивановым) отдельным изданием (СПб., 1907). См.: Минц З. Г. А. Блок и В. Иванов. Статья 1: Годы первой русской революции // Единство и изменчивость историко-литературного процесса. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение (Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вып. 604). Тарту, 1982. С. 105—111.

[11] В черновике письма вместо этой фразы: «(о личн<ом> отн<ошении> к нему — “роман”, а не дружба, не любовь)». Непосредственным продолжением этих рассуждений служит следующая запись в дневнике Блока (17 апреля 1912 г.): «*Соображения попутные* (не из письма): <...> В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. “Символическая школа” — *мутная вода.* Связи quasi-реальные ведут к еще большему распылению. Когда мы (“Новый Путь”, “Весы”) боролись с умирающим, плоско-либеральным псевдо-реализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того чтобы принимать участие в “жизнетворчестве” (это суконное слово упоминается в слове от редакции “Трудов и Дней”), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы» (VII, 140).

[12] Блок обыгрывает заключительные строки своей статьи «О современном состоянии русского символизма» (март—апрель 1910 г.): «Нам должно быть памятно и дорого паломничество Синьорелли, который <...> смиренно попросил у граждан позволить ему расписать новую капеллу» (V, 436).

[13] Намек на свою работу над сценарием балета из средневековой жизни — первоначальным подступом к теме будущей драмы «Роза и Крест». Ср. дневниковую запись Блока от 24 марта 1912 г. (VII, 136).

[14] Блок был в Брюгге 26 августа / 8 сентября 1911 г.; 28 августа / 10 сентября он писал матери из Роттердама: «...Брюгге, из которого Роденбах и туристы сделали “северную Венецию” <...>, довольно отчаянная мурья. <...> Меммлинг в Брюгге действительно замечательный» (VIII, 373).

[15] В Антверпене Блок был 23—25 августа / 5—7 сентября 1911 г.; см. его письма к матери, отправленные оттуда (*Письма к родным, II.* С. 175; VIII, 371—372).

[16] В ходе расправы над участниками мирного шествия забастовщиков на Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 г. войска убили 270, ранили 250 человек; это событие вызвало акции протеста по всей России.

276. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<1/14 мая 1912. Брюссель>[1]

Милый, бесконечно дорогой друг!

Давно уже мысленно говорю я с Тобою. Оттого-то я не писал. Не хотелось писать наскоро, путать внутреннее со слепым и случайным. Да и кроме того: мы с Асей переживали «события странные». О них не так-то легко написать.

Пусть письмо это останется между нами: тогда опишу Тебе нашу брюссельскую эпопею — развязка которой произошла в Кельне. Но прежде, чем подступить к этой эпопее, скажу Тебе о Рудольфе Штейнере, чтó он есть, каким является в книгах, каково отношение у нас сложилось к нему в Москве, ибо Штейнер — герой эпопеи нашей.

Если взять списочек книг, выпускаемых теософическим обществом, где наряду с перлами вроде «*Свет на пути*», «*Багавад-Гитой*»[2], популярными, иногда интересными, но невысокого полета книжечками Безант и Ледбитера, ученым-филологом теософом Мидом и пр., попадаются и книжки Р. Штейнера (на русском языке имеются «*Путь к посвящению*»* и «*Феософия*» — обе неинтересны для нас <с> Тобою)[3]; прочтя эти книжки, скажешь невольно: «Или это рядовой теософский писатель, или это сознательный педагог, миссия которого растолкать спячку немецких "*тетушек*", прикрывающий свои знания общетеософскими трюизмами, или это эстетически безвкусный человек». Но сказав так, задумаешься: иные места книг сквозят огромной близостью (так среди пустыни бывает иногда заброшен едва заметный прелестный цветочек).

Несколько лет тому назад я прочел его книгу «*Мистерии христианства и мистерии древности*»[4]. И, прочтя, сказал себе: «*Вот скучный человек*». Сказал и забыл. Тогда Штейнер впервые появился на теософском горизонте; с ним меня познакомил некогда П. Н. Батюшков (помнишь — смешной человечек с огромным носом: не то грузинский князек, не то индусский святоша)[5]...

Несколько лет спустя я слышал в одном кружке чтение ремингтонированной лекции какого-то теософского автора; лекция была главой эзотерического курса; кружок был кружок избранных. И представь: голова у меня закружилась от бури света, от молнии какого-то ясновиденья; и все написанное было каким-то нашим, родным. Когда я спросил, кто автор, мне сказали: «*Штейнер*» (впоследствии этот отрывок я встретил в скучном и разбавленном виде в его книге «*Geheimwissenschaft*»...**)[6].

Один и тот же человек, писавший для немецких тетушек, написал и вещи, которые не снились Вл. Соловьеву. С тех пор имя Рудольфа Штейнера прозвучало иначе. В то время я был враг теософии (московские теософы с Павлом Николаевичем, Эртелем и госпожой Писаревой во главе набили мне оскомину: осластили надолго теософию какою-то гниловатою патокой — в теософских домах прилипали от сладости кресла к моему сюртуку, а рука сжималась в кулак). В то время я не хотел никому признаваться, что Штейнер глубоко вошел в мою душу, ибо Штейнер был в моем представлении зауряднейшим теософом. Но с той самой поры

---

* Ася говорит, что из «*Пути к посвящению*» все-таки кое-что при умении подступить выловить можно. (*Примечание Белого.*)

** Тайное знание (*нем.*).

я старался как-то украдкою (от себя и других) доставать интимные лекции Штейнера *для немногих*; это была всегда эссенция, настоенная на звездах и горном воздухе: из одной капли такой эссенции, разведенной ведром воды, и состоят книги Штейнера, предназначенные для широкого чтения. Я стал, где можно, собирать о Штейнере сведенья: и вот что узнал; я узнал, что Штейнер стал во главе теософского движения Германии, что его миссию определяют, как движение, реформирующее самое теософ<ское> движение; он-де переводит *индуизм* и *браманизм* официальной теософии на новый язык, выдвигая Средние Века и розенкрейцерские истины; словом, теософию аксентуирует в христианстве он, которому придает особый рыцарски-мужественный отпечаток; что в Теос<офском> Об<щест>-ве на него косятся, что за ним всюду следует экстренный поезд германских *тетушек*. И т. д. Тенденция Штейнера показалась мне симпатичной (конкретизировать теософию): теоретически я себе тогда выделил Штейнера из плеяды теософских деятелей.

Но все это внимание мое было каким-то случайным: помню, в Мюнхене, в роковой для меня 1906 год, я случайно встретил там Минцлову, с которой был едва знаком; она звала меня тогда посетить лекцию Штейнера: я прозевал вечер и, конечно, на лекцию не пошел: Минцлова в то время была близкой его ученицею[7]. По возвращению в Россию чаще и чаще приходили вести о Штейнере: то тот, то другая возвращались из Германии, полоненные им. В Москве где-то под боком с символизмом приютилось какое-то странно-нелепое гнездо штейнерианок и штейнерьянцев. По Москве проходили все чаще, какие-то *самые последние сведения* о предметах высоких; в астральной атмосфере Москвы астральные газетчики продавали «*Вечерние приложения Летописей Мира*». Там были и сплетни о революции, и сплетни о символизме, и сплетни о Конце Мира. В Москве завелись «*Летописи Мира*»[8]. «*Летописи Мира*» издавались в астральной типографии московской секции штейнеровских «*тетушек*». Эти *приложения* всегда было интересно читать (Штейнер не виноват тут).

Вот...

С 1909 года, когда я узнал, как близко проходит линия Штейнера от всего того, что стало для меня «*Светом на пути*», я повернулся к нему с глубоким благоговением. Я понял, что то, что эсотерически для меня «*Чаемый Свет*», то свет и для Штейнера: я узнал, что он живет в *самом свете*, а все его дело — все штейнерьянство — необходимое Германии, есть педагогика, приготовительный класс, без которого нельзя подойти ни к чему; в то время как Штейнер уподобляем пушкинской поэме, дело Штейнера — *азбука (не научившись читать вообще, нельзя читать Пушкина*). И вот, зная, кто он и что он, я не присоединился к штейнерьянству, к отблеску отблеска Света, ибо не отблесков отблеска ждал я себе, а... хотя бы отблеска.

Штейнерьянство — одно; немногие, окружающие Штейнера среди сотен поклонников и учеников, — другое; сам Штейнер — третье. Я уже знал, что из всех раздающихся голосов в Европе, которые должно ловить и нам, единственный и важнейший — его голос. Но я ждал *другого голоса*. И о Штейнере я молчал.

Биография Штейнера. Когда-то ученик Геккеля, натуралист; 20 лет был женат на вдове (мегере) с многими детьми[9]; писал и в газетах фельетоны; был школьным учителем. *20 лет молчал*, ничего не сказал, ничего *своего* не написал. И вдруг открылся (20 лет молчания были реально проходимым Путем). Не желая пока дробить теософического движения, *условно* присоединился к теософам: данное ему знамя укрыл *до времени* теософским флагом; но, став условно и временно вообще

теософом, реально сдвинул теософию в Германии. Говоря о теософии вообще, следует помнить, что теперь есть две различные теософии: теософия Блаватской и Безант, передающей мудрость иогов; и теософия Штейнера, передающая мудрость *иных*... Обе теософии *пока* самым внешним образом для внешних сплетаются (блок *кадетов* с *прогрессистами* в точке предвыборной агитации).

Таков Штейнер.

С 1910 года по многим причинам, о которых Тебе писать в письме не могу, Штейнер стал со всеми нами в особенно резких и интимных контактах: одни слепо бросились к нему, как Эллис, другие не слепо идут с ним, как Волошина[10], третьи украдкой совершают к нему паломничества, четвертые, как Рачинский и *Московское Религ<иозно>-Философское О<бщест>во*, уже два года смотрят на него, как на грядущую опасность (Булгаков сказал мне как-то: «Неокантианство, это — что: подступает уже настоящая бездна — Штейнер»). С осени 1911 года Штейнер заговорил изумительнейшие вещи о России, ее будущем, душе народа и Вл. Соловьеве (в России он видит громадное и единственное будущее, Вл. Соловьева считает замечательнейшим человеком второй половины XIX века, монгольскую опасность знает, утверждает, что с 1900 года с землей совершилась громадная перемена и что *закаты с этого года переменились*: если бы это не был Штейнер, можно было бы иногда думать, что, говоря о России, он читал Александра Блока и «*2-ую Симфонию*»)[11]. В 1911 году в Москве была настоящая штейнериада: *pro* и *contra* Штейнера не раз колебали самое существование «*Мусагета*».

Пишу все это, чтобы Ты понял, что развязка (или, наоборот, завязка) со Штейнером кармически для меня назревала давно. Я знал, что встречи с ним не миновать (характера встречи не представлял), но думал, что это будет — через год, через два. Уезжая из Москвы, я ехал работать в Брюссель.

Тут-то и начались у нас с Асей «*приключения странные*».

Вот — не правда ли — пространное предисловие; в заключении прилагаю портрет Штейнера, выдранный из книжки (плохенькое воспроизведение); все-таки портрет этот говорит: рассмотри его на досуге[12].

С прошлого года у нас с Асей *иногда выпадают особые полосы.*

> «Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
> Кто-то здесь... Мы вдвоем...»[13]

Или: вернее — *втроем.*

Это было в Монреале, в Сицилии (местность, где Вагнер закончил «*Парсифаля*»)[14]: одно странное, благодатно мне говорящее лицо я увидел в трамвае... Потом полосы *гонений* (каирская страда, когда в Москве, то — японские и татарские рожи на улицах)... Прошумел особенно Иерусалим... Все лето на Волыни *гремела на дороге невидимая телега; стуки, искорки, топот босых ног и шепот* все лето не давал спать нам в дому[15]. Потом в Расторгуеве раз что-то было. Было что-то особое и в Бобровке. Словом, то — ожидание, то — нападение; и почти всегда *душный химерный дым* всюду в обществе. Мы из Москвы спаслись бегством (и огромное спасибо Тебе!)[16] *буквально.*

Прибегаем в Брюссель и сваливаемся оба; у обоих жар 40°... Я читаю Асе одну рукопись, говорящую близко к тому, что говорит Штейнер. Оба засыпаем — оба видим один сон: зала, по зале проходит Штейнер, окруженный толпою; у Штейнера *другое, не штейнеровское* лицо; вот что мы видели оба; я более детально не

видел; Ася видела все подробнее. Она видела, что Штейнер не Штейнер, а какой-то другой с островыраженными чертами лица; через мгновенье лицо его сменилось другим лицом, а голос сказал: «Что Вы все ищете Штейнера, когда он *тут*». Это *тут* звучало, как: «*Тут — в Брюсселе*»... Когда мы проснулись и пересказали друг другу сны, то мы не удивились: общие сны уже не раз случались у нас. Удивительно прозвучал лишь невыразимый в словах *темп* сна. Скоро мы его вовсе забыли. Этот сон был в первые дни русской Пасхи. В эти дни (по письмам из Москвы я узнал впоследствии) в Гельсингфорсе двое из наших встречали со Штейнером русскую Пасху, разговлялись вместе (в Гельсингфорсе были лекции Штейнера)[17]; в эти же дни тайно от немцев (чтобы их не обидеть) Штейнер говорил долго о значеньях и судьбах России кучечке русских, приехавших к нему из Москвы; о содержании лекции писали мне, что его передать невозможно, что «*будущего России нельзя ждать, что это — чудо, можно лишь его призывать*». И еще вот его слова: «Она (Россия) так долго плакала детскими слезами, и еще ей предстоит этими слезами столько же проплакать...» С этими словами он подошел к окну, взял портрет Вл. Соловьева и долго в задумчивости смотрел на него... В эти же дни мы видели его во сне... После нашей болезни и совершенно на время забытого сна мы были на трех Вагнеровских спектаклях с байретскими исполнителями («*Лоенгрин*», «*Тристан*», «*Валькирия*»). И дни были окрашены *Кольцом*[18]. Однажды Ася возвращается от учителя своего, Данса, и говорит мне, что в трамвай (по дороге к Дансу) к ней вошел человек с изумительно-напряженным и как будто знакомым лицом, где-то виденным, и упорно всю дорогу особенно смотрел на нее; что острота его взора наполнила весь трамвай совершенно особым напряжением; когда он вышел из трамвая, то повернулся и смотрел на нее все время, пока трамвай уходил, точно ждал, что и она за ним выйдет; Ася сказала, что было мгновение, когда она чуть не заговорила с незнакомцем (незнакомцу было лет пятьдесят). В этот вечер было столь сильное, напряженное чувство ожидания; и прошла светлая радость; и было вновь:

«Лишь забудешься днем, иль проснешься в полночи,
Кто-то здесь: мы — *втроем*...»[19]

Это было в *четверг*. Четверги же для меня звучат *по-особенному*. С 1910 года (не могу сказать, почему). И потом четверг наиболее благодатный день — день *сафира* и планеты Юпитера.

Следующие дни (мы позабыли об Асиной встрече) мы почему-то на всякий случай написали в Москву А. С. Петровскому узнать, где Штейнер летом в Германии, чтобы, возвращаясь в Россию, проездом послушать его публичную лекцию. И, отославши письмо, забыли о нем.

Ровно через неделю, *опять в четверг*, мы оба ехали к Дансу обедать (трамвай пересекает к нему весь город и углубляется в пригород). Посередине дороги в трамвай входит человек лет *пятидесяти* — я увидел лишь его огромные, нестерпимо сверкавшие глаза, властный вид, огромный рост и седеющую голову (он был бритый), и точно электричество прошло по телу. Смотрю на Асю и вижу, что она видит, и что она, *как я*. Господин сел против нас и до неловкости все время не спускал глаз с меня и Аси. Через минут 5 он вышел, и мы видели, как ключом он открывал дверь своего дома, при этом он оглянулся на нас и словно приглашал нас в дом; номер дома нам бросился в глаза: 79-ый. Я сказал Асе только: «Было? Да?» Она ответила: «Да, да». Но господин этот был *другой*, не тот, кого видела Ася, но того же *типа*, того *особого выражения*; опять Асе показалось, что она его видела. Ве-

чером этого дня, *четверга*, опять было какое-то ожидание; и прошла светлая радость и было вновь:

«Лишь забудешься сном...» и т. д.

В эти минуты, Ася вдруг вскрикнула: «вспомнила! Эти два лица я видела во сне: они мне подставлялись вместо Штейнера и о них голос сказал: "Что вы все ищете Штейнера, когда он — тут (т. е. в Брюсселе)". Замечательно то, что второй господин *сошел* с того места, где четвергом ранее *вошел* первый...»

Все это было слишком значительно и слишком не иллюзия. Точно нам делали знаки, звали и ждали лишь ответного отзыва. Мы решили, что отзыв должны мы подать; и — вот безумие — написали письмо по номеру таинственного дома с надписью «*A Monsieur*»*. В письме мы просили, чтобы *они*, если неслучайно было их *прохождение мимо*, в определенный день поставили в окнах дома цветы, что тогда мы откроем наш адрес и явимся прямо.

Вечером на другой день мы пошли бросить письмо в ящик для писем дома № 79-ый. В середине дороги хватились *письма*: забыли. Все же мы решили рассмотреть улицу, дом. Входя на улицу, снова все стало *как во сне*: напряженно до невозможности; на улице показались две какие-то отвратительные старухи с *особым выражением спин*. Подошли к дому: дом старинный, барский, строгий: на двери никакой фамилии. Постояли под дверью — прошли дальше, перешли улицу к дому наискось, где Асе переделывали шляпу: когда выходили от шляпницы, то я ясно видел, что дверь *дома* раскрыта и на нас с порога смотрит почтенный лакей, точно следя, где мы были; но когда мы взглянули на него, он закрыл дверь; проходя мимо двери, мы увидели, что на огромные окна упали сверху ставни и *дом* стал со слепыми окнами. Что-то нас удерживало в этом месте: мы тихо, тихо стали спускаться вниз по улице: мимо нас тогда проехала карета — в карете сидела седая старуха с чудесным лицом — на груди ее был *старинный русский крест*... Спустившись немного ниже, мы не в силах были уйти и опять повернули к *дому* — из-за угла стремительно выбежал *японец* с отвратительным лицом, и едва не наткнулся на нас: точно он нас хотел спугнуть, отогнать; почти тотчас же от *дома* к нам — мы увидели — медленно поплелся прекрасный старик с таким добрым и ласковым лицом (мы не видели, откуда он взялся) и, внимательно оглядев нас, пошел тихо за нами. Чтобы проверить, следит ли он за нами или нет, мы остановились у магазинной витрины; старичок (бритый, как *те двое*) остановился через витрину и стал бросать на нас взгляды. Мы пошли к нему, он пошел впереди нас, но так медленно, чтобы мы обогнали его: мы замедлили шаг, так что теперь все спуталось, и нельзя уже было сказать, кто за кем идет, и кто за кем следит. Наконец, мы пошли с ним почти рядом. Стало невыносимо: оставалось или тотчас уйти, или подойти к старичку и сказать: «Вы что? Вы за нами?» Согласись, это было бы уже сплошным безумием, и видя, что Ася сейчас это сделает, я схватил ее за руку и стал тащить на противоположную сторону улицы. Мы улицу перешли. Перешел и старичок и опять выжидательно посмотрел на нас. В это время подошел трамвай, и я увлек в него Асю: старичок в трамвай не сел (хотя все время, как мы, стоял в нескольких шагах *на рельсах*). Трамвай точно оторвал нас насильно от странного места. Едва проехали ту улицу, как на площади (где остановка трамвая) мы увидели *того японца* с совершенно трупно позеленевшим лицом: он стоял и кого-то искал глазами (не нас ли?); мимо него прошел наш трамвай, но японец нас *не видел*. Все эти 25 минут (стояния и хождения под окнами дома) мы были *точно*

* Господину (*фр.*).

во сне и очнулись на нашей площади *глубоко взволнованные* и *усталые. Сумма всего этого — могла ли быть случайностью*? Мы поняли, что игра, догадка уже переходит в нечто и следует перейти какой-то Рубикон, сделать жест навстречу зовущей ноте, то есть, *письмо отправить.*

Но на следующий день *все* было столь серо и прозаично: мы проехали мимо *дома*: *ничего*... Мы решили подождать, ибо что-то говорило нам — в день представления «*Гибели Богов*»[20] будет продолжение *тайны.*

В день «*Гибели Богов*» вдруг получаю два письма: 1) от Эллиса из Берлина, 2) от Петровского. Эллис — медиум — пишет мне *почему-то*: «Твой час пробил» (до этого 4 месяца мы не переписывались). Петровский сообщает ряд адресов *штейнеровских штабов*, разбросанных по разным городам Германии, и пишет между прочим (письмо пришло 4-го мая нов<ого> стиля), что 6, 7 и 8 мая Штейнер в Кельне, и сообщает адрес лица, могущего указать на место Кельнской Ложи (Кельн же от Брюсселя в нескольких часах)[21].

Сначала мы решаем, что надо кончить с *домом* № 79, и что *потом, летом* поедем к Штейнеру (мы ждали почему-то *свидания* в театре на «*Гибели богов*». Но в театре ничего, никого: только — Вагнер, Вагнер и Вагнер; и — *гибель богов*). Но надо дальше: нельзя же, чтоб Валгалла сгорела!![22] На следующий день, 5-го мая, с *неопущенным письмом в кармане* мы проходим в ресторанчик обедать. И вдруг становится ясным: «Кто же во всей Европе, кроме Штейнера, сумеет рассказать об нашем общем сне, двух господинах, о том, опускать или не опускать письма в почтовый ящик дома № 79-ый. К тому же: только Штейнеру я мог поставить ребром вопрос об одном недоумении, в котором я нахожусь ровно 17 месяцев...» В $2^1/_2$ мы решаем ехать в Кёльн; в $3^1/_2$ берем билеты. В пять — уезжаем[23]. В 11 ночи мы в Кельне с нелепой мыслью добиться свидания с Штейнером, не будучи лично знакомыми, не будучи членами Ложи. Свидания же назначаются им даже членам Ложи с большим трудом: надо сперва пройти через канцелярии бесчисленных «*старух*», окружающих Штейнера. Я же к тому едва-едва могу три слова связать по-немецки, а разговор должен быть Бог знает о чем.

Согласись, это — безумие. Но раз приехали в Кельн, надо пробиться к Штейнеру[24].

Продолжаю.

День грозовой, душный: в окнах громадный, кружевной Кельнский Собор. Выходим, берем извозчика — проезжаем по берегу Рейна (за день мы видели, как дочери Рейна просили у Зигфрида *рокового кольца*: вот он — Рейн): становится жутко. Разыскиваем подъезд, звонимся: выходит старушка-скорлупка — бледная, тощая «тетушка», но с хорошими глазами. Мнемся — передаем письмо. К нам выходит стареющая дама и говорит на чистом русском языке: «Вы — к доктору? Вы из того московского кружка, который — и т. д.». Оказывается русской М. Я. Сиверс, секретаршею доктора, много лет безотлучно находящейся при нем[25]. «Подождите»... Ждем. Выходит Сиверс и говорит: «Доктор, хотя вы и не члены Ложи, в виде исключения просит вас через два часа на заседание Ложи. Свидание же доктор вам даст после — сегодня или завтра»... Через два часа возвращаемся: комнаты полны народом; нас вводят в удлиненный зал темносинего цвета: всюду на дверях и окнах синие занавеси; впереди возвышение; в стенном углублении громадный крест; на нем — венок из красных роз ; на столе — громадный букет

из тех же роз; наверху золотой знак ✡ и инициалы *лозунга*. Зал наполнен «*тетушками*» и господинами; мелькают *очень значительные лица*; большинство же — «тетушки».

Мы втискиваемся и садимся у боковой двери. Ждем. Занавес двери раздвигается, но комната за занавесью пуста: сейчас войдет Штейнер. Меня почему-то охватывает страшное волнение, беспокойство — точно кто-то насквозь видит, поворачиваюсь к двери и вижу на минуту мелькнувший *край щеки какого-то лица — но край щеки сквозной, световой*, и знаю, что это Штейнер, но *край щеки лица* уже скрылся (после Ася, которая все время глядела в дверь, мне сказала, что в двери показался на мгновение Штейнер, которого и она увидела сквозным, световым (в буквальном смысле), посмотрел на нас — в это время и я ощутил необъяснимое волнение — и скрылся, так что я увидел лишь *край щеки*. Первое появление Штейнера для обоих нас было *световым явленьем в буквальном, а не переносном смысле*: но световое явленье скрылось...

Минуты через 3 вышел Штейнер (уже не световое явленье), маленький, сухой, остро отточенный, с отпечатком выражения, виденного нами у господина в трамвае (такой же, какой на прилагаемом снимке, но — лучше), взошел на кафедру и стал говорить; что он говорил — об этом я мог бы исписать 10 страниц (но всего не напишешь). Говорит Штейнер зло, сухо, басом, иногда начинает кричать, иногда бархатно петь, но говорит так, что каждое слово изваивается неизгладимым значком в душе твоей. Все, кого я когда-либо слышал, щенки по сравнению со Штейнером в чисто внешнем умении красиво говорить; иногда Штейнер кидается ладонями на слушателей, и Ты от жеста ладоней получаешь почти физический удар по лицу. На лице его разрывается лицо; оттуда смотрит другое, чтобы в свою очередь, разорвавшись, высвободить третье лицо.

В течение лекции передо мной прошло десять Штейнеров, друг из друга вышедших, друг на друга не похожих, но пронизанных чем-то Единым: в течение лекции он был и испанцем, и Брантом[26], и католическим кардиналом, и школьным учителем, и северным богатырем. Сила и властность его взора такая, какой опять-таки *я ни у кого не видал*. Вокруг него — световые пучки; на груди плавает световое облако, изменяющее цвет: мы с Асей видели перемену цвета в одно и то же мгновение. *Аура* его невероятна и почти видна всегда, а во время напряжения речи становится ослепительной (я не знаю, видишь ли Ты ауру, — я стал уже более году видеть по временам). В лице безмерность чисто человеческого страдания, смесь нежности и безумной отваги.

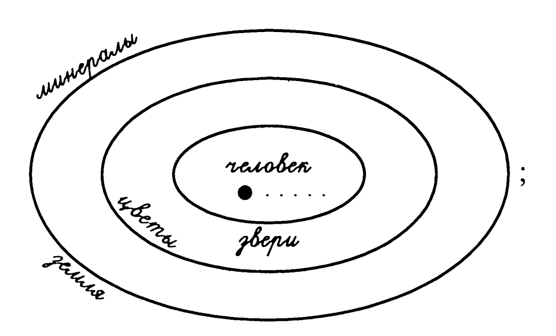
Таково было первое впечатление.

После лекции подходим к Сиверс: «Когда же Доктор нас примет?» — «Ах знаете ли, не сумею сказать»... — «Но мы приехали нарочно к нему из Брюсселя: нам необходимо его видеть...» — «Приехали для свиданья с ним десятки лиц, а он в Кельне — три дня[27]: не знаю, успеет ли Доктор повидаться с вами... Будьте сегодня вечером на публичной лекции...» Мы уходим, как в воду опущенные.

Вечер. Старинная зала: на стенах картины. Шум, гам — сотни народа. Мы сидим — случайно опять у боковой двери. Опять ощущаю волнение: поворачиваюсь к двери — из полуоткрытой двери на нас смотрит Штейнер; но когда я посмотрел на него, боковая дверь закрылась — Штейнер скрылся, но мгновенье спустя выходит из двери какая-то дама, пробирается через ряды, садится рядом с нами на пустом месте и говорит нам: «Доктор вас ждет завтра у себя — в два часа дня».

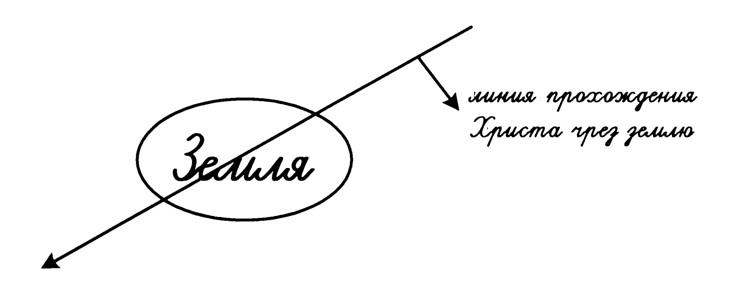
Через минут пять — звонок: начинается лекция. Тема ее: «*Христос и XX век*». Штейнер начинает деловито, сухо, скудно: перечисляет существующие в Богословии точки зрения, так сказать, разбирает методологию взглядов на Христа; и далее, переходит к исторической точке зрения, дает блестящую характеристику гностицизма; от гностицизма переходит к собственной критике Аристотеля, от Аристотеля к теории трансформизма; вся лекция усыпана преинтересными экскурсами, отступлениями; между прочим переходит к материализму и трансформизму и тут, например, говорит так: «Наука нам доказала нематерьяльность материи; эволюция идет через оземлянения; в период впадения духа в землю мы имеем в каждой следующей ступени развития все бóльшую земляность, так что минералы, эта более первичная стадия, менее землянa, чем цветы, ибо дó-земляное к ним ближе, звери матерьяльнее цветов, человек — землянее зверей: он в центре земли; но в центре земли — ад и смерть; человек — в аду и умирает, чтобы выйти из ада.

Вот приблизительно схема мной приводимых слов:

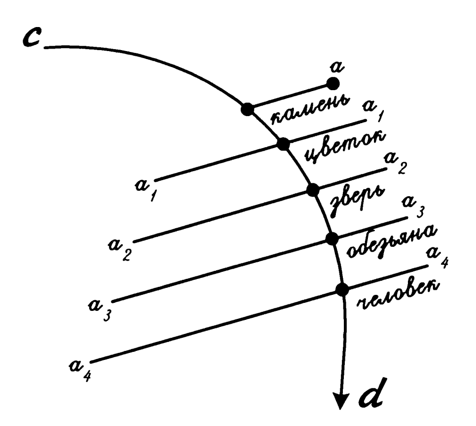


каждая стадия жизни срывается с неба и врезается в землю:

Схема падений (так называемых грехопадений): в центр земли впал Сатана; а Христос, с бóльших высот *впадая* (воплощаясь), силой пробил насквозь землю, то есть сделал возможным свободный проход от дó-земляного — чрез землю — в надземляное.



Если брать теперь градацию ступеней всего лишь по *окружности схемы*, то получится трансформизм Дарвина:



духи воплощались в землю по линиям «*a*», и потому духи обезьян никогда не были в человеке; а по внешней линии науки «*cd*» выходит правильная *теория дарвинизма*, т. е. происхождения видов. Но происхождение видов — эмблема лишь *градации* впадений в землю.

Привожу этот *атом* лекции, чтобы Тебе была наглядней сухая часть ее. К середине лекции голос крепнет, ладонями себя то отрезает от толпы, проводя меж собой и толпой какую-то световую линию, и после каждого проведения линии точно вырастает, то кидается на толпу — ладонями: и опять те же с Асей слышим удары по лицу. Какие-то световые клубы наполняют залу, и вот из световых клубов вижу только сквозное лицо, которое кричит нам вещи громадные — до ужаса. Речь странно ритмизируется: десять раз сподряд из уст вылетает ритмизированный период, начинаясь каждый раз теми же словами: «*Dúrch Mitteléiden únd Gewésen*» (— ˘ — ˘ — ˘ и т. д.).

Кончает четырехкратным криком: «*Кто понял, что такое над-исторический Христос, тот не может не знать, что Иисус истории — подлинный. И Он — близится*». На этом кончается лекция «Христос и XX век». Когда он кончил, я невольно вскрикнул от потрясения: «*Что ж это?!*»

Вечером после лекции сидим в кафе и пьем пиво; музыка играет вальсы; по электричеством освещенной улице Кёльна хлещет дождь и гремят пролетки.

На следующий день утром зашли в Собор — долго молчали; оттуда — к Штейнеру. Дважды звонились: никто не отпирает: ждали — ждали. Вдруг за спиною шаги; оглядываемся — и лицом к лицу сталкиваемся со Штейнером: спускается с верхнего этажа вежливый, сухой, немного сердитый и точно проглотивший палку; с ним Сиверс — переводчица для нас. Попросил войти. Сел — сухой, злой, точно проглотивший палку.

Самое главное, что было за 2 года, изложил в 15 минут, точно прочел деловое прошение, обращенное в N. N. Департамент. Он точно Директор N. N. Департамента слушал, — сухой, злой, точно проглотивший палку.

Потом так же деловито заговорила Ася о сне, встрече в трамвае, и — как же дальше?

Говорил долго: когда речь зашла о господинах в трамвае, вдруг ласково улыбнулся и чуть-чуть подмигнул, будто знал, не удивился, но о господинах в трамвае — *ни звука*... Проглотил, будто и не говорили... Смысл слов: «Русская народная душа бесконечно глубока, но русские люди не доросли до русской народной души — никакой выправки, всё только теоретизируют — их бы в ежовые рукавицы, воинскую повинность отбывать: еще через несколько лет будет дан России выразитель души народа, русский Учитель, а пока — руки по швам и учиться азбуке!» Вот смысл слов, но чем более говорил, тем добрей становился, и старческие морщинки змеились вокруг глаз. «Вы ничему, никому не измените, если приедете ко мне в Мюнхен в июле: поживете с нами, и если вам по душе — оставайтесь на августовский курс. А там — видно будет...» Дал адрес. На прощанье ласково улыбнулся невыразимо-прекрасной улыбкой, а Асе как-то особенно подмигнул (она маленькая и выглядит почти девочкой), будто хотел с ней поиграть — будто маленький козлик, собирающийся боднуться.

Вечером опять лекция в Ложе: опять удивительности. На другой день мы уехали в Брюссель[28]. Приехали в 6. А в 7 были на чествовании Метерлинка: Метерлинк седой болван — Слон Слонович, таким показался после Штейнера.

Ну конечно: мы едем в Мюнхен отбывать «*воинскую повинность*» без измены чему бы то ни было.

Вот, милый друг, не письмо, а сухой объективный доклад Тебе того, что было с нами в Брюсселе и Кёльне. Почему-то именно с Тобой хочу поделиться. Что Ты на все это скажешь?

В то время, когда писал это письмо, приходит Твоя статья «*От Ибсена к Стриндбергу*»[29]. Статья прекрасна и значительна: прочтя статью, я обрадовался, что написал то, что написал.

Пиши нам, милый, в «*Труды и Дни*». Первый номер убог — ну да выправим.

Уже 6-й час утра. Изнемогаю от сна. Горячо целую Тебя.

Нежно любящий брат

Боря

P. S. Критику Твою первого № принимаю сполна[30]. Второй № выпускается без меня, и боюсь — напортят: там моя дрянная статья о символизме[31], написанная в жару и болезни, кое-как: не суди меня за нее.

Ася сердечно шлет привет.

Наш адрес до начала русского июля: Belgique. Bruxelles. Place S-te Gudule 25. Мне.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю: Bruxelles. 14. V. 1912. Получено в Петербурге 4 мая 1912 г.; в этот день Блок записал в дневнике: «Утром — большое письмо от Бори (о Штейнере)» (VII, 143). 6 мая Блок сообщал матери: «На днях Боря прислал огромное письмо <...>. Письмо о Штейнере, с которым Боря связал свою судьбу» (*Письма к родным, II.* С. 197).

[2] «Свет на Пути» («Light on the Path», 1885) — теософский трактат, составленный М. Коллинз; был опубликован в русском переводе Е. Ф. Писаревой в 1905 г. См. новейшее издание: Свет на Пути. М., «Сфера», 1997. Древнеиндийская религиозно-философская поэма «Бхагавадгита» (середина I тысячелетия до н. э.), входящая в 6-ю книгу «Махабхараты», была воспринята в теософии конца XIX в. как один из основополагающих памятников эзотерической мысли.

[3] Имеются в виду книги Р. Штейнера «Путь к посвящению, или Как достигнуть познания высших миров» (М., 1911) и «Феософия. Введение в сверхчувственное познание мира и назначение человека» (СПб., 1910) в переводе А. Р. Минцловой.

[4] Книга Штейнера «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums» (1902); в русском переводе: Штейнер Р. Мистерии древности и христианство. М., «Духовное знание», 1912.

[5] Литературный портрет П. Н. Батюшкова Белый дал в мемуарах (*Начало века.* С. 65—76).

[6] Книга Штейнера «Die Geheimwissenschaft in Umriss» (Leipzig, 1910); в русском переводе: Штейнер Р. Очерк тайноведения. М., «Духовное знание», 1916 (переиздание: Л., 1991).

[7] О приобщении Минцловой к учению Штейнера см.: Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., 1999. С. 35, 44—45; У истоков русского штейнерианства / Публикация и примечания К. Азадовского и В. Купченко // Звезда. 1998. № 6. С. 146—191.

[8] См. примеч. 7 к п. 264.

[9] Штейнер женился на Анне Ойнике (1853—1911), вдове и матери пятерых детей, в октябре 1899 г.

[10] М. В. Волошина (Сабашникова) стала последовательницей Штейнера, благодаря посредничеству Минцловой, с осени 1905 г. См.: У истоков русского штейнерианства. С. 151—152.

[11] Наиболее полный свод высказываний Штейнера о России и ее предназначении дан в кн.: Штейнер Р. О России. Из лекций разных лет / Составление, перевод, комментарии Г. А. Кавтарадзе. СПб., «Дамаск», 1997. См. также: Коренева М. Ю. Образ России у Рудольфа Штейнера // Образ России: Россия и русские в восприятии Запада и Востока. СПб., 1998. С. 305—316.

[12] По сообщению В. Н. Орлова, «портрет этот сохранился среди бумаг Блока» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 301).

[13] Начальные строки стихотворения Вл. Соловьева (1898).

[14] См. п. 228, примеч. 3.

[15] См. об этом в воспоминаниях Белого (*О Блоке.* С. 375—377).

[16] Подразумевается денежная помощь Блока, благодаря которой Белый и А. Тургенева смогли в марте 1912 г. выехать за границу (см. п. 274, примеч. 2).

[17] С 3 по 14 апреля 1912 г. Штейнер читал в Гельсингфорсе курс лекций «Духовные существа в небесных телах и царствах природы»; 11 апреля он выступил перед русскими слушателями курса (текст обращения см. в кн: Штейнер Р. О России. С. 9—20).

[18] В Байрёйте (Бавария) в 1876 г. был открыт оперный театр, созданный по замыслу Р. Вагнера для постановки его опер; с 1882 г. функционировал во время ежегодных Байрёйтских фестивалей. Упоминаются оперы Вагнера «Лоэнгрин» (1850), «Тристан и Изольда» (1865), «Валькирия» (1870) — вторая часть тетралогии «Кольцо нибелунга».

[19] Измененный текст цитированного выше стихотворения Вл. Соловьева. Эту же встречу с незнакомцем в трамвае описала в воспоминаниях А. Тургенева (Turgenieff Assja. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. Stuttgart, 1973. S. 16).

20 Четвертая часть (1876) тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга».

21 С 5 по 10 мая 1912 г. Штейнер путешествовал с чтением лекций по Германии (Берлин — Дюссельдорф — Кёльн — Берлин).

22 Имеется в виду финал «Гибели богов» Вагнера: Валгалла, сказочные чертоги богов, гибнет в огненной стихии.

23 Белый и А. Тургенева отбыли из Брюсселя в Кёльн 6 мая (н. ст.) 1912 года.

24 Ср. краткую характеристику пережитого в письме Белого к А. С. Петровскому, отправленном из Мюнхена 10 июля (н. ст.) 1912 г.: «...два месяца брюссельской жизни были целой мистерией. С нами происходили события будто из 1001 ночи вплоть до феноменов почти физических, как светлых, так и мрачных. В центре всего стоят кёльнские дни, и не столько разговор со Штейнером, сколько его лекция "*Христос и XX век*" <...> я встретил именно *то*, что ждал; а я ждал встретить самое замечательное явление XX века. *Так и оказалось*» (ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 33. Оф 4889). События и переживания, относящиеся к пребыванию в Брюсселе, поездку в Кёльн и начало общения с Р. Штейнером Белый подробно описал в «берлинской» редакции воспоминаний «Начало века»; соответствующие главы («Из воспоминаний. 1. Бельгия. 2. Переходное время. 3. У Штейнера») были опубликованы в берлинском журнале «Беседа» (1923. № 2. С. 83—127), переизданы (с добавлением главки «Базель — Фицнау — Штутгарт — Берлин») в кн.: Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 636—685 (подготовка текста и комментарии М. Л. Спивак). См. также воспоминания А. Тургеневой (Turgenieff Assja. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. S. 15—23).

25 О последующих контактах Белого с нею см.: Спивак М. Л. Андрей Белый — Рудольф Штейнер — Мария Сиверс // Литературное обозрение. 1995. № 4/5. С. 44—68.

26 Главный герой драматической поэмы Г. Ибсена «Бранд» (1865).

27 Штейнер был в Кёльне с 6 по 8 мая.

28 Белый и А. Тургенева возвратились в Брюссель 8 мая (н. ст.).

29 Вероятно, Белый получил из редакции «Мусагета» текст статьи Блока, набранный для № 2 «Трудов и Дней».

30 См. п. 275.

31 Статья Белого «О символизме», опубликованная в № 2 «Трудов и Дней» (С. 1—7).

---

277. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<19 мая / 1 июня 1912. Брюссель>[1]

Дорогой Саша!

Только что получил Твое письмо[2]: спешу ответить сегодня же, ибо послезавтра утром уезжаю, а там — громадная порция работы (кончаю роман[3], а *это* — пытка). Мой адрес до 23 июня таков. France, Bois-le-Roi. Seine et Marne. Chez Monsieur Pierre d'Alheim. Мне[4]. Дальше Мюнхен. Poste restante.

Ну, конечно, пусть будет так, как Ты говоришь. И если есть люди, кому могут быть интересны выдержки из моих писем, то читай им. Ты верно пишешь о том, что у Тебя есть линия, смежная с той, которая намечается у меня. Оттого-то я Тебе и пишу. Именно Тебе. И так хочется с Тобой поделиться.

Итак, продолжаю мой, так сказать, дневник, ибо то, что происходит с нами, требует исхода — хочется кому бы то ни было сказать, а здесь некому, с Москвой — сложности, а с Тобой мне просто и ясно.

На другой день после того, как я Тебе написал[5], утром к нам стучат в дверь. Говорю: «*Entrez*»*. Входит господин с очень собранным и таким знакомым, бритым лицом. Всматриваюсь — Эллис. И — бритый. Мы его не узнали. Оказывается: узнав из письма, что я встретился со Штейнером, он тотчас же взял у Штейнера трехдневный отпуск (он ведь уже 6 месяцев всюду сопровождает Доктора) и приехал из Берлина к нам с грудою эзотерических курсов под мышкой и без единой вещи, без единого франка. Мы его устроили при нас. Оказывается, он приехал специально нас *просвещать* и *предупреждать* о явлениях, могущих быть с нами после несомненного *контакта* с ореолом, существующим вокруг Штейнера. Те, кто подходят к ♁ реально, испытывают гонения и страдания, болезни, недомогания. К тем приходит во сне какой-то гадкий оборотень Антиштейнер, синий и малюсеньких размеров. Далее, если устанавливается оккультный *раппор* с Учителем, то у ученика должно гореть эфирное тело[6] и болеть эфирное сердце (у Эллиса два месяца были ужасные страдания, оказалось, что воспламенилось все эфирное тело). И действительно: в ночь перед приездом Эллиса у Аси была всю ночь сильнейшая боль в сердце, и я не на шутку испугался. Оказывается, что это в порядке вещей и что это — обычное явление у людей, соприкоснувшихся с личностью Штейнера, которым будто бы руководит сам Христиан Розенкрейц[7]. Объяснение было весьма кстати. Я совершенно успокоился. И мы приготовились к тому, чтобы эфирно гореть, ибо мы теперь явно идем в чистилище. Пока не сгорит старое, нельзя ничему учиться. Эллис на вид тот же, но, приглядываясь, ближе видишь, какая огромная дистанция отделяет его от «*московского*» Эллиса. Как-то вычертилось лицо. Обрати внимание на лицо Штейнера: его можно рассматривать в лупу: оно все прочерчено упражнениями. *Знающие* могут сказать, от какой медитации прочертилась какая складка: он весь — как бы переплавил физическое тело в *эфирное*, ибо задача нашей, пятой подрасы, дающей шестую работать астральным телом над эфирным, тогда как седьмая подраса будет плавить самое физическое тело (реальное преображение)[8]. Вот такая печать удаленной прочерченности (едва намеченной) лица Эллиса нас так поразила.

Любопытные вещи Эллис рассказывал про Гельсингфорс[9] (где у Штейнера был, между прочим, и Леман), но Леман не присутствовал на русской встрече Пасхи. А говорят, это было нечто незабываемое. Было всего 17 русских и с ними Штейнер. Когда он разрезал кулич и роздал, то вдруг наступило молчание, продолжавшееся 20 минут, во время которого поднялась такая буря астрального света, что нельзя было выдержать (ежегодно около Штейнера по нескольку случаев сумасшествия: не выдерживают страшной напряженности в *атмосфере* буквальных чудес в его окружении — кстати: сейчас около него начинает видеть слепой, у которого разрушилась уже клетчатка глаза). После этого он встал и ушел. За ним бросились все русские и отнесли ему цветы. Эта встреча в Гельсингфорсе была первой встречей Доктора <с> Россией, и первым реальным его приближением к России, за которой последуют и другие встречи. Эллис уверяет, что во время этого странного

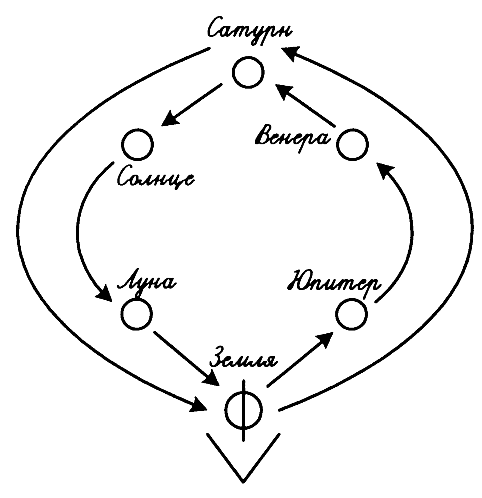
---

* «Войдите» (*фр.*).

молчания он подумал о нас с Асей (не характерно ли: именно в это время мы слегли в постели (на первый день Пасхи), а в ночь на второй день у нас и был с женою общий сон: Штейнер). Многое и другое рассказывал Эллис о Гельсингфорсе, что могло бы показаться чудесным. Но пойми: мы, пережившие только что ряд необъяснимых феноменов, только что видевшие Штейнера в Кёльне, — мы верили.

Эллис провел с нами 3 дня[10]. Дни стояли душные, страдные. И конечно — мы так привыкли теперь — вышли «*странности*». Опишу вкратце. Однажды вечером (часов в 6), когда мы сидели в комнате, а на улице еще не садилось солнце, я посмотрел в окно — и ужас: над краем дома я увидел кусок черной сажи, вместо неба, а на улице было темно, как ночью. Я подбежал к окошку: над крышами повисла туча такой черноты, что я еще таких туч не видывал: я подумал, что сейчас будет ураган с катастрофой; но туча мгновенно, бесшумно пронеслась. До сих пор не знаю, была ли эта туча коллективной галлюцинацией нас троих или действительной тучей. Но тогда почему ни дождя, ни грозы, ни ветра? Этот вечер был очень зловещ. В маленькой нашей комнатке мы с Асей заметили отсветы красного пламени. Но когда вошли в комнатку, ничего не было.

Вечером на следующий день Эллис читал нам экстракт одного из курсов Штейнера о том, что мы переживаем перелом не только в истории человечества, не только в истории нашей планеты, но в истории целого планетного развития; а именно: всякая жизнь эфирно началась на Сатурне, продолжалась на Солнце, астрально шла на луне, пока физически не проявилась на земле[11], но теперь, в истории земли пробил час, когда мы *возвращаемся*. И линия прохождения жизни сквозь *все миры* круто меняется вверх.



— мы в пункте этого перевала. Далее, когда Эллис дошел до связи *этого перевала* с Вторым Явлением Христа, могущим для пробуждающихся быть зримым эфирно в *течение этого десятилетия,* и о роли России при этом, вдруг прошла какая-то волна, и Эллис оборвал свое изложение курса. Мы *трое*, каждый по-своему, ощутили присутствие, и все трое молчали. Привожу документально, что каждый видел и ощущал из нас троих (свидетели — моя жена и Эллис), не сказавши друг другу ни слова.

Моя жена была измучена, лица на ней не было: вдруг ее руки коснулось теплое веянье и опять, как и прежде:

«*Лишь забудешься сном иль проснешься в полночи*»[12]...

Я ясно ощутил, что из нашей маленькой комнатки кто-то вышел и стоит на пороге, контуры намечал (впрочем, это — пятна в глаза) *пурпурный ореол* (аура Штейнера), а там, где должна была находиться грудь, *мне казалось*, что вижу я зеленое пятно (этот зеленый свет опять-таки ученикам Штейнера известен на Докторе); но я не ощущал, что это Доктор (за 3 минуты до этого я лишь мысленно обратился к нему). Эллис, сидевший спиною к *тому месту*, посмотрел на меня и сказал: «*Он*».

Так мы *трое* совпали: единовременно. Было как-то неловко продолжать чтение... Ведь нас было в комнате *четверо*.

(Кстати о лекции. Штейнер говорит, что в то время, как каждую расу, или группу рас ведет тот или иной Гений Покровитель (Архангел), *славянство не ведет никто*. Но странное дело: оккультное исследование над эфирным телом славянина показывает, что в нем *вписано* имя самого Христа. Отсюда явствует, что славянство, в частности Россию, после громадной тяжести, которую еще всем нам предстоит пережить, поведет *сам Христос*, а не кто-либо другой).

Штейнер с славянофильством незнаком: но как объясняются этим бессознательные чаяния славянофилов и «*бýди*» Достоевского[13], и гортанный рык маленького что-то слышащего и беспомощно руками машущего Дмитрия Сергеевича.

«Ты пойми — мы ни здесь, ни тут...
Наше дело — такое бездомное.
Петухи поют, поют,
Но лицо небес еще темное»[14].

Именно *темное* сейчас лицо небес России. Но это — иллюзорная, нами в Брюсселе виденная туча. Ведь мы — *ни там, ни тут*.

Но продолжаю. Описанные дни были 1-го, 2-го и 3-ьего мая.

Пятого мая с нами произошел страннейший инцидент (Саша, голубчик, мне стыдно писать, потому что *такое* обилие *странного* может казаться шарлатанством, а что делать: так, как пишу, и было).

Весь день мы работали (после отъезда Эллиса мы с утра до ночи за работой: я днем сижу за романом, Ася — за гравюрой, а вечером мы занимаемся немецким и читаем курс Штейнера). Но слушай: часов в девять мы сидим и тихо беседуем о всем с нами бывшем. В это время я бросаю взгляд на сухой букет на столе и говорю: «*Как жаль, что мы забыли купить цветов*». Не прошло и трех минут, как в дверь (выше двери) быстрый, хороший, громкий, но странный стук. Ася говорит: «*Entrez*»*. Никто не отвечает. Я отворяю дверь, и — никого: освещенная площадка: вниз и вверх бежит темная лестница, прислушиваюсь: ни вверху, ни внизу никого, а — что такое? Явственный, одуряющий аромат лилий и ландышей (между тем весь день дверь и стогны лестницы красили маляры и стоял нестерпимый запах краски). Я не хочу себе верить, зову к себе Асю. Ася подходит, смотрит на меня и смеется: «Кого же благодарить?» Явственный запах *лилий и ландышей, конечно,* и она тотчас услышала; точно пронесли громадный букет, *но все это эмпирически было невозможно*.

Тогда я начинаю исследовать феномен; я спускаюсь вниз, но запах пропадает, сменяясь запахом краски; поднимаюсь выше — и та же история. *Центр благовония* перед нашей дверью на пустой, освещенной и мокрой от масляной краски площадке. Тут мы вспоминаем стук; и — явное дело: стук был — стук спиритический. И

* «Войдите» (*фр.*).

пока мы стоим, раскрыв дверь, комнаты наши наполняются каким-то *фимиамом*. Раздается еще несколько спиритических стуков, слышно Присутствие...

Через 10 минут отворяем дверь снова — запах краски...

Вот.

Что об этом сказать? Скажешь, а слушатель почешет затылок, недоверчиво поглядит и скажет: «Да-а... знаете ли...» И замнет разговор, чтобы вывести из неловкого положения зарвавшегося...

Это было последнее от *благого*.

Эллис прав: приближение к Доктору вызывает гонения. Вдруг улицы Брюсселя покрываются для нас какими-то исступленными, сумасшедшими лицами. Ася едет в конке, оборачивается и видит: *лик ужаса* прильнул к стеклу с площадки. Однажды ночью бежали мы к пустому трамваю; впереди бежал господин. Втроем влетели мы в пустой освещенный трамвай: господин же оказался людоедом: всю дорогу он раскрывал на нас рот (делая вид, будто зевает). А когда мы, *от него спасаясь*, сошли с трамвая, то сошел и он, теряясь на площади.

Наконец, мы с Асей стали замечать отовсюду на нас глядящие глаза, полные ненависти, или испуга (будто мы страшные?), или безумия. *Глаза* принадлежали прохожим, спутникам в вагонах, соседям по ресторанным столикам.

Кажется, ничего особенного в этом нет, но: почему и Ася, и я — мы физически измучились? И почему столь разные лица смотрят на нас *единым* взором стародавней ненависти, старающейся растерзать. Что *это*? Принадлежит ли *оно* людям объективно, обнаруживается ли *для нас* в них, субъективное ли это восприятие, или в нас *есть нечто*, что вызывает инстинктивную ненависть? Но нам кажется, что мы *окружены реально* кольцом врагов, врагов, за нами следящих и неведомых.

Вот уже полторы недели, как засел *буквально в четырех стенах*. О, как я понимаю жизнь Стриндберга! Помышляю об улице с отвращением и ненавистью. И буквально бегу из Брюсселя в *Bois-le-Roi*, мирную французскую деревушку.

У меня такое чувство, что все так и есть, как подобает. Спокойно отношусь к преследованию (жду еще больших); удивляюсь, если все как всегда, если неделю нет *стуков*, ладанного запаха (кстати: как-то на днях Ася входит в комнату, где мы спим, и видит струйку, вхожу я — слышу ладан). И т. д.

Вот — наша странная брюссельская жизнь приходит к концу. Июнь, думаю, будет тихий и спокойный. В июле жду *всяческого* (в темном и светлом смысле).

Да: еще о сне. Видел я сон, будто мы несемся с головокружительной быстротою к какой-то опасно странной Звезде. И будто от Тебя я получил известие, что падение на эту звезду неминуемо и мы в *сфере ее влияния*. Я смотрю кругом: уже атмосфера меняется.

Дорогой друг! Напиши мне подробности о смерти Стриндберга. Я ничего не знаю. Вчера читал его «*На шхерах*» и восхищался[15].

Остаюсь крепко любящий Тебя брат

Борис Бугаев.

P. S. От Аси привет.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю: Bruxelles. 1. VI. 1912. Пометы Блока — химическим карандашом: «20 мая 1912»; на конверте — красным карандашом: «V 1912», графитным карандашом: «Получ. 21 мая 1912, отвеч. 27 мая». 21 мая 1912 г. Блок записал в дневнике: «Новое письмо от Бори (о Докторе — с большой буквы)» (VII, 144). 8 июня (в автографе

письма описка: 8 мая) 1912 г. Блок сообщил Э. К. Метнеру об этом письме (а также о письме 276): «У меня есть из Брюсселя два письма — совершенно необычайные» (Фрумкина Н. А., Флейшман Л. С. А. А. Блок между «Мусагетом» и «Сирином» (Письма к Э. К. Метнеру) // Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 390).

[2] Это письмо Блока нам не известно.

[3] Во время пребывания в Брюсселе Белый работал над 4-й главой «Петербурга».

[4] Белый и А. Тургенева прибыли в Буа-ле-Руа (под Парижем, вблизи Фонтенбло), в дом П. И. д'Альгейма и М. А. Олениной-д'Альгейм (тетки А. Тургеневой), вероятно, 4 июня (н. ст.), прожили там до конца месяца. См.: *Начало века*. С. 445—446; Turgenieff Assja. Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum. Stuttgart, 1973. S. 24—25.

[5] Имеется в виду п. 276.

[6] Согласно теософскому учению, эфирное (стихийное, жизненное) тело — «эфирный двойник», насквозь проникающий физическое тело человека и служащий проводником для жизненных токов, действующих на материальный организм.

[7] Легендарный основатель ордена розенкрейцеров, родившийся в 1378 г. и умерший 106 лет от роду. См.: Штейнер Р. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца. Лекции 1911—1912 гг. СПб., «Дамаск», 1992. Об интересе Белого к розенкрейцерской эзотерике см.: Силард Лена. Роман Андрея Белого между масонством и розенкрейцерством // Россия / Russia. 1991. № 7. С. 75—84.

[8] Речь идет о теософских представлениях об эволюции человека, развиваемых Штейнером, в частности, в книгах «Из летописи мира» и «Очерк тайноведения».

[9] См. примеч. 17 к п. 276.

[10] Встречи с Эллисом в Брюсселе Белый описал в «берлинской» редакции «Начала века». См.: Андрей Белый. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении современности. Воспоминания о Штейнере. М., 2000. С. 647—650.

[11] См. подробное развитие этих положений в книге Штейнера «Очерк тайноведения» (М., 1916; Л., 1991. Глава 4 — «Развитие мира и человек»).

[12] См. п. 276, примеч. 13.

[13] См.: «Братья Карамазовы», ч. 2, кн. 6, гл. III — «Из бесед и поучений старца Зосимы» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Л., 1976. Т. 14. С. 287). В статье «Россия» Белый писал: «Только тогда, когда исчезнет больная Россия, мы сможем превратить лозунг Достоевского: "Буди", в ликующий лозунг: "*Есть*"» (Утро России. 1910. № 303, 18 ноября).

[14] Неточно приводится 1-я строфа стихотворения Гиппиус «Петухи» (1906). См.: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 144 («Новая библиотека поэта»).

[15] «На шхерах» («I havsbandet», 1890) — роман А. Стриндберга. Стриндберг скончался в Стокгольме 14 мая (н. ст.) 1912 г. Ср. дневниковую запись Блока от 3 мая: «1-го мая (по русскому стилю) в 4 часа 30 минут дня Август Стриндберг скончался» (VII, 142). Блок содействовал поездке Вл. Пяста в Стокгольм к умирающему Стриндбергу. См.: Пяст Вл. Воспоминания о Блоке. Пб., 1923. С. 44; Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 145—157.

---

278. БЛОК – БЕЛОМУ

26 мая 1912. <Петербург>[1]

Милый Боря.

Я сам не понимаю, каким образом узнаю и верю во все то, что пишешь Ты, о чем говорится в Inferno[2], и т. д. Вы говорите об этом там, за рубежом, а здесь об

этом говорить почти не с кем, а с теми, кто знает это, почти невозможно. Когда я читал Пясту выдержки из первого твоего письма[3], то он просил меня читать только биографию Штейнера, отчет о лекции и т. д., пропуская места об уличных встречах, трамваях, и пр. — не из-за Тебя, а *из-за себя*. Второе Твое письмо[4] я читал совсем один в квартире, получив его поздно вечером, — и даже мне, при всей моей «уравновешенности», было чуть-чуть не по себе.

Итак, я почти молчу обо всем, что происходит с вами, молчу и для себя.

На днях я остаюсь совсем один в Петербурге, буду продолжать работу, может быть, поеду куда-нибудь в июне, тогда напишу Тебе.

При смерти Стриндберга присутствовали его сын (описанный в «Одиночестве»)[5], две дочери (старшая — от первого брака, замужем за Смирновым, русским, — профессором Гельсингфорсского университета; другая — актриса) и зятья; самые минуты смерти не видали, он умер во сне; кажется, за несколько часов до смерти, он всех позвал, сказал, что говорит в последний раз, просил хоронить без пастора на кладбище для бедных и положить в гроб на грудь крест и Библию, «так как только в этой книге есть некоторая правда». На похоронах, кроме тысячи рабочих и студентов, присутствовали представители правительства с министром-президентом. Путь на кладбище — обыкновенный путь многолетних утренних прогулок С<триндберг>а (тоже описан в «Одиночестве»). Пяст жил в Стокгольме около двух недель, но смерти не дождался. Передал С<триндберг>у цветы «от русских поэтов». Его, конечно, не видал (никого не пускали), но видел часть квартиры: светло, и стены выкрашены масляной краской[6].

У меня мысли театральные, т. е. хочу вернуться к драме[7]. Отчасти потому опять я в недоумении от «Трудов и дней»[8]. Ужасно все «умно»! Чтобы проходить «тонкой иглой сквозь студенистую массу», надо иметь свой собственный удельный вес, которого я совсем не чувствую в Степпуне и Яковенке. Они просто тяжелые, не хочу нести их бремен; потому и со вторым № я как-то только рядом, не проникаюсь. Мне очень дорог тот лад, на который себя настроили «Труды и дни», но не исполнение.

Впрочем, и Ты далек теперь от этого. — Пишу вяло, многим озабочен. Крепко целую Тебя, милый, кланяюсь Анне Алексеевне, не забывай меня и пиши о дальнейшем, как писал.

Твой Ал. Блок.

---

[1] Ответ на п. 277.

[2] Имеется в виду роман Стриндберга. См. п. 271, примеч. 2.

[3] Имеется в виду п. 276. 17 мая 1912 г. Блок записал в дневнике: «С Пястом — очень хороший вечер. <...> После чаю — чтение Бориного письма — о Штейнере» (VII, 144).

[4] П. 277.

[5] Имеется в виду роман Стриндберга «Одинокий» («Ensam», 1903).

[6] Пяст ездил в Стокгольм в качестве корреспондента газеты «Русское Слово» (см. его письмо к Блоку из Стокгольма от 30 апреля (н. ст.) 1912 г. // *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 214). Разговоры с Пястом по его возвращении в Петербург нашли отражение в статье Блока «Памяти Августа Стриндберга» (май 1912 г.; V, 463—469; первоначальная редакция опубликована Д. М. Шарыпкиным в кн.: Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 552—556).

[7] В мае— июне 1912 г. Блок работал над драмой «Роза и Крест».

[8] Новые впечатления — от знакомства с № 2 «Трудов и Дней».

---

279. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10/23 июня 1912. Буа-ле-Руа>[1]

Дорогой Саша,

получил Твое письмо. Спасибо: о «*Трудах и Днях*» спасибо Тебе. Ты — прав. Все то, что Ты пишешь, происходит от 1) разносторонности устремлений основного ядра, 2) от чувства неудовлетворенности какою бы то ни было платформою. Мне сейчас чужды вообще все журналы, но по ряду соображений, о которых долго писать, все же буду много работать в «*Тр<удах> и днях*».

Милый друг, где Ты? Что с Тобою? Давно уже от Тебя не имел известий. Чем больше живу вне Москвы, тем с бóльшим ужасом мыслю о том *прóклятом* месте, кишащем истерикою и химерами. О, с какою б охотою я не жил бы в Москве, как не жил бы сейчас в Петербурге, хотя много работаю над романом *«Петербург»*[2]. Живу я в укромном месте, под Парижем, в Париже не бываю: был лишь раз по делам, но поспешно бросился из этого зачумленного места.

Уже много лет я мечтаю о спокойной и тихой жизни в деревне: никогда деревня не изменяла мне. Город — всегда.

Что касается нашей *штейнерьяды* с Асей, то она как-то круто вдруг оборвалась, едва мы покинули Брюссель. Ничего — ничегошеньки не могу прибавить к последнему моему письму, даже странно: из полной напряжения и невероятно странной жизни — прямо в здоровую, крепкую тишину. Вероятно, в Мюнхене будет все по-иному: может быть, это отдых перед новой волной *всякого*.

В Мюнхене мы будем числа 24-го июня по русскому стилю[3]. И пока наш адрес: Deutschland. München. Poste restante.

С романом я измучился и дал себе слово надолго воздержаться от изображения *отрицательных сторон жизни*. В третьей части серии моей *«Востока и Запада»*[4] буду изображать здоровые, возвышенные моменты жизни и Духа. Надоело копаться в гадости.

Милый, милый друг, крепко жму руку. Всего крепкого и счастливого. Остаюсь нежно любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Ася приветствует Тебя[5].

---

[1] Ответ на п. 278. Датируется по почтовому штемпелю. Получено в Петербурге 13 июня 1912 года. Пометы Блока — химическим карандашом: «Июнь 1912»; на конверте — красным и графитным карандашами: «VI 1912», «Июнь 1912», «в Мюнхен ответил 16. VI».

[2] В Буа-ле-Руа Белый писал 5-ю главу романа.

[3] Белый и А. Тургенева приехали в Мюнхен (через Страсбург) в начале июля (н. ст.) 1912 г. Штейнер находился в Мюнхене с 29 июня по 7 сентября 1912 г. (Lindenberg Christoph. Rudolf Steiner. Eine Chronik. 1861—1925. Stuttgart, 1988. S. 319).

[4] 3-я часть трилогии «Восток или Запад», начатой «Серебряным голубем» и «Петербургом», в тех контурах, в которых она первоначально задумывалась, осуществлена не была.

[5] 13 июня 1912 г., в день получения этого письма, Блок отметил в дневнике: «Письмо от Бори — спокойное — из Франции» (VII, 150); аналогичное сообщение — в письме Блока к матери от 14 июня (*Письма к родным, II.* С. 203). Ответное письмо Блока неизвестно.

---

280. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10/23 ноября 1912. Штутгарт>[1]

Дорогой, близкий, любимый Саша!

Как Тебе объяснить мое 5-месячное молчание? Уж и не помню, ответил Тебе или нет на Твое мюнхенское письмо[2]. Если и ответил, то, вероятно, спешно, полагая, что отвечу подробно вскоре.

Во всяком случае не думай, что мое молчание обусловлено чем-либо: я все время был с Тобой, всегда думал, всегда помнил.

И... молчал.

Молчал потому, что все эти 5 месяцев упорно, долго, многообразно работал; молчал потому, что говорить о внешнем или полувнешнем с Тобою мне невмоготу; а делиться мюнхенскими впечатлениями о моей работе у Доктора, свиданиях с ним и разговорах — да Ты сам однажды мудро мне написал: *довольно, слишком...*[3] (это на мои безумные брюссельские письма).

И я понимаю, почему. Мои письма достигли того критического пункта, где глупо писать, где надо быть вместе, чтобы вместе видеть и вместе молчать.

Да и кроме того: то, что писал Тебе из Брюсселя, было *ново* для меня, но наивно и по-детски с точки зрения оккультиста. Ведь я писал не зная как, не зная о чем: это были письма застигнутого врасплох. При Докторе есть люди, идущие реально путем ок<культ>ного обучения по 5, 6, 7 лет (люди ок<культ>но одаренные); и эти люди обыкновенно хранят молчание и скупы на слова там, где я «*орал*»...

Словом: попав в Мюнхен, мы с Асей очутились между Доктором и 2—3 действительными учениками его и *сотнями теософов*. А рядовой *теософ* в теософии ничем не лучше Якова Година (в модернизме). На поверхности движения трещат, злословят, рассказывают небылицы, сплетничают, флиртируют — словом: *как везде*.

А *действительные* работают у себя наедине: Доктор (*единственное, несравненное, в мире небывалое явление*) единственно соединяет тех и других, жертвуя себя сотням рядовых совершенно сознательно для очень важных последствий близкого будущего.

Но только Доктор соединяет тех и других.

Из Мюнхена я не мог Тебе писать ни о чем, потому что весь Мюнхен для нас с Асей был сплошным перебоем[4]: *упорная работа*, как окк<ультн>ая, так и школьническая (немецкий, чтения курсов, конспекты, упражнения, переводы и т. д.) перебивалась событиями странными, небывалым энтузиазмом, величайшею фальшью и плоскостью (теософы), усталостями, неприятностями с Москвой и новыми взлетами. В этой напряженно-трудовой, гениально-странной и тупо-пустой атмосфере мы, новички, школьники, просто долгое время ничего не понимали, да и не смели иметь своего суждения: ведь мы попали в студенты (на первый курс)

к строгому эсотерическому, контролирующему мысли профессору, пред которым *тайное* на ладони.

И мы просто слушали, молчали, учились, уставали и сдавали экзамены (каждое свидание с Доктором — экзамен).

Что тут писать?

За это время прослушали курс, видели мистерии[5]; потом поехали в Базель на новый курс Доктора «*Ев<ангелие> от Марка*»[6]... Говоря внешне: ничего гениальнее я не слышал.

В Базеле сдали отчет Доктору (чертежами, рисунками); и поехали в Vitznau (в Швейцарии) работать над уроком Доктору (теперь у нас с Асей по докладу ему). Мы месяц жили в полном уединении, среди гор, в деревушке[7]. Время шло так: с утра до ночи работа (медитация, *Vortrag** Доктору, роман «*Петербург*», немецкий, циклы лекций для изучения, статьи в «*Труды и Дни*»)[8]. Буквально не выходили месяц из комнат.

После нас позвала одна из лучших учениц Доктора работать с ней под Штуттгарт (в тихое местечко около леса); и здесь мы прожили опять-таки более 4-х недель[9]; и опять: работа, медитации, роман[10], схемы.

И вот завтра едем в Мюнхен[11], где встретимся с Доктором и сдадим ему отчет (и устный, и писанный); в Мюнхене решится наше дальнейшее пребывание. Или Доктор нам велит быть при себе, в Берлине, или отошлет вновь в уединение работать.

Ему виднее.

И то, и другое хорошо.

Вот мое резюме: после 4-месячной работы итоги — открылись безмерные горизонты; страшно прибавилась четкость и строгость к себе; в одном отношении совершенно измучены медитациями, в другом отношении: бодрей, крепче. Ты спросишь: нашли ли мы то, чего искали? Отвечу: да, да и да!... Но то, что казалось в розовом свете, оказалось исполненным терниями.

⊕ путь есть путь чрез *очищение* к просветлению; и уже только потом к посвящению.

Очищение же — легко сказать: ⊕ пути очищение значит — реально пережить чистилище еще здесь на земле. Между *очищением* и *просветлением* стоит первый страж *Порога*[12], существо, созданное моими мерзостями всех воплощений. То, куда идет душа после смерти (хождение по мытарствам), это нападает еще здесь, на земле для *реального* ученика. Стадия очищения может длиться годами. Мы сделали шаг: остается быть мужественными. Ты понимаешь, что когда пишешь *работа* у Доктора, то под *работою*, если только *реально* к ней отнестись, разумеются не розы, а нечто тяжелое, как крест.

Ты спросишь, а результаты?

Отвечу: бесспорны, математически точны; твои ощущения безумнейшие точно измерены, взвешены, исчислены, предопределены. Доверие к Доктору на этом пути безусловно.

---

* Доклад (*нем.*).

Ты спросишь: «А прошлое? Искусство, жизнь, связи?..» Отвечу: «Ничего не откидывается: все пресуществляется, все горит в новом свете. Скажу только: воспоминания, связи, прошлое резонирует сильнее всего в эфирном теле, а работа начинается с чистки *эфирного тела*, к<отор>ая отражается на необычайной живости всех переживаний; в центре всего стоит:

«*Переживи себя*»...

Опять, вновь, сызнова — все, без прикрас: еще раз!

И вот сколько раз переживал нашу связь: и все не писал.

Не писал по очень серьезным причинам. О них, и о *деле одном* (нашем с Тобой) до следующего письма из Мюнхена (нет бумаги, поздно, завтра утром уезжаем).

Ну, Христос с Тобой, дорогой, близкий, любимый брат.

Есть свет, есть свобода: есть будущее!!

Нежно Твой Боря

P. S. От Аси привет.

---

1 Над текстом — приписка Белого: «Прилагаю найденное и не отправленное письмо Тебе». Письмо, затерявшееся в бумагах Белого, было отправлено им адресату вместе с письмом от 13/26 декабря 1912 г. (п. 284).

2 Т. е. письмо, отправленное Блоком в Мюнхен (см. примеч. 1, 5 к п. 279).

3 Видимо, подразумевается п. 278.

4 В Мюнхене Белый и А. Тургенева жили с начала июля до конца августа (н. ст.) 1912 года.

5 В Мюнхене были представлены «Святая элевзинская драма» Эдуарда Шюре (18 августа) и три мистерии Штейнера: «Врата посвящения» (20 августа), «Душевный искус» (22 августа), «Страж Порога» (24 августа).

6 В Базеле Белый и А. Тургенева жили с конца августа до конца сентября (н. ст.) 1912 г. С 15 по 24 сентября Штейнер читал там лекционный курс «Евангелие от Марка».

7 Белый и А. Тургенева жили в Фицнау (на Фирвальдштетском озере) с 1 до 26 октября (н. ст.).

8 В Фицнау Белый написал статьи «Линия, круг, спираль — символизма» и «Круговое движение (Сорок две арабески)», опубликованные в «Трудах и Днях» (1912. № 4/5. С. 13—22, 51—73).

9 В Штутгарт Белый и А. Тургенева приехали 26 октября (н. ст.), после этого жили в Дегерлохе (под Штутгартом) у Иоганны Польман-Мой (1874—1959), голландской теософки и оккультистки, автора ряда религиозно-мистических сочинений, близкой знакомой Эллиса, ставшей его спутницей жизни.

10 В Дегерлохе Белый занимался переработкой начальных глав «Петербурга», в первоначальной редакции созданных в конце 1911 года.

11 Белый и А. Тургенева переехали из Штутгарта в Мюнхен 24 ноября (н. ст.).

12 Одно из основных понятий штейнеровского учения (различаются Малый и Великий Стражи Порога); согласно Штейнеру, «при встрече со Стражем Порога человек впервые узнает, с какой магнетической силой притягивает его к себе то, что он должен оставить»; «Страж Порога для каждого отдельного человека принимает до известной степени индивидуальный облик. Встреча с ним соответствует как раз тому переживанию, благодаря которому преодолевается личный характер сверхчувственных наблюдений <...>» (Anthropos. Опыт энциклопедического изложения духовной науки Рудольфа Штайнера. Составитель Г. А. Бондарев. М., 1999. Т. II. С. 670, 672).

---

281. БЛОК – БЕЛОМУ

15/28 ноября 1912. СПб. Офицерская 57, кв. 21[1].

Милый Боря.

Пишу только *деловое* письмо: в жизни произошло столько, что письмом не скажешь; да и дойдет ли оно до Тебя. Если дойдет, прошу Тебя, ответь скорее, хотя бы *только* деловым письмом.

В Петербурге основывается новое большое книгоиздательство — «Сирин»[2]. Во главе его стоит М. И. Терещенко, человек очень милый и скромный, глубоко культурный и просвещенный. Обладая большими средствами, издательство хочет служить искусству и художественной литературе, по преимуществу, хочет дать возможность русским писателям работать спокойно; хочет поставить дело (которое едва только начинается) на реальную почву, не меценатствуя, но и не занимаясь эксплуатацией, как это свойственно издателям-евреям.

Разумеется, речь уже заходила о Тебе. М. И. Терещенко поручил мне просить Тебя прислать *Твой новый роман* для того, чтобы издать его отдельной книгой, или включить в альманах. Он особенно понимает и ценит «Серебряного голубя».

Если роман кончен, если Ты согласен выкупить его у Некрасова, которому Ты, кажется, его продал[3], — пришли его в «Сирин». Я, как Ты можешь предполагать, особенно поддерживаю эту просьбу по многим причинам: первая — та, что издательство сразу отметится знаком, как Ты знаешь, *заветным* для меня; последняя, — что это попросту будет для Тебя всего легче и выгоднее: Ты получишь, во-первых, ответ об условиях без промедления, во-вторых — гонорар, максимальный из возможных, во всяком случае — не меньший, чем у Некрасова или в любом другом месте (сколько, кстати, Н<екрасо>в заплатил Тебе?). — За благородство, бескорыстие и вкус издателей я могу Тебе поручиться от чистого сердца.

Милый Боря, ответь мне, прошу Тебя, поскорее, согласен ли Ты? Если да, присылай роман проще всего — прямо ко мне, я сейчас же передам его.

Боюсь, что Ты не получишь письма. Крепко целую Тебя и жду ответа[4].

Любящий Тебя Ал. Блок.

---

[1] В собрании В. Н. Орлова сохранился черновик этого письма (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 517. Л. 16—19 об.); опубликован (с воспроизведением верхнего слоя правки) в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 304.

[2] Согласно свидетельству А. М. Ремизова, «основание издательству “Сирин” положено было 10-го октября в среду»; договоренность с Блоком об участии в издательстве была достигнута 17 октября (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 371—372).

[3] Белый договорился с К. Ф. Некрасовым о публикации «Петербурга» в его ярославском издательстве незадолго до отъезда за границу — в середине марта 1912 г.; тогда же Некрасову была передана рукопись завершенных глав романа (в первоначальной редакции). Письма Белого к Некрасову (1912), касающиеся хода реализации этого соглашения, хранятся в фонде К. Ф. Некрасова в Гос. архиве Ярославской области (Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 33). См.: Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 558—559, 565—568.

[4] В письме к Э. К. Метнеру от 18 ноября 1912 г., сообщая об основании издательства «Сирин», Блок добавлял: «...я написал Белому в Мюнхен, по поручению "Сирина", чтобы он прислал "Сирину" свой новый роман (вторую часть трилогии). Ходят слухи, что роман не кончен и что он продан Некрасову. Последнее — не страшно, можно выкупить. Первое же заставляет думать о том, что предполагают многие: что он и не кончится, и Белый "бросил литературу". Не знаю и об этом ничего: у меня — упорное чувство, что Штейнер есть эпизод в его жизни, хотя бы и значительный и чреватый последствиями. Однако, чувства — мало. — Известий от Белого не имею, по-прежнему, никаких» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 206).

---

282. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Начало декабря / Середина декабря 1912. Берлин>[1]

Милый, милый Саша!

Вот так судьба! В Штутгарте, накануне отъезда в Мюнхен (24 ноября н<ового> ст<иля>), написал Тебе длинное письмо о том, как соскучился по Твоему голосу и *отчего* молчал так долго: но в спешке укладки не успел письма отправить и куда-то запаковал: в Мюнхене оно запропало и теперь лежит где-то в океане бумаг[2].

Дорогой, близкий! Пишу кратко; молчание мое от двоякой причины; от того пути, на который вступаю (та стадия моего отношения к Доктору, в которой я нахожусь, могла бы быть названной *молчальничеством*); мое молчание *Тебе* обусловливается *перезакупоркой* интимнейших слов и мысленных обращений, которые всегда поднимаются во мне: часто ночью и в тихие дневные часы долго, упорно, то тревожно, то радостно, но *всегда нежно* думаю о Тебе.

И знаю:

Из всех людей, Ты более всех можешь понять мое *молчание к близким* без долгого внешнего пояснения.

Молчу оттого, что Ты мне близок.

И пока довольно: пишу Тебе лично на днях.

Спешу ответить *на деловое.*

Спасибо Тебе за память обо мне. И за приглашение участвовать в издательстве *«Сирин»*. Если против меня не имеется ничего, то я согласен и благодарю Тебя.

Относительно романа *«Петербург»* вот как обстоит дело.

Я продал Некрасову роман (до XX печатных листов) за 2200 рублей. Первую половину давно получил и прожил; Некрасову же представил до 14 печатных листов, обязуясь до июля представить следующие 6—8.

Но: случился Доктор. Все полетело к чёрту. Я мог работать с редкими промежутками.

Кроме того, осенью я начал перерабатывать первые главы.

Написано *6 глав.* Остается большая 7-ая (около 100 рукописных страниц), остается до-переработать первую и далее: переработать 2-ую главу. И далее: переписать 6-ую. Работы месяца на 2 (будь я не в активной работе у Доктора, живи я на одном месте, то 3 недели упорной работы были бы достаточны для окончания).

Итак.

В принципе я готов бы был отдать «Сирину» при следующих многосложных условиях.

1) Если бы *«Сирин»* заплатил мне за роман значительно более 100 рублей за печатный лист.

2) Если бы согласился ждать $2^{1}/_{2}$ месяца рукописи.

3) Если бы Некрасов добровольно согласился бы уступить без претензии (не формально, а по-хорошему); в противном случае я морально обязан Некрасову.

Видишь, как многосложно!

В случае, паче чаяния, согласия на это уведомляю, что главы:

a) 1-ая, 2-ая, 3-ья, 4-ая и 5-ая находятся у Некрасова[3].

b) Что главы 1-ая, 2-ая, 3-ья в измененном виде находятся в переработке у меня. Лишь 4-ая и 5-ая главы ***в окончательной версии*** годны в Некрасовской рукописи (копий с этих глав у меня нет).

c) Глава 6-ая находится в черновике у меня.

d) Глава 7-ая не написана.

Пишу это Тебе, чтобы Ты сделал сам вывод, подходит это или не подходит, трудно или не трудно.

За «*Сирин*» у меня соображения:

a) то, что *Ты* там и *Ты* меня зовешь: стало быть, мне это желанно.

b) Вопрос гонорара: я все время сложно выпутываюсь и сложно устраиваюсь с долгами и возможностью жить.

Мой долг «*Мусагету*» и отсутствие средств у «*Мусагета*» сильно *запутывает* меня.

Если нельзя с романом, то я мог бы предложить мою книгу «*Пут<евые> Заметки*», которую материально долго еще затрудняется издавать «*Мусагет*»[4].

Но, отрезанный от России, я совершенно беспомощен в отыскании себе литературного заработка, и гора долгов над моей головой растет, как лавина.

Поэтому, если можно мне будет каким-нибудь способом литературно существовать, будучи полезным и К<нигоиздательст>ву «*Сирин*», то, милый, подумай обо мне.

Пользуюсь случаем коснуться и еще дела.

Я Тебе должен, дорогой друг: не думай, что я забыл. Все эти месяцы ожидаю результатов одного хода: заклада в частные руки моего имения[5] (банки не принимают) для того, чтобы заплатить Тебе $^{2}/_{3}$ долга, «*Мусагету*» $^{1}/_{2}$ и освободить себе на житье у Доктора на несколько месяцев.

Но это сложное дело при почтовой путанице, переездах, моей заграничной жизни ползет ***черепашьими шагами***, откладываясь с месяца на месяц, а пока — лавина долгов и неопределенность.

Вот почему я ухватываюсь за Твое предложение в принципе. Предлагаю Тебе за меня это взвесить.

Писать что-либо определенное, ничего не зная о «*Сирине*» и не имея никаких реальных предложений с его стороны или знаний о нем — не умею.

Но в принципе схватываюсь: я более чем кто-либо нуждаюсь в материальной поддержке со стороны издательства. Ведь я совсем не обеспечен, а теперь положение очень сложное: уехать от Доктора уже не могу реально (могу сойти с ума: нельзя бросать ок<культного> пути, вступив на него: более году я связан при Докторе; а эта моя связанность лишает меня реальных сношений с литературными издательствами).

Еще раз спасибо, мой милый, милый друг, за дружеское участие и ласку.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Письмо лично Тебе скоро пошлю. Реально о «*Сирине*» хотел бы узнать.

Мой адрес: Berlin. Scharlottenburg. Lüther Strasse. 27. Pension Wegner (II Stock). Herrn Boris Bugaieff[6].

От Аси привет.

Еще раз спасибо.

---

[1] Ответ на п. 281. Датируется по связи с ним (почтовый штемпель отправления не сохранился; почтовый штемпель получения: Петербург. 7. 12. 12). Пометы Блока — химическим карандашом: «Дек. 1912»; на конверте — графитным и красным карандашами: «Получ. 7 XII и ответил тогда же», «XII 1912». 7 декабря Блок записал в дневнике: «Ответ от Бори наконец — длинный, о романе и о “Путевых заметках”» (VII, 190). О получении письма Белого Блок сообщил Э. К. Метнеру 8 декабря 1912 г., изложив вкратце его содержание и содержание своего ответного письма (п. 283). См.: Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 393.

[2] Имеется в виду п. 280.

[3] Книжная («некрасовская») редакция двух первых глав «Петербурга» впервые опубликована Л. К. Долгополовым в кн.: Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 420—494.

[4] Издание «Путевых заметок» Белого готовилось в «Мусагете» в 1912 г., но не было осуществлено.

[5] См. примеч. 8 к п. 261.

[6] В Берлине Белый и А. Тургенева находились с 1 по 27 декабря (н. ст.) 1912 года.

---

283. БЛОК – БЕЛОМУ

7/20 декабря 1912. <Петербург>[1]

Милый Боря.

сейчас получил Твое письмо, радуюсь ему. Да пусть будет теперь молчание между нами, я понимаю.

Потому, вот только деловая сторона: я сейчас же сообщил Терещенко по телефону о Твоем ответе, он рад. На днях буду говорить с ним подробно, сообщу все,

что Ты пишешь. Пока знаю, что «Сирин» берет и роман и «Путевые заметки», что гонорар будет больше, чем у Некрасова. Чем скорей Ты пришлешь «Сирину» все это, тем лучше. *Постарайся сам взять у Некрасова необходимые главы* под предлогом, который советует Тебе выставить Метнер (у нас с ним — переписка)[2].

Все подробности я Тебе буду сообщать, а рукописей буду ждать с нетерпением.

Верь мне о «Сирине»; реально о нем: 1) это — дело, обещающее стать большим *арийским* делом. 2) Дело, совершенно не конкурирующее с «Мусагетом» и дружественное ему. 3) Тебя там любят по-настоящему.

Долго ли Ты пробудешь в Берлине? Мне необходимо знать об этом, я думаю о том, не мог ли бы заехать к Тебе сам Терещенко, который поедет на Рождество за границу (я еще не говорил, впрочем, с ним об этом) и мог бы рассказать Тебе все сам гораздо лучше меня.

Тороплюсь посылать письмо, до свиданья, милый. Приветствую Анну Алексеевну. Если будет что нового, сообщу.

Любящий Тебя Ал. Блок

СПб. Офицерская 57, кв. 21.

P. S. Не беспокойся о долге.

---

[1] Ответ на п. 282.

[2] 24 ноября / 7 декабря 1912 г. Э. К. Метнер писал Блоку в связи с планами «Сирина» относительно романа Белого: «Едва ли удобно будет Бугаеву порвать с Некрасовым. Но есть один дипломатический выход. Так как *Мусагет* (за недостатком средств и задолженности Бугаева) не может энергично двинуть его *Путевые Заметки*, то если *Сирин* возьмет вместе и роман и путевые заметки, тогда у Бугаева будет предлог взять рукопись романа у Некрасова, сказав, что *Сирин* печатает оба сочинения, что *Путевые Заметки* откладываются *Мусагетом* и что ему, Бугаеву, последнее крайне невыгодно. — Я не знаю, читали ли Вы *Путевые Заметки*. Это вещь не менее гениальная, нежели роман. — Я уже сообщил Бугаеву об этой комбинации. Напишите и Вы ему об этом, предварительно переговорив с Терещенкой» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 208). См. также письма Блока к Э. К. Метнеру от 1 и 5 декабря 1912 г. (Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 391—392).

---

284. БЕЛЫЙ — БЛОКУ

Берлин <13 декабря / >26 дек<абря> н. ст. 1912 года[1].

Дорогой Саша,

Спасибо Тебе за хороший, скорый ответ.

В принципе я согласен и на «*Петербург*» и на «*Путевые Заметки*», но прислать тотчас же не могу, ибо не знаю, как мне быть: как приступить к объяснению с Некрасовым, ибо не имею никакого формального права нарушить добровольный словесный договор с ним. Попрошу Э. К. Метнера посоветовать мне, как поступить.

О «*Путевых Заметках*» тоже пишу Метнеру. «*Путевые Заметки*» состоят из отделов: «*Сицилия*» (находится в «*Мусагете*»), «*Тунисия*» (ряд глав — находится в

«*Мусагете*»), «*Радес*» — находится у меня и «*Египет*» — напечатано в «Современнике»[2]: про последний ничего не знаю — ежели рукопись мою они напечатали без выпусков и если мало опечаток, — я бы тогда просто сослался на №№ «*Современника*», ибо рукопись у меня «Египта» есть, но «*Современник*» печатал с проправленного мной экземпляра («*Современник*» 5 месяцев не платит мне гонорара и 5 месяцев не выслал ни гранок, ни оттиска, ни №№ с моим «*Египтом*»: зная по опыту, что делают с рукописями *журналы*, я не могу, не проверивши текста журнала, сослаться на «*Египет*» в версии печати «Современника»).

Видишь, как сложно. Милый, прошу Тебя, если это не составит Тебе труда: найди №№ «Современника» с Египтом и пришли мне. О «*Путевых Заметках*» хотелось бы много и долго писать, или говорить: дело в том, что «*Мусагет*» решил печатать их с Асиными набросками с натуры, ей зарисованными в «*Сицилии*», «*Тунисии*», «*Египте*»: рисунки — к тексту. Часть рисунков находится в «*Мусагете*», часть у Аси[3].

Эмилий Карлович мне пишет: «*Если Вы верите тому, что поверх всех наших недоразумений продолжает жить моя любовь к Вам и если Вы доверяете моей деловитости, то прошу Вас уполномочить меня немедленно письмом на ведение переговоров с Терещенко...*»[4]

Ввиду того, что «*Мусагет*» более всего в курсе моих рукописей и может при случае легче снестись с Некрасовым и мне посоветовать, как в сем деликатном случае надлежит поступить, то для удобства поручаю Э. К. Метнеру деловые переговоры (так любезно мне их предложившему)*. Могу же я прислать «*Путевые Заметки*» лишь собравши их: 1) «Современник», 2) «Мусагет», а для этого мне нужно формально заручиться согласием «*Мусагета*», а я завтра уезжаю в Кёльн (на неделю)[5]: видишь, милый, пока что: время утечет; абсолютно веря Тебе и Э<милию> К<арловичу>, я очень прошу вас обоих, если что нужно будет за меня решать, то решайте, если вам это не составит труда.

Мои отправные пункты: полное доверие и глубокий интерес к «*Сирину*» (с Твоих слов и со слов Э. К. Метнера), огромная любовь и доверие к вам обоим (несмотря на ряд недоразумений с Э. К. Метнером); задолженность и «*Мусагету*» и *Тебе*, заставляющая меня изыскивать средства для расплаты с долгами, материально стесненное положение «*Мусагета*» в этом году и полный *крах* всех материальных надежд у меня при полной невозможности уехать от Доктора (только что отправил письмо Тебе о надежде устроиться с имением, и трах: получаю письмо, в котором узнаю: слухи о войне уже повлияли на постройку Черном<орской> жел<езной> дороги[6]; а с отменой в настоящее время постройки пала возможность заложить в частные руки под *дорогу*: 4 месяца я жил надеждою к январю уплатить долги и хоть год пожить обеспеченно, работая тихо над 3-ьей частью «*Трилогии*»[7] и работая Доктору. Все рухнуло: и я даже не думаю, что будет с нами через месяц, полтора — видишь: кроме всего, я хватаюсь за надежду хоть как-нибудь материально выпутаться).

Итак, все вышесказанное, с присоединением оторванности от России, ставит меня в затруднения вести переговоры с «*Сирином*» реально: если бы Вы (Терещенко, Ты и Метнер) сговорились относительно меня, если бы стоило мне приехать

---

* В автографе описка: «предложившие».

в Россию, чтобы самому *реально* оформить что-либо деловое, я на все готов, тотчас бы приехал; но пойми меня: мне нужна тишина, и сознание, что мы не подохнем с Асей с голоду в течение ряда месяцев; а вывертываться на месяц из материальных затруднений, хлопотать из-за 200 рублей, чтоб снова через месяц снова схватиться за голову от тревоги за Асю и нашу жизнь у Доктора (при оккультной изнуряющей работе и писании романа) — при одной мысли об этом становится жутко.

И решаешь: будь что будет.

Ты пишешь, что Терещенко будет на Рождестве за границею: если он поедет через Берлин, то знай — я на Рождестве буду в Берлине (в Кельне я до 4 января нового стиля, т. е. к 25-му декабрю старого стиля я в Берлине: Scharlottenburg. Lüther Strasse. 27. Pension Wegner; в случае необходимости что-либо меня уведомить экстренно, знай: адрес мой от 28 декабря до 3-ьего января нового стиля: Кельн. Poste-restante; потом опять — старый).

Я бы с охотою встретился с Терещенко и поговорил с ним, если это нужно.

Милый, милый друг: спешу окончить это письмо. Если что будет от Метнера, извещу Тебя: пока же доверяю Метнеру говорить обо мне и за меня с Терещенко, как и Тебя при случае прошу заранее решить: за все был бы благодарен[8]. У меня есть проект (если «*Мусагет*» согласится) предложить «*Сирину*» всю Трилогию «*Восток и запад*» (третью часть обязуюсь представить через $1^1/_2$ максимум 2 года. Если бы можно мне было ее продать «*Сирину*» так, чтобы это дело дало возможность мне спокойно работать, я благодарил бы судьбу и, конечно, написал бы III-ью часть лучше 1-ой и 2-ой, когда работал под прессом и разрываясь на части).

Милый, Христос с Тобой. Поздравляю Тебя с наступающим праздником[9]. Прилагаю письмо, только что найденное и написанное в Штутгарте. Скоро буду писать подробно.

Любящий Тебя нежно Борис Бугаев

P. S. Лично, внутренно буду Тебе скоро писать.

---

[1] Ответ на п. 283. К письму приложено письмо Белого к Блоку от 10/23 ноября 1912 г. (п. 280). На конверте пометы Блока красным и графитным карандашами: «XII 1912», «Декабрь 1912». 16 декабря 1912 г. Блок записал в дневнике: «Вечером — большое письмо (двойное) от Бори из Берлина» (VII, 193).

[2] См.: Современник. 1912. № 5. С. 190—214; № 6. С. 176—208; № 7. С. 270—288. Обстоятельства подготовки этой публикации отражены в письмах Белого к Е. А. Ляцкому (1912). См.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 222—230.

[3] 6 декабря 1912 г. Э. Метнер писал Блоку: «Путевые Заметки хорошо бы пристроить в *Сирине*, кот<орый> имеет возможность издать их с большею роскошью; для них необходима очень хорошая бумага, т. к. рисунки Аси Тургеневой (очень удачные с натуры) должны быть среди текста и не на отдельных листах; те рисунки необыкновенно удачно дополняют текст своей острой (хотя и не совсем уверенною) графичностью. — Мусагету труднее будет справиться с этой задачей...» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 210). Ни одно из изданий «Путевых заметок» рисунков А. Тургеневой не включало, местонахождение их нам не известно.

[4] На своем участии в переговорах между Белым и «Сирином» Метнер настаивал и в письме к Блоку от 24 ноября / 7 декабря 1912 г. (Александр Блок. Исследования и материалы. С. 208).

[5] 27 декабря (н. ст.) 1912 г. Белый и А. Тургенева выехали в Кёльн, где Штейнер читал (с 28 декабря по 1 января) курс лекций «Послания апостола Павла и Бхагавадгита»; возвратились из Кёльна в Берлин к 5 января (н. ст.) 1913 г.

[6] Речь идет о 1-й Балканской войне между Балканским союзом и Турцией, начавшейся в октябре 1912 г. Хлопоча об устройстве дел с кавказским участком земли, Белый писал матери в июне 1912 г.: «Теперь *окончательно* решена постройка черноморской дороги (я об этом читал в *Речи*). Совет министров утвердил скорейшую ее постройку. С постройкой дороги (года через два) цена на нашу землю удвоится и более. <...> И вот самое рациональное и простое сейчас — вот что: не продавать, а заложить землю. Это я решил. Заложив за несколько тысяч <...>, через 2—3 года мы продаем уже: пока же землю надо разбить на участки и сдать в аренду с условием, чтобы на ней разводили культуру плодовых деревьев» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 359. Л. 134—135).

[7] См. п. 279, примеч. 4.

[8] 6 декабря 1912 г. Метнер известил Блока о своем намерении быть в Петербурге после 20 января (Александр Блок. Исследования и материалы. С. 211). Ср. дневниковую запись Блока от 20 декабря: «Около 25-го января здесь будет Метнер, и будет разговор по поводу Андрея Белого и меня — в "Сирине"» (VII, 194—195). Блок также занимался организацией встречи Терещенко с Метнером в Москве; 13 декабря 1912 г. он сообщал Метнеру о предстоящем приезде Терещенко (Александр Блок. Исследования и материалы. С. 213); 15 декабря секретарь «Мусагета» В. Ф. Ахрамович писал Метнеру: «...сегодня (в субботу) получил письмо от А. А. Блока: просит известить Вас, что Терещенко приедет в Москву в понедельник» (РГБ. Ф. 167. Карт. 13. Ед. хр. 16). В понедельник 17 декабря Блок записал: «Терещенко сегодня в Москве — говорит с Метнером?» (VII, 193).

[9] Рождество.

---

285. БЛОК – БЕЛОМУ

15/28 декабря 1912. <Петербург>

Милый Боря.

Кратко пишу, тороплюсь. После нашего 20-ого числа у Тебя будет Мих<аил> Ив<анович> Терещенко, переговорит с Тобой обо всем[1]. Верь ему, он милый, я его люблю.

Твой А. Б.

---

[1] 20 декабря 1912 г. Блок записал в дневнике: «М. И. Терещенко с сестрами уезжает за границу, на виллу матери "Mariposa" (Cannes, A. M.)» (VII, 194). 13 декабря Блок сообщил Э. К. Метнеру: «Скоро <...> Терещенко поедет за границу и в Берлине увидится с Белым» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 213).

1913

286. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Berlin 1913 года 10 января (н. ст.). <28 декабря ст. ст. 1912.>[1]

Дорогой, глубоколюбимый Саша!

Поздравляю Тебя с Новым Годом, желаю бодрости, света и сил: Ася просит Тебя приветствовать.

Милый друг, сперва деловое: мы недавно вернулись из Кельна, и дома меня ожидали: Твое маленькое письмо[2] и 2 огромных пакета от Э. К. Метнера; ввиду того, что *пакеты* Э<милия> К<арловича> взывали к немедленному ответу *пакетами* же, я сперва ответил на них[3]; и вот — Твое второе письмо[4]. Спешу ответить: мы все время в Берлине (Berlin. Scharlottenburg. Lüther Strasse. 27. Pension Wegner); и М. И. Терещенко, если уведомит заранее, или зайдет часов в 6, то всегда нас застанет дома. Очень хотелось бы поговорить о делах; да и просто познакомиться; от Э<милия> К<арловича> я слышал о Терещенко *очень, очень* хорошие отзывы[5]. Кроме того, Э<милий> К<арлович> передавал мне некоторые стороны разговора Терещенки с ним об издании моих сочинений, столь выручающие меня, столь успокаивающие нас с Асей относительно нашей участи за 1913 год, что... я просто не верю: не хочу заранее возрадоваться, чтобы не постигло разочарования, как не раз оно уже постигало нас в 1912 году в деле с имением... В числе предложений М. И. Терещенке у меня есть проект предложить ему и всю трилогию *«С<еребряный> Голубь»*[6], ибо, будь я обеспечен за эти 2 года, имей я возможность, не раскидываясь, работать над большими полотнами, то вскоре по окончанию 2-ой части Голубя («Петербург») принялся бы я за третью *«Невидимый Град»* и за другие. У меня полоса — работать, работать, работать; все более и более сознаю себя беллетристом *par excellence*, а не критиком; чувствую всякий раз отвращение при мысли о статьях; а между тем именно обязательство писать статьи, так сказать, *ссаживает* меня с работы и, более того, резким клином врывается в мою интимную работу Доктору: писание романа не нарушает этой работы, и наоборот, а вот *«суета сует»*, полемика, критика, — от всего этого я просто разбаливаюсь: разговор Э<милия> К<арловича> с Терещенко преисполняет меня надежд, которым *пока* боюсь верить; но участие Твое в этом деле радует безмерно меня. И за все, все — спасибо...

Пока же мы — или выручены, или летим с треском в пучину внешней безвыходности. Но авось: Бог не выдаст, свинья не съест. И еще как-то верю в Провидение: Провидению угодно было не раз бросать меня в тяжелое положение, и всегда в последнюю минуту — что-то случалось. Бог видит, что нам сейчас нельзя покинуть Доктора, что это было просто риском сойти с ума. И верю: Провидение в виде «*Сирина*» выручит нас за этот год...

Милый друг: хочется Тебе сказать, как под внешними сложностями, «*прями*» с людьми, под естественной беспричинной *тревогою*, являющейся всегда в начале оккультной работы, под тысячами новых, то болезненных, то бодрых, но небывалых прежде ощущений — слышим мы с Асей: крепкий прилив физических, моральных, даже... умственных сил. Знаешь: ведь мы уже ряд месяцев в положении, аналогичном *линьке*: мы линяем, шерсть старого клоками слезает с нас; и часто бываешь в положении, будто с Тебя содрали кожу (хочется кричать, как кричат от зубной боли); но зубная боль никого не привела к самоубийству (я помню, что во время сильнейшей зубной боли писал стихи); и даже чувствовал *из-под* боли приливы смеха, игривости; крича от боли, сам понимал комичность своего положения с подвязанной щекой.

И вот теперь — мы точно в таком положении: измученные, изнеможденные, с тысячами ощущений — и все же бодрые от сознания, что где-то в *центре*, в *глубине* растет непоколебимая твердыня чего-то светлого, крепкого — того, что на периферии вызывает *линьку*: линьку старой душевности под напором *изнутри наружу* вламывающихся в душу *духовных сил*: старая душа — помесь чего-то духовного, но пропыленного истекшим десятилетием (прями, литературой, мальчишеством, умственным блудом, смешением перспектив и неумением отстоять свое под гипнозом в душу лезущей улицы) — эта-то *старая душа*, пропыленная калоша, с болью отпадает кусками; и как после линьки пушные звери щеголяют лоснящейся шерстью, так — верю — через год, полтора вернемся в Россию мы для работы: с запасом сил; ибо только вопрос в силах и выдержке, ибо

«Много снов проносится знакомых
И на сердце много детской веры»

(Фет)[7]

Да, милый друг: знаешь ли, что эти 5 месяцев (с Мюнхена) мы с Асей переживаем *сквозь все* старое, вечно-знакомое, милое и грустное[8]: переживаем сознательней и полнее — все то же: эпоху «*Прекрасной Дамы*» и «*2-ой Симфонии*»: в 1912-ом году — 1902-ой год. *Но повторяю*: на этот раз переживаю я все это не как одержимый, влюбленный в неизвестное, а как муж:

«Образ возлюбленной — Вечности
Встретил меня на горах».[9]

И т. д.

Веришь ли, что — да? Верь, милый, верь: когда смогу твердо Тебе сказать, когда настанет пора мне мне близким говорить, а эта пора — придет, то — хочешь Ты или не хочешь: я приду к Тебе, обниму и постараюсь в Тебя вложить всю силу моей новой радости и на этот раз знания: *Свет — есть, Он и во тьме светит; тьма не объяла Его...*[10]

Знаешь ли, дорогой, эти пять месяцев я Тебе не писал, ибо все эти 5 месяцев ходили мы с Асей *потрясенные: потрясение* — вот точное название того, что с нами было и есть. Это *потрясение* в древних мистериях совершалось искусственно. Это *потрясение* было результатом Крещения Иоанна Крестителя. Это *потрясение* есть сотрясение сквозь физический организм *эфирного* и *астральных* тел: вся обстановка жизни у Доктора располагает к тому, что если Ты серьезно желаешь, как ученик, сесть у ног Учителя и *слушать*, то незаметно, медленно, почти механично *сотрясение* атмосферы невидимой вокруг Тебя потрясает до глубины глубин Тебя — и это независимо от Твоего темперамента, скепсиса или веры, — это просто от количества и качества сотрясений: хочешь не хочешь — Ты *потрясен*: и как только Ты потрясаешься, все обычное, дневное, будничное начинает менять свои контуры; все вокруг превращается:

«На суку извилистом и чудном
Пестрых сказок пышная жилица» и т. д.

Ты скажешь: но ведь стихотворение Фета кончается:

«Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным...
Миг еще — и нет волшебной сказки
И душа опять полна возможным».

Фет[11]

Тут должен я сказать нечто, испытанное опытно: растягивая проволоку и потом снимая с нее тяжесть, я возвращаю проволоку в обычное нерастянутое состояние; эту способность *возвращаться* к старому состоянию физики называют упругостью проволоки; но физики знают, что у упругости (т. е. косности) есть предел; за этим пределом наступает то, что физики называют *деформацией упругости*: перегруженная проволока, вытянувшись, уже не возвращается в обычное состояние; т. е., применяя к словам Фета, можно сказать:

«*Миг еще:* — душа все в той же сказке;
Невозможное навеки с нами».

Но не есть ли мистериозное потрясение души — деформация ее, т. е. безумие; да, при чрезмерности *потрясения*, *неумелости* — судьба всякого потрясения перейти в манию или меланхолию, и Ницше тому пример[12]. Розенкрейцерский путь начинается у того предела души, за которым начинается или *деформация* здоровья, или конформация духа; окк<ультный> метод развития есть мудрое знание о том, как конфирмировать там, где обычное человеческое здоровье и *отсебятина* деформирует. Деформация, переживаемая нами, если хочешь, есть *деформация эстетического скептицизма (не творчества)*, есть отрезывание последних двух строк приведенного четверостишия: убийство возможного, будней и утверждение сказки, ибо у Тебя получаются реальные, опытные доказательства, что сказка не сказка. И подобно тому как рассуждения обывателя о том, что невозможно спектральным анализом доказать присутствие *гелия* на Солнце, даже не волнуют приват-доцента физики (для него это — очевидность), так точно тезис «*сказка — не сказка*» есть проверенное опытом положение для роз<енкрейце>ра: отсюда извне сухость, схематизм, кажущаяся мертвенность в изложении многих доктрин: (измеряют миллиметрами ступни архангелов, как в «*Апокалипсисе*»...). Но то, что извне кажется неинтересною и даже сухою невероятностью, то изнутри есть для сухоговорящего *оккультиста* (в смысле Доктора):

«Миг за мигом: сказки, только сказки —
Сон — не сон: и сладко в верной вере...»

(Прости за безобразие транскрипции Фета: но не в том суть).

Дорогой друг: при всей разности наших темпераментов, у нас нечто общее, что отличает нас, символистов, от Гумилевых: наше творчество было не эстетическим скептицизмом, а четверостишием Фета: некогда мы видели *зори*, зори были чем-то столь важным, что у нас и не возникало слов, искусство *это* или не искусство; прежде всего «*это*», а потом уже ярлычки. И вот поверь мне: я теперь знаю, что *это* было не только искусство; многое в нашем Творчестве было не от ковки форм, а от *медитации*, т. е. от бессознательных, часто оккультных движений чего-то в своей душе; мы были в положении любителей, случайно забредших в паровоз и в неведении повернувших рычаг неизвестной машины: вдруг машина взревела, и мы стремительно понеслись в роковое, неизвестно куда, неизвестно зачем; вместо зори — столб дыма в глаза; вместо духовного тепла — паровой котел паровоза. В итоге: столкновение поездов, стоны раненых. Вот как восприняли мы само собой очевидное для эстетика-скептика:

«Миг еще — и нет волшебной сказки».

Вместо пути в Академию, вместо классицизма и культа красоты: «Снежная маска», «Пепел»: распыление мира в метели.

И вот когда на смену нам появились здоровые, юные, прямо-таки начавшие с перифразы Фета:

«Не надо нам сказок, не надо чудес...»
«Возможное — только оно и прекрасно».

Мы — калеки, потерпевшие катастрофу с зарей — вдруг дружно сказали: «Нет: мы не приемлем этого». Оба мы одинаково возлюбили народную душу (знаю я теперь, отчего); и оба встретились вновь, «*после долгой разлуки*», как символисты (Твои слова о *Капелле*[13], мое письмо к Тебе после этого[14]). *Это* мы называем символизмом, а когда пытаемся оформлять, то сходимся оба, что в *искусстве* есть еще *нечто*... Дело не в слове, не в оформлении (Ты можешь соглашаться и не соглашаться с моими статьями, оба мы можем даже по-разному понимать «*Символизм*» — дело даже не в слове) — так в чем же? В служении родине? Да, но надо уметь ей служить. Нет сил *сызнова* над собою работать, нет сил сызнова вернуться к юности:

«Молчите, проклятые книги,
Я вас никогда не писал...»

А. Блок[15]

«Нет, спрячусь под смертные плиты,
Могила, родная мать...»

А. Белый[16]

Опять-таки — соответствие.

И вот я знаю теперь: то, что выводит из состояния гипнотического уныния, то, что нужно таким, как мы, это — *потрясение, потрясение, потрясение*, называемое по-иному *очищением*. *Очищение* вовсе не есть намерение, мысль, самобичевание, самоуничтожение. *Очищение* есть нечто бездонно конкретное; и такие, как мы, не могли бы иначе очиститься, как очищением, проницающим тела наши

реально. Хочешь, я Тебе назову то, что привело нас по-разному сначала к *зоре*, а потом к катастрофам. *Это*, вызвавшее и нашу внешне-литературную деятельность (Ты писал стихи, я — «*Симфонии*»), было *не обычным* творчеством, а творчеством *медитативным* (в роз<енкрейцеровск>ом пути *«медитация»* есть термин, обозначающий нечто очень сложное — если хочешь, когда-нибудь я Тебе подробно охарактеризую значение и смысл того, что в розенкр<ейцер>стве понимается под медитацией); мы бессознательно *медитировали* (заклинали, ворожили).

«Ворожбой полоненные дни
Я взываю года — не зови...»[17]

А свойство *медитаций* таково, что если неверно медитируешь, то накликаешь стихийные силы на себя, делаешься игрушкою чар и сил, которые уже потом Тебя гонят, а Ты не знаешь ни причины появления *злого рока*, ни средств остановить его *приток* (положение туриста, случайно повернувшего паровозный кран и летящего вдоль рельс к неизбежной катастрофе без возможности остановить паровоз); это медитативное свойство наших душ, отражаясь как *магия* в иных чертах нашего творчества, и как *злой рок, гонение* преломляясь в нас, — подлинная и единственная причина всего непостижно-страшного и злого.

И само собой разумеющееся для Гумилевых и Брюсовых:

«Миг еще — и нет волшебной сказки».

Для нас «ужас и петля Тебе, человек»[18], ибо сказка для нас — «*Царевна*», т. е. она же «Мать Сыра Земля» («Россия» и т. д.).

Теперь-то я знаю реально, что такое игра в сказки для нас, т. е. что такое игривое отношение с Телом Христовым (землею), к нам взывающей русской народной душой (это к ней вопил Гоголь: «Что Ты смотришь на меня»[19], и на этот вопль отвечает нам Штейнер: «Ваша народная душа ждет от Вас, чтобы Вы (русские) поняли, расслышали ее слова»).

Полусознательными медитациями (ворожбою) мы бессознательно кощунствовали, лишь кокетничая с Великою Страдалицею Землей Русской; оттого-то были верны наши предчувствия:

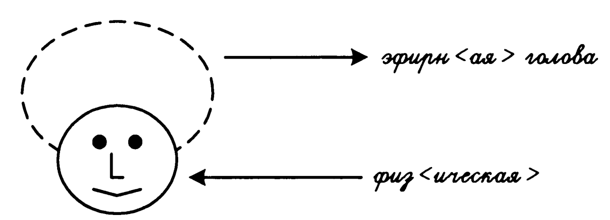
«Ворожбой полоненные дни»...

Дни наши после и стали «*ворожбой полоненными*»... Средство выправить кривую линию наших прежде времени созревших в душе и поэтому *полуистинных* медитаций — прийти к подлинной медитации, понять глубоко-оккультный, одновременно и опасный, и глубоко-благостный, смысл ее. Но даже и прийти к пониманию необходимости для меня серьезно оккультно работать (не только во имя свое, но и во имя нас, близких, России), медитативно очиститься — даже прийти к этому нельзя, ибо 1) у меня не было даже веры в серьезность этого, 2) не было веры, что в любой час дня, времени можно сказать своему пути: «Сызнова, еще раз!» Самая возможность этого не достигается согласием или несогласием с той или иной доктриной, теоретической верой или неверием в того или иного человека, в то или иное знание. Самая возможность решения работать возникает как молния, как молниеносный, реальнейший факт.

С самого нашего путешествия в Африку с нами (мной и Асей) бывали зарницы будущей молнии; видя зарницы, мы даже не предчувствовали Молнии. Все, что я Тебе писал о Брюсселе[20], было вдруг градом зарниц; встреча со Штейнером — первой *молнией* и первым громом; после этого был период двухмесячной тишины (между Брюсселем и Мюнхеном); мы продолжали жить в Брюсселе,

жили у д'Альгеймов. Много спорили с д'Альгеймами, говорили, отбивались от нападений на Доктора. Все это были *«умные»* разговоры и бесконечные «споры». Лишь по обязанности как-то поехали в Мюнхен мы, — и вот: ряд разговоров с Доктором, *мистерии*, курс — все это было интересно, умно, глубоко, гениально, изумительно — далее: но не умным, гениальным увлекались мы, да и не увлекались, а констатировали: что сначала чуть-чуть, потом больше невидимо сотрясало атмосферу вокруг, потом стало сотрясать наши эфирные тела (данные нам медитации, которым механически мы предались, создавали удобные условия для эфирных колебаний) — и через это сперва физическое, потом эфирное *сотрясение* стал сотрясаться мозг, мысль, линии мыслей, а за ними сотрясались чувства и даже дрогнула воля; и вот: цепь постепенно усиливавшихся сотрясений обернулась вдруг в громадное *душевное потрясение*. То, к чему приступили мы, как к чему-то формальному, оказалось в *итоге* реальным. Уезжая из Базеля, мы были уже *потрясенными. Потрясенные* мы вот уже 5 месяцев скоро. И да: теперь я знаю многое, многое, что не откроется никому из мудрецов, и что открываемо при случае и малому человеку[21], то — что поверхностно звучит так бледно, сухо, неталантливо: *оккультная работа*.

Конкретное пояснение сути дела: знаешь ли Ты объяснение Доктора принципа Иоаннова Крещения? Крещение — революция в технике очищения. Иоанн — революционер методов. *Очищение* и связанное с ним эфирное зрение возможны лишь при импульсе отделения, нервной дрожи эфирного тела: нужно нечто, что проходит как ток в эфирном теле; этот ток выпадает на физический план, как новизна мыслей и всех ощущений. Оккультная практика указывает на эф<ирное> тело, как центр воспоминаний; теперь: в минуты смертельной опасности установлен факт: вся жизнь проносится мимо нас — в воспоминании. Причина этого: в минуты *опасности* эфирное тело, сотрясаясь, порывается оторваться от физического[22]; и частично происходит отрыв: эфирный мозг на мгновение приподымается над физическим: и действует самостоятельно: все воспоминания пробегают тогда в один миг (то же бывает в первый миг после смерти). Медитации медленно ведут к тому, что эфирное тело получает *первые движения* вне физического;



и эфирная голова вот так приподымается; тогда восприятия все меняются (все то — да не то), начинает быть видной аура. Креститель систему медленных медитаций заменил иной, революционной системой: применил систему опасности и внезапного потрясающего толчка (погружал с головой и долго читал молитвы, во время которых крещаемые едва не задыхались в воде: переживали момент, переживаемый утопленниками, проносилась вся жизнь, окрашенная иным эфирным зрением); выходили не только морально потрясенные, но и реально потрясенные, увидав нечто *новое*, не виданное *никогда* в жизни прежде; такова была работа Иоанна: народ должен был <быть> бессознательно посвящен для уразумения Грядущего (нельзя было народ превращать в учеников мистерии) — и метод очищения в грубой, для народа приноровленной форме применил революционно Иоанн.

Это отступление о Крещении я нарочно сообщаю Тебе, чтобы Тебе было понятно: все интимные лекции Доктора изъяты из публичного распространения, ибо они показались бы не тем, что они реально суть: читая лекции, Доктор словами, знаками, голосом, даже аллитерациями и расположением слов не *только читает*, но и как бы работает над эфирными телами слушателей, половина которых его реальные ученики, с утонченными от медитаций телами; лекции Доктора не лекции только. И когда я говорю, что ухожу с лекции потрясенный, то прими это реальнейшим образом: я потрясен, потому что в этих лекциях сообщается то, что еще *никогда после Христа* не сообщалось (включая сюда величайших мистиков); я потрясен, потому что жест, интонация и *невидимое* вокруг Доктора открывает мне за явным смыслом еще ряд убегающих смыслов; *я потрясен и еще как-то*: ну так, как уходили от Иоанна получившие крещение. Прими во внимание, что каждое утро и каждый вечер мы упорно, *медитативно* работаем сами, что, кроме того, готовим Доктору письменные отчеты о *виденном*, понятом, пишем схемы, читаем циклы; что атмосфера странничества (*wandern*), вменяемая Доктором, как полезный *entourage работы*, всегда с нами, что каждое свидание *личное* с ним есть событие, что каждая лекция *потрясает*, а этих лекций слышали мы с июля числом *45*, то: Ты поймешь, что состояние *упорной работы, непрерывной потрясенности* создает атмосферу, без которой *пока* мы не смогли бы *работать*. Результаты же этой работы — огромная волна бодрости и реальных *уви́дений* в глубине души.

И вот единственный ужас наш, это тот, что мы могли бы быть насильно оторваны от Доктора отсутствием денег (но теперь есть надежда на «*Сирина*»).

Прости за всю *галиматью*. Но верь — *галиматья* эта реальное нечто. И строка «*миг еще — и нет волшебной сказки*» не может приключиться с нами.

Целую Тебя нежно.

Твой Б. Бугаев

---

[1] Почтовые штемпели: Berlin. 13. 1. 13; Петербург. 2. 1. 13. На конверте помета Блока графитным карандашом: «Получ. 2. I. 1913». 2 января 1913 г. Блок записал в дневнике: «...письмо от Бори: двенадцать страниц писчей бумаги, все — за Штейнера; красные чернила; все смута» (VII, 203).

[2] Имеется в виду п. 285.

[3] Предметом усилившихся конфликтов между Белым и Метнером в это время стали не столько финансовые вопросы, сколько разногласия в определении идейно-тактической линии «Мусагета»: Метнер решительно противился линии на «штейнеризацию» издательства.

[4] Это письмо Блока нам не известно.

[5] После встречи с Терещенко в Москве 17 декабря 1912 г. Метнер писал Блоку (25 декабря) о своих впечатлениях: «Мне очень по нраву его большой такт и решительная определенность; чувствуется, что всяческая дисциплина, которую он прошел, и светская и научная, только *укрепили* в нем *хорошего* человека <...>» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 214).

[6] Т. е. трилогию, задуманную под заглавием «Восток или Запад» (или «Восток и Запад»). См. п. 279, примеч. 4.

[7] Неточная цитата из стихотворения «Фантазия» («Мы одни; из сада в стекла окон...», 1847).

[8] См.: Андрей Белый. Симфония (2-я, драматическая). М., <1902>. С. 221; *Симфонии*. С. 193.

[9] Начальные строки стихотворения Белого «Образ Вечности» (1903) (*Золото в лазури.* С. 38).

[10] Ин. I, 5 (неточная цитата).

[11] Цитаты из стихотворения «Фантазия» (вторая цитата — предпоследняя, а не последняя строфа).

[12] Слова «Ницше тому пример» подчеркнуты синим карандашом — очевидно, Блоком.

[13] Заключительные слова статьи Блока «О современном состоянии русского символизма» (см. примеч. 12 к п. 275).

[14] Имеется в виду п. 220.

[15] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Друзьям» («Друг другу мы тайно враждебны...», 1908).

[16] Неточная цитата из стихотворения «Матери» («Я вышел из бедной могилы...», 1907). См.: Андрей Белый. Пепел. СПб., 1909. С. 159.

[17] Неточная цитата из стихотворения Блока «Одинокий, к тебе прихожу...» (1901).

[18] Фраза из романа Белого «Серебряный голубь» (М., 1910. С. 266): «Ужас и яма, и петля тебе, человек».

[19] Подразумеваются слова из «Мертвых душ» (т. 1, гл. XI): «Русь! чего же ты хочешь от меня? <...> Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. VI. <Л.>, 1951. С. 221).

[20] См. п. 276, 277.

[21] Слова «и что открываемо при случае и малому человеку» подчеркнуты синим карандашом — очевидно, Блоком.

[22] Эта фраза почти дословно приводится в романе «Петербург»: «...под влиянием потрясения совершенно реально в вас дрогнуло стихийное тело, на мгновение отделилось, отлипло от тела физического <...>» (Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 263).

---

287. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<8/21 февраля 1913. Берлин>[1]

Дорогой Саша!

Отчего от Тебя ни звука? Подозреваю, что это оттого, что писал Тебе о Докторе[2]. Если написал что-либо *не то*, или *не так*, прости. Но помню, что писал *то*, и *так*; впрочем, на молчание не удивляюсь: я вообще замечал, что если я в письмах коснусь чего-либо, связанного с Доктором (хотя я и касаюсь Доктора сравнительно по-*внешнему*, т. е. пишу о том, о чем писать и *можно*, и *должно*), то перестают отвечать, будто обижаются.

Здесь одна русская дама мне недавно говорила: «Погодите: когда вернетесь в Россию, то Вы заметите один странный факт; едва у Вас проскользнет что-либо радостное, касающееся Вас, касающееся Вашей радости, что на свете есть Доктор, как окружающие будут делать недовольные мины и у Вас получится впечатление, что Вы их обидели; со мной было так долго, пока я поставила себе целью упорно молчать о *том*, что и есть единственный мой принцип общения с люд<ьм>и; да оно и понятно: как мне не нести моей радости людям, когда у них так печально...»

Судя по тому, что мое невольное касание Доктора (около чего живешь, о том естественно говоришь) вызывает либо раздраженное: «Отстаньте пожалуйста», либо

молчания, я и полагаю, что Твое молчание оттого, что я писал о Докторе. Милый друг, ведь признайся, что отчасти это и так; но я могу о *своем* и не писать Тебе, потому что помимо своего, Главного, я страшно интересуюсь, что сейчас *делается* в мире. Особенно же хочу знать что-либо о Тебе.

М. И. Терещенко мне очень понравился: какая у него деликатная манера говорить с людьми. Впрочем, мы беседовали менее часу[3].

Пишу эти несколько слов, чтобы Ты не думал, что со мной можно переписываться лишь на темы вокруг Доктора, и чтобы узнать, не обидело ли Тебя мое письмо.

Ну, Господь с Тобой. Пиши мне, отчего не ответил. По *своим* причинам или потому, что у меня в письме что-либо «*не так*»? Если Тебе не пишется, то это я понимаю более, чем кто-либо. Если же Ты не пишешь оттого, что я *не так* написал Тебе, то мне было бы грустно, и я заранее меня прошу извинить[4].

Остаюсь нежнолюбящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. От Аси привет Тебе.

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю; почтовый штемпель получения: Петербург. 10. 2. 13. Пометы Блока — химическим карандашом: «10 февр.»; на конверте графитным карандашом: «Получ. 10 февр.». 10 февраля 1913 г. Блок записал в дневнике: «Обиженное письмо от А. Белого» (VII, 217).

[2] Имеется в виду п. 286. Скептическое отношение Блока к штейнерианству Белого подтверждается его дневниковой записью от 20 января 1913 г. (возможно, отчасти отразившей впечатления от беседы с Э. К. Метнером, состоявшейся в тот же день): «О Боре и Штейнере. Все, что узнаю о Штейнере, все хуже. <...> В Боре в высшей степени усилилось самое плохое <...>. Этому содействует Ася. Матерьяльное положение Бори («Мусагет», М. К. Морозова и «Путь», провал с именьем). Неуменье и нежеланье уметь жить» (VII, 209, 210).

[3] 18/31 января 1913 г. Терещенко телеграфировал Блоку из Канна: «Сегодня выезжаю в Берлин. Буду Петербурге среду» — т. е. 23 января / 5 февраля (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979. С. 452). Встреча Терещенко и Белого произошла в Берлине, таким образом, между 19 и 21 января / 1 и 3 февраля 1913 г. По возвращении Терещенко в Петербург Блок записал в дневнике (24 января): «А. Белый не очень понравился М. И. Терещенке (опять, как и о Метнере, отмечает “юркость”), но говорит — умный» (VII, 211).

[4] 11 февраля 1913 г., на следующий день по получении этого письма, Блок записал в дневнике: «*А. Белый*. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах — все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше “Ты” (с большой буквы)» (VII, 217).

---

288. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<16 февраля / 1 марта 1913. Берлин>[1]

Дорогой Саша!

Пишу Тебе в крайнем волнении и в порядке личном: заклинаю Тебя ответить *прямо* и категорически на следующие вопросы.

1) Каковы переговоры мои с «Сирином»?

2) Как обстоит дело с романом?[2]

Дело в том, что переговоры вел Э. К. Метнер, и я, буквально завися в завтрашнем дне от исхода переговоров, пока ничего не знал о деталях.

Э<милий> К<арлович> был так добр, взяв все на себя.

2 месяца тому назад я был совершенно уверен, что в 2 месяца определится характер переговоров и, следовательно, моя судьба. Но недели текли: и вот пришла *крайняя пора* мне или мгновенно бросить все, Доктора, необходимый курс и т. д., *спасаться бегством в деревню*, ибо 2<-я> половина февраля последний и окончательный срок мой, когда я мог ждать: до сих пор (1 месяц тому назад) Э<милий> К<арлович> писал: «*Живите спокойно, я буду вести переговоры*»; но уже месяц тому назад видя, что переговоры затягиваются, я мотивировал Э<милию> К<арловичу> в ряде писем необходимость к первому марту, чтобы все устроилось, и не получал ничего определенного. Все же я думал, что все благополучно идет своим чередом.

И вдруг получаю следующие слова:

«*Скорее присылайте те части рукописи, которые у Вас имеются, ибо Некрасов уперся и не выдает рукописи, чем задерживает заседания “Сирина”, на кот<орых> должен быть прочитан Ваш роман. Кроме того, Некрасов грозит в случае проволочки выпустить в свет отпечатанные 9 листов. А это Вам будет неприятно, т<ак> к<ак> Вы началом романа были недовольны и его переделали*»[3].

Все тут меня ужасает: 1) то, что требуется от меня вся рукопись сполна для принятия. Между тем, 4 и 5-ая глава имеется у Некрасова в единственном списке (у меня лишь черновые эскизы), что Некрасов не выдает.

Итак, принятие романа зависит от прочтения рукописи целиком, которой наиболее *лучшие части* Некрасов не дает, грозясь 1) искалечить мой роман выпуском еще не переделанных глав.

Единственно, что я могу сделать, это прислать 3 *первых главы* в переделанном виде *«Сирину»* для *чтения* с указанием, что обе не имеющиеся главы *гораздо удачнее* первых 3-х (в них-то и начинает разыгрываться фабула). Если и этого «*Сирину*» мало, то что ж мне делать? Остается молить Некрасова..., грозить, что я печатно откажусь от своего романа, если он появится не целиком, а в черновике и обрывочно (ибо это издевательство над автором).

Но не это важно.

3 месяца тому назад я писал, что через 2 месяца *мне быть или не быть*, ибо отъезд от Доктора надолго есть для меня почти физическая гибель; меня успокаивали: устроится с «*Сирином*», и Вы будете получать в счет продажи собрания сочинений[4].

Я успокоился. Уже месяц, как я пишу тревожные письма, мне отвечают успокоительно — и вот: через две недели у меня нет ни копейки денег (*в долг я решил не брать, а Мусагет не может авансировать*). Итак,

все время жил надеждой на продажу собр<ания> сочинений (как $3^{1}/_{2}$ месяцев тому назад на продажу имения, *все время волнуясь*), а тут о продаже собр<ания> сочинений *ни звука*, да и с романом все рушится. Отчего же вóвремя меня не уведомили, протомили 2 месяца и, доведя до последней черты *надеждой* (опять *torture par l'esperance* *), когда на этой надежде построены планы и огромной важности *курс*, внезапно обрывают все и пишут в смысле: «Не понимаем-де, на что Вы рассчитываете? Чего Вы сами о себе не подумали прежде...» Ведь это ужасно: оккультно уехать нам нельзя надолго от Доктора, далее мы должны были ехать в Гаагу[5], и — вдруг: вовремя не предупредив, мне *накануне* безденежья пишут: «Ничего не известно!» Неужели $2^{1}/_{2}$ месяца нельзя было так написать?

И вот, ввиду того, что если с «*Сирином*» не сразу устраивается (мне же писал Э<милий> К<арлович>, что сумма от продажи соч<инений> мне будет высылаться *помесячно*, а вопрос о продаже скоро решится), умоляю тотчас же по получению письма ответь:

1) Как обстоит дело с продажей сочинения.

2) Стоит ли присылать 3 главы романа на суд редакции (с ручательством, что 4-ая и 5-ая глава удачнее первых трех, ибо они — лишь подготовка к действию), или не стоит, ибо 4-ая и 5-ая в эскизах (рукопись у Некрасова: помнится, я и Тебе и Метнеру об этом писал 2 месяца тому назад).

3) Адрес редакции прошу — сообщи, куда высылать.

Реально все это мне нужно вот для чего: 1) 1-го марта ни гроша денег и надо быть *уже в деревне*[6], *чтобы там переждать безденежье* (хотя я больше, кажется, и не буду писать: я сломился — я не могу работать в такой атмосфере тревоги), 2) до отъезда надо сделать ряд необходимых дел (мы кровно связаны с Доктором и погибнем вдали от него...).

Мы же думали $2^{1}/_{2}$ месяца тому назад, что

1) через $2^{1}/_{2}$ месяца выяснится с «Сирином»,

2) Я буду получать жалованье за продажу собрания сочинений,

3) Мы поедем на необходимейший курс в *Гаагу* и потом, 3 месяца отдохнувши в деревне, поедем учиться к Доктору (в Москву я *все равно не вернусь: Москва нам — яд*).

Вместо же этого — *и на этот раз подведен*: 1) надо, стремительно бросив все, ехать в деревню, 2) романа я не кончу уже, ибо я работать в *ужасе не могу* (ибо ужас для нас, уже перешедших рубикон, сейчас расстаться с Доктором), 3) да и вообще литературу бросаю: я как писатель никому *не нужен все равно*...

Милый, прошу Тебя

1) Если возможно, ответь немедленно.

2) Если ответ неблагополучен для меня, то, быть может, телеграфируешь: тогда телеграфируй одно только слово: «*Уезжай*». Я укладываю сундуки и уезжаю, чтобы за 3 месяца как-нибудь выкарабкаться и приехать к Доктору. Если нет, не удастся — я *останусь* в Волынской губернии и стану искать себе места *чего угодно*, хоть *сторожа*, а в Москву, Петербург и все эти рассадники ужаса *не вернусь*.

Лихорадочно жду ответа. Обнимаю[7].

Борис Бугаев

* Пытка надеждой (*фр.*).

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Пометы Блока — синим карандашом: «Получ. 18. II»; на конверте — синим, красным и графитным карандашами: «Получ. 18 II 1913», «Телеграфирую 18 II», «2-ая телегр. — 19 II». 18 февраля 1913 г. Блок записал в дневнике: «...отчаянное письмо от А. Белого — переговоры с М. И. Терещенко и А. М. Ремизовым» (VII, 222).

[2] Белый подразумевает ход переговоров между «Сирином» и издательством К. Ф. Некрасова относительно печатания «Петербурга». Своим доверенным лицом в этом деле Белый просил быть Э. К. Метнера; в письме к Метнеру от 13/26 декабря 1912 г. он заявлял: «...если возникнут переговоры о характере моего участия в “Сирине” и об условиях этой работы, я поручаю Вам, дорогой друг, вести за меня эти переговоры с руководителями издательства» (РГБ. Ф. 167. Карт. 2. Ед. хр. 77).

[3] Реакция Белого на это сообщение содержится в его письме к Э. К. Метнеру, отправленном в тот же день (РГБ. Ф. 167. Карт. 3. Ед. хр. 10).

[4] В ходе переговоров с «Сирином» Белый возлагал наибольшие надежды на издание своего собрания сочинений; Метнер пытался убедить Терещенко в насущной необходимости этого, но безуспешно. 15 февраля 1913 г. Блок записал в дневнике: «...звонил ко мне приехавший Михаил Иванович Терещенко. <...> Не хотят издавать *всего* А. Белого — до 30-ти томов! (“топить и его и себя”). Очень не нравится начало романа (“Петербург”) в том виде, как набрано у Некрасова. Не нравятся также путевые заметки» (VII, 220). Блок также сомневался в необходимости издания многотомного собрания сочинений Белого (см. письмо Блока к Э. К. Метнеру от 9 марта 1913 г. // Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 394). 20 февраля 1913 г. Метнер писал Блоку в той же связи: «А вот что собрание сочинений Бугаева “Сирин, подробно обсудив, не может *теперь* издавать”, это — весьма не “подлинный” поступок <...>; Терещенко в Москве говорил со мною так, точно весь вопрос в формальностях и деталях, а по существу он давал полную надежду на “переход” (как он выражался) Бугаева, также как и Блока, из *Мусагета* в *Сирин...*» (Александр Блок. Исследования и материалы. СПб., 1998. С. 216).

[5] Штейнер выступил с лекционным курсом в Гааге с 20 по 29 марта 1913 г.; Белый и А. Тургенева на нем не присутствовали.

[6] Имеются в виду Боголюбы.

[7] На это письмо Блок ответил двумя телеграммами, текст которых нам не известен; в одной из них (вероятно, от 19 февраля) Блок, безусловно, просил Белого выслать рукопись имеющихся у него написанных глав «Петербурга». Сохранилась ответная телеграмма Белого (Берлин, 20 февраля / 5 марта 1913 г.): «Manuscript geschickt Antwort kommt. Bugaieff» («Рукопись послана, ответ следует. Бугаев» // РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 152. Л. 78). О хлопотах, которые предпринял Блок в надежде устроить издание сочинений Белого в «Сирине», свидетельствуют его дневниковые записи — 21 февраля: «19 февраля — днем в “Сирине”. Решение относительно А. Белого (собрания не издавать, романа ждать, “Путевые заметки” — отдельной книгой)»; 23 февраля: «Вчера и третьего дня — дни о Терещенке. <...> Я принес рукопись первых трех глав “Петербурга”, пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым <...>» (VII, 222, 223).

---

289. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<18 февраля / 3 марта 1913. Берлин>[1]

Дорогой, милый Саша!

Не думай, что слова Твоего письма меня задели[2]; наоборот, вижу, что в моем большом письме[3] есть что-то — *не так: не так* сказано, *не так* выражено; это *не так* простирается не на то, что чувствовал, а на *то*, что сказал: *не так* сказал.

Вот оттого-то я иногда и замыкаюсь в молчание, ибо если я пишу от Души, то пишу *о моем*, об «*Андрее Белом*», а не докторе Штейнере; но что же делать, если «*доктор Штейнер*» стал лучшей частью души Андрея Белого. В себе не ведаю деления на «*свое*» и «*штейнеровское*».

И пишучи *своим о своем*, только и могу писать о «*докторе Штейнере*». А слова о «*докторе*» неприятны.

И в итоге:

«Молчи, скрывайся и таи —
И чувства, и мечты свои»...[4]

Постепенно и прихожу к этому — без «*нарочитости*», досады, а — просто.

Но, повторяю, Ты *нежно* и *осторожно* дал мне урок: как *не надо* писать.

Ну... так не буду писать. Вот и все: и без слов, «*писаний*», молча обнимаю Тебя, всегда люблю, помню.

В плоскости внешней, поколику слова Твои высказывают не только музыку души (эту первую — «*музыку*» — понимаю), *но и* суждения, которые, как известно, обсуждаемы, то... слов, *суждений* Твоих *не понимаю*, ибо суждения Твои о обновлении души под чужим руководством (и о Твоей самостоятельности) просто кажутся мне не имеющими *ни малейшей* убедительности и не соответствующими действительности. Представь себе человека, произносящего суждение об Ибсене <в> 1896 году на основании критических заметок в русской прессе и без прочтения его драм. В 1896 году я был врагом Ибсена. В 1896 году я прочел «Гедду Габлер» и стал поклонником. Таковы Твои слова о розенкрейцерском движении[5]. Все *болтаемое* в России (хотя бы болтали умнейшие люди) и все напечатанное из Доктора (в печати[6]) есть не более, как пресловутый «*холм богатыря*» (так, кажется) — первая драма (юношеская) Ибсена. И по «*холму*» ли критически оценивать автора «Когда мы мертвые»[7] и т. д.?.. Поскольку я *нежно* слышу *музыку* Твоих слов (слов ко мне и обо мне), постольку с ледяною холодностью на все Твои суждения о Докторе и пути отвечаю лишь: «Ничего не понимаю: все, что Ты пишешь обо мне в отношении к моему пути, столь же подходит ко мне, как к корове седло». Ну, не сердись, милый: это я в плоскости внешней.

Обнимаю Тебя, и нежно люблю. Христос с Тобой.

Твой Борис Бугаев

P. S. Адрес меняю[8]; извини меня за сумасшедшее письмо (о делах)[9], но из Москвы меня пришибли...

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю; почтовый штемпель получения: Петербург. 20. 2. 13. Пометы Блока — химическим карандашом: «20 II 1913»; на конверте красным карандашом: «Получ. 20 II 1913».

[2] Это письмо Блока к Белому нам не известно; по всей видимости, в нем было высказано настороженное и несочувственное отношение к Штейнеру и к пути «ученичества», который избрал Белый. 23 февраля 1913 г. Блок записал в дневнике: «Боря прислал ответ — *не* оби-

жен» (VII, 224). Ср. размышления Блока по поводу приобщения Белого к Штейнеру в письме к Э. К. Метнеру от 22 июля 1912 г. (Блоковский сборник II. Тарту, 1972. С. 390—391).

[3] Имеется в виду п. 286.

[4] Начальные строки стихотворения Тютчева «Silentium!» (1830).

[5] Возможно, Блок в своем письме упомянул о тех сведениях, которые почерпнул из беседы с Э. К. Метнером 20 января 1913 г.; в этот день Блок записал в дневнике, излагая содержание беседы: «Иисус для Штейнера, — тот, который был “одержим Христом” (?). Скверная демократизация своего учения; высасывание “индивидуальностей”. Подозрения, что он был в ордене (розенкрейцеров) и воспользовался полученным там (“изменник”). Клише силы» (VII, 210).

[6] Подразумевается, что опубликована малая и не самая значительная часть созданного Штейнером; наиболее важными и ценными из его работ в кругу последователей Штейнера считались «эзотерические» лекционные курсы, предназначенные лишь для безусловных адептов его учения.

[7] Имеются в виду драмы Г. Ибсена «Богатырский курган» (1850) — первая его пьеса, поставленная на сцене, — и «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» (1899), последнее крупное сочинение драматурга.

[8] 23 февраля / 8 марта 1913 г. Белый отправил Блоку телеграмму из Берлина: «Adresse Loutzk. Bugaieff» («Адрес Луцк. Бугаев») (РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 152. Л. 79). В тот же день Блок записал в дневнике: «...телеграмма от Бори — переезжает в Луцк» (VII, 224).

[9] Имеется в виду п. 288.

---

290. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<23 февраля / 8 марта 1913. Берлин>[1]

Дорогой и любимый брат!

Спасибо за хлопоты (две телеграммы)[2]: стыжусь, что Тебя, быть может, обеспокоил. И еще не сердись на маленькое (последнее) письмо[3]; его написал *действительно* в ужасно плохом самочувствии, так сказать, из-под града хлопот, тревог, беспокойств, огорчений, неопределенностей; но как-то случилось, что день получения от Тебя Твоего письма[4] был днем получения ряда неприятных писем. И невольно, в ответе моем Тебе, таки чувствуется *неприятный день.*

Сперва пишу деловое.

А. *Рукопись романа выслал (телеграмму Ты получил)*[5].

1) Рукопись состоит из *первых трех глав* (всех глав 7 с эпилогом, или 8) (восьмая, если и будет, будет маленькая).

Эти три главы — наименее удачная часть романа; кроме того: *эти три главы* непонятны (своими длиннотами), если не принять во внимание, что со следующей главы до конца события стремительны (план построения романа: 1) томление перед *грозой* и 2) *гроза; томление* — первые три главы; *гроза* — последние 4 главы с эпилогом). Имея эти три главы без 4-ой, 5-ой, 6-ой, следует *помнить,* что *томление* здесь — сознательный прием; и длиннота отчасти намеренная.

2) К 3-м главам приложен *получерновик* начала четвертой главы; если для суждения о романе требуется знание и следующих глав, я могу выслать черновые

наброски 4-ой и пятой (не сполна); но *рукопись 4-ой и 5-ой главы в единственном экземпляре* — у Некрасова.

3) *Рукописи 4-ой и 5-ой главы* таковы по внешнему виду: они состоят из 3-х тетрадей; а) $^1/_2$ (ремингтонированная) 4-ой главы, оканчивающаяся тем, что Никол<ай> Апол<лонович> Аблеухов убегает с *бала*, b) вторая $^1/_2$ 4-ой главы (писанная); нумерация отрывков этой главы идет опять... 1, 2, 3, ибо писал ее в Брюсселе, не зная, на каком отрывке остановился, с) 5-ая глава писанная; все три тетрадки по 50 (кажется) страниц; итого 2 главы — 150 страниц. *Пишу все это ввиду подозрительных приемов Некрасова, дабы* в случае получения от него 4-ой и 5-ой главы К<нигоиздательст>во «*Сирин*» могло проверить по этим, Тебе сообщаемым признакам, действительно ли Некрасов все отдал. *О получении им* обеих *порций* (из Брюсселя и Мюнхена) он меня уведомил.

4) Среди присланных трех глав только первая, по-моему, удовлетворительно переработана *заново* и переписана. Когда М. И. Терещенко был у меня, то сказал, что с переработкой нечего торопиться, что я могу прислать и после Гааги[6]. Поэтому 2-ую и 3-ью главу следовало бы мне стилистически прочертить и *заново переписать. Но:* 1-ая неделя после М. И. Терещенки была неделей Генерального Собрания *Теос<офского> О<бще>ства*, где мы отложились от Безант, и Генеральным Собранием Антропософического, открываемого О<бщест>ва[7]; далее: неделей *курса*[8], и града докладов. Приходилось по 10 часов в день высиживать на собраниях. 2-ая же неделя была неделей тревог и писем в Москву (в *который* раз Москва меня *бесцельно* снимает с работы!). Оттого-то 2-я и 3-ья главы переработаны лишь в архитектонике, но не в стиле (я за перепиской *правлю стиль*: переписать не удалось, — и вот стиль не исправлен: авось исправлю в корректуре).

5) 4-ая и 5-ая главы стилистически проправлены в *Некрасовском тексте.*

6) 6-ая глава (страниц до 60) имеется у меня *вся в черновых набросках*; она готова, и мне остается ее исправить и переписать, на что нужна *неделя, не более*, но неделя спокойная (когда пишешь, нужен пост и молитва: а *этого поста, этой молитвы* у меня нет, пока не определятся наши ближайшие недели).

7) Итого: а) выслано 210 (кажется) страниц.
b) Написано сверх того 210 страниц (150 Некрасовских + 60 стр<аниц> 6-ой главы).
с) Не написано 100—120 страниц (работа 3-х, 4-х недель *спокойного труда*; буду писать *в Боголюбах*, или где бы мы ни были *после Берлина* (здесь — невозможно).

8) Из этого Ты видишь, что *в течение мая роман* весь могу выслать «*Сирину*»...

9) В случае принятия романа и возвращения Некрасовым 4—5-ой глав «*Сирину*», я бы просил на неделю мне эти главы выслать (предварительно я дам точный адрес).

Милый Саша, пишу так подробно о романе для отчетливости. Ты, если можно, спрячь эти пункты для «*Сирина*», чтобы не вышло какой путаницы.

Это деловое о романе.

Теперь деловое о «*Путевых Заметках*».

1) Ты пишешь, что «*П<утевые> З<аметки>*» приняты, я же не знаю, что прислал в «*Сирин*» Ахрамович. Он должен прислать план книги и ряд отдельных глав, расположение которых значится в плане.

2) Схема плана «*П<утевых> З<аметок>*» такова:

I. Сицилия

II. Тунисия:

a) Тунис
b) *Радес* } (все эти рубрики состоят из ряда отрывков).
c) Керуан

III. Египет.

3) Мне своевременно не было сообщено, что рукописи «*Пут<евых> Зам<еток>*» переданы «*Сирину*».

4) У *м е н я* рукопись «*Радеса*», и я ее должен выслать; без «*Радеса*» «*П<утевые> З<аметки>*» *не* имеют значения; *Радес* — важная составная часть.

5) До 6 раз я умолял своевременно меня известить о том, достали ли они «*Египет*», напечат<анный> в «Современнике»[9]. Ни — звука... Между тем *Египет* есть вся III часть «*Пут<евых> Заметок*».

6) Я не видал №№ «*Современника*» (быть может, «*Египет*» мой *исказили* в печати): *я должен наверное знать*:

a) Имеется ли «*Египет*» в доставленном «*Сирину*» тексте.

b) Должен прислать «*Радес*».

c) Должен лично проверить текст «Египта».

7) Обо всем этом я *писал множество* раз. Но на все запросы — *молчание*.

8) Я боюсь, что «*Сирину*» передали не текст «*Пут<евых> Заметок*», собранный и рассортированный по плану, а *конгломерат* отрывков.

9) В этом конгломерате могут отсутствовать: a) *Египет*, b) несколько глав, не внесенных в план и присланных из Брюсселя («*Базары*», «*Карфаген*» и т. д.), c) в нем *нет «Радеса»*, рукопись которого у меня.

Ах, Саша, Саша!

Если б Ты знал, как мы с Асей безмерно, безмерно устали... — Москвой!

Я ведь Тебе ничего не рассказывал, что пришлось нам пережить, и до чего у нас развился страх пред... — Москвой!

Столько несправедливостей, напраслин, почти *грубого непонимания* мы вынесли за этот год.

Ни о чем я Тебе не писал.

Если <бы> рассказал, то Ты понял бы, почему мы с Асенькой, будучи и духом и физически здоровы, совершенно измучены *душевно*, что, может быть, сквозит и у меня в письмах, но полтора года мы вечно тревожимся о завтр<ашнем> дне и полтора года я выбарахтываюсь из ряда недоумений и недоразумений (и всё из Москвы нас потчуют).

Милый; у меня, право, соблазн Тебе в качестве пояснения хотя бы $^1/_{10}$ того, что за эти 10 месяцев пришлось пережить, послать *не Тебе* написанное письмо, причем прошу Тебя этого письма не показывать *никому*: ты поймешь, почему я, кроме всего, еще и нервно волнуюсь, а объяснять Тебе *некогда*, ибо все сошлось: 1) отъезд, 2) укладка, 3) и завтра ответственный разговор с Доктором.

Поэтому *прямо* посылаю Тебе письмо, ибо Алеше Петровскому посылать теперь его тщетно, и поздно: я никого в Москве не виню, я лишь жалуюсь на отчаянную путаницу, систематическую, бестолковую.

Прочти и *никому не показывай*: это лишь уголышек того, чем нас поливают из Москвы (с весны того года)[10].

А Тебе, милый друг, уже *лично* напишу из Боголюб.

Обнимаю Тебя, нежно люблю.

Борис Бугаев

[1] Датируется по почтовому штемпелю. Пометы Блока красным карандашом: «Получ. 25 II 1913»; на конверте: «Получено 25 февр. 1913». 25 февраля 1913 г. Блок записал в дневнике: «Письмо от Бори — мне и А. С. Петровскому, вложенное туда же» (VII, 225).

[2] См. примеч. 1, 7 к п. 288.

[3] Имеется в виду п. 289.

[4] См. примеч. 2 к п. 289.

[5] См. примеч. 7 к п. 288.

[6] См. примеч. 5 к п. 288.

[7] Эти собрания, результатом которых стало основание Антропософского общества, проходили 2—3 февраля 1913 года.

[8] Штейнер выступал в Берлине с курсом лекций «Мистерии Востока и христианство» с 3 по 7 февраля 1913 г.

[9] См. п. 284, примеч. 2.

[10] Автограф этого недатированного письма Белого к А. С. Петровскому (относящегося ко второй половине февраля ст. ст. / началу марта н. ст. 1913 г.), присланный Блоку, хранится ныне в собрании В. Н. Орлова (РГАЛИ. Ф. 2833. Оп. 1. Ед. хр. 527). В письме Белый подробно излагает конфликтные ситуации, включая и разбирательства финансового характера, возникавшие между ним и «Мусагетом» (и лично Э. К. Метнером) в 1912 и начале 1913 г.

291. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<25 февраля / 10 марта 1913. Берлин>[1]

Милый Саша,

пишу много и *по-хорошему*. Прости все эти *расстроенные* письма; но я действительно был сбит с толку и успокоился только, когда Доктор позволил уехать (месяца от 2 до 4-х), давши много работы.

Еду дописывать роман. Получил ли рукопись?[2]

Ужасно жалею, что не мог выслать 4—6 главы: они удачнее (несравненно) присланных.

Наш адрес:

Россия. Луцк (Волынской губ.). Лесничему Владимиру Константиновичу Кампиони. Мне.

Письмо обрываю, ибо укладка: завтра едем.

P. S. Ответь: пришла ли рукопись?

[1] Датируется по почтовому штемпелю; почтовый штемпель получения: Петербург. 27. 2. 1913. Помета Блока графитным карандашом: «Получ. 27 II 1913». 27 февраля 1913 г. Блок отметил в дневнике: «Письмо от Бори Бугаева (переезжает в Луцк)» (VII, 225).

[2] См. примеч. 7 к п. 288. Видимо, Белый отправил настоящее письмо еще до получения телеграммы Блока (25 февраля 1913 г.): «Роман принят, скоро напишу. Блок» (Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог. Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975. С. 58). 24 февраля Блок записал: «Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого»; 25 февраля: «Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему» (VII, 225).

292. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<8—9 марта 1913. Боголюбы>[1]

Милый Саша!

Бесконечное Тебе спасибо за все то участие и любовь, которые Ты выказал по отношению ко мне... У меня нет слов — благодарности: Твое письмо[2] снимает с нас действительно громадную тяжесть и просто развязывает руки на очень многое; если действительно то, о чем Ты пишешь, есть факт, то мы обеспечены на год, а это очень важно хотя бы для того, что теперь, по окончании романа, я могу отдаться спокойно исполнению своих литературных планов, могу писать, ибо по окончанию романа (к маю)[3] я после паузы могу приняться за следующее, стоящее на очереди произведение и через год, надеюсь, предложить его «*Сирину*»[4]; далее, теперь выясняется, что через год дело с залогом имения в частные руки может еще и наладиться и, таким образом, 1914 год я могу и прожить на свои средства, и расплатиться с долгами[5]. Кроме того, моя *свобода* у Доктора обеспечена, ибо для меня теперь понятие *свободы* есть понятие свободы при Докторе... от Москвы, а не обратно: *от Доктора.*

Москва за 1912 год действительно посягала (дружески) на нашу свободу... вплоть до дружеского ареста; если бы вóвремя я не вырвался за границу, то... составил бы компанию Гр<игорию> Ал<ексеевичу> Рачинскому в его периодических путешествиях в Ригу[6]...

Теперь в Боголюбах гостит Сережа с женой (оба только что вернулись из Италии)[7]. Он — великолепен, блестящ, но... когда он рассказывает о своих терзаниях в лечебнице Лахтина[8], меня охватывает ужас: *е-г-о д-е-й-с-т-в-и-т-е-л-ь-н-о у-п-е-к-л-и*; Наташа и Ася весной 1912 года к нему прорвались с д'Альгеймами сквозь полицейский кордон докторов, бабушки[9] и Рачинских: это было началом его быстрого выздоровления. Дружеская любовь и искреннее желание блага ближнему не мешает, как видишь, упеканию этого ближнего в «*сумасшедший*» дом (вместо санатории); ибо, как-никак, упекатель — Рачинский. И даже на него нельзя сердиться: ведь ездил же Гр<игорий> Ал<ексеевич> Рачинский, упекши благородно Сережу, отдыхать в... Ригу (Гр<игорий> Ал<ексеевич> уезжает в Ригу — в знакомую санаторию). Как видишь, свобода нам нужна теперь так, как никогда; моя теософия (между прочим, я *н-е т-е-о-с-о-ф*) есть объект столь усиленных, решительных и подчас оскорбительных кривотолков в Москве, что, не будь у меня возможности соблюдать пафос дистанции относительно многих людей и учреждений, от которых я в деловом смысле зависел, я не знаю, к чему бы привел нас с Асей вынужденный возврат в первопрестольную столицу Российской империи. Благодаря Тебе, Твоему благородному и любовному вмешательству и помощи мне в деле с «*Сирином*», мы — свободные и вольные птицы год (с надеждою и на дальнейшую свободу в будущем — имение).

Спасибо же!...

Спешу о делах.

Все подробно на днях пишу Р. В. Иванову[10], а Тебе лишь сообщаю.

1) Меня удивляет, что Некрасов утверждает, будто я у него брал авансом 1600 рублей, ибо я в счет гонорара получил 1100 рублей (300 в Москве и 800 получил в Брюсселе); может быть, эти 500 рублей, которые он накидывает на сумму, мной от него полученную (1100), есть *то отступное*, которое он предъявляет «*Сирину*»? В таком случае мне не ясен его поступок?

2) За вычетом 1600 из 5000 и 600 («Пут<евые> Заметки») мне остается *приблизительно* 4000 рублей. Если 4000 : 12, то получается месячный аванс в 333 рубля. Если не 4000, а менее, то, скидывая 33 рубля, получаем 300 Х 12 = *3600*; эта сумма великолепно нас устраивает.

3) На днях высылаю «*Радес*».

4) Дней через 7 высылаю 6-ую главу.

Надеюсь лично привезти в «*Сирин*» окончание романа (в середине, конце апреля, в начале мая), когда, возмещая курс Доктора в Гааге[11], поедем на курс в Гельсингфорсе (числа курса не установлены). Тогда надеюсь проездом с Тобой видеться, побывать в «*Сирине*», мож<ет> быть, лично установить порядок рукописей «*Путев<ых> Заметок*» и разбить *на главки* и заглавия 4-ую и 5-ую главу романа, которые, вероятно, к этому времени окажутся у М. И. Терещенки. Милый, только об этом моем проезде чрез Петербург никому *не говори*; мне не хочется видеть людей, кроме Тебя, да тех, с кеми придется, может быть, говорить о делах (М. И. Терещенко, А. М. Ремизов или Иванов-Разумник). Мы будем день, два — не более — проездом.

Вот вкратце *главные черты* делового, а обо всем этом подробнее напишу в «*Сирин*».

Милый Саша, я, конечно, нисколько не претендую на Твои слова («*музыку слов*») о Докторе, ибо очень Тебя понимаю и не требую какого-то «*теософического*» взгляда на него (да и мой взгляд иной, свой, личный).

Что же касается до письма Петровскому, которое *вдруг* послал Тебе[12], то относительно него меня мучила совесть, но... при личном свидании объясню Тебе «*психологию*» тех берлинских дней и мотивы такого поступка. Верь мне одно: я очень люблю А. С. Петровского и тех москвичей, на которых жалуюсь ему в письме; пуще же всего люблю я Э. К. Метнера, с которым давно и кровно связан — почти так, как с Тобой; и если я сетую, обвиняю, жалуюсь, то это — самозащита против систематических *прорывов* благородного, неизреченно хорошего отношения ко мне Э<милия> К<арловича> — прорывов, необъяснимых для меня, заставляющих меня издалека волноваться и тревожиться за самочувствие Э<милия> К<арлови>ча, которому так плохо, что иногда это *плохо* оборачивается у него в необъяснимую жестокость, черствость, «*пунктики*», одержание.

И поскольку я за эти $1^{1}/_{2}$—2 года многократно являлся козлом отпущения (невольно, в силу деловой связанности) этих «*прорывов*» его поведения, постольку у меня иногда является идея самообороны, почти граничащая с нападением.

Впрочем, этого не объяснишь без конкретных пояснений, неизменно растянувших бы это письмо.

Верь мне: Э. К. Метнер — честнейший, благороднейший, прекраснейший и ценнейший человек, но *невменяемый* в иных случаях, именно в тех, где *деловые отношения* перекрещиваются с *идеологией*; и в этом смысле я чувствую себя буквально освобожденным от плена с минуты, когда в делах, переписке, отчетности, почтовых посылок, рукописей, высылки денег буду зависеть от «*Сирина*», представители коего (секретарь, редактор-издатель) не мусагетские — интимные — друзья.

Ну довольно. Спешу окончить письмо. Скоро напишу Тебе лично.

Еще раз громадное спасибо, милый, глубоколюбимый друг: крепко буду помнить Твое нежное участие ко мне.

Ася просит Тебе передать сердечный привет.

Остаюсь нежно любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Адрес: Луцк (Волынской губернии). Лесничему В. К. Кампиони. Для меня.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока (химическим карандашом): «Получ. 11 марта 1913, ответ. 15 III». 11 марта 1913 г. Блок записал в дневнике: «Письмо от Бори (доволен “Сирином”) <...>» (VII, 229).

[2] Это письмо Блока нам не известно. Вероятно, Блок в нем подробно сообщал о решении публиковать роман «Петербург» в сборниках «Сирин» и о финансовых условиях печатания (см. примеч. 2 к п. 291).

[3] Заключительная 8-ая глава и Эпилог «Петербурга» были завершены и отправлены в редакцию «Сирина» лишь в ноябре 1913 г.

[4] Речь идет о 3-й, ненаписанной части трилогии «Восток или Запад».

[5] См. примеч. 8 к п. 261. Ср. сообщение в письме А. С. Петровского к Э. К. Метнеру (Мюнхен, 3 сентября н. ст. 1913 г.): «...у Б. Н. дела с имением подвигаются, оно разбито на участки, А<лександра> Дм<итриевна> отказалась от своей части, и он почти наверное вернет зимой часть долга» (РГБ. Ф. 167. Карт. 14. Ед. хр. 35).

[6] Г. А. Рачинский выезжал в Ригу для поправки здоровья в лечебнице Соколовского.

[7] С. М. Соловьев женился на Татьяне Алексеевне Тургеневой (младшей сестре А. Тургеневой) 16 сентября 1912 г.; после этого он с женой отправился в путешествие по Италии. Впечатления от путешествия отразились в поэме Соловьева «Италия» (М., 1914).

[8] В лечебнице под наблюдением доктора М. Ю. Лахтина Соловьев находился в течение нескольких месяцев после попытки самоубийства (см. п. 259, примеч. 4).

[9] А. Г. Коваленская, бабушка С. Соловьева.

[10] Это письмо Белого к Иванову-Разумнику, руководившему тогда редакционной деятельностью «Сирина», не сохранилось. Иванов-Разумник сообщает, что первые письма Белого к нему, «около десятка, остались в издательской части архива «Сирина», пропавшего в годы революции» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 34).

[11] См. примеч. 5 к п. 288.

[12] См. примеч. 10 к п. 290.

---

293. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Боголюбы. 20 марта. 1913 года.

Дорогой, близкий и милый Саша!

Спасибо Тебе за успокоительное, хорошее письмо[1]. Я написал Р. В. Иванову подробное письмо[2] и отослал в «*Сирин*» рукопись *Радеса*. Теперь у меня уже переписана 6-ая глава, и я ее отсылаю, как и это письмо, с первой оказией (в деревне зависишь от лошадей, распутицы, и оттого не всегда все делаешь с должной стремительностью).

Окончание романа привезу с собой в мае; оно будет состоять или из 7-ой главы с эпилогом, или из 7-ой и 8-ой (маленькой) глав[3].

Спасибо, Ты разъяснил мне Некрасова. Конечно, он юридически прав, но меня удивляет, как мог он напечатать две первые главы[4], 1) зная, что я их перерабатываю (это было условлено еще прошлой весной), 2) без предупреждения, т. е. против воли автора, 3) *произвольно* дробя отдельное издание романа на две (не существующих) части; и удивило тем более, что Некрасов вел себя *образцово корректно.*

Ну довольно: это — дела.

О себе скажу: я невыразимо счастлив деревней, солнышком и распутицей; свищут мартовские ветра, распускается медуница; недавно летели журавли...

В душе ясно и спокойно, лишь миновали внешние треволнения; и работа — кипит. Как мало надо *все-таки* человеку: уверенность, что немного обеспечен, и солнышко, да отсутствие ругатни, недоразумений.

И вот, как-то детски счастлив я, что устроен роман, что доктора насильственно не оторвет от меня год судьба, что... солнышко и цветут медуницы.

Нет паршивей города Берлина! Нет поганее народа — берлинских жидов (в Берлине — все жиды: и «*жиды*», и немцы), а здесь, на Волыни даже жид кажется мне русским[5].

Хорошо жить в России, но... ужасно умирать в русских столицах. Про Петербург пишу ужасы, а, ей-ей, Петербург, как город, я люблю сейчас, ибо *проклятой* связи с ними нет, ибо... в Петербурге я турист, наблюдатель, *не житель*; эта проклятая (октябрёвская какая-то) связь с Москвой у меня есть, и романа «*Москва*» не написал бы, ибо слов нет у меня живописать московский ужас. Оттого и не поеду в Москву: сцапают там равно — и друзья, и враги, и враги-друзья, и друзья-враги (есть у меня и такие категории). День проводим так: гуляем, работаю, читаем с Асей вслух, собираем цветы. Здесь гостит Сережа с Таней[6]. Оба приехали из Италии и... хорошие. Здесь же Наташа, и таким образом *живем родственно* (в хорошем смысле слова). Сережа просит Тебе передать привет; говорит, что сам оттого не пишет, что очень давно не писал, а когда давно не пишешь, то далее *уже не пишешь* лишь оттого, что *давно не* пишешь. И т. д.

Милый друг! Мы с Асей будем в Петербурге, вероятно, в первых числах мая (точнее напишу скоро). Надеюсь, *хорошо* свидимся, и потом опять до... через год... Ну, обнимаю Тебя, милый, желаю спокойствия и тишины.

Нежно любящий Тебя

Б. Бугаев

P. S. Ася просит меня передать Тебе привет.

---

1 Это письмо Блока нам не известно.

2 См. примеч. 10 к п. 292.

3 См. примеч. 3 к п. 292. 7-ю главу «Петербурга» Белый завершил в июле 1913 года.

4 Имеется в виду осуществленный в издательстве К. Ф. Некрасова типографский набор переданных Белым в марте 1912 г. глав «Петербурга» в первоначальной редакции. По сообщению Иванова-Разумника в статье «К истории текста "Петербурга"», к концу 1912 г. издательством К. Ф. Некрасова были набраны 9 печатных листов «Петербурга» (почти целиком две первые главы романа). См.: Иванов-Разумник. Вершины. Александр Блок. Андрей Бе-

лый. Пг., 1923. С. 90—91; Долгополов Л. К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Андрей Белый. Петербург. Л., 1981. С. 569—574.

5 См. примеч. 5 к п. 225. Оскорбительное определение, как подчеркивает здесь сам Белый, имеет исключительно эмоционально-оценочный смысл.

6 См. п. 292, примеч. 7.

---

294. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Боголюбы. 6-го апреля <1913>[1].

Дорогой Саша, Христос Воскресе[2]!

Пишу Тебе эти несколько слов в скорой надежде увидеться: мы будем в Петербурге числа 11—12 мая проездом в Гельсингфорс*; 9-го, вероятно, выедем в Гельсингфорс из Боголюб. Курс в Гельсингфорсе начинается 15-го мая и кончается 24-го[3]; стало быть, если 11—12 мая Ты не будешь в Петербурге, или не будет в Петербурге никого из Редакции «*Сирин*», я могу быть проездом здесь (на обратном пути) мая 26—27-го (старого стиля). Кроме делового, просто страшно хотелось бы повидаться с Тобой.

Черкни, в какой период удобнее встретиться нам (11, 12, 13-го, или 26—27-го?).

Получил очень милое письмо от Разумника Васильевича Иванова с присоединением листка (счетного)[4]. Передай Р. В. Иванову мою благодарность и надежду с ним встретиться в эти числа. Кстати: если будешь в «*Сирине*» или увидишь кого-либо из Редакции, спроси, пожалуйста, получена ли моя 6-ая глава романа, которую 2 недели тому назад я отослал. Мне бы очень хотелось посмотреть проездом на рукописи «*Пут<евых> Заметок*» и на 4-ую—5-ую главы романа (если они получены от Некрасова). Может быть, я просил бы те и другие рукописи на вечерок (для просмотра и приведения в порядок).

Привезу с собой 7-ую главу, над которой работаю[5].

О себе сказать почти нечего. Проводим время с Асей монотонно и тихо. Ужасно хорошо в деревне. С Москвой почти не сношусь. Не пишется, да и мне никто не пишет: стал я всем как чужой. Может быть, это к лучшему.

Милый Саша, обнимаю Тебя нежно. Напиши о себе — как Ты? Впрочем, если не хочется, не пиши: мы скоро увидимся.

Остаюсь крепко любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. М. И. Терещенко и А. М. Ремизову мой привет.
Ася приветствует Тебя.

---

1 Пометы Блока красным карандашом: «Послано в “Сирин” заказн.»; «Я отв. 23 IV». Ответное письмо Блока нам не известно.

2 Пасха в 1913 г. — 14 апреля.

3 Курс лекций Штейнера «Оккультные основы Бхагавадгиты» был прочитан с 28 мая по 5 июня (н. ст.) 1913 г.

* В автографе описка: «Петербург».

[4] Это письмо Иванова-Разумника нам не известно. Под «счетным листком» подразумевается, вероятно, схема установления и выплаты причитающегося Белому гонорара за публикацию «Петербурга».

[5] См. примеч. 3 к п. 293.

---

295. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Около 25 апреля 1913. Боголюбы>[1]

Милый Саша!

Получил ли Ты мое письмо — давно уже написанное?[2] Мы с Асей будем проездом (на день, два) в Петербурге 11-го, 12-го мая[3].

Страшно хотелось бы с Тобой повидаться. И не знаю, как Тебе удобнее: в начале мая, или — в конце? Мы будем в Петербурге еще 26, 27-го мая, проездом к маме, у которой будем гостить дней 10 (под Клином). Может быть, если Ты будешь в это время уже в Шахматове, Ты приедешь к нам в Демьяново (это под Клином — провести денек, два...)[4].

Мы засели в Боголюбах, и так вросся я в деревню, что не хочется из тишины ехать в шум, в города, даже... в Гельсингфорс, ибо там будет много русских знакомых (между прочим, Н. А. Бердяев). А я стал такой враг «*споров и разговоров*», что одна мысль о словесном общении угнетает: хочется молчать, сидеть, смотреть на зарю, что я и делаю здесь, если не пишу и не мерзну (у нас после 18^0 в тени вдруг навалился холод до 0 градусов, а мы живем в новом, еще отстраиваемом доме, в лесу — и холодно).

Давно нет от Тебя вести. И не знаю: не обидел ли я опять Тебя чем-нибудь?

Хорошо здесь: так бы и остаться надолго, надолго: но, видно, судьба нам с Асей жить странниками, преодолевать пространства.

В этом тоже свой уют: нигде не дома, то есть, везде дома, потому что возишь свой дом с собой. И — у себя: а где-то на фоне — Россия, Германия, Швейцария. И скользит, убегает все: куда-то во мглу.

«Неподвижно лишь Солнце Любви»[5].

Обнимаю Тебя. Ася шлет Тебе привет.

Твой Борис Бугаев

---

[1] Датируется на основании пометы Блока (графитным карандашом): «Получ. 28 апр. 1913».

[2] Имеется в виду п. 294.

[3] 1 мая 1913 г. Блок сообщил жене: «11-го приезжает из Волынской губернии А. Белый с женой» (Литературное наследство. Т. 89. Александр Блок. Письма к жене. М., 1978. С. 311).

[4] Блок уехал в Шахматово лишь 8 августа 1913 г., и его поездка в Демьяново (где Белый и А. Тургенева были в конце мая — начале июня) тем самым не состоялась.

[5] Заключительная строка стихотворения Вл. Соловьева «Бедный друг, истомил тебя путь...» (1887).

---

296. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<7—8 мая 1913. Боголюбы>[1]

Дорогой Саша!

Спасибо за Твои четкие ответы[2]. Спешу уведомить, что мы будем в Петербурге 11-го к вечеру, а уедем, вероятно, 13-го (крайний срок). Поэтому думаю 12 утром[3] (не знаю приемных часов в «*Сирине*») быть в «*Сирине*», а 11-го вечером Тебя уведомить (может быть, Ты зайдешь к нам?) об адресе. Впрочем, если Ты занят, устал или нерасположен, ради Бога не стесняйся, а приходи, когда Ты имеешь расположение[4].

Остаюсь любящий Тебя

Борис Бугаев

P. S. Ася шлет Тебе привет.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока (химическим карандашом): «Получ. 10 мая».

[2] Эти письма Блока нам не известны.

[3] Над словами «12 утром» помета Блока (химическим карандашом): «воскресенье!»

[4] Белый и А. Тургенева приехали в Петербург в указанный день, остановились в гостинице «Пале-Рояль»; отбыли в Гельсингфорс 14 мая. 11 мая Блок записал в дневнике: «Днем позвонил приехавший Боря (Андрей Белый), я позвал их с женой сегодня вечером, а завтра — обедать» (VII, 250). В тот же день Белый был в редакции издательства «Сирин», где лично познакомился с Ивановым-Разумником; последний вспоминает (в письме к К. Н. Бугаевой от 1 июля 1934 г.): «Б. Н. приехал заключать договор и был у меня в “Сирине” ***в первый же день приезда***; разговор продолжался три-четыре часа» (Минувшее. Исторический альманах. Вып. 23. СПб., 1998. С. 440. Публикация В. Г. Белоуса). Белый встречался с Блоком и Ивановым-Разумником также на обратном пути из Гельсингфорса,после 25 мая (см.: Андрей Белый и антропософия / Публикация Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С. 352, 353). Впечатление от общения с Белым в Петербурге Блок отразил в дневниковой записи от 29 мая 1913 г.: «Три свидания с А. Белым и его женой. Второе было ужасно тяжелое. После него — Inferno» (VII, 250); подробнее высказался в письме к А. М. Ремизову от 2/15 июня 1913 г.: «А. Белый с женой были у меня три раза — и до Гельсингфорса и после. Говорили все больше о Штейнере. Оба они — худые, некормленные, странники. Если бы знали о Штейнере только от А. Белого, можно бы было подумать, что А. Белый сам его сочинил; говорит он все то же и так же. Анна Алексеевна мне понравилась, она — простая» (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 116—117).

Ценное биографическое свидетельство — книга: Бугаева К. Н. Воспоминания об Андрее Белом. Публикация, предисловие и комментарий Джона Малмстада. Подготовка текста Е. М. Варенцовой и Джона Малмстада. СПб., 2001.

1916

297. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<Около 10/23 июня 1916. Дорнах>[1]

Милый, милый, милый Саша,

Когда Разумник Васильевич оповестил меня о том, что Вы хлопотали с ним о «романе», что Вы предприняли сами его издать, что Вы провели это *скучное* для Вас и *хлопотливое* дело[2], что, далее, Вы хлопотали обо мне в «Литературном Фонде» и что Вам я обязан субсидией, которая меня выручила[3], — когда все это я узнал, то я был (это не сантиментальность!) потрясен, глубоко взволнован: *и горячая волна благодарности поднялась во мне; я был почти растроган до слез; и долгое время стыдился ответить*, чтобы мое неумелое слово не оплотнило бы мое разряженно-ясное чувство благодарности не на словах, а в... душе; действительно: мысль, что у меня есть в России друзья, которые меня любят и не забыли, есть огромная нравственная мне поддержка, а я был в момент получения письма от Разумника Васильевича именно в состоянии душевного разлада, подавленности вследствие условий моей 2-летней жизни здесь, о которых я ничего не могу рассказать, которые морально ужасны, невыносимы, удушливы, безысходны, несмотря на то, что мой Ангел Хранитель, Ася, со мною и что д<окто>р, которого мы обожаем, бывает с нами; не то, что Вы меня материально выручили (а субсидия «Фонда» меня воистину выручила), меня волнует, а то, что Вы были мне дорогою-родною весточкой издалека, из «*России*» и что то, что *Ты именно* принимал участие в хлопотливых и скучных перипетиях моего «*выручания*», Ты, которого я *неустанно* люблю где-то там, в уголке своей души, и с которым мне было бы невыносимо переписываться целый период времени моего погружения в *то*, что Тебе было бы чуждо, а мне надо бы (теперь я уже не по-гружаюсь, а *вы*-гружаюсь из очень многого; и стало быть: начинаю получать дар речи); так вот: *это все* показалось мне неспроста, а овеянным именно тем, чего алкала душа: дружеской улыбкой без слов, рукопожатием без слов; и вот мне открылась картина этой зимы: воет ветер, в оконные стекла бьет жалкая изморозь; свинец облачный припадает к земле; из свинца рычит грохот пушек[4]; Ты приходишь домой — иззябший физически и иззябший морально из «кантины» (т. е. дощатого барака, где мы пьем кофе в 5

часов после работы)[5]: из-за загородки перекрестных «*злых*», «*ведьмовских*» взглядов, опорачивающих Тебя, из трескотни чужеземных слов — из толпы Тебя презирающих, как дурачка, и ненавидящих иногда, как *русского*, к которому с симпатией относится д<окто>р: с сознанием, что еще ряд безысходных месяцев Ты будешь обречен вращаться среди полусумасшедших «оккультических» старых дев и видеть, как жена Твоя, превращенная в почти работницу, стучит молотком по тяжелому дереву, выколачивая свои силы (такова ее охота!), в облаке гадких сплетен и неописуемо враждебно-мерзкой атмосфере этой самой нашей «кантины» обреченная жить; — вот с таким сознанием возвращаясь домой и принимаясь растапливать печи вонючими «брикетами» (зная, что теперь пойдет «*брикетная вонь*»), я бывал охвачен воистину безысходностью[6]: поднимались в душе *все* теоретические умственные трагедии, переживаемые в условиях нашей жизни конкретно (например, «*восток или запад*»), подымались все мои личные трагедии, как понятные Вам, если бы я их рассказал, так и полупонятные Вам, как не членам нашего О<бщест>ва: в аккомпанементе пушечных громов и воя ветров все это усугублялось; усугублялось и на почве расстроенного моего здоровья и т. д.; *т о г д а*: я уже не существовал (я — «*давно умер*»); я как-то странно заживал в мире чувств прошлого, в друзьях, событиях жизни, в вне-личном: я брал Твою книжку («Ночные часы»): и не мог оторваться; я вчитывался в строки так, как никогда: и, о, как отзывало мне: *Твое слово поэта*. Оно — напоминало, звало; я вспоминал Тебя. И именно в это время Ты действенно, реально, упорно помогал мне. Вот что еще взволновало меня, почти до слез взволновало; видишь ли: я боюсь, что мой «лирический» тон Тебе покажется неприятен, а он — просто фальшивое отражение в слове происходящего в душе: ну что ж: позволь мне быть лирически настроенным и сказать Тебе, что, несмотря на наше молчание друг к другу 3 года, я всегда лишь Тебя любил, что ни одно облачко «недоразуменности» даже не пронеслось от меня к Тебе. Я просто понял из последнего нашего свидания[7], что 1) Ты меня любишь и я Тебя; *но что* 2) то, во что я *лишь начинаю уходить, погружаясь с головой*, Тебе будет чуждо; 3) что я не хочу Тебе лгать: ни писать Тебе на Тебе любезные темы, как бы тая от Тебя «мне любезное», — я не мог; бессознательно приставать к Тебе «*о своем*» не хотел. И я понял, что мы в нашем *молчании друг к другу* — поняли друг друга; и что это молчание есть наша взаимная друг к другу чуткость, сохраняющая «*свежесть*» мне моей любви к «*Твоему*». И я был прав: мне надо было глубоко-глубоко пережить смерть всего, что может быть смертью: смерть старой жизни, смерть былого круга отношений с людьми, умереть как бы для родины даже, быть бездомным «странником»: жить в мирах своей мысли и беспрепятственно пересекать «континенты» узнаний; такие были мы с Асей и среди грохота наглой берлинской жизни, внешне-одинокие, всегда *вдвоем* (и лишь потом вчетвером: Наташа, Асина сестра, с мужем приехала к нам и живет до сих пор[8]: мы здесь «*четыре*», но и до сей поры «*четыре*» заброшенные — среди «*волков и тигров*» здешней жизни: почти «*красные шапочки*» без бабушки, но с «*волками*»).

Такие же были мы с Асей в горах Норвегии (между Христианией и Бергеном), в Кёльне, в Мюнхене, в Швейцарии, в Нюренберге, в Швеции, на старом Рюгене, где жил некогда старославянский бог «*Световит*». И вот «родиной воспоминаний», новым образовавшимся континентом мы жили (построенным «домом») из переживаний, узнаний: не было у нас пристанища: несколько моментов в Бергене, несколько дней в «Норд-Чёпинге» (старый шведский городок), Копенгаген[9], несколько интимнейших моментов с д<октор>ом в старом Нюренберге[10], Аркона, снежные горы — здесь, в Швейцарии: и — незабываемое, огромное, «*старое и*

новое во все времена»[11] — доктор с нами: Берген, Христиания, Норд-Чёпинг и т. д. окрашены его жестом к нам; так жили мы до часа войны: мысли умерли, слова застыли; я не мог бы с Тобой говорить, потому что в течение 12 месяцев я говорить разучился, как и Ася: и мы тихо молчали: слушали, слышали, улыбались себе и друг другу — становилось «до слез» хорошо; становилось «до слез» дурно; а мы — сидели, ходили, плыли по воде, летели на поездах: из страны в страну, из города в город: и выяснялось все более (еще до войны):

«Твой час настал: теперь — молись».[12]

Что было за последние два года 1915—1916 — закрываю завесу: было все: смерть, разложение, зарытие заживо, гроб, осмеяние, заушение, оплевание; и... «те же мы»: я, Ася; и тот же с нами — наш доктор. Но: «шум времени» отряхнул и вывернул: мы после «должного» сна уже просыпаемся (и это «должно»); не погружаемся, а *вы*-гружаемся; и весь мой жест не от периферии к центру, а из центра к... периферии: к Асе, к близким друзьям, к... вообще друзьям, к... людям, даже... к «литературе», *«дневнику происшествий»*, к фельетону, к газете...

И вот хочется мне одного *из первых* обнять Тебя и сказать Тебе: мы *«под громом событий»* те же братья, как и встарь, и события мира нас по-прежнему спа́ивают: я Тебе ни «антропософ», ни и т. д., а брат, «Боря»: хочу им быть; хочешь Ты меня или нет — Твое дело: я несу давно уже Тебя в своей душе, как несу я в душе своей многих былых друзей, которые меня, вероятно, *«и знать-то не хотят»*. Тебя, одного из первых, целую: скажи, кого любишь, что и я его люблю; скажи, кому хочешь, что я его приветствую: у меня нет врагов, для меня нет «направлений»; есть братья и сестры далекие и есть братья и сестры близкие. И Ты — первый среди них, которого я люблю.

Прощай. Христос с Тобой.

Боря

P. S. Я Тебе должен, милый[13]: теперь видишь, что я действительно не в силах отдать что-либо: до «войны» я надеялся к весне быть в России и устраивать свои дела (продавать собр<ание> сочин<ений>): *война* — отрезала. Но, милый, я выплачу Тебе: по возвращению из «фронта» (мы с Тобой скоро идем ведь?)[14], я примусь за *дела...*

Адрес: Dornach (près de Bâle). Maison Emil Thomann. *Suisse.*

---

[1] Помета Блока химическим карандашом: «Письмо пересл. Иванов-Разумник 1916 г. (июль?). Накануне дружины». Датируется по связи с письмом Белого к Иванову-Разумнику, отправленным 23 июня (н. ст.) 1916 г., в котором говорилось: «...сообщите мне адрес А. А. Блока; у меня его нет, и поэтому я обременяю Вас просьбой: перешлите Блоку прилагаемое при сем письмо ему» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 69). 15 июля 1916 г. Иванов-Разумник извещал Блока (из деревни Песочки): «...письмо Бугаева к Вам пришло на мое имя в Царское Село и оттуда, распечатанное, прибыло ко мне. Пересылаю его сегодня Вам и извиняюсь за военную цензуру» (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 401).

[2] Речь идет о подготовке и издании отдельной книгой романа Андрея Белого «Петербург» (<Пг.>, 1916; книга вышла в свет в первой половине апреля 1916 г.), ранее опубликованного в альманахах «Сирин» (сб. 1—3. Пб., 1913—1914). В записной книжке 1915—1916 гг. Блок скопировал письменное распоряжение владелицы изд-ва «Сирин» П. И. Терещенко, адресованное «Книжному складу Стасюлевича» и датированное 6 января 1916 г.: «Разрешаю вырезать из 3-х сборников Сирина, в колич<естве> 6 000 экз. каждый, роман А. Белого “Петербург”, выпустить его в продажу особо и считать собственником выпущенной книги автора

“Петербурга” А. Белого — Бориса Ник<олаевича> Бугаева» (Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. М., 1940. С. 331). О подготовке отдельного издания «Петербурга» Иванов-Разумник информировал Белого в письме от 26 марта / 8 апреля 1916 г. (см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 65—66); все необходимые хлопоты, с этим связанные, взяли на себя Иванов-Разумник и Блок (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 392—401). В воспоминаниях Белый писал в этой связи о Блоке: «... в шестнадцатом году, зная критическое положение нас, русских, отрезанных от России, с Р. В. Ивановым энергично принимается за выпуск “Петербурга” отдельным изданием от моего имени, устраивая мне материальное существование, помогая мне расплатиться с долгами, берет на себя бремя хлопот и всевозможных забот» (Записки мечтателей. 1922. № 6. С. 121).

[3] Субсидии от Литературного фонда Белый получил стараниями Блока и Иванова-Разумника; этот вопрос рассматривался дважды. В протоколе заседания Литературного фонда от 7 декабря 1915 г. (под председательством Ф. Д. Батюшкова, при участии Иванова-Разумника, секретаря) зафиксировано: «Письмо А. А. Блока к Р. В. Иванову о крайне тяжелом материальном положении *Б. Н. Бугаева (Андрей Белый)*, дополнительное сообщение Р. В. Иванова-Разумника. — Выдать в бессрочную ссуду 350 р.»; вторичное рассмотрение — 7 марта 1916 г., на заседании Комитета Литературного фонда (под председательством С. А. Венгерова, при участии Иванова-Разумника как члена Комитета): «Письмо А. А. Блока о тяжелом положении *Андрея Белого (Бор. Бугаева)*. Просить для него 300 руб. с обязательством представить поручительство З. Н. Гиппиус, Д. С. Мережковского и свое. — Выдать в ссуду 300 руб. для Андрея Белого и просить А. Блока представить поручительства» (*ЛН. Т. 92. Кн. 2.* С. 392, 395). В записной книжке Блока занесен черновик «поручительства» (8 марта 1916 г.): «Мы, нижеподп<исавшиеся>, обязуемся возвратить Ком<итету> Лит<ературного> Фонда выданные им Б. Н. Бугаеву (А. Белому) 300 рублей через шесть месяцев, в случае, если эту сумму нельзя будет покрыть путем продажи романа А. Белого “Петербург”» (приведено В. Н. Орловым в кн.: Александр Блок и Андрей Белый. Переписка. С. 331).

[4] В Дорнахе (Швейцария, под Базелем), где Белый и А. Тургенева тогда, вместе с другими сподвижниками Штейнера, участвовали в строительстве антропософского центра — Гетеанума, была слышна канонада сражений Первой мировой войны, происходивших в Эльзасе.

[5] Весной и летом 1916 г. Белый работал над резной скульптурой, составлявшей часть архитектурного комплекса Гетеанума.

[6] Ср. аналогичные признания в письмах Белого к Иванову-Разумнику от 27 февраля / 11 марта и 10/23 июня 1916 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 63—64, 68—69).

[7] Имеются в виду встречи в Петербурге в мае 1913 г. (см. примеч. 4 к п. 296).

[8] Н. А. Тургенева и А. М. Поццо приехали в Берлин в ноябре 1913 г. (см.: Андрей Белый и антропософия / Публикация Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 6. Paris, 1988. С. 357).

[9] Белый и А. Тургенева были в Норвегии (Христиания (ныне Осло), Льян, Берген), где Штейнер читал курс лекций «Пятое Евангелие», с 13 сентября по 10 октября 1913 г., в Копенгагене — 11—12 октября 1913 г., в Норчёпинге (Швеция) на лекционном курсе Штейнера — с 10 по 18 июля 1914 г.

[10] Поездка в Нюрнберг — 8—11 ноября 1913 г.

[11] См.: *Симфонии.* С. 133.

[12] Неточно цитируется заключительная строка стихотворения Блока «Опять над полем Куликовым...», завершающего цикл «На поле Куликовом».

[13] Напоминание о денежных суммах, полученных от Блока в долг в конце 1911 — начале 1912 г. (см. п. 263, примеч. 2, п. 273, п. 274, примеч. 2).

[14] Белый, как и Блок, принадлежал к «ратникам I и II разрядов», призывавшимся на военную службу летом 1916 г.; по этой причине он выехал из Дорнаха в Россию в середине августа (н. ст.) 1916 г. Блок, призванный в армию 7 июля 1916 года, был зачислен табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Всероссийского Союза Земств и Городов и 26 июля выехал по месту расположения дружины.

1917

298. БЛОК – БЕЛОМУ

27 апреля 1917. Петербург,
Офицерская 57

Милый Боря.

Сейчас пришло твое письмо к Марии Андреевне[1]. Спасибо тебе за возвращение денег прежних и за те, которые ты собираешься выслать. Прежде, чем выслать (можно на мое имя сюда), узнай у Пашуканиса, не должен ли ты только *200* рублей[2], потому что, кроме двух получек от тебя (по 250), однажды от Пашуканиса было получено мамой лишних 100 рублей (13 декабря), которые я считал полученными от тебя. Так<им> обр<азом>, неизвестно, заплатил ты в счет своего долга 500 или 600 рублей. Еще раз, спасибо.

В Москве я хотел взглянуть на тебя. Пока я здесь, а что дальше со мной будет, не знаю, так как на фронт я ехать больше *не хочу*, за что меня скоро откомандируют, о чем уже я получил телеграмму[3]. «Душевно» я совершенно разбит; духовно и телесно — нет еще.

Крепко целую тебя.

Любящий тебя Ал. Блок

P. S. Мои книжки[4] я отдам тебе при случае, посылать — громоздко. Тетя[5] просит передать тебе поклон.

---

[1] В письме к М. А. Бекетовой от 24 апреля 1917 г. Белый сообщает: «...у меня есть сейчас 300 рублей, которые я должен Саше. С благодарностью я спешил бы их вернуть: куда прикажете перевести. Вам ли, или — Александре Андреевне, или — Саше. Я тотчас же вышлю. Я должен был их выслать ранее, но произошла печальная путаница: я получил от Пашуканиса 300 рублей еще полтора месяца назад. Но ввиду того, что около этого времени я должен был вернуть М. К. Морозовой столько же, я перепутал срок и послал Морозовой те 300, которые были предназначены Саше. Страшно горюю: у меня был Саша, но — не застал (я был в Посаде)» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 110). Блок был в Москве 13—17 апреля, Андрей Белый — в Сергиевом Посаде 11—22 апреля.

[2] С В. В. Пашуканисом, организовавшим в 1916 г. на базе «Мусагета» издательство собственного имени, Белый вступил в финансовые соглашения с целью выпуска в свет своего «Собрания эпических поэм» (в 1917 г. вышли в свет два тома — 4-й и 7-й, на этом издание прекратилось).

[3] Блок выехал из расположения 13-й инженерно-строительной дружины в отпуск в Петроград 17 марта 1917 г. и после этого на место военной службы не возвращался. 30 апреля он обратился с письмом к М. И. Терещенко (ставшему министром Временного правительства) с просьбой помочь «делом или советом найти выход» из положения (см.: ЗК, 319—320). 8 мая 1917 г. Блок был назначен редактором стенографического отчета Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством для расследования деятельности бывших царских министров и сановников, и тем самым вопрос о продолжении службы в дружине был снят.

[4] Видимо, имеются в виду «Стихотворения» Блока в трех книгах и его «Театр»; все четыре книги были изданы «Мусагетом» в 1916 г. Экземпляры этих книг, подаренные Белому, не выявлены (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

[5] М. А. Бекетова.

---

299. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

Москва. 29 апреля. Суббота. <19>17 года[1]

Милый Саша,

бесконечно рад получить от Тебя весть. Я не писал Тебе, потому что знал, что Ты меняешь адрес[2]. Да и время такое: не до писем. Бесконечно опечалился я, что Ты был у меня и не застал. Я был у Сережи в Посаде. Когда увидимся, не знаю. Увидимся ли — не знаю. Ничего не знаешь. Грустно мне. Да и тоскую, что Аси нет со мной[3].

Летом я буду делить время между Крюковым и Клином[4]. Если бы Ты был в Шахматове, то хорошо бы было поглядеть на Тебя. Не приедешь ли Ты к нам на дачу? Был бы счастлив Тебя увидать.

Милый Саша, с благодарностью высылаю Тебе 300 или 200 рублей (в зависимости от Пашуканиса) послезавтра, в понедельник (завтра закрыта почта). Но теперь обращаюсь к Тебе с огромною просьбою. Ты не помнишь ли точно, какую сумму я Тебе должен. По моим соображениям, я был Тебе должен 800 рублей (но это — круглая сумма); я могу остаться Тебе должен еще. Прошло столько времени; за это время у меня были и другие долги, так что я легко мог перепутать цифру долга и не доплатить Тебе. Если я ошибся в определении суммы долга, ради Бога, поправь меня.

Я написал о Тебе статью (должна была пройти в 2-х фельетонах в «*Русских Ведомост<ях>*»). Но, по-видимому, Мануилов испугался статей, и они пролежали 2 месяца в Редакции, откуда я с трудом выцарапал их. Теперь передал статью в сборник московского «*Клуба*» писателей (есть такой). Когда появится в свет этот сборник, никто не сможет сказать[5].

Остро, трудно, тревожно, но... уповаю все же: надеюсь, что *чудо* спасет Россию от возможных развалов. Я тоже бодр духом, хотя и душа, и тело болят. Целую.

Остаюсь крепко любящий и *верящий* в Тебя

Борис Бугаев

---

¹ Ответ на п. 298. Помета Блока красным карандашом: «1917».

² Возможно, подразумевается предполагавшийся отъезд Блока по месту военной службы.

³ А. Тургенева осталась в Дорнахе (см. примеч. 14 к п. 297).

⁴ Имеются в виду Дедово (близ станции Крюково) и Демьяново (близ Клина), где жила летом мать Белого.

⁵ Речь идет о статье «Поэзия Блока», впервые опубликованной в кн.: Ветвь. Сборник Клуба московских писателей. М., 1917. С. 267—283; под заглавием «А. Блок» вошла в кн.: Андрей Белый. Поэзия слова. Пб., «Эпоха», 1922. С. 106—134. См.: *О Блоке.* С. 431—443. См. также письмо Белого к Иванову-Разумнику от 25 апреля 1917 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 100—101).

---

300. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<3 мая 1917. Москва>[1]

Дорогой Саша,

отправляю Тебе 200 рублей, а 100 возвращаю Пашуканису. Если что не так, то вышлю 100. Спасибо еще раз за добрую Твою помощь мне в трудный момент.

Крепко целую.

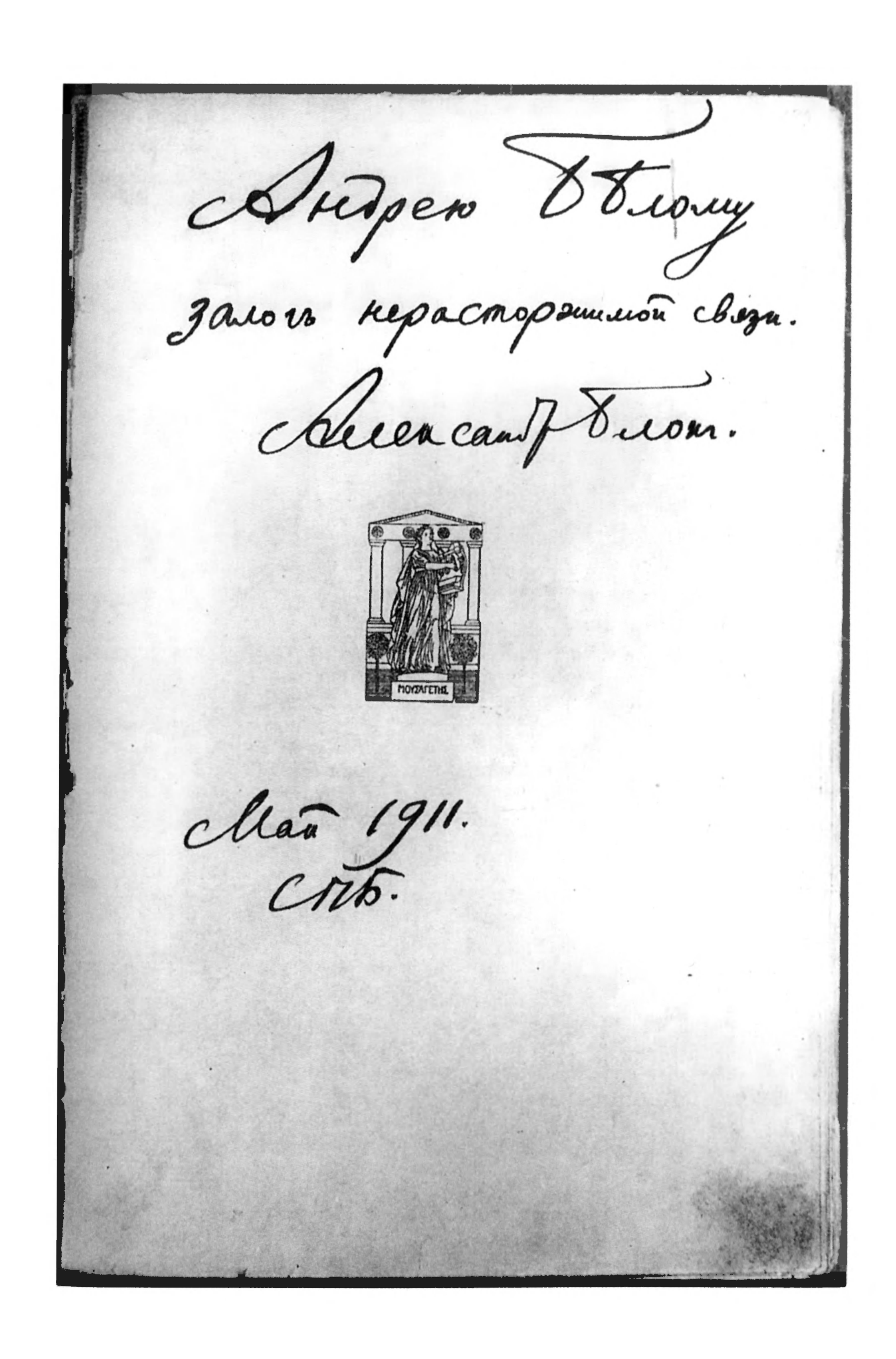
Б. Бугаев

---

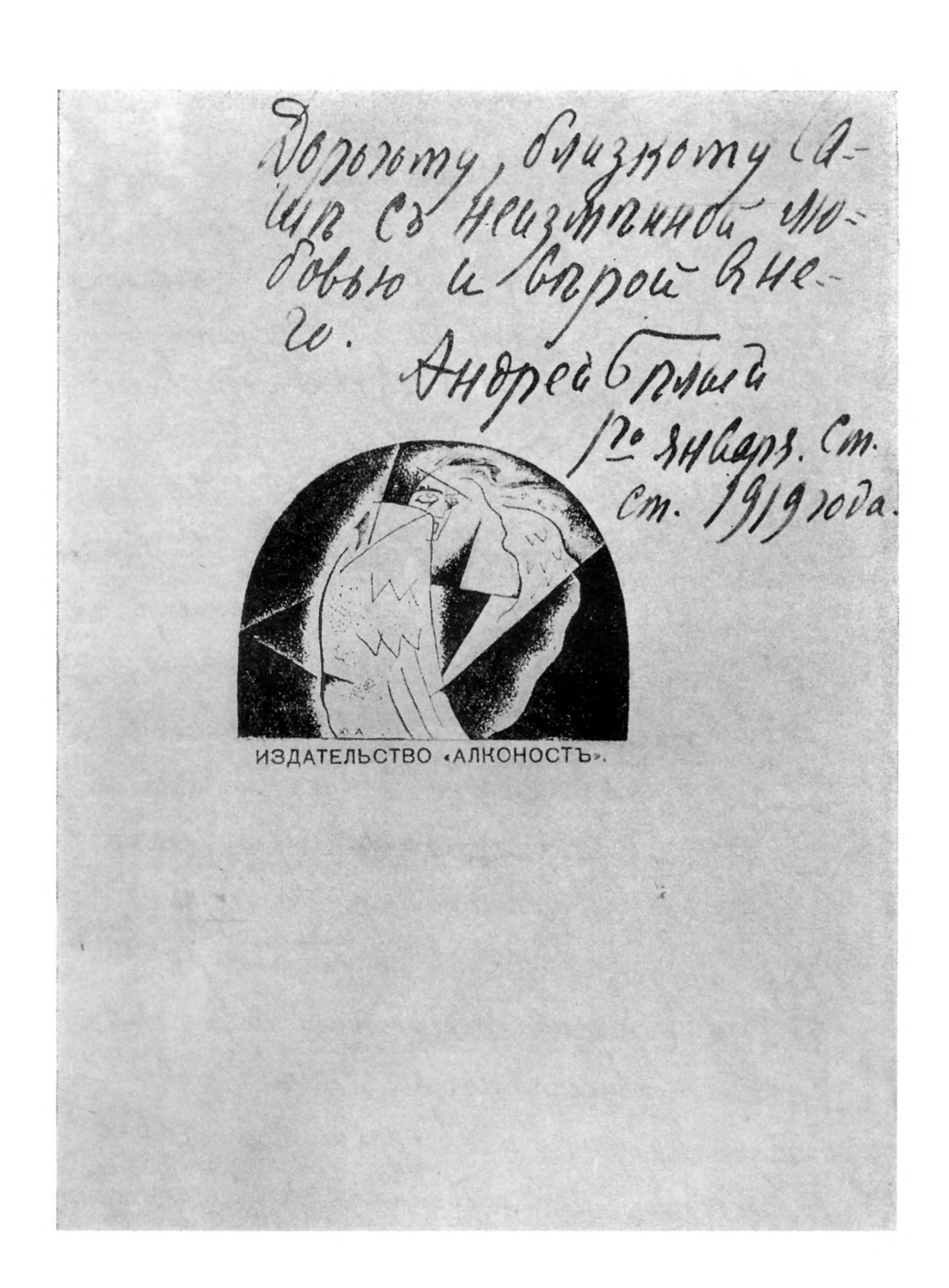
¹ Датируется по почтовому штемпелю. Текст — на отрезном купоне почтового денежного перевода. Видимо, в ответ Блок послал Белому письмо (запись от 9 мая 1917 г.: «Письмо Боре Бугаеву» // ЗК, 322), нам не известное.

Записка Александра Блока в ЧСК (фрагмент). 19 августа 1917

Александр Блок. 1907
Фотография с дарственной надписью Андрею Белому



Дарственная надпись Александра Блока Андрею Белому на книге первой «Собрания стихотворений» (М., Мусагет, 1911). Май 1911



Дарственная надпись Андрея Белого Александру Блоку
на книге «Кризис мысли» (П., 1919). Январь 1919

1

Многоуважаемый
Борисъ Николаевичъ
Только что я прочелъ Вашу статью
„Формы искусства" и почувствовалъ
органическую потребность написать
Вамъ. Статья гениальна, основная.
Это — „песня системы", которой я давно
жду. На Васъ вся надежда. Но меня
глубоко тревожитъ одно (единое) въ Вашей
статье. Объ этомъ я хочу написать,
но прежде всего долженъ оговориться.
Я до отчаянья ничего не понимаю въ
музыке, отъ природы лишенъ всякаго
признака музыкальнаго слуха, такъ
что не могу говорить о музыке,
какъ искусстве на спеціальной стороне.
Такимъ образомъ я осужденъ на то, чтобы
вечно поющее внутри никогда не
выходило наружу и не перехватило чего-
то не было существеннаго изъ музыки

Первое письмо Александра Блока Андрею Белому
3 января 1903

теоріи познанія). Намъ нужно болѣе легкое бремя, данное „бѣднымъ въ даръ и слабымъ безъ труда". И будетъ легче, когда будетъ слышно цвѣтеніе Вашего сердца.

Преданный Вамъ Ал. Блокъ

Петербургъ. 3 января
1903.

1-ое письмо

Москва. 1903 года. 4-го января.

Многоуважаемый

Александр Александрович!

Пользуясь данным разрешением, я пишу Вам эти несколько слов. Пусть они служат основанием нашего знакомства.
Лично мы не знаем друг друга. Я затрудняюсь — о чем мне писать? Важно не то, с „погоды" или „непогоды" я начну — важно то, что у меня возникает естественная потребность ближе познакомиться с Вами. Разорванные злом и тьмой, мы уже потом не удовольствоваться для самих себя и только крайним субъективизмом. Это уже не бред единичных чудаков, разлученных от века глухой стеною тех, что солидарность с окружающими достигается единственно при условии близости... слишком близости. В бездне индивидуального

Первое письмо Андрея Белого Александру Блоку
4 января 1903

мецко-русскую поэзію. Быть можетъ, это и не такъ, но <u>не я</u> компетентенъ въ критикѣ. Надѣюсь, Вы простите этотъ неудержимо-игривый тонъ моего письма и оправдаете меня: мнѣ вѣдь хотѣлось написать Вамъ, не касаясь <u>того</u> или <u>другого</u>, а просто такъ... Мнѣ было бы чрезвычайно пріятно, если Вы пожелаете откликнуться на мое «<u>приглашеніе къ перепискѣ</u>».

Остаюсь искренне уважающій
Васъ и расположенный

Борис Бугаев

Борѣ

№ 6

Милый братъ! Завечерѣло.
Чуть слышны колокола.
Надъ равниной побѣлѣло —
Сонноокая прошла.

Проплыла она и встала,
Незамѣтная, близка.
И опять намъ, какъ бывало,
Ноша тяжкая легка.

Межъ двумя стѣнами бора
Рѣдкій падаетъ снѣжокъ.
Передъ нами — семафора
Зеленѣетъ огонекъ.

Небо — въ заревѣ лиловомъ,
Свѣтъ лиловый — на снѣгахъ.
Словно мы — в пространствѣ новомъ,
Словно — в новыхъ временахъ.

Одиноко вскрикнетъ птица,
Отряхнувъ крылами ель,
И засыплетъ намъ рѣсницы
Бѣлоснѣжная метель.

Издали — локомотива
Поступь тяжкая слышна.
Скоро Финскаго залива
Намъ откроется страна.

Ты поймешь, какъ въ этомъ морѣ
Облегчается душа,

Письмо Александра Блока Андрею Белому
14 или 15 января 1906

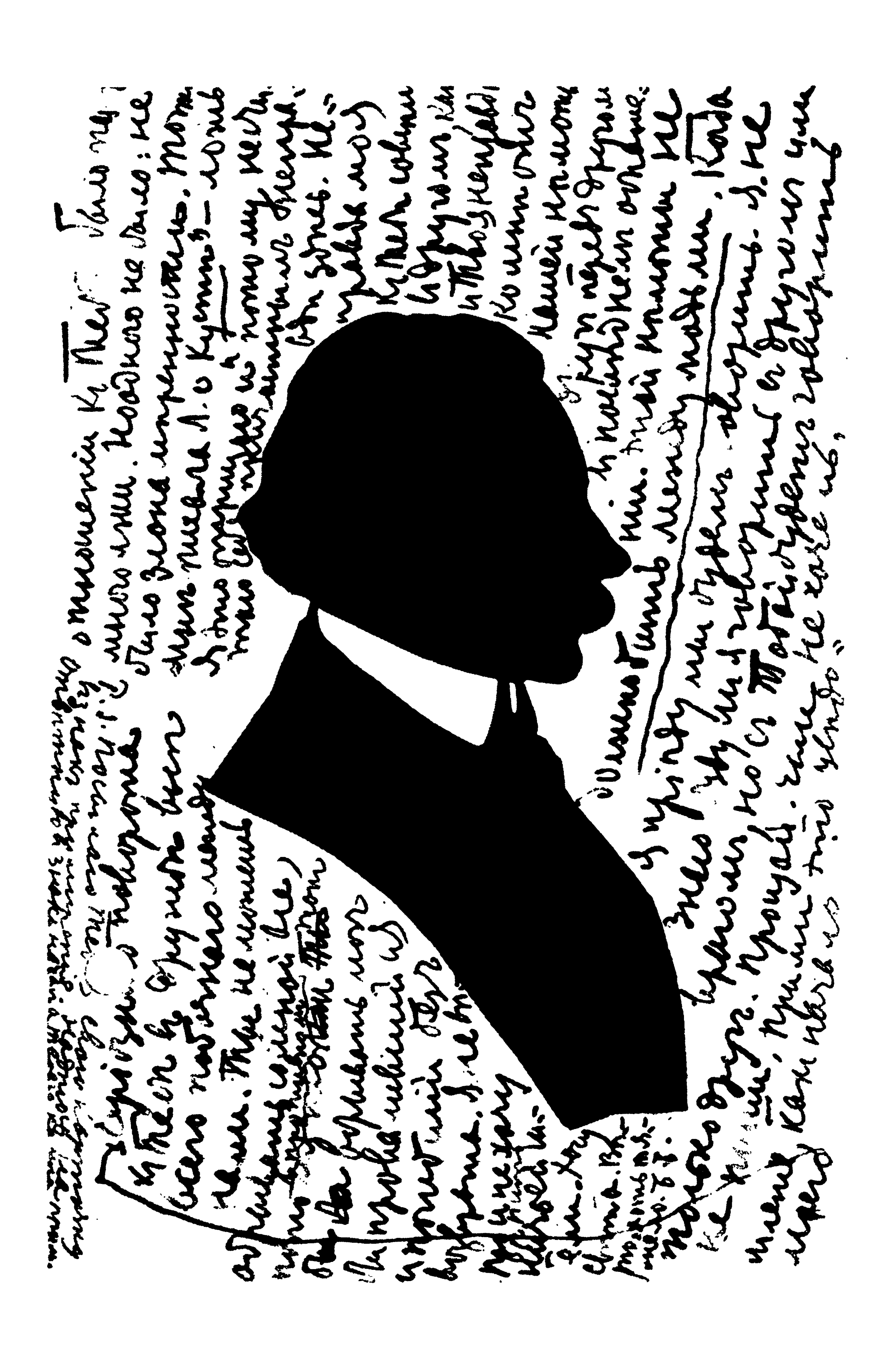
И какія гаснутъ зори
За грядою камыша.

Возвратясь, уютно ляжемъ
Передъ печкой на коврѣ
И тихонько перескажемъ
Все, что видѣли, сестрѣ.

Кончимъ. Тихо встанетъ съ креселъ,
Молчалива и строга.
Молвитъ каждому: — Будь веселъ.
— За окномъ лежатъ снѣга.

Саша

13 января
1906.



Силуэт Андрея Белого с текстом письма Александру Блоку
23 ноября 1906

А. А. Блоку

Я помню — мнѣ въ дали холодной
Твой ясный свѣтилъ ореолъ,
Когда ты дорогой свободной,
Дорогой нечаянной шелъ.

Былого восторга не стало.
Все скрылось: прошло — отошло.
Восторгомъ въ ночи пропивало
Мое огневое чело.

И мы потухали, какъ свѣчи,
Какъ въ ночь опускался закатъ.
Забылъ ли ты прежнія рѣчи
Мой странный, таинственный братъ?

Ты ~~зн~~ видишь — въ пространствахъ безкрайныхъ
Сокрыта завѣтная цѣль.
Но въ пыткахъ, не въ ужасахъ тайныхъ
Ты разве за здесь: — ужель?

Тебѣ ль ничего я не значу?
И мнѣ ль ты противникъ и врагъ?
Ты видишь — зову я и плачу
Ты видишь — я блѣденъ и нагъ.

Но, милый, не вѣрю, въ потерю:
~~Не гаснетъ безкрайная высь~~
Молчанью не вѣрю, не вѣрю.
Не вѣрю — и жду: отзовись.

Боря.

[illegible]

Письмо Андрея Белого Александру Блоку
24 ноября 1906

77

Милостивый Государь
Борисъ Николаевичъ.

Ваше поведеніе относительно меня, Ваши сплетническіе намеки въ печати на мою личную жизнь, Ваше послѣднее письмо, въ которомъ Вы, уморительно клевеща на меня, заявляете, что все время „слѣдили за мной издали", — и, наконецъ, Ваши хвастливыя печатныя и письменныя заявленія о томъ, что Вы только одинъ на всемъ свѣтѣ „страдаете", и никто, кромѣ Васъ, не умѣетъ страдать, — все это въ достаточной степени надоѣло мнѣ.
Оскорбляться на все это мнѣ не приходило въ голову, ибо я не считаю возможнымъ оскорбляться ни на шпіона, выслѣживающаго меня, ни на лакея, подозрѣвающаго меня въ нечестности.
Не желая, Милостивый Государь, обвинять Васъ въ лакействѣ и шпіонствѣ, я склоненъ приписывать Ваше поведеніе — или какому-то грандіозному недоразумѣнію и полному незнанію меня Вами (о чемъ я писалъ Вамъ подробно въ письмѣ, отправленномъ до полученія Вашего), или особаго рода душевной болѣзни.
Каковы бы ни были причины, вызвавшія Ваши

Письмо Александра Блока Андрею Белому
8 августа 1907

нападки на меня, я предоставляю Вамъ
двухнедѣльный срокъ со дня, которымъ
помѣчено это письмо, для того чтобы
Вы — или отказались отъ Вашихъ
словъ, въ которыя Вы не вѣрите, —
или прислали мнѣ Вашего секунданта.
Если до 18 августа Вы не исполните
ни того, ни другого, я принужденъ буду
самъ принять соотвѣтствующія мѣры.

Александръ Блокъ

8. VIII. 07.

Н. ж. д. Подсолнечная

С. Шахматово.

26 мая.
―――――― 1912.
8 июня

Милый Боря.

Я сам не понимаю, каким образом узнаю и верю во все то, что пишешь ты, о чем говорится в [illegible], и т. д. Вы говорите об этом там, за рубежом, а здесь об этом говорить почти не с кем, а с теми, кто знает это, почти невозможно. Когда я читал Пясту Владимиру из первого Твоего письма, то был

Письмо Александра Блока Андрею Белому
26 мая 1912

[illegible] стихи

Родинѣ.

Въ годины праздныхъ испытаній,
Въ годины мертвой суеты —
Затвердѣнѣй алмазныхъ граней
Въ перегорѣвшихъ угляхъ ты!

Востань въ сердцахъ! Сердца исполни!
Произрастай, нашъ край родной
Неопалимый блескомъ молній
Неодолимой купиной.

Изъ моря слезъ, изъ моря муки
Судьба твоя — видна, ясна:
Ты простираешь въ высь, [illegible] руки,
Свои святыя пламена —

Туда — въ развалы грозной эры
И въ визгъ космическихъ стихій, —
Туда — въ свѣтающія сферы,
Въ громы летящихъ іерархій

Андрей Бѣлый.

Андрей Белый. Стихотворение «Родине». 1916

Получ. 5(18) III 1918. Начало В. Пост.

Дорогой, милый и близкий Саша, —

Какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. „Скифы“ (стихи) — огромны и эпохальны, как „Куликово Поле“. Верю, что Ты напишешь с мудростью [illegible] то, что не могу: [illegible] я ничего в Дорнахе. Я это знаю из Твоих фельетонов в „Знам. Труда“ и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим. Помни: Ты весь нам нужен в ... еще более трудном будущем нашем... Будь мудр. Соединяй с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя и люблю, как всегда.

Твой „неизменный“ брат

Б. Б.

Письмо Андрея Белого Александру Блоку
17 марта 1918

1918

301. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<16 или 17 марта 1918. Москва>[1]

Дорогой, милый, близкий Саша, —

Какая странная судьба. Мы вот опять перекликнулись. Читаю с трепетом Тебя. «Скифы» (стихи) — огромны и эпохальны, как «Куликово Поле»[2]. Все, что Ты пишешь, взмывает в душе вещие те же ноты: с этими нотами я жил в Дорнахе: *я это знаю*. То же, что Ты пишешь о России, для меня расширяется до Европы. Там назревает *крах* такой же, как и у нас: *я это знаю... наверное...* Еще многое будет... «*То было в Богемии дальней*»... (Твои стихи)[3]...

Сказка иль сон?

«*Доспех тяжел, как перед боем!... Теперь — молись...*»[4] В горах Швейцарии я давно уже распрощался со старым миром... В Англии воочию видел: «Пора смириться, сёр»[5]... И «И в собрании каждом людей эти *тайные сыщики* есть»[6]... Если Россия и Европа не стряхнет с себя «*железную пяту*»[7], — скоро мы увидим открытые человеческие жертвоприношения... Лучше анархия, гибель, смерть, чем *то*, что *замыслил «сёр»* из Твоего стихотворения: казнь первенцев замыслена...

По-моему, Ты слишком неосторожно берешь иные ноты[8]. Помни — Тебе не «*простят*» «*никогда*»... Кое-чему из Твоих фельетонов в «Знам<ени> Труда» и не сочувствую, но поражаюсь отвагой и мужеством Твоим[9].

Помни: Ты всем нам нужен в ... *еще более* трудном будущем нашем... Будь мудр: соединяй с отвагой и осторожность. Крепко обнимаю Тебя, и люблю, как никогда.

Твой «невольный» брат

Б. Б.

---

[1] Датируется на основании пометы Блока (черными чернилами): «Получ. 5 (18) III 1918. Начало в. поста». Ср. запись Блока от 18 марта 1918 г.: «Сочувственное и остерегающее письмо от Б. Б. (Андрея Белого)» (ЗК, 395).

[2] Стихотворение Блока «Скифы» было впервые опубликовано в газете «Знамя Труда» 20 (7) февраля 1918 г. (№ 137).

[3] Неточная цитата из стихотворения Блока «Было то в темных Карпатах...», входящего в цикл «О чем поет ветер» (1913).

[4] В сокращении приводятся заключительные строки стихотворения Блока «Опять над полем Куликовым...», входящего в цикл «На поле Куликовом» (1908).

[5] Цитата из стихотворения Блока «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...» (1912). «Химера ужасного *сёра*, повара войны, меня ненавидящего» (*Между двух революций*. С. 284) стала у Белого одним из главенствующих и многогранно выписанных образов в «Записках чудака» (Т. 1—2. М.—Берлин, 1922), приобретающим глобальные фантасмагорические очертания и объединяющим английские впечатления с темой «сыска» и преследования. Ср. дневниковую запись Белого от 31 августа 1921 г. (*О Блоке*. С. 465).

[6] Цитата из стихотворения Блока «Есть игра: осторожно войти...» (1913). Ср. интерпретацию этого стихотворения в «Воспоминаниях о Блоке» (*О Блоке*. С. 402—403). Сопоставляя это стихотворение, а также «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный...», со своими «Записками чудака», Белый отмечает: «Родственность наших переживаний уже позднее установили мы с Блоком» (*Между двух революций*. С. 284).

[7] «Железная пята» — заглавие романа Джека Лондона («The iron heel», 1907) и одновременно обобщенный образ современного капитализма.

[8] Ср. отзыв Белого в письме к Иванову-Разумнику от 27 февраля / 12 марта 1918 г.: «...огромны “Скифы” Блока; и признаться, его стихи “*12*” — уже слишком; с ними я не согласен...» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 159).

[9] Имеется в виду цикл статей Блока «Россия и интеллигенция», начатый статьей «Интеллигенция и Революция» (Знамя Труда. 1918. № 122, 19 января); в последующих номерах «Знамени Труда» были напечатаны другие статьи этого цикла (публиковавшиеся в 1909—1913 гг. и частично переработанные): «“Религиозные искания” и народ (1909—1916 гг.)» (№ 127, 25 января), «III. Народ и интеллигенция» (№ 136, 19/6 февраля), «IV. Стихия и Культура» (№ 145, 1 марта), «V. Ирония. VI. Дитя Гоголя. VII. Пламень» (№ 151, 8 марта).

---

302. БЛОК – БЕЛОМУ

9 апреля 1918 (27 марта). Петербург[1]

Милый Боря.

Твое письмо очень поддержало меня, и Твое предостережение я очень оценил. Было (в январе и феврале) такое напряжение, что я начинал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь. Для себя назвал это Erdgeist'ом*[2]. Потом (ко времени Твоего письма) наступил упадок сил, и только вот теперь становится как будто легче. А то — было очень трудно: растерянность, при которой всякий может уловить.

В Москву не еду, откладываю, отчасти из-за разных дел, но, главное, от непрошедшей еще усталости.

Мне бы хотелось, чтобы Ты (и все Вы) не пугался «Двенадцати»; не потому, чтобы там не было чего-нибудь «соблазнительного» (может быть, и есть), а потому, что мы слишком давно знаем друг друга, а мне показалось, что Ты «испугался», как 11 лет назад, — «Снежной Маски» (тоже — январь и снега)[2]. Хочу, чтобы письмо передал Тебе Разумник Васильевич, с которым мне часто бывает хорошо и «особенно» (уютно и тревожно вместе)[3].

Крепко Тебя целую.

Твой Ал. Блок

---

* Духом земли (*нем.*).

---

[1] Ответ на п. 301.

[2] Образ из «Фауста» Гете (ч. 1, сцена 1 — «Ночь») — олицетворение природной жизни. Ср. записи Блока: «На днях, лежа в темноте с открытыми глазами, слышал гул, гул: думал, что началось землетрясение» (9 января 1918 г.); «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг» (29 января 1918 г.) (ЗК, 383, 387).

[3] О сходстве переживаний, отразившихся в «Снежной Маске» (январь 1907 г.) и в «Двенадцати» (январь 1918 г.), Блок писал в «Записке о “Двенадцати”» (1920): «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 <...>» (III, 474).

[4] Иванов-Разумник был в Москве во время работы Второго съезда Партии левых социалистов-революционеров-интернационалистов (17—25 апреля 1918 г.); согласно записи Блока (ЗК, 400), он выехал в Москву 16 апреля.

---

303. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<10 августа 1918. Москва>

Дорогой Саша,

Пользуюсь случаем, чтобы обнять Тебя, и поблагодарить за книгу стихов[1] и «12»[2]... И еще спасибо за то, что «*Ты — Еси*» вообще. Слов у меня к Тебе внешних нет, а внутренних *очень, очень* много. Часто думаю о вас, петербуржцах: держись крепко.

Левые «эс-эры» во всех отношениях путаники: запутали меня с Академией[3], сами из нее вышли, а меня подвели — тем, что в «Известиях» появилось извещение о том, что я выбран «*профессором*». Я, разумеется, отказался: очень жаль, что все это время я не вижу ни Тебя, ни Разумн<ика> Вас<ильевича> — просто в смысле информационном я один: никого не вижу, ни у кого не бываю, ни от кого никаких вестей не имею.

Евг<ений> Герм<анович> Лундберг тоже путаник. От всех «*путаников*» устал; и — пошел служить в «Архив». Теперь — помощник Архивариуса; и это меня очень занимает[4]. Если увидишь Раз<умника> Вас<ильевича>, обними его от меня и передай, что нехорошо нас так забывать.

Остаюсь искренне любящий

Борис Бугаев

Москва. 10 августа 18 года.

---

[1] Вероятно, имеется в виду поэма Блока «Соловьиный сад» (Пб., «Алконост», 1918), вышедшая в свет отдельным изданием в начале июля 1918 г.; экземпляр, подаренный Белому, не выявлен (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

[2] Имеется в виду издание, вышедшее в свет в конце мая 1918 г.: Блок А. Двенадцать. Скифы. Предисловие Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». СПб., «Революционный Социализм», 1918 (новейшее репринтное переиздание с приложением Записки А. Блока о «Двенадцати»: М., 1998. Составление и общая редакция — С. С. Лесневский. Послесловие — В. Г. Белоус). Экземпляр, подаренный Белому, не выявлен (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

[3] Ср. аналогичное сообщение в письме Белого к Иванову-Разумнику, датированном тем же днем (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 162). Имеется в виду Социалистическая академия, учрежденная в Москве в 1918 г. как научно-исследовательский центр по разработке революционной теории. Белый (Б.Н. Бучаев) был включен в перечень

профессоров художественно-литературного факультета Социалистическоц академии общественных наук, опубликованный в газете «Известия» 9 августа 1918 г. (№ 169. С. 4).

[4] Белый был избран на должность помощника архивариуса Единого государственного архивного фонда 29 июля 1918 г., работал в этой должности с 3 до 24 августа (см. публикацию Д. А. Беляева «Андрей Белый (Б. Н. Бугаев): "...В эпоху моей работы в архиве..."» // Советские архивы. 1986. № 4. С. 62—66).

---

304. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<31 августа 1918. Москва>[1]

Дорогой Саша,

я — редактирую в Москве «*Альманахом*», посвященным революции; меня просили просить Тебя в него: просить Твоих стихов. Присоединяю горячую просьбу; мне, как редактору стих<отворного> отдела, было бы крайне радостно получить от Тебя стихов; надеюсь на получение; надеюсь, что Ты ради *меня тоже* дашь, если у Тебя найдутся стихи, связанные с революцией: совершенно не важна *тенденция*; важна органическая (пусть внутренняя) связь с переживаемым revol<юционным> периодом времени.

За стихи Тебе, как и Брюсову, Иванову и другим приглашаемым поэтам, предлагает Издательство 3 рубля за строчку; но, увы, я не мог отстоять «*меньших*» поэтов; им предлагается меньший гонорар; посылай прямо мне стихи (Москва. Кудринская Садовая, д. № 6, кв. 2). Если у Тебя есть интересные поэты, пришли их; я собираю весь стихотворный материал, но совсем не знаю «поэтов»; за помощь буду благодарен[2].

Гробовое молчание Раз<умника> Вас<ильевича> меня удивляет; писал: не отвечает[3]. Между тем, так во многом надо было посоветоваться; пока же: отказался от профессуры в Соц<иалистической> Академии, отказался от «*Пролеткульта*»[4]: причины — «*эконом<ический> матер<иализм>*», насаждаемый ими. Ничего не пишу: тяжело, душа молчит... От Аси ни слуху, ни духу[5]; страшно нуждаюсь в деньгах; месяц служил в «Архиве», было хорошо, да «*профессора*» не утвердили[6]; теперь всякими правдами и неправдами приходится зарабатывать: редактирование — заработок.

Итак, поддержи меня, дай стихов.

Остаюсь глубоко любящий Тебя

Борис Бугаев

Москва 31 августа 1918 года.

---

[1] Пометы Блока графитным карандашом: «1918»; «Получ. 3 сентября»; «Ответ. 5 сент.».

[2] Издание этого альманаха не было осуществлено. О том же проекте Белый писал Вяч. Иванову в недатированном письме (1918): «... мне поручили составить стих<отворный> отдел альманаха, посвященного темам революции, который выпускает к<нигоиздательст>во "Змий". Пишу Блоку, Бальмонту, Брюсову, Мережковскому; Брюсов уже обещал <...> к<нигоиздательст>во хочет объединить стихи, выросшие у поэтов "из революции", и дать разнообразную гамму; *предприятие глубоко беспартийное*; в Альманахе слово будет принадлежать только "Аполлону"» (РГБ. Ф. 109. Карт. 12. Ед. хр. 29). С просьбой прислать для альманаха стихи «молодых талантливых поэтов» Белый обратился также в письме к Иванову-Разумнику от 23 сентября 1918 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 165).

[3] См. письмо Белого к Иванову-Разумнику от 10 августа 1918 г. и ответное письмо Иванова-Разумника, отправленное с К. Эрбергом после 5 сентября 1918 г. (Там же. С. 162—164).

[4] В конце сентября 1918 г., однако, Белый поступил на службу в московский Пролеткульт, где руководил литературной студией, читал курс лекций «Ритмика», вел семинарии и т. д.

[5] См. примеч. 3 к п. 299.

[6] Ср. запись Белого об августе 1918 г.: «Работа в “Архиве”. Профессор Ардашев мною очень доволен, как служащим; проф. Цветаев (директор “*Архива*”) — тоже, но Рязанов меня *не утверждает* в *“Архиве”*, мотивируя, что я — профессор Социалист<ической> Академии, между тем как я уже с месяц послал отказ от профессуры <...>» (Андрей Белый. Ракурс к дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 94. Упоминаются Н. Н. Ардашев, управляющий архивом Д. В. Цветаев и Д. Б. Рязанов).

---

305. БЛОК – БЕЛОМУ

5 сентября 1918. <Петербург>[1]

Дорогой Боря, с удовольствием посылаю Тебе: 1) Цикл — «На рубеже двух миров» — 7 стихотворений («внутреннюю связь», конечно, найти можно). Стихи — старые, но все — переработанные. Имей в виду, что *2* и *6* залежались в редакции «Жизни»[2], но ведь она, вероятно, не возникнет; что *5, 6* и *7* — ***варианты*** стихотворений, напечатанных давно (но *не* в книгах, а в газетах)[3]; 2) Новое ст<ихотворение>, посвященное Зин<аиде> Николаевне[4]. — Был бы рад, если бы Ты все это напечатал (м<ожет> б<ыть>, в разных местах альманаха?), и если бы издатель выслал деньги (всего — 103 строки, т. е., 309 руб.), а впоследствии — экземпляр альманаха. — Из молодых некого посылать сейчас, нет у меня прямо относящегося к революции, да я и мало вижу поэтов.

Теперь — о Твоих делах: сейчас говорил с Раз<умником> Вас<ильевичем>. Он писал Тебе дважды (простые письма), которые, очевидно, пропали. Кроме того, в начале той недели в Москве будет К. А. Сюннерберг, который привезет Тебе довольно подробное письмо от Р<азумника> В<асильевича> и *707 р. 62 коп.* за II № «Наш<его> Пути»[5]. Кроме того, сам Р<азумник> В<асильевич> сейчас будет делать небольшую операцию (резать лоб) и, когда поправится (недели через $1^1/_2$), приедет в Москву и привезет (***почти*** наверное) Твои *1200* рублей за «Скифов»[6] (из 1500, которые должны «Скифам» областные комитеты, бравшие экземпляры, и которые они намерены отдать на днях). — Р<азумник> В<асильевич> просит Тебя обнять и передать, что он сочувствует причинам, по кот<орым> Ты ушел из С<оциалистической> А<кадемии> (как и я, конечно).

Целую Тебя крепко, извести, когда получишь это (все пропадает или задерживается). Мне тяжело тоже, но надежд у меня (*не* личных) столько же, сколько и планов — много.

Любящий Тебя Ал. Блок

P. S. Алянский, кот<орый> у Тебя был, человек деятельный, «американец». Думаю, что у нас с ним выйдут дела[7].

---

[1] Ответ на п. 304.

[2] Газета, выходившая в Москве в 1918 г. (№№ 1—59).

[3] О составе высланного Блоком и неопубликованного цикла известно из записи Блока от 5 сентября 1918 г.: «*А. Белому* для альманаха, посвященного революции: I. ***На рубеже двух миров:*** 1) «Жизнь — как море она...», 2) «Над старым мраком мировым...», 3) «Когда же смерть...», 4) «Поэт в изгнаньи...», 5) «Смеялись бедные невежды...», 6) «Мы — чернецы...», 7) «Сфинкс»

(«Шевельнулась безмолвная...»)» (ЗК, 425). Три заключительные стихотворения цикла в первоначальных редакциях были опубликованы, соответственно, в журналах «Вершины» (1915. № 6. С. 2), «Нива». Ежемесячное литературное и популярно-научное приложение. (1908. № 8. С. 605—606) и в газете «Речь» (1907. № 1, 1 января). Цикл составлен из стихотворений 1898—1902 гг.

4 Стихотворение «З. Гиппиус. При получении “Последних стихов”» («Женщина, безумная гордячка!..», 1 июня 1918 г.); впервые опубликовано после смерти Блока (в кн.: Блок А. Собр. соч. Т. IV. Пб.—Берлин, «Эпоха», 1923. С. 85).

5 Гонорар, причитающийся Белому за публикацию во 2-м (майском) номере журнала «Наш путь» поэмы «Христос Воскрес», прозаического фрагмента «Дневник чудака (Отрывок из повести)» и статьи «На перевале. I. Весенние мысли. II. Революция и сознание современности».

6 В альманахе «Скифы» (сб. 1—2. <Пг.>, 1917—1918) были опубликованы роман Белого «Котик Летаев», а также его стихотворения и статьи. О выплатах по 2-му сборнику «Скифы» см. письмо Иванова-Разумника к Белому от 30 сентября 1918 г. (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. С. 166—167).

7 Подразумевается начатая С. М. Алянским книгоиздательская деятельность — основание в мае 1918 г. издательства «Алконост». См.: Белов С. В. Блок и первые послереволюционные издательства («М. и С. Сабашниковы», «Алконост») // *ЛН. Т. 92. Кн. 4.* С. 715—725.

---

306. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

<26 или 27 сентября 1918. Москва>[1]

Дорогой Саша,

Спасибо за стихи и за письмо. Стихи, разумеется, пойдут. Деньги будут высланы на днях. Я употреблю все усилия, чтобы выслать их. Что же касается до того, что часть их была напечатана, то это ничего.

Спасибо, милый, большое спасибо за несколько слов о Себе: я чувствую Тебя все время близко-близко, хотя мы и не видимся, и не переписываемся. Страшно хочется Тебя видеть. Я тоже бодр: у меня много проектов, но, увы, материальные соображения и нужды парализуют работу: думаю писать роман, а все приходится выкарабкиваться. Если увидишь Разумн<ика> Вас<ильевича>, скажи, что просто до зарезу нужны деньги: и за «Наш Путь», и за «Котика»[2]. Если Сюннерберг не едет и Раз<умник> Вас<ильевич> не приедет, то, может быть, деньги можно было бы переслать с *оказией другой.* Жду не дождусь их.

Остаюсь нежно любящий и преданный неизменно

Б. Бугаев

P. S. Александре Андреевне мой горячий привет.

---

1 Ответ на п. 305. Датируется на основании пометы Блока (красным карандашом): «Получ. 28 (15) IX».

2 См. примеч. 5, 6 к п. 305.

1919

307. БЕЛЫЙ – БЛОКУ

12 марта <19>19 года. <Москва>[1]

Дорогой Саша,

Ты, вероятно, удивишься, что я Тебе пишу (наши отношения года уже протекают без писем, но — все равно: я всегда ощущаю факт Твоего бытия). Я пишу на этот раз под впечатлением «Катилины»[2]. Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет, и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаньями; я прочел в этой статье не только то, что Ты сказал, но и то, что Ты не сказал: прочел не в мыслях, а в ритме; и в ритме прочел, что сейчас Ты мог бы сказать многое. Признаюсь, насколько я люблю Твои стихи, настолько иные из Твоих прежних статей оставляли во мне впечатление, что *Ты* мог бы сильней выразиться в них. «*Катилина*» вполне соответствует Тебе (автору «Двенадцати», «Куликова Поля» и т. д.). Это не статья, а — «драматическая поэма»; и — главное: это — первый акт драматической поэмы; ряд актов — в Твоем (не знаю, в сознании ли, в подсознании ли?). И потому — пиши, пиши, пиши: «Катилина» дает о Тебе знать, что Ты — в Духе; а писать сейчас, это — больше, чем учреждать 10 университетов. Каждая книга — осуществленная Академия; и $^9/_{10}$ из проектов — «неосуществимый проект». Если бы Ты писал в «*Записках Мечтателей*»[3] — как это было бы важно. Если бы Ты, Разумник Вас<ильевич>, я и Вячеслав писали бы о *самом* Главном сейчас и перекликались бы, то — «Записки Мечтателей», если бы вышло лишь 6—7 №№, были бы *эпохой*.

Звезды благоприятствуют им, звезды благоприятствуют (во внутреннем смысле) тому, что из этого объединения вокруг «Записок Мечтателей» может создаться настоящее дело. Но внешние трудности будут расти (Ариман[4] приложит все усилия, чтобы извне препятствовать: для этого найдутся какие угодно отвлечения... дела, «Театр<альный> Отд<ел>»[5], бумага и т. д.). У меня есть чувство: мы *должны начать «Вольно-Философскую Академию»*[6] маленькой кучкой писателей именно на

страницах «*Записок Мечтателей*». Я смотрю на них, как на самое близкое дело свое не потому, что я хочу там много писать, а потому, что там мы можем встречаться (Ты, Вячеслав, Я) без посредников, «*Метнеров*», «*критиков*», «*руководителей*» нашими внутренними голосами: говорить от сердца с собой и друг с другом. Милый, милый, — пиши: положи на сердце себе «*Записки Мечтателей*». Пусть они будут нашим общим «детищем»; знаю, как никогда, это — нужно: *нужно, чтобы они были.*

Радуюсь за Тебя, что Ты оставил председательствование в Т<еатральном> О<тделе>[7]. Как бы мне хотелось отвлечь от него совершенно «*оказенившегося*» там Вячеслава, на которого грустно смотреть[8]. Братски обнимаю Тебя. И — очень люблю.

Б. Бугаев

---

[1] Помета Блока графитным карандашом: «При этом — поэма “Христос воскресе”». Экземпляр отдельного издания поэмы Андрея Белого «Христос воскрес» (Пб., «Алконост», 1918) сохранился в библиотеке Блока; надпись: «Дорогому милому Саше с любовью и преданностью. Б. Бугаев (А. Белый). 11 марта 19 г.» (*Библиотека Блока, 1.* С. 33. Книга не разрезана).

[2] Отдельное издание очерка Блока «Катилина» (Пб., «Алконост», 1919) вышло в свет в феврале 1919 г.; экземпляр книги, подаренный Белому, не выявлен (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 148).

[3] «Записки мечтателей» — журнал-альманах, выходивший в свет в петроградском издательстве «Алконост» с 1919 г. (всего в 1919—1922 гг. вышло 6 номеров); программную статью «Записки мечтателей», открывавшую 1-й номер (С. 5—8), написал Белый.

[4] В антропософской трактовке Ариман — одно из символических обозначений темных сил, действующих в мире: Дух Лжи, «Властитель Смерти», начало материализма.

[5] Театральный отдел Наркомпроса; в Репертуарной секции этого учреждения Блок работал с конца марта 1918 года.

[6] Замысел этого учреждения возник в 1918 г., первые конкретные попытки его организации относятся к январю 1919 г. (см.: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 166—171). Вольная Философская Ассоциация начала свою деятельность в ноябре 1919 г., на Первом открытом заседании (16 ноября) выступил Блок с докладом «Крушение гуманизма». Подробнее см.: Иванова Е. В. Вольная Философская Ассоциация: Труды и дни // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1992 год. СПб., 1996. С. 3—77; Белоус В. Г. Петроградская Вольная Философская Ассоциация (1919—1924) — антитоталитарный эксперимент в коммунистической стране. М., 1997.

[7] Отставка Блока с поста председателя Репертуарной секции ТЕО Наркомпроса была принята 1 марта 1919 г. (см.: Блок в Театрально-литературной комиссии и ТЕО Наркомпроса. Документальная хроника. Неизвестные письма и рецензия Блока / Предисловие и публикация Е. В. Ивановой // *ЛН. Т. 92. Кн. 5.* С. 211).

[8] Деятельность Вяч. Иванова на этом поприще освещена в хроникальной статье: Зубарев Л. Д. Вячеслав Иванов и театральная реформа первых послереволюционных лет // Начало. Сборник работ молодых ученых. Вып. IV. М., 1998. С. 184—216.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ПЕРЕПИСКА АНДРЕЯ БЕЛОГО И А. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Иные члены семьи моей матери причастны к литературе и науке. Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, был ректором Петербургского университета в его лучшие, настоящие годы. Жена его, моя бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова, дочь путешественника-исследователя Григория Силыча Карелина, всю жизнь работала над переводами научных и, особенно, художественных произведений. Она была очень начитана, владела несколькими языками; ее миросозерцание было удивительно живое и своеобразное, стиль ~~[illegible]~~ — образный, точный, русский язык, обличавший казацкую породу. Ее многочисленные труды, преимущественно с английского (особенно Вальтер-Скотта, Диккенса, Гольдсмита), остаются до сих пор одними из лучших. Характер до резкости открытый соединялся в ней с живостью ясной, как утро: деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. А все это связано с пламенной романтикой, переходившей

Автобиография Александра Блока. Первая страница. Автограф. 1909

А.В. ЛАВРОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Взаимоотношения Андрея Белого и Александра Блока никогда не сводились к союзу или противостоянию только этих двух людей. Каждый из них воплощал в себе жизненный и духовный центр, притягивавший к себе других лиц, так или иначе, действенно или пассивно влиявших на ход этих отношений. Рядом с Белым и на перепутье между Белым и Блоком стоял С. Соловьев, за Белым стояли то московские мистики — «аргонавты», то соратники-символисты по журналу «Весы». С другой стороны, Блок представал перед Белым неизменно в окружении своей семьи. Переписка Блока и Белого полностью не исчерпывает спектра их взаимоотношений. Так, драматические личные коллизии, возникшие между Белым и семьей Блока в 1906 г., выясняются во многом благодаря письмам Л. Д. Блок к Белому, дневнику тетки Блока М. А. Бекетовой и другим аналогичным материалам. Проливает дополнительный свет на историю отношений поэтов и параллельная переписка Белого с матерью Блока, Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух (1860—1923), имеющая и свое самостоятельное значение.

«Существует мнение, что у большинства выдающихся людей были незаурядные матери, это мнение лишний раз подтверждается примером Блока», — отмечает в своих воспоминаниях В. П. Веригина[1]. Александра Андреевна обладала безусловной художественной одаренностью, которой не пришлось должным образом воплотиться, хотя она и пробовала свои силы в литературе (писала стихи, занималась художественным переводом)[2], и, что не менее важно, была наделена особой одаренностью души — тонко чувствующей, ранимой, нередко вплоть до психических срывов, при этом чрезвычайно глубокой и своеобразной[3]. «Первые 20 лет жизни Блока прошли всецело под влиянием матери, — подчеркивает Н. А. Павлович, близко знавшая Кублицкую-Пиоттух уже на склоне ее лет, — да и вообще всю жизнь он был связан с нею тонкими, неразрывными, милыми и часто мучительными путями. Блоковская чувствительность ко всякому изменению духовного мира,

---

[1] Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 416.

[2] См. об этом: Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Л.—М., 1925. С. 163—171. Общую характеристику литературной деятельности Кублицкой-Пиоттух см. в статье Н. В. Лощинской о ней в кн.: Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. М., 1994. Т. 3. С. 193.

[3] Ср. характеристику А. А. Кублицкой-Пиоттух во вступительной статье Н. В. Котрелева и З. Г. Минц к публикации «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 156—157).

блоковская способность воспринимать как бы внушения оттуда — наследие матери, которая до последних дней отличалась особой чуткостью»[4]. «Кроме своей великой любви Александра Андреевна вложила в сына черты своей натуры, — свидетельствует и ее сестра, М. А. Бекетова. — Мать и сын были во многом сходны. Повышенная впечатлительность, нежность, страстность, крайняя нервность, склонность к мистицизму и к философскому углублению жизненных явлений — все это черты, присущие им обоим. К общим чертам матери и сына прибавлю щедрость, искренность, склонность к беспощадному анализу и исканию правды...»[5]. Те важнейшие особенности личности и черты характера, которые Белый видел у Блока, он распознал и в матери поэта. Исключительная духовная близость Александры Андреевны с сыном во многом объясняет тот факт, что Белый стремился поддерживать с нею неформальные отношения, которые развивались как бы в унисон его высокой поэтической дружбе с Блоком, усиливая, восполняя и обогащая ее. В свою очередь, и со стороны матери Блока проявлялись активная готовность к духовному общению с Белым и жгучий интерес к его творчеству, к которому «она относилась совершенно так же, как сын»[6].

Личное знакомство Белого с матерью Блока состоялось в июне 1904 г. в Шахматове. Позднее, вспоминая о первых часах этой встречи, Белый отмечал: «Я не подозревал, что мать Блока такая. Какая? Да такая тихая и простая, незатейливая и внутренно моложавая, одновременно и зоркая, и умная до прозорливости и вместе с тем сохраняющая вид "институтки-девочки", что при ее летах и внешнем облике было странно»[7]. Этой внешней «странности» Белый сумел найти объяснение: «...впоследствии понял я: вид "институтки" есть выражение живости Александры Андреевны, ее приближавшей, как равную, к темам общения нашего с Блоком: тот род отношений, которые складывались меж "матерями" и молодым поколением, не мог с ней возникнуть; "отцов и детей" с нею не было, потому что она волновалася с нами, противясь "отцам", не понимая "отцов", — понимая "детей"; скоро мы подружились (позволяю себе так назвать отношения наши: воистину с уважением к А. А. Кублицкой-Пиоттух сочеталась во мне глубочайшая дружба)»[8]. Подмеченная Белым особенность духовно-психологического склада Кублицкой-Пиоттух — чуждость позитивистскому мироощущению «отцов» и открытость мироощущению «детей» (подразумевались прежде всего максималистские теургические, «соловьевские» идеалы) — со всей отчетливостью определилась у нее в начале века, — вероятно, при непосредственном воздействии Блока; М. А. Бекетова свидетельствует, что «этот этап ее жизни был отмечен по преимуществу мистическим, религиозным характером»: «Жизнь должна быть религиозна, — говорила она, — все должно исходить от религии, само искусство должно быть религиозно»[9]. Подобные внутренние установки естественным образом усиливали и расширяли ту ауру глубинного взаимопонимания и духовного братства, которой были проникнуты тогда отношения Белого и Блока.

Белый, впрочем, улавливал и существенную разницу между матерью Блока и своими сверстниками, входившими в интимный круг «посвященных» и единочув-

---

[4] Павлович Н. Мать А. Блока (А. А. Кублицкая-Пиоттух, умер. 25 II 23 г.) // Россия. 1923. № 7. Март. С. 25.

[5] Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. С. 96.

[6] Там же.

[7] Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 273.

[8] *О Блоке.* С. 85.

[9] Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. С. 136.

ствующих: «... выяснилось, что с одной стороны понимала она нашу “мистику”; более принимала она наши “зори”; с другой стороны: в ней был скепсис; испытующе она нас проверяла; не раз наблюдал ее острый, меня наблюдающий взор; и скептически заостренный вопрос ее часто смущал меня; напоминала она мне покойную Соловьеву»[10]. Белый подметил тогда у Александры Андреевны «интеллектуальность во всем и блестящую чистоту»[11], оценил ее как «великолепную собеседницу»[12], но активное общение с нею после его отъезда из Шахматова, параллельное эпистолярному контакту с Блоком, еще не наладилось.

Оно завяжется лишь после месячного пребывания Белого в Петербурге в начале 1905 г. Тогда, в ходе ежедневных встреч, общение Белого и Кублицкой-Пиоттух обрело свой собственный смысл и порой осуществлялось даже без участия Блока. «Изредка, когда А. А. не оказывалось дома <...>, — вспоминает Белый, — я оставался с Александрой Андреевной, и мы вели с ней нескончаемые разговоры. Эта общность бываний вместе не была абстрактной. Каждый к каждому чувствовал своеобразную окраску отношений: у меня была своя окраска для А. А., другая для Л. Д., для Александры Андреевны»[13]. М. А. Бекетова, побывавшая тогда у Блоков, записала 20 января: «У Али — Андрей Белый — милый, умный, талантливый, добрый, но, Боже, до чего утомителен и многословен. <...> Он так мил с Алей, так ободряет ее своим отношением <...>»[14]. Эти беседы Белого с матерью Блока развивались, сколько можно судить по его свидетельству, в том же эмоционально-тематическом регистре, какой был задан при первых встречах в Шахматове: «...тема наших общений самостоятельная, разговоры, напоминающие бывалые, бесконечные мои разговоры с О. М. Соловьевой; у Александры Андреевны *тот же* пытливый, скептический взгляд, наблюдающий подоснову душевных движений <...> За «*скепсисом*» у Александры Андреевны — огромная вера, надежда на... *Главное*; но доверие, настороженность — всегда; она первая явственно угадала, что стиль утверждений моих предполагает «*катастрофу*», «*взрыв*» <...> Александра Андреевна меня поняла лучше прочих в непримиримейшем устремленье к бунтарству, к протесту <...>»[15].

Последнее обстоятельство, подмеченное Белым в мемуарах, видимо, было одним из главных подспудных стимулов к возникновению этой дружбы и взаимопонимания — тем более и потому, что общественные интересы и воодушевление Белого, вызванные революционными событиями 1905 года, встречали у матери Блока сочувственный отклик. «Тревожный дух, не удовлетворяющийся настоящим и общепринятым <...> она предпочитала спокойствию и терпимости», — подчеркивала в своем биографическом очерке о сестре М. А. Бекетова[16], а Белый являл собой самое яркое и законченное воплощение именно такого «тревожного духа», экстатического и стихийного, взывающего к обновлению жизни и человеческого самосознания. «Она ловила все новые течения, — писала о Кублицкой-Пиоттух М. А. Бекетова, — жадно прислушивалась к словам всех людей с оригинальным направлением идей и проповедническим складом, которые встречались на ее пути. Наибольшее значение для нее в этом смысле имел Андрей Белый. На нее производила впечатление самая музыка его мистицизма, его глубоко художественный склад, бестелесность

[10] *О Блоке*. С. 92.
[11] Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 273.
[12] *О Блоке*. С. 92.
[13] Александр Блок в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 304.
[14] *ЛН. Т. 92. Кн. 3*. С. 608.
[15] *О Блоке*. С. 160, 161.
[16] Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. С. 142—143.

его потусторонних устремлений и какая-то нечеловеческая одухотворенность его облика. Его “Симфонии”, стихи и статьи были ей бесконечно близки. Конечно, далеко не все, что он говорил, было ей понятно. <...> При всей их гениальной талантливости в его речах было тогда немало излишнего балласта, затруднявшего их понимание, особенно для непосвященных. Но многое из того, что он говорил, Ал. Андр. схватывала на лету интуицией и слагала в сердце своем»[17].

Переписка между Кублицкой-Пиоттух и Белым началась сразу после его возвращения в Москву в феврале 1905 г., и многие признания Александры Андреевны, содержащиеся в ее письмах к нему, подтверждают сообщаемое М. А. Бекетовой. В сознании Кублицкой-Пиоттух образ Белого мифизировался в том же аспекте, что и у его близких друзей, входивших в круг «посвященных»; показательно, что себя, испытавшую воздействие личности и медитаций Белого, она уподобляла самарянке, просветленной Иисусом. Обостренность душевных импульсов и переживаний, близость темпераментов и сходство устремлений обусловили предельную открытость, доверительность и исповедальность Белого в его письмах к Кублицкой-Пиоттух. По тематике и стилевым приемам они во многом напоминают его же письма к Блоку; не исключено, что в посланиях, обращенных к матери поэта, Белый бессознательно стремился найти некий параллельный код общения с миром Блока, продублировать и усилить его, претворить дорогой ему и бесконечно им ценимый диалог в эзотерическое многоголосие; стремился, наконец, «расколдовать» блоковское «молчание», развить его намеки и недоговоренности в прихотливую вязь символико-метафорических словесных отображений. В кругу эпистолярного общения Белого Кублицкая-Пиоттух — не единственный адресат посланий, выдержанных в подобной тематико-стилевой тональности, но и не одна из многих: такие письма Белый писал обычно только самым близким или самым дорогим ему людям.

Линия взаимоотношений Белого с Кублицкой-Пиоттух принципиально не отличается от той, которая прослеживается в его отношениях с Блоком: сначала — взаимопонимание и единочувствие, временами приобретающие едва ли не идиллический характер; затем — остродраматические коллизии, в которых личные мотивы и «идейное», «эзотерическое» переплетены самым причудливым и нерасторжимым образом; в итоге — преодоление драматизма и новое сближение, основанное на взаимном уважении, доброжелательности, близости важнейших жизненных принципов, но уже без прежней напряженной духовной близости. Преобладающая часть переписки относится к первой фазе взаимоотношений. Несомненно, что аффектированный стиль писем Белого и сказывающаяся в них несколько искусственная стимуляция душевных движений во многом отвечали внутренним потребностям Кублицкой-Пиоттух и удовлетворяли ее тяготению к острым, «предельным» — безмерно отрадным или безмерно мучительным — переживаниям. «Хочется экстаза. Он его дает», — этими позднейшими словами Александры Андреевны о Белом[18] объясняется и ее тяготение к нему в пору их активного общения; Блок, не наделенный подобным темпераментом, погруженный в «безмолвие» и замкнутое созерцание, потребности в таком «экстазе» удовлетворить, естественно, не мог. Склонность Белого к эмоциональным крайностям, к резким перепадам настроений, гипертрофированному личностному ощущению гибельных, разруши-

---

[17] Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. С. 139.

[18] *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 505 (письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. А. Бекетовой от 10 июля 1920 г.).

тельных начал в мире и в человеческой психике, в свою очередь, должна была импонировать Кублицкой-Пиоттух, поскольку ее мироощущение также допускало предельно широкую амплитуду колебаний; с одной стороны: «Влюблена я в мир, в Красоту, Истину и Будущую Славу Света», — с другой: «Я ведь уж все границы давно перешла, все обеты нарушила <...> одно из моих проклятий последнего времени в том, что я вижу во всех явлениях безобразное, а не прекрасное. Это уж давно. Каких только демонов я не познала, всех, кроме Сытого»[19].

Духовное общение Белого с Кублицкой-Пиоттух закреплено тем, что он посвятил ей несколько стихотворений[20], а также лирико-философскую статью «Сфинкс». Текст посвящения, ей предпосланный, подчеркивает его принципиальную значимость: «Посвящаю статью А. А. Кублицкой-Пиоттух, которой обязан возникновением этой статьи»[21]. Белый работал над «Сфинксом» летом 1905 г.[22], после возвращения из Шахматова, где между ним и матерью Блока произошел первый серьезный конфликт, обнаруживший — по тому, как его воспринял Белый, — кардинальное различие в отношении к ценностям мистических переживаний и в понимании предустановленного долга, духовного служения. Конфликт возник из-за С. М. Соловьева, однако одним эпизодом — оскорбившим Белого непониманием высоких мистических устремлений С. Соловьева, выказанным Александрой Андреевной, — инцидент не исчерпывался, Белый склонен был его воспринимать в глобальном, «жизнестроительном» аспекте, который и стал идейной основой статьи «Сфинкс». Образ Сфинкса символизировал для Белого «психологическую мистику»[23], смешивавшую воедино «небесное» и «звериное», сакральное и очевидное. В статье, посвященной Кублицкой-Пиоттух, он, создавая сложный и многосоставный калейдоскоп из символов, метафор, житейских наблюдений, цитат и мифологизированных образов, стремился показать многоликость, вездесущность и гибельную природу «сфинксова» начала — «тумана нечистых смешений»[24], нагнетаемого «очевидностью», здравым смыслом, животной субстанцией, грозящей уничтожением человеческой духовности и сковывающей или искажающей высокие творческие порывы. Видимо, Белый распознавал власть «сфинкса» над Кублицкой-Пиоттух, когда выстраивал свои образные ряды, но, думается, нарисованная им красочная картина дисгармонии, трагической разорванности бытия и сознания, всепроникающего, агрессивного ужаса и хаоса убедительно говорила и о кризисных симптомах в его собственном мироощущении.

Инцидент в Шахматове положил начало длинной цепи конфликтов, которые на определенное время окрасили все содержание отношений Белого с семьей Блока. Личная драма, развивавшаяся на протяжении 1906 года, изменила отношения Белого с матерью Блока коренным образом: стремясь сохранить хотя бы видимость семейного благоустройства, Кублицкая-Пиоттух всеми силами старалась развести Белого и Любовь Дмитриевну в разные стороны. Былая духовная близость сменилась «дипломатией» вынужденного общения, а свободные лирические импровизации в письмах Белого — истерическими исповедями и объяснениями.

---

[19] РГАЛИ. Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 534 (письма А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. П. Ивановой от 20 ноября 1908 г. и 25 марта 1909 г.).

[20] См. стихотворение «На рельсах» (Андрей Белый. Пепел. СПб., 1909. С. 19—20), а также п. 11 и 17.

[21] Весы. 1905. № 9/10. С. 23.

[22] Андрей Белый. Материал к биографии // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 52.

[23] См. письмо Белого к Блоку от 11 или 12 октября 1905 г. (с. 252 наст. изд.).

[24] Весы. 1905. № 9/10. С. 35.

11 апреля 1906 г. Е. П. Иванов записал в дневнике слова Л. Д. Блок: «Борю все разлюбили; еще Саша ничего, а все, особенно Александра Андреевна»[25].

После того как осенью 1906 г. Белый, надеясь восстановить душевные силы и разрешить кризисную ситуацию, отправился за границу, он не встречался с матерью Блока на протяжении ряда лет. Итоговую характеристику их отношений дала М. А. Бекетова: «В конце концов отношение сестры моей к А. Белому осталось почти неизменным. Во время более серьезных конфликтов с ним Ал. Александровича она была, конечно, на стороне сына, но, так же как и он, продолжала ценить его как писателя и мыслителя»[26]. Попытки реставрации прежней внутренней связи между ними предпринимались и в 1907 г., в кратковременный период нового и непрочного сближения Белого и Блока, и в 1912 г., когда их дружба восстановилась уже достаточно прочно, но былой доверительности и близости в новых жизненных обстоятельствах возникнуть уже не могло. Своеобразный постскриптум к этой истории общения — встречи и переписка Белого и Кублицкой-Пиоттух в пореволюционные годы.

Отзывы матери Блока о Белом в эту пору исполнены преклонения перед его творческим даром и уникальностью его личности: «Его присутствие в России важнее всех его слов, которые, как они ни хороши, а все слова и, кроме экстаза, ничего не порождают. Самая же его личность, душа, дух — развивают атмосферу святой тревоги...»[27] Об одной из встреч с ним в апреле 1921 г. в петроградской гостинице «Спартак»[28] Александра Андреевна сообщала М. А. Бекетовой: «Приехал Андрей Белый. Я была у него в гостинице, по Сашиному поручению. Он был очень со мной хорош, и вообще хорош»[29]. Убедительнее всего о том, как, в финале всех сложных перипетий, воспринимала Андрея Белого мать Блока, говорит эпизод, содержащийся в воспоминаниях Н. А. Павлович, дружившей и переписывавшейся с Александрой Андреевной: «Я за что-то рассердилась на Андрея Белого и написала ей об этом в Лугу. Она отвечает 21 мая 1921 года: “Теперешнее отношение к Бор<ису> Ник<олаевичу> тоже совершенно мне непонятно и *чуждо*. Раз я его люблю, ставлю высоко, все его слабости знаю, не веря ему, как человеку, во многом, — я и буду его любить и ценить всегда. И никакие “факты” не изменят моего отношения, потому что *настоящая* любовь фактов не боится”»[30].

Последние события, соединившие Белого и Кублицкую-Пиоттух, — кончина Блока, похороны, дела, направленные на увековечение его памяти. Последние их встречи — на заседаниях, посвященных памяти Блока. «...После двух выступлений

---

[25] Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 403 (Публикация Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова). Ср. запись Белого о ситуации, сложившейся в апреле 1906 г.: «Л. Д. таки признается мне, что все осталось по-старому, что она — любит меня, но что Ал<ександра> Андр<еевна> и Ал. Ал. Блок воздействуют на ее волю» (Андрей Белый. Материал к биографии. Л. 52 об.).

[26] Бекетова М. А. Александр Блок и его мать. С. 146.

[27] *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 505 (письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. А. Бекетовой от 22 июля 1920 г.).

[28] Возможно, именно об этой встрече Кублицкая-Пиоттух договаривалась с Белым в недатированной записке (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 209. Л. 3):

Милый Боря, я была у Вас не только потому, что хочу Вас видеть, но и *по делу*. Когда можно еще к Вам прийти? Позвоните: 612-00 — Сашин телефон.

Назначьте мне час. Я приду.

А. А.

[29] *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 522.

[30] Блоковский сборник. С. 461.

Андрея Белого, когда он так несравненно хорошо говорил о Саше, я от волнения расклеилась <...>, — писала Александра Андреевна М. П. Ивановой 24 октября 1921 г. — Маня, как Борис Николаевич говорил о Саше! Все время казалось мне, что и присутствует здесь он, мое дитя, вдохновляет своего брата по духу»[31].

39 писем Андрея Белого к А. А. Кублицкой-Пиоттух были впервые опубликованы нами в кн.: Александр Блок. Исследования и материалы. Л., 1991. С. 281—335. 6 писем Кублицкой-Пиоттух к Белому были напечатаны (в извлечениях) в кн.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 222—223, 229—230, 253—254, 306.

Из входящих в настоящую публикацию писем Андрея Белого 8 писем (п. 13, 27, 46, 47, 49—52) хранятся в Российском Гос. архиве литературы и искусства в фонде В. В. Гольцева (РГАЛИ. Ф. 2530. Оп. 1. Ед. хр. 196), одно письмо (п. 57) — там же, в фонде А. А. Блока (Ф. 55. Оп. 1. Ед. хр. 547). Остальные 30 писем хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в фонде В. А. Десницкого (ИРЛИ. Ф. 411. Ед. хр. 14)[32].

Из входящих в настоящую публикацию писем А. А. Кублицкой-Пиоттух одно (п. 60) хранится в фонде Андрея Белого в РГАЛИ (Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 209), остальные (21 письмо) — в фонде Андрея Белого в Отделе рукописей Российской гос. библиотеки (РГБ. Ф. 25. Карт. 18. Ед. хр. 5).

1. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<3 февраля 1905. Петербург>

Милый Боря, оказывается, что Ольга Николаевна Федорович осталась у Марии Андреевны до субботы[1]. Поэтому Вам теперь нельзя переехать, придется согнать ее с места. Я скорее и пишу Вам об этом, чтобы предупредить Вас, если Вам и впредь вздумалось переезжать.

Останьтесь до субботы у Мережковских, а в субботу переезжайте к Мане[2].

Ваша А. Кублицкая-Пиоттух.

3 февраля.

---

[1] Суббота — 5 февраля. О. Н. Федорович — приятельница М. А. Бекетовой, сестры А. А. Кублицкой-Пиоттух, проживавшей в доме 22 по Петербургской набережной (рядом с квартирой Кублицких-Пиоттух и Блоков).

[2] Находясь в Петербурге с 9 января по 4 февраля 1905 г., Белый собирался продлить свое пребывание в столице, но съехать с квартиры Мережковских, где он прожил почти месяц.

---

[31] *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 538.

[32] Эти письма были подарены В. А. Десницкому М. А. Бекетовой, наряду с другими материалами архива А. А. Кублицкой-Пиоттух, в благодарность за деятельное участие в издании блоковского литературного наследия: Десницким была написана вступительная статья ко второму тому «Писем Александра Блока к родным» — «Социально-психологические предпосылки творчества А. Блока» (см.: *Письма к родным, II.* С. 5—45), которая облегчила книге выход в свет. Об этом со слов В. А. Десницкого нам любезно сообщил Л. К. Долгополов.

2. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<5 февраля 1905. Москва>[1]

Многоуважаемая Александра Андреевна!

Спасибо за расположение[2]. Я ужасно Вас люблю. Никогда не забуду. И Вы меня не забывайте тоже. Глубоко преданный и любящий Вас

Б. Бугаев.

P. S. Мой привет и уважение Францу Феликсовичу[3]. Что «Гибель богов»?[4]

---

[1] Датируется по почтовому штемпелю.

[2] Слова подразумевают благодарность за гостеприимство во время пребывания Белого в Петербурге, а также за хлопоты об устройстве его в квартире М. А. Бекетовой (см. п. 1).

[3] В «Воспоминаниях об Александре Александровиче Блоке» Белый писал о муже Кублицкой-Пиоттух: «Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух от всего нашего с ним общения оставил впечатление нежнейшего, чуткого, прекраснейшего человека, деликатного до щепетильности» (Александр Блок в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1980. Т. 1. С. 294).

[4] Вопрос, по всей вероятности, содержит намек на террористический акт, совершенный эсером И. П. Каляевым 4 февраля 1905 года, — убийство Великого Князя Сергея Александровича. В этот день в Петербурге в Мариинском театре была объявлена опера Р. Вагнера «Гибель богов» (1874) — спектакль, на который, возможно собиралась А. А. Кублицкая-Пиоттух, — однако, как узнал Белый из письма Блока от 4 февраля 1905 г., представление было отменено. См. п. 71 (основной корпус), примеч. 2—4.

---

3. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<После 5 февраля 1905. Москва.>

Многоуважаемая и близкая мне Александра Андреевна,

Позвольте мне выразить чувство глубокой признательности за то гостеприимство, которое я встретил в Вашем доме.

Вернувшись в Москву, я далеко не всех людей мог узнать. Очень многие — увы — превратились в животных и почему-то преимущественно в жвачных, непарнокопытных. Неужели Петербург содействовал такому превращению? Выясняется одно: нельзя жить в городах, нужно бежать, бежать, бежать. Скоро Потоп. Пора строить Ноев Ковчег. Зеленеющие поля нужно превратить в поля Елисейские, в городе же цветущая зелень отсутствует — разве только вот плоды в гастрономическом магазине... Елисеевых, да цветы братьев Ноевых на Петровке[1].

Скоро весна.

В сердце радость. Боже, если бы больше легкости! Скользить на волнах тающего снега — многопенным потоком смыть снега с онемевшей земли, встать белоснежным облачком на золотом горизонте, тихо истаять, бездумно, безвольно,

улыбнуться в последний раз бессильной улыбкой блаженства... и осесть тысячами бриллиантов, росяной прохладой на махровые шапочки левкоя.

Александра Андреевна, верьте мне — будет радость, есть счастье, и легкость придет ко всем, ко всем. Если Вам будет скучно и грустно, взгляните на закат, и тысячи золотых стрекоз — заревых отблесков — заползают всюду, веселя. И сорвутся. И полетят. И воздух сгустится от счастья — тучей золотой саранчи.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и любящий

Борис Бугаев.

---

[1] Подразумеваются московский магазин гастрономических товаров братьев Елисеевых на Тверской ул. и садоводческий магазин братьев Ноевых (Петровка, дом Городского Кредитного общества).

---

4. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<*Середина февраля 1905. Петербург*>

Милый Боря, я Вас ужасно люблю, часто думаю о Вас со слезами и очень хочу что-нибудь сделать. Но нечего... Впрочем — вот что: все больше люблю Любу, все больше ей удивляюсь, а она с Вашего пребывания у нас тоже стала и любить меня больше и вообще милостивее стала. Согласитесь, что это с Вашей стороны уже прямо поступок и при том очень важный и очень великолепный. Мы втроем много о Вас говорим и постоянно очень Вас любим[1]. Люба всегда называет Вас Борей, т. е. *Боря.* По Вашим письмам Вы все радостны, но мне кажется, что есть уже опять и грусть. Панченко спросил у Саши, кто Вы — поэт, писатель, музыкант или кто. — Саша сказал, что Вы — Боря[2].

Напишите, много ли Вы ведете умных разговоров, очень ли Вам трудно их вести, и как вообще с протопопом и с кирпичом[3]. И нет ли новых стихов, и не родились ли семинарист и поповна[4].

Если Вы мне напишете, будет очень хорошо.

Сидящая при дороге с алавастровым сосудом[5].

---

[1] Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 8 февраля 1905 г.: «Боря Бугаев уехал. Люба парит на крыльях. Ее совсем признали царственно-святой, несмотря на злобу. Алю он любит и понимает, но я не верю в его слова» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 608).

[2] Об отношениях Блока с композитором С. В. Панченко см.: Письма С. В. Панченко к Блоку / Публикация З. Минц и А. Лаврова. Предисловие и комментарии А. Лаврова // Блоковский сборник XIV. Тарту, 1998. С. 208—274. Белый, познакомившийся с Панченко у Блоков во время пребывания в Петербурге, отнесся к нему с неприязнью: «Этот Панченко мне показался фальшивым; сквозь напускной легкомысленный скепсис французского остроумия он пытался пустить пыль в глаза, озадачить особенным пониманием жизни. Я раз только встретился с ним, он меня оттолкнул» (*О Блоке.* С. 161).

[3] Видимо, намек на одну из тем устного общения с Белым.

[4] Подразумевается замысел стихотворения, рукопись которого Белый выслал Кублицкой-Пиоттух в п. 11.

[5] Евангельский образ самарянки, беседующей с Иисусом (Ин. IV, 7—42).

---

5. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

21 февраля <19>05 года. <Москва.>[1]

Милая, глубокоуважаемая
Александра Андреевна,

несказанно рад получить от Вас письмо. Оно пришло как раз вовремя, когда я омрачился не до конца, а просто извне захлестнуло слишком мрачной, досадной и совершенно неинтересной волной, и что всего хуже, что эта волна может вынудить меня совершить поступки резкие и имеющие влияние на будущее[2]. Но что бы ни было, я до конца останусь легко-радостным и *всегда помнящим*. Вот и сегодня мне взгрустнулось (скоро или сами Вы узнаете отчего, или я сам напишу), но пришло письмо от Вас. И мне радостно. Вы пишете о неделании и о слезах. Но слезы, — горный хрусталь, растопленный утром; всегда он сияет миллионами росинок. И это к радости. Все слезы к радости. Только сухое горе — горе, а что не так — к тишине, к... хотя бы усмиренности в будущем.

А пока опять веду разговоры, бываю у Астрова[3], выслушиваю, что проф. Озеров[4] хочет примыкать к нам и просит дать ему указания к труду, который он пишет. Религиозно-общественная программа намечается[5]. Григорий Алексеевич[6] в восторге от аргонавтов. Сережа бастует и не принимает участия в «*живом созидании религиозной общественности*»[7]. Я бастую тоже, *но принимаю участие*. Брюсов пишет стихи, не уступающие Пушкину[8] и т. д. — словом, все обстоит благополучно...

Но хрустальная грусть уж звенит и поет о цветах. Вспоминаю Джаншиева, автора «*Эпохи великих реформ*», и его два горба, которые вытолкнула из него страсть к гражданственности[9]. Вспоминаю стихи незабвенной памяти поэта К. Д. Бальмонта «Спину выгнувши кольцом, встретишь мрак и глубину»[10]. Джаншиев занимался, быть может, слишком много общественностью, и был наказан Кольцом горбов, — возвратом мрака. Недаром он, напоминая внешностью нибелунга[11] (я знал его), является прообразом земской деятельности, не высвеченной взглядами *Lapan*[12], позволяющими в конце концов растопить Кольцо вопреки пословице: «Горбатого могила исправит!»...

Если бы Джаншиев дожил до появления «*лапанства*», он выпрямился бы, и перед нашими глазами не продефилировало бы существо, скрюченное и сдавленное горбами — продефилировал бы высокий и стройный брюнет, истинно гражданский деятель. Пишу эти размышления о физических недостатках автора «Эпохи великих реформ» в назидание и оправдание своего все растущего протеста против деятельности без цветов: ведь хрустальная грусть уж звенит и поет о цветах[13]. Не запоет ли горный хрусталь на зоре Солнцем и счастьем окрыляющего нас Утра? Горный хрусталь, это — слезы, утишенные —

— утешенные.

Слез о настоящем нет. Есть слезы о прошлом и будущем. О настоящем — сухое, прячущееся даже от самонаблюдения горе.

Если бы я не знал цветов, если б не любил Зори и Утра, теперь все обстоятельства мои сложились в лепестки сухого отчаяния по многим причинам, а между тем я рад, я ликую — мне большего восторга не нужно. Тем сильней во мне восторг, что извне я в клещах металлически холодных щипцов, приготовленных для пытки. Но мое счастье со мной.

Посылаю Вам мои слова и пожелания. Пусть они претворятся в цветы и летят, и летят. С глубоким уважением и с нежной любовью вспоминаю Вас. Никогда не забуду дней, проведенных у Вас. Если обстоятельства позволят, я приеду к Вам в Петербург в начале великого поста[14], если только экзаменов не будет у Саши и Любови Дмитриевны, и если я не помешаю. Спасибо за письмо. Христос да благословит Вас.

Глубокопреданный Борис Бугаев.

---

[1] Ответ на п. 4.

[2] Эти слова заключают намек на чреватый последствиями инцидент с В. Я. Брюсовым: письмо написано в день, когда Белый получил от Брюсова вызов на дуэль и ответил ему объяснительным письмом (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 338, 381—383).

[3] См. п. 91 (основной корпус), примеч. 5.

[4] Профессор финансового права Московского университета И. Х. Озеров поддерживал неформальные отношения с начинающими поэтами символистской ориентации — студентами Московского университета (М. А. Волошиным, Эллисом и др.) с конца 1890-х гг. Белый сообщает, что Озеров беседовал с «аргонавтами» у Астрова на тему «Общественность и искусство» (*О Блоке.* С. 130).

[5] Конкретных «программных» итогов сближение «аргонавтов» с П. И. Астровым и его кругом не дало; практическим результатом этого объединения стали два литературно-философских сборника «Свободная совесть» (первый вышел осенью 1905 г., второй — в 1906 г.).

[6] Г. А. Рачинский.

[7] В те же дни С. М. Соловьев писал Блоку: «Я не принимаю больше никого, кроме Бори, и бываю только в излюбленных местах, хотя иногда и приходится влачиться чёрт знает куда, чтобы пребывать, шокировать своим невежеством в политике и беспомощно бормотать что-то о конституции» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 389—390).

[8] Это убеждение было в ту пору общим для Белого и С. М. Соловьева, сопоставлявшего Брюсова с Пушкиным в стихотворениях, написанных в январе 1905 г. (см.: Соловьев Сергей. Цветы и ладан. Первая книга стихов. М., 1907. С. 65—67). В статье «Апокалипсис в русской поэзии» (Весы. 1905. № 4) Белый определяет Брюсова как продолжателя «пушкинского русла» в поэзии.

[9] «Эпоха великих реформ» (1892; 10-е изд. — 1907) — основная работа Г. А. Джаншиева, исторический труд о реформах в законодательстве в период преобразований 60-х — начала 70-х гг., посвященный памяти Белинского и Грановского. Белый с детства знал Джаншиева (приезжавшего в Демьяново под Клином, где проводила летние месяцы семья Бугаевых); образ этого «премилого, чернобородого горбуна» вызывал у него ассоциации с фантастическими фольклорными персонажами и породил «миф о “горбуне”» (Андрей Белый. На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 165—166). См.: Гончар Н. А. Г. А. Джаншиев и страницы о нем в мемуарно-автобиографической прозе Андрея Белого // Андрей Белый. Армения. Ереван, 1985. С. 161—195.

[10] Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта «Тайна горбуна», входящего в его кн. «Будем как солнце» (1902) (Бальмонт К. Д. Собр. стихов. Т. 2. М., 1904. С. 306). Общая ироническая оценка Бальмонта объясняется тем, что Белый был разочарован его последней книгой сти-

хов «Литургия Красоты. Стихийные гимны» (М., 1905), вышедшей в свет в декабре 1904 г.; 1 апреля 1905 г. он писал Э. К. Метнеру: «Бальмонт меня все менее и менее удовлетворяет разгильдяйством своего творчества: он не концентрирует ни мыслей, ни настроений: точно человек, экспромтом заговоривший недурно, но при этом обрызгавший Вас... слюной. "*Слюнявые строчки*" "Литургии Красоты" меня бесят» (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 44).

[11] Нибелунги (нифлунги) — персонажи германо-скандинавской мифологии и эпоса; в первой части музыкальной тетралогии Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» (1852—1874), «Золото Рейна», нибелунг (карлик-гном) Альберих похищает золотой клад, хранящийся на дне Рейна, из которого, ценой проклятия любви, кует кольцо — воплощение всемогущества и власти над миром.

[12] См. п. 242 (основной корпус), примеч. 5. 23 января 1905 г. Блок сообщал Соловьеву, что Белый, гостя у них в Петербурге, «уже несколько раз принимался за изложение Lapan» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 386).

[13] Эти настроения и метафорические образы проходили у Белого лейтмотивом в его воспоминаниях о пребывании в Петербурге и общении с семьей Блока; ср. его письмо к Э. К. Метнеру (первая половина февраля 1905 г.): «... окончательно утешили Блоки <...> Когда я приходил к ним, вырастали такие махровые шапки левкоя, каких я нигде не видел. Цветочность, присоединяясь к "несказанно-милому", переполняла чашу радости, которую я нашел в Петербурге, до краев» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 220).

[14] Это намерение не было осуществлено.

---

6. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<24 февраля 1905. Москва>[1]

Многоуважаемая Александра Андреевна,

я не могу ничего прибавить к этой картинке <?>, но она мне знакома стороной. Христос с Вами. Часто Вас вспоминаем с Сережей.

Глубокопреданный * *Боря.*

---

[1] Открытка. День отправления устанавливается по полустертому почтовому штемпелю. На открытке — рисунок, изображающий льва на фоне горного пейзажа.

---

7. БЕЛЫЙ – БЛОКУ, Л. Д. БЛОК, КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<24 февраля 1905. Москва>[1]

Недавно на небе я видел шкуру леопарда[2]. Она опять возвращается[3]. Нужно ждать хохота «рысей»[4]. Но не страшно. Христос с Вами. Я так Вас люблю.

* *Далее было*: Борис Бугаев.

[1] Открытка с рисунком, изображающим леопарда. Датируется по связи с предыдущим письмом. Адресована «Их Высокородиям Александру Александровичу и Любови Дмитриевне Блок, а также Ее Высокородию Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух».

[2] Одно из устойчивых у раннего Белого определений заревого неба. Ср.: «Горизонт был в кусках туч... На желто-красном фоне были темно-серые пятна. Точно леопардовая шкура протянулась на западе» («Симфония (2-я, драматическая)», 1901) (Андрей Белый. Собр. эпических поэм. Кн. 1. М., 1917. С. 256; *Симфонии*. С. 156); «...воздух был прозрачен, как лучистая лазурь и как леопардова шкура» (Андрей Белый. Возврат. III симфония. М., 1905. С. 18; *Симфонии*. С. 200); «У склона воздушных небес // протянута шкура гепарда» («Поет облетающий лес...», 1902) (*Золото в лазури*. С. 23). Мотив возвращения в сочетании с образом «леопардовой зари» развивается Белым в разделе VII («Леопардовая шкура») статьи «Феникс» (Весы. 1906. № 7. С. 26—27).

[3] «Она» у Белого — Вечность, Душа Мира, «заревое», «несказанное» женственное начало бытия. Ср. в «Симфонии (2-ой драматической)»: «И дерева подхватывали эту затаенную грезу: *опять возвращается...*»; «Дерева взревели о новых временах, и он подумал: "*Опять возвращается*"», и т. д. (Андрей Белый. Собр. эпических поэм. С. 254, 255; *Симфонии*. С. 155, 156).

[4] Намек на строки из стихотворения Брюсова «In hac lacrimarum valle» (1902): «И на смех завторят мне // Неумолчным смехом рыси» (Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 307). Брюсов выступал тогда для Белого в демоническом, «темном», искусительном ореоле (см.: Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 335—338).

8. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

27 февраля 1905 г. <Петербург>[1]

Милый Боря, Ваши слова и ласки слагаю в сердце.

Вы написали, что, м<ожет> б<ыть>, приедете в посту. — Помните же, что комната у сестры Мани, Петерб<ургская> набережная, 22, ждет Вас с распростертыми объятиями[2]. Маня поручила мне сказать Вам об этом.

Все ужасно. Утешения только из Ваших *слов*. Ужасно бы хотелось, чтобы и Сережа приехал с Вами, но он уже написал, что едет в Трубицыно[3]. В Петербурге слухи о каких-то демонстрациях крестьян против помещиков в Орловской губернии. Говорим о том, что, м<ожет> б<ыть>, не удастся в нынешнем году жить в Шахматове.

Это уже было бы совсем Бог знает что, но понять что-нибудь в теперешней действительности совсем невозможно. Остается ждать.

Нежно Вас люблю.

Ваша А. Кублицкая-Пиоттух

[1] Ответ на п. 5—7.

[2] См. п. 1, примеч. 1. Великий пост начинался в 1905 г. через неделю по написании письма.

[3] Во второй половине февраля 1905 г. С. Соловьев сообщил Блоку: «На первой неделе поста еду в Трубицыно» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 392). Трубицыно — подмосковное имение С. Г. Карелиной, сестры А. Г. Коваленской (бабушки С. Соловьева) и Е. Г. Бекетовой (бабушки Блока).

9. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<3 марта 1905. Москва>[1]

Милая многоуважаемая Александра Андреевна!

Скоро напишу подробно. Спасибо за письмо. Спасибо за приглашение: оно мне *говорит очень о многом*, но боюсь помешать экзаменам Саши, не знаю: воспользуюсь ли Вашим любезным приглашением[2]. Неужели мы не увидимся в Шахматове? Я думаю, никакого движения не существует[3].

Глубокоуважающий и любящий Вас

Боря.

---

[1] Ответ на п. 8. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 3.III.1905. Получено в Петербурге 5 марта 1905 г.

[2] См. примеч. 14 к п. 5. Университетские экзамены Блока были отложены; см. его письмо к отцу от 28 марта 1905 г. (VIII, 121—122).

[3] Отклик на слова Кублицкой-Пиоттух о «демонстрациях крестьян».

---

10. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<12 марта 1905. Москва>

Многоуважаемая, дорогая
Александра Андреевна,

усталость, мешавшая мне, теперь прошла. И вот отвечаю. Глубокое спасибо за приглашение в С.-Петербург, но я должен сериозно заняться теперь.

Кошмар за кошмаром — но ведь так должно быть: чаша должна быть выпита мужественно, а впереди *свет вижу, вижу...*

Слышал о мобилизации, беспокоился: не попадет ли Фр<анц> Феликсович в число войск мобилизируемой гвардии[1]?

Здесь у нас в Москве успешно занимаются религиозной общественностью[2]. Доселе я не занимался общественностью, а теперь, кажется, об этом предмете «*смею суждение иметь*»[3] и даже спорю со специалистами социологами.

Были дни, когда безумие приходило в Москву. Приходилось играть трагическую роль, и даже раз во имя стильности лицедейства пришлось обидеть одно безобидное создание, не подать руки за бессознательную демоничность[4].

Еще, и еще приходит Дункан. Без нее было бы плохо[5].

Сережа уехал[6]. Я один. С Вал. Брюсовым у нас теперь отношения вежливо холодные. У меня с ним должна была быть дуэль. Но потом все «*недоразумение*» (если только это было недоразумением) уладилось[7].

Теперь я живу на острове, напеваю шубертовского «Двойника»[8] и т. д.

Но устал. Простите, Александра Андревна, за опустошенность письма.

Слышал о болезни Марьи Андревны[9]. Как она поживает теперь? Дай Бог ей всего хорошего.

Христос да хранит Вас.

Остаюсь глубоколюбящий и уважающий Вас

Борис Бугаев.

1905 года. Марта 12.

---

[1] Слухи о дополнительной мобилизации были связаны с одним из решающих событий русско-японской войны — Мукденским сражением (вторая половина февраля 1905 г.), в котором русская армия потеряла свыше 89 тыс. человек.

[2] Помимо собраний у П. И. Астрова, где Белый неоднократно тогда выступал с докладами и участвовал в прениях, эти слова, по всей вероятности, подразумевали также деятельность «Христианского братства борьбы» во главе с В. П. Свенцицким и В. Ф. Эрном. См. п. 91 (основной корпус), примеч. 3. Вспоминая о марте 1905 г., Белый отмечает «прения в нелегальном собрании "Христианского братства борьбы"» (Андрей Белый. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 28).

[3] Подразумеваются слова Молчалина из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «В мои лета не должно сметь // Свое суждение иметь» (действие III, явление 3).

[4] Какое событие подразумевается здесь, неясно.

[5] См. п. 74 (основной корпус), примеч. 2; п. 96 (основной корпус). Белый вместе с Блоками был на концерте Айседоры Дункан во время ее гастролей в Петербурге 21 января 1905 г. (см.: *О Блоке.* С. 167). Восторженные впечатления от танца Дункан отразились в статье Белого «Луг зеленый» (1905) (См.: Андрей Белый. Луг зеленый. Книга статей. М., 1910. С. 8).

[6] С. М. Соловьев уехал в Трубицыно 5 марта; в письме к Блоку Соловьев сообщал, что собирается пробыть там две-три недели (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 396).

[7] См. примеч. 2 к п. 5.

[8] «Двойник» — песня Франца Шуберта на слова Генриха Гейне («Der Doppelgänger», 1828).

[9] См. п. 95 (основной корпус), примеч. 1.

---

11. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<23 или 24 марта 1905. Москва>[1]

Многоуважаемая и дорогая
Александра Андреевна,

так ясно, так отчетливо Вас вижу. Хочется настойчиво с Вами говорить в эти дни. Почему? Хочется иметь о Вас известия. Вы мне очень дороги. Мне кажется, что я Вас знал всю жизнь. И теперь, когда я сижу за столом и пишу Вам, мне кажется, что мы рядом — я разговариваю с Вами, закрываю глаза — и вот кажется мне, будто я Вам пишу. И я не верю, что пишу Вам: все это сон, который — вот, — вот, — оборвется. И вместе с ним оборвется что-то постороннее, серо-синее, грезовое. Господин чёрт спасется бегством, когда вместо изящно протянутой руки обозначится

его почтенное копытце. Александра Андреевна, ведь — не правда ли — мы во сне? Когда же мы проснемся? В уповании на скорое пробуждение я бросил все занятия, одичал, разучился говорить, но песнь одинокой Вечности раздается так близко... И вот я сижу у окна и говорю себе, что толща сна уменьшается: рев водопадов Вечности разобьет все плотины, и очнувшись, я отвечу Вам на Ваши слова, обращенные ко мне: окажется, что между Вашими словами и моими была мгновенная пауза, когда, утомленные поздним часом, мы закрыли глаза — и вот мне показалось, что я пишу Вам письмо. И это мгновение развернулось в Вечность. Но когда оно минет, все бесконечности с их миллионами лет окажутся мгновенным молчанием, незаметно вкравшимся в живой разговор.

Мы проснемся.

А пока душа моя разрывается последним восторгом, последним отчаянием, и я тихо улыбаюсь у окна, за стеклом. На стене зоря бросила сотни палевых, георгинных лепестков. Лепестки облетают. За стеной играет мама ноктюрн Шопена, который танцевала Дёнкан[2], а я опускаю лицо в корзину ароматных желтофиолей. Потом тихо смеюсь. Потом гуляю. Потом молчу. А миг сна продолжается, и я уже теряю почву под ногами и *вижу во сне сны о правде пробуждения*. Простите сонность моего письма: хочу говорить с Вами, но не верится, что для этого я должен писать: ведь это только так кажется. Христос с Вами, Александра Андреевна. Напишите мне, пожалуйста, хоть два слова: буду так счастлив.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и глубоко преданный и любящий

Борис Бугаев.

P. S. Мое глубокое уважение и поклон Францу Феликсовичу. Так рад слышать, что М. А. лучше[3]. Как ее здоровье теперь? Мое уважение и привет Л. Д. Я ей боюсь писать: мне почему-то кажется, что Любовь Дмитриевна на меня сердится. Это глупое и ни на чем не основанное подозрение связывает меня, и я не могу Ей писать. Посылаю стихи, Вам посвященные[4].

ПОПОВНА И СЕМИНАРИСТ

Посв. А. А. Кублицкой-Пиоттух

Свежеет. Час условный.
С полей прошел народ.
Вся в розовом — поповна
Идет на огород.
Как пава, величава.
Опущен шелк ресниц.
Налево и направо
Всё пугалы для птиц.
Жеманница срывает
То злак, то василек.
Идет — над ней порхает
Капустный мотылек.

Над пыльною листвою —
Наряден, вымыт, чист —
Коломенской верстою
Торчит семинарист.

Прекрасная поповна —
Прекрасная, как сон —
Молчит — зарделась, словно
Весенний цвет пион.
Молчит. Под трель лягушек
Ей сладко, сладко млеть.
На лик златых веснушек
Загар рассыпал сеть.
Не терпится кокетке —
Семь бед — один ответ —
Пришпилила к жилетке
Ему ромашкин цвет.

Прохлада нежно дышит
В напевах косарей.

Не видит их, не слышит
Отец протоиерей.
В подряснике холщевом
Прижался он к окну.
Корит жестоким словом
Покорную жену:
«Опять ушла от дела
Гулять родная дочь!
Опять недоглядела!»
И смотрит — смотрит в ночь.
И видит сквозь орешник
В вечерней чистоте
Лишь небо да скворешник
На согнутом шесте.[5]

---

[1] Датируется по связи с ответным письмом (п. 12).

[2] См. п. 10, примеч. 5. Танцевальная программа А. Дункан в Петербурге и Москве исполнялась под музыку Л. ван Бетховена и Ф. Шопена.

[3] Подразумевается сообщение в п. 98 (основного корпуса).

[4] Факт посвящения Кублицкой-Пиоттух «Поповны и семинариста» объяснялся тем, что сюжет, воссозданный в этом стихотворении, как можно судить по намекам в письмах, обыгрывался в беседах, участницей которых была мать Блока, и был известен ей заранее. См. п. 4, примеч. 4; ср. письмо С. М. Соловьева к Блоку от 24 февраля 1905 г.: «Много лет целовал я руки батюшкам <...>, а теперь предпочитаю поповну и семинариста» (*ЛН. Т. 92. Кн. 1.* С. 394). Посвящение А. А. Кублицкой-Пиоттух имеется также в автографе стихотворения, посланном Белым Э. К. Метнеру 1 апреля 1905 г. (РГБ. Ф. 167. Карт. 1. Ед. хр. 44).

[5] Под тем же заглавием и с посвящением Т. А. Рачинской стихотворение опубликовано в «Золотом Руне» (1906. № 4. С. 33—34); под заглавием «Поповна», в значительно расширенном виде и с посвящением З. Н. Гиппиус вошло в книгу Андрея Белого «Пепел» (СПб., 1909. С. 191—195); первоначальная редакция текста (с сохранением заглавия «Поповна» и без посвящения) восстановлена в книге Белого «Стихотворения» (Берлин—Пб.—М., 1923. С. 41—42; под текстом: «1905 г. Март. Москва»).

12. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<26 марта 1905. Петербург>[1]

Милый Боря, вчера я получила Ваше письмо и стихи с поповной и семинаристом. И то и другое было кстати более, чем когда-нибудь, обвеяло сладчайшей нежностью Вашей, Боря, легкой и освежительной.

Я ужасно люблю Вас, просто трудно поверить, какая важная Вы спица в моей колеснице, т. е. совсем не спица, потому что я смотрю на Вас снизу вверх, но Вы понимаете. Подумайте, уже вторая неделя сегодня пошла, как сделали сестре Мане операцию, мучили ее страшно, и она уже 2 недели в хирургической больнице. Теперь мучения проходят, ведь каждый день я на них смотрела, и вчера стало совсем лучше, возвращаюсь вчера от нее, и мне дети дают Ваше письмо, мои дети, Саша и Люба.

Как Вы можете думать, что Люба на Вас сердится! Она так любит Вас всегда и всегда довольна Вами. Думаю, скоро она сама Вам напишет, она так сказала вчера, когда прочла Ваше письмо ко мне. Все труднее с людьми и вообще все. Вы, милый, драгоценный, единственный, легкий и желанный.

Зимой у меня над головой играли каждый день кэк-уок, со вчерашнего дня появился и внизу кто-то, кто его играет и сейчас же после него Боже Царя храни.

Очень ли Вам важен Леонид Андреев? Прочли ли Вы Вора? Это чудо[2]. Я бы хотела, чтоб Вы теперь очень любили Леонида Андреева, потому что мы все трое его теперь очень и особенно любим.

Глубоко Вас любящая

А. Кублицкая-Пиоттух.

Передайте мой поклон маме.

26 марта.

А посвящение мне не только приятно, но и лестно.

---

[1] Ответ на п. 11.

[2] Рассказ Л. Андреева «Вор» был опубликован в «Сборнике товарищества “Знание” за 1904 год» (Кн. 5. СПб., 1905). Блок также высоко оценил рассказ в рецензии на это издание (март 1905 года; Вопросы Жизни. 1905. № 3). См.: V, 553—558.

---

13. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Вторая половина мая — начало июня 1905. Дедово.>[1]

Многоуважаемая, горячо любимая
Александра Андреевна,

Как я давно не писал Вам — простите, Бога ради. Если бы Вы знали, сколько мне приходилось кидаться во все стороны и бегать по периферии всех вопросов, вплоть до открытой или закрытой подачи голосов, то Вы извинили бы меня. Но писать в такие моменты, значит оскорблять близких и любимых шумом толпы, который неизменно раздается вокруг того, кто пустился в толпу. Недавно я дошел до такого состояния, что, оставаясь даже один, чувствовал себя, как на базаре.

Вот почему я молчал.

А теперь, в Дедове я омылся тишиной — и вот пишу Вам, многоуважаемая Александра Андреевна, что горячо и сильно Вас люблю *всегда, всегда.* Всегда помню и всегда порываюсь Вас видеть, проходяще<й> где-то близко от моей души.

Но пора бежать. Простите лаконизм письма. Христос да будет с Вами всегда.

Остаюсь с уважением горячо любящий и всегда помнящий Вас

Борис Бугаев.

---

[1] Датируется по времени переезда Белого из Москвы в Дедово — подмосковное имение А. Г. Коваленской, бабушки С. М. Соловьева (май) — и по связи с недатированным письмом к Блоку (п. 103).

---

14. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

24 июня <19>05 года. <Москва>

Многоуважаемая и дорогая
Александра Андреевна,

есть потребность Вам писать. Не знаю о чем только, но это — не важно; важно, что писать хочется[1].

Верю я, будет счастье, будет новая радость, и грудь моя преисполнена волением. Я должен — принужден будить людей, хотя бы бомбами.

Мы люди «*нового духа*» — новые люди, о которых Ницше говорил, что они ослеплены будущим[2]. Верю в будущность *России еще больше после Одесских событий*[3]. Страна должна вздохнуть — *Новая Россия.* И если правительство противодействует, оно должно опасаться участи того офицера, которого в Курске *сожгли* рабочие[4]. Рабочие были правы. Где собирается отрицательное электричество — туда обращаются стрелы огня, превращая все в тлеющий уголь. Действие = противодействию. Господь да сохранит Нашу Страну. Молюсь о лучшем будущем. Знаю несказанное. Имею мужество до конца жизни стремиться к осуществлению его. В этом — мой долг, императив — звездное небо в груди[5]. В этом наш долг, людей «*Нового мира*». В первый и, быть может, в последний раз говорю решительно, ибо что может заставить меня говорить не то, что думаю.

Желаю Вам мира и тишины.

Остаюсь готовый к услугам и расположенный

Борис Бугаев.

Пишите мне.

---

[1] Письмо написано после размолвки, случившейся в середине июня 1905 года в Шахматове между семьей Блока (главным образом — А. А. Кублицкой-Пиоттух) и гостившими там Белым и С. Соловьевым. См. п. 108 (основной корпус), примеч. 2.

[2] Видимо, Белый подразумевает слова Ницше из 382-го фрагмента («Величайшее здоровье») книги «Веселая наука» (1883) о людях будущего — «аргонавтах идеала»: «Мы, дети будущего <...>», «...становимся все более молодыми, все более "будущими"», «Мы, новые, безыменные, малопонятные, разнорожденные жители еще неизвестного будущего <...>» (Ницше Ф. Веселая наука («La gaya scienza»). Пер. А. Н. Ачкасова. М., 1901. С. 439, 429, 449).

[3] Имеются в виду всеобщая стачка в Одессе и революционное восстание на эскадренном броненосце «Князь Потемкин Таврический». См. п. 107 (основной корпус), примеч. 5.

[4] Подразумевается случай самосуда, происшедший в Курске 17 июня 1905 г. во время остановки на Ямском вокзале эшелона артиллеристов: «...когда пробил второй звонок к отправлению поезда, все нижние чины эшелона, за исключением двух пьяных, были на своих местах. Последние двое высказывали нежелание ехать дальше. Чтобы прекратить могущую произойти от этого задержку поезда, поручик <...> приказал солдатам связать неповинующихся и посадить в вагон, что и было исполнено. Один из связанных резко обругал поручика, на что последний в раздражении выхватил шашку и одним ударом положил солдата на месте. Находившаяся на платформе в большом количестве публика (этот день совпадал со днем выноса из г. Курска местной чудотворной иконы, а потому на станции было много простого народа, пришедшего на богомолье) возмутилась происшедшей на ее глазах кровавой расправой. В каких-нибудь полчаса на платформе образовалась толпа в 3 тыс. человек, которая с криками и угрозами бросилась за офицером. Поручик заперся в вагоне I-го класса <...> стал отстреливаться из револьвера, ранив 3-х человек, что еще больше озлобило толпу. Вагон облили керосином и подожгли. Все попытки остановить пожар были бессильны, так как толпа не допустила пожарных, и среди развалин обгоревшего вагона нашли обуглившийся труп офицера» (Русские Ведомости. 1905. № 164, 20 июня. С. 2). На следующий день после появления этого сообщения в столичной прессе «Курские Губернские Ведомости» проинформировали о «кровавой драме» с несколько иными подробностями (1905. № 127, 21 июня. С. 2): «нижний чин» (унтер-офицер) не обругал поручика, а «нанес офицеру оскорбление действием»; офицер сам застрелился, видя неминуемую гибель; о том, что офицер, отстреливаясь, ранил троих, не сообщалось, и т. д.

[5] Подразумеваются знаменитые слова И. Канта из Заключения к «Критике практического разума» (1788): «Две вещи наполняют душу всегда новым удивлением и благоговением, которые поднимаются тем выше, чем чаще и настойчивее занимается им наше размышление, — *это звездное небо над нами и моральный закон в нас*» (Кант Иммануил. Критика практического разума. Перевод Н. М. Соколова. СПб., 1897. С. 191).

---

15. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

30 июня 1905 г. <Шахматово>[1]

Милый Боря, я Вам бесконечно благодарна за Ваше письмо, почти не надеялась, что Вы мне когда-нибудь напишете, довольна я и тем, что Вы меня теперь лучше знаете, чем знали прежде. Это тяжело, когда принимают за другого, а Вы меня именно не за то принимали.

Я Вас люблю еще больше прежнего. Вы единственный человек, умеющий говорить в лицо виноватым ужасное без оскорбления. И я думаю, это потому, что в Ваших укорах нет сытости и, напротив, много Вашего собственного страдания. И поэтому, когда Вы сказали мне, что я нечистая, ровно ничего не понимаю, и вызвали меня три раза на дуэль[2], я почувствовала только одно; то, что, может быть, и выйдет толк, и я увижу еще, что такое свет — — —

Но света я не увижу, это я всегда знаю, летать я разучилась, а умела. Обстоятельства давят, и выкарабкаться не могу. Все, что Вы написали о России, для меня страшно близко и переживается мною. Если Вы будете иногда писать мне, я смогу опять

взять сосуд алавастровый и сесть при дороге[3]. Если же и Вы пойдете мимо, я сосуд уроню в беснованиях, миро прольется, остаточки его маленькие уйдут в землю.

Милый Боря, Вы ведь один из всех не самодовлеющий. Да еще «гражданский» оттенок Ваш делает Вас таким реальным, что, чувствую, недаром простираюсь за Вами.

Ведь недаром же я, ожесточенная и неверящая, так исключительно Вас полюбила, точно я сама родила Вас, сына Ангела-хранителя.

Мира и тишины мне не желайте — они не для меня и так далеки, что холодом веет от этих пожеланий.

Ваша А. Кублицкая-Пиоттух

Пожелайте мне лучше молчать. Тогда, м<ожет> б<ыть>, хоть себя найду.

---

[1] Ответ на п. 14.

[2] Речь идет о конфликте в Шахматове в середине июня 1905 г. (см. п. 108 (основной корпус), примеч. 2). Ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 27 июня 1905 г. (об А. А. Кублицкой-Пиоттух): «Боря сказал, что если бы она была мужчиной, он бы вызвал ее за это на дуэль. На другой день уехал скорее, чем было положено, причем передал Любе через Сережу записку с признанием в любви. Люба сказала это Але. <...> На прощанье Боря сказал Але: "Я Вас ужасно люблю, А. А." <...> Аля думает, что Борино отношение к ней совершенно изменилось, да и Сережино тоже. Ей очень тяжела перемена в Боре» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 610).

[3] См. п. 4, примеч. 5.

---

16. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Сер<ебряный> Колодезь. <19>05-го июля 17.[1]

Многоуважаемая Александра Андреевна,

Спасибо за хорошие слова. Они меня утешили, но и сделали возможность быть по отношению к Вам более правдивым. Я всегда хочу правды и ясности. Хочу в глаза глядеть словами. Но когда не встречаю почвы для прямоты, тогда начинаю чертить нарочно сложные завитки и узоры слов, ровно ничего не означающие.

Если бы Вы мне не написали такого хорошего, утешительного письма, я писал бы Вам в любезно корректном тоне, а теперь хочу говорить с Вами душой и глядеть словами Вам в глаза.

Да, Вы неправы. Не существует слов назвать то, что Вы мне сделали. *Это* — никак не называется, потому что Вы оборвали во мне лазурные выси. Знаете: когда душа летит в высях, то человеческий механизм напряжен, как паровой двигатель. Пресеките путь полетам, паровая машина с грохотом разлетается на тысячи осколков: а осколки могут *ранить, убить окружающих, человек полета становится человеком преступления.*

Я о несказанном. Твердо и гордо заявляю Вам это. Почти никто не хочет идти несказанными путями. Литературные же словечки «fin de siècle»[2] о несказанном никого не удивят. *Нужно дело — дело, а не слова.* Если я становлюсь близким кому-нибудь действительно, это значит душа близкого мне человека приближается к несказанному стремлению души моей. Я или *закрываюсь от людей*, или,

раскрываясь, *требую пути*. Вы хотите ко мне приблизиться и отрицаете требования моей сущности: *несказанного пути — мистерии*. Тогда лучше не приближайтесь: я могу разорваться — изорвать Вас осколками своего разбитого существа.

Я совсем почти не встречал людей, более меня чувствующих, осязающих горний путь.

Я и Сережа, мы более других понимаем. Опять-таки заявляю Вам это. Что Вы сделали с Сережей? Я Вам этого не могу (о если бы мог!) простить: когда Вы сказали мне о Сереже *не так*, мне показалось, что синенькое пламя опалило Вам лицо. Вы выросли для меня с этого мига в Химеру[3]. Я не виноват, Александра Андреевна. Уничтожьте *химеризм* Вашего отношения ко мне и к несказанному моей души, тогда я смогу увидеть Ваше лицо открыто: сейчас я смотрю на Вас: вижу неясный контур, задернутый дымом и пламенем. Я ничего не имею против Вас, я хотел бы Вас *любить* по-прежнему (а я Вас очень, очень любил — *действительной* любовью), но сейчас не знаю, где *Вы*, где *Химера*. А я беспощаден к *химерам*.

Все, что я пишу, бесконечно мучает меня, но хочу, чтобы слова мои отзывались правдой. Хочу, чтобы наши отношения были перегнаны через тернии и *ясны*, или... лучше не надо никаких отношений. Несказанное предполагает *крестный путь*: хочу *крестных* отношений — мучительных, которые или сжигают и отметают от меня людей, или приближают их к несказанному моей души. Ведь я — *не о себе, а о будущем*.

То, что я в себе люблю, это — будущее человечества. Душа моя — колыбель будущего. О, я мстителен, когда дитя мое, моя будущность, оскорблено, заподозрено. Тогда мне хочется быть... раненой тигрицей, защищающей детище какими угодно средствами. Тут я жесток. Вот что мне хочется сказать Вам — не Вам, душе Вашей. Пропустите жесткость моего письма мимо Вас и примите его в душу Вашу. *Там* Вы увидите, что мои слова свидетельствуют о том, как мне хочется Вас любить и разогнать *Химеризм*, возникший между мною и Вами.

Христос с Вами.

Остаюсь глубокоуважающий

Б. Бугаев

---

[1] Ответ на п. 15.

[2] Fin de siècle (*фр.*) — конец века; подразумеваются «декадентские», индивидуалистические мотивы в искусстве конца XIX века.

[3] В «Воспоминаниях о Блоке», затрагивая обстоятельства подразумеваемого здесь конфликта, Белый отмечает, что «Александру Андреевну никогда не видал в такой злости» (*О Блоке*. С. 182).

---

17. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Середина августа 1905. Серебряный Колодезь>[1]

Глубокоуважаемая и близкая мне
Александра Андреевна,

сегодня проснулся, и определенно захотелось Вам писать. Вы не сердитесь на мое предшествующее письмо[2]? Ведь я же хотел так искренно написать. И написал.

Осень.

Слетают листья. И уносят, опять уносят безвозвратное. Когда-то я удивлялся повторениям, а теперь удивляюсь неповторимости всего. Вообще, я ничего не знаю, кроме счастья участвовать в мировой жизни. Много занимался[3]. Под конец привел себя <в> такое состояние, что ясно почувствовал, что весь мир — громадный стол, за которым сидят прилежно изучающие логику ученики и решают логические задачи. И мне было так сладко от сознания. О, если б было побольше сознания в людях, не *«знания»*, ибо знания слишком много, а именно *сознания*. Ничто так не окрыляет, как мысль о том, что никакой психологии не существует, что все *бытие* есть лишь форма экзистенциальных суждений, т. е. бытие есть *вид категорического суждения*, ибо суждение творит долженствование, а только в долженствовании истина, а не в бытии. Смеюсь я над здравым смыслом, озаренный светом гносеологического сознания. Истина есть то, что должно быть, а должно быть ценное. Ценность же творю я, Вы, все мы. Итак мы творим действительность. И чем дерзновеннее размах творчества, чем больше опрокидывает он всяческое бытие и психологию, тем ценнее сотворенный долг. Он и есть истина. Что воистину, то не в бытии. «*Нет никакой психологии*», — хочется мне кричать и ликовать. Бездушные и бездумные лица японских рисунков суть должные и сознательные лица, а напряженность экспрессии у европейских художников — жалкий потуг к высям, и вместо парения жалкое «плюханье в психологическом болоте»...

Да здравствует сознание и да погибнет бытие!

Не смею поздравлять Вас с «жалкой» конституцией, но... все же два дня после манифеста я дышал как будто свободней[4]. Да будет с Вами мир и тишина.

Остаюсь глубокоуважающий Вас

Борис Бугаев

P. S. Очень польщен тем, что Вы поняли меня со стороны гражданственности. Никто во мне гражданина не признает, и я предаюсь гражданским эмоциям сам с собой.

Позвольте Вам посвятить это стихотворение.

БЕГЛЫЙ

Посв. А. А. Кублицкой-Пиоттух

В лесу он простился с конвоем,
Кровавую месть утоля.
Он крался над вечным покоем,
Железною цепью гремя.

Он крался, безжизненный посох
Сжимая холодной рукой.
Он стал на приволжских утесах.
Поник над свинцовой рекой.

На камень упал бел-горючий.
Закутался в серый халат.
Глядел на косматые тучи.
Глядел на потухший закат.

18—1411

Застыла и странно зияла
Улыбка мертвеющих уст.
Но буря над ним распластала
Дрожащий, безлиственный куст.

Над Волгою тканью летучей
Повис сиротливый дымок.
Ласкал он и камень горючий
И ржавые обручи ног*.

Но пальцы его ледяные
Тянулись, тянулись в туман.
Но глыбы у ног земляные**
Осыпались мягко в бурьян.

Порывисто знаменьем крестным
Широкий*** свой лоб осенил.
Промчался по кручам отвесным.
Свинцовые воды вспенил.

«Навек распрощаюсь с Сибирью.
Прости ты, родимый острог,
Где годы над водною ширью
В железных цепях изнемог».

Теперь над волной молчаливо ****
Он белым качался лицом.
Плаксивые чайки лениво
Его задевали крылом.

И вспыхнули звезды — и долго
Мигали с далеких плотов.
Сурово их темная Волга
Дробила на гребнях валов.[5]

---

[1] Датируется по связи с ответным письмом (п. 18).

[2] Имеется в виду п. 16.

[3] Подразумеваются прежде всего теоретико-философские штудии, которым Белый посвятил значительную часть лета 1905 г.; ср. его позднейшую характеристику этого периода: «...с головой ухожу в гносеологические проблемы; читаю "*Логику*" Зигварта, Маха, перечитываю Риккерта, начинаю пристально изучать "Критику способности суждения" Канта» (Андрей Белый. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 29 об.).

---

* *Было:* *а* Звенели, о камень горючий
Ударившись, обручи ног
б Бряцали о камень горючий
Жемчужные обручи ног

** *Было:* Вдруг глыбы у ног земляные
*** *Было начато:* Горячий
**** *Было:* Теперь над водой молчаливо

[4] 6 августа 1905 г. Император Николай II утвердил «Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу» — законы, определявшие законосовещательный характер будущей (так называемый «булыгинской») Думы; при выборах устанавливалась система распределения избирателей по сословным и имущественным признакам, с предуказанными нормами представительства от каждой курии.

[5] Стихотворение опубликовано в переработанном виде (как вторая часть цикла «Горемыки») с посвящением А. А. Кублицкой-Пиоттух в «Золотом Руне» (1906. № 1. С. 50—51); под заглавием «Каторжник», в переработанной и значительно расширенной редакции, с датировкой «<19>06—08. Серебряный Колодезь» и с новым посвящением (Н. Н. Русову) вошло в книгу Белого «Пепел» (СПб., 1909. С. 32—35).

---

18. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

23 августа 1905 г. Шахматово[1].

Милый Боря, если б Вы знали, как для меня дорого и отрадно получить от Вас письмо! — А тем более такое хорошее. Нет, я, разумеется, нисколько не сердилась на предыдущее, горячо прошу Вас всегда быть со мною до конца искренним, и помнить, что я на Вас сердиться не могу и, должно быть, никогда не буду.

Посвященное мне гражданское стихотворение принимаю с глубочайшей благодарностью. Люблю я Вас совершенно по-прежнему исключительно и хорошо; т. е. я очень счастлива, что Вас неизменно люблю, и нахожу, что это меня облагораживает. Все, что Вы говорите о психологии, мне особенно нравится и очень сильно хочется для себя самой, но мне кажется, что это то, т. е. психология, и есть моя собственная и неотъемлемая сфера, из которой я не выйду и в которой захлебнусь, может быть, окончательно. Не полюбить мне нищеты и не оторваться мне от моего страдания, хотя и вижу издали Ваши жемчуга, но ведь как издали!

Единственный Вы из всех говоривших и писавших в последнее время, можете освежать и охлаждать мою душу, и в Ваших устах не мучительно и не оскорбительно даже о Христе. Вы, Боря, ведь все понимаете и очень много знаете. Поэтому я пишу Вам все очень прямо. Иначе же мне писать Вам не хочется, да и бесполезно. А Вы пишите мне хоть иногда и помните, что гражданственность Ваша мне ужасна близка и дорога.

Очень Вас любящая и свято чтущая и глубоко в Вас нуждающаяся и ненасытно жаждущая

А. Кублицкая.

---

[1] Ответ на п. 17.

---

19. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

27 сентября 1905 г. <Петербург>

Милый Боря, Люба мне передала, что Вы никогда не простите меня за мои слова о Сереже[1]. Но сию минуту пришел последний № Весов и там Ваша статья о Зеленом Луге[2]. Очень хочется написать Вам несколько хоть слов, сказать Вам

свою радость обо всем, что Вы написали. Все эти дни мы с Сашей предаемся бурным гражданским чувствам, радуемся московскому беспокойству и за это встречаем глубокое порицание домочадцев. Мне давно совершенно необходимо, чтобы Вы сказали обо всем этом по-своему. И вот Вы это сделали в Весах с пышностью и новизной, на которую только Вы способны. Как нарочно в том же № Бальмонт и Рерих тоже говорят об этом и так прекрасно[3].

А все-таки Вы громче всех будите Красавицу[4]. Люблю Вас твердо и счастлива бесконечно, что нет ничего надежнее Вас.

Преданная Вам без границ

А. Кублицкая-Пиоттух

---

[1] Вероятно, Белый упоминал об этом в одном из несохранившихся писем к Л. Д. Блок. Подразумевается шахматовский конфликт в июне 1905 г. См. п. 108 (основной корпус), примеч. 2; п. 15, примеч. 2.

[2] Статья Белого «Луг зеленый». См. п. 116 (основной корпус), примеч. 3.

[3] Имеются в виду опубликованные в № 8 «Весов» за 1905 г. прозаические этюды «В странах Солнца. Из писем к частному лицу» К. Д. Бальмонта и «Девассари Абунту» Н. К. Рёриха.

[4] Этот образ в статье Белого «Луг зеленый» — символ грядущей России и будущего общества: «...общество — живое, цельное, нераскрытое, как бы вуалью от нас занавешенное Существо, спящая Красавица, которую некогда разбудят от сна» (Весы. 1905. № 8. С. 7).

---

20. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

9 ноября 1905 г. <Шахматово>

Милый Боря, ведь Вы любили меня. А я никогда не переставала любить Вас и чтить. Моя верность к Вам прошла испытания. Мне кажется, что Вам теперь никого не надо, что ли? А мне по-прежнему надо читать то, что Вы пишете, слушать то, что Вы говорите, и испытывать к Вам чистое, радостное, светлое и твердое чувство любви и доверия.

Поэтому, если не трудно и сколько-нибудь захочется, напишите мне по-прежнему.

За неимением нового от Вас перечитываю Возврат[1] и старые Ваши стихи и письма. Сережа тоже молчит. Про него рассказал Саше Вяч. Иванов, что он в Риме. Это он прямо утверждал, так что мы поверили и только на днях, получив письмо от А. М. Марконет, узнали, что Сережа в Москве. Саша месяц назад послал ему деньги и не знал, получены ли они. Сережа еще в Шахматове простил мне мою безобразную выходку, и я, узнав, что он в Москве, ему тотчас написала, но не послала письма, сожгла. Молчанье Сережи кажется холодным и темным издали, и не знаешь, что ему написать теперь.

Будете ли Вы что-нибудь печатать скоро? Неужели я потеряла Вас и Сережу?[2]

Ваша А. Кублицкая-Пиоттух

[1] Экземпляр 3-й «симфонии» «Возврат» Белый выслал Блоку в ноябре 1904 года. См. п. 62 (основной корпус), примеч. 3.

[2] Возможно, Кублицкая-Пиоттух надеялась на посредничество Белого в налаживании ее отношений с Соловьевым, однако никаких конкретных шагов со стороны последнего предпринято не было. Отношения Соловьева с Блоком и его семьей были фактически разорваны вплоть до конца 1910 года.

21. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

11 ноября 1905 год<а>. <Москва>[1]

Многоуважаемая и дорогая
Александра Андреевна,

Искренне тронут Вашим письмом. Спешу ответом. Извиняюсь, что долго не писал Вам. Слишком много было событий вокруг; внимание и нервная энергия как-то была обращена *вовне* на политическую картину, грандиозно развернувшуюся перед всеми нами. Все эти дни и недели исключительно интересовался самоопределением различных групп и организаций[2]. Слишком трудно было выработать спокойное и сознательное отношение ко всем неожиданностям, которыми изобильно снабжала нас Судьба.

Теперь тщательно занимаюсь греческой философией до Сократовского периода в связи с орфизмом и елевсинскими культами[3]. Никого не вижу. Нигде не бываю.

Господствующее настроение мое — брезгливость: к людям, к психологии, к интимизму искусства и т. д. Стараюсь *быть* с простыми добрыми людьми, спокойно преданными научным интересам, и в их кругу черпать силу и спокойствие, потребные для занятий.

Ничего не пишу, хотя передо мной 3 книги, доведенные до половины: «*Симфония*»[4], «*поэма*»[5] и исследование о «*символизме*»[6]. «*Симфония*» и «*поэма*» не привлекают: претит в них декадентский «*психологический*» привкус. Я в душе своей перерос свой стиль и с брезгливостью смотрю на декадентское «*мараканье*». Исследование же мое требует *бóльших* знаний, нежели которыми я обладаю. Вот я и пополняю пробелы своего воспитания и образования.

Сережа мне неизменно дорог и близок: все ближе[7]...

Спасибо еще раз за *хорошее* письмо.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и готовый к услугам

Борис Бугаев

[1] Ответ на п. 20.

[2] Ср. позднейшие записи Белого, касающиеся октября 1905 г.: «Весь захвачен нарастающими событиями революции»; «прочитываю десятками брошюры, выпускаемые *эс-деками, эс-эрами* и анархистами <...> определяется точно, что моя орьентация — *эс-декская*» (Андрей Белый. Ракурс к Дневнику // РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 30, 31).

[3] Вспоминая об этих своих интересах осени 1905 г., Белый конкретизирует: «...прочел что-то о самофракийских мистериях и книгу Новосадского “Орфические гимны”» (Там же. Л. 31 об.; имеется в виду кн.: Новосадский Н. И. Орфические гимны. Варшава, 1900).

[4] Осенью 1905 г. Белый принимался за переработку первоначальной редакции четвертой «симфонии» (ни первоначальный, ни перерабатывавшийся тексты в полном объеме не сохранились); над окончательной редакцией этой «симфонии» («Кубок метелей». М., 1908) он работал в 1906—1907 гг.

[5] «Дитя-Солнце» — несохранившаяся поэма, над которой Белый активно работал в течение 1905 г. См. п. 105 (основной корпус), примеч. 3.

[6] Об этом незавершенном труде см. примеч. 2 к п. 109 (основной корпус).

[7] О близости в эту пору между Белым и Соловьевым свидетельствует и М. А. Бекетова (в дневниковой записи о Белом от 3 декабря 1905 г.): «Выяснилась окончательно его исключительная любовь к Сереже и полное к нему пристрастие при беспощадной строгости к остальным. "В Москве нет людей, кроме Сережи". Во всей Москве!» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 612—613).

---

22. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<После 20 декабря 1905. Москва>[1]

Милая, дорогая, многоуважаемая
Александра Андреевна,

как Вы мне близки. Я неизменно, неустанно Вас чувствую. И понимаю. В этот приезд Вы мне стали еще, и еще, и еще дороже[2].

Ясная Вы теперь. И легкая. И окрыленная. Вы будете умет<ь> летать.

Вот все, что я хочу Вам сказать, потому что душа моя радуется, глядя на Вас, а когда душа радуется, на ум нейдут слова.

Христос с Вами.

Боря

---

[1] Датируется по связи с отъездом Белого из Петербурга в Москву (после 20 декабря). Последовательность пп. 22—26 устанавливается предположительно, также как и время написания тех из них, которые не имеют авторской датировки.

[2] Во время пребывания Белого в Петербурге в декабре 1905 г. его отношения с Кублицкой-Пиоттух стали особенно близкими и доверительными; ср. дневниковую запись М. А. Бекетовой от 9 декабря 1905 г. о разговоре с сестрой: «Она мне все рассказала. С Борей так хорошо теперь, он ее любит и ценит и понимает, а ей так это важно. Его она особенно любит: "Преображенная влюбленность или материнство"» (ИРЛИ. Ф. 462. Ед. хр. 3. Л. 38 об.). См. также дневниковые записи Бекетовой от 3, 6, 16 декабря 1905 г. (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 612—613).

---

23. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

26-го дек<абря> <19>05. <Москва>

Глубокоуважаемая, милая Александра Андреевна,

Ужасно хорошо все, что Вы пишете мне[1]. Вы мне дороги. Дороже *почти* всех.

Меня поражает, умиляет трудность, с которой Вы принимаете слова мои о *легкости*[2]. Это показывает, что Вы — *несомненная, настоящая.*

Вы мне стали *еще* раз, *по-новому* близки, потому что — *Бёрн-Джонс*[3].

Вы стояли у двери в платке, когда Саша читал свои стихи[4]. Вы были в тот миг — вещая. Я всех Вас (Сашу, Любовь Дмитриевну, Вас) *еще* раз понял — по-новому.

Слышал тогда неизгладимые аккорды. И *нота* Ваша в этом аккорде была неизгладима.

Я Вас тогда принял до конца в своем сознании. С тех пор хочу неизменно, чтобы Вы пребывали в цветочности, пусть цветочность зальет все тяжелое.

Христос с Вами. Я Вас так люблю. Вы мне слышны отсюда. Слышите ли и Вы меня?

Ужасно жалею, что не случилось нам говорить с Вами *еще* с глазу на глаз, потому что многое хотел бы я Вам сказать и *также* от Вас слышать.

На днях подробнее напишу Вам. Сейчас визитеры, письма и еще некоторые внешности.

Был сейчас Гр. Ал. Рачинский[5]. Обнимались, целовались. Теперь всюду торчат окурки. Умилил и накурил. Ужасно его люблю.

Остаюсь любящий Вас и *уважающий всегда*

Борис Бугаев

P. S. Пишите. Как здоровье Франца Феликсовича? Лучше ли? Мой глубокий и сердечный поклон ему.

---

[1] Среди сохранившихся писем Кублицкой-Пиоттух к Белому письмо, на которое отвечает Белый, отсутствует.

[2] Подразумеваются слова в п. 22: «Ясная Вы теперь. И легкая», и т. д.

[3] С живописными или графическими образами и композициями Э. Бёрн-Джонса, видимо, ассоциировались впечатления Белого от посещения дома Блоков в декабре 1905 года.

[4] Белый вспоминает, что в декабре 1905 года Блок читал ему поэму «Ночная Фиалка» «в неотделанном виде». См.: *О Блоке*. С. 193.

[5] В «Ракурсе к Дневнику» Белый отмечает: «...с начала 1905 года сближение с Рачинским; теперь особенно часто бываю у Рачинского и принимаю участие в долгих спорах, возникающих у него на квартире» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 30).

---

24. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<После 26 декабря 1905. Москва>

Многоуважаемая, дорогая Александра Андреевна.

Что мне сказать?

Я уже сказал почти все из того, что сказуемо словами. Я уже два раза собирался писать Вам о тучах, и тучи разрывались, и просветы сияли ясно и ласково.

И я вновь находил Вас. Я Вас нашел.

Теперь само собой пролетает все то, что лежало у меня камнем на сердце, когда я хотел с Вами говорить, теперь мне остается только сказать Вам то, что я думаю о Вас.

Все разрешилось.

Вы вышли для меня из пещеры огромной и пышной, где вечно шумит водопад, где сталактиты сияют, где все жутко.

Вы вышли. Ветер рвет Ваши волосы. Под ногами голубой обрыв в неизреченность. Ходят тучи.

И стоите Вы, простирая руки, слушаете ветряные порывы.

Вы не вернетесь назад. Вы не обернетесь. Вы будете глядеть в голубую неизреченность ночи. Вот плывет облако. Оттуда слышатся голоса — милые голоса: это Вечность совершает свой полет. Вы киваете ясно, чуть-чуть грустно над неизреченным, Вы *узнаёте,* узна́ете, узна́ете!

Узнайте!

Облако проходит. И еще раз проплывает: раздаются милые голоса Вечных Спутников Мира[1].

И стоите Вы. И стою я — там далеко на облачной глыбе, на коне своем белом и *тоже* слушаю милые голоса.

Между облачной глыбой и скальным обрывом проходит облако, уходит, уходит...

Ушло.

Мы одни — Вы и я. Оба смотрим, оба замерли: я — на глыбе застывших слез — застывших сновидений. Вы — на краю обрыва в ночь.

Тянется ночь. Мы стоим. Мы близки друг другу — нам грустно и весело. Я лечу вслед за облаком. Я махаю Вам рукой. Вы не *летите* — стоите над бездной, но назад Вы не обернетесь больше.

Я слежу издали, как плавает облако. Вижу: оно загибает вокруг горной страны, на которой Вы стоите. Я возвращаюсь к Вам, кричу: «Еще вернется облако: оно чертит круги. Оно всегда будет проходить и уходить вокруг Вас».

Теперь ночь. И проходит облако. *Будет ночь на исходе*[2]. И оно опять пройдет мимо Вас.

Взойдет Солнце. Облако пройдет, пройдет *еще* раз, все сияющее, и оттуда окликнут Вас Солнечные голоса.

Больше ничего не будет. Так всегда: здесь, там, и потом, и потом.

Я Вам скажу еще когда-нибудь. Многое нас разделяет. Но когда оба мы ждем прохождения, стоим оба — улыбаясь друг другу: я — облачный всадник, Вы — застывшая над неизреченным.

Вот почему Бёрн-Джонс........[3]

Так надо.

Глубокоуважающий, всегда любящий Вас, судьбою связанный с Вами.

P. S. Это каракули: но их-то и пишу с удовольствием.

---

[1] Те же образно-метафорические мотивы («образ Вечности, застывший на облаке», и т. п.) развиваются в недатированном письме Белого к Блоку, относящемся к тому же времени (п. 121).

[2] Белый обыгрывает строку из своего стихотворения «Знаю» («Пусть на рассвете туманно...», 1901): «Знаешь ли — ночь на исходе?» (*Золото в лазури*. С. 226).

[3] См. п. 23, примеч. 3.

25. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<Конец декабря 1905 — начало января 1906. Петербург>[1]

Милый Боря, да, я стою и простираю руки, и часто так хорошо стоять, что не думаю о полете. Но надо лететь, я знаю, но *не твердо знаю*. Проходит облако, слышу милые голоса. Бывает, что и не слышу, потому что между ними и мною сгущается что-то. *Это* стоит в воздухе, клубится или тянется в смертной тоске и уходит вниз, в темный обрыв, над которым стою. И *это* тянет вниз с собою. Становятся страшными и отвратительными сны. Ночью во сне кричу «Спасите», днем хочу сорваться вниз с обрыва и разбиться вдребезги. И вдруг вижу, что меня уже *там* нет. Я в тягучем, между обрывом и бездонным. И вот в смертной тоске я слышу Ваш еще далекий голос, и через минуту я снова *там*, опять стою в неизреченной радости, и Вы опять проноситесь мимо и улыбаетесь и машете рукой. И тут вдруг *твердо* хочу лететь за Вами, но прикованы ноги, и так будет до тех пор, пока не смогу лететь.

В Вас мое Спасение, вся моя надежда и неизреченная Радость. Люблю Вас, сколько могу, как Сашу. (Может быть, и не так).

Преданная Вам всей душой

А. Кублицкая

---

[1] Вероятно, ответ на п. 24.

---

26. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Конец декабря 1905 — начало января 1906? Москва>

Глубокоуважаемая, милая Александра Андреевна,

пишу Вам по влечению сердца. Цветы Ваши стоят еще у меня в комнате, и я от времени до времени вдыхаю аромат резеды. Цветы не отцвели. Зори горят. Тревога проносится с горизонта. Сердце опять замирает. Несказанное приближается. Вся моя жизнь да будет вздохом кадильным пред зорей негасимого будущего. *Будущее будет — будет.* Все люди успокоются покоем.

Милая Александра Андреевна, не забывайте меня. Мы не должны забывать друг друга перед лицом Несказанного[1].

Любящий Вас глубоко

Боря

---

[1] Ср. выдержанные в аналогичной тональности 4 письма Белого к Блоку от 26—28 декабря 1905 года (п. 125—128).

---

27. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Начало января 1906. Москва>[1]

Глубокоуважаемая, родная мне Александра Андреевна,

вдруг пришла потребность Вам написать. Бумага вышла — ночь: пишу на клочке. Хочу сказать Вам *еще* и *еще,* чтобы Вы не боялись стоять на высоте, ибо Вы никуда не упадете: Вы уже почти легкая, и я так люблю, так люблю Вас. Если я не часто пишу Вам, простите: у меня много теперь работы. Я только одной Л. Д. стараюсь каждый день писать[2]. Я думаю о Вас много, долго и радостно. Часто смеюсь, вспоминая Вас: легко смеюсь и хлопаю в ладоши. Милая Александра Андреевна, Вы и не подозреваете, какая Вы хорошая и умная (в хорошем, хвалительном, а не ругательном смысле слова). Не забывайте меня: а я Вас — не забуду. Будемте часто думать друг о друге и улыбаться. *А все-таки говорю Вам: Христос да будет с Вами.*

Ужасно Вас люблю. *Преданный Вам, уважающий и любящий Вас*

Боря

---

[1] Датируется по связи с п. 28.

[2] Письма Белого к Л. Д. Блок не сохранились. Об их тональности можно судить по ответным письмам Л. Д. Блок этого времени — например, по письму к Белому от 26 декабря 1905 г.: «Пишите мне чаще — Вы так близки мне. Как хорошо, что мы договорились до этого и Вы знаете, что я не меньше Вас понимаю и чувствую, как близка и родственна Ваша душа моей. Милый, милый братец! Любящая Вас сестра» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18).

---

28. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

6 января 1906 г. <Петербург>[1]

Милый Боря,

маленький Боря, хлопающий в ладоши! — Я Бог знает как люблю, когда Вы хлопаете в ладоши. — Это — обрушиваются на февральском солнце огромные ледяные сосульки. Снежный весенний Боря.

Ужасно тяжело было жить давно уже, две недели. Обстоятельства, болезни — все лежало на моих плечах. И трещали плечи, и трещала голова, и при думах о Вас только хотелось все плакать. А вчера все утро светило солнце, это почтальон нес мне Ваше письмо. Потом принесли письмо. И все хочется смеяться, и Вы хлопаете в ладоши, сидя против меня, у Вас глаза синие, как у ребенка. Боря, я Вас вижу. Боря, Вы против меня сидите и хлопаете в ладоши.

Спасибо, милый, смеющийся Боря. Эти цветы пахнут весенним холодом. Я их целую.

Ваша Александра Андреевна

---

[1] Ответ на п. 27.

---

29. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<7 или 8 января 1906? Москва>[1]

Многоуважаемая, дорогая, близкая мне
Александра Андреевна,

Знаю, знаю — все знаю о том, о чем пишете Вы. Знаю оставленность Души Вашей, и ясную надежду Вашу, и нежность сердца Вашего, и боль, и страдание Ваше.

Знаю, знаю...

Если туман заволакивает Вам очи, вспомните, что это испытание, радостно скажите: «Не верю, не верю».

И туман озорится.

Буду сегодня молиться за Вас. *Верю в свою молитву.*

Люблю Вас, в печали Вашей: дорога она мне, дорога — сосредоточенная печаль. Верьте, что если попросите крылий, ясно захотите, действительно поверите — будет чудо с Душой Вашей Бессмертной.

Мы не забудем друг друга. Мы *все всё* узнаем. Мы все идем к вечному счастью, к вечной свободе. Да будет!..

А пока скорбь — пусть будет такая скорбь, какой не было от начала Творения. Вашу скорбь соразделю я всегда, все мы должны нести тяготы друг друга. Не унывайте: стойте, стойте *у себя* на горах.

Будет радость, будет, < >*

---

[1] Вероятно, ответ на п. 28. Датируется по предположительной связи с ним.

---

30. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<9 января 1906. Петербург>[1]

Милый Боря, как мне благодарить Вас? Нет у меня слов. Что Вы для меня делаете, нежный, близкий, все знающий во мне, — Ваши слова единственные для меня. Вы и целите мою душу, всю расшибленную, всю измятую, Вы и зовете ее, да так чудно зовете, что она и не чувствует, как идет — приникший к ранам легкоперст<н>ый запах цветов[2].

Особенно спасибо за то, что обо мне молились. Недаром уже вчера к ночи и сегодня с утра (самое тяжкое время) я была как-то беззаботнее и счастливее всех последних дней.

Спасибо за все Ваши ласки цветочные, ясные.

Преданная Вам до последней глубины и любящая Вас всей душой
Александра Андреевна

---

* Лист с окончанием письма отсутствует.

[1] Ответ на п. 29. Датируется по связи с ним и с п. 31.

[2] «Сиротливо приникший к ранам // Легкоперстный запах цветов» — заключительные строки стихотворения Блока «В час, когда пьянеют нарциссы...» (26 мая 1904 г.).

31. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<10 января 1906. Москва>[1]

Многоуважаемая и дорогая Александра Андреевна,

спасибо за письмо. На днях отвечу. Сейчас по горло занятий[2]. Просто нет времени вздохнуть.

Весь Ваш Б. Бугаев

Только цветы!

[1] Ответ на п. 30. Открытка. Датируется по почтовому штемпелю.

[2] Белый был связан в те дни жесткими сроками представления литературных материалов — прежде всего в московский символистский журнал «Золотое Руно», начатый изданием с января 1906 года. Ср. п. 133 (основной корпус).

32. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Москва.> 12 января <19>06 года.

Многоуважаемая и близкая мне Александра Андреевна,

радостное Ваше письмо: спасибо за него[1]. Ясное. Ясность, вот единственное, чем я жив теперь. Так хочется любить людей в улыбке и ясности. Радоваться цветам. Солнцу и небу радоваться. Смеяться. Глубокоуважаемая Александра Андреевна. Странно, что я совсем отрешился от индивидуального, *«психологического»* отношения к людям. Мне важен не человек, а его отношение к *Тайне*. Только за *Тайну* люблю я людей.

Еще я верую, что когда откроется *Тайна*, скажется *Слово, Тайна* окажется царством Божиим, *Слово* — Христом.

Значит, я верую, что когда люблю в *Тайне*, люблю во Христе. Мережковский этого *не* допускает[2]. Ему нужно сперва Слово, Имя, а потом Тайна вокруг имени. А я не так хочу. Имя само приложится. Если прежде назвать Имя, Оно может остаться не Благоуханным Именем. Тогда *Оно* всей тяжестью давит и топчет нежные цветы Духа.

Александра Андреевна, мне верится, что когда-нибудь, где-нибудь Вы совсем *Тайну* поймете, и зацветающая пелена ее обнаружит *Лик*.

Весна. Уже полет Весны над нами. Хочется смеяться и верить. Каждая *Весна* есть напоминание, с каждой весной я все ближе, все ближе воскресаю.

Сердце преисполнено цветами. Они — весенние, голубые, белые, розовые. Лик Христов, венчанный розами, лилиями, незабудками!

Ясно.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и всегда искренне любящий

Боря

---

[1] Имеется в виду п. 30.

[2] Апелляции к взглядам Д. С. Мережковского были вызваны, видимо, тем, что в это время Белый работал над статьей о его творчестве «Мировая ектения (По поводу “Трилогии” Мережковского)», напечатанной в «Золотом Руне» (1906. № 3. С. 72—83).

---

33. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

13 января 1906 г. <Петербург>[1]

Милый, милый Боря, близкий и далекий, но всегда родной, нет, нельзя отделаться от психологии. Надо, чтобы любили близкие, дорогие люди, а когда не любят, невыносимо тяжко, поневоле ищешь, отчего, и впадаешь в психологию, — ведь больно, когда бранят, и еще больнее, когда стукаешься, простирая руки, любя, надеясь и веря, в холодное и неподвижное враждебное.

Я не знаю о Вас, пишу Вам свое, но пишу потому, что в Вашем письме рядом с нотой о несказанном <?> звучит что-то другое, горькое, личное. — Простите, милый, любимый Боря. Может быть, мне показалось, но нет. Я не знаю, в чем, но люблю Вас так сильно, что не могу не чувствовать.

Простите меня за это. Ужасно нужно написать Вам, и это пишется. На окнах распустились две яркие кливии. Вчера видела в цветочном магазине крупные желтые тюльпаны и много белой сирени. Было легко, весело, беззаботно.

Сегодня опять камни, камни и не вижу цветов. А в Вашем письме тоже каменность — сжались льдины и не тают на солнце.

... Тает лед... расплываются хмурые вьюги — расцветают цветы...

Я вижу Ваше лицо. Оно неподвижное, я его знаю таким. Улыбнитесь, мое солнышко.

Любящая Вас очень сильно

Александра Андреевна

---

[1] Ответ на п. 32.

---

34. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Середина января 1906. Москва>[1]

Многоуважаемая
Дорогая
Александра Андреевна,

Зачем Вы так пишете обо мне. Будто я Вас не помню, будто звучит в моих словах *лед*. Если и может звучать *лед*, то это *лед* усталости. Верите ли, что я окончательно, хронически по крайней мере на 5—6 лет истощен omnino*, что приходится тратить громадные запасы нервной энергии. Я погибаю от усталости — буквально погибаю, и вот в таком «*выкаченном*» состоянии, после того, как приходилось жать десятки рук, вести десятки разговоров с «*каждым о его*» (а со мной почти никто не хочет говорить «*о моем*»), садишься писать в состоянии близком к обмороку[2]. Ну не могу, не могу я пробить ледники утомления, заслонившие от меня возможность яркого и живого выражения чувства в письмах. *Я не могу больше писать от утомления*. Пощадите меня: ведь я хочу выразить Вам свою любовь, я сажусь писать письмо (я никому не пишу от утомления, кроме Саши и Любови Дмитриевны), и все во мне парализовано. Не принимайте *лед* физического и нервного утомления за *лед* души, ради Бога. Если я говорю, что сильно и глубоко Вас люблю, *это так и есть*. А что у меня парализована речь, — это правда. (Я еще не писал, кроме ничтожных слов, ничего Д. С. Мережковскому, которого безумно люблю, оттого, что *всё в состоянии усталости*.) Милая Александра Андреевна, ну зачем, зачем Вы там пишете: я испугаюсь, я уже боюсь теперь писать — все мне будет казаться, что Вы рассмотрите мои письма со стороны *льда*. Я Вас так люблю.

Глубокоуважающий и неизменно любящий

Боря

---

[1] Ответ на п. 33. Датируется по связи с ним.

[2] Ср. письмо Белого к Блоку от 17 января 1906 г. (п. 137). Видимо, подобными сетованиями Белый делился и с Л. Д. Блок, судя по ее словам в письме к нему от 16 января 1906 г.: «Во всяком случае — Вам великолепно вырваться из Москвы, из Скорпиона и т. д. и быть совершенно на свободе» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 234).

---

35. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<18 или 19 января 1906. Москва>[1]

Милая Александра Андреевна!

Вместо слов посылаю Вам цветок гиацинта: пусть *он* скажет Вам, что я Вас люблю.

Сейчас руки у меня — не руки, а цветочные гроздья, и я могу ими махать, махать; и цветочки будут отрываться. Я окружу Вас ореолом гиацинтов: они будут мелькать в воздухе, звонить о том, что близко Весна.

---

* полностью, во всех отношениях (*лат.*).

Ясно смеюсь цветами сегодня весь день: отдохнул.

Хочу Вам сказать, что Вы мне близки. Может быть, сегодня Вы и поверите мне?

Боря

---

[1] Датируется по связи с ответным п. 36.

---

36. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

21 января 1906 г. <Петербург>[1]

Милый Боря, я тогда приписала Вам свое тяжкое, тупое, ужасное[2]. Простите. Исходит, и верно еще будет исходить, и еще придется прощать. Зато вчера, милый Боря, прилетел розовый гиацинт, почти свежий, чуть измятый, душистый. Прилетели с ним и Ваши душистые, весенние строки. Стало что-то сходить с души, с меня. И вот я взяла из своего Евангелия пакетик с волосами моей покойной мамы и бросила в огонь, а на место пакета положила Ваше душистое письмо. Как-то само это вышло, не знаю как. А маму я любила в это время особенно сильно, т. е. когда жгла ее волосы. К вечеру было уже совсем легко. Теперь, верно, долго не будет Недотыкомки[3].

Т. Н. Гиппиус рисует Сашу[4] и спела нам ее. Мне было очень невыносимо. А Саша и Люба смеялись — их мудрости никогда не перестану удивляться. На каждом шагу ее ощущаю и преклоняюсь.

Верю Вам, верю, верю, Боря. Стою на горе, вижу Вас. Ужасно Вас люблю.

Ваша Александра Андреевна

---

[1] Ответ на п. 35.

[2] Имеется в виду п. 33.

[3] Бредовый образ, рождающийся в сознании Передонова, главного героя романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» (опубликованного в 1905 году в журнале «Вопросы Жизни»).

[4] См. п. 134 (основной корпус), примеч. 3.

---

37. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Конец января 1906. Москва>[1]

Милая, милая Александра Андреевна,

Спасибо: радостно Ваше письмо. Я увидел, что Вы поняли меня. Усталость мою не приняли за холодность, за равнодушное отношение к Вам.

Хочется кружиться над Вами и бросать в Вас снопами лучей; чтобы Вы были озаренная, потому что только озаренность есть *истина* и *долг*. Быть озаренным к себе и друг к другу, значит исполнять нравственную обязанность. Лучше умереть от самовоспламенения, чем от замирания. Жизнь — это зоря, где только смерть — Солнце. Но вся жизнь — о *зоре*. Если кто скажет: «Почему солнце не всходит?», и на этом основании угашает зорю, тот Жизнь обесценивает. Будьте озаренны, и Христос да будет!

Любящий Вас очень

Боря

---

[1] Ответ на п. 36. Датируется по связи с ним и с п. 38.

---

38. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

3 февраля 1906 г. <*Петербург*>[1]

Милый Боря, последнее Ваше письмо, об озарении, было для меня страшно важно. Я, получив его, сбросила 10 пудов балласта из корзинки, и шар поднялся над землей и летал. Но через день пришел Панченко и положил в корзинку 20 пудов. Шар опустился, и края корзины роют землю от тяжести. Но могилы они не выроют, потому что сквозь тяжести видны зори. Я пишу Вам о Панченке, потому что он, единственный кроме Вас, говорит слова, пробивающие мои стены. Но вы говорите цветами, а он гирями. Я не могу не *слушать* его слов, потому что от них веет холодным воздухом свободы, и они секут больно все истерическое. А в истерическом последние дни готова я видеть «все несчастия».

Боже мой, как трудно преодолеть болезни. В них весь ужас.

Боже, что делать с болезнями? Все больные и все истеричные. Нет смерти, но есть болезнь.

Если Вам сейчас мне отвечать не хочется и нельзя, не пишите ничего. Ужасно боюсь насилий над Вами чьих бы то ни было и своих собственных.

Любящая Вас крепко

Александра Андреевна

---

[1] Ответ на п. 37.

---

39. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

4 февраля 1906 г. <*Петербург*>

Милый Боря, сию минуту я прочла Вашу статью о Достоевском и Ибсене[1]. Бесконечно благодарна Вам за нее. Сразу «полегчало». Это удивительно хорошее слово *полегчало*. Только теперь я начинаю понимать его, благодаря Вам.

Вы умеете лечить от истерики. Кроме Вас никто. Милый, дорогой Боря, сейчас мне хочется только благодарить Вас, хвалить без конца, верить Вам без границ и любить Вас без истерики, — только бы все это без истерики — чувствую до глубины, что в ней сейчас все мое горе и вся моя тяжесть. Но в эту минуту она вся у меня в кулаке. Там, где я стояла, на горе, вдруг поднялся ветер, который поднимает меня с места — лететь.

Ваша Александра Андреевна

---

[1] Статья Белого «Ибсен и Достоевский» была опубликована в «Весах» (1905. № 12. С. 47—54. Эта же книжка «Весов» была выпущена и как № 1 за 1906 г.). В ней противопоставлялись «надрывы» и «клинические формы мистицизма», нашедшие воплощение, по мнению Белого, в творчестве русского классика, трезвости, ясности духа и «благородному одиночеству» героев Ибсена.

---

40. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Не ранее 5 февраля 1906. Москва>[1]

Многоуважаемая, дорогая и близкая мне
Александра Андреевна,

спасибо за Ваши утешительные письма. Мне от них тепло и радостно. Особенно сегодня: день весенний. Кто-то ласково засыпает нас потоком синих подснежников. Вот из них выставил солнечную головку свою желтый одуванчик. Скажешь, что небо, а в небе — солнце. Будет ночь. Месяц сменит солнце, и тогда одуванчик станет совсем бледный — бледный и воздушный.

Отчего болезни? Не знаю. Думаю, что цельный человек избавится от болезней в далеком будущем. А средства избавления: 1) умереть, 2) преобразит<ь>ся. Если есть болезни, значит всему роду человеческому грозит уничтожение (это так). И только решимостью долга и *верой* в благо решимости можно обезопасить болезнь.

День весенний. Еще — холодно. А уж к середине дня заструятся струйки. Заструятся и к вечеру смерзнут. И когда будет часто происходить это, вечера будут прозрачные, хрупкие. Небеса ояснят город, а под ногами захрустит струевой ледок, точно на морском берегу ракушки.

Глубокоуважаемая, милая Александра Андреевна, бесконечно радуюсь Вашему «*полегчанию*», ужасно хорошо, что Вы теперь против истерики. Истерика — мой злостный враг, и теперь не существует того главного, что обусловливало иной раз наше различие.

Желаю Вам всего, всего лучшего.

Цветов и легкости.

Остаюсь глубокоуважающий Вас и горячо любящий

Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 38 и 39. Датируется по связи с ними.

---

41. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<10 или 11 апреля 1906. Москва>[1]

Глубокоуважаемая и всегда любимая Александра Андреевна, я получил письмо от Саши. Он укоряет меня в том, что я послал Вам открытки[2]. Вы на меня обижены. Верьте, я не хотел Вас оскорблять. Причин у меня не было, да и кроме того: Вас-то я менее чем кого-либо хотел бы обижать. Я был как бы в трансе. Нервы у меня оборвались. Я не помню, почему, как я Вам послал. Верьте, что я ежеминутно готов к смерти и стою за границами личных отношений и счетов. Будучи в таком состоянии, не мог я так *мелочно* намеренно обижать. Но если Вы оскорблены, я не могу у Вас просить прощенье, потому что прощенье просить или получать — значит быть еще в области внешнего. Если Вы чувствуете меня, Вы и сами в себе меня простите; если непонятен я, внешним прощением меня Вы не искорените у себя в душе отврат от меня. Я прощения не прошу. Я говорю только: мне горько, что Вы обижены на меня. Вас обижать не хотел я. Скоро Вам напишу (завтра, послезавтра) подробно и важно <?>. Написал бы и теперь, да рухнули мои нервы. Я могу манекенно улыбаться Гюнтеру[3] и вести литературные разговоры, а в душе — мука, мука. Я хочу только горних слов и орлиных поступков — знайте, Александра Андреевна. На все прочее я начинаю стонать и внутренно кричать от боли. Мне показалось, что Вы — не горняя, не орлиная. Не знаю, не знаю. Все напишу на днях[4].

А пока остаюсь глубокоуважающий и любящий Вас, но не склонивший головы

Борис Бугаев

---

[1] Датируется по связи с п. 42 и письмами Блока и Л. Д. Блок к Белому от 9 апреля 1906 г. (см. п. 150 основного корпуса).

[2] См. п. 150 (основной корпус), примеч. 1. Конфликт, затрагиваемый в письме, отражает ту драматическую стадию в истории общения Белого с семьей Блока, которая наступила после его объяснения в любви Л. Д. Блок (26 февраля 1906 г.) и начавшейся неразберихи во взаимоотношениях, вызванной тем, что Л. Д. Блок колебалась в выборе между Блоком и Белым и уклонялась от принятия определенного и беспрекословного решения.

[3] См. п. 148 (основной корпус), примеч. 3. Ср. позднейшую запись Белого, характеризующую апрель 1906 г.: «...приезжает в Москву Ганс Гюнтер, часто бывает у меня и рассказывает много "*смутительного*" о Блоке, Иванове, Чулкове» (РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 34 об.). О встречах с Белым в Москве Гюнтер рассказал в своих воспоминаниях (Guenther Johannes von. Ein Leben im Ostwind. Zwischen Petersburg und München. Erinnerungen. München, 1969. S. 131—134; Иоганнес фон Гюнтер и его «Воспоминания» / Статья, публикация, примечания и перевод К. М. Азадовского // *ЛН. Т. 92. Кн. 5.* С. 347—348).

[4] Это намерение не было исполнено: 15 апреля Белый приехал в Петербург, где пробыл до начала мая. Об отношениях с Кублицкой-Пиоттух в этот приезд Белый вспоминает: «Дипломатия восстановилась-таки: Александра Андреевна меня приняла, положив гнев на "*сдержанность*"; выказала удивительное терпение <...>» (*О Блоке.* С. 228).

---

42. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

13 апреля 1906 г. <Петербург>[1]

Ваши открытки, Боря, посланы не «с горних и не с орлиных высот». Мне было оскорбительно, потому что я этого Вашего поступка ничем не вызывала. Вы пи-

шете: «Мне показалось, что Вы не горняя и не орлиная». Вы и не ошиблись: я земноводная, хотя умею подниматься на горы... Об «открытках», стало быть, исчерпано. К этому вопросу можно уже и не возвращаться. Затем еще нечто:

Вы пишете: «Я хочу только горних слов и орлиных поступков — знайте, Александра Андреевна. На все прочее я начинаю стонать и внутренно кричать от боли».

. . . .

Я, Боря, не могу всегда ручаться за орлиность своих поступков и слов, хотя очень умею любить орлиное, очень умею и ненавидеть змеиное (ехиднино). Но между орлиным и змеиным есть человеческое, и это последнее мне свойственно в высшей степени.

Думаю, что не совершила ничего низкого и злого. Верю в это.

Александра Андреевна

---

[1] Ответ на п. 41.

---

43. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Начало мая 1906? Дедово>[1]

Глубокоуважаемая и близкая, близкая,
Александра Андреевна,

люблю Вас. Хочу Вам *сказать*. Но что сказать?

Слышу рев водопадов. Это миры ревут. Ревмя ревут миры — водопады.

Но водопады — водопады ветра. Ветряный пролет всюду. Все овеяно. Все кричит голосом ветра. Дымовая труба поет. И куст кланяется в одну сторону полям. И вершины дерев танцуют.

О том же, — все о том же.

И птицы кричат. И летучие черные ножницы режут ткани пространств. Это — ласточки. И цветут цветы.

И все кружится, волнуемое ветром. И никто ничего не понял, не поймет. И придет Смерть, и скажет: «*Да*».

И сказав, развеется в ветре.

И миров не будет. И будет один ветер. Он затанцует в пространстве. Это — царь, это — слово. Это — свет миру. «И свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму»[2].

И ветер тьму развеет.

И тьма умрет.

И смерти не будет.

А пока —

— ничего не понимаю. Удивляюсь взмахам ветвей древесных, да поклонам куста полям и далям. Радостно вспоминаю Вас, и смеюсь, и хочется плакать.

И тихо на сердце. И бирюза души невозмутима. Да и нет души — есть пространства.

Глубоколюбящий и нежно преданный Вам

Боря

[1] Датируется предположительно, на основании образно-тематической близости с письмом Белого к Блоку от 5 мая 1906 года (п. 154).

[2] «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин. III, 19).

44. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

11 мая 1906 г. <Петербург>[1]

Милый Боря, спасибо за письмо. Как я была ему рада! Милый Боря, мы с Вами правда близки. Но временами я чувствую это с остротой и ясностью. Только что пережила часы тишины, радости несказанной и любви беспредельной. Были такие часы. Смеялась и плакала, ***ничего не понимала***, удивлялась воде, деревьям в окне, и, может быть, в первый раз в жизни нежно, смеясь и плача, любила всех прохожих и проезжих. Были дни — я что-то знала и ничего не понимала. Это было тихое ликование, и препоясаны чресла, и светильники горящи. Все эти дни хотела Вам писать, но боялась сказать и никому, даже Вам, не открывалась. А теперь рада рассказать Вам.

В страданьи блаженства стою пред тобою,
И смотрит мне в очи душа молодая,
Стою я, овеянный жизнью иною,
Я с речью нездешней, я с вестью из рая.
Слетел этот миг, не земной, не случайный,
Над ним так бессильны житейские грозы,
Но вечной уснет он сердечною тайной,
Как вижу тебя я сквозь яркие слезы.
И в трепете сердце, и трепетны руки,
В восторге склоняюсь пред чуждою властью,
И мукой блаженства исполнены звуки,
В которых сказаться так хочется счастью.

(*Фет*)[2]

Милый мой Боря, милый мой, милый брат мой. Как я люблю Вас.

Ваша Александра Андреевна

[1] Ответ на п. 43.

[2] Весь текст 3-го стихотворения (1882) из цикла «Romanzero».

45. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

22-го мая <1906>[1]

Глубокоуважаемая, милая, милая Александра Андреевна,

Вы меня утешили. Спасибо. Мы близки. Часто сознаю я это. Часто думаю о Вас теперь, когда шумит ветер. Вы знаете *«часы тишины, радости несказанной и*

любви беспредельной», — я жизнь свою полагаю за эти часы. Вся жизнь моя — сложности, возникающие на основании то *приближения*, то *отдаления* этих часов.

У всех есть проблески несказанного. Эти проблески — ореол Света над жизнью. Я же хочу, чтобы сама жизнь была только ореолом света над такими часами. Если свет для одних *о жизни*, для меня жизнь — *о Свете*. Обращая жизнь в ореол, я должен воплотить несказанное в жизни, *сказать несказанное* — вот мой трагизм, вот моя боль, и радость, и мучение крестное. *Сказать для себя в себе*. Решить в Вечности свое недоумение, с тем чтобы в Вечности себя погубить или воскресить. Лезвие Дамоклова Меча пересечет ли Душу? Не знаю. Но хочу радоваться боли и ужасу своему, потому что я смело иду в гибель вечную или во спасение вечное. *Жизни своей не пожалею* для спасения, как и для гибели.

Милая, милая, милая Александра Андреевна, радуюсь Вам, радуюсь письму Вашему, *ничего не понимаю*; не хочу *скорых понятий*, хочу *понять* в Вечности пред лицом Всевышнего *на Страшном Суде*, чтобы идти сразу в огнь вечный или во спасение вечное.

Так рад, так рад! Так люблю Вас! Так близки Вы мне!

Любящий Вас глубоко
Боря.

---

[1] Ответ на п. 44. Написано в день переезда из Москвы в Дедово.

---

46. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

8-го августа <1906>. Вагон[1].

Дорогая, милая Александра Андреевна,

сейчас у нас был разговор с Любой[2]. Люба сказала, что нам нельзя видеться. Я этого не могу. Я не могу не видать Любу. Люба сказала мне, что нам нельзя видеться, а я не могу не видать Любу. Все равно я увижусь с ней: в Петербурге, в других городах, за границей — все равно. Меня не будут принимать, а я *буду, всю жизнь буду* приходить туда, где Люба. Я пережил ужасы. Я реально пережил все, что переживают самоубийцы и убийцы. Я сначала хотел убить себя, потом Любу, потом Сашу. Демонизм во мне рос, все рос. Сейчас со мной что-то невероятное: я увидел неправду всего этого. Неправду самоубийства (я люблю Себя) и неправду убийства (я люблю Сашу, я безумно люблю Любу). Мне остается позор унижения. Милая А<лександра> Андреевна, унижайте меня, пусть меня унижает Саша, пусть меня унижает Люба — а я буду приходить туда, где Люба. Я подвергнусь *«всем распятьям, всем цепям»*[3]. Может быть, позор унижения вернет мне Христа, Любу, всех вас, которых я люблю. Прогоняйте меня, не принимайте меня — я Ваша собака, готовая подвергнуться хлысту. Я хочу позором и страданием вернуть себе душу: одного я *НЕ МОГУ*: быть вдали от Любы.

Вместе с тем, *клянусь*, я готов быть братом Любы — она не верит: она убедится в этом.

Целую Вас.

Ваш несчастный
Боря.

P. S. До 22-го я в Дедове, потом с неделю в Москве, а потом переезжаю в Петербург. Не осудите, *НО БИЧУЙТЕ*. Я готов на все: все перенесу.

[1] Написано на пути из Москвы в Крюково (ближайшая к Дедову железнодорожная станция). В «Воспоминаниях о Блоке» Белый сообщает: «Я через два уж часа лечу в Крюково, сваливаюсь к С. М., ни на что не похожий; С. М. со мной возится <...>» (*О Блоке.* С. 237; С. М. — Соловьев).

[2] См. п. 157 (основной корпус), примеч. 1.

[3] Цитата из стихотворения Брюсова «Бальдеру Локи» (1904): «Я предам, со смехом, тело // Всем распятьям! всем цепям!». В биографическом подтексте этого стихотворения — взаимоотношения Брюсова и Белого, подразумевавшегося в образе «светлого Бальдера». См.: Брюсов В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 388—389, 624; Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 336—338.

47. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Дедово. 11 августа 1906>[1]

Милая, дорогая Александра Андреевна!

Клянусь, что клятва моя не внушена этим голубым, святым днем наступающей осени, а что я воспользовался им для того, чтобы в форму ее не вкралось ничто истерическое, а только одна святая правда.

Клянусь, что Люба — это я, но только *лучший*. Клянусь, что Она — святыня моей души; клянусь, что нет у меня ничего, кроме святыни моей души. Клянусь, что *только* через Нее я могу вернуть себе себя и Бога. Клянусь, что я гибну без Любы, клянусь, что моя истерика и мой мрак — это не видать Любы, клянусь, что сила моей святой любви не может быть зла и «*о свете, о свете*». Клянусь, что я ищу Бога. Клянусь, что в искании этом для меня один путь: это Люба. Клянусь, что тучи, нависавшие последние недели надо мной, безвозвратно истаяли, и что покорность моя безгранична и терпение мое нечеловеческое, кроме одного: отдаления от Любы. Клянусь Вам, что я буду там, где Люба, и что это не страшно Любе, а необходимо и нужно. Клянусь, что если бы я согласился быть вдали от Любы, я был бы ни я, ни Андрей Белый, — никто, и что душа моя вся ушла в то, чтобы близость наша осталась. Нельзя человеку дышать без воздуха, а Люба — воздух моей души; истерика же моя только от безвоздушности моего теперешнего положения. Клянусь Любе, что, если я останусь в Москве, я погиб и для этого мира, и для мира будущего. И это далеко не просто переезд, а паломничество. Я могу видеть Любу хоть изредка, хоть раз в неделю (час, два), и уже я опять могу жить, и идти моим путем.

К нашей встрече с Любой в Петербурге готовлюсь, как к молитве (в Петербурге или где бы то ни было), как к Таинству.

Если Люба скажет «*да будет*», я скажу: Христос со всеми нами!

Ваш любящий Вас Боря

P. S. Приблизительно в тех же выражениях пишу я и Саше и Любе, пишу об этом, чтоб Вы знали, что клятва моя обращена ко всем (на случай, если какое-нибудь из писем не дойдет).

¹ Датируется по связи с письмом Белого к Блоку от 11 августа 1906 г. (того же содержания — п. 161 основного корпуса) и с ответным письмом Кублицкой-Пиоттух (п. 48).

48. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<12 августа 1906. Шахматово>[1]

Милый мой Боря, никогда я не переставала любить Вас и помню все драгоценные моменты, когда начала сознавать Вас. Глубоко чту Вас за все, что переживала от Вас. Потому и потерять Вас для меня горько, и я не верю, что потеряю, *потому что верю в Бога.* И чтобы Вы, Боря — Андрей Белый, могли вернуться ко мне и ко всем нам, любящим Вас так, как, быть может, никто Вас не любит, надо нам не видеться некоторое время, надо Вам не видеть Любу. На днях я, думая о Вас, в первый раз со времени любви моей к Вам, назвала Вас в уме Бугаевым и Борисом Николаевичем. Твердо знаю, что это не Вы. И пока будет Бор<ис> Ник<олаевич> Буг<аев>, нельзя его пускать в Петербург.

Моя любовь к Вам выдержала жесточайшее испытание. Вы два раза угрожали смертью Саше[2], и я не перестаю любить Вас.

Боря, такая любовь не часто встречается. Ведь я мать Саши. Умоляю Вас, ради нас всех четырех, *тайно связанных, не нарушайте, не разрывайте связь, не приезжайте теперь.*

Целую Вас.

Глубоко Вас любящая

Александра Андреевна

12 августа 1906 г.

¹ Ответ на п. 47.

² Ср. слова Белого о возможной «смерти одного из нас» в письме к Блоку (п. 152, основной корпус). Подразумевается также вызов на дуэль, посланный Белым Блоку 10 августа 1906 г. с Эллисом. См. п. 162 (основной корпус), примеч. 2.

49. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

16-го августа <1906. Москва>[1]

«Багряницу несут
И четыре колючих венца».

(А. Белый. Блоку)

Многоуважаемая и милая Александра Андреевна,

Я могу теперь писать Вам только изваянные слова. Потому и воздержусь от ответа, пока Вы не скажете мне, писали ли Вы *до* или *после* получения моей клятвы[2]. *Это* мне нужно знать, чтобы мочь ответить от *чистого сердца.*

С нетерпением жду только одного слова: *до* или *после*. Получив ответ, сейчас же *на все* отвечаю.

Любящий Вас
Борис Бугаев

---

[1] Ответ на п. 48. 18 августа Белый отправил Блоку из Москвы письмо почти дословно того же содержания (см. п. 164 основного корпуса и примечания к нему).

[2] Имеется в виду п. 47.

---

50. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

23 августа <19>06 года. <Петербург>[1]

Глубокоуважаемая и дорогая
Александра Андреевна,

теперь я могу Вам ответить на письмо от чистого сердца[2].

Мне хотелось бы, чтобы в Вашем сознании, как и в сознании Саши и Любы, отпечатлелось, *насколько* важно, ритуально, спасительно, сериозно мне переехать в Петербург. Ведь если я, до последнего времени такой искренне боязливый и робкий, так упорно настаиваю на своем переезде, то двигательные причины тому <в> высшей степени сериозны, неистеричны, немгновенны, не литературны, и не четыре, пять, 25 месяцев могут изменить эти причины. И если четыре месяца тому назад Люба признала необходимость для меня (для спасения моей души от вечной гибели) жить в Петербурге, неужели могли Вы полагать, что эти причины могли измениться? Мне прискорбно, что я могу нарушить своим переездом Ваше доброе (и столь ценное мне) и ласковое расположение ко мне; но ведь если я не перееду, *меня не будет на этом свете*: это же факт, факт, и я постоянно ужасаюсь, что никто не видит, насколько мой переезд стоит в связи с моей верой «в *свет*», без которой я отказываюсь существовать. Летом меня мучила истерика: но как она создалась? *Исключительно* из боязни, что Люба забудет, насколько важно мне переезд. Страх потерять внутреннее разрешение жить в Петербурге удесятерял истерику, а удесятеренная истерика создавала, по-моему, в Любе убеждение, что мне нельзя жить в Петербурге. Я чувствовал роковую путаницу во всем и ужасался, что на расстоянии не разобьешь марева. (Совсем как с освоб<одительным> движением: говорят: нельзя отменить репрессий, пока есть революция, а революция-то вся от репрессий: создается заколдованный круг, из которого нет выхода). Это марево расстояние только усилит, а переезд мой может разбить. Этого никто не понимает, и вот почему, не будучи в состоянии спокойно, обстоятельно изложить *объективную правду* моего переезда (для этого нужно много часов готовиться почти молитвенно, чтобы устно уметь передать *правду*), я мог только прибегнуть к форме клятвы, чтоб показать *степень* сериозности моего решения: ведь я *клятвы* на ветер не даю и не «*психология*» их порождает. Ведь Вы любите меня, а в письме предлагаете мне мучительную и верную смерть. Я Вас глубоко люблю, ценю и уважаю, но жизнь

человека есть *ценность*, с которой нужно бережно обращаться, пока «*свет*» указывает человеку путь.

Итак, я должен глубоко, глубоко извиниться перед Вами, что нет у меня средств и возможности исполнить Вашу жаркую просьбу, и я *д о л ж е н* переехать в Петербург, чтоб спасти свою жизнь. Ведь мой переезд *никого* не губит, а меня он спасет. Это *так*, это *н е* литература. И пока Вы будете думать, что я могу от *настроения* измениться, Вы меня не знаете. Мне очень ценно, милая Александра Андреевна, что Вы обращены не к Б. Н. Бугаеву, а к «*Боре*» и «*Андрею Белому*». «*Боря*», «*Андрей Белый*», конечно, ближе ко мне (каким я себя в себе вижу), чем Б. Н. Бугаев, но ни «*Боря*» (что-то порхающее и переменчивое), ни Андрей Белый (декадентский писатель) далеко еще не *Я**. *Б. Н. Бугаев, Боря, Андрей Белый* — все это еще «*психология*» во мне. Я — настоящий только там, где гносеологические нормы мне очерчивают *путь, долг, свет* и *ценность*. И во имя всего этого я *должен* переехать. Простите же, простите, дорогая, любимая, многоуважаемая Александра Андреевна — простите и поймите меня в *моем*, потому что, когда Вы меня рассматриваете «*в своем*», это еще не я.

Остаюсь глубоко любящий, уважающий и преданный Вам

Боря

---

[1] Написано в день приезда Белого в Петербург.

[2] Имеется в виду п. 48.

---

51. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Конец августа 1906. Петербург>[1]

Глубокоуважаемая и милая
Александра Андреевна,

надеюсь, что Вы получили мое заказное письмо, в котором я пытаюсь хотя бы и в двух словах, но совершенно точно дать Вам прямой ответ от чистого сердца на Ваше, меня столь тронувшее письмо. Там я мотивировал свой переезд в Петербург[2]. Мне остается только прибавить, что *все* там изложенное *истинная* правда — не литература, не истерика, не натяжка, не преувеличение. В таких словах, и в таком положении, когда духом становишься на путь всех опасностей, *не пишут литературных писем*. И если Вы меня действительно любите, Вы мне поверите; иначе я был бы не я, а шарлатан.

Полагая, что Вам известно мое письмо, я не возвращаюсь к мотивам моего переезда. Я мог бы пространно, подготовившись почти молитвенно, их изложить Вам; но мне было бы приятней, если б Вы меня избавили от необходимости к ним возвращаться: слишком нужен тогда *сериозный* и *важный* разговор между нами, а я так адски устал за лето, так разбит, так парализован тоской, которая меня теперь

---

* Подчеркнуто трижды.

преследует. Повторяю, мне было бы *очень* трудно говорить, но я *готов*, если Вы пожелаете.

Верьте мне, что я бесконечно люблю Вас и мне тем горестней не исполнить Вашего доброго совета мне не переезжать в Петербург. Если бы были силы, я мог бы исполнить его. Но теперь мне нет иного выбора между моей смертью и переездом.

Любящий глубоко Вас и всегда искренне уважающий

Ваш Боря

---

[1] Датируется по связи с п. 50 и с письмом Белого к Блоку от 28 августа 1906 года (п. 169 основного корпуса).

[2] Имеется в виду п. 50. В течение нескольких дней, последовавших после приезда Белого в Петербург, Блок и его близкие никак не реагировали на его появление и на письма. Белый вспоминает: «Каждый день ожидал приглашения: не было!» (*О Блоке*. С. 240).

---

52. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Не ранее 8 сентября 1906. Петербург>[1]

Милая, милая Александра Андреевна,

истерика миновала для меня. Теперь я верю опять в свои силы, в свою готовность ставить цели будущему, в свою способность осуществлять в будущем свет и жизнь. Истерика угасает перед зарей моей усмиренности. Мне тихо и хорошо.

Любящий Вас Боря

P. S. Теперь после разговора с Любой[2] и после готовности *всегда* говорить с Сашей (Саша иногда уклоняется от разговора со мной) я готов говорить с Вами. Не знаю, готовы ли Вы. Предупреждаю, что я соглашаюсь с Вами говорить только при условии Вашей до последних глубин открытости[3]. При ином отношении я сознательно запахиваюсь и не даю отчет в мотивировке своих поступков. Я верю в свет и хочу *общей* правды и готов всею жизнью для истины пожертвовать.

---

[1] Написано на бланке «Меблированный дом Бель-Вю» (Невский пр., 66, против Аничкова дворца). В меблированных комнатах на углу Невского пр. и Караванной ул. Белый поселился сразу же по приезде в Петербург (23 августа).

[2] Свидания Белого с Л. Д. Блок и Блоком происходили 7 и 8 сентября 1906 г. на новой квартире (Лахтинская ул., 3, кв. 44), где Блок с женой поселился отдельно от матери. 6 сентября Л. Д. Блок отправила Белому записку: «Приходите, если хотите, в четверг 7-го сентября вечером» — и сообщила новый адрес (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18). Предположение о том, что знаменательное объяснение между Белым и Блоками произошло 30 и 31 августа (см.: *ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 256), основанное на записке Л. Д. Блок к Белому от 29 августа с приглашением прийти «завтра, 30-го, только на часок среди дня, часа в 4», не соответствует действительности: в записке от 29 августа новый адрес не был указан — предполагалось, что

свидание состоится по старому, известному Белому адресу офицерских казарм Гренадерского полка; между тем, описывая в «Воспоминаниях о Блоке» этот визит, Белый указывает, что был у Блоков вечером «где-то у Каменноостровского, в маленькой очень квартирке, обставленной бедно: под крышей» (*О Блоке*. С. 241) — т. е. на Лахтинской улице. В ходе объяснений было принято решение «расстаться, чтоб год не видаться; в себе разглядеть *это все*; отложить все решенья; по-новому встретиться» (*Между двух революций*. С. 92). Ср. письмо Л. Д. Блок к Белому от 13 сентября 1906 г.: «...верю в нашу дружбу с Вами, и хочу, чтобы Вы завоевали ее. Но не забывайте, что за нее надо бороться Вам не только с "внешними врагами", но и с собой» (РГБ. Ф. 25. Карт. 9. Ед. хр. 18).

[3] Во время своего пребывания в Петербурге в конце августа — начале сентября 1906 года Белый с Кублицкой-Пиоттух, по всей вероятности, не виделся.

---

53. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

19 сентября 1907 г. <Ревель>

Милый Боря, сижу в Ревеле[1], думаю о Вас с самой горячей нежностью; хочется по этому поводу что-нибудь сделать, как говорил в детстве Сережа. И вот пишу Вам «для ласки». Милый, хороший Боря, не забывайте и Вы меня. Все, что Вы пишете[2], или почти все, так близко мне, так глубоко, по-всегдашнему переживается мною. Так я счастлива, что Вы с Сашей сговорились[3]. Теперь оба вы поняли, наконец, *настоящую ценность* друг друга.

Саша написал мне сюда на днях: все люди стали серьезнее[4]. И мне самому все серьезнее и грустнее. Боже мой! Это ли не радость для меня, слышать от него такие слова.

Напишите о себе, милый Боря[5].

Очень Вас любящая

Александра Андреевна
А. Кублицкая-Пиоттух

Мой адрес:
Ревель. Малая Батарейная, № 10. Мне.

---

[1] Кублицкая-Пиоттух жила в Ревеле с середины сентября 1907 г., по месту новой службы Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух.

[2] Подразумеваются, видимо, выступления Белого в печати.

[3] Подразумеваются встреча и продолжительная беседа Белого и Блока в Москве 24—25 августа 1907 года.

[4] Имеются в виду фразы из письма Блока от 15 сентября 1907 г.: «Все люди стали серьезны. Мне все серьезнее и все грустнее» (*Письма к родным, I.* С. 169).

[5] Ответное письмо Белого неизвестно (вероятно, утрачено); о его характере можно судить по письму Кублицкой-Пиоттух к Е. П. Иванову от 2 октября 1907 г.: «...я написала как-то недавно Андрею Белому. Написала коротко, что рада ужасно их последнему согласию с Сашей и люблю его и вспоминаю. Он мне написал длинное, хорошее, серьезное письмо, без малейшего декадентства. Страшная усталость и сломленность во всем, но боевой дух еще держит его. Ужасно много в Боре прекрасного огненного страдания и рядом какие-то проявле-

ния мелкие, изгибы какие-то, ужасно страшные, соблазнительные и, главное, потому страшные, что он ни за что не хочет каяться, никогда» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 310).

---

54. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Брюссель. 2-го апреля <1912>[1]

Милая, милая Александра Андреевна!

Христос Воскресе![2]

Вот уже скоро месяц, как собираюсь Вам писать, но все оттяжки[3]. В Петербурге не было времени Вас видеть: все время съел Вячеслав[4]. Это ничего, что он поедает время, руководит, учит, терзает, нежничает, гневается. За два раза моей жизни в Петербурге с ним[5], я все-таки очень, очень и как-то реально его полюбил; даже перестал сердиться на смесь детскости с нетопыриностью.

В Москве навалились сразу дела личные и дела мусагетские[6]. Как-никак, «*Мусагет*» — это дитя о семи нянек без глазу — отнимает непродуктивно так много, много времени. А теперь еще и журнал.

Поэтому три недели в Москве тоже промелькнули незаметно, и мы с женой едва-едва успели уложиться, чтобы вовремя бежать из Москвы[7]. Эти бегства из Москвы стали для меня периодическими. Оттого ли, что старею, оттого ли, что душа развивается, только я *реально* ощущаю *астрал* больших городов со всеми ему присущими мерзостями. Моя мечта — переселиться в деревню. И я бы убежал вовсе из города, но жена не велит: говорит, что позорно покидать свой пост.

Жена... — как много произошло для меня за то время, когда мы не видались; вот я и женился[8]; и мне кажется, что целая *бездна* отделяет меня от того времени, как я не был женат. Ужасно хотелось бы, чтобы Вы, милая, милая, увидели мою жену и полюбили ее: я так счастлив и так спокоен, хотя извне жизнь трудней, чем когда-либо.

В прошлом году мы сделали большое путешествие; прожили месяц в Сицилии, $2^1/_2$ месяца в Тунисии, в великолепной арабской деревне[9], в великолепном арабском домике с изразцовыми полами, комнатушками, точно птичьими клетками, и с плоской крышей, откуда был вид на Карфаген, горы и бирюзовое озеро, розовое от его покрывающих фламинго; были в Керуане, священном городе Тунисии, стоящем на краю Сахары, откуда идут караваны до Тимбукту[10]. Потом через Мальту переправились в Египет и прожили там с месяц[11], далее 2 недели прожили в Иерусалиме в дни Св. Пасхи[12]. Иерусалим произвел на нас с женой великолепное впечатление: он — жив, жив, жив; и он — о будущем, которое *б у д е т*...[13]

После мы поплыли сирийским берегом, чтобы видеть Сирию и часть Малой Азии: мимо Кайфы, Бейрута, Александретты, Мерсины, Родоса. 2 дня плыли Архипелагом[14]: чудесней места нет на земле! Вспоминался Вл. Соловьев: «Что-то здесь осиротело. Кто-то пел и замолчал»[15] (никаких морских чертей не было)[16]. Потом плыли мимо Митилен, Смирны, Дарданелл. Останавливались в Константинополе[17]. И потом через Одессу вернулись в Волынскую губернию, где у матери моей жены проводили лето[18].

Милая Александра Андреевна!

Вы удивляетесь, что я пишу Вам так много о нашем путешествии: но оно невольно осталось в душе, как пятимесячная беспрерывная песнь. Никогда я не думал, что

простое передвижение по земле, смена земель, культур и наречий, так глубоко освежает и так вдохновляет человека. Или это оттого, что у меня был такой незаменимый спутник (моя жена занимается гравюрой); и путешествовать с *художником* легко, радостно и глубоко назидательно. Ведь прошлогоднее мое путешествие было моими запоздалыми *Wanderns'Jahre*[19]. В душе и сейчас поется словами Müller'а:

«Das Wandern, das Wandern!»

(«Die schöne Mullerin»)[20].

Мы с женой так полюбили Восток, что когда продадим наше кавказское имение[21], двинемся опять из Европы; и на этот раз основательно глубоко: пока метим в Индию[22] (в Каире мы видели образчики индусской флоры (Каир на одном уровне с Кашмиром); и она — восхитительна).

Отчего Саша не путешествует? Я не понимаю теперь путешествий по Европе. Следует хоть раз на несколько месяцев стать *не на европейскую* землю, чтобы многое реально узнать и понять.

Так прежде для нас были какие-то декоративные арабы, о которых уже все перестали думать, существуют ли они. Между тем они — есть; и они — великолепие далеко не декоративное. Мы с ними прожили $2^1/_2$ месяца, узнали и полюбили реально, всею душой — полюбил я арабов до того, что еще теперь, год спустя, я вспоминаю милые покинутые места и говорю строчками дурацкого Гумилева (которого все же люблю за то, что он любит Восток):

Я тело в кресло уроню,
Я свет руками заслоню
И буду плакать о Леванте[23].

Вот!..

Написал и улыбаюсь: до чего письмо вышло глупым. Дело в том, что я разучился писать. И если я с моей теперешней ленью написал Вам такое большое письмо, то это потому, что хочу, чтобы наша давнишняя переписка (помните?) возобновилась. Это письмо — приглашение к переписке. Итак, дорогая Александра Андреевна, крепко жду от Вас письма и в скорейший срок.

Теперь мы в Брюсселе. Едва приехали, как схватили сильнейший бронхит (я и жена); всю святую неделю лежали в постелях заброшенные и беспомощные. И теперь еще только поправляемся. Мы пробудем здесь 2 месяца. Потом поедем к д'Альгеймам под Париж[24]; и в середине июня, сделав маленькую поездку по Рейну, вернемся. Наш адрес: Belgique. Bruxelles. Place S-te Gudule 25. A monsieur Boris Bougaïeff.

Остаюсь искренне уважающий Вас и сердечно преданный

Борис Бугаев

P. S. Передайте Саше мой привет: ему пишу большое письмо[25].

---

[1] Датировка — по старому стилю. На конверте почтовые штемпели — отправления: Brussel. 16. IV. 1912; получения: СПб. 6. 4. 12. В Брюссель Белый и А. А. Тургенева приехали из Москвы 20 марта / 2 апреля.

[2] Пасха в 1912 году приходилась на 25 марта.

[3] В письме к Блоку от 8 или 9 марта 1912 г. Белый просил: «...передай Александре Андреевне, что пишу ей, что 1) спасибо за хороших несколько слов <...>» (С. 443 наст. изд.). Письма, о котором говорит здесь Белый, среди писем Кублицкой-Пиоттух к нему не имеется.

[4] Белый жил в Петербурге с 21 января до конца февраля 1912 г. на квартире Вяч. Иванова.

[5] Ранее Белый останавливался на «башне» Вяч. Иванова во время своего пребывания в Петербурге с конца января до начала марта 1910 года.

[6] Андрей Белый был одним из учредителей и идейных руководителей издательства «Мусагет», основанного в Москве в 1909 г. и приступившего с 1912 г. к выпуску журнала «Труды и Дни» (под редакцией Андрея Белого и Э. К. Метнера и «при ближайшем участии», как сообщалось в объявлении о подписке, А. Блока и Вяч. Иванова).

[7] Возвратившись из Петербурга в Москву в последних числах февраля 1912 г., Белый и А. Тургенева 16 марта выехали за границу.

[8] Белый связал свою жизнь с А. Тургеневой в 1910 г., официально их брак был зарегистрирован в Берне 23 марта 1914 года.

[9] Имеется в виду Радес, деревня близ Туниса.

[10] Поездка в Кайруан состоялась 26—27 февраля (н. ст.) 1911 г. См.: Андрей Белый. Кайруан // Воля России (Прага). 1923. № 1. С. 1—19.

[11] Белый и А. Тургенева отплыли из Туниса 8 марта (н. ст.) 1911 г., прибыли в Порт-Саид 14 марта.

[12] В Иерусалим Белый и А. Тургенева прибыли 10 апреля (н. ст.). Пасха в 1911 г. приходилась на 10/23 апреля.

[13] Аналогичные впечатления — в письме Белого из Иерусалима к А. С. Петровскому: «Храм и Гроб вовсе неожиданны, странны, живы: прошлое, будущее. Церкви здесь *уже* соединились» (ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 33. Оф 4889).

[14] Греческие острова в Эгейском море. Это морское путешествие проходило в конце апреля (н. ст.) 1911 г.

[15] Контаминация 1-й и 4-й строк стихотворения-четверостишия Вл. Соловьева «Мимо Троады» (1898), написанного во время его второго путешествия в Египет.

[16] Намек на стихотворение Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche. Слово увещательное к морским чертям» (1898), написанное во время плавания через Эгейское море по пути в Египет и начинающееся четверостишием:

Черти морские меня полюбили,
Рыщут за мною они по следам:
В Финском поморье недавно ловили,
В Архипелаг я — они уже там!

[17] 1—3 мая (н. ст.) 1911 г.

[18] Белый и А. Тургенева прожили в Боголюбах — имении С. Н. Кампиони (матери А. Тургеневой) и ее мужа В. К. Кампиони в Волынской губернии близ Луцка, — до начала августа 1911 года.

[19] Wanderjahre (*нем.*) — годы странствий. Источник выражения — заглавие романа Гете «Wilhelm Meisters Wanderjahre» («Годы странствий Вильгельма Мейстера», 1821).

[20] «Странствие, странствие!» («Прекрасная мельничиха») (*нем.*). Белый цитирует слова-рефрен из первого стихотворения («Das Wandern») песенного цикла немецкого поэта Вильгельма Мюллера (1794—1827) «Прекрасная мельничиха» («Die schöne Mullerin»), положенного на музыку Ф. Шубертом (1823).

[21] См. п. 261 (основной корпус), примеч. 8.

[22] Неосуществленное намерение.

[23] Заключительные строки стихотворения Н. С. Гумилева «Я тело в кресло уроню...», впервые опубликованного в альманахе «Антология» (М., «Мусагет», 1911. С. 69—70); под заглавием «Ослепительное» вошло в книгу Гумилева «Чужое небо» (СПб., 1912). Другую цитату из того же стихотворения Белый дважды приводит, описывая свое пребывание в Тунисии (см.: Андрей Белый. Путевые заметки. Т. 1. Сицилия и Тунис. М.—Берлин, 1922. С. 269, 271). Белый познакомился с Гумилевым в декабре 1906 г. в Париже (см.: Литературное наследство.

Т. 85. Валерий Брюсов. М., 1976. С. 406—407), общался с ним во время своего пребывания в Петербурге зимой 1910 и 1912 гг. Ср. позднейшее (1931) стихотворение Белого «Пародия. Под Гумилева» (Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1966. С. 481—482).

24 Друзья Белого — Оленина-д'Альгейм, тетка А. Тургеневой, и ее муж, барон Пьер д'Альгейм имели дом в Буа-ле-Руа (вблизи Фонтенбло под Парижем).

25 См. п. 274 (основной корпус).

---

55. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

21 апреля 1912 г. <Петербург>[1]

Милый Боря, письмо Ваше застало меня в очень тяжелом. И поэтому не отвечала Вам до сих пор, несмотря на то, что самый факт получения от Вас письма был мне радостью. Хорошо Вы пишете о розовых фламинго. Хочется мне, чтобы Саша их увидал. Жить все труднее всем нам, и счастье Ваше, что у Вас есть Ваша Ася подле. С нею не страшно Вам в аду. Мне все время кажется, что надо что-то делать. И я готова делать, если бы указали что. Но некому указать. Вашу речь с эстрады слушала я жадно[2], кое-чего не поняла, и заключение о том, что, главное, *надо захотеть*, мне не ясно.

Если захотите, если это не явится обузой, напишите мне яснее, поучите меня по-прежнему. Спасибо Вам за хорошее письмо. И целую Вашу жену, если она позволит.

Всегда Вам преданная и любящая Вас

Александра Андреевна

---

1 Ответ на п. 54.

2 Имеется в виду лекция Белого «Современный человек», прочитанная в Петербурге в большой аудитории Соляного городка 23 февраля 1912 г. См. п. 273 (основной корпус), примеч. 4.

---

56. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Брюссель. 1912 года. 6 мая старого стиля[1].

Милая, милая Александра Андреевна!

Извиняюсь прежде всего за то, что не сразу Вам ответил. Мы с женой переживали очень странные (и скажу откровенно) очень *светлые события,* были очень взволнованы, были в Кёльне и т. д.[2] Только теперь все улеглось, и я могу со спокойным духом писать Вам.

Вы пишете, будто Вам кажется, что надо что-то делать. О, да! Это чувствую я определенно уже с 1908 года, когда чувство беспредметной тревоги о неведомом деле для меня достигло максимума. С 1909 до 1912 года история моей жизни вся связана с этим исканием.

Вы спросите: нашел ли я? Я отвечу: нашел для себя; и не *путь дела*, а узенькую, поросшую травою тропинку средь болот и безбережности, по которой иду, по которой идем с женою в надежде, что после лет ученья и дисциплины тропинка превратится в *Путь*, в большой жизненный *Путь*, нужный России.

Вы спросите: что же это за *тропинка*, как ступить на нее? На это я могу ответить лишь уклончиво и обще, ибо начало пути коренится для меня не в определенном учении, credo (учение, credo — все это приходит потом), а в определенном отношении к себе самому, к своим прошлым путям, к декадентству, символизму и мистике. Начало пути для меня в определенном смирении, в осознании прошлых личных ошибок и ошибок маленькой группы некогда тесно связанных друг с другом людей, далее: ошибок той группы, которые гордо думали, что они носители *нового слова жизни*, далее: ошибок всех вообще *передовых людей*; далее, интеллигенции; далее — души русского народа. Ибо *всё, всё, всё* — навеки соединено в неразрывном звене. И от моего личного поступка (с какой ноги стал) зависит непосредственно событие важное: мы все ответственны; нам был дан Божий Дар, талант, а что мы с ним сделали? Как безбожно мы обращались с прозвучавшим некогда призывом: скромным работникам на Ниве Божьей даны были бриллианты прозрений; эти бриллианты должны они были *взять, понести* и *донести* до определенного места. А они присвоили себе данные им Дары (высшим людям[3] все позволено — высшие люди по Благодати): они отнеслись к врученной ноше, как к собственности. Я не сужу, но я это о себе утверждаю: я был присвоителем чужих богатств, я играл ими («*Золото в лазури*», «*Симфонии*»); за это я был поражен гневом Божиим («*Пепел*»)[4], истекал кровью в Париже[5], умирал медленной смертию весь 1907 и 1908 год. И умирая медленной смертию, я винил не себя, а других: я — бичевал, писал о профанации, о кощунстве на Св. Духа; может быть, слова мои («Полемика в Весах»)[6] и имели долю истины, но... это было все о соломинке в чужом глазу. Бревна своей гордыни не видел я[7]: и нес справедливую кару.

Начало моего пути в очень простом: в переоценке себя самого, приведшей меня к абсолютному смирению. Я сознал, что я *нищ и гол*, что все *бунты, богоборчества, кризисы, забастовки* суть ничто иное, как *«ай моська, знать она сильна, коль лает на слона»*[8].

Слон, на которого я, моська, лаял, был «*Голос Безмолвия*»[9], ставший в то время для меня «*Голосом Совести*».

Я просто, как малый ребенок, заплакал и стал просить помощи: из переоценщика ценностей превратился в переоценщика переоценки. Отсюда же мое бегство от всех литературных кругов, от всех этих «*высших*», от которых *так дурно пахнет*[10]. Я не виню их: я устанавливаю факт.

И когда я смирился, многие слова, многие поученья, многие прежде с *высоты величия критикуемые истины* озарились иным, внутренним светом: смирение раскрыло глаза, и опять все события жизни, как некогда прежде (в 1900—1901 году), стали мне *прообразами*: я увидел буквы-символы; пришли люди и стали меня учить из букв складывать слоги; из слогов составлялись слова: словом, тогда-то я стал понимать шифр некоторых учений; мое смирение спасло меня: возгордился, пал, разбился, не умер — лежал с перевязанными ранами, встал, пошел...

Вот тогда-то дана была в жизни мне радость: моя Ася! Вся она в светлый миг моего пробуждения, как Светлое Обетование о прощении, как посланный небом Ангел вышла из Зари, воплотилась, протянула мне руку. И вот теперь мы идем вместе...

Вся она — заревой прорезь мрачно надо мною нависших туч: и земное счастье, и знак о мирах иных, и друг, и подчас руководительница.

Вы не поняли, милая Александра Андреевна, слов моих (на лекции) о том, что надо *захотеть*. Да: надо захотеть увидеть себя, и тогда увидишь вокруг себя: сумеешь разобрать шифр. Только для этого надо снять все случайные покровы, которые случайно сплела на нас жизнь: стать нищим и нагим — до последней черты смириться (видите, какое общее место — надо не бояться и общих мест). Тогда-то в душе прозвучит Голос Безмолвия.

Все кризисы, все индивидуальные постижения, мнения суть *иллюзии*. Я могу говорить глубокие вещи о судьбах людей и народов. Но если нет воспитания воли — все сон пустой.

Итак: *воспитание воли в мелочах* вслед за смирением. Раз сознанием к этому придешь неуклонно — помощь свыше будет в надежде. Раз *верой и надеждой* укоренишь в себе мысль об Учителе, раз будешь Учителя призывать, Учитель придет (явный или внутренний — как кому). На Пути моем уже раз был один реальный учитель, одно посланное небом лицо: оно помогло мне на время, помогло, быть может, и Асе[11]. А потом я остался один, но я знаю уж: будут Учители. Теперь Учитель Невидимый, кажется, посылает нам учителя видимого: мог бы назвать и имя его, и путь, и учение — но что до того. Путь, догмат, методы воспитания воли зависят от индивидуальности: Вам — то, мне — это. Корень всему — смирение, отношение к собственной мудрости как к просьбе голодающего, брошенной в пространство: «Накормите». И потом корень всему — воспитание воли. Я лет семь тому назад пережил иллюзию царственности; и вот «экс-принц» страны обетованной, я считаю себя учеником, которому завтра предстоит держать экзамен в приготовительный класс: предстоит пройти гимназию, университет, и уж только потом (к 40 годам) сознать себя *полезным* работником для России. Радость учиться — вот моя радость!..

Если Вы спросите меня, кто же Ваш видимый Учитель, в приготовительный класс к которому Вы поступаете, я скажу: «Это Рудольф Штейнер». Считаю дело его самым важным[12]. Считаю специальною его ролью дать через несколько лет России нескольких *воинов*.

Впрочем, это личное мое мнение: повторяю, дело не в нем, а в сознании своей малости и *необходимости воспитывать волю*. А лучшего воспитателя нам, декадентам и русским, я не сумею назвать из всех тех, кто *явно выходит* из тайных братств говорить с людьми. Ася очень благодарит Вас за внимание и просит передать сердечный привет.

Христос с Вами!

Остаюсь глубоко уважающий и любящий

Борис Бугаев

P. S. 3 недели наш адрес тот же[13]. Далее адрес таков: France. Près de Paris. Bois-le-Roi. Seine-et-Marne. Chez Monsieur Pierre d'Alheim. Мне.

---

[1] Ответ на п. 55.

[2] См. п. 276 (основной корпус). Ср. письмо Белого к А. С. Петровскому, отправленное из Кельна 7 мая (н. ст.) 1912 г. и передающее первые впечатления от лекции Штейнера: «Да, да, да, — он невероятен. Мы потрясены и даже... разбиты: вчера два часа слушали его в ложе и два часа вечером. Сегодня в 2 часа дня он назначил нам свидание» (ГЛМ. Ф. 7. Оп. 1. Ед. хр. 33. Оф 4889).

[3] «Высшие люди» — образная формула из философской поэмы Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (ч. 4).

[4] «Симфонии» и книга стихов и лирической прозы «Золото в лазури» (М., 1904) обозначают здесь ранний этап творчества Белого, книга стихов «Пепел» (СПб., 1909) — его творчество второй половины 1900-х гг., во многом контрастное произведениям предшествующего периода.

[5] Слова наделены не только метафорическим смыслом: в начале января 1907 года в Париже Белый перенес мучительную хирургическую операцию.

[6] Белый подразумевает свои полемические статьи, печатавшиеся в 1907—1908 гг. в «Весах», а также в других журналах и газетах, направленные против «мистического анархизма» и других проявлений «профанации» философско-эстетических устоев символизма.

[7] Евангельская формула: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» (Мф. VII, 3; Лк. VI, 41).

[8] Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Слон и Моська» (1808).

[9] См. примеч. 8 к п. 191 (основной корпус).

[10] Реминисценция из Ф. Ницше: «Скажите мне, звери мои: эти высшие люди все вместе — быть может, они *пахнут* не хорошо? О, чистый запах, окружающий меня!» и т. д. (Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. Пер. Ю. М. Антоновского. СПб., 1907. С. 328). Белый неоднократно прибегал к этим словам; ср. его письмо к Ф. Сологубу от 30 апреля 1908 г. (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год. Л., 1974. С. 132, 134).

[11] По всей вероятности, подразумевается А. Р. Минцлова, в 1909—1910 гг. оказавшая на внутреннюю жизнь Белого чрезвычайно сильное воздействие. Характеризуя (в автобиографическом письме к Р. В. Иванову-Разумнику от 1—3 марта 1927 г.) направленность своих исканий в 1909—1912 гг., Белый писал: «от Канта к исканию "*мистерии*" по-новому, как "*пути жизни*": теософия, Минцлова, "*Я + Ася*" в проблеме пути» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб., 1998. С. 495). Минцлова привлекла внимание Белого к образу «Доктора» — Р. Штейнера; ср. ее письмо к Белому от 30 августа 1909 г.: «Любимый друг мой, *мой* разговор с Вами — еще впереди. Еще я не знаю точно, *как* это сбудется — но я *знаю*, что с Вами — Бог, и с Вами *свет* будет... Посылаю Вам портрет Д<октора>, один из лучших его портретов» (РГБ. Ф. 25. Карт. 19. Ед. хр. 17). См. также: Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования и материалы. М., 1999. С. 68—107.

[12] Ср. недатированное письмо из Брюсселя к М. К. Морозовой, в котором Белый передает свои впечатления от встречи с Штейнером: «То, что он говорит, меньше его самого, а говорит он так, что хочется кричать от восторга. Я предложил Штейнеру ряд вопросов; он мне их сразу же разрешил. В итоге: мы едем в июле в Мюнхен *учиться* у Штейнера, ибо *это* не теория, а действительная школа <...>» (РГБ. Ф. 171. Карт. 24. Ед. хр. 1 в).

[13] Белый и А. Тургенева выехали из Брюсселя во Францию в начале июня (н. ст.) 1912 года.

---

57. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<Москва. 3 января 1917>[1]

Глубокоуважаемая и дорогая Александра Андреевна,

с бесконечною благодарностью возвращаю Саше 250 рублей из взятых у него в долг[2]. Письмо объяснительное следует[3]... Остаюсь бесконечно благодарный

Борис Бугаев

[1] Датируется по почтовому штемпелю: Москва. 3. I. 17; Петроград. 5. I. 17. Написано на отрезном купоне почтового перевода на сумму 250 р.

[2] Поскольку Блок находился в это время на военной службе (в Полесье, в расположении 13-й инженерно-строительной дружины), Белый высылает денежный перевод на имя Кублицкой-Пиоттух.

[3] См. п. 58.

58. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

Москва. 3 января 1917 года.*

Многоуважаемая и дорогая
Александра Андреевна,

Как хотелось бы Вас видеть и беседовать с Вами. Все эти 2 месяца я стремился в Петроград, но... Москва не выпускала меня. Скоро, впрочем, буду в Петрограде[1].

Милая Александра Андреевна, В. В. Пашуканис мне дал обязательство принять на себя в счет гонорара, который он будет выплачивать мне[2], вернуть мой долг Саше (те 800 рублей — так ведь кажется? — которые Саша так ласково одолжил мне)[3]. Перевожу сегодня по его просьбе 250 рублей из числа тех денег, которые я должен Саше. Препровождаю также при этом письме ту бумажку, которую мне выдал Пашуканис. Он извиняется, что на несколько дней опоздал; но он просит непременно, чтобы я, а не он, перевел Вам эту сумму[4].

Передайте от меня Саше (не знаю, где он) мою огромную благодарность еще раз, как за то, что он был так хорош со мною, так и за *все-все-все*. Остаюсь глубокоуважающий и искренне преданный и любящий

Борис Бугаев

[1] Белый выехал из Москвы в Петроград 29 января 1917 года.

[2] В сентябре 1916 г. Белый заключил договор с издательством В. В. Пашуканиса (основанном на базе издательства «Мусагет») на выпуск в свет собрания своих сочинений; были изданы (в 1917 г.) только два тома «Собрания эпических поэм» Белого — 1-й («симфонии» 1-я и 2-я) и 4-й («Серебряный голубь», гл. 1—4).

[3] В ноябре 1911 г. Белый получил у Блока в долг 500 рублей (см. п. 263 основного корпуса).

[4] О выплате денежного долга идет речь также в п. 298, 300 основного корпуса.

* *В автографе описка*: 1817

59. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

15 октября 1917. <Петроград>

Милый Боря, мне Венгеров по телефону говорил, что вчерашняя аудитория была совершенно захвачена Вашим сообщением, хотя три четверти ничего не поняли. Это его слова. Вот я передам Вам точно: «Это обаяние личности, это пророк в лучшем смысле слова». Мне ужасно дороги были эти слова[1].

А не поняли потому, что для Вас научная аксиома то, что для аудитории в первый раз слышат, и может быть за тридевять земель. И все-таки эта аудитория захвачена. Боря, ведь это радость, как хотите.

Я сама стихотворение Тютчева «Из града в град» из Ваших уст в первый раз *узнала* или, лучше сказать, *услыхала*, хотя я его давно знала. Мне захотелось это Вам сказать. Хотелось бы еще Вас увидать.

Кажется, ведь Вы сказали: хотите ночевать в *четверг*?[2] Если перепутала и недослышала, напишите. А вообще это письмо *не требует ответа*.

Александра Андреевна

---

[1] Речь идет о докладе Белого «О ритмическом жесте», состоявшемся под председательством С. А. Венгерова в Пушкинском кружке на историко-филологическом факультете Петроградского университета 14 октября 1917 г. (см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 54). 15 октября 1917 г. Ю. Г. Оксман делился впечатлениями от услышанного в письме к жене: «...это было нечто поразительное, незабываемое никогда — доклад назывался "О ритмическом жесте" (но по существу был вдохновеннейшей импровизацией о мистической сущности лирического творчества). В течение полутора часов он держал всех на такой высоте духовного подъема, какой я никогда не испытывал» (приведено в примечаниях Н. А. Жирмунской и Е. А. Тоддеса в кн.: Тыняновский сборник. Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 327).

[2] Четверг — 19 октября.

---

60. КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ – БЕЛОМУ

<23 марта 1919. Петроград>

Милый Боря, у меня в руках только что побывал оттиск Записок Чудака[1]. И мне хочется сказать Вам по этому поводу, что способ Ваш высказыванья, писанья действует на меня поразительно, оттачивает восприятия, способности к постижению. Ничего я, разумеется, еще не постигла. Но впечатлительность. И это очень радостное чувство. Некоторые формулы Ваши ценны особо, и отношение Ваше к собственному писательству — драгоценно. Сказать-то можно много. Да я боюсь соврать. Меня теперь уж не обманешь — стара. И даже собственное вранье уже совсем, совсем стало ненужно.

Саша (письмо Ваше к нему по поводу *Катилины* он дал мне прочесть) страшно угнетен добыванием денег для пропитания. Не может делать *своего* дела[2]. Пребывает в состоянии тоскливой усталости.

Если как-нибудь и когда-нибудь напишете мне, будет мне хорошо. А если некогда и не до того — не насилуйте себя. Мне самой хотелось только сказать Вам несколько слов.

Любящая Вас неизменно А. Кублицкая-Пиоттух

23 марта 1919 г. Петербург.
Офицерская, 57, кв. 23.

---

[1] «Записки чудака» («Я. Эпопея. Т. 1. Записки чудака. Ч. 1. Возвращение на родину») Белого были начаты печатанием в «Записках мечтателей» (1919. № 1. С. 11—71).

[2] См. п. 307 (основной корпус). 18 марта 1919 г. Кублицкая-Пиоттух писала в той же связи М. А. Бекетовой — о Блоке: «Душенька мой устал и в дурном настроении <...> он не может делать *своего дела*, и это видимо его угнетает. Тем более, что Андрей Белый, восхищенный Катилиной, написал ему из Москвы, чтобы он писал и бросил все. А деньги добывать надо. И все это его гнетет» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 485).

---

61. БЕЛЫЙ – КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

<9 июля 1920. Петроград>

Глубокоуважаемая и дорогая Александра Андреевна, —

всей душой моей влекусь к Вам; должен был быть у Вас сегодня: но — мигрень, невроз (постоянные мои спутники) приковывают меня; ввиду беготни, укладки и прочих предотъездных хлопот, вероятно, не увидимся[1].

Спасибо за хорошие слова[2]; и хорошие, немногие минуты, которые Вы мне дали в этот мой приезд. Вероятно, скоро увидимся, даже в случае моего отъезда за границу: все равно придется ехать через Петроград[3]. Тогда увидимся.

Целую Сашу: передайте ему мою любовь, братскую; и — преданность!

Остаюсь любящий и уважающий

Борис Бугаев

9 июля. Петроград. 20 года.

РОССИЯ

Посвящаю дорогой и глубокоуважаемой

Александре Андреевне Кублицкой-Пиоттух.

Кипи, роковая стихия
В волнах громового огня!..
Россия, Россия, Россия, —
Безумствуй, сжигая меня!

В Твои роковые разрухи,
В глухие Твои глубины, —
Струят крылорукие духи
Свои светозарные сны.

Не плачьте — склоните колени,
Туда, в ураганы огней,
В грома серафических пений,
В потоки космических дней.

Сухие пустыни позора,
Моря неизливные слез
Лучом безглагольного взора
Согреет сошедший Христос.

Пусть в небе и кольца Сатурна,
И млечных путей серебро!
Кипи фосфорически бурно,
Земли огневое ядро.

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня, —
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!

Андрей Белый

9 июля 1920 года[4].
Петроград[5].

---

[1] Письмо написано в день отъезда Белого из Петрограда (где он жил с 17 февраля 1920 г.) в Москву.

[2] Подразумевается, вероятно, отзыв Кублицкой-Пиоттух о творческом вечере Белого в Вольной Философской Ассоциации 7 июля 1920 г. (см.: Жизнь искусства. 1920. № 502, 13 июля). Ср. запись Блока от 7 июля: «Вечер А. Белого — устроил "Алконост" в Вольфиле. Мы с мамой» (ЗК, 496). 8 июля Кублицкая-Пиоттух писала М. А. Бекетовой: «Вчера я таки была на вечере Андрея Белого. <...> Боря читал прекрасно из "Котика Летаева", из "Записок мечтателей", потом свои стихи. Он уезжает в Москву, потом надеется получить пропуск за границу. Дай ему Бог. Но Россия останется без Андрея Белого. Видимся мы с ним редко, но хорошо. Он видит мою искреннюю преданность и понимание, и это на него хорошо действует» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 504).

[3] Белый выехал за границу (из Москвы) лишь в октябре 1921 г.

[4] Датировка обозначает день отсылки данного автографа. Стихотворение было написано в августе 1917 г., опубликовано под заглавием «Родине» (с вариантами по сравнению с настоящим текстом) в альманахе «Скифы» (Сб. 2. <Пг.>, 1918. С. 36), в той же редакции и с тем же заглавием вошло в книгу Белого «Звезда» (Пб., 1922. С. 64—65). Посвящение Кублицкой-Пиоттух предпослано только настоящему автографу. В письме к М. А. Бекетовой от 10 июля 1920 г. Кублицкая-Пиоттух, приведя полностью текст стихотворения, сообщала: «Это стихотворение Андрей Белый прочел на своем вечере, и мне захотелось тебе его напомнить <...> Я до сих пор, четвертый день, под обаянием Андрея Белого, его сущности. Хочется экстаза. Он его дает» (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 505).

[5] При письме — записка на отдельном листке: «Дарю Карпу Сергеевичу Лабутину письмо Андрея Белого с стихами "Россия", посвященными матери Блока, письмо обращено к ней. 3 декабря 1934 г. Ленинград. *М. Бекетова*». К. С. Лабутин (1895—после 1941) — сосед Блока по дому, библиофил; см. подробную биографическую справку А. Е. Парниса о нем (*ЛН. Т. 92. Кн. 3.* С. 95—96).

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указателе аннотируются только имена, встречающиеся в текстах публикуемых писем. Имена, вошедщие в подписи к иллюстрациям, не включены в указатель.

СОДЕРЖАНИЕ

1904

1905

1906

1907

1908

1910

1911

1912

1913

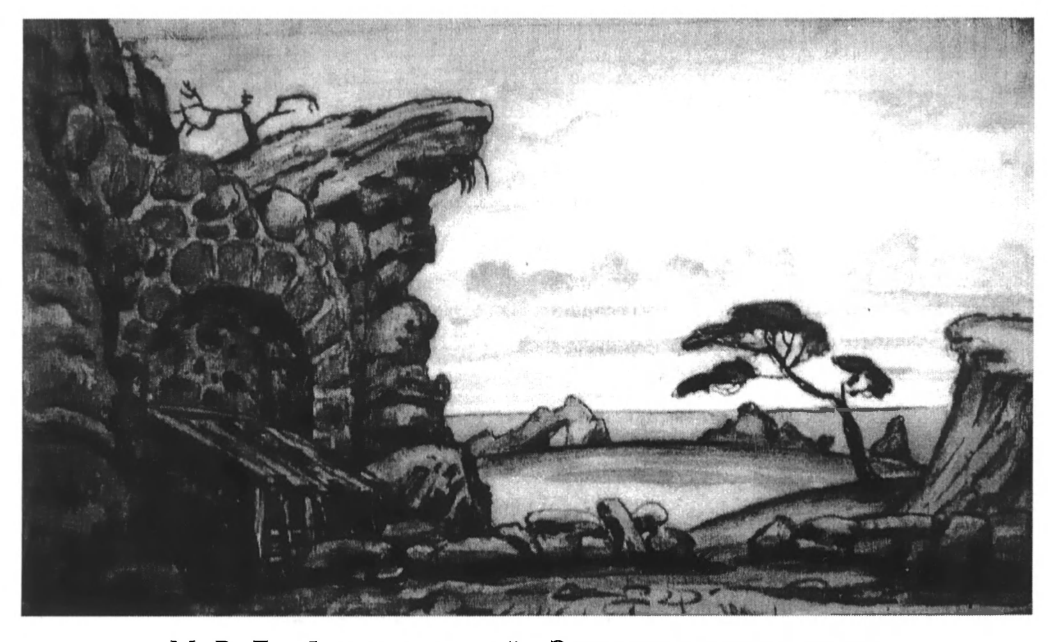
1916

1917

1918

1919

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПЕРЕПИСКА АНДРЕЯ БЕЛОГО И А. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ



М. В. Добужинский. Эскиз декорации к драме
Александра Блока «Роза и Крест». 1916—1918

БИБЛИОТЕКА МОИХ ДЕТЕЙ

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Александр Блок. Собрание сочинений в двенадцати томах.
Том двенадцатый. Книга первая.
Общая редакция – *С.С. Лесневский*

Андрей Белый и Александр Блок

ПЕРЕПИСКА

1903–1919

Публикация, предисловия и комментарии — *А.В. Лавров*

Литературно-художественное издание

Иллюстрации — из фондов ГАРФ, РГАЛИ, РГБ, Государственного Литературного Музея в Москве, Литературного Музея ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, Музея-квартиры Александра Блока в Санкт-Петербурге, Музея-заповедника Александра Блока (Солнечногорск — Шахматово), Музея-квартиры Андрея Белого в Москве, частных собраний. Всем, кто помог украсить книгу, издательство приносит искреннюю благодарность.

Издательство ПРОГРЕСС-ПЛЕЯДА
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.
Гл. редактор С.С. Лесневский
Тел. 246-44-18
Факс 246-06-55
E-mail: progressp@cityline.ru

Оформление иллюстраций на вкладках — *А.С. Козлов*
Издательский Дом «Здесь и Сейчас»

Редактор *В.П. Балашов*
Компьютерный набор — *М.Ю. Свистунова*
Компьютерная верстка — *Е.В. Левина*
Корректор *Г.В. Нефедьев*

Лицензия на издательскую деятельность
Л.Р. № 065827 от 20 апреля 1998 г.

Сдано в набор 10.11.2000. Подписано в печать 25.07.2001.
Формат 70x108/16. Объем 38,4 п.л. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.

ОАО Типография «Новости»
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

АЛЕКСАНДР БЛОК

ПЕРЕПИСКА

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

ПЕРЕПИСКА

1903 – 1919

Переписка Андрея Белого и Александра Блока - настоящий роман в письмах - исповедальный, интеллектуальный и драматический.
Полный свод этих писем впервые публикуется без каких-либо изъятий и купюр. Публикация, предисловия и комментарии - А.В. Лавров.
В книгу вошла также Переписка Андрея Белого с матерью Александра Блока - Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух, которая жила тревогами и веяниями Серебряного века.

"Переписка" Андрея Белого и Александра Блока входит в издание: Александр Блок. Собрание сочинений в двенадцати томах. Том двенадцатый. Книга первая. Общая редакция - С. С. Лесневский. Этой книгой открывается цикл, который составляет двусторонние Переписки Александра Блока и его родных, близких, друзей, современников, а также письма к Александру Блоку (среди них письма Николая Клюева).